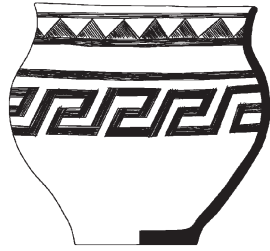




**АРИИ
СТЕПЕЙ ЕВРАЗИИ**

**THE ARYANS
IN THE EURASIAN
STEPPE**



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
ALTAI STATE UNIVERSITY

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
SIBERIAN BRANCH
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

MINISTRY OF CULTURE OF RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN INSTITUTE FOR CULTURAL RESEARCH

**THE ARYANS IN THE EURASIAN STEPPES:
THE BRONZE AND EARLY IRON AGES
IN THE STEPPES OF EURASIA
AND CONTIGUOUS TERRITORIES**

Elena Kuz'mina Memorial Volume

Edited by
V.I. Molodin
A.V. Epimakhov

Barnaul
Altai State University Press
2014

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГИИ

**АРИИ СТЕПЕЙ ЕВРАЗИИ:
ЭПОХА БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
В СТЕПЯХ ЕВРАЗИИ
И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ**

Сборник памяти Елены Ефимовны Кузьминой

Ответственные редакторы
академик *В.И. Молодин*
профессор *А.В. Епимахов*



Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2014

УДК 902.6
ББК Т4(0)
А81

Утверждено к печати Учеными советами
Алтайского государственного университета,
Института археологии и этнографии СО РАН,
Российского института культурологии

Рецензенты

д-р ист. наук *С.Я. Берзина*, канд. ист. наук *А.Г. Васильев*

Редакционная коллегия

д-р ист. наук *К.Э. Разлогов* (председатель), д-р ист. наук *Е.В. Антонова*,
д-р ист. наук *А.В. Елимахов*, д-р ист. наук *Ю.Ф. Кирюшин*, акад. *В.И. Молодин*,
д-р ист. наук *А.А. Тишкин*, *Т.С. Федорова*, *Н.А. Кочеляева*

Сборник подготовлен и издан в рамках проекта «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии» ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», поддержанного грантом № 2013-220-04-129 Министерства образования и науки РФ

Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях: сб. памяти Е.Е. Кузьминой. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. – 600 с.

ISBN 978-5-7904-1777-1

Сборник посвящен памяти Елены Ефимовны Кузьминой – видного российского ученого, доктора исторических наук, научное творчество которой связано с анализом этнокультурных явлений в эпоху бронзы и раннего железного века.

УДК 902.6
ББК Т4(0)

The Aryans in the Eurasian Steppes: the Bronze and Early Iron Ages in the Steppes of Eurasia and Contiguous Territories: Elena Kuz'mina Memorial Volume. Barnaul: Altai State Univ. Press, 2014. 600 p.

ISBN 978-5-7904-1777-1

The collection of papers is commemorating Dr. Elena E. Kuzmina, an outstanding Russian scholar. She focused her research on analyses of ethnic-cultural phenomena of the Bronze and Early Iron Ages.

ISBN 978-5-7904-1777-1

© Коллектив авторов, 2014
© Издательство Алтайского
государственного университета, 2014



ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ

Эта книга прошла долгий и сложный путь от первого замысла до реализации, что легко улавливается в ее построении, подборе материалов и составе авторского коллектива. Более трех лет назад была начата подготовка сборника к юбилею Елены Ефимовны Кузьминой, которая во многом сама стала инициатором и вдохновителем этой работы. Юбилей заразила своим оптимизмом и энергией сколь многих, столь и разных специалистов в областях, с которыми ей пришлось соприкасаться в своей многогранной деятельности. Широта научных интересов Е.Е. Кузьминой нашла зримое воплощение в тематическом разнообразии книги. Это утверждение касается не только хронологии и воистину всеевразийского территориального размаха представленных работ, но и комплекса научных дисциплин – истории, археологии, лингвистики, антропологии, биологии. К сожалению, работа над изданием оказалась более трудной, чем представлялось в начале пути, и, что самое печальное, Елена Ефимовна так и не успела поддержать в руках книгу, которая была предметом ее гордости. Несмотря на эти скорбные обстоятельства, было принято решение сохранить в составе книги части, написанные к юбилею, дополнить разделы новыми материалами и завершить начатое.

В свете возникших организационных проблем заботу о редактировании и макетировании сборника взяли на себя Виктор Новожинов (Алматы), Александра Ипполитова (Москва). Благодаря бескорыстному, заинтересованному участию этих людей, сотрудников Института культурологии, а также работе издательства «Таус» эта часть пути была успешно завершена. Дальнейшие заботы легли на Институт археологии и этнографии СО РАН и Алтайский государственный университет, с которыми Елену Ефимовну связывали долгие и самые теплые отношения. Соединение усилий и средств многих и многих принесло свои плоды в виде фундаментального издания, которое, как нам представляется, обречено на долгую жизнь благодаря созвездию имен, центром притяжения которых стала Елена Ефимовна.

Авторы этих строк не видят необходимости в перечислении ее многочисленных регалий и наград, тем более, что развернутая научная биография подготовлена и публикуется на этих страницах. Однако мы не можем не подчеркнуть, что Елена Ефимовна

Кузьмина была одним из ярчайших представителей российской (советской) археологической школы, подлинным хранителем и блестящим продолжателем ее традиций, она внесла огромный вклад в развитие индоевропеистики. Сегодня невозможно представить работы в этой сфере без ссылок на исследования Е.Е. Кузьминой, посвященные индоиранцам и индоариям. Существенный вклад внесен ею в изучение археологических культур эпохи бронзы Евразии. Широта взглядов и многообразие исследовательских подходов были предопределены не только выдающимися личными качествами Елены Ефимовны, но и тем, что ей удавалось на протяжении долгого жизненного пути впитывать все новое и лучшее. Начало этому было положено в годы учебы, когда она получила блестящее образование в Московском государственном университете и аспирантуре в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР (под руководством проф. М.П. Грязнова). Молодой ученый впитала все передовое, чем располагали в то время, безусловно, лучшие в стране московская и ленинградская археологические школы. Столь же важной вехой в формировании ученого стала работа в Таджикистане в составе экспедиции, возглавляемой выдающимся востоковедом проф. М.М. Дьяконовым.

Сочетание интересов к археологии, лингвистике и культурологии в дальнейшем во многом определило научную судьбу Е.Е. Кузьминой. На протяжении последующих лет работы в Институте археологии АН СССР и Российском институте культурологии она оставалась верна тематике, связанной с всесторонним изучением андроновской культурной общности бронзового века. Вообще же следует подчеркнуть, что научная деятельность Е.Е. Кузьминой была чрезвычайно многообразна: это и полевая археология, которой она занималась во многих регионах Евразии, археологическая систематика и, наконец, вопросы этногенеза. Не будет преувеличением сказать, что ее главной научной темой являлся именно этногенез популяций эпохи бронзы. Работа в этом направлении требует знаний не только памятников материальной и духовной культуры, но и этнографии, филологии, антропологии и других научных дисциплин, в чем Елена Ефимовна хорошо ориентировалась. Наконец, ее всегда привлекали проблемы, связан-

ные с пластическим и декоративно-прикладным искусством обитателей пояса степей и лесостепей Евразии эпохи бронзы и раннего железа.

Самостоятельная полевая работа начиная с конца 1950-х гг. привела исследователя в Приуралье, где под ее руководством были впервые изучены многие археологические комплексы. Однако масштабы задач и величина территориального размаха требовали охватить андроновские древности в рамках единой концепции, что можно было сделать, только изучая материалы от Енисея до Урала и от сибирских лесостепей до глубин Центральной Азии. При таком подходе работа в экспедиции была лишь видимой частью айсберга, остальное необходимо было изучать в музеях, фондах, архивах и библиотеках. Эта поистине гигантская и кропотливая работа увенчалась блестящим успехом. Уже в середине 1960-х гг. вышли в свет монографии Е.Е. Кузьминой «Металлические изделия энеолита и бронзового века Средней Азии» и «Андроновская культура. Памятники западных областей» (совместно с коллективом авторов) – книги, которые и сегодня являются настольными для ученых, изучающих эпоху бронзы.

Характерный для советской археологии вопрос об этнической принадлежности носителей археологических культур постоянно был в фокусе исследовательских интересов Елены Ефимовны на протяжении многих десятилетий. Более того, он стал излюбленной темой в научном творчестве ученого. Решение этого вопроса приобрело совершенно новое звучание благодаря целенаправленному поиску аргументов в пользу индоиранской принадлежности андроновских древностей. Несмотря на дискуссионность некоторых положений (которую, конечно, прекрасно осознавала Елена Ефимовна), не может не привлекать комплексный, мультидисциплинарный подход, использованный исследователем в реконструкциях культурных и этнических процессов (см., напр., монографию Е.Е. Кузьминой «Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев», 1994).

Исследователю пришлось отказаться от устоявшегося понимания археологической культуры, поскольку явственно вырисовывалась многокомпонентность андроновской общности, не говоря уже о занимаемом ею пространстве. Кроме того, очевидная миграционная составляющая в культурогенезе заставила обратиться к теории миграций и их археологических проявлений. Наконец, стало очевидным существование протяженных и устойчивых связей различных культурных групп, своего рода каналов-коммуникаций, что требовало анализа и разъяснения механизмов функционирования. Сопоставление археологических материалов с картиной этнодифференцирующих признаков, реконструируемой по данным лингвистики, позволило прийти к заключению об индоиранской принадлежности андроновской общности. Не последнюю роль при ответе на вопрос об атрибуции

сыграло изучение проблем хозяйственной и ритуальной деятельности местного населения. Ярким итогом многолетнего труда исследователя стала фундаментальная монография “The Origin of the Indo-Iranians”, выпущенная издательством “Brill” в 2007 г. Перечисленные вопросы продолжают живо обсуждаться и в наши дни, однако их формулирование и подходы к решению были предложены Е.Е. Кузьминой. Нарастающая специализация науки, накопление материалов, получение нового знания за счет сотрудничества с другими дисциплинами постепенно углубляют наше понимание исторических процессов. Вместе с тем нарастают объективные трудности для широкого территориального и хронологического видения, столь характерного для работ Елены Ефимовны.

Круг ее научных интересов был необычайно широк: она неоднократно обращалась к проблемам развития металлургии, особое место в ее творчестве занимала проблема происхождения и развития колесного транспорта в эпоху бронзы, а также тесно связанные с этим вопросом проблемы domestikации лошади и верблюда. Несомненно, значительными являются работы Е.Е. Кузьминой, посвященные проблемам искусства скифов, саков и других народов, населявших в эпоху раннего железного века степные просторы Евразии. Ее интерпретация отличается оригинальным подходом к анализу источников и опять-таки многоплановой системой доказательств. Лучшим подтверждением вышесказанному служат многочисленные монографии и статьи, постоянно востребованные специалистами и переведенные на многие языки.

До последних дней Елена Ефимовна продолжала строить научные планы, живо интересовалась новыми находками коллег, идеями и разработками других исследователей. Елена Ефимовна навсегда останется в нашей памяти не только как по-настоящему крупный ученый, внесший огромный вклад в изучение проблем эпохи бронзы и раннего железного века, но и как человек, преисполненный глубокой внутренней культуры, ученый-романтик, готовый выслушать чужое мнение и отстаивать свое, искренне радующийся успехам коллег.

Эта книга – лишь малый знак уважения к тому, что Елена Ефимовна успела сделать в науке.

* * *

Судьба оказалась таковой, что, к сожалению, не все, кто в своих статьях отдавали должное юбиляру, увидят этот сборник. Тем не менее редакторы сочли необходимым сохранить в первоизданном виде все представленные тексты, впрочем как и некоторые концепции, которые мы не разделяем по сути. Таков жанр этой книги, диктующий редакторам и членам редколлегии максимальную толерантность.

*Академик В.И. Молодин
Профессор А.В. Епимахов
Новосибирск – Челябинск – Барнаул, 2014*

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ



ЕЛЕНА ЕФИМОВНА КУЗЬМИНА И РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Елена Ефимовна Кузьмина – безусловно, ведущий ученый Российского института культурологии (ранее – Научно-исследовательский институт культуры), и то место, которое она занимает в коллективе института и в системе научных исследований, проводящихся в институте, чрезвычайно специфично. Она пришла в институт как музеевед, а музееведение было главным, стержневым направлением в исследованиях института середины 1980-х гг. Кроме того, в то время большое внимание уделялось таким аспектам исследований, которые были непосредственно связаны с нуждами Министерства культуры и обслуживанием разных его подразделений. (Институт мыслился при этом как некое государственное исследовательское образование в помощь министерству.)

Елена Ефимовна принесла с собой традицию большой исторической науки и, в частности, традицию одной из самых интересных, сложных и специфических исторических дисциплин – археологии, и, как показало время, это было самым главным. Она долгие годы проработала в Институте археологии АН СССР, имеет огромный опыт, в том числе и полевых исследований, занималась Востоком, что тоже было чрезвычайно важно, поскольку положение России между Востоком и Западом – это один из ключей к пониманию специфики российской культуры в целом.

Итак, Елена Ефимовна принесла с собой традицию большой академической науки в институт, ориентированный преимущественно на прикладные исследования. Ей удалось внести новую струю в само существование института, а также стать не только и не столько адми-

нистративным, сколько научным его лидером. Первое время она занимала важные административные позиции, что оказалось, пожалуй, менее важно, чем ее влияние на окружающих. Последнее объяснялось тем, что в своих исследованиях Елена Ефимовна углублялась в далекую историю культуры, изучала восточные языки и восточную цивилизацию, много занималась межкультурным и транскультурным анализом, семантикой и, собственно говоря, от археологии через музееведение пришла в культурологию, которая для нее сфокусировалась, с одной стороны, в проблемах миграции народов и, с другой – в трансформациях взаимодействия культур. Не случайно она так много внимания уделяет семантике и мифологии, которая лежит у истоков культур всех стран и народов мира и очень специфически преломляется именно на российской территории, на территории бывшего Советского Союза и Российской империи, которая охватывала больше восточных районов, чем собственно территория России.

На протяжении двадцати пяти лет работы в институте Елена Ефимовна опубликовала главный научный труд позднего периода своего творчества – фундаментальную монографию «Откуда пришли индоарии» (М., 1994). Эта книга была издана на английском языке (The origin of the Indo-Iranians. 2007) и утвердила Е.Е. Кузьмину в качестве ведущего мирового специалиста в данной области. Таким образом, она придала своим собственным работам и опосредованно – работам и деятельности института международный характер. Пожалуй, она – тот ученый института, которого чаще других приглашают на международные кон-

ференции, где собираются специалисты по тем культурам, применительно к которым у нее есть практический опыт исследований.

В этом отношении, на мой взгляд, Елена Ефимовна оказывала и оказывает по сей день благотворное влияние на молодых сотрудников института и аспирантов, которым зачастую не хватает той фундаментальности, которая характеризует все без исключения работы Елены Ефимовны. При этом важно подчеркнуть, что она сохранила доброжелательность в отношении своих коллег, присущую далеко не всем ведущим ученым, и, что особенно важно, доброжелательность к молодым коллегам, даже когда она видит и понимает недостатки и слабости, которые есть в их работах. Это одно из основных качеств, необходимых для существования человека в научном коллективе.

Коллектив Российского института культурологии искренне благодарен Елене Ефимовне за то, что она, невзирая на возраст, еще находит время и силы, чтобы уделить внимание общению с коллегами, принять участие в обсуждении проблем и вопросов текущего культурного развития, что особенно ценно в тех случаях, когда это текущее развитие возвращает нас к истокам. Это, собственно, и произошло после распада Советского Союза в начале 1990-х гг., когда именно работы Елены Ефимовны оказались, как это ни странно, наиболее актуальными с политической точки зрения.

Думаю, что не только от себя, но и от лица своих коллег пожелаю Елене Ефимовне физического и творческого долголетия, здоровья и сохранения всех тех качеств, которые ей присущи как ученому и как человеку.

Т.С. Федорова

**ЕЛЕНА ЕФИМОВНА КУЗЬМИНА:
CURRICULUM VITAE,
ИЛИ КРАТКАЯ НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ**

Елена Ефимовна Кузьмина родилась 13 апреля 1931 г. в семье потомственных московских интеллигентов. Еще в детстве археология стала предметом ее интереса и специальных занятий: в 1946–1949 гг. она занималась в археологическом кружке при Историческом музее и историческом – при Историческом факультете МГУ. Окончив школу № 613 с золотой медалью, в 1949 г. она поступила на Кафедру археологии Исторического факультета Московского университета, где училась у таких выдающихся исследователей, как С.В. Киселев, Б.Н. Граков, В.Д. Блаватский, Б.А. Рыбаков и др.

Уже во время учебы в университете (1949–1954) Е.Е. Кузьмина приняла участие в работе археологической экспедиции в Дагестане под руководством К.Ф. Смирнова (1950); в 1951 г. работала в составе археологической экспедиции Б.Н. Гракова, К.Ф. Смирнова и Н.Н. Погребовой на Украине, в 1952 г. – в экспедиции А.И. Мелюковой в Молдавии. В 1951 г. она начала работать в Кафирниганском отряде Таджикской археологической экспедиции под руководством М.М. Дьяконова и в дальнейшем специализировалась у него по археологии Средней Азии и истории культуры ираноязычных народов; тогда же она приступила к изучению древнеперсидского языка.

В 1954 г., окончив с отличием исторический факультет МГУ, Е.Е. Кузьмина получила рекомендацию для поступления в аспирантуру Института истории материальной культуры (ИИМК, позже – Институт археологии) АН СССР. Учеба в аспирантуре продолжалась с 1954 по 1957 г.;

после смерти М.М. Дьяконова в 1954 г. работа проходила в Ленинградском отделении ИИМК под руководством М.П. Грязнова; одновременно под руководством С.Н. Соколова Е.Е. Кузьмина стала изучать авестийский язык и санскрит. Она продолжала работать в Средней Азии, в том числе – в Заманбабинской археологической экспедиции Я.Г. Гулямова, а также участвовала в этнографических экспедициях на Памире.

В 1956 г. Е.Е. Кузьмина вернулась на работу в Институт археологии АН СССР (Москва), где и проработала до 1986 г., став младшим, затем – старшим научным сотрудником Сектора неолита и бронзы, во главе которого стоял С.В. Киселев; позднее сектором руководили Е.И. Крупнов и Н.Я. Мерперт.

В 1958 г. Е.Е. Кузьмина была назначена начальником Эмбинского отряда, задачей которого было изучение контактной зоны Европы и Азии; в результате совместно с А.М. Мандельштамом было обследовано 30 разновременных памятников и раскопан курган, принадлежавший андроновской культуре. В 1959 г. она стала начальником Еленовского отряда Оренбургской экспедиции, возглавляемой К.Ф. Смирновым. Целью работ Еленовского отряда было первое в отечественной археологии бронзового века степей Евразии комплексное изучение памятников отдельного микрорайона андроновской культуры, включающего поселения и относящиеся к ним могильники, а также рудники. Все это позволило поставить задачи установления относительной и абсолютной хронологии памятников, изучения истории металлургии и других производств, реконструкции

хозяйства, демографии и др. Было обследовано 50 памятников микрорайона, а на 20 из них проведены раскопки.

Впервые в степях был применен целый комплекс новых методов изучения археологических материалов: аэрофотосъемка микрорайона (Домбаровский военный ракетодом); геологическая характеристика рудников (Оренбургская геологическая экспедиция); анализ руд, шлаков, металлических изделий и их импортов (Е.Н. Черных); петрографический анализ керамики (О.Ю. Круг) и ее статистическая обработка (Е.Е. Кузьмина, Я.А. Шер); трасологический анализ каменных орудий (Г.Ф. Коробкова); анализ флоры и реконструкция палеогеографии микрорайона (Г.Н. Лисицына); палеозоологический (В.И. Цалкин) и антропологический (В.П. Алексеев) анализ. Исследования микрорайона были широко опубликованы и нашли отражение в трудах Е.Н. Черных, В.И. Цалкина, В.П. Алексеева, Е.Е. Кузьминой; к печати была рекомендована монография, подготовленная по итогам работы, под редакцией Н.Я. Мерперта, и содержащая ценные приложения (к сожалению, книга осталась неопубликованной).

Параллельно с работами в Еленовском микрорайоне Е.Е. Кузьмина ежегодно участвовала в среднеазиатских археологических экспедициях, работая в Таджикистане с А.М. Мандельштамом, Туркмении – с А.М. Мандельштамом и А.А. Марущенко, в Киргизии – с П.Н. Кожемяко, что позволило ей изучить более 30 памятников эпохи бронзы. С этого времени история андроновских пастушеских племен Средней Азии стала одной из ключевых тем в исследованиях Е.Е. Кузьминой. Считая, что металлургическое производство является одним из главных показателей прогресса, определяет развитие типов металлических изделий и служит основой установления хронологии, Кузьмина активно изучала Казахстан и Среднюю Азию.

В 1964 г. Е.Е. Кузьмина защитила кандидатскую диссертацию, темой которой стало «Развитие производства металлических изделий в Средней Азии в эпоху энеолита и бронзы». В основу работы была положена классификация изделий, позволившая выявить основные этапы развития металлообрабатывающего производства и локальные металлургические очаги, показать появление ремесла или специализированного производства, ориентированного на рынок, а также до-

казать наличие широких связей земледельцев юга Средней Азии с населением Индии, Ирана и Месопотамии, а скотоводов степей и гор – с пастухами Евразии (от Дуная до Китая) и земледельцами оазисов. Диссертация была опубликована в серии «Археология СССР. Свод археологических источников» под названием «Металлические изделия энеолита и бронзового века Средней Азии» (1966. Вып. В4-09). Основные положения этой работы выдержали испытание временем, и книга до сих пор широко цитируется.

В этой же серии вышла (1966. Вып. В3-02) коллективная монография «Андроновская культура. Памятники западных областей», подготовленная при участии Е.Е. Кузьминой; в соответствующем разделе были частично представлены материалы исследований в Еленовском микрорайоне.

1970-е гг. в научной биографии Е.Е. Кузьминой ознаменовались переходом к изучению опорных памятников западноандоновского ареала с целью установления генезиса и хронологического соотношения их основных типов: алакульского, федоровского и кожумбердинского. Для решения этой задачи были осуществлены широкая разведка на Южном Урале (обследовано около 50 памятников) и раскопки могильников Алакуль, Кожумберды, Туктубаево, Кинзерский, возраст которых был определен как типологически, так и на основании радиоуглеродного метода. Кроме того, в 1975 г. Е.Е. Кузьмина получила возможность непосредственно ознакомиться с памятниками и музейными коллекциями Афганистана и Ирана; в 1978 г. она смогла посетить музеи и памятники Индии и Шри-Ланки.

В этот период Е.Е. Кузьмина обратилась к теме, занявшей одно из ключевых мест в ее последующей работе, – истории транспорта, который определял не только развитие экономики и военного дела, но и пути миграций и формирование культурных связей. Особое место в рамках этой темы занимает история лошади, которая сыграла важнейшую роль в культуре всех индоевропейских и в особенности индоиранских народов. В 1972 г. докладом «О синкретизме образов скифского искусства в связи с особенностями религиозных представлений иранцев» открывается новое направление в исследованиях Е.Е. Кузьминой, связанное с изучением семантики скифского и бактрийского искусства. Доклад был прочитан на III Всесоюзной конференции «Скифо-Сибирский звериный стиль», а на теоретическом семи-

наре Института археологии был сделан доклад «О семантике изображений на Чертомлыцкой вазе», опубликованный только в 1976 г. (СА. 1976. № 3. С. 68–75). Оба выступления были пионерскими и на несколько лет опередили широкий научный интерес к поставленным проблемам. В цикле работ, посвященных искусству, последняя имеет особое значение: сам автор считает ее своим лучшим произведением. Фундаментальное значение имела также теоретическая статья «О прочтении текста изобразительных памятников искусства Евразийских степей скифского времени» (ВДИ. 1983. № 3).

Опираясь на знание языков, знакомство с Авестой и памятниками ведической литературы, полевые исследования фольклора и этнографии ираноязычных таджиков и осетин, Е.Е. Кузьмина обосновала теорию и предложила методы реконструкции семантики произведений искусства. Ее семантический анализ памятников на основе мифологии опирался на последовательное выделение универсального (присущего всем народам на стадии мифологического мышления), индоевропейского, индоиранского и, наконец, собственно скифского уровней. Содержание отдельных образов, композиций и многоярусных изображений на сосудах и костюме рассматривалось как особая знаковая система или семиотический текст. Названные выше работы получили широкое признание в стране и за рубежом и были переведены в США, Франции, Италии, Голландии, Японии.

1977 г. стал одним из самых важных в творческой биографии Е.Е. Кузьминой. Под редакцией К.Ф. Смирнова вышла книга «В стране Кавата и Афрасиаба» (М., 1977), которая была удостоена премии юбилейного конкурса «Десять лучших книг Института археологии». Значительное место в книге занял семантический анализ сакко-скифского и бактрийского искусства, позволивший поставить вопрос о выделении бактрийской художественной школы, а также о ее влиянии на формирование звериного стиля в степях Евразии.

К международной конференции «Проблемы этнической истории Центральной Азии» (1977) была приурочена публикация книги «Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий», написанной в соавторстве с К.Ф. Смирновым и вышедшей под редакцией Н.Я. Мерперта. В основу книги был положен

анализ стратиграфии кургана Новокумакского могильника, раскопанного К.Ф. Смирновым в 1976 г., а также был выделен включающий Синташту новокумакский хронологический горизонт, памятники которого представляют ранний этап андроновской культуры (по микенским аналогиям они были датированы XVII–XVI вв. до н.э.). Главными и наиболее спорными положениями работы стали выводы об определяющей роли западного импульса (восточноевропейские культуры: позднекатакомбная, полтавкинская и абашевская) в формировании раннеандроновской культуры, ее индоиранская атрибуция и анализ свидетельств социального выделения элитарной группы воинов-колесничих. (В результате раскопок последнего времени данные утверждения получили дальнейшее обоснование.)

1980-е гг. стали временем важнейших перемен в творческой и научной судьбе Е.Е. Кузьминой, временем подведения итогов многолетних исследований и поиска новых направлений профессионального развития. Значительное место в этот период заняла работа в зарубежных музеях и экспедициях, длительные научные командировки в Индию (1980) и Шри-Ланку (1982), участие в международных конференциях (Великобритания, Франция) и чтение лекций по линии Обществ дружбы в Иране, Афганистане, Индии и Шри-Ланке.

Для готовившегося тома «Бронзовый век степной полосы» в серии «Археология СССР: свод археологических источников» дирекция Института археологии поручила Е.Е. Кузьминой написать раздел «Культура пастушеских племен Средней Азии» (1978), затем – разделы по андроновской культуре Западных, а несколько позже – Центральных областей и, наконец, в 1980 г. – всю главу «Андроновская культура». Вынужденно начатая и необычайно трудоемкая работа оказалась очень результативной: посвященная андроновской культуре глава разрослась до размеров монографии. В ее основу было положено обобщение материалов, накопленных в предыдущие годы, их картографирование и классификация, в которую были вписаны все известные памятники гигантского андроновского ареала. Это позволило впервые четко выделить локальные варианты и типы памятников, установить их хронологию и соотношение. На работу были получены положительные рецен-

зии М.П. Грязнова, М.А. Итиной, Э.Б. Вадецкой, М.К. Кадырбаева, Н.Г. Горбуновой, и в мае 1981 г. она была рекомендована к печати на заседании Сектора неолита и бронзы Института археологии. Статью «Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности», подготовленную на основе проделанной работы, удалось опубликовать только в 1985 г. (Информационный бюллетень / Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии. М., 1985. Вып. 9).

Хотя редактирование тома В.П. Шиловым и подготовка материалов к изданию не были завершены и в дальнейшем материалы андроновской рукописи утеряны, работа получила известность не только в стране, но и за ее пределами. Директор Германского археологического института (Бонн) Г. Мюллер-Карпе заключил договор с директором Института археологии академиком Б.А. Рыбаковым об издании перевода книги «Андроновская культура. Вып. 1: Классификация и периодизация памятников» в ФРГ, и ВААП обеспечил перевод работы на немецкий язык к августу 1982 г. К сожалению, книга так и не была издана в Германии, поскольку руководство Института археологии отозвало свое согласие на публикацию. Тем не менее в 1982 г. Е.Е. Кузьмина была избрана членом-корреспондентом Германского археологического института.

Опираясь на колоссальный андроновский материал, собранный в ходе многолетних полевых исследований и классифицированный по собственной схеме, в 1982 г. Е.Е. Кузьмина завершает главный труд своей жизни – монографию «Происхождение индоиранцев». Эта работа потребовала не только глубокого знания археологических материалов степей Евразии и, прежде всего, андроновской культурной общности, но и обращения к основам индоиранского языкознания, а также глубокого исследования главных памятников индоиранской традиции – Ригведы, Атхарваведы и Авесты, изучать которые Е.Е. Кузьмина начала еще в студенческие годы. Увидела свет эта книга только в 1994 г.

В 1984 г. Е.Е. Кузьмина перешла в новый отдел теории и методики, созданный Ю.Н. Захаруком, и обратилась к проблемам этногенеза и этнической атрибуции археологических культур. В рамках данного направления ею были опубликованы важные работы: статья «О некоторых археологических аспектах проблемы происхождения индо-

иранцев» (1986) и монография «Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня» (Фрунзе, 1986), вышедшая под редакцией В.И. Мокрынина. В этих работах была аргументирована гипотеза индоиранской атрибуции андроновской культуры.

1986 год стал поворотным в жизни Е.Е. Кузьминой и по причине ее перехода на работу в НИИ культуры (ныне – Российский институт культурологии), куда она поступила на должность заведующего отделом музееведения. В том же году она была избрана вице-президентом, а затем президентом Музейной комиссии Всесоюзной ассоциации востоковедов. Практически сразу Е.Е. Кузьминой удалось организовать, по сути, межинститутский культурологический семинар «Древняя и традиционная культура в системе современной культуры», на котором выступали В.П. Алексеев, С.А. Арутюнов, Г.С. Кнабе, П.И. Зинченко и другие известные исследователи – представители различных академических институтов.

Проблемы музеологии не смогли заслонить профессионального интереса Е.Е. Кузьминой к дальнейшему изучению археологических материалов и памятников. В 1988 г. в новосибирском Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР состоялась защита ее докторской диссертации «Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев», получившей самые высокие оценки. В 1994 г. докторская диссертация Е.Е. Кузьминой была опубликована в форме монографии «Откуда пришли индоарии?» (М., 1994), редактором которой стала ее давний друг и коллега М.Н. Погребова. Тем не менее можно сказать, что «культурологический поворот», характерный для исторического познания второй половины XX в., нашел свое отражение в работах Е.Е. Кузьминой, профессиональные интересы которой обратились к проблемам культурной истории.

В 1990-е гг. Е.Е. Кузьмина принимала активное участие в модернизации музеев России и спасении культурного наследия, выступала по телевидению, на многочисленных конференциях, читала лекции в музеях и университетах по всей стране и за рубежом, участвовала в разработке программы культурной политики России, готовила аспирантов-музееологов, руководила Советом по защите докторских и кандидатских диссертаций по

специальности «Музееведение и охрана памятников». В это время, вышедший при ее участии, под ее редакцией были опубликованы «СФИНКС: Вестник музейной комиссии» (М., 1990) и сборник статей «Музееведение: музеи мира» (М., 1991). В том же году за плодотворную научную деятельность Е.Е. Кузьмина была награждена Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.

В 1991–1995 гг. Е.Е. Кузьмина во главе большой группы специалистов участвовала в проведении социологического исследования «Русские в многонациональном регионе», посвященного изучению динамики межэтнических процессов и роли музея в трансляции культурных традиций и развитии межэтнического диалога.

Первая половина 1990-х годов также ознаменовалась выходом нескольких книг: было издано учебное пособие «Национальная культурная политика Великобритании и музеев» (М., 1992); под редакцией Н.А. Никишина и В.Ю. Дукельского вышла коллективная монография с участием Е.Е. Кузьминой «Концепция развития Таймырского окружного музея» (М., Дудинка, 1993); наконец, в 1994-м – важнейшем году в жизни Е.Е. Кузьминой – вышла в свет книга «Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев», издание которой стало возможно при поддержке директора Российского института культурологии профессора К.Э. Разлогова.

В монографии «Откуда пришли индоарии?» Е.Е. Кузьмина представила свою теорию и методику этнической атрибуции археологической культуры. Опираясь на знание индоиранских языков и памятников письменной индоиранской традиции (Ригведа, Атхарваведа, Авеста), она осуществила сравнительный анализ отдельных категорий материальной культуры индоиранцев – поселение, жилище, хозяйство, транспорт, металлургия, гончарство, костюм – и соответствующих археологических материалов. Е.Е. Кузьминой удалось показать, что весь комплекс материальной культуры индоиранцев совпадает со степным евразийским, в особенности – с андроновским. Данные антропологии и топонимики, погребальный обряд и традиционные представления о прародине были проанализированы и использованы в качестве независимых методов верификации высказанных предположений. Они

подкрепили другие доводы в пользу признания андроновцев предками индоиранцев, мигрировавшими с Урала и из Казахстана через Среднюю Азию на юг, в Индию и позже в Иран. Работа получила широкое признание в научных кругах России и мира, и, например, положительная рецензия И.М. Дьяконова была опубликована в России и США.

Во второй половине 1990-х гг. главное место среди интересов Е.Е. Кузьминой заняли проблемы этнокультурных контактов как древних, так и современных народов, а также роль учреждений культуры, в особенности – музеев, в развитии диалога культур. С 1995 г. ее этнокультурологические исследования проводились совместно с А.С. Кузьминым. Другой темой, заинтересовавшей Е.Е. Кузьмину, стали миграции населения Евразийских степей эпохи бронзы и его культурные контакты с народами Европы (включая микенских греков), южными земледельцами Средней Азии, Ирана и Афганистана, с северными охотниками – финно-уграми и жителями Западного и Северного Китая. Академик РАН Г.М. Бонгард-Левин также обратил внимание Е.Е. Кузьминой на проблему влияния экологии степей и ее изменений на развитие хозяйственной деятельности древнего населения степной зоны.

В результате Е.Е. Кузьмина обратилась к исследованию истории Великого шелкового пути, и в дальнейшем анализ миграций и культурных контактов населения Евразийских степей позволил показать, что в обширной зоне Старого Света его формирование началось на два тысячелетия раньше, чем это было принято считать. С 1998 г. Е.Е. Кузьмина начинает разрабатывать проблему связей пастухов-кочевников и металлургов Казахстана и Средней Азии с населением Синьцзяна, а позже и Китая, что еще во II тысячелетии до н.э. способствовало зарождению будущего Великого пути.

В статье «Экология степей Евразии и проблема происхождения номадизма» (ВДИ. 1996. № 2. С. 73–84; 1997. № 3. С. 81–94) и других работах этого периода ей удалось доказать, что сложение скотоводческой экономики, а затем и переход к номадизму были закономерными процессами, в значительной мере предопределившими последующее развитие Евразии и России. Проблемный доклад Е.Е. Кузьминой о происхождении пастушества в степях Евразии, представленный в 1999 г. на конференции, организованной в Кемб-

ридже лордом Колином Ренфрю, был опубликован в Англии в 2003 г.

В 1994 г. Е.Е. Кузьмина перешла в Сектор этнической и культурной антропологии Института. Сектор возглавлял М.Ф. Иордан, под редакцией которого вышла книга «Этническая культура: проблема самосохранения в современном контексте» (М.: Нальчик, 1997), в которую вошла статья Е.Е. и А.С. Кузьминых, посвященная модернизации русской культуры и проблемам соотношения традиции и инновации (№ 220). В 1996 г. Е.Е. Кузьминой были завершены и рекомендованы к печати две важные работы по проблемам этнокультурологии: «Введение в этническую культурологию», подготовленное в рамках большого проекта по написанию «Истории культурологической мысли Запада», и монография «Культура и этнос», редактором которой стал академик С.А. Арутюнов (обе работы остались неопубликованными).

В последние годы XX столетия Е.Е. Кузьмина посвящала много времени популяризации достижений отечественной науки, выступая с лекциями в Политехническом музее, Доме ученых и в крупнейших университетах мира – Сорбонне, Кембридже, Оксфорде, Лондоне, Гарварде, Беркли, Пенсильванском и др. В 1997–2000 гг. она также читала лекционный курс «Музеи мира» на факультете музеологии Российского государственного гуманитарного университета. Широкое признание научных заслуг Е.Е. Кузьминой стало основанием для ее избрания в 1996 г. действительным членом Европейского общества иранологии (Societas Iranologica Europea) и академиком Российской академии естественных наук (1998).

В начале III тысячелетия (если позволено будет употребить здесь такую «археологическую датировку») усилия Е.Е. Кузьминой оказались сосредоточены на дальнейшем и более тщательном обосновании выдвинутой ранее индоиранской атрибуции андроновской культуры. С этой целью были привлечены новейшие данные о распространении коней и колесниц, продвижении андроновцев в Среднюю Азию и о контактах индоиранцев с финно-уграми, а также исследования по экологии и ее связи с историей хозяйства степей Евразии. Следует отметить, что Е.Е. Кузьмина по-прежнему сохраняла свою приверженность к усвоенному в молодости методологическому подходу – начинать любое исследование с детального рассмотрения какого-либо частного

вопроса. Результаты *case study* в форме доклада сначала представляются на обсуждение коллег в России, затем – публикуются, и уже более фундаментальные, обобщающие статьи включаются в большие сборники или авторитетные периодические издания, например «Вестник древней истории». Кроме того, материалы, связанные с проблемой происхождения индоиранцев, по просьбе автора были апробированы И.М. Дьяконовым, В.А. Лившицом, Т.Я. Елизаренковой. После обсуждения в России Е.Е. Кузьмина представляет результаты своих исследований на зарубежных конференциях.

Многие статьи были напечатаны в зарубежных изданиях. В частности, в 2001 г. большая статья «Andronovo» была включена в четвертый том «Энциклопедии доисторического периода», выходившей в Чикаго под редакцией П. Переграйна и М. Эмбера. В 2002 г. в американском журнале «Current Anthropology» были опубликованы материалы международной дискуссии по проблеме происхождения индоиранцев, инициированной К.К. Ламберг-Карловским, и в частности – представлены основные положения теории Е.Е. Кузьминой и мнения сторонников и оппонентов данного подхода. В 2004 г. известная американская китаистка К. Линдафф опубликовала важный сборник, посвященный металлургии от Урала до Желтой реки, куда была включена большая статья Е.Е. Кузьминой.

В 2001 г. коллеги отметили юбилей Е.Е. Кузьминой, и Российский институт культурологии выпустил сборник ее статей на русском, английском и французском языках, посвященный мифологии и искусству скифов и бактрийцев. Эти культурологические очерки вышли в 2002 г. и в определенной мере подвели итоги одного из важнейших направлений исследовательской деятельности Е.Е. Кузьминой. Еще в 1970-е г. она предложила новый подход к анализу древнего художественного творчества, семантика которого была впервые интерпретирована в свете данных индоиранской мифологии. Почти одновременно с близкими подходами к анализу скифских и бактрийских памятников выступили Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский и позже – Д.С. Раевский. У них нашлись как многочисленные последователи, так и убежденные противники, в том числе и среди скифологов, не знакомых с индоиранской мифологией, и борьба мнений продолжается и сегодня.

В 2007 г. выходит главная в научной жизни Е.Е. Кузьминой книга – “The origin of the Indo-Iranians”. Она представляет собой перевод переработанной с учетом новейших данных докторской диссертации (издана в 1994 г. под названием «Откуда пришли индоарии?») и написанной в 2006 г. книги об арийской миграции на юг (на русском языке вышла в 2008 г. под названием «Арии – путь на юг»), которая была непосредственным продолжением и завершением ранее названной работы. Этот фундаментальный труд подвел итог пятидесяти двум годам исследований Е.Е. Кузьминой, посвященных андроновской культуре; постановка этнических проблем на андроновском материале оказалась возможна только благодаря ее учителям, братьям М.М. и И.М. Дьяконовым, С.Н. Соколову, помощи В.А. Лившица и Т.Я. Елизаренковой.

Необходимо отметить, что работа над английским изданием продолжалась в течение семи лет и потребовала преодоления весьма сложных проблем. В частности, невероятная трудность была связана с тем, что на Западе специальных книг, посвященных бронзовому веку степей, практически не существовало. Соответственно, в языке западной археологии не было терминов не только для описания и классификации целого ряда специфических типов металлических изделий, украшений, технологических приемов изготовления керамики, обработки металла и т.п. Главная сложность заключалась в том, что принятое на Западе представление об археологической культуре не подходило для описания евразийских ямной и срубной культур, и тем более – для анализа такого культурного феномена, как простирающаяся от Урала до Алтая андроновская культурная общность.

В поисках перевода понятия «культурная общность» Е.Е. Кузьмина и профессор Дж.П. Мэллори, мужественно согласившийся стать редактором книги, трижды меняли термин, что каждый раз вело к пересмотру всего текста перевода. Глубочайшее уважение и благодарность Дж.П. Мэллори как редактору вызывает и тот факт, что, не удовлетворившись качеством перевода, присланного из Москвы, он взял на себя поистине «каторжный» труд и самолично исправил 582 страницы текста, набранного петитом. С особой признательностью Е.Е. Кузьмина говорит и о профессоре А.М. Лубоцком, который в 1999 г. предложил издать ее диссертационную

работу в Голландии, а затем, когда было решено издать работу в нынешнем виде, добился ее публикации в издательстве “Brill” и включил ее в руководимую им серию “Leiden Indo-European Etymological Dictionary”.

2008 г. оказался также очень продуктивным в творчестве Е.Е. Кузьминой. Наконец вышла завершенная в 2006 г. книга «Арии – путь на юг» под редакцией М.Н. Погребовой, а в Казахстане В.В. Ткачев мужественно напечатал книгу «Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности». Казалось бы, навсегда потерянная, рукопись этой книги, утвержденной в печать в Москве в 1982 г., а в 1986 запрещенной к изданию, нашлась в Бонне. (В свое время здесь должен был выйти немецкий перевод под редакцией профессора Г. Мюллера-Карпе, и таким образом русский оригинал рукописи оказался сохраненным в Германии.) Для того чтобы объяснить перипетии книги и непростую историю автора, Е.Е. Кузьмина предпослала книге автобиографическое предисловие «Капля реки».

В том же 2008 г. профессор Пенсильванского университета В. Майер (США) опубликовал английский перевод уже давно написанной книги «Предыстория Великого шелкового пути» (The Prehistory of the Silk Road). Эта публикация вызвала в США живые отклики. Русское издание книги, написанной по рекомендации и под редакцией академика Г.М. Бонгард-Левина, лежало в издательстве с 2005 г. и увидело свет только в 2009 г. (издательство по своей инициативе выпустило переиздание книги в 2011 г.). В 2010 г. вышло расширенное переиздание книги 1977 г. под названием «Искусство и мифы бактрийцев и скифов: в стране Кавата и Афрасиаба».

Таким образом, за четыре года благополучно увидели свет шесть монографий, находившихся в портфеле Е.Е. Кузьминой и представляющих основные результаты ее исследований в области археологии, индоиранистики, экологии и культурных связей населения степей Евразии в эпоху бронзы. В научные публикации органически вошли и автобиографические заметки*, позволяю-

*См.: Кузьмина Е.Е. Вместо предисловия // Кузьмина Е.Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев. М., 2002. С. 5–14; Она же. Капля реки // Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. Актобе, 2008. С. 4–60.

щие живо почувствовать ту атмосферу, в которой проходили исследования и дискуссии.

* * *

Елена Ефимовна Кузьмина является заслуженным деятелем науки Российской Федерации (2002), членом-корреспондентом Германского археологического института (1982), действительным членом Европейского общества иранологии (1996), академиком Российской академии естественных наук (1998), действительным членом Ассоциации археологии Южной Азии, экспертом Центральноазиатской комиссии ЮНЕСКО по

приданию статуса памятника Всемирного наследия (2009).

Е.Е. Кузьмина награждена медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». В 2009 г. российский историк Елена Ефимовна Кузьмина стала лауреатом Международной премии Исламской Республики Иран «Книга года» за монографию о происхождении индоиранцев, изданную в 2007 г. на английском языке издательством «Брилль». Е.Е. Кузьмина награждена почетной грамотой XVIII Уральского археологического совещания за вклад в изучение истории Волго-Уральского региона (2010).

Л.С. Перепелкин

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЧЕСТЬ ЕЛЕНА ЕФИМОВНЫ КУЗЬМИНОЙ

Как и многие из «читающей» публики моего поколения, я познакомился с Еленой Ефимовной заочно – по ее текстам. Тогда, в 1970-е и 1980-е гг., тематика индоевропейских и индоиранских истоков современной цивилизации была в моде, на эту тему было написано (или переведено) множество классических трудов: В.В. Иванова, В.Н. Топорова, Ж. Дюмезиля, Л.Б. Алаева, Д.С. Раевского, Е.Е. Кузьминой – всех с ходу не вспомнишь, да и ни к чему... Ни к чему, потому что новаторские и романтические открытия того времени – в археологии, истории, лингвистике, фольклористике – стали «родительским наследством» современных групп узких специалистов. Собственно, в этом и состоит движение науки – в переходе от творческого прозрения в некую «инженерную» фазу.

Я никогда специально не занимался тематикой, в которой Елена Ефимовна создала свои основные работы. Как и всех дилетантов, меня, в первую очередь, привлекает в трудах Елены Ефимовны и ее единомышленников очевидная живая связь между далеким прошлым и современностью: эту связь я особенно остро почувствовал, когда был лет семь назад в Северной Осетии. Кажется, такое «обращение» с наукой историей сейчас возвращает свои права.

Не помню, как это произошло, но я оказался руководителем сектора РИК, в котором работает Елена Ефимовна Кузьмина. Звучит это так, как если бы я руководил работой, допустим, Клода Леви-Стросса или Вяч.Вс. Иванова. Смешно, но факт. Конечно, пиетет, но, конечно, и «трудовая дисциплина». Куда без нее? О пиетете уже немного сказано, но вот о «трудовой дисциплине»!.. Елена Ефимовна могла бы поучить всех российских заведующих секторами и отделами вместе взятых.

По моим впечатлениям, дело обстоит так. Индивидуальная исследовательская программа спланирована на много лет вперед. Конечно, с учетом того, что уже сделано в международной историографии и что надлежит сделать впредь. Формируется план работ на предстоящий год – исходя из того, что реально сделать в предстоящем «исследовательском году». И конечно, обязательные «внешние веяния» – приглашения на конференции, участие в семинарах, оппонирование, рецензии и т.д. Сейчас я пишу о «банальностях научного быта», но они уже, к сожалению, имеют по большей части «внешние», а не «внутренние» стимулы. Философский вопрос «нужна ли план-карта Елене Ефимовне?» я оставляю на совести будущих биографов. Самое трогательное, что я видел – прибытие немолодой уже женщины по зимней гололедице на ученый совет. Ученый совет должен гордиться.

Заключительный аккорд. Не так давно я участвовал в конференции, где среди выступающих была Елена Ефимовна. Как помню, конференция была посвящена российско-иранским отношениям. Там говорилось много чего умного, полезного и политически корректного. Вероятно, никто и ничего из этого уже и не помнит. Но вот выступление Елены Ефимовны, скорее всего, запомнилось всем. Об этом можно судить, по крайней мере, по ее «порции» вопросов и аплодисментов. Сколько я помню, речь шла о том, что общепризнанная концепция происхождения индоевропейцев неверна в хронологическом отношении. Верна или нет концепция самой Елены Ефимовны – об этом я судить не могу. Но что это интересно всем – я видел своими глазами. Интерес в жизни – это и есть сама жизнь.

БЕЛЫЙ ПАРОХОД

С Еленой Ефимовной Кузьминой мы познакомились в середине 1980-х гг. Ухоженная, интеллигентная дама пришла в тогдашний НИИ культуры заведовать легендарным и ныне «покойным» отделом музееведения. Это были переломные годы и для страны, и для отечественного музейного дела – шла смена мировоззрений и поколений. Уходили «курлаты» и «михайловские», приходили молодые, азартные люди, готовые создавать новые музеи и новые музейные теории.

Я учился в аспирантуре, писал диссертацию, сочинял музейные сценарии и мало интересовался институтскими сплетнями. Но слухи просто догнали меня в каменных коридорах нашего «памятника культуры». Говорили, что новая начальница со скандалом ушла из Института археологии, что она ничего не смыслит в музеях и что никакой перспективы нам, аспирантам в частности, не светит. Надо признаться, эти три тезиса меня не напугали. Во-первых, я люблю скандальных людей в хорошем, творческом смысле слова. Во-вторых, дилетантка-начальница не обременена музееведческими клише, типа «социальных функций музея», и ей проще воспринять инновационные идеи. Наконец, в-третьих, меня прикрывал научный руководитель, тогда директор института В.Б. Чурбанов. Собственно говоря, он и пригласил Е.Е. Кузьмину на эту беспокойную должность.

Наши отношения складывались поначалу сложно. Я знал, что Елена Ефимовна – крупный специалист по археологии и культуре Востока, что она автор серьезных работ в данной области. Все это вызывало уважение. Но дело в том, что я, по молодости лет, не признавал над собой никакого начальства, кроме В.Б. Чурбанова. А ведь заведующий отделом, как известно, должен руководить, указывать и направлять...

Все решила одна совместная командировка. Точнее – путешествие по Волге и Каме на белом пароходе. В течение двух лет мы с Н. Никишиным, Е. Галкиной и екатеринбургскими художниками работали над проектом новой, оригинальной экспозиции в Музее истории и культуры Среднего Прикамья, расположенном в удмуртском городке Сарапул. Руководство города решило устроить «всенародное обсуждение» спорного проекта, зафрахтовало пароход, собрав на нем известных и заинтересованных лиц, и отправило этот «ноев ковчег» по водам великих российских рек...

У проекта были не только доброжелатели, но и оппоненты. Помню, как все они собрались на корме нашего судна и после моего выступления стали бурно критиковать представленный макет будущей экспозиции. Следует отметить, что в проекте отсутствовали хронология и этнографическое наукообразие. Все строилось на поэтической мифологии и символических артефактах, которые размещались в непривычных, метафорических витринах. Оппоненты давили до выступления Е.Е. Кузьминой. Взяв слово, она мягко и интеллигентно стала опровергать их доводы, комментируя локальные экспозиционные образы примерами из мифопоэтической культуры народов Востока. Наш проект как будто ожил, приобрел дополнительные яркие краски, заставил зрителей по-новому взглянуть на будущее подобных музеев. Напомню, что это была поддержка известного специалиста, ученого, доктора исторических наук...

Вечером, пытаясь снять напряжение, я выпил коньячку и вышел на палубу. Дискуссия продолжалась на фоне летнего заката и темно-теплой воды. Я вдруг по-новому взглянул на Елену Ефи-

мовну. Я увидел молодую, красивую женщину, с улыбкой смотрящую на пьяного проектировщика. Я подошел и стал читать стихи, я пригласил ее на танец, я... В общем, меня вовремя увели с палубы в паровой буфет продолжать праздник.

С тех пор наши отношения стали дружескими. Елена Ефимовна помогала, чем могла. А помощь была крайне необходима. Ведь из десятка проектов, как правило, реализовывались от силы один или два. Приходилось писать, по сути, в стол. И вот однажды, услышав, что у меня есть сценарий музея Велимира Хлебникова в Астрахани, отвергнутый местной властью, моя начальница предложила опубликовать его в... сборнике научных трудов, посвященном проблемам культуры Востока и составленном из сугубо научных статей. Я с благодарностью

согласился. Сценарий был опубликован практически без купюр, тем самым создан прецедент. С тех пор я периодически публикую свои проекты, с благодарностью вспоминая Е.Е. Кузьмину.

В середине 1990-х гг. наши пути не то чтобы разошлись, но пересекаться стали реже. Мы встречались в стенах Российского государственного гуманитарного университета, на кафедре музеологии, где профессор Кузьмина читала спецкурс «Музеи мира». Помню, как студенты с уважением и любовью отзывались о лекциях Елены Ефимовны, открывавшей им музейный мир Европы. Мы встречались и встречаемся на заседаниях ученого совета Российского института культурологии. Мы вспоминаем прошлое, наш бывший отдел и сарапульский Белый Пароход, где я впервые пожалел, что слишком поздно родился...

WHENCE CAME THE INDO-ARYANS? BY ELENA KUZ'MINA

Dr Elena Kuz'mina's work is very important and solidly grounded. It will, for many years to come, serve as a compendium of data on the origins not only of the Indo-Aryans but also of the Indo-Iranians, in general*.

For a student of Indo-European origins, specifically of Indo-Iranian origins, the author presents a corpus of archaeological data carefully and scientifically checked from about five hundred sites. Moreover, using the *method of ethnic indicators*, which she has elaborated**, Dr Kuz'mina is able to join up the archaeological-cultural units with certain ethnic

units and to show that linguistic data (i.e. terminology set in a historical context) can be used as ethnic indicators too when juxtaposed with archaeological and social anthropological data. Hence the bearers of a certain archaeological culture can securely be identified with the bearers of a language of a certain group or with their ancestors.

In this particular case, the Andronovo archaeological community in Kazakhstan is identified with the ancestors of the Indo-Aryan languages in Hindustan.

A special chapter is devoted to the methods of ethnic reconstruction. Another is devoted to the textual evidence for the material culture of the Indo-Iranians, as compared to that of the Andronovo culture. The latter chapter is divided into the following sub-chapters: *Settlements and Dwellings* (note the hesitant identification of the Avestan *vara* – a round structure serving as a son of mythical Zoroastrian Noah's Ark – with a certain Andronovo-Srubnaya settlement type, as, e.g., Liventsovka in the Don region, or Arkaim in the south of the Chelyabinsk region); *Pottery Craft*; *Mining and Metal-working*; *Clothing*; *Transportation*; and *Horse-breeding*. Each subject is treated in detail and in an unbiased and comprehensive way. Close analogies with the cultures linguistically ascertained as Indo-Iranian are brought to the reader's attention.

The inferences presented in the next chapter on *Ethnogenesis of the Indo-Iranians and Ethnic Attribution of the Andronovo Cultural Unity* are what is to be expected after reading the preceding ones: the Andronovians are identified as Indo-Iranians (specifically, as Indo-Aryans) by a retrospective method, viz. by identifying certain specific features of their

*The author has examined and collated material from nearly five hundred archaeological sites and dozens of museum and private collections. Furthermore, she has taken part in social anthropological expeditions and has even turned to criminologists in order to distinguish, by examining fingerprints, between pottery-making as a male or female handicraft

**Ethnic indicators, as formulated, are specific cultural features that cannot be explained by adaptation to ecological conditions or to the type of economy. Rather, each represents a quirk of development and should, if possible, be verified by juxtaposition with linguistic data, i.e. with the inherited specific terminology in a later culture with a known linguistic affiliation. Moreover, the author suggests six more methods of verification of the suggested ethnic affiliation of a given archaeological culture.

The ethnic indicators in the particular case of the Andronovo culture are: (1) the absence of swine in the domestic herd (a feature shared by the Semites. – I.M.D.); (2) the presence of the Bactrian camel; (3) the special role of horse-breeding; (4) the special role of horse-drawn chariots and of the cult of the horse; (5) the technology of making vertically oriented tripartite clay vessels using the method of clay-ring modelling; (6) pots of a unique quadrangular form; (7) the rite of cremation; and (8) houses with high roofs, unknown in the Near East and Harappa.

material culture with specific terminology in Indo-Aryan (but not other Indo-European) languages, and with the heritage of isolated mountain groups among modern Indo-Iranians. Contacts of Indo-Iranians with other ethnic entities are analyzed as comparative data on the art and mythology of the Indo-Aryans and those of Andronovo (insofar as its mythology can be reconstructed). Note that the author refuses (rightly, in my opinion) to discuss the hypothesis of Th.V. Gamkrelidze and V.V. Ivanov, who pretend to have proved the Near Eastern origin of the Indo-European language family (including the Indo-Iranians) and their wandering from south to north. The complete incompatibility of the material culture of the Near East as well as of the pre-

Indo-Aryan Hindustan with the material culture of the Euroasiatic steppe zone and of Vedic India is demonstrated in detail.

The last chapter of the book is a summing up of the evidence, showing that the Andronovians were Indo-Iranians. The Fedorovians, insofar as they did not migrate to Siberia would be the ancestors of Indo-Aryans (in anthropological terms, modern Indians, of course, are also descendants of the Proto-Dravidians of Harappa, and so on). The book is a landmark in the study of Indo-Iranian origins; its reading is a must for the Indo-Iranian scholar and for the archaeologist interested in early Iran, Central Asia, or India. And it is to be hoped that it will soon be translated into English to become a part of the world scholarship.

«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ...»

В середине января 2006 г. я имел честь представлять на заседании археологической секции экспертного совета Российского гуманитарного научного фонда монографию Е.Е. Кузьминой «Культура пастушеских племен Средней Азии в эпоху бронзы». В своем заключении я отметил очень высокое качество этой работы и предложил оценить ее высшим баллом по принятой в РГНФ шкале – на пять с плюсом, а также напечатать статью об этой монографии в «Вестнике РГНФ». Спустя некоторое время я вновь перечитал монографию, и она произвела на меня еще более сильное впечатление: глубоко научное содержание сочетается в работе с серьезнейшим общественно-политическим зарядом.

Общепризнано, что европейская цивилизация покоится на фундаменте античной, преимущественно греко-римской цивилизации. В новейших исследованиях установлено, что и передневносточная и североиндийская цивилизации также имеют в качестве одного из устоев греко-римское основание, в значительной мере размытое после арабского завоевания. И тут возникает еще один, несравненно более сложный, вопрос: что явилось фундаментом самой античной цивилизации?

Поиск ответа на этот вопрос начинается в самом конце XVIII в., когда В. Джонс, изучая язык древних индийцев – санскрит и древнейшие языки европейских народов, сумел показать, что между ними существовало значительное сходство несмотря на многие тысячи километров, отделявших древних жителей Северного Индостана от древних жителей Греции, Рима и других европейских территорий. Данное сходство В. Джонс прозорливо объявил результатом общего происхождения первоначально проживавших вместе,

а затем расселившихся по ойкумене племен. Появление книги В. Джонса (1786) обозначило новую веху в изучении истории огромной группы евразийских народов, а позже оказалось, что в число индоевропейских народов следует также включить множество азиатских народов и, прежде всего, иранцев.

XIX в. прошел под знаменем бурного развития лингвистики и филологии. На протяжении этого столетия и в начале следующего были расшифрованы многие памятники письменности, и число древних народов, говоривших на ранее непонятных индоиранских языках, значительно возросло. Помимо исследований осуществлялась публикация древних текстов и их европейских переводов – достаточно упомянуть знаменитую английскую серию “Sacred Books of the East”, основанную М. Мюллером, знаменитый «Петербургский словарь» или «Древнеиранский словарь» Х. Бартоломе (Bartholomae Ch. Altiranisches Wörterbuch zusammen mit den Nacharbeiten und Vorarbeiten. Berlin, 1904; Idem. Zum altiranischen wörterbuch nacharbeiten und vorarbeiten von Ch. Bartholomae. Strassburg, 1906). Сложилось несколько школ сравнительного языкознания, которые выработали строгие системы определения соотношения различных языков и языковых групп. Большим успехом лингвистической науки стала реконструкция праязыков – древнеиранского и др. Сопоставление всего накопленного материала по отдельным языкам и языковым группам позволило подойти к реконструкции общеиндоевропейского языка в целом (Pokorny J., 1959). На основе языкового фонда этого языка делались небезуспешные попытки очертить приблизительный ареал индоевропейской прародины.

Одновременно проводились ареальные исследования контактных зон, заимствований и влияний между древнейшими индоевропейцами и неиндоевропейской языковой средой. Этому способствовали исследования памятников письменности доиндоевропейского населения, например в Индии и др. Стали известны новые места находок памятников письменности с индоиранскими терминами и числами. Очень существенными результатами ознаменовались и топонимические исследования, изучение древних имен и их исторических пластов.

В XX в. параллельно шло изучение археологических памятников тех народов, которые могли представлять древних индоевропейцев, в частности индоиранцев. Разрабатывалась их хронология, выяснялись характерные признаки, которые были свойственны этим племенам. Проблемы материальной культуры и хозяйства, жизненного уклада, культово-мифологических представлений, семьи и многое другое были в какой-то мере освещены.

Одновременно были получены, впрочем достаточно скудные, данные по палеографии, шире – по палеоэкологии, а также – материалы для характеристики антропологических типов населения, их соотношения и взаимосвязи. В конце XX – начале XXI в. стали осуществляться исследования на генетическом уровне, составление и сопоставление спектров ДНК древнего населения, их сравнение между собой и с данными о современном населении этих мест. Общий процесс развития лингвистики, филологии, археологии, антропологии, изучение мифологии и других связанных с этой проблемой данных позволил и выработать новые подходы, и предложить новые решения.

Одним из важнейших направлений продолжает оставаться исследование происхождения индоиранцев на фоне решения вопроса о происхождении индоевропейцев. При этом также возникает вопрос о распространении индоиранских племен, их появлении на тех территориях, которые они занимают сейчас. Аналогичные вопросы возникают и при исследовании родственных им древнеиндийских племен.

Исследователями было предложено несколько (не менее пяти!) взаимоисключающих гипотез о происхождении и распространении индоиранцев. Одна из них предполагает, что прародиной индоиранцев был ареал припонтийских степей, из которого они впоследствии продвинулись через

Среднюю Азию и частично Кавказ в Центральную Азию, включая Северный Индостан. Другую гипотезу можно условно назвать переднеазиатской, третью – бактрийской или бактрийско-маргианской, есть приверженцы и у индийской гипотезы. Каждая имеет немало сторонников среди ученых и, так сказать, «болельщиков», которые используют научные, часто недоказанные положения в политических целях и строят на них целые монбланы националистических, шовинистических и даже человеконенавистнических утверждений, развивая совершенно фантастические теории (впрочем, последним порой грешат даже серьезные ученые).

Следует отметить, что перечисленные выше гипотезы создавались преимущественно лингвистами и филологами, которые не знали в деталях археологического материала. Но дело в том, что любая гипотеза относительно происхождения индоиранцев неизбежно предполагает решение вопроса о путях их миграций к области последующего проживания, а также об их взаимоотношениях с местными племенами (народами). Наибольший материал для решения этих вопросов дают археологические исследования, разумеется, с учетом палеоантропологических и палеозоологических свидетельств. Древняя миграция отнюдь не была быстрой военным походом, подобным, скажем, чингисхановскому; древняя миграция на далекие расстояния протекала не годы и даже не десятилетия, а сотни, порой – многие сотни лет. Вдоль путей передвижения возникали поселения и некрополи, пришельцы нередко занимали уже существующие поселения; подобные процессы протекали после прочного оседания на какой-либо территории.

В осмыслении и интерпретации археологических материалов есть свои (и немалые) сложности. Правильно «прочитать» и убедительно интерпретировать огромный фонд археологических источников, заключения антропологов, специалистов по доместикации, результаты химических, минералогических, спектральных анализов, заключения палинологов и дендрохронологов, исследователей по четвертичной геологии может лишь специалист высочайшей квалификации, которых не только в России, но и во всем мире всего несколько. Для решения своей задачи он должен свободно ориентироваться как в общей лингвистике, так и в лингвистике индоевропейских

языков, в истории и мифологии, в исторической этнографии и древних письменных источниках... Такая воистину междисциплинарная задача требует обширной и глубокой подготовки во многих областях.

Работа, выполненная по столь обширной программе, а именно таким стал труд Е.Е. Кузьминой, является культурологической, и, безусловно, это огромный вклад в культурологию Древнего мира. Е.Е. Кузьмина упоминает, что этот труд – плод пятидесятилетней работы, и это действительно так. В 1954 г. моя экспедиция раскапывала в Северном Таджикистане, в пустыне Кайрак-Кумы поселения племен пастушеской культуры эпохи бронзы. Помню, как при пятидесятиградусной жаре, стоя на остатках развеянного ветрами поселения № 16, я, тогда юный археолог, восхищался эрудицией и смелостью еще более юной

красавицы археолога Елены Кузьминой. Сейчас, когда мы оба, увы, уже далеко не молоды, я прочитал этот труд, первые зарницы которого я наблюдал полвека назад, с еще большим восхищением.

Полагаю, что ее труд делает честь нашей науке, укрепляя ее авторитет, и вместе с тем выбивает почву из-под всякого рода антинаучных националистических бредней. Вместе с тем я полагаю, что его название лишь частично отражает содержание книги; поэтому я бы осмелился предложить для нее иное название: «Индоиранцы: проблема происхождения ариев».

Я поздравляю автора и Российский институт культурологии, в котором был создан столь выдающийся и уникальный труд, который можно охарактеризовать следующими словами: *epoch-making work*.

С.С. Березанская, В.В. Отрощенко

ЕЛЕНА ЕФИМОВНА КУЗЬМИНА И АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНЫ

Конечно, образ Елены Ефимовны, в первую очередь, ассоциируется со степными просторами Центральной Азии и Казахстана, где долгие годы она вела раскопки, материалы которых послужили основой для цикла ее блестящих работ об индоиранцах.

Земли Украины лежат сравнительно отдаленно от мест основных раскопок Елены Ефимовны. Однако она всегда держит нашу страну в сфере своих научных интересов. В свою очередь, украинские археологи с большим вниманием и несомненной пользой для себя знакомятся с ее многочисленными и всегда увлекательными работами.

Интерес юной студентки к древностям Украины зарождался 60 лет назад, когда Е.Е. Кузьмина несколько сезонов провела в знаменитой Скифской степной экспедиции Б.Н. Гракова. Работа на раскопках знаменитого Каменского городища породила стабильный интерес к изобразительному искусству и духовной культуре скифов. Участие в исследованиях курганов эпохи бронзы в зоне затопления несостоявшегося Молочанского водохранилища подтолкнуло начинающего археолога к изучению археологических культур эпохи бронзы. Нельзя не вспомнить о плеяде российских археологов, собравшихся в 1952 г. на курганах у г. Велький Токмак и с. Заможнэ в Запорожской области: К.Ф. Смирнов (заместитель начальника экспедиции), А.И. Мелюкова (начальник отряда), студенты О.С. Гадзяцкая, Е.Е. Кузьмина, М.Н. Погребова, Э.О. Берзин, Г.А. Федоров-Давыдов [Смирнов, 1960]. Раскопки курганов, начатые российскими коллегами у с. Заможнэ (бывш. Альтмунталь), были продолжены через 30 лет Запорожской экспедицией Инсти-

тута археологии АН УССР. Они ознаменовались открытием могильников с моделированными черепами ингульской катакомбной культуры [Отрощенко, Пустовалов, 1991] и погребения кипчакского хана (Тигака?) в Чингульской Могиле [Отрощенко, Рассамакін, 1986]. В том же 1952 г. Елена Кузьмина, возможно, мечтала о чем-то на макушке Чингульской Могилы (самой высокой в округе) прямо над еще не потревоженной усыпальницей хана. Однако ее полевые открытия были еще впереди и вдали от украинских степей.

Особого внимания с нашей стороны заслуживают исследования Е.Е. Кузьминой по андроновской проблематике. Это естественно, так как давно стало понятно, что андроновскую и срубную общности связывают много общих черт, объясняющихся наличием элементов генетического родства. Особенно плодотворными оказались раскопки Елены Ефимовны в Южном Приуралье, в частности, в Еленовском микрорайоне. Здесь исследователь в русле веяний новой археологии использовала метод изучения микрорайона путем раскопок всех видов памятников, выявленных в этом районе, — поселений, могильников, рудников — и с привлечением самых разнообразных естественно-научных, стратиграфических и других приемов [Кузьмина, 1962 и др.]. Полагаем, что исследователи, осуществляющие ныне раскопки на объектах Картамышского микрорайона на Донецком кряже, многое позаимствовали из опыта Е.Е. Кузьминой [Бровендер, Отрощенко, Пряхін, 2010].

Уже первая книга «Металлические изделия энеолита и бронзового века Средней Азии» [Кузьмина, 1966] поразила числом изделий, удач-

ным, точным описанием вещей, убедительной типологией, хронологическими и культурными определениями. И все это подано на фоне широких аналогий, включающих и ареал срубной общности. Полагаем, что это одна из лучших работ, посвященных анализу металлических артефактов энеолита – бронзы. Археологи, в том числе украинские, постоянно находят для себя в этой и других близких по тематике монографиях и статьях Е.Е. Кузьминой много интересного, а потому безмерно благодарны ей за собранную ценную информацию и высказанные плодотворные идеи.

Уже сформировавшимся исследователем Елена Ефимовна практикует достаточно регулярные посещения Украины. Неоднократно она приезжала в Киев как оппонент на защиты диссертаций (Н.Н. Чередниченко, В.В. Отрощенко), живо откликалась на приглашения принять участие в работе научных конференций, где всегда выступает с важными и актуальными для украинской археологии докладами. Общение продолжалось на симпозиумах в археологических центрах России и Казахстана, особенно на тематических совещаниях по проблемам срубной или андроновской культурной общности. В новом тысячелетии возможности общения расширились за счет контактов исследователей двух стран на всемирных археологических форумах. Остался в памяти постановкой кардинальных проблем и острыми дискуссиями симпозиум в Кембридже «Поздняя доисторическая эксплуатация евразийских степей» (12–16 января 2000 г.), где Е.Е. Кузьмина заявила очередную глобальную тему «Происхождение пастушества в степях Евразии» [Kuzmina, 2003].

Исследования памятников андроновской культуры в Центральной Азии, Казахстане и Сибири подвели Елену Ефимовну к созданию главной концепции всей ее жизни – серии монографий, посвященных происхождению и истории индоариев. Своеобразной увертюрой к этой большой теме стала резонансная брошюра «Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий». В ней, с опорой на новейшие исследования украинских археологов (С.С. Березанская, С.Н. Братченко, И.А. Писларий, И.К. Свешников, Н.Н. Чередниченко, И.Т. Черняков, Т.А. Шаповалов) сформулирован принципиально важный тезис о роли западного импульса в сложении раннеандроновских памят-

ников новокумакского типа [Смирнов, Кузьмина, 1977].

Развивая индоиранскую тему, Е.Е. Кузьмина привлекает для ее конструктивного комплексного разрешения ретроспективный анализ, данные лингвистики, топонимии, гидронимии, этнографии [1981]. Объединение накопленных за 30 лет полевой практики знаний материальной культуры андроновской общности с проблематикой этногенеза индоиранцев позволили Елене Ефимовне выйти на защиту докторской диссертации [Кузьмина, 1988]. В тот сложный период ее жизни украинские археологи с полным на то основанием поддержали коллегу своими отзывами на рукопись и автореферат диссертации.

Уже в 90-е годы XX столетия вышла в свет монография «Откуда пришли индоарии?» [Она же, 1994], которая привлекла широтой охвата материала и новой методикой – атрибуции, сопоставления отдельных категорий инвентаря с данными о языке и мифологии ариев. Однако Елена Ефимовна подошла к вопросу, поставленному в заглавии книги, прежде всего как археолог, блестяще знакомый со всем разнообразием материальной культуры. И это привлекает, в первую очередь, археологов, в том числе и украинских. Мы не знаем в настоящее время книги более интересной и более убедительной. Хотя, несомненно, в ней есть и спорные моменты. Украинских археологов, особенно специалистов по бронзовому веку, занимает в ней все, от целого до отдельных сюжетов – западные связи и западный компонент в сложении индоиранской общности, направления (пути) продвижения индоиранских народов на юг, в Центральную Азию, тема транспорта (колесницы) и транспортных животных, в первую очередь, коня.

Материалы, имеющиеся в Украине, по всей этой проблематике достаточно велики и в ряде случаев принципиально важны. Елена Ефимовна это понимает, говорит и пишет в серии докладов и статей, прочитанных или изданных в Одессе, Донецке, Киеве [Кузьмина, 1972, 1979, 1987]. Наиболее дискуссионным, но и наиболее важным моментом в работах Е.Е. Кузьминой об индоариях представляется признание того, что определяющим в сложении раннеандроновской (синташтинской в нашем понимании) культуры является западный импульс восточноевропейских культур, а именно – катакомбной, многоваликовой керамики (бабинской), абашевской, локализованных в зна-

чительной степени или, в последнем случае, частично в Украине.

Работы, изданные Е.Е. Кузьминой в последнее десятилетие, являются во многом подведением итогов активной жизни в археологии. Прежде всего, это большая англоязычная книга о происхождении индоиранцев [Kuzmina, 2007]. Затем комплексное исследование «Арии – путь на юг» [Кузьмина, 2008]. Отметим хорошее знание автором украинских работ по теме, появившихся в последние два десятилетия и задействованных в названных монографиях. Из этого можно сделать вывод, что контакты между бронзовиками двух стран не прерываются и носят весьма продуктивный характер.

Назовем еще две темы, которыми Елена Ефимовна занимается в последние годы и которые представляют несомненный интерес для украинской науки. Е.Е. Кузьмина разрабатывает проблему влияния экологии на развитие хозяйства степного населения, выдвигая, вслед за Ф. Броделем и работами французской экологической школы, предположение, что причиной резких смен исторического развития является не пассионарность Л.Н. Гумилева, а резкие смены природных условий. Е.Е. Кузьмина подчеркивает, что это особенно важно для степей, где смена природных условий может привести к массовому падежу скота, масштабным миграциям и кардинальной смене хозяйства, например к появлению номадизма. Отметим, что эти вопросы находятся в сфере внимания и украинских археологов и получили в их работах свою, несколько иную, трактовку, что указывает на необходимость дальнейших исследований этих вопросов.

И наконец, следует остановиться еще на одной теме, разрабатываемой Еленой Ефимовной и также близкой украинским археологам. Невзирая на важность индоиранской темы и огромный вклад, внесенный в ее разработку Е.Е. Кузьминой, любимой своей тематикой в археологии сама она считает семантику скифского искусства, а лучшими своими работами – статьи о Чертомлыкской амфоре, сценах терзания в скифском искусстве и тематически близкие работы по Амударьинскому кладу [2002].

Изучением скифского искусства занимались и занимаются многие искусствоведы и скифологи, опубликовавшие ряд ценных работ. Однако исследования Е.Е. Кузьминой, метод которой за-

ключается в фиксации в искусстве скифов отраженных четырех уровней мифологии – собственно скифского, индоиранского, индоевропейского и универсально-мифологического, безусловно, весьма оригинален. Нам представляется, что возможностями этого перспективного метода, требующего широких знаний в разных областях скифской духовной культуры, наши украинские коллеги пользуются еще в недостаточной степени.

Е.Е. Кузьмина всегда стремится быть на острие научного поиска и принимать участие в исследованиях и обсуждениях актуальнейших тем, волнующих широкие круги общественности, притом не только научной. В таком контексте следует рассматривать ее монографию о Великом шелковом пути [2009]. В ней автор отодвигает сложение этого пути, который был вначале конный, а затем «бронзовый», минимум на два тысячелетия, к середине III тыс. до н.э. Определение конкретных направлений и ответвлений Великого шелкового пути еще требует дополнительных поисков, и, полагаем, здесь нужны будут материалы археологических комплексов Украины. Погребения с повозками, остатки упряжи, псалии позволяют наметить определенные широтные и меридиональные перманентные передвижения в пределах степной и лесостепной Украины вплоть до карпатских перевалов и далее на запад [Otroshchenko, 2009].

Нельзя удержаться от комплимента Елене Ефимовне как последовательному борцу с призрачными энеолитическими «всадниками». В книге о шелковом пути она еще раз анализирует аспекты этой сложной проблемы [Кузьмина, 2009]. Итоговый вывод: «Знакомство с лошастью не означало ее использование воинами-всадниками» – звучит приговором вычурным построениям немалого числа романтически настроенных серьезных исследователей, базирующихся на тезисе о взнузданном верховом коне эпохи энеолита [Там же, с. 36]. Если признать, вопреки отсутствию подтверждающих фактов, наличие верхового боевого коня еще в медном веке, то можно ставить вопрос о «почти шестидесятивековой», а не тридцативековой истории номадизма [Черных, 2009]. Пролонгации дискуссии здесь ну никак не избежать.

Поэтому Елена Ефимовна ищет и находит практические пути для более основательного раз-

решения проблемы верхового коня в качестве руководителя проекта «Доместикация и раннее использование коня в системе динамики экологии Восточно-Европейских степей по данным археологии, антропологии, палеогеографии и палеозоологии». Результатом его стала коллективная монография, подготовленная и изданная с участием украинской стороны в лице А.Н. Усачука. В заключении этой книги подчеркнуто, что в энеолите и раннем бронзовом веке коней разводили как дополнительный источник мясной пищи [Бочкарев и др., 2010].

Еще раз хочется вернуться к западному импульсу в процессе формирования южноуральского очага культурогенеза. В решении этого вопроса не обойтись без более глубокого понимания роли культуры многоваликовой керамики (бабинской) в эпоху бурных трансформаций при переходе от средней бронзы к поздней. Признаки названной культуры, с одной стороны, встречены в Синташте и Аркаиме, а с другой – в шахтовых гробницах Микен [Березанская, 1978, 1986]. Формализация культуры многоваликовой керамики, в свое время, поставила на повестку дня вопрос о наличии заметного промежутка времени между катакомбными и срубными культурами не только в Украине, но и в регионах к востоку от нее [Она же, 1960]. Осознание этого факта и выделение промежуточных культурных образований растянулось на долгие десятилетия. Выделение Е.Е. Кузьминой и К.Ф. Смирновым памятников новокумакского типа [Смирнов, Кузьмина, 1977] стало лишь первым, но принципиально важным шагом в этом направлении в системе российских древностей. Ощутимый прогресс здесь был достигнут лишь в последнее время [Мимоход, 2010; и др.]. Короче, это еще одна большая тема, требующая дальнейшей разработки международным сообществом археологов с использованием позитивного опыта и подходов археологических школ разных стран.

Елена Ефимовна любит Украину и сравнительно часто бывает здесь, притом не только в столице, но и в Одессе, Житомире, Донецке и других городах нашей страны. В недавнем письме к одному из авторов этого текста она пишет, что ей хотелось бы «под занавес» пройти по киевским улочкам, постоять над Днепром. У Вас, дорогая Елена Ефимовна, в Киеве много друзей, и все мы желаем исполнения Ваших и наших желаний.

Список литературы

- Березанская С.С.** Об одной из групп памятников средней бронзы на Украине // СА. – 1960. – № 4. – С. 26–41.
- Березанская С.С.** Предсрубный культурно-хронологический горизонт на Украине // Древние культуры Поволжья и Приуралья / Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1978. – Т. 221. – С. 82–83.
- Березанская С.С.** Культура многоваликовой керамики // Культуры эпохи бронзы на территории Украины. – Киев, 1986. – С. 41–43.
- Бочкарев В.С., Бужилова А.П., Епимахов А.В., Клейн Л.С., Косинцев П.А., Куланда С.В., Кузнецов П.Ф., Кузьмина Е.Е., Медникова М.Б., Усачук А.Н., Хохлов А.А., Черленок Е.А., Чечушков И.В.** Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010. – С. 344.
- Бровендер Ю.М., Отрощенко В.В., Пряхін А.Д.** Картамысский комплекс гірничо-металургійних пам'яток бронзового віку в Центральному Донбасі // Археологія. – Київ, 2010. – № 2. – С. 87–101.
- Кузьмина Е.Е.** Археологическое обследование памятников Еленовского микрорайона андроновской культуры // КСИА. – 1962. – Вып. 88. – С. 84–92.
- Кузьмина Е.Е.** Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии. – М., 1966. – 150 с. – (САИ; вып. В4-9).
- Кузьмина Е.Е.** Находки колес в ямных погребениях и вопрос об этногенезе индо-иранцев, их религиозных представлениях и социальной структуре общества // Тези пленарних і секційних доповідей (результати польових археологічних досліджень 1970–1971 років на території України). – Одеса, 1972. – С. 132–137.
- Кузьмина Е.Е.** Костяные псалы как источник установления хронологии срубно-андроновских племен // Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы: тез. докл. – Донецк, 1979. – С. 79–81.
- Кузьмина Е.Е.** Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических данных // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тыс. до н. э.). – М., 1981. – С. 101–125.
- Кузьмина Е.Е.** О западных связях андроновских племен // Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины. – Киев, 1987. – С. 48–69.
- Кузьмина Е.Е.** Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1988. – С. 6–30.
- Кузьмина Е.Е.** Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М., 1994.
- Кузьмина Е.Е.** Мифология и искусство скифов и бактрийцев: (культурологические очерки). – М., – 2002. – С. 15–102, 199–242.
- Кузьмина Е.Е.** Арии – путь на юг. – М.; СПб., 2008. – 558 с.

Кузьмина Е.Е. Предыстория Великого шелкового пути. – М.: РИК, URSS, 2009. – С. 30–38, 112, 113.

Кузьмина Е.Е. Предыстория Великого шелкового пути. Диалог культур Европа – Азия. – М., 2010. – 240 с.

Мимоход Р.А. Погребения финала средней бронзы в Волго-Уралье и некоторые проблемы регионального культурогенеза // Донецкий археологический сборник. – 2010. – № 13/14. – С. 67–82.

Отрошенко В.В., Пустовалов С.Ж. Обряд моделировки лица по черепу у племен катакомбной общности // Духовная культура древних обществ на территории Украины. – Киев, 1991. – С. 59–84.

Отрошенко В.В., Рассамакін Ю.Я. Половецкий комплекс Чингульского кургану // Археологія. – Київ, 1986. – Вип. 53. – С. 14–36.

Смирнов К.Ф. Кургани біля м. Великого Токмака // Археологічні пам'ятки УРСР. – Київ, 1960. – Т. 8. – С. 164.

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. – М., 1977. – С. 34–39.

Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: феномен кочевых культур. – М., 2009. – С. 500–502.

Kuzmina E.E. Origins of Pastoralism in the Eurasian Steppes // Prehistoric steppe adaptation and the horse. – Cambridge, 2003. – P. 203–232.

Kuz'mina E.E. The Origin of the Indo-Iranians. – Leiden; Boston, 2007.

Otroshchenko V.V. The Bronze Age communication route system in the Northern Pontic area // Baltic-Pontic Studies. – Poznań, 2009. – Vol. 14. – P. 462–474.

АРХЕОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ



«АРИЙЦЫ», «НАРОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ» И ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Как-то незаметно археология стала политической наукой. Впрочем, незаметно для археологов, но отнюдь не для широкой публики. Ее настроения отражают «властители дум» и «выразители народных чаяний», которые с недавних пор без устали рыщут по первобытным джунглям, выискивая там «забытые национальные святыни», «знаки первописьменности», «мудрость предков», «великих и добрых богов», «города русской славы» и прочие ценности, оказывающиеся столь востребованными в век постмодерна и нанотехнологии.

Е.Е. Кузьмина начала свою научную карьеру и получила признание в те благословенные времена, когда вопрос о взаимоотношениях с обществом в научной среде даже не возникал. Все было разложено по полочкам, и каждый занимался своим делом. Ученые выполняли производственные планы по выдаче на-гора крупниц бесценной «научной продукции», компетентные органы надзирали за тем, чтобы эта продукция соответствовала признанной властями «истине», а общество хранило многозначительное молчание. Тогда археологи занимались археологией, физики – физикой, философы – философией, водопроводчики ремонтировали трубы, а дворники мели дворы. А любители «альтернативной истории» довольствовались чтением популярных журналов «Наука и жизнь», «Техника – молодежи», «Химия и жизнь» и, лежа на диване, пребывали в сладких размышлениях о дальних странах и затонувших континентах.

Теперь все не так. Воодушевленные открывшейся свободой люди стремятся быть многостаночниками и все в этой жизни успеть. Математик

хочет создавать «новую хронологию», философ – открывать «допотопную цивилизацию», а журналист – обнаруживать «древнейшее славянское государство». В свою очередь, офтальмолог-эзотерик вдохновенно вещает о «расовых эпохах», а язычник с ностальгией и восхищением вспоминает о своих «палеолитических предках» и их «райской жизни» в гармонии с природой. В современном медиапространстве есть место всем, и каждый с упоением возделывает свою делянку. Героем дня становится не ученый, а неприметный слесарь, прочитавший на досуге «Фестский диск» или невзначай обнаруживший «древнее святилище».

На этом огороде находится своя грядка и для науки, но здесь она выглядит уже не прежней царицей, а скромной труженицей, чьи успехи или неудачи сплошь и рядом остаются незамеченными обществом. На первом плане оказываются не реальные научные открытия и достижения, а умение раскрутить свои идеи, сделать им рекламу и загипнотизировать ими общество. При этом ценность этих идей и последствия их раскрутки мало кого волнуют. Заявить о себе надо здесь и сейчас; главное – не опоздать, засветиться, застолбить место и уже не отпускать внимание публики. А для этого требуется выдавать сенсацию за сенсацией, чем грандиознее, тем лучше. Ее соответствие реальным фактам большого значения не имеет. А кто заметит подвох? Ученые? Но их всегда можно обвинить в «консерватизме», «догматизме», службе неким «заказчикам», заинтересованным в сокрытии или искажении «истины». На худой конец им можно приписать и связи с «секретными службами». Главное – убедить общество в том,

что они якобы намеренно «скрывают правду от народа». Здесь все средства хороши, и, на удивление, они действительно работают: немалая часть публики всему этому искренне верит.

Подавляющему большинству ученых все это малоинтересно. Они занимаются своим профессиональным делом, будучи убеждены в высоком предназначении науки и ее твердых позициях в обществе. Однако именно это сегодня и вызывает сомнения. С одной стороны, наша публика, действительно, отличается высоким образованием, а наука продолжает пользоваться уважением. Но с другой, наша образованная публика никогда не была столь беззащитной перед суевериями, столь склонной поддаваться всевозможным дутым сенсациям и рукотворным мифам, как сегодня. И это становится проблемой, игнорировать которую больше невозможно.

Рассматриваемое явление вовсе не ограничивается Россией. В США его заметили более тридцати лет назад, и Дж. Коул тогда с удивлением и досадой отметил, что некоторые люди воспринимают археологию как форму магии и для них она интересна не научными достижениями, а нездоровыми сенсациями. Он назвал это «культовой археологией», которая готова с энтузиазмом обсуждать определенные утверждения, при этом полностью игнорируя метод и теорию [Cole, 1980]. В 1980-х гг. явление «культовой археологии» неоднократно привлекало внимание специалистов, и некоторые преподаватели даже сочли полезным устраивать такие дискуссии в студенческих аудиториях [Rathje, 1978; Snow, 1981; Riemschneider, 1984; McKusick, 1984; Harrold, Eve, 1987; Williams, 1988; Williams, 1991]. В ходе обмена мнениями возникло понимание того, что за «культовой археологией» часто стоят не столько дилетантизм и популизм, сколько определенные интересы, нередко связанные с идентичностью, национализмом и расизмом (темы, намеченные еще Коулом) и заслуживающие специального антропологического анализа [Michlovic, 1990]. Это дало толчок всестороннему изучению национализма [Silberman, 1989; Kohl, Fawcett, 1995; Atkinson, Banks, O'Sullivan, 1996; Diaz-Andreu, Champion, 1996; Meskell, 1998; Diaz-Andreu, 2001] и расизма [Godson, 2006] в археологии. Сегодня рассматриваемое явление расцвело в России, где немало интеллектуалов азартно соревнуются в использовании археологических данных для построения грандиозных нарративов, прославляю-

щих деяния далеких предков. Впрочем, корни этой тенденции уходят в советские времена, но тогда она оставалась без должного анализа [Шнирельман, 1993, 2003, 2006; Shnirelman, 1996, 2002, 2005].

Как ученый должен реагировать на расхожие мифы о прошлом – игнорировать, иронизировать, разоблачать, терпеливо вести с ними полемику, беспристрастно изучать или же идти им навстречу ради каких-либо сиюминутных выгод? Что стоит за этими мифами – низкая образованность и дилетантизм их творцов, сознательное стремление к самоутверждению путем обретения «славных предков», мобилизация общества на решение определенных политических задач, легитимация неких философских идей с помощью апелляции к длинной исторической перспективе или поиск исторических оснований для создания и укрепления «образа врага»? А может быть, такие, кажущиеся странными профессионалам, представления о прошлом являются выражением некоего эзопова языка, пытающегося говорить об острых проблемах современности с помощью эвфемизмов и метафор?

Как бы ни решался этот вопрос, сегодня становится ясно, что, к большой досаде ученых, широкая публика зачастую ищет в истории вовсе не то, чего бы им хотелось, и дает их открытиям и гипотезам такие интерпретации, которые их не могут не шокировать. Мало того, иной раз такая историческая информация доносится до публики вовсе не дилетантами, а бывшими историками или археологами, стремящимися сознательно использовать свои профессиональные знания для разработки тех или иных политических идей, облекая их в форму научно-популярных эссе или романов в жанре фэнтези. И это заставляет скептически относиться к столь же распространенному, сколь и упрощенному мнению, связывающему такую деятельность исключительно с «дилетантизмом» и «искажением истории» в силу якобы недостаточной осведомленности в предмете. Пренебрежительное или саркастическое отношение к упомянутым построениям вызывает лишь озлобление и потому непродуктивно. Кроме того, это не позволяет обнаружить истинные мотивы мифотворцев и причины популярности их творчества у широкой публики. Так проблема обретает более сложный, но и более интересный ракурс.

Мне представляется, что сегодня специалистам-археологам необходимо знать политический и социальный контекст своих построений,

чтобы быть готовыми к продуктивному диалогу с общественностью и не допускать использования своих идей радикалами. Поэтому в настоящей работе рассматривается социальное и политическое значение «арийской идеи», как оно представлено, главным образом, в популярной или околonaучной литературе. Но надо иметь в виду, что такая литература порой выходит из-под пера бывших профессионалов [Шнирельман, 2004].

Еще в середине прошлого века известный специалист по средневековой Европе Фриц Саксл отметил, что мы вряд ли сможем понять исторический период, если оставим без внимания присущие ему ненаучные, а я добавил бы, и псевдонаучные представления и предрассудки [Saxl, 1957]. В данном случае речь идет об «арийском мифе», который в советское время принято было связывать с нацизмом, и это автоматически исключало какое-либо его всестороннее обсуждение. Между тем, как подчеркивают некоторые исследователи, нацизм мало что дал нового в области идеологии. Он лишь ввел в практику и узаконил то, о чем десятилетиями мечтали мыслители-расисты [Бауман, 2010]. Но «арийский миф» начал создаваться за полторы сотни лет до прихода нацистов к власти и далеко не сразу обрел шовинистический и расистский облик [Поляков, 1996; Olender, 1992]. Мало того, он очаровал не только европейцев; более века назад его подхватили и в Индии [Figueira, 2002]. За последние сто лет его с весьма различными целями использовали самые разные социальные, религиозные и этнические группы. И сегодня можно говорить уже не об одном, а о нескольких разных «арийских мифах» – разных как по содержанию, так и по функции.

Действительно, арийская идея возникла и вначале развивалась в XIX в. как сугубо научный проект. Однако во второй половине XIX в. она была подхвачена шовинистами и расистами и начала служить империализму, колониализму и расовой дискриминации. Своего логического завершения она достигла в политике германских нацистов, использовавших ее для оправдания геноцида. Казалось бы, в мире после Холокоста места ей не осталось. Однако мир эпохи постмодерна парадоксален и таит в себе немало неожиданного. Рубеж XX–XXI вв. подарил арийской идее вторую жизнь, и ее подхватили националисты во многих новых государствах постсоветского пространства. Вместе с тем современный арийский дискурс

отличается многозначностью. Сегодня арийство служит не только орудием шовинизма и дискриминации, но и лозунгом борьбы за самобытность и защиты местной идентичности. Однако смена контекста нередко наполняет лозунг иными смыслами, и то, что выглядело справедливым вчера, оказывается опасным и даже неприемлемым сегодня. Именно такую траекторию описала арийская идея в Индии, где в последней четверти XIX в. она была подхвачена реформистским и антиколониальным движением «Арья Самадж», а в конце XX в. стала служить радикальному политизированному индуизму, сеющему вражду и насилие.

Сегодня арийская идея получила популярность на всем пространстве Евразии. Она соблазняет интеллектуалов самого разного происхождения: русских, украинских, осетинских, армянских, таджикских, чеченских, татарских, азербайджанских, туркменских, казахских, узбекских и даже якутских, бурятских и корейских. Кое-где она остается маргинальной, а кое-где подхватывается и пропагандируется властями. Местами она привлекает лишь дилетантов, озабоченных поисками далеких предков своего народа, а местами ей уделяют внимание ученые, считающие ее подходящим «языком» для обсуждения вопросов отдаленного прошлого. Однако повсюду она служит интересам национализма, придавая ему искомую историческую глубину и наделяя славными предками.

Для этнонационалистов «арийцы» оказываются не просто особой этнической группой, но такой, которая отличалась необычным творческим потенциалом и в силу этого была способна к ведению победоносных войн, захвату и заселению новых земель и покорению местного населения. Тем самым, она естественным образом обретала власть над другими, получала высокий социальный статус и оказывалась «благородной». Все это становилось возможным благодаря ее высоким техническим и культурным достижениям, и поэтому арийцы едва ли не с самого начала рисовались носителями высшей культуры и цивилизаторами. С развитием физической антропологии во второй половине XIX в. к этому добавился еще один немаловажный элемент – расовый облик. Так «арийцы» оказались особой расой, и теперь их успехи стали объясняться якобы имманентно присущими им биологическими качествами, передающимися генетическим путем.

Вместе с тем, уже на рубеже XIX–XX вв. в разных политико-культурных контекстах принадлежность к «арийству» понималась по-разному. Если индусы склонны были считать «арийцами» именно себя, то в Европе и США это место было зарезервировано за «нордической расой». В результате чиновники в США отказывались причислять индийцев к «арийцам», а нацисты преследовали цыган как «неарийцев». Единства не было даже среди ученых. Если для одних термин «арийцы» звучал как синоним для «индоевропейцев» («индогерманцев» в Центральной Европе), то другие вкладывали в него более узкий смысл и связывали его только с «индоиранцами» или, еще уже, «индо-ариями». (Интересно, что греческие авторы эпохи эллинизма вначале отличали ариан/ариев от парфян, бактрийцев, согдийцев и даже скифов. Но позднее это представление о различиях было утрачено (см.: [Пьянков, 1995]). Эхо этих былых дискуссий докатилось и до нашей эпохи. Но сегодня арийский дискурс стал много богаче и разнообразнее.

Если колонизаторам арийский миф был нужен для оправдания процесса колониализма как «цивилизаторской миссии», направленной на просвещение «варваров», то местные противники колониализма и активисты национально-освободительного движения тоже прибегали к его помощи, но использовали его в совершенно ином ключе. В ранний период они могли разделять миграционную гипотезу, но при этом отождествлять своих предков все с теми же колонизаторами. Это делалось для того, чтобы показать, что, во-первых, по своей культуре и цивилизаторским способностям предки нисколько не уступали нынешним колонизаторам или даже находились с ними в близком родстве, а во-вторых, именно поэтому местное население не должно рассматриваться уничижительно в качестве «варваров» и имеет полное право на самостоятельное развитие.

После получения независимости такая концепция потребовала переосмысления, так как для своей легитимации национальное государство было заинтересовано в опоре на принцип автохтонности: необходимо было доказать, что основное его население является «коренным», т.е. имеет предков, обитавших здесь испокон веков. За этим стоит идея исторического права на территорию проживания, апелляция к которому широко используется в современном мире при отсутствии у бывших колониальных наро-

дов зафиксированного юридического права на свои земли.

Казалось бы, территориальный вопрос не находится в какой-либо неразрывной связи с идеей «арийских предков». Однако идеологи таких движений не готовы отказаться от арийского мифа, создающего весьма привлекательный образ предков, награждая их самыми завидными качествами. Поэтому, чтобы связать своих предков с арийцами, последних требуется сделать автохтонами. Это вовсе не означает полного отказа от миграционной парадигмы, но теперь миф признает только миграции вовне, а их исконным центром оказывается именно данный регион или государство. В результате возникает парадоксальная ситуация, когда «прародина арийцев» оказывается заложницей национальности создателей местных версий арийского мифа. Так, для современных индусских фундаменталистов такой прародиной служит Северная Индия, украинские националисты отождествляют ее с Украиной («государство Аратта»), армянские помещают ее на Армянском нагорье, а русские ищут ее в Приполярье («Гиперборея-Арктида») или на Южном Урале, где их интересы иной раз пересекаются с башкирскими националистами. Даже некоторые осетинские авторы готовы сделать Осетию едва ли не древнейшим центром расселения индоевропейских племен, хотя в целом в осетинской историографии доминирует представление о приходе скифских или аланских предков извне. Примирить такие концепции совершенно невозможно, и оказывается, что они решают вовсе не какие-то научные задачи, а преследуют своей целью конкретные интересы местных националистов, т.е. предназначены, прежде всего, для внутреннего пользования.

Своеобразная ситуация сложилась ныне в некоторых новых государствах Центральной Азии и Южного Кавказа, где советская историческая наука всегда обнаруживала два пласта – один древний, местный, а другой более поздний, пришлый. Первый был связан с иранским (т.е. индоевропейским) или иным местным населением, а второй – с тюрками. Это ставит многие местные титульные нации в сложное положение, так как чрезмерный упор на тюркских предков лишает их возможности апеллировать к историческому праву на территорию, ибо те считаются пришельцами. Поэтому, признавая двухкомпонентность своего происхождения, они с гордостью включают в число своих прямых предков древнее иранское население. Это

неизменно отражается в официально признанных версиях национальной истории, находит свое выражение в государственной символике и получает место на страницах школьных учебников [Шнирельман, 2009].

В то же время это вызывает недоумение и недовольство соседних народов, прежде всего армян и таджиков, считающих именно себя легитимными прямыми потомками древних индоевропейцев. Версии, выдвигаемые соседями, они воспринимают как недопустимое посягательство на свое собственное историко-культурное наследие. Сегодня они высоко ценят свое «арийское происхождение», апеллируя к нему для решения тех или иных политических задач. Скажем, в обоих случаях большое значение придается развитию добрососедских отношений с Ираном и Россией, для чего местные идеологи, политики и дипломаты не устают подчеркивать роль общего «арийского родства» и «арийского культурно-исторического наследия». Кроме того, арийский миф играет здесь и большую символическую роль, апеллируя к былым территориям, которые когда-то заселялись предками, а ныне находятся в составе соседних государств. В случае с Арменией речь идет об Армянском нагорье, а в случае с Таджикистаном — об обширных областях Средней Азии, занятых сегодня тюркскими народами.

Русские националисты также используют арийский миф для обоснования права на всю территорию современной России или даже бывшего Советского Союза ссылкой на широкое расселение древних индоевропейцев, которых местный миф отождествляет со «славянами-арийцами». Одной из причин этого служит страх перед распадом России или кардинальным изменением этнического состава ее населения в связи с депопуляцией у русских и массовой миграцией населения из соседних государств. В этом случае арийский миф служит символическим способом легитимации территориальных границ, и вовсе не случайно внимание его создателей и пропагандистов приковано, главным образом, к пограничным регионам. Отсюда — поиски примордиальной прародины на Крайнем Севере, стремление обнаружить следы древней славянской государственности на Кавказе, приписывание Рюрику и его балтийским родственникам славянских корней и, наконец, страстное желание сделать айнов Дальнего Востока «европеоидами» и «родственниками славян-ариев». Кроме того, русские националисты

апеллируют к арийской идее, пытаясь защищать интересы русских в новых постсоветских государствах путем изображения их там «коренным народом», чьи «арийские предки» якобы с незапамятных времен населяли всю Евразию (см., напр.: [Абакумов, 1995, 1997, 2000; Карпов, 1996]).

Помимо территориального измерения, арийская идентичность не утратила и своей культурной и цивилизационной ценности. В ряде постсоветских государств арийство культивируется неоязыческими движениями, которых не устраивает официальная история своих народов, связанная как с постоянными поражениями от более сильных противников, так и с вековым отсутствием собственной государственности и вхождением в состав других государств, а то и с длительным существованием народа в условиях диаспоры. Поэтому там большим спросом пользуется дохристианское прошлое, позволяющее представить своих предков великим победоносным народом, имевшим аутентичную культуру и древний язык. Обращение к древности нередко помогает обнаружить реальную или воображаемую раннюю государственность, призванную подтвердить, что предки отнюдь не были дикарями и варварами, а имели свое собственное политическое устройство. Это — важный аргумент, помогающий преодолеть постколониальную растерянность и комплекс неполноценности и успешно строить свое новое государство. В свою очередь, это требует напористости, агрессивности и даже жесткости, которых, по мнению неоязычников, лишено современное христианство, призывающее к милосердию и игнорирующее этническую составляющую.

Примечательно, что такого рода аргументы кажутся привлекательными не только энтузиастам нерусского происхождения, но и русским неоязычникам, рисуящим весь христианский период эпохой порабощения русского народа пришлыми миссионерами, будто бы навязавшими ему рабскую идеологию. А так как эти миссионеры представляются им иудеями, то ясно, почему современное политизированное русское неоязычество не может обойтись без антисемитизма. Символом таких настроений служит свастика, означающая в антисемитском дискурсе непримиримость к «семитам» и готовность к бескомпромиссной борьбе с ними. В этом значении свастику использовали нацисты; так ее понимают и современные правые радикалы. Поэтому стремление некоторых языче-

ских волхвов очистить свастику от этих ассоциаций, объявив ее «древнеславянским символом», нельзя признать удачной.

К тем же аргументам обращаются и радикальные украинские националисты, также питающие склонность к неоязыческим взглядам. При этом как русские, так и украинские любители арийства придают особую ценность общему индоевропейскому прошлому, позволяющему им рисовать головокружительные победоносные походы далеких предков и изображать их мужественными воинами и успешными завоевателями новых земель. В этом контексте возникает и образ древней империи, едва ли не древнейшего государства на планете. Но если украинские авторы ограничиваются территорией Украины, то русские не свободны от мегаломании. В их представлении древнейшие славяно-русские государства охватывали значительные территории Евразии, а иной раз даже выходили далеко за ее пределы. В некоторых версиях русские вообще рисуются первонародам, создавшим культуру, письменность и цивилизацию для всего человечества.

В этом контексте обнаруживается тесная связь между арийской идеей и религией. Русские и украинские неоязычники полагают, что отказ от христианства и возвращение к «этнической религии», «религии предков», во-первых, всемерно поспособствует преодолению раскола нации на фракции, а во-вторых, вернет ей утраченные моральные ценности, способные вывести ее из постсоветского кризиса. С этой точки зрения, большую ценность для сторонников этой идеологии представляет зороастризм, в котором они хотят видеть первую «настоящую» религию, созданную предками-арийцами и позднее давшую жизнь всем остальным мировым религиям. Тем самым, иудаизм с его Торой, или Ветхим Заветом, оказывается жалким слепком с арийского зороастризма, и многие сторонники этой идеи обвиняют иудеев в «краже» священных знаний у арийских предков. Они идут и дальше, противопоставляя иудаизм с его мстительным и жестоким Богом исконной «арийской религии», знавшей якобы исключительно доброго и милосердного Бога. Для них из этого вытекает обвинение иудеев в искажении «арийского духовного наследия». Мало того, сам зороастризм изображается конечным итогом развития, начало которому было якобы положено некой «допотопной ведической религией», искон-

ной верой примордиальных индоевропейцев, или «славяно-арийцев». Этой вере приписываются возвышенные моральные идеалы, с которыми связывается строгий социальный порядок, основанный на иерархии и корпоративном устройстве общественной жизни. Волхвы призывают к возвращению к этому порядку во имя общественного здоровья, которое якобы разъедает современная цивилизация. В русле такого дискурса вновь становятся популярными лозунги «консервативной революции», привлекавшие немало европейских интеллектуалов в 1920-х гг.

Иной смысл арийская идея имеет в эзотерических учениях, неперменной частью которых является своеобразная версия антропогенеза, созданная Е.П. Блаватской и развитая ее последователями. Здесь арийцы представляются одной из «коренных рас», пришедшей на смену более ранним расам, обреченным на исчезновение в силу неких законов эволюции, связывающих каждую расу с особой отведенной ей эпохой. Для эзотериков наша эпоха представляется временем естественного господства арийской расы. К ней причисляется все современное человечество за исключением тех групп, которые связываются этим учением с остатками прежних рас, уходящих в небытие. При этом «раса» определяется не столько соматическими особенностями, сколько духовностью, и каждая последующая «раса», хотя и состоит из различных подгрупп, различающихся по физическим характеристикам, обладает более высокой духовностью, отличающей ее от предшествующих «рас». Опираясь на понятие эволюции, эзотерики далеки от научного понимания эволюционных процессов и опираются на представление о неких космических силах или «Учителях», которые и создают каждую новую расу. Сами же люди оказываются беспомощными и неразумными, в результате чего каждая «расовая эпоха» дает пример не прогресса, а упадка; ее окончание знаменуется глобальной катастрофой, и «Учителям» приходится вмешиваться и создавать новую расу, которая, правда, оказывается более совершенной, чем предшествующая. В этом якобы и состоит процесс «эволюции».

Примечательно, что «арийский миф» привлекает и тех из русских радикалов, которые не желают порвать с православием. В такой среде определенной популярностью пользуется идея «арийского христианства», которая в 1920–1930-х гг. развивалась некоторыми немцами-протестанта-

ми, стремившимися очистить христианство от «семитского наследия».

В свою очередь, индусские фундаменталисты отождествляют арийцев с индуизмом как «естественной» для них религией. Здесь религия жестко связана с национальной идеей и даже в некоторых контекстах обретает расовые параметры. Впрочем, в идеологии индусского национализма эти параметры остаются размытыми – они постоянно обсуждаются и пересматриваются в зависимости от контекста дискурса.

В то же время, благодаря развитию физической антропологии и в последние десятилетия – генетики, понятие «раса» оказалось тесно связанным с биологией, и это дает о себе знать даже там, где наблюдаются попытки определять его через «духовность» и религию. Этому способствует сомнительная идея о неразрывной и жесткой связи духовного с физическим. Хотя никому так и не удалось доказать наличие такой связи, что и выводит эту идею за рамки современной науки, она служит одним из важнейших компонентов расовой теории, до сих пор культивируемой расистами. Эта идея время от времени эксплицитно или имплицитно всплывает и в некоторых религиозных дискурсах, например, в рамках эзотерики и современного индусского фундаментализма. В результате ставится вопрос о кардинально различных менталитетах, якобы имманентно присущих разным народам или разным конфессиональным группам и не позволяющих им уживаться вместе. Некоторые эзотерики даже прямо связывают «менталитет» с определенными физическими особенностями (см.: [Шнирельман, 2010а]).

В еще большей степени это свойственно многим современным язычникам, для которых за понятием «этнической религии» скрываются группы, различающиеся по крови. В этих дискурсах кровь и почва прочно сливаются в неразрывное целое. Поэтому неоязычники склонны к расиализации окружающей социальной среды, и их нарративы перенасыщены положениями, отсылающими к «расе». Для многих современных как русских, так и украинских язычников «раса» представляется фундаментальным понятием, тесно связанным с культурой и историей, причем стержнем последней нередко объявляется «расовая борьба». «Арийцы» отождествляются с «белой расой» или же изображаются ее лучшей частью или авангардом. Им приписывается миссия спасения современного человечества от природ-

ной катастрофы или же – спасения «белой расы» от «наплыва мигрантов».

Такой дискурс, разумеется, не может обойтись без образа врага, якобы сознательно приводящего в действие всевозможные механизмы, вызывающие негативные процессы в современном мире. В русле рассматриваемых шовинистических взглядов таким традиционным врагом «арийцев» вот уже более ста лет рисуются «семиты». Сегодня эта идея так или иначе присутствует во всех текстах, созданных русскими радикалами. Примечательно, что, подхватывая расовую теорию, такие авторы видят в «семитах» не какого-то случайного противника, ставшего врагом в силу сложившихся обстоятельств, а вечного неизбежного недруга, который из века в век противостоял «арийцам», строит им козни и пытается либо установить над ними господство, либо вовсе их уничтожить. За всем этим стоит расовый антисемитизм, возникший в Европе во второй половине XIX в. и ставший основой нацистской идеологии и практики. В этом контексте происходит демонизация и дегуманизация евреев. Они нередко изображаются не какой-либо «иной расой», а «биороботами», созданными с определенной политической целью. Авторы таких произведений склонны обращаться к сюжетам древней истории и даже к палеолиту и процессу антропогенеза, чтобы доказать «вредоносность» евреев, которые, тем самым, превращаются в вековых заклятых врагов «арийцев», наделенных якобы «генетическими» ущербными чертами характера. В частности, древнее население Палестины объявляется либо «славянами-арийцами», либо их близкими родственниками. А завоевание этого региона древними евреями трактуется как начало длительной экспансии, ставящей своей целью покорение славян и установление мирового господства.

Многие особенности такой версии истории заимствуются из известных антисемитских памфлетов столетней давности, которые всемерно использовались и нацистами [Шнирельман, 2010б]. Сегодня эти идеи активно обсуждаются не только в политических трактатах, но и в массовой литературе, написанной в жанре фэнтези [Он же, 2010в]. В этом участвуют как признанные писатели, так и самодельные авторы и радикальные политики. Встречаются среди них и языческие волхвы. Такая литература с готовностью выкладывается в Интернете и привлекает внимание радикально настроенной молодежи. Следовательно неоднократно

обнаруживали ее в квартирах скинхедов, подозреваемых в нападениях на людей.

Однако если в Западной Европе образ врага долгое время ассоциировался с «сеμίтами», то в других контекстах такой враг с легкостью получает иное лицо. Так, для армян и таджиков злая сила, выступающая против «арийцев», отождествляется с тюрками, а для индусских фундаменталистов – с мусульманами. Определенные изменения происходят и в представлениях русских радикалов. Объявляя себя «арийцами», сегодня скинхеды готовы сражаться за «спасение белой расы», что в российских условиях выливается в нападения на «мигрантов» или даже на «нерусских» в целом. Парадоксально, что их жертвами становятся и таджики, считающие себя «арийцами» [Он же, 2010 г].

Наконец, в этой обстановке мы встречаемся и с другим парадоксальным явлением, когда, чтобы вывести себя из-под удара, потенциальные жертвы скинхедов отождествляют себя с «арийцами» в надежде на то, что это поможет им установить добрососедские отношения с местным населением. В этом контексте не только некоторые таджикские интеллектуалы, живущие в России, подчеркивают общее «арийское наследие» у себя и у русских, но даже московский кореец находит нужным наградить корейцев «арийскими предками». Аналогичная тенденция наблюдается в среде российских тюрков и даже монголоязычных народов, где делаются попытки обеспечить идею «евразийской общности» «арийской основой». Сегодня в поисках такой основы отдельные авторы прибегают к генетическим данным, обнаруживая некоторые генетические маркеры, общие для «арийцев» и для тех народов, которые до недавнего прошлого никогда не включались в индоевропейскую группу.

Иными словами, если, по мнению ученых, «арийская раса» является заблуждением, то это не останавливает энтузиастов, широко использующих такое понятие для выстраивания привлекательного мифа, пользующегося популярностью у публики и в некоторых контекстах служащего для достижения определенных политических целей. Арийский миф наделяет людей привлекательными предками, снабжает наполненной глубокого смысла символикой, помогает продвижению некоторых политических идей и питает ряд новых религиозных движений. В то же время он помогает создавать образ врага и в этом качестве служит со-

циальной мобилизации, основанной на ксенофобских представлениях и стереотипах.

Сегодня археологи начинают осознавать эту дилемму, и некоторые из них уже отмежевались от неонацистских интерпретаций «арийской проблемы», подчеркнув связь таких псевдонаучных взглядов с ксенофобией и шовинизмом [Anthony, 2007; Кузьмина, 2008]. Думаю, сегодня археология уже не может плодотворно развиваться, не откликаясь на злободневные проблемы современности.

Список литературы

- Абакумов А.В. Евразийские арии и Русь // Русская мысль. – М., 1995. – № 1–6.
- Абакумов А.В. Славяне в Казахстане: возвращение на Родину? // Экономическая газета. Развитие. – М., 1997. – № 16.
- Абакумов А.В. Русские и татары в Крыму // Наследие предков. – 2000. – № 2.
- Бауман З. Актуальность Холокоста. – М., 2010.
- Карпов А. Иудины поцелуи сепаратистов // Русский вестник. – 1996. – № 6–8.
- Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М., 2008. – С. 13.
- Поляков Л. Арийский миф: Исследование истоков расизма. – СПб., 1996.
- Пьянков И.В. Ариана по свидетельствам античных авторов // Восток. – 1995. – № 1. – С. 48–50.
- Шнирельман В.А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 3. – С. 52–68.
- Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. – М., 2003. – 603 с.
- Шнирельман В.А. Интеллектуальные лабиринты: очерки идеологий в современной России. – М., 2004. – С. 175–214.
- Шнирельман В.А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX в. – М., 2006.
- Шнирельман В.А. Арийцы или тюрки? Борьба за предков в Центральной Азии // Политическая концептология. – 2009. – № 4. – URL: <http://politconcept.sfsu.ru/2009.4/14.pdf> (дата обращения: 14.04.2011).
- Шнирельман В.А. Эзотерика и расизм // Вестн. Ом. ун-та. – 2010а. – № 3.
- Шнирельман В.А. Лица ненависти: (антисемиты и расисты на марше). – М., 2010б.
- Шнирельман В.А. Научная фантастика и антисемитизм // Евразийский еврейский ежегодник. – 2010в. – URL: <http://eajc.org/page18/news20651.html> (дата обращения: 14.04.2011).
- Шнирельман В.А. «Чистильщики московских улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение. – М., 2010г.
- Anthony D.W. The horse, the wheel and language. – Princeton, 2007. – P. 9–11.

Atkinson J., Banks I., O'Sullivan J. (eds.) Nationalism and archaeology. – Glasgow, 1996.

Cole J.R. Cult archaeology and unscientific method and theory // *Advances in archaeological method and theory*. – N.Y., 1980. – Vol. 3. – P. 2–3.

Diaz-Andreu M. (ed.) Nationalism and archaeology // *Nations and nationalism*. – 2001. – Vol. 7. – № 4.

Diaz-Andreu M., Champion T. (eds.) Nationalism and archaeology in Europe. – L., 1996.

Figureira D.M. Aryans, Jews, Brahmins: theorizing authority through myths of identity. – Albany, 2002.

Godson Ch. Race and racism in archaeology: introduction // *World archaeology*. – 2006. – Vol. 38. – № 1.

Harrold F.B., Eve R.A. (eds.) Cult archaeology and creationism: understanding pseudo-scientific beliefs about the past. – Iowa City, 1987.

Kohl Ph.L., Fawcett C. (eds.) Nationalism, politics and the practice of archaeology. – Cambridge, 1995.

McKusick M. Psychic archaeology from Atlantis to Oz // *Archaeology*. – 1984. – Vol. 37. – № 5. – P. 48–52.

Meskel L. (ed.) Archaeology under fire. – L., 1998.

Michlovic M.G. Folk archaeology in anthropological perspective // *Current anthropology*. – 1990. – Vol. 31. – № 1. – P. 103–107.

Olender M. The language of Paradise: race, religion, and philology in the 19th century. – Cambridge, 1992.

Rathje W. The ancient astronaut myth // *Archaeology*. – 1978. – Vol. 31. – № 1. – P. 4–7.

Riemschneider B. The fantasies of psychic archaeology // *Archaeology*. – 1984. – Vol. 37. – № 5. – P. 4.

Saxl F. Lectures. – L., 1957. – Vol. 1. – P. 73.

Shnirelman V.A. Who gets the past?: Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia. – Washington, D.C.; Baltimore; L., 1996.

Shnirelman V.A. The myth of the Khazars and intellectual antisemitism in Russia, 1970s – 1990s. – Jerusalem, 2002.

Shnirelman V.A. *Purgas und Pureš: Urahen der Mordwinen und Paradoxa der mordwinischen Identität* // *Mari und Mordwinen im heutigen Russland: Sprache, Kultur, Identität*. – Wiesbaden, 2005.

Silberman N.A. Between past and present. Archaeology, ideology, and nationalism in the modern Middle East. – NY, 1989.

Snow D. Martians and Vikings, Madoc and runes // *American heritage*. – 1981. – Vol. 32. – № 6. – P. 102–108.

Williams S. Fantastic messages from the past // *Archaeology*. – 1988. – Vol. 45. – № 1. – P. 62–70.

Williams S. Fantastic archaeology: The wild side of North American prehistory. – Philadelphia, 1991.



**ДАННЫЕ ЛИНГВИСТИКИ
О КУЛЬТУРЕ АРИЕВ**



INDO-EUROPEAN QUEENSHIP

Elena Kuz'mina is a true Indo-Europeanist. While she is principally known as an archaeologist, she is, like all Indo-Europeanists, also well versed in the other two facets of Indo-European Studies – linguistics and mythology. All of her work shows the breadth of vision and knowledge of the discipline, and it is in this spirit that I make this offering.

The greatest amount of information about women concerns those who were members of the elite – so-called “queens” or “princesses” who may have had independent wealth and perhaps political status, or were wives of wealthy men. To complicate matters, in many instances the powerful women in literature cannot always be distinguished as historical or mythical; the latter is particularly true with the Irish material.

Archaeologically, the situation is still more complicated. We usually base the social position of a woman by the goods that are buried with her – rich grave goods indicates a rich woman. Or more precisely, rich grave goods show that those who buried her were wealthy and recognized her status which probably correlated with their own. Nevertheless, we rarely have an idea as to how this status was acquired. Did she inherit it from her family, earn it herself, or receive it from her husband? Stepping back into the Bronze and Early Iron Ages complicates things even further.

The question of whether or not a woman was actually a queen is even more difficult to ascertain. First, how do we define queen and does the same definition of queen apply in all instances and over time? Because Bronze and Iron Age graves lack identification of the occupant, and in order to examine the question of queens during this time, we must know what we mean by a queen. In order to do this we must look at written records to give us a better idea of what constitutes a queen.

The subject of queens and queenship is not one that, until recently, has been widely addressed. Sarah Nelson in her introduction to *Ancient Queens* [2003] has given an excellent preface to the subject and brings in queens not only from earlier periods but also queens outside of Europe. *Medieval Queenship* [1993] was an early addition to this area of scholarship and has a number of excellent articles. Duggan's collection of articles on *Queens and Queenship in Medieval Europe* [1997] provides a number of examples of powerful queens that challenge conventional views. Nelson's collection of essays surveys queens in many parts of the world that allows us to see where we as Indo-Europeanists need not go. For example, in the early Japanese state of Yamato “a woman leader could have a ‘male’ title without any gender confusion” [Nelson, 2003, p. 7]. As we will see, in our area of interest it is also true, but the title will almost assuredly be a feminine derivative of the masculine.

The modern English word ‘queen’ has several meanings which presents another difficulty. First, and most commonly found is the wife (consort) of the king*. As consort, the queen's role can be no more than a simple wife to the king exercising little or no influence. Conversely, she could exercise great influence. Examples of both are found. Second, she can be mother of the king (or ruler). Again her influence can vary. If she becomes regent, her influence and ability to wield power becomes greater. Becoming sovereign queen is the least common situation because in most cases the role of ruler is passed to a male heir. In only a few instances can we find the crown passing to a woman, and then it is only when

*Even the *American Heritage Dictionary* gives primacy to “wife or widow of a king” and only secondarily to “A woman sovereign” (1434).

there is no male heir^{1*}. But even then the question arises as to how independently she rules or is she dominated by male counselors.

In this paper I will first examine the linguistic basis for the terms that have been used for “queen” and other words suggesting positions of power. Building on these terms, I will then examine what we know of queenship in the literature, both mythologically and historically, and finally we will look at a number of burials from the Steppe and western Europe during the Bronze and Early Iron Ages that have characteristics that we might consider “queenly.”

Contrary to common belief, women were not totally excluded from positions of power in the Indo-European speaking world and go beyond the best known, e.g., Cleopatra, Boudicca, Elizabeth I, Maria Theresa, and Catherine the Great. There were, as we will see in what follows, numerous queens who were strong leaders.

Indo-European has several words that indicate positions of female leadership and most frequently these relate to their masculine counterpoint, e.g. **pótih₂* ‘lady’ and **pótis* ‘lord’. These latter words carry a quasi-political sense, but the word most directly connected with power is the word for ‘king’, **reh₁ǵs-* > Old Irish *rí* ‘king’; Latin *rēx* ‘king’; Sanskrit *rāj* ‘king’. The feminine derivatives of **reh₁ǵs-* that take the meaning ‘queen’ include Old Irish *rigain*; Latin *rēgina*, Khotanese *rrīṇa*, Sanskrit *rājñī-*.

Before we examine the alleged royal titles, **reh₁ǵs-* and **reh₁ǵnih₂*, it is worth noting the evolution of other “royal titles”, which will require our looking at male titles as well as female. Sometimes the feminine form is prefixed by the word for woman as in New Irish *bainríoghan*, (*ban-*, *bain-*: *bean* ‘woman’) (see: [Buck, 1949, p. 1933]). Other words that indicate leadership and/or social status also provide feminine counterparts such as Greek (*W*)*ānssa* ‘queen’ the feminine counterpart of Greek (*W*)*ánax* ‘ruler, lord, prince’; Tocharian A *nāši* ‘lady’ relates to *nātāk* ‘lord’ which derives from a Greek-Tocharian form **w(n)áks* [Mallory, Adams, 2006, p. 268]. It is a point of interest that the ‘queen’ word is found in Celtic, Iranian, Italic, and Indic, while the ‘king’ word is found in Celtic, Indic, Italic but not Iranian. The Persians used *xšāyaθiya xšāyaθiyānām* ‘king of

kings’ (see: [Buck, 1949, p. 19, 32, 34; Kent, 1953, 116 DB, Column I: 1])^{2*}.

The Khotanese Saka *rrāysan-* ‘king’, *rrāspūra-* ‘king’s son’, *rrāysdutar-* ‘king’s daughter’ “represent not inherited forms of great antiquity, but rather the results of a borrowing process” [Winter, 1970, p. 50]. The Hittites used the non-Indo-European Sumero-grams for royal titles LUGAL ‘king’ literally = man + big ‘big man’; SAL.LUGAL = woman (of the) big man = queen; DUMU.MUNUS.LUGAL = ‘child-girl (of the) big man’ and DUMU.LUGAL = ‘son (of the) big man’. It is important to note the recognition of the ‘the daughter of a king’ DUMU.MUNUS.LUGAL and ‘son of the king’ DUMU.LUGAL^{3*}.

An exception to the feminine derivative from the masculine is Old English *cwēn* (Middle English *quene*, New English *queen*, Gothic *qēns* ‘wife’, *qinō* ‘woman’). The Old English form begins with just the meaning of ‘wife’ but over time becomes specialized to ‘king’s wife’ [Buck, 1949, p. 19, 33] and ultimately ‘queen sovereign’.

The Greek title βασιλεια according to West [2007, p. 415, n. 15] with its short final alpha means ‘queen’ not ‘kingship’. Buck [1949, p. 19, 32] puts the masculine form βασιλεύς as a pre-Greek form. But Macurdy translates βασιλισσα, which is found on a number of coins struck with the head of a Macedonian queen, as ‘a female king’. These queens were not rulers in their own right but were acting as regent for an absent king or minor sons [Macurdy, 1932, p. 8]. The word βασιλεύς which during the Classical period is translated ‘king’ and the feminine ‘queen’ did not begin with this meaning. It is now generally accepted that βασιλεύς began in the Archaic period (720–500 BC)^{4*} as a minor city official. The Mycenaean *qa-si-re-u* has the same origin as βασιλεύς yet is clearly not a king but a subordinate figure.

^{2*}The etymology of this word is extremely difficult and complicated (see: [Sihler, 1977]). The Vedic form of this word has been examined by Scharfe [1985] who concludes that it does not mean ‘king’. As a result of our not being exactly clear on the meaning of ‘king’, the meaning for ‘queen’ is also complicated.

^{3*}Another word for ‘ruler, ruling’ κρείων frequently found in the epithet εὐρὺ κρείων ‘wide-ruling’ is used about 70 times in Homer, but the feminine is found only once for Priam’s wife Lasthoë [Seymour, 1963, p. 95], and it is a descriptive of her character κρείουσα γυναικῶν ‘queen of women’ (X [XXII] 48) not a comment on her as ruler. Both Murray and Lattimore in their translations of *The Iliad*, however, translate this epithet as ‘princess among women’.

^{4*}adam: Dārayavauš: *xšāyaqiya*: *vazraka*: *xšāyaqiya*: *xšāyaqiyanām* “I am Darius, the great king, king of kings.”

^{1*}Ironically this was the case when Edward VI of England died in 1553. Edward was the son Henry VIII struggled so valiantly to have, but at Edward’s death at the age of 16, the next five people in line for succession were all women.

In Homer, the title βασιλεύς is given to those other than kings of states [Wace and Stubbings, 1962, p. 435].

Drews points out that in the *Odyssey* βασίλεια is used for Penelope, Tyro, Nausicaa, and Areta who although they were certainly high born were not queens while in the *Iliad*, Hecuba who is definitely a queen is never referred to as βασίλεια. Drews correctly states that although “the translation [of βασίλεια as queen] is appropriate for the fifth century, it is somewhat premature for the eighth” [1983, 114–15 and n. 43]^{1*}.

Returning to **reh₂ǵs-*, in time it apparently did not express enough strength or importance and adjectives were added, i.e., Old Irish *ard-rí* ‘high king’ and *ro-rí* ‘over king’, Hittite LUGAL.GAL ‘Great King’, and as we have seen Persian *xšāyaθiya xšāyaθiyānām* ‘King of Kings’. This suggests that originally ‘king’ did not mean ‘sovereign’ but perhaps ‘chief’. This use of adjectives to strengthen the royal titles is not usually the case for queens in instances other than Hittite where many queens were ‘Great Queens’ SAL.LUGAL.GAL^{2*}. However, during the Sasanian empire of the 3rd–4th century AD when women in the royal family took on more importance than in earlier Persian periods the title “queen of queens” (*bāmbiṣnān bāmbiṣn*) was given to Adur-Anahid, daughter of King Shapur I (240–270 AD). The title was also given to “Denag, mother of Pabag (and grandmother of Ardashir), Rodag, the mother of Ardashir I [224–239/40 AD], and Denag, his sister” [Wiesehöfer, 2001, p. 174–175].

What is most significant in all this is that the mere fact that a word for ‘queen’ exists indicates the importance of the female. West [2007, p. 415] rightly states that “The correspondence between Vedic *rājñī* and Old Irish *rigain* points to the existence of an Indo-European title ‘ruler-female’, and [sic] it is not self-evident that the king’s wife would merit such a special designation unless she had a particular role to play”. But is it self-evident that the “ruler” is male? While many feminist scholars would like it not to be self-evident, the overwhelming body of evidence supports the fact that the vast majority of time the “ruler” was male and that female “rulers” were the exception. Despite this, Plato’s Book VI of the *Republic*

says that by nature women are no different than men and that they, women, could be rulers. Nevertheless, history tells us this was not an equal opportunity position. Certainly we have examples in the Indo-European speaking world of queens who were sovereign in their own right, but they are the exception^{3*}.

What, then, is the function of the queen who is not sovereign? Because there is no reconstructable word for ‘prince’ in the sense of “heir” suggests that the importance of the queen did not rest on her being the mother of the heir which further suggests that the importance of marriage, at least at this level, was not procreation. This also indicates that kingship was not initially hereditary. Not until the Medieval period did hereditary take on importance and then the role of the queen consort shifted to providing “a legitimate heir”^{4*}.

While the function of the queen is not completely clear and most likely changed over time, we can speculate as to some of her roles:

^{3*}After the death of her husband, Emperor Leo IV in 780, the Byzantine Empress Irene ruled as regent for her young son Constantine VI. In 790 he banished her, but in 797 after a disastrous rule, Constantine was arrested and blinded by Irene’s supporters. The Empress then ruled alone until 802 using the title βασιλεύς (not the feminine βασίλισσα). She had gold coins struck with her image on both the obverse and reverse showing her in royal regalia [Nelson, 1993, p. 47].

^{4*}How significant a seal was is not clear, but we do have several seals with the names of queens along with their king husbands. These seals seem to have a uniform style in that the names are in what was previously thought to be Hieroglyphic Hittite but is now known to be Hieroglyphic Luvian and a legend around the seal in Cuneiform Hittite. The names of seven queens are given on seals. In the center above the name is a winged sun disc.

Great Queen Henti and Great King Šuppiluliuma I – ca. 1345–1320 BC. Šuppiluliuma I also had a seal with his daughter Malnigal.

GQ Tawananna III (Malnigal) GK Muršili II – early 13th century BC. She in turn had her own seal inside three concentric circles.

GQ Danuḫepa on the left and GK Muršili III/Urḫi-Tešup on the right – early 13th century BC. (Danuḫepa was queen under three kings: Muršili II, Muvatalli, and Urḫi-Tešup (Muršili III) [Bin-Nun, 1975, p. 169].

GQ Danuḫepa on right and GK Muvatalli on left – ca. 1275 BC.

GQ Puduḫepa on the right and GK Hattušili III on the left – 1265–1235 BC.

Queen, but not her title, Gaššulawiya and GK Muršili II – early 13th century BC.

GQ Danuḫepa had her own personal stamp which shows a woman with her name, but this is under a winged sun disc. Her name is in Hieroglyphic Hittite (Luvian) while Puduḫepa’s own seal has both her name and title and is inside two concentric circles [Renda, 1993, p. 108–111].

^{1*}This latter DUMU.LUGAL could also be used for the husband of the king’s daughter as was used by Telipinus in his proclamation (CTH 19) which set down the rules of Hittite succession [Bryce, 1998, p. 119].

^{2*}See: [Drews, 1983] for a study of Greek kingship and further references.

- shaman or priestess – having special access to the gods;
- the consolidation of wealth and/or power;
- keeper of the household^{1*} (keeper of keys);
- producer of a legitimate (male) heir.

Historically we can find evidence for all of these functions. In very early times, we have numerous examples of kings and queens performing sacred rituals to the gods^{2*}. In fact, receiving rulership from the gods (or God) was always essential. Because the gods chose the king, it was heresy to go against the king and necessary for the king (and queen) to pay homage to the gods.

This is the case for the Hittites who provide our earliest textual evidence for queens in an Indo-European society comes from the Hittites and to whom I now turn in some length. During the New Hittite Kingdom, an outstanding example of a queen and king paying homage to the gods involves the Great Queen Puduḫepa, who was herself a priestess to the goddess Hebat at Kummani in Kizzuwatna before her marriage to king Hattušili III, and she was also the daughter of a priest of the goddess Ishtar. At the rock relief of Fraktin, Puduḫepa is shown offering a libation to the goddess Hebat while on the same relief her husband Hattušili III (1275–1250 BC) offers a libation to the sky god [Akurgal, 1962, figs. 100 above and 101 below; 2001, p. 172, fig. 87a and 87c]. From this early documented evidence, we can see that this queen not only carried out sacred duties but brought to her queenship a background of one who had sacral experience. Was this type of résumé a requirement for the wife of early kings? We do not know. Nevertheless, the position of priestesses is well known from very early times. In the Old Hittite Kingdom the title Tawananna may not have been the queen's title but more of a priestess (see: [Bin-Nun, 1975, p. 104–159])^{3*}.

^{1*}During the period 1100–1600 Wolf [1993] counts only 20 reigning queens in Europe – some successful, others not.

^{2*}It appears that the practice of male primogeniture came about at different times. Norway is noted to have had hereditary kingship in 1371, but at that time Denmark still had an elected monarchy. In Hungary, it did not become the norm until about 1100 [Bak, 1993], but already in the mid-8th century, the upstart Pippin worked to assure the succession of his legitimate male heir in France [Nelson, 1993, p. 50].

^{3*}While being in charge of the royal household may on its face seem trivial, it should be remembered how political it would be as retainers, relatives, and advisers tried to curry favor with the king (see: [Nelson, 1993, p. 54]). How important the queen was in this duty would, of course, depend on how close the relationship was between king and queen.

The majority of names of the early Hittite kings were Hattic, a non-Indo-European speaking people. It has generally been believed the first ruling king, Tabarna (alternatively Labarna) and the feminine version Tawananna, became the titles of the royal couple from the 15th century BC onwards. Hittite Tabarna means 'Sovereign King', and the term Tawananna (or Tawanannas) is most frequently thought of as the female equivalent of Tabarna. The two terms appear throughout much of Hittite history and literature together. They appear on royal seals, in ritual contexts, and cult lists. The title Tawananna has a long history and is first found in Palaic, also an Indo-European language of the Anatolian branch but even more ancient than Hittite. Furthermore, the title Tawananna is found in Hattic/Hittite bilingual texts. Does this imply the title and for that matter the position has its basis in non-Indo-European tradition? This was the view of Bin-Nun [1975], but Puhvel rejects this and reconstructs the term as **Dowonōnā* seeing it with the same suffix as Latin *Bellōna*, Celtic *Mātrōna* 'Mother' and **Rīgantōna* 'Queen' (Welsh *Rhiannon*)^{4*}. He gives it an approximate meaning of 'Beata' or 'La Favorita' which he suggests is "not inappropriate for a special royal daughter...[and that i]t is...entirely conceivable that Indo-European regal titles survived in Hittite and were subjected to new vicissitudes in their Anatolian environment" [Puhvel, 1989, p. 361].

The Tawananna, therefore, at least in the Late Hittite Kingdom, was the "reigning queen and chief consort of the king, high priestess of the Hittite realm and sometimes a politically powerful figure in her own right". A peculiarity of the Hittites was that the Tawananna retained her position even after the death of the king, her husband [Bryce, 2004, p. 21]. This peculiarity, therefore, placed the dowager queen (Tawananna) in a higher position than the new king's wife^{5*}.

Thus the most powerful woman in Hittite society was not necessarily the queen who was the wife of the king, but the woman who held the title Tawananna although the same woman could be, and at times was, the same. The Tawananna was always a member of the royal family, and the first Tawananna known was the aunt of Hattušili I (1650–1620 BC Old Kingdom). This is made clear in the *Annals of Hattušili I*

^{4*}The religious roles of queens is also seen in non-Indo-European societies. See: [Nelson, 2003] for examples and references.

^{5*}The relegation of women to nunneries was a way to keep them as religious participants in the church but keep them from priestly activities [Herrin, 1994].

(KBo X 2 1 3) who claims his right of decent as the “son of Tawanannas’ brother”. In other words his paternal aunt who was the daughter of King Labarnas, the first Hittite king, suggesting that originally the Tawananna was the “daughter of the sovereign who served as intermediary to succession when direct male descent failed” [Puhvel, 1989, p. 353]. In later periods, this title was held by the king’s wife, but sometimes it could also be held by the king’s sister or mother. Although the Tawananna could be the king’s daughter, she was not necessarily the oldest daughter [Puhvel, 1989].

The position itself was religious in nature and the Tawananna seems to have acted as chief priestess presiding over religious ceremonies and even judicial matters. Because of the frequent absence of the king, a number of Tawanannas acted on their own and acquired significant power not only in religious matters but also judicial and political [Bryce, 2004, p. 96]. A consequence of the position of Tawananna^{1*} being for her lifetime, was the creation of a situation fraught with problems once there was a new king and queen.

In the Old Kingdom one Tawananna fell so far out of favor that the mere mention of her name or those of her children was cause for death. Although we do not know what caused this enmity, it is so extreme that it is worth quoting:

In future let no one speak the Tawananna’s name... Let no one speak the names of her sons or daughters. If any of the sons of Hatti speaks them they shall cut his throat and hang in his gate. If among my subjects anyone speaks their names he shall no longer be my subject. They shall cut his throat and hang him in his gate (KBo III 27 (CTH 5) 5–10, quoted in: [Bryce, 1998, p. 98]).

Because the Tawananna could be the daughter of the king, this tells us that kingship could go through the female line or perhaps more accurately a female served as a place holder until a male came along. Puhvel [1989] likens this situation to the British Princess Royal where there can only be one alive at a time.

Nevertheless, it is clear from the Royal Hittite Funeral Rituals that the death of a queen was of extreme importance on a par with that of a king and that a queen, as well as a king became a divinity “*Quand un grand péché arrive à Hattusa, et que le roi ou la reine devient dieu*” [Christmann-Franck, 1971,

p. 64]^{2*}. This is not evident in any other literature, but here we are dealing specifically with the death of royalty. Interestingly, no royal Hittite burials have been found. Our knowledge of Hittite burial is limited to cemeteries of the clearly non-royal inhabitants^{3*}.

The Hittites have left us documents that point to the importance of some queens during their lifetimes. Two of the first women for whom we have a written record are Nikalmati, wife of King Tudhaliya I/II (ca. 1400 BC)^{4*} and their daughter Ašmunikal. Tudhaliya’s co-regent and successor Arnuwanda I was the husband of Ašmunikal. At least twice Ašmunikal is recognized as both Great Queen and the daughter of her mother, Nikalmati, once on their great seal that reads “Tabarna Arnuanta, Great King, son of Tudhaliya...Tawananna Ašmunikal, Great Queen, daughter [of Nikalmati] and daughter of Tudhaliya” and again on Ašmunikal’s own seal “Great Queen, daughter of Nikalmati”. Puhvel interprets this as Ašmunikal “becoming ruling queen after Nikalmati’s death but before her brother’s accession” [Puhvel, 1989, p. 356]. However, Bryce [1998, p. 139] says that sister-brother marriages were strictly forbidden in Hittite law, still Neufeld [1951, p. 193] points out that “intercourse with a full sister was not prohibited”^{5*}. Another view is taken by Beal [1983] who suggests

^{2*}Because the dowager queen was the new king’s mother, her status remained much as the Albanian *zonj-a* ‘the mistress (of the extended family)’ after the *zot-i* dies and his (and often her) son (or grandson) becomes *zoti* ‘the master (of the extended family)’. The Hittite queen is queen consort and is not necessarily given the powers of the Tawananna. (I am indebted to Martin Huld for the Albanian information.)

^{3*}The position, history, and role of the Tawananna is quite complicated and scholars are somewhat conflicted on the subject. For two views see Bin-Nun [1975] and Puhvel [1989]. Bin-Nun provides and extensive investigation into the problems of the Tawananna. See: [Beal, 1983] who refutes Bin-Nun on a number of her conclusions which have not been widely accepted.

^{4*}In only one aspect does the ritual for the queen differ from that of the king: her remains are relegated to a stool whereas the remains of the king were placed on a chair: “(7) *Une fois les ossements recueillis, elles les enveloppent avec le tissu et le linge fin et les posent assis sur une chaise; mais s’il s’agit d’une femme, c’est sur un tabouret*” [Christmann-Franck, 1971, p. 65].

^{5*}Despite the lack of Hittite royal burials, something of a connection can be made with the burial of Patroclus and the Early Urnfield burial at Oc’kov in Slovakia. The Hittite Royal Burial Ritual states that the bones are to be wrapped and soaked in oil much as Homer prescribes for Patroclus to whose burial it has been likened, “Then let us place the bones [of Patroclus] in a golden urn wrapped in a double layer of fat until such time as I myself be hidden in Hades” says Achilles (*Iliad* 23, 243–244). The burial at Oc’kov provides a close parallel to the burials

^{1*}Puhvel [1989] also makes the case for Tabarnas/Labarnas to be Indo-European. See this same article for the alternation of Tabarnas/Labarnas.

that Tud-alīya adopted his daughter's husband Aruwanda. This would be the logical solution to this possible incestuous problem, and in the early document the *Proclamation of Telipinu* (CTH 19), provision is made for a son-in-law to succeed the king (see: [Beal, 1983, p. 117]). Furthermore, this solution works easily with Ašmunikal becoming Tawananna before she married.

Another point of importance with the Ašmunikal seals is the prominence of her mother's name. Her mother, Nikalmati, was a Hurrian as were many Hittite queens in the New Kingdom and much like the later Puduḫepa, she clearly took a prominent role in politics. Puhvel [1989, p. 357] suggests that Nikalmati may earlier have "undercut" Tudḫaliya's sister, Ziplantawiyas, who either was Tawananna or a potential one. It appears that Ziplantawiyas did not sit still for this competition and may have resorted to sorcery against her brother and his wife. A 15th/beginning of the 14th century BC document (KBo XV 10)^{1*} speaks of a ritual arranged by Tudḫaliya and Nikalmati to exorcise the sorcery of Ziplantawiyas who is understood to be Tudḫaliya's sister [Puhvel, 1989, p. 357]. While this situation brings up a number of questions the important one here is was this part of the religious role played by the queen or was it merely vengeance?

Seven queens are known from the New Kingdom as attested on seal impressions or documents. These are Nikalmati, Ašmunikal, Ḫenti, Tawananna, Danuḫepa, Malnigal, and Puduḫepa^{2*}. At least three queens are associated with Šuppiluliuma I (1344–1322 BC): Danuḫepa (his mother), Ḫenti (first wife), and Tawananna (second wife). Danuḫepa,

Šuppiluliuma's mother^{3*}, seems to have outlived her husband (Tudḫaliya III, 1360–1344 BC) and "in the standard Tawananna tradition" retained the status of queen. Ḫenti followed her mother-in-law to the position of queen but remained there only a few years when Šuppiluliuma married a Babylonian princess who not only took the title of Tawananna but also took it as her personal name along with her original name Malnigal. The fate of Ḫenti is not known, but she may have been banished by Šuppiluliuma [Bryce, 1998, p. 172–173].

While the reasons for Ḫenti's fate are not clear, the actions of the new queen, and, Tawananna, are. She became quite powerful and her name appeared next to her husband's on seals and documents. She instigated new, often unwelcome, foreign customs into the palace and is said to have had a domineering personality. After Šuppiluliuma's death (when he became a god) she continued as Tawananna during the reigns of Šuppiluliuma's two sons, Arnuwanda II, who only reigned for about a year, and Muṣšili II who came to the throne after his brother. Tawananna continued as reigning queen and her undesirable habits also continued. Among other things she was accused of unlawfully taking silver and gold from temples for other gods. In the ninth year of Muṣšili's reign his wife, Gaššulawiya, whom it seems he was very fond of, died^{4*}. Tawananna was accused of having brought in a woman named Mezzulla^{5*} to utter spells against Muṣšili's wife, and this seems to have been what finally moved Muṣšili to action against his stepmother. This along with other accusations suggested witchcraft which was taken very seriously among the Hittites. In KBo XIV 4^{6*}, Muṣšili relates his and his brother's tolerance of their stepmother had come to an end; ultimately she was deposed of by the court. There is evidence to suggest that "uppiluliuma's mother Danuḫepa, who was queen under three kings,

of Patroclus and Hector in terms of cremation, "measureless wood", rich grave goods, and, of course, the mound itself which the excavator, himself, suggested had close parallels [Paulik, 1962, S. 67–68, Abb. 17–18; Jones-Bley, 1997].

^{1*}The chronology of the Hittite king list is complicated and vexing to Hittite scholars, particularly in the Middle Kingdom. One very important problem is the number of kings who had the same name without clear differentiation. Here I follow Bryce [1998, p. 132–133].

^{2*}Hittite Laws 187–200a describe in detail "unpermitted sexual pairings". Law 189 lists those closest relatives with whom sex is unpermitted, and these include a man's own mother, his daughter, and his son. His own sisters are not mentioned [Hoffner, 1997, p. 148–58]. Puhvel [1989, p. 352] points out that Bin-Nun's thesis that brother-sister marriage was compatible with IE myth such as Zeus and Hera and some dynastic groups such as the Achaemenians was not compatible with "patriarchal, patrilocal, strongly exogamic early Indo-European social organization".

^{3*}For a translation of this document into German, see: [Szabo, 1971].

^{4*}Bryce calls Muṣšili II "a deeply pious man, [who was] thrown into abject depression by the death of his beloved wife".

^{5*}It is unusual to have a name of someone not in a high position, but there is no suggestion that she was a woman of power therefore was probably a sorceress of some sort. However, Mezzulla is also the name of the daughter of the Sun Goddess of Arinna, and in Bin-Nun's translation, it is not completely clear "Then the Queen [sent] Mezzulla [to my wife and she began] to pronounce spells against them" [Bin-Nun, 1975, p. 186, fn. 107].

^{6*}See: [Bin-Nun, 1975, p. 177, 184, 188–189] for partial text and translation into English of this document.

had also been brought before the court but she was not deposed [Bin-Nun, 1975, p. 184–186].

It was, however, Great Queen Puduḫepa, wife of the Great King Hattušili III (1275–1250 BC) who was certainly the most powerful woman of the Hittites known to us. We might go so far as to say she was one of the most powerful women in the ancient world. Evidence of her power and influence is found in her many letters, official documents, and seals where her name is placed next to that of her husband as well as performing religious rituals as seen at Fraktin. She received letters from Rameses II of Egypt that are word for word the same as those sent to her husband. She also received letters addressed just to her where he addresses her as “sister” just as he addressed the king as “brother”. In response to an angry letter from Rameses she attempts to placate him over the delay of a Hittite princess that was being sent to him all the while speckling the letter with sarcasm [Beckman, 1999, p. 133–135]. On the relief at Fraktin, mentioned earlier, her image is somewhat blurred unlike the image of Hattušili. Because a king could only attain divine status if he were dead, Burney suggests the blurring indicates that she was still alive which would date the monument to after his death but before her death [2004, p. 90].

We learn of Puduḫepa’s marriage to Hattušili from a document^{1*} that gives a brief review of his early life. In the document, KBo 6.29^{2*}, Hattušili relates that at Lawazantiya it was his patron goddess, Ishtar of the city of Samuha who gave Puduḫepa to him; this is repeated in another document, *The Apology of Hattušili*. This latter document tells us that Hattušili married Puduḫepa not out of desire but because the goddess Ishtar, his patron, told him to, which again points to the sacral nature of the queen^{3*}.

While not specifically connected with queens, the early Greek Linear B tablets tell us that women held important roles as priestesses, and it is speculated that they came from the upper classes, owning their own land, and “wielding considerable authority” [Vivante, 1999, p. 224].

^{1*}*The Apology of Hattušili* (CTH 81) is remarkable in that it provides personal information of the king but also for what it is – a justification for Hattušili III’s usurpation of the throne from his nephew Urḫi-Teshub (Muršilis III).

^{2*}For a German translation of this document, see: [Götz, 1925].

^{3*}A number of Hittite deities had Hurrian origins deities, and this is the case with Ishtar whose Hurrian name was Šaušga, who was a war goddess [Burney, 2004, p. 231].

Homeric kingship is not well defined [Finley, 1999] and queenship even less so. While a number of queens are mentioned (see the earlier discussion of βασιλεια), their functions and power are only alluded to. Penelope is Odysseus’ consort, regent for Telemachus, and the reason for all of her suitors is complicated (see: [Finley, 1999]).

West [2007, p. 414–417] points out that a man could become a king through the queen in several instances: marrying the existing queen, marrying the queen who is widowed, or marrying the daughter of a king. The need for such marriages has several possibilities: a living king could increase the borders of his land if he marries the widow of a neighboring king and marrying the highest ranking female in a kingdom prevents her being used by a rival. We should remember that it is Hamlet’s uncle’s marrying Hamlet’s widowed mother, who was also queen, that caused Hamlet to behave badly.

Marriage as an alliance tool was particularly prevalent amongst the Persians during the Achaemenid Empire, begun about 550 BC, and most particularly by Darius I (521–485 BC) whose claim to the throne was somewhat shaky. His first wife, whom he had married before he came to the throne, is unnamed but referred to as the daughter of Gobryas – ultimately Darius had at least six wives^{4*}. Once he came to the throne, Darius’ policy was to prevent anyone claiming decent from the founder of the empire, Cyrus the Great. To this end, Darius married Cyrus’ two surviving daughters, Atossa and Artystone, and his granddaughter Parmys, daughter of Cyrus’ second son Smerdis. The most influential of Darius’ wives was Atossa who was first married to her brother Cambyses, then the false Smerdis^{5*}, and finally to Darius. His other wives were from great Persian families, Phaidyme, daughter of Otanes and Phratagune, daughter of Artanes, by whom he had at least two sons, Abrocomes and Hyperanthes.

By his first wife Darius had three sons, the oldest being Artobazanes. By Atossa Darius had four sons (Xerxes, Mandane, Hystaspes, and Masistes), of these Xerxes was the oldest.

Artystone (“Pillar of Justice”) was the youngest daughter of Cyrus the Great, the youngest sister of

^{4*}Cook [1999, p. 110] speculates that her name might be Artabama as this woman, who was of the highest rank, received large shipments of wine in 500 and that there were large feasts in 499–498 BC. If this was Darius’ first wife, these feasts would have coincided with her oldest son’s installation as heir apparent.

^{5*}See fn. 33 below.

Atossa, and the favorite wife of Darius. Herodotus (III.88.2–3) tells us that unlike her sister, Artystone was a virgin when she married. The importance of this is not clear, but probably indicates that she was still quite young. She bore Darius two sons, Arsames and Gobryas [Cook, 1999, p. 35].

Cyrus the Great's granddaughter, Parmys, was the daughter of Cyrus' son Smerdis (also known as Bardiya), and bore Darius a son, Ariomardus (Herodotus VII.78).

With all these sons it is not surprising that there was disagreement as to who would follow Darius to the throne. Although counseled to persuade Darius to declare Xerxes heir by others than his mother, who was the highest ranking woman in the court, Herodotus (VII.3) says Xerxes would have been named king because Atossa was "all-powerful"^{1*}.

Darius continued this policy of marriage alliance with the great families of Persia, with not only his son Xerxes, who married Amestris, daughter of Otanes (Herodotus VII.61), but also one of his sisters married to Gobryas (Herodotus VII.5) and his daughter, Artazostra, to Mardonius, son of Gobryas (Herodotus VI.43) (see: [Brosius, 1998, p. 205] for other daughters)^{2*}.

While queens early on were important in making alliances (note the Puduhepa/Rameses correspondence), this function became more focused over time, and, for a Hellenistic monarch, a daughter could be "the chief value... at the making of a treaty or alliance" [Macurdy, 1932, p. 5]. During this period a number of Hellenistic (end of 4th to 2nd century BC)

queens wielded a great amount of power particular Berenika I and II – wives of Ptolemies I and III, Arsinoë I and II – successive wives of Ptolemy II, and Cleopatra VII – the well-known last queen of Egypt. These women are often defined by the cruel and nefarious actions they performed either for their own benefit or for that of their sons. Even Alexander the Great's mother, Olympias, is said to have, for the sake of her son, murdered her husband, Philip II, father of Alexander. After Philip's death and in order to consolidate her power and influence with Alexander, she had Philip's last wife, Cleopatra (not VII), and daughter savagely killed. Although Olympias remained mistress in the Macedonian court, her power was thwarted by Alexander who appointed Antepater as regent in his absence.

When we turn to more social rituals, which fall into the category of keeper of the household, we must leap ahead in time to the Medieval period for the best examples. Unn [Aud] the Deep-Minded who dominates the *Laxdæla Saga* was said to be "a paragon among women" and considered "the ideal by which all women are to be judged" [Schrader, 1983, p. 110, 104]^{3*}.

The historical Unn is compared with *Beowulf's* Wealhtheow and in fact Unn can be used as the historical counterpart of several literary figures. Both Unn and Wealhtheow are noted for their dignity and called ring-givers. Unn is also called an ale-giver^{4*}. Wealhtheow, queen to Hrothger, goes about the hall

^{1*}Another wife, Phaidyme, was the daughter of Otanes one of the great men in Persia and the one who espoused a form of democracy rather than the monarchy. Still another of Darius' wives was Phratagune, daughter of Artanes, Darius' brother, and thus Darius' niece (Herodotus VII.224.2). Phratagune had been the wife of Cambyses and wife of the Magian who pretended to be Smerdis, son of the Great Cyrus. The Magian had married all of Cambyses' wives, probably in an attempt to cement his legitimacy. It was she who had discovered the truth about the Magian, to whom she was married, by feeling for his ears when he was asleep (Herodotus III.69, III.88.2–3, and VII.78).

^{2*}Our best sources for royal Persian women are Greek rather than Persian. It is the Greek sources that provide a near complete list of the wives of Persian kings [Brosius, 1996, p. 14]. Atossa, wife of Darius I is absent in Persian sources but well-known in Greek sources. Although it is curious that she is not mentioned by name in Aeschylus' *Persai*, it is clearly she who is referred to as μήτηρ βασιλέως, βασίλεια (151–52) "mother of our king, my queen".

^{3*}Unn was the daughter of Yngvild, the daughter of Ketil Ram, "a man of good family" (*Laxdæla Saga* 1) and Ketil Flat-nose, whose father was Bjorn Buna one of the great leaders of Norway. Unn married Olaf the White "the greatest warrior-king at that time in the British Isles" (*Eyrbyggja Saga* 1 in: [Schrader, 1983, p. 108]). He ruled Dublin in the mid-9th century and died ca. 871. With Olaf, Unn had one son, Thorstein the Red. When King Harald Fair-haired of Norway became extremely powerful, Ketil Flat-nose and his family left Norway. Some of the family went to Iceland, but Unn went with her father Ketil to Scotland. Later, after both her father and son had been killed, she planned an escape from Scotland by having a boat built in the forest and taking with her many relatives and treasure. She established dynasties in the Orkneys, Scotland, and the Faroe Islands by arranging marriages of her granddaughters, Groa, Olof, and Thorgerd (*Laxdæla Saga* 4). Unn lived a long life and was very generous to both her relatives and servants. Her death coincided with the marriage celebration that she arranged for her grandson Olaf Feilan to whom she left her large farm at Hvamm. Unn had become a Christian, but upon her death she was placed in a ship which was placed in a mound accompanied by great treasure (*Laxdæla Saga* 7).

^{4*}We should recall that the Valkyries gave ale to those who went to Valhalla.

graciously attending to her duties and often giving rings. She is described as having been “Excellent of mind” and “wise in speech” (*Beowulf*, lines 624, 626), all the while attending first to her husband as etiquette required [Schrader, 1983, p. 37]. In other words, she pacifies all those who come to court seeking favor. A similar situation occurs in the first branch of the *Mabinogi* when Pwyll takes the place of Hafgan. Hafgan’s queen is “the fairest woman anyone had ever seen... the noblest and gentlest in her nature and her discourse...” [Ford, 1977, p. 39]. Here we seem to have a shift from religious duties to one that must certainly have been nearly as important – political duties. A very early example of a queen who carried out both sets of duties is the already mentioned Great Queen Puduḫepa of the Hittites.

Homer also speaks of similar qualities. Hecuba is the noble queen and mother noted for her wisdom, who although she entreats the gods for her son is faithful to them as she says “Hector was surely dear in his life to the gods who care for him thus in his death” (*Iliad* 24, 748) [Seymour, 1963, p. 123].

The establishment of Christianity provided opportunities for a queen to flex her political muscle. Connections with the clergy were fairly common and crucial in order to stay on the right side of the church which played such an important role in nearly all aspects of life including the politics of individual countries. “[H]ere a queen could use to maximum effect her accepted powers as royal counselor and mistress of the household” [Stafford, 1983, p. 120]. A number of examples can be found in England. One such example is an embroidered vestment made of colored silk and gold threads commissioned by Edward the Elder’s (909–916) second wife, Queen Ælfflæd, for the pious Bishop Frithestan of Winchester (909–931). The inscription reads ÆLFLÆD FIERI PRECEPIT PIO EPISCOPO FRIBESTANO, (*Ælfflæd ordered to be made for the pious bishop Frithestan*) [Swanton, 1996, pl. 13]. Such a gift would have shown the queen’s fealty to the church and loyalty to the bishop.

Perhaps a better example and one that indicates the influence, if not the power of the queen is the frontispiece of the *Liber Vitæ* of New Minster Abbey, Winchester. This image (see: [Stafford, 1997, pl. 1; 2001, fig. 5]) shows Queen Emma with her second husband, King Cnut, giving a church to the New Minster in the early 11th century. Although Stafford suggests that this image can be interpreted as either a powerful queen or a powerless one, the evidence leans more heavily to the former. Emma is an excellent

example of a queen who not only brought influence to both of her marriages but was also a consolidator of power with her second marriage (see: [Stafford, 1997; 2001]).

Although it was in the Medieval period that we have some of the strongest evidence for reigning queens [Wolf, 1993], it is equally true that the preference for a male monarch is repeatedly emphasized and becomes even more prevalent during this time. Nevertheless, the historical evidence shows that women did rule either alone or more commonly alongside their husbands. If it is true historically, why should it be less true when we are left only with the archaeology.

Mythologically the stand out reigning queen is the Irish Medb, Queen of Connacht, but despite her strength as queen/goddess and her character, she is ultimately defeated by the hero Cú Chulainn. Patricia Kelly [1992] suggests that Medb’s story is contrived as a lesson of the chaos that results from a female monarch. Still, while Medb may have been a towering figure in mythical, political, and military spheres, the Irish annals give her no historical counterpart [Kelly F., 1988, p. 71]. Moreover, although her husband Ailill was less than an assertive figure, her lover Fergus decries the leadership of women when he tells her “That is what usually happens... to a herd of horses led by a mare. Their substance is taken and carried off and guarded as they follow a woman who has misled them” [Kelly P., 1992, p. 79]. This suggests that if there were Irish female political or military leaders, and there doesn’t seem to be any hard evidence, they were not held in high regard. Medb remains clearly a mythical/literary figure.

Archaeology

Despite the written record that provides numerous examples of queens in general and some specifically powerful ones, can we identify women of power in the archaeological record? We can certainly find women of great wealth, and from that we might extrapolate that they also held at least a certain amount of power. But can we find a queen?

Let us now examine some of the archaeological evidence where we might, without too much of a stretch, consider females in graves to be queens or at the very least women of very high rank. There are many examples of women in wealthy graves but here we will look only at the wealthiest as it is with these that we can speculate that they may have been queens in their societies.

The 200 year period between 2100 and 1900 BC in central Anatolia coincides with the time when the earliest Indo-European tribes arrived in the area. It is during this time that 13 very rich graves from Alacahöyük have been dated, and it was at Alacahöyük, Horoztepe, Mahmatlar, and Hasanoglan that small Hittite principalities arose. These Middle Bronze Age graves produced such brilliant finds that it has been said that they overshadow the earlier spectacular finds of Schliemann at Troy [Akurgal, 2001, p. 24–25]. Two of these graves are of particular interest to us as they were of women.

The first female grave contained items typically, or at least frequently, determined as female: bronze mirror, a silver comb, gold diadem, two gold bracelets, and an earring as well as a number of pins, several chains, and three gold fibulae. Happily the skeleton was well preserved and determined to be that of a female. Beside her was also found three “sun standards” and the bronze statuette of a stag. Akurgal comments that she must have been “the wife of one of the priest princes in the Hittite royal palace” [2001, p. 25].

In the second female grave, the woman lay on her right side in a crouched position with her head turned to the west facing south. She wore coral and gold necklaces as well as a diadem. She also wore a gold fibula and on her left were two female idols one in bronze and the other made of silver. There was also a silver bracelet and a silver vessel with gold inlay. Nearby were four sun emblems of bronze, a bronze statuette of a bull with electrum inlay as well as a number of other items made of gold, silver, and another idol this time made of electrum [Akurgal, 2001, p. 25]. This last idol does not have clear sex indicators but has very broad hips usually found on female idols. Akurgal states quite plainly that the sun symbols “belong to the Indo-European Hittites” and that these sun symbols are not found earlier. Furthermore, in the Maikop civilization of southern Russia, which again must be an Indo-European civilization, there have been found standards which closely resemble those brought to light at Horoztepe and Mahmatlar. For example four statuettes depicting walking animals on the edge of a silver vessel obtained from Alacahöyük recall the walking animals on Maikop vessels [Akurgal, 2001, p. 19].

While we do not know exactly who these women were or what their position in life was, it is clear they were women of wealth and quite likely of some importance. They also had objects that can be inter-

preted as religious in nature suggesting that they may have had religious or ritual duties. The combination of very wealthy grave goods and religious items allows us to speculate that they at least held very high positions in the royal household if not the position of queen.

Another group of graves from the northern plain of Afghanistan in the area known as Bactria in the ancient world has produced six spectacular graves – five women and one man – dating to ca. 100 AD. The artifacts found in the graves speak to widespread trade as they came from a number of cultures including Scythian, Chinese, and local Bactrian with inspiration for some coming from Greece. Coins also were far-ranging including a “Roman Tiberian aureus struck in Gaul between A.D. 16 and 37” [Schiltz, 2008, p. 225]. In all over 20,000, nearly all gold with semi-precious stones, objects were recovered from the six graves. The objects are not only of intrinsic value but have artistic value as well [Sarianidi, 2008, p. 211].

These graves were of a nomadic people and typical of nomadic people as “the burials were dug into a hill or mound” [Sarianidi, 2008, p. 213]. The excavator, Viktor Sarianidi, speculated that this was a family cemetery [Sarianidi, 2008, p. 217], but it may also have been that of a ruler and his wives and/or household. The women range in age from around 20–40 years old (Grave 1 – 20–30; Grave 2 – around 30–40; Graves 5 and 6 – 25–30). Grave 3 was greatly disturbed but the objects found strongly suggest a woman but of unknown age [Sarianidi, 1985, p. 47]. Graves 3 and 6 were the richest of the female graves, and they flanked the male. The other three graves, 1, 2, and 5, were placed at a lower level in the mound.

Not only the objects but the women themselves appear to have come from different cultures. It is suggested that the woman in Grave 6 had links with the Parthians due to the imitation gold Parthian coin she held in her hand [Schiltz, 2008, p. 227] and the same type of coin in her mouth.

The finds from Graves 3 and 6 were not only spectacular but some rare in type further suggesting the importance of these women. Four of the five women wore headgear that suggest or actually were crowns, and three had possible scepters. The hair of the female in Grave 1 seems to have had jewels, but there is no indication of a crown or diadem. Grave 2 had a gold cylinder (or tubelet) that Sarianidi calls a “status symbol,” but Hiebert calls a possible “scepter” [Sarianidi, 1985, p. 23, fig. 2–22; Hiebert and

Cambon, 2008, p. 241]. She also wore a “high conical head covering” made of felt or leather (perhaps a diadem, tiara, or Tigraxauda mentioned by Herodotus) covered with gold plaques. Grave 3 had nearly 5,000 gold objects and was exceptionally rich including soles of shoes cut from sheet gold. Her head rested on a gold plate, and she wore a headdress of fabric with gold bands and appliqué which Sarianidi calls “a five part crown or coronet” [Sarianidi, 1985, p. 28, pls. 38–39, figs. 3–40, 24; Hiebert and Cambon, 2008, p. 254, fig. 89]. Grave 5 also contained a type of “scepter” in the form of a long hollow silver cylinder with remains of wood inside the cylinder [Sarianidi, 1985, p. 45; Hiebert and Cambon, 2008, p. 280]. Grave 6 held a spectacular gold crown and a kind of gold “scepter” [Sarianidi, 1985, pls. 12–15, figs. 6–1, 19; Hiebert and Cambon, 2008, p. 284, fig. 134]. Due to the wealth and rarity of goods and their position flanking the man who also had extremely rich items, it is possible to speculate that they were the chief wives of this important man or king.

The only known unrobbed grave of a very rich Sarmatian burial was found in 1987 by Vladimir Guguev, kurgan 10 at Kobaykov in the eastern outskirts of Rostov-on-Don. The grave measured 3.3×3.5 m and contained a woman about 20 years old laying on her back with her head southeast. The finds include two gold bracelets with eagle-headed griffins and other fantasy creatures [Prokhorova and Guguev, 1988, p. 42, fig. 3], a delicate gold ring dating to the 1st century AD, a diadem decorated with stages, birds, and a tree of life all worked in gold-foil, a gold turquoise-encrusted torque was found around her neck. In the center, the torque has a sitting warrior figure with a moustache and who wears a low V-neck caftan. He is sitting cross-legged with a sword, still in its sheath, laying across his lap. On either side of him are scenes of a dragon fighting with a fantastic beast. The torque is 15 cm in diameter and weighs over 400 grams [Prokhorova, Guguev, 1988, p. 41, fig. 2]. The motif compares well with similar Indo-Iranian motifs. The back side of the torque shows anthropomorphic creatures with cudgels attempting to hit dragons; this motif is repeated three times and was made by native craftsmen not Greek or Roman. Also in the grave was a horse bridle made of gold and bronze; there was also an ax.

In western Europe, a number of wealthy “princess burials” have been uncovered in La Tène and Hallstatt contexts that show clear signs of extreme wealth.

All of these graves contained the standard Celtic upper class luxury items: wagon, torque, bracelets, iron belt chains, anklets, earrings, finger rings, and weapons. Vix [Joffroy, 1979] in the Champagne area of France, is the most outstanding example. Here is a burial that had to be an important personage be it male or female.

The burial at Vix is not only the most elaborate female burial but one of the most elaborate of all Celtic burials. This “princess,” or perhaps we could promote her to queen, was about 35 years old; her grave was under a large mound 42 m in diameter and at least 6 m high. The grave goods are of the richest type – a diadem weighing 480 grams of solid gold and exquisite workmanship would by itself be convincing. She was laid out on a dismantled 4-wheeled wagon with the gold diadem. There was a great quantity of personal adornments – bracelets, circlets of amber beads, and brooches. The wagon had rich metal work. In the northwest corner of the grave was a large bronze krater 164 cm high and weighing 208.6 kg. It is a beautiful work of Greek manufacture with a frieze on the neck in which hoplites alternate with charioteers on 2-wheeled chariots driven by teams of four horses. The detachable lid of the vessel is decorated in the middle with a freestanding female figure. The krater must either have been a state gift or a commission by someone of great wealth.

Sandars in her study of the French Bronze Age points out that in the Middle Bronze Age rich female burials were not uncommon but were all located in the Upper Seine area. She says that these burials “...stand at the head of lasting tradition which can be followed into the Iron Age culminating in the... discoveries at Vix...” [Sandars, 1957, p. 344]. Arnold [1991, p. 107], speaking of Iron Age society, believes there were conditions “in which women were able to occupy high status positions, whether by dint of ability, marriage, birth or a combination of all three... [and]... that women probably played a decisive, and occasionally paramount role in the upper echelons of Iron Age society”. Of all the wealthy female burials of this period, Vix is the most elaborate and the one we might easily label “queenly”. Nothing is known of her consort or, for that matter, if she even had one.

Hochmichele (near the hillfort of Heuneburg in Germany) provides an example of a double burial of a man and woman buried with great pomp. At 85 m in diameter and 13.5 m high this great mound is one of the largest in central Europe and the largest in this

cemetery of 36 barrows. The mound was excavated in 1937/38 and five definite burials were recorded, but it is grave 6 that is of interest to us.

Grave 6 at Hochmichele measured 2.42–2.50 × 2.96–3.06 m and 1.05–1.07 m high. The man had two serpentine fibuli, bronze sheet belt, iron neck ring, large iron knife, and a leather quiver with bronze bosses and 51 iron arrowheads. The woman had a single bronze serpentine fibula, several “necklaces of amber, glass, and coral, a finger ring, belt of animal teeth” [Arnold, 1995, p. 44]. One necklace had over 2000 beads. Public display items were represented by the wagon and horse harness; feasting items included an iron carving knife and bronze tableware including a cauldron, plate, and a drinking (possibly serving) vessel [Pare, 1992, p. 241].

Although the grave items do not compare with the grandeur of those at Vix, the size of the mound suggests a burial of a powerful male and his consort.

At Waldalgesheim, the type site for the art style of Early La Tène, a 2-wheeled chariot burial contained a woman buried in a single grave. There were three types of finds: drinking vessels – a flagon and an imported situla from southern Italy, gold rings – a neck ring, two cast matching bracelets, and a twisted armring (see: [Powell, 1980, p. 99, pl. VI]), and bronze items – a neckring, a bronze fingerring, two bronze anklets, two bronze decorative attachments with coral inlay, an elaborately engraved bronze pitcher with lid, a bronze bucket from lower Italy, bronze and iron chariot fittings – sheet bronze chariot mounts, and bronze openwork. There was also a sapropelite bracelet. Because nothing indicates Rheinisch manufacture, Megaw suggests this woman brought, perhaps from Italy, her goods or craftsman with her on her way to an arranged marriage [Megaw R., Megaw V., 1989, p. 113; Arnold, 1991, p. 103, 285].

Archaeologically we see this status with other female burials such as Sirnau (Wurttemberg), Schwarzenbach, Durkheim (Rhenish Pfalz), and Rheinheim (see: [Arnold, 1991, p. 283–185] for a more complete list). And while we cannot say exactly what their positions in life were, we can say that in death they were treated with honor and reverence that may well reflect that due them in life. Clearly some are consorts and some may even have been sacrificed (perhaps Hochmichele), but others were buried alone leaving the question of their prestige being their own or from a husband or father unanswered.

Arnold [2004, p. 245] recognizes about a half dozen of these elaborate female burials, and they all date to the late 5th – early 4th centuries BC. She further claims these burials resulted at least partly due to a power vacuum due to a time of major emigration of men who had gone off south in search of riches and later she says whole tribes left. By late La Tène (300–275 BC) these elaborate inhumations began to disappear.

History and tradition alike echo the high prestige of Celtic women. Roman history has recorded only Caratacus as a male enemy in Celtic Britain equaling the stature of Boudicca (Tacitus, *Annals* XIV:31) and Cartimandua*. Boudicca** far outshines her husband and Venutius, and the consort of Cartimandua, is little more than a footnote.

There is no doubt that at least some women held positions of extremely high rank in Celtic society, and we know from the Law Tracts that Celtic women had economic standing quite unlike many of their Indo-European sisters [F. Kelly, 1988]. It is equally true that from the archaeology we can say that we can find women of extremely high rank in Anatolia, Bactria, and the Steppe area.

How then can we determine queenship from the archaeology? Clearly wealth alone is not sufficient, but we could say the same for kingship. Determining a sacral category can be much more difficult. A number of scholars have designated certain artifacts including stone altars, pebbles with red paint or arsenic, shells, mineral pigments, bone artifacts, and bronze mirrors as sacral but sacred objects can vary in different societies. Sun symbols, for example, are said to be sacred amongst the Hittites but do not exist elsewhere.

Historically there is overwhelming evidence for women being married off in order to consolidate wealth and/or power. This is difficult to show in the grave though the Waldalgesheim grave may suggest it. Equally difficult to prove from the grave is the role of “keeper of the household” although we do know

*Perhaps still the best article on Cartimandua is Richmond [1954].

**Although Boudicca is noted for the uprising against the Romans in 61 AD, she was not the first woman to lead an army against the power of Roman. Teuta, widow of the Illyrian King Agron (who died of an attack of pleurisy brought on by “carousals and other convivial excesses”) succeeded him as commander of the Illyrian army after his death in 231 BC (Polybius II.4–12). However, Teuta’s cause appears to have been more mercenary than Boudicca’s and ended less tragically.

that Saxon women were buried with “their chatelaine for suspending the household keys” and in Anglian areas some female graves contained a “‘girdle hanger’ which symbolized their domestic authority” [Laing, 1979, p. 85]. The queen as mother to the heir is again nearly impossible to prove, but it is possible to determine if a woman has had children.

Beginning with the Hittites, we know from the vocabulary and very early documents, that Indo-European people had kings and queens. We also know that they had people of status and that **reh₁ĝs-* and **reh₁ĝnih₂* were two of those statuses (along with the more limited **wik+pót-is* and **wik+pot-nih₂* (lord and lady of the settlement). The latter were clearly political in some sense; the sphere of influence of the former is less clear. In India and Rome **reh₁ĝs-* was attached to both the political and sacral, but the fact that the title didn’t survive in Greek and Hittite or Tocharian, Germanic, Baltic, and Slavic suggests that political may not have been the major emphasis. Applying these words to someone in a grave that lacks an inscription leaves us in the realm of speculation. Convention has labeled many rich graves “royal”. How far up the “royal” ladder these women, as well as men, were, we can only speculate*.

References

- Afganistan:** Hidden Treasure from the National Museum, Kabul / eds. F. Hiebert, P. Cambon. – Washington D.C.: National Geographic, 2008
- Akurgal E.** The Art of the Hittites. – London: Thames and Hudson, 1962.
- Akurgal E.** The Hattian and Hittite Civilizations. – Ankara: Republic of Turkey Ministry of Culture, 2001.
- Arnold B.** The Material Culture of Social Structure: Rank and Status in Early Iron Age Europe: Harvard Ph.D. dissertation. – Ann Arbor: UMI, 1991.
- Arnold B.** Rank and Status in Early Iron Age Europe // Celtic chiefdom Celtic state: The evolution of complex social systems in prehistoric Europe / eds. B. Arnold, D. Blair Gibson. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. – P. 43–52.
- Arnold B.** Iron Age Germany // Ancient Europe 8000 B.C. – A.D. 1000 / eds. P. Bogucki, P. J. Crabtree. – New York: Thomas Gale, 2004. – Vol. 2. – P. 241–247.
- Beal R. H.** Studies in Hittite History // J. of Cuneiform Studies. – 1983. – Vol. 35, 1/2. – P. 115–126.
- Beckman G.** Hittite Diplomatic Texts. – Atlanta: Scholar’s Press, 1999.
- Bin-Nun S. R.** The Tawananna in the Hittite Kingdom. – Heidelberg: Carl Winter, Universitätsverlag, 1975.
- Brosius M.** Women in Ancient Persia (559–331 BC). – Oxford: Clarendon Paperbacks, 1998.
- Bryce T.** The Kingdom of the Hittites. – Oxford: Clarendon Paperbacks, 1998.
- Bryce T.** Life and Society in the Hittite World. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2004.
- Buck C.D.** A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 1949.
- Burney C.** Historical Dictionary of the Hittites. – Lanham; Maryland-Toronto-Oxford: The Scarecrow Press Inc., 2004.
- Christmann-Franck, L.** Le Rituel Des Funérailles Royales Hittites // Revue Hittite et Asiatique. – 1971. – XXXIX. P. 61–111.
- Cook J.M.** The Persians. – London: The Folio Society, 1999.
- Drews R.** Basileus: The Evidence for Kingship in Geometric Greece. – New Haven; London: Yale Univ. Press, 1983.
- Duggan A.** Queens and Queenship in Medieval Europe. Woodbridge; Suffolk: The Boydell Press, 1997.
- Finley M.I.** The World of Odysseus/ 2nd revised ed. – London: Pimlico, 1999.
- Ford P. K.** The Mabinogi. – Berkeley: University of California Press, 1977.
- Götze A.** Hattušiliš: Der Bericht über seine Thronbesteigung nebst den Paralleltexten // Mitteilungen der Vorderasiatisch-Aegyptischen Gesellschaft (e.v.). – 1925. – Bd. 3: Hethitische Texte in Umschrift, mit Übersetzung und Erläuterungen, Ht 1.
- Herodotus.** Herodotus: With an English Translation by A.D. Godley. – Cambridge: Harvard Univ. Press, 1922. – Vol. III: Books IV–VII.
- Herrin J.** Public and Private Forms of Religious Commitment among Byzantine Women // Women in Ancient Societies: An Illusion of the Night / eds. L.J. Archer, S. Fischler, M. Wyke. – New York: Routledge, 1994. – P. 181–203. – 1995.
- Hoffner H. A. Jr.** The Laws of the Hittites: A Critical Edition. – Leiden; New-York; Köln: Brill, 1997.
- Homer.** Iliad, 2 vols / A.T. Murray (trans). – Cambridge: Harvard Univ. Press, 1924–1925. – (Loeb Classical Library).
- Joffroy R.** Vix et ses Trésors. – Paris: Librairie Jules Tallandier, 1979.
- Jones-Bley K.** Defining Indo-European Burial // Varia on the Indo-European Past: Papers in Memory of Marija Gimbutas / eds. M. Robbins Dexter, E.C. Polomé. – Washington D.C.: Institute for the Study of Man, 1997. – P. 194–221. – (J. of Indo-European Studies Monograph, Ser. 19).
- Kelly F.** A Guide to Early Irish Law. – Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1988.
- Kelly P.** Medb: sovereignty goddess or all-too-human // Aspects of the Táin / ed. J.P. Mallory. – Belfast: December Publications, 1992. – P. 77–83.
- Kent R. G.** Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon. – New Haven: American Oriental Society, 1953. – (American Oriental Series; 33).
- Laing L. J.** Anglo-Saxon England. – London; Henley: Routledge & Kegan Paul, 1979.
- Macurdy G. H.** Hellenistic Queens: A Study of woman-power in Macedonia, Seleucid Syria, and Ptolemaic Egypt. – Chicago: Ares Publishers, Inc, 1932.

*I want to extend my gratitude to Martin Huld for our many conversations on this paper and his linguistic advice.

Mallory J.P., Adams D.Q. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2006.

Megaw R., Megaw V. Celtic Art from its beginnings to the Book of Kells. – London: Thames and Hudson, 1989.

Medieval Queenship / ed. J.C. Parsons. – New York: St. Martin's Press, 1993. – P. 43–62.

Nelson J.L. Women at the Court of Charlemagne: A Case of Monstrous Regiment // *Medieval Queenship* / ed. J.C. Parsons. – New York: St. Martin's Press, 1993. – P. 43.

Nelson S. M. "Ancient Queens: An Introduction" // *Ancient Queens: Archaeological Explorations* / ed. S.M. Nelson. – Walnut Creek; Lanham; New York; Oxford: Altamira Press, 2003.

Neufeld E. (trans.) The Hittite Laws. – London: Luzac & Co. Ltd., 1951.

Pare C.F.E. Wagons and Wagon Graves of the Early Iron Age in Central Europe. – [Oxford]: Oxford Univ. Committee for Archaeology, 1992.

Paulík J. Das Velatice-Baierdorfer Hügelgrab in Oc kov. – Slovenská Archeológia. – 1962. – X, 1. – P. 5–96.

Polybius. The Histories / W.R. Paton, trans. – Cambridge: Harvard Univ. Press, 1979. – Vol. 1. – (Loeb Classical Library).

Powell T.G.E. The Celts. – New York: Thames and Hudson, 1980.

Puhvel J. "Hittite Regal Titles: Hattic or Indo-European?" // *J. of Indo-European Studies*. – 1989. – Vol. 17, 3-4. – P. 351–361.

Prokhorova T., Guguev V. "Bogatoe sarmatskoe pogrebenie v kurgane na vostochnoy okraïne g. Rostova-na-Donu" // *Izvestiya Rostovskogo Oblastnogo Muzeia Kraevedeniya*. – 1988. – № 5. – P. 40–49.

Queens and Queenship in Medieval Europe / ed. A. Duggan. – Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press, 1997. – P. 3–26.

Renda G. Woman in Anatolia: 9000 Years of the Anatolian Woman. – Istanbul: Ministry of Culture, 1993.

Richmond, I.A., 1954. Queen Cartimandua // *J. of Roman Studies*. – 1954. – № 44. – P. 43–52.

Sandars N.K. Bronze Age Cultures in France: The Later Phases from the Thirteenth to the Seventh Century B.C. – Cambridge: The Univ. Press, 1957.

Sarianidi V. Bactrian Gold: From the excavations of the Tillya-Tepe Necropolis in Northern Afghanistan. – Leningrad: Aurora Art Publishers, 1985.

Sarianidi V.I. Tillya Tepe, The Hill of Gold: A Nomad Necropolis // *Afganistan: Hidden Treasure from the National Mu-*

seum, Kabul / eds. F. Hiebert, P. Cambon. – Washington D.C.: National Geographic, 2008. – P. 211–217.

Scharfe H. The Vedic Word for 'King' // *J. of the American Oriental Society*. – 1985. – Vol. 105, 3. – P. 544–548.

Schiltz V. Tillya Tepe Catalog // *Afganistan: Hidden Treasure from the National Museum, Kabul* / eds. F. Hiebert, P. Cambon. – Washington D.C.: National Geographic, 2008. – P. 219–293.

Schrader R.J. God's Handiwork: Images of Women in Early Germanic Literature. – Westport, Connecticut; London: Greenwood Press, 1983.

Seymour T.D. Life in the Homeric Age. – New York: Biblio and Tannen, 1963.

Sihler A. The Etymology of PIE *reg'- 'King' etc. // *J. of Indo-European Studies*. – 1977. – Vol. 5, 3. – P. 221–246.

Stafford P. Queens, Concubines, and Dowagers: The King's Wife in the Early Middle Ages. – Athens: The Univ. of Georgia Press, 1983.

Stafford P. Emma: The Powers of the Queen in the Eleventh Century // *Queens and Queenship in Medieval Europe* / ed. A. Duggan. – Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press, 1997. – P. 3–26.

Stafford P. Queen Emma and Queen Edith: Queenship and Women's Power in Eleventh-Century England. – Oxford: Blackwell, 2001.

Swanton M. The Anglo-Saxon Chronicle. – New York: Routledge, 1996.

Vivante (Zweig) B. Women in Ancient Greece // *Women's Roles in Ancient Civilizations: A Reference Guide* / ed. B. Vivante. – Westport, Connecticut; London: Greenwood Press, 1999. – P. 219–256.

Wace A.J.B., Stubbings F.H. A Companion to Homer. – London: MacMillan & Co. Ltd., 1962.

West M.L. Indo-European Poetry and Myth. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2007.

Wieshöfer J. Ancient Persia: from 550 BC to 650 AD / A. Azodi (trans). – London; New York: I.B. Tauris Publishers, 2001.

Winter W. Some Widespread Indo-European Titles // *Indo-European and Indo-Europeans: Papers Presented at the Third Indo-European Conference at the University of Pennsylvania* / eds. G. Cardona, H.M. Hoenigswald, A. Senn. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1970. – P. 49–54.

Wolf A. Reigning Queens in Medieval Europe: When, Where, and Why // *Medieval Queenship* / ed. J.C. Parsons. – New York: St. Martin's Press, 1993. – P. 43–62.

ПРААРИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ, НАСАТЬИ И КОЛЕСНИЦА*

В «классической» ведийской религии Насатьи, или Ашвины, – божества второстепенные, связанные в основном с целительством. Их культ был в значительной мере поглощен культом Индры и его священного напитка сомы, так что поклонялись им в рамках таких малозначимых звеньев ритуала сомы, как приношение горячего молока – *gharma*, или *pravargya*, или утренних молений, именуемых *grātaranuvāka* и *āśvinaśastra*. Но значимость коня и колесницы в таких «доклассических» обрядах, как *aśvamedha* и *vājareya*, указывает, что прежде эти связанные с конями божества занимали среди богов более высокое место.

В «Ригведе» Насатьев почитают прежде всего поэты из родов Канвов (*Kāṇvá*) и Атри (*Ātri*), жившие в Гандхаре, куда Канвы пришли с ранней волной носителей индоарийских языков. Сосуд-*gharmá* связан, по-видимому, с «личинными урнами» культуры гандхарских погребений (ок. 1600–900 гг. до н.э.). Это заставляет думать, что Насатьи могли иметь отношение к погребальной практике. Ведийские тексты и впрямь содержат до сих пор не привлекавшие внимание данные, связывающие Насатьев с колесничными состязаниями, входившими в число погребальных обрядовых действий. Подобные состязания отмечены в греческой и балтийской традициях.

Археология и праарийские заимствования в финно-угорских языках, распространенных в северо-восточной Европе, позволили локализовать возникновение арийской ветви индоевропейской языковой семьи в юго-восточной Европе (полтавская, абашевская и синташтинско-аркаимская археологические культуры). Их распространение прослеживается в евразийских степях и через Центральную Азию (бактрийско-маргианский археологический комплекс) в Сирию (царство Митанни) и в Южную Азию (гандхарские погребения).

Важным элементом возникновения и распространения носителей праарийского стала запряженная лошадьми колесница. Ее парный экипаж из возничего и воина был обожествлен, и мифология божественных близнецов распространилась вместе с колесницей от праариев к прагрекам и прабалтам. О том, что носители праарийского считали Насатьев значительными божествами, свидетельствуют и арийские заимствования в финно-угорских языках.

Личные имена митаннийских царей связаны с колесницей. Приводятся аргументы в пользу того, что «абстрактные» божества Митра и Варуна, созданные праиндоариями под ассирийским влиянием на рубеже XXI–XX вв. до н.э., стали олицетворением властной функции, сменив в этом качестве Насатьев, служивших до того, подобно Диоскурам в Спарте, образцом дуальной царственности. Близнецы воплощали дуалистические космические силы, день и ночь, рождение и смерть. Как *márua* они были юношами-воинами и галантными женихами, выступая тем самым и как боги плодородия и деторождения.

*Избранные выписки из статьи “The Nasatyas, the Chariot and Proto-Aryan Religion”, опубликованной в “Journal of Indological Studies” (2004–2005. № 16/17. Р. 1–63). Переработал и перевел Сергей Кулланда, которому автор выражает признательность за дружескую услугу (написано автором по-русски – С.К.).

Археология и предыстория арийских языков

Некоторые относящиеся к колесным повозкам термины можно реконструировать для индоевропейского праязыка. Отсюда следует, что его носители были знакомы с этим техническим новшеством, датируемым примерно серединой IV тысячелетия до н.э. При наличии хронологической и географической отправной точки в виде наиболее ранних находок тяжелых повозок, запряженных волами, а не лошадьми, можно попытаться установить систематическое и холистическое соответствие между археологическими культурами и лингвистическими группами, чтобы проследить передвижения и взаимоотношения народов, объясняющие исторически засвидетельствованное распределение индоевропейских языков и их контакты, отраженные в заимствованных словах и прочих свидетельствах взаимодействия. На этой основе праиндоевропейский можно локализовать в степях к северу от Черного моря, где около середины IV тысячелетия до н.э. начался его распад^{1*}.

Язык ямной культуры (ок. 3500–2800 гг. до н.э.), распространенной от Дуная до Урала, был, видимо, прагреко-арийским. На западе на смену ямной пришла катакомбная культура, чьи носители могли говорить на раннем прагреко-армянском. На востоке, между Нижней Волгой и Уральским хребтом, с катакомбной граничили полтавкинская и абашевская культуры, носители которых, как можно предполагать, говорили на двух диалектах арийского.

В пользу арийской принадлежности языка, на котором говорили носители полтавкинской и абашевской культур и их преемники, говорит одно очень важное обстоятельство. Эти культуры частично распространялись на лесную зону центральной России, занятую волосовской культурой, чьи носители, по всей вероятности, говорили на позднем прафинно-угорском: в этом районе наряду с пришедшими туда в Средние века русским и тюркскими до сих пор существует и несколько финно-угорских языков. В конце концов волосов-

ская культура возобладавала в языковом отношении, поглотив правящее арийское меньшинство. В прафинно-угорском обнаруживается около сотни ранних арийских заимствований; о некоторых из них мы поговорим позднее.

На позднем праарийском говорили, вероятно, в ареале пришедшей на смену полтавкинской и абашевской синташтинско-аркаимской культуры, датируемой приблизительно XXII–XIX вв. до н.э. Эта культура контролировала необычайно богатые медные месторождения Южного Урала – в Каргалах шахты глубиной до 90 метров в бронзовом веке дали два миллиона тонн медной руды. Кости сотен жертвенных животных свидетельствуют, что носители синташтинско-аркаимской культуры были в то же время богаты скотом. Их многочисленные укрепленные ритуальные центры имели форму колеса, тогда как аристократические погребения содержат следы самых ранних колесниц, запряженных лошадьми. Некоторые из синташтинско-аркаимских могил датированы радиоуглеродным методом по образцам, взятым из черепов захороненных коней, рубежом II–I тысячелетий до н.э.^{2*} Колеса бывают и сплошными, и со спицами^{3*}.

Происхождение и распространение колесницы с конской запряжкой

Идут споры о том, возникла ли колесница с конской запряжкой в степях (в ареале синташтинско-аркаимской культуры) или на Ближнем Востоке^{4*}, но Стюарт Пигготт предложил разумный компромисс, могущий положить им конец: «[П]риродная среда обитания дикой лошади и ее одомашнивания находилась в южнорусских степях... Здесь производились первые опыты применения легких колесниц на колесах со спицами, и из этого технологического резервуара Месопотамия могла почерпнуть новшества и затем создать колесницу и в дальнейшем организованное колесничное войско и колесничный бой, что возможно только при изолированной политической организации»^{5*}.

^{2*}Anthony, 1998. P. 106; ср.: [Raulwing, 2000, p. 90; Littauer, Crouwel, 2002, p. 45].

^{3*}Ср.: [Генинг и др., 1992; Anthony, Vinogradov, 1995; Raulwing, 2000, p. 86–95, 123–126; Епимахов, 2002].

^{4*}См.: [Piggott, 1992, p. 37–68; Littauer, Crouwel, 2002, p. 45–52; Raulwing, 2000].

^{5*}Piggott, 1992. P. 48. Ср.: [Piggott (1983, p. 103); Moorey, 1986, p. 211; Mallory, 1989, p. 41] и Anthony, Vinogradov [1995], чьи взгляды сведены в: [Raulwing 2000, p. 120–123]. Критика Литтауэр и Краувела [Littauer, Crouwel, 1996],

^{1*}Относительно главного тезиса этого раздела см. прежде всего [Anthony, 1995] и критический разбор его работы Раульвингом [Raulwing, 2000, p. 79–85]. О соотношении археологии и предыстории индоевропейских языков см.: [Mallory, 1989; Carpelan, Parpola, 2001]; в связи именно с арийскими языками см. также: [Parpola, 2002a, b]. В перечисленных публикациях содержится подробная библиография к данному разделу.

Имеются и важные новые данные в пользу степного происхождения протоколесницы. Прототипы микенских псалиев для колесничной запряжки можно проследить через всю Восточную Европу до южнорусских степей. Многочисленные новые находки такого рода псалиев сосредоточены в Румынии, на южной Украине, в верховьях Дона, на Средней Волге и на Южном Урале^{1*}.

Из южнорусских степей псалии для колесничной запряжки распространились и на юг Центральной Азии. В грабленном аристократическом погребении, недавно раскопанном в Таджикистане, были обнаружены двое удил и две пары псалиев синташтинско-аркаимского типа, а также бронзовый посох или скипетр, увенчанный фигурой лошади, и характерная керамика бактрийско-маргианского археологического комплекса (БМАК), точнее, его жаркутанской фазы, датируемой 2034–1684 гг. до н.э.^{2*} Керамика БМАК послужила источником керамики культуры гандхарских погребений Свата^{3*}, первой культуры северного Пакистана, знавшей одомашненную лошадь. Отсюда следует, что носители праиндоарийского до прихода на Индостанский субконтинент сформировали элитный слой культуры БМАК на юге Средней Азии^{4*}.

Степная керамика редка на памятниках БМАК в тоголокский (ок. 2000 г. до н.э.) и позднебронзовый (XVIII – середина XVI в.) периоды, но встречается в заполнении помещений в бактрийско-маргианских архитектурных контекстах^{5*}. В позднем бронзовом веке (середина XVI – середина XIV вв. до н.э.) степная керамика, т.н. гру-

бая керамика с насечками (Incised Coarse Ware, ICW), встречается как подъемный материал на большинстве основных памятников БМАК (включая Аучи, Таип, Тоголок-1, Тоголок-21 и Гонур), а всего к настоящему времени в Маргиане обнаружено 340 стоянок степняков, окружающих почти все известные поселения БМАК. ICW очень похожа на керамику тазабагыбской культуры Хорезма, позднего юго-западного варианта андроновского комплекса^{6*}. В металлургии также имеются явные свидетельства параллельного существования бактрийско-маргианской и андроновской традиций и их взаимовлияния на юге Центральной Азии в позднебронзовом веке^{7*}. Андроновский комплекс, продолжающий синташтинско-аркаимскую культуру, широко распространен в центральноазиатских и южносибирских степях, от Урала до Алтая, Тянь-шаня и Копет-дага^{8*}. «Немногие археологи, если таковые вообще найдутся, станут оспаривать индоиранскую принадлежность носителей андроновской культуры или отрицать ее глубинную генетическую связь с западными соседями в причерноморско-каспийском регионе»^{9*}.

Еще одно ответвление БМАК^{10*} – Гурганская долина в северном Иране, где на Тепе-Гиссаре была обнаружена цилиндрическая печать с изображением запряженной лошадьми колесницы^{11*}. Эта печать, а также рожки бактрийско-маргианского типа^{12*} из Тепе-Гиссара III С послужили для Романа Гиршмана основными доводами в пользу предположения, что праиндоарийская элита, правившая в XV–XIV вв. до н.э. царством Митанни в северной Сирии, пришла из северо-восточного Ирана^{13*}. Гиршман связал рожки с ближневосточными данными, согласно которым колесничных коней выезжали под звуки труб^{14*}.

Как показывает появление египетских и сирийских мотивов на бактрийско-маргианских

представленная Раульвингом [Raulwing, 2000, p. 124–126] в виде таблицы, сводится к тому, что у нас слишком мало информации о синташтинско-аркаимских повозках, а имеющиеся данные предполагают, что они «еще не могли быть настоящими колесницами», а являлись скорее «протоколесницами или тележками на колесах со спицами».

^{1*}См.: [Penner, 1998, 2004; Кузнецов, 2004].

^{2*}См.: [Bobomullov, 1997]; ср.: [Carpelan, Parpola, 2001, p. 138; Penner, 2004, p. 63].

^{3*}Ср.: [Sarianidi, 2001, p. 432]: «помимо общих погребальных обрядов, погребения в некрополе Гонура и в могильнике Свата демонстрируют сходные керамические комплексы, отражающие позднюю разнородность БМАК».

^{4*}Характерная «личинная урна» культуры гандхарских погребений, видимо, связана с сосудом гхарма, или праваргья, ведийского ритуала и с культом Ашвинов; см.: [Parpola, 2004 (2005)].

^{5*}Ср.: [Hiebert, 2004 (2005), p. 298; Cattani, 2004 (2005), p. 312].

^{6*}Ср.: [Gubaev et al., 1998; Cattani, 2004 (2005)].

^{7*}Ср.: [Lombardo, 2004 (2005)].

^{8*}Ср.: [Кузьмина, 1994; Mallory, 1989, p. 227–231].

^{9*}[Mallory, 1989. P. 227]. Ср. также: [Carpelan, Parpola, 2001, p. 96, 131].

^{10*}Ср.: [Hiebert, 1994, fig. 10.8].

^{11*}Ср.: [Littauer, Crouwel, 2002, p. 279; pl. 129]. Печать относится к слою III В, датируемому в настоящее время примерно XX в. до н.э., тогда как слой III С (XIX – середина XVIII в. до н.э.) считается относящимся к БМАК.

^{12*}См. теперь: [Lawergren, 2003].

^{13*}Ср.: [Ghirshman, 1977, p. 10–19].

^{14*}Ср.: [Ghirshman, 1977, p. 30–31] с изображением барельефа Рамзеса III из Мединет Хабу в Египте на ил. 8.

печатах и верблюда-бактриана – на сирийских, БМАК в XX – середине XVIII в. до н.э. поддерживал торговые отношения с Сирией. Изображения коня и верблюда известны на ряде бактрийско-маргианских печатей и иных предметах^{1*}. Датированные началом II тысячелетия печати, изображающие конную колесницу, находят также в Сирии и Анатолии^{2*}, откуда ассирийские купцы вели в конце XX – середине XIX вв. до н.э. прибыльную торговлю оловом с Центральной Азией – колыбелью БМАК. Есть и в самом деле все основания предполагать, что конную колесницу на Ближний Восток принесли праиндоарии, развившие затем, после того как захватили власть в хурритском царстве Митанни и сделали ассирийцев своими вассалами, искусство колесничного боя. Примерно с середины XVI в. до н.э. аккадские документы из архивов Хаттусы (Богазкея) в Анатолии, Алалаха, Угарита и Нузи в Сирии и Амарны в Египте именуют колесничих термином *maḡānu*, восходящим, по наиболее принятой трактовке, к праиндоарийскому **maḡa-* «юноша» + хурритский именной суффикс *-nu*^{3*}. Точно так же в трактате о тренинге колесничных коней, написанном на хеттском митаннийцем Киккули, у многих иппологических терминов есть надежная праиндоарийская этимология^{4*}.

Ашвины как обожествленный экипаж колесницы

Культ Насатьев, или Ашвинов, – не праиндоевропейского происхождения, как иногда утверждается. Он восходит к тем временам, когда появилась конная колесница, т.е. к последней четверти или к концу III тысячелетия до н.э. Колесница была новым престижным и эффективным орудием войны и состязаний, и элиты соседних народов не замедлили ее воспринять. Вместе с колесницей распространились мифология и культ обожествленного экипажа колесницы. Распространение ранних преданий о колеснице среди ариев, греков и балтов лучше всего объясняется их происхождением из степей юго-восточной Европы.

В Ригведе Ашвинов несколько раз называют «сынами неба», *divó nárātā* или *dívo narātā*^{5*}. Это исторически сближает их с раннегреческими божественными близнецами-всадниками, называемыми Диоскурами, «юношами Зевса», т.е. сынами бога Неба, и всадниками-«сынами бога» (латышские *Dieva deli*, литовские *dievo sūneliai*) в дохристианской религии балтов. Кроме того, у всех трех пар близнецов-конников есть сестра, жена или невеста, отождествляемая с зарей или называемая дочерью Солнца (Ушас или Сурья в Индии, Елена, т.е. «факел», в Греции, а у балтов – латышская *saules meita* «дева или дочь солнца» и литовская *saules dukryte* «дочь солнца») ^{6*}. Есть у них и другие общие черты, частью общепризнанные, частью нет^{7*}.

Ашвины в Ригведе ездят на колеснице, но греческие Диоскуры и балтские «сыны бога» суть всадники. Такое различие объяснимо. В большей части древнего мира на протяжении II тысячелетия до н.э. конная колесница с парной запряжкой была «престижным средством передвижения, единственно допустимым для вождя и его знатного окружения во время церемоний и ритуалов, охоты и схожей с нею войны»^{8*}. Ситуация, одна-

^{5*}Считаю нужным отметить, что это словосочетание применяется исключительно к Ашвинам – в единственном случае (RV 3,38,5cd), где оно может относиться к Митре и Варуне, те выступают как двойники Ашвинов.

^{6*}Ср., напр.: [Ward, 1968, p. 10 f].

^{7*}Об арийских Насатьях, они же Ашвины, см.: [Muir, 1874. V, p. 234–257; Myriantheus, 1876; Bergaigne, 1883. II, p. 431–510; III, p. 5–20; Baunack, 1896, 1899; Macdonell, 1897, p. 49–54; Oldenberg, 1917, p. 207–215; Güntert, 1923, p. 253–276; Hillebrandt, 1927. I, S. 54–70; Geldner, 1928, S. 21–23; Lüders, 1959. II, S. 339–374; Renou, 1967; Gonda, 1974, p. 34–58; Zeller, 1990; Oberlies, 1992, 1993; Pirart, 1995–2001]. О греческих Диоскурах см.: [Eitrem, 1902; Bethe, 1905; Harris, 1906; Farnell, 1921, p. 175–228; Nilsson, 1955. I, S. 406–411; Burkert, 1985, p. 212–213]. О балтских «сынах бога» см.: [Mannhardt, 1875; Biezais, 1975]. Кроме того, имеются полезные сравнительные штудии: [Wagner, 1960; Michalski, 1961; Ward, 1968; O'Brien, 1997]. Однако эти, за исключением Михальского, и некоторые другие авторы (так же как [Güntert, 1923, S. 262–263]) привлекают к сравнению и божественных близнецов других индоевропейских народов (кельтов, германцев, славян), но эти близнецы либо не связаны ни с конями, ни с зарей, либо в их образах можно подозревать влияние греко-римских Диоскуров.

^{8*}[Piggott, 1992, p. 48]; ср.: также [Ibid., p. 41]: «...мы подходим к началу одной из величайших глав древней истории: развитию легкой колесницы-двуколки, запряженной парой коней, как технологического достижения и социального

^{1*}Ср.: [Parpola, 2002a, p. 87] с литературой.

^{2*}Ср.: [Littauer, Crouwel, 2002, p. 15–21, 28–29].

^{3*}Ср.: [Mayrhofer, 1996. Bd. II. S. 329 f.; Raulwing, 2000, p. 117 f].

^{4*}Ср.: [Mayrhofer, 1966. S. 15; 1974, S. 14; Raulwing, 2000, p. 113–116] с последней на то время литературой.

ко, меняется в начале I тысячелетия до н.э., когда впервые появляются Диоскуры^{1*}

«Цари оседлали коней далеко не сразу. В древней ближневосточной традиции царь, если он не ехал на колеснице, мог при случае сесть на мула или осла... В начале II тыс. до н.э. в известном письме Зимрилиму, царю Мари, ему дают на этот счет совет: «Да не сядет мой господин верхом на коня. Пусть он ездит только на колесницах или на мулах, чтя свою царскую голову»...

Но... к IX веку до н.э. колесницы в Ассирии вытесняет конница, и царя Салманасара III (858–823 гг. до н.э.) описывают скачущим на коне. С этого времени образ правителя как конного воина становится на древнем Востоке общепринятым. К VII веку до н.э. произошли важные сдвиги в соотношении сил, и в старых центрах власти закреплялись новые народы из западноазиатских степей, обладавшие традицией подвижного всадничества: Ниневия была разрушена мидянами в 606 г. до н.э., Вавилон завоёван Киром, основателем персидской династии Ахеменидов, в 539 году до н.э. Племена, известные ассирийцам как ишкуза и гимирра (скифы и киммерийцы), со времени Саргона II (721–705) совершали набеги на кавказское царство Урарту... У всех этих народов были сходные хозяйство и военная структура, основанная на владении верховым конем и луком, варварская и по крайней мере отчасти кочевническая по происхождению... Церемониальное и военное применение колесницы пошло на убыль...

Владение конем и колесничные бои в «Илиаде» относятся, таким образом, к позднемикенской Греции, воображаемой поэтами пять столетий спустя... скачки и колесничные бега появились на Олимпийских играх с 648 г. до н.э... К VII веку

института в качестве символа могущества и престижа. Колесничное войско сыграло свою роль, в той или иной форме, не только в ближневосточном аккадском мире с начала II тыс. до н.э., но вскоре и в Египте, в хеттском мире и на Кавказе; затем подключилась микенская Греция, потом Индия, Китай и Левант, к VII в. до н.э. варварская Северо-Западная Европа, Средиземноморье и Северная Африка вплоть до Испании и, наконец, ко II в. до н.э. Британия. Колесница как символ элитного средства передвижения для царей и знати, а с ней и мистика колесничного сражения отступили к I тыс. до н.э. перед верховым конем, но на протяжении всего предыдущего тысячелетия на большей части известного нам мира она воплощала монархию на марше».

^{1*}Согласно Бете [Bethe, 1905, S. 1088]. Наиболее раннее упоминание Диоскуров содержится в надписи VIII или VII века до н.э. на священной скале города Феры.

кавалерия входит в состав греческих армий, а верховая езда признается неотъемлемой частью воспитания благородного мужа...»^{2*}.

М.Э. Литтауэр показала, что П.А.Л. Гринхэлш^{3*} [Greenhalgh, 1973] ошибается, утверждая, что «гомеровские *hippêes*, постоянно представляемые Гомером как колесничный воин и его возничий, в темные века представляли собой пары всадников: воина, который спешил для битвы, и оруженосца. Г. приводит для таких пар обильный изобразительный материал, появляющийся с конца VII в., но эти данные на распространяются на геометрический период. В поддержку своего тезиса он ссылается на появление всадников... в бронзовом веке. Но то была случайная и спорадическая верховая езда, которую естественно встретить везде, где в тех или иных целях используют лошадей... Военное применение несомненно в случае ассирийских конных воинов IX века, хотя они и не являются «весьма важным родом войск наряду с колесницами», значительно уступая последним в количестве. Эти воины всегда действуют парами, непосредственно перенесенными с колесниц: лучник и правчий, по-прежнему держащий поводья обеих коней, у обеих судорожная неумелая посадка. Они используют то же оружие, что было у них на колесницах, и, пусть вначале и неуклюже, стараются сражаться верхом, продолжая тем самым традицию колесничного боя. Греческие воины, изображенные на вазах VII века, вооружены легкими копьями и, подобно своим колесничным предкам бронзового и железного века, известным по произведениям искусства и литературы, не делают попыток сражаться верхом. И то сказать, воину с таким количеством защитного вооружения, какое несли на себе греки, естественнее было сойти с колесницы, чем сесть на коня»^{4*}.

Ведийское *asvín*- «обладающий лошадьми»^{5*} соответствует, как представляется, гомеровским *hippêús* и *hippótēs* (у Гомера всегда в эпическом

^{2*}[Piggott, 1992, p. 69–71].

^{3*}В английском языке имеется четыре варианта чтения фамилии Greenhalgh: Гринхэлш, Гринхолш, Гринхэлдж и Гринхол (BBC Pronouncing Dictionary of British Names. Oxford, 1983. P. 107). Здесь дается наиболее распространенный (прим. переводчика).

^{4*}Littauer [1970] in: [Littauer, Crouwel, 2002, p. 63 f.].

^{5*}Дебруннер отмечает, что суффикс *-in-*, употребляемый наряду с *-vant-* и *-mant-*, предпочтителен при характеристике живых существ, включая имена собственные вроде Ашвинов. Ср. также Güntert [1923, S. 259]: “Das Wort *asvín*- ist

номинативе *hippóta*). В «Илиаде» *hipreús* обозначает 'того, кто сражается на колеснице' в отличие от *pezós* 'пешего воина'^{1*} (2, 810); употребляется по отношению к возничему или 'конеборцу' (12, 664 15, 270), а также 'быстрому вознице', принимающему участие в состязаниях (23, 262); значения 'всадник, конник' и 'конюх' отмечаются в более поздних текстах^{2*}. У Гомера *hipreús* и *hippóta* суть почетные эпитеты ряда героев (Пелея, Нестора, Тидея, Энея, Патрокла) и как таковые могут восходить к наименованию сотоварищей (*equeta* > *herétēs*) микенского царя (*wanaks*), знати, согласно текстам линейного письма В (PY Sa 787, 790) имевшей колесницы^{3*}.

В «Ригведе» много упоминаний о колесничных бегах, но ни одного о конных скачках^{4*}. Точно так же колесницу применяют в сражениях, но ни конница, ни сражение верхом в «Ригведе» не упоминаются^{5*}. Это не означает, что создателям «Ригведы» была незнакома верховая езда, но упоминаний о ней очень мало^{6*}. Даже жертвенного коня

völlig klar: 'der Rosse besitzt', das Wort geht also auf die tüchtigen Wagenlenker, die im Wettfahren die schöne Sountochter errangen" («Слово *asvín* совершенно понятно: 'обладающий лошадьми', то есть оно подходит опытным колесничим, завоевавшим на бегах прекрасную дочь Солнца»).

^{1*}Ср.: «Илиада» 8, 59 *pezoí th' hippêús te*; 11, 150–151 *pezoí mèn pezoús ólekon anágkēi, hippêús d' hippêas...* (в переводе Гнедича «Пешие пеших разят, предающихся бегству неволей, // Конные конных...»). Тот же контраст преобладает и в ведийской Индии: «В самых ранних ведийских текстах воины действуют кланами (*vís*), простолюдины пешими, а вожди на колесницах; колесничий считается старшим (Атхарваведа 7, 62, 1)» [Scharfe, 1989, S. 197].

^{2*}Ср.: [Liddell, Scott, 1940, p. 833b s.v. *hippêús*].

^{3*}Ср.: T.B.L. Webster in: [Wace, Stubblings, 1962, S. 457].

^{4*}Ср.: [Zimmer, 1879, S. 291–292].

^{5*}Ср.: [Zimmer, 1879, S. 294–295]. Циммер указывает, что в контексте битв и состязаний *árvatā* '[с] конем, [на] коне' (PB 1, 8, 2 и в других местах) относится к колеснице, а не к верховой езде, как считал Грассман, так же как у Гомера *arh' híppōn* 'с коней' всегда значит 'с колесницы'.

^{6*}Ср.: [Zimmer, 1879, S. 295–296], где цитируются PB 1, 162, 17; 1, 163, 9 и Атхарваведа 11, 10, 24. Фальк [Falk, 1994, S. 93–94] обнаружил всего два пассажа (PB 1, 162, 17 и 5, 61, 2–3), недвусмысленно упоминающих верховую езду; он упоминает еще пять мест в «Ригведе», которые считали относящимися к верховой езде, но находит иные их интерпретации не только возможными, но и вероятными. Ср. также: [Scharfe, 1989, S. 193]: «Верховая езда была известна даже во времена «Ригведы», но оставалась непривычной, и образ всадников вызывал насмешку: "Вы [Маруты] раздвинули ноги, // Как женщины при родах [пер. Т.Я. Елизаренковой]" [PB 5, 61, 3]».

в ведийском обряде ашвамедхе непосредственно перед закланием впрягают в колесницу^{7*}. Колесница в Индии сохраняет свою престижность и преимущество над конницей и позже: «В эпическую эпоху, правда, имеется конница, но необученная... Верховая езда настолько обычна, как в мирное время, так и на войне, что удивительно видеть посредственное владение конем, ибо конники отличаются в основном тем, что падают, зачастую просто от страха. Их обычно приравнивают к погонщикам слонов как образующим соединение, противопоставляемое основной ударной силе войска, колесничим»^{8*}.

Эти свидетельства текстов согласуются с археологическими данными о приходе верхового кочевничества в индоиранское приграничье. Терракотовые фигурки всадников на лошадях известны из двух первых слоев Пирака недалеко от перевала Болян в пакистанском Белуджистане^{9*}. Они соотносимы с культурой Яз I юга Средней Азии, сменившей БМАК около середины XIV в. до н.э. Культура Яз I, в свою очередь, пришла, видимо, из южнорусских и украинских степей и, как представляется, знаменовала появление в Средней Азии носителей праиранского языка. Последние, видимо, изобрели стремя, веревочное или ремennое и потому археологически не фиксируемое^{10*}, и тем самым военные действия в конном строю. Они распространились и в Сибирь, что на рубеже II–I тысячелетий до н.э. привело к образованию долговечной скифо-сакской культуры евразийских степей^{11*}.

Ашвины и Диоскуры – близнецы. Их парность, как представляется, в большой степени обусловлена тем, что они – обожествленный экипаж колесницы^{12*}. Колесничный экипаж обычно состо-

^{7*}Ср.: [Баудхаяна-шраутасутра 15, 24; Апастамба-шраутасутра 20, 16 слл.].

^{8*}Hopkins, 1889. P. 206–207.

^{9*}Ср.: [Jarrige, Santoni, 1979. I, p. 361; 365–366].

^{10*}Ср.: Littauer, 1981 (переиздано в: [Littauer, Crouwel, 2002, p. 439–451]).

^{11*}Ср.: [Pargola, 2002a, p. 68, 81–83; 2002b, p. 246–248]. За прошедшее время новые радиоуглеродные датировки омолодили начало культуры Яз I с рубежа XVI–XV вв. до н.э. до середины XIV в. до н.э.

^{12*}Объяснение образа Ашвинов как обожествленного экипажа колесницы – одна из основных тем данной статьи. Хотя я пришел к этой мысли самостоятельно, она не нова и была впервые выдвинута Фридрихом Корнелиусом [Cornelius, 1942, S. 64–65, 243], пусть его вывод об индоевропейском происхождении Ашвинов и колесницы

ял из двух человек, воина, сосредоточенного на битве или охоте^{1*}, и возничего, который правил лошадьми, ухаживал за ними и выполнял другие подсобные обязанности: «управление колесницей, запряженной парой обученных ретивых коней, требовало искусного возничего, будь то для торжественного парада, праздничного или ритуального представления или для более опасных охотничьих и воинских подвигов. Здесь необходимость тесного взаимодействия между высокопоставленным воином и седоком вела к тому, что оба зачастую пользовались одинаковым социальным статусом...»^{2*}.

и нуждается в корректировке: «Наряду с богом Неба ярче всего выделяется божественная пара ‘сыновей неба’. Это небесные спасители в беде. Индийцам они представлялись воинами на колеснице. Экипаж боевой колесницы постоянно состоял из двоих мужей, возничего и воина. Отсюда и спасители, которые как колесничие быстро появлялись в нужном месте, всегда рассматривались как пара... На Земле возничий обычно был ниже рангом, чем воин. Это привело к возникновению предания, будто близнецы-сыны неба рождены от разных отцов: только один был сыном бога Неба, а другой происходил от смертного. Поскольку такая генеалогия совпадает у греков и индийцев, она, а с нею и ее предпосылка, нахождение божественной пары на колеснице, возможно, является праиндоевропейской... [С. 243]. Ашвины на колеснице R̥V VIII 5, 28... Полностью вторичным кажется мне толкование из утренней звезды и вечерней звезды, которое может реконструироваться из латышских песен. Скорее уж утренняя звезда могла быть осмыслена как колесница, на которой стояли оба сына бога. Если на некоторых древних изображениях отсутствует колесничий, то это художественное опущение: как раз лучнику на этих изображениях требуются обе руки для оружия и ему не до поводов...».

Однако в дальнейшем исследователи Ашвинов, за исключением Стига Викандера, полностью игнорировали Корнелиуса. Викандер же [Wikander, 1957, p. 78] обобщил и мягко отклонил объяснение предшественника: «Корнелиус видел в Ашвинах возничего и благородного воина на боевой колеснице, осмысленных как божества – экипаж колесницы состоял из двух мужей разного ранга. Это могло бы объяснить и равнозначность Ашвинов и их различие (см. ниже). Но, не говоря уже о пассажах, свидетельствующих, как представляется, что вначале у Ашвинов было две колесницы (примечание: [Bergaigne, 1883, т. II, p. 509]), различия, обнаруживаемые между этими двумя божествами, не вмещаются в рамки данного объяснения, которое, однако же, из предложенных до сих пор наименее искусственно».

^{1*}В Индии воин-колесничий большей частью стрелял с колесницы, тогда как в Греции он сражался пешим, а колесницей пользовался для перемещения.

^{2*}[Piggott, 1992. P. 47].

О наличии связки из двух человек, сопряженной с колесницей^{3*}, в синташтинско-аркаимской культуре Южного Урала (XXII–XIX вв. до н.э.) свидетельствует одно из погребений Синташты. Здесь воин был погребен с оружием и колесницей на дне могилы, тогда как второй человек был похоронен вместе с парой коней и горящим очагом в верхней камере^{4*}.

В ведийской религии возничий и колесничий-воин прямо приравниваются к Ашвинам. Когда во время посвящения на царство царь отправляется в дом своего колесничего (*saṃgrahītār-*), он «приготавливает для Ашвинов лепешку на двух черепках; ведь оба Ашвина – из одного лона; и так же из одного лона колесничий-воин [*śavyaṣṭhār-*] и возничий [*śārathi-*], ибо они стоят на одной и той же колеснице: потому это для Ашвинов»^{5*}.

Из греческих Диоскуров один также был воином, а второй заботился о конях: согласно их постоянным гомеровским атрибутам (напр., Илиада 3, 237), Полидевк был хорош в кулачном бою (*pūks agathós*), а Кастор – в объезде лошадей (*hippódamos*). Ригведа также проводит различие между двумя Ашвинами: «Один из вас – победоносный щедрый покровитель (человека), имеющего прекрасную жертву, Другой считается счастливым сыном неба»^{6*}. Этот пассаж предполагает, что *divó nárātā* – эллиптическое двойственное число, основанное, подобно *násatyā*, на имени только одного члена пары^{7*} и происходящее, как представляется, от наименования возничего. *Násatyā* – производное от незасвидетельствованного **nasatí-* ‘благополучное возвращение домой’^{8*}, относящееся к тому же индоевропейскому

^{3*}Первоначально такая связка могла состоять из аристократа, владельца рассчитанной на одного протоколесничего, и его конюха.

^{4*}Подробное описание в: [Генинг и др., 1992. I, с. 144–155].

^{5*}Шатапатха-брахмана 5,3,1,8. Перевод Eggeling, 1894: III, 62. В редакции Мадхьяндина Шатапатха-брахманы в 5,2,4,9; 5,3,1,8 и 5,4,3,17 – сложное слово *śavyaṣṭhasārathi*. В соответствующих пассажах редакции Канва (7,1,2,9; 7,1,4,8 и 7,3,3,16) стоит *śavyaṣṭhasārathi*. Ср. далее Тайтирия-брахмана 1,7,9,1 *śavyeṣṭhasārathi* и Атхарваведа 8,8,23 *īndraḥ śavyaṣṭhāś candrāmāḥ śārathiḥ*.

^{6*}РВ 1, 181, 4 *jiṣṇúr vām anyāḥ sūmakhasya sūrír divó anyāḥ subhāgaḥ putrá ūhe*, перевод Т.Я. Елизаренковой.

^{7*}Сходный случай представляет собой латинское эллиптическое множественное число *Castores* ‘Кастор и Поллукс’ (в латинском нет двойственного), передающее греческий дуалис *tô Kástore* (ср.: [Eitrem, 1902, S. 6, Anm. 3]).

^{8*}Ср.: [Güntert, 1923, S. 259; Gotō, 1991, p. 980; 2005; Mayrhofer, 1996. Bd. II. S. 39; Oberlies, 1993, p. 172 n. 6].

корню *nes-^{1*}, что и греческое имя деятеля Néstōr – известный по Гомеру как *hippóta* и искусный колесничий^{2*} – и относится к задаче возничего доставить героя домой из битвы целым и невредимым^{3*}. В только что приведенном стихе из Ригведы под *jīṣṇúr... sūmakhasya sūgír*, видимо, имеется в виду воин-колесничий. О значении слов *sū-makha-* и *makhá-*, *-makhas-* ведутся споры, но данный контекст соответствует старой этимологии, связывающей их с греческим *mákhē* ‘битва, сражение’ и *makhésasthai* ‘сражаться’^{4*}.

Погребальный памятник и колесничное колесо

Ступа – погребальный памятник Будде как духовному правителю, равному чакравартину (*cakkavatti gājā*), чьи инсигнии включают «колесо закона/дхармы» (*dharmacakra*) на вершине колонны. Термин чакравартин, обозначающий вселенского правителя^{5*}, связан с Буддой в повествовании о его первой проповеди, равнозначной *dharmacakrapravartana*, приведению в движение колеса закона. Это явно имеет отношение к вращению колеса, на котором сидит жрец-брахман, воплощающий Брихаспати, царского жреца богов.

Сходный случай известен также из ведийского ритуала установления священных огней, *agnyādheya*^{6*}. Зажженный огонь несут процессией от очага гархapatya к очагу ахавания, где он должен быть помещен на след копыта молодого коня, возглавляющего процессию. Одновременно жрец-брахман вращает вперед колесо от колесни-

цы (или подает вперед всю колесницу) так, чтобы колесо сделало три оборота. Согласно Тайтирия-брахмане, это означает, что жертвователем посредством человеческой колесницы восходит на колесницу божественную^{7*}. Вращая колесо, жрец-брахман произносит боевые гимны, в которых молятся Брихаспати о помощи и победе^{8*}.

Пока конь возглавляет несущую огонь процессию, жертвователем рецитирует стихи хвалебного гимна коню-победителю, который должен быть принесен в жертву, Ригведа 1,163^{9*}. В этом гимне конь прославляется как созданный божествами Васу из солнца, дарованный Ямой и впервые запряженный Тритой, а также тот, на которого (на его колесницу) впервые сел Индра. Этот великолепный конь появляется из лона вод.

Трита Аптыя, поминаемый в этом гимне как запрягший коня, появляется в Ригведе как сподвижник Индры, а образ его восходит к праарийской эпохе^{10*}. Согласно Ригведе 1,105,17, Трита был посажен в яму, но Брихаспати спас его из беды^{11*}. Случай Триты схож со злоключениями Ванданы и прочих, спасенных из ямы или несчастья Насатями, а яма здесь символизирует могилу^{12*}. В более позднем варианте мифа слово, обозначающее яму, *kūra*^{13*}, понимается как колодец, что является другим его значением. Трита и двое его братьев, Эката и Двита, мучимые жаждой, скитаются в пустыне и находят колодец. Трита спускается туда и передает братьям воды. Но те, утолив жажду, оставляют Триту в колодце, накрыв его колесничным колесом (*rathacakraṇāpīdhāya*), и удаляются. Трита спасается, сверхъестественным образом узрев гимн Трайта и восславив им Парджанью^{14*}. В гимне Канвы, посвященном Варуне,

^{1*}Ср.: [LIV, 1998, S. 409–410; LIV add., 2001, S. 114; Mayrhofer, 1996. Bd. II, 30–39].

^{2*}Ср.: [Илиада 23, 301–350 и 638–642].

^{3*}Ср.: [Frame, 1978, p. 96–99, 125 f.]. В индийском эпосе «[о]бычай охранять витязя общепринят. ‘В сражении витязя в трудную минуту должен охранять возничий’; или же ‘колесничного воина должно всегда охранять’; и если возничий рискует жизнью, спасая своего господина, он делает это потому, что ‘держит в уме обычай’» [Hopkins, 1889, p. 196, со ссылками].

^{4*}Ср.: [Mayrhofer, 1996. Bd. II, S. 288] (второе основное значение, предполагаемое некоторыми контекстами [и принятое в цитируемом русском переводе – примеч. перев.] – ‘щедрый’ – качество, ожидаемое от успешного полководца). Ср.: [Güntert, 1923, S. 258] – ‘kampftüchtig?’

^{5*}О термине *cakravartin* – как обозначении вселенского правителя и реминисценции кочевой жизни ранних индоариев см.: [Scharfe, 1987].

^{6*}Подробное описание и обсуждение см.: [Krick, 1982, S. 301 слл.]. Ср. также: [Caland, 1899].

^{7*}Тайтирия-брахмана 1,1,6,8 *rathacakraṇ pravartayati manuṣyārathenaiva devāratham pratyavarohati*.

^{8*}Ср.: [Krick, 1982, S. 327].

^{9*}Ср., вместе с комментированным переводом гимна: [Krick, 1982, S. 306–311].

^{10*}О Трите см., напр.: [Macdonell, 1897, S. 67–69; Hillebrandt, 1927. Bd. II. S. 307–311].

^{11*}Ср.: Ригведа 1,195,17 *tritaḥ kūpe ’vahito devān havata ūtāye / tāt chuśrāva bṛhaspatiḥ*

^{12*}Ср.: [Hillebrandt, 1929. Bd. II, S. 307, n. 5].

^{13*}Гельднер [Geldner, 1951. bd. I, s. 136] указывает, что предполагаемый автор гимна Ригведы 1,105, Кутса, в гимне 1,106,6 оказывается в том же положении, брошенным в яму, которая здесь называется *kātā*.

^{14*}[Macdonell, 1897, s. 68]. Ср.: Ригведа 8,41,6 *yāsmiṇ vīśvāni kāvyā cakre nābhīr iva śrītā / tritām jūtiḥ saparyata vrajē gāvo nā samyūje*.

«Трита описывается как тот, в ком сосредоточена вся мудрость, словно ступица в колесе»^{1*}. Он подобен жрецу-брахману (Брихаспати), сидящему на колесничном колесе.

Некоторые древние ступы в плане представляют собой колесо^{2*}. Колесничное колесо – одна из ведийских *cīti*. Верно, что *gathasakra-cīti* – огненный алтарь (для того, кто хочет уничтожить врагов), а не погребальный памятник, но только соорудившему огненный алтарь полагался погребальный памятник, *loṣṭa-cīti*, или *śmaśāna-cīti*. Круглый в плане погребальный памятник, согласно Шатапатха-брахмане (13, 8, 1, 5), использовали только жители востока и прочие, поклонявшиеся асурам (демонам), тогда как почитавшие богов делали его четырехугольным. Однако некоторые ведийские сутры предоставляют выбор, делать ли погребальные памятники четырехугольными или круглыми, а атхарваведины даже предпочитают круглые^{3*}. Колесообразный план восходит к праарийским временам, поскольку засвидетельствован в культовых центрах синташтинско-аркаимской культуры Южного Урала на рубеже III–II тысячелетий до н.э., а также, например, в знаменитом раннесакском кургане Аржан I в Туве, датируемом рубежом X–IX вв. до н.э.

Заключение

Можно кратко обобщить некоторые из основных положений данной статьи. Носители синташтинско-аркаимской культуры поволжских степей и Южного Урала говорили на праарийском.

^{1*}[Macdonell, 1897, p. 68]. Ср.: Ригведа 8,41,6 *yásmín víśvāni kāvyaṁ cakre nābhīr iva śrītā / tritām jūtiṁ saparyata vrajē gāvo ná samyúje*.

^{2*}Ср.: [Parpola, 2002b, p. 310–312; Kuwayama, 2002, p. 44–68, pl. 11–12]. Поскольку эти ступы были построены только в первые два века христианской эры (исключая ступу в Нагарджунаконде, относящуюся к началу III в.) и ввиду наличия ярких структурных сходств (концентрические круги стен, толстая внешняя стена и колесообразный план, включающий ступицу со спицами), которых нет в ранних ступах, Куваяма считает эти круглые ступы заимствованными из Рима Августов – такие же круглые гробницы из камня или кирпича строились в императорском Риме и его провинциях. – Я не отрицаю, что тезис Куваямы весьма правдоподобен, но указываю, что колесообразные ведийские чити (слои, из которых состоял алтарь – примеч. переводчика) дают нам индийских предшественников подобных ступ.

^{3*}Апастамба-шульбасутра 13; Хираниякеши-кальпасутра 25,14; Каушикасутра 85,8; ср.: [Caland, 1896, S. 141 сл.].

К началу II тысячелетия до н.э. эта культура создала колесницу с конской запряжкой, и обожествленный экипаж колесницы из двух человек, воина и его возничего, послужил образцом для дуального правления и «сыновей-близнецов неба», основных божеств пантеона. Колесница и ее мифология распространилась к грекам и прабалтам, а также к прафинно-уграм Среднего Поволжья и Среднего Урала, которыми правила элита, говорившая на праарийском. Многие из сохранившихся в финно-угорских языках праарийских заимствований свидетельствуют о культе Насатьев. Особенно важен термин *stambha*, обозначавший поворотный столб в колесничных бегах и мировую гору, вокруг которой Ашвины как дневной и ночной образы солнца совершали ежедневные объезды. Эти белое и черное воплощения солнца представляли солнце и огонь, символизируемые колесом, колесницей и конем. Ночное небо представлялось океаном, а ночное солнце, или огонь, скрывалось в виде эмбриона в конском или человеческом облике в его лоне.

Почитание божественных близнецов или солнца и огня было связано с восходом и заходом, понимавшимися как рождение и смерть. Ночь и тьма символизировали смерть, а добывание на заре огня трением символизировало порождение новой жизни. Близнецы были погребальными божествами, спасавшими умерших от несчастий, – в первую очередь это было задачей возничего, *nāsatya*, утром доставлявшего почитателя на небеса (солнечный мир) на своей божественной колеснице. Они были также божествами (воз)рождения и плодородия, «омолаживавшими» старых и дряхлых, вновь запуская их в материнское лоно в связи с брачными обрядами – то было прежде всего обязанностью воина, *maruṭa*, архетипического ухажера и жениха и мужа своей прекрасной сестры, зари, дочери солнца или неба.

Божественным близнецам поклонялись в переходные моменты на заре и на закате, на похоронах и свадьбах и в поворотных точках солнечного года. Их культ предполагал почитание огня и солнца, включая прежде всего добывание огня трением и регулярные утренние и вечерние возлияния напитков в огонь, а также колесничные бега. Любимым напитком близнецов была медовуха, смесь кислого молока и меда. Для его изготовления требовалось пахтанье, что вызвало появление мифа о «пахтанье молочного моря». Возможно, изначально его пахтали сами близнецы, ежеднев-

но двигавшиеся вокруг мировой горы как ночное и дневное солнца, и лишь затем их сменили дэвы и асуры, божества, связываемые соответственно со днем* и ночью**. Полученный продукт был «нектаром бессмертия», воспринимавшийся как семя, способное воскресать мертвых.

В дальнейшем в Индии сохранилось дуальное правление в лице связки царя и пурохиты, хотя его таковым и не признают, а в буддизме в форме признания духовного правителя наряду со вселенским мирским правителем, *sakkavatti gājā*. Как указывает этот термин, колесо и колесница оставались высшими символами царственности в Индии, а буддийская ступа сохранила ряд ярких черт праарийских курганов; *stambha* же, возможно, восходят к древним поворотным столбам погребальных состязаний колесниц***.

Список литературы

Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта: археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. – Ч. 1.

Епимахов А.В. Южное Зауралье в эпоху средней бронзы. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002.

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии?: Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М.: Рос. ин-т культурологии, 1994.

Кузнецов П.Ф. Реконструкция крепления конской узды по результатам изучения дисковидных псалиев Поволжья // Псалии: Элементы упряжи и конского снаряжения в древности / ред. А.Н. Усачук. – Донецк: Ин-т археологии НАН Украины, 2004. – С. 31–38. – (Археол. альманах; т. 15).

*Ср. прафинское **taivas* ‘небо’ из праарийского **daiva-* ‘небо; бог’ > санскритское *deva-* ‘бог’ (ср.: [Joki, 1973, S. 323; Mayrhofer, 1992. Bd. I, S. 742 сл.]).

**В ведах асуры, и особенно Варуна, наделены магической силой делать предметы невидимыми, а это свойство подходит божествам ночи. О прафинно-угорском **asera* из праарийского **asura-* (основной эпитет Варуны) см.: [Joki, 1973, p. 253; Mayrhofer, 1992: I, 147; Koivulehto, 2001, p. 247]. Койвулехто отмечает, что «индоевропейское -и- второго слога не могло быть передано соответствующим финно-угорским -и-, поскольку губные гласные первоначально встречались только в первом слоге».

***Интересно было бы исследовать археологически поля для игры в поло в северном Пакистане на предмет каких-либо следов таких поворотных столбов. Можно ли интерпретировать зачастую антропоморфные каменные стелы, связанные с курганами евразийских степей, как поворотные столбы конских состязаний (или даже более ранних бегов повозок, запряженных волами)?

Усачук А.Н. Псалии: элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – Донецк: Ин-т археологии НАН Украины, 2004. – (Археол. альманах; т. 15).

Anthony D.W. Horse, wagon and chariot: Indo-European languages and archaeology // *Antiquity*. – 1995. – Vol. 69 (264). – P. 554–565.

Anthony D.W. The opening of the Eurasian steppe at 2000 B.C.E. // *The Bronze Age and Early Iron Age peoples of eastern Central Asia, I* / ed. V.H. Mair. – Washington, D.C.: Institute for the Study of Man, 1998. – (J. of Indo-European Studies Monograph 26: 1.)

Anthony D.W., Vinogradov N.B. Birth of the chariot // *Archaeology*. – 1995. – Vol. 48 (2). – P. 36–41.

Baunack T. Ueber einige Wunderthaten der Asvin // *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*. – 1896. – N. 50. – P. 263–287.

Baunack T. Bhujyu, ein schützling der Asvin // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen*. – 1899. – N. 35. – S. 485–563.

Bergaigne A. La religion védique d'après les hymnes du Rigveda. Paris: F. Vieweg. – 1878–1883. – T. I–III. – (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences philologiques et historiques; 36; 53; 54.)

Bethe E. Dioskuren // G. Wissowa (Hrsg.). *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung*. Bd. 5. – Stuttgart: J.B. Metzlersche Buchhandlung, 1905. – Sp. 1097–1123.

Biezais H. Baltische Religion. // Ström, Åke W. & Biezais, Haralds, *Germanische und Baltische Religion*. – Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1975. – S. 307–391. – (Die Religionen der Menschheit; 19, 1).

Bobomulloev S. Ein bronzzeitliches Grab aus Zardča Chalifa bei Pendžikent (Zeravšan-Tal) // *Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan*. – 1997. – N. 29. – S. 121–134.

Burkert W. Greek religion, archaic and classical / trans. by J. Raffan. – Oxford: Basil Blackwell, 1985.

Caland W. Zur Exegese und Kritik der rituellen Sūtras, XXXI: Das Rad im Ritual // *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*. 53. – 1899. – S. 699–701.

Carpelan C., Parpola A. Emergence, contacts and dispersal of Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Aryan in archaeological perspective // *Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations* / eds. C. Carpelan et al. – 2001. – P. 55–150.

Cattani M. Margiana at the end of Bronze Age and beginning of Iron Age // *У истоков цивилизации: сб. ст. к 75-летию В.И. Сараниди* / ред. М.Ф. Косарев, П.М. Кожин, Н.А. Дубова. – М.: Старый сад, 2004 (2005). – С. 303–315.

Cornelius F. *Indogermanische Religionsgeschichte*. – München: Ernst Reinhardt Verlag, 1942.

Eggeling J. The Śatapatha-Brāhmaṇa according to the text of the Mādhyandina school translated. – Oxford: Clarendon Press, 1882–1900. – I–V. – (Sacred Books of the East; 12; 26; 41; 43; 44).

Eitrem S. Die göttlichen Zwillinge bei den Griechen. – Christiania: A. W. Brøgers Buchdruckerei (Skrifter udgivne af Videnskabselskabet i Christiania, 1902, II: Historisk-filosofisk Klasse, 2).

- Farnell L.R.** Greek hero cults and ideas of immortality. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1921.
- Frame D.** The myth of return in early Greek epic. – New Haven: Yale Univ. Press, 1978.
- Geldner K.F.** Vedismus und Brahmanismus. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1928. 2. Aufl. – (Religionsgeschichtliches Lesebuch; 9).
- Geldner K. F.** Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und mit einem laufenden Kommentar versehen. – Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1951. – Bd. I–III. – (Harvard Oriental Series; 33–35)
- Ghirshman R.** L'Iran et la migration des Indo-aryens et des Iraniens. – Leiden: E.J. Brill, 1977.
- Gonda Jan.** The dual deities in the religion of the Veda. – Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1974. – (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks; 81).
- Gotō T.** Asvin- to Nāsadya- // J. of Indian and Buddhist Studies (Indogaku bukkyōgaku kenkyū). – 1991. – Vol. 39 (2). – P. 977–982.
- Greenhalgh P.A.L.** Early Greek warfare: Horsemen and chariots in the Homeric and Archaic ages. – New York: Cambridge Univ. Press, 1973.
- Gubaev A., Koshelenko G., Tosi M. (eds.).** The archaeological map of the Murghab delta: Preliminary reports, 1990–1995. – Roma: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, 1998.
- Guntert H.** Der arische Weltkönig und Heiland. – Halle (Saale): Verlag von Max Niemeyer, 1923.
- Harris J. R.** The cult of the divine twins. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1906.
- Hiebert F. T.** Origins of the Bronze Age oasis civilization of Central Asia. – Cambridge, 1994. MA: Peabody Museum. – (Bulletin of the American School of Prehistoric Research; 42).
- Hiebert F.T., Moore K.M.** A small steppe site near Gonur // У истоков цивилизации: сб. ст. к 75-летию В.И. Сараниди / ред. М.Ф. Косарев, П.М. Кожин, Н.А. Дубова. – М.: Старый сад, 2004 (2005). – С. 294–302.
- Hillebrandt A.** Vedische Mythologie. 2. veränderte Auf. – Breslau: M. & H. Marcus, 1927–1929. – Bd. I–II.
- Hopkins E. W.** The social and military position of the ruling caste in India, as represented by the Sanskrit Epic: With an appendix on the status of women. – New Haven: American Oriental Society, 1889.
- Jarrige J.-F., Santoni M.** Fouilles de Pirak, I. – Paris: Diffusion De Boccard, 1979. – (Publications de la Commission des Fouilles Archéologiques, Fouilles de Pakistan, 2).
- Joki A. J.** Uralier und Indogermanen: Die älteren Berührungen zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen. – Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1973. – (Mémoires de la Société Finno-Ugrienne; vol. 151).
- Koivulehto J.** The earliest contacts between Indo-European and Uralic speakers in the light of lexical loans // Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations / eds. C. Carpelan et al. – 2001. – P. 235–263.
- Krick H.** Das Ritual der Feuergründung (Agnýādheya) / Hrsg. von Gerhard Oberhammer. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1982. – (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte; № Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; 399)
- Kuwayama S.** Across the Hindukush of the first millennium: A collection of papers. – Kyoto: Institute for Research in Humanities, Kyoto University, 2002.
- Lawergren B.** Oxus trumpets, ca. 2200–1800 BCE: Material overview, usage, societal role and catalogue // Iranica Antiqua. – 2003. 38. – P. 41–118.
- Liddell H.G., Scott R.** A Greek-English lexicon. A new edition / revised and augmented throughout by Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie and with the co-operation of many scholars. – Oxford: Clarendon Press, 1940.
- Littauer M.A.** Early stirrups // Antiquity. – 1981. – Vol. 55. – P. 99–105.
- Littauer M.A., Crouwel, J.H.** A note on the origin of the true chariot // Antiquity, – 1996. – Vol. 70. – P. 934–939.
- Littauer M.A., Crouwel J.H.** Selected writings on chariots, other early vehicles, riding and harness/ ed. by P. Raulwing. – Leiden: Brill, 2002. – (Culture and history of the ancient Near East, 6).
- LIV:** Lexicon der indogermanischen Verben: Die Wurzeln und ihre Primarstammbildungen / Unter Leitung von Helmut Rix...; bearbeitet von Martin Kummel et al. – Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichelt Verlag, 1998.
- LIV Add:** Lexicon der indogermanischen Verben / Addenda und Corrigenda zur 1. Aufl., zusammengestellt von Martin Kummel. – Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichelt Verlag, 2001.
- Lombardo G.** The metallurgy of southern Tajikistan farming sites in the Late Bronze – Early Iron Age and its relations with the Namazga VI and Andronovo cultures // У истоков цивилизации: сб. ст. к 75-летию В.И. Сараниди / ред. М.Ф. Косарев, П.М. Кожин, Н.А. Дубова. – М.: Старый сад, 2004 (2005). – С. 303–315, 391–404.
- Luders H.** Varuṇa, Aus dem Nachlass hrsg von Ludwig Alsdorf. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1951–1959. – Bd. I–III.
- Macdonell A.A.** Vedic mythology. – Strassburg: Karl J., 1897. – (Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde; 3: 1 A).
- Mallory J.P.** In search of the Indo-Europeans: Language, archaeology and myth. – London: Thames & Hudson, 1989.
- Mannhardt W.** Die lettischen Sonnenmythen // Zeitschrift für Ethnologie 7. – 1875. – S. 73–104, 209–244, 281–330.
- Mayrhofer M.** Die Indo-Arier im Alten Vorderasien: Mit einer analytischen Bibliographie. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966.
- Mayrhofer M.** Etymologisches Wörterbuch des Altindoeuropäischen. – Heidelberg: Carl Winter – Universitätsverlag, 1992–2001. – Bd. I–III. – (Indogermanische Bibliothek, Zweite Reihe.)
- Michalski S. Fr.** Ásvins et Dioscures // Rocznik Orientalistyczny. – 1961. – 24 (2). – P. 7–52.
- Moorey P.R.S.** The emergence of the light, horse-drawn chariot in the Near East c. 2000–1500 B.C. // World Archaeology. – 1986. – Vol. 18 (2). – P. 196–215.
- Muir J.** Original Sanskrit texts on the origin and history of the people of India, their religion and institutions, collected,

translated and illustrated. 5. – London: Williams and Norgate, 1874.

Myriantheus L. Die Aqvins oder arischen Dioskuren. – München: Theodor Ackermann, 1876.

Nilsson M.P. Geschichte der griechischen Religion, I. – München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1955. – (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft; 5: 2: I).

Oberlies T. [Review of Zeller, 1990.]: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. – 1992. – 142 (2). – S. 412–425.

Oberlies T. Die Ásvin: Götter der Zwischenbereiche // Studien zur Indologie und Iranistik. – 1993. – N. 18. – S. 169–189.

O'Brien S. Divine twins // Encyclopedia of Indo-European culture / eds. J.P. Mallory, D.Q. Adams. – London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997. – P. 161–165.

Oldenberg H. Die Religion des Veda. Zweite Auflage. – Stuttgart: J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1917.

Parpola A. From the dialects of Old Indo-Aryan to Proto-Indo-Aryan and Proto-Iranian // Indo-Iranian languages and peoples / ed. N. Sims-Williams. – London: Oxford Univ. Press for the British Academy, 2002a. – P. 43–102. – (Proceedings of the British Academy; 116).

Parpola A. Pre-Proto-Iranians of Afghanistan as initiators of Śākta Tantrism: On the Scythian. Saka affiliation of the Dāsas, Nuristanis and Magadhans // Iranica Antiqua. – 2002b. – Vol. 37. – P. 233–324.

Parpola A. Gandhāra Graves and the Gharma pot, the Nāsatyas and the nose: In pursuit of the chariot twins // У истоков цивилизации: сб. ст. к 75-летию В.И. Сараниди / ред. М.Ф. Косарев, П.М. Кожин, Н.А. Дубова. – М.: Старый сад, 2004 (2005). – С. 102–128.

Penner S. Schliemanns Schachtgräber und der europäische Nordosten: Studien zur Herkunft der frühmykenischen Streitwagenausstattung. – Bonn: Rudolf Habelt Verlag, 1998. – (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde; 60).

Penner S. Die Wangenscheiben aus Mykene und ihre nordöstlichen Beziehungen // Псалии: Элементы упряжи и конского снаряжения в древности / ред. А.Н. Усачук. – Донецк: Ин-т археологии НАН Украины, 2004. – С. 62–81. – (Археол. альманах; т. 15).

Piggott S. The earliest wheeled transport: From the Atlantic coast to the Caspian Sea. – London: Thames and Hudson, 1983.

Piggott S. Wagon, chariot and carriage: Symbol and status in the history of transport. – London: Thames and Hudson, 1992.

Pirart E. Les Nāsatya. – Genève: Droz, 1995–2001. – T. I–II. – (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège; 261; 280.).

Raulwing P. Horses, chariots and Indo-Europeans: Foundations and methods of chariotry research from the viewpoint of comparative Indo-European linguistics. – Budapest: Archaeolingua, 2000. – (Archaeolingua. Series minor; 13).

Renou L. Études védiques et pāṇinéennes. 16. – Paris: Éditions E. de Boccard, 1967. – (Publications de l'Institut de Civilisation Indienne; № 27).

Sarianidi V. The Indo-Iranian problem in the light of the latest excavations in Margiana // Vidyāṇavavandanam: Essays in honour of Asko Parpola / eds. K. Karttunen, P. Koskikallio. – Helsinki: The Finnish Oriental Society, 2001. – P. 417–441. – (Studia Orientalia; 94).

Scharfe H. Nomadisches Erbgut in der indischen Tradition // Hinduismus und Buddhismus: Festschrift für Ulrich Schneider / H. Falk (Hrsg.). – Freiburg: Hedwig Falk, 1987. – P. 300–308.

Wace A. J. B., Stubbings F. H. (eds.). A companion to Homer. – London: Macmillan & Co. Ltd, 1962.

Wagner N. Dioskuren, Jungmannschaften und Doppelkönigtum // Zeitschrift für Deutsche Philologie, 1960. – 79: 1. – S. 1–17; 3. – S. 225–247.

Ward D. The divine twins: An Indo-European myth in Germanic tradition. – Berkeley: University of California Press, 1968. – (Folklore Studies; 19).

Wikander S. Nakula et Sahadeva // Orientalia Suecana. – 1957. – Vol. 6. – P. 66–96.

Zeller G. Die vedischen Zwillingsgötter: Untersuchungen zur Genese ihres Kultes. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1990. – (Freiburger Beiträge zur Indologie; 24).

Zimmer H. Altindisches Leben: Die Cultur der vedischen Arier nach den Saṃhitā dargestellt. – Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1879.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТИХА АТХАРВАВЕДА-ШАУНАКИЯ 19.45.2 (АТХАРВАВЕДА-ПАЙППАЛАДА 15.4.2)*

Данная статья посвящена анализу одного из наиболее трудных (как с лингвистической, так и с литературоведческой точки зрения) мест гимна, или заговора, Атхарваведы (АВ), обращенного к некой целебной мази, называемой «трайкаку-да». Гимн представлен в обеих дошедших до нас редакциях АВ – Шаунакия (19.45) и Пайппалада (15.4)**. Вместе с предыдущим заговором, АВ-Шаун. 19.44 = АВ-Пайпп. 15.3 (в котором основное внимание уделено собственно медицинским аспектам использования мази), он применяется в ритуале махашанти против *nīrti* («гибели»), которая восхваляется (в стихе АВ-Шаун. 19.44.4 = АВ-Пайпп. 15.3.4) и посредством этого изгоняется (см. об этом в Шанти-Кальпе Атхарваведы, 16.1; 17.5; 19.7 [Bolling, 1904, p. 117–120; Gonda, 1978, p. 18]). Размер гимна по большей части триштубх; стихи 6–7 сложены размером панкти (5 восьмисложных пад); стих 9 первоначально, вероятно, махапанкти (6 восьмисложных пад).

*Пользуясь случаем, хочу поблагодарить участников Лейденского семинара по Атхарваведе (Пайппаладе) – А. Гриффитса, А. Лубоцкого, М. Оорт и К. Де Джозеф – за ценные замечания и комментарии, высказанные при обсуждении переводов из Атхарваведы.

**Основные издания Атхарваведы в редакции Шаунакия – классическое издание У.Д. Уитни и Р. Рота, позднее исправленное и дополненное Ч.Р. Ланманом [Atharva Veda Samhita, 1924, S. 378–379], а также индийские издания Ш.П. Пандита [Atharvaveda Samhitā ..., 1895–1898] и Вишва Бандху [Atharvaveda (Śaunaka) ..., 1962, p. 1937–1941]. Текст в редакции Пайппалада издан Л.К. Барретом [Baret, 1930, p. 43–73] на основании Кашмирской рукописи и Д. Бхаттачарья [The Paippalāda Samhitā ..., 1997, p. 800–802] – с использованием Ориссских рукописей.

Помимо классического английского перевода У.Д. Уитни с комментариями Ч.Р. Ланмана [Atharva-Veda Samhitā, 1905, p. 969–972], гимн переводился также на итальянский – С. Сани [Atharvaveda. Inni magici, 1992, p. 211–213].

Как и почти вся книга XIX в редакции Шаунакия, гимн 19.45, по всей вероятности, заимствован из Пайппалады. Долгое время материал этой редакции оставался в значительной степени недоступным для ведологов в связи с тем, что единственная дошедшая до нас Кашмирская рукопись содержит огромное количество искажений и во многих местах не поддавалась прочтению. Однако к настоящему времени в чтении текста Пайппалады достигнут значительный прогресс благодаря появившимся в нашем распоряжении гораздо более сохранным Ориссским рукописям. Целый ряд неясных фрагментов в рукописях Шаунакии удастся теперь удовлетворительно проинтерпретировать благодаря данным Ориссских рукописей. Анализу одного из таких фрагментов и посвящена данная статья.

Первый стих заговора АВ-Шаун. 19.45 = АВ-Пайпп. 15.4 призван отвратить колдовство, исходящее от недругов, обратив его против них самих (характерный для магии Атхарваведы прием***):

ṛṇād ṛṇām 'iva sām naya
kṛtyām kṛtyākṛto grhām
cākṣurmantrasya durhārdaḥ
prṣṭir āpi śṛṇāñjana

***См., напр., вступ. ст. в кн.: [Атхарваведа (Шаунака), 2005, с. 53].

Как (возвращают) долг по причине одалживания*, –
(так) приведи

Колдовство в дом совершающего колдовство.

У злонамеренного (букв.: злосердечного), применяюще-
го заговор (с использованием) (дурного) глаза,
Сломай ребра, о мазь.

Стих 2 продолжает тему «обращения» разного рода зла на наших недругов. В рукописях Шаунакии читаем следующее:

yád asmāsu duṣvāpnīyaṃ
yád goṣu yac ca no grhé
ānāmagast(v)āṃ ca durhārdāḥ
priyāḥ prāti muñcatām

Редакция Пайппалада обнаруживают расхождения с Шаунакией в паде с (текст приводится по изд. Д. Бхаттачарья, основанному, в первую очередь, на Ориссских рукописях, варианты Кашмирской рукописи даны в скобках):

yad asmāsu duṣvapnīyaṃ
yad goṣu yac ca no grhe
amāmagatyasta (кашм. māmagatyasya)
durhārdāḥ (кашм. durhāndaḥ)
priya prati muñcatām

Первая половина стиха и окончание последней пады не вызывают серьезных трудностей: речь идет о «перекладывании» дурного сна на наших недругов: «Пусть (наш) недруг возьмет себе (prāti-muc в медиальной форме) дурной сон (+duṣvāpnīya-), который в нас, и (тот) что в коровах, и (тот) что в нашем доме...». Наиболее трудная часть стиха 2 (и, пожалуй, всего заговора) – его вторая половина и в особенности пада с. Очевидно, текст в этом месте сильно испорчен. Шаунакия читает бессмысленное ānāmagas tāṃ ca (варианты в рукописях: ānāmagas tvāṃ ca, ānāmagas tāṃ ta и др.); в Пайппаладе – amāmagatyasta (в Кашмирской рукописи – māmagatyasya). Также обращает на себя внимание нарушение размера: в паде с – 9 слогов (один лишний слог), в паде d – 7 (одного слога не хватает).

Издание Рота – Уитни предлагает эмendaцию *ānāmayatvām ca («не-вызывание боли?»). Уитни оставляет это место без перевода, а в примечании указывает на неудовлетворительность предложенной эмendaции как с точки зрения размера, так и по смыслу и предлагает альтернативное чтение,

ānāgastvām «guiltlessness» (невинность, безгреховность), которое лучше укладывается в размер, но по-прежнему плохо подходит по смыслу. Ланман предлагает читать *anāsmākās tād durhārdó 'priyaḥ prāti muñcatām (anāsmākās «тот, кто не наш» засвидетельствовано в той же книге АВ, в стихе 19.57.5) и переводит «that let him who is not of us, the evil-hearted, the unfriendly, put upon himself».

По всей видимости, как это часто бывает с гимнами и заговорами книги XIX Шаунакии, почти целиком заимствованными из редакции Пайппалада, первоначальный текст (или, по крайней мере, начало непонятного первого слова) лучше сохранился в редакции Пайппалада. Вероятнее всего, перед нами сочинительная конструкция, первым членом которой является наречие amā «дома, домой», а вторым – какая-то падежная форма деривата корня gam-, gāti- «путь, движение»; вместе они образуют оппозицию «дома ~ в пути». Второе слово – скорее всего, локатив gātyām** – по образцу склонения на -ī. Форма -gatyām засвидетельствована, в частности, в Ригведе 10.141.4 = АВ 3.20.6 sām-gatyām «при встрече». Ср. Ригведа 2.36.3a amēva [= amā iva] naḥ suhāvā ā hí gantana (императив аориста от глагола gam-) «Так придите же к нам, как домой, о легко призываемые» (перевод Т.Я. Елизаренковой [Ригведа ..., 1989, с. 279]). Паду 2с следовало бы тогда читать: +amā +gātyām +yāt +tād durhārd. Лишний слог ma (ānāma... в Шаунакии / amāma... в Пайппаладе) может быть результатом диттографии, а ...as t(v)āṃ (вместо +... ātyām), возможно, возникло на основе вторичной ассоциации с āstam «домой».

Нарушение размера в падах cd легко исправить, если последний («лишний») слог пады с переместить (со сравнительно небольшими модификациями) в паду d: durhārd ' +ā(h)-priyaḥ. Номинатив durhārd, с которым согласуется следующая форма +āpriyaḥ в паде 2d (о которой см. ниже), гораздо лучше вписывается в синтаксическую конструкцию этого стиха, нежели генитив-аблатив durhārdāḥ (который, очевидно, появился в конце пады вторично, под влиянием формы durhārdāḥ в паде с стиха 1). Форма durhārd не встречается в Ригведе или Атхарваведе, однако в АВ 2.7.5

*Я использую более эксплицитную перифразу смысла, который Уитни в своем (более буквальном) переводе передает как «as it were debt from debt», – по-видимому, имея в виду то же самое.

**Менее вероятное чтение – gātā – еще одна форма локатива на -ā, возможная для склонения на -ī наряду с более частым окончанием -au (см., напр.: [Macdonell, 1910, p. 283–284; Wackernagel, Debrunner, 1957, S. 152]).

засвидетельствован номинатив +suhārd (в рукописях suhād) «доброжелательный, друг»*. В начале пады d вместо priyāḥ «друг», безусловно, следует читать, вслед за Уитни и Ланманом, +āpriyāḥ «недруг».

На основании этих эмендаций можно предложить следующую предположительную реконструкцию и перевод первоначального текста стиха АВ-Шаун. 19.45.2 = АВ-Пайпп. 15.4.2:

yád asmāsu duṣyāpniyaṃ
yád gōṣu yác sa no grhé
+amā +gātyām +yāt +tád durhārd
+āpriyāḥ prāti muñcatām

*Дурной сон, который в нас,
И (тот) что в коровах, и (тот) что в нашем доме,
(И тот) что дома (или) в пути – тот (сон)
злонамеренный
Недруг пусть возьмет себе.*

Список литературы

Издания текстов

Atharva Veda Samhita / Hrsg. von R. Roth, W.D. Whitney. Zweite verbesserte Auflage besorgt von Max Lindenau. – Berlin: Ferd. Dümmler, 1924.

Atharvaveda Samhitā: With the commentary of Sāyanācārya / ed. Shankar Pāndurang Pandit. – Bombay: Government Central Book Depot, 1895–1898.

Atharvaveda (Śaunaka) with the Pada-pāṭha and Sāyanācārya's commentary / ed. Vishva Bandhu et al. – Hoshiarpur: Vishveshvaranand Vedic Research Institute, 1962. – Pt. IV.

Barret L.C. The Kashmirian Atharva Veda, Book Fifteen edited with critical notes // J. of the American Oriental Society. – 1930. – Vol. 50. – P. 43–73.

The Paippalāda Samhitā of the Atharvaveda. – Calcutta: The Asiatic Society, 1997. – Vol. 1: Consisting of the first fifteen Kāṇḍas / ed. Dipak Bhattacharya.

Исследования и переводы

Атхарваведа (Шаунака): в 3 т. / пер. с ведийского яз., вступ. ст., коммент. и прилож. Т.Я. Елизаренковой. – М.: Вост. лит., 2005. – Т. 1: Кн. I–VII.

Ригведа. Мандалы I–IV / пер. и коммент. Т.Я. Елизаренковой. – Москва: Наука, 1989.

Atharvaveda. Inni magici / a cura di C. Orlandi e S. Sani. – Torino: Unione Tipografica – Editrice Torinese, 1992.

Atharva-Veda Samhitā / translated into English with critical notes and exegetical commentary by W.D. Whitney ...; revised and edited by Ch.R. Lanman. – Cambridge: Harvard Univ. Press, 1905.

Bolling G.M. The Čāntikalpa of the Atharva-Veda // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. – 1904. – Vol. 35. – P. 77–120.

Gonda J. Hymns of the Rgveda not employed in the solemn ritual. – Amsterdam: North-Holland, 1978.

Macdonell A.A. Vedic grammar. – Strassburg: Trübner, 1910.

Wackernagel J., Debrunner A. Altindische Grammatik. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht., 1957. – Bd. III: Nominalflexion – Zahlwort – Pronomen.

*См., напр., вступ. ст. в кн.: [Атхарваведа (Шаунака), 2005, с. 53].

ПАРФЯНСКИЕ ТОПОНИМЫ

Парфянский язык (*pahlawānag* в среднеперсидском манихейском тексте), принадлежащий по принятой ныне лингвистической классификации к северо-западной группе иранских языков, засвидетельствован в письменных памятниках начиная со II в. до н.э. и относится к среднеиранским языкам. От древнего периода до нас дошли лишь немногочисленные личные имена, топонимы, теонимы в арамейской, аккадской, греческой и латинской передачах. На парфянском языке говорило население Хорасана – древней Парфии – древнеиран. **Parθana-*, древнеперс. *Parθana-*, греч. *Ραρθία*, *Ραρθία*, лат. *Parthia*, в сасанидской империи *Abaršahr* «Верхняя (Восточная) страна», Гургана и Южной Туркмении. При Аршакидах парфянский письменный язык был административным языком и языком канцелярского делопроизводства в этих областях, а также в Месопотамии.

В статье рассматриваются топонимы, засвидетельствованные в парфянских документах II–I вв. до н.э. на остраках, найденные при раскопках северного комплекса винохранилищ Старой Нисы.

1. *’bd/ṛnyu* – название селения в нисейских документах № 723; 4; 800; 6; 787; 4 (здесь *’bd/ṛnyu* с фонетически нерелевантным <-y>). Чтение и этимология топонима неясна.

2. *’pdn* [*Appadān*] «дворец». В нисейских документах этот топоним выступает как: 1) название «имения» (арам. *BN’*, от глагола *bny* «строить») и селения (*QRYT’*, аббревиатуры *Q*, *QR*) в документах № 1:2; 2:2 и 87 других (почти во всех документах форма *’pdny*, с фонетически нерелевантным <-y>); 2) название виноградника (арам. *KRM’*, парф. *gaz*) в документе № 793:2 (*’pdny*); ср. *’pdnk*; *’TYQ* *’pdn*. Ср. древнеперс. *appadāna* – «дворец», от древнеиранского корня *dā* – «создавать» [Kent, 1953], др.-инд. *apadh-* – «сокрытие,

убежище», греч. *ἄποθήκη* «склад». В.Б. Хеннинг показал, что парф.-ман. *’pdn*, *’bdn* [*appaḍan*] «дворец» было заимствовано в библейско-арамейский в форме *appeden* [Henning, 1945, p. 110, n. 1]; ср. также арм. *aparan-k’*, сир. *āfaḍnā*, араб. *fadan*. По мнению Хеннинга [Ibid.], если бы в древнеперсидском существовала форма *apadana*, то в парф.-ман. она отразилась бы как **’bdn*. В результате последующей метатезы *[-bd-]* (аллофон *[-βδ-]*) слово превратилось в **’adbān*, далее в **’āḅan* и затем в *āywan* (среднеперс.-ман. *āywan* «дворец»; [Boyce, 1977, p. 4]). Преобразование гласных привело к новоперс. *āywan*. Ср. селение *Aywan* вблизи Нисы, упоминаемое у Хәфиз-и Аbru [МИТТ, т. 1, с. 529].

3. *’ptp* [*Āptār* или *Āftāb*] – название «имения» в нисейских документах № 1575:1; 1673:1; 1674:1. Ср. новоперс. *ārfāb* «солнце», парф.-ман. *’bd’b* [*abdāb*] «солнечный свет» [Boyce, 1977, p. 5].

4. *’rmwkn* [*Armāwakān*] – название селения в нисейском документе № 1833:1, Д.Н. Мак Кензи (в письме от 22 мая 1975 г.) предложил сопоставлять с парф. *armāw* «финиковая пальма» (парф.-ман., также в «*Draxt asūṛīg*», где вариант *hwlmny*), арм. *armāv*. В этом случае *Armāwakān* имеет значение «Плантация финиковых пальм». Ср. среднеперс., новоперс. *xormā* «хурма, финик» [MacKenzie, 1971, p. 94]; новоперс. *diraht-i xormā* «финиковая пальма», арм. *armawstan* «финиковая роща», селение *Armawšēn*.

5. *’rtbnwkn* [*Artabānukān*] «Артабāновское» – название «имения», возможно, по имени аршакидского царя Артабāна I (≈211–191) или Артабāна II (≈128–123). Топоним упомянут в нисейских документах № 35; 2; 36; 3; 1 – L [Livshits, 2006, p. 403–404] и в 281 других. В документах № 46:2; 51:2 и в 176 других топоним выступает в форме *’rtbnwknny*, с фонетически нерелевантным <-y>.

Artabānukān – одно из названий, образованных от имен аршакидских царей и связанных, возможно, с существованием заупокойного царского культа в парфянском Михрдātкирте, одной из аршакидских столиц.

6. ʾrthštrkn |Artaxšāhrakān| «Артаксерксовое» – название виноградника, возможно, по имени ахеменидского царя Артаксеркса II (404–359), легендарного предка Аршакидов. Топоним упоминается в документах № 128:4; 129:2 и в 65 других.

7. ʾrtstwnk |Artastāwanak| – название селения, «(Место) поклонения божеству Праведности». В селении, возможно, существовал храм. Топоним упомянут в нисейских документах № 200:5; 333:7 и в 35 других (в № 1493:6 – ʾrtstwnky, с фонетически нерелевантным <-y>).

8. ʾrtwt (или ʾrtzt, ʾrtyt?) |Artawāt?| – название «имения» в нисейском документе № 635:5. Этимология топонима мне неясна; вряд ли из древнеиран. *Rtawāta – «Праведный ветер».

9. ʾrgkn |Argakān| – название селения (QRYTʾ, араб. qarītā, парф. šēn(?) из древнеиран. *šayana-, арм. šēn) в документах № 385:5; 380:8; 391:3 и в 8 других (в 10 документах ʾrgkny с фонетически нерелевантным <-y>). «Ценный(?)». Ср. авест. arəg – «быть ценным» [Bartholomae, 1961, 191], др.-инд. árhati-, среднеперс., новоперс. arzīdan: arz – «стоять»; среднеперс., среднеперс.-ман. arzān «полезный; ценный» [MacKenzie, 1971, p. 11]; авест. arəjah – «цена, стоимость» [Bartholomae, 1961, 192]; среднеперс., новоперс. arz «цена; стоимость»; парф.-ман. ʾrgʾw |arḡāw| «знатный; приятный», ʾrgʾwyft |arḡāwīft| «честь; уважение; величие» [Boyse, 1977, p. 14]; согд. ʾrḡ |arḡ| «цена; стоимость»; осет. arḡ «цена, выкуп» [ИЭСОЯ, т. I, с. 64–65]; арм. уаḡет «я ценю»; уаḡун «ценный»; anarḡ «недостойный, ничтожный» (из парф.? ср.: [Hübschmann, 1897, S. 447]), др.-инд. argha- «цена», лит. alga «плата». Ср. также Arḡuān в перечне рустаков сасанидского Абаршахра у Ибн Русте [Marquart, 1901, p. 447] и Argakān – название селения вблизи Нйшāпūra [МИТТ, т. 2, с. 344].

10. ʾrtwk |Artōk или Artāwak?| – название «имения». Топоним упомянут в нисейских документах № 281:1; 282:3 и в 24 других (в № 2313:1 – ʾrtwky, с фонетически нерелевантным <-y>). Как было отмечено, «имение» в нисейских документах обозначается идеограммой BNʾ, соответствующей, возможно, парф. kirtak или dastkirt. Ср. среднеперс. dast(a)gird, новоперс. dastgird, среднеперс. dstygyrd |dastegird| [MacKenzie, 1971,

p. 25; Durkin-Meisterernst, 2004, p. 142], арм. dastakert [Hübschmann, 1897, S. 135, № 169], бактр. λιστηγῖρδο, λιστιγῖρδο, λιστογῖρδο «имение; имущество, находящееся под опекой» [Sims-Williams, 2007, p. 227].

11. ʾTPN (парф. |yōy|) «оросительный канал» в нисейских документах № 593:2; 594:1 и в 17 других. Древнеперс. yauviyā- «канал» [Kent, 1953, p. 204], др.-инд. yavyʾ; среднеперс., новоперс. jō(y) [MacKenzie, 1971, p. 47]. В нисейских документах всегда с определением trkwḡ |tarkōf| «Загорный, Tramontana», из древнеиран. *tara-kaufa-.

12. ʾtykn |Atikān| «Утиное» – название «имения» в нисейских документах № 92:2; 212:2 и в 72 других. В № 296:4; 297:2 и в 29 других форма ʾtykny с фонетически нерелевантным <-y>. Древнеиран. *ati – «утка», др.-инд. āti- (< *anti-), ст.-слав. qty, русск. утка, утя, лат. antis; осет.-ирон. асс, диг. ассā «дикая утка» [ИЭСОЯ, т. I, с. 27], хот. асе, ишк. yeško, вах. yōč (< *ati-či-), пашто hiləy (< *aJyaka-), мундж. yélka, йидга уе́кко [Стеблин-Каменский, 1999, с. 420]. Эламская передача Hatikana древнеиранского *Atikāna- [Gerschevitch, 1969, p. 185; Mayrhofer, 1973, 8.494]; эламская передача hatiqa «утка (?)» древнеиранского *atika-. Среднеперсидское имя Ādig (< *Ātika-), см.: [Gignoux, 1986, S. 28, № 20].

13. ʾyzn nnystwkn |āyazan Nanaistāwakān| «храм поклонения (богине) Нанай/Нане» в нисейских документах № 1636:2; 1637:2; 1638:2-3; 1639:2-3. Культ шумерской богини Инанны/Наны распространился очень рано на территории Ирана. В аршакидской Парфии, как показывают нисейские документы, существовали «храмы поклонения Нанай/Нане». Парф. āyazan «храм» образовано от древнеиран. *yaz- «почитать, поклоняться», авест. yaz-, древнеперс. yad-, др.-инд. yajati, yajate, iṣṭáh [Bartholomae, 1961, 1274–1278; Kent, 1953, p. 204; Cheung, 2007, p. 219–220]; среднеперс. yaštan, yaz- [MacKenzie, 1971, p. 103], парф.-ман. yuz- |yaz-| «почитать, поклоняться» [Boyse, 1977, p. 103]. Парф. ʾstāwakān «поклонение» от др.-ир. *stau- «восхвалять, поклоняться», авест. stauu-, stʾ- [Bartholomae, 1961, 1593–1595], др.-инд. stāumi, stuvanti, stota; среднеперс. studan: stāy-, новоперс. situdan: sitāy- [MacKenzie, 1971, p. 77]; хот. stav-, согд.-ман. ʾpstw-|(ə)pəstaw-| «отрицать, отказываться», хорезм. stw- «обещать», bstw- «отрекаться, отрицать», бактр. αβισταοοαυο «обличение; денонсирование» [Sims-Williams, 2000, p. 175]; осет.-ирон. stawyn: stud, диг. (ā)stawun: (ā)stud «хвалить, вос-

хвалять; славить» [ИЭСОЯ, т. III, с. 144]; вах. stow-: stowd «хвалить, хвастаться» [Стеблин-Каменский, 1999, с. 317]; мундж. staw-/stiy-, stay- «оскорблять, бранить»; и.-е. *steu- [Pok. 1959 I: 1035]. Ср.: [Cheung, 2007, p. 366]. Культ богини Нанай/Наны уже, по-видимому, во II–I вв. до н.э. из Парфии распространился в Согде и Бактрии, где эта богиня возглавила пантеоны зороастрийских божеств. Об этом свидетельствуют согдийские и бактрийские личные имена и теонимы: согд. pngny [Nan̄yāni] «(Обладающий) силой (богини) Нанай» [Sims-Williams, 1992, p. 59; Lurje, 2010, p. 269–270, № 781]; nnk' [Nanak, Nank, Nanka?] – гипокористик, образованный от Nana [Sims-Williams, 1992, № 418; Lurje, 2010, p. 270, № 782]; nny [Nanē] [Sims-Williams, 1989, № 22; Lurje, 2010, p. 270, № 783]; nny'βy'rt [Nanēvyart] «Обретенный (богиней) Nana» [Sims-Williams, 1989, № 51; Lurje, 2010, p. 270, № 784]; nny' βy't [Nanēvyat?] «id», имя в монетной легенде [Lurje, 2010, p. 270–271, № 785]; nny'kk, nny'k [Nanēak] [Sims-Williams, 1989, p. 24; Lurje, 2010, p. 271, № 786]; nnybntk [Nanēvandē] «Раб (богини) Nanai» [Sims-Williams, 1989, № 373; Lurje, 2010, p. 271–272, № 787]; nnyс [Nanič] [Sims-Williams, 1992, № 640; Lurje, 2010, p. 273, № 788]; nnyδ't, nnyδt [Nanēdat] «Созданный (богиней) Nanai» (Старые письма II: Recto 8–9, см.: [Lurje, 2010, p. 273, № 789]; nnyδ'yh [Nanēdāy] «Служанка (богини) Nanai» [Henning, 1940, S. 7; Lurje, 2010, p. 273, № 790]; nnyδβ'r, nnyδβ'r [Nanēδvār] «Дар (богини) Nanai» (Старые письма II, наскальная надпись в долине Верхнего Инда), см.: [Sims-Williams, 1989, № 28; Lurje, 2010, p. 274, № 792]; nnykwč [Nanēkawč] «Герой (богини) Nanai», см.: [Lurje, 2010, p. 274, № 793]; nny'm'nch [Nanēmān] – женское личное имя (этимология?), см.: [Henning, 1940, S. 7; Lurje, 2010, p. 274, № 794]; nny'mwš' [Nanēmuša?] «Мышка (богини) Nanai (?)», см.: [Sims-Williams, 1989, № 25; Lurje, 2010, p. 274, № 795]; nny'nzd, nny'nzt [Nanēnazd] «Близкий (к богине) Nanai» [Sims-Williams, 1989, № 271; Ibid, 1992, p. 60; Lurje, 2010, p. 274–275, № 796]; это имя также в надписи на обломке кости, найденной при раскопках городища древнего Пенджикента: nnyprn'n [Nanēframān] «(Находящийся под) приказом (богини) Nanai (?)», см.: [Sims-Williams, 1992, № 523; Lurje, 2010, p. 275, № 797]; nnyprn [Nanaifarn] «(Обладающий) харизмой/счастьем (богини) Nanai» ([Texte ..., 1940, 8, p. 181]; также в наскальной надписи из долины Верхнего Инда и в мугском документе B-8, Verso 1–2), см.: [Sims-

Williams, 1989, № 1; СДГМ II, с. 47; Lurje, 2010, p. 275, № 798]; nnyr't [Nanērāt] «Дар (богини) Nanai» [Sims-Williams, 1992, p. 276; Lurje, 2010, p. 276, № 779]; nnyšyrh [Nanēšīr] «(Имеющий) благо (от) Nanai» [Henning, 1940, S. 7; Lurje, 2010, p. 276, № 801]; nnywč [Nanēyōč] «Ученик (богини) Nanai (?)» [Sims-Williams, 1992, № 620; Lurje, 2010, p. 276, № 803]; nnywnwn [Nanēwanan] «(Обладающий) победой (благодаря богине) Nanai» [Sims-Williams, 1989, № 208; Lurje, 2010, p. 276, № 804]; nnyhbntk [Nanēvandē] «Раб (богини) Нанай» – имя в надписи на гемме [Lurje, 2010, p. 276–277, № 805]; nnyxs'y [Nanēxsay] «(Богиня) Nanai, правительница», из *Nanaixšāya- (?) [Sims-Williams, 1989, № 392; Lurje, 2010, p. 277, № 806]; nnyznč [Nanēzan?] «Песня (богини) Nanai (?)», [Sims-Williams, 1992, p. 61; Lurje, 2010, p. 277, № 807].

14. ʾTYQ [парф. kafwan] – название виноградника в нисейских документах № 417:3; 418:3 и в 48 других (в № 419:3; 434:3; 1516:2 – ʾTYQ). Арам. ʾattīq, ʾattīq «старый», парф.-ман. kfwn [kafwan], среднеперс.-ман. qhwn [kahwan] [Durkin-Meisterernst, 2004, p. 205], от kf-, qр- [kaf-] «падать».

15. ʾTYQ ʾpdn [kafwan appadān] «Старый дворец» – название виноградника в нисейском документе № 816:2 (ср. ʾpdn, ʾpdnk).

16. bgdtk [Bagdātak] – название селения (QRYT', арам. St. emph. qaritā, парф. [šēn?], из др.-ир. *šayana-, арм. šēn [Hübschmann, 1897, S. 213, № 480] в нисейских документах № 242:5; 372:6 и в 8 других (в № 1289:6; 1292:6; 1435:5 – bgdtky, с фонетически нерелевантным <-y>). «Созданный божеством/МитроЙ». Ср.: арм. Bagaran [Hübschmann, 1897, S. 113, № 85] из парф. *Bag(a)dān; согд. βy'd'n'k [vagdānē] «алтарь», бактр. βαγολαγγο «храм, святилище» (< *bagadānaka-) см.: [Sims-Williams, 2000, p. 185; 2007, p. 200]. Бактрийский топоним Baylān. В.Б. Хеннинг предполагал, что если на месте нынешнего города Baydād существовало поселение, то оно могло первоначально именоваться *Baydān [Henning, 1946, S. 720].

17. βywrzkn [Bagwarzakān(?)] – название виноградника в нисейском документе № 1445:1 «Работающий на божьей (ниве?)». Древнеиран. *ʾargz – «вращивать, вскармливать; пополнять(ся)», авест. varəz- «действовать, работать» [Bartholomae, 1961, 1374–1364], среднеперс., новоперс. warzidan: warz- [MacKenzie, 1971, p. 88], среднеперс.-ман., парф.-ман. *w'r- [wār-] «радоваться, веселиться» [Boyse, 1977, p. 89], среднеперс., новоперс., среднеперс.-ман. parwardan: parwar «воспиты-

вать, вскармливать; тренировать» [MacKenzie, 1971, p. 65]; согд. wrz'yw, согд.-христ. wrzuw «высокомерный, надменный», хорезм. prwz – «поднимать, вскармливать» (из новоперс.?); осет.-ирон. warzyn: warzt, диг. warzun: wartz [ИЭСОЯ, т. IV, с. 53–54], др.-инд. ūj- «вскармливание; подкрепление, усиление». И.-е. ūerH₁ǵ- [Pok. 1959, I: 1169]. Ср.: [Cheung, 2007, p. 422–423].

18. bgykn (или читать bgnkn?) |Bag'kān| – название местности в нисейском документе № 1477: 8. «Божественный (?)».

19. brzmytn |Barzmēṭān| – название «имения» и селения в нисейских документах № 242:5; 304:4 и 197 других. «Высокая обитель», из др.-ир. *Bṛzmaiṭana или *Barzmaiṭana-; авест. maēṭana- [Bartholomae, 1961, 1106–1107] «обитель, жилище», согд. mēṭan |mēṭan или mīṭan|; среднеперс., новоперс. mēhan «дом, обитель» [MacKenzie, 1971, p. 55]; *Warāzmaiṭana – «обитель диких кабанов» в аккадской передаче Urāzmētan [Dandamayev, 1992, p. 138, 331]. Согдийские средневековые топонимы: Zamitan (селение в окрестностях Бухары; [Yakut, II, S. 109; Бартольд, 1963, с. 177]; Ismitan (селение в окрестностях Кушании, недалеко от Самарканда; [Yakut, I, S. 265; Бартольд, 1963, с. 177]; Ramitan – город в Бухарском оазисе [Бартольд, 1963, с. 167–168]; Framēṭan, тадж. Фармитан – селение в Анхарском тюмене (бассейн Верхнего Зеравшана), см.: [Боголюбов, Смирнова, 1963, с. 97, 107 (здесь ошибочно Prnmyṭn)]; Лившиц, 2008, с. 215–216]: pr'myṭncy унсуh «фраметанской женщине», мугский документ А-5; современное селение Urmetan «Широкая обитель» (согд. ир- из др.-ир. *wauru-, авест. uougu- [Bartholomae, 1961, 1421–1431]) в долине Верхнего Зеравшана. Ср. также современное селение Mīhana вблизи Баварда (Туркменистан). Топоним |Barzmēṭan| – единственный, по-видимому, из упомянутых в нисейских документах – сохранился до наших дней, современный Безмезин (туркм. Buzmeyin), город и железнодорожная станция в 25 км от Нисы (аула Багир; см.: [Хлопин, 1967, с. 26]. Селение Barmihanī (brmhny в рукописях, описка вместо *brzmhny?) в округе Нисы упоминает Хāфиз-и Абру [МИТТ, т. 1, с. 528].

20. brzpsn |Barzpaśan или Barzpaśan?| – название «имения» в документах № 461:2; 462:4 и 32 других документах (в документах № 460:2; 473:1 и 10 других – brzpsny, с фонетически нерелевантным <-y>). Компонент *rpsn |°rāśan или °rāśan| этимологически мне неясен, (ср. личное имя Brzps |Barzpaś

или Barzpaś| в нисейском документе № 1781:1). Ср., возможно, др.-ир. *pas- «связывать», авест. pas-, paś- [Bartholomae, 1961, 879], среднеперс. pašt, paštāg «договор, соглашение; обязательство» [MacKenzie, 1971, p. 66], парф.-ман. pštāg |paštāg| «связанный» [Durkin-Meisterernst, 2004, p. 285]; русск. *пасмо* «часть мотка, пряжи», и.-е. *peHk- «связывать» [Pok, 1959, I, S. 787], др.-инд. pāśa – «силок; цепь; петля». Вряд ли связано с др.-ир. *paś – «стричь, резать» [Cheung, 2007, p. 299].

21. brzyn |Barzēn| – название местности в нисейских документах № 2575:2; 2595:4. Др.-ир. *Barzaina- или *Bṛzaina- «Возвышенное?» Ср. Barzan – селение около Мерва, упомянутое у Сам'āни [МИТТ, т. 2, с. 327].

22. brynkn, brnkn – название «имения» (ср. byrny?), brnkn в документе № 2631:3, brynky (с фонетически нерелевантным <-y>) в № 1446:2. Этимология топонима неясна. Возможно, производное от др.-ир. ¹*bar-: *br- «нести, везти; уносить, приносить», или от др.-ир. ²*bar: *br- «быстро двигаться, бурлить», или, наконец, от др.-ир. ³*bar: *br- «резать, обрезать; колоть, рубить», среднеперс., новоперс. burīdan: bur-, среднеперс. brīdan: brīn- «ид.», среднеперс. brīn «зарубка; отрезок, часть» [MacKenzie, 1971, p. 19].

23. bwd (или brd?) |Bōd| – название селения в документе Авр. III:2. «Благоуханный (?)», от др.-ир. ¹*baund- «чувствовать, обонять», авест. baoda- «запах» [Bartholomae, 1961, 917–918], др.-инд. bōdhate, среднеперс., новоперс. bōy «запах» [MacKenzie, 1971, p. 19], парф.-ман., среднеперс.-ман. bwy- |bōy-| «быть ароматным» [Durkin-Meisterernst, 2004, p. 118], хот. bū(d)- «ид.», согд. βwδ |vōδ| «запах», согд.-ман. pβwš- |pačvōš-| «пахнуть, обонять»; хорезм. 'bzwy- «пахнуть, нюхать»; белудж. bōd «запах, аромат»; осет.-ирон. būd, диг. bodá «благовоние, ладан» [ИЭСОЯ, т. I, с. 269], ягн. vud, wud, wod «запах; аромат»; арм. (из парф.?) boyr «(хороший) запах, аромат». Ср.: [Cheung, 2007, p. 15–16].

24. bwdystn |Bōdestān| – название местности в нисейском документе № 2588:3. Среднеперс., среднеперс.-ман. bōyestān, новоперс. bōstan «сад; сад цветов» [MacKenzie, 1971, p. 19; Durkin-Meisterernst, 2004, p. 119]; согд. βwδst'n |vōdestān|, арм. burastan (из парф.? [Hübschmann, 1897, S. 122, № 116].

25. bwdyš |Bōdič| – название «имения» и селения в документах № 483:3; 484:2 и в 11 других. «Благоуханный».

26. b/wrdn |Bardān? Wardān?| – название виноградики в документах № 314:3; 315:3 и 26 других. Чтение и этимология неясны. Если читать wrdn |Wardān|, то, возможно, «Цветочный», от др.-ир. *wṛd-, *ward- «цветок; роза», греч. Οὐαρδικ. Ср. среднеперсидские имена Gulag (< *Wṛdaka-), Gulāšt [Gignoux, 1986: 90, № 397; id. 2003: 39, № 150].

27. BYRT' |парф. diz| «крепость; укрепленное селение; город» (арамейское, из акк. bīrtu) в документах № 1993 pr.:1, 2642:1 (mtrdtkrt BYRT' |Mihrdātkirt diz| «крепость/город Михрдātкирт», в № 478:4 mtrdtkrty, с фонетически нерелевантным <-y>). Михрдātкирт «Сделанный Михрдāтом», вероятно, Митридāтом II (≈123–87), таково было название одной из аршакидских столиц, ныне городища Старая и Новая Ниса около аула Багир.

28. byryn |Bī'ērīn| – название «имения» в документе № 1444:3. Этимология топонима мне неясна.

29. gwds – документы № 495:1; 1467:3 и в 20 других (gwdsy, с фонетически нерелевантным <-y> в № 67:8; 70:4 и в 17 других документах), gwdsy (№ 492:2; 1421:6; 1631:1 – в двух последних документах gwdsy, с фонетически нерелевантным <-y>). Название «имения» и селения. |Gōdēs| «Имеющий облик быка (?)». Ср. др.-инд. desá- «место; область, округ», др.-ир. *daiz-/ *dais- «строить, формировать», авест. daēz-, uzdaēz- «ózeāūāñü, ātēāāčāñü» [Bartholomae, 1961, 673–674], āš.-čḡā. dégdhi, dihanṭi, авест. daēza- «куча, слой» [Bartholomae, 1961, 674], среднеперс. dēs, dēsag «форма, облик» [MacKenzie, 1971, p. 26], dēsīdan, dēs- «строить» (id.), среднеперс.-ман. dys- |dēs-| «id.» [Durkin-Meisterernst, 2004, p. 152], парф.-ман. dys- |dēs-| «создавать, формировать, строить» (id.); хот. dāš- «нагромождать», согд. ḡs-, согд.-христ. dys-, согд.-ман. ḡys- |ḡes-/ dēs-| «строить», согд.-ман. prḡys- |parḡēs-| «id.»; хорезм. prḡys- «чинить (стену)», prḡyzk «сад»; древнеперс. dida- «крепость; стена; цитадель» [Kent, 1953, p. 191]; среднеперс., парф., новоперс. diz «крепость»; новоперс. pālēz «сад»; осет.-ирон. fāldisyn: fāldyst, диг. fāldesun: fāldist «делать, творить, посвящать покойному» [ИЭСОЯ, т. I, с. 435–436]; йидга dīz-: dīzd-, мундж. dīz-: dīzd «хоронить; зарывать; прятать»; греч. παράδεισος «парк; охотничий парк», передача древнемидийского *paridaiza- [Schmitt, 2006, S. 132]; арм. (из среднеперс.?) partēz «сад»; араб. (из новоперс.) faliz «id.»; и.-е. ²*d^heiǵ^h- «замешивать, месить; штукатурить» (Pok. 1959 I, S. 244 sq.) См.: [Cheung, 2007, p. 52–53]. Ср. так-

же армянский топоним Godis (селения в областях Арагат и Васпухракан); парфянские (?) топонимы в греческой передаче Δησακδῖς, Δησακιδίδος (Avr. II) – парф. *Dēsakdiz (?). Менее вероятно толковать Gwdys как «низина», из др.-ир. *Gawadaisa-, ср. новоперс. gāw, gō «впадина; ущелье; пропасть».

30. gwdskn |Gōdisakān| – название селения и виноградики в документах № 1484:7; 846:3 и 5 других (в № 846:3; 1221:3 и 4 других – gwdskn, с фонетически нерелевантным <-y>). «(Относится) к местности Gōdis(?)».

31. gwdsn |Gōdisān| – название селения в нисейском документе № 845:4 (gwdsny – ошибка писца вместо gwdskn?).

32. gwtrzk |Gōtarzakān| «Готарзовское», название виноградики в документах № 758:2; 759:2 и 36 других. Возможно, от имени аршакидского царя Гōтарза I (≈ 91–87) или Гōтарза II (≈ 38–51). Ср. личные имена gwtrz |Gōtarz|, gwtrzk (вариант gtrzk) |Gōtarzak| в документах № 1614:2; 1611:3; 1617:2; 1618:2; 1620; 2650a+c(4); 2656:1. Парф. Gōtarz, Gōtarzak из древнеиран. *Gautarza-, *Gautarzaka- «Сокрушающий быка», греч. Γωτάρκης [Justi, 1895: 118]. Древнеиран. *ṭr̥z-, *tarz-, др.-инд. вед. ṭr̥h-, tarh- «бить, сокрушать», и.-е. *teleǵh- (Pok. 1959 I: 1062). См.: [MacKenzie, 1986, p. 110; Schmitt, 1998, S. 190].

33. hmpy, 'mpy |Hampī| – название «имения» и селения в документах № 505:7; 508:4 и в 64 других (в № 1432:2 – 'mpy, ошибка писца?) |Hampī или Hampāy?| Д.Н. МакКензи (в письме от 6 апреля 1990 г.) предложил читать Hampāy или Hambāy и возводить к др.-ир. *Hampāyu- «Защищающий всех».

34. HDT |nawāk| «новый» – название виноградики в документах № 399:2; 400:3 и 28 других. Ср. среднеперс. nōg, новоперс. naw, среднеперс.-ман., парф.-ман. nwg |nōg| [MacKenzie, 1971, p. 6; Durkin-Meisterernst, 2004, p. 246–247].

35. (h)šyt mrg |Xšēt marg| «Блестящий луг» или «Царский луг» – название виноградики в документе № 1445:2. Авест. xšaēta- «светлый, сияющий» [Bartholomae, 1961, 541], среднеперс., новоперс. šēd [MacKenzie, 1971, p. 79]. Ср. личные имена hšyt |Xšēt|, hšyt |Xšētak| в документах № 810:2; 812:4; 813:3; 1385:3; 1628:2. Эламские передачи Šāda, Šēdda древнеиранского имени *Xšaita- [Gerschevitch, 1969, p. 232 sq.; On.P. 8.1470; 8.1530]. Элам. Šetukka – передача древнеиранского *Xšaitaka- [Mayrhofer, 1973,

8.1536]. Среднеперсидские имена Šēd, Šēdag, Šēdam [Gignoux, 1986, p. 164, № 875–877]. Парф.-ман. ³mrg [marγ] «лес, чаша, луг» [Boyce, 1977, p. 57], согд. mry «id.», авест. marəya [Bartholomae, 1961, 1142]; новоперс. marγ, бактр. μαρυο [Sims-Williams, 2007, p. 231].

36. krkyšn, krkšn [Karkičan] – название селения в документах № 79:9; 207:6 и в 7 других (в № 170:6 – krkšny, с фонетически нерелевантным <-y>). «Куриное (?)», ср. среднеперс., новоперс. kark «курица; петух; цыпленок» [MacKenzie, 1971, p. 50].

37. k'hk [Kāhak] – название селения в нисейских документах № 25:5; 29:5; 158 pr.:3; 210:5; 259:6 и в 4 других (в № 238:3; 308:4 – k'hky, с фонетически нерелевантным <-y>). Этимология неясна. Топоним вряд ли связан с современным туркменским названием селения и железнодорожной станции Каахка, находящегося на территории бывшего Теджинского уезда (аршакидская область Abiward), а также со средневековым селением Kāh, находившимся в 9 фарсах от Дарйāба и упоминаемым в «Нузхат ал-Кулūб» Хамдаллаха Қазвйнī [МИТТ, т. 2, с. 511]. Сомнительно сопоставление K'hk с новоперс. kāh «здание, строение; башня; дворец», согд. k'x'kh, k'xk [kāhak] «нѣбо; дворец», из др.-ир. *kāhaka-. Ср. также элам. Ukakka – передача древнеиранского *Hukāhaka- «(Обладающий) хорошим дворцом» [Gerschevitch, 1969, p. 239; Mayrhofer, 1973, 8.1685].

38. kršt [Karišt (?)] – название селения в документах № 208:3; 257:4; 1493:8 (во всех документах с фонетически нерелевантным <-y>). Из др.-ир. *krštī- (?), от ²*kar- «размазывать, растирать; рассеивать (семена), сеять, бороздить», авест. ⁴kar-, karš- «бороздить» [Bartholomae, 1961, 449], среднеперс., новоперс. kār-: kištan «сеять» [MacKenzie, 1971, p. 51], среднеперс.-ман., парф.-ман. q'r-, k'r- [kār]: kyšt [kišt] «id.» [Boyce, 1977, p. 51; Durkin-Meisterernst, 2004, p. 202]; хот. kār-, хорезм. k'ry- «пахать», согд. kyr- [kēr-] (< *kāraya-) «сеять», согд.-христ. qš- [kaš/kəš-] «id.», осет.-ирон. kälyn: kald, диг. kalun: kald «литься, сыпаться; рушиться; спотыкаться» [ИЭСОЯ, т. I, с. 578], шугн. čärt, язг. kārđ «пахать, сеять», вах. кыг-: kord-, kəšt- «обрабатывать землю» [Стеблин-Каменский, 1999, с. 221], др.-инд. karī- «разбрасывать, посыпать»; и.-е. *k^werH- «сыпать, сеять» [Pok. 1959 I. S. 639; Cheung, 2007, p. 240–241]. Ср. парфянскую надпись на хуме, утраченном в результате ашхабадского землетрясения 1948 г.: (1) [] (2) [r]sk MLK' [] (3) BR[Y] 'r(šk) M(L)K' (4) MN kršty [] «Царь Ар-

шак [], сын царя Аршака, [поступило?] из [селения] Каршт» (фотография надписи: [Массон, 1949, с. 50]; см.: [Livshits, Pilipko, 2004, p. 139]).

39. kšk (kšr?) [Kāšak или Kāčak] – название селения в документах № 228:7; 229:7 (в обоих документах с фонетически нерелевантным <-y>). Этимология? Др.-ир. *kaš- «заточать, заключать в тюрьму», авест. kāš «схватывать, держать», парф.-ман. prg'č- [pargāž-] «заточать» [Boyce, 1977, p. 72; Durkin-Meisterernst, 2004, p. 278], согд.-христ. ptqyš-, согд.-ман. prqyš [patkēš-, parkēš-] «id.», хорезм. p'rk'sy- «id.», сарык. kašan «цепи». См.: [Cheung, 2007, p. 248]. Связь с современным селением Кеши, расположенным к северо-востоку от городищ Старая и Новая Ниса, сомнительна.

40. kwnkn (?) – название селения в документе № 1488:2. Этимология топонима мне не ясна.

41. kwydtkn [Kaw(i)dātakān] – название селения в документах № 1529:7; 1530:5; 1531:4. «Созданный Кави(?)», от личного имени *Kawidāt, др.-ир. *Kawidāta-. Ср. авест. kauuaiti – «предводитель враждебных зороастрийцам племени; жрец; князь, вождь в иранской эпической традиции» [Bartholomae, 1961, 442–443]; др.-ир. kaváy; среднеперс., новоперс. kay [MacKenzie, 1971, p. 50]; среднеперс.-ман., парф.-ман. k'w [kāw] «принц, господин; гигант» [Boyce, 1977, p. 51]; согд.-ман., согд.-христ. qw [kaw] «гигант, герой». Ср. согдийское личное имя K'wyrpn [Kaw(i)farn] «(Обладающий) харизмой/счастьем Кавиев/героев» (в азбуке на остраконе из раскопок Пенджикента, см.: [Лившиц, 2008, с. 304]; Kawād (араб. Qubād), из др.-ир. *Kawāta-; греч. Καυάτης, Καβάτης [Justi, 1895, p. 152, 159], новоперс. Kāwe «кузнец» [Ibid., p. 160]; авест. Kauuaiti-, Kauuāta-, Kauuārasman- [Bartholomae, 1961, 442–443]; ср. эламскую передачу Maurašma древнеиранского *Wa(h)urazma(n) – «(Обладающий) хорошим сражением», см.: [Benveniste, 1966, p. 87; On.P. 8.1044]; ср. согдийские личные имена Wnrzmk, Ywdrzmk [Lurje, 2010, p. 410, 464, № 1320, 1531]; др.-инд. имя Kaváy.

42. kwzr [Kōzar или Kūzar(?)] – название «имения» в документах № 319:6; 497:2 и в 129 других. Этимология? Ср. новоперс. kūzar «зерно, оставшееся в колосе после молотбы; сито для извести или щебня» или новоперс. kūzare «голубая водяная птица»? Более вероятно этимологическая связь с древнеиранским *kauč- «сгибать, сжимать(ся), тянуть», среднеперс., среднеперс.-ман. āgustan «вешать, подвешивать» [MacKenzie, 1971, p. 4], среднеперс.-

ман. ngwč- [nigōz-] «гнуть, сгибать» [Boyce, 1977, p. 60], среднеперс.-ман. ʾgwst |āgust| «подвешивать, прикреплять» [Ibid, p. 3; Durkin-Meisterernst, 2004, p. 30, 215, 240]; парф.-ман. ʾgwxt |āguxt| [Durkin-Meisterernst, 2004, p. 30]; хот. uskuj- «подниматься, восходить», paškuj- «ударять(ся)», согд. ʾkʾwč-, ʾkwuč-, согд.-христ. ʾqwc-, согд.-ман. ʾqwc- |ākōč-| «подвешивать, вешать», хорезм. nkwsu- «спать», ʾkwsu- «затоплять; погружаться», новоперс. anjōž «морщина», kōž «искривленный», др.-инд. kucāti, kuñcate «он соединяет», и.-е. *keuk- (?) (Pok. 1959 I, p. 589). Ср.: [Cheung, 2007, p. 249].

43. MRDYTʾ «вновь обработанная земля (арамейская идеограмма, от rdy «пахать; наказывать», см.: [Beyer, 1984, p. 692]; парфянское соответствие, возможно, pdk |pādak| в документах № 1453:4; 1621:1 и в 12 других. Ср. бактр. παλαχο «название крепости и имения», хорезм. π9к «дом» [Sims-Williams, 2007, p. 251]).

44. mrg mrzpdn |Marg Marzappadān| «Луг у пограничного дворца» – название «имения» в документах № 1448:3; 1499:5-6. Ср., возможно, упоминаемый в средневековых источниках «вал Марз» вблизи селения Каахка, а также средневековое селение Марзак, упоминаемое у Мукаддаси (BGA III, p. 348) при описании пути из Мерва в Мерверруд.

45. mšbr |Mašbar(?)| – название «имения» в документах № 1207:6; 1214:7; 2620:2. Этимология? Возможно, связано с хот. māša- «жилище, дом», осет.-ирон. māsyg, диг. mäsug «боевая башня», ср. греч. μῶσ(σ)υν «деревянная башня», μῶσ(σ)υνοῖχοι «живущие в башнях» 1) название народности, населявшей юго-восточное побережье Понта (Геродот III 94; VII, 78; Ксенофонт, Анаб. 5, 4, 1–3; 8, 11–17, 22–34; Страбон XII 3, 18; Амм. Марцеллин 22, 8 и др.); 2) название народа в Великой Фригии с главным городом Mossyna (Плиний, Nat. Hist. 5, 3, 33; 6, 126). См.: [ИЭСОЯ, т. II, с. 104–107].

46. mtr |Mihr| – сокращение от Mtrdtkrt |Mihrdātkirt| (?) – названия цитадели и города, известного много позднее как Nisā, в документах № 1513:7; 1514:5 и в девяти других.

47. mtrdtkn |Mihrdātakān| «Михрдатовское», возможно, по имени аршакидского царя Митридата I (≈171–138) или Митридата II (≈123–87). В документах этот топоним выступает как: 1) название «имения» в документах № 609:1; 610:2 и в 80 других (в № 477:6; 611:2 и в 39 других – mtrdtkny, с фонетически нерелевантным <-y>); 2) название

участка земли в нисейском документе № 827:3 (mtrdtkny).

48. mtrdtkrt |Mihrdātkirt| (ср. mtr) – название цитадели и города, «Созданный Михрдāтом» (по имени Михрдāта I или Михрдāта II) в нисейских документах № 2624:1 (mtrdtkrt BYRTʾ |Mihrdātkirt diz| «крепость Михрдāт», 478:4 (mtrdtkrt, с фонетически нерелевантным <-y>).

49. mt(ry)n₁ – название виноградника – «михрēновский», в нисейском документе № 829:4.

50. mtrynk |Mihrēnak| «Михрēнаковский», от личного имени Mihrēn. Название двух виноградников в документах № 210:8; 828:4; 1457:2. В документе № 210 («имение» Артабāнукāн) упомянут виноградник mtrynk вместо обычного для этого «имения» виноградника mtrynn; в документе № 829 («имение» Sēgabič) mtrynk может быть названием того же виноградника, который в документе № 1829 носит название mtrynk; в документе № 1457 название «имения» отсутствует (см.: [Diakonoff, Livshits, 2001, p. 197, № 1].

51. mtrynn |Mihrēnān| «Михрēновский (?)», от патронима *Mihrēnān(?) – название виноградника в документах № 185:3; 186:3 и в 45 других (в № 1592:2 – mtryny, ошибка писца; в этом документе название «имения» nykupu вместо nykup в других документах; в № 2683 pr.: 4 – mtr (nn)).

52. nwk |Nawāk| «Новый» (среднеперс. nōg, новоперс. now [MacKenzie, 1971, p. 60]; среднеперс.-ман. nwg |nōg|, парф. nwʾg |nawāg| [Boyce, 1971, p. 63]) – название виноградника в документах № 411:3; 412:2 и в 2 других (ср. НДТ).

53. nykyn |Nīkēn или Nēkēn| – название виноградника в документах № 530:3; 534:2 и в 29 других (в № 1592:2 – nykupu, с фонетически нерелевантным <-y>). «Хороший/Прекрасный», древнеперс. naiba- «красивый; хороший (в религиозном смысле)» [Kent, 1953, p. 192]; среднеперс. nywkʾ |nēk|, новоперс. «id.», среднеперс.-ман. nyk, nyq |nēk| «id.» [Boyce, 1977, p. 64; Durkin-Meisterernst, 2004, p. 253].

54. pdk |padakʾ| – название участка земли или категории владения землей, возможно, вновь освоенной (ср. MRDYTʾ?). ср. бактр. παλακανο, παλοκανο – название виноградника [Sims-Williams, 2000, p. 216], παλαχο – название крепости и «имения», хорезм. π9к (жен. р.) «дом» [Sims-Williams, 2007, p. 251].

55. prdh(k) |Frādahak| «Дрāдаховское», от личного имени Frādahak – название виноградника в документе № 456:2. Ср., возможно, парфянское

имя *prdhk* [Frādahak] – аршакидский царь Фраатак (≈2 г. до н.э – 4 г. н.э.).

56. *prdhys* [Frādahič] – название виноградника (ср. *prdhšn*, *prdhys*) в документах № 564:2; 565:3; 584:5. Образовано от личного имени Frādahič.

57. *prdhysn*, *prdhšn* [Frādahičān] – название виноградника в документах № 552:3; 557:3 и в 44 других (в № 554:3 – *prdhšn*, в № 592:8 – *prhyšn*, ошибка писцов). От личного имени Frādahič или патронима Frādahičān.

58. *prdyz* [Pardez] «Рай» – название виноградника в документах № 739:2; 740:2 и в 27 других. В № 754:2 – *prdyzu*, с фонетически нерелевантным <-y>, в сочетании с идеограммой QRY [парф. *xgišt* | «называемый», также в № 755:2 (ср. *ʾpdny* QRY в № 793:2). Авест. *paīri.daēzā* – «окруженный валом, окруженный стенами; укрепленный» [Bartholomae, 1961, 865], новоперс. *pālēz* «огород; бахча», новоперс., араб. *firdaus* «сад; райский сад; рай»; греч. *parádeiso* V.

59. *pr(g)zykn* [Fragazīkān (?)] – название виноградника в документе № 496:1. Этимология? Ср. древнеиран. **gaz*- «жалить; кусать», среднеперс., новоперс. *gazīdan*: *gaz* – «id.» [MacKenzie, 1971, p. 36] парф.-ман. *gšt* [gašt] «ужаленный, укушенный» [Boyce, 1977, p. 42]; осет.-ирон. (ä)lǵītyn: (ä)lǵīšt «проклинать, ругать» [ИЭСОЯ, т. II, с. 42–43]; белудж. *grēt* «он плакал», среднеперс., новоперс., среднеперс.-ман. *grīyīstan*: *griy* – «плакать, кричать» [MacKenzie, 1971, p. 37]. См.: [Pok., 1959, I, S. 384; Cheung, 2007, p. 121–122].

60. *prhtk(n)* [Frahātakān(?)] «Фрахатовское», название храма (*ʾyzn* [āyazan]) в документе № 1640. Возможно, храм заупокойного культа аршакидского царя Фраатака (≈2 до н.э. – 4 н.э.).

61. *prwšy* [Frawašī] – название «имения» в документах № 833:3; 834:2 и в 32 других (в № 841:1 – *pruwš*? ошибка писца). Этимология? Вряд ли из древнеиранского **frawarti-*, авест. *frauuašaīi-*, среднеперс., среднеперс.-ман. *frawahr*, *faward* «бессмертная душа, охраняющая человека на протяжении всей его жизни» [MacKenzie, 1971, p. 33]. Ср. личное имя (pr)wrtbywzn [Fawardbōzan] в документе № 2689; *prwrtyn* [Fawardīn] – название 1-го месяца и 19-го дня, среднеперс. *Fawardīn* «id.», *Fawardīgān*, новоперс. *Farwardagān* – религиозный праздник почитания фравахров/фравардов – последних пяти дней 12-го месяца (Spandarmad) и последующих пяти дополнительных дней, прибавляемых в конце года; среднеперс. *gāhānīg* «относящийся к Гатам; религиоз-

ный» [MacKenzie, 1971, p. 34]; среднеперс.-ман. *gʾh* [gāh] «Гата» [Boyce, 1977, p. 41].

62. *pryptykn*, *pryptkn* [Friyapatikān] «Фрийапатиевский», от личного имени *prypt* [Friyapat], упомянутого в документе № 2577:3 (генеалогическая запись); ср. *pryptk* [Friyapatak] в документах № 2638 (1760):1 и 2640 (Nova 370):2; парф. *Friyapatak*, греч. Φριᾱπίτης [Justi, 1895, S. 106] – аршакидский царь Фрийапат II (≈191–176), сын Артабана I и племянник Аршака I, основателя династии Аршакидов. Нисейские генеалогические записи, содержащиеся в документах № 2638 и 2640, исследовались в нескольких работах: [Дьяконов, Лившиц, 1960; Bickerman, 1966; Кошеленко, 1976; Луконин, 1987; Altheim, Stiehl, 1970]. О парфянских личных именах *prypt* [Friyapat], *pryptk* [Friyapatak], лат. *Priapatius*, греч. Φριᾱπίτης, др.-ир. **Friyapati-*, **Friyapataka* – «Любимый государь» см.: [MacKenzie, 1986, p. 113; Schmitt, 1998, S. 182]. Ср. парф.-ман. *fryʾn* [fryān] «друг; любимый», *fryʾng* [fryānag] «id.» [Boyce, 1977, p. 40]. «Имение» *pryptykn*, *pryptkn* упоминается в документах № 862:2; 863:2 и в 436 других; в документах № 915:2; 922:3 и 157 других засвидетельствованы варианты *pryptykny*, *pryptkny* с фонетически нерелевантным <-y>.

63. *p(t.y)r/dkn(?)* – название «имения» в документе № 1447:1. Точное чтение и этимология непонима мне неясны.

64. *rʾgn*, *rgn* [Rāgan] – название селения в документах № 198:4; 1595:5 и в 22 других (в документах № 641:4; 643:7 и в 20 других – *rʾgn*, *rgny* с фонетически нерелевантным <-y>). Ср. древнеперс. *Ragā* «Рагā, округ в Мидии»; эламская передача *gak-qa-an*, аккадская *ga-ga*, греч. Ῥάγης [Kent, 1953, p. 203]. Новоперс. *gāu* «равнина, склон; возвышенность», согд.-будд., согд.-ман., согд.-христ. *rʾγ* [rāγ] «равнина, пустыня» [Henning, 1939, p. 95], согд.-будд. *rʾγuh* [raγē] «дикий, пустынный», хорезм. *rʾγy* «id.», хот. *гаа*- «пустыня», пашто *gāw* «дол, луг; каменная или песчаная равнина». Хеннинг считал, что эти слова восходят к др.-ир. **rāga-*, *šāhṇāākkīgō*, *āteḡteḡē*, *āāhṇčénzīgō* *gauuah-* «открытое пространство; равнина» [Bartholomae, 1961, 1513], *gauuačārāt-*, из др.-ир. **ragwah-* [Henning, 1939]. Ср. белудж. *raγ* «равнина», осет. *rağ* «1. спина; 2. гребень горы; горный хребет» [ИЭСОЯ, т. II, с. 343–345]; таджикский топоним *Rogun* (на берегу Вахша, ныне строительство Рогунской гидроэлектростанции). Ср. также селение *Rāyin* в Бухарском оазисе,

в окрестностях Дабусии [Yakut, II, S. 734; ср.: Бартольд, 1900, 1963, с. 180]; Rāyan у Сам'ānī (Kitāb al-Anṣāb: 243в); см.: [Лурье, 2004, с. 70]; согд. čyuzr'yh [čayzgāy] «лягушачья равнина, болото» в мугском документе В-8, Recto, стк. 10 [Лившиц, 2008, с. 57, 236]; ср. ягн. čayzlōy «болото», из согд.-ягн. čayz «лягушка» + узб. loy «грязь, тина» [Андреев, Пещерева, 1957, с. 234], Сам'ānī упоминал также Rayan (из *Rāyān?): «Rayan – одно из селений Нисы. Жители Нисы знают его название только с одним -у-, а Абӯ Бекр ал-Хат'иб упоминает его и утверждает, что у – удвоенное, [но] жители города [Нисы] знают лучше. Они часто арабизируют [это название] и говорят Razan» [МИТТ, т. 1, с. 332–333].

65. ršnwdtkn [Rašndātakān] – название селения или «имения» в документах № 1670:2; 1678:2; 1648:1 (в № 1648:1 – ršnwdtkny, с фонетически нерелевантным <-y>). Образовано от личного имени Rašndātak «Созданный (божеством) Правосудия»; ср. эламскую передачу Rašnudadda древнеиран. *Rašnudāta – [Benveniste, 1966, p. 91; Mayrhofer, 1973, 8.1421; Hinz, 1975, S. 200]. Ср.: [Schmitt, 1998, S. 182].

66. rwbynk [Rōbīnak?] – название участка земли в документах № 824:2; 825:3; 826:3. Этимология? От древнеиран. *raub- «становиться спутанным; становиться влюбленным», среднеперс.-ман., парф.-ман. pdrwb- [pdrōb-] «смешиваться; бежать» [Boyce, 1977, p. 68; Durkin-Meisterernst, 2004, p. 271]; новоперс. āluftan «волноваться, беспокоиться»; др.-инд. lobh- «становиться ненормальным, спутанным; путать»: и.-е. *leubh- «влюбляться, любить, желать» [Pok., 1959, I. S. 683]. Ср.: [Cheung, 2007, p. 214–215]. Парфянское имя Rōbīnak «Желанный/Любимый (?)».

67. rwndykn [Rōndīkān? R'ndīkān] – название селения в документе № 414:3. Этимология топонима неясна. Ср., возможно, среднеперс., среднеперс.-ман. gwn [gōn] «направление», как послелог «к, по направлению к» [MacKenzie, 1971, p. 72; Boyce, 1977, p. 79].

68. skn [Sakān] «Сакское (?)» – название «имения» и селения в документах № 18:6; 19:4; 27:5 и в 68 других (в № 18:6; 19:4 и 67 других – skny, с фонетически нерелевантным <-y>). Ср. патроним (s)kn [Sakān], «сын Сака» в документе № 2678:4. Древнеперс. Saka – «сакский; скифский; Скифия», эламская передача šá-ak-qa, аккадская gi-mi(r)-gi «киммериец» > «скиф; сак», греч. Σκύθης, Σκύθῆς, древнеперс. Sakā – «Скифия» [Kent, 1953,

p. 209]. Древнекитайское sək, кит. sè, sai. В древнеперсидских ахеменидских надписях различаются три группы сакских и скифских племен: 1) Saka paradraya-/paradraiya- «заморские скифы», обитавшие в причерноморских степях; 2) Saka tigraxauda- «Саки, носящие остроконечные шапки»; 3) Saka haumavarga- «Саки, приготавливающие хаум», обитавшие в среднеазиатских степях и в припамирских областях. Эпитет haumavarga- (эламская передача u-mu-mar-qa, аккадская ú-mu-ur-ga', греч. Ἀμύρῳτοί, от др.-ир. *hauma-, авест. haoma-, производное от др.-ир., авест. hu-, др.-инд. su- «выжимать», и др.-ир. *warga-, др.-перс. °varga, с неясной этимологией. Г. Бэйли полагал, что др.-ир. *warga- превратилось в bray-, mṛung-, mung- в топонимах и этнонимах Brayáyo, Mfūngul, Mungān – «Мунджан». Название главной ставки саков – хаумаварга – древнеиран. *Rauxšnān, греч. Ρωξανακή сохранилось до наших дней в топониме Rōšnān «Рушан», область на Западном Памире [Bailey, 1958, S. 132]. Этноним Saka был хорошо известен в древней Индии, он упоминается рядом с Yavana, Pahlava, Tukhara и Cīna (Ibid.). Название Sakastana [Sayastana] засвидетельствовано в индийских надписях письмом кхароштии в Матхуре. В буддийском санскрите – Śakasthāna, среднеперс. skst'n [Sagestān] «страна саков», новоперс. Seistān, Sīstān; парф. skstn [Saga/estān], греч. Σεγιστηνῇ в ŠKZ; арм. Sakastan, Sagastan [Hübschmann, 1897, S. 71, № 161]; араб. Sajastān, Sijistān; согд.-христ. syst'n [Sayastān]. Прилагательное «сакский» засвидетельствовано в новоперс. sagzī, арм. sagčik (Rustam-i sagzi, арм. Rostam sagčik «Рустам сакский»), сир. sagzīq. Этимология древнеиранского *saka- остается неясной. Бэйли полагал, что этот этноним имел первоначальное значение «человек; мужчина» или «сильный; искусный, умелый», от др.-ир. *sak-, др.-инд. вед. suśaka-. В. Бранденштейн и М. Майрхофер (1964, S. 142) полагают, вслед за О. Семереньи, что этноним Saka- связан с др.-ир. *sak- «двигаться (>кочевать)», др.-перс. Jakata- «прошло, истекло». Ср. авест. sač- «проходить», среднеперс., среднеперс.-ман. sč- [saz-] «id.», среднеперс. plsng [farsang] «мера длины»; парф.-ман. sxt [saxt] «прошедший; прошло»; *wsxt [ōsaxt] «спустился» [Durkin-Meisterernst, 2004, p. 71, 156, 311]; хот. skyāta- «(истекшее) время», согд. sy- «проходить», согд.-христ. syt- «прошедший день (месяца)», хорезм. wsnc- «спускаться; появляться», греч. παρασάγγης – передача древнеперсидского *frasanga-, арм. hrasax «id.»,

сир. *prsh*, араб. *farsax*; и.-е. **(s)kek-* «проходить; случаться» [Pok., 1959, I, S. 922; Cheung, 2007, p. 324–325].

69. *smwk* (или *smyk?*) – название селения в документе № 1456:9. Этимология? От др.-ир. **sam-* «успокаиваться; утомляться» или от др.-ир. **sam-* «соглашаться; заключать соглашение»? (ср. [Cheung, 2007, p. 329–330]).

70. *sygbyš* [Sēgabič] – название «имения» в документах № 142:5; 143:6 и 178 других (описки писцов: № 142:5 – *ysygbyš*; № 764:2 – *sygbyšš*; № 784:2 – *sybgyš*; № 830:4 – *sybgyš*; № 832:3 – *syubyuš*; № 1589:2 – *syby(y)[š]*). Этимология топонима мне неясна. Возможно, от др.-ир. **seij-* «бежать, двигаться; посылать»; авест. *frasiiazja-* «охотиться» [Bartholomae, 1961, 1630]; др.-инд. *śighra-* «быстрый, скорый», см.: [Pok., 1959, I, S. 542; Cheung, 2007, p. 329]. Но что такое парф. **byš* [ʔbičʔ]. Возможно также, что су- *|sē-|* из и.-е. **kye-*, **kī-* «темносерый» [Pok., 1959, I, S. 541]; **gab* из и.-е. **g(u)mbh-* «глубокий», авест. *jaiwi. uuafra-* «с глубоким снегом» [Bartholomae, 1961, 603], др.-инд. *gambah-* «дыра, яма». При таком толковании топонима Sēgabič имело бы значение «(Богатый) темными пещерами» или «(С) глубокими темными пещерами».

71. *sym'n* [Sēmān(?)]) – название виноградника в документе № 523:1 (ср. *symu*, *sym(y)kn*).

72. *symu* [Sēmī или Sīmī(?)]) – название местности и виноградника в документах № 525:3; 526:2 (в сочетании с предлогом В [парф. *andar*]) в документах № 527:3; 1573:2; 1576:3; 1595:6 (в сочетании с QRY [парф. *xušt*] «называемый»). Из древнеиран. **syāma-* «черный». Ср. авест. *Siiāmakā-* «название горы или горного хребта», др.-инд. *śyāmā-*, *śyāmaka-*, среднеперс. («Бундахишн», XII, 2) *syāmōmand* «с черными волосами». Парф.-ман. *sy'w* [syāw] «черный», авест. *siāuua-* [Bartholomae, 1961, 631].

73. *symykn*, *symkn* [Sēmīkān?] – название виноградника в документах № 518:4; 521a:3. Ср. *sym'n*, *symu*, *symyn*. «Черный?»

74. *symyn* [Sēmīn или Sēmyān?] – название виноградника в документе № 518:4 (ср. *sym'n*, *symu*, *symyn*). «Черный(?)». Ср. у Сам'анй (Китāб ал-Ансāб): «Simanan (*symnn*) – одно из селений в окрестностях Нисы, в нем большой канал, называемый канал Simanan» [МИТТ, т. 2, с. 27].

75. *ššnk*, *šš'nk* (Čāčānak?) – название селения в документах № 291:3; 292:6 и в 20 других (в № 291:3; 292:6 и 9 других – *ššnky*, *šš'nky*, с фо-

нетически нерелевантным <-y>). Этимология топонима мне неясна.

76. *trkwpr* [tarkōf] «Загорный, Tramontana» название опросительного канала в сочетании 'TRH *trkwpr* [парф. *yōu tarkōf*] в документах № 595:2; 597:2 и в 17 других (в № 593:3; 594:1 и в 9 других – *trkwpr*, с фонетически нерелевантным <-y>). Др.-ир. **tarakaufa-* «Загорный». Ср. среднеперс., среднеперс.-ман. *kōf* «холм, гора; горб» [MacKenzie, 1971, p. 51], парф.-ман. *kwf* [kōf] «id.» [Boyce, 1977, p. 53]; арм. *tar* (из парф.?).

77. *tybwty* [Tībūṭ, Tībōṭi?] – название виноградника в документах № 1567:3; 1619:13. Этимология топонима мне неясна.

78. *(tyr?)ynk* [Tīrēnak] – название храма (ʔyzn [āyazan]) в документе № 2673:4. От личного имени Tīrēn или Tīrēnak.

79. *(wh)knt* [Wahkant или, скорее, Wahkand?] – название селения в документе № 650:5. Из древнеиран. **Wahukanta* – «Хорошо построенный (?)».

80. *wrgstyš* [Wargasatič?] – название селения в документах № 20:4; 21:5 и в 22 других. «Канавы, обросшая травой (?)». Ср. новоперс. *waḡ* «насыпь; плотина; канава; ров», *waḡaḡašt* «ясный, открытый; сорт травы».

81. *wrkpndk* [Wurkpandak или Wurgpandak] – название селения в документах № 86:6; 477 pr.: 1 и в 14 других. «Путь волков», др.-ир. **Wṛkapandaka-*, авест. *vəhrka-*, *vəhrkā-* «волк, волчица», др.-инд. *vṛka-*, среднеперс.-ман., парф.-ман. *gwrg* [gurg] (Durkin-Meisterernst, 2004. P. 167).

82. *wršbk* [bršb/wk?] – название селения в документе № 1470:7. Этимология? Парф. *wrš* [warš] «дерево (?)», авест. *varəša-*, др.-инд. *vṛkśā-* [Bartholomae, 1961, 1379]; среднеперс. *wēšag*, новоперс. *bēša* «лес, чаща» [MacKenzie, 1971, p. 90].

83. *wššptk* [Wāššiftak] – название селения в документе № 513:6 «Травянистый сок» или «(Обладающий) душистой травой»? Парф. *wāš* «фураж, солома» (MacKenzie, 1971. P. 88).

84. *wywkrt*, *wykyrt*, *wykyrt* [Wāykirt] – название виноградника и селения в документах № 338:3; 339:3 и в 28 других (*wywkrtu* в № 340:4; 341:4 с фонетически нерелевантным <-y>). Авест. *Vaiiuyš* *yō uparō kaiiriiō* «(Божество) воздуха/ветра, действие которого в верхней сфере» [Bartholomae, 1961, 1358]; согд. *wyšprkr*, бактр. *?*, *Οηρολαδο* [Sims-Williams, 2007, p. 245]. См.: [Humbach, 1975, S. 403–407].

85. *ytwt* [Yatūt, Yatōt?] – название селения в документах № 342:5; 740:6 (?); 801:4. Во всех до-

кументах *utwty*, с фонетически нерелевантным <-y>. Этимология топонима мне неясна.

Я считаю большой честью опубликовать эти страницы в сборнике, посвященном юбилею Елены Ефимовны. Я познакомился с ней в далеком 1950 г. на раскопках городища древнего Пенджикента, когда она была студенткой исторического факультета Московского Университета. Елена Ефимовна – выдающийся археолог и историк, обогатившая российскую науку целой библиотекой статей и монографий, посвященных проблемам андроновской культуры, миграций индоиранских племен и ранней истории восточных иранцев, истории Шелкового пути, скифского искусства, этнической и социальной истории древнего населения южнорусских степей, истории Бактрии и бактрийского искусства. Работы юбиляра получили высокую оценку в статьях И.М. Дьяконова* и в монографии Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова**. Две ее монографии опубликованы в переводах в Голландии и США. Я желаю юбиляру многих лет здоровья, новых работ и новых учеников.

Список литературы

- ИЭСОЯ** – Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. – М.; Л., 1957–1998. – Т. I–V.
- МИТТ** – Материалы по истории туркмен и Туркмении. – М., Л., 1938–1939. – Т. 1: VII–XV вв.: арабские и персидские источники; Т. 2: XVI–XIX вв.: иранские, бухарские и хивинские источники.
- BGA** – *Bibliotheca geographorum arabicorum* / ed. M.J. de Goeje. Pars 1–8. Lugduni Batavorum.
- Pok.** – Pokorny J. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. – Bern; München, 1947–1966. – 2 Bde.
- Андреев М.С., Пешерева Е.М.** Ягнобские тексты: с прилож. ягнобско-рус. Словаря / сост. М.С. Андреевым, В.А. Лившицем, А.К. Писарчик. – М., 1957.
- Бартольд В.В.** Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – СПб., 1900.
- Бартольд В.В.** Киргизы. Исторический очерк // Бартольд В.В. Соч. – М., 1963. – Т. II, ч. 1.
- Боголюбов М.Н., Смирнова О.И.** Согдийские документы с горы Муг. – М., 1963. – Вып. 3: Хозяйственные документы и письма.
- Дьяконов И.М., Лившиц В.А.** Документы из Нисы I в. до н.э. (Предварительные итоги работы). – М., 1960.
- Кошеленко Г.А.** Генеалогия первых Аршакидов (еще раз о нисейском остраке № 1760) // История культуры народов Средней Азии. – М., 1976. – С. 31–37.
- Лившиц В.А.** Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. – СПб., 2008.
- Луконин В.Г.** Парфянская и сасанидская администрация // Древний и раннесредневековый Иран. – М., 1987. – С. 106–255, 236–253.
- Лурье П.Б.** Историко-лингвистический анализ согдийской топонимики: дис. ... канд. филол. наук. – СПб., 2004 (рукопись).
- Массон М.Е.** Городища Нисы в селении Багир и их изучение // Тр. ЮТАКЭ. – Ашхабад, 1949. – Т. I. – С. 16–115.
- Сам'ани.** «The Kitāb al-Ansāb» of 'Abd al-Karīm ibn Muḥammed al-Sam'ānī reproduces in facsimile from the manuscript in the British Museum. Add. 23.355 with an introduction by D.S. Margoliouth. – Leiden; L., 1912. – (E.J.W. Gibb memorial Series; XX).
- Стеблин-Каменский И.М.** Этимологический словарь ваханского языка. – СПб., 1999.
- Хлопин И.Н.** Парфянский пласт в топонимике Туркменистана (к методике изучения) // Памятники Туркменистана. – Ашхабад, 1969. – № 7. – С. 25–27.
- Altheim Fr., Stiehl R.** Geschichte Mittelasiens im Altertum. – B., 1970.
- Bailey H.W.** Languages of the Saka // Handbuch der Orientalistik. 1. Abteilung, 4. Bd. Iranistik. 1. Abschnitt: Linguistik. – Leiden; Köln, 1958. – S. 131–154.
- Bartholomae Chr.** Altiranisches Wörterbuch. 2. Unveränderte Aufl. – B., 1961.
- Benveniste É.** Titres et noms propres en iranien ancien. – P., 1966. (Travaux de l'Institut d'études iraniennes de l'Université de Paris 1).
- Beyer K.** Die aramäische Texte vom Toten Meer. – Göttingen, 1984.
- Bickermann E.** The Parthian Ostrakon N 1760 from Nisa // Bibliotheca Orientalia. – Leiden, 1966. – Jaargang XIII. – №1/2. Januar – Mart.
- Boyce M.** A Word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian. – Téhéran; Liège, 1977. – (Acta Iranica; 9).
- Cheung J.** Etymological Dictionary of the Iranian Verb. – Leiden; Boston, 2007. – (Leiden Indo-European Etymological Series / ed. by A. Lubotsky; vol. 2).
- Dandamayev M.A.** Iranians in Achaemenid Babylonia. – Costa Mesa; N.Y., 1992. – (Columbian lectures on Iranian Studies / ed. by E. Yarshater; N. 6).
- Diakonoff I.M., Livshits V.A.** Parthian Economic Documents from Nisa / ed. D.N. MacKenzie, A.N. Bader, N. Sims-Williams. – L., 2001. – Texts I. – P. 161–215. – (CII, Pt. II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian Periods and of Eastern Iran and Central Asia. Vol. II: Parthian).
- Durkin-Meisterernst D.** Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian. – Turnout, 2004. – Vol. III: Texts from Central Asia and China. Pt. I / ed. N. Sims-Williams. – (Corpus Fontum Manichaeorum. Dictionary of Manichaean Texts).
- Gershevitch I.** Amber at Persepolis // Studia classica et orientalia Antonino Pagliaro oblata. – Roma, 1969. – Vol. I. – P. 167–251.

*Дьяконов И.М. Прародина индоевропейцев // ВДИ. 1995. № 1. С. 123–130.

** Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. II. С. 988.

Gignoux Ph. Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique. – Wien, 1986. – (Iranisches Personennamenbuch / Hrsg. von M. Mayrhofer, R. Schmitt; Bd. II: Mittelliranische Personennamen, Fasz. 2).

Henning W.B. Sogdian Loan-Words in New Persian // *Bul. of the School of Oriental (and African) Studies*. – L., 1939. – Vol. X, pt. 1. – P. 93–106.

Henning W.B. Sogdica. – L., 1940. (J.G. Forlong Fund; vol. 21).

Henning W.B. Brāhman // *TPhS*. – L., 1944 (1945). – P. 108–118.

Henning W.B. The Sogdian Texts of Paris // *Bul. of the School of Oriental (and African) Studies*. – L., 1946. – Vol. XI, pt. 4. – P. 713–740.

Hinz W. Altiranische Sprachgut der Nebenüberlieferungen / Unter Mitarbeit von P.-M. Berger, G. Korbel, N. Nippa. – Wiesbaden, 1975.

Humbach H. Vayu Śiva und der Spiritus Vivens im ostiranischen Synkretismus // *Monumentum H.S. Nyberg I. – Téhéran; Liège*, 1975. – S. 397–408. – (Acta Iranica; 4).

Hübschmann H. Armenische Grammatik. – Leipzig, 1897. – 1. Teil: Armenische Etymologie. Abteilung I: Die persischen und arabischen Lehnwörter in Altarmenischen; Abteilung II: Die syrischen und griechischen Lehnwörter in Altarmenischen und die echtarmenischen Wörter. – (Indogermanische Grammatik; Bd. VI).

Kent R.G. Old Persian. Grammar. Text. Lexicon. – New Haven, 1953.

Livshits V.A. Three New Ostraca Documents from Old Nisa // *Ērān ud Anērān: Studies presented to Boris Il'ich Maršak on the Occasion of his 70th Birthday* / ed. M. Comparetti, P. Raffeta, G. Scarcia. – Venezia, 2006. – P. 403–406.

Livshits V.A., Pilipko V.N. Parthian Ostraca from the Central Building Complex of Old Nisa // *Ancient Civilizations from Scythia to Siberia: Internat. J. of Comparative Studies in History and Archaeology*. – Leiden, 2004. – Vol. 10, N 1–2. – P. 141–181.

Lurje P.B. Personal Names in Sogdian Texts. – Wien, 2010. – (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Kl. Sitzungsberichte; 808 Bd.); (Iranische Onomastik / Hrsg. von B.G. Fragner, V. Sadovski; Nr. 8. Iranisches Personennamenbuch / Hrsg. von R. Schmitt, H. Eichner, B.G. Fragner, V. Sadovski. Bd. II: Mittelliranische Personennamen, Fasz. 2).

MacKenzie D.N. A Concise Pahlavi dictionary. – L., 1971.

MacKenzie D.N. Some Names from Nisa // *Переднеазиатский сборник*. – М., 1986. – Ч. IV: Древняя и средневековая история и филология стран Переднего и Среднего Востока. – С. 105–115.

Marquart J. *Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Horenač'i* // *AKGWG.*, N.F. – Berlin, 1901. – Bd. III. – N 2.

Mayrhofer M. *Onomastica Persepolitana. Das altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen* / Unter Mitarbeit von J. Harmatta, W. Hinz, R. Schmitt, J. Seifort. – Wien, 1973. – (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Kl. Sitzungsberichte, 286 Bd.); (Veröffentlichungen der iranischen Kommission / Hrsg. von M. Mayrhofer; Bd. I).

Justi F. *Iranischen Namenbuch*. – Marburg, 1895.

Schmitt R. Parthische Sprach- und Namenüberlieferung arsakidischer Zeit // *Das Partherreich und seine Zeugnisse. The Arsacid Empire. Sources and Documentation: Beiträge des Internationalen Colloquium. Entin (27–30 Juni 1996)* / Hrsg. von J. Wieschöfer. – Stuttgart, 1998. – S. 197–205.

Schmitt R. Iranische anthroponyme im dem erhaltenen Resten von Ktesias' Work. – Wien, 2006. – (Iranica Graeca Vestusta; III).

Sims-Williams N. Sogdian // *Compendium Linguarum Iranicarum* / Hrsg. von R. Schmitt. – Wiesbaden, 1989. – S. 173–192.

Sims-Williams N. Sogdian and other Iranian Inscriptions of the Upper Indus. – L., 1989–1992. – Vol. I–II. – (CH. Pt. II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian Periods and of Eastern Iran and Central Asia, Vol. III: Sogdian).

Sims-Williams N. Bactrian Documents from Northern Afghanistan. I: Legal and Economics Documents. – Oxford, 2000. – (Studies in the Khalili Collection; Vol. III. CII. Pt. II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian Period and Central Asia. Vol. III: Bactrian).

Sims-Williams N. Bactrian Documents from Northern Afghanistan. II: Letters and Buddhist Texts. – L., 2007. – (Studies in the Khalili Collection; Vol. III. CII. Pt. II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian Period and Central Asia. Vol. VI: Bactrian).

Textes Sogdiens édites, traduits et commentés par É. Benveniste. – P., 1940. – (Mission Pelliot en Asie Centrale; 3).

Yakut's geographisches Wörterbuch aus der Handschriften zu Berlin, St. Petersburg, Paris, London und Oxford... / Hrsg. von F. Wüstenfeld. – Leipzig, 1866–1873. – Bd. I–VI (aus der Handschriften zu Berlin, St. Petersburg und Paris). – I. 1866; II. 1867; III. 1868; IV. 1873; V. 1873; VI. 1870.

**ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
И ЭТНОГЕНЕЗА**



БРОНЗОВОЕ НАВЕРШЕЕ СЕЙМИНСКОГО ТИПА С КОНЕМ

Мне уже приходилось писать о недавней находке представительной серии предметов сейминско-турбинского облика, попавшей в поле зрения исследователей благодаря, прежде всего, энергии А.В. Нескорова [Молодин, Нескоров, 2010]. Напомню, что коллекция сформировалась в результате целенаправленного действия так называемых черных археологов и осела в частных руках. По данным, собранным А.В. Нескоровым, предметы происходят из окрестностей г. Омска. Анализ материала позволил предполагать, что бронзовые изделия (по крайней мере значительная их часть) могут происходить из могильника типа Ростовка [Матющенко, Синицына, 1988]. По недавно полученным данным от А.А. Адамова, который общался с человеком, якобы принимающим непосредственное участие в поисках и изъятию из земли предметов коллекции, они происходят с самого памятника Ростовка, а именно с тех участков, которые были недокопаны В.И. Матющенко. Насколько справедливо подобное утверждение – сказать сложно. Во всяком случае, в 2007 и 2010 гг. автор данной работы организовал проведение в зонах, примыкающих непосредственно к раскопам В.И. Матющенко на памятнике Росток, стационарных раскопок [Молодин, 2008, 2010], которые хотя и дали некоторый результат, однако ни погребений сейминско-турбинского времени, ни остатков деятельности современных «бугровщиков» обнаружено не было. Конечно, это может объясняться активным антропогенным воздействием на участки, о которых идет речь, тем не менее, если бы часть вещей коллекции происходила из могил (а это должно было быть именно

так), то до нас дошли бы по крайней мере какие-то остатки последних*.

Так или иначе, точное место, откуда происходят предметы коллекции, специалистам пока обнаружить не удалось, однако уже и тот факт, что район находок связан с лесостепными массивами Нижнего Приомья (соответственно – правобережного Прииртышья), делает его (регион) наиболее представительным по находкам сейминско-турбинских изделий по сравнению с расчетами, выполненными Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых в восьмидесятых годах XX в. [Черных, Кузьминых, 1989]. В 2010 г. данная монография переиздана в Китае [Они же, 2010], в нее вошли новые находки сейминско-турбинских предметов – некоторые результаты, полученные уже в текущем веке, поэтому при общей оценке следует обязательно учитывать и эту работу.

Возвращаясь к коллекции, о которой идет речь, опубликованной мною и А.В. Нескоровым в специальной работе [2010], следует еще раз отметить, что некоторые (по крайней мере три) предметы из коллекции – уникальны. К анализу их (как, конечно, и других предметов) специалисты будут обращаться еще не раз, поскольку, по понятным причинам, многие интересные сюжеты в

*Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность за помощь в организации и проведении означенных работ в трудных условиях сибирской осени – Л.С. Кобелевой, А.И. Соловьеву, М.В. Корусенко, И.А. Дуракову, А.И. Глову, сотрудникам Омского филиала ИАЭТ СО РАН, преподавателям и студентам ОмГУ и ОмГПУ – Е.М. Данченко, Ю.В. Герасимову, А.В. Полеводову, М.Ю. Здору.



Рис. 1. Бронзовое навершие жезла в виде головы коня (вид справа).



Рис. 2. Бронзовое навершие жезла в виде головы коня (вид слева).

нашей статье остались, что называется, за кадром. К числу таких предметов, вне всякого сомнения, относится бронзовое навершие жезла в виде головы лошади [Молодин, Нескоров, 2010, с. 68, 69, рис. 18–19]. Более углубленному анализу этого изделия и посвящена настоящая работа.

Думаю, что данная статья будет небезынтересна и юбиляру, поскольку в творчестве Елены Ефимовны Кузьминой мы находим немало фундаментальных исследований, посвященных роли лошади в культурах населения эпохи бронзы и раннего железного века Евразийского субконтинента [Кузьмина, 1971; 1974а, б; 1976; 1977а, б; 1979; 1995; и др.].

Начнем с краткой характеристики жезла (рис. 1, 2, 3; более подробно см. [Молодин, Нескоров, 2010, с. 68, 69]). Изделие выполнено в виде реалистически переданной головы лошади на изогнутой полой втулке, стилизованной под шею животного. На голове и шее помещена также стилизованная грива. Мастерски передана голова животного. Она объемна и реалистична. Мастер талантливо передал пропорции головы лошади,

строго соблюдены местоположения глаз, ноздрей, пасти, нижней челюсти и скулового рельефа. Умело показаны настороженные, развернутые в фас уши. Тщательно проработаны ушные раковины. При этом грива лошади показана стилизованно, в виде массивного сегмента, с двумя цепочками прорезных треугольников вершинами друг к другу. Высота навершия от края втулки до кончика уха составляет 15,75 см. Остальные метрические параметры приведены в вышеуказанной работе [Молодин, Нескоров, 2010, с. 69]. Втулка, которую венчает голова лошади, копирует насад сейминско-турбинского копья, что является веским аргументом в пользу отнесения данного изделия к предметам именно этого круга. Основание втулки украшено тремя рельефными валиками. На втулке, вероятно, было и ушко, в настоящее время утраченное.

Таким образом, перед нами совершенно оригинальный предмет, который, впрочем, несмотря на специфику, является великолепным дополнением серии сейминско-турбинских предметов, прежде всего ножей и кинжалов, украшенных наверши-

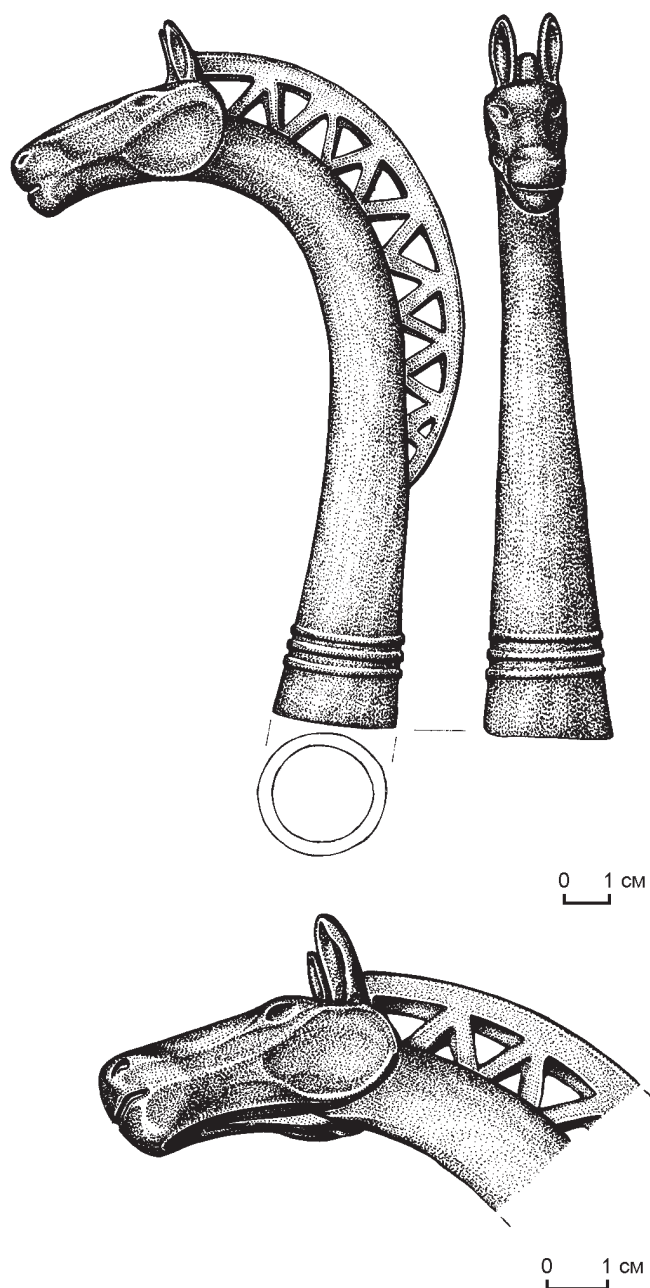


Рис. 3. Прорисовка навершья жезла.

ями в виде скульптур либо голов лошади [Бадер, 1971; Матюшенко, 1970; Кирюшин, 1987; Самашев, Ермолаева, Куш, 2008; Молодин, Нескоров, 2010, с. 65, 66]. Данное обстоятельство, несомненно, свидетельствует о том, что носители культур Евразии, в обиходе которых был металл сейминско-турбинского типа (для Западной Сибири это, прежде всего, такие культуры, как елунинская, кротовская и одиновская), считали лошадь животным сакральным. Данное обстоятельство

позволило Ю.Ф. Кирюшину ставить вопрос о формировании культа коня в эпоху развитой бронзы в лесостепном Обь-Иртышье [Кирюшин, 1987; Кирюшин, Грушин, 2009]. Истоки сложения этого культа, думается, следует относить к еще более раннему времени, вероятно, к рубежу IV–III тысячелетий до н.э., а местом формирования считать степи современного Северного Казахстана, где формируется мощная коневодческая культура, именуемая ботайской. По мнению ее первооткрывателя и исследователя В.Ф. Зайберта, именно «с ботайского времени большое место в обрядности занимает культ коня, производителя» [2009]. Еще к более раннему времени относится возникновение данного феномена в скотоводческих культурах Восточной Европы, что прекрасно продемонстрировал в своей фундаментальной монографии В.А. Дергачев [2007]*. Именно с возникновением культа этого животного и его дальнейшего развития в скотоводческих культурах следует связывать и появление зооморфных скипетров с головой коня, что было обусловлено, скорее всего, начальным этапом социальной стратификации в среде скотоводческих сообществ [Дергачев, 2007, с. 69], прекрасно прослеженной для культур Восточной Европы вышеуказанным исследователем [Там же, с. 69–212]. Символ лошади занимал важное место в мифологических системах многих народов Евразии [Иванов, 1980]. По мнению А.В. Головнева, скипетры эпохи бронзы являются свидетельством зарождающейся системы вождества, символом вождя-всадника [Головнев, 2009], нашедшего выражение в каменных навершиях голов этого животного [Богданов, 2000]. У носителей западносибирских культур ранней – развитой бронзы (одиновская, елунинская, кротовская) имели место каменные и костяные жезлы. Все они передают образы лошади, птицы, рептилий, барана [Кирюшин, Грушин, 2009; Молодин, Чемякина, 2010, с. 12]. Их наибольшая концентрация в степных и лесостепных районах Северного Казахстана [Славнин, 1949], Прииртышья [Мошинская, 1952; Молодин, Нескоров, 2010] и Алтая [Кирюшин, Иванов,

*Нельзя исключать, впрочем, что датировка ботайской культуры может быть существенно удревлена, в таком случае появление данного феномена может быть вообще оценено как событие эпохальное.

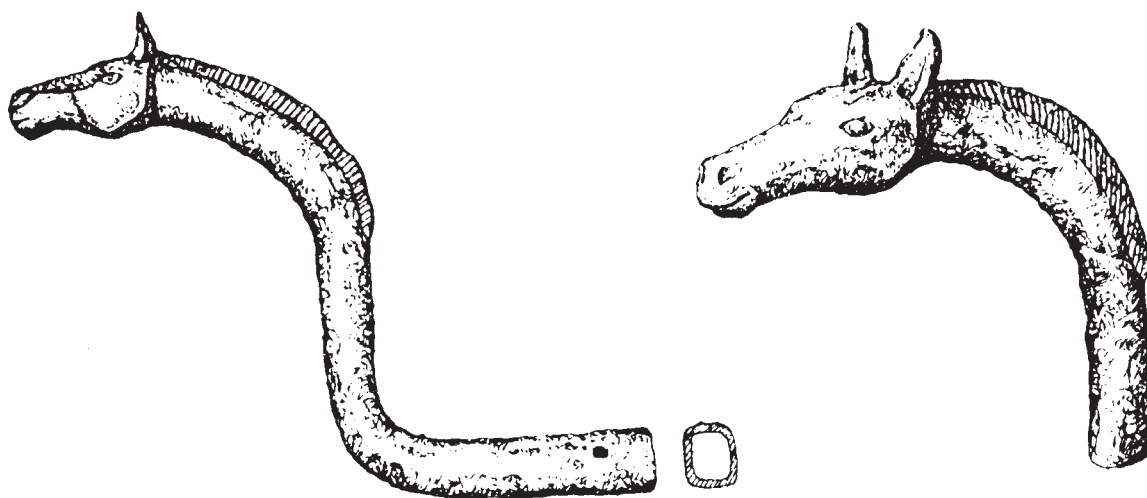


Рис. 4. Бронзовые концевые украшения для арки перекладки колесницы. Могильник государства Янь Люлихэ, пригородный район Фаншань, г. Пекин, XI–X вв. до н.э. (по: [Лю Юнхуа, 2002, рис. 14, 1, 2]).

2001], вероятно, свидетельствует как об исконной территории формирования данной символики, так и о существовании здесь данных атрибутов (причем уже законченных форм!) еще в доандровское время. Об этом особенно ярко свидетельствует рассматриваемое в статье изделие, иконографический контекст которого читается совершенно определенно. Наличие в вышеобозначенных культурах скипетров с иной (нежели лошадь) символикой свидетельствует, на мой взгляд, о богатом мифологическом фоне, корнями уходящем в предшествующий автохтонный пласт культур конца неолита – начала бронзы, в которых роль лошади если и была оценена (как в ботайской культуре), то еще не в таких формах и выражениях, как это было у охотников и самых ранних скотоводов эпохи неолита и ранней бронзы.

Как бы то ни было, но рассматриваемый предмет, несомненно являющийся шедевром декоративно-прикладного искусства, существенно обогащает наши представления как о самих сейминско-турбинских бронзах, так и о духовном мире человека – носителя данной культуры.

В заключение небезынтересно отметить, что наиболее близкие аналогии анализируемому навершию мы находим в материалах периода поздней бронзы Китая (XI–X вв. до н.э.). Бронзовые навершия, увенчанные головами коней, использовались в качестве украшений, например, для арки колесницы (рис. 4) [Лю Юнхуа, 2002, рис. 14]. В этой связи будет уместно напомнить

имеющую место традицию зооморфных наверший в бронзовых предметах карасукской эпохи, корни которой, вероятно, следует искать в сейминско-турбинских бронзах. По-видимому, семантически сходные аналоги, принадлежащие удельному княжеству Янь [Люлихэ..., 1995, с. 219, рис. 1, 2], и обнаружены на памятнике Люлихэ, близ Пекина [Комиссаров, 2011]. Их исключительное место в богатейшем бронзами комплексе может свидетельствовать о возможном векторе связи с северными соседями (протокарасукским миром, корни пластического искусства которого уходят в сейминско-турбинскую эпоху).

Список литературы

- Бадер О.Н.** Бронзовый нож из Сеймы с лошадыми на навершии // КСИА. – М., 1971. – Вып. 127. – С. 98–103.
- Богданов С.В.** Материалы типа Касимча-Суворово из окрестностей Новоорска в системе энеолитических древностей Восточной Европы // Культурное наследие степей Северной Евразии. – Оренбург, 2000. – Вып. 1. – С. 8–28.
- Головнев А.В.** Антропология движения: (древности Северной Евразии). – Екатеринбург, 2009.
- Дергачев В.А.** О скипетрах, о лошадях, о войне: этюды в защиту миграционной концепции. – М.: СПб., 2007. – 487 с.
- Зайберг В.Ф.** Ботайская культура. – Алматы, 2009.
- Иванов В.В.** Конь // Мифы народов мира. – М., 1980. – Т. 1.
- Киришин Ю.Ф.** Новые могильники ранней бронзы на верхней Оби // Археологические исследования на Алтае. – Барнаул, 1987. – С. 100–125.

Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П. Предметы мобильного искусства раннего и среднего бронзового века лесостепного Обь-Иртышья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 4. – С. 67–75.

Кирюшин Ю.Ф., Иванов И.Г. Новый сейминско-турбинский могильник Шипуново V на Алтае // Историко-культурное наследие Северной Азии. – Барнаул, 2001. – С. 43–52.

Комиссаров С.А. Люлихэ // Большая Российская энциклопедия. – 2011. – Т. 18. – С. 253.

Кузьмина Е.Е. Лошадь в Европе и на Переднем Востоке // V Всесоюз. сессия по Древнему Востоку. – Тбилиси, 1971. – С. 32–34.

Кузьмина Е.Е. Конь в древней истории // Коневодство и конный спорт. – 1974а. – № 2. – С. 20–29.

Кузьмина Е.Е. Конь в изобразительном искусстве // Коневодство и конный спорт. – 1974б. – № 3. – С. 16–18.

Кузьмина Е.Е. О культе коня у народов Сибири и Урала // Проблемы истории Урала. – Уфа, 1976.

Кузьмина Е.Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов // Скифы и сарматы. – Киев, 1977а. – С. 96–119.

Кузьмина Е.Е. Распространение коневодства и культа коня у ирано-язычных племен Средней Азии и других народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). – М., 1977б. – С. 28–52.

Кузьмина Е.Е. Роль коня в культуре индоевропейских народов // III Internat. Archaeozoological Conf. – Szczecin, 1979. – Р. 466–467.

Кузьмина Е.Е. Этапы развития коневодства в степях Евразии // Ранние коневоды степей Евразии. – Петропавловск, 1995. – С. 37–39.

Лю Юнхуа. Чжунго гудай гэюй мацзюй (Древние атрибуты конской упряжи и колесниц Китая). – Шанхай цышу Чубаньшэ, 2002. – 201 с. (на кит. яз.).

Люлихэ. Э Сичжоу Яньго Муди (Кладбище государства Янь эпохи Западное Чжоу в Люлихэ) (1973–1977). – Пекин: Вэньу Чубаньшэ, 1995. – 276 с. (на кит. яз.).

Матющенко В.И. Нож из могильника у деревни Ростовка // КСИА. – М., 1970. – Вып. 123. – С. 103–105.

Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска. – Томск, 1988. – С. 136.

Молодин В.И. Отчет об археологических исследованиях сезона 2007 г. в Венгеровском, Чановском районах Новосибирской обл. и в округе Ростовка г. Омска. Рукопись. Новосибирск, 2008 // Архив ИА РАН.

Молодин В.И. Отчет об археологических раскопках в округе Ростовка г. Омска Омской обл. в 2010 г. Рукопись. Новосибирск, 2010 // Архив ИА РАН.

Молодин В.И., Нескоров А.В. Коллекция сейминско-турбинских бронз из Прииртышья: (трагедия уникального памятника – последствия бугровщичества XXI в.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 3. – С. 58–71.

Молодин В.И., Чемякина М.А. Орнитоморфные навершия овиновской культуры (Западно-Сибирская лесостепь) // Урал. ист. вестн. – 2010. – № 1. – С. 5–14.

Мошинская В.И. О некоторых каменных скульптурах из Прииртышья // КСИИМК. – М., 1952. – Вып. 43. – С. 55–65.

Самашев З.С., Ермолаева А., Куш Г. Древние сокровища Казахстанского Алтая. – Алматы, 2008.

Славнин П.П. Каменный жезл с головой коня // КСИИМК. – М., 1949. – Вып. 25. – С. 125–126.

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). – М., 1989.

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). – Beijing, 2010. (на кит. яз.).

О ДВУХ ПУТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ СЕЙМИНСКОГО ТИПА НА ВОСТОК

Изучение сейминско-турбинской эпохи (культуры, феномена, традиции) включает множество аспектов. Один из них – распространение бронзовых изделий из первоначальной области формирования сейминско-турбинской металлургии на восток, благодаря чему подобные находки встречаются на обширных пространствах Центральной Азии и Сибири, а в Древнем Китае, по мнению большинства исследователей, появляются три важнейших культурных инновации – колесный транспорт, коневодство и металлургия. В отечественной науке эти вопросы впервые были наиболее четко сформулированы и разработаны Е.Е. Кузьминой, как в отдельных статьях и докладах [1973, 1992, 2000], так и в фундаментальных исследованиях [1994, 2008, 2010], представляющих основу современного андроноведения.

В работах Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, с учетом всех имеющихся материалов на уровне конца 80-х гг. XX в., представлена общая концепция развития сейминско-турбинского транскультурного феномена, выделены отдельные группы памятников и соответствующие им очаги бронзолитейного производства [Черных, Кузьминых, 1987, 1989]. При этом следует признать, что количество находок в восточном ареале распространения сейминско-турбинских бронз все же остается ограниченным, несмотря на столь известные и уже ставшие эталонными памятники – могильник Ростовка около г. Омска [Матющенко, Синицына, 1988] и поселение Самусь IV около г. Томска [Косарев, 1981]. Недавние открытия и публикации двух новых замечательных комплексов сейминско-турбинской

металлургии – значительной серии бронзовых изделий (около 130 экз.), найденных на берегу Шайтанского озера около г. Екатеринбурга вместе с керамикой коптяковской культуры [Сериков, Корочкова, Кузьмина, Стефанов, 2008; Корочкова, Стефанов, 2010], и не менее ярких материалов, в том числе великолепных художественных изделий, из разрушенных погребений на Иртыше в окрестностях г. Омска [Молодин, Нескоров, 2010], актуализируют исследования в этом направлении.

Представление о характере распространения сейминско-турбинских бронзовых изделий на восток во многом зависит от того, как определяется начальная область формирования сейминско-турбинского бронзолитейного производства. Согласно исследованиям Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых это «районы Рудного Алтая, бассейна верхнего Иртыша и в меньшей степени Восточного Семиречья» [Черных, Кузьминых, 1989, с. 251]. Таким же образом – «в Восточном Казахстане, на Алтае и в Семиречье» – локализует этот район Е.Е. Кузьмина [1992, с. 44; 1994, с. 257–260]. Еще раньше о восточно-казахстанском или алтайском очаге сейминско-турбинской металлургии писали С.С. Черников [1960, с. 86, 136 и др.] и Б.Г. Тихонов [Гришин, Тихонов, 1960, с. 29, 91 и др.]. В представлениях Ю.Ф. Кирюшина «Алтай понимался вместе с горной и предгорной зонами и прилегающим Рудным Алтаем, входящим ныне в Восточный Казахстан» [Кирюшин, 1992, с. 66]. В дальнейшем именно такое – широкое по фактическому наполнению и подчеркнуто региональное с точки зрения определения места исхода сей-

минско-турбинской традиции – отношение закрепилось в алтайской школе археологии [Алтай..., 2006, 2009]. Независимо от этих комментариев именно данная область (в ее широком значении) признается большинством исследователей как первоначальная зона формирования сейминско-турбинской металлургии, откуда происходило ее дальнейшее распространение.

Сказанное отнюдь не снижает значения Волго-Уральского очага культуриногенеза, в развитии которого, по мнению В.С. Бочкарева, помимо местных традиций особую организующую роль сыграл «фактор сейминско-турбинский», связанный с приходом «из Сибири сильно вооруженных и хорошо организованных групп» [Бочкарев, 1995], предполагаемых носителей распространения соответствующих традиций на запад. Что касается восточного направления, то здесь важное методическое значение имеет определение в монографии Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых двух фаз в развитии сейминско-турбинского феномена – фазы передвижения и фазы стабилизации [Черных, Кузьминых, 1989, с. 271]. Это позволяет предполагать, что между районами стабильного обитания носителей сейминско-турбинской традиции в перспективе могут появиться еще неизвестные находки, и тогда пути их распространения будут обозначены более определенно. Или фаза передвижения носила столь скоротечный характер, что археологически неуловима.

История открытия и интерпретации изделий сейминско-турбинского типа на Алтае хорошо изложена С.П. Грушиным в одном предложении: «Нахождение отдельных предметов, относящихся к сейминско-турбинской традиции; предположение о наличии на Алтае одного из очагов сейминско-турбинского производства; появление сейминско-турбинских вещей в закрытых комплексах; предположение об алтайском происхождении некоторых групп предметов сейминско-турбинской традиции... гипотеза о зарождении на Алтае всего сейминско-турбинского феномена» [Грушин, 2000]. На алтайском материале выделены этапы развития сейминско-турбинской индустрии [Грушин, 2008, рис. 1; Алтай..., 2009, с. 127, табл. I]. На основании радиоуглеродных дат высказано предположение, довольно быстро перешедшее в уверенность, о зарождении самой ранней, досейминской металлургии на Алтае [Кирушин, 1992, с. 68; 2002, с. 75–88; Грушин, 2000; Алтай..., 2009, с. 125–128].

Между тем, следует отметить, что само понятие «Алтай» применительно к местам нахождения сейминско-турбинских бронзовых изделий не столь однозначно. Абсолютное большинство их происходит с территории Западного и Рудного Алтая (или Восточного Казахстана); в северном, степном Алтае, представлявшем, судя по всему, ближайшую периферию первичного очага сейминско-турбинской металлургии, подобные находки встречаются значительно реже. В собственно Горном Алтае их вообще нет. Наконечник копья из с. Союзга (Майминский р-н) найден, по сути дела, еще в северных предгорьях Алтая, а ближайший аналог елунинскому ножу – нож из Усть-Муты – происходит из другой оконечности Горного Алтая (Усть-Коксинский р-н, пограничный с Северо-Западной Монголией). Пока трудно сказать, как он здесь оказался.

Показательно, что после открытия следов бронзолитейного производства на поселении Самусь IV было высказано предположение о существовании среднеобского центра сейминско-турбинской металлургии [Косарев, 1963]; после раскопок могильника Ростовка на Иртыше был поставлен вопрос о выделении среднеиртышского центра производства сейминско-турбинских бронз [Матющенко, 1978]. Очевидно, в этом ряду следует рассматривать и возможность выделения северо-алтайского (или верхнеобского) очага сейминской металлургии, скорее всего, действительно одного из наиболее ранних, во всяком случае, ближайшего к первоначальной области формирования. Дальнейшее ее распространение на восток пока представляется в самых общих чертах. На этом этапе изучения целесообразно разделить существующих дефиниций с сохранением общей стадияльной основы «сейминская»: сейминско-турбинская – для всего восточноевропейского региона (возможно, с учетом находок на Шайтанском озере, в перспективе коптяковско-сейминская – для Приуралья); самусьско-сейминская – для Западной Сибири; пока просто сейминская – для всех более восточных областей.

Характеризуя региональные группы памятников, Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых выделяют «самую восточную и территориально наиболее аморфную» из этих групп, называя ее саяно-алтайской, «представленную небольшими могильниками на Северном Алтае (Елунино, Цыганкова Сопка, Клепиково), а также единичными случай-

ными находками из обширной территории северных предгорий Саяно-Алтайской горной системы, приуроченной к бассейнам по преимуществу верхнего течения рек Иртыш, Обь и Енисей» [Черных, Кузьминых, 1989, с. 31]. «Возможно, — отмечают далее авторы, — можно было бы наметить в согласии с этой близостью к основным рекам три группировки, однако нам показалось более целесообразным рассматривать эту группу в целом» [Там же].

С одной стороны, с этим можно согласиться, с другой — нет. Действительно, памятники и находки сейминского типа на востоке сравнительно немногочисленны и более дисперсны, чем на западе. Однако, как уже говорилось, именно область верховий Иртыша относится к первичной зоне формирования сейминско-турбинской традиции; верховья Оби, скорее всего, представляют ее ближайшую периферию; а на Енисее такие находки вообще исключительная редкость. Вряд ли их следует рассматривать в рамках одной восточной зоны в целом. Если же конкретизировать известные сейчас находки бронзовых изделий сейминского типа или предметов, служивших для их изготовления, в восточном ареале распространения по отдельным областям, руководствуясь при этом теоретическим положением Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых о двух «фазах» развития сейминской индустрии — передвижения и стабилизации, то картина будет приблизительно следующей. При этом мы намеренно не касаемся вопросов хронологии и не акцентируем культурной принадлежности носителей сейминской традиции на восток, как наиболее сложные и до сих пор дискуссионные.

Ближайшая, после Северного Алтая, область стабилизации носителей сейминской традиции в этом направлении — Барабинская лесостепь, где благодаря многолетним исследованиям В.И. Молодина найдены уже довольно многочисленные следы присутствия сейминской металлургии: ножи, орнаментированные кельты, литейные формы для отливки наконечников копий [Молодин, 1985, рис. 28–30]. По своему составу эти находки соответствуют материалам поселения Самусь IV или Ростовки. Обнаружены и такие специфические памятники, как погребения литейщиков с характерным для них инструментарием и инвентарем [Молодин, 1983], свидетельствующие о том, что подобные изделия не только поступали в готовом виде, но и изготавливались на месте. От-

дельную группу предметов образуют бронзовые кинжалы с двухтавровой рукояткой [Молодин, 1993, рис. 1–3, 7], типологически сопоставимые с кинжалами типа Второго Каракольского клада на Тянь-Шане [Винник, Кузьмина, 1981; Молодин, 1993, рис. 8, 8–12] и, вероятно, имевшие с ними один источник происхождения. Все подобные находки в Барабе относятся к кротовской культуре, синхронной окуневской культуре на Енисее или самусьской на юге Западной Сибири, т.е. к доандроновской бронзе.

Отдельные находки бронзовых изделий сейминского типа известны в Кузнецкой котловине: два кельта, один наконечник копья, одна литейная форма для отливки богато орнаментированного кельта с поселения Танай-4 [Бобров, 2000, рис. на с. 77]. В связи с раскопками на поселении Танай-4 В.В. Бобров отметил, что в полученных керамических материалах «среди почти 10 тыс. находок нет ни одного фрагмента андроновской керамики»; при этом приблизительно равным оказывается керамический комплекс самусьской и крохалевской культур [Там же, с. 78]. Говорить о какой-либо стабилизации сейминцев по этим находкам бронзовых изделий трудно; скорее, они соответствуют «фазе передвижения».

Своеобразное положение складывается в соседней Минусинской котловине, благоприятные условия проживания в которой должны были привлекать (и, как показывает археологическая периодизация, привлекали) носителей разных культурных традиций, в том числе и сейминской. Однако изделий сейминского типа здесь известно немного (практически все они собраны в одной таблице, составленной Н.Л. Членовой): один кельт, один наконечник копья, фигурка стоящей лошади на горизонтальной планке (возможно, обломанное навершие), а также два-три предмета, не поддающиеся точному определению [Членова, 1977, рис. 5, 11–16]. Уже позже три совместные находки (две из них весьма характерных форм — орнаментированный треугольниками и цепочкой «свисающих» ромбов кельт и небольшой наконечник копья с вильчатым стержнем) — клад? — были обнаружены в с. Верхняя Мульга (Курагинский р-н Красноярского края) [Леонтьев, 2002]. По условиям нахождения и типологическим особенностям предметов, это наиболее «чистый» и, по-видимому, один из ранних комплексов изделий сейминского типа на Енисее. Судя по всему,

он представляет крайнюю точку распространения, которой достигли носители сейминской традиции на северо-востоке. Далее в этом направлении подобных находок нет. Путь продвижения их сюда точно не определен, но, скорее всего, это был Ачинско-Мариинский коридор, соединяющий Кузнецкую и Минусинскую котловины. Далее распространение уже могло носить локальный характер.

Присутствие носителей сейминской традиции в Минусинской котловине, помимо отдельных находок, подтверждается и некоторыми изобразительными материалами. В свое время Н.Л. Членовой было высказано предположение о том, что «окуневской культуре, родственной по керамике и скульптуре с культурами типа Ростовки и Самусь IV, свойственны бронзы сейминско-турбинского типа, но в силу особенностей погребального обряда их не клали в могилы» [Членова, 1977, с. 106]. В дальнейшем эта точка зрения никак не подтвердилась, но и не была опровергнута. Между тем, уже давно обращает на себя внимание, что на одном из самых известных изображений окуневской культуры на плите из могильника Черновая VIII (т.н. божество с копьями) показаны наконечники копий, по своим очертаниям более всего напоминающие сейминские [Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, табл. LII, 114; рис. на обложке]. В характерной сейминско-турбинской изобразительной традиции выполнена фигурка стоящей лошади на плите с изображением эпохи бронзы, использованной в погребении тесинского этапа могильника Есино III [Савинов, 2000, рис. 1]. Следует отметить, что именно из этих мест (Бейское, Усть-Есь) происходят наиболее характерные из названных выше бронзовых изделий сейминского типа.

Указанные области – Северный Алтай, Барабинская лесостепь, Кузнецкая и Минусинская котловины с прилегающими более северными районами – можно связать под одним общим наименованием *северный путь* распространения изделий сейминского типа, где процессы стабилизации, хотя и не в полной мере, более ощутимы, чем «фаза передвижения». Возможность культурной атрибуции данных находок противоречива. С одной стороны, именно в этом ареале – от Северного Алтая через Барабинскую лесостепь до Ачинска и центральной части Минусинской котловины – повсеместно, практически сплошной полосой, распростра-

нены памятники андроновской (федоровской) культуры, что может быть использовано как основание для соотнесения с ними бронзовых изделий сейминского типа. С другой стороны, по конкретным условиям нахождения в памятниках выделенных предшествующих культур (елунинской, кротовской, самусьской, окуневской) они относятся к одному культурному горизонту «доандроновской бронзы». При этом все исследователи согласны в том, что каждая из этих культур доживает до андроновского времени, что может обеспечить преемственность передачи сейминских традиций.

Другой, южный, путь, наиболее полно исследованный Е.Е. Кузьминой, проходил от Рудного Алтая (Восточного Казахстана) через Семиречье (места нахождения Каракольских кладов) и Северо-Западную Монголию в сторону Восточного Туркестана и западных провинций Китая. Именно с этим путем, в первую очередь, должна быть связана трансляция важнейших культурных достижений эпохи (колесница, коневодство, металлургия бронзы), сыгравших столь значительную роль в древней истории Китая. Характерных бронзовых изделий сейминского типа (наконечников копий, орнаментированных кельтов, ножей и кинжалов с фигуративными навершиями) на южном пути не обнаружено, но на другом конце этой «цепочки», в Китае, в провинции Циньхай и на поселении Шэньна найдены типично сейминские наконечники копий с листовидной формой пера и крюком у основания втулки [Молодин, Комиссаров, 2004, рис. 1, 1, 2]. Сам факт нахождения этих копий весьма знаменателен, так как позволяет предполагать возможность обнаружения подобных предметов как в самом Китае, так и на промежуточных участках южного пути и в дальнейшем. При этом «как своеобразные реминисценции сейминско-турбинской традиции, – отмечают В.И. Молодин и С.А. Комиссаров, – могут восприниматься отдельные наконечники копий иньского времени из Аньяна, хотя они заметно отличаются в деталях оформления» [Там же, с. 51].

Свидетельством продвижения носителей сейминской традиции в этом направлении являются наскальные изображения лошадей, выполненные в характерной сейминско-турбинской традиции – с тяжелой передней частью туловища, постриженной нависающей челкой и длинным, слегка отставленным хвостом. Реже в стилистически

близкой манере изображались быки и верблюды [Пяткин, Миклашевич, 1990, рис. 2]. Наибольшее количество таких изображений представлено в петроглифах Центрального и Восточного Казахстана [Самашев, 1992, рис. 26, 52, 167, 168; Новоженев, 2002, рис. 8; табл. 2, 6, 8; и др.]. Единичные рисунки известны на самой южной оконечности Горного Алтая [Шер, 1980, рис. 53]. Более представительно наличие данного изобразительного пласта в крупных местонахождениях Монгольского Алтая (Бага-Ойгур, Цагаан-Салаа и др.), «открытых» в сторону предполагаемого южного пути [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, № 89, 103, 224, 346 и др.]. Среди хорошо изученных тысячных серий наскальных изображений собственно Горного Алтая, Тувы, а также Минусинской котловины (кроме упомянутого выше рисунка на плите из могильника Есино III) таких рисунков нет. Данное обстоятельство позволяет рассматривать подобные изображения в качестве одного из индикаторов путей распространения носителей сейминской традиции [Савинов, 2007], даже при отсутствии находок соответствующих бронзовых изделий.

Не меньший интерес вызывают некоторые антропоморфные изображения, представляющие стоящие мужские фигуры, иногда парные, вооруженные длинными копьями с наконечниками копий типа сейминских [Кляшторный, Савинов, 2004, рис. 9]. В одном случае (Цаган-Гол) ниже на той же плоскости показаны фигурки лошадей, выполненные в характерном сейминско-турбинском стиле [Новгородова, 1984, рис. 50]. В отличие от большинства других антропоморфных фигур в петроглифах Монгольского и Русского Алтая [Кубарев, 2003, табл. I–IV], цаган-гольские воины изображены с детально проработанными особенностями костюма и экипировки. Показаны туго подпоясанные длинные (до колен) кафтаны, высокие мягкие (кожаные?) сапоги, к поясу сзади подвешен плавно очерченный «хвост», головные уборы – шляпы с округлым верхом, украшенные перьями. Приталенная плотно прилегающая одежда на этих воинах напоминает одеяние известного «конного лыжника» из Ростовки [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 66, 2; Ковтун, 2008, цв. вклейка]. По-видимому, таким же образом были одеты и другие персонажи из этой серии [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, № 126, 185, 840, 880 и др.].

Все подобные изображения явно одновременны и показаны достаточно реалистично: или стоящими «подбоченясь» с длинным копьём в левой руке (см. *рисунок, 1–3*), или идущими с какой-то «палкой» с подвешенным к ней круглым предметом (типа «кистень» на длинном ремне?) (см. *рисунок, 7–9*). Одна такая фигура известна и в петроглифах Южной Тувы – Кызыл-Мажалык [Дэвлет, 1992, рис. 3]. Некоторые персонажи изображены в позе «победителя» – одна рука опущена вниз, другая поднята вверх (см. *рисунок, 4–6*), – скорее всего, отражающей определенную мифологему (или эпический образ). Контурные приемы нанесения большинства подобных рисунков, передача вполне узнаваемого вида одежды, типов оружия и поз придают этим изображениям наибольшую историческую достоверность. К ним могут быть «привязаны» и некоторые другие антропоморфные фигуры и сюжетные композиции этого изобразительного пласта. Чисто гипотетически хотелось бы предположить, что это и есть изображения тех носителей сейминских традиций, которые продвигались на восток, по южному пути, вдоль юго-западных и южных склонов Монгольского Алтая.

Рассмотренные материалы, а количество их, наверное, можно было бы увеличить, показывают, что существовало два пути продвижения носителей сейминской традиции в восточной части Евразийских степей, условно обозначенных как северный и южный. Тот и другой начинались из первичной области формирования сейминско-турбинской металлургии (верхнее Прииртышье, Западный Алтай и Восточный Казахстан), где имелись наиболее крупные рудные месторождения, но в дальнейшем они протекали по-разному. Северный путь – это лесостепной коридор, на протяжении которого складывается ряд зон относительной стабильности: Северный Алтай – Бараба – Кузнецкая (?) и Минусинская котловины. Продвижение и стабилизация по этой «полосе», вероятно, не было случайным, так как давало возможность носителям сейминской металлургии (а это могли быть и отдельные подвижные отряды специалистов-ремесленников) вступать в тесные контакты с населением как более южных (степных), так и более северных (лесных) территорий. Культурная принадлежность найденных здесь изделий сейминского типа, начиная от самусьской культуры на юге Западной Сибири до окуневской



Изображения предполагаемых носителей сейминской традиции в петроглифах Монголии (1, 3–8), южных районов Горного Алтая (2) и Тувы (9).

1 – Цагаан Гол; 2 – р. Чуя (по: [Черемисин, 1990]); 3, 4 – Цагаан Гол (по: [Jacobson-Terfer, Kubarev, Tseveendorj, 2006]); 5, 6, 8 – Цагаан-Салаа; 7 – Бага-Ойгур (по: [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005]); 9 – Бижигтиг-Хая (по: [Дэвлет, 1992]).

культуры Минусинской котловины, могла быть различной.

Южный путь – это предгорные области северо-запада Центральной Азии и восточные отроги Тянь-Шаня, где выделяются два основных очага стабилизации – внутренние районы Тянь-Шаня (Семиречье) и Восточный Туркестан (Синьцзян). Последняя область, как и Минусинская котловина на северном пути, вообще служила центром притяжения носителей различных культурных традиций – афанасьевской, андроновской, бегазы-дан-

преимущественно горных областях, которые по каким-то причинам обходили как сейминские металлурги, так и носители андроновской культуры, в это время складывается особый, «третий», мир культур эпохи бронзы [Савинов, 1993]. Возможно, уже тогда или в недалеком будущем здесь образуется т.н. культура херексуров и оленных камней, создатели которой пользовались уже не сейминскими, а карасукскими бронзами.

Отдельные случаи нахождения андроновской керамики в Восточном Туркестане [Молодин,

дыбаевской, карасукской [Заднепровский, 1993; Молодин, Алкин, 1997; Варенов, 1998]. Пространство между ними и далее, где пока нет подобных находок, более соответствует «фазе передвижения». Не исключено, что процессу стабилизации в этих местах препятствовали племена выделяемой А.А. Ковалевым чемурчекской культуры [Ковалев, 2007]. Существование различных традиций эпохи бронзы в Хангае и Северо-Западной Монголии демонстрируют каменные изваяния: стилистически очень цельные и в то же время весьма специфические – чемурчекские [Там же, рис. 4–9] и антропоморфные стелы из святилища из Нарийн Хурумта, сопоставленные нами с изображениями мелкой пластики из Прииртышья [Кляшторный, Савинов, 2004, рис. 4–7].

Между этими двумя «путями» – северным и южным – не было и вряд ли вообще были возможны какие-либо ощутимые связи. Здесь, в горно-степных массивах севера Центральной Азии, до сих пор неизвестны изделия сейминского типа, нет здесь и памятников андроновской культуры. Их нет, как уже говорилось, в Горном Алтае, нет в Туве, Северной Монголии и Забайкалье. В этих обширных,

Комиссаров, 2004, рис. 2], по своему происхождению явно не связанной с андроновской культурой Сибири, а также бронзовых изделий андроновского типа [Хаврин, 1992; Бехтер, Хаврин, 2002, рис. 1; Кузьмина, 1994, рис. 54; 2010, рис. 48, 49, 52; и др.] дают возможность предполагать присутствие здесь андроновцев, среди которых могли быть и носители сейминской традиции. Находки практически одинаковых золотых височных колец андроновского типа с фигурками лошадей, выполненных в сейминском стиле, – одна из погребения со стелой в с. Чесноково, Западный Алтай; другая в андроновском могильнике Мыншункур, Семиречье, то есть на трассе предполагаемого южного пути [Ковтун, 2005, рис. IV, 8, 9; Кузьмина, 2010, рис. 18, 11, 13], – наиболее убедительное доказательство этого предположения. Однако с каким этапом развития андроновской культуры (или культурной общности) связаны эти находки – сказать трудно.

Говоря о возможной культурной атрибуции изделий сейминского типа на позднем этапе их развития в Западной Сибири, уместно привести мнение О.Н. Корочковой, высказанное в связи с замечательными находками на берегу Шайтанского озера близ г. Екатеринбурга: «Функционирование данного памятника было связано с культовой практикой населения коптяковской культуры (вторая половина II тыс. до н.э.) горно-лесного Зауралья, в том числе металлургов и кузнецов, наследовавших традиции сейминско-турбинской металлообработки, с одной стороны, и воспринявших многие достижения мастеров петровско-алакульского очага – с другой» [Корочкова, Стефанов, 2010, с. 129]. То же самое можно сказать о многих т. н. «андроноидных» культурах, с представителями которых столкнулись носители сейминско-турбинских традиций на этапе формирования этих культур.

Дальнейшая судьба сейминских бронзовых изделий в более восточных областях сложилась по-разному. На севере Центральной Азии они полностью вытесняются карасукскими бронзами, очевидно, не имеющими с сейминскими ничего общего [Парцингер, 2000, с. 74]. На Северном Алтае в это время продолжают существовать несколько видоизмененные в пропорциях типично сейминские наконечники копий и дротиков [Савинов, 1975, рис. 2, 5, 6, 15]. По периодизации сейминско-турбинских древностей Алтая, они относятся к этапу поздней бронзы, или даже пере-

ходного времени [Алтай... 2009, с. 96–97, рис. 10, 2, 3; 11, 5, 6]. В Китае подобной формы наконечники копий с длинной втулкой и уменьшенным оперением доживают до эпохи Западное Чжоу [Комиссаров, 1988, рис. 51–53]. В Юго-Западной Туве, в относительно изолированном до сих пор Монгун-Тайгинском р-не, найден уникальный бронзовый кинжал раннескифского времени с перекрестием-«усиками» (типа аржанских) и с навершием в виде идущих друг за другом животных, как на классическом навершии ножа из Сейминского могильника [Чугунов, 1997, рис. 1]. Также до сакского времени, через периоды, соответствующие андроновской и карасукской культурам, сохраняются основные стилистические особенности наскальных изображений сейминско-турбинской изобразительной традиции [Савинов, 2007, рис. 1–3]. Какие скрытые процессы культурогенеза стоят за этими совпадениями – можно только догадываться.

Список литературы

- Алтай** в системе металлургических провинций бронзового века. – Барнаул, 2006.
- Алтай** в системе металлургических провинций энеолита и бронзового века / С.П. Грушин, Л.В. Папин, О.А. Позднякова, Е.А. Тюрина, А.С. Федорук, С.В. Хаврин. – Барнаул, 2009.
- Бехтер А.Б., Хаврин С.В.** Степные бронзы из провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного р-на и проблемы восточной линии синхронизации // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. – Улан-Удэ; Чита, 2002.
- Бобров В.В.** Бронзовые изделия самусько-сейминской эпохи из Кузнецкой котловины // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 1.
- Бочкарев В.С.** Карпато-Дунайский и Волго-Уральский очаги культурогенеза эпохи бронзы // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита – бронзы Средней и Восточной Европы. – М.; СПб., 1995.
- Варенов А.В.** Южносибирские культуры эпохи ранней и поздней бронзы в Восточном Туркестане // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. археологии и этнографии. – 1998. – № 3.
- Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.Б., Максименков Г.А.** Памятники окуневской культуры. – Л., 1980.
- Винник Д.Ф., Кузьмина Е.Е.** Второй Каракольский клад Киргизии // Краткие сообщения Института археологии. – М., 1981. – Вып. 168.
- Гришин Ю.С., Тихонов Б.Г.** Очерки по истории производства в Приуралье и Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа // МИА. – М., 1960. – № 90.
- Грушин С.П.** Проблема изучения сейминско-турбинского феномена на Алтае // Пятые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск, 2000. – С. 38.

Грушин С.П. Бронзовый век Алтая: генезис сейминско-турбинского комплекса // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. – М., 2008. – Т. 1.

Дэвлет М.А. Древнейшие антропоморфные изображения Южной Сибири и Центральной Азии // Наскальные рисунки Евразии. – Новосибирск, 1992.

Заднепровский Ю.А. Культурные связи населения эпох бронзы и раннего железа Южной Сибири и Синьцзяна // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. – СПб., 1993. – Ч. 2: Археология и изучение культурных процессов и явлений.

Киришин Ю.Ф. О феномене сейминско-турбинских бронз и времени формирования культуры ранней бронзы в Западной Сибири // Северная Евразия от древности до средневековья: к 90-летию со дня рождения М.П. Грязнова. – СПб., 1992.

Киришин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. – Барнаул, 2002.

Киришин Ю.Ф., Шульга П.И., Грушин С.П. Случайные находки бронзовых предметов в северо-западных предгорьях Алтая // Алтай в системе металлургических провинций бронзового века. – Барнаул, 2006.

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Святилище Нарийн Хурумта: древние европеоиды в центре Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 3.

Ковалев А.А. Чемурчекский культурный феномен (статья 1999 г.) // А.В.: сб. науч. тр. в честь 60-летия А.В. Виноградова. – СПб., 2007.

Ковтун И.В. Скульптурная группа из Ростовки // Археология Южной Сибири: сб. науч. тр. к 60-летию со дня рождения В.В. Боброва. – Кемерово, 2005.

Ковтун И.В. Древнейшие скульптурные изображения лошадиных «причесок» в Северной и Центральной Азии // Тропой тысячелетий: сб. науч. тр., посвящ. юбилею М.А. Дэвлет. – Кемерово, 2008.

Комиссаров С.А. Комплекс вооружения Древнего Китая, эпоха поздней бронзы. – Новосибирск, 1988.

Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Культурный памятник на Шайтанском озере под Екатеринбургом (по материалам раскопок 2008 г.) // РА. – 2010. – № 4.

Косарев М.Ф. Среднеобский центр турбино-сейминской металлургии // СА. – 1963. – № 4.

Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М., 1981. – С. 86–111.

Кубарев В.Л. Военные сюжеты и культ оружия в петроглифах Алтая // Древности Алтая. – 2003. – № 11.

Кубарев В.Л., Цвэндорж Л., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бога-Ойгура (Монгольский Алтай). – Новосибирск, 2005.

Кузьмина Е.Е. Об аньянской линии синхронизации сибирских бронз // Из истории Сибири. – Томск, 1973. – Вып. 7.

Кузьмина Е.Е. Три направления культурных связей андроновских племен и хронология андроновской культурной общности // Северная Евразия от древности до средневековья: к 90-летию со дня рождения М.П. Грязнова. – СПб., 1992.

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? – М., 1994.

Кузьмина Е.Е. Металлические изделия как источник изучения культурных связей Семиречья, Южной Сибири

и Синьцзяна в эпоху бронзы // Исторический ежегодник. – Омск, 2000. – Спец. вып. – С. 113–119.

Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культуры. – Актобе, 2008.

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М., 2009.

Кузьмина Е.Е. Предыстория Великого шелкового пути. Диалог культур Европа – Азия. – М., 2010.

Леонтьев С.Н. К вопросу о сейминско-турбинской традиции на Среднем Енисее // Степи Евразии в древности и средневековье: к 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. – СПб., 2002. – Кн. 1.

Матющенко В.И. Среднеиртышский центр производства сейминско-турбинских бронз // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск, 1978.

Матющенко В.И., Силицына Г.В. Могильник у деревни Ростовка близ Омска. – Томск, 1988.

Молодин В.И. Погребение литейщика из могильника Сопка-2 // Древние горняки и металлурги Сибири. – Барнаул, 1983.

Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск, 1985.

Молодин В.И. Новый вид бронзовых кинжалов в погребениях кротовской культуры // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1993.

Молодин В.И., Алкин С.В. Могильник Гумугоу (Синьцзян) в контексте афанасьевской проблемы // Гуманитарные исследования: итоги последних лет. – Новосибирск, 1997.

Молодин В.И., Комиссаров С.А. Памятники бронзового века Северо-Западного Китая (в контексте внешних контактов) // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. – Улан-Удэ, 2004.

Молодин В.И., Нескоров А.В. Коллекция сейминско-турбинских бронз из Прииртышья (трагедия уникального памятника – последствия бугровщичества XXI в.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 3.

Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. – М., 1984.

Новоженков В.А. Петроглифы Сары-Арки. – Алматы, 2002.

Парцингер Г. Сейминско-турбинский феномен и формирование сибирского звериного стиля // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 1.

Пяткин Б.Н., Миклашевич Е.А. Сейминско-турбинская изобразительная традиция: пластика и петроглифы // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. – М., 1990.

Савинов Д.Г. Осинкинский могильник эпохи бронзы на северном Алтае // Первобытная археология Сибири. – Л., 1975.

Савинов Д.Г. О «третьем мире» культур эпохи бронзы (Центральная Азия) // Культурногенетические процессы в Западной Сибири. – Томск, 1993.

Савинов Д.Г. Антропоморфная фигура на каменной плите из могильника Есино III // Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура: к 60-летию со дня рождения М.Л. Подольского. – СПб., 2000.

Савинов Д.Г. Сейминская изобразительная традиция в петроглифах Южной Сибири и Казахстана // Проблемы

археологии: Урал и Западная Сибирь: к 70-летию со дня рождения Т.М. Потемкиной. – Курган, 2007.

Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. – Алма-Ата, 1992.

Сериков Ю.Б., Корочкова О.Н., Кузьмина С.В., Стефанов В.И. Бронзовый век Урала: новые перспективы // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. – М., 2008. – Т. 1.

Хаврин С.В. Памятники андроновской культуры на территории Северного Китая // Северная Евразия от древности до средневековья: к 90-летию со дня рождения М.П. Грязнова. – СПб., 1992.

Черемисин Д.В. Петроглифы устья р. Чуи (Горный Алтай) // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. – М., 1990.

Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы // МИА. – М., 1960. – № 88.

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Памятники сейминско-турбинского типа в Евразии // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М., 1987. – (Археология СССР).

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). – М., 1989.

Членова Н.Л. Есть ли сходство между окуневской и карасукской культурами? // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. – М., 1977.

Чугунов К.В. Находка кинжала раннескифской эпохи из Юго-Западной Тувы // Новые исследования археологов России и СНГ. – СПб., 1997.

Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М., 1980.

Jacobson-Tepfer E., Kubarev V., Tseveendorj D. Mongolie du Nord-Ouest Haut Tsagaan-Gol // Répertoire des pétroglyphes d'Asie Centrale. – P., 2006. – Т. 5, fasc. 7.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ КАРАВАННОЙ ТОРГОВЛИ (Западная Сибирь и Центральная Азия)

Характер обмена и торговли в древних обществах неоднократно становился предметом особого рассмотрения и дискуссий [Массон, 1973; Распопова, Шарафутдинова, 1974], но при этом наибольший интерес до сих пор вызывала история Великого шелкового пути, его основных маршрутов, ответвлений, узловых центров, ассортимента товаров, его влияние на народы сопредельных территорий.

В отличие от большинства работ, посвященных эллинистическому и римскому времени, когда данный мир – системный феномен достиг апогея своего развития, Е.Е. Кузьмина в своей новой книге поставила вопрос о предыстории этого грандиозного и устойчивого взаимодействия народов Европы, Центральной Азии и Китая в эпоху бронзы [2010б]. Отдавая дань уважения этому выдающемуся исследователю древних культур евразийских степей и пионеру в постановке целого ряда проблем, в подкрепление развиваемых ею идей, остановимся на одном аспекте затронутой проблематики – начале, основных этапах и характере торговли населения Сибири и Центральной Азии древности.

Обращаясь к истории вопроса, отметим, что уровень его изученности невысок. Первые работы XVIII – середины XIX в., в которых делались попытки представить функционирование древних торговых путей рассматриваемого региона в древности, базировались лишь на обсуждении весьма скудных и легендарных Геродотовых данных о торговом пути скифов, без привлечения реальных археологических доказательств, поэтому, несмотря на многие выдающиеся имена и нарисованные широкие панорамы, оставим этот период в предыстории вопроса. Как и омские археологи А.В. Жук, В.И. Матющенко, Л.В. Татаурова,

С.Ф. Татауров, И.В. Толпеко [Очерки..., 1995, с. 35], мы считаем, что первым научным обобщением этой темы следует признать работу В.В. Радлова, который опирался на изучение рудников, плавилен, спектральные анализы бронз (в то время!), анализ находок из сборов с больших территорий. Он предполагал высокое развитие добычи, производства и вывоза меди, бронзы, серебра и золота на Алтае в эпоху бронзы в целях торговли с сопредельными территориями Сибири и Китая [1895, с. 159–162]. В.В. Радлов считал, что в дальнейшем роль местного производства стала падать и с развитием воинственной кочевой культуры Сибири захлестнул поток южного импорта из стран оседлых цивилизаций [Там же, с. 198, 202–203].

Затем на длительный срок археологи начали заниматься разработкой источниковой базы для локальных периодизаций и историко-культурных построений, сосредоточившись на совершенствовании чисто археологических методов. Сквозные темы развития тех или иных регионов в системе мировых связей вновь возникли почти через столетие. На новом уровне обобщения археологических фактов и технологических анализов древнего металла было обосновано развитие и взаимодействие ряда горно-металлургических областей и очагов Урала, Казахстана и Южной Сибири в Евразийской металлургической провинции [Черных, 1970, с. 113–120].

Исследователи, интерпретируя появление сейминско-турбинских бронз в широком ареале, полагают, что в середине II тысячелетия до н.э. возник «Нефритовый путь», соединявший Саяно-Алтайское нагорье с Прибайкалем, Китаем на востоке и Прииртышьем, Волго-Камьем, Причерноморьем

на западе [Кызласов, 1992, с. 11–12; Круглов, 1999, с. 125]. Н.Л. Членова уделила внимание в сущности этому же пути, называя его «иртышским», полагая, что он действовал в эпоху поздней бронзы, а именно, в срубно-андроновское и алексеевско-карасукское время, в широтном направлении [Членова, 1983]. Однако термин «нефритовый путь» изначально возник в приложении к трассе торговли из Восточного Туркестана в Северный Китай [Лубо-Лесниченко, 1994, с. 211, 213], поэтому название следовало бы дать другое.

Благодаря исследованиям Е.Н. Черных, С.В. Кузьминых [1989], а также С.П. Грушина, Д.В. Папина, О.А. Поздняковой, Е.А. Тюриной, А.С. Федорука и С.В. Хаврина [Алтай..., 2009, с. 128] показана колоссальная роль алтайского очага металлургии в развитии производства и распространение ремесленников и их массовой продукции с востока на запад начиная со второй четверти II тысячелетия до н.э. В настоящее время замечательные, глубоко проработанные доказательства активной торговли металлом и изделиями на пространстве западносибирско-казахстанского региона приведены С.В. Кузьминых [2009] и И.А. Дураковым [2009] по материалам городища Чича-1 в Барабе. Исследования В.С. Удодова на поселениях Бурла-3 и Кайгородка-3 в степной Кулунде принесли дополнительные веские аргументы связей населения со Средней Азией: найдена гончарная керамика типа Намазга-6, подставки в виде конусов [1988, с. 109]. На поселениях Бурла-3 и Новоильинка выявлена примесь бегазы-дандыбаевского материала из Центрального Казахстана, там же в составе костных остатков обнаружили кости верблюда [Там же, с. 108, 110].

Анализируя транспортные возможности бронзового века, Е.Е. Кузьмина [1986] и П.М. Кожин [1987] показали широкое использование воловьих упряжек, вьючных верблюдов и волов на рубеже III и II тысячелетий до н.э. Причем П.М. Кожин писал, что главным достижением бронзового века явилось формирование дорожной сети и опыт использования ее для перевозок сырья и металлических изделий на всем пространстве Евразии [1990, с. 26]. Установлено, что меридианальные связи также зародились в эпоху бронзы. Например, Ю.А. Заднепровский, И.В. Богданова-Березовская (по: [Распопова, Шарафутдинова, 1974, с. 309], позднее Н.А. Аванесова [1991, с. 82] показали широкое распространение андроновского, срубного металла и изделий последующих культур поздней бронзы в Средней Азии.

Применительно к эпохе бронзы вопрос организации торговли в степи и лесостепи даже еще не ставился, исследователи предпочитают говорить об обменных операциях. Хотя имеются находки пастовых бус в синташтинско-петровских и алакульских памятниках [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, рис. 153, 159; Матвеев, 1998, с. 255–256], которые, конечно же, являлись импортом. Интригуют находки лазурита в Синташте [Кузьмина, 2010б, с. 69], лазуритовых бус в Ростовке [Очерки..., 1995, с. 77]. Известно алакульское погребение металлурга в Илецкой защите, слитки в виде лепешек из Оренбургского музея [Распопова, Шарафутдинова, 1974, с. 308]. Широко известно распространение прикарпатского металла на восток и запад Европы на сотни километров, кавказского вплоть до Приуралья. Бусы стеклянные и фаянсовые, как нам кажется, являлись сопутствующим товаром в торговле металлом на далекие расстояния. Есть находки таких бус в среднеднепровской культуре, памятниках марьяновского типа вместе с абашевским металлом и субмикенской фибулой [Археология УССР, 1985, с. 368, 402], амфор из Прикубанья, пастовых и фаянсовых бородавчатых, двухрожковых, четырехрожковых, цилиндрических бус в позднекатакомбных памятниках [Там же, с. 411]. Сопутствующим металлу товаром уже в бронзовом веке являлся шелк, находки кусочков ткани, в которую были обернуты готовые изделия, или ее отпечатки, известны для целого ряда памятников периодов Инь-Чжоу, а также на Сапаллитепе в Южном Узбекистане в погребениях середины II тысячелетия до н.э. [Лубо-Лесниченко, 1994, с. 212, 216].

Показательны клады-сокровища позднего бронзового века, маркирующие передвижение мастеров по проторенным путям от рудников к мастерским и к потребителям, в которых содержались десятки и тысячи предметов (Брагинские, Аргаусские находки, Зыковский клад). Красноречивы факты обнаружения костей верблюдов в слоях петровского периода обитания на Южном Урале, например, Аландское [Гайдученко, Зданович, Малютина, 2010, с. 110], в алакульско-федоровских отложениях на Сухрино-3, на поселении Дружный, на известном Алексеевском поселении, на Красногорском городище бархатовской культуры на Исети, датированном IX–VIII вв. до н.э.* Еще одно доказательство представляет находка скульптурного

*Определения П.А. Косинцева.

изображения головы верблюда из Омской области, которую по стилистическим особенностям В.И. Мошинская отнесла к сейминско-турбинскому времени [1976, с. 73, рис. 12]. Как совершенно справедливо заключили А.В. Жук и его коллеги, фигурка свидетельствует о появлении караванов на Иртыше [Очерки..., 1995, с. 78]. Автор в данной работе не ставит задачу создать полный каталог предметов импорта и определить центры их производства, но такая работа представляется совершенно необходимой.

Именно вышеперечисленные свидетельства подкрепляют вывод Е.Е. Кузьминой о начале обмена товарами на рубеже III–II тыс. до н.э. [2010а, с. 72–73] в связи с разведением верблюдов и распространением повозок, а также об активизации торговли металлом и продвижении на дальние расстояния отдельных групп ремесленников в XIII–IX вв. до н.э. в связи с освоением лошади под верх [Там же, с. 104].

Этнографическая литература показывает существование в первобытности разных форм обмена, для эпохи бронзы, кажется, уже неприменимы аналогии бесконтактного и многоступенчатого обмена, а вот «торговые экспедиции» и побратимство посредников могли иметь место. О торговле как высшей форме обмена для бронзового века говорить трудно, поскольку мы достоверно не знаем эквивалентов обмена и первых форм денег, предполагая, что это были слитки, копья, топоры и наконечники стрел [Граков, 1968]. Однако даже в обществах государственного уровня, не говоря уже о позднепервобытных, может существовать безденежная форма – бартерной торговли. А ремесленное производство – товарное производство металла и существование «бродячих» торговцев-ремесленников – уже в литературе доказаны. К примеру, натуральная торговля была внутри Скифии, у скифов с соседями, а у греков со скифами – денежная [Гаврилюк, 2005, с. 124].

Уже подсчитано, что в эпоху бронзы в Казахстане и на Алтае были выработаны миллионы тонн руд [История Казахстана..., 1996, с. 107], и, наверное, масштабы трансконтинентальной торговли были сопоставимы с масштабами торговли по Лазуритовому пути или операциями финикийцев. Конечно, главным товаром бронзового века были металлы и изделия из них, недавно из святылища Шайтанское озеро-2 в Зауралье получено еще одно доказательство производства бронзовых изделий десятками и сотнями единиц, а также при-

тока легирующих компонентов из петровско-алакульских горнорудных центров [Серигов, Корочкова, Кузьминых, Стефанов, 2009, с. 69–70, 73]. Однако не стоит недооценивать роли скота, который могли в больших количествах обменивать на меха, моржовый клык и т.п. продукты лесной зоны. Часть торгового ассортимента южных партнеров могли составлять полудрагоценные камни, бусы, войлоки, шерстяные ткани, лекарственные растения. Имеется ряд аргументов в пользу того, что производство войлоков было начато в эпоху бронзы в среднеазиатском регионе, а уже в начале раннего железного века их клали в могилы кочевников [Полосьмак, 2001, с. 205], то есть традиция пользования ими была давней. То же может относиться к семенам кориандра, неоднократно найденным в мешочках с погребенными в пазырыкских курганах [Там же, с. 261].

Поскольку в III–II тысячелетиях до н.э. в странах Передней и Средней Азии уже сложились торговые пути, торговые и ремесленные кварталы и даже торговые города, в зону их интересов попадали северные территории. По данным Б.Б. Пиотровского, например, на Кавказ и в Причерноморье из хеттских городов, городов Сирии направлялись караваны к скотоводческим племенам, за труд погонщиков проводников, за постой, за вьючных волов, ослов, фураж, сбрую, сборы на рынках платили оловом [Распопова, Шарафутдинова, 1974, с. 307]. Те же отношения с северными соседями стоит предполагать у страны Маргуш и других городских и храмовых центров Средней Азии.

Конечно, еще предстоит выяснять различные аспекты организации торговли в бронзовом веке, однако, как нам кажется, нельзя недооценивать ее.

Значительно чаще интересующий нас вопрос затрагивался в работах, посвященных раннему железному веку. Имеются интересные работы 20–40-х годов, содержащие интерпретации случайных находок явно импортных для Сибири вещей, написанные К.В. Тревер [1940], С.В. Киселевым [1947], а также исключительно полезная по категориям рассматриваемого инвентаря, хотя и происходящего из Приуралья, статья А.В. Шмидта [1926]. Импортные вещи и аргументацию для определения их происхождения публиковали М.Ф. Косарев [1974], В.А. Могильников [1969], В.Н. Чернецов [1957] в контексте изучения этнокультурных связей древнего населения.

Анализируя аналогии предметам импорта в культурах раннего железного века, В.А. Могиль-

ников [1972а, б] первым выделил три направления связей: западное, через сарматов, восточное, через Забайкалье, и южное, опосредованное саками, с Центральной Азией. Рассматривая обменные отношения саргатского населения, Л.Н. Корякова уточнила исходные территории импорта, выявив вещи причерноморского, алтайского и бактрийского происхождения [1988, с. 166]. Л.А. Чиндина указала на специализацию на пушной охоте, на уральские и минусинские связи таежного западносибирского населения на основании спектрального анализа кулайских бронз [1984, с. 132, 136]. Л.М. Плетнева [1977] акцентировала внимание на обменных связях населения раннего железного века Томского Приобья с Алтаем.

В 70-е годы возник специальный интерес к торговле, и монографические работы по этой тематике были подготовлены Е.А. Лубо-Лесниченко [1975, 1985, 1988], который в доказательство прочных связей Южной Сибири с Китаем в раннем железном веке собрал огромный археологический материал: хлопковые и шелковые ткани, зеркала и др. Развивая эту тему, он привлек письменные источники греческих, римских, китайских авторов и дополнительные археологические факты. Постепенно сложилось представление, что Великий шелковый путь – это система меняющихся под воздействием политических и природных факторов магистралей (Южный, Средний, Северный пути) и второстепенных ответвлений. Магистралями считаются три. Так, в жизнеописании Пэй Цзюя указано: «...Из Китая на запад ведут три дороги и у каждой имеются ответвления...» (цит. по: Лубо-Лесниченко, 1985, с. 93)).

Южная дорога была основной в торговле с Римской империей и вела в Бактрию и Индию, но, поскольку она сложилась довольно поздно и минуя Среднюю Азию, ее не рассматриваем. Северная (Степная) дорога вела вдоль Тянь-Шаня, реки Тарим до Кашгара в Ферганскую долину, Кангюй и Яньцай, затем в Причерноморье. Активная деятельность по этому маршруту описана Птолемеем и хорошо подтверждена археологически [Лубо-Лесниченко, 1985, с. 93]. У китайцев она называлась Меховым путем, поскольку особенно ценились соболя из страны Янь (Яньцай?); по ней же поступало стекло, часть мехов, провозившихся по ней, шла в Индию и Рим. Предполагается, что до I в. до н.э. Северная была главной дорогой, поскольку на ней осела большая часть известных зеркал. Известно, что конкретные пути

движения могли забрасываться и возобновляться. В сасанидское время движение шло по Сыр-Дарье, мимо Арала на Эмбу, Урал, затем в Аланию и Трапезунд. Другие средневековые данные поворотными точками пути называют Таласс, Иссык-Куль, в низовья Волги [Там же, с. 94]. Восточная оконечность Степного пути имеет непосредственное отношение к нашей проблеме. Перемещение товаров и купцов по ней зафиксировано еще в скифское время. По этому вопросу существует огромная литература, суть разногласий в ней сводится к тому: признавать ли описания народов реальными или считать фантастическими рассказами. Трактовка пути сторонников оценки письменных источников как объективных зависит от размещения Геродотовских племен на карте и, в частности, Рифейских гор, понимаемых как Рифей = Алтай или Рифей = Урал, но другое возможное объяснение конца реального пути и начала легендарного – Джунгарские ворота (где найден клад боспорских монет!), дальше которых путь становился почти не проходимым.

Средняя (Каратегинская) дорога проходила через Турфан – Кучу – Памир – Ура-Тюбе – Бухару – Самарканд – Мерв в Иран и Западное море. Другие источники называют иные поворотные точки на этом же пути: Кашгар – Алайская долина – Каратегин – вдоль Вахша – по Сыр-Дарье – к Термезу – через Аму-Дарью в Бактры и далее. В истории династии Суй указано, что от этой трассы отходят дороги, которые, в свою очередь, пересекаются, и следуя по ним, можно попасть в любое место [Там же, с. 94]. Эти сведения также подтверждены в археологических находках и раннесредневековых документах.

Применительно к саргатской культуре раннего железного века специальные работы о торговых связях населения были написаны Н.П. Матвеевой [1994, 1997], Н.П. Довгалюк [1998], Л.И. Погодиным [1996, 1998а, 1998б].

Наиболее дискуссионным является вопрос о характере древней торговли. Интересно, что в научной литературе давно принята высокая оценка уровня обменных операций в среде европейских скифов и сарматов, среднеазиатских и южноуральских саков и массагетов, приведших уже в скифское время к действию постоянных караванных путей [Ростовцев, 1918; Смирнов, 1964]. Однако в этой специализации отказывали экономике населения лесостепной зоны Зауралья и Западной Сибири. Например, коллектив омских археологов под

руководством В.И. Матющенко, осветив причины, условия, товары, передаваемые на дальние расстояния в раннем железном веке, подчеркнул, что это была еще не торговля [Очерки..., 1995, с. 66].

Идея о функционировании торгового караванного пути в саргатской земле через лесостепь в Среднюю Азию была первоначально высказана Н.П. Матвеевой тезисно [1987, с. 22], но развита с серией доказательств, уже обосновывавших караванную торговлю как отрасль экономики у саргатского населения позднее [Она же, 1993, 1994]. Она быстро нашла поддержку у коллег, особенно после публикаций богатых материалов Тютринского, Савиновского могильников с ювелирными изделиями типа Сибирской коллекции Петра I, находки хуннского котла, гончарных фляг [Матвеев, Матвеева, 1987, 1988, 1991]. Но наиболее выразительным аргументом в этом отношении было богатое погребение в Сидоровке [Матющенко, 1989]. Так, сначала Л.Н. Корякова еще писала о системе обменных связей саргатов с соседями [Корякова, 1988, с. 166], так же, как Л.И. Погодин и А.Я. Труфанов, объясняла поток среднеазиатского импорта в лесостепь участием саргатских отрядов в походах на юг с кочевниками [Корякова, Погодин, Труфанов, 1987, с. 45]. Но в 1991 г. она уже склонилась к тому, чтобы считать саргатские городища центрами торговли и предполагать наличие «каналов сообщения с торговыми центрами Средней Азии» [Корякова, 1991, с. 38, 46]. В.А. Могильников также принял идею постоянно существовавшей караванной торговли, о чем писал в 1991 г., опираясь на наши находки бронзовых котлов, а также костей верблюда с Рафайловского городища, группу среднеазиатских зеркал с фасетированным краем, гончарную керамику с ряда памятников и предметы роскоши из погребения в Сидоровке [1992, с. 14].

В нашей работе были намечены четыре пути с севера на юг по долинам рек вдоль трасс традиционных кочевков, исходя из аналогий найденным предметам в государствах Причерноморья и Средней Азии [Матвеева, 1994, с. 45, рис. 3]. Н.П. Довгалюк, изучая химический состав бус, пришла к выводу, что в саргатский ареал они поступали в основном по «Среднему» пути [1998, с. 51–55]. Таким образом, стало ясно, что несколько ответвлений отходили в степях на север от Среднего и Северного пути. Однако поверить в такой размах торговли в раннем железном веке было трудно. Так, А.В. Жук и коллеги первоначально полагали, что

с дальними западными странами напрямую были связаны только кочевники Южного Урала и Прикаспия, саяно-алтайские поддерживали контакты с Монголией и Китаем, а в степях Казахстана были какие-то промежуточные фактории, где товары перераспределялись по разным направлениям [Очерки..., 1995, с. 74–75]. Но сейчас в нашем распоряжении появилось довольно много аргументов прямой связи через степи с юга на север, в лесостепь.

Важную роль в уточнении представлений археологов о маршрутах торговли в Зауралье и Западной Сибири сыграла работа А.Д. Таирова [1995], в которой он собрал сведения о движении караванов по традиционным путям кочевания в Средней Азии, вычленив множество трасс (целую сеть!) передвижения кочевников, товаров и посольств по письменным и этнографическим источникам. Один из караванных путей – «сарысуйский», шел из Средней Азии вдоль Сарысу к Ишиму, по его долине к Петропавловску, затем по Тоболу, Туре и ее притокам, через Уральские горы на притоки Камы и далее на Волгу. Историки показывают, что этот путь долгое время был основным каналом сообщения Средней Азии с севером, возможно, даже до нового времени, до падения Тюменского Ханства, как считали ряд исследователей, например, В.С. Батраков [1958, с. 12–13]. Другая дорога отделялась от «сарысуйской» в горах Улутау, вела через Нуру, пересекала Ишим и у озера Итемген выходила на «ханскую», огибала Кокшетау с востока и вела снова в долину Ишима [Таиров, 1995, с. 8–9]. Прямой караванный тракт в Северо-Западный Китай вел по «ханской» дороге около Акмолинска, затем через Шидерты, горы Желтау, к хребту Тарбагатай и Чугучаку или через Семиречье, Джунгарский Алатау по долине Или – к Кульдже. Несколькими путями шли караваны из Бухары на Урал: на Сырдарью, вдоль нее к Яныкургану, куда подходила дорога из Туркестана, затем через степи к Тургаю, пересекая Тобол, на Оренбургскую укрепленную линию, на северо-запад к Миассу или на север на р. Исеть. Если двигаться по Убагану и Тоболу, можно было попасть в Тюмень или Тобольск [Таиров, 1995, с. 10–11]. А.Д. Таиров подчеркивает, что караванные пути находились под контролем конкретных казахских родов. Археологическим подтверждением существования всех этих дорог являются остатки поселений, городов, караван-сараев почти на всем их протяжении, датирующихся домонгольским временем, а ранние письменные свидетельства о

направлении их в лесостепь Западной Сибири относятся к IX в. [Там же, с. 23].

Таким образом, с древности могли быть задействованы в качестве путей сообщения берега практически всех водных артерий среднеазиатско-казахстанского региона. Мы знаем глубокую архаичность традиционной культуры кочевников, поэтому надо полагать, что ее составляющие сложились много веков назад.

Интенсивность торговли по Шелковому пути доказывается возникновением с IV–III вв. до н.э. разнотипных поселений, а с I в. н.э. – созданием колоний, например, согдийских, учреждением станций для отдыха и смены верблюдов, обращением сасанидской монеты в Туркестане и Западном Китае [Лубо-Лесниченко, 1985, с. 98]. Древние авторы сообщали, что в период Восточной Хань (25–220 гг.) иноземные купцы приезжали к заставам ежедневно, что в Кангюе держали множество верблюдов. Обособленность торговой деятельности от ремесленных занятий диктовалась труднопроходимостью высокогорных и безводных районов, к условиям которых не могут приспособиться случайные путешественники. Недаром в источниках отмечалось, что опознавательными знаками маршрута являются скелеты людей и животных [Там же, с. 97]. Однако безопасность караванов требовала охраны при прохождении через чужеземные страны, поэтому часто торговля была завуалирована под посольства, численность экспедиций была от сотни до нескольких сот человек. Е.И. Лубо-Лесниченко приводит ряд китайских текстов, из которых следует, что из одной страны приходило по два-три посольства в год в каждый торговый центр (Кашгар, Кашмир и т.д.), в них, как правило, не было ни знати, ни членов правящей семьи, и чиновники заключали, что все это низкие люди для обмена товарами [Там же, с. 95].

На преимущественную ориентацию западно-сибирской торговли на Среднюю Азию указывает отсутствие фибул*, римских стеклянных сосудов, восточные пределы распространения которых находятся в Приуралье. Однако разные регионы имели свои торговые пути. Набор предметов импорта в Приобье, Ачинско-Мариинской котловине, лесостепном Тоболо-Иртыше отличается.

По С.И. Руденко, товарами алтайского экспорта были пушнина, золото, скот, некоторые продук-

ты скотоводческого хозяйства в обмен на ткани, ковры, среднеазиатские бусы, нефрит, гобелены, шкуры леопардов, так называемые вкусовые продукты (семена кориандра) [1953, с. 269]. Д.Г. Савинов считает, что кочевники Алтая торговали с Китаем, главным образом лошадьми, в обмен на зерно, шелк, сельскохозяйственные орудия, предметы роскоши [1978, с. 136]. Среди последних выделяют зеркала [Лубо-Лесниченко, 1988, с. 241–242]. Рассматривая вопрос об ассортименте товаров, отметим, что, по данным письменных источников, в Китай лошади и мулы непрерывным потоком шли через границу, ввозили меха не только соболей, но и лисиц, сурков, барсуков, ковры, паласы, покрывала из овечьей шерсти с изображениями людей, животных, трав, деревьев и облаков, лен, гобелены, стекло, причем стекло и шерсть составляли три четверти всего объема торговли [Лубо-Лесниченко, 1985, с. 96, 100]. С китайской стороны вывозился шелк, зеркала, золото, драгоценности. По средневековым данным, Сибирь вывозила мускус, бивни мамонта и моржовый клык. Как пишет Е.И. Лубо-Лесниченко, ассортимент торговли сложился в древности и не менялся много веков [1988, с. 381]. Соглашаясь с предыдущим перечнем товаров, отметим, что факт добычи золота пазырыками продолжает оставаться недоказанным, сами пазырыкцы в этом отношении были довольно бедны. Вместе с тем возможна была добыча золота на Урале на экспорт, так как в местных курганах имеется местный металл.

Помимо уже перечисленных товаров в ассортимент привозных изделий из памятников западно-сибирских археологических культур следует включить: коралл, жемчуг, черепаховую кость, раковины каури, поделочные камни, готовую одежду, обувь, ювелирные изделия, украшения костюма, сбруи, бытовую утварь, парадную посуду, оружие – предметы почти из всех категорий материальной культуры. В том числе есть и уникальные изделия, например, среднеазиатское зеркало с изображениями тигров [Троицкая, Бородавский, 1994, с. 96], индийские зеркала-погремушки со слонами и танцовщицами [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 32], фиалы с согдийскими надписями и т.д. [Матющенко, Татаурова, 1997, с. 82]. Происхождение драгоценных и редких вещей можно объяснять поливариантно (дань, военный трофей, захват реликвий, дипломатические дары, приданое или калым при заключении браков, продукт труда рабов-ремесленников и др.). А явными свидетельствами

*За исключением фибулы типа *Avcissa* из Усть-Тартаского могильника [Могильников, 1992, с. 304].

именно торговли могли бы быть серийные изделия определенных типов, и они есть: китайские и среднеазиатские зеркала, нефрит, бисер, бронзовые наконечники стрел из «чистой» меди, ткани.

Но беда в том, что другие яркие типы вещей, место производства которых достоверно определяется, в памятниках не составляют серий (например, серьги с зернью, портупейные лаковые пояса, бронзовые сосуды «ху», чубуки опиумных трубок, выючные фляги и т.п.), мы знаем по две-три сходных вещи, то ли из-за массового ограбления курганов, то ли из-за выхода предметов из обихода при полной их утилизации как мусора или металлического лома, то ли из-за единичности поставок, производившихся на заказ. Хотя и немногочисленные, но весьма ценные по массовости входивших в них предметов, доказательства торговли, на наш взгляд, предоставляют такие клады, как Косогольский из 200 экземпляров, Знаменский из нескольких тысяч единиц, Сартацкий из 331 единицы [Вадецкая, 1986, с. 76]*.

Вместе с тем удалось получить путем анализа технологий стеклоделия существенные доказательства саргатской торговли с югом. Ими явились установленные Н.П. Довгалоком на основе сравнения состава бус из разных саргатских погребений факты сбора разных по цвету и формы бус одного химического состава в «образцовые комбинации» в ремесленных мастерских и поступление их в короткие сроки в таком же виде к покупателям [1993, с. 54]. Как аргументы существования именно караванной торговли, а не межплеменного обмена нами были приведены следующие доказательства: массовость предметов импорта разных категорий – оружия, украшений, предметов туалета, предметов культа, упряжи, посуды, тканей – не только в погребениях, но и на поселениях; находки костей верблюдов как единичные, так и серийно на поселениях, всего на 14 % памятников; присутствие гончарной тарной посуды для жидкостей и сыпучих продуктов на 17 % раскопанных объектов, расширение ассортимента товаров со временем. Импортный характер 41 категории предметов был обоснован не только аналогиями по форме и орнаментике, но отчасти и по спектральному и металлографическим анализам [Матвеева, 1994]. В той же работе

сделана попытка определить характер торговли как бартерной и товары, предлагавшиеся взамен. Предполагалось, что это скот, рабы, пушнина, зерно [Там же, с. 52]. Против последнего справедливо возразили омские исследователи [Очерки..., 1995, с. 77]. Позднее, рассматривая совокупные данные о саргатской экономике в связи с динамикой природных условий, автор от реконструкции земледелия в числе хозяйственных отраслей отказалась, что автоматически снимает идею меридианальной торговли зерном наряду с соображениями недостаточного развития дорог и гужевого транспорта в то время для сколько-нибудь существенных объемов поставки. В 2000 г. еще раз был проанализирован круг аналогий предметам импорта в саргатской культуре, на этот раз уже 62 категорий [Матвеева, 2000, с. 70–71].

В.А. Галибиным была показана специфичность химического состава китайских бус и присутствие их в памятниках Западной Сибири и Алтая [2001, с. 77]. Новые яркие свидетельства торговли с Китаем привнес в дискуссию о саргатской торговле Л.И. Погодин, анализируя золотное шитье на шелке [1996], остатки лаковых ножен и портупейных ремней от оружия ближнего боя [1998б]. По материалам Исаковки-1 стало возможным говорить о поступлении в саргатские земли лаковых изделий, оружия, крашенного зеленым грецким орехом шелка, бронзовых чайников. В отчете о раскопках Л.И. Погодин [Там же] пишет о винном камне на дне керамических сосудов, о белом порошке на дне кальяна, что может указывать на импорт чая, вина, курительных смесей (?). В настоящее время появились доказательства массовости китайских лаковых изделий, бус, бронзовых украшений среди импортов на территории Саяно-Алтая [Тишкин, Хаврин, Новикова, 2008].

Для преодоления Северного пути только по дорогам Туркестана требовалось 7–9 недель, а для достижения конечной точки из Китая до Причерноморья обычно проходило несколько лет. Поэтому, конечно, привозные товары приходили в вышеперечисленные пункты караванной торговли несколько раз в год и были весьма дороги. К западносибирскому населению они могли приходить и раз в несколько лет, доставка иноземных товаров могла быть серьезным военно-дипломатическим мероприятием.

Что касается объема перевозимых товаров, то он, конечно же, колебался в силу разных причин, в том числе из-за колебаний спроса. Были ситу-

*Здесь мы намеренно не берем во внимание клады с зооморфными и антропоморфными изображениями, скорее всего, являвшиеся остатками святилищ.

ации, когда среднеазиатские рынки переполнялись китайскими товарами, а когда появлялся спрос, отправляли по два-три каравана в год. Размер караванов, вероятно, был примерно таким же, как и в развитом средневековье. Е.И. Лубо-Лесниченко, например, приводит сведения, что к кыргызам приходило по 20–24 верблюда с тканями [1988, с. 381]. С таким примерным размером каравана согласуется и находка останков восьми верблюдов на Рафайловском селище [Матвеева, 1993, с. 118].

В работе 1997 г. омские исследователи по-прежнему сдержанно оценивают размеры торговых связей западносибирского населения, полагая, что значительная часть импортов поступала при миграциях, браках, военных экспедициях [Матюшенко, Татаурова, 1997, с. 106]. Скептическая точка зрения на Великий шелковый путь изложена А.П. Франкфором, который находки шелка, монет и произведений искусства второй половины I тысячелетия до н.э. считает проявлением эпизодических контактов оседлых и кочевых народов, трофеями военных экспедиций [2006, с. 203–217]. С этим нельзя согласиться. Импорт в одежде, украшениях, утвари, предметах вооружения, упряжи, туалета насчитывает десятки категорий и был неременной частью быта не только аристократического, но и зажиточного населения того времени.

Примерные датировки времени возникновения торговли в западносибирском регионе у разных исследователей не совпадают. А.П. Уманский, А.Б. Шамшин и П.И. Шульга высказали идею, что торговый путь между Алтаем и Передней Азией фиксируется с VIII в. до н.э. по массовому поступлению золота, тканей, зеркал [2005, с. 36]. А.В. Жук и его соавторы указывают, что именно в хуннское время активизировались обменные связи Хакаско-Минусинской котловины с Забайкальем и Китаем [Очерки..., 1995, с. 67]. Н.П. Матвеева полагает, что торговые контакты саргатцев с югом относятся к V–III вв. до н.э., но регулярная торговля в лесостепи со Средней Азией по северным ответвлениям от Великого шелкового пути началась в III–II вв. до н.э., когда количество предметов импорта и ассортимент резко возрастают [1994, с. 50; 2000, с. 78–79]. Тот же временной диапазон принимала и Н.П. Довгалоук [1998]. Активно саргатская территория снабжается импортом до II в. н.э. Тот же хроноинтервал отмечают исследователи для Средней Оби [Чиндина,

1984, с. 176], для лесостепного Приобья, но там большая часть вещей связана с Минусинской котловиной, Горным Алтаем [Троицкая, Бороодовский, 1994, с. 70].

Особенно большое количество импорта относится ко II в. до н.э. – II в. н.э., что может быть обусловлено участием Кангюя в дипломатических и военных акциях, в прокитайских коалициях, а также продвижением юечжей, затем хуннов из Восточного Туркестана, что активизировало торговлю по северному участку Великого шелкового пути и его ответвлениям в Сибирь.

Деньгами раннего железного века считают ножи, монеты-стрелки, раковины каури [Исмагилов, 1992]. Обращение собственно монет в качестве эквивалента стоимости проблематично, хотя несколько штук китайских монет уже найдено, известна находка римской золотой монеты императора Феодосия близ Кургана [Могильников, 1992, с. 304]. Мы полагаем, что поскольку в ассортименте товаров преобладали символы богатства и престижа, то золото и серебро выступали мерой всех вещей, что вполне удовлетворяло потребности и кочевой знати, и аристократии лесостепного населения.

Значительное влияние на культурное и экономическое развитие населения Западной Сибири образцов импортных товаров, их технологии производств и сюжетов отмечали Н.В. Полосьмак и Е.В. Шумакова [1991, с. 75–77], И.А. Дураков [2001, с. 19]. Они указывают, что многие предметы кулайского круга произведены местными мастерами из хуннских бронз, большебереченское население заимствовало и тиражировало тагарские и скифские формы изделий. Например, Н.В. Полосьмак пишет, что в пазырыкской среде были популярны пряжки гуннского типа – деревянные копии прямоугольных бронзовых пластин из Ордоса и Монголии [2001, с. 165].

Признано, что повсеместно активизировала торговлю на дальние расстояния растущая социальная стратификация и спрос на предметы роскоши у верхушки общества, как это было хорошо показано А.М. Хазановым [1978, с. 27–30]. А.В. Жук и соавторы считают, что этот фактор даже повлиял на включение в систему международных связей прежде изолированного населения тагарской культуры [Очерки..., 1995, с. 70]. Интересную идею высказал М.П. Грязнов, полагавший, что активное ограбление курганов, начавшееся уже в раннем железном веке, преследовало целью добыть ме-

талл для индивидуальной обменной деятельности, минуя родо-племенную верхушку (по: [Распопова, Шарафутдинова, 1974, с. 311]).

Торговля в древности была одним из основных механизмов передачи культурных и социальных достижений, потоков страноведческой информации, обуславливая в дальнейшем другие виды контактов народов – военные, дипломатические, брачные, миграционные и т.д. Изучение хронологии, расположения исходных мастерских, узловых центров, путей сообщения, характера организации, объемов и ассортимента товаров – всех деталей становления этого феномена исключительно важно и имеет самые блестящие перспективы в будущем, особенно при углубленном технологическом анализе источников.

Список литературы

- Аванесова Н.А.** Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по металлическим изделиям). – Ташкент, 1991.
- Алтай** в системе металлургических провинций энеолита и бронзового века / С.П. Грушин, Д.В. Папин, О.А. Позднякова, Е.А. Тюрина, А.С. Федорук, С.В. Хаврин. – Барнаул, 2009.
- Археология УССР.** – Киев, 1985. – Т. 2 / под ред. И.И. Артеменко.
- Батраков В.С.** Хозяйственные связи кочевых народов с Россией, Средней Азией и Китаем (с XV до половины XVIII в.). – Ташкент, 1958. – (Труды / Среднеазиатский ун-т. Новая серия; Вып. 126. Экон. науки. Кн. 3).
- Вадецкая Э.Б.** Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л., 1986.
- Гаврилюк Н.А.** Степная Скифия: палеоэкономический анализ // Социальная структура ранних кочевников Евразии. – Иркутск, 2005.
- Гайдученко Л.Л., Зданович Г.Б., Малютина Т.С.** Особенности обеспечения мясной пищей населения укрепленного поселения Аландское на ранних этапах его обитания // Аркаим-Синташта: древнее наследие Южного Урала. – Челябинск, 2010.
- Галибин В.А.** Состав стекла как археологический источник. – СПб., 2001.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В.** Синташта. – Челябинск, 1992.
- Граков Б.Н.** Легенда о скифском царе Арианте // История, археология и этнография Средней Азии. – М., 1968.
- Довгальук Н.П.** Анализ признаков составления ожерелий Исаковского-1 могильника // Археологические культуры и историко-культурные общности Большого Урала: тез. конф. – Екатеринбург, 1993.
- Довгальук Н.П.** Стекланные украшения Западной Сибири эпохи раннего железного века (по материалам саргатской культуры): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1995.
- Довгальук Н.П.** Характеристика химического состава стеклянных бус из памятников саргатской культуры // Взаимодействие саргатских племен с внешним миром. – Омск, 1998.
- Дураков И.А.** Цветная металлообработка раннего железного века (по материалам Новосибирского Приобья): автореф. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2001.
- Дураков И.А.** Цветная металлообработка городища Чича // Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск; Берлин, 2009. – Т. 3.
- Исмагилов Р.Б.** Монеты-стрелки – монетные ножи: типологическое сходство или генетическая связь // Северная Евразия от древности до средневековья. – СПб., 1992.
- История Казахстана с древнейших времен до наших дней.** – Алматы, 1992. – Т. 1 / под ред. М.К. Козыбаева.
- Киселев С.В.** Из истории торговли енисейских кыргызов // КСИИМК. – М.; Л., 1947. – Вып. 16.
- Кожин П.М.** Колесные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Монголии. – Новосибирск, 1987.
- Кожин П.М.** Этнокультурные контакты на территории Евразии в эпоху неолита – раннего железного века: автореф. ... докт. ист. наук. – Новосибирск, 1990.
- Корякова Л.Н.** Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. – Свердловск, 1988.
- Корякова Л.Н.** Культурно-исторические общности Урала и Западной Сибири (Тоболо-Иртышская провинция в начале железного века): препринт. – Екатеринбург, 1991.
- Корякова Л.Н., Погодин Л.И., Труфанов А.А.** К вопросу о связях населения лесостепи Западной Сибири в эпоху поздней бронзы – раннего железного века // Проблемы археологии степной Евразии: тез. конф.: в 2 ч. – Кемерово, 1987. – Ч. 2.
- Косарев М.Ф.** Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. – М., 1974.
- Круглов Е.А.** Роль Рифеев в торговых коммуникациях Евразии II–I тыс. до н.э. // XIV УАС. – Челябинск, 1999.
- Кузьмина Е.Е.** Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1986.
- Кузьмина Е.Е.** Откуда пришли индоарии? – М., 1994.
- Кузьмина Е.Е.** Предыстория Великого шелкового пути. Диалог культур Европа – Азия. – М., 2010а.
- Кузьмина Е.Е.** Синташтинский тип памятников и их этническая атрибуция // Аркаим-Синташта: древнее наследие Южного Урала. – Челябинск, 2010б.
- Кузьминых С.В.** О металле городища Чича // Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск; Берлин, 2009. – Т. 3.
- Кызласов Л.Р.** Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. – Красноярск, 1992.
- Лубо-Лесниченко Е.И.** Привозные зеркала Минусинской котловины (к вопросу о внешних связях древнего населения Южной Сибири). – М., 1975.
- Лубо-Лесниченко Е.И.** Великий шелковый путь // ВИ. – 1985. – № 9.
- Лубо-Лесниченко Е.И.** Великий шелковый путь // Восточный Туркестан в древности и средневековье. – М., 1988. – Т. 1.

- Лубо-Лесниченко Е.И.** Китай на Шелковом пути. – М., 1994.
- Массон В.М.** Обмен и торговля в первобытную эпоху // ВИ. – 1973. – № 1. – С. 79–91.
- Массон В.М.** Экономика и социальный строй древних обществ. – Л., 1985.
- Матвеев А.В.** Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск, 1998.
- Матвеев А.В., Матвеева Н.П.** Ювелирные изделия Тютринского могильника (к проблеме Сибирской коллекции Петра I) // Первобытное искусство: антропоморфные изображения. – Новосибирск, 1987.
- Матвеев А.В., Матвеева Н.П.** Бронзовый котел из Савиновского могильника // СА. – 1988. – № 1.
- Матвеев А.В., Матвеева Н.П.** Савиновский могильник саргатской культуры: итоги полевых исследований: препринт. – Тюмень, 1991.
- Матвеева Н.П.** Об особенностях развития саргатской культуры в Среднем Приобье // Роль Тобольска в освоении Сибири: тез. конф. – Тобольск: ТобГПИ, 1987.
- Матвеева Н.П.** Саргатская культура на Среднем Тоболе. – Новосибирск, 1993.
- Матвеева Н.П.** О торговых связях Западной Сибири и Центральной Азии в древности // Западная Сибирь – проблемы развития. – Тюмень, 1994.
- Матвеева Н.П.** О торговых связях Западной Сибири и Центральной Азии в раннем железном веке // РА. – 1997. – № 2.
- Матвеева Н.П.** Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке. – Новосибирск, 2000.
- Матющенко В.И.** Погребение воина саргатской культуры // Известия СО АН СССР. Серия истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1989. – Вып. 1.
- Матющенко В.И., Татаурова Л.В.** Могильник Сидорка в Омском Прииртышье. – Новосибирск, 1997.
- Могильников В.А.** Находки из Пиковки // СА. – 1969. – № 3.
- Могильников В.А.** К вопросу о саргатской культуре // Проблемы археологии и древней истории угров. – М., 1972а.
- Могильников В.А.** Некоторые проблемы изучения саргатской культуры // Проблемы изучения саргатской культуры: тез. конф. – Омск: ОмГУ, 1972б.
- Могильников В.А.** Саргатская культура // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР: в 20 т. / под ред. Б.А. Рыбакова. – М., 1992.
- Мошинская В.И.** Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. – М., 1976.
- Очерки истории обмена и торговли в древности на территории Западной Сибири: в 2 ч.** – Омск, 1995.
- Плетнева Л.М.** Томское Приобье в VIII–III вв. до н.э. – Томск, 1977.
- Погодин Л.И.** Золотное шитье Западной Сибири // ИЕ. – Омск, 1996.
- Погодин Л.И.** Вооружение населения Западной Сибири раннего железного века. – Омск, 1998а.
- Погодин Л.И.** Лаковые изделия из памятников Западной Сибири раннего железного века // Взаимодействие саргатских племен с внешним миром. – Омск, 1998б.
- Полосьмак Н.В.** Всадники Укока. – Новосибирск, 2001.
- Полосьмак Н.В., Шумакова Е.В.** Очерки семантики кулайского искусства. – Новосибирск, 1991.
- Радлов В.В.** Сибирские древности: из путевых записок // ЗИРАО. – СПб., 1895. – Т. 7. – Вып. 3–4.
- Распопова В.И., Шарафутдинова Э.С.** Дискуссия о характере обмена и торговли в древних обществах // СА. – 1974. – № 3.
- Ростовцев М.И.** Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и среднего эллинизма. – Пг., 1918. – (Материалы по археологии России; № 37.)
- Руденко С.И.** Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л., 1953.
- Савинов Д.Г.** Южная Сибирь // Первобытная периферия классовых обществ. – М., 1978.
- Сериков Ю.Б., Корочкова О.Н., Кузьминых С.В., Стефанов В.И.** Шайтанское озеро-2: новые сюжеты в изучении бронзового века Урала // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 2.
- Смирнов К.Ф.** Савроматы. – М., 1964.
- Таиров А.Д.** Торговые коммуникации в западной части Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск, 1964.
- Таиров А.Д.** Торговые коммуникации в западной части Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск, 1995.
- Тишкин А.А., Хаврин С.В., Новикова О.Г.** Комплексное изучение находок лака из памятников Яломан-3 и Шибе // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. – Барнаул, 2008.
- Тревер К.В.** Памятники греко-бактрийского искусства. – М.Л., 1940.
- Троицкая Т.Н., Бородавский А.П.** Большереченская культура лесостепного Приобья. – Новосибирск, 1994.
- Удодов В.С.** Эпоха поздней бронзы Кулунды // Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири: тез. докл. конф. – Барнаул, 1988.
- Уманский А.П., Шамшин А.Б., Шульга П.И.** Могильник скифского времени Рогозиха-1 на левобережье Оби. – Барнаул, 2005.
- Франкфор А.-П.** Существовал ли Великий Шелковый путь во II–I тыс. до н.э. // Взаимодействие народов Евразии в эпоху Великого переселения народов: докл. конф. – Ижевск, 2006.
- Хазанов А.М.** Европа // Первобытная периферия классовых обществ. – М., 1978.
- Чернецов В.Н.** Нижнее Приобье в I тыс. н.э. // МИА. – 1957. – № 58.
- Черных Е.Н.** Древняя металлургия Урала и Поволжья // МИА. – М., 1970. – № 172.
- Черных Е.Н., Кузьминых С.В.** Древняя металлургия Северной Евразии. – М., 1989.
- Чиндина Л.А.** Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. – Томск, 1984.
- Членова Н.Л.** Предыстория торгового пути Геродота (из Северного Причерноморья на Южный Урал) // СА. – 1983. – № 1.
- Шмидт А.В.** Древний Восток и Русский Север // Новый Восток. – М., 1926. – Кн. 13–14.

K.M. Linduff, K.S. Robinson

TRANSFER OF METALLURGICAL TECHNOLOGY AND OBJECTS ACROSS EURASIA AND NORTHERN CHINA IN THE LATE 1ST MILLENNIUM BCE – EARLY 1ST MILLENNIUM CE*

The Problem Defined and Confined

Several of the golden plaques now housed in the Peter the Great Siberian Gold Collection in the Hermitage in St. Petersburg, as well as objects found in tombs in western Siberia of the Sargat Culture, Tillya Tepe in Afghanistan, and the Chinese Ordos (鄂尔多斯) region of the late first millennium BCE and the early first millennium CE have in common technological heritage (Fig. 1). These artifacts document the exchange of goods, technology and perhaps even people from across the Eurasian steppe to and from China. All these objects were cast with a distinctive casting

technology, one recently documented in mortuary remains in central-western China dating from the late fourth or early third century BCE. At that site, called Beikang (北康), Shaanxi (陕西), PRC, bi-valve and open mould casting was used in the Chinese-operated production of steppic objects for trade on the frontier. From this period and later, certain of the steppe-style objects that have the cast imprint of a textile on their reverse were buried with peoples of the Ordos region in China's present-day central-western provinces. This technology can now be documented on items from the Ordos, but also on ones from the Peter the Great Siberian Gold Collection, Sidorovka and Tillya Tepe. Moreover, the shared iconography of the objects across such a distance in time and space is also of particular interest, at least for the Ordos and Siberian subset. The people who owned the objects were likely never directly in contact with each other, but where the technology originated and how it spread to all these places can be explored in light of the new discoveries in China where the dates of manufacture are known. This is one aim of this paper.

Production of steppic style objects in Chinese foundries for specific, probably pastoral, populations had been suspected for many years, but this activity has only recently been documented archaeologically with the discovery of the tomb of a metal worker/technician dating from the late 4th to early 3rd c. BCE near Xi'an [IASP, 2006]. The sophisticated metal industry known to have existed in western China during this period has been studied in relation to internal markets within Dynastic borders [Beijing..., 1993; Bagley, 1996], but not beyond. By the 2nd c. BCE,

*Pioneer in the study of movement of people, artifacts and ideas, Elena Kuzmina has lead the way for all scholars interested in exchange across Eurasia and into China for many decades. It is her probing questions, consistent assistance to us as newcomers to this work, and her indomitable spirit that has made this paper and much of our individual previous work possible. It is an honor to contribute to this volume dedicated to her.

A shorter version of this paper was given at the International Conference: Ancient Cultures of Eurasia, Russian Academy of Sciences, Institute for the History of Material Culture, St. Petersburg, December 15–18, 2010. It was amplified after a workshop on metallurgical technology, especially lost-wax/lost-textile, at Barnard College, Columbia University, and the Institute for the Study of the Ancient World, New York University, March 24–25, 2011. We are especially grateful to Elena Korylkova, Keeper of the Peter the Great Siberian Gold Collection at the State Hermitage Museum, who twice took the plaques from their cases in the Gallery for us to examine. Special thanks also go to Sophie Legrand who both traveled with Kathryn Linduff to Siberia and on our behalf interviewed Prof. Miniasen who examined the technology of the Siberian collection at the Hermitage.

the transmission of the technology, objects and perhaps even people is suggested in Xiongnu (匈奴) territories in present-day Buratya, Siberia, China and even further afield. The intersection of the technology, steppic iconography and chronology are explored in this paper in the context of a region in Eastern Eurasia and the *beifang* (Northern Corridor) of China that was at this time a 'contact zone,' a frontier that saw the intersection of many peoples for many reasons: conflict, commercial exchange, and political expansion of the Chinese and Xiongnu empires.

This 'contact zone' may be seen as Mary Louise Pratt has described [1992], as a frontier as Parker [Parker B.J., 2006] has suggested, and/or as a 'tribal zone' as Ferguson and Whitehead [2005] proposed for other areas of the world. They see such places as ambiguous spaces that lay at the margins and borders of direct political control by the metropolitan states where local and colonial ideas and practices were reconstructed transculturally [Ferguson, Whitehead, 2005, p. XII]. Increasingly the nature of such spaces is seen as highly permeable, constantly breached and put into question by the symbiotic and mimetic processes that belie colonial discourse of difference and distinction [Taussig, 1995; Whitehead, 1997a, b; Ferguson, Whitehead, 2005, p. XII]. For instance, Ferguson and Whitehead [2005, p. XII] explain that because material circumstances, patterned social interactions and structured ways of thinking are in countless ways disrupted by the process of culture contact, they are frequently recast into something unique for the region and time. The plaques studied here and the technology that produced them, we propose, are the material remains of this process of interaction. Ours is a case study that reflects on that process.

Located at the margins of power and at a geographic and physical distance from the dynastic centers, contacts were often episodic or intermittent. In this context it is no surprise that the artifacts, most of which come from mortuary settings, were sometimes direct borrowings from dynastic Chinese models, but were oft times hybrid and were frequently distinctively different from anything known in the power centers. Some were either local types or ones that are called here 'steppic' types that were borrowed from

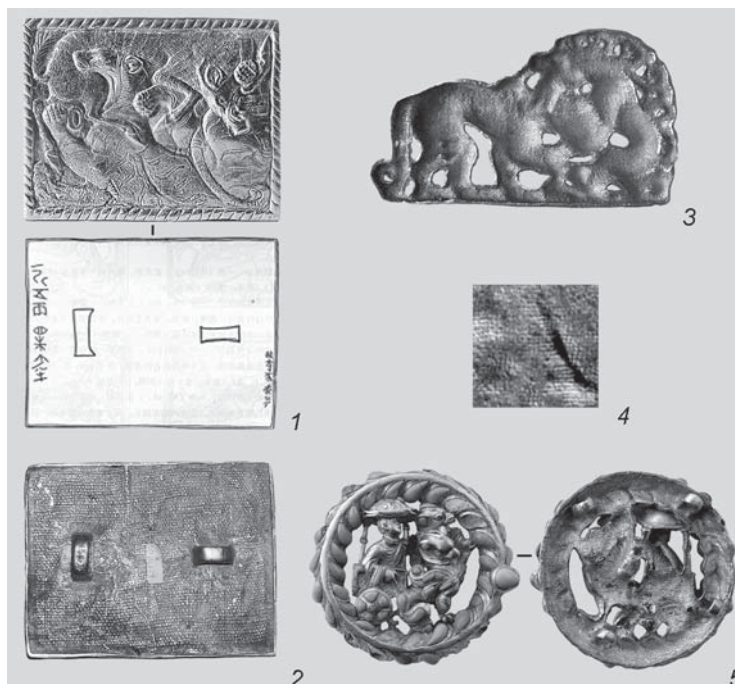


Fig. 1. Lost-wax/Lost-textile Technology.

1, 2 – golden plaque, Xigoupan, Shanxi, PRC 3th c. BCE (after: [Bunker, 1997]); 3 – golden plaque from the Peter the Great Siberian Collection, N. 11 (photograph Linduff); 4 – golden plaque from the Peter the Great Siberian Collection (N. 19; after: [Rudenko, 1962, p. 26, fig. V]; 5 – golden boot buckle, Tillya Tepe, burial 4 (National Museum of Afghanistan; photography by Jane Hickman) see permission for this.

places even further to the north and west, from adjacent regions of eastern Eurasia, including southern and western Siberia. No only were the type, style and iconography often hybrids or 'foreign', so too were the tomb assemblages in which they were deposited and found. It is our contention that the local patrons of these artifacts were sensitive to this process of exchange and to how to position themselves in relation to the changing circumstances, so that these objects, whoever designed and made them, were chosen for a purpose.

What we can document is the production of types and iconography outside of the Chinese idiomatic models, and export of a technology that was taken up outside of the earlier production center in the 'contact zone' as well as the exchange of iconographic types that are products of the blending of artistic styles and aesthetics. The desirability and ultimately the selection of objects and motifs were determined and born in their use in a frontier where allegiances, affiliations and group identity changed sometimes rapidly and always with significant consequences. During this period in the late first millennium BCE, groups in the

eastern region are distinguished by their autonomy and self-sufficiency, and we see the rise and use of a distinctive metallurgical technology as one of the main diagnostic features of these communities and their burials. The desirability and ultimately selection of images and artifacts were determined by their use in our contact zone. Almost all of our evidence comes from documented burial contexts.

Life on most frontiers was diverse and often dangerous, especially at times such as those described below when power struggles over local authority were foremost. Those conditions rendered former group (or team) emblems or items impotent or at least differently charged in the newly constituted political setting. Perhaps as a result, death on the frontier was often elaborately celebrated and recognized by its inhabitants as a time to mark victories, their distinctive lifestyle and/or identity with artifacts that signified those attributes. In other words, ritualized burial practices could be used to delineate difference; to define solidarity (cultural, political or otherwise); to declare one's own identity; to con-

struct ideas about status, gender or age; and/or to resist or substantiate tradition or change in places where cultural coherence was threatened and where a new identity was sought [Appadurai, 1996; Eller, 1998; Tambiah, 1996]. By offering this understanding of a contact zone as a framework within which to explain the various materials and the experimentation within the metal industry, we hope to stimulate a better-informed way to understand the production and expression of material culture there and perhaps elsewhere.

Chinese Production

This process of contact and exchange was documented in the excavation of a late Zhou Dynasty (周朝), Warring States (战国) tomb (4th to 3rd c. BCE) in Beikang Village in the northern suburbs of Xi'an in the ancient Chinese State of Qin (秦) (Fig. 2). Objects of historical value, including ceramic moulds for bronze casting, pottery, bronze objects, iron artifacts, lacquer-ware, stone objects, etc., were unearthed there [Yue, 2003; AISP, 2006; Linduff, 2009].

Among these finds were twenty-five ceramic models for casting bronze plaques of steppe types bearing a diverse iconography prominent in the Ordos region as well as other categories of bronze objects. Not only do the contents of this single tomb confirm what several scholars have previously proposed – namely that objects produced in Chinese states found local as well as newcomer patrons [Bunker, 1983, 1991] – it also suggests that this metal industry formed a significant part of the Qin State economy and foreign policy. The implications of this industry and its special casting technology have parallels in places far in distance and time from the western borders of dynastic China that have not been explored in light of this new discovery, so the technology and the production of metal items for the 'frontier'

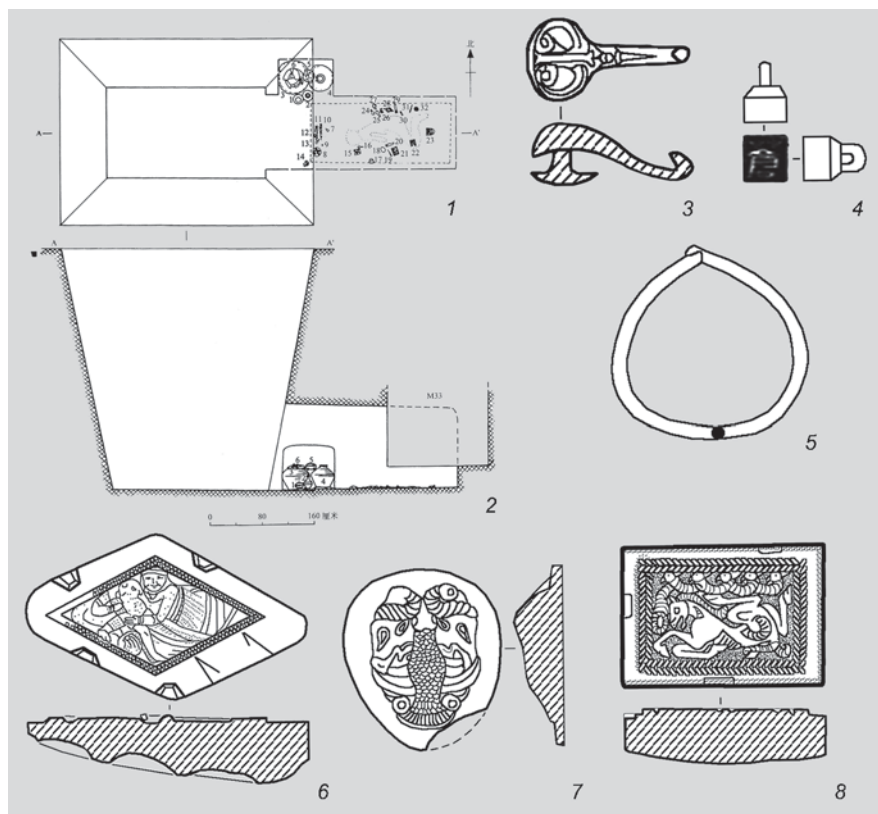


Fig. 2. Metal Worker's Tomb Beikang, Shaanxi, PRC 4th/3rd BCE.

1–5 – plan, section of tomb and objects; 6 – clay model of plaque depicting human activity; 7 – clay model of plaque of hawk and feline; 8 – clay model of horse plaque (after: [Yue, 2003]).

market and the resulting interregional exchange that it documents is of interest here.

Tomb and Contents

The grave is unlike ones in other Chinese States at this time that followed the Han Chinese north-south orientation and pit tomb shape. It was constructed with a straight, but angled-in, burial shaft and a wall niche, containing the actual interment, and was oriented east-west with the burial chamber on the east wall (Fig. 2, 1, 2) [Teng, 1992; Faulkenhausen, 2004, p. 156; Shelach, Pines, 2006, p. 206–216]. Because the burial goods included more than the usual daily-use items, together with a large number of ceramic models for bronze casting, metal working tools, and a name seal in Chinese (Fig. 2, 4), the excavators proposed that the deceased was Chinese and was likely a bronze caster who had a particular amount of social status [Yue, 2003; AISP, 2006].

The most extraordinary find in this tomb for our purposes, however, is the group of the twenty-five clay models made for casting metal decorative plaques and other types of objects (Fig. 2, 6–8). They include: a model with human figure designs (one example); models for plaques with animal decoration (four examples) including single and paired horses, paired rams, and one of a hawk fighting a feline in a narrative style atypical of Dynastic Chinese examples. This is the first time ceramic models for casting such bronze plaques have ever been discovered intact in Shaanxi, or within the ancient territory of the State of Qin. In fact, they are only rarely found elsewhere inside ancient Zhou Warring States territory. For instance, at the unequalled excavation of a complete foundry at Houma (侯马) near the capital of the neighboring state of Jin (晋) in present-day Shaanxi and dating from between 585 to 403 BCE, or somewhat earlier than the Beikang tomb, very few models of Beikang type objects were found in the debris. The overwhelming numbers of models and moulds excavated there were made to mass-produce high quality decorated objects in the ‘Chinese’ mode (Fig. 3). And although many have noted that elements of the Houma decorative repertoire such as those showing animal combat or composite animals were inspired by knowledge of artifacts and/or imagery from as far

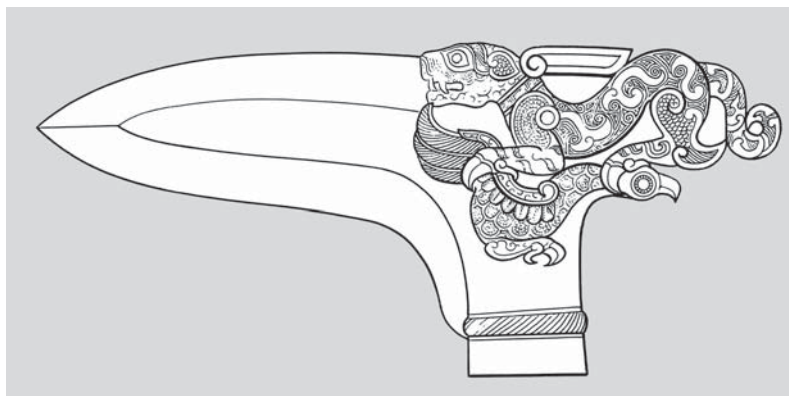


Fig. 3. Bronze Dagger with Animal Combat Scenes made at Houma (after: [IASP, 1997, p. 333, fig. 720]).

afeld as western Asia [Bagley, 1996, p. 57; Bunker, 1991, 1992a; AISP, 1997], most bear little resemblance to their steppic counterparts; rather, the new imagery is incorporated into the dominant Chinese aesthetic for their Chinese clientele.

The Beikang tomb and its steppe-like clay models, on the other hand, provide invaluable concrete data for studying Qin State bronze culture, distinctive casting techniques, and cultural interaction between the Qin and peoples who must have commissioned and used such items, whether they lived in the Ordos due north of the capital of the emerging pre-imperial Qin polity or beyond. These objects and their iconography develop an eclectic ‘frontier’ aesthetic and iconography that are, therefore, distinctly ‘foreign’ or ‘other’ in the context of Chinese metallurgical production.

Casting Technology

Interestingly, some of the newly excavated ceramic models from the Beikang tomb were probably used in an indirect lost-wax casting process, a relative latecomer in the bronze industry in China, and one not used so far as we know at Houma during its heyday in the 5th and 4th c. BCE where a consistently complex system of piece mould casting was used [Bagley, 1995], although they also started with models made of clay, wood and bone*. Gold and bronze objects with cast impressions of textiles on their backs, made by the lost-wax process, have been

*Models for the indirect casting process are known to have been made of clay, wood and bone, and all three materials were carved at Houma, but the excavators report only the use of piece-mould casting technology at the Houma foundry [AISP, 1997].

found in Xigoupan (西沟畔) in the Ordos, dating from the 3rd c. BCE (Fig. 1, 1, 2), as well as from as far east as Hebei (河北) Province in the late 4th or 3rd c. BCE. Chinese characters on the Xigoupan plaque giving its weight attest to its Chinese manufacture in the state of Zhao (in present-day IMAR [内蒙古自治区], Shanxi [山西] and Hebei to the south of its find-spot) and testify to the production of luxury items of frontier style and iconography [Tian, Guo, 1986, p. 353; Bunker, 1992a] for a presumably non-Chinese client. Based on his observations of at least eight examples from the Peter the Great Collection in the Hermitage, Rudenko explained in 1962 that sometimes wax models were supplemented with a piece of cloth so that the cast plaques could be made thinner than the models [Rudenko, 1962, p. 26] (Fig. 1, 3, 4)*. He did not then connect it with a Chinese technology and place of manufacture since his study was made long before these new discoveries.

The Chinese favored a casting process that began with ceramic models, presumably because they had used clay models and moulds in bronze casting since the second millennium BCE. The process is somewhat complex, but made mass production relatively easy since after the model was formed a 'mother-mould' was made by pressing the model into a piece of soft, damp clay. When the clay dried, molten wax was poured into the open section of the mother-mould, and then removed when it hardened. The resultant wax model was packed in clay and baked at a high temperature leaving a clay mould. When the molten metal was poured into the mould, the wax burned out, but of course the clay model still remained and could be reused again and again. Sometimes these wax models were reinforced with a piece of cloth so that plaques could be made very thin, and this method, known as lost wax and lost textile, is a distinctive variation of the Chinese indirect lost-wax process. Numerous belt ornaments were produced in this manner. Thus, although we do not know the first technical steps of production of the Peter the Great objects with textile impressions on the back, the last steps of these Chinese examples

and those proposed by Rudenko for the Peter the Great pieces is the same.

In contrast, many steppe-style ornaments manufactured in workshops beyond China were made by using models differently, for instance, such as those discovered in Pokrovka in the southern Urals and dated between the 6th to 4th c. BCE. A bone model of a crouching feline and two very similar gold, feline-shaped plaques found there demonstrate the use of hammering a thin sheet of metal over a model made from a plentiful material such as bone or horn [Yablonsky, 1994, figs. 37.16, 76.12–13; bone model from kurgan 2 burial 5; two hammered plaques from kurgan 2, burial 1]. It seems, therefore, that this indirect lost-wax and lost-textile process with clay moulds was a Chinese invention that was peculiar to the efficient and cost-effective production of objects for the frontier and foreign market [Linduff, 2009]. It remains to be seen whether the Peter the Great objects and those from Tillya Tepe were made following all the same steps or whether it is only the latter part of the process, the making and reinforcing a wax model with textile before covering it with clay and then casting that was used in their production**.

Previously, Emma Bunker suggested that a foundry at Yanxiadu (燕下都), in Hebei, produced excavated plaques from that site dating from the 3rd c. BCE that exhibit the lost-wax/lost-textile process of casting [Bunker, 1992b], but the Beikang bronze caster's tomb is the first direct evidence of the production of metal products for populations who favored objects that displayed the distinctive styles of peoples living beyond the Chinese heartland by craftsmen affiliated in some close way with the heartland. The historical circumstances that allowed and perhaps even encouraged such foreign exchange are, in the case of the Beikang tomb master, probably explicitly tied to the political and economic aspirations and ambitions of the pre-Empire frontier State of Qin during the 4th and 3rd centuries BCE. This dynamic and the technical processes associated with it then expand with the Xiongnu and Han Empires throughout the late 3rd c. BCE – 1st centuries CE across well established Eurasian trade routes (Fig. 4).

*Rudenko listed 25 examples (11 paired plaques, 2 bosses, 1 ornament) in all that exhibited this technology [1962, p. 26]. We have observed additional examples in the Siberian Collection and have found discrepancies between his numbers and those currently used by the Hermitage. For consistency, we have used the Hermitage numbers to identify objects here (H).

**At the workshop at Barnard College and ISAW, Sophie Legrand presented a paper informed by an interview with Raphael Minasian (State Hermitage Museum, St. Petersburg) that suggested a different explanation for the textile impressions. That report awaits further research and publication.

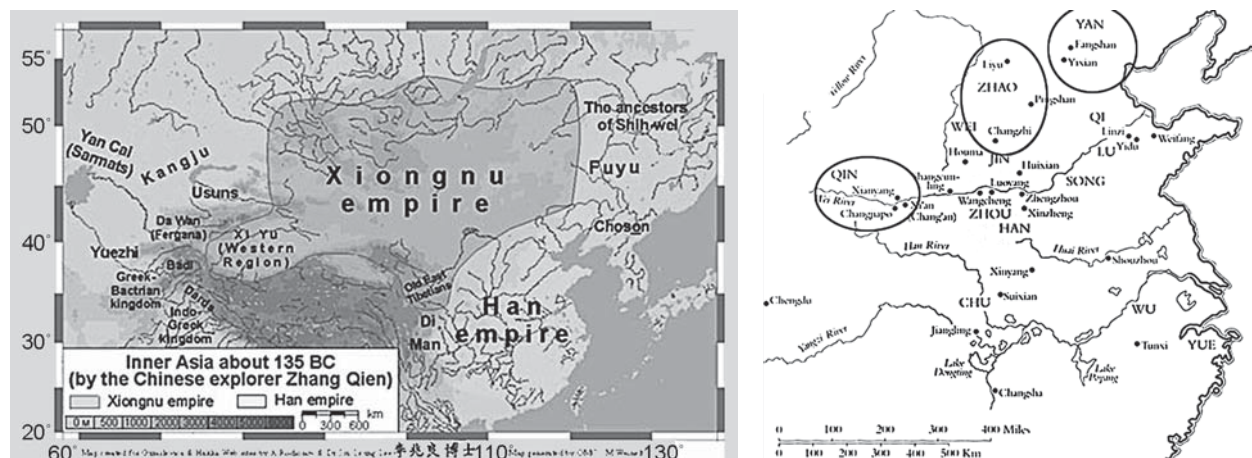


Fig. 4. Maps. Xiongnu Empire (above) 2nd c. BCE. Pre-Qin state (right) 4th c. BCE.

Historical circumstances: Late Zhou Period in the Qin State

The Qin state underwent comprehensive changes in structure and in all walks of life during the pre-imperial period, especially with the creation of a new type of state in the mid-4th century BCE, or at just the same time as the Beikang tomb. For instance, before the mid-4th century, tombs of the elite and commoners from the state of Qin construct burials in a manner parallel to that of the royal Zhou center [Faulkenhausen, 2004, p. 154–157]. This was prescribed by the Zhou ritual system and was a sign of allegiance to, or at least membership in, the larger Zhou political entity. Perhaps the most conspicuous evidence of change in the mid-4th century BCE in the Qin was reliance on indigenous or local traditions in burial patterns, as we see in the metal master's tomb (Fig. 1).

In the mid-Spring and Autumn period (8th – 7th c. BCE), both bronze and ceramic ritual vessels were made according to the Zhou typology, but by the middle of the Warring States period (4th – 3rd c. BCE) there was a rapid abandonment of the use of those bronze and ceramic forms [Shelach, Pines, 2006, p. 212]. At that time, as Shelach and Pines convincingly argue, members of the lower strata of society entered the socio-political arena of the state and changed the 'high culture' of the elite. They argue that under the reign of Lord Xiao ([秦孝公] r.361–338 BCE), and the sway of reformer Shang Yang (商鞅), the Qin developed into a highly independent and self-sufficient state, one with aspirations far grander than simply to be a member of the Zhou confederacy. Changes in the social, military and economic structure of the Qin were emphasized with the purpose of consolidating

and strengthening Qin from within. This had consequences for Qin cultural identity, because along with the demise of aristocratic culture and the decline of the Zhou ritual system, as evidenced by the changes in burial patterns, the Qin came into its own as an independent unit. Although this situation was not unique to the Qin, it was rapid and sweeping there.

The Qin state was located at the edges of Zhou authority and cultural expansion. The region was positioned at the gateway to the west and acted as a buffer zone to the north where it encompassed much of the region now known as the Ordos under the Great Bend of the Yellow River. Long a place that had hosted non-Zhou peoples, it was both environmentally and culturally diverse [Hsu, Linduff, 1985].

The Qin created an 'otherness' for themselves, which was the outcome of deep cultural and political prowess triggered by Shang Yang's reforms. As one of the Warring States, their power was consolidated as a result of (1) the impact of the demise of the hereditary aristocracy which had dominated the Shang and Zhou dynastic practice up until then; (2) the emergence of a tightly organized Qin (frontier) state, which mobilized the populace for economic production and warfare; and (3) the far-reaching impact of mass conscription of men for the Qin military [Shelach, Pines, 2006, p. 220]. The Qin was poised both to stand alone and to conquer.

Perhaps one of the most conspicuous indications of change in the mid-4th century BCE in this 'outer region' was reliance on indigenous or local traditions in burial patterns, including material culture and aesthetic norms that guided the construction of tall stamped earth platforms and decorations for public

buildings on a monumental scale at the new capital at Xianyang, just south of the river in present-day Xi'an [Ibid., p. 214–216]. Certainly this new identity was a by-product of political change, but ideology also must have played an active role. The process of building a new and coherent identity was complex, and demanded internal economic integration, as well as the commercialization of the economy, which could thereby increase regional independence [Ibid., p. 223].

Burial patterns as a barometer of change

Patterns in burial, both in shape and contents, will be of particular interest here and are worth examining as an example of the Qin state's integrative process and as a context for our tomb of the bronze technician. With the rapid abandonment of Zhou-style north–south tomb orientation, funerary artifacts and ritual by mid-4th century BCE, burials of all social strata in the Qin territory began to display an east–west orientation and a flexed position for the body of the deceased. In addition, the placement of the corpse in a separate chamber, or catacomb, of the tomb, and the inclusion of small pointed stone tablets (*gui* 簠) [Teng, 1992, p. 281–300] distinguished their burials customs from those of the other Warring States. Both the east–west orientation and the construction of catacomb tombs were not new in the region, and were in fact known from at least as early as the 5th century BCE at such sites as Yanglang (杨浪) and Daodunzi (倒墩子), and in the 4th and 3rd centuries BCE in Gansu (甘肃) province, territory eventually incorporated into the Qin state. In other words, the east–west orientation was a local style of burial. The contents of these tombs mix bronze objects that are linked in style to the Central Plain (*ge* 戈 daggers) with those associated with steppic taste such as antennae daggers and horse and chariot fittings, as well as the practice of sacrificing of horses, bovines, and sheep to place in burial. [Linduff, 1997, p. 33–54].

The 4th and 3rd centuries BCE were a period of northern expansion as well for the Zhao and Yan (赵燕) states adjacent to the Qin, where populations were mostly settled and where products were exchanged with each other and exported to a new type of 'foreigner' who, according to early Chinese written records, introduced the cavalry into China. The well-known and much repeated story of the King of Zhao adopting cavalry in 307 BCE was as much to give him a military advantage against his peer states as to provide effective means of contact with the so-

called barbarians, designated *hu* (胡) (Fig. 4). From the large amounts of gold found in the remains of the so-called Xiongnu in the Ordos, for example at Xigoupan where the lost-wax lost-textile method was found, it can be seen how the *hu* leadership engaged in trade as well as profited greatly from commerce with several of these border states, including Qin. Relations between the Ordos region and the states to the south were stable from the mid to the late 4th century BCE, as evidenced by records of material and diplomatic exchange, and bore advantages for both sides.

This closing-in between the northern cultures and the Zhou dynastic territory accelerated the blending of dynastic and steppe (*hu*) symbols as witnessed in the Houma designs made for consumption in the dynastic interior, while also resulting in increasing direct importation of Chinese-manufactured artifacts. The latter were clearly a staple of the foundry business, at least in the northern states of Zhao and Qin. Finds in the Ordos such as those in elite burials at Xigoupan (西沟畔) and Aluchaideng (阿鲁柴登) are dated from this later period (late 4th to the 3rd century BCE). At that same time, there was a decisive increase in burials in the Ordos that included a new frontier, or hybrid style of belt buckles and plaques, especially ones that depict animal and human activities [Bunker, 1978]. These subjects were adapted from models from as far away as western Asia, Siberia (Tagar) and the Altai, somehow transmitted to the Ordos region, and were often designed with symmetrical principles so common in Chinese emblems. The images on the models found in the tomb at Beikang bear the eclectic subject matters and styles documented in locations mentioned above.

Luxury articles such as those found at Aluchaideng and Xigoupan presumably express the taste of a new class of leadership in Ordos society – no longer did only weapons represent them in death, but rather chariots and horses and objects made from precious materials such as gold, silver and even jade were included and imply that pageantry including lavish adornment of the body was preferred. Shows of wealth and power were certainly at the center of this display, but the enhancement of personal possessions also points to a new class of individuals whose position was proportional to their success in managing relations with the Chinese and other neighbors. These activities were not only political and diplomatic, but also strongly commercial. Some pastoral peoples were presumably transformed from a warrior aristocracy into diplomat-

ic and commercial agents who monopolized and/or controlled border exchanges with China to their own profit. Coins, for instance, were in regular use by this time and were uniform in type throughout the state of Qin. This manner of exchange was at its highest during the Late Warring States period.

When in 221 BCE the First Emperor of the Qin ordered a campaign against the *hu*, or Xiongnu in the Ordos, the Qin policy of territorial expansion and resettlement of defeated military and refugees from other regions encroached further on the Ordos. Thus the period of stability was over, and another type of change occurred. In the context of political and military dislocation in the Ordos, the situation was compounded by an economic crisis among the pastoralists because of the resulting loss of pasturelands. In that atmosphere the unification of the Xiongnu into an empire took place. At that point the production of objects for the frontier markets changed and many other supply centers emerged outside of China after unification in the Qin and throughout the Han Dynasty, or into the 1st c. CE. But from the late 4th century BCE until the occupation of the Ordos by Qin troops in 221 BCE, as is shown at the tomb at Beikang, even artisans were entitled to burial in the contemporary Qin fashion, and were permitted to be buried with items that identified their profession and position in the local state economy. This new burial practice underlines the importance of such skills in the emerging empire. Clearly 'foreign' trade was part of the new push for economic and political independence by the Qin, and our bronze-caster lived during a high point of metal production and exchange with the outside world. But the dynamics of the new empires, Qin and Xiongnu, had widespread repercussions on many things, including the production of elite metal goods for the Xiongnu and other Eurasian groups. We can see this in the use of the lost-wax lost textile cast objects both inside and outside of the Ordos during the period from the 4th century BCE through the 2nd century CE.

Examples from Eurasia:

Peter the Great Siberian Gold Collection, Sidorovka and Tillya Tepe Plaques and Ornaments (3rd – 1st c. CE)

Golden plaques in Peter the Great Siberian Gold Collection (c. 3rd c. BCE), one excavated at Sidorovka (Sargat Culture, Kurgan I, grave 2; c. 3rd c. BCE) and boot ornaments from Burial 4 at Tillya Tepe (1st c. CE) clearly exhibit remains of textile impres-

sions on their reverse and therefore suggest that up until the 3rd century BCE they may have been imported from the Ordos production centers or later from places that acquired the technology from there. Both the Sargat elite tomb (Kurgan I, grave 2) and those six elite individuals buried at Tillya Tepe also contained Chinese burial goods such as silk fabrics and bronze mirrors.

The technological treatment of these objects, although all exhibit textile impressions on their reverse, was employed in at least three ways that may suggest a chronological sequence.

In China, the reverse of the plaque is flat (Xigoupan, c. 3rd c. BCE; Fig. 1.1, 2).

In Siberia, the reverse is concave (Peter the Great Siberian Gold Collection, Fig. 1.3, 4) the plaque from Sidorovka, (c. 3rd c. BCE; Fig. 3), making openwork casting easier.

In Central Asia, most of the back has a textile impression, but the figural style is more sculptural and so part of the image has no textile impression since it lies above the plane of the plaque (Tillya Tepe, c. 1st c. CE; Fig. 1, 5, 6).

Among the golden objects studied, three categories of iconography are typical (Fig. 5):

a. Animal combat scenes: From the Hermitage: Feline and snake (H8, H10), feline and stag (H19); wolf/stag and tiger (H11); tiger and camel (H15); beaked ungulates and camel (H13); inlaid plaque depicting a hawk and yak (H3); plaque from Sidorovka (3rd c. BCE); and from Xigoupan (c. 3rd c. BCE) in the Ordos.

b. Narrative scenes: From the Hermitage: Hunt scene (H69), Man and woman under Tree (H161); and the boot attachment from Tillya Tepe (Tomb 4, c. 1st c. CE).

c. Heraldic images depicting symmetrically confronting animals (H157); or ornaments (H 27), and bosses (H 99), from the Hermitage.

Importantly, some models with shared subject matter, style and/or type have parallels in pieces excavated in Beikang, the Ordos and/or elsewhere either in Minusinsk or Buryatia, although they are not all made by lost wax/lost textile.

For example, the following example displays a plaque type and iconography that was shared between the late 4th c. and 1st c. BCE across a very wide territory:

Confronting Dragons (Fig. 6):

The golden plaque (H57) from the Hermitage inlaid with semi-precious stones and glass paste, gold, openwork, is a lost/wax/lost-textile cast and

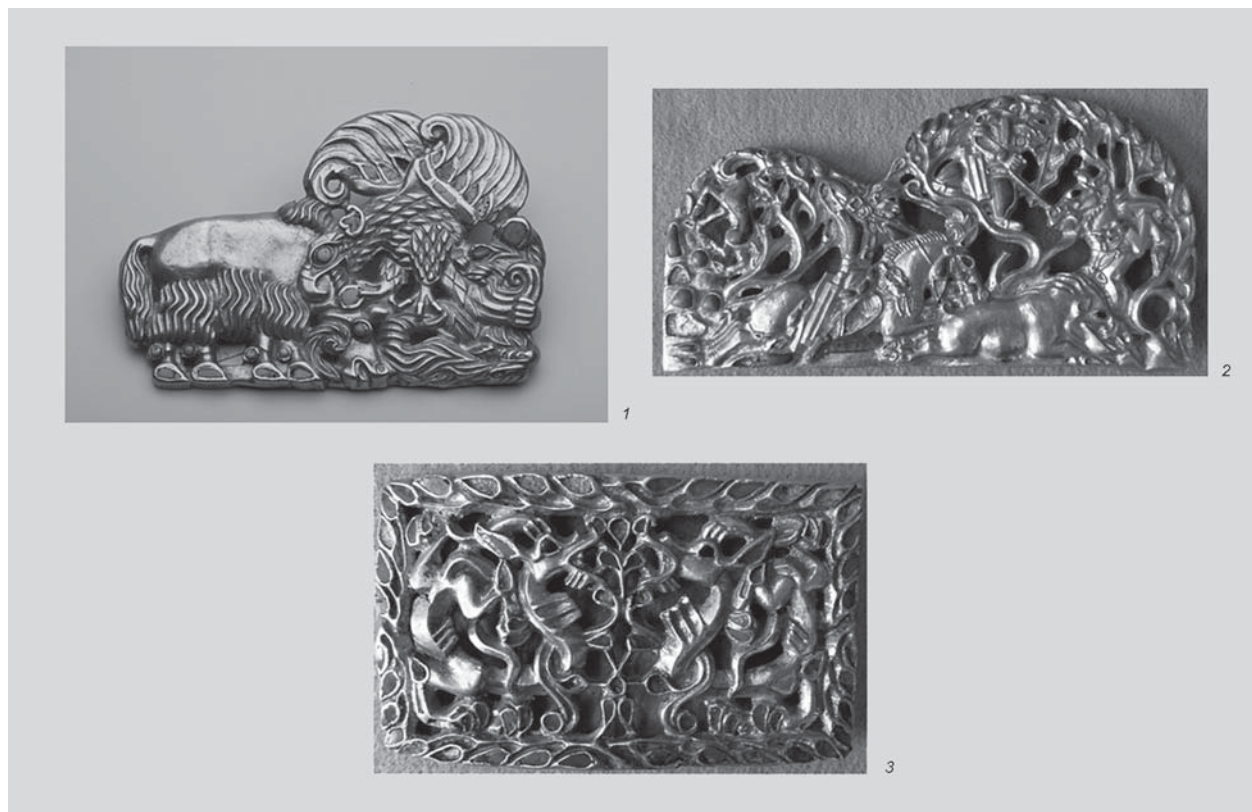


Fig. 5. 1 – type I: Animal Combat Scenes (N. 3, Hermitage); 2 – type II: Narrative Scenes (N. 69, Hermitage); 3 – type III: Heraldic Images (N. 157, Hermitage).

is dated from the 6th c. BCE by Aruz [2002] and to the 3rd c. BCE by Bunker [2002] (Fig. 6, 1). Clearly the dating of this item needs to be rethought in light of the excavations at Sidorovka and of the tomb at Beikang.

The gold plaque inlaid with semi-precious stones and glass paste with confronting lupine-headed dragons from Sidorovka shows some textile impressions with evidence of hammering on its reverse [3rd c. BCE] (Fig. 6, 4). This plaque belongs to the group under investigation and establishes a context for the materials collected and now in the Peter the Great Collection at the Hermitage.

The gilt bronze openwork plaque from the Zhao King's Tomb 2, in Handan, Hebei Province, PRC, dates from the 3rd c. BCE and represents continuity of image and probably production centers in northern China at a period somewhat later than the Beikang tomb (Fig. 6, 2).

The bronze openwork plaque excavated from Tomb 100 at Ivolga, Buryatia dates from the late 3rd – 2nd c. BCE (Fig. 6, 5) and represents the northernmost known reach of the industry.

The bronze openwork plaque excavated at Dao-dunzi, in Tongxin Co., Ningxia, PRC, and dating from the 2nd – 1st c. BCE [Bunker, 2002, p. 47], shows that patronage, and presumably the value, of such items was long-standing (Fig. 6, 3).

This set of plaques shares iconographic and aesthetic features, the Chinese dragon and symmetrical composition, but the technology that produced them varied in important ways. Such examples document a wide geographic distribution of a type that stretches from Mongolia across the Northern Frontier of China to the Minusinsk Basin and western Siberia from the 3rd c. to as late as the 1st c. BCE. This single comparative example raises questions about the place of manufacture and dating of the objects as well as the various socio-economic and/or socio-political positions of their patrons. The gilded bronze example was excavated in a kingly burial context in Handan (Hebei) in present-day northern China that confirms its noble patronage and suggests the same for the inlaid gold plaques from the Peter the Great Siberian Gold Collection and those from Sidorovka [Koryakova, Epimakhov, 2007, p. 303], whereas the bronze openwork

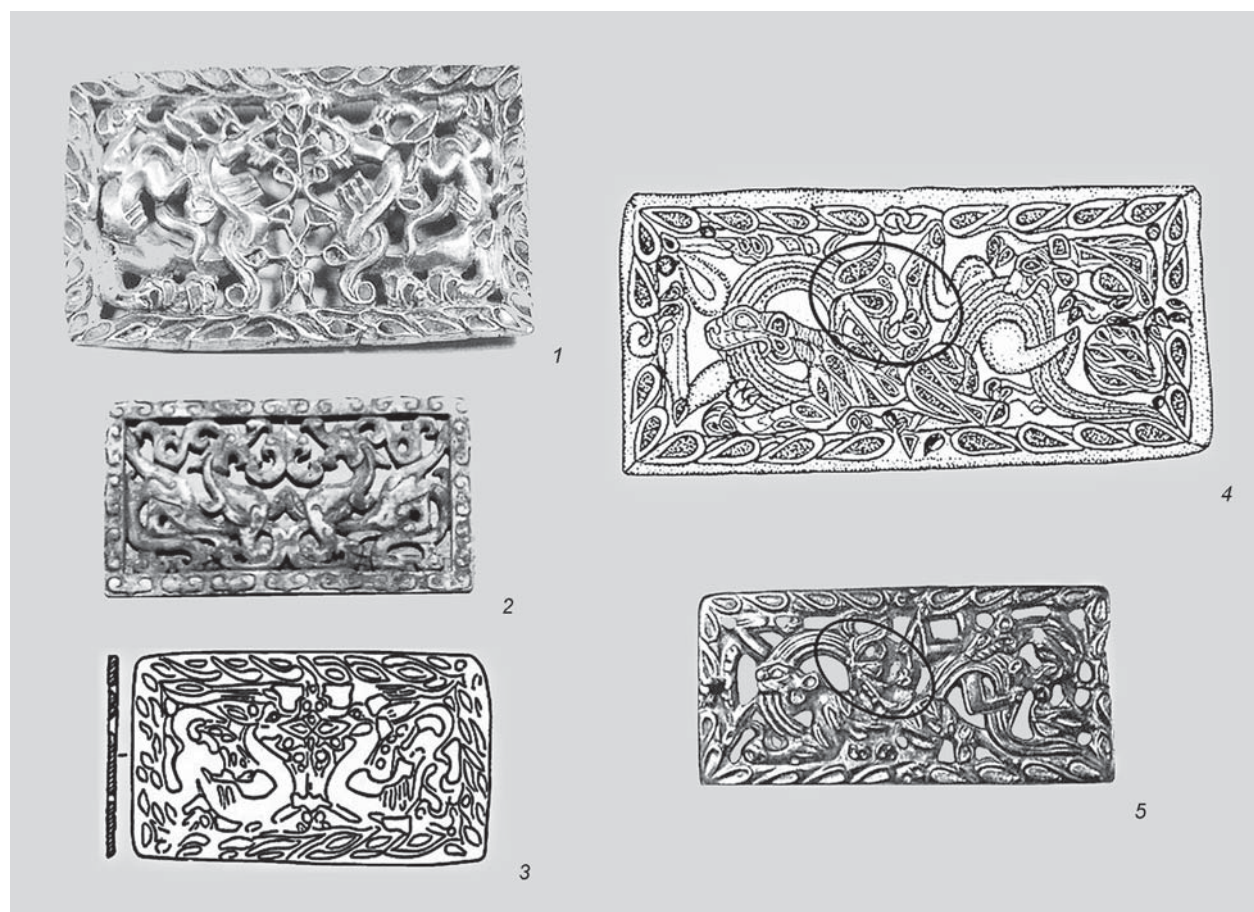


Fig. 6. Plaques depicting confronting Dragons.

1 – Inlaid Gold Plaque, Peter the Great Siberian Collection, The State Hermitage Collection, Sr. Petersburg (N. 157); 2 – Gilded Openwork Bronze Plaque, Zhan King's Tomb, Handan, Hebei, PRC, late 3rd c. BCE (Photo courtesy of Han Jiayao); 3 – Bronze Openwork Plaque, Daodunzi, Shaanxi, PRC, 2nd c. BCE (after: [Linduff, 2008, fig. 9, 10]); 4 – Inlaid Gold Plaque, Sidorovka, Kurgan 2, grave 1, Western Siberia, 3rd c. BCE (after: [Matyushenko, Tataurova, 1997, fig. 27 (top)]); 5 – Openwork Bronze Plaque with Two Tigers and Dragon, Ivolga, Buryatia Republic, Russia, 2nd c. BCE (after: [Davydova, 1971, Pp 124]).

examples from Daodunzi and Ivolga were excavated in more modest burials and are later in date (from the 2nd and 1st c. BCE), and were probably mass items produced for a much less wealthy clientele. This group is not alone in extending our knowledge of the wide distribution of these Ordos style products from Buryatia, Mongolia across the Northern Frontier of China including the Ordos, to Minusinsk and western Siberia, but it also confirms a lively exchange that moved east and west, but also north and south (Fig. 7).

Moreover, the alloying technology of manufacture of these items suggests directional patterns of exchange. The bronze openwork plaque from Ivolga, Buryatia, appears to have been made using an arsenic copper base and thus was likely manufactured in the Minusinsk region according to Devlet [1980], while the plaque from Daodunzi is made of a typical

Chinese recipe of copper-tin-lead, as was probably produced in the Ordos. Although these items represent nearly identical shape and iconography, they were probably manufactured in very distant places. Moreover, the gilded bronze plaque from Handan was made using mercury gilding technology that developed in China no later than the 3rd c. BCE [Bunker, 1992a]. Such representational metal plaques found in Minusinsk and Buryatia presumably are comparable in date, from the 2nd c. BCE. So, no later than that date, tin bronzes produced in the Ordos must have traveled to western Siberia, Minusinsk [Devlet, 1980] and the Transbaikal as documented at Dyrestuy, and arsenic copper artifacts found in the Ordos [Bunker, 2002, p. 98, 101] and at Pokrovka [Yablonsky, 1994, fig. 81] were possibly produced in Minusinsk.

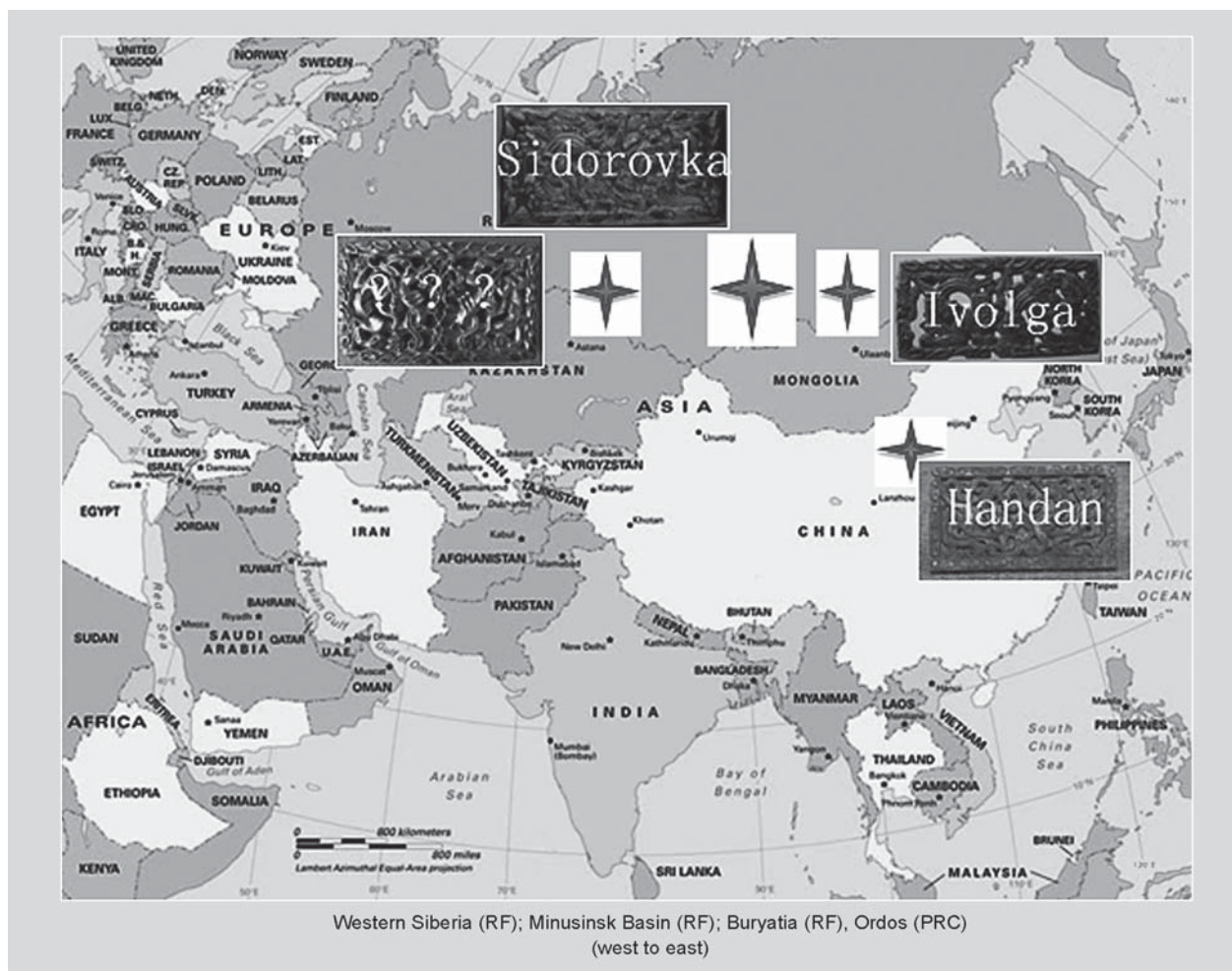


Fig. 7. Map: Find-spots for Confronting Dragon Plaques.

Implications of this Material

This preliminary survey suggests that a commercial industry supplied metal items for markets at the borders of China and beyond to the north and west that probably began there no later than the late 4th c. or early 3rd century BCE. The extent of the exchange with these populations is reflected in the golden items cast with lost-wax/lost textile technology found in Siberia in the Sargat culture sites (Sidorovka) and in several plaques found in the Peter the Great Siberian Gold Collection. Beyond the lost-wax, lost-textile examples, these objects were made using different combinations of metals, and imply that several local workshop practices were in use. Some objects were cast in precious metals of gold and silver, and later in bronze, and were gilded, tinned or silver-plated [Bunker, 2002, p. 28]. The new data from Beikang, the most securely dated of this group of artifacts, con-

firm that solid gold, mercury gilded bronze and simple bronze plaques and ornaments circulated widely across Eurasia, as well as in China at least as early as the 4th c. Items produced in arsenic-copper alloys were probably produced outside of the Zhou dynastic foundries and may have been imported into Dynastic centers.

Perhaps the most provocative implications of this preliminary study are about chronology. The securely dated context suggests that the Ordos was probably an early generating hub for the production and dissemination of objects for use on the frontiers of Zhou and Qin China and the eastern steppe. The initiation of this market and specialized technologies such as the lost-wax/lost-textile casting method, were surely developed to serve communities such as the Ruizhi/Yuezhi (月氏) in the Ordos as early as the 4th century BCE as documented at Beikang. The transmission of the technology and related materials appears

to follow the emergence of the Xiongnu confederation established by Maodun (冒顿) in 209 BCE. By the end of the 3rd century BCE and the defeat of the Ruizhi between 176–160 BCE, the Xiongnu had unified peoples of Eurasia and eastern Asia into a vast steppe empire that rivaled the Chinese empires of Qin and Han. This vast ‘Xiongnu’ network across western and northern China into eastern and northern Eurasia [Devlet, 1980; Miniaev, 1980] must have been the engine that moved these items and technology throughout this area, although it may be the groups they pushed aside who brought both further west [Enoki, Koshelenko, Haidary, 1994]. The complex organization of the Xiongnu empire – from Liaoning Province in the east to Xinjiang in western China and northward through Mongolia to Lake Baikal and the Yenisei River valley in eastern Siberia – created a vast network of potential patrons for all sorts of goods.

This was not an isolated transference of technology and objects. Evidence from burials at Sidorovka, Isakovka and Tillya Tepe document the importation of Chinese objects and products such as glass [Dovgaliuk, 1997], probably in the form of paste at Isakovka; and embroidery technology with gold thread [Pogodin, 1996] that were adopted and adapted by Eurasian artisans. The creation of the Xiongnu empire was accompanied by and contemporary with substantial changes in the metallurgy and iconography of belt plaques that probably served as indicators of group membership as well as by an increase of Chinese luxury goods including bronze mirrors and occasionally vessels of lacquer and silk placed in burials such as at Sidorovka [Matiushchenko, Tataurova, 1997], Tillya Tepe [Robinson, 2008], and in middle Sarmatian graves. That the effect of the Xiongnu on more western areas was likely mediated by other steppe groups is likely, although it is certainly possible that some individuals as well as objects were part of the exchange or movement from east to west as indicated by women with modified skulls (a “hunnic” practice) at Tillya Tepe, Burial 6 in modern Afghanistan [Robinson, 2008, p. 59] and Koktepe (modern Uzbekistan).

The lost-wax/lost-textile technique continued to be used to cast objects of precious metals found in collections where excavation contexts are absent including a silver belt plaque from Shihuigou, Eijin Banner, IMAR (3rd c. BCE) [Beijing..., 1993, N 104]. Perhaps even later under Xianbei patronage when the trade routes were fed at the eastern end by the Han

obsession with good animals (mules, donkeys, camels, and horses of many colors and types), furs, leather, plus carpets, and semiprecious stones (*Yan tie lun* (冒顿)–Discourse on Salt and Iron) the trade continued to be simultaneously fueled by desire for exotic goods from China and Eurasia. Curiously, the market has been documented as far east as Xinzhuangtou (辛庄头) near Yixian (易县) in Hebei Province at the location of the southern capital of the state of Yan at Yanxiadu [Bunker, 1992a, fig. 20], but only rarely in Gansu and Ningxia to the south or in the Dongbei to the coast on the China Sea.

In addition, there were certainly other production centers as well, such as discussed for Minusinsk, and perhaps elsewhere by the late third/second century BCE. Not all of them appear to have used lost-wax/lost-textile technology, but are nevertheless linked to those centers by shared iconography. And although we cannot pinpoint the place and date of manufacture precisely, as a result of this research it would appear that the Peter the Great golden plaques cast in lost-wax/lost textile method need to be redated.

The exchange, therefore, apparently went both ways, since frontier imagery was found and incorporated into a Chinese aesthetic such as was developed at Houma (Fig. 3), and with the imagery of the confronting dragon which incorporated a Chinese icon into a symmetrical composition on a frontier-style belt plaque (Fig. 6) and provided a rich source of materials and ideas for several centuries. This preliminary study of the exchange of luxury goods and the technology that manufactured some of them, hopefully, illustrates the potential for experimentation in the metal industry in the context of interaction and interdependency among peoples of Eurasia and those in the frontier regions as far east as the borderlands of the early Chinese dynasties and as far west as modern day Afghanistan and Ukraine. Finally, we hope that this study shows the potential for taking into account the ‘social life of [these] things’ [Appadurai, 1996] in the context of historical circumstances in frontier zones as a means to evaluate their varied uses and long lives in the process.

References

- AISP**, The Qin Tomb in the Northern Suburb of Xi'an (西安北郊秦墓). – Xi'an: Sanqin Press, 2006. 西安：三秦出版社.
- Appadurai A.** *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. – Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1996.

- Aruz J., Farkas A., Alekseev A., Korylkova E.** The Golden Deer of Eurasia: Scythian and Sarmatian Treasures from the Russian Steppes. – N.Y.: The Metropolitan Museum of Art; New Haven: Yale Univ. Press, 2000.
- Bagley R.W.** What the Bronzes from Hunyuan Tell Us about the Foundry at Houma. *Oriental Art*. – 1995. – January. – P. 46–54.
- Bagley R.W.** Debris from the Houma Foundry // *Oriental Art*. – 1996. – October. – P. 50–69.
- Beijing.** Houma zhutong yizhi. – Beijing: Wenwu chubanshe, 1993. – 2 vols. – (Studies on the Houma Foundry).
- Bunker E. C.** Anecdotal Plaques of the Eastern Eurasian Region // *Denwood Philip. Art of the Eurasian Steppe-land*. – London: Percival David Foundation, 1978. – P. 121–142.
- Bunker E. C.** Sources of Foreign Elements in the Culture of Eastern Zhou // *The Great Bronze Age of China: A Symposium*, ed. George Kuwayama. – Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1983. – P. 84–93.
- Bunker E.C.** Lost Wax Lost Textile // *The Beginning of the Use of Metals and Alloys* / ed. R. Maddin. – Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology Press, 1988. – P. 222–227.
- Bunker E.C.** Sino-Nomadic Art: Eastern Zhou, Qin and Han Artifacts Made for Nomadic Taste // *International Colloquium on Chinese Art History. Proceedings. Pt. 2*. – Taipei: National Palace Museum, 1991. – P. 269–290.
- Bunker E. C.** Significant Changes in Iconography and Technology Among Ancient China's Northwestern Pastoral Neighbors from the Fourth to the First Century B.C. // *Bull. of the Asia Institute*. – 1992a. – N. 6. – P. 99–115.
- Bunker E.C.** Gold Belt Plaques in the Siberian Treasure of Peter the Great: Dates, Origins and Iconography // *Seaman Gary (ed.). Foundations of Empire: Archaeology and Art of the Eurasian Steppes*. – Los Angeles: University of Southern California Press, 1992b.
- Bunker E.C.** Nomadic Art of the Eastern Eurasian Steppe: The Eugene Thaw and Other New York Collections. – N.Y.: The Metropolitan Museum of Art; New Haven and L.: Yale Univ. Press, 2002.
- Davydova A.V.** Ivolginskii Kompleks (Gorodishche i Mogil'nik): Pamyatnik Khunnu v Zabaikal'e (Ivolga Complex (Fortresses and Cemetery). – Hun Remains in Trans-Baikal). – Leningrad, 1985.
- Davydova A.V., Minyaev S.S.** Poyas s bronzovymi blyashkami iz Dyrestuiskogo mogil'nika (Belt with Bronze Plaques in Derestuy Cemetery) // *Sovietskaya Arkheologiya*. – 1988. – N. 4.
- Devlet M.A.** Siberian Openwork Belt Plaques from the Second Century BCE to the First Century CE. – M.: Nauka, 1980.
- Dovgaliuk N.P.** Finds of Chinese Glass Objects in the Territory of Western Siberia // *Russia and the East: Archeology and Ethnic History: Proceedings of the IV International Scholarly Conference "Russia and the East: Issues of Interaction"* / ed. N.A. Tomilov. – Omsk: Omskii gosudarstvennyi universitet, 1997. – P. 42–46. (in Russian).
- Eller J.D.** From Culture to Ethnicity to Conflict: An Anthropological Perspective on Ethnic Conflict. – Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1998.
- Enoki K., Koshelenko G., Haidary Z.** The Yüeh-chih and Their Migrations // *Harmatta J., Puri B.N., Etemadi G.F. History of Civilizations of Central Asia*. – Paris: UNESCO, 1994. Vol. II: The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. – P. 171–189.
- Erdy M.** Archaeological continuity between the Xiongnu and the Huns: Eight Collections Supported by Written Sources // *Danish Society for Central Asia's Electronic Journal*. – 2008.
- Faulkenhausen L. von.** Mortuary Behavior in Pre-Imperial Qin: A Religious Interpretation // *Religion and Chinese Society*. – Vol. 1: Ancient and Medieval China / ed. John Lagerway. – Hong Kong: Chinese Univ. of Hong Kong Press, 2004. – P. 109–172.
- Ferguson B.R., Whitehead N.L.** War in the Tribal Zone: Expanding States and Indigenous Warfare. – Santa Fe, NM: School of American Research Press, 2005.
- Hsu Cho-yun, Linduff K.M.** Western Chou Civilization. – New Haven: Yale Univ. Press, 1985.
- IASP** (Li Xiating (李夏廷) and Liang Ziming (梁子明)). *The Art of the Houma Foundry*. – Princeton: Princeton Univ. Press, 1997.
- Koryakova L.** On the Northern Periphery of the Nomadic World: Research in the Trans-Ural Region // *The Golden Deer of Eurasia: Perspectives on the Steppe Nomads of the Ancient World* / eds. J. Aruz, A. Farkas, E. Valtz Fino. – N.Y.: Metropolitan Museum of Art, 2006. – P. 102–113.
- Koryakova L., Epimakhov A.** The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages. – N.Y.: Cambridge Univ. Press, 2007.
- Linduff K.M.** An Archaeological Overview // *Bunker E.C., Kawami Trudy, Linduff K.M., Wu En. Ancient Bronzes of the Eastern Eurasian Steppe from the Arthur M. Sackler Collections*. – N.Y.: The Arthur M. Sackler Foundation, 1997. – P. 18–98.
- Linduff K.M.** The Gender of Luxury and Power Among the Xiongnu in Eastern Eurasia // *Are All Warriors Male? Gender Roles on the Ancient Eurasian Steppe* / eds. K.M. Linduff, K.S. Rubinson. – Latham, MD: AltaMira Press; Roman & Littlefield Publishing, Inc., 2008. – P. 175–212.
- Linduff K.M.** Chinese Production of Signature Artifacts for the Nomad Market in Zhou China // *Mei Jianjun, Rerhen Thilo. Metallurgy and Civilisation: Eurasia and Beyond*. – L.: Archetype Publications, 2009. – P. 90–96.
- Matiushchenko V.I., Tataurova L.V.** The Sidorovka Cemetery in Pre-Irtysh Omsk. – Novosibirsk: Nauka, 1997. (in Russian).
- Miniaev S.S.** The production and distribution of belt plaques with zoomorphic imagery (according to spectral analysis data). – M.: Nauka, 1980. – P. 29–31. (in Russian).
- Pogodin A.** Zolotnoe shit'e Zapadnoi Sibiri (pervaya polovina I tys. n.e.) // *Istoricheskiy ejegodnik* / ed. A.V. Iakub. – Omsk: Omsk State Univ., 1996. – P. 123–134.
- Parker B.J.** Toward Understanding of Borderland Processes // *Amer. Antiquity*. – 2006. – Vol. 17, № 1. – P. 77–100.
- Parker P.M.** *The Archaeology of Death and Burial*. – College Station: Texas A and Univ. Press, 1999.
- Pratt M.L.** *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*. – L.: Routledge, 1992.

Rubinson K.S. Tillya Tepe: Aspects of Gender and Cultural Identity // *Are All Warriors Male? Gender Roles on the Ancient Eurasian Steppe* / eds. K.M. Linduff, K.S. Robinson. – Latham, MD: AltaMira Press; Roman & Littlefield Publishing, Inc., 2008. – P. 51–63.

Rudenko S.I. *Sibirskaya kollektsiya Petra I.* – Leningrad: Izd-vo Akademii nauk, 1962.

Shelach G., Pines Y. Secondary State Formation and the Development of Local Identity: Change and Continuity in the State of Qin (770–221 BC) // *Stark M.T. Archaeology of Asia.* – Malden, MA; Oxford (UK); Carlton, Victoria (Australia): Blackwell Publishing Ltd., 2006. – P. 202–230.

Tambiah S. *Leveling Crowds: Ethnonationalist Conflicts and Collective Violence in South Asia.* – Berkeley: Univ. of California Press, 1996.

Taussig M. *Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing.* – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1995.

Teng M. (滕铭予) 关中秦墓研究 (A study of the Qin tombs in the Guanzhong region) // *Acta Archaeologica Sinica.* – 1992. – N. 3. – P. 281–300.

Tian G. (田广金), **Guo Suxin** (郭素新). 鄂尔多斯式青铜器 (Erdos-type Bronzes). – Beijing: Wenwu Press, 1986.

Torres-Rouff C., Yablonsky L.T. Cranial vault modification as a cultural artifact: a comparison of the Eurasian steppes and the Andes // *J. of Comparative Human Biology.* – 1995. – N. 56. – P. 1–16.

Whitehead N.L. While Tulips, Black Caribs and Civilized Indians: The rhetoric of ethnic transgression in the colonial possession of South America: Paper presented at the 20th Burdock-Vary Symposium, Madison Wisconsin. – 1997a.

Whitehead N.L. Monstrosity and marvel: Symbolic convergence and mimetic elaboration in trans-cultural representation // *Studies in Travel Writing.* – 1997b. – N. 1. – P. 72–96.

Yablonsky L. *Kurgany Levoberezhnogo Ilekha.* – M.: Institute of Archaeology, Russian Academy of Science, 1994.

Yue L. (岳连建) 西安北郊战国铸铜工匠墓发掘简报 (Preliminary excavation report of the Warring States period tomb of a bronze caster in the northern suburbs of Xi'an) // *文物 (Cultural Relics).* – 2003. – N. 9. – P. 4–14.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКИФОВ ИЗ ДЖУНГАРИИ: ОСНОВАНИЯ ГИПОТЕЗЫ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Вопрос о происхождении скифов, известных нам под этим именем из исторических источников, должен решаться совершенно иным способом, нежели вопрос о происхождении, например, «скифской триады», поскольку многие характерные признаки «скифской» культуры (формы вооружения, стиль изображений животных и т.п.) определяют материальную культуру степей Евразии раннего железного века в целом, и исследуя их истоки, мы можем в лучшем случае решить вопрос о происхождении культурного единства раннескифского времени, сложение которого могло происходить как путем миграций, так и путем диффузии различных стилей и идеологических представлений. В то же время, судя по материалам исторических источников, в европейские степи под именем «скифов» проникла только часть азиатских кочевых народов: обособленное племя (племена), вытесненное из Азии другими народами. Если действительно скифы появились на западе в результате миграции в то время, когда степное население уже было объединено распространением скифского звериного стиля, новых типов вооружения и конской упряжи, то их материальная культура, за небольшими исключениями, могла полностью совпадать с культурой окружавших их и ранее и позднее кочевых племен.

Поэтому именно исключения должны быть в центре нашего внимания. Другими словами, если мы, следуя сведениям древнегреческих и переднеазиатских источников, желаем определить исходный пункт продвижения в Северное Причерноморье, Предкавказье и Переднюю Азию отдельного племени «скифов» – «шкуда (и/ашкуза)», нам придется вначале определить, какие инновации появляются в материальной культуре на-

селения именно этих территорий именно в VII в. до н.э., объединяя их – с одной стороны, и отделяя от культуры иных земель – с другой. При этом достаточно самого общего и общепризнанного представления о пребывании скифов на Древнем Востоке и в европейских степях: ведь сегодня не вызывает дискуссий тот факт, что скифы с первой половины VII в. до н.э. вступают в контакты с государствами Переднего Востока и, как минимум, со второй половины VII в. проникают в Северное Причерноморье и Предкавказье [Алексеев, 2003, с. 97–129]. Выявление таких признаков в комплексах на отдаленных территориях станет свидетельством миграции населения – «скифов», если исходить из общепризнанной версии.

Дополнительно можно привлечь и иные свидетельства об этноопределяющих признаках материальной культуры кочевников раннескифского времени. К счастью, на сегодняшний день есть обоснованная гипотеза о существовании таких этнических индикаторов.

Еще в 1950 г. М.П. Грязнов, детально исследовав технические приемы, использовавшиеся при изготовлении деталей узды лошадей, захороненных в Пазырыкских курганах, предположил, что уздечные наборы различных типов были изготовлены различными мастерами, принадлежавшими, по-видимости, различным этническим образованиям, подношениями от которых умершему «вождю» были сами кони [1950, с. 70]. Это предположение нашло себе блестящее подтверждение в материалах исследованного М.П. Грязновым и М.Х. Маннай-оолом кургана Аржан [Грязнов, 1980; Grjaznov, 1984] (рис. 1). В семи камерах южной и восточной частей кургана были захоронены семь групп лошадей с бронзовыми и рого-

выми псалями «аржанского типа», как его обозначил М.П. Грязнов, – «слабоизогнутый стержень с тремя круглыми отверстиями, грибовидной шляпкой наверху и конической головкой на тонкой шейке внизу». Каждая из групп, по наблюдениям Грязнова, имеет отличия от других в различных деталях, что говорит о принадлежности их к разным «этнографическим подразделениям». Уздечные наборы четырех камер северной половины кургана резко отличаются по типу от вышеописанных: в камере 26 обнаружены бронзовые трехдырчатые слабоизогнутые псаля с семи уздечек с заостренными концами, в камере 37 – трехдырчатые прямые роговые псаля девяти уздечек с уплощенным верхом и закругленной нижней частью, в камере 34 – псалий в виде прямого стержня с тремя колечками-дырками, в камере 31 – десять лошадей с деревянными (?) псалями и не встреченными в других камерах кабаньими клыками у черепа. Эти группы лошадей, по мнению М.П. Грязнова, были подношениями от соседних, не подчинявшихся «царю» племен. Обнаруженные в Аржане останки лошадей (не менее 160) принадлежали жеребцам не моложе 12–15 лет, что, по мнению исследователя, исключает гипотезу о захоронении здесь «табунов», принадлежащих вождю, поскольку поголовье табуна состоит в значительной части из молодняка и кобылиц. Тогда же М.П. Грязнов обращает внимание и на группировку лошадей в Келермесских курганах, раскопанных Н.И. Веселовским [Грязнов, 1978, с. 13–14, рис. 2, 3; 1980, с. 49–50, рис. 30].

Публикация Н.И. Веселовского 1907 г. в силу своей краткости, к сожалению, не могла позволить М.П. Грязнову в полной мере использовать эти материалы для подкрепления своей гипотезы. В 1983 г. Л.К. Галанина опубликовала материалы из конских захоронений Келермесских курганов, раскопанных в 1903–1904 гг.; немецкий перевод этой публикации был издан в 1985 г.; также эти материалы вошли в монографию Л.К. Галаниной

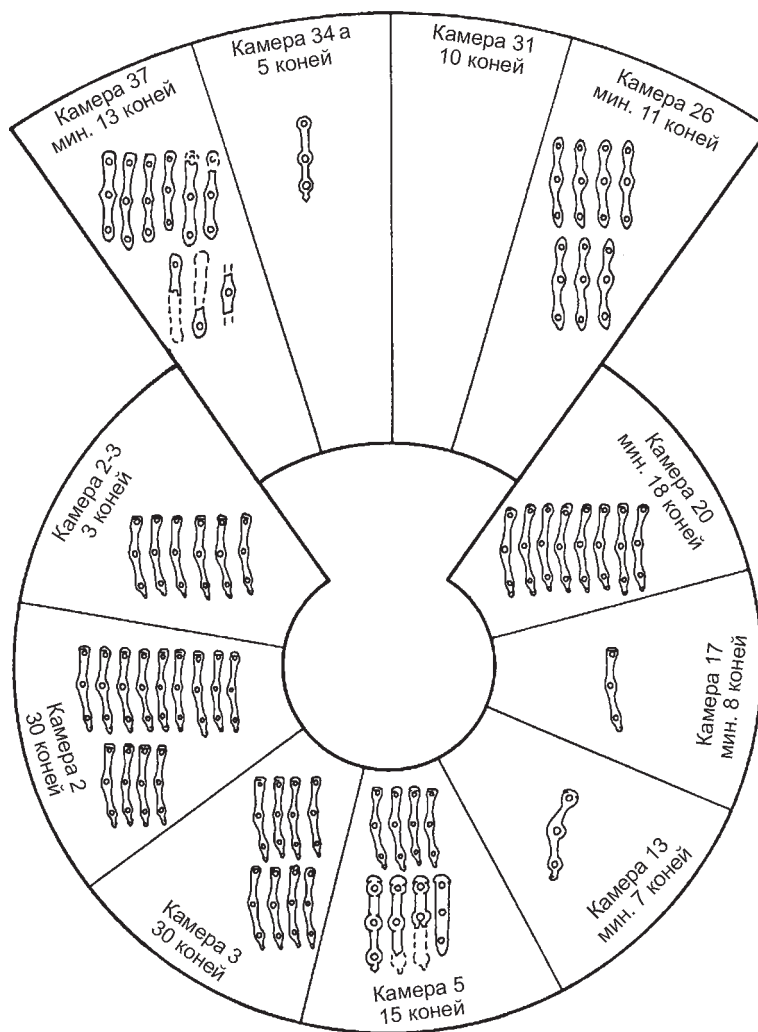


Рис. 1. Распределение типов псалиев по группам коней в кургане Аржан (схема по: [Грязнов, 1980]).

1997 г. [Галанина, 1983; Galanina, 1985; Галанина, 1997, с. 52–56, 118–121].

В кургане 1 (В) (первом, раскопанном Веселовским) вдоль южного края могильной ямы были уложены рядом с запада на восток 12 коней (по нумерации Л.К. Галаниной кони 13 (1) – 24 (12)). Этот ряд проявляет четкую бинарную оппозицию по типу и составу уздечной гарнитуры (далее группы I (кони 1–6) и II (кони 7–12)) (рис. 2).

Первый и второй кони с запада в группе I имели бронзовые удила со стремечковидными окончаниями, а также богатое убранство из тисненой золотой фольги: по налобнику, по две обкладки больших дисковидных фаларов, по четыре дисковидных обкладки малых фаларов, по четыре подпрямоугольные накладки, а первый конь

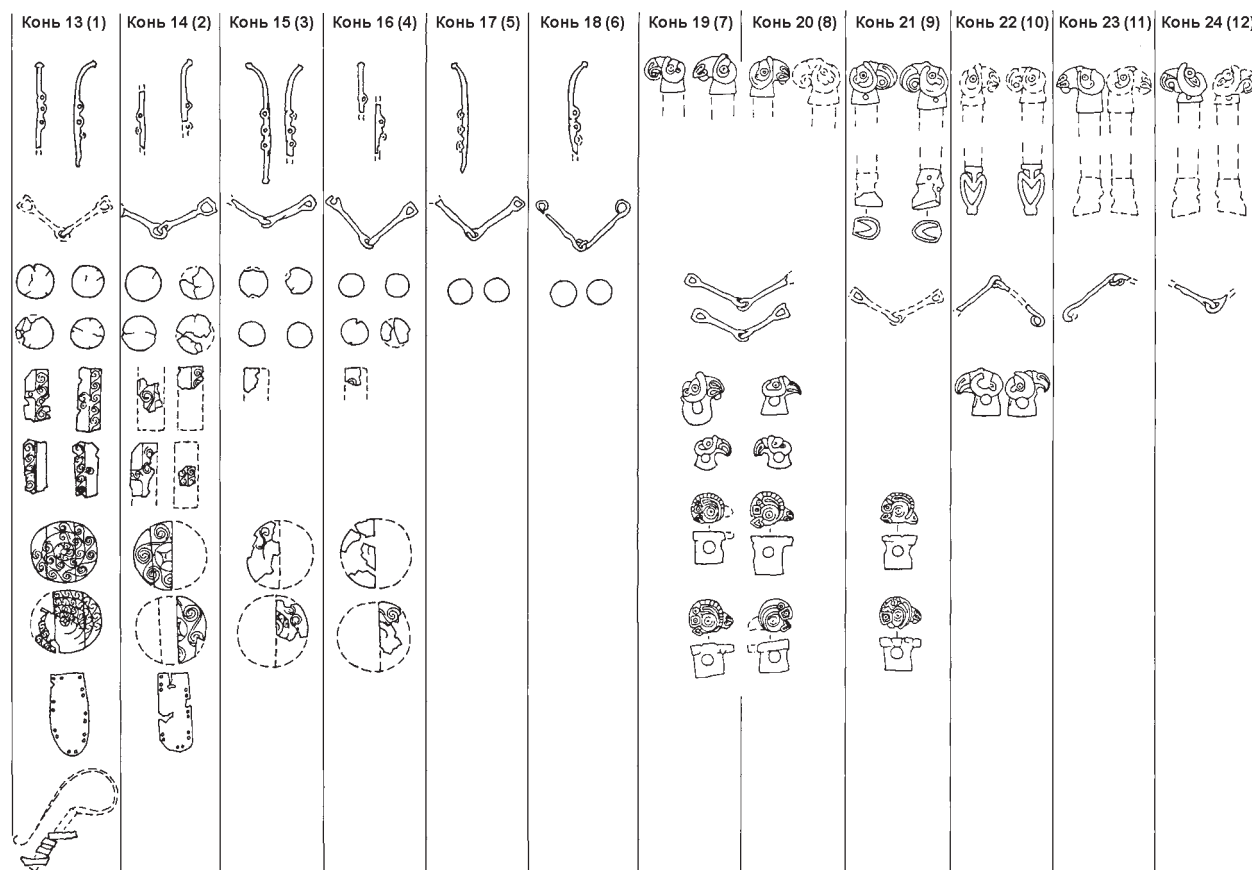


Рис. 2. Распределение инвентаря коней, уложенных на южный край могильной ямы Келермесского кургана 1(В) (схема по: [Галанина, 1983]).

(конь 1) – еще и нагайку с рукоятью, обвитой золотой лентой. В уздечный набор следующих двух коней (кони 3, 4) входили удила со стремечковидными окончаниями, но уже из железа, а также по два больших и по четыре малых фалара, а также подпрямоугольные пластины, но здесь не было налобников, а большие фалары состояли из двух частей, а не из трех, как на предыдущих конях. Головные уборы двух последних коней (кони 5, 6) имели только по два обложенных золотой фольгой малых фалара, один из коней имел железные удила со стремечковидными окончаниями, другой – с кольцевидными петлями.

Первые три с запада коня (кони 7, 8, 9) в группе II имели железные удила со стремечковидными окончаниями, в их уздечный убор входили ременные пронизы со скульптурным изображением головки грифобарана, а также пронизы с плоским изображением бараньей головы. В убор следующего коня (конь 10) входили железные удила с кольцевидными петлями, свернутыми из железно-

го прута, и пронизы со скульптурными головками грифобарана. Пятый конь (конь 11) был снабжен железными удилами с такими же кольцевидными петлями, однако костяных пронизей при нем не было (возможно, не сохранились?). Окончания удил шестого коня (конь 12) не сохранились, пронизей при нем также не обнаружено.

Фалары «западной» группы (группа I) имеют геометрическую орнаментацию в виде бегущей спирали и сильно стилизованных ромбов с вогнутыми сторонами, внутри которых располагаются кружки. Тем самым, как справедливо отметила Л.К. Галанина, эти предметы объединяются с находками новочеркасского круга [1983, с. 41–42]. Вторая группа лошадей (группа II), напротив, снабжена уздечными наборами с орнаментацией в скифском зверином стиле.

Кони в каждой из двух групп по шесть особей были уложены в порядке убывания богатства их убора с запада на восток, на что обратила внимание в публикации и Л.К. Галанина.

Итак, мы имеем уложенные рядом друг с другом две группы по шесть коней, противопоставленные по типам элементов гарнитуры, причем внутри каждой из групп наблюдается иерархия – от наиболее богатого убора западного коня до наиболее бедного – восточного. Такая группировка имеет несомненно знаковый характер.

Л.К. Галанина сочла различия в богатстве убранства коней свидетельством имущественной дифференциации, «социальной иерархии», а «пережиточные элементы новочеркасской поры», такие как орнаментация фаларов, использовала для удревнения Келермесских курганов 1/В и 2/В [1983, с. 39–43; 1997, с. 178–180, 208]. Однако независимо от того, как датируются на самом деле Келермесские курганы, находка даже целого «комплекса» предскифских черт в кургане 1 (В) не может дать основания для сдвига их датировки в пределах такого краткого времени, как 50 лет. Она не говорит ни о чем, кроме того, что какое-то время «скифы» и «новочеркасское» по культуре население существовали параллельно, и традиции предскифского периода сохранялись. Сколь длительным был этот период, сегодня никто сказать не может. Сомнительная идея «социальной стратификации» коней внутри рассматриваемых групп («золотые кони» якобы символизируют дружинников, остальные – «прочую свиту» – см.: [Она же, 1997, с. 208] в то же время никак не объясняет то, что эти группы парны и противопоставлены друг другу.

А вот поразительная аналогия 1 (В) Келермесского кургана и Аржана, ярчайшим образом подтверждающая гипотезу М.П. Грязнова о поднесении лошадей группами от различных этнополитических образований, к сожалению, в публикации 1983 г. никак не была отражена. В 1987 г. я опубликовал в материалах исторических чтений, посвященных памяти М.П. Грязнова, небольшую статью, где по аналогии с аржанскими материалами пришел к выводу, что в кургане 1 (В) мы имеем дело с захоронениями двух шестерок коней, поднесенных двумя различными этническими образованиями [Ковалев, 1987]. Считая «восточную» шестерку собственно «скифской», я предположил, что псалии с костяными наконечниками в виде головок баранов и грифобаранов и окончаниями в виде копыт, а также их костяные аналоги являются этноопределяющими признаками скифов, исследуя которые, мы можем проследить на археологическом материале пути передвиже-

ния раннескифских племен. Впоследствии эти выводы были включены мною еще в ряд публикаций [Ковалев, 1996, 1998, 2007; Kovalev, 1999].

Отклика на это выступление не последовало. В 1994 г. Л.К. Галанина отметила аналогию Келермесских курганов и Аржана в части «группировки погребенных коней в зависимости от видов их уздечного снаряжения», однако не признала такую группировку признаком полиэтничности [1994, с. 22], а в 1997 г. в своей монографии без ссылки на мою публикацию сообщила, что в Келермесских курганах «обычай размещения жертвенных коней двумя группами», возможно, является отражением «бинарной этнической структуры рассматриваемого коллектива» [1997, с. 208] (из текста не ясно, имеется ли в виду бинарная группировка шестерок коней южного ряда в кургане 1/В (о которой шла речь в моих тезисах 1987 г.) или распределение коней по 12 особей в южной и западной группах). В монографии А.Ю. Алексеева, специально уделившего внимание поиску этноопределяющих черт культуры европейских скифов, нет, к сожалению, вообще ни слова о бинарной оппозиции групп захороненных коней из кургана 1 (В) [2003]. Проигнорировал информацию о структуре захоронения коней в кургане 1 (В) и Ю.Б. Полидович, рассматривающий в своей статье 2004 г. все «зооморфно оформленные» псалии скифского времени наподобие единой аморфной массы [2004]. М.Н. Погребова поставила под сомнение этническую атрибуцию этого типа псалиев на основании их внутренних «отличий» и наличия псалиев в «форме животного» в иных культурах, но обошла молчанием контрпункт гипотезы – распределение коней по их убранству в кургане 1 (В) [2006, с. 180].

Между тем, сочетание уздечных наборов, включавших деревянные псалии с костяными наконечниками в форме головок грифобарана и окончаниями в форме копыта, с наборами, включавшими железные стержневидные трехпестельчатые псалии, выявлено в соседнем Келермесском кургане 2 (В) [Галанина, 1983, с. 35, 47], гробницах 1 и 2 кургана Репяховатая Могила [Ильинская и др., 1980, с. 33–47]. В кургане Нартан 12 (хронологическая группа Б – ок. 650–620 гг. до н.э. по: [Алексеев, 2003, с. 107–108] были обнаружены пять скелетов лошадей, уложенных в ряд головой на юго-восток. Крайний с юго-западной стороны конь имел бронзовые удила со стремечковидными окончаниями и костяные псалии с головкой бара-

на, а остальные четыре коня – железные удила и железные трехплетчатые стержневидные псалии. В кургане 18 (та же группа Б по А.Ю. Алексееву) обнаружены скелеты трех лошадей, уложенных головами на юго-восток, причем крайняя с северо-восточной стороны лошадь имела костяные трехдырчатые псалии с зооморфным завершением, а две остальные – железные псалии [Батчаев, 1985, с. 31–32, 38–39, табл. 32–33, 44–45]. В этих двух курганах, где удалось зафиксировать расположение лошадей с уздечными наборами двух разных видов, лошади с костяными псалиями уложены не посреди иных лошадей, а с краю, что в контексте келермесских материалов служит еще одним свидетельством истинности гипотезы Грязнова.

Кроме того, как было показано мною в статье 1999 г. [Kovalev, 1999], костяные пластинчатые трехдырчатые псалии с изображениями головы животного на одном конце и копыта – на другом (как и их деревянные имитации) – единственный в своем роде массовый материал, который был распространен в VII–VI вв. до н.э. на всех без исключения – и только на тех – территориях, где, по данным исторических источников, в это время обитали и действовали скифы: северопричерноморские степи и лесостепи, Предкавказье, Закавказье, район Маннейского царства. Ни один другой тип предметов в начале раннего железного века не является специфичным для кочевнических памятников того же периода всех этих земель. Приведем перечень их находок из нашей публикации [Kovalev, 1999, с. 256–259] с учетом вновь опубликованных материалов.

В курганах Посулья, как следует из публикации В.А. Ильинской, найдено не менее 120 пар костяных псалиев, подавляющее большинство из которых трехдырчатые пластинчатые, с изображением головы барана, грифобарана, «пантеры», коня на одном конце и копыта на другом; псалии без навершия интерпретируются исследователем как обломанные [1968, с. 106–107]. (Здесь и далее без комментариев приводятся псалии с навершиями в виде барана или грифобарана.) В том числе такие псалии обнаружены в погребальных комплексах у с. Аксютинцы: Стайкин верх, к. 1 (Старшая Могила) (13 пар, в т.ч. 5 с гол. лошади и пантеры), к. 4 (2 пары с гол. пантеры (?)), Солодка, к. 1 (Балябина могила) (2 пары, стилиз.), к. 2 (1 пара), Аксютинцы, к. 466 (1 шт., стилиз.), к. 467 (5 пар, в т.ч. 3 стилиз.), к. 468 (1 шт.), к. 469 (1 шт.), к. 470

(5 непарных экз., в т.ч. 3 с гол. пантеры, 2 обл.), к. 2 (1886 г.) (1 пара с гол. лошади), к. 2 (раскопки Мазараки, колл. Киевского исторического музея) (13 пар, в т.ч. 8 с гол. пантеры, 1 стилиз.); у с. Басовка: к. Б (1 пара, стилиз.); у с. Великие Будки: к. в уроч. Провалье (1 пара с гол. лошади), к. у с. Будки (1 пара с гол. лошади); у с. Волковцы: к. 1 (1886 г.) (1 шт.), к. 2 (1886 г.) (4 пары, в т.ч. 3 с гол. пантеры), к. 9 (1886 г.) (5 пар, в т.ч. 4 с гол. лошади или пантеры), к. 12 (1886 г.) (3 шт. с гол. лошади или пантеры), к. у хут. Шумейко (18 пар с гол. лошади), к. 477 (1 пара с гол. лошади), к. 478 (2 пары, стилиз.), к. 3 (раск. Линниченко) (2 пары, в т.ч. одна – с гол. лошади); у хут. Поповка: 1 экз., не атрибутирован [Ильинская, 1968, с. 25, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 60, рис. 19, 23, 25, табл. 4, 9 (2, 3), 12 (2, 3, 19), 13 (3, 13–17, 21), 14 (11, 15–19), 19 (4), 20 (7–19), 30 (9, 10), 32 (1, 10), 34 (1–4), 35 (14–9), 36 (6, 7, 21), 39 (4, 5), 53 (20); Галанина, 1977, с. 35, 38, 42, 46, 50, табл. 18 (3, 8, 9, 11, 12, 19, 20), 19 (2, 7), 20 (2, 3, 4, 5, 7, 9), 22 (1), 23 (2, 3), 27 (4, 5)]. Ряд псалиев указанного типа найден в памятниках бассейна реки Псла: Броварки, к. 503 (одна пара, стилиз.), к. 505 (три обл.) [Галанина, 1977, с. 50, табл. 28 (15, 16), 29 (19, 21, 23)]; не менее 6 фрагментированных псалиев с сильно стилизованными изображениями животных (некоторые представляют собой заготовки) найдено при раскопках Бельского городища (среднее течение Ворсклы) [Граков, 1971, с. 156, 158, рис. на с. 159; Шрамко, 1987, с. 88, рис. 38 (1–9)]. В Правобережной Лесостепи костяные псалии обнаружены в погребальных комплексах у с. Грушевка: к. 390 (обломки), у с. Гуляй-Город: к. 38 (6 фрагментированных), к. 40 (2 пары, одна с головами пантеры), к. 308 (обломок), у с. Жаботин: к. 2 (1 пара), у с. Журовка: к. 407 (4 экз.), к. 432 (1 пара), к. 448 (обломки), один вне комплекса, с головками пантер с обоих концов, у с. Теклино: к. 346 (2 пары без навершия), у с. Турия: к. 506 (обломки), у г. Шпола: курган в ур. Дарьевка (обломок – головка грифона) [Ильинская, 1975, с. 13–17, 24, 25, 41, 53, 110–111, рис. 8, табл. 2 (24, 25, 38–41), 3 (1–4), 6 (10, 11), 10 (4), 12 (1), 25 (11, 20), 36 (4)]; псалий подтреугольного сечения, с изображением копыта на одном конце и приостренный на другом, найден на поселении Тарасова гора у с. Жаботин [Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989, с. 54, рис. 8, 33]; четыре (шесть?) фрагмента и одна заготовка псалия найдены при раскопках Трахтемировско-

го городища, обломок такого псалия с головкой барана найден у с. Берестняги (бассейн р. Рось) [Ковпаненко, 1981, с. 111, рис. 61, 13; Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 269; Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989, с. 54, рис. 8, 34]; как уже говорилось, по одной паре деревянных имитаций таких псалиев находилось в могилах 1 и 2 кургана Репяховатая Могила у с. Матусов на Черкасщине [Ильинская и др., 1980, с. 33–47]. В сводке Ю.Б. Полидовича [Полидович, 2004, с. 149–150] кроме того приведены ссылки на находки трехдырчатых зооморфно оформленных псалиев на Немировском и Мотронинском городищах, на поселениях Пожарная Балка II, Лихачевка, Иванэ-Пустэ, Марица, а также в Карпато-Дунайском регионе. Как минимум, один псалий (обломок) обнаружен в Потисье (Венгрия) – погребение в Матраселе [Мелюкова, 1989, с. 90, табл. 30(37)]. В раннескифских погребениях Северного Причерноморья встречен только один псалий указанного типа – в погребении у хут. Грушевка (Запорожская область) [Мурзин, 1984, с. 16, 81, рис. 5, 10]. Один костяной псалий с головой грифобарана был найден у с. Рысайкино у Бугуруслана в Южном Приуралье [Смирнов, 1964, с. 77 (2)]; эта самая отдаленная от Причерноморской Скифии находка такого псалия представляет следствие влияния скифов уже после их переднеазиатских походов, о чем говорит то, что на нем обнаружена арамейская надпись [Чежина, 1989].

На Северном Кавказе, как уже говорилось, шесть пар деревянных псалиев с костяными наконечниками находилось в Келермесском кургане 1 (В), не менее пяти – в кургане 2 (В) [Галанина, 1983, с. 45–49; 1997, с. 52–67]. Комплекты таких же псалиев были найдены в курганах 5, 10, 13, 14 Новозаведенного II могильника, а в кургане 16 того же могильника – два комплекта костяных трехдырчатых псалиев с головками грифобаранов [Петренко, 1990, с. 68; Петренко, Маслов, Канторович, 2000, с. 245, рис. 2А, 3, 4, 8, 5, 5, 12]. Кроме того, ряд комплектов костяных псалиев был обнаружен в могильнике Нартан: к. 14 (3 пары), 16 (1 пара, фрагм.), 18 (1 пара, с гол. рогатой пантеры), 23 (1 пара) [Батчаев, 1985, с. 34, 36, 37, 39, 43, табл. 37 (4–9), 39 (44, 45), 41 (28–30), 45(34–35), 53 (4, 5)].

В Закавказье и Северо-Западном Иране такие псалии встречены в Тлийском могильнике: п. 68 (3 шт. с обломанной верхней частью) [Техов, 1985, с. 9–10, табл. 108 (5–9)], в п. 106 могиль-

ника Самтавро (обломок головы грифобарана, 4 фрагмента нижних частей) [Абрамишвили, 1957, с. 115–117, табл. 1 (41, 42); Пирцхалава, 1978, рис. 3], в Брильском могильнике (костяные наконечники деревянных псалиев в виде головы грифобарана и копыта) [Гобеджишвили, 1952, с. 100, табл. 46]; в урартских памятниках: помещении 18 Кармир-Блура (Тейшебаини) (одна пара, концы обгорели), в Аргиштихинили (1 шт.) [Есаян, Погребова, 1985, с. 93, 96, 99, табл. 15 (5, 7), 16 (12)], в Чавуштепе (2 экз. с обломанной нижней частью), в III слое Хасанлу (2 экз. с обломанной нижней частью); а также в районе маннейской столицы Изирту – на поселении Капланту (4 шт.) и на мидийской крепости Нуш-и Джан (обломок нижней части с копытом) [Иванчик, 2001, с. 65, рис. 27, 6].

Интересно, что регион распространения псалиев описанного типа в Западной Азии совпадает с районом пребывания именно «и/ашкуза», известным нам по переднеазиатским письменным источникам. Дискуссия последних десятилетий наглядно показала, что при общей схожести материальной культуры («скифский тип») переднеазиатских «скифов» и «киммерийцев» эти народы имели различную территорию распространения. В отличие от «Gimir(r)āia», активно действовавших как на севере от Ассирии, так и в центральной и западной частях Малой Азии, «I/aškuzāia» = «скифы» по крайней мере в течение первых трех четвертей VII в. до н.э. локализовались только лишь на ограниченной территории на северо-восток от Ассирии: в районе озера Урмия и Маннейского царства [Алексеев, Качалова, Тохтасьев, 1993; Иванчик, 2001, с. 16–20; Алексеев, 2003, с. 94–102; Медведская, 2010, с. 179–217]. Как раз здесь и найдены «раннескифские» костяные пластинчатые псалии: Чавуштепе, Хасанлу, Капланту, Нуш-и Джан. Западнее такие псалии не обнаружены, зато в районе действий «киммерийцев» – Анатолии – в первом слое Богазкея (вторая четверть – середина VII в. до н.э.) найден псалий «альтернативного» типа – трехпестельчатый железный с загнутым окончанием [Иванчик, 2001, с. 68].

Истоки железных стержневидных трехпестельчатых псалиев, как это считал еще А.А. Иессен [1953, с. 52–56; 1954, с. 119–130; Тереножкин, 1976, с. 147–160; Махортых, 1987; Эрлих, 1994, с. 105–107; 2007, с. 126, 197], связаны с бронзовыми трехпестельчатыми псалиями Восточной

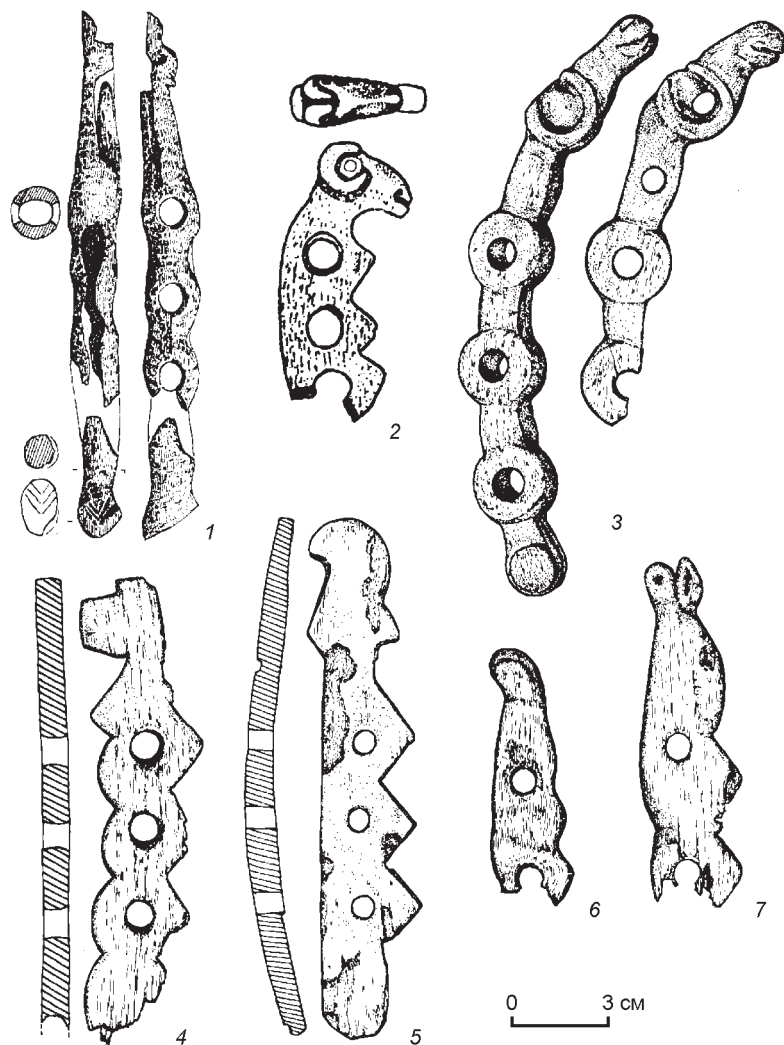


Рис. 3. Костяные пластинчатые псалии с изображением головы животного из Горного Алтая (1) и Синьцзяна (2–7).

1 – Карбан I, кург. 26; 2 – Чаухугоу I, мог. 84М30; 3–7 – Янхай I, мог. М90, М29, М101, М6, М119.

1 – по: [Кирюшин, Тишкин, 1997]; 2 – по: [Чжунго..., 1988]; 3–7 – прорисовки по фотографиям и рисункам Лю Эньго, автора раскопок.

Европы предшествующего времени. Напротив, костяные трехдырчатые пластинчатые псалии с головками животных и изображением копыта не имеют прототипов в европейских степях и являются явной инновацией, что может указывать на их иноземное происхождение.

В 1983 и 1984 гг. Институт археологии Академии общественных наук Китая произвел раскопки 102 могил на могильнике Чаухугоу I на южных склонах Восточного Тяньшаня (уезд Хэцзин, Синьцзян). В могиле 30 из числа раскопанных в 1984 г. (полное наименование 84М30) был обнаружен трехдырчатый пластинчатый костяной

псалий со скульптурно моделированной головкой барана на одном конце (второй обломан) [Чжунго..., 1988, с. 94, рис. 17, 4, табл. 16 (9)]; погребение содержало двуручный глиняный сосуд, деревянный ковшик, деревянное блюдо, деревянные стрелы [Чжунго..., 1988, с. 88, 94, 95, рис. 13, 19, 18, 2, 5, 7, 19] (рис. 3, 2). Результаты этих раскопок были опубликованы отдельно, без указания номеров могил на плане, и, к сожалению, не вошли в свод 1999 г., где были отражены только лишь материалы той части могильника, которая исследовалась Институтом археологии АОН Синьцзяна [Синьцзян..., 1999, с. 153–224]. По дереву из погребальной конструкции могилы 84М30 (с индексом образца 84ХНС-yihao mudi M030) была получена радиоуглеродная дата ZK-2037: 2720±90 BP [Чжунго..., 1991, с. 663], что с вероятностью 94 % соответствует отрезку 1200–750 Cal BC (рис. 4).

Эта дата не расходится с данными по совокупности всех дат по дереву из могильника Чаухугоу I (насчитывающего около 700 погребений); всего их опубликовано шестнадцать (ZK 1328–1336, 2031, 2033, 2036–2040), суммарная дата, полученная с помощью программы OxCal3,0 с вероятностью 68,2 % – 980–530 CalBC [¹⁴C педин..., 1995, с. 629–631].

В конце 1997 г. была опубликована пара трехдырчатых костяных

псалиев с изображением головы животного на одном конце и конского копыта на другом. Они происходят из кургана 26 могильника Карбан I в Горном Алтае [Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 65, рис. 37, 1] (см. рис. 3, 1). Курган был раскопан в 1990 г. М.А. Деминым. Это классический памятник бийкенской культуры с каменным ящиком на горизонте, каменным жерновом в насыпи и захоронением (чучела?) коня, который, по аналогии конструкции и погребального обряда с материалами могильника Семисарт I, можно отнести ко второй половине VIII – первой половине VII в. до н.э. [Тишкин, 2007, с. 96].

Поскольку от ближайшей находки *in situ* костяных трехдырчатых псалиев с головой животного до Чаухугоу и Карбана по прямой насчитывается не менее 3500 км, в публикациях 1996–1999 г. [Ковалев, 1996, 1998; Kovalev, 1999] я выдвинул предположение о миграции европейских скифов с территории Джунгарии. Естественно, обнаружение псалиев указанного вида в могильниках двух различных культур рассматривалось как следствие влияния третьего компонента — племен кочевников, обитавших на до сих пор археологически не исследованной территории между Тянь-Шанем и Монгольским Алтаем, на севере нынешнего Синьцзяна.

К сожалению, факт находки трехдырчатого псалия с изображением копыта и головы животного в памятнике бийкенской культуры не получил оценки в книге Ю.С. Худякова и С.А. Комиссарова «Кочевая цивилизация Восточного Туркестана», авторы которой, поставив под сомнение «джунгарскую» гипотезу происхождения скифов, указывают на «уникальность» псалия из Чаухугоу [Худяков, Комиссаров, 2002, с. 59]. Собственно, единичность находки из Чаухугоу не может быть свидетельством отсутствия носителей традиции изготовления и использования таких псалиев на территории севернее Тянь-Шаня. Культура населения, оставившего в Притяньшанье могильники типа Чаухугоу, резко отличается от скифской — прежде всего, здесь был неизвестен курганный обряд погребения и использовалась совершенно неизвестная ранним скифам расписная керамика; эти люди никак не могли быть предками европейских скифов и получали такие предметы, как этот псалий, в результате контактов с соседями. А многочисленные курганы соседней Джунгарии до сих пор не исследованы (в монографии Хань Цзянь на карте культур эпохи раннего железа севернее Тянь-Шаня размещена некая «культурная общность» («система») с высокогорными горшками (!): [Хань Цзянь, 2007, рис. 27].

Однако не прошло и десяти лет, как в Синьцзяне появились новые свидетельства широкого распространения здесь костяных трехдырчатых псалиев со звериноголовым навершием в раннескиф-

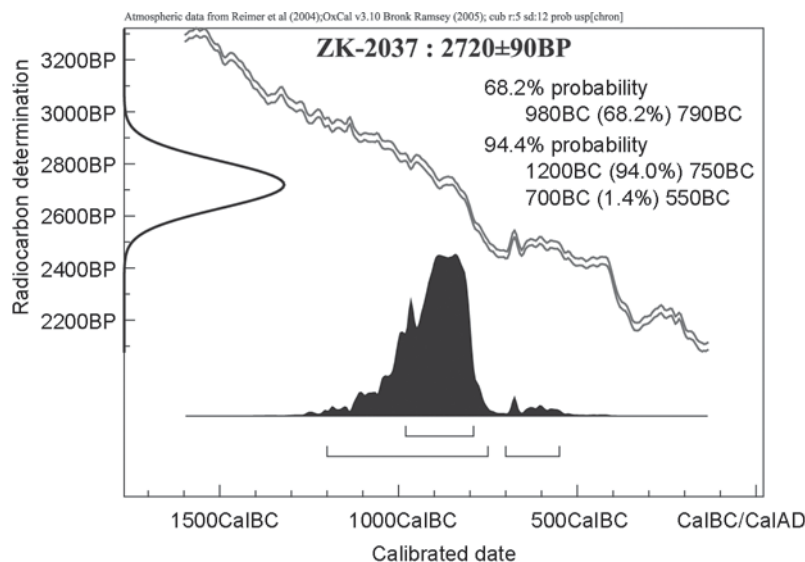


Рис. 4.

скую эпоху. В Турфане, на могильнике Янхай I (уезд Шаньшань), наборы таких псалиев были обнаружены в восьми комплексах: в могилах M5, M6, M29, M44, M90, M101, M119, M164 (рис. 3, 3–7). (Публикация в настоящей статье информации об этих предметах стала возможной только лишь благодаря любезному разрешению автора раскопок — ведущего научного сотрудника Института культурного наследия и археологии Синьцзяна Лю Эньго.) В том числе псалии из могилы 90 увенчаны головой барана (рис. 3, 3), из могилы 101 — головой хищной птицы (рис. 3, 5), из могилы 29 — головой коня (рис. 3, 4). Стилизованные вытянутые морды животных на окончаниях псалиев из могил 5, 6, 44, 119, судя по аналогиям из лесостепной Скифии, также принадлежат лошадям (рис. 3, 6, 7). Нижние концы псалиев оформлены в виде дисков или срезаны. Некоторые псалии (как в могиле 90) были сломаны в древности и переиспользованы: в обломке проделывались новые отверстия.

При схожести конструкции псалиев из Янхая с собственно скифскими они представляют собой особый вариант, без скульптурного изображения копыта на нижнем конце. Разнообразие находок и стремление хозяев их использовать, что называется, «до последнего», даже в обломках, подтверждает наше предположение о том, что само население, оставившее могильник Янхай, такие псалии не производило, а получало эти приспособления извне — от соседствующих кочевых племен.

Псалии из могилы Янхай I М90 (рис. 3, 3) выполнены в виде стержня с тремя выступающими кольцевидными муфтами. Эта форма находит себе аналогии в бронзовых псалиях «сиалковского» типа и типа Уашхиту-Жаботин типы IIIБ и IVB (вариант Жаботин) по Эрлиху [2007, с. 127, 129–130] или Кубанский 39 и Жаботин 524 по Вальчаку [2009, с. 59, 66–67]. На западе Евразии бронзовые псалии «сиалковского» типа, в том числе с зооморфными окончаниями, датируются в пределах первой половины VII в. до н.э., а псалии варианта Жаботин, появляясь в Европе в начале VII в. до н.э., доживают до второй его половины [Эрлих, 2007, с. 128, 130]. Что же касается костяных изделий, то наиболее близкими к рассматриваемым псалиям будут два комплекта из камеры 5 кургана Аржан I [Грязнов, 1980, с. 49]: у них также оформлены выступающие выпуклые муфты. Могильник Янхай I, судя по опубликованному материалу, в целом датируется раннескифским временем, авторы публикации предполагают даже еще более раннюю датировку – начиная с конца второго тысячелетия до н.э. [Синьцзян..., 2004, с. 27].

Костяные трехдырчатые псалии, характерные для культуры европейских скифов, изготовлены из уплощенных заготовок, зачастую из совершенно ровных пластин. Такая форма заготовки использовалась и в Саяно-Алтае, однако не была здесь ведущей [Марсадолов, 1998, с. 6–8], совсем необычны такие псалии для Казахстана. Напротив, в Синьцзяне пластинчатые псалии (как простейшие пластинки, так и уплощенные с выпуклой поверхностью) составляют абсолютное большинство из числа найденных костяных трехдырчатых. Так, в могильнике Янхай I их обнаружено восемь комплектов из девяти, в Чаухугоу IV – три из четырех, в Чаухугоу I – два из трех [Синьцзян..., 1999, с. 143, 218], в могиле M151 могильника Упу – один псалий, выполненный по такому же образцу из деревянной досочки [Хань Цзянь, 2007, с. 55, рис. 31, 24]. Если даже учесть еще один набор костяных псалиев, изготовленных из толстого куска рога, который был найден в комплексе M206 могильника Байлэциэр [Хань Цзянь, 2007, с. 72, рис. 58, 2], то доля пластинчатых псалиев во всей совокупности синьцзянских находок составит 80 %. При этом бронзовых псалиев в памятниках раннескифского времени Синьцзяна вообще не найдено! Не объясняет ли это привязанность уже европейских скифов имен-

но к костяным псалиям при активном использовании ими металла для изготовления иных элементов конской упряжи?

Исходя из доминирующего положения костяных пластинчатых трехдырчатых псалиев в Синьцзяне, а также опираясь на факт находок трехдырчатых псалиев, увенчанных головой животного, в могильниках Карбан I, Чаухугоу I и Янхай I, можно с уверенностью утверждать, что по крайней мере во второй половине VIII – первой половине VII в. до н.э. на территории между Горным Алтаем и Тянь-Шанем кочевым населением использовались костяные пластинчатые трехдырчатые псалии, один из концов которых оформлялся в виде головы животного, в том числе псалии с изображением копыта на нижнем конце.

Именно в этом регионе и предстоит найти памятники наиболее ранних «скифов», осуществивших миграцию в степи Причерноморья.

Дополнительным подтверждением нашей гипотезы стало выявление в Джунгарии древнейших статуарных памятников [Ковалев, 1998, 2007; Kovalev, 2000]. Эти антропоморфные статуи, которых на сегодняшний день известно не менее пятидесяти, как правило, изображают обнаженного мужчину с выделенными рельефно грудными мышцами, иногда – позвоночным столбом, на шее которого – выпуклая гривна, в руке – лук или посох. Глаза передаются выпуклыми дисками или кольцами.

Такие статуи связаны с погребальными сооружениями, относящимися к чемурчекской «культуре» («общности») эпохи ранней бронзы (после слабо документированных раскопок 1963 г. в Китае научные исследования памятников этой культуры осуществлены в 1998–2000 гг. в Казахстане, 2003–2010 гг. в Монголии под руководством А.А. Ковалева, Д. Эрдэнэбаатара, А.А. Тишкина и др. [Ковалев, 2005; Кэвалёфу, Эрдэнэбатаэр, 2009; Kovalev, Erdenebaatar, 2009; Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010]. Принадлежность статуй к чемурчекской культуре была доказана еще в 1998 г., когда, в частности, я установил, что статуя, известная как Кайнарл 2 № 2, входила в комплекс погребального сооружения «Кэрмуци M2», раскопанного в 1963 г. и содержавшего только лишь комплексы раннебронзового века [Ковалев, 1998, с. 27; Kovalev, 2000, с. 140–141]. В 2003 и 2010 гг. Международная археологическая центральноазиатская экспедиция раскопала с монгольской стороны границы два кургана че-

мурчекской культуры, сопровождавшиеся такими статуями [Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010, с. 90–92]. Таким образом, можно считать совершенно беспочвенными рассуждения о принадлежности этих изваяний к эпохе средневековья [Худяков, 1997, с. 218–219; Худяков, Комиссаров, 2002, с. 60–61, 95]. Тем более недопустимо (как это делает С.В. Комиссаров) пользоваться для датировки и атрибуции этих изваяний сделанными в 1980–1990-х г. в отсутствие материалов научных раскопок выводами китайских исследователей, пребывавших в полном неведении относительно хронологии и типологии культур ранней – средней бронзы Саяно-Алтая [Ван Линьшань, Ван Бо, 1996; Ван Бо, Ци Сяошань, 1996, с. 208–214].

Типология погребального инвентаря и данные радиоуглеродного датирования (более 40 дат) дают возможность отнести чемурчекскую культуру, и, соответственно, изваяния, к 27–18 вв. до н.э. [Ковалев, Эрдэнэбаатар, Зайцева, Бурова, 2008, с. 173–179; Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010, с. 91–92].

Иконография чемурчекских изваяний восходит к традициям поздненеолитических культур Южной Франции (примерно 33–25 в. до н.э.) [Ковалев, 2005; Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010, с. 94]. Совпадает специфика оформления контура лица в виде валика, от которого спускается нос, выпуклости на месте глаз, манера изображения лопаток. Общими чертами как чемурчекских и западноевропейских, так и восточноевропейских изваяний IV–III тыс. до н.э. являются изображения посоха и лука, гривны, обнаженность фигуры.

Однако, как и чемурчекская культура в целом, ее статуарная традиция развивалась обособленно во Внутренней Азии как минимум до первой трети II тыс. до н.э., то есть не менее тысячи лет со времени появления здесь чемурчекских племен, что привело к существенным изменениям первоначального канона. Изваяния приобрели более «реалистичные» черты, стали изображаться грудные мышцы, рот, усы «подковкой». По основным признакам: изображение человека обнаженным, однако в шлеме-башлыке, с шейной гривной, с предметами вооружения; изображение рук, переходящих с боковых граней на переднюю, ладоней с растопыренными пальцами; слабовыделенная шея или дисковидная голова, вдавленная в плечи; изображение носа-бровей в виде единой биволютной фигуры; круглые глаза-зрачки; дугообразные или подковообразные усы; подчеркнутый

нижний контур обнаженной мужской груди, выделение позвоночного столба и лопаток – эти «реалистичные» изваяния смыкаются со скифскими изваяниями Восточной Европы [Ольховский, Евдокимов, 1994]. Это было отмечено мною еще в 1998 г. [Ковалев, 1998, 2007; Kovalev, 1999, S. 265–267]. Наиболее похожи на скифские антропоморфы статуи из Бошубо (№ 1 и 2) и изваяние из местности Сентас [Ван Линьшань, Ван Бо, 1996, рис. 71, 73, 74]. Изваяние Бошубо № 2 имеет дисковидную голову, гривну, огибающую плечи полностью, – как чаще всего на скифских изваяниях, ладони с растопыренными пальцами, а также руки, которые начинаются на боковых гранях, что обычно для раннескифских стел. Изваяние из Сентас, как и многие раннескифские изваяния, фалломорфно, на нем показаны гривна, грудные мышцы, руки с растопыренными пальцами, начинающиеся на боковых гранях, сзади – позвоночный столб и ягодицы (заднюю сторону изваяния мне удалось зафиксировать в ходе поездки в Синьцзян в 2000 г.), на бедрах изображен выпуклый пояс с подвешенными к нему предметами, под поясом, видимо, гениталии. Эти статуи найдены на территории уезда Хабахэ (Каба), в 10–30 км от казахской границы; никаких археологических раскопок в этом регионе вообще никогда не проводилось.

Отвергая «джунгарскую гипотезу» прежде всего на том основании, что чемурчекские статуи датируются слишком ранним периодом, В.С. Ольховский для прояснения генезиса раннескифской скульптуры попытался найти регион, где антропоморфные изваяния, имеющие черты, схожие со скифскими, бытовали бы «в эпоху раннего железа»; такой регион он находит на территории Урарту [2005, с. 123–125]. Установка на поиск самых близких по времени прототипов привела исследователя к тому, что в качестве «исходных» рассматриваются закавказские изваяния, датировка которых в пределах первой половины I тыс. до н.э. не определена. Стилистические сходства сами по себе, в отсутствие независимых данных об относительной хронологии, могут объясняться и взаимовлиянием древних традиций, совсем не обязательно они говорят о происхождении одной традиции из другой. Пребывание древних скифов на территории Урарту в первой половине VII в. до н.э. сомнений не вызывает, поэтому «скифоидность» статуй, найденных здесь, можно рассматривать

как материальный след скифского воздействия: это касается основы раннескифского канона – изображения обнаженного мужчины с предметами вооружения и с гривной на шее.

Могла ли традиция изготовления изваяний пережить чемурчекскую культуру и оказать активное влияние на формирование скифской статуарной традиции? На этот вопрос пока нет однозначного ответа, однако чемурчекские статуи являются, несомненно, – как хронологически, так и иконографически – наиболее близкими к скифским антропоморфам на Азиатском континенте. Одно можно утверждать наверняка: сотни таких изваяний стояли в предгорьях Монгольского Алтая и Богдо-Шаня к тому времени, когда скифы предприняли свой великий поход на запад.

Несколько лет назад «джунгарская гипотеза» получила весомую поддержку с точки зрения антропологических данных. В 2007 г. вышла этапная статья А.Г. Козинцева, автор которой на основе анализа 120 мужских краниологических серий пришел к выводу об «исключительном сходстве» степных скифов «с окуневской группой из Тывы, которое проявляется на всех уровнях»; в то же время «антропологические связи [степных скифов] с “ближним” кочевническим миром (савроматским, сакским) немногочисленны и по своему значению несопоставимы с “дальними” (центральноазиатскими) связями» [Козинцев, 2007, с. 155].

Так называемые тувинские окуневцы представлены серией из могильника Аймырлыг XIII, которая по краниологическим параметрам резко отличается от «классических» окуневцев Среднего Енисея [Гохман, 1980, с. 21–34. В инвентарь могильника входят четыре плоскодонных каменных сосуда, один из которых отремонтирован при помощи отверстий, залитых медью для образования скреп [Стамбульник, Чугунов, 2006]. Как формы этих сосудов, так и оригинальная манера их починки полностью соответствуют чемурчекскому стандарту, о котором можно судить на основе представительной серии каменных сосудов, найденных в чемурчекских памятниках Ховд аймака Монголии за 2003–2010 г. (более 20 штук) (раскопки А.А. Ковалева, Д. Эрдэнэбаатара, А.А. Тишкина, С.П. Грушина, Ч. Мунхбаяра). Поэтому можно предположить, что антропологические особенности серии из Аймырлыга XIII явились следствием генетического влияния населения Монгольского Алтая. Влиянием того же компонента можно объяснить появление сходных черт в антропологии

синхронной елунинской культуры, носители которой по данным краниологических измерений сближаются как со степными скифами, так и с окуневцами Тувы [Козинцев, 2008, с. 142], об археологических связях чемурчекской и елунинской культур см.: [Ковалев, 2005; Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2010, с. 90–92]. К сожалению, детальные антропологические исследования чемурчекской культуры Ховд аймака до сих пор затруднены плохой сохранностью обнаруженного костного материала; можно констатировать только лишь, что это были брахикранные европеоиды с сильно выступающим носом и мощными надбровными дугами (антропологический материал хранится на кафедре антропологии и археологии Монгольского национального университета). Происхождение скифов Причерноморья непосредственно от населения Монгольского Алтая и Джунгарии можно установить на основе генетических данных; создание банка данных ДНК носителей чемурчекской культуры планируется в течение ближайших лет.

Список литературы

- Абрамишвили Р.М.** К вопросу о датировке памятников эпохи поздней бронзы и широкого освоения железа, обнаруженных на Самтаврском могильнике // Вестн. государственного музея Грузии. – 1957. – Т. 19А–21В. (на груз. яз.).
- Алексеев А.Ю.** Хронография Европейской Скифии. – СПб., 2003.
- Алексеев А.Ю., Качалова Н.К., Тохтасьев С.Р.** Киммерийцы: этнокультурная принадлежность. – СПб., 1993.
- Батчаев В.М.** Древности предскифского и скифского периодов. Гл. 2: Курганы скифского времени у селения Нартан // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972–1979 гг. – Нальчик, 1985. – Т. 2. – С. 19–115.
- Вальчак С.Б.** Конское снаряжение в первой трети I тыс. до н.э. на юге Восточной Европы. – М., 2009.
- Ван Бо, Ци Сяошань.** Сычоу чжи лу цаюань шижэнь яньцзю (Исследование каменных антропоморфных изваяний степей на Шелковом пут). – Урумчи, 1996. – (Сычоу чжи лу яньцзю цуншу (Сер. по исследованиям шелкового пути); вып. 7). (на кит. яз.).
- Ван Линьшань, Ван Бо.** Чжунго Алтай шань цаюань вэньу (Культурное наследие степей китайского Алтая). – Шэньчжоу, 1996. (на кит. яз.).
- Веселовский Н.И.** [Сообщение о работах] // Отчеты Имп. археологической комиссии за 1904 г. – СПб., 1907. – С. 85–94.
- Галанина Л.К.** Скифские древности Поднепровья (эрмитажная коллекция Н.Е. Бранденбурга). – М., 1977. – (Археология СССР. САИ; вып. Д1-33).

Галанина Л.К. Раннескифские уздечные наборы (по материалам Келермесских курганов) // АСГЭ. – 1983. – Вып. 24. – С. 32–55.

Галанина Л.К. О критериях выделения «царских» курганов раннескифской эпохи // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. – СПб., 1994.

Галанина Л.К. Келермесские курганы: «царские» погребения раннескифской эпохи. – М., 1997. – (Степные народы Евразии; вып. 1).

Гобеджишвили Г.Ф. Археологические работы в Советской Грузии. – Тбилиси, 1952. (на груз. яз.).

Гохман И.И. Происхождение центральноазиатской расы в свете новых палеоантропологических материалов // Исследования по палеоантропологии и краниологии СССР. – Л., 1980. – С. 5–34. – (Сб. МАЭ; т. 36).

Граков Б.Н. Скифы. – М., 1971.

Грязнов М.П. Первый пазырыкский курган. – Л., 1950.

Грязнов М.П. К вопросу о сложении культур скифо-сибирского типа в связи с открытием кургана Аржан // КСИА. – М., 1978. – Вып. 154. – С. 9–18.

Грязнов М.П. Аржан – царский курган раннескифского времени. – Л., 1980.

Есаян С.А., Погребова М.Н. Скифские памятники Закавказья. – М., 1985.

Иванчик А.И. Киммерийцы и скифы: культурно-исторические и хронологические проблемы археологии восточноевропейских степей и Кавказа пред- и раннескифского времени. – М., 2001. – (Степные народы Евразии; вып. 2).

Иессен А.А. К вопросу о памятниках VIII–VII вв. до н.э. на юге европейской части СССР (Новочеркасский клад 1939 г.) // СА. – 1953. – Т. 18. – С. 52–56.

Иессен А.А. Некоторые памятники VIII–VII вв. до н.э. на Северном Кавказе // Вопросы скифо-сарматской археологии: (по материалам конф. ИИМК АН СССР 1952 г.). – М., 1954.

Ильинская В.А. Скифы днепровского лесостепного левобережья: (курганы Посулья). – Киев, 1968.

Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. – Киев, 1975.

Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., Тереножкин А.И. Курганы VI в. до н.э. у села Матусов // Скифия и Кавказ. – Киев, 1980. – С. 31–63.

Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII–IV вв. до н.э. – Киев, 1983.

Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. – Барнаул, 1997. – Ч. 1: Культура населения в раннескифское время.

Ковалев А.А. О захоронениях лошадей в Келермесских курганах: (к вопросу об одной гипотезе М.П. Грязнова) // Первые исторические чтения памяти М.П. Грязнова: тез. докл. – Омск, 1987. – С. 176–177.

Ковалев А.А. Происхождение скифов согласно данным археологии // Между Азией и Европой: Кавказ в IV–I тыс. до н.э.: материалы конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.А. Иессена. – СПб., 1996. – С. 121–127.

Ковалев А.А. Каменные изваяния Черного Иртыша: (еще раз о джунгарской прародине скифов) // Скифы, хазары, славяне, Русь: сб. тез. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.И. Артамонова. – СПб., 1998. – С. 24–29.

Ковалев А.А. Чемурачский культурный феномен: его происхождение и роль в формировании культур эпохи ранней бронзы Алтая и Центральной Азии // Западная и Южная Сибирь в древности: сб. науч. тр., посвящ. 60-летию со дня рождения Ю.Ф. Кирюшина. – Барнаул, 2005. – С. 178–184.

Ковалев А.А. Чемурачский культурный феномен (статья 1999 года) // «А.В.»: сб. науч. тр. в честь 60-летия А.В. Виноградова. – СПб., 2007. – С. 25–76.

Ковалев А.А., Эрдэнэбаатар Д. Ранний и средний периоды бронзового века Монголии в свете открытий Международной центральноазиатской археологической экспедиции // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: мат-лы междунар. науч. конф. – Улан-Удэ, 2010. – С. 89–103.

Ковалев А.А., Эрдэнэбаатар Д., Зайцева Г.И., Бурова Н.Д. Радиоуглеродное датирование курганов Монгольского Алтая, исследованных Международной Центральноазиатской археологической экспедицией, и его значение для хронологического и типологического упорядочения памятников бронзового века Центральной Азии // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. – Барнаул, 2008. – С. 172–186.

Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне реки Рось. – Киев, 1981.

Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Скорый С.А. Памятники скифской эпохи Днепровского лесостепного правобережья (Киево-Черкасский регион). – Киев, 1989.

Козинцев А.Г. Скифы Северного Причерноморья: межгрупповые различия, внешние связи, происхождение // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 4. – С. 143–157.

Козинцев А.Г. Так называемые средиземноморцы Южной Сибири и Казахстана, индоевропейские миграции и происхождение скифов // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 4. – С. 140–144.

Кэвалёфу А.А., Эрдэнэбаатар Д. Мэнгу цинтун шидай вэньхуа синь фасянь (Новые открытия культур бронзового века Монголии) // Бяньцзын каогу яньцзю. – 2009. – Т. 8. – С. 246–279 (на кит. яз.).

Марсадолов Л.С. Основные тенденции в изменении форм удила, псалиев и пряжек коня на Алтае в VIII–V вв. до н.э. // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. – Барнаул, 1998. – С. 5–24.

Махортых С.В. О культурно-хронологической интерпретации памятников типа Келермесского клада // Первые исторические чтения памяти М.П. Грязнова: тез. докл. – Омск, 1987. – С. 164–165.

Медведская И.Н. Древний Иран накануне империй (IX–VI вв. до н.э.). История Мидийского царства. – СПб., 2010.

Мелюкова А.И. Скифообразные памятники в Средней Европе // Археология СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – М., 1989. – С. 87–91.

Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья. – Киев, 1984.

Ольховский В.С. Монументальная скульптура населения западной части евразийских степей эпохи раннего железа. – М., 2005.

Ольховский В.С., Евдокимов Г.Л. Скифские изваяния VII–III вв. до н.э. – М., 1994.

Петренко В.Г. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкавказья // Проблемы скифо-сарматской археологии. – М., 1990.

Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р. Хронология центральной группы курганов могильника Новозаведенное II // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н.э.: палеоэкология, антропология и археология. – М., 2000. – С. 238–248.

Пирцхалава М.С. К вопросу о распространении памятников скифской культуры в материальной культуре древней Грузии // Вопр. археологии Грузии. – Тбилиси, 1978. (на груз. яз.).

Погребова М.Н. Центральноазиатская гипотеза происхождения скифской материальной культуры и скифского этноса // Древности скифской эпохи. – М., 2006. – С. 172–193. – (Мат-лы и исследования по археологии России; № 7).

Погребова М.Н., Раевский Д.С. Ранние скифы и Древний Восток: к истории становления скифской культуры. – М., 1992.

Полидович Ю.Б. Зооморфно оформленные псалии как феномен скифской эпохи // АА. – Донецк, 2004. – № 15: Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – С. 143–165.

Синьцзян вэньу каогу яньцзюсо. Синьцзян Чауху: дасин шицзу муди фацзюэ баогао (Ин-т культ. наследия и археологии Синьцзяна. Синьцзян Чауху: отчет о раскопках крупного родового могильника). – Пекин, 1999. (на кит. яз.).

Синьцзян вэньу каогу яньцзюсо, Тулуфань дицзю вэньу цзюй. Шаньшань сянь Янхай и хао муди фацзюэ цзяньбао (Ин-т культ. наследия и археологии Синьцзяна, Бюро культур. наследия р-на Турфан. Краткое сообщение о раскопках могильника Янхай I, уезд Шаньшань) // Синьцзян вэньу. – 2004. – № 1. – С. 1–27. (кит. яз.).

Смирнов К.Ф. Савроматы: ранняя история и культура сарматов. – М., 1964.

Стамбульник Э.У., Чугунов К.В. Погребения эпохи бронзы на могильном поле Аймырлыг // Окуневский сб. – СПб., 2006. – Вып. 2: Культура и ее окружение. – С. 292–302.

Тереножкин А.И. Киммерийцы. – Киев, 1976.

Техов Б.В. Тлийский могильник. – Тбилиси, 1985. – Ч. 3: Комплексы второй половины VII – VI в. до н.э.

Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. – Барнаул, 2007.

Хань Цзянь Синьцзян дэ цинтун шидай хэ цзао ците ци шидай вэньхуа (Культуры бронзового века и ран-

него периода железного века Синьцзяна). – Пекин, 2007. (на кит. яз.).

Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. – Новосибирск, 1997.

Худяков Ю.С., Комиссаров С.А. Кочевая цивилизация Восточного Туркестана. – Новосибирск, 2002.

Чежина Е.Ф. Уникальная надпись на раннескифском псалии из Южного Приуралья // СА. – 1989. – № 1.

Чжунго шэхуй кэсюэюань каогу яньцзюсо. Хэцзин сянь Чаухуоукоу и хао муди фацзюэ цзяньбао (Ин-т археологии Акад. Обществ. наук Китая. Краткий отчет о раскопках могильника 1 в Чаохуоукоу, уезд Хэцзин) // Каогу сюэбао. – 1988. – № 1. – С. 75–99 (на кит. яз.).

Чжунго шэхуй кэсюэюань каогу яньцзюсо шияньши. Фаншэсин таньсу цедин няньдай баогао (18) (Лаборатория Ин-та археологии Акад. обществ. наук Китая. Отчет о радиоуглеродном датировании (18)) // Каогу. – 1991. – № 7. – С. 657–663. (на кит. яз.).

Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). – Киев, 1987.

Эрлих В.Р. У истоков раннескифского комплекса. – М., 1994.

Эрлих В.Р. Северо-Западный Кавказ в начале железного века. Протомеотская группа памятников. – М., 2007.

¹⁴С цедин няньдай шуцзю илань (Свод данных радиоуглеродного датирования) // Синьцзян вэньу каогу синь шоухо (Новые результаты по культурному наследию и памятникам археологии Синьцзяна). – Урумчи, 1995. – С. 598–637. (на кит. яз.).

Galanina L.K. Frühschythische Zaumzeuggarnituren (Nach den Materialien der Kelermes-Kurgane) // Archäologische Mitteilungen aus Iran. – 1985. – Bd. 18. – S. 87–118.

Gryaznov M.P. Der Großkurgan von Arzan in Tuva, Südsibirien. – München, 1984. – (Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie; Bd. 23).

Kovalev A. Überlegungen zur Herkunft der Skythen aufgrund archäologischer Daten // Eurasia Antiqua. – Mainz am Rhein, 1999. – Bd. 4.

Kovalev A. Die ältesten Stelen am Ertix. Das Kulturphänomen Xemirxek // Eurasia Antiqua. – Mainz am Rhein, 2000. – Bd. 5. – S. 135–178.

Kovalev A.A., Erdenebaatar D. Discovery of new cultures of the Bronze Age in Mongolia according to the data obtained by the International Central Asian Archaeological Expedition // Current archaeological research in Mongolia: papers from the First International Conference on Archaeological Research in Mongolia held in Ulaanbaatar. – Bonn, 2009. – P. 149–170.

О САКРАЛЬНЫХ БЫКАХ И БАРАНАХ

То, что предлагается здесь читателю, не есть научное исследование в собственном смысле слова. Это, скорее, некоторое предварительное эссе, набросок некоторых мыслей и наблюдений, над которыми еще надлежит немало поработать. Но так как эта работа потребует немало времени, которого может и не оказаться, то автор берет на себя смелость ознакомить читателя и с этими предварительными набросками.

Жертвоприношения в самом широком смысле слова – явление общечеловеческое и архетипическое. Каждая региональная или этническая группа людей обладает своей частной спецификой этого общего явления. Достаточно ярко эта специфика выражена и в такой своеобразной историко-культурной области, как Кавказ.

Как в фольклоре, так и в культовой практике народов Кавказа встречаются самые разнообразные формы жертвоприношений, от максимальной – человеческого жертвоприношения, известного в преданиях и мифах, но не засвидетельствованного в реальности с документальной достоверностью, до полоски ткани, навешиваемой на священное дерево, или капли вина, оброненной на кусок хлеба. Видимо, общеближневосточной мифологемой является библейское «жертвоприношение Авраама», где субститутутом человеческого жертвоприношения выступает заклание агнца. Именно жертвенное заклание агнца, или тельца, будет предметом нашего дальнейшего рассмотрения.

Принесение в жертву агнца (чаще всего годовалого барана) практически у всех народов Кавказа выступает как наиболее чистое, универсальное и многоплановое жертвенное мероприятие. Оно выступает в роли благодарения – за материальный успех, чудесное избавление от опасности, исцеление от болезни или хотя бы ее рецессия,

или сопровождает просьбу (моление до факта) об оказании таких благодеяний.

Актором или инициатором жертвоприношения выступает индивид (сам больной или спасшийся, мать или отец больного ребенка, снискавший или соискатель успеха в определенном деле и т.д.) либо семья соискателя. Четкой границы между индивидуальной и семейной инициативой провести обычно нельзя, т.к. практически всегда ближайшие родственники поддерживают индивидуальную инициативу и помогают в ее осуществлении, и наоборот, семейная инициатива возглавляется и направляется главой семьи. Организатором жертвоприношения выступает всегда мужчина (или мужчины), хотя первичная идея может принадлежать и женщине (например, матери больного ребенка). Женщины совершают и собственные жертвоприношения, но делают их более или менее тайно, чаще всего птицей (петухом или парой голубей).

Из всех народов Кавказа наиболее детальной и разработанной парадигмой подобных жертвоприношений, пожалуй, обладают армяне. Именно армянское жертвоприношение рассматривается здесь в качестве основной модели. Грузинский вариант очень близок к этой модели и отличается лишь мелкими деталями. Во многом сходен и осетинский вариант. У прочих народов Кавказа прослеживается в целом та же модель, но несколько затемненная воздействием мусульманских предписаний.

Кавказ, будучи в этнографическом плане довольно гомогенной историко-культурной областью, в этнолингвистическом отношении весьма мозаичен. Здесь представлены четыре большие языковые семьи, две из них с далеко разошедшимися ветвями. Притом при макролингвистическом подходе три из них (индоевропейская, иберийская

(грузинская) и алтайская в лице тюркской) должны быть отнесены к ностратической филе, а одна, собственно кавказская, или иначе северокавказская, к другой, а именно сино-кавказской филе.

Северокавказские языки распадаются на две ветви, различия между которыми по масштабу сопоставимы скорее с межсемейными различиями. Языки абхазо-адыгской ветви занимают западную часть Северного Кавказа и несомненно предшествовали грузинским (картвельским) языкам на территории Западной Грузии. Кроме того, есть основания сближать с ними хаттский язык, предшествовавший хеттскому в центральной Анатолии. Языки нахско-дагестанской ветви занимают восточную часть Северного Кавказа, от Ингушетии до севера Азербайджана. Урарто-хурритские языки, бытовавшие в II–I тыс. до н.э. в районах, примыкающих к Южному Кавказу с юга, отнесены С.А. Старостиным к этой же ветви. В современных грузинских языках очевидно наличие абхазо-адыгского субстрата в Западной Грузии и нахско-дагестанского в Восточной; этот же субстрат присутствует, по крайней мере, в топонимике, и в Восточной Армении.

Кроме того, отмечается наличие некоего индоевропейского субстрата или адстрата в грузинских (картвельских) языках и, видимо, северокавказского субстрата в протоиндоевропейском. Все индоевропейские языки Кавказа (в первую очередь осетинский и армянский) так или иначе испытали воздействие долгого соседства и взаимовлияния с грузинскими и северокавказскими языками, и даже появившиеся на Кавказе значительно позднее, не ранее начала н.э. тюркские языки (алтайской семьи) не избежали этого воздействия.

Все это может быть суммировано в тезисе, что собственно кавказские (северокавказские) языки некогда (ориентировочно в VIII–VII тыс. до н.э. и даже позднее) занимали всю территорию Кавказской горной страны и примыкающих к ней с юга районов. Языки всех семей ностратической филы (грузинские, индоевропейские, алтайские) проникали сюда извне, либо из центральной и восточной Анатолии, либо из евразийских степей.

При этом они подвергались столь сильному воздействию местных, собственно кавказских языков, что сами стали эндемически кавказскими, а говорящие на них народы – не менее репрезентативными для общекавказского культурного этоса, нежели исконно кавказскоязычные народы. Поэтому исследователь имеет право трактовать

культурные элементы ностратических народов Кавказа (армян, осетин, грузин, тюрков) как столь же безусловно специфически кавказские, как и культурные черты северокавказскоговорящих народов. Иными словами, то древнекавказское единство духовной культуры региона, которое первоначально было свойственно «северокавказскоязычному» ареалу, охватывавшему и Северный, и Южный Кавказ, и даже области, примыкавшие к последнему с юга, сегодня может быть прослежено, пусть и в фрагментарной и пережиточной форме, в духовном достоянии всех народов Кавказа, вне зависимости от их языковой принадлежности. Эта идея в разных ракурсах была развернута в разное время двумя выдающимися кавказоведами – в 1915 г. А. Дирром [1915, с. 113] и в 1949 г. В.И. Абаевым [1949, с. 89]. А. Дирр писал: «При изучении мифологических представлений и верований кавказцев нельзя отрешиться от мысли, что существовала на Кавказе одна религия, которая впоследствии была затемнена и отчасти вытеснена историческими религиями. Но она сохранилась еще у многих кавказских народностей в виде пережитков, суеверий и в фольклоре».

А у В.И. Абаева читаем: «Создается впечатление, что при всем непроницаемом разноязычии на Кавказе складывался единый в существенных чертах культурный мир... При всей языковой раздробленности существует единая Кавказская этническая культура».

Таким образом, говоря о представленных на Кавказе и характерных для кавказского культурного комплекса явлениях, мы вправе использовать не только и даже не столько северокавказские материалы, сколько армянские, грузинские и даже алано-осетинские и тюркские (карачаевские, балкарские и др.).

Есть целый ряд правил, общих для всех или большинства народов Кавказа, касающихся подготовки к жертвоприношению, ритуала его проведения, форм потребления мяса, обращения с остатками (шкурой, костями) и т.д. Шкура обычно жертвуется в пользу церкви, близ которой происходит жертвоприношение (у мусульман в пользу мечети, хотя это менее всеобщее правило). В наши дни овцеводством в Армении заняты почти всецело курды-езиды, и барашка для жертвоприношения покупают, как правило, у них. Часто чабаны-езиды режут и разделывают барана на месте, и жертвователи получают уже разделанное мясо. В этом случае голова, шкура,

желудок, кишечник и ноги животного остаются у чабанов, в чьем хозяйстве все находит свое употребление. Если же жертвователи предпочитают забить животное сами, как обычно и бывало в старину, то, пожертвовав шкуру кому должно, с остальным сами управляют. Жертвенное мясо должно быть обязательно сварено (ни в коем случае не зажарено). Кишки, тщательно промытые, могут быть намотаны на вертеле и поджарены над огнем. Обращение с головой бывает различным — она может быть сварена и подана распорядителю трапезы, и он разламывает ее или отрезает от нее кусочки и предлагает их участникам церемониала (обычаи, сопровождающие такую раздачу, видимо, восходят к традициям кочевников Центральной Азии). У грузин автором зафиксировано поджаривание частей расчлененной головы, которую поедают почетные участники обряда до того, как начнут варить основное мясо.

В осетинском ритуале крестообразная метка за ухом и на морде делается перед закланием с помощью горящего полена, и дым от паленой шерсти, восходящий к небу, служит сообщением о жертвоприношении, о чем пишет Б.А. Литвинский [1968]. В этой же его работе на ряде данных по современным и древнеиранским народам, осетинам, горным таджикам, сарматам и др. есть и упоминания о жертвоприношении черной овцы, об освящении кровью зарезанного барана балок строящегося дома, об общей солнечной и огненной коннотации барана, и что самое главное, о баране как одном из обозначителей фарна, т.е. всеобщей эманации благодати. В виде баранов или бараньих голов, служивших оберегами, оформлялись ручки сосудов, охраняя налитую в них жидкость от осквернения. Сосуды эти археологически связаны с бытом среднеазиатских кочевников доисламского времени. На зооморфных ручках преобладают изображения барана, но встречаются и изображения вепря, собаки, барса или тигра, лошади. Примечательно, что все эти животные входят в число зодиакальных животных восточного зодиака, вообще-то ираноязычным народам не свойственного.

У многих народов Северного Кавказа (карачаевцев, балкарцев и др.) первым делом после заклания перерабатываются на вареные колбасы кишки и потроха, их съедают как деликатесную закуску, прежде чем перейти к основному мясу.

Однако при большом разнообразии второстепенных деталей, сопровождающих заклание жер-

твенного барашка, основные его признаки более или менее едины по всему Кавказу и ярче всего выражены в парадигме, принятой у армян, хотя и в Армении в разных ее районах в этой парадигме имеются некоторые различия. Единым остается принцип раздачи части мяса, в сыром или вареном виде, в семь соседских семей, с произнесением определенной формулы. Что же касается парадигмы действий, предшествующих закланию, то в наиболее полном виде она достаточно сложна, но содержит в себе преимущественно дохристианские элементы, типа снятия жертвователем пояса и оружия, обведения жертвы вокруг сакрального объекта (руин, камня, дерева), нанесения надрезов и знаков и т.д., а в максимально упрощенной форме сводится к закидыванию в рот животного перед закланием щепотки заранее освященной соли. Повсеместно имеются более или менее строгие указания на то, как следует поступить с остатками жертвенной трапезы, а именно с костями: их следует закопать в каком-то укромном месте, чтобы не только уберечь их от погрыза собаками, но и чтобы ни зверь, ни человек не попирали бы ногами место их захоронения [Барсегян, 1983, с. 210–217].

Переходя к жертвоприношению быка, отметим, во-первых, что в настоящее время оно совершается очень редко, так как ушла в прошлое родовая или патронимическая структура общества, в рамках которой и были приняты подобные жертвоприношения. Базисная парадигма жертвоприношения быка (точнее, бычка, т.к. это всегда довольно молодое животное) в этнографически зафиксированное время более или менее та же, что и при жертвоприношении барана. Но если жертвоприношение барана может быть как до факта (моление о благе, которое еще только спрашивается), так и, пожалуй, даже чаще после факта (благодарение за уже ниспосланное благо), то жертвоприношение быка это в основном действие до факта, т.е. моление о ниспослании благодати, причем не столько конкретной, сколько общей. И даже осеннее благодарение за хороший урожай осознается в большой мере как моление о следующем, не худшем урожае.

В отличие от жертвоприношения барана, которое совершается на средства отдельной семьи (домохозяйства) или индивида, жертвоприношение быка обычно совершается на общинные средства, собираемые вскладчину, хотя размеры взноса могут быть разными для относительно

небогатых и более зажиточных домохозяйств. Потребление мяса в случае барана происходит в рамках отдельных семей (семьи жертвователя и в весьма скромных размерах в одаренных семьях), а потребление мяса быка носит общинный характер, т.е. происходит в рамках села или патрионии (азга, тухума) [Булатова, 1988, с. 35–87; 1999, с. 31–170; Иванова, 2006, с. 41–67].

Эти различия в настоящее время носят преимущественно «этнический», а не «эмный» характер, то есть, будучи заметными глазу стороннего наблюдателя, не обуславливаются какими-либо эксплицитными правилами и предписаниями и не осознаются самими жертвователями как черты, поддающиеся дискретному описанию. Однако не исключено, что их первоначальный эмный характер стерся в ходе параллельной практики и некогда выступал в более отчетливой форме осознаваемых знаков или статусных показателей.

Моя гипотеза состоит в том, что, возможно, культ быка и культ барана в прошлом отправлялся разными коллективами, имеющими определенные различающиеся культурные и этнические свойства, и даже мог выступать в форме бинарной оппозиции.

Жертвенное животное вообще на Кавказе в принципе должно быть черным. Однако в действительности жертвенный баран может быть и коричневым, и коричнево-рыжеватым. В некоторых районах распространена исключительно белая порода овец (например, тушинские овцы), и их забивают в качестве жертвы за неимением иных. Но жертвенный бычок должен быть непременно черным, желательно с белым пятном на лбу.

И от барана, и от быка требуется наличие неразстроченной сексуальной энергии, т.е. животное не должно быть кастрировано, но притом в жертву пригодно только такое животное, которое еще ни разу не покрывало самку.

Сакральных коннотаций, связанных с быком, чрезвычайно много, и они распространены почти везде, где только практикуется разведение крупного рогатого скота. Апис, Минотавр, тавромахия в разных ее формах (корриды, стампиды), букрании (бычьи черепа в качестве оберегов и орнаментальных мотивов), быки в палеолитическом искусстве, бык Нанди как вахана Шивы и многое, многое другое может служить тому примером.

И на западе, и на востоке Евразии животные используются в качестве зодиакальных знаков, но

только бык и баран (Телец и Овен) присутствуют и в западном (вместе с Рыбами, Раком, Львом, Скорпионом и Козерогом), и в восточном зодиаке (вместе с Мышью, Тигром, Зайцем, Драконом, Змеей, Лошадью, Обезьяной, Петухом, Собакой и Свиньей).

Овцы традиционно распространены в Старом Свете почти столь же широко, как и крупный рогатый скот (их нет, или почти нет, в Якутии, Японии, Юго-Восточной Азии, в Южной Африке). В отличие от пастухов коров, овцеводы повсюду используют лошадей (или ослов, или верблюдов) в целях транспорта. Овца – единственное домашнее животное, которое не способно к одичанию и без присмотра человека погибнет. Помимо собаки, овца и самое древнее домашнее животное. Разные виды диких овец не играют большой роли в экономике охотников и почти не представлены в палеолитическом искусстве. Иначе говоря, овца, более чем любое другое животное, есть исключительный продукт domestikации.

В мировом масштабе сакральных коннотаций, связанных с овцами, гораздо меньше, чем с быками и коровами. Однако исключением является регион Кавказа и Передней Азии, где таких коннотаций очень много. Именно этот регион является первичным очагом domestikации овец, тогда как одомашнивание крупного рогатого скота происходило как здесь, так и в более широких ареалах.

Мотив бараньей головы, или закрученных спиралью бараньих рогов, широко распространен в кавказской орнаментике и, очевидно, играл первоначально роль оберега, как и сами бараньи черепа с рогами. Так, в частности, мог орнаментироваться матичный столб (груз, «дедабодзи»), поддерживающий сводчатое перекрытие. Изображения бараньей головы или целого барана можно видеть и в святилищных, территориальных, надмогильных камнях-памятниках, от эпохи неолита и вплоть до нового времени. Сакральное отношение к барану можно видеть и в мифе о золотом руне, возможно, и в других мифических мотивах.

Армянское название барана (овцы) «очхар» метатетически восходит к грузинскому слову «цхвари» («цховари», «чховари»), и точнее, именно к последнему, мегрело-лазскому варианту (где восточно-грузинским *с*, *ц* соответствуют *ш* и *ч*). Естественно, это не означает, что армяне заимствовали традицию овцеводства у грузин, но, видимо, означает, что первоначальное индоевропейское обозначение овцы в армянском было

заменено на грузинское в результате его сакральной табуации. Но и грузинское слово «цхвари, цховари» не является изначальным обозначением животного. Это тоже подстановка вместо собственно обозначения овцы корня «цх», имеющего семантическое поле «жизни», «живого». Цховари буквально можно осмыслить как «жизненный», «жизнедающий», параллельно с более общим словом «цховели», означающим просто «животное». «Цховари» непосредственно связано с «цховребა» – жизнь. Корень «цх» образует широкий круг слов. Отметим «цоцхали» – живой, «сицоцхле» – жизнь, «сицхе» – жара, «уцхо» – чужой (буквально «не имеющий цх»), ряд этнопонимов (Самцхе, Мцхета и др.). Все это слова, имеющие как витальную, так и имплицитно сакральную, жизнотворную коннотацию.

Видимо, в ходе интеграции армянской обрядности и мифопоэтики с кавказской и грузинской мифопарадигмой и растущей сакрализацией овцы/барана и произошла замена индоевропейского названия овцы словом «очхар».

Любопытно заметить, что в арменизированной форме это слово вернулось в грузинский язык. В Тушетии и вообще в северо-восточной Грузии слово «очхари» означает общинную взаимопомощь, в частности, дарение по одной овце от каждой семьи хозяйству, потерявшему свою отару в результате какого-либо стихийного бедствия или несчастья.

Ареал разведения крупного рогатого скота (без буйволов или при незначительной их доле) и соответственно ареал молочно-зерновой модели питания в целом почти полностью совпадает с ареалом распространения ностратических и афразийских языков. Лишь восточно- и южно-африканская часть этого ареала (где скотоводство и молочное хозяйство представлены в своих самых примитивных формах) говорит на негрских (нилоты, банту и др.) и койсанских (готтентоты) языках. Элементы сакрального отношения к быкам и коровам также в той или иной форме разбросаны по всему этому ареалу. В значительной его части и даже за его пределами (например, в Западной Африке) разводят также и овец, но, как правило, в виде второстепенной отрасли хозяйства (не считая эпохи Нового времени, когда мануфактурное производство сукна сделало в ряде стран Европы шерсть важнейшей коммерческой продукцией).

На всем этом огромном пространстве, от Атлантики до Якутии и Бенгалии, на фоне повсе-

местной разнообразной сакрализации коровы и быка сакрализация овец если и присутствует, то в очень незначительных масштабах.

Массовое разведение крупного рогатого скота на ранчо часто требует использования труда конных пастухов – ковбоев, но традиционное, семейное и общинно-деревенское скотоводство вполне обходится пешими пастухами. Но при кочевом, полукочевом, отгонном, трансгумантном овцеводстве использование конного транспорта, верхового или вьючного, становится настоятельной потребностью. В особо аридных зонах лошадь может заменяться верблюдом, но верблюд был одомашнен довольно поздно, позже, чем лошадь, одомашнивание же овец уходит в прошлое на несколько тысяч лет глубже, чем domestикация лошади. Давность domestикации лошади не ранее V тыс. до н.э. Несколько раньше, чем лошадь, подвижные (прото-кочевые) овцеводы Леванта использовали ослов и онагров. Но за тысячелетия образ конного пастуха прочно сросся с понятием отгонного и полукочевого овцеводства.

Классическое кочевое овцеводство тесно связано с сухими степями и полупустынями и несомненно моложе трансгуматного, которое подразумевает вертикальную зональность летних (яйла, эйлаг) и зимних (кишлаг) пастбищных угодий. Последнее естественно привязано к горным цепям Евразии, таким как Пиренеи, Карпато-Балканы, Кавказ, Армянское нагорье, горные цепи Загроса и Копет-Дага, Афганское нагорье, Памир и Каракорум, Тянь-Шань и Гималаи, а также гористые острова – Корсика, Сардиния, Сицилия.

Одомашненные формы крупного рогатого скота разводятся по всей Евразии, кроме отчасти Юго-Восточной Азии, где они по большей части замещаются буйволом, и Крайнего Севера, где производящее хозяйство представлено только оленеводством. Эти формы связаны с такими ныне исчезнувшими или близкими к исчезновению видами, как европейский орокс (тур), гипотетический дикий предок южноазиатского зебувидного скота, гаур, гаял и бантенг. Все это отнюдь не горные, а равнинные и предгорные лесные, лесостепные и отчасти саванновые виды. Дикие овцы, напротив, исключительно приспособлены к горным условиям и нигде не встречаются на равнине или в лесистой местности.

Как уже указывалось, если не принимать во внимание Восточную и Южную Африку, зона разведения крупного рогатого мясо-молочного

скота близко совпадает с зоной распространения ностратических и афразийских языков. В наше время большая часть вышеперечисленных нагорий также населена народами преимущественно ностратической филы.

Но по всей этой линии горных цепей Южной Евразии разбросаны отдельные островки народов, говорящих на языках сино-кавказской филы. Сюда относятся (хотя это еще предмет дискуссий) баски в Пиренеях, видимо, также хатты Малой Азии, само собой разумеется, северокавказские народы от адыгов до дагестанцев и урартохурритов, буришки Каракорума и не менее 12 групп гималайских народов сино-тибетской семьи, из которых только тибето-бирманские народы и собственно китайцы расселились далеко за пределами гималайского ареала. Это позволяет предположить, что во всем указанном горном поясе сино-кавказское население предшествовало ностратическому, практически всецело, от Пиренейского полуострова и Франции до Бенгала и Ассама, индоевропейскому. Большая часть сино-кавказского населения была ассимилирована разными ветвями индоевропейцев, но во многих случаях, как с армянами и осетинами на Кавказе, горными таджиками на Памире, пахари и дардами в Гималаях, передала им в субстратном виде значительную долю своих культурных традиций.

К востоку от Бенгалии (Бангладеш), Ассама и Аруначала и к югу от реки Янцзы находится особый мир, мир Юго-Восточной Азии, который может быть противопоставлен всей остальной Евразии. Его хозяйственная специфика в том, что это мир безмолочный, мир, где не принято доить домашних животных. И хотя есть много переходных зон и векторов взаимной культурной диффузии, тем не менее в целом этот мир корнеплодов, риса, буйволов и свиней (особой восточноазиатской породы) может быть противопоставлен общеевразийскому миру пшеницы (полбы, ячменя), коров и овец. Эти два резко различных культурных комплекса восходят к двум важнейшим выделенным Н.И. Вавиловым центрам domestikации культурных животных и растений – западно-азиатскому и восточно-азиатскому, первоначально вполне независимым друг от друга. И если не только ностратические и афразийские, но и сино-кавказские и, возможно, также шумерские языки как-то генетически могут быть взаимосвязаны, то языки Юго-Восточной Азии, возможно, образуют особую, никак с ними не связанную аустрическую филу,

куда входят аустроазиатская, аустронезийская, тай-кадайская и мяо-яо семьи языков.

Конечно, свиньи (и западной, и восточной разновидности) одомашнивались практически одновременно и на Западе, и на Востоке Евразии, во всех лесных зонах, где буковые, дубовые, каштановые, дикофруктовые леса давали для их выпаса хорошую кормовую базу. Но нигде у ностратических народов свинья не стала, в отличие от Юго-Восточной Азии, базовым жертвенным животным, а напротив, во многих случаях подвергалась запрету и стала общепринятым символом презренного и нечистого. Причем подобные запреты рождались в среде преимущественно овцеводов. Оставляя в стороне несущественный для темы данного очерка вопрос о гипотетических связях языков на-дене (атабасков, навахо и др.) с сино-кавказской филлой, обратимся к вопросу о распространении языков этой филы на северо-востоке Евразии. Языки японский, корейский, тунгусо-манчжурские – это языки алтайской семьи, стало быть, ностратические. Юкагирский, как в последнее время доказано, относится к уральской семье, так что он тоже ностратический. Дальние связи айнского, нивхского, эскалеутских и чукотско-камчатских языков пока остаются совершенно неясными. Но принадлежность кетского языка к сино-кавказской филе, при наибольшей близости к сино-тибетским языкам, может считаться уже доказанной. Нынешние кеты, живущие на среднем Енисее, – рыболовы и охотники. Но еще в XVIII веке жившие южнее скотоводческие народы – котты, арины и асаны бассейна верхнего Енисея говорили на несомненно близких к кетскому языкам, впоследствии же, подвергшись языковой тюркизации, растворившись среди тюркских народов Южной Сибири, в основном вошли в состав хакасов.

По-видимому, между кетскими народами Южной Сибири и тибетоязычными народами Цинхя и Ганьсу в прошлом должен был существовать промежуточный ареал каких-то неизвестных нам народов с гипотетическими сино-кавказскими языками, послуживших субстратом при формировании тюркских и монголоязычных народов в районе Центральной Азии – Монголии и сопредельных ей территорий. По своему хозяйственному типу это могли быть только пастушеские, протоочевнические народы, с преобладанием овец в составе стада, близкие по характеру хозяйства к современным монголоязычным и тангутотибет-

ским народам этого региона. Поэтому мы можем предположить, что в виде субстратных компонентов часть культурного наследия этих народов вошла в современную кочевую тюрко-монгольскую культуру и даже в протоскифскую (восточно-иранскую) кочевую культуру.

Выше уже говорилось, что при выпасе мелкого рогатого скота (овец) конь более насущно необходим, чем при выпасе быков и коров. Именно у народов с преобладанием овцеводства конь является объектом особого почитания и заботы. У некоторых тюркских и особенно монгольских народов существует условное разделение домашнего скота на «животных с горячим дыханием» (это лошади и овцы) и на «животных с холодным дыханием» (быки и коровы, яки, козы, верблюды). Животные «с горячим дыханием» во всех отношениях ценятся выше, обладают более престижным статусом. В годину Великой Отечественной войны Монголия оказывала помощь своему «старшему брату», СССР, поставляя продовольствие для фронта, в основном в виде скота. Скот шел из МНР в СССР разный, и крупный, и мелкий. Но монгольская сторона настаивала на том, чтобы в документации о поставке скота коровы и быки не упоминались бы, а исчислялись бы в учетных единицах – «условных овцах», ибо дарение овец выглядело более достойно и престижно, нежели дарение быков.

В связи с этим уместно вновь вспомнить, что на другом конце Евразии, в Грузии, конь обозначается словом «цхени», то есть вместе с «цхвари» – «овца», «цховреба» – «жизнь», «цхели» – «горячий» входит в этимологическое поле корня «цх», объединяющего семантику тепла и животворности.

В ходе своего этногенеза китайцы, особенно южные, ассимилировали большое число представителей народов аустрической филы, таких как юэ, мань и других. Культура и хозяйство китайцев обогатились за счет южных заимствований. Сегодня, безусловно, свиньи в хозяйстве китайцев несравненно важнее, чем овцы, которые в основном сохраняются лишь в бытовой жизни китайских мусульман. Но в Северном Китае по сей день риса потребляют очень мало, а проса и пшеницы много, в древности же, судя по песням, входившим в «Шицзин», просо и овцы играли очень важную хозяйственную роль.

Основная структура любой культуры это несомненно бинарная оппозиция, в том числе пре-

жде всего оппозиция культура/натура (природа), а внутри как культуры, так и натуры – оппозиция мужского/женского, наиболее эксплицитно выраженная в концепции Инь-Ян. В космических символах оппозиция мужского/женского часто соответствует оппозиции Солнца/Луны, хотя есть и немало исключений: в Японии солнечное божество Аматэрасу женское, а лунное (Цукиноми) – мужское. В немецком языке солнце (die Sonne) женского рода, а Луна (der Monat) – мужского. Но даже в близко родственном английском при поэтической антропологизации про солнце говорят *He*, а про луну *She*.

В рамках пары Инь-Ян укладывается бесчисленное множество бинарных оппозиций – Инь мыслится как женское, лунное, северное, западное, холодное, влажное, вогнутое, темное, ночное. Ян, напротив, объемлет все мужское, солнечное, южное, восточное, горячее, сухое, выпуклое, светлое, дневное. Стало быть, кони и овцы должны быть отнесены к сфере Ян, а крупный рогатый скот – к сфере Инь. Уже в палеолите, как и в более поздних мифологемах, лошади неизменно ассоциируются с солнечным началом, быки же – часто с лунным, что отчасти поддается сродством молодого месяца с контуром бычьих рогов (это сходство заметно именно в достаточно низких широтах, порядка 30-х градусов, где происходила первичная domestикация скота). В дальнейшем в Месопотамии известны изображения бычьих голов со знаком полумесяца во лбу. Среди вахан (ездовых животных) индуистских богов находим лошадей, приданных богу Солнца, Сурье, и барана, служащего ваханой богу огня, Агни, тогда как бык является ваханой Шивы, божества темного, опасного и разрушительного. Среди евразийских мифологем мы, пожалуй, не найдем опасных или вредоносных коннотаций, связанных с овцами (баранами), мало таковых, связанных с лошадьми (троянский конь нес гибель жителям Трои, но для данайцев он был благим подспорьем); зато жестоких и опасных мифологем, связанных с быком, вполне немало, достаточно вспомнить Минотавра. Похищение Европы тоже является агрессивным действием и насилием – сама Европа, возможно, и не возражала, но ее сородичи наверняка были очень недовольны. Но тут уже возникает особая тема – бык и женщина. Это постоянно повторяющаяся в древнем искусстве комбинация. Я.А. Шером трактуется как указание на соитие Неба в обра-

зе быка (притом темного, черного быка, т.к. небо подразумевается ночное и грозное) с женщиной, олицетворяющей «Мать Сыру Землю». Баран же, едва ли не самое копуляционно активное домашнее животное, в паре с женщиной не выступает, скорее представляя общую абстрактную идею оплодотворения. Разумеется, нельзя отрицать, что и с быком могут быть иногда связаны солнечные коннотации, но это скорее исключение, чем правило.

Фертильность барана выступает вне всякой связи с женщиной, тогда как коннотации быка в определенном смысле андрогинны (Минотавру жертвовались и юноши, и девушки, те и другие представлены на фресках на тему тавромахии). Овцы-самки если и забиваются на мясо, то вне ритуальных мероприятий. Коровы же на Кавказе в ряде случаев (например, на свадьбах, на похоронах) могут забиваться и в ритуальном контексте. Кроме того, надо отметить, что доением коров занимаются, как правило, женщины, а доение овец рассматривается как нормальная мужская работа, т.к. оно требует значительных физических усилий.

Рассмотрим отношение овец (баранов) и коров (быков) с хозяйственной точки зрения. Даже самые специализированные овцеводы нуждаются в продуктах земледелия, которые обычно получают от оседлых соседей в обмен на овчины и шерсть. Нередко подспорьем служит, а в древности, несомненно, служило еще больше, собирательство диких злаков, и повсюду имеется и, видимо, имелось с давних времен собственное подсобное земледелие, оазисное, лиманное или террасное. Но при преобладании трансгумантного или полукочевого образа жизни это подсобное земледелие не удовлетворяет всех потребностей, и получение зерна путем обмена остается жизненно необходимым. Побочные продукты злакового земледелия – солома, мякина – не поедаются или плохо поедаются овцами, но хорошо поедаются крупным рогатым скотом, так что его разведение естественно сочетается с развитым земледелием. Хороший пример симбиоза овцеводов и земледельцев-скотоводов показывают кочевые овцеводы – дхангары Западных Гат в Индии, которые пасут свои отары в редколесье, подкармливая овец веточным кормом, и выгоняют их, получая за это оплату зерном, на сжатые поля индузов – земледельцев, где овцы пасутся по стерне и сорным травам, оставляя на полях свой навоз – ценное и единственное

удобрение, ибо весь коровий навоз перерабатывается на кизяк для топлива.

Пасущиеся коровы и быки съедают верхнюю часть растений, и на лугу, где они выпасались, остается еще немало травы, пригодной для выпаса овец. Но овцы выстригают траву под самый корень, и после их выпаса всем прочим животным здесь уже делать нечего – не ухватишь и травинки.

Статусное соотношение овцеводов и скотоводов двойственное. Конечно, кочевники всегда примитивнее, патриархальнее, беднее своих земледельческо-скотоводческих оседлых соседей. В то же время они воинственнее, организованнее и поэтому нередко подчиняют себе земледельческие поселения и облагают их данью. Они гордятся своей свободой, вольным образом жизни, а переход к земледелию считают падением, унижением, уделом слабых и разорившихся. Но это не относится к горным отгонным, трансгумантным овцеводам. Последние с точки зрения оседлого населения равнин рассматриваются как отсталый, низкостатусный экономический и социально-политический придаток. И можно предполагать, что именно такое отношение имело место в тысячелетия, предшествовавшие domestikации лошади. Да и в новое время пастушеские, в основном овцеводческие популяции и Пиренеев, и Гималаев используют не столько лошадей, сколько мулов.

Тесная связь скотоводства (быков и коров) и земледелия, существовавшая, видимо, и в допашенную эпоху, проявляется в том, что многие обряды и поверья, связанные с коровами, включают в себя использование хлеба и теста, тогда как овцеводческая обрядность обычно с этими продуктами не связана. Взаимосвязь разведения быков и коров с земледелием, естественно, многократно усиливается с началом их использования как пахотного тягла. Таким образом, по крайней мере в своих первичных формах, в начальных периодах domestikации, овцеводство предстает как явление преимущественно горное и подвижное, а скотоводство как равнинное и оседлое.

Оба этих вида домашних животных связаны с эротикой, сексуальной символикой, фертильностью. Но секс, символизируемый быком, это секс оседлых поселений, творимый в укромной темноте глухого закутка постоянного дома, ночью. Секс же, символизируемый бараном, это секс, творимый преимущественно на открытом воздухе, среди лугов, при свете дня. Интерьер юрты, чума,

шатра не очень располагает к атмосфере интима, и даже в юрте последний, скорее, уместен днем, нежели ночью, тем более что ложе хозяина находится у западной стены юрты, а ложе хозяйки – у восточной, и разделяет их очаг.

Стало быть, мы вновь возвращаемся к идее оппозиции барана и быка как дня и ночи, солнца и луны.

И наконец, попытаемся проследить эту же оппозицию на китайском материале, впрочем, возможно, восходящем к субстратным или адстратным центральноазиатским компонентам (об их более конкретной этнической привязке можно только гадать, но возможно, они связаны с неким субстратом, занимавшим переходное положение между пра-сино-тибетским и протокетским ареалами).

Китайский иероглифический тезаурус состоит из десятков тысяч знаков, из которых, правда, лишь около 10% реально более или менее стабильно и широко употребительны. По традиционной системе классификации, эти знаки распределены по 214 ключам, или детерминативам. Ключи, одновременно сами по себе употребляющиеся как простые иероглифы, охватывают несколько областей или ключевых понятий природы и культуры – людей (человек, женщина, ребенок), космоса (солнце, луна, небо), растений (трава, бамбук, дерево), стихий (земля, вода, огонь) и др. Ряд ключей обозначает основных животных. Это ключи 93 (бык), 94 (собака), 123 (баран), 142 (насекомое), 152 (свинья), 153 (шакал), 154 (раковина), 187 (лошадь), 195 (рыба), 196 (птица), 198 (олень), 208 (мышь), 212 (дракон), 213 (черепаха). Легко заметить, что эта серия начинается с важнейших домашних животных (бык, собака, баран), эти знаки пишутся наименьшим числом черт и соответственно, по-видимому, относятся к древнейшим.

Соответственно последние знаки серии, с очень сложным написанием, относятся к животным, не имеющим хозяйственного значения, выступающим как сакральные символы или мотивы орнамента ритуальных сосудов.

Восемь из этих животных входят в число зодиакальных обозначителей, но в этом случае они пишутся иными знаками. Всего таких знаков 12: мышь (север), бык, тигр, заяц (восток), дракон, змея, лошадь (юг), овца, обезьяна, птица/петух (запад), собака, свинья. Обращает на себя внимание, что расположенные на циферблате часов или

картушке компаса оппозитивные (находящиеся друг против друга) животные действительно образуют символическую или природную (биологическую) оппозицию. Так, мышь противостоит лошади как высокое и низкое (эта оппозиция служит сюжетом некоторых мифов или сказок), тигр противостоит обезьяне (в природе Южной Азии крупные кошачьи хищники являются злейшими врагами обезьян), заяц противостоит петуху (как символ плодovitости жены и активности мужа, и в юрте они маркируют их спальные места), змея противостоит свинье (свиньи в значительной мере иммунны к укусам змей и являются их природными врагами). Не вполне ясна оппозиция дракона и собаки, но коль скоро дракон служит символом воды, возможно, собаки, неохотно (кроме специальных пород позднейшего времени) входящие в воду, рассматривались как антипод дракона. Наконец, противоположные места в зодиакальном кольце занимают овца и бык. При явном различии их пастбищных навыков, о чем уже говорилось выше, биологического антагонизма между ними нет, но можно думать, что такое их размещение обусловлено их символическим противостоянием. Нужно отметить, что час Быка – это самый глухой час ночи, от 02 до 04 по европейскому циферблату, а час Овцы (или Барана) это самое яркое и жаркое время дня от 14 до 16 часов.

Эта схема соответствует плану круглой юрты, где выход, под знаком лошади, обращен на юг и по часам обозначает полдень (час Лошади – с 12 до 14 европейских часов).

Безусловно, почти у всех зодиакальных знаков есть и свое бытовое, домашне-хозяйственное истолкование. Лошадь маркирует выход, у которого ставится коновязь, дракон – кадушку с водой. В секторе овцы, слева от входа, весной, когда идет ягнение овец, а ночи еще холодны, находят на ночь приют новорожденные ягнята, а в секторе Быка обычно хранят запасы вяленого мяса. Но хозяйственное значение этих локусов не отменяет их символического значения. Кроме того, надо отметить, что при счете годов годы Лошади и Овцы относятся к счастливым, а год Быка к несчастливому [Жуковская, 1985, с. 173–174].

В словарях общеупотребительных иероглифов около десятка знаков помещены под ключом 123 (баран) и примерно столько же под ключом 93 (бык).

В группе «барана» находятся собственно баран/овца и слова: красивый (мэй), доброе пред-

знаменование (сян), скромный, боязливый (сю), прибывать, прикреплять (чжао), завидовать, завидный (сян), долг, честь (и), стадо (цюнь), разводить, выращивать (ян), суп, бульон (гэн), тибето-язычная народность Цянов (цянь) (причем, как и у других тибетцев, овцеводство у них играет значительную роль), нести службу (чай), чесаться, зудеть (ян) (клещевая чесотка является одним из самых вредных и распространенных болезней овец), прикасаться, разгораться, светить (чжао), панцирь (гай), добрый и добро (шань). В группе быка, помимо собственно быка или коровы (ню), находятся слова самка (пинь), самец (му), вещь, предмет (у), пастух овец (бедный скотовод) (му), рабочий скот (шэн), жертвоприношение (си), особый, специальный (тэ), стампида, пробег быков (бэнь), проявлять гостеприимство (као), теленок (ду), жертва (и), ставить подпорки (цзянь), плуг, соха (ли), угол, рог (цзи), упряжка (цзю).

Как можно заметить, идея благодати присутствует в обеих группах, но больше выражена в «бараньей». Здесь сосредоточены все слова, относящиеся к моральным и эстетическим позитивным качествам. Здесь же есть и идея гадания, которое, очевидно, как и на Кавказе, и в Центральной Азии, проводилось на бараньей лопатке.

В бычьей группе есть два знака для жертвы, но доминируют все же прагматические понятия. Кроме того, знак «и», обозначающий жертву, состоит из «бараньего» знака с добавлением слева знака «быка» и справа руки с алебардой. Следовательно, он составлен из элементов, означающих быка, барана, и знака заклятия. Таким образом, хотя определенное различие между комплексами «бычьих» и «бараньих» знаков сохраняется, в сложносоставном иероглифе уже прослеживается снятие оппозиции, некоторое уравнивание быка и барана как сосуществующих форм жертвы.

В исторически обозримый период оппозиция быка и барана уже не осознается ни на «эмном», т.е. эксплицитном, ни даже на «этно», имплицитном уровне. Но по дошедшим до нас осколкам представлений, относящихся, видимо, к эпохе первичной доместики, можно предположить, что в начале одомашнивания быков имел место некоторый антагонизм, не исключавший, а, наоборот, подразумевавший взаимно комплементарный симбиоз между овцеводами и скотоводами крупного рогатого скота. Последние были теснее связаны с ранним земледелием в относительно равнинных местностях, а первые – с отгонным образом овцеводства в местах с выраженной вертикальной зональностью. Возможно, первоначально овцеводство было более коррелировано с сино-кавказскоязычными племенами, а скотоводство быков – с ностратическими, постепенно ассимилировавшими и оттеснявшими первых.

Список литературы

- Абаев В.И.** Осетинский язык и фольклор. – М.; Л., 1949. – Т. 1.
- Барсегян И.А.** Молоко и молочные продукты // Культура жизнеобеспечения и этнос. – Ереван, 1983.
- Булатова А.Г.** Традиционные праздники и ритуалы у народов Горного Дагестана. – Махачкала, 1988.
- Булатова А.Г.** Сельскохозяйственный календарь и календарные обряды у народов Дагестана. – СПб., 1999.
- Дирр А.** Божество охоты и охотничий язык у кавказских горцев // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1915. – Т. 44. – Отд. IV.
- Жуковская Н.Л.** Монголы // Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. – М., 1985.
- Иванова Ю.В.** Земледельческие культы народов Центрального и Западного Дагестана // Расы и народы. – М., 2006. – Т. 31.
- Литвинский Б.А.** Кангюско-сарматский фарн. – Душанбе, 1968.

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТЕПЯХ ЕВРАЗИИ В БРОНЗОВОМ И РАННЕЖЕЛЕЗНОМ ВЕКАХ

Одним из главных достижений выдающегося ученого Елены Ефимовны Кузьминой является неоспоримое доказательство ею индоиранской этнической принадлежности андроновской археологической культуры (последний доступный автору обзор проблемы, принадлежащий самой Е.Е. Кузьминой, см.: [2005, с. 385–411]). В работе над этой темой она проявила изумительную эрудицию, собирая факты из самых разных областей знания и с ювелирной тщательностью соединяя их в единую картину. Итогом работы явился вывод, который теперь уже вряд ли может быть подвергнут сомнению*, объединяющий воедино далекое прошлое народов нашей страны и народов Ирана, Индии и многих других стран. Да и сама по себе эта работа может служить образцом метода по синтезу вещественных и словесных источников для реконструкции общей исторической панорамы.

Но андроновская культура – не единственная археологическая культура в степях Евразии бронзового века. Каковы были отношения анд-

роновской культурной общности с одновременными ей культурами степей бронзового века, и какова была судьба этой общности в последующую эпоху – в эпоху раннего железа? Те же вопросы возникают и по поводу исторических судеб этнических общностей – носителей соответствующих археологических культур. Отвечая на эти вопросы, исследователи давно уже пришли к выводу, что простая прямая преемственность между андроновцами и более поздними исторически известными ираноязычными степняками – такими, как саки или массагеты, – отсутствует. В известной мере подытожил это наблюдение Л.Т. Яблонский, отметив, что о преемственности в данном случае можно говорить лишь в самом общем плане, «с высоты птичьего полета», на более же низких таксономических уровнях этот вывод нуждается в существенных коррективах [2005, с. 787–788]. С этим нельзя не согласиться. Преемственность между андроновцами – с одной стороны, саками, массагетами и др. – с другой, выражается в их общей ираноязычности, но во многих чертах материальной и духовной культуры, даже в физическом облике – это разные народы.

Различия эти таковы, что они не могут быть результатом естественной эволюции. Они могут быть объяснены лишь влиянием этнического суперстрата. Об этом суперстрате мне доводилось писать уже давно и не раз (см., напр.: [Пьянков, 1995, с. 35–36; 2006а, с. 231–234]). Но в данном случае мне показалось интересным остановиться на мнении самой Елены Ефимовны по указанному поводу. Приведу любопытную цитату из уже цитированной работы: «Е.Е. Кузьмина считает, что дандыбаевская культура не была связа-

*Попытка частично оспорить этот вывод, недавно предпринятая Л.С. Клейном, который оставляет андроновскую культуру только за предками иранской ветви индоиранцев, а предкам индийской ветви приписывает катакомбную культуру [2010, с. 163–222], не выглядит убедительно и требует ряда существенных натяжек. Гораздо лучше удовлетворяет всем известным данным отождествление людей комплекса культур катакомбной общности с носителями разных диалектов индоиранской речи первой волны. Большинство этих диалектов, надо думать, оказались тупиковыми, но некоторые из них оставили следы в языковой среде Передней Азии II тыс. до н.э., а один дожил до наших дней в виде языка (точнее, языков) нуристанских «кафиров» (но не дардов!) [Пьянков, 1995, с. 37–38; 2004, с. 32–33].

на своим происхождением с андроновским культурогенезом и приписывает ее появление приходу с востока племен *тюркского* происхождения (никак, впрочем, не аргументируя это странное, на наш взгляд, заявление)» [Яблонский, 2005, с. 780]. Цитата интересна тем, что в ней отражены и тезис Е.Е. Кузьминой, и отношение к нему автора.

Дандыбаевская культура большинством археологов считается производной от карасукской. Носители карасукско-дандыбаевской культуры, продвинувшись на запад (IX–VIII вв. до н.э.), составили, видимо, элитный слой населения – слой обладателей «мавзолеев», образцом которых может служить тагискенский мавзолей в древних низовьях Сырдарьи. Они наслоились на местный субстрат, которым на севере оказались люди саргаринской культуры, а на юге – андроновской. Но с переходом к эпохе раннего железа началось новое движение племен с востока. Создатели тасмолинской культуры вторглись через Джунгарию в Центральный Казахстан (конец VIII – начало VII в. до н.э.) и вытеснили отсюда прежнее население, которое и явилось прямым предком исторических саков и массагетов. (Излагаю это по общим сводкам в работах: [Степная полоса..., 1992, с. 26; Таиров, 2003, с. 164–167]. Там же см. ссылки на литературу.)

Как истолковать все эти события в свете этнической истории? Какое место занимают в ней носители дандыбаевской культуры и можно ли связать с ней тюркский этнос? Скептическая нота в приведенной выше цитате не случайна. В нашей науке еще в советское время почему-то наметилась тенденция фактически полностью исключать тюркский элемент из ранней истории степей.

Карасукскую культуру я, как и большинство исследователей, считаю прототибетско-енисейской в этническом отношении [Этногенез..., 1980, с. 126–129; Prušek, 1971, р. 81–87]. Прототибетцы в те времена, возможно, составляли еще единое целое с родственными им протоенисейцами. Китайцы называли их племенами жун. Это были кочевые племена, соседи китайцев с севера и запада, обитавшие в степях Ордоса и Ганьсу. (О жунах в контексте древней истории степей Евразии см.: [Пьянков, 2006а, с. 216–238]. Там же см. ссылки на литературу.)

В XII–X вв. до н.э. жуны находились в сложных отношениях с китайцами. С государством Шан у жунов были союзнические отношения, и они

даже помогали своему соседу в его борьбе с чжоусцами, а с пришедшим ему на смену государством Чжоу – враждебные. Эта ситуация отразилась и в археологии: в XIII–XII вв. до н.э. культуры «ордосских бронз» процветают, а в течение XI в. до н.э. постепенно исчезают в Ордосе. В результате исхода из Ордоса носителей этих культур, очевидно, и складывается карасукская культура, начало которой относят к XII–XI вв. до н.э. Карасукскую культуру давно уже связывали с «ордосскими бронзами», а после открытия в Ордосе соответствующих им культур ордосское происхождение карасукской культуры становится бесспорным.

В конце IX – начале VIII в. до н.э. среди жунов, оставшихся в степях к северу и западу от коренного Китая, вновь начинается брожение, возможно, под влиянием каких-то климатических изменений (ср.: [Таиров, 2003, с. 170–172]). Разные племена жунов все больше наступают на Китай, расселяются по Китайской равнине, так что чжоуские ваны в конце концов вынуждены перенести свою столицу на восток, в город Лои (771 г. до н.э.). Несомненно, что те же факторы заставляли жунов расширять свою территорию и в степных просторах на западе. В результате, возможно, был создан новый мощный союз племен, земли которого простирались от Тувы (Аржан) до древних низовьев Сырдарьи (Тагискен). Жуны с их родовыми «мавзолеями» имели в нем статус правящего, «царского», племени. Так надо представлять себе формирование дандыбаевской культуры. Это второе нашествие жунов оставило следы уже не только в китайских источниках, но и в древнегреческом и древнеиранском эпосе.

Во второй половине VII в. до н.э. грек Аристей Проконнеский совершил далекое путешествие в степи исседонов (Исеть, Тобол) [Пьянков, 2005, с. 15–35]. В своей поэме он рассказал о большом передвижении народов в степной полосе как о недавнем событии. Только «гипербореи» (китайцы), жившие на краю земли, у «другого моря», были мирным оседлым народом. Но их соседи аримаспы, «самые могучие из всех мужей», явились инициаторами передвижения народов. Они потеснили исседонов, исседоны изгнали скифов, а те – киммерийцев из Северного Причерноморья. Так Аристей объяснял события, связанные с нашествием кочевников на страны Передней Азии в конце VIII – VII в. до н.э.

Воинственные жуны, носители дандыбаевской культуры, воплотились здесь в образ полусказочных аримаспов (об этом образе и его тибетской основе см.: [Пьянков, 2006а, с. 223–225, 233–234]). Угорских же исседонов, которые в VI–IV вв. до н.э. прочно связываются с лесостепной гороховско-саргатской культурой, в данном случае, в IX–VIII вв. до н.э., надо считать носителями степной саргаринской культуры, которая ближе к угорским «андроноидным» культурам зауральской лесостепи, чем к предшествующим степным андроновским культурам. Экспансия дандыбаевцев в область расселения саргаринцев в это время была настолько глубокой, что некоторые исследователи говорят даже о единой дандыбаевско-саргаринской культуре [Таиров, 2003, с. 164]. Такой же была экспансия дандыбаевцев в область низовьев Сырдарьи и Амударьи. Это обстоятельство, между прочим, объясняет существование общего для исседонов и массагетов «погребального» обычая, описанного Геродотом (I, 216; IV, 26), явно тибетского происхождения. В таком случае древнейшими ираноязычными скифами, которых вытеснили исседоны из степей Южного Урала, будут носители местного варианта андроновской алакульской культуры.

В иранской «Книге царей» те же носители дандыбаевской культуры выступают под именем туров, самых упорных врагов иранцев. Считается, что и туры в массе своей были ираноязычным народом, и возможно, что так оно и было: ведь потомки андроновцев вошли в состав разнплеменного объединения туров и, наверное, составляли там большинство. Можно полагать, что именно это обстоятельство отделило их от других иранских племен и положило начало формированию восточноиранских языков, на которых впоследствии говорили массагеты, саки, савроматы, скифы и еще многие «скифские» в широком смысле народы. Но не все имена турских предводителей, в том числе и имя их царя Афрасиаба, поддаются объяснению из иранских языков, а сам Афрасиаб (Франграсьян) говорил на непонятном для арьев языке. Очевидно, элита кочевников дольше сохраняла свой родной язык. Владения туров Афрасиаба простирались от Канга и Ката (низовья Сырдарьи и Амударьи) до страны Чин (Китай) у крайнего «моря Чин», а столица Афрасиаба (другой Канг) находилась где-то далеко за рекой Гульзаррион (Сырдарья), за Шашем и Исфиджабом [Птицын, 1947, с. 307].

В древнейшем цикле сказаний «Книги царей» повествуется о войне арийского кави Хаусравы с предводителем туров Франграсьяном. Событие это датируется первой половиной VIII в. до н.э. [Пьянков, 2001, с. 334–348]. Особенно воспевается взятие арьями замка Хшатросаука турского рода Вайсака в стране Кангха (Канг в низовьях Сырдарьи) – очевидно, имеется в виду разграбление и сожжение тагискенского мавзолея.

До сих пор, говоря о временах дандыбаевской культуры, мы, как видим, имели дело с прототибетскими племенами жун. Проявил ли как-то себя в эту эпоху тюркский этнос? Испанский исследователь А. Алемани, рассматривая события, связанные с военной активностью кочевников на северных и западных границах Китая в конце IX – начале VIII в. до н.э., заметил, что в то время как знаменитый китайский историк Сыма-Цянь (II–I вв. до н.э.) говорит в данной связи только о жунах, в современной событиям книге Шицзин жуны хотя и упоминаются как угроза с запада, основная активность приписана племени хьяньюн (Xianyun), нападавшему на Китай с севера, из Ордоса и Шаньси; очевидно, Сыма-Цянь говорил о жунах в обобщающем смысле [Alemany, 1999, с. 45–55].

Это существенно меняет наши представления об этнической ситуации в регионе. Племя хьяньюн – предки хуннов, а хунны – уже не прототибетцы, а древние пратюрки, родоначальники гунно-булгарской ветви тюркских народов. Еще в эпоху «ордосских бронз» (XIII–XI вв. до н.э.) предки хуннов, именовавшиеся тогда племенем гуйфан, обитали в Ордосе вместе с жунами, а после ухода жунов заняли их место (об археологии ранних хуннов см.: [Международная конференция..., 1996, с. 3–5, 55–61]), расселяясь также в Шаньси (Тайюань), а может быть и далее, вплоть до Южной Маньчжурии. Возможно, хьяньюны играли ведущую роль среди жунов и в IX в. до н.э., инициируя их движение в Китайскую равнину и в степи на запад. Не исключено даже, что и правящий род жунов дандыбаевской культуры происходил из хьяньюнов. Это предположение подтверждается последующими событиями на территории Средней Азии, когда вновь неожиданно всплывает имя последних в форме хьяуна (хьяунина).

В конце VII в. до н.э. иранцы под предводительством кави Виштаспы сталкиваются с новым врагом – племенем хьяуна (Нуаона), наследника-

ми туров. Судя по ряду признаков, в частности, по их прозвищу «острошапочные», это уже непосредственно тот народ, который античные авторы называли массагетами. А.А. Амбарцумян убедительно показал, что название «хьяуна», встречающееся в авестийских текстах, является подлинным, а не поздней интерполяцией, как обычно считалось; название «хиониты», которое позже прилагалось к разным кочевым народам, — не оригинал, а, наоборот, позднее производное от «хьяуна» [1997, с. 3–9; 2006, с. 35–72]. Отсюда — важное последствие: выше уже говорилось, что археологически массагеты являются прямыми потомками дандыбаевцев Центрального Казахстана, а раз так, то массагеты, очевидно, могли унаследовать и племенное имя своих бывших владык — пратуннов.

Таким образом, высказанное Е.Е. Кузьминой походя замечание, с которого мы начали настоящую статью, не столь уж далеко от истины.

Несколько позже тюркский элемент выступает в истории степей еще более отчетливо. В середине VII в. до н.э. военная активность в северном китайском пограничье переходит к племенам ди. Эти племена большинство исследователей уверенно считают протоенисейцами [Пьянков, 2006а, с. 229]. Движение этих племен из Ордоса на север и запад, в степи Монголии и Казахстана, началось, видимо, еще раньше, в конце VIII в. до н.э. На новых местах они стали известны под именем динлинов. Там с ними произошло то же, что до них с жунами: большинство их растворилось этнически среди местного населения. В Монголии таким населением были местные пратюрки, и сложившийся новый народ теле (< динлин) стал предком тюркских народов огузской и старобуйгурской ветвей [Там же, с. 231–232]. Китайские источники помещают динлинов в двух местах: 1) в Центральной и Восточной Монголии [Пьянков, 2002, с. 199–203], 2) в Центральном Казахстане [Он же, 2006б, с. 13–18]. Археологически первым динлинам будет соответствовать культура плиточных могил, вторым — тасмолинская культура. Правда, последний тезис может встретить некоторые хронологические затруднения, но если считать недавно открытые коргантасские памятники прямым продолжением тасмолинских в условиях хуннского господства, то эти затруднения исчезнут.

В китайской традиции племена ди связаны с «амазонскими» мотивами, и я высказал предпо-

ложение, что под «скифскими» амазонками греков скрываются те же племена ди. Если так, то экспансия этих племен коснулась не только Монголии и Казахстана, где они прочно обосновались, но и Волго-Донских степей, где они образовали отдельный анклав под названием савроматов, а в своих набегах они достигали Дуная и земель за ним. Но на этот раз протоенисейский суперстрат наложился на иную основу — иранскую — и растворился среди нее, поэтому в савроматах мы видим уже ираноязычный народ [Он же, 2006а, с. 227–228].

Все сказанное выше позволяет предполагать, что тюркский элемент, хотя и не в чистом виде, присутствовал среди кочевников восточной части Евразийских степей уже в древности: пратюрки гуннской ветви — с IX–VIII вв. до н.э., пратюрки огузской ветви — с VIII–VII вв. до н.э. Исходными областями для первых послужил Ордос, для вторых — Центральная и Восточная Монголия. Можно предполагать, что на запад, вплоть до Центрального Казахстана включительно, тюркоязычные племена продвинулись уже к эпохе раннего железа.

Список литературы

- Амбарцумян А.А.** К проблеме датировки первой битвы иранцев с хьяона (конец VII в. до н.э.) // XIX научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки: тез. докл. / СПб. гос. ун-т. — СПб., 1997.
- Амбарцумян А.А.** Этноним «хьяона» в Авесте // Зап. Вост. отделения Рос. археол. об-ва. — СПб., 2006. — Т. II (XXVII).
- Клейн Л.С.** Время кентавров: степная прародина греков и ариев. — СПб., 2010.
- Кузьмина Е.Е.** К вопросу о современном состоянии проблемы происхождения индоиранцев // Центральная Азия. Источники, история, культура. — М., 2005.
- Международная конференция «100 лет гуннской археологии».** — Улан-Удэ, 1996. — Ч. I.
- Птицын Г.В.** К вопросу о географии Шах-Намэ // Тр. Отдела истории искусства и культуры Востока Гос. Эрмитажа. — Л., 1947. — Т. IV.
- Пьянков И.В.** Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии // Восток. — М., 1995. — № 6.
- Пьянков И.В.** Древнейшие государственные образования Средней Азии // Древние цивилизации Евразии. История и культура. — М., 2001.
- Пьянков И.В.** Еще раз к вопросу о динлинах // Лев Николаевич Гумилев: теория этногенеза и исторические судьбы Евразии. — СПб., 2002. — Т. I.
- Пьянков И.В.** Древнейшие иранско-славянские связи в сфере религии в общеисторическом контексте // История

релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2004. – Кн. II.

Пьянков И.В. Аристей: путешествие к исседонам // Исседон: альманах по древней истории и культуре. – Екатеринбург, 2005. – Т. III.

Пьянков И.В. Жуны и ди, аримаспы и амазонки // Зап. Вост. отделения Рос. археол. об-ва. – СПб., 2006а. – Т. II (XXVII).

Пьянков И.В. Западные динлины – первый тюркоязычный народ на территории Казахстана // Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии. – Актобе, 2006б. – Ч. II.

Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М., 1992.

Таиров А.Д. Кочевники Урало-Иртышского междуречья в системе культур раннесакского времени в восточной части степной Евразии // Степная цивилизация восточной Евразии. – Астана, 2003. – Т. I.

Этногенез народов Севера. – М., 1980.

Яблонский Л.Т. Археолого-антропологическая гипотеза к проблеме формирования культур сакского типа // Центральная Азия: источники, история, культура. – М., 2005.

Alemany A. Els “Cants arimaspeus” d’Aristeas de Proconnès i la caiguda dels Zhou occidentals // Faventia. – 1999. – N. 21/2.

Prušek J. Chinese statelets and the northern barbarians 1400–300 BC. – Praha, 1971.

А.В. Бондарев

ВКЛАД ПЕТЕРБУРГСКИХ УЧЕНЫХ В СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУРОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

История зарождения и формирования отечественной культурогенетики глубоко драматична и поучительна. Она неразрывно связана со всеми перипетиями, выпавшими на долю нашей страны и науки в XX столетии. Историю теоретических исследований культурогенеза с ее сложными и трагическими поворотами, попятными движениями совсем непросто представить в виде цельной картины, ибо она предстает перед нами как множество отдельных всплесков интереса к этой области исследований, обрывающихся пунктиров культурогенетических разработок, и лишь изредка отдельные ее звенья по найденным крупным фактам удается надежно связать друг с другом. В целом ряде случаев эту связь уже невозможно установить. Реконструкция только на основе знакомства с опубликованными работами неизбежно вела бы к искажению всей картины становления культурогенетических исследований. Поскольку в подавляющем большинстве случаев этот путь не давал ответов на самые главные вопросы, а лишь вел к бескрайнему расширению списка источников и литературы. Поэтому важное значение имела возможность приобщения к устной традиции, сохраняющая сведения по мно-

гим из поставленных в исследовании вопросов. Благодаря этому был уточнен ход мысли ряда исследователей, были установлены взаимосвязи между различными авторскими подходами в изучении культурогенеза, влияние одних ученых на других и т.д. Но и потенциал устной традиции оказался на определенном этапе исследования ограничен, т.к. многое со временем забывалось или оказывалось искажено позднейшими наложениями событий. Лишь только обнаружение неизвестных прежде документов из Рукописного отдела Научного архива Института истории материальной культуры Российской академии наук (РО НА ИИМК РАН) позволило пролить свет на подлинные истоки культурогенетических поисков в нашей стране, увязав разрозненные сведения и факты воедино.

* * *

Особая роль в философско-теоретическом изучении генезиса различных проявлений человеческого духа принадлежит И.Г. Гердеру, согласно которому генетическая сила, с одной стороны, порождает культуру, а с другой – связывает факты и явления культуры в единую цепь развития, и В. фон Гумбольдту, по мнению которого «истинное определение языка может быть только генетическим» (а, как известно, «язык – душа культуры»). Эти идеи имели значительные последствия для всего последующего изучения культуры в генетическом разрезе [Бондарев, 2009а].

В отечественной науке уже в конце XIX – начале XX в. складываются некоторые тео-

*Выражаю глубокую признательность своему учителю В.М. Массону, а также В.С. Бочкареву, Л.М. Мосоловой, А.Я. Флиеру и Э.С. Маркарян за заинтересованную поддержку и направляющие советы при разработке данной темы. От всей души благодарю также сотрудников библиотеки и Научного архива Института истории материальной культуры РАН за доброжелательное отношение и помощь в сборе материалов для написания этой работы.

ретические предпосылки для генетического изучения культуры. В 1920–1930-х гг. получает распространение целый спектр генетических разработок: начинали формироваться *социальная генетика и генеомия* (М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин, С.З. Каценбоген и, отчасти, Н.Д. Кондратьев, изучавший *экономическую генетику*); В.И. Вернадский, как и П. Тейяр де Шарден, каждый через призму своих взглядов, углубились в постижение *процессов ноогенеза*; были заложены основы отечественной *психогенетики*; на новом уровне были поставлены проблемы *этногенетики* – изучения процессов этногенеза (С.М. Широкогоров, Н.Я. Марр, Б.С. Жуков).

Стремительный рост генетических исследований в рамках различных дисциплин породил в это время ситуацию, когда идея применения генетизма к изучению культуры, можно сказать, «виталя в воздухе». Одним из первых почувствовать пульс времени и уловить саму эту идею смог первый председатель ГАИМК акад. Н.Я. Марр, который в ходе своих размышлений о динамике плотто- и этногонических процессов попутно пришел к открытию совершенно неизведанной области исследований, которой было дано собственное название – *генетика культуры*. Странно, но именно эта наиболее ценная страница научного творчества Н.Я. Марра как раз и оказалась на долгие десятилетия совершенно забыта и не рассматривалась ни одним из исследователей, изучавших его наследие. Заблуждения «нового учения о языке», засилье «марристов» и сталинские репрессии 1930-х гг. затмили в памяти последующих поколений ученых то главное, что открыл науке академик Марр.

В апреле 1919 г. усилиями Н.Я. Марра, Б.В. Фармаковского, А.А. Спицына и М.И. Ростовцева* в Петрограде на базе существовавшей с 1859 г. Императорской Археологической комиссии (ИАК)

*Кстати, именно акад. М.И. Ростовцевым (1870–1952) была предложена в первые десятилетия XX в. одна из первых отечественных археологических концепций генетической смены и порождения культур. В своих исследованиях он акцентировал внимание на *смешении и скрещении* разнородных культурных элементов как главном факторе образования нового в автохтонном развитии, не отрицая при этом роль миграций и внешних влияний. В этом смысле Ростовцев, опираясь на археологические данные, пришел к той же идее, которая по материалам лингвистики и с других позиций была выдвинута Н.Я. Марром. По мне-

была основана Российская академия истории материальной культуры (РАИМК)**. Как справедливо отмечает ряд исследователей, получившееся название предписывало Академии охватывать все эпохи [ИАК, 2009, с. 1045–1115; Клейн, 1993, с. 18]. Будучи прямым наследником ИАК, Академия, по замыслу ее учредителей, создавалась прежде всего как исследовательское учреждение. Она подразделялась на три отделения – археологическое, этнологическое и художественно-историческое. Это означало, что историко-культурный процесс должен был изучаться комплексно и вне каких-либо хронологических и территориальных ограничений. Но что должно было стать фокусом, сердцевиной, для этой колоссальной по глубине и охвату исследовательской работы?

По-видимому, на рубеже 1925–1926 гг. акад. Н.Я. Марру пришла в голову новая «взрывная» идея, которая на время захватила все его помыслы. Это была идея генетики культуры. Поэтому он как глава Академии в марте 1926 г. добился создания на базе прежнего разряда первобытной культуры [Васильев, Желтова, 2008, с. 18]* секции генети-

нию Ростовцева, переломные, кризисные моменты истории (экономически и политически обусловленные крупные социальные потрясения, этнические столкновения) служат своего рода пусковым механизмом для явлений смешения и скрещивания, резко усиливая их. Поскольку скрещение создает иное сочетание старых элементов, которое уже само по себе является новым, инновацией, а взаимодействие скрещиваемых элементов вдобавок приводит к их видоизменению, то в результате порождается новая культура или новый стиль. В этой концепции, которую, согласно Л.С. Клейну, можно было бы назвать комбинационизмом, впервые внезапность смены культур не объявляется кажущейся и не сводится непременно к замене, а трактуется как *взрыв*, инициирующий процессы порождения культуры (т.е. в современной терминологии – культурогенеза). «Если учесть широкий территориальный охват, обычный для Ростовцева, то, по сути, реконструировалась быстрая перестройка структуры, взрывная трансформация, – отмечает Л.С. Клейн. – Однако для Ростовцева развитие в значительной мере сводилось к перебору различных комбинаций одних и тех же элементов, а в его понимании движения через кризисы присутствовали элементы циклизма». Несмотря на это, следует признать: обоснование М.И. Ростовцевым идеи о скрещивании культур как важнейшем факторе культурогенеза стало важным импульсом в становлении археолого-культурогенетического направления. Этот вывод получил широкое распространение в 1920-е гг. в отечественной, а затем и западной археологии.

**С 1926 г. – Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК).



Секция генетики культуры в общей структуре ГАИМК, 1926–1929 гг.

ки культуры, которая в общей структуре ГАИМК получила особый межотраслевой статус, выступая своего рода теоретико-методологическим центром всей Академии. И хотя это первое специализированное учреждение по изучению культурогенетических процессов и просуществовало всего четыре с небольшим года – с 1926 по 1929 г., но за это время его сотрудникам удалось сделать необычайно много, а главное – был задан импульс, само направление дальнейших поисков на десятилетия вперед (см. *рисунок*) [Бондарев, 2009б].

Изучение фундаментальных и прикладных проблем генетики культуры, предпринятое в рамках деятельности этой секции, объединило крупнейших отечественных ученых различных

специальностей: акад. Н.Я. Марр (председатель), акад. С.Ф. Ольденбург, акад. В.В. Бартольд, акад. С.А. Жебелев, чл.-корр. Б.В. Фармаковский, чл.-корр. Д.К. Зеленин, чл.-корр. Д.В. Айналов, чл.-корр. А.Е. Пресняков, чл.-корр. А.А. Спицын, А.А. Миллер (заместитель председателя), Н.Н. Павлов-Сильванский (секретарь), И.И. Мещанинов, С.И. Руденко, П.П. Ефименко, М.В. Серебряков, И.А. Орбели, Д.А. Золотарев, К.К. Романов, Г.И. Боровко (Боровка), Н.М. Маторин, С.И. Ковалев, Н.И. Гаген-Торн, И.И. Яковкин, от аспирантов и тогда еще совсем молодых ученых – Л.А. Динцес, М.И. Артамонов, А.А. Иессен, Б.А. Латынин, Т.С. Пассек и др. Причем в работах Секции, помимо сотрудников Академии, принимали участие специалисты, непосредственно не принадлежавшие к ее составу: сотрудники Музея антропологии и этнографии АН СССР В.Г. Богораз-Тан, Б.Н. Вишневский и Л.Я. Штернберг; глава московской палеоэтнологической школы Б.С. Жуков; ученица Марра О.М. Фрейденберг, сотрудники и аспиранты из Яфетического института АН СССР и т.д.

Научная работа секции в 1926–1928 гг. велась в двух ключевых направлениях: в области изыскания закономерностей зарождения, превращения и распространения культурных форм; и в области осуществления конкретных исследовательских задач, имеющих ближайшее отношение к генетике культуры. 1929 г. – это кульминационная веха в деятельности секции генетики культуры**. В центр внимания было поставлено изучение и разработка вопросов генетики культуры с точки зрения их статистики и динамики: выявление культурных центров – очагов культуры, выяснение путей и факторов процесса распространения культурных элементов и культурных комплексов (*динамика культуры*) и изучение происхождения культурных элементов, возникающих в одних случаях путем *конвергентности*, в других – путем *диффузии* [Зеленин, 1928].

*Необходимо отметить, что, к сожалению, в этой интересной статье заведование Секцией генетики культуры по какой-то непонятной случайности ошибочно приписывается П.П. Ефименко, который на самом деле был ее научным секретарем и то только на первых порах. В действительности с момента создания и вплоть до расформирования Секцию генетики культуры возглавлял ее подлинный основатель академик Марр. Однако в его адрес авторами лишь брошено во многом несправедливое обвинение в «марксизации» российской археологии (с. 21), хотя, как известно, настоящими устроителями «революции в археологии» можно считать приставленных к уже надломленному Марру большевистских выдвиженцев Ф.В. Кипарисова, С.Н. Быковского, В.Б. Алтекера, а также А.Г. Пригожина, М.М. Цвибака, В.И. Равдоникаса и проч.

**Рукописный отдел Научного архива ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1926 г. Д. 38. Протоколы заседаний Секции генетики культуры 31.03.1926 – 15.12.1926; 1927 г. Д. 12. Протоколы заседаний Секции генетики культуры 05.01.1927 – 14.10.1927; 1928 г. Д. 18. Л. 72. Отчет о деятельности секции генетики культуры ГАИМК на период с 1 октября 1927 года по 1 октября 1928 года (далее будут указываться ссылки на материалы лишь этого архива).

Однако в самый разгар напряженной творческой работы секции вмешались политические процессы, начинавшие лихорадить страну. 1929 год вошел в российскую историю как год «великого перелома», означавшего начало тотальной коллективизации крестьянства и советизации отечественной науки. Для ГАИМК это был год подлинной «революции в археологии». Кардинально изменилась в Академии и психологическая атмосфера: на смену творческим исканиям и свободным дискуссиям 1920-х гг. пришли тотальная подозрительность и догматизм 1930-х гг. Вместо прежнего деления Академии на отделы (этнологический, археологический, художественно-исторический) и специализированные разряды с межотраслевой секцией генетики культуры было насаждено членение на сектора по формационному принципу (архаической, античной, феодальной формации) с методологическим бюро, занимавшимся внедрением основ марксизма-ленинизма.

На пике интенсивной и широкомасштабной научной деятельности секция генетики культуры была упразднена. Распоряжение № 37 от 13 ноября 1929 г. нового заместителя председателя, большевистского выдвиженца Ф.В. Кипарисова среди прочего предписывало: «в связи с введением новой структуры освободить Н.Я. Марра от заведования секцией генетики культуры»*, которая подлежала незамедлительному роспуску. Тем не менее работа секции генетики культуры по инерции еще какое-то время продолжалась. Так, вопреки распоряжению № 37 своего заместителя по Академии, Марр лично провел 29 ноября 1929 г. очередное заседание секции генетики культуры. Следовательно, Марр не допускал и мысли о ликвидации секции по генетике культуры, которой он придавал столь огромное значение в научной работе Академии. Однако действовать по принципу: «игнорировать распоряжения и продолжать работать» – не удалось даже Марру. Дело в том, что далее в Академии начала орудовать «Комиссия по чистке состава научных учреждений». В результате проработок этой «Комиссии» в 1929 г. ГАИМК был «очищен» от более чем половины всех своих сотрудников (около 60 чел.),

из которых значительная часть была репрессирована, а другие были лишены средств к существованию и обречены на голодную смерть.

Охватывая общим взором деятельность секции генетики культуры, следует учитывать, что из-за внезапного расформирования многие исследования сотрудников Секции были только намечены или даже начаты, но не были доведены до своего логического завершения. В числе недостатков работы Секции можно упомянуть не вполне четкое понимание содержательных границ и специфики генетики культуры; отсутствие строгой дефиниции для самого термина «генетика культуры»; прямолинейность в понимании взаимообусловленности культурно-генетических, социально-генетических, плоттогонических и этногонических процессов; неразработанность методов исследования истории культуры в генетическом разрезе (в этом направлении были предприняты лишь первые весьма успешные шаги – Марр, Зеленин, Мещанинов, Франк-Каменецкий, Фрейденберг, чуть позднее Пропп и др.). Кроме того, многие из представленных на заседаниях докладов имели довольно отдаленное отношение к изучению генетических механизмов культуры. Однако большинство из отмеченных недостатков было очевидно для самих членов Секции и было вполне естественно для начала работ в этом новом направлении.

Вместе с тем даже то, что сотрудникам секции генетики культуры за эти четыре года удалось успеть сделать, уже весьма впечатляет (впервые в истории науки исследования в области генетики культуры были институализированы; была взята принципиальная установка на комплексность и междисциплинарность в изучении генетических механизмов культуры не только в прошлом, но и вплоть до современности; несмотря на тяжелейшие условия повсеместной разрухи, проводилась интенсивная и широкомасштабная экспедиционная деятельность по практическому изучению культурно-генетических процессов и т.д.). В целом можно констатировать, что в разработках секции генетики культуры уже вполне отчетливо проглядывают предпосылки для формирования теоретической и прикладной культурогенетики (см.: [Бондарев, 2009б, с. 22–27]). Марр, придавая особое значение разработке вопросов генетики культуры, предполагал, что в будущем должен наступить момент, когда работа в этом направлении примет настолько всеакадемиче-

*Там же. 1929 г. Д. 7. Распоряжения по ГАИМК 20.03.1929 – 1.10.1930. Л. 47. Распоряжение № 37 от 13 ноября 1929 г.

ский характер, что работа Секции генетики культуры как отдельного учреждения ГАИМК делается излишней*.

После «революции в археологии» 1929 г. идея о культурно-генетических скрещиваниях в работах советских археологов 1930–1940-х гг. соединилась со стадиальной гипотезой Марра и активно осваивавшимся тогда марксизмом, что нашло свое выражение в модели поступательного развития культурно-исторического процесса. Не марксизм приспособлявали к археологии, а археологию стремились подогнать под марксизм. Для этого и была предназначена в т.ч. теория стадиальности. Эта модель предполагала уже не просто взрывы, а *диалектические скачки* (с подъемом на более высокую ступень). На первый план выходило движение культуры уже не по кругу, как у Шпенглера и Ростовцева, а подъем по спирали в соответствии с принципами диалектического материализма. В соответствии с этой моделью развитие культурно-генетических процессов шло по стадиям (преимущественно прогрессивно), претерпевая ряд *«стадиальных трансформаций»*. Но для их объяснения уже недостаточно было учитывать кризисные всплески скрещиваний или даже связывать кризисы с экономическими и социальными сдвигами, как это имело место в работах Ростовцева. Оказалось необходимым интерпретировать сами перестройки структур, сами переходы культур на все более высокие уровни как следствие прогресса техники, в конечном счете – орудий производства. Эта социологическая вульгаризация повсюду наталкивалась на упорное сопротивление фактического материала. Дело усугублялось еще и тем, что увлеченные новизной и революционностью теории сторонники стадиализма абсолютизировали ее положения, стремясь подогнать все явления под заранее намеченные схемы. Это привело к практически полному отрицанию миграций и внешних влияний, к утверждению идей о повсеместной автохтонности (В.И. Равдоникас и др.). Прямолинейное внедрение производственного детерминизма и смешение всех видов смены культур (отождествление их со скачком) препятствовало подлинному проникновению в механизм культурогенетических процессов. Таким образом,

в 1940-х гг. в «теории стадиальности» назревали внутренние противоречия, и поиски выхода из них можно видеть в посмертно опубликованных тезисах Е.Ю. Кричевского [1946]. «Догматизация, связанная с общей обстановкой тех лет, – пишет в связи с этим Л.С. Клейн, – тормозила рост и развитие “теории стадиальности”, а в 1950 г. эта теория была попросту ликвидирована без замены другой» [1975, с. 99]. С этого времени в области изучения культурно-генетических процессов в советской археологической науке наступил, по определению акад. Б.А. Рыбакова, «период эмпиризма», который растянулся на два десятилетия.

Если подводить итоги этого начального периода, то нетрудно заметить, что его значение для будущего культурно-генетических исследований чрезвычайно велико. Перечислим только некоторые важнейшие достижения. Была разработана система терминов, ставшая прочной основой отечественных этногенетических и культурогенетических изысканий (*«генетика культуры»*, *«очаги культуротворчества»*, *«культуротворческие процессы»*, *«глоттогония»*, *«этногония»*, *«этнические процессы»* и др.). Были разработаны отдельные методы изучения генетики культуры (генесиологический метод, палеонтологический анализ, диахронический и синхронистический анализ)**. Было уточнено содержание генетического метода применительно к изучению культуры. Лишь сейчас можно по достоинству оценить всю глубину мысли О.М. Фрейденберг о том, что этот метод направлен на выявление постоянного соотношения *«фактора»* как скрытого потенциала любой формы культуры и *«факта»* как проявления этого потенциала в конкретике культурных феноменов. По ее мнению, эволюционный метод изучает формацию факта, а генетический – природу фактора ([1988, с. 216]. «Система литературного сюжета». 1925 г.). Были осуществлены первые попытки проведения междисциплинарных исследований по разноаспектному изучению процессов возникновения и развития культуры, ставших необходимой предпосылкой для дальнейшего формирования исследований культурогенеза и т.д.

*Из выступления Н.Я. Марра 11 марта 1929 г. на Объединенном заседании секции генетики культуры и разряда этнографии ГАИМК // Там же. 1929 г. Д. 16. Дело Секции генетики культуры. Л. 35об.

**Здесь имеется в виду попытки применения указанных методов именно к изучению генетики культуры. Применительно к изучению языка диахронический и синхронистический анализ использовались и прежде (напр., Ф. де Соссюр и др.).

Параллельно с деятельностью сотрудников секции генетики культуры ГАИМК проходило формирование и других направлений культурогенетических исследований. Так, например, в Москве в то же самое время, во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг., зарождалась культурно-историческая школа в психологии. По сути, этой школой были заложены основы исследований в области личностного культурогенеза (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев и др.)

Начало 1930-х – конец 1950-х гг. в становлении отечественных культурогенетических разработок можно обозначить как своего рода период «анабиоза», поскольку именно тогда на все генетические области исследований в нашей стране (и в т.ч. генетику культуры) обрушились жесточайшие гонения. Репрессии коснулись тогда многих видных сотрудников секции генетики культуры. Были уволены из Академии и состоявшие в Секции такие ученые-классики мировой науки, как выдающийся востоковед акад. В.В. Бартольд, известный историк искусства чл.-корр. Д.В. Айналов, крупнейший археолог проф. А.А. Спицын. В соответствии с распоряжением № 40а от 21 ноября 1929 г. были также уволены: бывший ученый секретарь Секции правовед Н.Н. Павлов-Сильванский, историк права И.И. Яковкин, научные сотрудники Д.А. Золотарев, Г.И. Котов и др.^{1*} Все это сопровождалось разгулом психологического террора и поощрением доносительства^{2*}. С этого времени, в 1928–1930 гг., фактическое руководство ГАИМК все более переходит от акад. Н.Я. Марра к представленному к нему большевистскому выдвиженцу Ф.В. Кипарисову, ставшему его официальным преемником в Академии. С этих пор за редкими исключениями уже не Марр подписывал распоряжения по Академии, а Кипарисов. Колоссальное перенапряжение сил и неравная борьба за то, что еще можно было попытаться спасти, все более сказывались на состоянии здоровья Н.Я. Марра, приведя в конечном итоге к нервному заболева-

нию, а затем и тяжелейшему инсульту. Кроме того, с конца 1920-х гг. он уже был окружен плотной бюрократической стеной большевистских выдвиженцев^{3*} и располагал все меньшими возможностями влиять на происходившие события. 20 декабря 1934 г. последовала скоростная смерть Н.Я. Марра. Несмотря на всю противоречивость личности и деятельности Марра, следует все же признать, что во многом именно благодаря его авторитету, харизме и умению лавировать – на протяжении долгого времени в пору большевистского лихолетья в ГАИМК (как и в других многочисленных руководимых им учреждениях) удавалось сберечь некоторые ростки отечественной науки. После его смерти уже ничто не могло спасти Академию и ее сотрудников от надвинувшегося вихря репрессий.

Направленный наводить порядок в ГАИМК бывший чекист С.Н. Быковский [Формозов, 2006, с. 55–56], личность крайне агрессивная, открыто предупреждал: «для тех, кто марксистски мыслить не может, должны быть применены методы воздействия более сильные, чем разъяснения и убеждения» [Быковский, 1931, с. 20]. В полном соответствии с этой установкой были арестованы А.А. Миллер (занимавший, как упоминалось, пост заместителя председателя Секции), Ф.И. Шмит, Б. Н. Вишневский, С. И. Руденко, Н.М. Маторин, Г.И. Боровко (Боровка), М.Г. Худяков, Н.И. Гаген-Торн и другие участники секции генетики культуры. Некоторые из них были расстреляны или погибли в нечеловеческих условиях сталинских тюрем и лагерей (А.А. Миллер, Г.И. Боровко и др.). Другие – были вынуждены переквалифицироваться (Л.А. Динцес и др. См.: [Формозов, 2006, с. 206]). Неизвестна дальнейшая судьба ученого секретаря Секции Н.Н. Павлова-Сильванского – предпринятые архивные разыскания пока ничего не дали^{4*}. Как известно, «поднявший меч от меча и погибнет», и уже по «Ленинградскому делу» за давнюю близость к Зиновьеву и Каменеву были арестованы, а затем сгинули в недрах ГУЛАГа исполнявший обязанности председателя ГАИМК Ф.В. Кипарисов и его заместитель С.Н. Быковский, совсем недавно сам призывавший к тотальной чистке Академии.

^{1*}РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1929 г. Д. 7. Распоряжения по ГАИМК 20.03.1929 – 10.10.1930. Л. 54. Распоряжение № 40а от 21 ноября 1929 г.

^{2*}Там же. 1930 г. Д. 4. Материалы по чистке сотрудников ГАИМК 23.05.1930 – 06.09.1930. Стенографические отчеты общих собраний, протоколы и переписка; 1930 г. Д. 9. Журнал заседаний правления ГАИМК. 11.01.1930 – 17.07.1930; Д. 11. Распоряжения по ГАИМК 02.10.1930 – 31.12.1930. См. также: Там же. Д. 13. Протоколы открытых заседаний 14.01.1930.

^{3*}О.М. Фрейденберг вспоминала по этому поводу один весьма показательный эпизод [2001, с. 429].

^{4*}РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 496. Личное дело Н.Н. Павлова-Сильванского.

Неудивительно, что в этих условиях в 1930-х гг. культурогенетическая тематика постепенно исчезает из плановых разработок сотрудников ГАИМК. И хотя были отдельные попытки сохранить изучение вопросов генетического рассмотрения культуры в рамках «Организационно-методологического отделения*», но это явно не вписывалось в новую направленность работы изуученной Академии. На смену изысканиям по генетике культуры пришли крайне политизированные этногенетические исследования 1930–1950-х гг.

Спустя всего три года после смерти Марра, в 1937 г., ГАИМК была ликвидирована как самостоятельная организация и преобразована в Институт истории материальной культуры в составе АН СССР (ИИМК). Одновременно было отнято даже здание, где прежде располагалась ГАИМК, – Мраморный дворец, который в 1919 г. усилиями Марра был предоставлен для Академии советским правительством. Вместе с тем Институт истории материальной культуры АН СССР – преемник главного детища Н.Я. Марра РАИМК и прежний центр культурогенетических исследований – был одним из немногих ведущих научных учреждений страны, который оставался к началу Великой Отечественной войны в Ленинграде. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в тяжелейших условиях блокады города** было принято решение о переведении дирекции ИИМК из Ленинграда в Москву (октябрь 1943 г.). При этом директором ИИМК был назначен (вместо М.И. Артамонова) акад. Б.Д. Греков, хотя все дела находились в ведении московского археолога С.В. Киселева, не без участия которого была начата подготовка кампании против ленинградской археологической школы [Антология..., 1996, с. 3; Формозов, 2006, с. 78–79, 82]. Уже в 1944 г. последовало распоряжение Президиума АН СССР о создании двух равноправных отделений ИИМК в Москве и Ленинграде. Когда война уже близилась к победному завершению и мог встать вопрос о

возвращении приоритета Ленинградскому отделению, то в директивном порядке административное руководство ИИМК зимой 1945 г. было окончательно передано в руки Московского отделения. С этих пор Ленинградское отделение стало филиалом Московского ИИМК.

Но это было лишь только началом разгрома ленинградской археолого-культурогенетической школы [Тихонов, 2003, с. 197–198]. Особенно этому поспособствовал ряд «квазинаучно-политических» демаршей, инициированных лично «корифеем всех наук» И. Сталиным и на долгие годы в принципе подорвавших возможность любых генетических разработок. Достаточно упомянуть «философскую дискуссию» (1947 г.), разгром биологической генетики после XVIII сессии ВАСХНИЛ (июль – август 1948 г.), небезызвестное выступление самого Сталина «Относительно марксизма в языкознании» (июнь 1950 г.), содержащее погромную критику «нового учения о языке» акад. Н.Я. Марра, а также заседание объединенной научной сессии АН СССР и АМН СССР (июнь – июль 1950 г.), посвященной проблемам учения акад. И.П. Павлова. В результате, по сути, была сделана попытка изгнать саму идею изучения генетического аспекта развития из области гуманитарных наук, подменив ее сталинским истматом, что привело к длительному торжеству *агенетизма* (термин Б.Ф. Поршнева) в нашей стране.

Была дискредитирована вся генетическая терминология, особенно применительно к изучению социально-культурных процессов, а смысл некоторых выживших генетических понятий был существенно редуцирован (напр., «этногенез», «антропогенез» именно в те годы были сведены до одной проблемы первобытного происхождения этноса и человека соответственно). Оказалась полностью сокрушена марровская научная школа, хотя и носившая неоднозначный характер, но в области культурогенетических изысканий имевшая безусловные заслуги (О.М. Фрейденберг, И.И. Мещанинов и др.). Начался поток новых проработок, массовых саморазоблачений и грубых обвинений, касающихся рецидивов «марризма» «у ряда безответственных ученых». Причем основной удар этой кампании против «марризма» пришелся именно по ленинградским ученым, в той или иной степени занимавшихся культурно-генетическими проблемами (И.А. Орбели, В.В. Струве, Б.Б. Пиотровский, В.И. Равдоникас, А.П. Окладников, М.И. Артамонов, О.М. Фрей-

*Так, Пятилетний план ГАИМК 1929–1933 гг. среди проблем, разрабатываемых Организационно-методологическим отделением, под пунктом 14 предусматривает изучение вопросов генетики культурных форм. См.: РА НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1929 г. Д. 1. О деятельности Академии. Ч. 1. Переписка, планы, отчеты. Л. 156, 516, 522.

**Во время блокады Ленинграда умерли многие сотрудники Института, в т.ч. и некоторые из бывших участников Секции генетики культуры ГАИМК: акад. С.А. Жебелев, Б.Л. Богаевский и др.

денберг и др., лишившихся занимаемых должностей, а в ряде случаев подвергавшихся и неприкрытой травле, как О.М. Фрейденберг) [Арциховский, 1952, с. 115–130; Астахов, 1953, с. 131–144; Вульгаризаторы..., 1954, с. 2; Против вульгаризации..., 1951–1952; 1953; Федоров, 1951, с. 229–244; Шаревская, 1953, с. 9–26]. Но главное – эти события привели к тотальному запрету и идеологическим гонениям на все генетические области исследований, а не только на одну биологическую генетику, как принято обычно считать. В последние годы сталинского режима отдельными московскими властью предержащими археологами предпринимались даже попытки вообще ликвидировать разгромленное, но так и не сломленное Ленинградское отделение ИИМК, что не удалось лишь благодаря мужественному вмешательству Е.И. Крупнова [Массон, 1996, с. 7; Массон, 1997, с. 4].

В 1930–1950-х гг. в ведущих западных научных школах (и, прежде всего, в англо-американской) также предпринимались разного рода попытки изучения динамики эволюции культуры и самой ее основы – культурно-генетических процессов (хотя и с использованием, разумеется, несколько иного понятийного аппарата). Несмотря на различия в подходах западных авторов и марксистскую фразеологию советских ученых, эти разработки в целом ряде аспектов имели общую направленность и во многом перекликались с достижениями зарождавшейся в тяжелые 1920-е гг. отечественной культурогенетики. Из всех зарубежных специалистов хотелось бы особо выделить выдающегося американского культурантрополога А.Л. Кребера (1876–1960). Его работы относятся к числу первых и наиболее плодотворных опытов в создании теории макрокультурного развития, действительно отвечающей критериям научности. В 1944 г. им был издан трактат «Конфигурации развития культуры», ставший провозвестником начала качественно нового этапа в теоретико-культурных исследованиях в целом и культурогенетики в частности [Кребер, 1997, с. 465–498; 2004]. И хотя Кребер в своих работах и не использовал понятие «культурогенез», тем не менее современное значение этого термина вполне укладывается в его дефиницию «процессов культурного роста» (*“process of culture growth”*).

Примерно с конца 1950-х и, в большей степени, с 1960-х гг. в нашей стране началось трудное воз-

рождение искореженного «генетического древа». Однако пресеклась та связь, которая до 1930-х гг. придавала некое парадигмальное единство различным генетическим направлениям (разумеется, это было во многом лишь начинавшее формироваться «парадигмальное единство»). Поэтому «отрастание ветвей» от прежде единого «генетического древа» пошло в разных научных областях параллельно и изолированно друг от друга (фигурально выражаясь, «в разные стороны»). Именно после этого прежде довольно широкое значение, которое вкладывалось в понятие генетичность, было существенно редуцировано до одной только биологической генетики. Кроме того, ситуация усугублялась еще и тем, что, как справедливо подметил Л. Грэхэм, «идеологические органы партии на самом деле продолжали в высшей степени критически относиться к использованию генетического подхода при объяснении человеческого поведения. В то же время ученые всего мира начинали придавать все большее значение именно такому подходу» [Грэхэм, 1991, с. 230] (авторский курсив Л. Грэхэма).

В археологии после разгрома «марризма» в 1950 г. установился «бестеоретический» период, растянувшийся на два десятилетия. В сентябре 1959 г. Институт истории материальной культуры по настоянию Б.А. Рыбакова был переименован в Институт археологии с сохранением в его составе Ленинградского отделения (ЛЮИА). ЛЮИА в научном плане практически работало как самостоятельное учреждение, но основные административные вопросы и финансирование проходили через контроль московских структур, которые жестко пресекали любые попытки отступлений от догматов исторического материализма [Массон, 1997, с. 4], что, естественно, затрудняло возвращение исследовательских интересов к культурогенетическим разработкам 1920-х гг.

Краткий ренессанс историко-генетических исследований второй половины 1960-х – начала 1970-х гг. был слишком непродолжителен, хотя и ярок (А.П. Окладников, Э.С. Маркарян, В.М. Массон, В.П. Алексеев, Вяч.Вс. Иванов и др.). Однако в эти годы у еще неоформившейся «генесиологической парадигмы» появились более успешные в силу ряда обстоятельств «парадигмальные соперницы» (системный подход, кибернетика, а затем и синергетика), которые «перетягивали» потенциальных приверженцев «генесиологического» подхода. Тем не менее в трудах второй половины

XX в. продолжает уточняться терминологический аппарат и появляются первые попытки изучения собственно проблем культуругенеза и этногенеза. Здесь следует обратить внимание на то, что к постановке культуругенетических проблем отечественные ученые пришли, во многом отталкиваясь, как и в 1920-х гг., от конкретно-исторических исследований процессов этногенеза, которые уцелели лишь в силу политико-конъюнктурной востребованности [Шнирельман, 1993; Уяма, 2003]. И более того, даже получили в советской науке в 1930–1970-х гг. довольно широкое распространение [Кучумов, 2003].

В числе первых, кто в отечественной науке пошел к осознанию исключительной важности постижения законов культуругенеза, был акад. А.П. Окладников (1908–1981) [1950, 1952, 1967, 1968], возглавлявший одно время Институт истории материальной культуры АН СССР и являвшийся одним из наиболее знаменитых последователей школы Н.Я. Марра. Так, даже в период гонений на «марризм» в 1950–1953 гг. он отмечал, что Марр своими усилиями поднимал археологию до изучения процессов развития материальной культуры, до изучения вещи как исторического источника вместо простого любованья вещью [За преодоление влияния..., 1951, с. 242].

А.П. Окладникову пришлось работать в непростое время. Безусловно, в своей научной деятельности он искренне и полностью придерживался марксистских принципов. Вместе с тем внедрение в археологию марксистской методологии, предписываемое как государственная политика, имело двойные последствия – отмечает В.М. Масон. «С одной стороны, произошло усиление внимания к общим закономерностям культурного и исторического процесса, к изучению экономических и социальных структур древних обществ. Все это оказало определенное влияние и на направленность полевых исследований, где стало придаваться особое значение широким раскопкам поселений и городов. С другой стороны, сама форма догматизированного эволюционизма, особенно в упрощенных формулировках, вела к схоластике и тавтологии. Попытки создать идеологический барьер в противостоянии западной науке были одной из худших форм политизации. Но сам материал, все более увеличивающийся в объеме в ходе интенсивных полевых исследований, объективно понуждал исследователей к творческим поискам» [1997, с. 7]. Особенно остро проблема

творческого теоретического осмысления археологических находок встала в 1960–1970-х гг., когда проводились массовые «новостроечные» раскопки и возникла необходимость упорядочивания накопленного на тот момент огромного археологического и историко-культурного материала. Кроме того, в конце 1960-х гг. многими стал осознаваться кризис отечественных этногенетических исследований и возникла необходимость в новых теоретических подходах. Наконец, археологические дискуссии о соотношении этноса и археологической культуры, проводившиеся в это же время, показали, что эти явления совпадают лишь в некоторых случаях и то частично. Поэтому среди ряда наиболее дальновидных исследователей крепло убеждение, что прежде чем строить на основе археологических данных этногенетические концепции, необходимо для начала реконструировать процесс культуругенеза, а затем уже переходить к решению проблем этногенеза.

В связи с этим и на фоне сохранявшихся еще идеологических послаблений представляется неслучайным, что спустя несколько лет после того, как Ст. Лем использовал понятие *культуругенез*, в 1973 г. акад. А.П. Окладников в своей статье под знаковым наименованием «Этногенез и культуругенез» одним из первых в русскоязычной литературе употребил этот термин, вложив в него собственный смысл [1973]. Не исключено, что Окладников занялся этой тематикой, помня о наработках 1920-х гг. школы акад. Н.Я. Марра в области изучения генетики культуры, которые сам он высоко оценивал [Окладников, 1950, с. 29]. Тогда же в «Вопросах философии» была опубликована статья Ст. Лема «Модель культуры», представляющая собой фрагмент одной из глав его книги «*Filozofia przypadku*», в которой обосновывается стохастическая концепция культуругенеза [1969].

Характеризуя состояние культуругенетической проблематики в мировой науке, А.П. Окладников констатировал общую неразработанность методологии данной области исследований. Ученый обращал внимание на то, что «понятие культуругенеза охватывает, разумеется, все стороны культуры, как духовной, так и материальной» [1973, с. 5]. По его мнению, специфика археологических материалов обуславливает различия в возможностях реконструкции этих сфер культуругенеза: их анализ далеко не всегда может быть произведен с одинаковой полнотой, поскольку

духовная культура древнейших эпох, естественным образом, «сохраняется несравненно хуже и фрагментарнее, чем материальная. Но тем ценнее и эти фрагментарные данные» – замечал ученый. Он указывал на глубокую взаимообусловленность таких феноменов, как этнос и культура. По словам А.П. Окладникова, «сама постановка проблемы этногенеза невозможна в отрыве от изучения процессов культурогенеза» [Там же]. Представляется весьма глубокой его мысль о том, что «культурогенез и этногенез являют собой две стороны единого исторического процесса, в которых находит свое отражение диалектика действительного развития истории» [Там же, с. 7]. Работы Окладникова в данной области оказали существенное влияние на целый ряд исследователей, обративших свои силы в том числе и на изучение различных аспектов культурогенетической проблематики в контексте собственных научных интересов.

Выдающийся советский археолог и историк М.И. Артамонов (1898–1972) имел необычайно широкий круг научных интересов, охватывавший период от ранней бронзы до Средневековья [Скифы..., 1998; Тихонов, 2003, с. 189–204]. Центральное место в этих исследованиях, безусловно, занимала история скифов, хазар и славян. Многие публикации Артамонова посвящены культуро- и этногенетическим проблемам [1949, 1969, 1970, 1971]. Поступив в аспирантуру ГАИМК в январе 1926 г., он неоднократно принимал участие в заседаниях секции генетики культуры, что, вполне вероятно, как-то сказалось на формировании его теоретических взглядов. В чрезвычайно трудные годы, с 1939 по 1943, М.И. Артамонов возглавлял ИИМК, приложив значительные усилия, чтобы вернуть учреждению роль мощного научного центра. В свете данного исследования его фигура представляет собой несомненный интерес, выступая своего рода связующим звеном между старыми «гаимковскими» учеными дореволюционной школы и молодым поколением 1960-х гг. Среди учителей Артамонова были А.А. Миллер (занимавший, как указывалось, пост заместителя председателя секции генетики культуры), а также А.А. Спицын, Н.П. Сычев и др. Артамонов исходил из того, что культуры народов не остаются неизменными; они утрачивают одни признаки и приобретают другие. Однако культуры различных этносов, по его словам, меняются не во всем своем содержании: «Наряду с динамической ча-

стью культуры имеется другая – консервативная, сохраняющаяся в течение долгого времени и связывающая различные периоды существования народа между собой» [1969, с. 4]. Сам Артамонов воспитал несколько поколений учеников, многие из которых по-своему внесли значительный вклад в изучение культурогенеза: Л.С. Клейн, А.Д. Столяр, В.С. Бочкарев и др.

Список литературы

- Антология** советской археологии (1941–1956). – М., 1996. – Т. III.
- Артамонов М.И.** К вопросу об этногенезе в советской археологии // КСИИМК. – 1949. – Вып. 29. – С. 3–16.
- Артамонов М.И.** Этнос и археология // Теоретические основы советской археологии. – М.; Л., 1969. – С. 3–6.
- Артамонов М.И.** Снова «герои» и «толпа»? // Природа. – 1970. – № 8. – С. 75–77.
- Артамонов М.И.** Археологическая культура и этнос // Проблемы истории феодальной России. – Л., 1971. – С. 16–32.
- Арциховский А.В.** Пути преодоления влияния Н.Я. Марра в археологии и истории // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. обществ. наук. – 1952. – № 1. – Вып. 1. – С. 115–130.
- Астахов И.Б.** Рецидивы марровской «теории» в разработке вопросов происхождения искусства // Вопр. истории. – 1953. – № 1. – С. 131–144.
- Бондарев А.В.** История и основные направления развития отечественных теоретических исследований культурогенеза: автореф. дис. ... канд. культурол. наук. – СПб., 2009а.
- Бондарев А.В.** Незвестная страница истории отечественных культурогенетических исследований: секция по генетике культуры ГАИМК (1926–1929 гг.) // Культурогенез и культурное наследие. Культурологические исследования, 2009: сб. науч. тр. – СПб.: Астерион, 2009б. – С. 22–27.
- Быковский С.Н.** Какие цели преследуются некоторыми археологическими исследованиями? // Сообщения ГАИМК. – 1931. – № 4/5. – С. 20–22.
- Васильев С.А., Желтова М.Н.** Сектор/Отдел палеолита ЛОИИМК АН СССР – ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН и его предшественники в РАИМК – ГАИМК (основные вехи истории) // Зап. ИИМК РАН. – СПб., 2008. – № 3. – С. 16–50.
- Вульгаризаторы** в позе марксистов // Правда. – 1954. – № 343. – С. 2.
- Грэхэм Л.Р.** Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. – М., 1991.
- За преодоление** влияния «теорий» Марра в археологии (заседание Ученого совета ИИМК в декабре 1950 г.) // Вестн. древней истории. – 1951. – № 2. С. 229–244.
- Зеленин Д.К.** Перспективный план работ по изучению генетики культуры // Краеведение. – 1928. – № 5. – С. 257–266.
- Клейн Л.С.** К разработке процедуры археологического исследования // Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. – Л., 1975.

- Клейн Л.С.** Феномен советской археологии. – СПб., 1993.
- Кребер А.Л.** Конфигурации развития культуры // Антология исследований культуры. – СПб., 1997. – Т. 1: Интерпретация культуры. – С. 465–498.
- Кребер А.Л.** Избранное: Природа культуры. – М., 2004.
- Кричевский Е.Ю.** О роли межплеменных отношений в древнейшей истории // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. – 1946. – Вып. 13. – С. 3–9.
- Кучумов И.** От науки к мифу: теории этногенеза как практика этнилизма // Новая волна в изучении этнополитической истории Волго-Уральского региона: сб. ст. – Саппоро, 2003. – С. 60–104.
- Лем Ст.** Модель культуры // Вопр. философии. – 1969. – № 8. – С. 49–62.
- Массон В.М.** Исторические реконструкции в археологии. – Самара, 1996.
- Массон В.М.** Институт истории материальной культуры: (краткая история учреждения, научные достижения). – СПб., 1997.
- Окладников А.П.** Николай Яковлевич Марр и советская археология. – Л., 1950.
- Окладников А.П.** К вопросу о происхождении искусства // СЭ. – 1952. – № 2. – С. 3–22.
- Окладников А.П.** Утро искусства. Искусство палеолита. – Л., 1967.
- Окладников А.П.** Динамика культурных традиций у народов Сибири // Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей и становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири: материалы науч.-практ. конф. 22–26 нояб. 1966 г. – Улан-Удэ, 1968. – Вып. 1. – С. 19–27.
- Окладников А.П.** Этногенез и культуригенез // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока: (тез. докл. Всесоюз. конф., 18–21 дек. 1973). – Новосибирск, 1973. – С. 5–11.
- Против вульгаризации** и извращения марксизма в языкознании. – М., 1951–1952. – Т. 1–2.
- Против вульгаризации** марксизма в археологии. – М., 1953.
- Скифы.** Хазары. Славяне. Древняя Русь: междунар. науч. конф. памяти проф. М.И. Артамонова: тез. докл. – СПб., 1998.
- Тихонов И.Л.** Археология в Санкт-Петербургском университете: Историографические очерки. – СПб., 2003.
- Уяма Т.** Марризм без Марра: возникновение советской этногенетики // Новая волна в изучении этнополитической истории Волго-Уральского региона: сб. ст. – Саппоро, 2003. – С. 23–51.
- Федоров Г.Б.** За преодоление влияния «теорий» Марра в археологии: (заседание Ученого совета ИИМК в декабре 1950 г.) // Вестн. древней истории. – 1951. – № 2. – С. 229–244.
- Формозов А.А.** Русские археологи в период тоталитаризма: историогр. очерки. – М., 2006.
- Фрейденберг О.М.** Система литературного сюжета // Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. – М., 1988. – С. 216–227.
- Фрейденберг О.М.** Воспоминания о Н.Я. Марре // Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Антология. – М., 2001. – С. 425–443.
- Шаревская Б.И.** Против антимарксистских извращений в освещении вопросов первобытного мышления и первобытной религии // СЭ. – 1953. – № 3. – С. 9–26.
- Шнирельман В.А.** Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнограф. обозрение. – 1993. – № 3. – С. 52–68.
- Lem St.** Filozofia przypadku. – Krakow, 1968.

СТЕПИ ЕВРАЗИИ В ЭПОХУ БРОНЗЫ



О СТЕПНЫХ «ЦИВИЛИЗАЦИЯХ» БРОНЗОВОГО ВЕКА

Недостаточность археологического терминологического аппарата давно уже стала трюизмом [Щапова, 2005, с. 58]. Это обстоятельство предопределило широкое заимствование понятий из иных наук. При этом часто их содержание имеет существенные отличия от первоисточника. Среди тех, что получили широчайшее распространение в последнее двадцатилетие, должен быть упомянут и термин «цивилизация». Первоначально его приложение к археологическим материалам было во многом стимулировано желанием археологов быть услышанными широкими слоями населения и властными структурами, однако постепенно слово утратило статус метафоры и «перекочевало» из публицистики в научные работы [Степная цивилизация..., 2003; Энциклопедія..., 2004; Клейн, 2009] и даже учебники [Мартынов, 2000, с. 234–245 и др.]. Вряд ли стоило бы сетовать по этому поводу, если бы не существовали серьезные, точнее, концептуальные разночтения в понимании содержания и оценках этого сложного исторического явления. Введение приставки «прото-» (или подобных ей) мало что меняет, поскольку языку (в особенности обыденному) изначально присущ рационализм, отсекающий такого рода дополнения.

Интерес к цивилизационным проблемам среди отечественных историков нетрудно объяснить также поисками альтернативной методологии в период отказа от марксистской догматики. О достоинствах и недостатках этого традиционного для западной науки подхода написано достаточно. Для нашей темы важно подчеркнуть, что наиболее сложной проблемой является интерпретация с позиций цивилизационистики археологических фактов, лишь опосредованно отражающих (овеществляющих) целый ряд

аспектов существования конкретного социума, особенно идеологии. Сфера духовной культуры едва ли не самое слабое звено любых археологических построений, особенно в тех случаях, когда отсутствует возможность проверки результатов анализа «внешними» данными (письменными и изобразительными источниками, фольклором и т.п.).

Тем не менее, обратимся к рассмотрению существенных черт понятия цивилизации. Разнообразие взглядов, с нашей точки зрения, сводимо к двум основным линиям – локальной и линейно-стадиальной*. В чистом виде вторая концепция сегодня имеет не слишком много сторонников, хотя ее модификации отнюдь не редкость [Семенов, 1999; Гринин, 2006]. Критерии для первой весьма размыты. В целом же длительная история разработки концепции так и не привела к формированию сколь-нибудь общего видения в части критериев цивилизации [Крадин, 2008]. Важно, что цивилизация рассматривается как *целостная* общественная система, в основе которой лежит устойчивость черт социально-политической организации, культуры и экономики, а также единство духовных ценностей и идеалов (ценностно-смысловое ядро культуры). Такое определение слиш-

*Возможен и более дробный вариант деления: цивилизация – это локальный, региональный вариант развития какой-либо формации; цивилизация – это послепервобытная стадия (или стадии) исторического развития; цивилизационный подход предполагает перемещение спектра исследований с «базиса» (т.е. изучения социально-экономических отношений, классовой структуры и пр.) на «надстройку» (ментальность, идеологию, религию и т.д.); история цивилизаций – это история многих крупномасштабных локальных исторических паттернов [Крадин, 2008].

ком общо и вряд ли позволит внятно сформулировать перечень признаков для диагностирования цивилизации по археологическим критериям. Малополезно в интересующем нас аспекте оказывается перенесение акцента в определении цивилизации на фундаментальные основы ментальности, духовные ценности и идеалы [Семенникова, 1998, с. 16], ибо эти составляющие чаще всего овеществлены наименее надежно либо интерпретируются неоднозначно.

Впрочем, нельзя сказать, что выделенные варианты понимания цивилизации не имеют точек пересечения. Так, общепринятым можно считать тезис А. Тойнби (по сути, одного из основателей именно «локальной версии»), увязывавшего формирование первых цивилизаций с переходом к производящим формам хозяйства, возникновением государственности и утверждением универсальной религии [Тойнби, 1991, с. 91]. Нетрудно заметить, что приведенный перечень предпосылок адресует к стадильному пониманию цивилизации как этапа развития общества.

Вместе с тем первый признак явно не универсален, поскольку «неолитическая революция» является условием необходимым, но недостаточным. Несмотря на выход целого ряда работ, в том числе и монографических, посвященных этим проблемам [Альтернативные пути..., 2000; Массон, 1996; и др.], говорить о завершении дискуссии, по меньшей мере, самонадеянно. Нельзя сказать, что ранее эти проблемы не прорабатывались, но в отечественной археологии «цивилизация» рассматривалась в стадильном понимании, соответствующим образом были сформулированы и критерии: часто перечень сводится к триаде «города – письменность – государство» [Массон, 1980б, с. 27–29]. Справедливости ради надо признать и существование мнения о возможности сложения неурбанистических вариантов локальных цивилизаций.

И все же большинство употреблений термина «цивилизация» в отечественной науке в той или иной степени связано с урбанизмом [Город..., 2001, с. 31–40]. Более того, Э.В. Сайко город рассматривается как структурообразующая цивилизационного процесса, а его генезис связывается с функционированием специфической урбанизационной социальной среды [Там же, с. 46–48]. Эта проблематика в практическом приложении к археологическим материалам активно прорабатывалась специалистами на примере земледель-

ческих обществ Средней Азии [Аскарров и др., 1988; и др.].

Все вышеизложенное имеет прямое отношение к древностям бронзового века степной Евразии. Дело не только в многочисленных книгах Ю.А. Шилова (см. библиографию: URL: <http://shilov.org.ua/books.html>) и его последователей или в засилье соответствующих ресурсов в Интернет. Уровень аргументации такого рода писаний не требует серьезного анализа, который, к тому же, не будет услышан противоположной стороной. Хуже то, что и вполне серьезные ученые не чураются легкого словоупотребления или изложения непроверенных гипотез, которые подхватываются, тиражируются и живут уже независимо от наших желаний и воззрений.

Драматическая история открытия и спасения укрепленного поселения Аркаим в Южном Зауралье относится к концу 1980-х гг., времени бурного роста гражданского самосознания, поиска новых общественных идеалов и пр. Совершенно непривычный облик памятника (а до этого был хорошо известен только Синташтинский комплекс [Генинг и др., 1992]) потребовал поиска новых для уральского бронзового века дефиниций [Зданович Г.Б., 1989, 1995; Зданович Г.Б., Зданович Д.Г., 2005; Зданович Г.Б., Батанина, 2007; Аркаим..., 2009; и др.]. В конечном итоге использование термина «цивилизация» в отношении зауральских древностей рубежа III–II тыс. до н. э. настолько вошло в широкую практику, что мало кто отдает себе отчет по поводу отсутствия развернутого обоснования этого варианта трактовки Аркаима. В трактовке памятника изначально возобладал урбанистический подход ввиду явного отличия от материалов предшествующего и последующего хронологических периодов. Со временем этот подход был реализован в еще менее удачном словосочетании «Страна городов». Вторая часть названия (правда, с приставкой «прото-») сравнительно развернуто обосновывалась Г.Б. Здановичем [1989, 1995; Зданович Г.Б., Батанина, 2007; Аркаим..., 2009; и др.]. Первая же вызывает политические коннотации. Кажется, единственным доводом выступает определенность границ распространения укрепленных поселений (Зауральский пенеппен) [Зданович Г.Б., Батанина, 2007, с. 6].

Поскольку именно урбанизационная часть цивилизационной трактовки снабжена наиболее развернутой аргументацией, обратимся к ней,

благо специфика археологических памятников ныне позволяет это сделать. Видимо, зыбкость аргументации понятия «протогород» привела в некоторых случаях к его замене на «квазигород» [Зданович Г.Б., 1997], основой существования которого признается слабо дифференцированная социально *земледельческая* (позднее скотоводческо-земледельческая) община, чем, видимо, обусловлено отстаивание уязвимого тезиса о синташтинском земледелии [Епимахов, 2010].

Понятие «урбанизм» по количеству определенных может соперничать разве что с числом дефиниций термина «культура», однако в самом общем виде урбанизация может быть охарактеризована как процесс концентрации, интенсификации и интеграции разнообразных форм человеческой деятельности [Листенгурт, 1992]. Возникновение города имеет место, когда территория населена социально иерархизированным обществом, в котором произошло разделение труда и которое ведет деятельность с достаточно полным использованием населяемого биогеоценоза. С точки зрения экономики, необходимыми условиями являются уровень развития производства, способный обеспечить существование «непроизводственной сферы»; высокая плотность населения, требующая специальной регламентации отношений; развитая сеть коммуникаций [Массон, 1980а, с. 182–184]. Вне прочных и широких торговых связей с другими коллективами, при отсутствии специализации, под которой понимается, в первую очередь, отделение ремесла от сельскохозяйственного производства, дифференциация населенных пунктов возникнуть не может. В связи с этим, город рассматривается, прежде всего, как член дуальной оппозиции «город – деревня».

Специфика процесса урбанизации обусловлена природными характеристиками территории, наличием полезных ископаемых, типом хозяйства, наличием торговых путей. Соответственно варьируют и типы городов по функции (либо их сочетанию): торговые центры, центры сельскохозяйственных территорий, центры скотоводческих территорий, промышленные. Различаются и варианты урбанизации: для сельскохозяйственных территорий – крупный город и ряд мелких во-круг; для скотоводческих – один крупный город; для торговых – цепь городов средней величины на приблизительно равном расстоянии [Аскаров и др., 1988, с. 98–99]. На примере Средней Азии был также сформулирован перечень наиболее

важных показателей, характеризующих урбанизированную поселенческую систему (УПС): функциональное назначение, архитектурно-планировочная и структурная композиции, характеристики фортификационной системы и ремесла [Буряков, Радилиловский, 1992].

Аркаим, начиная с первых публикаций, рассматривался Г.Б. Здановичем [1989] через призму концепции цивилизации, поскольку, с точки зрения автора, демонстрировал ряд черт протогорода – центра *формирующегося государства* номового типа. После выявления новых однотипных объектов и установления границ распространения памятников была высказана точка зрения о социально-экономическом единстве синташтинской ойкумены [Зданович Г.Б., Зданович Д.Г., 1995]. Одним из основных тезисов стало утверждение о городищах как центрах сельскохозяйственной округи, которая представлена иерархически организованной системой неукрепленных поселений. Авторы определили средние размеры «территориального округа» радиусом 20–30 км. Среди протогородских черт фигурируют продуманная планировка; система коммуникаций; монументальная система обороны; рациональное использование пространства.

Заключение о протогородском характере поселений предшествовало развернутому анализу результатов раскопок, реконструкции экономических реалий и демографических параметров общества. Эти показатели тесно взаимосвязаны и в значительной степени лимитированы основным типом хозяйства и возможностями экологической ниши. Рассмотрение синташтинских памятников в рамках перечисленных выше показателей УПС дает следующие результаты. 1. По размерным характеристикам памятники могут быть определены как крупные сельские поселения (1,5–3,0 га). Этот показатель (чаще всего формулируемый для периодов раннего железного века и средневековья) варьирует у разных авторов [Аскаров и др., 1988, с. 119], однако площадь зауральских поселений близка к пороговым значениям*. 2. По функциональному на-

*Приложение среднеазиатских показателей к памятникам бронзового века Урала может вызвать возражения, однако вполне очевидно, что земледельческая основа экономики обеспечивает многократно большую концентрацию населения в сравнении с животноводческой. Несмотря на это обстоятельство, цифры оказываются сопоставимы.

значению поселения диагностировать сложнее. Как уже отмечалось, автором раскопок Аркаима предполагается наличие сельскохозяйственной округи, но это так и не нашло надежного подтверждения. 3. Архитектурно-планировочная композиция: ранний этап – округлые, поздний – подпрямоугольные. 4. Структура УПС не дифференцирована – затруднительно выделить специализированные кварталы и даже постройки. 5. Фортификация – наличие оборонительных сооружений по периметру; в единичных случаях выделяется центр, интерпретируемый как цитадель, что кроме локализации ничем не подтверждается. Утверждение о монументальности сооружений в последние годы стало подвергаться обоснованному сомнению, особенно при сопоставлении с надежно атрибутируемыми аналогами [Петров, 2009]. 6. Ремесло – металлургическое производство (?), производство колесниц (?). Для названных отраслей существует альтернативное мнение о домашнем характере производства [Григорьев, 2006].

Возможности развития урбанистических процессов, с нашей точки зрения, резко ограничены условиями степной экосистемы [Епимахов, 1999]. Главной отраслью хозяйства обитателей синташтинских поселений было комплексное животноводство. Наличие металлургического производства признается всеми, но его роль трактуется по-разному. *Ремесленный* характер металлургии и металлообработки предполагается некоторыми исследователями [Бочкарев, 1995, 2002], но прямые доказательства наличия *специализированных* производств, отделенных от отраслей жизнеобеспечения, практически отсутствуют. Металлургия, с точки зрения Н.Б. Виноградова [2007], во многом определила облик памятников синташтинского типа, основной же формой ее организации автор считает клан. Скотоводческая специализация, требующая в отличие от земледелия обширных площадей, не могла стать причиной высокой концентрации населения (по оценке Г.Б. Здановича – до 4 тыс. человек на 2 га поселения Аркаим) [2004; и др.]. Такая плотность не имеет аналогов даже для земледельческих памятников, где максимальные значения составляют 400 человек на гектар [Массон, 1980б, с. 183; Березкин, 1995]. Между тем, демографический показатель считается одним из основных при диагностировании городских поселений.

Расчеты экологической емкости «территориального округа» грешат множеством допущений, а для скотоводства придомно-отгонного типа разработки отсутствуют. Приходится ориентироваться на материалы кочевников, видимо, вырабатывавших оптимальный вариант использования природных ресурсов степи, для которых приводятся следующие цифры. На площади один миллион кв. км могли прокормиться 4 млн овец или 300 тыс. лошадей либо 240 тыс. голов крупного рогатого скота [Железчиков, 1983]. Для поддержания жизнедеятельности кочевника требовалось около 100 га площади, т.е. на территории «округа» в 2 000 кв. км могли прокормиться максимум 2 000 человек при условии ведения *кочевого* хозяйства, а для рассматриваемого периода этот показатель был заведомо ниже. Таким образом, дополнительную аргументацию получает иная оценка численности обитателей Аркаима – 800–1 000 человек [Епимахов, 1996].

Тезис о наличии синташтинских поселений второго и третьего порядка пока не подкреплен результатами раскопок, вопрос о наличии оппозиции города и деревни остается открытым. Можно предположить, что мы имеем дело с центрами интеграции скотоводческого населения. Впрочем, назвать синташтинские поселения «крупными городами» вряд ли возможно. К тому же такие города должны существовать за счет широкого товарообмена со скотоводческим населением. По археологическим критериям невозможно надежно выделить единый для всей ойкумены центр (или центры), отличающийся размерами, структурой или иными чертами, который мог бы «претендовать» на роль города на фоне поселений более низкого ранга. Таким образом, не находит подтверждения один из ключевых признаков урбанизации – дифференциация типов поселений.

Приведенные соображения демонстрируют невозможность рассмотрения синташтинских памятников как свидетельств урбанистического пути развития, поскольку отсутствовала основная предпосылка – необходимость высокой концентрации населения в условиях узкой специализации отдельных поселений в пределах Южного Зауралья. Видимо, имеет смысл рассматривать альтернативные варианты интерпретации, тем более что процесс формирования городов тесно связан с появлением новой социальной структуры общества [Кузьмина, 2010, с. 55], что вовсе не реализовано в поселенческих материалах. Для по-

гребальной обрядности картина социальной дифференциации выглядит более выпукло, но следует помнить, что в ритуальной сфере реализуется идеальная структура, которая может существенно отличаться от повседневности [Епимахов, 2008; Epimakhov, 2009]. Нет сомнения в вопросе об отнесении данного общества к числу комплексных, однако форма реализации, видимо, была принципиально иной, в чем не последнюю роль сыграло отсутствие жестко регламентированных границ расселения в условиях степной экосистемы.

Подспудно аргументом в пользу цивилизационной трактовки синташтинских памятников считается высокий уровень духовной культуры данного населения. Мы не склонны оспаривать это обстоятельство, особенно с учетом семантической насыщенности поселенческих и особенно погребальных комплексов. Однако этот признак в рамках стадияльной трактовки цивилизации вряд ли может быть принят во внимание, хотя при обращении к вопросу о фундаментальных основах ментальности он признается едва ли не основополагающим. Впрочем, из перечня вышеизложенных фактов очевидны трудности поиска следов исповедания местным населением бронзового века одной из универсальных религий, т.е. не может быть использован и этот ключевой признак существования цивилизации. Для эпохи бронзы высказана мысль об исключительно идеологическом (но не культурном) основании единства ямной [Иванова, 2004, с. 345; и др.] и срубной [Пярых, 1992] общностей, однако трактовка этих феноменов как цивилизаций озвучена не была – слишком очевидно отсутствие выраженных иерархических структур и других атрибутов.

Таким образом, синташтинская группа памятников, несмотря на очевидные отличия от других культур бронзового века, не демонстрирует ключевых характеристик цивилизации (в стадияльном понимании): урбанизации, ярко выраженной социальной дифференциации, специализации ремесла и пр. С нашей точки зрения, выработанная местным населением социально-экономическая модель является самостоятельной и попытка втиснуть ее в рамки существующих концепций (в конечном итоге базирующихся на этнографических аналогах) малоперспективна. Усилия следует сосредоточить на диагностировании черт, определявших специфику. Такая работа в целом находится в русле мультилинейного понимания социальной эволюции.

Список литературы

- Альтернативные пути к цивилизации** / под ред. Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева и др. – М.: Логос, 2000. – 368 с.
- Аркаим:** У истоков цивилизации. – Челябинск: Аркаим, 2009. – 224 с.
- Аскаров А.А., Буряков Ю.Ф., Квирквелия О.Р., Радилиловский В.В.** Теоретические и методологические проблемы исследования в археологии. – Ташкент: Фан, 1988. – 200 с.
- Березкин Ю.Е.** Аркаим как церемониальный центр: взгляд американиста // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита-бронзы Средней и Восточной Европы. – СПб., 1995. – С. 29–39. – (Археологические изыскания; вып. 25).
- Бочкарев В.С.** Карпато-дунайский и волго-уральский очаги культуриногенеза эпохи бронзы // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита-бронзы Средней и Восточной Европы. – СПб., 1995. – С. 18–29. – (Археологические изыскания, вып. 25).
- Бочкарев В.С.** Волго-Уральский регион в эпоху бронзы // История татар с древнейших времен: в 7 т. – Казань: Рухият, 2002. – Т. 1: Народы степной Евразии в древности. – С. 46–68.
- Буряков Б.Ф., Радилиловский В.В.** Вопросы моделирования урбанизационных структур в свете теории урбаногенеза // Социально-пространственные структуры в стадияльной характеристике культурно-исторического процесса. – М.: ИА РАН, 1992. – С. 18–21.
- Виноградов Н.Б.** Культурно-исторические процессы в степях Южного Урала и Казахстана в начале II тыс. до н.э. (памятники синташтинского и петровского типа): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – М., 2007.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В.** Синташта. Археологический памятник арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. – Т. 1. – 408 с.
- Город** в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные характеристики / отв. ред. Э.В. Сайко. – М.: Наука, 2001. – 392 с.
- Григорьев С.А.** Основные этапы и проблемы культуриногенеза // Археология Южного Урала. Степь (проблемы культуриногенеза). – Челябинск: Рифей, 2006. – С. 188–222.
- Гринин Л.Е.** Производительные силы и исторический процесс. – М.: КомКнига, 2006. – 272 с.
- Енциклопедія трипільської цивілізації.** – Київ: Укр. поліграфмедіа, 2004. – Т. 1. – 1023 с.
- Епимахов А.В.** Демографические аспекты социологических реконструкций (по материалам синташтинско-петровских памятников) // XIII Уральское археологическое совещание: тез. докл. – Уфа: Вост. Ун-т, 1996. – Ч. 1. – С. 58–60.
- Епимахов А.В.** Возможности урбанистического развития в степной среде эпохи бронзы (по материалам памятников синташтинского типа) // Экология древних и современных обществ. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1999. – С. 119–122.
- Епимахов А.В.** Принцип дополнителности и социологические реконструкции в археологии // Россия между

прошлым и будущим: исторический опыт национально развития: мат-лы Всерос. науч. конф., посвящ. 20-летию Ин-та истории и археологии УрО РАН. – Екатеринбург: УрО РАН, 2008. – С. 75–80.

Епимахов А.В. О синташтинском земледелии (бронзовый век Южного Урала) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2010. – № 2 (13). – С. 36–41.

Железников Б.Ф. Экология и некоторые вопросы хозяйственной деятельности сарматов Южного Приуралья и Заволжья в VI в. до н.э. – I в. н.э. // История и культура сарматов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – С. 48–60.

Зданович Г.Б. Феномен протоцивилизации бронзового века Урало-Казахстанских степей. Культурная и социально-экономическая обусловленность // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. – Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 171–179.

Зданович Г.Б. Аркаим. Арии на Урале или несостоявшаяся цивилизация // Аркаим. Исследования. Поиски. Открытия. – Челябинск: Каменный пояс, 1995. – С. 21–42.

Зданович Г.Б. Аркаим – культурный комплекс эпохи средней бронзы Южного Зауралья // РА. – 1997. – № 2. – С. 47–62.

Зданович Г.Б. Могила «учителя» или образ горы в культуре «Страны городов» // Аркаим. По страницам древней истории Южного Урала. – Челябинск: Крокус, 2004. – С. 75–86.

Зданович Г.Б., Батанина И.М. Аркаим – Страна городов: пространство и образы (Аркаим: горизонты исследований). – Челябинск: Крокус; Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007. – 260 с.

Зданович Г.Б., Зданович Д.Г. Проблема освоения Евразийских степей в бронзовом веке и «Страна городов» Южного Зауралья // Археология Урала и Западной Сибири. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2005. – С. 110–128.

Зданович Д.Г. Синташтинское общество: социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы. – Челябинск: Аркаим; Челяб. гос. ун-т, 1997. – 93 с.

Иванова С.В. Исторические реконструкции и археологические реалии (ямная культурно-историческая область) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVIII. – С. 330–356.

Клейн Л.С. Украинское освоение Триполья – справочник или памятник? // Stratum plus. 2005–2009. – Кишинев, 2009. – № 2: Воины медного века. – С. 593–600.

Крадин Н.Н. Проблема периодизации исторических макропроцессов // История и математика: модели и теории. – М.: ЛКИ/URSS, 2008. – С. 166–200. – URL: http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=1 (дата обращения: 01.10.2010).

Кузьмина Е.Е. Предыстория Великого шелкового пути: Диалог культур Европа – Азия. – М.: КомКнига, 2010. – 240 с.

Листенгург Ф.М. Понятие урбанизации // Социально-пространственные структуры в стадийной характеристике культурно-исторического процесса. – М.: ИА РАН, 1992. – С. 51–55.

Мартынов А.И. Археология: Учебник. – М.: Высш. шк., 2000. – 439 с.

Массон В.М. Раннеземледельческие общества и формирование поселений городского типа // Ранние земледельцы (этнографические очерки). – Л.: Наука, 1980а. – С. 178–184.

Массон В.М. Формирование раннеклассового общества и вопросы типологии древних цивилизаций // Древний Восток и античный мир. – М.: Моск. гос. ун-т, 1980б. – С. 11–41.

Массон В.М. Исторические реконструкции в археологии. – Самара: Самар. гос. пед. ун-т, 1996. – 102 с.

Петров Ф.Н. Поселение Аркаим в культурном пространстве эпохи бронзы: Прил. к альм. «Дубненское наследие». – Дубна, 2009. – 64 с.

Пятых Г.Г. К проблеме распространения новой формы религии в позднем бронзовом веке // Теория и методика исследований археологических памятников лесостепной зоны. – Липецк: Липецк. гос. пед. ин-т, 1992. – С. 142–144.

Семенникова Л.И. Цивилизация в истории человечества. – Брянск: Курсив, 1998. – 340 с.

Семенов Ю.И. Философия истории от истоков до наших дней: основные проблемы и концепции. – М.: Старый сад, 1999. – 380 с.

Степная цивилизация Восточной Евразии. – Астана: Кулетегін, 2003. – Т. 1: Древние эпохи / отв. ред. К.А. Акишев. – 264 с.

Тойнби А. Постигание истории / пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.

Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: хронология, периодизация, теория, модель. – М.: КомКнига, 2005. – 192 с.

Epimakhov A.V. Settlements and necropolises of the Bronze Age of the Urals: opportunities of reconstruction of social dynamics // Social Complexity in Prehistoric Eurasia: Monuments, Metals and Mobility. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009. – P. 74–90.

ЭТАПЫ УРБАНИЗАЦИИ В ДРЕВНЕМ И СРЕДНЕВЕКОВОМ КАЗАХСТАНЕ

В эпоху глубоких социально-экономических преобразований и научно-технического прогресса, в эпоху глобализации рост и развитие городов, многоплановый процесс урбанизации приобретают все большее значение в мире и, конкретно, в каждой стране. Изучение урбанизации общества, проблемы города, его внутренней структуры все более привлекает исследователей различных направлений – историков и социологов, экономистов и психологов, архитекторов и культурологов.

Но при всем этом крайне важно знать истоки урбанизации, этапы ее развития в далеком и не очень давнем прошлом, чтобы понять специфику ее в разных регионах и общемировые тенденции развития. Особое значение приобретает вопрос городской жизни на Востоке в районах формирования кочевых цивилизаций, как, например, в древнем и средневековом Казахстане.

Одним из важнейших событий в казахстанской истории и археологии является открытие городов и самобытной городской культуры вопреки расхожему мнению ряда исследователей о Казахстане, как о стране исключительно кочевников, как о периферии городских культур Средней Азии. Доказано, что Казахстан был колыбелью своеобразной цивилизации, сочетавшей в себе тесный симбиоз скотоводов и земледельцев, города и степи [Байпаков, 1998].

Благодаря целенаправленным археологическим исследованиям и анализу данных, извлеченных из древних и средневековых разноязычных письменных источников, сейчас можно выделить несколько этапов урбанизации на земле Казахстана.

Период протоурбанизации связан с эпохой бронзы, длившейся со II тыс. до н.э. до начала I тыс. н.э. В археологическом плане культуры это-

го времени получили название андроновской и бегазы-дандыбаевской.

Открытие поселения Аркаим на Южном Урале, поселений на степных и лесостепных пространствах срединной Евразии от Урала до Иртыша, а также на Западе Казахстана на чинках Мангистау изменило представления об истоках урбанизации на территории Казахстана.

Укрепленное поселение (городище) Аркаим и городища южного Урала – «страна городов», городища Кент, Атасу, Талдысай в Сары-Арке, городище Токсанбай на полуострове Мангистау – это остатки протогородов среднего и позднего этапа бронзового века в диапазоне 1600–800 лет до н.э. Они имели развитую фортификацию в виде городских стен и укрепленных въездов, глубокие рвы, заполненные водой; организованную планировку внутреннего пространства, разреженную системой улиц; высокий уровень производственной деятельности, основанной на базе разработки рудных месторождений и металлургии палеометаллов; скотоводство разных форм и земледелие с использованием ирригации; международный обмен керамикой, металлом и украшениями. В них обитали стратифицированные по имущественному положению коллективы, где выделился слой колесничих – элиты, жрецов. Люди, населявшие эти поселения, имели развитые мифологию и искусство.

В аспекте политогенеза можно считать, что общество этих людей находилось на начальной стадии формирования государственности.

Раскопки укрепленных поселений открыли, как уже отмечалось, фортификацию, развитое домостроительство с использованием каменных плит для облицовки полуземлянок и землянок, в

которых проживали большие семьи, состоящие из двух-трех поколений. Жилища отапливались напольными очагами. Большое количество остатков дерева, ряды ямок на полу свидетельствуют о сложных перекрытиях жилищ, видимо, «дарбазного» типа.

Население сооружало для умерших сородичей, особенно людей знатных и почитаемых, подкурганские гробницы, овальные и квадратные в плане мавзолеи. Широко известны мавзолеи могильников Бегазы, Дандыбай, Аксу-Аюлы.

В Приаралье исследован некрополь Тегискен, состоящий, по определению ряда исследователей, из больших мавзолеев-храмов, стены которых выстроены из крупноформатного сырцового кирпича, укреплены каркасом из бревен. Перекрытия их были купольные, дарбазного типа. Самый большой мавзолей (№ 6) этого «города мертвых» имел круглый план. Диаметр его 15 м. Толщина стен 4 м.

Внутреннее, вписанное в круг, квадратное помещение имело площадь 50 кв. м. Стены изнутри, судя по большому количеству бронзовых гвоздей, были задрапированы коврами.

По своим размерам и объему использованных при его сооружении материалов он лишь немного уступает мавзолею Гур-Эмира, где был захоронен Тимур. Мавзолеи Тегискена по одной версии были ограблены и сожжены, по другой – были сожжены в ритуальном огне [Зданович, Батанина, 2003].

Первый этап урбанизации связан с эпохой ранних государств на территории Казахстана. Это государства саков Жетысу, саков Приаралья, Усунь в Семиречье, Кангюй с центрами на Сырдарье, государство западных динлинов (тасмолинская культура) в Восточном и Центральном Казахстане, сарматов на Западе Казахстана.

И саки, и усунь, и кангюи занимались скотоводством, в том числе и кочевым, и земледелием. Судя по китайским источникам, столицей государства Усунь был город Чигучэн (город Красной долины), который находился либо на берегах Иссык-Куля, либо в долине р. Чарын, где были найдены крупные поселения, которые могли со-

ответствовать городу Красной долины. В каньоне Чарына это поселение Сарытогай.

Известны поселения саков и усуней, которые были открыты и изучены в предгорьях Заилийского и Джунгарского Алатау, в ущельях центрального Тянь-Шаня. Это уже упомянутое поселение Сарытогай, Актас в долине Кегеня; Рахат неподалеку от могильника Иссык; Тузусай и крупные поселения в районе поселка Алатау вблизи Алматы; Есентай, Боролдай и Алмарасан на территории Алматы; Луговое в предгорьях Киргизского Алатау.

Наиболее полно раскопано поселение Актас, жилые и хозяйственные постройки, возведенные из камня-плитняка на глиняном растворе. Рядом найдены орошаемые участки земли.

На самом поселении обнаружены средневековые орудия и множество зернотерок. Жители поселения Тузусай, датируемого V в. до н.э. – IV в. н.э., занимались скотоводством и орошаемым земледелием. Поселение расположено среди оврагов, являющихся природной защитой.

На поселении Рахат, расположенном на первой гряде гор, так называемых «прилавках», отмечены следы подрубания склонов горы, на плоской вершине которой находилось поселение, видимо, чтобы сделать его неприступным (рис. 1, 2).

Поселение Сарытогай занимало значительную площадь, тянущуюся узкой полосой по правому берегу Чарына и состоящей из нескольких десят-



Рис. 1. Сакко-усуньское поселение Рахат (район г. Иссык). Аэрофото.

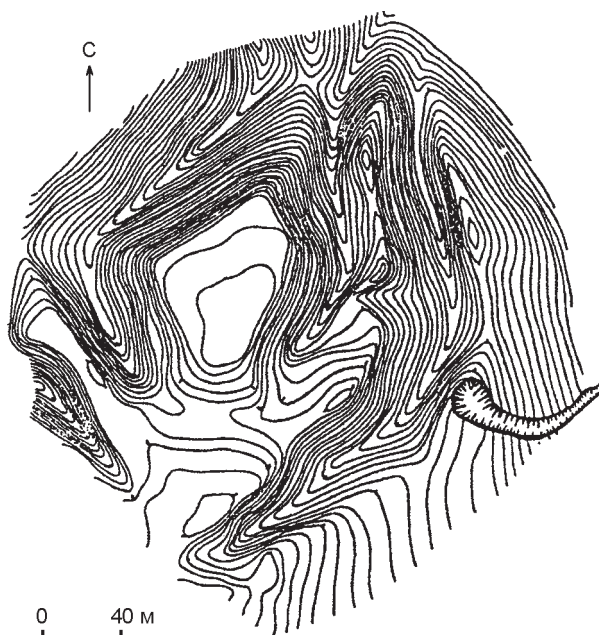


Рис. 2. Сакко-усуньское поселение Рахат. План.

ков различных жилищ, смытых стекающими с гор потоками. Здесь на месте построек лежат десятки зернотерок, каменных мотыг, керамика. Судя по территории и концентрации здесь населения, Сарытогай может считаться городом.

На поселении Алмарасан открыт участок застройки с домами, фундаменты которых сложены из камня. Здесь же найдены зернотерки, земледельческого типа керамика, следы меднолитейного производства (рис. 3, 4).

Интерес представляет архитектура «царских» курганов Жетысу и Восточного Казахстана. Ис-



Рис. 3. Усуньское поселение Алмарасан (район г. Алматы).

следования могильников Бесшатыр, Иссык, Чиликты дают представление об архитектурных ансамблях, состоящих из кургана высотой 10–15 м и диаметром до 100 м, каменных колец вокруг, круглых поминальных оградок, вкопанных в землю вертикально плит-менгиров. Под насыпями находятся сооружения из бревен в виде наземных усыпальниц с входными коридорами, со стенами, сложенными из бревен тяньшанской ели в Жетысу, лиственницы в Восточном Казахстане. Примакающий коридор-дромос также сооружался из бревен, верх его закрывался накатом из бревен, все это перекрывалось матами из камыша, связанного веревками. В одном из раскопанных курганов Бесшатыра гробница имела куполовидное деревянное перекрытие.

В кургане Иссык деревянный «сруб» был впущен в могилу.

Интересна подкурганная конструкция из бревен лиственницы в кургане Байгетобе в некрополе Чиликты. Она сооружена из бревен, щели между которыми были заложены камнем, а вся она обложена каменным пирамидальным панцирем.

Исследователи отмечают, что подкурганные деревянные конструкции свидетельствуют об умении саков и усуней сооружать из дерева жилые постройки в своих стационарных поселениях и городах.

Безусловно, курганы, где хоронилась элита, являются сложными архитектурными постройками-храмами, где проводились религиозные обряды и церемонии. Некрополи Жетысу аналогичны скифскому некрополю Герры в Причерноморье [Акишев, Кушаев, 1963].

На Сырдарье в государстве Кангуй (каучинская, отарско-каратауская, джеты-асарская культуры) изучены поселения и городища III в. до н.э. – V–VIII вв. н.э. (рис. 5, 6).

Поселения существовали многие столетия, и культурный слой их достигает 10 и более метров, а сами постройки и фортификационные сооружения составляют своеобразную последовательность (стратиграфию), при этом самые древние находятся внизу. Открыты десятки укрепленных поселений и городов, поставленных на специально сооруженные постройки.



Рис. 4. Керамика поселения Алмарасан.

Стены городов, жилые и культовые постройки возводились из сырцового кирпича. В строительстве широко использовались коробовые перекрытия из кирпича, арочные проходы.

Открыты одно-, двух-, трех- и многокомнатные дома, группирующиеся в кварталы. В домах в жилых помещениях вдоль стен устраивали суфилежанки. На полах находились открытые очаги, топившиеся «по-черному», когда дым выходил через дверь и отверстия в кровле. Перекрытия были плоскими, опирались на четыре опорных столба, которые поддерживали перекрытие дарбазного типа.

В городах имелись храмы, посвященные огню, они имели алтари, подиумы под культовыми нишами. Были квартальные храмы. Известны случаи, когда города формировались вокруг крупных храмов. Известность в научной литературе приобрели раскопки городищ Кок-Мардан, Куик-Мардан в Отрарском оазисе, Актобе и Чардары в Ташкентском оазисе; городищ в Джетысарском оазисе на Нижней Сырдарье.

В Приаралье были открыты мавзолеи эпохи бронзы в Северном Тегискене, изучались царские некрополи эпохи саков. Южный Тегискен и Уйгарак во многом продолжают архитектурные и строительные традиции эпохи бронзы. Столичным центром Приаралья в IV–II вв. до н.э. было городище Чирик-рабат, возникшее на месте некрополя. Возможно, что в какое-то время это был центр одной из северных сатрапий Ахеменидской империи.

К числу уникальных архитектурных сооружений относят мавзолеи из сырцового кирпича. Один из них Баланды 2 – круглое в плане сооружение диаметром 16 м, и сейчас его стены достигают высоты 4,5 м.

Это цилиндрическая постройка, украшенная снаружи выступами. Вход внутрь находился с южной стороны. Круглое помещение внутри имеет диаметр 5,5 м и перекрыто куполом, который опирался на стены толщиной 1,5 м.

По мнению историков архитектуры, купольный мавзолей Баланды был построен в IV в. до н.э. и

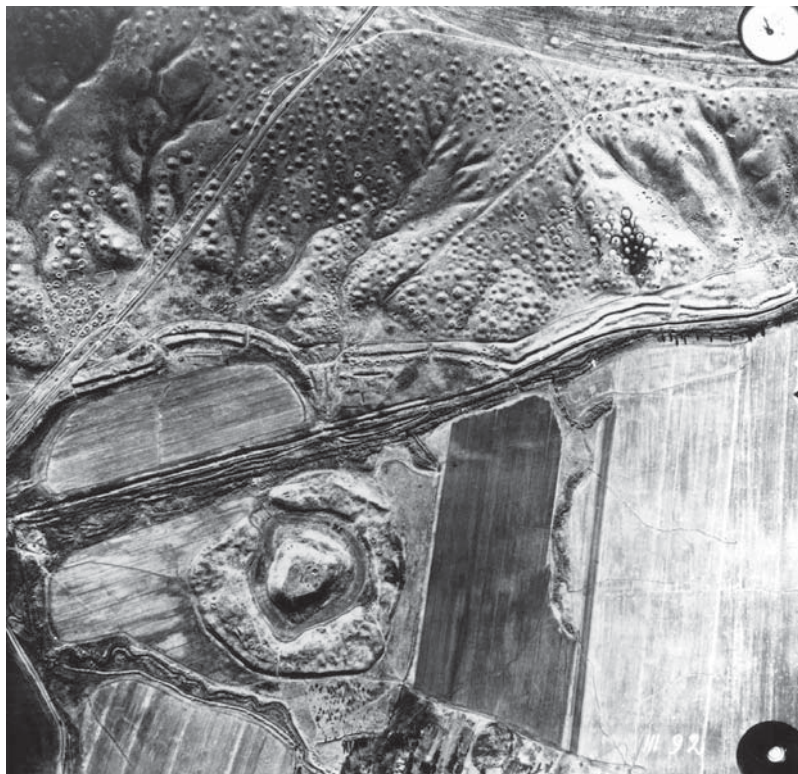


Рис. 5. Городище Жуан-тобе и могильник Борижары. Долина р. Арысь (верхний слой городища VI–VIII вв., могильник VI–VIII вв.).



Рис. 6. Городище Алтын-Асар. Приаралье (верхний слой VI–XIII вв.).

его купол является более древним, чем купольные постройки Рима [Толстов, 1960].

Второй этап урбанизации – это эпоха раннего средневековья VI–VIII вв. н.э. В политическом

отношении это время древнетюркских государств: Тюркского, Западно-Тюркского, Тюргешского и Карлукского каганатов. Это время перемещения на территорию Семиречья и Южного Казахстана Великого шелкового пути.

В VI в. в Жетысу возникают города Суяб и Навакет; продолжает развиваться Тараз; на юге Казахстана – Испиджаб, на Средней Сырдарье – Отрар и Шавгар. Сюань Цзянь, проехавший в 629 г. через Чуйскую долину и Южный Казахстан, называет также города Аспару, Мирки, Кулан, а Ибн Хордадбек и Кудама в своих маршрутных описаниях используют сведения VIII в. и перечисляют города Газгирд, Манкент, Шараб-Шаваб, Куль-Шуб и Джуль-Шуб, Кулан, Аспару, Нузкет, Джуль, Навакет, Пенджикент, Суяб.

Археологами локализованы городища этого времени, изучена их топография, застройка, фортификация, типы городских усадеб. Исследованы дворцовые постройки, буддийские храмы и христианские церкви. Определен этнический состав населения городов – это тюрки, тюргеши, карлуки, чигили, согдийцы, сирийцы, китайцы.

Изучены типы городищ, в том числе их структура, получено представление о «городах с длинными стенами», характерными для Чуйской и Таласской долин, о «торткулях» Илийской долины.

Для этого периода развития урбанизации характерен тюрко-согдийский синтез в архитектуре, строительстве, искусстве, в развитии городской культуры.

Яркие материалы об архитектуре VI–VIII вв. дали раскопки городищ Ак-Бешим, Навакет, Кулан в Чуйской долине; Костобе и Тараз в Таласской долине; Джувантобе, Отрар, Куйрыктобе, Алтынтобе, Сидак, Каратобе (ранний Сауран) в долине Сырдарьи.

Открыты дворцовые постройки в цитаделях Куйрыктобе и Костобе; изучена архитектура и декор загородного дворца на городище Луговое; замков и усадеб городища Красная Речка, Тараз; буддийских храмов Ак-Бешима; христианской церкви и несторианского монастыря также на городище Ак-Бешим.

Получены уникальные материалы – резные доски парадного зала дворца в цитадели Куйрыктобе; резной штук в дворцах Лугового и Костобе, изучены наусы – мавзолеи Борижарского могильника.

Ценные материалы получены при раскопках дворца Акыргас, незаконченной постройки из камня, датируемой VIII в.

Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне городской культуры, архитектуры и искусства города VI – первой половины VIII в. Безусловно, это был яркий этап урбанизации и взаимодействия культур стран и народов на Великом Шелковом пути [Кляшторный, Савинов, 2005].

Третий этап урбанизации связан с эпохой мусульманского Ренессанса, наступившим после вхождения Казахстана в единое культурное пространство, охватывающее территорию от Багдада до Семиречья и Восточного Туркестана на востоке и северо-востоке, до Приаралья и Сары-Арки на севере. Этот период длился со второй половины VIII в. до начала XIII в.

Возникли новые города в Жетысу и на юге Казахстана, складываются новые районы городской культуры в Илийской долине, в Центральном Казахстане. Формируются Тальхир, Каялык, Ики-Огуз, Баладж, Усбаникет.

Среди общественных построек в городах этого периода следует назвать мечети, ставшие центрами духовной жизни и доминантами городской застройки. Не случайно, все авторы этого времени, пишущие о городах, указывают на наличие мечети, ее расположение в городе. Наиболее ранние мечети выявлены и изучены в городах Таразе, Кедере (городище Куйрыктобе; рис. 7), Баласагуне (городище Бурана), на городище Орнек в Таласской долине; на городище Актобе в Чуйской долине. В городах и в их окрестностях воз-

водятся мавзолеи и возникают мусульманские кладбища. Шедеврами архитектуры являются мавзолеи Айша-Биби и Бабаджи-хатун вблизи Тараза, мавзолеев Сарлытам в Приаралье. В этот период в городах строятся бани, выполняющие помимо своих основных функций, также роль своеобразных мест заключения торговых сделок. В XIII в. появляется тип бани с крестовидной планировкой и подпольным отоплением, доживший на Востоке вплоть до наших дней. В крупных городах насчитывались десятки бань. Бани обнаружены археологами в Таразе, Отраре, на городищах Актобе в Чуйской долине.

Как и раньше, города были застроены кварталами с внутренними дворами и улочками. Выделяется несколько типов домов с напольными очагами, суфами, санитарно-гигиеническими устройствами – ташнау.

Отмечены различия в топографии городищ Казахстана. Так, для Илийской долины характерны «торткули», в Чуйской и Таласской долинах по-прежнему распространены городища «с длинными стенами», но есть и торткули. На юге Казахстана городища «с длинными стенами» распространены в предгорной полосе Таласского Алатау.

Имелись различия в домостроительстве, в фортификации.

Расцвет городов был прерван татаро-монгольским нашествием, были разрушены многие горо-



Рис. 7. Городище Куйрыктобе. Отрарский оазис (верхний слой X–XIII вв.).



Рис. 8. Городище Антоновка. Мечеть. XII–XIV вв.
Аэрофото.

да, сократилось количество городского населения, нарушены традиционные связи городов и степи, также жестоко пострадавшей в ходе нашествия [Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1972].

Еще более пагубными для судеб городской культуры Жетысу оказались последствия нашествия. Города северо-восточной его части гибнут в конце XIII – начале XIV в., в юго-западной части – в середине XIV – XV в.

На Юге Казахстана последствия татаро-монгольского нашествия постепенно изживаются. К середине XIII в. и особенно начиная с последней четверти XIII в. наблюдается оживление городской жизни: налаживаются экономические связи районов, города вовлекаются в орбиту международных торговых связей. Однако уровень развития городской культуры домонгольского времени достигнут не был.

Следующий четвертый монголо-тимуридский этап развития городской культуры приходится на XIII – первую половину XV в.

Это эпоха монгольской империи и ее улусов, Ак Орды и Могулистана.

В Северо-Восточном Жетысу в XIII – середине XIV в. продолжают жить города Каялык, Тальхир, Илибалык, Алматы. Они находятся на трассе Великого шелкового пути, который проходит через долину р. Или в Каракорум – столицу монгольской империи и в Китай. В Каялыке, Илибалыке, Алматы чеканятся монеты.

В Юго-Западном Жетысу происходит сокращение городской жизни, но по-прежнему функционируют Тараз, Шельджи, Кенджек, Яны Талас, Паркент, Хутухчин, Аспара, Тарсакент, Баласагун. В это время получает развитие отрезок Шелкового пути, проходивший через города, расположенные на северных склонах Каратау: Сугулкент, Кумкент (Койкан), Сузак. Именно по этому пути в Монголию ехали Плано Карпини, Гетум, Гильом Рубрук. В Южном Казахстане, несмотря на погромы и разрушения Отрара, Сыганака, Барчкенда, городская жизнь восстанавливается. В Кендже, Дженде чеканится монета, в Отраре находился крупный монетный двор.

Городская жизнь получает развитие в городах улуса Джучи в Золотой Орде. На западе Казахстана в долине Урала развивается город Сарайчик. Возникают новые городские центры: сейчас это городище Актобе в низовьях Урала, Жайык вблизи современного г. Уральска.

Городские центры появляются и в Центральном Казахстане, в Прииртышье. Это городища у мавзолея Джучи-хана Орданкент, Аулиеколь.

В городах строятся мечети, медресе, ханака, мавзолеи, о чем сообщают письменные источники и свидетельствуют археологические материалы.

Раскопками в Каялыке выявлена и изучена соборная мечеть, мавзолеи, буддийский храм. Вскрыты усадьбы богатых горожан и рядовая застройка. Для домов характерна система отопления каналами, баня-хаммам (рис. 8).

Жилая застройка XIII – первой половины XIV в. исследована на городище Талгар – средневековом городе Тальхире.

Раскопки слоев XIII–XIV вв. на Отраре открыли городские кварталы, десятки домов новой по сравнению с предыдущим временем планировкой и интерьером. Они имеют анфиладную и крестообразную планировку. Жилые помещения имеют суфу, занимающую теперь 3/4 всей поверхности пола. В нее вмазан тандыр – печь универсального назначения: на нем готовят пищу, пекут хлеб, он же служит для отопления помещения. От тандыра

отходит дымоход, проложенный в суфе и выводящий дым через дымовой колодец в стене. Эта система отопления характерна для сырдарьинских городов.

Во второй половине XIV в. городская культура в Жетысу приходит в упадок, гибнут города Каялык, Талхир, Ики-Огуз, Или-Балык, Алматы. В Чуйской и Таласской долинах продолжают жить лишь города Тараз, Шелджи, Аспара в качестве опорных баз империи Тимура на границе с Могулистаном.

Разгром Тимуром Золотой Орды привел к гибели городов в Западном Казахстане. В Сырдарьинском регионе происходит подъем городов Шымкента, Караспана, Отрара, Туркестана, Сузака, Сыганак. В Туркестане по приказу Тимура строится в конце XIV – начале XV в. знаменитый мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, в Отраре – соборная мечеть, а рядом с городом перестраивается мавзолей Арслан-Баб [Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1987].

Пятый этап урбанизации связан с эпохой Казахского ханства, возникшего в 60-е годы XV в. Завершается он временем присоединения Казахстана к России – началом второй половины XIX в.

Территория урбанизации в это время была ограничена Южным Казахстаном (предгорья Таласского Алатау, долины Арыси и Сырдарьи, северные склоны Каратау), а также Западным Казахстаном, где продолжал жить город Сарайчик, окончательно запустевший после разгрома донскими казаками в XVI в.

Среди крупнейших городов этого времени – Сайрам, Шымкент, Карасаман, Отрар, Сауран, Ак-корган, Узкент, Сыгнак, Сузак, Дженд.

За обладание этими городами в XVI–XVII вв. шли постоянные войны между казахскими ханами и шайбанидами, поскольку роль их в политической, экономической и культурной жизни Казахского ханства была крайне важной как и раньше, когда древние и средневековые города Казахстана во многом определяли жизнь государств Саков, Усунь, Кангюй,

Древнетюркских каганатов, Караханидского ханства, монгольских улусов и Ак-Орды. Города были центрами политической жизни, ремесла и торговли.

Они имели развитую фортификацию, стены с башнями по углам и периметру, рвы с водой, укрепленные въезды с башнями из жженого кирпича, через который были переброшены мосты.

В Сауране в центре города находилась площадь – регистан, к которой от въезда вела вымощенная каменными плитами улица. На площадь выходили фасады мечети, двух медресе и дворца правителя города (рис. 9). Мечети и ханаки обнаружены во время раскопок на городище Сыганак, Джанкент и Дженд. На городских кладбищах строились мавзолеи.

Изучена квартальная застройка Отрара, Саурана, Туркестана. Кварталы Отрара состояли из 8–15 домов, объединенных внутриквартальной улочкой. Выделяются дома богатых и рядовых жителей, квартальных старейшин – аксакалов. Выделяются кварталы и дома ремесленников – гончаров, кузнецов, медников, ткачей, ювелиров.

Дома продолжают традиции домостроительства предшествующего времени – они двух-, трех-,

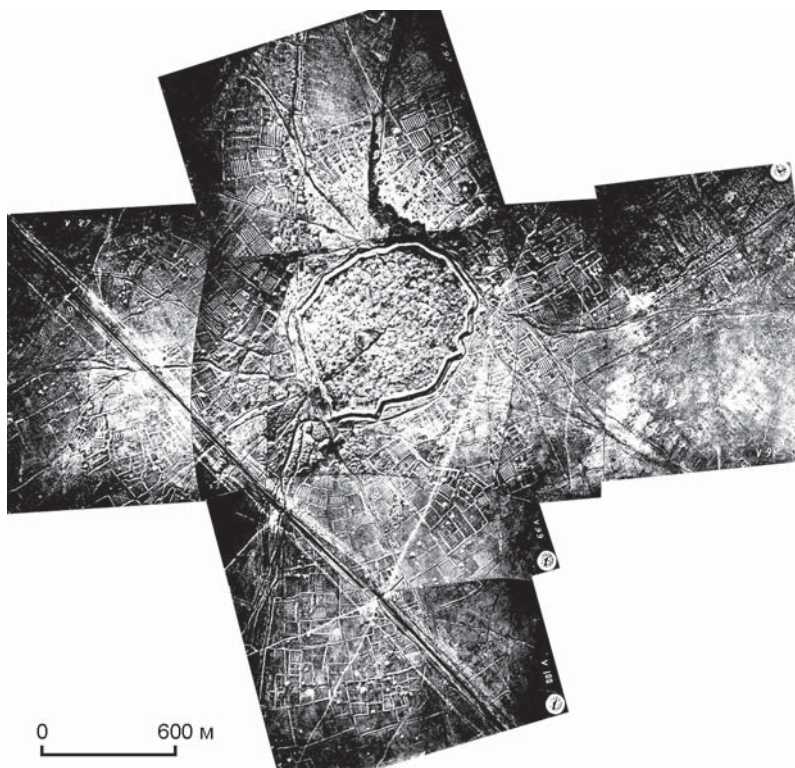


Рис. 9. Городище Сауран. XIII–XVIII вв.

четырёх- и многокомнатные (состоящие из двух и более секций). Планировка их анфиладная, крестообразная, и Т-образная. В жилых помещениях имелись суфы, занимающие 3/4 всей площади, с вмазанным в нее тандыром с дымоходом-обогревателем, перед тандыром находилось ташнау. В составе некоторых домов имелись вымощенные кирпичом дворики с навесами над печами – продолговатыми углублениями в земле, кладовые с глиняными отсеками для хранения зерна, овощей, фруктов.

В расширительных карманах внутриквартальных улиц содержали скот.

Городская культура страдала в ходе войн, и особенно сильный удар ей нанесли набеги ойрат-калмыков. Именно они во время похода, возглавляемого Галдан-Цереном в 1681 или 1683 г., захватили и разрушили города Сайрам, Отрар, Манкент, Карасаман, Чимкент, Карамурт. Ко времени русского завоевания Казахстана продолжали жить лишь Туркестан, Сузак, Шымкент, Сайрам, Карамурт, Манкент [Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1981].

С присоединением Казахстана к России начался новый период развития Казахстана, и в том числе урбанизации.

Список литературы

Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древний Отрар. – Алма-Ата, 1972.

Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Позднесредневековый Отрар (XVI–XVIII вв.). – Алма-Ата, 1981.

Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в XIII–XV вв. – Алма-Ата, 1987.

Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. – Алма-Ата, 1963.

Байпаков К.М. Древняя и средневековая история Казахстана в свете археологических исследований // Отан Тарихи (Отечественная история). – Алматы, 1998. – № 1. – С. 35–42.

Зданович Г.Б., Батанина И.М. Аркаим – страна городов. Пространство и образы. – Челябинск: Крокус, 2007. – 260 с.

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. – СПб., 2005.

Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М., 1960.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ СИНТАШТИНСКОГО ТИПА

Открытие в Северном Казахстане, Южном Зауралье, Поволжье и Подонье пласта памятников конца эпохи средней бронзы – начала позднего бронзового века, предшествовавшего собственно срубно-алакульскому «миру», уже сейчас с полным основанием можно считать одним из самых значительных достижений отечественной археологической науки XX в. Заметное место среди групп упомянутых выше памятников занимают памятники синташтинского и петровского типа. По прошествии нескольких десятилетий со времени начала изучения синташтинских и петровских памятников внимание исследователей занимает не только их содержание, но и история изучения.

Впервые синташтинская проблематика была обозначена, пусть и без дефиниций, исследованиями О.А. Кривцовой-Граковой Алексеевского комплекса памятников в Верхнем Притоболье в 1930-е гг. [1948]. Именно она отметила наличие в керамической коллекции из раскопок Алексеевского поселения сосудов, вызывавших живые ассоциации с керамикой абашевской культуры Среднего Поволжья [Там же, с. 119, рис. 43]. Среди опубликованных О.А. Кривцовой-Граковой рисунков керамики из раскопок Алексеевского поселения сейчас можно уверенно указать на фрагменты синташтинских сосудов [Там же, с. 133, рис. 55, 10–11; с. 141].

На Южном Урале путь к этому открытию был намечен еще в 1930–1940-е гг. – К.В. Сальников открыл памятники южно-уральской абашевской культуры [1954], в частности, широко известное Мало-Кизильское селище в районе г. Магнитогорска [1950].

В русле изучения абашевской и, как тогда понималось, андроновской культур Южного Урала

были поняты и материалы двух групп курганов, изученных В.С. Стоколосом у с. Степного Троицкого р-на в конце 1950-х гг. [Стоколос, 1962, с. 3–20].

Исследование собственно синташтинского феномена началось лишь в конце 1960-х – начале 1970-х гг. В 1968 г. В.С. Стоколос открыл Кизильское укрепленное поселение на берегу старицы р. Урал – Худолаз в окрестностях с. Кизильского, центра одноименного района Челябинской обл. В 1971 и 1981 гг. им была вскрыта часть внутренней застройки памятника, сделан разрез руинированных оборонительных сооружений [Стоколос, 1983, с. 174–175; 2004].

На рубеже 1960–1970-х гг. учеными Уральской археологической экспедиции было начато исследование ставшего позднее эпонимным комплекса археологических памятников на р. Синташта у с. Рымникское в Брединском р-не Челябинской обл. [Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В., 1992, с. 9–12]. Однако, справедливости ради, необходимо заметить, что исследование Синташтинского I как укрепленного поселения началось лишь в 1983 г., когда Г.Б. Зданович и В.В. Генинг приступили к изучению участка оборонительного рва и стены поселения [Зданович Г.Б., Генинг В.В., 1985].

В 1973 г. К.Ф. Смирновым был раскопан курган 25 Ново-Кумакского могильника, материалы одной из групп погребений которого легли в основу выделенного им и Е.Е. Кузьминой новокумакского хронологического горизонта в степях Евразии [Смирнов, Кузьмина, 1977].

В 1975 г. А.Х. Пшеничноком был исследован I Альмухаметовский могильник на р. Большой Кизыл в Абзелиловском р-не Республики Башкортостан.

тостан. В ходе раскопок одного из курганов были собраны материалы, практически идентичные синташтинским [Васюткин, Горбунов, Пшеничнюк, 1985, с. 83–87, рис. 9].

В 1977–1978 гг. Т.М. Потемкина исследовала полуразрушенный могильник Убаган I при впадении р. Убаган в р. Тобол в Притобольном р-не Курганской обл. Здесь были произведены подъемные сборы, а также вскрыто детское погребение с синташтинскими материалами [Потемкина, 1985, с. 201–203].

В начале 1980-х гг. список памятников бронзового века в Южном Зауралье, содержащих материалы, близкие по облику к синташтинским, существенно увеличился. В 1982 г. разведочным отрядом археологической экспедиции Челябинского государственного педагогического института (ЧГПИ) был найден могильник Кривое Озеро при слиянии рек Уй и Черная в Троицком р-не Челябинской обл. (М.А. Мухина) [Виноградов, 2003]. В 1983 г. разведочный отряд той же экспедиции (С.В. Вершинина) обнаружил укрепленное поселение Устье I на р. Нижний Тогузак в Карталинском р-не Челябинской обл., а в 1984 г. было начато его исследование [Виноградов, 2004].

Масштабы распространения синташтинских укрепленных поселений стали более понятными лишь зимой 1986/87 г. Тогда для уточнения конфигурации оборонительных сооружений укрепленного поселения Устье I археологи ЧГПИ обратились к И.М. Батаниной и Н.В. Левит – специалистам по дешифрированию аэрофотоснимков Челябинской комплексной геологической экспедиции. После консультаций с археологами ЧГПИ И.М. Батаниной удалось локализовать в пределах степной части Челябинской обл. около полутора десятков укрепленных поселений бронзового века [Батанина, 1995]. Отряды экспедиции Челябинского государственного педагогического института приступили к их наземному обследованию. Археологи ЧГПИ обследовали и задокументировали как укрепленные поселения такие памятники, как Ольгино (Каменный Амбар), Журумбай I, Родники, Ягодный Дол (Берсуат), Чернореченское III. К изучению вновь открытых с помощью дешифровки аэрофотоснимков поселений подключились и археологи ЧелГУ. В 1987 г. было начато исследование укрепленного поселения Аркаим. За все годы деятельности на Аркаиме вскрыто 8 055 кв. м [Малютина, Зданович Г.Б., 2004, с. 67]. На всех перечисленных памятниках имеется син-

таштинский слой. К 1992 г. подобных памятников было известно уже 18 [Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В., 1992, с. 9, рис. 1]. На сегодняшний день в южной (степной) части Челябинской и на севере Оренбургской областей, на востоке Башкортостана, на северо-западе Костанайской обл. Республики Казахстан уже известно 23 укрепленных поселения рубежа среднего и позднего бронзового века. Для части из них известны и могильники. Яркие материалы получены при исследовании синташтинских курганов могильника Солнце II [Епимахов, 1996], Большекараганского могильника [Боталов, Григорьев, Зданович Г.Б., 1996], могильника Каменный Амбар-5 [Епимахов, 2005]. Надо заметить, что возможности открытия новых синташтинских памятников в Южном Зауралье не исчерпаны. Это доказывается как введением в научный оборот материалов из новых погребальных памятников, таких как курганы у с. Княженское на р. Камысты-Аят в Брединском р-не (материалы хранятся в Лабораториях археологических исследований ЧГПУ и ЧелГУ) [Зданович Д.Г., 2010], так и открытием в результате аэрофотодошифрирования новых укрепленных поселений на территории Карталинского и Нагайбакского районов Челябинской обл. [Зданович Г.Б., Зданович Д.Г., 2005; Зданович Г.Б., Батанина, 2007, с. 24].

1990-е гг. принесли открытие целой серии синташтинских погребений в бассейне р. Илек в пределах Актюбинской обл. Казахстана и в Оренбуржье в могильниках Танаберген II, Ишкиновка I, II, Герасимовский и др. [Ткачев В.В., 2000, с. 46–50; 2004, с. 7–13; 2007, с. 16–72; Порохова, 1992]. В начале 1990-х гг. Ф.А. Сунгатов и Ф.Ф. Сафин провели охранные работы на разрушающемся синташтинском кургане у д. Ново-Петровка в Хайбуллинском р-не Башкортостана [Сунгатов, Сафин, 1991]. Ярким открытием в этой серии стал могильник у горы Березовой (Булановский) в Оренбургской обл. [Халяпин, 2001]. Курган Халвай 3, исследованный А.В. Логвиным и И.А. Шевниной в 2009–2010 гг. на берегу Каратомарского водохранилища в Костанайской обл. Северного Казахстана, значительно пополнил представления специалистов о погребальном обряде и материальном мире синташтинского населения [Дмитриев, 2011]. Есть сведения и о новом могильнике в Среднем Притоболье – Озерное 1, исследованном С.Н. Шиловым в 2006–2007, 2009 гг. Центральные погребения

нескольких курганов этого памятника содержали синташтинские материалы [Гилева, Худобородова, 2011].

Всего автором на Южном Урале и в Зауралье учтено около 50 синташтинских памятников, в равной степени представленных как поселениями, так и могильниками.

К настоящему времени территория, занятая памятниками синташтинского типа, достаточно хорошо очерчена. Самый северный из них на сегодняшний день – поселение Шибаво I в Еткульском р-не Челябинской обл. [Нелин, 2000]. Восточная и юго-восточная границы представлены материалами, полученными К.В. Сальниковым при изучении площадки под Царевым курганом на р. Тобол [Сальников, 1967, с. 33–34, рис. 13, 9], а также синташтоидным в своей ранней части могильником у с. Петровка в Северо-Казахстанской обл. Республики Казахстан [Зданович Г.Б., Зданович С.Я., 1980]. Наиболее южные поселения и могильники с синташтинскими материалами изучены в степях восточного Оренбуржья и в Костанайской и Актюбинской областях Казахстана [Кривцова-Гракова, 1948, с. 133, рис. 55, 10, 11; Смирнов, Кузьмина, 1977, с. 8–18; Ткачев В.В., 1998, с. 49–50, рис. 1, 2]. Западная граница маркирована пока могильником у горы Березовой в Оренбуржье [Халыпин, 2001].

Упоминание в числе синташтинских таких памятников, как Старо-Ябалаклинский могильник и целого ряда прочих, не случайно. Применительно к этим памятникам речь, конечно, может идти лишь об отдельных погребениях с синташтинскими проявлениями, прежде всего в керамике, или о небольшом количестве подобной же керамики в культурном слое поселений. В восточном направлении отдельные синташтинские погребения распространены до среднего течения р. Тобол [Сальников, 1967, с. 33–34, рис. 13, 9; Потемкина, 1985, с. 127, рис. 47].

Основной исследователь абашевских древностей Южного Урала В.С. Горбунов и сам не отрицает наличие синташтинских проявлений в керамике абашевских памятников Южного Урала и их связи: «покровско-раннесрубно-петровские» в терминологии того времени. Мы расходимся с ним лишь в вопросе интерпретации этого явления. Если говорить о могильнике Старые Ябалаклы, то речь идет о сосуде из погребения 2 кургана 59, рисунок которого опубликован В.С. Горбуновым [Горбунов, 1992, с. 125, рис. 18, 2]. На карте син-

таштинских памятников не случайны и такие памятники, как III Юмаковское поселение, IV Тартышевский могильник, курган 3, погр. 3, Береговское I поселение [Горбунов, 1985, с. 14, рис. 7], II Нурдавлетовский курган [Горбунов, Пшеничнюк, Акбулатов, 1989, с. 30, рис. 6]. Перечень примеров можно продолжить [Горбунов, 1992; Ткачев В.В., 2003]. Проблема синташтинских проявлений в абашевских памятниках Южного Урала нуждается в углубленном исследовании. Исследователи уже обращали на это внимание [Мочалов, 2008, с. 104–105, рис. 42, 43]. Подобные факты, по мысли автора данной работы, скорее всего, отражают процесс абашевско-синташтинского взаимодействия, итогом которого стала энергичная интеграция южноуральских абашевских групп в состав синташтинских общин.

Таким образом, территория, занятая памятниками синташтинского типа, может быть подразделена на основную, где пока известны как поселенческие, так и погребальные памятники (предгорья восточного макросклона Южного Урала и Зауральский пенеппен) [Иванов, Плеханова, Чичагова и др., 2001, с. 376] и на «периферию», где представлены лишь могильники или даже отдельные погребения с синташтинскими проявлениями в керамике или с некоторым количеством синташтинской или синташтоидной посуды в составе керамических коллекций из раскопок поселений. Подобное территориальное распределение типов синташтинских памятников, на наш взгляд, отражает как специфику функционирования самих синташтинских общин, так и особенности взаимосвязей синташтинского населения с аборигенным.

История изучения памятников петровского типа, как и синташтинских, началась на рубеже 1960–1970-х гг. Именно тогда они были выделены Г.Б. Здановичем в Петропавловском Приишимье и интерпретированы им первоначально как раннеалакульские, а затем обособлены в отдельную культуру [Зданович Г.Б., 1983; 1988, с. 16]. Круг памятников этого типа представлен здесь как поселениями (Боголюбово I, Новоникольское I, Петровка II), так и могильниками (Берлик II, Кенес, Аксайман, Бектениз, Графские Развалины и др.).

В 1970–1980-е гг. в ходе обследования территории Костанайской обл. (ныне Костанайская обл. Республики Казахстан), в Верхнем Притоболье В.В. Евдокимовым выявлена серия поселенче-

ских памятников с петровскими материалами. В 1971 г. В.В. Евдокимов приступил к изучению укрепленного поселения Семиозерное II в Верхнем Притоболье [Евдокимов, Логвин В.Н., 1972, с. 289; Евдокимов, Логвин В.Н., Бурнаева, 1975]. Известны петровские материалы и из раскопок В.В. Евдокимовым поселения Конезавод III.

Обживалось в Верхнем Притоболье в петровское время и известное Алексеевское поселение. В фондах ГИМа в коллекции керамики из этого памятника имеется серия петровских сосудов. Кроме того, на этой же территории с 1991 г. В.Н. Логвиным, А.В. Логвиным, С.С. Калиевой и И.В. Шевниной и рядом других археологов исследованы несколько петровских могильников (Бестамак, Токанай-1) [Логвин В.Н., 2005; Логвин А.В., Шевнина, 2005; Логвин А.В., Шевнина, Колбина, Нетета, 2007].

Работами Т.М. Потемкиной доказано присутствие петровского населения в районе Среднего Притоболья (поселение Камышное II, могильники Раскатиха, Верхняя Алабуга) [Потемкина, 1985, с. 184, 193, рис. 77, 83]. Археологическое обследование экспедицией ЧГПИ берегов р. Миасс в пределах Щучанского, Шумихинского районов, притоков р. Тобол (Куртамышский, Целинный и др. районы) выявило серию поселенческих и погребальных памятников с петровскими материалами (поселения: Белоярское IV, Кузнецово II, Михалево I и др.), отдельные петровские погребения в Куртамышском р-не (могильник Грызаново), Целинном р-не (Подуровка IV) [Археологическая карта..., 1993].

Во второй половине 1970-х – 1980-х гг. усилиями сотрудников научных археологических центров г. Челябинска в Южном Зауралье было выявлено и обследовано большое количество петровских поселений по берегам различных рек (в основном Тоболо-Иртышского бассейна), озер Челябинской обл. Это такие памятники, как Селезян I, Архангельский Прииск I, Кулевчи III, Кулевчи «Д», Владимировка I, Городищенское III, Старо-Кумлякское поселение и др. На поселении Кулевчи III, где представлены как петровский, так и собственно алакульский слои, вскрыто 3 000 кв. м [Виноградов, 1982, с. 94–100]. Второй масштабно исследованный в Южном Зауралье петровский поселенческий памятник – укрепленное поселение Устье I [Виноградов, 2004]. К слову сказать, петровский слой имеется и на большинстве известных синташтинских укреп-

ленных поселений в этом районе. Недавняя публикация некоторых сосудов из подъемных сборов на территории укрепленного поселения Исиной в Варненском р-не Челябинской обл. позволила причислить и этот памятник не только синташтинскому, но и к петровскому времени [Зданович Г.Б., Батанина, 2007, с. 93, рис. 44, 5, 8, 10]. Петровские погребения изучены под курганами могильников: Кривое Озеро, Троицк-7 [Костюков, Епимахов, 1999, с. 66–70]; Большекараганский [Боталов, Григорьев, Зданович Г.Б., 1996, с. 78, рис. 14], Кулевчи VI [Виноградов, 1984, с. 149, рис. 8]. В окрестностях с. Степного Пластского р-на Челябинской обл. петровские погребения исследованы в могильнике Степное I [Стоколос, 1962, с. 3–20], в могильнике Степное-7 [Зданович Д.Г., Куприянова, 2007, с. 140–144]. В последние годы экспедиция Курганского государственного университета (С.Н. Шилов) приступила к изучению петровских погребений в могильнике бронзового века Озерное I в Звериноголовском р-не Курганской обл. [Гилева, Худоборова, 2011].

Ареал памятников петровского типа намного шире, чем синташтинских. Наиболее западные из них приурочены к долинам небольших рек Тоболо-Иртышского бассейна и левых притоков верхнего течения р. Урал. Восточные пределы их не выходят за границы Среднего Притоболья. Северо-восточные границы распространения памятников петровского типа удалось зафиксировать А.В. Матвееву (Чистосельский могильник в Зауралье) [Матвеев, 1998]. Юго-восточные петровские памятники находятся в Петропавловском Приишимье, где и были первоначально открыты Г.Б. Здановичем. Наиболее дискуссионны южные границы памятников петровского типа. Верхнее Притоболье, благодаря работам О.А. Кривцовой-Граковой, В.В. Евдокимова, В.Н. Логвина и др., уверенно включается в ареал распространения петровских памятников [Евдокимов, 1983, с. 35–38; Логвин В.Н., 1999, с. 115; 2005, с. 190–194]. В Центральном Казахстане В.В. Евдокимовым, А.А. Ткачевым, И.А. Кукушкиным изучен целый ряд памятников начальной фазы позднего бронзового века, таких как поселение Икпень II, могильники Сатан, Нуртай, Актобе I, II, Икпень I, Ащису, Аяпберген. Памятники этого региона и времени обособлены А.А. Ткачевым в особый нуртайский тип или даже нуртайскую культуру [Тка-

чев А.А., 1999, с. 22–28]. Однако перечень признаков, положенных в основу их обособления, чрезвычайно близок к петровским Северного Казахстана и Южного Зауралья. Нуртайские памятники Центрального Казахстана, по нашему мнению, также должны быть включены в территорию, занятую памятниками петровского типа в ранге варианта.

И, наконец, в последние годы стали известны единичные находки петровских или близких к ним по облику материалов из района Самарканда в Средней Азии [Кузьмина, 2000, с. 16]. Особенно интригующими представляются материалы поселения металлургов Тугай у Самарканда, исследованное Н.А. Аванесовой. Одна из керамических серий из раскопок этого памятника демонстрирует явные петровские признаки, включая форму на сосудах-основах [Кузьмина, 2008, с. 52, рис. 11, 7–16].

В общей сложности нами учтено 80 петровских памятников, и эта цифра не является окончательной.

Петровским памятникам Южного Зауралья в западных районах степи соответствуют раннесрубные. В.В. Отрощенко полагает, что петровские древности синхронны первому периоду покровской срубной культуры [Отрощенко, 2000, с. 70]. Можно уверенно говорить о наличии в Южном Зауралье петровско-раннесрубной контактной зоны.

Таким образом, история изучения собственно синташтинских и петровских памятников насчитывает более сорока лет. В этот процесс оказалось вовлечено несколько поколений исследователей. Можно лишь удивляться тому, насколько одновременно в Южном Зауралье и Северном Казахстане ученые приступили к изучению памятников, позднее получивших название синташтинских и петровских. Поиск ответа на этот вопрос приводит нас к особенностям отечественной археологии этого периода, связанным как с обширными новостроечными исследованиями и формированием региональных научных центров, так и с распространением в отечественной археологической среде представлений о преимуществах раскопок поселенческих памятников широкими площадями как о возможности получения более объемной и объективной информации о самом памятнике и о сообществе памятников, частью которого он является. Кроме того, 1960–1970-е гг. – время сплошного археологического обследования

обширных районов Урала и Казахстана. Открытие и начало изучения памятников синташтинского и петровского типа стало частью этого разностороннего и еще ждущего своих исследователей процесса.

Список литературы

- Археологическая карта** Курганской области / сост. Н.Б. Виноградов. – Курган: Производственная группа по охране и использованию памятников, 1993. – Т. 1. – 346 с.
- Батанина И.М.** Страна городов с птичьего полета // Хроника. 25 мая. – 1995.
- Боталов С.Г., Григорьев С.А., Зданович Г.Б.** Погребальные комплексы эпохи бронзы Большекараганского могильника // Материалы по археологии и этнографии Южного Урала: тр. Музея-заповедника Аркаим. – Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 1996. – С. 64–88.
- Васюткин С.М., Горбунов В.С., Пшеничнюк А.Х.** Курганные могильники Южной Башкирии эпохи бронзы // Бронзовый век Южного Приуралья: межвуз. сб. науч. тр. – Уфа: Изд-во БГПУ, 1985. – С. 67–88.
- Виноградов Н.Б.** Кулевчи III – памятник петровского типа в Южном Зауралье // КСИА. – М.: Наука, 1982. – Вып. 169. – С. 94–99.
- Виноградов Н.Б.** Кулевчи VI – новый алакульский могильник в лесостепях Южного Зауралья // СА. – 1984. – № 3. – С. 136–153.
- Виноградов Н.Б.** Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. – 362 с.
- Виноградов Н.Б.** Синташтинские и петровские древности Южного Урала. Проблема соотношения и интерпретации // Памятники археологии и древнего искусства Евразии: сб. ст. памяти В.В. Волкова. – М.: Ин-т археологии РАН, 2004. – С. 261–284.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В.** Синташта. Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. – Ч. 1. – 407 с.
- Гилева Ю.В., Худобородова В.В.** Озерное-1 – новый погребальный памятник периода поздней бронзы в лесостепном Приоболжье // XLIII международная Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция, Оренбург, 1–3 февраля 2011 г.: мат-лы и тез. докл. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. – С. 73–75.
- Горбунов В.С.** Некоторые проблемы эпохи бронзы лесостепной полосы Приуралья // Бронзовый век Южного Приуралья: межвуз. сб. науч. тр. – Уфа: Башк. гос. пед. ин-т, 1985. – С. 3–21.
- Горбунов В.С.** Бронзовый век Волго-Уральской лесостепи. – Уфа: Изд-во БГПИ, 1992. – 223 с.
- Горбунов В.С., Пшеничнюк А.Х., Акбулатов И.М.** Новые материалы из погребальных памятников эпохи бронзы Южного Приуралья // Мат-лы по эпохе бронзы и раннего железа Южного Урала и Нижнего Поволжья: сб. науч. ст. – Уфа: БНЦ УрО АН СССР, 1989. – С. 17–34.

Дмитриев А.В. Исследование кургана Халвай 3: (предварительное сообщение) // XLIII международная Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция, Оренбург, 1–3 февраля 2011 г.: мат-лы и тез. докл. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. – С. 59–61.

Евдокимов В.В. Хронология и периодизация памятников эпохи бронзы Кустанайского Притоболья // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 1983. – С. 35–47.

Евдокимов В.В., Логвин В.Н. Исследования в Кустанайской области // АО 1971. – М.: Наука, 1972. – С. 287–289.

Евдокимов В.В., Логвин В.Н., Буриаева В.Д. Исследования в Верхнем Притоболье // АО 1974. – М.: Наука, 1975. – С. 484–485.

Епимахов А.В. Курганный могильник Солнце II – некрополь укрепленного поселения Устье эпохи средней бронзы // Мат-лы по археологии и этнографии Южного Урала. – Челябинск: Каменный пояс, 1996. – С. 22–42.

Епимахов А.В. Ранние комплексные общества Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). – Челябинск: Челяб. дом печати, 2005. – Кн. 1. – 192 с.

Зданович Г.Б. Основные характеристики петровских комплексов Урало-Казахстанских степей (к вопросу о выделении петровской культуры) // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 1983. – С. 48–68.

Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей (основы периодизации). – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1988. – 177 с.

Зданович Г.Б., Батанина И.М. Аркаим – Страна городов: пространство и образы // Аркаим: горизонты исследований. – Челябинск: Крокус; Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007. – 260 с.

Зданович Г.Б., Генинг В.В. Оборонительные сооружения поселения Синташта // АО 1983. – М.: Наука, 1985. – С. 147–148.

Зданович Г.Б., Зданович С.Я. Могильник эпохи бронзы у с. Петровка // СА. – 1980. – № 3. – С. 183–193.

Зданович Г.Б., Зданович Д.Г. Проблема освоения евразийских степей в бронзовом веке и «Страна городов» Южного Зауралья // Археология Урала и Западной Сибири: к 80-летию со дня рождения Владимира Федоровича Генинга. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005. – С. 110–128.

Зданович Д.Г. Княженские курганы: точка на археологической карте // Аркаим – Синташта: древнее наследие Южного Урала: к 70-летию Г.Б. Здановича (сб. науч. тр.: в 2 ч.) / отв. ред. Д.Г. Зданович. – Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2010. – С. 162–178.

Зданович Д.Г., Куприянова Е.В. Из опыта исследования погребальных комплексов эпохи бронзы в Южном Зауралье: могильник Степное VII // XVII Уральское археологическое совещание: мат-лы науч. конф. (Екатеринбург, 19–22.11.2007). – Екатеринбург; Сургут, 2007. – С. 140–144.

Иванов И.В., Плеханова Л.Н., Чичагова О.А. и др. Палеопочвы Аркаимской долины и бассейна р. Самары – индикатор экологических условий в эпоху бронзы // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: мат-лы междунар. науч. конф. – Самара: Науч.-тех. центр, 2001. – С. 375–384.

Костюков В.П., Епимахов А.В. Предварительные итоги исследования могильника бронзового века Троицк-7 // 120 лет археологии восточного склона Урала: Первые чтения памяти Владимира Федоровича Генинга: мат-лы науч. конф. – Екатеринбург: УрГУ, 1999. – Ч. 2: Новейшие открытия уральских археологов. – С. 66–70.

Кривцова-Гракова О.А. Алексеевское поселение и могильник // Тр. ГИМ. – М.: Изд-во ГИМ, 1948. – Вып. XVII. – С. 59–172.

Кузьмина Е.Е. Кони и колесницы Южного Урала и индоевропейские мифы // Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Урала: сб. науч. тр. – Орск: Ин-т Евраз. исслед.; Ин-т степи УрО РАН, 2000. – С. 3–9.

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг / Рос. ин-т культурологии. – М.: Летний сад, 2008. – 558 с.

Логвин В.Н. О структуре бестамакской общины // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до н. э.: мат-лы междунар. конф. – Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 1999. – С. 115–118.

Логвин В.Н. Могильник Токанай-1 и проблема соотношения «петровских» и «синташтинских» памятников // Западная и Южная Сибирь в древности: сб. науч. тр. / отв. ред. А.А. Тишкин. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – С. 190–194.

Логвин А.В., Шевнина И.В. Раскопки могильника Бестамак в 2005 г. // Отчет об археологических исследованиях по Государственной программе «Культурное наследие» в 2005 году. – Алматы: Изд. Ин-та археологии АН РК, 2005. – С. 258–260.

Логвин А.В., Шевнина И.В., Колбина А.В., Нетега А.В. Исследования могильника Бестамак в 2006 году // Отчет об археологических исследованиях по государственной программе «Культурное наследие» в 2006 году. – Алматы: Ин-т археологии АН РК, 2007. – С. 123–126.

Малютина Т.С., Зданович Г.Б. Керамика Аркаима: опыт типологии // РА. – 2004. – № 4. – С. 67–82.

Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск: Наука, 1998. – 416 с.

Мочалов О.Д. Керамика погребальных памятников эпохи бронзы лесостепи Волго-Уральского междуречья: монография. – Самара: Самар. гос. пед. ун-т, 2008. – 252 с.

Нелин Д.В. Поселение эпохи бронзы Шибаево-I: результаты исследования: (предварительная публикация) // Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Урала: сб. науч. тр. – Орск: Ин-т Евраз. исслед.; Ин-т степи УрО РАН, 2000. – С. 120–125.

Отрошенко В.В. К вопросу о памятниках новокумакского типа // Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Урала: сб. науч. тр. – Орск: Ин-т Евраз. исслед.; Ин-т степи УрО РАН, 2000. – С. 67–72.

Порохова О.И. Герасимовский курганный могильник в Оренбургской области // Древняя история Волго-Уральских степей. – Оренбург, 1992. – С. 92–108.

Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. – М.: Наука, 1985. – 375 с.

Сальников К.В. Памятник абашевской культуры близ Магнитогорска // КСИИМК. – М.: ИИМК АН СССР, 1950. – Вып. XXXV. – С. 91–97.

Сальников К.В. Андроновские поселения Зауралья // СА. – 1954. – № 20. – С. 52–94.

Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. – М.: Наука, 1967. – 407 с.

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. – М.: Наука, 1977. – 82 с.

Стоколос В.С. Курганы эпохи бронзы у с. Степно-го // Краеведческие записки. – Челябинск: ЧОКМ, 1962. – Вып. 1. – С. 3–20.

Стоколос В.С. Исследования Мезенско-Уральского отряда // АО 1981. – М.: Наука, 1983. – С. 174–175.

Стоколос В.С. Поселение Кизильское позднего бронзового века на р. Урал (по материалам раскопок 1971, 1980, 1981 гг.) // Вестник Челябинского гос. пед. ун-та. Сер. 1., Ист. науки. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2004. – Вып. 2. – С. 207–236.

Сунгатов Ф.А., Сафин Ф.Ф. Исследование курганных могильников в Зауралье в 1991 г. // Наследие веков. Охрана и изучение памятников археологии в Башкортостане: сб. ст. – Уфа: Нац. музей Республики Башкортостан, 1991. – Вып. 1. – С. 58–64.

Ткачев А.А. Особенности нуртайских комплексов Центрального Казахстана // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 1999. – Вып. 2. – С. 22–29.

Ткачев В.В. К проблеме происхождения петровской культуры // Археологические памятники Оренбуржья. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1998. – Вып. II. – С. 38–56.

Ткачев В.В. О юго-западных связях населения Южного Урала в эпоху ранней и средней бронзы // Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Урала: сб. науч. тр. – Орск: Ин-т Евраз. исслед.; Ин-т степи УрО РАН, 2000. – С. 37–65.

Ткачев В.В. Начало алакульской эпохи в Урало-Казахстанском регионе // Степная цивилизация Восточной Евразии. Т. 1: Древние эпохи. – Астана: Kulagin, 2003. – С. 109–124.

Ткачев В.В. Погребальные комплексы с щитковыми псалями в Степном Приуралье // АА. – Донецк, 2004. – № 15: Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности: сб. ст. – С. 7–30.

Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы: монография. – Актобе: Актюб. обл. центр истории, этнографии и археологии, 2007. – 384 с.

Халяпин М.В. Первый бескурганный могильник синташтинской культуры // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: материалы междунар. конф. – Самара: НТЦ, 2001. – С. 417–425.

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ КОЛЕСНИЧНЫХ КУЛЬТУР РАННЕЙ ФАЗЫ ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА

Тридцать пять лет исполняется выходу книги К.Ф. Смирнова, Е.Е. Кузьминой «Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий» [1977]. В этой работе, пожалуй, впервые памятники Южного Урала рассматривались на широком фоне евразийских степных культур с привлечением подобных материалов ранних цивилизаций. В своих последующих трудах Е.Е. Кузьмина так же активно привлекала широкий спектр аналогий в западных культурах для южноуральских материалов. Совместно с К.Ф. Смирновым происхождение новокумакских памятников (включая сюда и синташтинские) она связывала с полтавкинской, абашевской и многоваликовой культурами. О многокомпонентности собственно синташтинцев писал и В.Ф. Генинг [1975]. А.Д. Пряхин рассматривал синташтинские памятники как своеобразный дериват уральского «абашева» [1977, с. 132]. В своих работах он представляет абашевские культуры трех основных ареалов как огромную общность, сыгравшую ключевое значение в развитии последующих культур. К востоку от ареала синташтинских памятников исследуются объекты петровской культуры, хронологически близкой синташтинской [Зданович Г.Б., 1988].

Таким образом, в 1970-е гг. был выделен наиболее ранний пласт памятников, связанных с последующими масштабными культурами эпохи поздней бронзы – срубной и алакульской.

Открытие Потаповского могильника, исследования VI Утевского, Власовского и Филатовского курганов придали новый импульс к сравнительному анализу новых артефактов и материалов синташты. Мы пришли к выводу о том, что потаповские материалы, действительно, находят на-

ибольшее сходство с синташтинскими памятниками на востоке и с власово-филатовскими – на западе. Но они отнюдь не сводимы друг к другу. Более широкий круг аналогий связывает эти материалы с памятниками уральского «абашева» и поздней «полтавки». В гораздо меньшей степени синташтинско-потаповские памятники имеют сходство с многоваликовой, а тем более – с катакомбными культурами. Сходство с последними, по нашему мнению, далеко опосредованно. Мы предположили, что формирование потаповских и синташтинских памятников происходило на месте – в Поволжье и Зауралье. То есть эти комплексы являются синхронными и культурно взаимосвязанными [Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994, с. 82, 95].

Вместе с тем миграционные гипотезы на долгие годы стали определяющими при рассмотрении феномена колесничных культур. Н.К. Качалова первая, кто предположила, что Потаповские курганы отображают миграционный импульс из Зауралья [Качалова, 1993]. Эту гипотезу поддерживали Н.Б. Виноградов, Г.Б. Зданович, В.А. Лопатин, Н.М. Малов, В.В. Отрощенко [Кузьмина, Шарафутдинова, 1995, с. 213–215]. Наиболее полно об этом написал В.В. Отрощенко. Он выдвинул теорию южноуральского очага культурогенеза и предположил выдвижение из Южного Урала (точнее из Зауралья) отрядов воинов-колесничих [1998]. Происхождение собственно синташты он рассматривает (вслед за В.В. Ткачевым), как результат движения носителей катакомбных традиций на восток и их взаимодействия с абашевским населением Южного Приуралья [Отрощенко, 2009]. Однако свидетельства такого смешения (катакомбно-абашевского) в археологических

памятниках просто отсутствуют. Проблему наличия культурного пласта, предшествующего синташте в Зауралье, В.В. Отрощенко не затрагивает. Главным для исследователя является несомненный потенциал синташтинской культуры. Ее распространение в пространстве и во времени автор рассматривает в качестве основы формирования родственных западных колесничных культур. Следует согласиться с В.В. Отрощенко в том, что в синташтинских памятниках максимально выражены культуuroобразующие признаки динамически развивающейся эпохи. Особенно ярко представлен погребальный обряд, включающий полный комплекс колесничной символики. В последующих культурах представлены лишь отдельные элементы данной символики. При территориальном сравнении комплекса этих же признаков с востока на запад фиксируется аналогичная картина: последовательное исчезновение из погребального обряда колесниц, полных жертвенников коней, упряжи, воинской атрибутики. Е.А. Черленок наиболее объемно провел данное сопоставление [Черленок, 2000].

Парадоксально, но эти же памятники рассматриваются, как имеющие доказательства противоположного вектора распространения культур, в направлении с запада на восток. Н.М. Малов и В.В. Филиппченко, А.В. Епимахов, В.В. Ткачев предполагали происхождение синташтинского феномена из круга катакомбных культур [Малов, Филиппченко, 1995, с. 61; Епимахов, 1998, с. 34–35; Ткачев, 2000]. Но развернутой аргументации авторами представлено не было. При попытке детального рассмотрения данного предположения аргументы против этой гипотезы достаточно очевидны. Сама катакомбная триада (катакомба, курильница и шнур в орнаментике) на территории к востоку от Волги в системе погребального обряда просто отсутствует. Отсутствуют и собственно катакомбы. Есть лишь вариации подбойных захоронений, которые возможно объяснять через влияние катакомбного круга культур на культуру полтавкинскую. Данное предположение мною было выдвинуто более двадцати лет назад. Однако доказательных критических возражений так и не появилось. В дополнение следует добавить и еще одно важное наблюдение: в катакомбном обряде нет явных свидетельств использования лошади. Было ли коневодство распространено в среде катакомбников? Достоверные данные об этом отсутствуют. Очевидно, насколько это суще-

ственный аргумент против определяющего влияния катакомбного мира на происхождение блока колесничных культур. И в этой связи необходимо указать, что коневодство было распространено в среде полтавкинских и абашевских племен.

Следует особо отметить работу В.В. Ткачева, в которой даются основные характеристики своеобразной культурной группы Приуралья предсинташтинского времени [Ткачев, 2007]. Эту группу он именует как «позднекатакомбная». И здесь возможно привести все те возражения, которые приводились при рассмотрении позднеполтавкинских материалов Поволжья. Но в работе В.В. Ткачева важно другое – выделение специфических признаков в предшествующей группе памятников, которые нашли свое воплощение и в синташтинской, и в потаповской культурной среде. Предсинташтинские памятники Приуралья вполне возможно выделить в особую культурную группу, придав им самостоятельный статус. Например, назвав ее «илекшарской». Эти комплексы Р.А. Мимоход весьма органично вписал в круг посткатакомбных культурных образований Волго-Уралья [2010]. Автором убедительно показана их хронологическая позиция в рамках завершающего этапа эпохи средней бронзы. То есть в степной зоне Волго-Уральского междуречья известны памятники, в которых есть комплекс признаков последующих колесничных культур.

Поискам «катакомбного следа» в синташтинско-потаповских памятниках посвящена обширная работа Г.Г. Пярых [2004]. Автор привел подробный список соответствий обрядовых признаков катакомбных культур в синташтинско-потаповских памятниках. При этом исследователь особо отметил регион Донского бассейна, катакомбные культуры которого играют, по мнению автора, важную роль в сложении культур эпохи поздней бронзы от Волги до Зауралья [Там же, с. 297]. Вместе с тем известно, что в Подонье выделено, как минимум, четыре катакомбные культурные группы: донецкая, среднедонская, манычская, бахмутская [Братченко, 1976]. Какая из них потенциально способна оказать решающую роль в сложении колесничных культур? Почему для всех катакомбных групп Подонья свойственно правобочное положение погребенных, тогда как для синташтинско-потаповских преобладающим является положение на левом боку? Для доказательства своей гипотезы Г.Г. Пярых приводит ряд сопоставлений сосудов Подонья и Поволжья

(потаповских), при этом половина исследуемых автором сосудов происходит из поселений, где есть и посткатакомбная, и многоваликовая керамика (9 из 18 сосудов). Другая часть аналогий приводится им из абашевских памятников Подонья. Впрочем, отнесение их к кругу абашевских весьма условно. Вполне вероятно отнесение этих памятников и к покровским. Не вдаваясь в детализацию культурно-типологической идентификации памятников Среднего Подонья, здесь следует отметить, что они находятся в одном культурно-хронологическом горизонте с потаповскими и синташтинскими. В результате, приводимые аналогии не могут быть признаны в качестве строгих доказательств восточного вектора распространения колесничных культур.

Распространение колесничных культур с запада на восток активно отстаивает и Ю.П. Матвеев, который дает развернутые описательные характеристики погребальных комплексов лесостепного Подонья [2005]. Но почему эти характеристики могут быть доказательством хронологического приоритета по отношению к синташтинским? Он упоминает, что в синташтинских материалах есть предметы, аналогичные доно-волжским, но есть и своеобразные [Там же]. По отношению к изучению археологических признаков миграций это

также мало что может дать. Другое доказательство восточного вектора основано на убеждении автора в широком распространении коневодства в среде катакомбных культур [Там же]. Вместе с тем исследования костей лошади из собственно катакомбных погребальных памятников, проведенные специалистами, мне неизвестны. Вероятно, неизвестны они и автору, т.к. соответствующие ссылки в работе отсутствуют. Из конкретных обоснований своей миграционной гипотезы автор особое внимание уделяет псалиям. Он утверждает, что западные псалии изготовлены из плоских тазовых (?) костей, а восточные – из эпифизов трубчатых [Там же, с. 11]. И это, по мнению автора, обусловлено упрощением технологии при вероятном распространении колесничных с запада на восток. Данное утверждение ошибочно. Абсолютное большинство древнейших дисковидных псалиев всех типов изготовлено из рога лося или из рога оленей [Усачук, 2007, с. 8]. Не случайно дисковидные псалии достаточно давно именуются как роговые [Лесков, 1964]. Таким образом, ключевая для данной миграционной гипотезы категория изделий – псалии – здесь явно не работает. В целом, гипотеза Ю.П. Матвеева основана на концепции А.Д. Пряхина о происхождении и распространении абашевской культуры из лесостепного Подонья [Матвеев, 2005, с. 11]. Попытка конкретизировать археологические признаки распространения колесничества на восток оказалась явно неубедительной. Критика аргументов автора более общего порядка представлена в работе В.В. Отрошенко [2009].

Итак, если обратиться к реальным археологическим фактам вероятного распространения культур ранних колесниц, то совершенно очевидно, что необходим анализ колесничной атрибутики и типов вооружения. Сейчас вполне обоснованно выделение двух технологических группировок дисковидных псалиев, расположенных в различных и частично накладывающихся ареалах [Пряхин, Беседин, 1998; Усачук, 2007; Боцкарев, Кузнецов, 2010] (рис. 1).

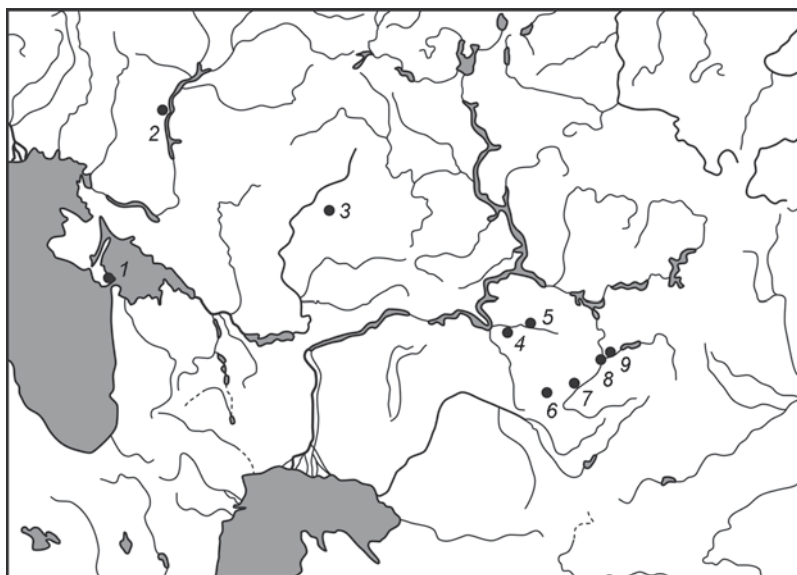


Рис. 1. Карта распространения дисковидных псалиев без планки архаического облика в Восточной Европе.

1 – пос. Каменка; 2 – с. Трахтемирово; 3 – Филатовский кург.; 4 – Потаповский курганный могильник; 5 – пос. Суруш; 6 – пос. Бабич; 7 – пос. Баланбаш; 8 – псалий № 18927 (г. Уфа); 9 – пос. Троицкое.

Западный ареал охватывает Волго-Донской регион. Для этой группировки характерны вставные шипы, боковые отверстия на щитке, орнамент. Восточный ареал соответствует Урало-Казахстанскому региону. Псалии этой группировки имеют монолитные шипы, дополнительное отверстие на планке, отсутствие орнамента. Две традиции накладываются на территории Самарского и Саратовского Поволжья. Обнаружение псалиев разных традиций в одних погребальных комплексах (Потаповка к. 3, п. 8) говорит об их безусловной синхронности. Как далеко на восток распространена западная традиция? В Зауралье есть один орнаментированный псалий из могильника Каменный Амбар, к. 2, яма 8 [Усачук, 1999]. Но он имеет два монолитных шипа и один вставной. Такое сочетание мы видим лишь на потаповском псалии из мог. Утевка VI. Оба псалия демонстрируют сочетание двух традиций – западной и восточной. Традиции западного ареала изготовления имеют два псалия из п. 7 грунтового могильника Бестамак в Северном Казахстане [Калиева, Логвин, 2008, с. 58]. Один псалий бесшипный. Второй имеет три вставных шипа, но не имеет орнамента. При этом все вышеперечисленные предметы находились в погребениях с псалиями, изготовленными по традициям восточного ареала.

Этими находками исчерпывается круг западных аналогий, которые связывают Волго-Донской и Урало-Казахстанский регионы. Ни один из известных псалиев Урало-Казахстанского региона не может быть непосредственно связанным по своему происхождению с Подоньем.

Рассмотрим противоположную гипотезу – о вероятности распространения колесничных культур с востока на запад. Псалии, соответствующие восточной технологической группировке, есть в Поволжье: восемь экземпляров из Утевского VI могильника Самарского Заволжья и два псалия из п. 2 к. 2 Сторожевского могильника Саратовского Правобережья Волги [Ляхов, 1996; Дремов, 1997, с. 76]. Далее к западу от Волги псалии, соответствующие урало-казахстанской традиции их изготовления, неизвестны. В этой связи чрезвычайно важны трасологические исследования псалиев, которые провел А.Н. Усачук. Он конкретизирует основные ареалы двух технологических традиций, называя их «среднедонской» и «южноуральской» [2007, с. 17]. При этом автор фиксирует наличие южно-

уральской традиции в Северном Причерноморье. Действительно, достаточно давно известны два псалия пос. Трахтемирово и псалий пос. Каменка, имеющие сходство с уральскими, но обнаруженные далеко на западе от основного ареала всех дисковидных псалиев [Лесков, 1964; Рыбалова, 1966]. Главной особенностью этих экземпляров является отсутствие выраженной планки. Поэтому все дополнительные отверстия изготовлены на самом щитке. Псалии без планки известны во всех колесничных культурах, и везде их число невелико. При этом наблюдается явная количественная неравномерность в распределении по регионам. В Зауралье (синташтинская культура) известно два сохранившихся экземпляра; Волго-Уральском междуречье (абашевская, потаповская) – восемь экземпляров; Подонье – три экземпляра (ранняя покровская); Северном Причерноморье – три экземпляра (рис. 2, 3). Естественно, что здесь учтены сохранившиеся изделия. В Волго-Донском междуречье псалии без планки составляют 9% (3 экз. к 33 учтенным). Все три экземпляра происходят из п. 1 и 3 Филатовского кургана [Синюк, Козмичук, 1995, с. 55, 58]. В абсолютном соотношении, псалии без планки в синташтинской культуре представлены в наименьшей пропорции. Учтено около 40 целых синташтинских псалиев с планкой против 2 (5 %) целых без нее. Оба экземпляра обнаружены в большом грунтовом могильнике Синташты – п. 5 и п. 39 [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, рис. 57, 8; 126, 1]. Следует отметить, что некоторые синташтинские псалии не имеют четко отделенной планки, но при этом сама планка уже имеет выраженное геометрическое оформление, например: Солончанка IA, к. 2, п. 1, Синташта, к. CI, п. 14 [Усачук, 2010, рис. 12, 1; 15, 1]. И.В. Чечушков и А.В. Епимахов привели наиболее полную сводку псалиев синташтинской культуры [2010, прил. 3]. На территории Волго-Уральского междуречья псалии без планки представляют существенно большую долю. Все находки опубликованы. Учтено 26 дисковидных псалиев, из которых без планки – восемь экземпляров (31 %), т.е. изготовление псалиев без планки на данной территории проявляется как наиболее устойчивая традиция. В этой группе находится и баланбашский псалий, имеющий весьма архаичный облик и относящийся к абашевской культуре. Заготовка дисковидного

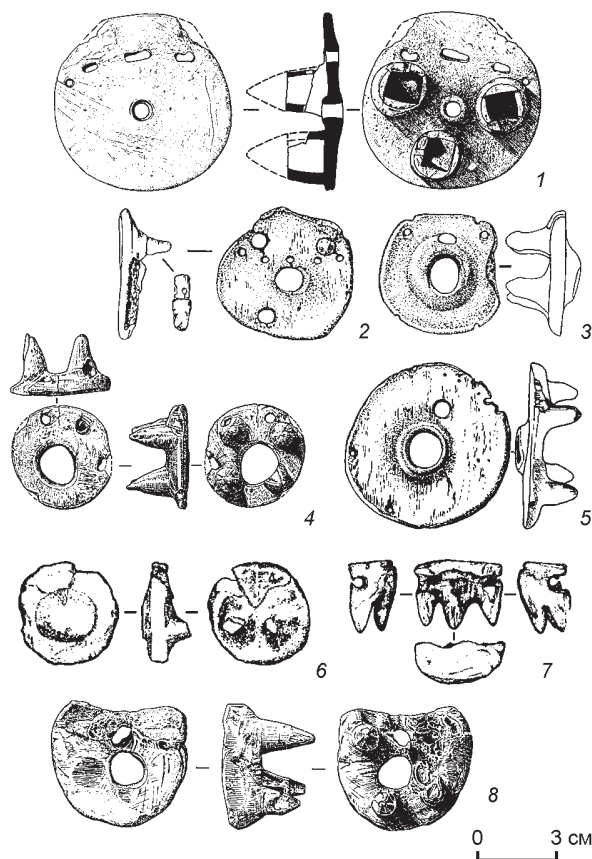


Рис. 2. Дискovidные псалии без планки архаического облика из Волго-Уральского региона.

1 – пос. Троицкое, случайная находка (по: [Горбунов, Усачук, 2004]); 2, 3 – Потаповский курганный могильник, кург. 3, центральное погребение 4; 4 – псалий № 18927 из фондов Нац. музея Респ. Башкортостан (по: [Усачук, 2010]); 5 – Потаповский курганный могильник, кург. 5, центральное погребение 8; 6 – пос. Суруш; 7 – пос. Бабич (по: [Бахшиев, 2010]); 8 – пос. Балланбаш (рис. А.Н. Усачука).

псалия без планки есть и на абашевском поселении Суруш в Заволжье [Васильев, Пряхин, 1977; Васильев, Кузьмина О.В., 1980].

Таким образом, вполне вероятно предположение о зарождении колесничества в абашевской культурной среде Волго-Уральского региона.

В настоящее время выделен ряд фактов, которые позволяют предполагать хронологический приоритет абашевской культуры по отношению к синташтинской и потаповской. Датировка абашевского Пепкинского кургана древнее, чем синташтинские радиоуглеродные даты [Кузнецов, 2001, с. 182]. Установлено, что керамический комплекс абашевского Мало-Кизильского селища является монокультурным [Епимахов, Епимахо-

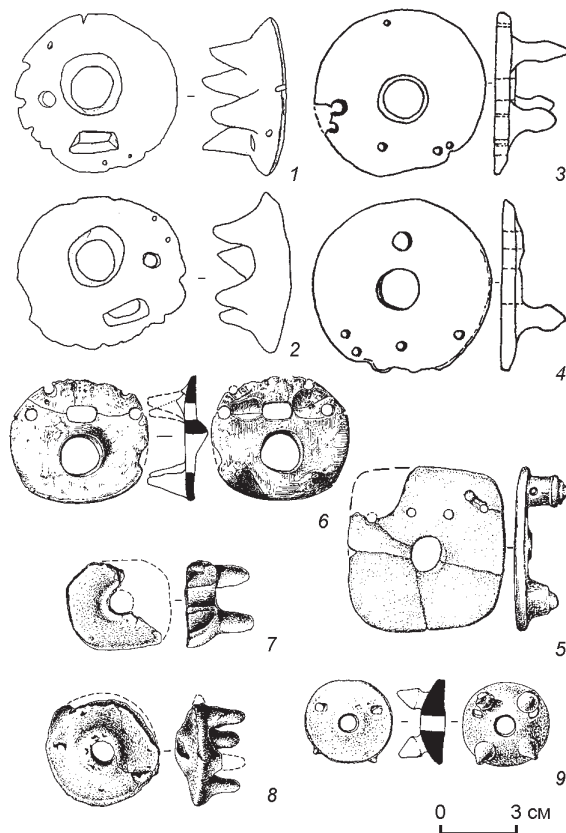


Рис. 3. Дискovidные псалии без планки архаического облика из Северного Причерноморья (6), Доно-Днепровского (1–5) и Зауральского регионов (7–9).

1, 2 – с. Трахтемирово (по: [Лесков, 1964]); 3, 4 – Филатовский кург., погр. 1 (по: [Синюк, Козмирчук, 1995]); 5 – Филатовский кург., погр. 3 (рис. А.Н. Усачука); 6 – пос. Каменка (рис. А.Н. Усачука); 7, 8 – Большой грунтовый могильник Синташты, погр. 5 (по: [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992]); № 7 отнесен условно; 9 – Большой грунтовый могильник Синташты, погр. 39 (по: [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992]).

ва, 2006, с. 55, 57]. В керамике данного памятника прослеживаются признаки более ранних культур: ботайско-суртандинской и вольско-либищенской. При этом столь явные следы пережиточного энеолита в синташтинском керамическом комплексе просто отсутствуют. Стратиграфические данные о предшествовании абашевских погребений синташтинским установлены при исследовании могильника у горы Березовой в Южном Приуралье [Моргунова, Халяпин, 2003, с. 226–227]. В контексте данного хронологического соотношения весьма важное значение имеет вывод о том, что абашевский металл отличается существенно большим архаизмом, чем металл синташтинский [Кузьмина О.В., 2000, с. 103–104]. Наличие

абашевского компонента и в синташтинских, и в потаповских материалах позволяет предполагать его значительное культурообразующее влияние. Другой компонент представлен посткатакомбно-полтавкинскими традициями [Виноградов, 2003, с. 259–260; Кузнецов, 2001, с. 179; Мимоход, 2010, с. 75–78].

Из абашевского культурного круга выводимы такие компоненты синташты, как: стационарные поселения с признаками укреплений; оформление подкурганного ритуального комплекса; вытянутое на спине положение погребенных; вторичные захоронения; типы наиболее распространенных и сложных разновидностей металлических изделий; черешковые наконечники стрел; ритуальные костяные предметы; миниатюрная посуда; керамика с внутренним ребром и внешним желобком; геометризм в орнаментации. Из круга посткатакомбно-полтавкинских памятников культурообразующими признаками могут быть названы следующие: положение на левом боку; жертвенники мелкого рогатого скота; сосуды вертикальных пропорций с внешним ребром-уступом; сосуды горизонтальных пропорций с округлым туловом; «елочная» орнаментация; «шагающая» гребенка.

Ареалы этих культурных новаций накладываются в пределах лесостепного Волго-Уральского междуречья. Вполне вероятно, что в процессе формирования и произошло распространение новых культурных традиций на сопредельные территории. В результате на востоке (степное Зауралье) и на западе (Волго-Донское лесостепное междуречье) сформировался блок родственных колесничных культур: синташтинская, потаповская и ранняя покровская. Свообразным катализатором процесса культурогенеза стали сейминско-турбинские группировки, занимавшие северный фланг распространения блока колесничных культур [Кузнецов, 2000].

Данная модель миграционного распространения в большей степени соответствует теории Волго-Уральского очага культурогенеза позднего бронзового века северной половины Евразии [Бочкарев, 1991]. Дополнительное обоснование для данной модели демонстрируют и радиоуглеродные определения. В последние годы получены значительные серии достоверных дат по синташтинским и потаповским памятникам. Их соотношение указывает на синхронность в пределах XX–XVIII вв. до н.э. [Hanks, Epimakhov, Renfrew, 2007; Kuznetsov, 2006].

Список литературы

Бахшиев И.И. Итоги охранных археологических раскопок поселений эпохи поздней бронзы на реке Большой Юшатырь в Башкирском Приуралье // XVIII Уральское археологическое совещание: культурные области, археологические культуры, хронология. – Уфа, 2010.

Бочкарев В.С. Волго-уральский очаг культурогенеза эпохи поздней бронзы // Социогенез и культурогенез в историческом аспекте. – СПб., 1991.

Бочкарев В.С., Кузнецов П.Ф. Желобчатые псалии эпохи поздней бронзы евразийских степей // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010. – С. 308–309.

Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы (периодизация и хронология памятников). – Киев, 1976.

Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. – Самара, 1994.

Васильев И.Б., Кузьмина О.В. Абашевские поселения лесостепного Заволжья // АВЕЛС. – Воронеж, 1980.

Васильев И.Б., Пряхин А.Д. Сурушское поселение эпохи бронзы // Из истории Воронежского края. – Воронеж, 1977.

Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. – Челябинск, 2003.

Генинг В.Ф. Хронологические комплексы XVI в. до н.э.: по мат-лам Синташтинского могильника // Новейшие открытия советских археологов: тез. конф. – Киев, 1975.

Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта. – Челябинск, 1992.

Горбунов В.С., Усачук А.Н. Новый псалий из лесостепного Приуралья // АА. – Донецк, 2004. – № 15: Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности.

Дремов И.И. Материалы из курганов у с. Березовка Энгельсского района и некоторые вопросы социокультурных реконструкций эпохи поздней бронзы // Археологическое наследие Саратовского края: охрана и исследования в 1996 г. – Саратов, 1997. – Вып. 2.

Епимахов А.В. Погребальная обрядность населения Южного Зауралья эпохи средней бронзы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1998.

Епимахов А.В., Епимахова М.Г. Абашевские памятники Южного Зауралья // Урало-Поволжская лесостепь в эпоху бронзового века: сб. ст., посвящ. 60-летию В.С. Горбунова. – Уфа, 2006.

Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. – Свердловск, 1988.

Калиева С.С., Логвин В.Н. Могильник у поселения Бес-тамак: (предварительное сообщение) // ВААЭ. – 2008. – № 9.

Качалова Н.К. Относительная хронология полтавкинских памятников и их соотношение с потаповскими и покровскими // Новые открытия и методологические основы археологической хронологии: тез. докл. – СПб., 1993.

Кузнецов П.Ф. Свидетельства контактов в потапово-синташтинских и сейминско-турбинских памятниках начала поздней бронзы // Взаимодействие и развитие древних культур южного пограничья Европы и Азии. – Саратов, 2000. – С. 76–80.

Кузнецов П.Ф. Территориальные особенности и временные рамки переходного периода к эпохе поздней бронзы Восточной Европы // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: мат-лы междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы 23–28 апр. 2001 г.» – Самара, 2001.

Кузьмина О.В. Металлические изделия и вопросы отнесительной хронологии абашевской культуры // Древние общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла: ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации. – СПб., 2000. – (Археологические изыскания; вып. 63).

Кузьмина О.В., Шарафутдинова Э.С. Хроника семинара «Проблемы перехода от эпохи средней бронзы к эпохе поздней бронзы в Волго-Уралье» // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья. – Самара, 1995.

Лесков А.М. Древнейшие роговые псаали из Трахтемирова // СА. – 1964. – № 1.

Ляхов С.В. Уникальное погребение эпохи средней бронзы из кургана у пос. Сторожевка: (предварительная публикация) // Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 г. – Саратов, 1996. – С. 77–84.

Малов Н.М., Филипченко В.В. Памятники катакомбной культуры Нижнего Поволжья // АВ. – СПб., 1995. – Вып. 4.

Матвеев Ю.П. О векторе распространения «колесничных» культур эпохи бронзы // РА. – 2005. – № 3. – С. 5–11.

Мимоход Р.А. Погребения финала средней бронзы в Волго-Уралье и некоторые проблемы регионального культурогенеза // АА. – Донецк, 2010. – № 13/14: Донецкий археологический сборник. – С. 67–82.

Моргунова Н.Л., Халяпин Н.В. Новые исследования памятников эпохи бронзы в центральном Оренбуржье // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: мат-лы междунар. науч. конф. – Чебоксары, 2003.

Отрощенко В.В. О культурно-типологических группах погребений Потаповского могильника // РА. – 1998. – № 1.

Отрощенко В.В. К дискуссии о векторах движения колесничных в эпоху бронзы // АВЕЛС. – Воронеж, 2009.

Пряхин А.Д. Погребальные абашевские памятники. – Воронеж, 1977. – 132 с.

Пряхин А.Д., Беседин В.И. Конская узда периода средней бронзы в восточноевропейской лесостепи и степи // РА. – 1998. – № 3.

Пярых Г.Г. К проблеме происхождения и культурной принадлежности памятников потаповского типа // Памятники археологии и древнего искусства Евразии. – М., 2004.

Рыбалова В.Д. Костяной псаали с поселения Каменка близ Керчи // СА. – 1966. – № 4.

Синюк А.Т., Козмирчук И.А. Некоторые аспекты изучения абашевской культуры в бассейне Дона: (по мат-лам погребений) // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья. – Самара, 1995.

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. – М., 1977.

Ткачев В.В. О юго-западных связях населения Южного Урала в эпоху ранней и средней бронзы // Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Урала. – Орск, 2000. – С. 45–46.

Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. – Актюбе, 2007. – С. 228–257.

Усачук А.Н. Сочетание двух традиций изготовления щитковых псаалиев (на примере псаалия из Зауралья) // Этническая история и культура населения степи и лесостепи Евразии (от каменного века до раннего средневековья): мат-лы междунар. археол. конф. – Днепропетровск, 1999.

Усачук А.Н. Древнейшие псаалии эпохи бронзы лесостепи и степи Евразии (технологический и функциональный аспекты): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Киев, 2007.

Усачук А.Н. Трасологический анализ костяных и роговых изделий из некоторых курганов Саратовского Поволжья // Археологические памятники Саратовского Правобережья: от ранней бронзы до средневековья (по материалам раскопок 2005–2006 гг.). – Саратов, 2010.

Черленок Е.А. Погребения колесничных лошадей в позднем бронзовом веке на территории Восточной Европы и Казахстана // Stratum plus. – 2000. – № 2.

Чечушков И.В., Епимахов А.В. Колесничный комплекс Урало-Казахстанских степей // Кони, колесницы и колесничные степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010.

Hanks B.K., Epimakhov A.V., Renfrew A.C. Towards a refined chronology for the Bronze Age of the southern Urals, Russia // Antiquity. – 2007. – Vol. 81. – № 312. – P. 353–367.

Kuznetsov P.F. The Appearance of the Bronze Age Chariots in Eastern Europe // Antiquity. – 2006. – Vol. 80. – № 309. – P. 638–645.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КЕРАМИКИ СИНТАШТИНСКИХ ПАМЯТНИКОВ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В 70-х гг. XX в. в публикации материалов Новокумакского могильника, первого широко известного синташтинского памятника, были намечены аналоги оригинальной новокумакской керамики в западных степных и лесостепных культурах – катакомбной, КМК и полтавкинской [Смирнов, Кузьмина, 1977]. Поскольку местные прототипы синташтинской глиняной посуды известны не были, данная работа положила начало поиску западных/юго-западных истоков синташты. Позднее, по мере накопления материалов, это направление было продолжено в работах большинства исследователей: Г.Б. Здановича, Д.Г. Здановича, Т.С. Малютиной, Н.Б. Виноградова, И.Б. Васильева, П.Ф. Кузнецова, А.П. Семеновой, В.С. Горбунова, А.Д. Пряхина, О.В. Кузьминой, Т.М. Потемкиной, В.В. Ткачева, М.В. Халыпина, О.Д. Мочалова и др. Из данного направления в 90-е гг. XX в. выделились концепции, носящие дискуссионный характер, но значительно уточняющие культурные компоненты синташтинского керамического комплекса. При этом почти каждый исследователь вносил свои уточнения в осмысление проблемы. Ввиду больших интерпретационных возможностей керамического инвентаря, происхождение синташты характеризуется особой актуальностью. Несмотря на то, что керамическому аспекту синташтинской проблемы до недавнего времени было посвящено не так уж много специальных работ, означенный аспект уже имеет свою историографию. Перейдем к ее рассмотрению.

Сторонники степного импульса связывают признаки синташтинской керамики с влиянием

полтавкинских и позднекатакомбных традиций. При этом под дефинициями «полтавкинская» и «катакомбная» нередко подразумеваются одни и те же материалы. Разница в определениях зависит от позиции исследователя: признает ли он катакомбное присутствие (или определяющее влияние катакомбной культуры) в Волго-Уралье (В.И. Мельник, Г.Г. Пярых, В.В. Ткачев, М.В. Халыпин) или рассматривает полтавкинскую культуру как самостоятельную, наследующую ямные традиции, не исключая лишь отдельных катакомбных заимствований (И.Б. Васильев, Н.К. Качалова, П.Ф. Кузнецов, А.П. Семенова, О.Д. Мочалов). Некоторые авторы отмечают в синташтинской керамике черты как степных культур, так и лесной/лесостепной абашевской культуры. И.Б. Васильев, П.Ф. Кузнецов, А.П. Семенова видят в синташтинской и потаповской керамике черты полтавкинской, абашевской культуры [Кузнецов, Семенова, 2000]. П.Ф. Кузнецов и А.П. Семенова предполагают влияние потомков шнуровых культур (Вольск-Лбище), однако в чем оно выражено, не оговаривается [Там же, с. 130]. В.В. Ткачев и А.И. Хаванский рассматривают синташтинскую керамику как модификацию позднекатакомбных и абашевских гончарных традиций, причем позднекатакомбная керамика (по определению авторов) выделяется В.В. Ткачевым непосредственно в Приуралье [Ткачев, Хаванский, 2006, с. 104–121; Ткачев, 2007, с. 228–279]. Т.С. Малютина и Г.Б. Зданович, разработав детальную типологию керамики укрепленного поселения Аркаим, пришли к выводу о ямно-полтавкинской основе керамического комплекса [2005]. При этом полтав-

кинская культура, по их мнению, сформировалась при кавказских и катакомбных влияниях. Позже, на втором этапе развития аркаимских форм, исследователи фиксируют воздействие катакомбников, доно-волжских абашевцев и КМК [Там же]. Г.Б. Здановичем признавалось и влияние абашевской культуры Приуралья [1997, с. 54]. Г.Г. Пятых считает, что происхождение потаповских комплексов связано, в первую очередь, с влиянием не синташты и восточных культур, а западных – катакомбных культур Дона, культуры многоваликовой керамики, доно-волжской абашевской и воронежской культур [2004]. По мнению исследователя, традиции расположения орнамента, распространение некоторых характерных орнаментов (зигзаг, «елка», горизонтальные линии, фестоны, валики) и техника их нанесения также связаны с упомянутыми культурами. А.В. Кияшко по типологическим признакам связывает потаповско-синташтинские памятники с позднекатакомбными группами [Кияшко, 2002, с. 143].

Некоторые специалисты выводят происхождение синташты главным образом из абашевской культуры Южного Приуралья (В.С. Горбунов, О.В. Кузьмина). Фактически речь идет о перерастании южно-уральских абашевских керамических традиций в синташтинские [Кузьмина О.В., 1999]. А.Д. Пряхин считает значительным влияние доно-волжской абашевской культуры [1995]. Кроме этого воронежские археологи склонны видеть в поволжских материалах доно-волжские абашевские и катакомбные традиции [Матвеев, 1996]. Ведущая роль степных культур, но строго лимитированное влияние абашевских традиций признается рядом исследователей [Виноградов, 2001; Епимахов, 2003; 2010; Малютина, Зданович, 2005]. Так, Н.Б. Виноградов считает абашевское влияние на синташтинские памятники кратковременным и фиксирует его в керамике, в оформлении которой присутствуют абашоидные элементы [Виноградов, 2001, с. 192].

Особое историографическое направление связано с положением о наличии в синташтинской керамике как местной Урало-Иртышской, так и западной основ. В.Н. Логвин считает, что орнаментальные традиции энеолитической терсекско-ботайской общности культур геометрической керамики Зауралья и Северного Казахстана оказали влияние на синташтинский орнамент, а формы сосудов имеют западное происхождение [1995].

Т.С. Малютина и Г.Б. Зданович так же считают, что в орнаментике достаточно отчетливо проявляются черты культур гребенчатого геометризма [2004, с. 81]. В то же время другой исследователь энеолитической керамики региона В.М. Мосин не фиксирует прямого влияния местных культур позднего энеолита [2003, с. 106]. Таким образом, ряд авторов допускают «доживание» энеолитических орнаментов до финала средней бронзы, вследствие чего возникает вопрос: существуют ли некоторые энеолитические группы непосредственно до синташтинского времени или их признаки были переданы опосредованно?

Южное и юго-западное направление связей также отражено в историографии. Специфической точки зрения придерживается С.А. Григорьев, выделивший прототипы основных синташтинских (и многих абашевских) типов в Закавказье и в Передней Азии [1999, с. 82–87]. Кроме того, он фиксирует черты КМК, среднедонской катакомбной и полтавкинской культур. Кубковидные формы и ряд особых орнаментов связывается О.Д. Мочаловым с влиянием южных регионов Кавказа и Средней Азии [2004]. Кавказское направление связей культур Волго-Уралья на финальной стадии среднего бронзового века, синхронное с культурой триалети Закавказья, установлено М.Б. Рысиным на основе изучения изделий из металла [2007]. При этом истоки инноваций эпохи бронзы исследователь усматривает на Южном Кавказе с последующим проникновением на Северный Кавказ. Интересно, но крайне дискуссионно наблюдение Д. Энтони, который считает, что орнамент потаповских и синташтинских сосудов в виде «ступенчатых пирамид» является заимствованием от орнамента керамики Центральной Азии (Намазга, Саразм, Бактрия) и не известен в предшествующих культурах Восточной Европы [Anthony, 2007, р. 433–434]. Однако орнамент в виде пирамид присутствует на энеолитических памятниках Урало-Иртышского междуречья, например, на поселении Абселямовская [Мосин, 2003, с. 65, рис. 31]. Гребенчатые орнаменты в виде ромбов, вертикального зигзага, близкие к синташтинским, представлены на поселении Ботай [Там же, с. 207, 209].

Таким образом, в решении проблемы наметились две противоположные тенденции: с одной стороны, связь происхождения большинства признаков синташтинской керамики с конкретной культурой при наличии иных вторичных компо-

нентов, с другой стороны – с традициями абсолютно различных и порой не связанных культур. Вследствие последнего замечания следует отметить попытку (чаще звучащую в выступлениях) соединить некоторые синташтинские типы с поздним этапом ямной культуры, что входит в противоречие не только с имеющимися типологиями, но и с абсолютными датами. В конце среднего бронзового века ямная культура уже не существовала, ее место заняли генетически связанные с ней памятники эпохи средней бронзы.

Итак, в качестве истоков синташтинских керамических традиций в той или иной степени рассматриваются почти все известные культуры Доно-Урало-Иртышского междуречья. Участие полтавкинского, донского катакомбного и приуральского абашевского керамических компонентов в сложении синташты является фактически общепризнанным фактом. Вопросы вызывает только значимость вклада этих культур в становление новой группы памятников. В то же время в большинстве публикаций многие положения, даже при всей их убедительности, не подкреплены иллюстрациями реальных керамических аналогий или приводимые аналоги не выглядят таковыми. Большинство сопоставлений основано на традиционном типологическом методе, в основном интуитивном, и общих представлениях о периодизации и хронологии сравниваемых материалов.

Нет четкости и в представлении о хронологическом соотношении сравниваемых культур. Это усугубляется стремлением выделить в синташте, и без того занимающей узкую хронологическую нишу, как минимум, два этапа. Но и здесь необходимо оговориться о некоторой условности выделения керамики с более ранними (культуры среднего бронзового века) и более поздними чертами (культуры поздней бронзы). Фиксируется тенденция планиграфически и стратиграфически разного расположения керамики раннеалакульского/раннесрубного облика и классической синташтинской посуды в погребальных памятниках. Данный подход, безусловно, имеет основания, базирующиеся на определенном типологическом отличии как между комплексами, так и внутри них. Естественно, речь о формировании основы комплекса и о ранних контактах в этом случае может вестись только относительно первого этапа. Поэтому керамика поздней синташты с алакульскими и срубными признаками в данной

работе не учитывалась. Не исключено, что часть погребений с подобной посудой относится уже к позднему бронзовому веку, так как резкого хронологического разрыва, судя по всему, не было. Т.С. Малютиной и Г.Б. Здановичем было произведено весьма удачное, на мой взгляд, хотя по некоторым позициям и дискуссионное разделение аркаимского керамического комплекса на три этапа [2005].

А.И. Хаванским предпринята попытка на основе соотнесения орнамента и форм с данными стратиграфии и хронологии выделить несколько этапов в развитии синташты [2010]. Керамику раннего этапа автор связывает с приуральской абашевской. Вызывает возражения методика, использованная исследователем. В качестве хронологического признака ученым использованы только элементы орнамента (гребенчатый, гладкий и т.д.), в то время как прекрасно сохранившиеся сосуды (не фрагменты) дают возможность использовать для анализа более информативные признаки: мотивы и композиции. Предложенное автором хронологическое разделение синташтинских памятников на четыре и пять этапов дискуссионно. Данные абсолютной хронологии (их пересечение, совпадение) не позволяют столь категорично делить синташту на несколько этапов, выражая это в цифрах [Епимахов, 2010, с. 16–18], и тем более отделять время ее существования от потаповки [Кузнецов, 2001]. По сути же проведенное им сравнение подтвердило нарастание алакульских и срубных черт в более поздних комплексах. Различны ли керамические признаки хронологически или отражают социальные или культурные особенности населения? Относительная синхронность синташты и уральского абашева, подтвержденная радиоуглеродными датами [Епимахов, 2010, с. 16–18], очередной раз заставляет задуматься о реальной роли последнего в генезисе синташты. На мой взгляд, близость некоторых типов орнаментированной керамики, особенно развитого этапа абашевской культуры, может свидетельствовать о влиянии синташты на абашево, а не наоборот. Да и хронологическое соотношение с культурой Бабино (КМК по другой терминологии) и катакомбной не доказывает явного хронологического приоритета последних над синташтинскими памятниками [Литвиненко, 2006]. Поэтому нельзя говорить об исключительно одном направлении влияний с запада на восток, они могли иметь обратную направленность

и характер взаимодействия. О движении синташты на запад уже более десяти лет назад писал В.В. Отрощенко [1998, с. 51].

Имеющиеся данные о технологии синташтинского керамического производства [Гутков, 1995] свидетельствуют о значительной роли восточных урало-сибирских и североказахстанских традиций формовки сосудов и примесей. Это подтверждает преобладание рецептов с примесью талька, известных с энеолита [Мосин, 2003]. Керамика с тальковой примесью зафиксирована в степном Приуралье уже в памятниках ранней – средней бронзы (Ефимовский IV, к. 1; Изобильное I). Для Зауралья не характерна искусственная примесь раковины, типичная для восточноевропейских культур энеолита – средней бронзы, и в частности, для керамики памятников потаповского типа Заволжья [Салугина, 1994]. При этом в потаповских памятниках Поволжья отмечена примесь талька в составе формовочных масс некоторых сосудов [Там же]. Важно, что в синташтинских памятниках Приуралья примесь раковины фиксируется значительно чаще. Таким образом, на уровне состава формовочных масс фиксируется взаимодействие населения Южного Урала и Южного Средневожья, свидетельствующее в пользу относительной синхронности синташты, потаповки, и, видимо, развитого/позднего абашева. Использование текстиля, форм-основ для изготовления керамики также скорее относится к зауральской, западносибирской и североказахстанской традициям. Хотя данные о характере использования текстиля и форм-основ в энеолите означенных территорий порой лакунарны и дискуссионны, тем не менее, в настоящее время иные источники формирования этих традиций достоверно не известны [Виноградов, Мухина, 1985; Чернай, 1985]. Одни из самых ранних сосудов со следами шаблона отмечены в памятниках гребенчато-ямочной общности эпохи раннего металла И.Г. Глушковым в междуречье Иртыша и Демьянки (Рыбный Сор, Тух Сигат IV). Сосуды, сделанные на форме-основе, присутствуют и в ямно-полтавкинских памятниках Приуралья – Тамар-Уткуль VIII, к. 1, п. 1, 2 [Салугина, 1999, с. 24–27], которые, по замечанию исследователя, видимо, отражают традиции разных групп населения. Из этого следует, что в эпоху энеолита – ранней бронзы сосуды, сделанные на форме-основе и форме-емкости фиксируются от Южно-

го Приуралья и Поволжья до Западной Сибири. В синташтинских памятниках керамика, сделанная на форме-основе составляет 96 % от общего числа сосудов [Гутков, 1995, с. 132–135]. Лощение как внутренней, так и внешней поверхности сосудов на влажной основе также характерно для синташты, энеолитических Зауральских и позднейших комплексов Приуралья. Данные положения подтверждает и факт традиции ремонта сосуда металлическими скобками. По данным А.И. Гуткова, проанализировавшего эти сосуды с эпохи неолита, данная традиция характерна для зауральского и североприкаспийского регионов, и следовательно, также имеет местную основу [2000]. По сути, в эпоху бронзы ремонт сосудов металлическими сквозными скобками являлся хронологическим индикатором конца среднего – начала позднего бронзового века. Таким образом, не имеет смысла выводить многие технологические, наиболее консервативные традиции синташты из каких-либо отдаленных территорий. Истоки свои они находят в Южном Зауралье и соседних территориях.

В отличие от технологии, внешние особенности керамики, на мой взгляд, свидетельствуют о пересечении традиций степных культур пограничья Европы и Азии (от Дона до Тобола) с южным импульсом, который отразился в морфологии некоторых типов и орнаментике отдельных сосудов [Мочалов, 1996; 2004]. Прямых аналогов южной керамике почти нет, однако наличие кубковидных форм на поддоне, особых орнаментов и деталей оформления, не характерных для восточноевропейских и сибирских культур, указывают на связь с культурами средней бронзы Кавказа и Средней Азии (рис. 1). Для лесной зоны кубковидные формы на поддоне не характерны, они имели широчайшее распространение на южных территориях. Самые многочисленные свидетельства этих связей относятся к развитому этапу позднего бронзового века [Виноградов, 1995; Щетенко, 2000; Кузьмина Е.Е., 2008; Виноградова, 2004], но начались они, безусловно, раньше. Кроме форм кубковидных сосудов, в основном представленных в синташтинском могильнике, были заимствованы, а затем модифицированы рельефные орнаменты в виде имитации рядов ручек на горловине (триалетская культура Южного Кавказа), шишечек на тулове (северокавказская общность) (рис. 2) и ряд менее значительных орнаментов культур Кавказа. Неорнаментированная посуда,

встречающаяся во многих памятниках (Большекараганский, Кривое озеро, Каменный Амбар V, СМ, Танаберген II, Утевка VI), на мой взгляд, так же свидетельствует о южном влиянии, поскольку керамика энеолита – средней бронзы Европы и Сибири, как правило, достаточно богато орнаментирована.

Дискуссионно и положение об определяющем позднекатакомбном влиянии на синташтинскую керамику. Сторонники данной точки зрения пока не продемонстрировали всего спектра аналогий. Неясность главным образом вносит терминологическая путаница, какие памятники считать катакомбными, какие – полтавкинскими, смешанными или особыми волго-донскими «елочными». Эта путаница, безусловно, вызвана тем, что мы имеем дело с процессами интенсивного смешения традиций разных групп населения, одним из центров которого оказалось Волго-Донское междуречье, и стремлением специалистов поместить археологические свидетельства этих стремительных, порой хаотичных процессов в рамки жестких культурных стандартов. Исследователи культур всех ландшафтных зон Восточной Европы и Кавказа отмечают изменение и расширение культурных ареалов во второй половине среднего бронзового века.

В этом случае речь о жестких культурных стереотипах идти уже не может. Поэтому не совсем ясно, почему именно катакомбные, а не южные кавказские, предкавказские культуры, позднеполтавкинские, волго-донские группы рассматриваются в качестве первичного очага появления соответствующих типов керамики. Работ, последовательно доказывающих, что катакомбные культуры были очагом появления керамических инноваций, мне не известно [Мочалов, 2007]. Ведущая форма синташты – керамика с ребром в верхней трети профиля, отогнутым венчиком, небольшим дном – имеет совершенно «некатакомбную» географию распространения, ее ранние прототипы известны в новотиторовской культуре, позднегрипольских памятниках и т.д.

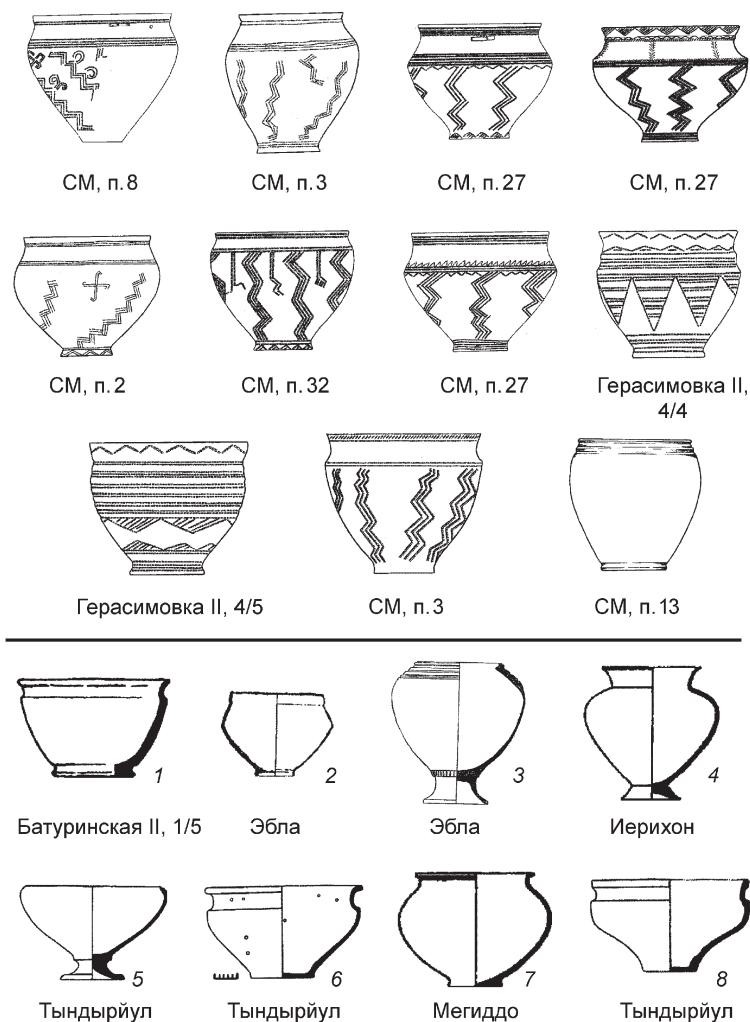


Рис. 1. Кубковидные сосуды синташтинского могильника и памятников эпохи бронзы Северного Кавказа (1), Передней Азии (2–4), Средней Азии (5–8).

Применительно к сложению синташтинских древностей речь так же идет о «позднекатакомбной» приуральской группе с сосудами, имеющими уступ в верхней части, широкое тулово, короткую шею, орнаментированную в основном треугольными вариациями в верхней части или «елкой» по тулову, или сосудами реповидной формы [Ткачев, 2007]. Данные типы керамики, кроме реповидных сосудов, имели крайне широкое распространение в среднем бронзовом веке, они культурно нейтральны. «Елочная» керамика с широким туловом известна от Северного Кавказа до лесных районов и встречается по всей степной и лесостепной полосе в различных культурах. Керамика с расширенным туловом, орнаментированная треугольниками в верхней части распростра-

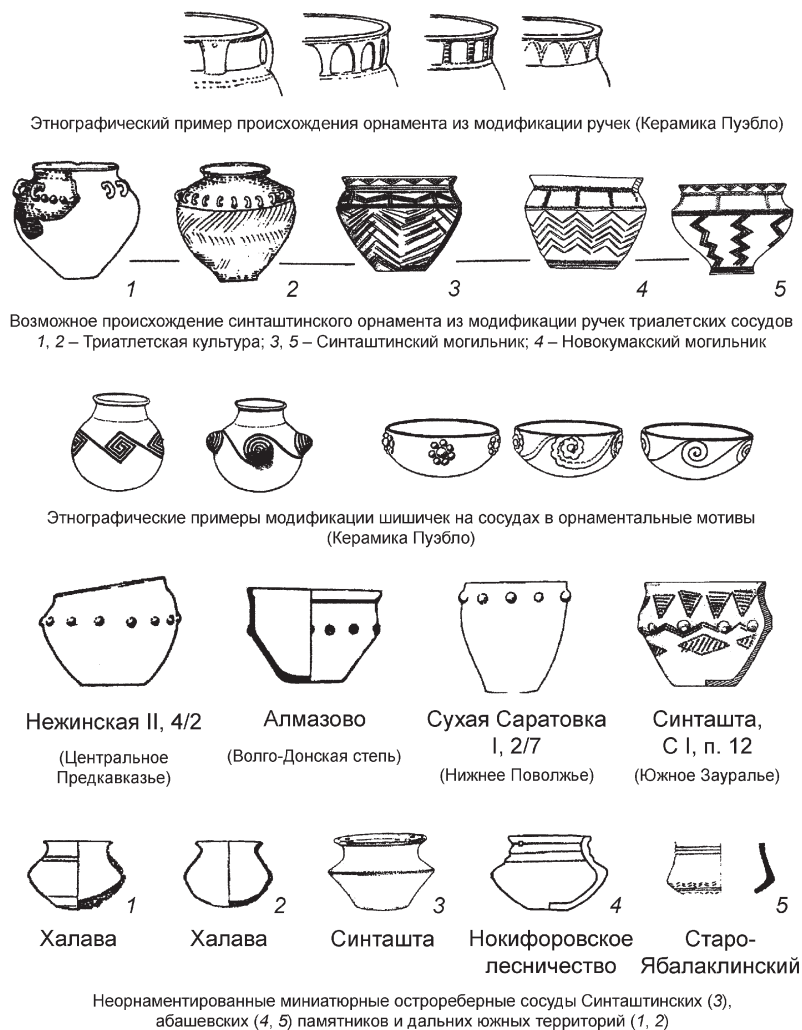


Рис. 2. Возможные южные источники модификации и заимствований керамики синташтинской культуры (этнографические примеры по работе: [Holmes, 1903]).

нена не менее широко, нет ее только в лесной зоне. Ее катакомбные аналогии нельзя назвать прямыми, они отличаются по технике орнаментации (более рельефны), пропорциям фигур. Керамический комплекс средней бронзы Приуралья имеет многочисленные аналоги в некатакомбных культурах: абашевской, полтавкинской, доно-волжской и др. (рис. 3). Он демонстрирует смешение признаков и традиций совершенно различных культур на территории Приуралья и не является монолитным в культурном отношении. Эта керамика культурно конгломератна. Типологически многие сосуды могут быть и синхронны синташте.

Культурные влияния совершенно по-разному могли отражаться в категориях инвентаря. Если

мы говорим о распространении металла, традиций погребального обряда, это не значит, что керамические или иные традиции должны строго им соответствовать. Керамика, сопоставляемая с катакомбной, находит аналогии в полтавкинской культуре и в близких к ней памятниках погребений с «елочной» керамикой, что признается и некоторыми исследователями катакомбных древностей [Смирнов А.М., 1996; Кияшко, 2002]. Даже априорно признавая всю «мощь» воздействия катакомбной культуры, речь может идти только об отдельных признаках. Классических катакомбных форм – курильниц, воронок, ритуальных миниатюрных биконических, кувшинообразных, раструбовидных, донецких кубков на поддоне, с концентрическими кругами и завитками, кроме отдельных реповидных форм, не представленных, кстати, в синташтинских памятниках – на Южном Урале нет. Эти формы и орнаменты отражают не только чужеродные функции, но и иное эстетическое восприятие, представление о пропорциях, следовательно, они не были адаптированы в местной среде. С уверенностью можно говорить о совершенно естественном проникно-

вании некоторых катакомбных, в первую очередь, более мобильных орнаментальных традиций, которые серьезного влияния на облик синташтинских сосудов не оказали. Это вполне объяснимо, т.к. катакомбные племена в это время уже сами подвергались ассимилятивным процессам и прежде, чем достичь Южного Урала, они должны были донести свою культуру через массивы скотоводческих племен других культур (полтавкинской – волго-донской).

Керамика классических катакомбных культур едва ли может рассматриваться как первоисточник модификации. Кубковидные сосуды, ручки, ушки там имеют иное содержание, связанное как с более западными восточноевропейскими, балканскими культурами, так и опять же с куль-

турами Кавказа. В этом отношении позволю себе не согласиться с мнением коллег В.В. Ткачева и А.И. Хаванского о распространении именно катакомбной рельефной орнаментации [2006, с. 116, 117; Мочалов, 2008а, с. 178]. Ни в катакомбной, ни в синташтинской культуре классических кубков нет — все они являются «кубковидными» дериватами южных форм, причем синташтинские морфологически ближе к ним. Очень близки к южным и формы неорнаментированных миниатюрных острореберных сосудов, известные на Кавказе с позднелазикского времени, а так же в Передней Азии. Однако эта форма — абашевская, и изучение ее не входит в задачи статьи. В указанных случаях о миграциях крупных коллективов — носителей традиций — речи идти не может. Нет в нашем распоряжении и надежных антропологических доказательств. Южные импульсы, скорее, имели характер инфильтрации, подражания, проникновения отдельных индивидов или небольших групп. Причем направление влияний, при которых преобладали южные, более прогрессивные импульсы, не исключает и обратного, менее ощутимого влияния из степей на юг, которое получило развитие в позднем бронзовом веке (находки алакульской, срубной и федоровской посуды в Средней Азии). Находки керамики ямной культуры известны и в памятниках ранней бронзы Средней Азии (Заманбаба) [Кутимов, 2005]. От дальних территорий Южный Урал был отделен обширными степями со скотоводческим населением, что сыграло определенную роль в видоизменении источников заимствований, их адаптации к местным нуждам и функциям.

Что касается культур лесной и севера лесостепной зон (абашевских, фатьяновской и др.), то их влияние, отразившееся в отдельных орнаментальных сюжетах (шахматный орнамент — фатьяново-абашево — синташта) и формах (миниатюрные острореберные, колоколовидные — абашево), представляется вторичным, и обусловлено оно, в первую очередь, хронологической близостью и проникновением населения с северо-западных земель. Колоколовидная посуда едва ли может считаться эксклюзивно абашевским признаком. Обильная примесь раковины, типичная для абашевской керамики, не характерна для сосудов синташтинских памятников Зауралья. Собственно абашевских (а не с отдельными абашевскими чертами) сосудов в синташтинских памятниках не так уж много. В основном это уже видоизме-

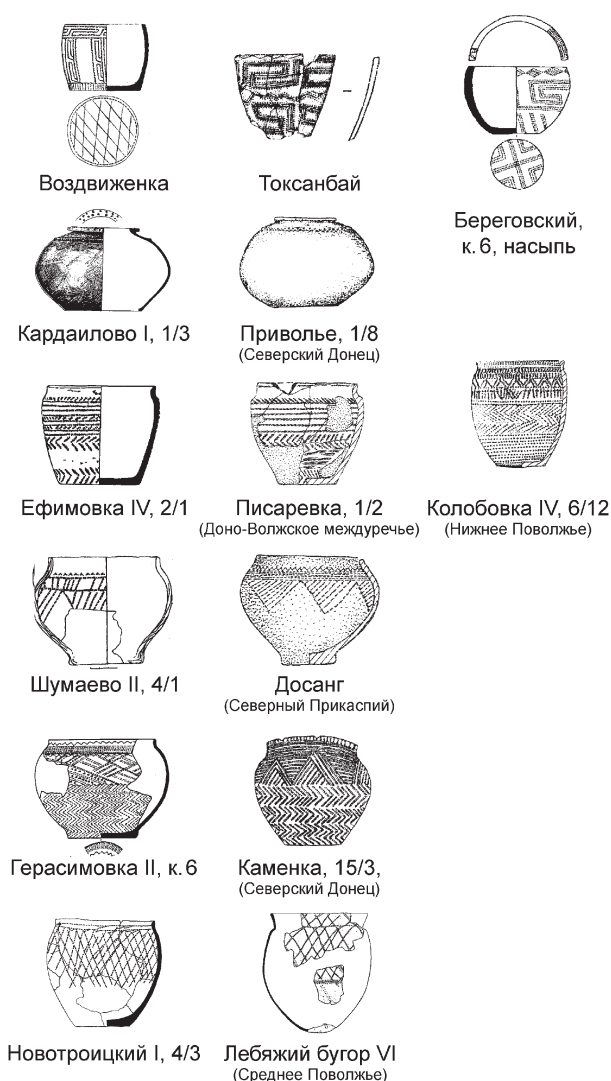


Рис. 3. Сосуды, сопоставимые с керамикой эпохи средней бронзы Приуралья (левая колонка — позднекатакомбная группа).

ненные миниатюрные острореберные сосудики (рис. 4). В единичных случаях встречается керамика с уплощенным дном. По моим наблюдениям, абашевские признаки на керамике Потаповского типа Поволжья выражены не менее ярко, чем в синташтинской. И это не удивительно, т.к. потаповские памятники географически занимают промежуточное положение между всеми культурами абашевской общности, а синташтинские граничат только с Приуральской абашевской культурой. Поздняя абашевская керамика приобретает синташтинские черты, что свидетельствует, скорее, об усиленном влиянии синташты на абашево, а не наоборот. Проявляется это в таких специфических, не свойственных для абашева признаках, как

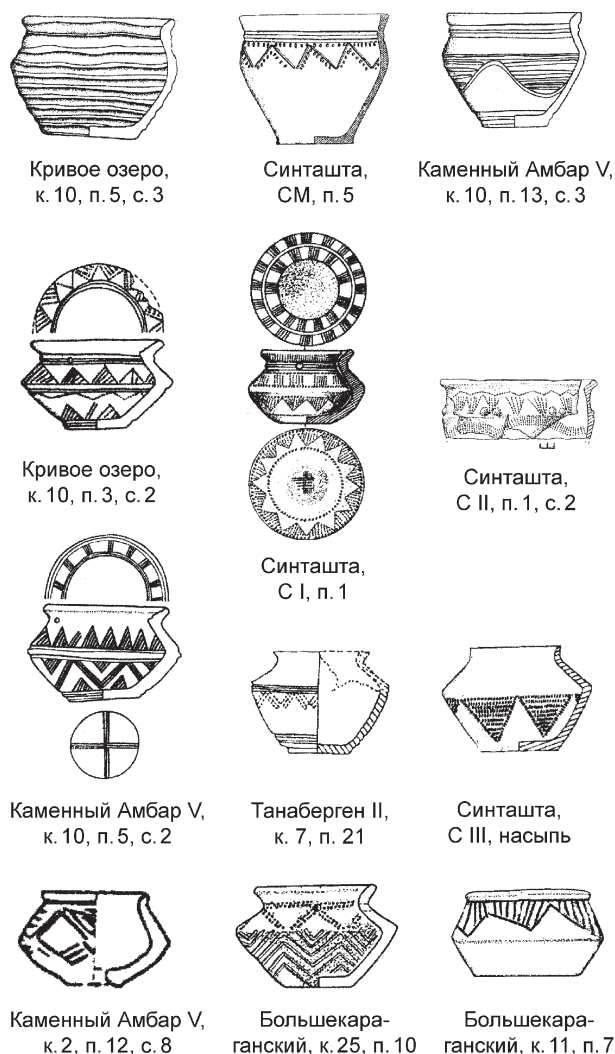


Рис. 4. Абашоидная керамика синташтинских памятников.

примесь талька (Юкалекулево, к. 4, п. 2, Ибрагимово III), сосудах, отремонтированных металлическими скобками (Никифоровское лесничество, п. 5; Красногорский III, к. 9; Нурдавлетово, к. 2) [Мочалов, 2008а, с. 94–129]. Абашевская керамика утрачивает классический облик: постепенно исчезает колоколовидность, беднеет орнаментация, формы становятся более асимметричными, реже встречается внутреннее ребро, увеличивается число сосудов с ребром в верхней трети профиля и четко выделенным дном. В лесосотепном Приуралье, на «абашевской территории», известны и типично синташтинско-потаповские сосуды (Ахмерово II; Альмухаметово I; Никифоровское лесничество, п. 8; Нурдавлетово, к. 2). Как в Приуралье, так и в Зауралье появляются комплексы

и синкретической абашевско-синташтинской посудой (Белозерка I, Баишево IV, VIII; Ибрагимово III; Нурдавлетово, Красногорский III). Все это отражает усиление синташтинского влияния на абашевскую культуру и их взаимодействия.

По орнаментации сосуды, декорированные сочетанием «елки» и геометрических фигур, находят ближайшие аналогии в Среднедонской катакомбной культуре развитого этапа (рис. 5). Этот факт в той же мере может свидетельствовать о влиянии синташты и потаповки на западные районы. Вопрос только в хронологическом приоритете, который, к сожалению, пока детально установить сложно. Близки и некоторые орнаменты из полукругов, фестонов, характерные для культур Доно-Донецкого региона. Проблема связи со Среднедонской катакомбной культурой требует дальнейшей разработки. Пока мы ограничиваемся констатацией орнаментальной близости, структуры композиций, являющихся синташтинским орнаментальным стандартом. При этом техника нанесения орнамента, стиль и формы сосудов очень различны.

Сложные геометрические и меандровые фигуры, «уточки», «пирамидки», скорее всего, имеют местные пережиточно-энеолитические корни [Мосин, 2003, с. 81–104]. Их аналоги известны на керамике Урало-Иртышского междуречья (рис. 6). Видимо, механизм их передачи близок к передаче технологических традиций. Поэтому дальние среднеазиатские, средиземноморские, балканские параллели, в основном выполненные в рисованной и прочерченной технике, в качестве источников едва ли могут рассматриваться. Доживали ли энеолитические племена до конца средней бронзы? Не известно. Некоторые, возможно, да. Но неизвестна и иная посредническая культура Южного Урала, через которую эти традиции могли бы передаваться. Абашевская? По имеющимся в настоящее время данным, абашевская керамика всем набором технологических (тальк, форма-основа) и орнаментальных («уточки», «пирамидки») признаков, характерных для энеолита, не обладает. В то же время технология абашевского гончарства, особенно погребальных памятников, остается фактически не изученной. Сосуды с энеолитоидным орнаментом известны в Синташтинском могильнике (С II, п. 1), Каменный Амбар V, к. 2, п. 17; Большекараганский, к. 25, п. 17; и в Приуралье в могильнике Танаберген II, к. 7. Известны и единичные случаи

нахождения круглодонных форм (Большекараганский, к. 25, п. 4; Кривое озеро, к. 10, п. 5).

Необходимо отметить, что проведенные статистический и содержательный анализ синташтинской и потаповской керамики показали, что керамические комплексы различных могильников культурно не монолитны и часто неоднородны [Кузнецов, Мочалов, 2001, с. 266–273]. Это подтверждается тем, что степень близости керамики отдельных памятников синташты и потаповки между собой бывает выше, чем степень близости внутри этих групп. Существенны отличия и керамики Приуралья и Зауралья. Каждый памятник отражает особенности своего происхождения, возможно, особую хронологическую позицию, а следовательно, керамика может демонстрировать различную степень влияния других культур. Общие черты комплексов, видимо, выработались в результате процессов культуругенеза. Синташтинские и потаповские памятники существовали одновременно.

Таким образом, синташтинский керамический комплекс формировался в результате процессов сложного взаимодействия населения. Судя по разнообразию типов, некоторые традиции уже могли быть привнесены в смешанном состоянии. Традиции состава примесей и формообразования в целом могли складываться на местной основе, не выходящей за пределы сопредельных с Южным Уралом территорий. Но, к сожалению, окончательные выводы в отношении технологии делать преждевременно, поскольку керамика не всех культур, сравниваемых с синташтой, и не вся синташтинская керамика изучена технологически. Местными являются и некоторые орнаментальные традиции. Однако формы сосудов, многие орнаментальные мотивы и сам принцип построения декора с местным населением, видимо, не связаны. Значительное влияние на формы сосудов и часть орнаментов оказали связи

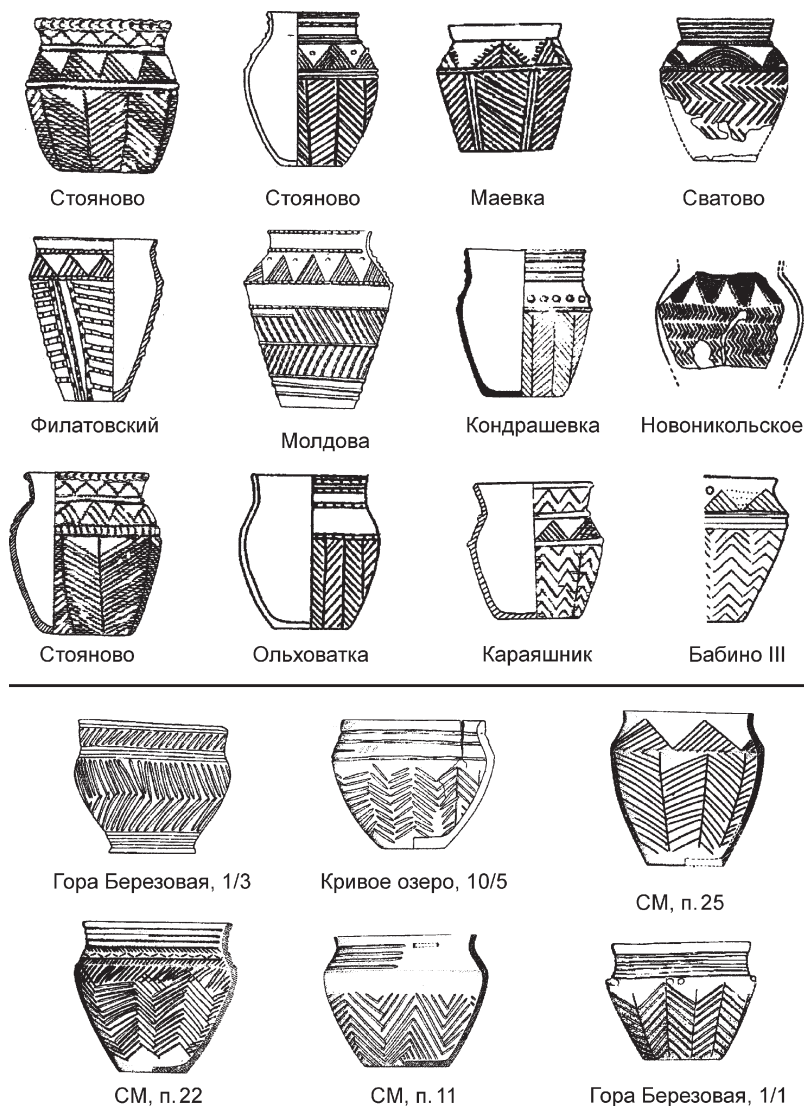


Рис. 5. Орнаментальные параллели для керамики среднедонской катакомбной культуры.

с Кавказом и Средней Азией на юге, которые, возможно, и были катализатором изменений. Важное значение имело проникновение на восток, до Зауралья, населения степей Доно-Уральского региона, в первую очередь, относящееся к памятникам полтавкинской и волго-донской культур, предкавказских культур и близким к ним типам, во вторую очередь катакомбное, которое также испытало влияние Волго-Уралья. Соседство с абашевским населением привело к заимствованию ряда черт лесных культур, однако, в итоге, значительным стало и влияние синташты на южно-уральское абашево. Общая тенденция не исключала особых вариантов формирования некоторых

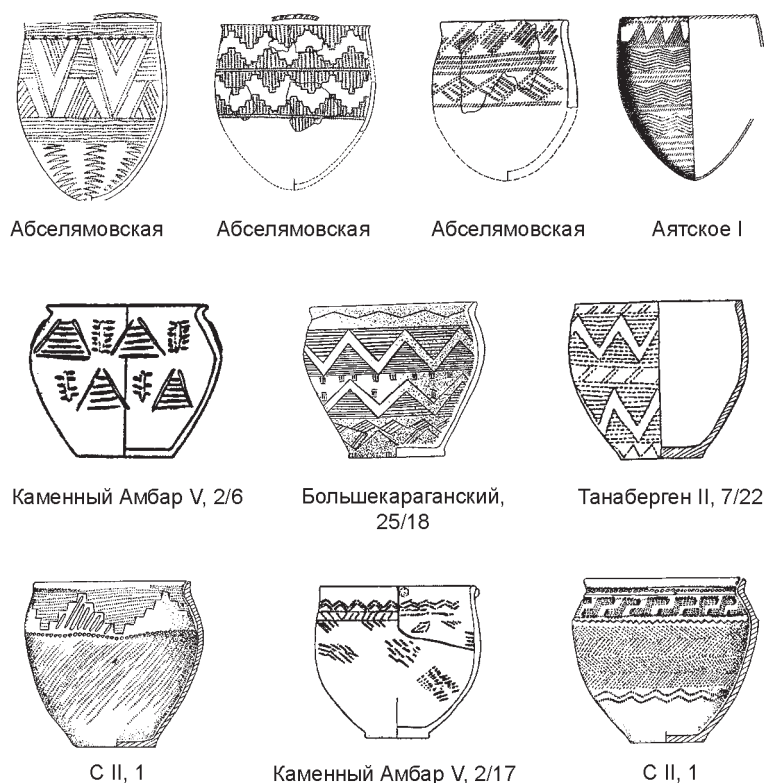


Рис. 6. Орнаментальные параллели для керамики позднего энеолита.

синташтинских комплексов и типов сосудов. Внешнее сходство с керамикой восточноевропейских культур не всегда могло быть обусловлено только этнической близостью, но и одинаковыми функциями сосудов, используемых в обществах с идентичными или очень близкими хозяйственно-культурными типами.

Представляется, что данные процессы характерны и для потаповских керамических комплексов, которые были исторически тесно связаны с Южным Уралом, отражая постоянный процесс взаимодействия родственного населения. Однако в их сложении южные связи фиксируются слабее, чем в синташте, а Доно-Волго-Уральские компоненты представлены более четко.

Значительные результаты, полученные при изучении происхождения керамических комплексов синташтинских памятников, нуждаются в уточнениях, конкретизации и в будущем могут корректироваться. Разнообразная и яркая керамика, невзирая на достаточно высокий уровень ее стандартизации в крупных памятниках, отражает сложность культурогенетических процессов на рубеже средней – поздней бронзы. Огромный спектр

признаков, сопоставимый с другими культурами, в известной мере подтверждает раннее выдвинутое положение о сомнительной перспективности выделения стабильных археологических культур в период активного культурогенеза [Кузнецов, Мочалов, 2001, с. 271–273]. Пик взаимодействия племен на рубеже эпох предполагает быструю трансформацию признаков, их пространственных границ и смешение традиций, по-разному отражаемое на уровне различных памятников. Поэтому вполне закономерен столь широкий диапазон сопоставлений и объяснима некая нечеткость, осторожность в определении истоков синташты, например, из «степных субстратов», «катакомбных культур» (каких конкретно?), с Кавказа...

Очевидно, что в ближайшей перспективе внимание должно быть сконцентрировано на следующих аспектах.

1. Технологическое изучение и сопоставление. Едва ли в ближайшее время возможно достичь серьезного результата из-за ограниченного контингента специалистов и трудоемкости метода. Изучение форм и декора значительно опережает анализ технологии. Представляется, что на современном этапе целесообразно, по меньшей мере, изучение технологии керамики этапов культур Волго-Уралья, непосредственно предшествующих синташте и синхронных с ней, особенно абашевской, детально изученной только по формам и декору. При определении этих этапов культур исследователи нередко сталкиваются с дискуссионностью хронологической позиции комплексов.

2. Хронологический аспект проблемы. Нельзя сказать, что получение серий дат во всех случаях решает вопрос корректности сопоставлений. В основном даты имеют широкий диапазон и в той или иной мере могут подтвердить наши представления о последовательности существования культур и их этапов. Детальной, в прямом смысле абсолютной, хронологии, как и единой шкалы калибровки, не существует, не говоря об отличии дат полученных по разным материалам. Тем не менее, это является важным инструментом исследования совместно с традиционными археологическими методами. Ведь не существует

и абсолютно одинаковых типологий и периодизаций, даже применительно к одному и тому же материалу. В настоящее время особенно актуально датирование погребений Приуральской абашевской культуры, памятников позднекатакомбной группы Приуралья (по В.В. Ткачеву) и поздних энеолитических памятников Урало-Иртышья.

3. Не менее важен другой дискуссионный аспект, касающийся территории ранних синташтинских памятников. Типологически, по мнению В.В. Ткачева и А.И. Хаванского, изложенному в вышеупомянутой работе, ранние памятники синташты локализуются именно в Приуралье. По моему мнению, это требует привлечения дополнительных аргументов, поскольку типологически ранняя керамика известна не только в Приуралье, но и в Зауралье и в Поволжье [Мочалов, 2008а, с. 129–176; 2008б, с. 178–179]. Абсолютная хронология не дает однозначного ответа о приоритете той или иной территории. Позднекатакомбная приуральская группа погребений, выделяемая В.В. Ткачевым как одна из основ синташты, не столь многочисленна, как, например, полтавкинская культура средней бронзы Заволжья. Не ясна и ее хронологическая позиция, дискуссионна культурная однородность. В настоящее время надежных оснований для локализации ранних памятников строго на определенной территории недостаточно.

4. Анализ форм и орнамента сопоставляемых керамических комплексов на основе единых методов, в том числе использования специальных апробированных методик, например, структурного анализа декора и статистической близости комплексов. Это позволит получить наиболее объективные результаты.

Список литературы

- Виноградов Н.Б.** Южные мотивы в керамических комплексах эпохи бронзы в Южном Зауралье // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита – бронзы Средней и Восточной Европы: мат-лы конф. / под ред. Н.К. Качаловой, В.С. Бочкарева, Н.М. Малова. – Саратов, 1995. – С. 71–74.
- Виноградов Н.Б.** Парадоксы Синташты // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология, периодизация: мат-лы Междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы», 23–28 апр. 2001 г. / под ред. Ю.И. Колева, П.Ф. Кузнецова. – Самара, 2001. – С. 189–193.
- Виноградов Н.Б., Мухина М.А.** Новые данные о технологии гончарства у населения алакульской культуры Южного Зауралья и Северного Казахстана // Древности среднего Поволжья / под ред. П.С. Кабытова, Г.И. Матвеевой. – Куйбышев, 1985. – С. 82–83.
- Виноградова Н.М.** Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. – Москва, 2004.
- Григорьев С.А.** Древние индоевропейцы: опыт исторической реконструкции. – Челябинск, 1999.
- Гутков А.И.** Технология изготовления керамики памятников синташтинского типа // Россия и восток: проблемы взаимодействия. – Челябинск, 1995. – Кн. 2: Естественные науки и археологическое моделирование / под ред. Г.Б. Здановича, Н.О. Ивановой, А.Д. Таирова. – С. 132–135.
- Гутков А.И.** О традиции ремонта глиняной посуды // Археологический источник и моделирование древних технологий / под ред. Г.Б. Здановича и С.Я. Зданович. – Челябинск, 2000. – С. 170–187.
- Зданович Г.Б.** Аркаим – культурный комплекс эпохи средней бронзы Южного Зауралья // РА. – 1997. – № 2.
- Епимахов А.В.** Об абашевском «наследии» в культурах поздней бронзы Урала // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: мат-лы Междунар. науч. конф. / под ред. В.С. Бочкарева, О.В. Кузьминой, С.Н. Кореневского, П.Ф. Кузнецова. – Чебоксары, 2003. – С. 133–136.
- Епимахов А.В.** Бронзовый век Южного Урала (экономические и социальные аспекты): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Екатеринбург, 2010.
- Княшко А.В.** Культурогенез на востоке катакомбного мира. – Волгоград, 2002. – 143 с.
- Кузнецов П.Ф.** Территориальные особенности и временные рамки переходного периода к эпохе поздней бронзы Восточной Европы // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: мат-лы Междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы» / под ред. Ю.И. Колева, П.Ф. Кузнецова. – Самара, 2001. – С. 178–183.
- Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д.** Вопрос о культурном единстве потаповских и синташтинских керамических комплексов // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: мат-лы Междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы» / под ред. Ю.И. Колева, П.Ф. Кузнецова. – Самара, 2001. – С. 266–273.
- Кузнецов П.Ф., Семенова А.П.** Памятники потаповского типа // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2000. – Спец. вып.: История самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Бронзовый век / под ред. Ю.И. Колева, А.Е. Мамонова, М.А. Турецкого.
- Кузьмина Е.Е.** Арии – путь на юг. – М., 2008.
- Кузьмина О.В.** Керамика абашевской культуры // Вопросы археологии Поволжья. – Самара, 1999. – С. 154–206.
- Кутимов Ю.Г.** Степные элементы в погребальном обряде могильника Заманбаба: (к вопросу о происхождении и хронологии заманбабинской культуры эпохи бронзы Средней Азии) // Археол. вест. – 2005. – № 12. – С. 188–209.

Литвиненко Р.А. Культурные области Бабино и Синташты: к проблеме хронологического соотношения // Урало-Поволжская лесостепь в эпоху бронзового века: сб. ст., посвящ. 60-летию В.С. Горбунова / под ред. Г.Т. Обыденной. – Уфа, 2006. – С. 92–104.

Логвин В.Н. К проблеме становления синташтинско-петровских древностей // Россия и восток: проблемы взаимодействия. – Челябинск, 1995. – Кн. 1: Культуры энеолита – бронзы степной Евразии / под ред. Г.Б. Здановича, Н.О. Ивановой, А.Д. Таирова. – С. 88–96.

Малютина Т.С., Зданович Г.Б. Керамика Аркаима: опыт типологии // РА. – 2004. – № 4.

Малютина Т.С., Зданович Г.Б. Керамика Аркаима: сравнительный анализ // РА. – 2005. – № 2. – С. 20–30.

Матвеев Ю.П. Доно-волжская абашевская культура и сложение срубной общности // Абашевская культурно-историческая общность в системе древностей эпохи бронзы степи и лесостепи Евразии: тез. докл. Междунар. науч. конф. / под ред. А.Д. Пряхина. – Тамбов, 1996. – С. 9–11.

Мосин В.С. Энеолитическая керамика Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск, 2003. – 106 с.

Мочалов О.Д. О происхождении некоторых особенностей керамики эпохи средней бронзы Волго-Уралья и Зауралья (к постановке проблемы) // Историко-археологические изыскания: сб. тр. молодых ученых. – Самара, 1996. – Вып. 1. – С. 54–76.

Мочалов О.Д. Ранние кубковидные сосуды эпохи бронзы в Поволжье и на Урале // РА. – 2004. – № 2. – С. 123–135.

Мочалов О.Д. Дальние связи Южного Урала в эпоху бронзы: керамический аспект проблемы // Формирование и взаимодействие Уральских народов в изменяющейся этнокультурной среде Евразии: проблемы изучения и историография: мат-лы конф. / под ред. В.С. Горбунова, В.А. Иванова, Г.Т. Обыденной и др. – Уфа, 2007. – С. 162–170.

Мочалов О.Д. Керамика погребальных памятников эпохи бронзы лесостепи Волго-Уральского междуречья. – Самара, 2008а.

Мочалов О.Д. [Рецензия] // РА. – 2008б. – № 2. – Рец. на кн.: Ткачев В.В., Хаванский А.И. Керамика Синташтинской культуры. – Орск; Самара, 2006.

Отрощенко В.В. О культурно-хронологических группах погребений потаповского могильника // РА. – 1998. – № 1.

Пряхин А.Д. Доно-Волжско-Уральская лесостепь на стыке средней и поздней бронзы // Россия и Восток: проблемы взаимодействия: (мат-лы Междунар. науч. конф. / под ред. Г.Б. Здановича, Н.О. Ивановой, А.Д. Таирова). –

Челябинск, 1995. – Кн. 1: Культуры энеолита – бронзы степной Евразии. – С. 154–157.

Пятых Г.Г. К проблеме происхождения и культурной принадлежности памятников потаповского типа // Памятники археологии и древнего искусства Евразии: памяти В.В. Волкова / под ред. А.Н. Гея. – М., 2004. – С. 297–303.

Рысин М.Б. Связи Кавказа с Волго-Уральским регионом в эпоху бронзы // Археол. вестн. – 2007. – № 14. – С. 211–212.

Салугина Н.П. Технологическое исследование керамики потаповского могильника // Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге / под ред. Н.Я. Мерперта. – Самара, 1994. – С. 173–186.

Салугина Н.П. Технологический анализ керамики из памятников раннего бронзового века Южного Приуралья // Археологические памятники Оренбуржья / под ред. Н.Л. Моргуновой. – Оренбург, 1999.

Смирнов А.М. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. – М., 1996.

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий – М., 1977.

Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. – Актюбе, 2007.

Ткачев В.В., Хаванский А.И. Керамика синташтинской культуры. – Орск; Самара, 2006.

Чернай И.Л. Текстильное дело и керамика по материалам из памятников энеолита – бронзы Южного Зауралья и Северного Казахстана // Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья / под ред. В.Ф. Зайберга, С.Я. Здановича. – Челябинск, 1985. – С. 93–110.

Щетенко А.Я. Хронологический аспект контактов земледельцев Южного Туркменистана с племенами степной бронзы Евразийских степей // Российская археология: достижения XX и перспективы XXI вв.: мат-лы конф. / под ред. Р.Д. Голдиной, И.Г. Шапран. – Ижевск, 2000. – С. 262–263.

Хаванский А.И. Относительная хронология орнаментации керамики синташтинских могильников // РА. – 2010. – № 3. – С. 22–36.

Anthony D. The horse the wheel and language. How Bronze-age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world. – Princeton: Princeton Univ. Press, 2007.

Holmes W.H. Origin and development of form and ornamentation in ceramic art. – N.Y., 1903.

НЕОБЫЧНОЕ ПАРНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ ИЗ ПОКРОВСКОГО КУРГАНА № 35 НАЧАЛА ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ: ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК П.С. РЫКОВА

В 1927 г. профессор Саратовского университета П.С. Рыков продолжил вести раскопки на левом берегу Волги в юго-восточной курганный группе близ г. Покровска (современный г. Энгельс, Саратовской обл.). В то время эта территория входила в состав Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья. Профессор исследовал тогда девять курганов: № 29–37. В кургане № 35 обнаружены две могилы.

Впускное детское погребение № 1 – сарматское, хотя обнаруженный в нем браслет с острыми концами иногда относят к срубной культуре [Рыков, 1929, с. 11–12; Кривцова-Гракова, 1955, рис. 15–18; Малов, 1992а, с. 27]. По обряду и инвентарю выделялось основное погребение № 2. Данные об этом парном разнополом захоронении покровского культурного типа ранней поры эпохи поздней бронзы не были своевременно опубликованы [Халиков, 1989, с. 70; Малов, 1989, с. 82–101; 1992а]. Тем не менее, оно до сих пор привлекает особое внимание специалистов и имеет обширную историографию.

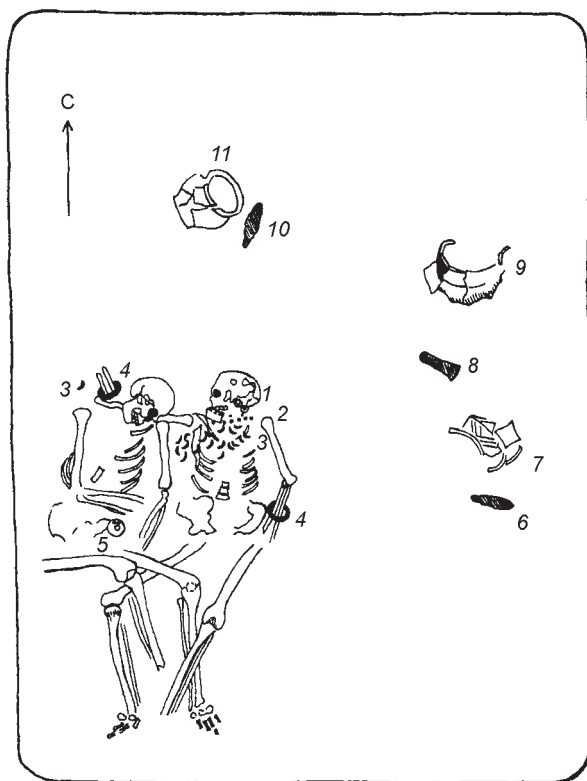
В начале 1990-х гг. краткая информация о нем была представлена в САИ по срубной культуре Волго-Уральского междуречья и стала доступной для широкого круга специалистов [Памятники..., 1993, с. 34–35, 146; табл. , № 175; табл. 6, 11–21]. Тем не менее, в данное издание по техническим причинам не вошла вся архивная и музейная информация об этом покровском комплексе. Чтобы восполнить образовавшийся пробел, в данной заметке публикуется текстовая часть отчета П.С. Ры-

кова [1927, с. 221, 222] и другие архивные материалы, характеризуется инвентарь захоронения № 2, хранящийся в фондах археологии Саратовского областного музея краеведения (инв. № 922).

Отчет об основном погребении № 2 содержит 4 черно-белых фото без порядковых номеров. Они расположены на одном листе таблицы № XIV [Там же, с. 288]. Самое крупное фото с общим видом могильной ямы, костяков и вещей выполнено с южного края. На остальных трех фото меньшего размера представлен весь инвентарь, кроме керамики. Есть фото, на котором видны низка из мелких одночастных белых (пастовых) и серых (сурьмяных) бус овально-цилиндрической формы, два бронзовых браслета и три желобчатые височные подвески округлой формы. Присутствует также отдельное фото с двумя металлическими ножами и теслом. На специальном фото костяные предметы: пряжка, фрагмент крупного кабаньего клыка, ожерелье из клыков животных с просверленными отверстиями.

План данного погребения, рисунки вещей и фотографии сосудов в отчете отсутствуют. В моем архиве есть оригинал рисунка погребения № 2 с указанием места расположения вещей (рис. 1), а также фото могилы и фрагментарно сохранившегося сейчас сосуда (рис. 2, 5, 6). В публикуемый полностью машинописный текст отчета, включая рукописные правки П.С. Рыкова, мной вставлены только ссылки на рисунки и фото. Хотя в тексте отчета нет ссылок на номера рисунков, приложенных к нему.

«КУРГАН № 35. Диаметр – 14 м. Высота – 0,40 м. Колодезь – 4 × 4 м.



- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 – бронзовые серьги | 7 – глиняный горшок с узором |
| 2 – бусы | |
| 3 – ожерелье из клыков хищника | 8 – бронзовый плоский топор |
| 4 – бронзовые браслеты | 9 – глиняный горшок |
| 5 – костяная круглая пластинка | 10 – бронзовый нож |
| 6 – бронзовый ножик | 11 – глиняный горшок |

Рис. 1. Покровский курган № 35.
План погребения № 2 (по: [Рыков, 1927]).

Во многих местах насыпи обнаружены на разной высоте мелкие обломки коровьих и овечьих костей.

На линии древней поверхности открыта могильная яма, на краю которой найдены в Ю.-З. углу ножные кости коня, а на глубине 1 м в яме – впускное детское погребение, помещавшееся у западной стенки ямы основной могилы.

Погребение 1, впускное

Костяк ребенка лежал на спине с вытянутыми руками и слегка согнутыми в коленях ногами, упавшими в сторону. Ориентирован костяк головой к С. Слева около черепа стоял небольшой глиняный сосуд в виде банки с отогнутым венчиком. Сосуд этот сходен с такими же из курганов,

закрывающих сожжения поздней сарматской эпохи. На локте правой руки оказался бронзовый проволоочный браслет.

Погребение 2, основное

В могильной яме длиной 3,60 м, шириной 2,25 м, и глубиной – 1,85 м, ориентированной длинными сторонами по линии С.-Ю. и прикрытой дубовыми плахами, частью колотыми и рубленными, а частью по-видимому, пиленными (?), обнаружено коллективное погребение. В юго-зап. краю ямы лежало два костяка, один – ближе к зап. стенке – мужской и другой, слева от него, женский. Оба ориентированы головами к С. и имели рост: первый до 1,80 м и второй – 1,55 м. Мужчина лежал на левом боку, отвалившись немного на спину и покоясь головой на правой руке женщины. Его правая рука была согнута в локте под прямым углом, кистью находясь на локте левой руки, а эта последняя согнута едва заметно и направлена кистью к бедру. Ноги покойника согнуты в бедрах и коленях почти под прямыми углами, причем они лежат на правой бедренной кости женщины коленными суставами, а между ее ног – берцовыми костями и ступнями – под ее берцовыми. На месте пояса у мужчины лежала плоская тонкая круглая бляха с отверстиями для прикрепления и продевания ремня (см. рис. 1, 5; 3, 5).

Женщина лежала на спине, слегка только повернувшись на правый бок и обернув лицо к мужчине. Правая рука ее вытянута в сторону так, что на ней покоится его голова, т.е. плечевая, локтевая и лучевая кости вытянуты перпендикулярно туловищу женщины.

Левая рука слегка согнута в локте, кистью лежит вдоль бедра. Правая нога согнута под тупым углом в колене и лежит, как было сказано, под ногами мужчины, а левая нога вытянута прямо, прикрывая ступни мужчины. На кистях рук женщины имеется по одному бронзовому браслету (рис. 1, 4; 3, 1, 2), на шее – мелкие пастовые белые бусинки (рис. 1, 2; 3, 6–8) и на груди слева, от подбородка переходя к правому плечу, ожерелье из 28 сверленных зубов хищника, вроде волка (рис. 1, 3; 3, 13). Кстати, за черепом мужчины лежал такой же зуб, вероятно, случайно (рис. 1, 3). Череп женщины с левой стороны у виска носит следы надразов, образующих четырехугольник. Возможно, что это признак трепанации или же просто место удара с целью причинения смерти, что вернее.

Близ С.-З. угла могилы стоит широкий вазообразный сосуд, часть которого оказалась связан-

ной бронзовой полоской – обычный способ починки (рис. 1, 11; 2, 3, 4). Здесь же лежал бронзовый нож (рис. 1, 10; 3, 11). Около восточной стенки стоял острореберный крупный орнаментированный сосуд (рис. 1, 9; 2, 5–7) и еще ближе к стенке помещался камень-голыш (см. рис. 3, 3) и рядом с ним обломок (рис. 3, 12) клыка кабана (?). Далее, вдоль восточной стенки ямы, следовательно, южнее, находился еще один острореберный сосуд (см. рис. 1, 7; 2, 1, 2), рядом с которым оказался второй бронзовый нож (рис. 1, 6; 3, 10). Между описанными сосудами лежал ребром плоский небольшой бронзовый кельт, обращенный лезвием к С.-З. (рис. 1, 8; 3, 4). Около последнего сосуда, ближайшего к покойнице, лежала кучка свиных бабок. Покойники лежали на подстилке из стеблей» [Рыков, 1927].

Все вещи из кургана № 35, в том числе и из погребения № 2, поступили на хранение в фонды археологии Саратовского областного музея краеведения, директором которого был П.С. Рыков.

Керамика представлена тремя лепными сосудами. Все они плоскодонные, с визуально заметной примесью толченых раковин в тесте, при раскопках обнаружены не целыми, а в обломках.

Наиболее крупный «вазообразный сосуд» с бронзовой скрепкой лежал между северной стенкой и черепами погребенных (рис. 1, 11; 2, 3, 4). Внешняя и внутренняя его поверхности, а также излом черепка серого цвета, обжиг слабый. Общая высота 19 см., диаметры: по венчику – 22 см, по днищу – 10 см. На сегодняшний день на сосуде нет бронзовой скрепки, вероятно утрачена. По форме он округлобокий, со слабыми и редкими, горизонтальными или косыми полосами от заглаживания внешней поверхности. Венчик очень короткий, едва отогнут. Диаметр по венчику чуть превышает диаметр по слабо выраженной шейке. С внутренней стороны на венчике имеется косой, местами сглаженный уступ. Плечики высокие, максимальное расширение тулова превышает диаметр по венчику и общую высоту сосуда.

В покровской культуре Нижнего Поволжья такие немногочисленные сосуды, образующие подгруппу V со следами починки и бронзовыми скрепками («Калмыцкая Гора» к. 1 п. 24), происходят из экстраординарных и социально значимых погребений [Малов, 2003, с. 164]. Иногда они встречаются и на бытовых покровских памятниках нижеволжского правобережья. Например, есть они на селище Вишневое, самого конца

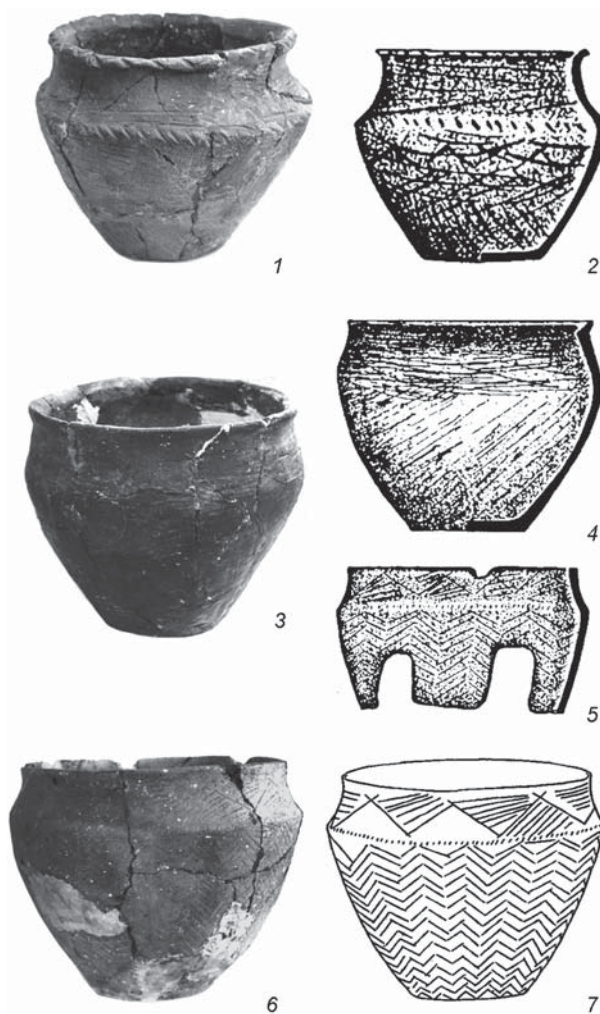


Рис. 2. Покровский курган № 35.

Погребение № 2. Керамика.

6 – по: [Рыков, 1927]; 7 – по: [Кривцова-Гракова, 1955].

первой фазы позднего бронзового века Нижнего Поволжья (ПБВ 1). Данная фаза предварительно датируется в калиброванном значении XX–XVIII вв. до н.э. [Малов, 2001, с. 199–201; 2007, с. 46, 47, 60, 61, 66, 67, рис. 3, 1, 2].

О таких венчиках из Покровских курганов П.Д. Либеров заметил: «...плоскость его по форме похожа на ступню, развернутую вверх» [Либеров, 1978, с. 106]. Они характерны для абашовидных групп погребальной и бытовой керамики покровской археологической культуры лесостепи и степи Восточной Европы. В синхронном блоке памятников Волго-Уральского очага культурогенеза первой фазы позднего бронзового века распространена традиция ремонта сосудов, в том числе и металлическими скрепками. Особенно

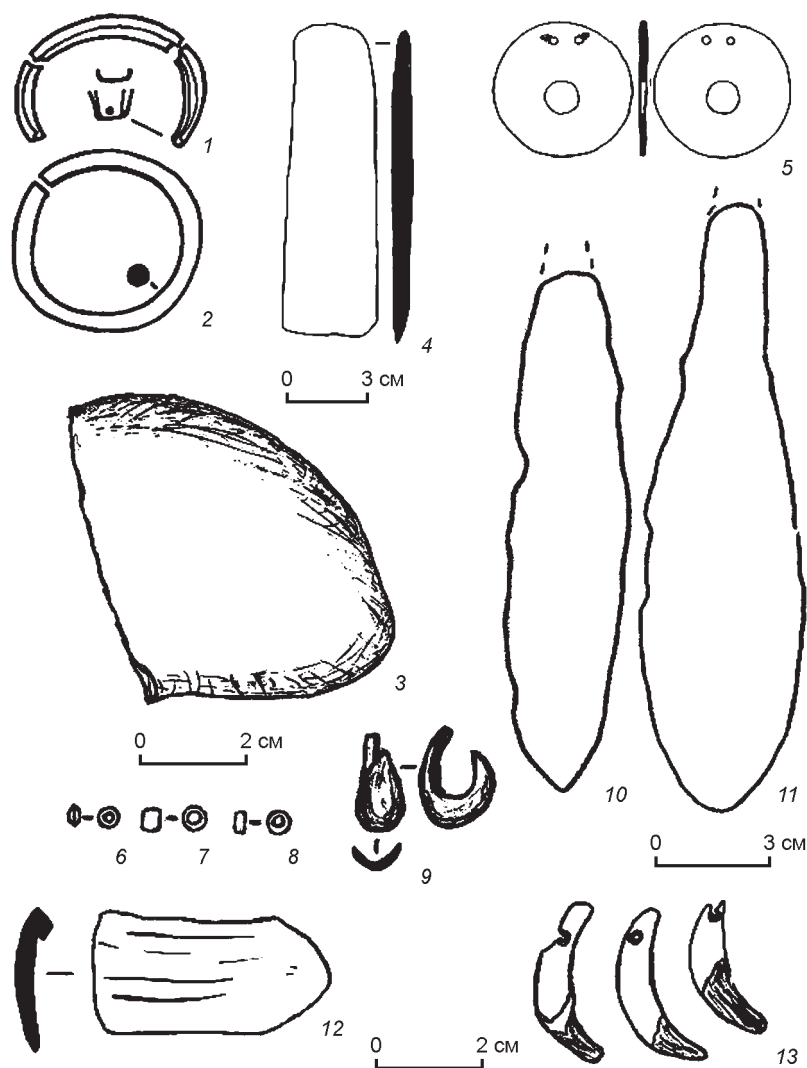


Рис. 3. Покровский курган № 35. Погребение № 2.
1, 2, 4, 9–11 – бронза; 3 – камень; 5, 12, 13 – кость;
6–8 – паста, сурьма.

ярко она представлена в синташтинских, потаповских и петровских древностях [Гутков, 2000, с. 170–187].

От «острореберного крупного орнаментированного сосуда», стоявшего около восточной стенки, на данный момент имеются крупные фрагменты (рис. 1, 9; 2, 5) и фотография (рис. 2, 6). Некоторые черепки от него, по недоразумению, временно хранились в другой коллекции среди керамики Покровского селища. Его излом серого цвета, внешняя и внутренняя поверхность гладкая, светло-коричневая. Толщина стенок 0,8–1,0 см, внутренний диаметр по венчику около 22 см. Венчик прямой, плечики хорошо выражены. Расстояние от прямого среза венчика до острого ребра 4,5 см.

Наибольший диаметр приходится на ребро, где прочерчен ряд коротких косых линий линзовидной формы. Внешняя поверхность полностью орнаментирована по плечикам, ребру и тулову слабыми отисками штампа с длинными и гладкими продольными зубцами, в виде «заштрихованных треугольников» и «елочного» сюжетов.

В свое время именно по специфическому орнаменту (рис. 2, 7) О.А. Кривцова-Гракова совершенно верно отнесла его к поволжской посуде андроновского типа [Кривцова-Гракова, 1955, с. 52, рис. 11, 3]. В последующих исследованиях этот сосуд и другие материалы данного погребения использовали в качестве одного из аргументов при сопоставлении форм и орнамента памятников новокумакского и покровского типов, указывающих на их синхронность [Смирнов, Кузьмина, 1977, с. 30–31, рис. 9, 12] и культурную близость [Потемкина, 1984, с. 83]. Данный сосуд в Нижнем Поволжье инокультурен, такой тип штампа мне более не известен на керамике эпохи поздней бронзы. Эта находка позволяет полагать, что между синташтинской и покровской культурами существовали непосредственные связи и

контакты. Судя по одновременному присутствию синташтинской и покровской керамики на других памятниках, данный процесс был взаимным и охватывал достаточно широкую территорию Волго-Уральского очага культурогенеза.

Другой острореберный сероглиняный сосуд меньшего размера (рис. 2, 1, 2) также располагался около восточной стенки (см. рис. 1, 7). Диаметр по венчику 15 см, по дну – 8 см, высота 15,5 см. По венчику и ребру он орнаментирован рядом из косых линий. На внешней поверхности имеются косые и горизонтальные борозды от заглаживания по сырой глине, образующие под ребром зигзаг. Венчик отогнут наружу, срез закруглен. Среди покровской керамики Нижнего

Поволжья сосуд индивидуален. Однако он близок по форме и обработке внешней поверхности к одному из сосудов погребения 1 покровского культурного типа кургана 1 Селезни-2, который воронежские исследователи определили как доно-волжский абашевский [Пряхин и др., 1998, с. 10, рис. 4, 3]. Вместе с тем, по морфологическим признакам, эти покровские сосуды индивидуальной формы сходны не с абашевской, а с некоторой синташтинской и потаповской осторереберной керамикой [Ткачев, Хаванский, 2006, с. 145, рис. 41, 4, 8, 11].

Сосуды из захоронения-кенотафа № 3 Селезни-2 также разнокультурные. Один из них не типичен для абашевских памятников [Пряхин и др., 1998, с. 16–18, рис. 9, 10]. По моему мнению, он близок по форме и технологии к сосуду из покровско-срубного погребения 6 Чардымского кургана 1 [Малов, 1998, с. 62, рис. 2, 17]. Достаточно показательно и то, что в этом же Чардымском кургане встречен осторереберный сосудик абашевского типа [Сальников, 1967, с. 84–85, рис. 13, 28]. По комплексу инвентаря и обрядовым показателям поздние покровские погребения из Чардымского курган № 1, повторно раскопанного В.Г. Мироновым, синхронны раннесрубным и петровским [Малов, 2007, с. 46].

В совокупности керамика из рассматриваемого основного погребения № 2 также разнокультурная. Аналоги посуде из данного захоронения можно привести в новокумакских, абашевских и петровских древностях [Потемкина, 1983, с. 22, рис. 3, 1]. Сочетание компонентов разных культур отмечается исследователями в керамике начальной стадии Волго-Уральского очага культурогенеза эпохи поздней бронзы, в которую включают и погребение № 2. По мнению археологов, это отражает «культурный космополитизм» «главных творцов» данного очага [Бочкарев, 2010, с. 53], или «возвратную миграционную волну» его носителей на запад, вплоть до Доно-Донецкой степи и лесостепи [Синюк, Козмирчук, 1995, с. 64–67]. Вместе с тем следует учитывать, что в покровских погребениях северных регионов Нижнего Поволжья есть высокие «колоколовидные» горшки трехчастного профиля с высоким венчиком, внутренним уступом и узким горлом, близкие по форме к керамике бабинской культуры [Малов, 1992а, б, с. 10]. В целом же можно полагать, что сочетание разнокультурных компонентов в керамике характерно при смене блоков культур или на

стыке всех трех периодов (этапов) позднего бронзового века Волго-Уральского очага культурогенеза, а не только для начальной его поры.

Медные предметы представлены оружием (ножи), орудием труда (тесло) и украшениями (два браслета и височные подвески). Этот набор позволяет считать данный комплекс экстраординарным даже по количеству и номенклатуре металлических изделий.

Самый крупный двулезвийный нож лежал около «вазообразного сосуда» (рис. 1, 10; 3, 11). На одной стороне пера имеется слабое ребро. Изготовлен из меди группы ЕУ и отнесен Е.Е. Черных к типу черенковых – с перекрестием, аналоги которым есть в сейминско-турбинских древностях, абашевской и петровской культурах [Черных, 1970, с. 63–67, рис. 58, 15, 128, табл. 1, № 1698; Черных, Кузьминых, 1989, с. 101–102, рис. 58, 8–10]. В этой связи следует отметить, что сохранившаяся к настоящему времени прямая или слегка закругленная пятка черенка не соответствует первоначальной ее форме. Она изменилась в результате последующих разрушений. Судя по отчетному фото и рисунку, опубликованному О.А. Кривцовой-Граковой, пятка ножа была ромбической или подтреугольной [1955, с. рис. 12, 9]. Что касается меди группы ЕУ, то она существенно представлена в покровской культуре [Малов, 2007, с. 43].

Второй двулезвийный нож меньшего размера (рис. 3, 10) по составу меди (группа ТК?) может быть импортным «баланбашским» изделием, имеющем параллели среди некоторых ножей из Турбино-I, Ростовки, Коршуново и Решного [Черных, 1970, с. 81; Черных, Кузьминых, 1989, с. 91–101]. На данный момент Е.Н. Черных реконструирует новую и обширную «абашевско-синташтинскую археологическую общность» ранней фазы ЕАМП, в которой представлена медь группы ТК [Черных, 2007, с. 75–86].

Бронзовое тесло, лежавшее на дне могилы ребром (см. рис. 3, 4), вероятно, представляло собой орудие типа кирки или мотыги с деревянной рукоятью, а также могло использоваться в качестве топора [Круглов, Подгаецкий, 1935, с. 73–77; Кривцова-Гракова, 1955, рис. 13, 2]. Оно изготовлено из меди группы ТК (?) и, по мнению Е.Н. Черных, вместе с уже рассмотренным ножом могли являться «ниточкой, связывающей баланбашскую культуру с ранними погребениями срубной культуры» [Черных, 1970, с. 95].

Височные пластинчатые женские подвески, сохранившиеся к настоящему времени в мелких фрагментах, имели округлую в плане форму и широкие лопасти с приостренными концами (рис. 3, 9). В Нижнем Поволжье такие подвески характерны для покровской, а не для срубной культуры [Малов, 1992а, с. 33–34, разряд V-11, рис. 3, 9, 10].

Два женских браслета входят в разные типологические разряды, бытующие одновременно [Кривцова-Гракова, 1955, рис. 15, 6, 12]. Массивный прутковый браслет из круглого в сечении дрота с тупыми сомкнутыми концами (см. рис. 3, 2), относится к разряду, характерному для покровской культуры [Малов, 1992а, с. 26–29, разряд V-4, рис. 1, 14]. Другой браслет плоско-желобчатого сечения изготовлен из широкой пластины, имеет на закругленных концах по одному отверстию для шнура (рис. 3, 1). Он также входит в разряд покровских, а не срубных украшений, распространение которых в Нижнем Поволжье, вероятнее всего, связано с синташтинскими и петровскими племенами [Малов, 1992а, с. 25, 26, разряд V-6, рис. 1, 13]. Оба браслета изготовлены из меди группы ВК [Черных, 1970, с. 123, № 1712, 1713]. Мышьяковая или сурьяно-мышьяковая медь группы ВК наиболее часто использовалась для изготовления металлических предметов покровской археологической культуры [Малов, 2007, с. 43].

Мелкие фаянсовые и сурьянные бусинки располагались в области шеи женщины, как и в большинстве других покровских погребениях Нижнего Поволжья [Малов, 1992а, с. 45]. В отчете указано, что белые бусинки пастовые (фаянсовые), хотя на фото есть экземпляры и серого цвета [Рыков, 1927, с. 288]. В музейную коллекцию сдали 30 бусин. Они белые – фаянсовые и серые – сурьянные, обычного размера и цилиндрической формы, но есть и сегментовидная (рис. 3, 6–8). Это наиболее распространенная категория украшений в покровской культуре [Малов, 1992а, с. 44–47, рис. 5]. Значительная часть камня-голыша, лежавшего около крупного острореберного сосуда, отколота (рис. 3). Возможно, это произошло в результате его использования в качестве песта или кузнечного молотка.

Костяные предметы. Мужская дисковидная пряжка имеет по краям малых отверстий расходящиеся бороздки, образовавшиеся в результате длительного трения шнура, которым она кре-

пилась к концу ремня (рис. 3, 5). Пряжки такого типа характерны для покровских памятников [Малов, 1992а, с. 40–43, разряд V-29, рис. 4, 22]. В 1997 г. аналогичная пряжка с идентичными следами сработанности около двух отверстий обнаружена в погребении 3 кургана 1 могильника Селезни-2 [Пряхин и др., 1998, с. 16–18, рис. 9, 4; 10]. В свое время А.Д. Пряхин отнес погребение № 2 с данной пряжкой к «синкретическим памятникам позднеабашевского этапа» абашевской культурно-исторической общности, в которой самой ранней считалась доно-волжская абашевская культура [Пряхин, 1977, с. 110–115, рис. 21, 104]. Последующий анализ позволил выделить и включить в основное захоронение кургана № 35 и другие комплексы (Медяниково к. 6; Переметная к. 1; Максютново к. 3; Терновка к. 4) в число ранних покровских памятников Волго-Уральского очага культурогенеза [Малов, 1992а, б, с. 14]. Затем исследователи, придерживающиеся концепции А.Д. Пряхина, стали относить ранние покровские памятники к доно-волжской абашевской культуре и использовать их для характеристики последней [Малов, 2007, с. 41–45]. Вместе с этим данный покровский комплекс из кургана № 35 пытаются относить и к потаповскому типу, в котором также фиксируются абашевские проявления [Васильев и др., 1995, с. 14].

При передаче в фонды музея ожерелья выяснилось, что клыков обнаружили гораздо больше – 40 (рис. 3, 13). Украшения из клыков хищных животных чаще присутствуют в покровских (Покровск 35/2; Натальино II 3/1; Короли 4/4; Терновка 4/5, 8), чем в срубных (Смеловка п. 106; Ново-Яблоновка п. 3) захоронениях Нижнего Поволжья [Малов, 1992а, с. 40–41, разряд V-27, рис. 4, 1–9; Мамонтов, 2001, с. 118, 124, рис. 2, 6; Лопатин, 2010, с. 214, рис. 18, 14–17; Африканов, 2010, с. 133, рис. 58, 5–10]. При этом ожерелья с большим числом клыков присутствуют только в парных разнополых взрослых могилах. Обычно такой достаточно архаичный тип украшений исследователи трактуют как амулеты, указывающие на то, что скотоводы занимались охотой [Круглов, Подгаецкий, 1935, с. 59]. Подобные украшения – амулеты не характерны для абашевской общности. Только один заполированный клык медведя без отверстия найден в норе погребения 1 кургана Селезни 2 [Пряхин и др., 1998, с. 8–9, рис. 8, 13]. По моей просьбе П.А. Косинцев предварительно условно определил по фото и рисункам некото-

рых клыков их видовую принадлежность. Она может быть следующей. Покровск к. 35: один – собака или волк, остальное – лисица. Натальино II к. 3: волк, собака, лис-корсак (?), лисица. Смеловка п. 106 – собака. Ново-Яблоновка: волк – 1, остальное – собака. В ожерелья-амулеты входят клыки не одного животного. Среди них есть не только домашнее животное – собака, но также дикие хищники степей, на которых охотились скотоводы покровской и срубной культур: волк, корсак (?) и лисица. Присутствие обломка клыка кабана (рис. 3, 12) и «кучки» из бабок свиньи (?) – редкий случай для покровских погребений. Однако примечательно, что клык кабана также встречается в п. 2 кургана Селезни-2 [Пряхин и др., 1998, с. 12]. Эти находки позволяют считать, что кабан также служил объектом охоты в покровской культуре.

Следует отметить очень крупный объем ямы основной могилы кургана № 35. При корреляции длины и ширины покровских могильных ям погребение № 2 вошло в первую группу – для социально значимых или престижных лиц, на устройство которых потребовались наиболее крупные трудовые затраты [Малов, 1989, с. 85–86]. Это подчеркивает экстраординарность рассматриваемого разнополого парного захоронения семейного типа.

Судя по позам, костяки помещены в могилу совместно и одновременно. А.Х. Халиков включил это покровское погребение в число семейных – мужа с женой [Халиков, 1989, с. 70]. Данный парный разнополоый погребальный комплекс относится к престижным – семейного типа. Например, их появление в Северной Евразии восходит к глубокой древности [Хлобыстина, 1994, с. 82–85]. Однако положение умерших экстраординарно для совместных парных разнополох взрослых захоронений эпохи меди – бронзы Восточной Европы. Вероятно, такая позиция разнополох парных взрослых костяков в основном погребении № 2 связана с архаичными мифологическими представлениями индоевропейцев о культе плодородия и продолжения рода.

Около левого виска женского черепа имелись следы надрезов в виде четырехугольника. К сожалению, здесь нет антропологических заключений. По мнению П.С. Рыкова, надрезы могли появиться из-за трепанации или же смертельного удара. Кроме этого случая, есть и другие единичные повреждения на черепах из курганов покровской культуры.

По заключению А.Б. Шевченко, причиной смерти «сопровождающего лица» мужского пола (возраст 25–30 лет) из п. 6 Медяниковского кургана 2 (р. Терешка) могла послужить вмятина на темени от удара тупым орудием [Малов, 2003, с. 179, 199]. На противоположном берегу р. Терешка, в этом же микрорайоне Саратовского правобережья, около с. Студеновка В.А. Фисенко исследовал захоронение молодого мужчины, со следами травматических повреждений с правой стороны черепа. Они нанесены оружием (обух топора, булава, жезл-пест), резко отличавшимся от использованного против «пепкинских абашевцев», которые обитали в агрессивной среде абашевского ареала [Медникова, 2003, с. 175–177]. Это подтверждает выводы исследователей о том, что военный фактор играл существенную роль в культуругенезе, экономике и социогенезе синташтинской, сейминско-турбинской и покровской культур [Малов, 2003, с. 200–201].

Основное погребение Покровского кургана № 35 относится к начальной поре образования Волго-Уральского очага культуругенеза позднего бронзового века, когда отмечается сакрализация военного дела и возвышение военной верхушки. Вероятно, первобытно-престижную общественную структуру этой милитаризированной эпохи Волго-Уралья следует обозначать такими терминами, как «военное вождевластие» или «военная дуксократия».

Список литературы

- Африканов Ю.А.** Археологические памятники у ст. Буровка, с. Ново-Яблоновка и с. Дубовый Гай // Археологические памятники Саратовского Правобережья от ранней бронзы до средневековья (по мат-лам исследований в 2005–2006 гг.). – Саратов, 2010.
- Бочкарев В.С.** Культуругенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. – СПб., 2010. – 53 с.
- Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семёнова А.П.** Памятники потаповского типа в лесостепном Поволжье: крат. изложение концепции // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н.э.). – Самара, 1995.
- Гутков А.И.** О традиции ремонта глиняной посуды // Археологический источник и моделирование древних технологий: тр. музея-заповедника Аркаим. – Челябинск, 2000. – С. 170–187.
- Кривцова-Гракова О.А.** Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы // МИА. – 1955. – № 46.
- Круглов А.П., Подгаецкий Г.В.** Родовое общество степей Восточной Европы: основные формы материального производства. – М.; Л., 1935. – (Изв. ГАИМК; вып. 119).

Либеров П.Д. О хронологии курганов у с. Староюрьево // Проблемы советской археологии. – М., 1978.

Лопатин В.А. Смеловский могильник: модель локального культурогенеза в степном Заволжье (середина II тыс. до н.э.). – Саратов, 2010.

Малов Н.М. Погребальные памятники покровского типа в Нижнем Поволжье // АВЕС. – Саратов, 1989. – Вып. 1. – С. 82–101.

Малов Н.М. «Абашевские племена» Нижнего Поволжья (памятники покровского типа): автореф дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 1992а.

Малов Н.М. Покровско-абашевские украшения Нижнего Поволжья // АВЕС. – Саратов, 1992б. – Вып. 3.

Малов Н.М. Проблема взаимодействия поволжских покровских и урало-казахстанских племен степной зоны Евразии (по мат-лам погребений) // Вопросы археологии Казахстана. – Алматы; М., 1998. – Вып. 2.

Малов Н.М. Культуры эпохи поздней бронзы в Нижнем Поволжье // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. – Самара, 2001. – С. 199–201.

Малов Н.М. Погребения покровской культуры с накопками копий из Саратовского Поволжья // Археологическое наследие Саратовского края. – Саратов, 2003. – Вып. 5: Охрана и исследования в 2001 г. – С. 164–201.

Малов Н.М. Покровская культура начала эпохи поздней бронзы в северных районах Нижнего Поволжья (по мат-лам поселений срубной культурно-исторической области) // АВЕС. – 2007. – Вып. 5. – С. 41–85.

Мамонтов В.И. Курганный могильник «Короли» // Мат-лы по археологии Волго-Донских степей. – Волгоград, 2001. – Вып. 1.

Медникова М.Б. Антропология абашевской культуры // АВЕС. – Воронеж, 2003. – Вып. 17: Доно-Донецкий регион в эпоху бронзы. – С. 175–177.

Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье. – Саратов, 1993. – Т. 1. – (Археология России. САИ; вып. В1-10).

Потёмкина Т.М. Алакульская культура // СА. – 1983. – № 2.

Потёмкина Т.М. Роль абашевцев в процессе развития алакульской культуры // Эпоха бронзы Восточно-Европейской лесостепи. – Воронеж, 1984.

Пряхин А.Д. Погребальные абашевские памятники. – Воронеж, 1977.

Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И. Селезни-2. Курганы доно-волжской абашевской культуры. – Воронеж, 1998.

Рыков П.С. Раскопки курганов в окрестностях г. Покровска (Р.Н. Пов.) в 1927 г. // Архив ИИМК. Ф. № 2. Арх. № 187. – Л., 1927. – С. 216–288. – С. 216–288.

Рыков П.С. Нижнее Поволжье по археологическим данным 1926–1927 гг. – М.; Саратов, 1929.

Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. – М., 1967.

Синюк А.Т., Козмирчук И.А. Некоторые аспекты изучения абашевской культуры в бассейне Дона (по мат-лам погребений) // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н.э.). – Самара, 1995. – С. 64–67.

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. – М., 1977.

Ткачёв В.В., Хаванский А.И. Керамика синташтинской культуры. – Орск; Самара, 2006. – 145 с.

Халиков А.Х. Поволжье в покровское время // АВЕС. – Саратов, 1989. – Вып. 1.

Хлобыстина М.Д. Социогенез культур Северной Евразии эпохи голоцена // Археол. изыскания. – СПб., 1994. – Вып. 17. – С. 82–85.

Черных Е.Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья // МИА. – 1970. – № 172.

Черных Е.Н. Каргалы: феномен и парадоксы развития: Каргалы в системе металлургических провинций. Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. – М., 2007. – Т. 5.

Черных Е.Н., Кузьминных С.В. Древняя металлургия Северной Евразии. – М., 1989.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ В БАШКИРСКОМ ПРИУРАЛЬЕ

Территория Южного Приуралья в эпоху поздней бронзы характеризуется достаточно сложной этнокультурной ситуацией, т.к. Южный Урал явился своего рода контактной зоной двух огромных по своим размерам культурно-исторических общностей (КИО): на западе – срубной, на востоке – алакульской. Понимание культурно-исторических процессов, решение проблем периодизации и хронологии тесно взаимосвязано с установлением территориальной специфики памятников региона.

Одним из первых исследователей, поднявшим вопрос о территориальных различиях срубных памятников Южного Приуралья, был К.В. Сальников, который считал, что территория осваивалась срубными племенами не одновременно и продвижение на Урал срубного населения шло по нескольким направлениям [1967, с. 234–235]. В 1970–1980-е гг. прошлого столетия интенсивное изучение памятников срубной культуры привело к появлению серии обобщающих работ по эпохе поздней бронзы Южного Урала. Подробный анализ срубных памятников Бельско-Уральского междуречья был проведен в диссертационной работе Ю.А. Морозова [1977]. Несколько позже появилось исследование, посвященное особенностям срубных памятников Заволжско-Приуральского лесостепного региона [Обыденнова, 1985]. Вопросы локальной специфики памятников Волго-Бельского междуречья поднимались и в монографическом исследовании М.Ф. Обыденнова и Г.Т. Обыденновой [1992]. Относительно недавно было опубликовано исследование Н.Г. Рутто, посвященное срубно-алакульскому взаимодействию на Южном Урале. Автор выделила три локальных группы памятников, где в разной степени про-

являлись контакты срубной и алакульской КИО [2003]. Очередное обращение к теме территориальной специфики срубных памятников обусловлено появлением новых материалов по срубным погребальным комплексам региона.

Данные, приведенные ниже, получены в результате более общей работы по статистической обработке материалов срубных погребальных памятников Башкирского Приуралья. К анализу привлечены материалы 695 погребений из 222 курганов и 50 срубных могильников. Рассматриваемые срубные памятники разделены на семь территориальных групп (табл. 1). К первой группе, условно названной «нижнебельской» (НБГ), относятся могильники, расположенные в долинах рек База, Куваш, Евбаза, Чермасан и Кармасан – левых притоков р. Белой в ее нижнем течении от г. Уфы до устья. Всего в локальной группе учтено 95 погребений из 13 курганов девяти срубных могильников. Во вторую территориальную группу – «нижнедемскую» (НДГ), объединены памятники нижнего течения р. Дема: всего восемь могильников, 93 кургана и 214 погребений. В данную локальную группу входит самый крупный на Южном Урале и полно исследованный могильник Старые Ябалаклы-1, насчитывающий 81 срубный курган и 165 погребений, с чем и связано значительное число курганов и погребений нижнедемской группы (НДГ). К третьей территориальной группе – «верхнедемской» (ВДГ), относятся памятники верхнего течения р. Дема: четыре могильника, 27 курганов и 79 погребений. Разделение демских памятников на две группы обусловлено значительной протяженностью реки (535 км), различием ландшафтных зон (верхнее течение приурочено к Бугульминско-Белебеев-

Таблица 1. Территориальное деление срубных памятников

Территориальная группа	Бассейны рек	Количество могильников	Количество курганов	Количество погребений
Нижнебельская	База, Куваш, Евбаза, Чермасан, Кармасан	9	13	95
Нижнедемская	Дема	10	37	130
Верхнедемская	Дема	8	93	214
Уршакская	Уршак	4	27	79
Ашкадарская	Куганак, Ашкадар, Стерля, Сухайля, Кундряк	8	17	62
Верхнебельская	Белая	5	14	73
Сакмарская	Большой Ик, Большой Юшатырь, Большой Куюргаза	6	21	45
<i>Всего</i>		50	222	698

ской возвышенности), а также необходимостью сопоставить данные погребального обряда с антропологическими материалами, согласно которым срубное население этих районов разнородно. Юго-западная группа срубников (ВДГ), по мнению антропологов, представляла собой самостоятельную группу срубного населения со специфическим краниологическим комплексом южного происхождения [Юсупов, 2009, с. 286]. Четвертую группу образуют памятники долины р. Уршак. В уршакской группе (УГ) насчитывается десять могильников, 37 курганов и 130 погребений. В пятую группу объединены могильники, расположенные в долинах рек Куганак, Ашкадар и их притоках – Стерля, Сухайля, Кундряк, Меселька. Куганак и Ашкадар являются левыми притоками р. Белой в ее среднем течении. В ашкадарско-куганакской (АКГ, или ашкадарская) группе зафиксировано восемь могильников и исследовано 17 курганов с 62 погребениями. Шестую – верхнебельскую группу (ВБГ), составляют пять могильников, исследованных в верхнем течении р. Белая. В ней учтено 14 курганов с 73 погребениями. И седьмая, самая южная группа – сакмарская (СГ), включает могильники, расположенные в долинах правых притоков р. Сакмара: Б. Ик, Б. Юшатырь, Б. Куюргаза. Всего в этой группе насчитывается шесть могильников, 21 курган и 45 погребений.

Погребальный обряд рассматривается нами как процесс, результатом которого является создание погребального комплекса, состоящего из погребального сооружения, останков погребенного, инвентаря и дополнительных структур [Смирнов,

1997, с. 32, 33]. Согласно этому утверждению и приводятся данные, характеризующие погребальный комплекс.

Характеристика погребального сооружения

Курганные насыпи (табл. 2, 3). Рассматривая и сопоставляя размеры курганных насыпей, мы вынуждены с большой долей осторожности относиться к полученным результатам, поскольку насыпи в большей степени, чем остальные элементы погребального комплекса, подвержены разрушению и деформации. Тем не менее, мы попытались выявить закономерности в распределении характеристик курганных насыпей по территориальным группам. Наибольший процент «малых» курганов диаметром до 10 м был зафиксирован в нижнедемской, верхнедемской и уршакской группах – 53, 44 и 23 % соответственно. Столь же высоким относительно других групп оказался показатель по курганам диаметром от 10 до 15 м – 28,6, 42,5 и 37 % соответственно. Курганов диаметром 20–30 м в этих трех группах наименьшее количество, а насыпей более 30 м не было зафиксировано в демских и уршакских могильниках. Напротив, в нижнебельской и трех юго-восточных (ЮВ) группах – ашкадарской, верхнебельской и сакмарской – большинство курганов имели диаметр более 15 м. В верхнебельской и сакмарской группах курганы диаметром 20–30 м составляли 45,5 и 35 % соответственно.

Показатели высоты (см. табл. 3) насыпей демонстрируют ту же тенденцию: наибольший процент курганов с «малой» высотой от 0 до 0,5 м

Таблица 2. Доля курганов разного диаметра, %

Диаметр, м	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
0–10	0	53,6	24	23	12	0	5
10–15	9	28,6	42,5	37	17,5	27,3	20
15–20	45,5	11	24	37	35,5	18	35
20–30	27	4,8	9,5	3	29,5	45,5	35
Более 30	18,5	0	0	0	5,8	9,2	5

Таблица 3. Доля курганов разной высоты, %

Высота, м	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
0–0,5	54,5	81	70	61	38	46	38
0,5–1,0	36,6	19	22	36	56	38	38
1,0–1,5	9	0	8	3	6	16	24
1,5–2,0	0	0	0	0	0	0	0
Более 2	0	0	0	0	0	0	0

зафиксирован в нижедемской, верхнедемской и уршакской группах. В ЮВ группах (АКГ, ВБГ, СГ) большинство насыпей имели высоту 0,5–1,5 м, в верхнебельской и сакмарской отмечается наибольший процент высоких курганов: от 1 до 1,5 м – 16 и 24 % соответственно. Насыпей высотой более 1,5 м не зафиксировано ни в одной из групп. Таким образом, для демских и уршакских могильников более характерны насыпи малых и средних размеров, тогда как в ЮВ группах преобладают курганы больших размеров. Объяснить такую ситуацию большей степенью антропогенного воздействия нельзя, т.к. и южные районы Башкирии в равной степени попали в зону хозяйственной деятельности.

Количество погребенных в кургане (табл. 4). К маломогильным нами отнесены курганы с одним – тремя погребенными. В пяти из семи рассматриваемых территориальных групп (НДГ, ВДГ, УГ, АКГ, СГ) маломогильные курганы составляют от 67 (АКГ) до 84 % (НДГ). Процент курганов с 11–15 захоронениями колеблется в этих группах в пределах 2–6,5 %. В верхнебельских и нижебельских памятниках, напротив, процент маломогильных курганов невелик – 20 и 10 % соответственно. В них преобладают многомогильные курганы с 4–15 погребенными под насыпью – 64 (ВБГ) и 80 % (НБГ). Общей чертой для всех могильников Башкирского Приуралья можно считать почти полное отсутствие крупных курганов-кладбищ, где было бы совершено более

15 захоронений. В курганах с 10–15 могилами хоронили преимущественно детей и подростков, причем в двух случаях антропологический анализ показал, что это были женско-детские кладбища: Каранаево-1, к. 8 [Чаплыгин, Куфтерин, 2010, с. 176], Николаевка-1, к. 1 [Исмагил и др., 2009, с. 13].

Очень высокий процент однокамерных курганов отмечается в двух ЮВ группах – ашкадарской (54 %) и сакмарской (61,5 %).

В большинстве курганы Башкирского Приуралья представляли собой простые земляные насыпи без дополнительных каменных, деревянных или иных конструкций.

Следы тризн (табл. 5) или поминальных ритуалов в виде отдельных костей животных, фрагментов или целых сосудов в насыпи и на подкурганной площадке зафиксированы в курганах всех семи территориальных групп. Процент таких насыпей колеблется в диапазоне 4,8–57 %. Наиболее высокие показатели отмечены в ашкадарской и верхнебельской группах – 57 и 36 % соответственно.

Кости жертвенных животных (табл. 5) обычно представлены целыми элементами скелета, расположенными в анатомическом порядке [Сатаев, Гимранов, 2009, с. 222]. Сочетание черепов и костей конечностей животных представляет собой жертвенный комплекс. Именно жертвенные комплексы являются отличительной чертой погребального ритуала срубных

Таблица 4. Доля погребений в кургане, %

Число погребений	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
1	0	44	44	41	54	5	61,5
2	10	24	26	21,5	6,5	0	23,5
3	0	16	11	19	6,5	14,5	5
4–10	70	14	15	13,5	26,5	57	10
11–15	10	2	4	5,5	6,5	7	0
16–20	0	0	0	0	0	0	0
21–30	10	0	0	2,5	0	0	0
Более 30	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 5. Проявления поминальных, жертвенных и огненных ритуалов, %

Проявление	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
Следы тризн	20	16	26	19	36	57	4,8
Жертвенники	0	2,2	0	2,7	21,5	28,5	14
Остатки огненных ритуалов	9	9,7	7,4	2,7	26,5	14	14

памятников ашкадарской (21,5 %), верхнебельской (28 %) и сакмарской групп (14 %). Из 13 курганов с жертвенниками, известных на территории Башкирского Приуралья, десять распределены по трем ЮВ группам. В некоторых курганах количество жертвенников достигает семи (Николаевка-1, к. 3). В остальных территориальных группах ритуал жертвоприношения животных выражен слабо.

Открытые в Башкирском Приуралье жертвенники представлены в нескольких видах: череп(а) на костях конечностей, отдельно черепа, скопление костей конечностей, кости конечностей и фрагменты черепа. Выявлено два основных варианта размещения жертвенников: на перекрытии или уступе в погребальной камере (Старояппарово-1, к. 4 [Горбунов, Обыденнов, 1978, с. 118], Давлеканово-1, к. 1 [Матвеева, 1963, с. 73], Николаевка-1, к. 2, к. 3/8 [Исмагил и др., 2009, с. 26, 43], Новомусино-1, к. 1/6 [Сиротин, 2005, с. 369]) и рядом с погребальной камерой на подкурганной площадке или насыпи (Чумарово-1, к. 9 [Пшеничнюк, 1971, рис. 66], Николаевка-1, к. 3 [Исмагил и др., 2009, с. 29–34]), Иштуганово-1, к. 4 [Обыденнов, 1997, с. 54], Нугуш-1, к. 1, к. 2 [Матюшин, 1963], Санзяпово-1, к. 6, к. 10 [Денисов, Исмагилов, 1989, с. 38]). В могильнике Акназарово-1, к. 5/3 череп животного был найден в могиле [Обыденнова, Рутто, Исмагилов, 1985, с. 50]. Это единичный случай и, вполне вероят-

но, что первоначально череп находился на перекрытии и попал в могилу после его обрушения. В состав жертвенных животных входили: крупный рогатый скот (девять случаев), овцы (шесть), лошади (три). «Иерархия» этих животных просматривается на материалах Николаевского могильника, где были зафиксированы различные варианты жертвенников. Так, со взрослыми захоронениями высокого ранга связаны жертвенники из черепов и конечностей КРС, с детскими погребениями – черепа и конечности овец. Лошадь крайне редко встречается в материалах срубных могильников Башкирского Приуралья, при этом два из трех жертвенников с черепами лошади обнаружены в верхнебельской группе.

Во многих случаях жертвенники связаны с центральным взрослым захоронением, о высоком ранге которого свидетельствуют и другие признаки погребального обряда. Несколько необычно на этом фоне выглядит приуроченность жертвенников КРС в двух санзяповских курганах к детским центральным погребениям. Вообще, сопровождение жертвенниками детских погребений – это особенность Николаевского (АКГ) и Санзяповского (СГ) могильников, равно как и высокий ранг погребенных детей, о чем свидетельствуют погребальные сооружения и инвентарь.

Огненные ритуалы (табл. 5) проявляются в срубных могильниках Башкирии в следующих вариантах: разведение огня над погребением или

на деревянном перекрытии могилы (Старые Ябалаклы-1, к. 86, к. 103, к. 104 [Горбунов, Морозов, 1991], Варварино-1, к. 1 [Морозов, Пшеничнюк, 1976, с. 9], Бала-Четырман, к. 1 [Яминов, 2005, с. 305], Сыртланово, к. 2 [Обыденнов, 1997, с. 48], Акназарово, к. 3/1, Новомусино-1, к. 1/2, Старояппарово-1, к. 3/3, к. 4/2, Старояппарово-2, к. 1, Качкиново-1, к. 10 [Морозов, Нигматуллин, 2003, с. 10]), разведение костра на подкурганной площадке (Качкиново-1, к. 3, Юматово-1, к. 1, Старые Ябалаклы-1, к. 86, к. 103, к. 104, к. 105), трупосожжение (Юматово-1, к. 1 [Матвеева, Васильев, 1972], Николаевка-1, к. 5/1, к. 7, Ялчикаево-2, к. 1/5 [Сиротин, 2008, с. 50], Русское Тангирово-1, к. 2/3 [Стоколос, 1970], Петряево-1, к. 5/1 [Морозов, Нигматуллин, 1998]). Во многих курганах совмещено несколько видов огненных ритуалов – трупосожжение и костер, костер на перекрытии и на подкурганной площадке. Следы огненных ритуалов зафиксированы в курганах всех семи территориальных групп. Самые высокие показатели отмечены в ашкадарской группе (26,5 %), достаточно высокий процент курганов этой категории и в двух южных группах – ВБГ (14 %), СГ (14 %). Средние значения относительно остальных в двух демских и нижнебельской группе – НДГ (9,7 %), ВДГ (7,4 %), НБГ (9 %) и наименьший показатель в уршакской – 2,7 %. Стоит отметить и то, что четыре из шести трупосожжений, открытых на территории Башкирского Приуралья, были обнаружены в ашкадарских и сакмарских могильниках, что безусловно, свидетельствует об особой значимости огненных ритуалов для населения ЮВ территориальных групп.

Стратиграфия погребений (табл. 6). Во всех семи территориальных группах захоронения в материке и погребенной почве составляют абсолютное большинство – от 95 до 100 %. Отсутствие досыпок в срубных курганах позволяет предполагать, что погребения в течение определенного времени совершались на подкурганной площадке, а затем одновременно перекрывались насыпью. В насыпи совершались преимущественно детские

захоронения. Незначительное число погребений находилось на древнем горизонте: Юматово-1, 1/1 (НДГ – 0,5 %), Качкиново-1, к. 10/1 (ВДГ – 1,3 %), Ишпарсово-1 [Морозов, Пшеничнюк, 1976, с. 9], Николаевка-1, к. 2, к. 7 (АКГ – 5 %), в остальных группах подобные погребения не обнаружены (табл. 7). Захоронения такого типа совершены без каких-либо следов погребальной камеры, либо ее функцию выполняет деревянная или глиняная конструкция – рама-сруб с перекрытием (Качкиново-1, к. 10/1, Николаевка-1, к. 2), глиняная камера (Николаевка-1, к. 7). Что касается юматовского и ишпарсовского погребений на древнем горизонте, то здесь можно предполагать, что погребальная камера изготавливалась из менее долговечного материала, например, дерна, именно поэтому следы погребального сооружения здесь не обнаружены [Горбунов, 1992, с. 180–184].

Ограждающие сооружения. Под ограждающими сооружениями мы подразумеваем ров, глиняный вал, столбовую ограду, ограду из кольев, каменную оградку, ограничивающие доступ к погребальной камере. Очевидно, что в большинстве случаев подобное ограждение носит скорее символический, чем практический характер. Ограждение из кольев было обнаружено в двух курганах нижнебельской группы (Базитамак-1, 3/2, 5 [Обыденнов, Обыденнова, 1996], Рсаево-1, 2/5, 6 [Гарустович, Тагиров, 2009]). В обоих случаях следы деревянных кольев были зафиксированы вокруг ям с детскими погребениями. В базитамакском кургане следы кольев отмечены и в других могилах, но только на дне погребальных камер. Подобного рода ограждения можно считать локальной особенностью памятников НБГ, а точнее могильников долины р. База. Что касается назначения подобной конструкции, то авторы раскопок Рсаевского могильника предположили, что деревянные оградки защищали детские погребения от животных, способных разрушить неглубокую могилу до возведения основной насыпи. Предположение о том, что подкурганная площадка заполнялась постепенно и совершен-

Таблица 6. Погребения с разной стратиграфической позицией, %

Стратиграфическая позиция	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
В материке и погребенной почве	98	98	97,4	95,5	95	100	100
На древнем горизонте	0	1	1,3	0	5	0	0
В насыпи	2	1	1,3	4,5	0	0	0

Таблица 7. Типы погребальных камер, %

Тип	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
Рама-сруб	0	0	1,3	0	1,6	0	0
Глиняная камера	0	0	0	0	1,6	0	0
Грунтовая яма	100	100	98,7	100	96,8	100	100

Таблица 8. Варианты конструкций грунтовой погребальной камеры, %

Конструкция	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
Уступы и ступени	1,4	10	26	3	3,3	5	4,7
Подбой	0	0	0	0	0	0	4,7
Простая яма	98,6	90	74	97	96,7	95	74

ные уже погребения были огорожены, высказывалось ранее Н.Я. Мерпертом, который исследовал в кургане 11 у с. Кайбеллы так называемый «Дом мертвых» – бревенчато-столбовую конструкцию, перекрывавшую центральную часть кургана [Мерперт, 1958]. Исследователь отмечал, что первоначально дом стоял открыто, без насыпи и вокруг него формировалось кладбище. Затем все кладбище было перекрыто насыпью. Подобная конструкция, но меньших размеров была исследована археологами в кургане 1 могильника Николаевка-1 [Исмагил и др., 2009, с. 19–20]. В кургане вокруг центральной просторной могильной ямы зафиксирована деревянная конструкция из пяти столбов, окружавшая могилу по периметру. Судя по расположению столбов, смещенности тела погребенной к западной стенке, можно предположить, что вход в склеп мог располагаться в юго-восточной части погребального сооружения. В несколько более ранних петровских могильниках центральные погребения представляли собой также подземные склепы со свободным доступом в погребальную камеру [Зданович, 1988, с. 136]. Поскольку 14 из 15 погребений Николаевского кургана 1 были совершены в материке и погребенной почве, то вполне вероятно, что и здесь все захоронения были перекрыты насыпью одновременно. До этого момента к погребению 11, вероятно, существовал доступ.

Крайне редким для срубного погребального обряда в Башкирском Приуралье является сооружение ограждения в виде кольцевого рва. Тем не менее, два таких случая отмечены в кургане 98 Ст. Ябалаклинского могильника и в одиночном Бала-Четырманском кургане. В первом случае во-

круг центрального и единственного погребения была прокопана канавка глубиной 0,25–0,27 м и шириной 0,44–0,5 м, во втором – ров шириной до 1,5 м с двухметровым разрывом в северо-западном секторе окружал площадку с центральным взрослым захоронением.

Таким образом, ограждающие сооружения обнаружены в могильниках нижебельской, нижедемской и ашкадарской территориальных групп. В целом, по совокупности признаков погребального обряда у захоронений с ограждающими сооружениями больше различий, нежели сходства. Если в нижебельской группе деревянные ограды сооружены вокруг вполне ординарных детских захоронений, то в ашкадарских курганах столбовая конструкция и ров связаны с престижными центральными захоронениями, отличавшимися от расположенных вокруг периферийных сложностью погребального сооружения и богатством инвентаря.

Варианты конструкций грунтовой погребальной камеры (табл. 8). Во всех рассматриваемых территориальных группах преобладают простые могильные ямы без дополнительных конструктивных элементов, к которым мы относим ступени, уступы и подбои. Уступы и ступени с разной степенью встречаемости зафиксированы во всех семи территориальных группах. Наибольший процент погребальных камер этого типа отмечен в верхнедемской и нижедемской группах – 26 и 10 % соответственно, в остальных – процент варьирует в пределах 1,4–5 %. Всего зафиксировано 43 погребения, в т.ч. 15 с деревянным перекрытием. По конструктивным особенностям можно выделить значительное число вариантов: много-

Таблица 9. Перекрытия погребальных камер, %

Перекрытие	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
Дерево	5,5	20,5	6,2	14	8	1,4	17,8
Камень	0	2,3	10	8,5	14,5	0	2,2
Не зафиксировано	94,5	77,2	90	77,5	77,5	98,6	80

Таблица 10. Дополнительные деревянные конструкции в погребальной камере, %

Конструкции	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
Столбы	1,1	0	0	1,6	1,9	0	0
Сруб	0	0	0	0	0	0	2,2
Деревянная обкладка стен	0	0	0	0	0	0	2,2
Коля	8,7	0	0	0	0	0	95,6
Не зафиксировано	90,2	100	100	98,4	98,1	100	0

ступенчатые, широкий уступ по периметру могилы, уступ с трех, двух и одной стороны, невысокая узкая ступенька и т.д. Все разнообразие этих вариантов можно встретить только в верхне- и нижнедемских памятниках, что свидетельствует об общей традиции устройства погребальных сооружений.

Подбой отмечен только в двух погребениях Санзяповского могильника (5/1 и 11/1) в сакмарской территориальной группе (4,7 %).

Перекрытие погребальных камер (табл. 9). Захоронения с деревянным перекрытием встречены в могильниках всех территориальных групп. Процент таких погребений колеблется от 5,5 в нижнебельской до 20,5 % в нижнедемской группе. Кроме нижнедемской высокий процент погребений с деревянным перекрытием отмечен в уршакской (14 %) и сакмарской (17,8 %) группах.

Каменные перекрытия гораздо более редкое явление в срубных памятниках Башкирского Приуралья. В двух территориальных группах – нижнебельской и верхнебельской – они не обнаружены. Высокий процент погребений с каменными плитами перекрытия отмечен в верхнедемской (10 %), уршакской (8,5 %) и ашкадарской (14 %) группах. Во всех известных случаях под каменным перекрытием хоронили детей. Единственным исключением является погребение 1/3 могильника Казбурун-1 [Стоколос, 1970, рис. 9, 4], где, судя по размерам могильной ямы, был погребен взрослый человек. Данные, полученные в ходе последних полевых исследований, подтверждают выявленную закономерность. Так, в одиночном

кургане Бала-Четырман были обнаружены семь срубных захоронений, в том числе центральное взрослое и шесть детских, располагавшихся по периметру кургана и перекрытых каменными плитами. В кургане 8 могильника Каранаево-1 открыто 15 срубных погребений, в том числе девять детских с каменным перекрытием. Использование камня только в детских погребениях можно считать особенностью срубных памятников Башкирии, поскольку в степном Приуралье каменные плиты применялись и при сооружении взрослых захоронений. Открытым остается вопрос о выборочности использования подобной конструкции – в одном кургане могли быть захоронены дети в простых грунтовых ямах и в ямах с каменным перекрытием. Инвентарь и другие признаки погребального обряда свидетельствуют о вполне рядовом характере таких захоронений. Стоит отметить, что значительная часть погребений с каменным перекрытием сосредоточена в отдельных могильниках – Чубукаран-1 (ВДГ), Каранаево-1 к. 8 (УГ) и одиночном кургане Бала-Четырман (АКГ).

Дополнительные деревянные элементы погребальной камеры (табл. 10). Столбовая конструкция внутри и рядом с погребальной камерой – явление почти уникальное для срубных могильников Башкирского Приуралья. Столбы были зафиксированы в трех из семи территориальных групп – нижнебельской (1,1 % – Рсаево 1/9), уршакской (1,6 % – Казбурун-1,1/1), ашкадарской (1,9 % – Николаевка-1,1/11). В трех случаях столбовая конструкция выполняла скорее функцию опоры

мощного бревенчатого перекрытия, тогда как в Николаевке, как уже отмечалось, она была сооружена вокруг могильной ямы и служила ограждением погребальной камеры. Стоит отметить и разницу глубин. Если могилы со столбами внутри ямы имели значительную глубину – 0,75–0,8 м, то николаевская могила – всего 0,4 м, что косвенно подтверждает функциональное назначение николаевского погребального сооружения как склепа с открытым доступом. Все захоронения этой категории имели высокий ранг, что подтверждается и другими признаками обряда. Какой-либо закономерности в распределении по группам мы не выявили, столбовые конструкции встречаются в северных, центральных и южных памятниках. Стоит лишь учитывать функциональные различия столбовых конструкций.

Деревянная рама/сруб отмечена только в одном срубном (!) погребении Ялчикаево-2, 1/5 (СГ). В могиле с трупосожжением обнаружена обугленная рама из жердей, рядом найдены остатки обгоревшего и обрушившегося перекрытия.

Обкладка стен могильной ямы деревом столь же редкое явление, как и сруб. Два погребения с деревянной облицовкой были открыты в Давлекановском могильнике (НДГ). В одном из них в состав инвентаря входило блюдо с ручками, а в засыпке встречались кости лошади – следы жертвенника, сам костяк ориентирован на юго-запад. Таким образом, назвать комплекс срубным было бы некорректно. Коля в могильной яме зафиксированы только в могильнике Базитамак (НБГ).

Покрывала и подстилки отмечены в пяти территориальных группах – НБГ (4,5 %), НДГ (2,6 %), ВДГ (1,3 %), АКГ (1,9 %) и СГ (11,1 %). Наибольшее число погребений со следами покрывала и подстилок в сакмарской группе – 5 (11 %), меньший, но сравнительно высокий показатель в нижнебельской группе – 4 (4,5 %). В обеих группах большинство захоронений с органическими остатками покрывала и подстилок связаны с конкретным могильником: в сакмарской группе с Русско-Тангировским, в нижнебельской – с Базитамакским. В других группах процент подобных погребений невелик – 1,3 (ВДГ), 1,9 (АКГ), 2,6 % (НДГ).

Выявлены три погребения, когда покрывало и подстилка обнаружены в одной погребальной камере: Базитамак-1, 3/10 (НБГ), Николаевка-1, 1/11 (АКГ) и Новомурапталово-1, 1/1 [Рутто, 1982, с. 20]. Материал, из которого изготовлены арте-

факты, чаще всего не определяется, но в некоторых случаях была различима береста. Интересное наблюдение сделано С.В. Стоколосом в ходе исследований Русско-Тангировского могильника. Описывая материал подстилок из погребений 2/1 и 2/5, он отметил, что это были «стебли и узкие листья растений», а также «узкие листья трав и отпечатки стеблей» [Стоколос, 1970, с. 23].

Охра и мел зафиксированы в восьми погребениях срубной культуры на территории Башкирского Приуралья, что составляет 1,1 % от всех учтенных нами погребений региона. Они неравномерно распределены по четырём территориальным группам: четыре погребения (4,4 %) открыты в нижнебельской группе, два – в нижнедемской (1 %), одно – в верхнедемской (1,1 %), одно – в ашкадарской (1,9 %). Охра в виде кусочков была обнаружена у черепа детского захоронения в Старых Ябалаклах, 14/1 (НДГ), а также в погребении 1 кургана 1 у х. Веселый (АКГ) – пятно охры находилось на дне в центре могильной ямы [Усачук, Чаплыгин, 2008, с. 58]. Применение охры для срубных памятников Башкирского Приуралья можно считать явлением уникальным. В большинстве случаев встречена меловая посыпка. Обряд посыпки мелом дна могилы и костяка – яркий признак ритуала, отличающий ряд комплексов нижнебельской группы, в то время как для погребений уршакской и трех ЮВ групп такой обряд не характерен.

В погребениях Тартышево-4, 3/1 [Сальников, 1964] и Новобалтачево-1, 2/1 [Сальников, 1963] (НБГ) меловая посыпка отмечалась в области таза погребенного, а также в двух захоронениях – Тартышево-4, 3/2 и Новобаскаково-1, 1/3 [Збруева, Тихонов, 1970, с. 64–65], мелом был посыпан весь костяк. Посыпка и костяка, и дна могилы отмечена только в Качкиново 7/1 (ВДГ), посыпка дна – в Старых Ябалаклах, к. 47 (НДГ). В двух последних случаях взрослые захоронения совершены под индивидуальными насыпями, а среди предметов инвентаря встречены редкие ритуальные предметы – деревянные чаши. Это несомненно свидетельствует о близости погребальных традиций демских памятников верхнего и нижнего течения.

Ритуальная пища для покойного (напутственная пища) в виде фрагментов или отдельных костей животного присутствует в погребениях всех семи территориальных групп. В большинстве случаев это кости или фрагменты костей реберно-

позвоночной части животного, расположенные около погребенного или рядом с сосудом. Наибольший процент погребений с напутственной пищей отмечен в сакмарской группе (15,5), достаточно высокие показатели в ашкадарской (11,1), уршакской (8,5) и нижнебельской (7,6), практически одинаковые показатели в верхнебельской (5,5) и нижнедемской (5,7) группах, самый низкий – в верхнедемской (1,3).

Чаще всего (75 % случаев) ритуальная пища сопровождала взрослые одиночные погребения, остальные – детские и подростковые или совместные захоронения детей и взрослых. В 24 из 33, т.е. в 73 % случаев, когда исследователи давали какое-либо определение захороненной части скелета животного, назывались ребра, иногда уточнялось «крупного животного», реже более определенно – крупного рогатого скота или коровы, кроме того упоминались трубчатые кости крупных животных, зубы, лопатка, позвонки. Видовой состав животных, используемых в качестве напутственной пищи, тот же, что и в жертвенных ритуалах: корова, баран, лошадь. После ребер крупных животных по частоте встречаемости следует назвать кости барана: позвонки, лопатка, нога, иногда просто бараньи кости. Очень редко лошадь, а точнее кости лошади, присутствуют только в верхнебельской группе – единственной, где были обнаружены жертвенники из лошадиных черепов. В ашкадарской, нижнедемской, нижнебельской группах обнаружены кости и крупного рогатого скота и барана, что соответствует жертвенному составу животных, в сакмарской же группе кости барана не найдены, несмотря на самый высокий процент захоронений с напутственной пищей. Не обнаружены здесь и бараньи жертвенники, что также указывает на взаимосвязь видового состава жертвенных животных

и животных, используемых для приготовления напутственной пищи.

В погребальной камере чаще всего напутственная пища располагалась в северо-восточной части могилы недалеко от сосудов, реже напротив погребенного или около берцовых костей.

Количество погребенных в одной могиле (табл. 11). Во всех срубных могильниках преобладают одиночные захоронения в погребальной камере. Совместные погребения также представлены во всех территориальных группах. Самые высокие показатели отмечены в верхнедемской (11,4 %), нижнедемской (10,6 %) и сакмарской (11 %) группах, в нижнебельской в могильниках процент совместных погребений составил 7,6, относительно невысокие показатели в уршакской (4,7) и ашкадарской (3,2) группах, самый низкий – в верхнебельской (1,4 %). Высока концентрация совместных захоронений в отдельных могильниках – Новые Ябалаклы-1 [Горбунов, 1977, с. 149–161; Морозов, Нигматуллин, 2003] (23 % от всех погребений могильника), Петряво-1 (8,7), Старые Ябалаклы-1 (8), Качкиново-1 (12,3) и Санзяпово-1 (15). Основная масса совместных захоронений содержала останки двух погребенных.

Положение костяков относительно друг друга рассматривается исследователями в качестве индикатора, по которому возможно судить о социальных отношениях, а также этнокультурных взаимодействиях. Поза в совместных двойных захоронениях, когда погребенные обращены лицом друг к другу (парное погребение) рассматривается некоторыми исследователями как характерная черта алакульской погребальной традиции и, напротив, положение погребенных на одном боку более характерно для срубных памятников [Рафикова, 2008, с. 20–21]. Присутствие парных

Таблица 11. Захороненные в погребальной камере, %

Число погребенных	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
1	90,2	75,1	67,1	91,3	92	90,4	86,8
2, совместное	5,4	7,4	10,2	4,7	1,6	0	4,4
2, совместное (разрушено)	0	1,1	1,2	0	0	0	4,4
2, парное	2,2	0	0	0	1,6	1,4	2,2
3, совместное	0	1,6	0	0	0	0	0
> 3	0	0,5	0	0	0	0	0
Не зафиксировано	2,2	14,3	21,5	4	4,8	8,2	2,2

захоронений в ашкадарской, верхнебельской и сакмарской, т.е. ЮВ группах, близких к степному Приуралью – зоне наиболее активных контактов срубных и алакульских племен, вполне объяснимо. С другой стороны, мы наблюдаем полное отсутствие подобных погребений в центральных демских и уршакских могильниках. В нижнебельской группе следы этого обряда присутствуют в могильниках В. Аташ-1, 2/3 и Имянкулево-1, 8/2 [Мажитов, 1963], расположенных, что немало важно, рядом (в пределах 5 км) в долине р. Куваш, левом притоке р. Белая. Если рассматривать парные погребения в качестве индикатора алакульского влияния, то остается открытым вопрос, почему в демских и уршакских памятниках, где андроновское влияние вполне отчетливо просматривается и по обряду, и по инвентарю, не зафиксировано парных захоронений. Сослаться на недостаточную изученность района невозможно, т.к. уршакские и демские памятники изучены более подробно, чем остальные.

Кроме случаев совместного парного и двойного на одном боку размещения костяков, встречается положение на разных боках спиной друг к другу (Качкиново-1, 3/3), а также положение ребенка в ногах погребенной женщины (Новые Ябалаклы-1, 2/3). В совместных погребениях встречались и дети, и подростки, и взрослые. Известны сочетания взрослых, подростков, детей, взрослого и подростка, взрослого и ребенка, ребенка и подростка. Все возможные варианты зафиксированы в верхнедемских и нижнедемских могильниках. Нижнедемская группа не только показала один из самых высоких результатов по количеству совместных погребений, но это еще и единственная группа, где были обнаружены совместные захоронения с тремя и более погребенными (Старые Ябалаклы-1, 64/1, 106/9 и Новые Ябалаклы-1, 5/6 и 6/3).

Практика обращения с погребенным

Характер погребенных останков (табл. 12). Ведущим обрядовым признаком является положение ненарушенного тела в погребальную камеру. Нами учтены также ситуации, когда в погребении обнаружены частично разрушенные костяки или разрозненные кости скелета. В этих случаях крайне сложно давать оценку и определять характер захоронения: был ли костяк разрушен поздними грабителями или землеройными животными или мы имеем дело с обрядом преднамеренного разрушения тела покойного на подготовительном, похоронном или завершающем этапе проведения погребального обряда [Смирнов, 1997, с. 54–57]. Вторичные захоронения обнаружены в четырех погребениях нижнебельской (Базитамак-1, 2/6), нижнедемской (Старые Ябалаклы-1, 13/1, 76/1) и верхнедемской групп (Качкиново-1, 28/1). В Старо-Ябалаклинском и Качкиновском могильниках встречены так называемые «пакетные» захоронения – крайне редко встречаемый вариант вторичного захоронения. Появление подобных захоронений в двух демских группах не случайно и отражает специфику погребальных ритуалов срубных племен Демского бассейна.

Трупосожжение на стороне встречено в погребениях нижнедемской группы (0,5 %), уршакской (0,8 %), ашкадарской (5,2 %) и сакмарской (4,4 %). Ашкадарские и сакмарские захоронения с трупосожжением отличаются высоким рангом погребенных, о чем свидетельствуют сложные погребальные сооружения, неординарный инвентарь. Антропологический анализ показал, что в Ялчикаево-2, 1/1 (СГ) и Николаевке-1, 7/1 (АКГ) сожжению подвергались тела взрослых мужчин [Куфтерин, 2006; Куфтерин, Нечвалода, 2009]. Вероятно, во втором сакмарском погребении с трупосожжением (Русско-Тангирово-1, 2/3) также захоронены кремированные останки взрослого

Таблица 12. Останки погребенных разной степени сохранности, %

Сохранность захоронения	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
Удовлетворительная	78	78,1	62	65	47,5	57	53,2
Плохая	17	13,3	12,7	24,8	28,8	34	12,8
Костяк частично разрушен	0	2,8	0	0	8,5	6	2,1
Разрозненные кости	4	5,7	18,3	9,2	15,2	3	31,9
Костяк частично расчленен	0	1,9	1,4	0	0	0	
Вторичное	1	1	2,8	0	0	0	0

Таблица 13. Погребенные в разном положении, %

Положение	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
На левом боку	88	95	96,4	94,3	93	88	100
На правом боку	8,4	3,4	3,6	3,7	7	8,5	0
На спине	1,2	0,6	0	1	0	3,5	0
На животе	1,2	1	0	1	0	0	0
Сидя	1,2	0	0	0	0	0	0

Таблица 14. Погребенные с разной ориентировкой, %

Ориентировка	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
Север	54,2	63	73,5	60	70,8	42,1	71
Северо-восток	35,5	27,6	20,7	29	20,8	38,6	16,2
Северо-запад	6,6	6	0	4,5	0	7	3,2
Восток	5,5	1,1	5,8	3,5	2,1	8,8	6,4
Запад	0	1,1	0	2	2,1	3,5	3,2
Юго-запад	0	0,6	0	0	0	0	0
Юго-восток	0	0,6	0	0	0	0	0
Юг	0	0	0	1	4,2	0	0

мужчины, поскольку инвентарь захоронения состоял из ножа-кинжала и кремневого наконечника стрелы.

Положение погребенных (табл. 13). Ведущим типом положения, как и во всех срубных памятниках, является скорченное на левом боку. Сравнительно высокие показатели по количеству «правобочных» погребений отмечены в нижнебельской (8,4 %), ашкадарской (7 %) и верхнебельской группах (8,5 %), в «центральных» – демских и уршакской, напротив, процент таких погребений незначителен (3,4–3,7).

Положение на спине зафиксировано в могильниках четырех групп: НБГ (1,2 %), УГ (1 %), НДГ (0,6 %), ВБГ (3,5 %). В верхнедемских, ашкадарских и сакмарских памятниках подобные погребения не выявлены. В трех из пяти погребений характеристика «поза на спине», вероятно не вполне корректна, поскольку в положении на спине находились кости таза и нижний отдел позвоночника, отмечалась согнутость ног и завал на левый бок. Положение «на спине вытянуто» определенно зафиксировано только в могильнике Старые Ябалаклы, где захоронен взрослый человек с каменным навершием булавы. Возможно, в такой же позе находился костяк из Акназарово-1, 5/3, но отсутствие костей ниже

пояса не позволяет говорить об этом уверенно. Что касается неординарности и престижности такого рода погребений, то в четырех из пяти случаев мы этого не наблюдаем: захоронения рядовые в многомогильных курганах, небольшие размеры могильных ям, ординарный инвентарь. Даже ябалаклинское погребение, кроме позы и булавы, ничем не выделяется среди большинства взрослых захоронений могильника.

Положение на груди – в большинстве случаев, вероятно, связано с завалом скорченного костяка на грудь в результате давления обрушившейся земли или особенностей процесса разложения [Иванов, 1992]. Единственный случай «положение ничком» был отмечен в могильнике Старые Ябалаклы-1, 42/1.

Ориентировка погребенных (табл. 14). В срубных могильниках Башкирского Приуралья преобладают северная и северо-восточная ориентировки. Северо-западная обнаруживается значительно реже – от 3,3 % в сакмарской до 6,6 % в нижнебельской группе, в верхнедемской и ашкадарской отсутствует. Восточная, хотя и в незначительной степени, но присутствует во всех территориальных группах. Наибольший процент в верхнебельской (8,8), сакмарской (6,4), верхнедемской (5,8) и нижнебельской (5,5), наименьший

в нижнедемской (1,1) и ашкадарской (2,1). В пяти из семи территориальных группах (ВДГ, НДГ, УГ, ВБГ, АКГ) с восточной ориентировкой захоронены только дети и подростки. Совершенно противоположная ситуация наблюдается в нижнебельской группе, где восточная ориентировка характерна, прежде всего, для взрослых захоронений (четыре из пяти погребенных). В сакмарской группе она была встречена как во взрослом, так и в детском погребениях.

Крайне редкой является западная ориентировка: НДГ (1,1 %), УГ (2 %), АКГ (2,1 %), ВБГ (3,5 %), СГ (3,7 %), наиболее характерная для алакульских памятников [Рутто, 2003, с. 55]. Распределение по группам показывает наибольшую встречаемость западной ориентировки в ЮВ могильниках – наиболее близких к пограничной территории с алакульской общностью. Из восьми случаев семь оказались детскими и подростковыми захоронениями, единственное взрослое – вторичное (Старые Ябалаклы-1, 13/1). В отличие от детских и подростковых захоронений с восточной ориентировкой в этой категории есть престижные захоронения с богатым набором инвентаря и в одном случае подростковое погребение под индивидуальной насыпью. Связь восточной и западной ориентировок с возрастом очевидна, но пока не до конца понятна мотивация этого ритуала, с чем в частности связано проявление алакульского влияния только в детских и подростковых погребениях. Следует оговориться, что в керамическом инвентаре рассматриваемых погребений преобладают срубные черты.

Возраст погребенных. Поскольку антропологический анализ в большинстве случаев не проводился и приходится ориентироваться на определения авторов раскопок, то к этим данным следует относиться с долей осторожности. Тем не менее, некоторые общие закономерности

просматриваются. Вызывает интерес необычное для эпохи бронзы соотношение детских и взрослых погребений. Так, в двух демских группах количество взрослых захоронений (костяков) почти вдвое превышает количество детских – 56 к 26 % в нижнедемской группе, и 41 к 24 % в верхнедемской. Такая же ситуация наблюдается в верхнебельской и сакмарской группах. Можно было бы сослаться на недостаточно полное исследование памятников, но в нижнедемской и уршакской группах известны полностью исследованные могильники (Новые Ябалаклы-1, Чишмы-1), где взрослые захоронения составляют большинство.

Погребальный инвентарь

Количество сосудов и их положение. Во всех территориальных группах доминирует традиция расположения одного сосуда около погребенного. Чаще всего сосуд ставился перед погребенным. Довольно распространенным можно считать положение у ног – по линии от колен до ступней (исключение ВБГ). Положение над черепом отмечено во всех группах, но наиболее высокий процент показывает сакмарская – в 32 % погребений. За черепом сосуд устанавливался значительно реже, тем не менее, такая позиция зафиксирована во всех семи группах, и лидирующей по этому показателю оказалась верхнебельская – в 19 % погребений. Положение за и над черепом рассматривается как признак алакульского влияния, поэтому не удивляет высокий процент этих позиций в двух самых южных группах – сакмарской и верхнебельской. Стоит отметить и отсутствие на юге положения сосуда за погребенным, хоть и редкое, но встречающееся во всех остальных территориальных группах.

Некерамический инвентарь (табл. 15). К инсигниям власти нами отнесены все виды навер-

Таблица 15. Погребальный инвентарь, %

Инвентарь	НБГ	НДГ	ВДГ	УГ	АКГ	ВБГ	СГ
Инсигнии власти и оружие	0	0,8	0	1,5	1,8	1,3	8,1
Ритуальные предметы	0	0,4	1,1	0	0	0	0
Охотничий и хозяйственный	0	2,1	4,6	2,3	8,8	1,3	6,1
Украшения	6,2	9,6	12,6	3	15,8	5,5	18
Игральные кости	6,2	1,2	1,1	2,3	12,3	1,3	0
Псалии	0	0	0	0	3,5	0	0
Пряжки	1	0,8	1,1	0,7	0	1,3	2

ший жезлов, ту же функцию носит и оружие: ножи-кинжалы, топоры, копья. Инсигнии власти не были зафиксированы в погребениях нижнебельской и верхнедемской групп, в остальных – процент таких погребений невелик, наиболее высокий показатель в сакмарской группе. Ритуальные предметы – деревянные чаши, обнаружены только в двух погребениях нижнедемской и верхнедемской групп. Захоронения с охотничьим и хозяйственным инвентарем зафиксированы во всех, кроме нижнебельской, группах, наиболее высокие показатели в ашкадарской и сакмарской группах. Наиболее распространенным видом некерамического инвентаря являются украшения. Значительное число погребений с украшениями отмечается в сакмарской и ашкадарской группах, а также в двух демских. Уникальными находками в срубных погребениях являются костяные псалии, тем более значим факт их обнаружения в двух могильниках ашкадарской группы – у х. Веселый, 1/1 и Николаевка-1, 1/11.

Высокую степень сходства показывают демские группы как по категориям погребального инвентаря, так и по частоте встречаемости его в могильниках. Значительное разнообразие инвентаря и высокую степень его встречаемости демонстрируют могильники ашкадарской группы. Наиболее «скромные» захоронения обнаружены на территории нижнебельской группы (украшения, игральные кости и пряжка из раковины), также разнообразием и количеством инвентаря в погребениях не отличаются уршакская и верхнебельская группы. Наиболее редкими категориями инвентаря в срубных могильниках Башкирского Приуралья являются ритуальные предметы и элементы конской упряжи, самой массовой – украшения.

Сопоставление ряда выявленных территориальных особенностей проявления погребального ритуала у срубных племен Башкирского Приуралья позволяет сделать несколько общих наблюдений.

1. Выделенные нами две группы памятников в верховьях р. Дема и в ее нижнем течении по совокупности признаков погребального обряда, безусловно, следует объединить в одну локальную группу. У них общие черты «архитектуры» погребальных комплексов: малые и средние размеры насыпей, маломогильность большинства, самый высокий процент погребальных сооружений со сложной ступенчатой могильной ямой. Отличительным признаком демских памятников является многочисленность захоронений в одной

погребальной камере, в том числе тройных и ярусного, не встреченных нигде, кроме демских могильников. Преобладание взрослых над детскими погребениями характерно как для верхнедемских, так и для нижнедемских памятников. Близость погребального ритуала проявилась и в обряде вторичных «пакетных» захоронений, уникальном для памятников Башкирского Приуралья. Сходство демонстрируют памятники демских групп и по основным категориям погребального инвентаря: украшениям, предметам хозяйства и ритуала. Два редких для Башкирии захоронения с деревянными чашами были открыты в верхне- и нижнедемском могильниках. Оба взрослых погребения с ритуальными деревянными чашами совершены под индивидуальными насыпями в могилах с меловой подсыпкой. Данные погребального обряда, в отличие от антропологических материалов, не позволяют говорить о существенных отличиях срубного населения верхнего и нижнего течения р. Дема.

2. Высокую степень сходства демонстрируют памятники ашкадарской и сакмарской групп и в несколько меньшей степени верхнебельская группа. Курганы этих ЮВ групп отличаются своими значительными размерами: большинство насыпей имеет диаметр более 15 м, обнаружены насыпи, диаметр которых превышает 30 м, а высота большинства варьирует в диапазоне 0,5–1,5 м. Жертвоприношение животных и огненные ритуалы также являются отличительной чертой могильников верхнебельской, ашкадарской и сакмарской групп. Алакульское влияние проявляется в относительно высоком проценте парных погребений и захоронений с западной ориентировкой костяков. Существенны и различия в погребальных традициях верхнебельских и сакмарско-ашкадарских памятников. В последних отмечен очень высокий процент однокамерных курганов, в то время как верхнебельские курганы преимущественно многомогильные. В сакмарских и ашкадарских могильниках ярко выражен обряд трупосожжения на стороне, причем погребения такого рода являлись престижными, что подтверждается сложными погребальными сооружениями, неординарным набором инвентаря. Обряду сожжения, в двух случаях определено, а в третьем предположительно, подвергались взрослые мужчины. В сакмарских и ашкадарских погребениях зафиксирован одинаково высокий показатель встречаемости украшений, а также охотничьего и хозяйственного инвентаря.

3. Ряд индивидуальных черт отличает памятники нижнебельской группы. Размеры большинства курганов средние и большие, что сближает их по данному признаку с ЮВ группами, однако здесь незначительно число маломогильных насыпей. Нет следов жертвенника, и слабо выражены огненные ритуалы, в том числе отсутствуют трупосожжения. Отличительной чертой погребальных сооружений является возведение деревянной оградки вокруг могилы или устройство конструкции из кольев внутри камеры. В памятниках нижнебельской группы зафиксирован значительный в Башкирском Приуралье процент погребений с меловой подсыпкой. Существенной, на наш взгляд, особенностью погребального ритуала является захоронение взрослых с восточной ориентировкой, в то время как во всех остальных без исключения срубных памятниках Башкирии восточная ориентировка придавалась только погребенным детям и подросткам. Стоит отметить и самый низкий показатель встречаемости некерамического инвентаря в погребениях. В целом, нижнебельские памятники демонстрируют, на наш взгляд, больше общих черт с ЮВ группами, чем с центральными – демскими и уршакской. Об этом помимо перечисленных выше признаков свидетельствует наличие парных погребений и круговая планировка многомогильных курганов-кладбищ.

4. Уршакская группа не демонстрирует каких-либо ярких отличительных черт в погребальном обряде, здесь не выражены неординарные признаки обряда, характеристика большинства погребений укладывается в стандартное описание рядового срубного захоронения. Курганы малых и средних размеров, как и в демских памятниках, большинство из них маломогильные, крайне незначителен процент жертвенников, не зафиксированы признаки огненного ритуала, за исключением одного, вероятно, детского трупосожжения, простые грунтовые ямы без дополнительных, за редким исключением, конструкций и ограждений. Обращение с погребенным, включая положение и ориентировку, также демонстрирует устойчивость обряда. По большинству учтенных обрядовых признаков уршакские памятники демонстрируют промежуточные показатели между демскими и ашкардарско-сакмарско-верхнебельскими, что, вероятно, может быть связано с географическим положением группы.

Список литературы

- Гарустович Г.Н., Тагиров Ф.М.** Рсаевский могильник срубной культуры в лесостепном Предуралье // Археология. История. Культура. – Уфа, 2009. – С. 81–95.
- Горбунов В.С.** Курганы эпохи бронзы на правобережье р. Дёмы // СА. – 1977. – № 1.
- Горбунов В.С.** Могильник бронзового века Ветлянка IV // Древняя история населения Волго-Уральских степей. – Оренбург, 1992. – С. 180–181.
- Горбунов В.С., Морозов Ю.А.** Некрополь эпохи бронзы Южного Приуралья. – Уфа, 1991.
- Горбунов В.С., Обыденнов М.Ф.** Курганы срубной культуры у д. Старо-Яппарово на р. Дема // Изв. Воронеж. гос. пед. ин-та. – Воронеж, 1978. – Т. 198.
- Денисов И.В., Исмагилов Р.Б.** I Санзиповский могильник срубной культуры на юге Башкирии // Материалы по эпохе бронзы и раннего железа Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. – Уфа, 1989.
- Збруева А.В., Тихонов Б.Г.** Памятники эпохи бронзы в Башкирии // Древности Башкирии. – М., 1970. – С. 64–65.
- Зданович Г.Б.** Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. – Свердловск, 1988.
- Иванов А.Ю.** О некоторых обрядовых и внеобрядовых характеристиках погребений со скорченными костяками // Древняя история населения Волго-Уральских степей. – Оренбург, 1992. – С. 149–150.
- Исмагил Р.Б., Морозов Ю.А., Чаплыгин М.С.** Николаевские курганы («Елена») на р. Стерля в Башкортостане. – Уфа, 2009.
- Куфтерин В.В.** Палеоантропологические материалы раннесрубного и раннесарматского времени из Ялчикаевского могильника // Этносы и культуры Урало-Поволжья. – Уфа, 2006.
- Куфтерин В.В., Нечвалода А.И.** Палеоантропология Николаевского курганного могильника // Исмагил Р.Б., Морозов Ю.А., Чаплыгин М.С. Николаевские курганы («Елена») на р. Стерля в Башкортостане. – Уфа, 2009. – С. 188–192.
- Мажитов Н.Я.** Научный отчет об археологических исследованиях в 1962 г. Архив УНЦ РАН. – 1963.
- Матвеева Г.И.** Памятники эпохи бронзы на р. Дема // Из истории Башкирии. – Уфа, 1963.
- Матвеева Г.И., Васильев И.Б.** Новые памятники срубной культуры в Башкирии // СА. – 1972. – № 3.
- Матюшин Г.Н.** Археологические исследования в Башкирии в 1962 г. // Архив УНЦ РАН. – 1963.
- Мерперт Н.Я.** Из древнейшей истории Среднего Поволжья // МИА. – М., 1958. – № 61. – С. 89–92.
- Морозов Ю.А.** История племен срубной культуры Бельско-Уральского междуречья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1977.
- Морозов Ю.А., Нигматуллин Р.А.** Этнокультурные связи срубных племен Приуралья в эпоху развитой бронзы: препринт. – Уфа, 1998.
- Морозов Ю.А., Нигматуллин Р.А.** Погребальные памятники срубной культуры бассейна р. Дема: препринт. – Уфа, 2003. – 10 с.

Морозов Ю.А., Пшеничниук А.Х. Новые погребальные памятники срубной культуры в Южной Башкирии // Древности Южного Урала. – Уфа, 1976.

Обыденнов М.Ф. Археологические памятники верховьев Агидели. – Уфа, 1997.

Обыденнов М.Ф., Обыденнова Г.Т. Северо-восточная периферия срубной культурно-исторической общности. – Самара, 1992.

Обыденнов М.Ф., Обыденнова Г.Т. Памятники бронзового века Южного Урала. – Уфа, 1996.

Обыденнова Г.Т. Памятники срубной культуры Волго-Бельского междуречья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1985.

Обыденнова Г.Т., Рутто Н.Г., Исмагилов Р.Б. Акназаровский курганный могильник срубной культуры // Бронзовый век Южного Приуралья. – Уфа, 1985.

Пшеничниук А.Х. Научный отчет об археологических исследованиях в 1970 г. // Архив УНЦ РАН. – 1971.

Рафикова Я.В. Совместные погребения эпохи поздней бронзы на Южном Урале: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Ижевск, 2008.

Рутто Н.Г. Новые срубно-алакульские памятники Южного Приуралья // Приуралье в эпоху бронзы и раннего железа. – Уфа, 1982.

Рутто Н.Г. Срубно-алакульские связи на Южном Урале. – Уфа, 2003. – 55 с.

Сальников К.В. Научный отчет об археологических исследованиях в 1962 г. // Архив УНЦ РАН. – 1963.

Сальников К.В. Научный отчет об археологических исследованиях в 1963 г. // Архив УНЦ РАН. – 1964.

Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. – М., 1967.

Сиротин С.В. Охранные раскопки на юго-западе Башкирии // АО 2004 года. – М., 2005.

Сиротин С.В. Раскопки курганный группы Ялчикаево II в Башкирии // АО 2006 г. – М., 2008.

Смирнов Ю.А. Лабиринт. Морфология преднамеренного погребения. – М., 1997.

Стоколос В.С. Научный отчет об археологических исследованиях в 1969 г. Архив УНЦ РАН. – 1970. – 23 с.

Усачук А.Н., Чаплыгин М.С. Псалии из кургана у хутора Веселый возле Стерлитамака // Уфимский археологический вестник. – Уфа, 2008. – Вып. 8. – С. 58–68.

Чаплыгин М.С., Куфтерин В.В. Каранаевский могильник срубной культуры на юго-западе Башкортостана // XVIII Уральское археологическое совещание: культурные области, археологические культуры, хронология. – Уфа, 2010.

Юсупов Р.М. Антропология населения в эпоху // История башкирского народа. – Уфа, 2009. – Т. 1.

Яминов А.Ф. Бала-Четырманские курганы // Башкирская энциклопедия. – Уфа, 2005. – Т. 1.

Я.В. Рафикова

ПАРНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ АЛАКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

...Парное погребение говорит о давно угасшей любви...

Е.Е. Кузьмина

Одной из ярких составляющих погребального обряда алакульской культуры Южного Урала являются захоронения мужчины и женщины, обращенных лицом друг к другу и часто находящихся в позе «объятия». Подобные погребения, встречающиеся в культурах степной бронзы Евразии, с момента своего открытия привлекали внимание исследователей [Городцов, 1905, с. 192; 1907, с. 226]. В отечественной археологии круг идей, связанных с интерпретацией рассматриваемых захоронений, сначала ограничивался реконструкцией семейно-брачных и общественных отношений. Одновременные захоронения мужчины и женщины вслед за М.И. Артамоновым, впервые подробно рассмотревшим этот вопрос, большинством исследователей трактовались как захоронения насильственно умерщвленных женщин-наложниц со свободными мужчинами, а открытые позднее разновременные захоронения – как свидетельства свободного положения женщин [Итина, 1961, с. 60–61; 1977, с. 217–222; Пьянкова, 1987]. Особого мнения придерживались В.С. Сорокин, Е.Е. Кузьмина и Г.А. Максименков: они считали одновременные захоронения погребениями равноправных супругов [Сорокин, 1962, с. 118–119; Кузьмина, 1964, с. 46; Максименков, 1974, с. 13]. Е.Е. Кузьмина видела в алакульских парных захоронениях воплощение обычая соумирания, родственного индоарийскому обряду сати [1964, с. 48]. Ее работа – одна из первых, в которой на основе изучения парных захоронений не только реконструировались брачная система и

социальный строй древнего населения, но затрагивались и мировоззренческие аспекты.

Нетривиальная для своего времени трактовка захоронений мужчины и женщины эпохи бронзы понто-каспийских степей была предложена Л.С. Клейном, обратившим внимание на то, что погребенные лежат в характерных для полового акта позах – поза «объятия» (в ямных захоронениях) и мужчина за спиной женщины (в катакомбных погребениях). Исходя из отстаиваемой им индо-иранской этнической атрибуции племен данной территории, Л.С. Клейн объяснял такое положение костяков стремлением посмертно воспроизвести ведийский ритуал «дикша» [1979].

В настоящее время в исследованиях, которые в той или иной степени затрагивают проблему совместных захоронений женщины и мужчины, реконструируются по преимуществу не семейные и общественные отношения, а мировоззренческие аспекты жизни древнего общества [Зданович, 1997, с. 53–56; Епимахов, 2002, с. 44, 45, 68–69; Куприянова, 2008].

Л.С. Клейн, отстаивая большую вероятность идентификации катакомбников с индоариями, в качестве одного из значимых аргументов называет обычай парного погребения мужчины и женщины. Полемизируя с Е.Е. Кузьминой, он отмечает, что в катакомбных древностях «доля таких захоронений в 10 раз больше, чем в срубных и, надо полагать, во столько же раз больше, чем в андроновских...» [2010, с. 173]. Предполагая, что в срубной и андроновской культурах почти нет

одновременных погребений мужчин и женщин в позе «объятия», Л.С. Клейн упоминает, что «там умерших мужа или жену, изредка подхоранивали в могилу ранее умерших супруга или супруги» [2007, с. 41]. С последним утверждением можно согласиться, однако одновременные захоронения в позе «объятия» в памятниках, относимых к андроновскому кругу культур, значительно преобладают над разновременными, и их количество, по-видимому, сопоставимо с количеством аналогичных погребений в катакомбных памятниках.

Причем наибольшее их количество среди круга культур андроновской общности зафиксировано в памятниках алакульской культуры. В срубной культуре подобные захоронения, действительно, не столь многочисленны [Рычков, 1982; Цимида-нов, 1998] и в целом, не характерны для срубников. Исследованные же на восточной периферии срубной культуры, в контактной срубно-алакульской зоне Южного Урала погребения в позе «объятия» имеют алакульские черты, что вполне приемлемо объяснять алакульским воздействием: инкорпорированием в срубную среду алакульских женщин [Рафикова, 2009, с. 97, 98].

На данный момент в исследовании парных захоронений алакульской культуры, как нам видится, стоит решение двух основных взаимосвязанных вопросов: 1) кем приходились друг другу погребенные и 2) о насильственной/естественной смерти одного из погребенных. Но предварить решение этих вопросов должен источниковедческий анализ данной группы захоронений, которому посвящена настоящая статья.

На сегодняшний день на южно-уральской территории количество известных автору парных захоронений алакульской культуры составляет 42 погребения (см. *таблицу*). Процент парных погребений среди остальных (преимущественно одиночных) в наиболее полно исследованных могильниках крайне вариативен – от 2 до 17,1 %.

Картографирование захоронений показывает, что наибольшая концентрация могильников с парными захоронениями фиксируется в южных районах рассматриваемой территории (рис. 1).

Предваряя анализ алакульских парных погребений, отметим факторы, снижающие информативность рассматриваемых захоронений как источников для исследования, что ведет к ограничению интерпретационных возможностей. Одним из объективных негативных моментов является нарушение целостности захоронений – из

42 захоронений непотревоженными на момент раскопок оказались менее половины из них – только 17 (40,5 %), и как правило, разрушению подвергалась головная часть могилы.

В исследовании рассматриваемых захоронений очень высока значимость профессиональных антропологических определений, к сожалению, определение пола и возраста обоих усопших констатировано в менее чем половине захоронений – 13 (31 %) погребениях (взрослых), в остальных случаях: либо только у одного усопшего профессионально определен пол и возраст – два погребения (взрослых), либо определения только возраста (без пола) обоих костяков имеются в четырех случаях (трех подростковых и одном детском), либо определен пол и возраст одного и только возраст другого усопшего – в двух случаях (погребения подростка с ребенком). В остальных случаях пол и возраст определялся по размерам костяков и сопутствующему инвентарю авторами раскопок, в единичных случаях автором данной статьи (см. *таблицу*).

Отметим, что в шести потревоженных могилах маркирующего пол инвентаря не найдено (Чапаевский, Хабарное I кольца 6 и 20, Кожумберды кольцо D, Тасты-Бутак I огр. 2, огр. 20 п. 3).

Пол и возраст погребенных. Во всех случаях, где пол обоих погребенных надежно определяется – это мужской и женский костяки. Имеются всего два погребения, в которых пол обоих усопших предположительно определен как женский. В первом случае (п. 4 огр. 22 Тасты-Бутак I) в могиле находились костяки детей 10–12 и 8–9 лет, верхние части скелетов были потревожены, на лодыжках младшего по возрасту имелись бронзовые бусы, недвусмысленно указывающие на женский пол их обладателя, другой усопший не имел никакого поломаркирующего инвентаря (рис. 2, 8). Во втором случае – оба усопших сопровождалась украшениями (Ветлянка IV к. 9 п. 12) (рис. 3, 7) – на черепе у каждого погребенного найдено по две подвески в 1,5 оборота, кроме того, у костяка на левом боку «на запястьях обнаружено по 14 бронзовых бусин» [Горбунов и др., 1990, с. 18], а у костяка, лежавшего на правом боку, набор украшений более представительен: «В области шейных позвонков правого костяка найдено ожерелье из 44 бронзовых бусин и трех клыков кабана. ... На руках правого костяка обнаружены один спиральный и один желобчатый бронзовый браслеты...» [Там же, с. 18]. Кроме перечисленного набора украше-

**Парные погребения из могильников алакульской культуры Южного Урала
(половозрастные определения)**

№ п/п	Наименование могильника	Профессиональные половозрастные определения		Определение пола по инвентарю, возраста по размерам костяка	
		Пол	Возраст	Пол	Возраст
1	2	3	4	5	6
ВЗРОСЛЫЕ					
1	Березовка V к. 6 п. 1 (разновременное: <i>жс к м</i>) Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	Ж* М	Взр. (20–25 л.) Взр. (30–35 л.)		
2×	Валитовский I к. 3 п. 1 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Взр. Взр.
3	Мечет-Сай к. 5 п. 1 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Взр. Взр.
4	Ветлянка IV к. 9 п. 27 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Взр. Взр.
5×	Кунакбай-Сай огр. 1 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж	Взр. Взр.		
6×	Кунакбай-Сай огр. 2 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж*	Взр. Взр. (20 л.)		
7×	Урал-Сай огр. 8 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж*	Взр. (40–60 л.) Взр. (40–60 л.)		
8	Ново-Аккермановка огр. 4 (разновременное: <i>жс к м</i>) Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж	Взр. (35 л.) Взр. (25 л.)		
9	Байту I огр. 4 п. 1 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Взр. Взр.
10	Байту II огр. 9 п. 1 (разновременное: <i>жс к м</i>) Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Взр. Взр.
11×	Кожумберды кольцо D, п. 1 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку				Взр. Взр.
12×	Кожумберды кольцо 2 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Взр. Взр.
13×	Тасты-Бутак I огр. 4 (разновременное: <i>м к жс</i>) Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж*	Взр. Взр.		

Продолжение табл.

1	2	3	4	5	6
14×	Тасты-Бутак I огр. 5 (разновременное (?): м к ж) Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М	взр.	Ж*	Взр.
15×	Тасты-Бутак I огр. 30 п. 1 (разновременное: ж к м) Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	Ж*	Взр.	М	Взр.
16×	Тасты-Бутак I огр. 38 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж*	Взр. Взр.		
17	Ульгули к. 4 п. 5 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Взр. Взр.
ПОДРОСТКИ					
18×	Хабарное I кольцо 6 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку		Подр. Подр.	М (?) Ж (?)	
19×	Хабарное I кольцо 20 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку		Подр. Подр.	М (?) Ж (?)	
20×	Ново-Аккермановка огр. 8 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку		Подр. (11–13 л.) Подр. (11–13 л.)	М (?) Ж (?)	
21×	Турсумбай огр. 6 п. 2 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			Ж* М	Подр. Подр.
22×	Турсумбай огр. 6 п. 3 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			Ж* М	Подр. Подр.
23	Турсумбай огр. 26 п. 1 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			Ж* М	Подр. Подр.
24	Увак к. 15 п. 11 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Подр. Подр.
25	Ветлянка IV к. 9 п. 12 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			Ж* (?) Ж* (?)	Подр. Подр.
26	I Кардаиловский к. 24 п. 4 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М (?) Ж (?) (локализация украшений не определяется)	Подр. Подр.
27×	Чапаевский огр. Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М (?) Ж (?)	Подр. Подр.

Продолжение табл.

1	2	3	4	5	6
ДЕТИ					
28	Байту I огр. 4 п. 2 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Подр. Подр.
29	Увак к. 15 п. 16 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Реб. Реб.
30	Ветлянка IV к. 9 п. 28 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Реб. Реб.
31×	Тасты-Бутак I огр. 2 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку		Реб. (4 г.) Реб. (4 г.)	? ?	
32×	Тасты-Бутак I огр. 25 п. 2 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Реб. Реб.
33	Ульгули к. 5 п. 2 костяк 1 на лев боку костяк 2 на прав. боку			М Ж*	Реб. Реб.
ПОДРОСТОК + РЕБЕНОК					
34×	Увак п. 21 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку			М Ж*	Подр. Реб.
35×	Тасты-Бутак I огр. 20 п. 3 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку		Подр. (11–13 л.) Реб. (8 л.)	Ж (?) ?	
36×	Тасты-Бутак I огр. 22 п. 4 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку		Подр. (10–12 л.) Реб. (8–9 л.)	М (?) Ж*	
ВЗРОСЛЫЙ+ПОДРОСТОК					
37×	Алакуль к. 8 п. 7 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж*	Взр. Подр. (15 л.)		
38×	Тасты-Бутак I огр. 22 п. 2 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	Ж	Взр. Подр. (12 л.)	М	
39×	Тасты-Бутак I огр. 43 (разновременно: ж к м) Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж*	Взр. Подр. (14–16 л.)		
40×	Тасты-Бутак I огр. 48 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	Ж	Подр. (12 л.) Взр.	М	

Окончание табл.

1	2	3	4	5	6
ВЗРОСЛЫЙ + РЕБЕНОК					
41	Тасты-Бутак I огр. 39 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж*	Взр. Реб. (9–10 л.)		
42	Хабарное I кольцо 13 Костяк 1 на левом боку Костяк 2 на правом боку	М Ж*	Взр. Реб.		

Примечание. × – нарушенные погребения; * – наличие украшений.

ний, на рисунке плана погребения у находящегося на правом боку костяка различимы также бронзовые бусины в области щиколоток [Там же, рис. 6, б]. Трактовать этот случай крайне затруднительно, поскольку более ни в одном захоронении в позе «объятия» алакульской культуры Южного Урала не встречены украшения на обоих костяках.

По возрастному критерию алакульские парные захоронения разделяются на две крайне неравномерные в количественном отношении группы: одновозрастных – 36 (85,76 %) и разновозрастных – шесть (14,3 %) погребений. В группе одновозрастных фиксируется значительное преобла-

дание погребений взрослых, на долю которых приходится около половины от всех захоронений данной группы – 17 (47,2 %), приблизительно равное количество захоронений приходится на долю подростковых и детских, их соответственно по десять (27,8 %) и девять (25 %).

Разновозрастные захоронения представлены захоронениями взрослого с подростком – четыре (66,7 %) и взрослого с ребенком – два (33,3 %).

Расположение на погребальной площадке. Подавляющее большинство могил с парными захоронениями взрослых занимали центральное положение на погребальной площадке

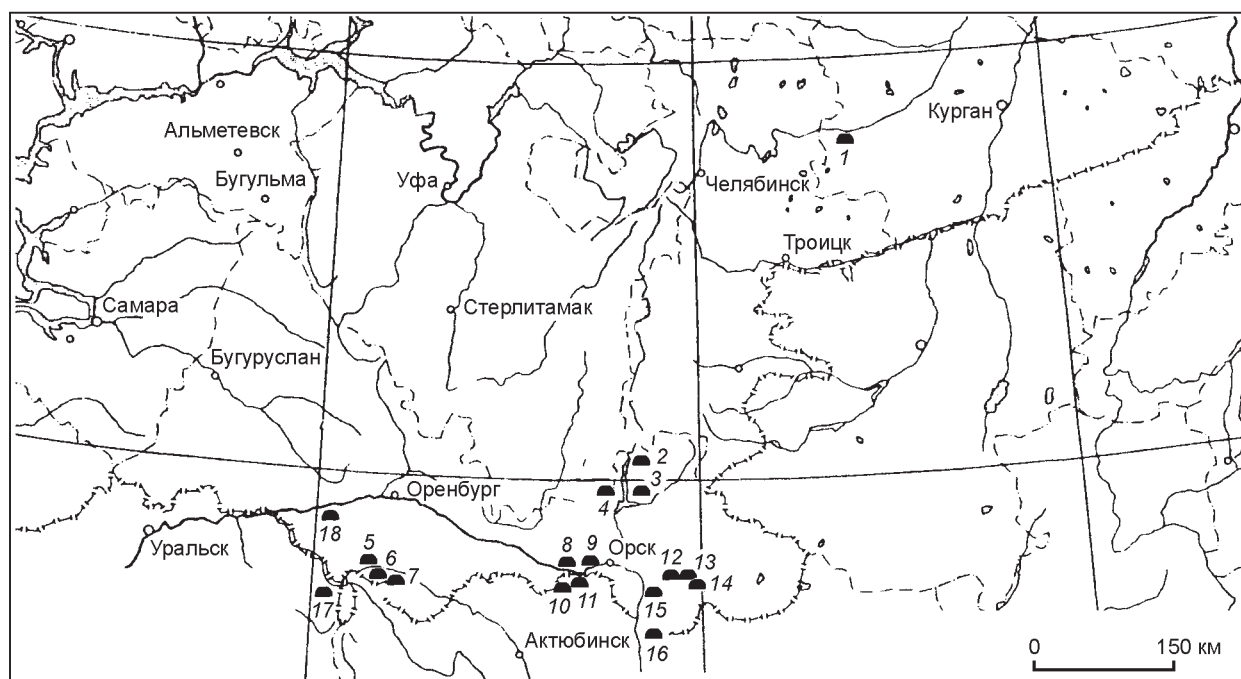


Рис. 1. Могильники с парными погребениями алакульской культуры Южного Урала.

1 – Алакуль; 2 – Березовка V; 3 – Чапаевский; 4 – Валитовский I; 5 – Ветлянка IV; 6 – Мечет-Сай; 7 – Увак; 8 – Хабарное I; 9 – Ново-Аккермановка; 10 – Кунакбай-Сай; 11 – Урал-Сай; 12 – Байту I; 13 – Байту II; 14 – Туреумбай II; 15 – Кожумберды; 16 – Тасты-Бутак I; 17 – Ульгули I; 18 – Кардаиловский I.

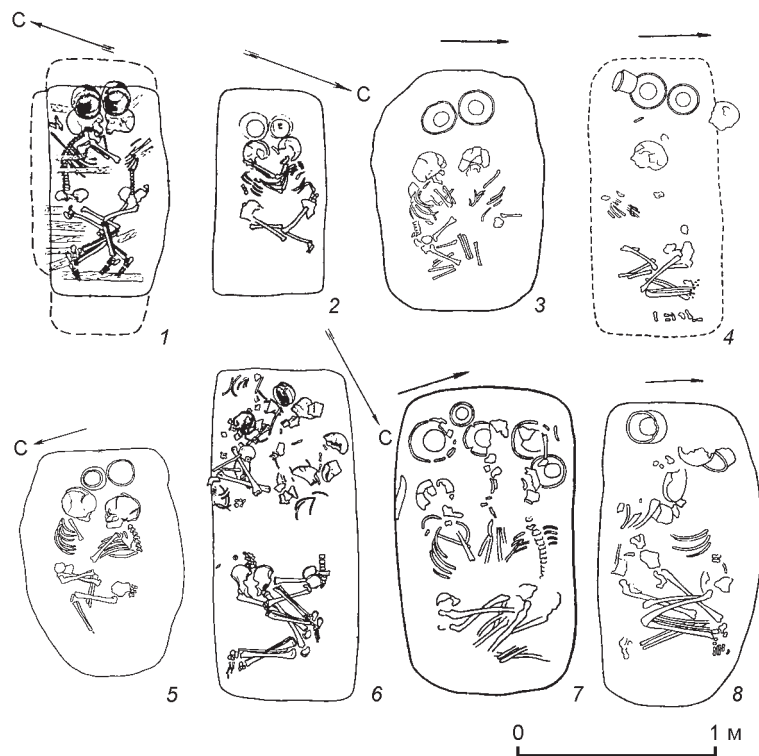


Рис. 2. Погребения детей (1–5), подростка и ребенка (6–8).

1 – Увак к. 15 п. 16 (по: [Федорова-Давыдова, 1960]); 2 – Байту I огр. 4 п. 2 (по: [Кузьмина, 1961]); 3 – Тасты-Бутак I огр. 2; 4 – Тасты-Бутак I огр. 25 п. 2 (по: [Сорокин, 1962]); 5 – Ульгули I к. 5 п. 2 (по: [Бисембаев и др., 2004]); 6 – Увак к. 15 п. 21 (по: [Федорова-Давыдова, 1960]); 7 – Тасты-Бутак I огр. 20 п. 3; 8 – Тасты-Бутак I огр. 22 п. 4 (по: [Сорокин, 1962]).

(12 или 70,6 %), за единичным исключением все они происходят из одномогильных сооружений с южных районов рассматриваемой территории. Практически все периферийно расположенные захоронения (5 или 29,4 %) находились в сооружениях, в организации погребального пространства которых отсутствует принцип иерархии (Ветлянка IV к. 9 п. 27; Кожумберды кольцо Д п. 1, Байту I огр. 4 п. 1 Байту II огр. 9, п. 1), только в одном случае можно предполагать организацию погребального пространства по схеме центр-периферия (Ульгули к. 4 п. 5).

Несколько иная картина по данной позиции фиксируется в отношении могил с захоронениями подростков: преобладание периферийного размещения могил (6 или 60 %) над центральным их местоположением (4 или 40 %). Так же как и в случае с захоронениями взрослых, периферийные погребения подростков располагались в комплексах с немаркированным центром, а расположенные в центре могилы происходят из одномогильных комплексов. Тенденция зависимости рас-

положения могилы на погребальной площадке от возраста захороненных еще более отчетливо проявляется в детской группе – только два погребения занимали центральную позицию (22,2 %), остальные были периферийными (77,8 %).

В группе разновозрастных погребений все захоронения взрослых с подростками и детьми занимали центральную позицию на погребальной площадке, причем два захоронения маркировали центр в многомогильных сооружениях.

Могильные ямы. В большей части погребений всех возрастных групп могильные сооружения представлены простыми грунтовыми ямами, имевшими прямоугольную в плане форму, за исключением одной овальной. Дополнительные конструкции могильных ям прослежены только в пяти случаях – в трех захоронениях взрослых: уступы вдоль обеих длинных стенок (Березовка V к. 6) (рис. 4, 1); деревянный сруб, обложенный по периметру камнями (Урал-Сай огр. 8) (рис. 5, 4), выкладка камнями контуров ямы на уровне

материка (Кожумберды I огр. 2) и в двух захоронениях взрослого с подростком: каменный ящик (Тасты-Бутак I огр. 48) (рис. 6, 4) и деревянный сруб (Алакуль к. 8 п. 7) (рис. 6, 1).

Ориентировка погребенных. В большинстве случаев ориентировка усопших в парных захоронениях не отличалась от общепринятых ориентировок погребенных в могильниках, из которых они происходят. Причины единичных случаев (всего четыре) отклонения ориентировок в парных погребениях установить сложно.

Одновременность/разновременность захоронений. Большинство погребений совершены одновременно (35 или 80,5 %), но имеются и разновременные (7 или 16,7 %). Только одно разновременное захоронение содержало покойных разного возраста: в огр. 43 Тасты-Бутак I находились мужчина «возмужалого возраста» с девушкой-подростком 14–16 лет (рис. 6, 3), во всех остальных случаях усопшие принадлежат к одной возрастной категории (взрослые). Причем в тех случаях, когда возраст определен наиболее точно женщина

всегда немного младше мужчины: Ново-Аккермановка огр. 4 – мужчина 25 лет и женщина 20–25; Березовка V к. 6 п. 1 – мужчина 35 лет, женщина – 30–35 лет.

На сегодняшний день количество погребений, в которых женщина подхоронена в могилу к погребенному ранее мужчине, чуть больше (их четыре: Байту II огр. 9 п. 1, Ново-Аккермановка огр. 4, Тасты-Бутак I огр. 30 и Березовка V к. 6 п. 1) чем тех, где к первоначально захороненной женщине подхоронен мужчина (таких три: Тасты-Бутак I огр. 4, 5, 43).

Судя по состоянию останков первоначально погребенных индивидов, промежуток времени между подхоронениями был различным. Можно выделить три временных интервала:

1. Минимальный временной период, когда останки первоначально погребенных находились в сочлененном состоянии и в относительном порядке – Байту II огр. 9 п. 1 (см. рис. 4, 5), Ново-Аккермановка огр. 4 (рис. 4, 6). В последнем погребении женский костяк располагался на груди «со слегка согнутыми вправо ногами и согнутыми к лицу руками» [Подгаецкий, 1940, с. 73]. Вопреки мнению автора раскопок, полагавшему, что такое положение женщины обусловлено сбросом ее тела в могилу после насильственного умерщвления [Там же, с. 81], В.С. Сорокин предложил другую реконструкцию: могила была вырыта с расчетом только для одного человека – мужчины, вскоре после захоронения которого случилась неожиданно скорая внезапная смерть его жены, для погребения которой эта могила была вновь вскрыта, «но так как из-за незначительности протекшего времени труп мужчины еще не разложился, в могиле оказалось недостаточно места для погребения женщины в обычном положении (на боку с подогнутыми ногами). Расширение могилы, очевидно, оказалось нежелательным или, вернее невозможным вви-



Рис. 3. Погребения подростков.

1 – Турсумбай II огр. 6 п. 2; 2 – Турсумбай II огр. 6 п. 3; 3 – Турсумбай II огр. 26 п. 1 (по: [Кузьмина, 1962]); 4 – Ново-Аккермановка огр. 8 (по: [Подгаецкий, 1940]); 5 – Кардаилковский I к. 24 п. 4 (по: [Моргунова, 1996]); 6 – Увак к. 15 п. 11 (по: [Федорова-Давыдова, 1960]); 7 – Ветлянка IV к. 9 п. 12 (по: [Горбунов и др., 1990]); 8 – Чапаевский (по: [Васильев и др., 2008]); 9 – Хабарное I кольцо 20; 10 – Хабарное I кольцо 6 (по: [Федорова-Давыдова, 1959]).

ду присутствия разлагающегося трупа, и поэтому женщину похоронили, используя свободное место, но не в традиционной позе. Это было отступлением от одного обычая в интересах сохранения другого, очевидно, более важного – погребения вдовы в могиле покойного мужа» [Сорокин, 1962, с. 105–106]. Данная интерпретация была принята и другими исследователями [Кузьмина, 1964, с. 45].

2. Более продолжительный промежуток времени, достаточный для того, чтобы сочленения суставов ранее захороненного разложились, но



Рис. 4. Погребения взрослых (разновременные).

1 – Березовка V к. 6 п. 1; 1а – Березовка V к. 6 п. 1, бляха в виде свастики (по: [Федоров, Рафикова, 1996]); 2 – Тасты-Бутак I огр. 30 п. 1; 3 – Тасты-Бутак I огр. 4; 4 – Тасты-Бутак I огр. 5 (по: [Сорокин, 1962]); 5 – Байту II огр. 9 (по: [Кузьмина, 1961]); 6 – Ново-Аккермановка огр. 4 (по: [Подгаецкий, 1940]).

не настолько, чтобы полностью распались кости (Тасты Бутак I огр. 43) (рис. 6, 3), «но вообще разложение тела женщины к моменту погребения мужчины не зашло еще очень далеко» [Сорокин, 1962, с. 102].

3. Значительный промежуток времени, по истечении которого останки были скелетированы (Тасты-Бутак I огр. 4, огр. 5 (?), огр. 30 п. 1, Березовка V к. 6 п. 1). В последних двух захоронениях, наиболее полно сохранившихся, костяк ранее захороненного сложен грудой перед позднее захороненным таким образом, что видно стремление соблюсти, хотя бы приблизительно, анатомический порядок (рис. 4, 1, 2). Причем в обоих случаях, вопреки правилам положения мужчин на левом боку в парных погребениях, на левом боку находился женский костяк.

Положение погребенных.

В подавляющем большинстве погребений мужской костяк располагался в скорченном положении на левом боку, а женский – в скорченном положении на правом боку (30–85,7 %). Однако имеются пять (14,3 %) захоронений, где на левом боку находился женский костяк – два разновременных погребения взрослых (Тасты-Бутак I огр. 30 п. 1 и Березовка V к. 6 п. 1) и три захоронения подростков из могильника Турсумбай II (огр. 6 погребения 2 и 3, огр. 26 п. 1) (рис. 3, 1–3).

Несмотря на то что относительно целыми до нас дошли 17 захоронений, положение рук обоих погребенных прослеживается только в семи захоронениях. В двух из них фиксируется поза «взаимных объятий» – погребение взрослых (Ульгули к. 4 п. 5) (рис. 7, 2) и взрослого с ребенком (Хабарное I к. 13) (см. рис. 6, 6), в четырех только один из усопших обнимает другого: в двух случаях женский костяк обнимает мужской – в погребении взрослого с ребенком (Тасты-Бутак I огр. 39) (рис. 6, 5) и в погребении детей

(Байту I кольцо 4 п. 2) (см. рис. 2, 2), в двух других – мужской костяк обнимает женский – в погребении взрослых (Байту I кольцо 4 п. 1) (рис. 7, 1) и в погребении подростков (Турсумбай II кольцо 26 п. 1) (см. рис. 3, 3), в то время как руки другого костяка из этих захоронений согнуты в локтях и кисти рук расположены перед лицом. В одном случае кисти рук обоих усопших находились перед их лицами – в погребении детей (Тасты-Бутак I огр. 20 п. 3) (см. рис. 2, 7).

В восьми погребениях прослеживается положение рук только одного усопшего. В двух случаях женские костяки обнимали мужские – в разновременных захоронениях взрослых: в п. 1 к. 6 Березовки V женщина обеими руками обнимала кости мужчины (рис. 4, 1), в п. 1 огр. 9 Байту II левая рука женщины лежала на руке и груди муж-

чины (рис. 4, 5). В двух случаях мужской костяк обнимал женский (Ветлянка IV к. 9 п. 27, Увак к. 15 п. 16) (см. рис. 2, 1). В четырех погребениях руки одного из усопших были согнуты в локтях с расположением кистей у лица: в детском захоронении покойник, положенный на левый бок (Тасты-Бутак I огр. 2) (рис. 2, 3), в подростковом – мальчик на правом боку (Турсумбай кольцо 6 п. 3) (рис. 3, 2), в погребениях взрослых – в одном случае мужчина (Тасты-Бутак I огр. 4) (рис. 4, 3), в другом женщина из разновременного захоронения (Тасты-Бутак I, огр. 30) (рис. 4, 2).

Таким образом, выражение *погребение в позе «объятия»* вполне оправдывает себя применительно к парным захоронениям алакульской культуры Южного Урала.

Взаимное расположение ног погребенных определяется в 22 погребениях, из них – семь взрослых, шесть подростковых, пять детских и по два захоронения взрослого с подростком и взрослого с ребенком. Всего взаимное расположение ног погребенных дает четыре позиции:

1) согнутые в коленях кости ног одного из погребенных перекрывают также согнутые в коленях кости ног другого;

2) согнутые в коленях кости ног одного из погребенных находятся на также согнутых коленях другого (колени одного упираются сверху в бедро другого);

3) согнутые в коленях кости ног обоих погребенных «переплетены» (по одной ноге каждого костяка находится между ног другого);

4) согнутые в коленях кости ног одного из погребенных находятся между также согнутыми в коленях костями ног другого.

Последние две позиции можно рассматривать как проявление позы «объятия», в какой-то мере и вторая позиция ног погребенных является вариантом такой позы.

Как представляется, на сегодняшний день из-за достаточно немногочисленной выборки опре-

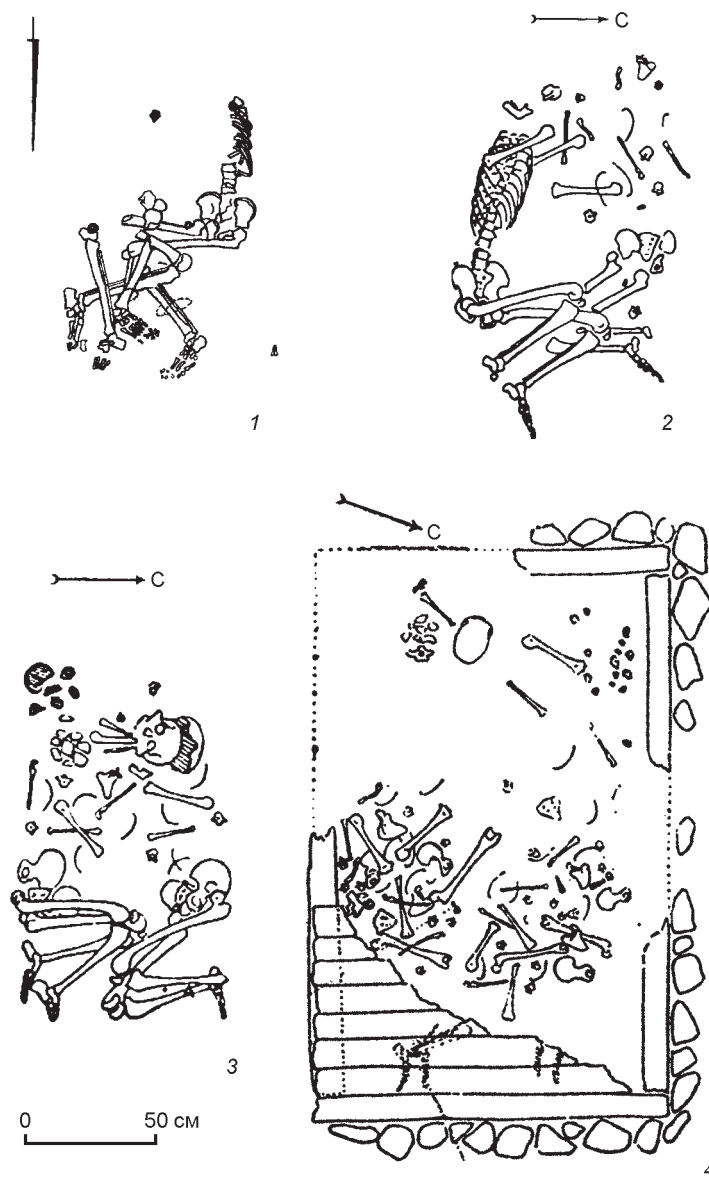


Рис. 5. Погребения взрослых (одновременные).

1 – Валитовский I к. 3 п. 1 (по: [Сунгатов, Исмагилов, 2004]); 2 – Кунакбай-Сай огр. 1; 3 – Кунакбай-Сай огр. 2; 4 – Урал-Сай огр. 8 (по: [Грязнов, 1927]).

деление строгой зависимости положения ног от возраста погребенных несколько затруднительно, однако некоторые тенденции прослеживаются.

Только в захоронениях взрослых встречаются все выделенные позиции расположения ног погребенных. Наиболее часто взрослых укладывали таким образом, что ноги одного из погребенных перекрывают ноги другого – таких захоронений три, причем в двух из них кости ног женщины перекрывают мужские (Байту I огр. 4 п. 1, Байту II огр. 9 п. 1 (разновр.)), а в одном – мужские перекрывают женские ноги (Кунакбай-Сай огр. 1)



Рис. 6. Погребения взрослого и подростка (1–4), взрослого и ребенка (5, 6).
1 – Алакуль к. 8 п. 7 (по: [Сальников, 1952]); 2 – Тасты-Бутак I огр. 22 п. 2; 3 – Тасты-Бутак I огр. 43 (разновременное); 4 – Тасты-Бутак I огр. 48 (по: [Сорокин, 1962]); 5 – Тасты-Бутак I огр. 39 (по: [Сорокин, 1962]); 6 – Хабаровое I кольцо 13 (по: [Федорова-Давыдова, 1959]).

(рис. 5, 2). В двух захоронениях кости ног женщины располагались между костями ног мужчины (Ульгули к. 4 п. 5 (рис. 7, 2), Ветлянка IV к. 9 п. 27). Известно по одному случаю, когда ноги погребенных были «переплетены» (Валитовский I к. 3 п. 1) (рис. 5, 1) и когда согнутые в коленях ноги мужчины находились на согнутых коленях женщины (Кунакбай-Сай огр. 2) (рис. 5, 3).

Среди подростковых захоронений, где зафиксировано положение ног обоих усопших, на данный момент ни разу не встречена позиция, когда ноги одного погребенного были бы уложены поверх ног другого. Наиболее часто встречаются погребения, когда кости ног одного из усопших находятся на коленях другого, таких три, причем только в одном случае кости ног женского костяка находились на коленях мужского (Турсумбай II, огр. 6, п. 2) (см. рис. 3, 1),

в остальных – ноги мужского костяка покоятся на коленях женского (Турсумбай II, огр. 26, п. 1, Увак к. 15 п. 11) (рис. 3, 3, 6). Дважды встречена позиция кости ног «переплетены» (Ново-Аккермановка огр. 8, Чапаевский) (рис. 3, 4, 8) и только в одном случае встречена позиция, когда кости ног женского костяка находились между ног мужского (Турсумбай II кольцо 26 п. 1) (рис. 3, 3).

В детских захоронениях, так же как и во взрослых, наиболее часто укладывали ноги одного из усопших поверх ног другого, причем во всех из них сверху находились кости ног девочек (Байту I огр. 4 п. 2, Увак к. 15 п. 21, Тасты Бутак I огр. 22 п. 4) (см. рис. 2, 2, 6, 8). Прослежено по одному случаю, когда кости ног мальчика покоились на коленях девочки (Тасты Бутак I огр. 25 п. 2) (рис. 2, 4) и кости ног мальчика находились между костями ног девочки (Увак к. 15 п. 16) (рис. 2, 1). На сегодняшний день в детских захоронениях пока не встречена позиция

«переплетенных» ног.

В разновозрастных захоронениях – взрослого с подростком и взрослого с ребенком – не встречено позиций, когда ноги покойных были «переплетены» и ноги одного погребенного находились бы между ног другого. В обеих возрастных подгруппах имелось по одному погребению, где ноги мужского костяка перекрывали женские (Тасты-Бутак I огр. 43 и огр. 39) (рис. 6, 3, 5), и по одному погребению, где ноги одного усопшего покоились на коленях другого, в захоронении взрослого с подростком – ноги подростка на коленях женщины (Тасты-Бутак I огр. 48) (рис. 6, 4), в захоронении взрослого с ребенком – ноги девочки на коленях мужчины (Хабарное I, к. 13) (рис. 6, 6).

Несмотря на то что в ходе анализа были выявлены ведущие позиции взаимного расположения ног в погребениях разных возраст-

ных групп, нельзя исключать и их коррекции с увеличением численности выборки.

Можно констатировать, что объем информации, полученной в ходе анализа положения костяков, имеет достаточно ограниченный (частный) характер. Во-первых, выражению позы «объятия» в подавляющем большинстве случаев (около 60 %) соответствует как расположение рук, так и ног усопших. Во-вторых, положение ног в первой позиции (когда согнутые в коленях кости ног одного из погребенных перекрывают также согнутые в коленях кости ног другого) позволяет установить, кто из усопших первым укладывался в могилу: в пяти случаях это были мужчины и в трех – женщины. В определенной мере это может свидетельствовать о равном статусе мужчин и женщин из одновременных захоронений.

Инвентарь. Инвентарь из парных захоронений представлен керамикой, украшениями, предметами вооружения, т.н. «поясными пряжками» и астрагалами. Астрагалы были обнаружены только в двух захоронениях – подростков (Увак к. 15 п. 11) и детей (Тасты-Бутак I огр. 25 п. 2).

1. Женский инвентарь. Украшения. Украшения были обнаружены в 31-м (73,8 %) захоронении. Важно отметить, что, как и подобает разнополым захоронениям, они находились, как правило, только у одного из погребенных.

Потребность практически всех захоронений без украшений и их относительно небольшое количество – 11 (26,2 %), дает нам основание предполагать, что наличие украшений в парных захоронениях алакульской культуры являлось правилом. Только в одном ненарушенном захоронении их не было – в разновременном захоронении взрослых в огр. 4 Ново-Аккермановки. С одной стороны, отсутствие украшений в этом погребении как будто подтверждает трактовку Г.В. Подгаецкого о насильственном умерщвлении

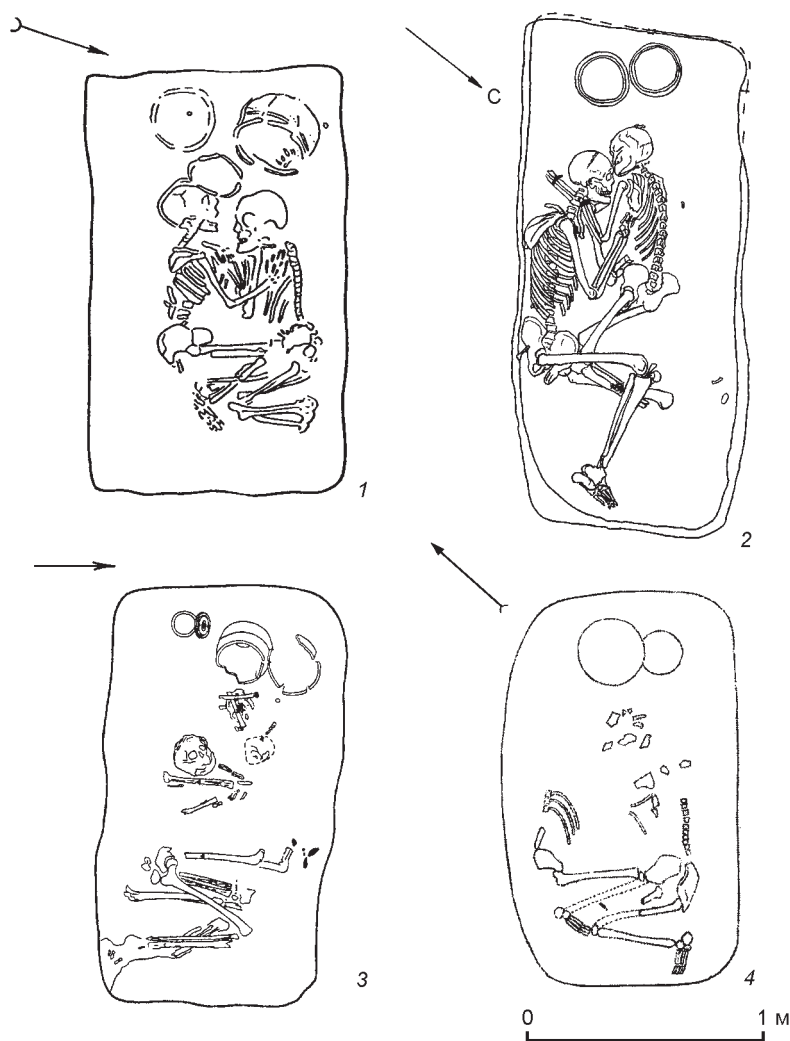


Рис. 7. Погребения взрослых (одновременные).

1 – Байту I огр. 4 п. 1 (по: [Кузьмина, 1964]); 2 – Ульгули I к. 4 п. 5 (по: [Бисембаев и др., 2004]); 3 – Тасты-Бутак I огр. 38 (по: [Сорокин, 1962]); 4 – Кожумберды кольцо D п. 1 (по: [Кривцова-Гракова, 1948]).

нии женщины и сбросе ее в могилу, с другой – отсутствие украшений практически во всех раскопанных погребениях вышеуказанного могильника наталкивает на мысль о какой-то специфике, возможно, погребального обряда, а возможно, и каких-то особенностей жизненных реалий популяции, в результате которых покойницы захоранивались без украшений.

Интересно отметить, что из разновременных захоронений только одно выделялось количеством и разнообразием украшений – Байту II огр. 9 п. 1, где представлен наиболее полный вариант сочетания категорий украшений по схеме: голова + руки + ноги + шея + пр. украшения, в остальных захоронениях состав украшений

не столь разнообразен. Например, в ненарушенном захоронении могильника Березовка V к. 6 п. 1 была украшена только область шеи покойницы. Возможно, ограниченность набора украшений в разновременных захоронениях объясняется нарушением большинства комплексов (четыре из семи), что мешает с полной объективностью оценить ситуацию по данному вопросу. По остаткам украшений в нарушенных захоронениях можно установить, что по крайней мере в двух из них декорирование костюма не ограничивалось только одной зоной.

В одновременных захоронениях ограниченный набор украшений наблюдается, в основном, в погребениях детей и взрослых с детьми. В последней группе встречен только один вид украшений – бронзовые браслеты. В детских захоронениях, кроме браслетов, зафиксированы еще височные кольца, височные подвески в полтора оборота, раковины с отверстием, низки бус на щиколотках, однако, несмотря на некоторое разнообразие видов, судя по ненарушенным комплексам, декорирование преимущественно ограничивалось одной зоной – либо рук (Байту I огр. 4 п. 2), либо головы и волос (Увак к. 15 п. 16, Ветлянка IV к. 9 п. 28, Ульгули к. 5 п. 2). Только в одном нарушенном захоронении зафиксировано размещение украшений в двух зонах – на руках и ногах (Тасты-Бутак I п. 2).

В одновременных погребениях взрослых, подростков и взрослых с подростками, напротив, состав украшений отличается разнообразием: здесь встречены разные виды комбинации категорий украшений. В ненарушенных захоронениях отмечаются следующие схемы размещения украшений – голова + руки + ноги + шея (Увак к. 15 п. 11), голова + руки + шея (Байту I огр. 4 п. 1, Турсумбай II огр. 1, Ветлянка IV к. 9 п. 12), голова + руки (Ветлянка IV к. 9 п. 27, Ульгули к. 4 п. 5, I Кардаилловский к. 24 п. 4). Оформление одной зоны украшениями – груди зафиксировано только в захоронении взрослых (Мечет-сай к. 5 п. 1).

Самым распространенным видом украшений являются браслеты, встреченные в погребениях всех возрастных групп. Низки бус на щиколотках ног, просверленные раковины и подвески в полтора оборота, бронзовые и пастовые бусы не обнаружены только в захоронениях подростков с детьми, в погребениях остальных возрастных групп они зафиксированы. Некоторые виды украшений встречаются только в погребениях определенной

возрастной группы, так, только во взрослых захоронениях встречены гривна и прорезная бронзовая пластинка в виде квадратной рамки, в которую вписана свастика (см. рис. 4, 1а), только в подростковых и детских захоронениях – круглые височные кольца, а бляшки разных форм – в захоронениях взрослых и взрослого с подростком. Только в захоронении взрослого с подростком встречена очковидная подвеска.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что по составу и количеству украшений покойниц одновременные захоронения не уступают разновременным.

Не хочется оставить без внимания факт сохранности органических остатков, прилежавших к прорезной пластинке из п. 1 к. 6 Березовки V. Они были проанализированы канд. биол. наук А.Р. Ишбирдиным, который выяснил их состав: фрагменты человеческой кожи с прилипшим человеческим волосом; вязаного изделия, окрашенного в карминно-красный цвет; выделанной кожи козы, также окрашенной в карминно-красный цвет, и остатков измельченных перьев. Трикотажное изделие, вязанное тонкой иглой из двух ниток пряжи овечьей шерсти, являлось, скорее всего, нательной одеждой – платьем (?). Способ вязки – т.н. простая резинка (чередование одной лицевой и одной изнаночной петель). Присутствие единичных прямых нитей пряжи черного и красного цвета интерпретируются как фрагменты декоративной отделки типа бахромы или кисти. Остатки выделанной кожи козы в сочетании с измельченными перьями реконструируются как фрагмент подушки, на которой покоилась голова усопшей [Ишбирдин, 1998, с. 162–164]. Судя по сохранившемуся на коже женщины человеческого волосу красного оттенка, усопшая имела весьма необычный облик. Не исключено и то, что цвет волоса обусловлен контактом с одеждой и подушкой, но, возможно, имело место и специальное окрашивание волос. Исследователь женского костюма эпохи бронзы урало-казахстанских степей Е.В. Куприянова отмечает, что во всех случаях сохранности фрагментов одежды в погребениях они окрашены именно в красный цвет краппом, полученным из корней марены красильной [2008, с. 84, 85].

2. *Мужской инвентарь*. Инвентарь, соотносимый с мужскими костями из рассматриваемых захоронений, крайне скуден. Такая ситуация типична и для подавляющего большинства одиноч-

ных мужских захоронений алакульской культуры. В парных погребениях артефакты, приуроченные к мужским костякам, относятся к двум категориям: оружие и предметы, которые можно обозначить как аксессуары – т.н. поясные пряжки.

Оружие – кремневый наконечник стрелы и бронзовая булава, были обнаружены в двух захоронениях. Наконечник стрелы из п. 21 к. 15 могильника Увак локализовался позади тазовых костей мужского костяка. Бронзовая литая булава эллипсовидной формы, найденная возле костей таза мужчины из п. 7 к. 8 могильника Алакуль, по мнению Д.В. Нелина и Д.Г. Здановича, должна была выполнять исключительно символические функции [Нелин, 1995, с. 133; Зданович, 1997, с. 55]. В качестве одного из аргументов другой исследователь отмечает относительно небольшие размеры изделия. Действительно, размеры невелики: наибольший диаметр – 3,5 см, высота – 7 см, диаметр отверстия – 1,5–2,2 см [Сальников, 1952, с. 54]. Однако при ее весе (580 г) не приходится сомневаться в последствиях удара такой булавой, который легко мог привести к летальному исходу.

Из пяти захоронений происходят шесть т.н. поясных пряжек. Пять однотипных пряжек изготовлены из створок раковин (*Unio*, *Pectunculus aralensis roman*), имеют просверленное круглое отверстие в центре и боковое овальное (Валитовский I к. 3 п. 1, Ново-Аккермановка огр. 4, Тасты-Бутак I огр. 43, Увак к. 15 п. 21). Одна представляет собой круглую костяную пластину с круглым центральным отверстием и двумя боковыми (Алакуль к. 8 п. 7).

Анализ данных предметов, происходящих с территории Волго-Уралья, был осуществлен в свое время Р.А. Литвиненко, который разработал их типологию и определил хронологическую и территориальную приуроченность выделенных типов [2001]. Пряжка из могильника Алакуль отнесена к немногочисленному 6 типу, в состав которого входят пряжки из могильников с относительно более ранней хронологической позицией – Потаповка к. 3 п. 9 и Каменный Амбар-5 к. 4 п. 3. Остальные пряжки из рассматриваемых парных погребений относятся к наиболее многочисленному из всех типов – 9-му (20 экземпляров), ареал распространения которого довольно широк: лесостепи Волго-Уралья, Западной Сибири [Там же, с. 90–91]. Исследователь придерживается мнения специалистов, которые наряду с ранее принятым

определением функции рассматриваемых предметов как пряжек поясного ремня предполагают их использование и как привески на пояс или другую часть одежды [Там же, с. 93]. Замечание автора о находках пряжек и в некоторых женских захоронениях ставит под сомнение их определение как сугубо мужского атрибута. Однако в анализируемых парных захоронениях практически все они были приурочены к мужским костякам. Только в одном погребении 2 пряжки располагались вблизи женского костяка (Валитовский I к. 3 п. 1), но поскольку мы имеем дело с нарушенным комплексом, то вполне вероятно, что пряжки находились там не *in situ*. Локализация остальных изделий в районе тазовых костей мужских костяков не оставляет сомнений в их трактовке как мужского атрибута.

3. *Керамика. Постановка сосудов.* Сосудами сопровождалась практически все захоронения, только в одном потревоженном погребении (Кунакбай-Сай огр. 1) керамики не было обнаружено. В 12 (29,3 %) нарушенных захоронениях точное количество сосудов не определяется. Для 29 (70,7 %) захоронений количество сосудов точно установлено. Наиболее часто захоронения сопровождалась двумя сосудами – таких погребений зафиксировано 19 (65,5 %). По три сосуда было обнаружено в восьми захоронениях (27,6 %). Отмечаются единственные случаи, когда в могилах было зафиксировано по одному и пять сосудов (по 3,4 %).

Постановка сосудов практически во всех погребениях была осуществлена по одной позиции: они находились исключительно над теменной частью черепа усопших. По локализации фрагментов сосудов в большинстве нарушенных захоронений можно сказать, что они были поставлены именно над головами погребенных. Только в одной могиле зафиксировано экстраординарное размещение сосуда – один из трех горшков располагался на костях усопшего в районе его живота (Ветлянка IV к. 9 п. 12) (рис. 3, 7).

Отдельного рассмотрения требует вопрос о приуроченности сосудов тому или иному погребенному. В единственном случае, когда в могиле находился один сосуд, он был поставлен над теменем мужчины (рис. 6, 6). Понятно, что в случае, когда в могиле находилось по два сосуда, каждому из усопших был предназначен один сосуд, каких-либо случаев предпочтений, например, чтобы два сосуда были поставлены одному усоп-

шему, мы не наблюдаем. Даже когда мы имеем дело с непарным количеством сосудов в могиле, три и пять, в большинстве случаев они были поставлены над головами усопших у стенки могилы таким образом, что выделить, кому конкретно из усопших предназначалось большее количество сосудов, не представляется возможным, т.к. сосуды были поставлены совокупно для обоих погребенных. Исключения фиксировались для одного захоронения подростков (Ветлянка IV к. 9 п. 12) и двух одновременных захоронений взрослых (Ново-Аккермановка огр. 4 и Березовка V к. 6 п. 1). В первом случае усопший, расположенный на левом боку, сопровождается одним сосудом, поставленным над головой, а погребенный, лежащий на правом боку, двумя сосудами, один из которых также находился над головой, а второй сосуд был положен на его тело в области живота. В погребении огр. 4 Ново-Аккермановки ранее захороненный мужчина сопровождается одним сосудом, а подхороненная женщина двумя. В п. 1 к. 6 Березовки V первоначально захороненный мужчина сопровождался двумя сосудами, фрагменты которых были встречены в засыпке могилы, а подхороненная впоследствии женщина одним.

Единичные случаи предпочтений по количеству сосудов общей эгалитарной картины (отсутствия приоритета в постановке сосудов возле одного из погребенных) не меняют.

Таким образом, можно заключить, что проведенный анализ не дает оснований для предположений о подчиненности кого-то из погребенных в парных захоронениях алакульской культуры Южного Урала.

В свое время М.А. Итина предположила различный статус женщин из одновременных и разновременных парных захоронений культур степной бронзы (Тасты-Бутак I, Кокча 3) – соответственно умерщвленные рабыни-наложницы и умершие своей смертью свободные женщины. Основанием для этого послужили два обстоятельства – юный возраст и отсутствие или бедность украшений покойниц из одновременных захоронений по сравнению с разновременными [Итина, 1977, с. 216–218, 222, 225, 227]. Накопленные на сегодняшний день данные по алакульским парным погребениям не позволяют говорить о разнице в статусе женщин: наличие и состав украшений из разновременных захоронений вполне сопоставим с одновременными, также наличие преобладание захоронений с усопшими одно-

го возраста над захоронениями, где находились покойники разного возраста. Относительно последних погребений, на наш взгляд, разница в возрасте может быть объяснена из реалий жизни человеческих коллективов бронзовой эпохи. Как представляется, не редкостью была ситуация, когда единовозрастная (или одного поколения с мужчиной) спутница жизни мужчины умирала, например, от родов, и мужчина был вынужден искать себе пару среди более молодых женщин. Как показывают исследования палеодемографов, эпоха бронзы характеризуется повышенным показателем женской смертности [Нечвалода, 1996, с. 34]. В качестве наиболее вероятной причины высокой смертности женщин отмеченный автор указывает на то, что «женская часть палеопопуляции эпохи бронзы находилась в состоянии перманентного репродуктивного стресса» [Там же, с. 34]. В условиях дефицита женщин брачный возраст последних неизбежно должен был понижаться, соответственно, разрыв в возрасте брачных партнеров – увеличиваться.

Умерщвление женщин, на наш взгляд, также не может рассматриваться в качестве единственно верного объяснения существования одновременных захоронений. С равной, а может и большей долей вероятности можно предполагать и другие трактовки: естественная смерть женщины, ситуативное самоубийство под воздействием личной привязанности [Сорокин, 1962, с. 119], обряд соумирания [Кузьмина, 1965, с. 48].

Несомненным представляется, что в алакульской среде существовало убеждение, что какие-то категории покойных должны быть захоронены обязательно парами. «Поза объятия» и возраст погребенных вполне соотносится с предположением о захоронении семейных пар. Эти отношения могли связывать у алакульцев человеческие пары всю жизнь – от раннего детства (т.н. люлечный брак) [Хлобыстина, 1975: 32; Виноградов, 2000, с. 32] до зрелости, а в некоторых случаях (разновременные захоронения) даже после смерти одного из них продолжали оказывать влияние на посмертный статус другого.

Список литературы

Бисембаев А.А., Гуцалов С.Ю., Марыксин Д.В., Тулегенова Н.И. Отчет об археологических раскопках курганных могильников в районе аула Ульгули в 2004 году // Архив ЦИА ЗКО. – Уральск, 2004.

Васильев В.Н., Федоров В.К., Рафикова Я.В. Новые погребальные памятники эпохи бронзы из Оренбургского Зауралья // УАВ. – Уфа, 2008. – Вып. 8.

Виноградов Н.Б. Могильник эпохи бронзы Кулевчи VI в Южном Зауралье (по раскопкам 1983 г.) // Проблемы истории, филологии, культуры. – М.; Магнитогорск, 2000. – Вып. 8.

Горбунов В.С., Денисов И.В., Исмагилов Р.Б. Новые материалы по эпохе бронзы Южного Приуралья. – Уфа, 1990. – 18 с.

Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Изюмском уезде, Харьковской губернии, 1901 года // Труды XII АС в Харькове 1902 г. – М., 1905. – Т. 1.

Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Бахмутском у. Екатеринославской губ. 1903 г. // Труды XIII АС в Екатеринославе, 1905. – М., 1907. – Т. 1.

Грязнов М.П. Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане // Материалы особого комитета по исследованию союзных и автономных республик. – Л., 1927. – Вып. 2: Казаки.

Епимахов А.В. Южное Зауралье в эпоху средней бронзы. – Челябинск, 2002.

Зданович Д.Г. Синташтинское общество: социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы. – Челябинск, 1997.

Итина М.А. Раскопки могильника тазабагыбской культуры Кокча 3 // МХЭ. – М., 1961. – Вып. 5.

Итина М.А. История степных племен Южного Приуралья. – М., 1977.

Ишбирдин А.Р. О некоторых результатах исследования объектов органического происхождения из курганов эпохи бронзы и раннего железного века Южного Урала // УАВ. – Уфа, 1998. – Вып. 1. – С. 162–164.

Клейн Л.С. Смысловая интерпретация совместных погребений в степных курганах бронзового века // Проблемы эпохи бронзы Юга Восточной Европы. – Донецк, 1979.

Клейн Л.С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов Санкт-Петербург. – 2007. – URL: [http://www.protobulgarians.com/Russian translations/Klein L S.pdf](http://www.protobulgarians.com/Russian%20translations/Klein%20L%20S.pdf)

Клейн Л.С. Пути Ариев: полемические заметки о книге Е.Е. Кузьминой // РА. – 2010. – № 3.

Кривцова-Гракова О.А. Алексеевское поселение и могильник. Прил.: Кожумбердынский могильник: выдержки из дневника раскопок // Археологический сборник. – М., 1947. – (Тр. ГИМ; вып. 17).

Кузьмина Е.Е. Отчет Еленовского отряда Оренбургской археологической экспедиции // НОА ИА РАН. – 1961. – Р-1. – № 2372.

Кузьмина Е.Е. Отчет Еленовского отряда Оренбургской археологической экспедиции // НОА ИА РАН. – 1962. – Р-1. – № 2500.

Кузьмина Е.Е. Андроновские могильники на р. Байту: (о некоторых деталях андроновского погребального обряда) // КСИА. – М., 1964. – № 97.

Куприянова Е.В. Тень женщины: женский костюм эпохи бронзы как «текст». – Челябинск, 2008.

Литвиненко Р.А. О так называемых «поясных пряжках» в памятниках бронзового века Волго-Уралья // XV Уральское археологическое совещание: тез. докл. междунар. науч. конф. – Оренбург, 2001. – С. 90–93.

Максименков Г.А. Погребальные памятники эпохи бронзы Минусинской котловины – источник изучения семейных и общественных отношений. – Новосибирск, 1974. – 13 с.

Моргунова Н.Л. Курганы у сел Краснохолм и Кардаилово в Илекском районе // АПО. – Оренбург, 1996. – Вып. 1.

Нелин Д.В. Погребения эпохи бронзы с булавами в Южном Зауралье и Северном Казахстане // Культуры древних народов степной Евразии и феномен протогородской цивилизации Южного Урала. – Челябинск, 1995. – Ч. 5, кн. 1.

Нечвалода А.И. Сексуальность и фертильность в популяциях степной бронзы Евразии // УПАСК XXVIII: тез. докл. – Уфа, 1996.

Подгаецкий Г.В. Могильник эпохи бронзы близ г. Орск // МИА. – М.; Л., 1940. – № 1.

Пьянкова Л.Т. К вопросу о семейных и общественных отношениях в эпоху поздней бронзы: по мат-лам могильников вахшской культуры // Материальная культура Таджикистана. – Душанбе, 1987. – Вып. 4. – С. 56–67.

Рафикова Я.В. Совместные погребения эпохи поздней бронзы на Южном Урале: дис. ... канд. ист. наук. – Уфа, 2009.

Рычков Н.А. Опыт статистической характеристики коллективных погребений степных племен эпохи бронзы // Методологические и методические вопросы археологии: сб. науч. тр. – Киев, 1982.

Сальников К.В. Курганы на озере Алакуль // МИА. – М., 1952. – № 24.

Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казахстане // МИА. – М.; Л., 1962. – № 120.

Сунгатов Ф.А., Исмагилов Р.Б. Научный отчет о раскопках I и II Валитовских курганов в Башкирском Зауралье в 2004 г. / Гл. упр. гос. охраны и использования недвижимых объектов культ. наследия Мин-ва культуры и нац. политики Республики Башкортостан. – Уфа, 2004.

Федоров В.К., Рафикова Я.В. Березовский V курганный могильник эпохи бронзы в южном Зауралье // Башкирский край. – Уфа, 1996. – Вып. 6.

Федорова-Давыдова Э.А. Отчет о работе Оренбургской археологической экспедиции ГИМ за 1959 г. // НОА ИА РАН. – 1959. – Р-1. – № 1929, 1929а.

Федорова-Давыдова Э.А. Отчет о работе Оренбургской археологической экспедиции ГИМ за 1960 г. // НОА ИА РАН. – 1960. – Р-1. – № 2227.

Хлобыстина М.Д. Вопросы изучения структуры андроновских общин «алакульского типа» // СА. – 1975. – № 4.

Цимиданов В.В. Парні поховання зрубної культурно-історичної спільності // АА. – 1998. – № 7.

**ЕЛЕНОВСКО-УШКАТТИНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
МИКРОРАЙОН И УРАЛЬСКО-МУГОДЖАРСКИЙ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ**

(взгляд на проблему сквозь призму научного наследия Е.Е. Кузьминой)

Спектр интересов Елены Ефимовны Кузьминой настолько обширен и разнообразен, что любая попытка определить ее научное амплуа или приоритетное направление научного творчества вряд ли будет состоятельна. С высочайшим профессионализмом и исследовательским азартом, гармонично сочетающимся с методической безукоризненностью и скрупулезным анализом источников, Е.Е. Кузьмина систематизирует колоссальный археологический материал андроновской общности бронзовой эпохи на бескрайних просторах Центральной Евразии, обращается к вопросам социокультурных реконструкций и определения этнолингвистического состояния населения, векторов и механизмов миграций, культурной диффузии, воссоздания хозяйственно-культурных систем. Металлопроизводство, гончарство, скотоводческое хозяйство, архитектурные традиции, история колесного транспорта, погребальный обряд, искусство, идеологические представления, общественное устройство неизменно попадают в сферу научных интересов юбиляра. В конечном счете, именно на стыке различных отраслей знаний (археологии, культурологии, лингвистики, естественных наук и др.) в ходе комплексных исследований Е.Е. Кузьминой и сделаны наиболее значимые научные открытия. Каждый из разработанных в разное время и изящно преподнесенных научному сообществу сюжетов, посвященных культуре пастушеских скотоводов бронзового века

Великой степи, представляет собой виртуозно ограниченный бриллиант. В результате Елене Ефимовне удалось собрать бриллиантовое ожерелье, украсившее сотканное ею величественное и в то же время изысканное и тонкое кружевное полотно концепции андроновской культурно-исторической общности (КИО).

Несколько отступив от академического стиля изложения, свойственного жанру научной статьи, я, вероятно, невольно ввел в заблуждение читателя, который вправе выказать недоумение относительно несоответствия заголовка и предмета обсуждения. Но сделано это мной сознательно. И не только по причине моего трепетного отношения к человеческим качествам и глубочайшего уважения к научному наследию Елены Ефимовны, но и с целью подчеркнуть то обстоятельство, что основательный фундамент добытых на заре ее научного творчества археологических источников стал одновременно опорой и отправной точкой для последующих широких обобщений и историко-культурных реконструкций.

А пока вернемся в 1958 год. На западных склонах Южных Мугоджар в бассейне реки Эмбы начинается самостоятельные полевые исследования Е.Е. Кузьмина, незадолго до этого блестяще окончившая кафедру археологии МГУ и аспирантуру и в 1957 г. зачисленная на работу в Институт археологии АН СССР [Кузьмина, 2008, с. 8–13]. Странички именно этого лаконичного отчета [Она же, 1958] с пожелтевшими от времени листочками и

кальками сыграли решающую роль в определении моих собственных научных пристрастий, когда я, будучи студентом второго курса истфака, поступил на должность младшего научного сотрудника в Актюбинский областной историко-краеведческий музей, где с упоением обрабатывал археологические коллекции, штудировал архивные материалы и литературные данные о памятниках эпохи палеометалла. А еще там хранились отчеты 1950–1960-х гг. с материалами разведок памятников бронзового века на севере Актюбинской области и раскопок могильника и поселения на р. Тасты-Бутак, проводившихся экспедицией ИИМК АН СССР, любезно переданные Всеволодом Сергеевичем Сорокиным, рукописи и отчеты актюбинских геологов-краеведов Ростислава Александровича Сегедина, Владимира Федоровича Коробкова, работавшего в музее на общественных началах после выхода на пенсию, Виктора Васильевича Родионова, за короткий срок создавшего великолепную археологическую библиотеку. Но главное – это коллекции археологических находок, происходящие из памятников эпохи бронзы в Мугоджарах, которые на протяжении многих лет бережно собирались, обрабатывались и систематизировались В.В. Родионовым [1996; Родионов, Ткачев, 1996]. Часть этих материалов удалось обнаружить в фондах геологического музея, куда перебравшимся из Актюбинска в Москву Святославом Георгиевичем Грешнером были сданы многочисленные орудия горного дела, собранные им в ходе геологоразведочных работ на отвалах древних карьеров в 1950-е гг. в Южных Мугоджарах [Ткачев, Сегедин, Грешнер, 1996]. Тогда, во второй половине 1980-х гг., я еще не осознавал, что все это звенья одной цепи, а просто рисовал, описывал, конспектировал, – создавал архив. Свести воедино разрозненные материалы Уральско-Мугоджарского региона, где в позднем бронзовом веке сформировался один из мощнейших в Евразийской металлургической провинции горно-металлургических центров, стало возможным лишь много лет спустя.

Вероятно, и по сию пору невозможна была бы даже сама постановка вопроса о механизмах организации в позднем бронзовом веке горно-металлургического производства в южных отрогах Уральских гор, если бы не систематические исследования геоархеологических производственных объектов, бытовых и погребальных памятников, развернувшиеся в Восточном Оренбуржье

с 1959 по 1966 гг. под руководством Е.Е. Кузьминой Еленовским отрядом Оренбургской (Южно-уральской) археологической экспедиции Института археологии АН СССР, возглавлявшейся К.Ф. Смирновым. Именно эти работы, как мне представляется, лежат в основании разработки археометаллургической проблематики на западном фланге андроновской КИО, поскольку «кусты» археологических памятников, сосредоточенных в бассейнах небольших степных речек Ушкатты и Киимбай в Восточном Оренбуржье, приуроченных к древним медным рудникам, впервые выступили в качестве объектов систематических комплексных исследований и могут расцениваться как эталонные для Уральско-Мугоджарского региона в целом.

История изучения Еленовско-Ушкаттинского микрорайона связана со сложными перипетиями, уходящими корнями в начало XX века, и наполнена целым рядом интереснейших сюжетов. В этнографической современности впервые древний рудник у пос. Еленовка попадает в поле зрения в 1914 г., когда с просьбой к обществу о выделении 10 десятин земли для организации разработки медного месторождения обратился Тихон Филиппович Цурупа. Договоренность была достигнута, но начавшаяся Первая мировая война помешала реализации этого замысла. Впоследствии в 1933 г. с заявкой об открытии медной руды у пос. Еленовка в Волжский Научно-исследовательский геологоразведочный институт (НИГРИ) обращается житель пос. Кумак Татаринов. Однако проверена была лишь повторная заявка, относящаяся к 1937 г., составленная жителем пос. Еленовка А.С. Новиченко, которому К.В. Сальников отдает приоритет в открытии Еленовского медного рудника, что произошло, по сведениям исследователя, в 1918 г. [Сальников, 1967, с. 278].

Так или иначе, именно с краеведческой деятельностью А.С. Новиченко следует связывать начальный этап изучения Еленовско-Ушкаттинского археологического микрорайона. Заявка А.С. Новиченко стимулировала проведение геологических разведок на Еленовском медно-турмалиновом месторождении [Малютин, Рудницкий, 1937], которые продолжались до 1942 г., когда они были прерваны по условиям военного времени. Завершающий этап геологических изысканий относится к 1949–1951 гг. По их результатам с использованием материалов предшествующих разведок был подготовлен итоговый отчет

о разведке месторождения [Новиков, Скрипаль, 1952]. В процессе работ в 1937 г. геологическими шурфами были разрушены некоторые могилы Еленовского (Киимбаевского) могильника, располагавшегося в непосредственной близости от рудника, в одной из которых была найдена медная проволочная серьга со спиральными завитками, а в 1937 г. геологом И.Л. Рудницким была раскопана кольцевая ограда, сложенная из камней с корками малахита, происходящих из отвалов древнего карьера. В парном погребении были обнаружены андроновские глиняные сосуды [Формозов, 1949, с. 21–23]. В эти же годы в ходе поисковых работ на олово геологами А.И. Рыбалкиным и С.К. Нечитайло были обнаружены древние медные выработки на р. Ушкатте [Рыбалкин, Нечитайло, 1937]. Впоследствии сведения, собранные во второй половине 1930-х гг. в ходе геологоразведочных работ в Еленовско-Ушкаттинском микрорайоне, были обобщены В.Л. Малютиным и Л.П. Левитским, которые приводят описание древних медных рудников и обогащательных площадок, дают характеристику находок, сделанных в пределах карьеров, на поселениях в районе рудников и могильнике, примыкающем к Еленовскому руднику [Малютин, 1940, с. 92, 97; Левитский, 1941, с. 33].

Стимулом для начала по-настоящему научных археологических исследований в интересующем нас районе опять-таки стала инициатива старожила пос. Еленовка краеведа Александра Степановича Новиченко, который 19.03.1947 г. направляет письмо в Институт истории материальной культуры (Архив НОА ИА РАН. № 483), в котором приводит сводку археологических объектов, выявленных им в разные годы [Формозов, 1949, с. 10; Кузьмина, 1959, с. 2]. И в 1949 г. А.А. Формозов после лаконичной переписки с А.С. Новиченко осуществляет рекогносцировочные исследования в районе локализации Еленовского рудника, результатом которых стало детальное обследование геоархеологических производственных объектов, представленных древним карьером и обогащательной площадкой, расположенной на юго-западном берегу старичного озера в левобережье р. Киимбая к северо-востоку от рудника, могильника, находившегося к северо-востоку от горной выработки, а также трех поселений, обнаруженных напротив месторождения и ниже по течению на правом берегу р. Киимбая. Кроме того, автор посетил Ушкат-

тинский рудник и составил его краткое описание. В ходе этих работ А.А. Формозовым был собран разнообразный подъемный материал, заложены шурфы и сделаны расчистки, благодаря чему надежно установлена андроновская принадлежность перечисленных памятников, дана оценка и обоснована исключительная перспективность исследования компактных групп относительно синхронных и близких в культурном отношении археологических памятников и геоархеологических объектов в Еленовско-Ушкаттинском микрорайоне, что дает уникальную возможность изучения горно-металлургического производства в регионе [Формозов, 1949, с. 19–30; 1951, с. 120–121].

Спустя год, в 1950 г., по заданию Чкаловского (Оренбургского) областного краеведческого музея исследования археологических памятников в окрестностях пос. Еленовка проводит К.В. Сальников. И вновь его ближайшим помощником и консультантом становится А.С. Новиченко. Забегая вперед, следует отметить, что и во всех последующих экспедициях 1950-х гг., возглавлявшихся Н.П. Кипарисовой, Е.Е. Кузьминой, неизменным спутником археологов в период проведения полевых работ был А.С. Новиченко. Во время рекогносцировочных исследований были повторно обследованы рудник и примыкающий к нему могильник, названный, как и рудник, Киимбаевским, обогащательная площадка, поселение на противоположной стороне реки, которое в отчете фигурирует под именем Нижне-Киимбаевского. Помимо этого, были выявлены еще одно поселение эпохи бронзы выше по течению р. Киимбая (Верхне-Киимбаевское), две стоянки с микролитами и андроновский могильник у пос. Еленовка. Для уточнения культурно-хронологической позиции памятников были заложены разведочные шурфы и траншеи на поселениях, собран подъемный материал. В могильнике у Еленовского рудника была раскопана одна ограда, в которой расчищена единственная могила, содержащая частично разрушенный костяк, лежавший скорченно на правом боку головой на юго-запад в сопровождении глиняного сосуда и бронзовых пронизей, которыми были обшиты короткие сапожки [Сальников, 1950].

В 1954 г. в рамках проведения экспедиции Чкаловского (Оренбургского) областного краеведческого музея изучение памятников в бассейнах рек Киимбай и Ушкатта были продолже-

ны. Для этого в качестве руководителя отряда была приглашена Н.П. Кипарисова. В состав экспедиции при проведении разведки по маршруту № 4 в Домбаровском районе Чкаловской (Оренбургской) области вошли научный сотрудник Чкаловского музея С.А. Попов и известный нам А.С. Новиченко [Кипарисова, 1954, л. 1]. В общей сложности экспедицией были обследованы с различной степенью полноты восемь андроновских поселений на правом берегу р. Киимбай, в том числе два объекта, на которых рекогносцировочные работы проводили А.А. Формозов и К.В. Сальников. Помимо этого, открыт могильник, состоящий из каменных оград, площадок и курганов у поселения, расположенного по обеим сторонам оврага Турсумбай у истоков р. Киимбая. Заложенные на некоторых памятниках раскопы малой площади и шурфы, разнообразный подъемный материал дали ценную информацию о характере построек и хозяйственной специализации населения, прежде всего металлургии, на что недвусмысленно указывали многочисленные находки шлаков на поселениях. Н.П. Кипарисова высказала сомнения относительно функционального назначения каменных оград на четырех андроновских поселениях, локализующихся на правом берегу р. Ушкатты. Однако, в целом, полученные данные позволили сопоставить андроновские памятники в верховьях рек Киимбая и Ушкатты с материалами Кожумбердынского могильника [Там же, л. 8–21].

Позже в совместной статье К.В. Сальникова и А.С. Новиченко, вышедшей в 1962 г., был подведен своеобразный итог первому этапу исследования Еленовско-Ушкаттинского микрорайона, включая работы 1949 г. А.А. Формозова и 1954 г. Н.П. Кипарисовой. Примечательно, что в статье даже не упоминаются широкомасштабные исследования, развернувшиеся в этом районе с 1959 г. под руководством Е.Е. Кузьминой. Возможно, рукопись статьи была подготовлена раньше. В работе систематизированы материалы 43 поселений и 15 могильников, сосредоточенных в бассейне р. Камсак, являющейся правым притоком р. Орь. Помимо сведений о географической локализации и топографической приуроченности памятников, авторы приводят данные о характере бытовой и погребальной архитектуры, вещевых комплексах, дают краткое описание Еленовского и Ушкаттинского рудников. На основе этих наблюдений дела-

ются осторожные выводы о хозяйстве населения в регионе, обосновывается сходство найденной на памятниках керамики с глиняной посудой Кожумбердынского могильника, при этом отмечается наличие черт, присущих гончарным изделиям срубной культуры Нижнего Поволжья, что свидетельствует, по мнению исследователей, о влиянии с запада [Сальников, Новиченко, 1962] (рис. 1, 2).

Наконец, мы подошли к главному для рассмотрения заявленной темы этапу в изучении Еленовско-Ушкаттинского археологического микрорайона, связанному с полевыми и кабинетными исследованиями Е.Е. Кузьминой. Возглавляемый ею Еленовский отряд Оренбургской экспедиции Института археологии АН СССР в 1959 г. начинает планомерное исследование андроновских памятников в этом районе. Уже в первом полевом сезоне была поставлена задача провести систематическое обследование археологических памятников, сосредоточенных в бассейнах рек Киимбай и Ушкатта. В ходе археологической разведки было задокументировано 40 памятников археологии. Все они, за исключением двух объектов, датируемых ранним железным веком, относились к эпохе бронзы. В процессе рекогносцировочных работ был собран многочисленный и разнообразный подъемный материал, проведено картографирование объектов, сделана тахеометрическая съемка и составлены подробные планы поселений, могильников, горных выработок. Особо нужно отметить систематизацию полученных полевых данных, благодаря которой были установлены закономерности географической локализации и топографической приуроченности памятников различных категорий, разработана типология поселений, погребальных сооружений, определена культурно-хронологическая позиция исследованных объектов.

Помимо разведочных работ, Еленовским отрядом в 1959 г. были организованы стационарные исследования на ряде памятников, сосредоточенных в бассейне р. Ушкатты. В могильнике Атакен-сай раскопаны шесть каменных кольцевых оград, в которых обнаружены погребения в каменных ящиках и грунтовых ямах с перекрытиями из каменных плит, сопровождавшиеся керамикой и украшениями. Это позволило установить алакульскую принадлежность некрополя и отметить сходство с материалами могильников орского и западно-казахстанского вариантов ан-

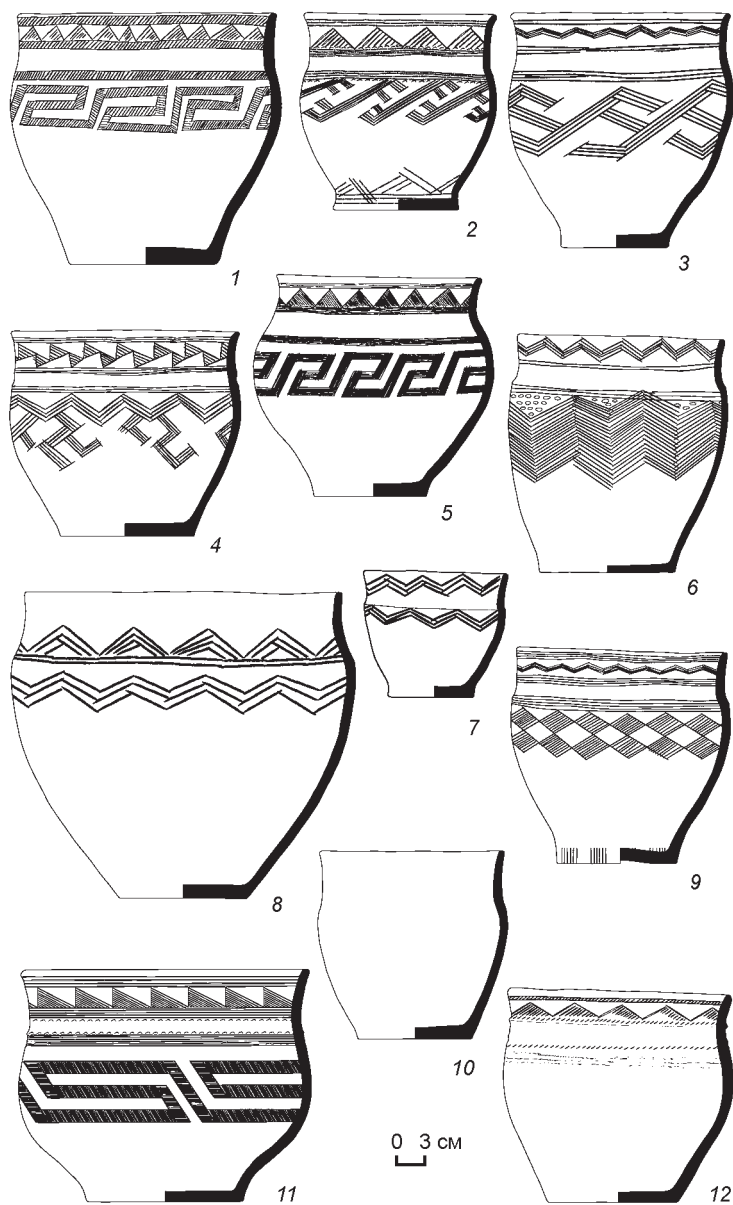


Рис. 1. Керамика из Кожумбердынского могильника и памятников Еленовско-Ушкаттинского археологического микрорайона.

1, 3 – мог. Кожумберды; 2 – мог. Турсумбай I; 4, 5 – мог. Ушкатта у фермы № 9; 6, 9 – мог. Шандаша; 7, 10 – мог. Байту II; 11 – мог. Купухта; 12 – мог. Байту I.

дроновской культуры, таких, как Ново-Аккермановка, Тасты-Бутак I, Джарлы. Недалеко от могильника Атакен-сай были заложены два раскопа на площади ограды II Ушкатта у фермы № 11. Первый разбит над северо-восточной торцевой частью прямоугольной ограды, а второй частично накрывал западную пристройку на противоположном юго-западном конце конструкции. В раскопе II под каменной выкладкой было расчищено впускное захоронение человека в скорченном

положении на правом боку, головой на юго-запад. Особое значение имеют найденные в пристройке медные шлаки и обломок сопла. Два каменных ящика, содержащих детские захоронения с глиняными сосудами, были раскопаны в ограде IV Ушкатта в 250 м ниже фермы № 11 [Кузьмина, 1959]. В целом, работы 1959 г. продемонстрировали перспективность дальнейшего исследования Еленовско-Ушкаттинского микрорайона как локального центра металлопроизводства на западном фланге андроновского ареала.

В следующем, 1960-м, году были раскопаны десять объектов в могильнике Ушкатта II у фермы № 9, которые позволили установить синхронность различных надмогильных сооружений и внутримогильных конструкций в андроновских некрополях, что подтвердил инвентарь захоронений, включавший керамику и разнообразные украшения из бронзы, фаянса и раковины. У фермы № 9 совместно с геологом И.И. Никитиным был обследован большой карьер Ушкаттинского рудника, составлен его план, сделано подробное описание. Продолжены раскопки ограды II Ушкатта у фермы № 11 ниже по течению реки. Общая площадь раскопа с учетом раскопок 1959 г. составила 340 кв. м. В результате удалось полностью исследовать жилищную конструкцию и производственную пристройку. Впервые в регионе на бытовом памятнике было раскопано сооружение, представлявшее собой неглубокий котлован, по периферии которого вкопаны на ребро массивные каменные плиты, выполнявшие функцию крепи-

ды для стен. В жилище было выявлено несколько очажных конструкций различных типов, сделаны многочисленные находки, в том числе уникальной глиняной фигурки верблюда. В 1,4 км от описанного комплекса вниз по течению р. Ушкатты была выявлена ограда VIII, входившая в комплекс оград, образывавших большое поселение ниже фермы № 11. Для уточнения культурной принадлежности и хронологической позиции памятника были разбиты два рекогносцировочных раскопа

малой площади, которые подтвердили алакульский возраст сооружения [Кузьмина, 1960].

Еще более обширным стал перечень памятников, исследованных в 1961 г. Сначала были раскопаны семь оград и курганов в могильнике Купухта, некоторые из них отличались монументальностью каменных конструкций. Работы носили, по сути дела, спасательный характер, поскольку весной 1961 г. могильник подвергся распашке. Был получен богатый материал, свидетельствующий о неординарном характере некрополя. Помимо керамики, были найдены бронзовый нож, разнообразные украшения, в том числе изготовленные с использованием золотой фольги. С целью выяснения соотношения с могильником были заложены четыре шурфа на поселении Купухта. Раскопки подтвердили синхронность обоих памятников. Такое же количество шурфов было заложено на поселении Байту, которое первоначально расценивалось как наиболее предпочтительный объект для стационарных раскопок 1962 г. Однако культурный слой поселения за истекший с момента разведочных работ 1959 г. период был практически уничтожен в результате антропогенного воздействия, спровоцировавшего эрозию почвы. На месте памятника был устроен загон для скота (летовка). Тем не менее, в ходе рекогносцировочных работ был установлен андроновский возраст поселения, хотя и пришлось констатировать отсутствие перспективы его дальнейшего изучения. Однако на противоположной стороне одноименной реки были обнаружены связанные с поселением могильники

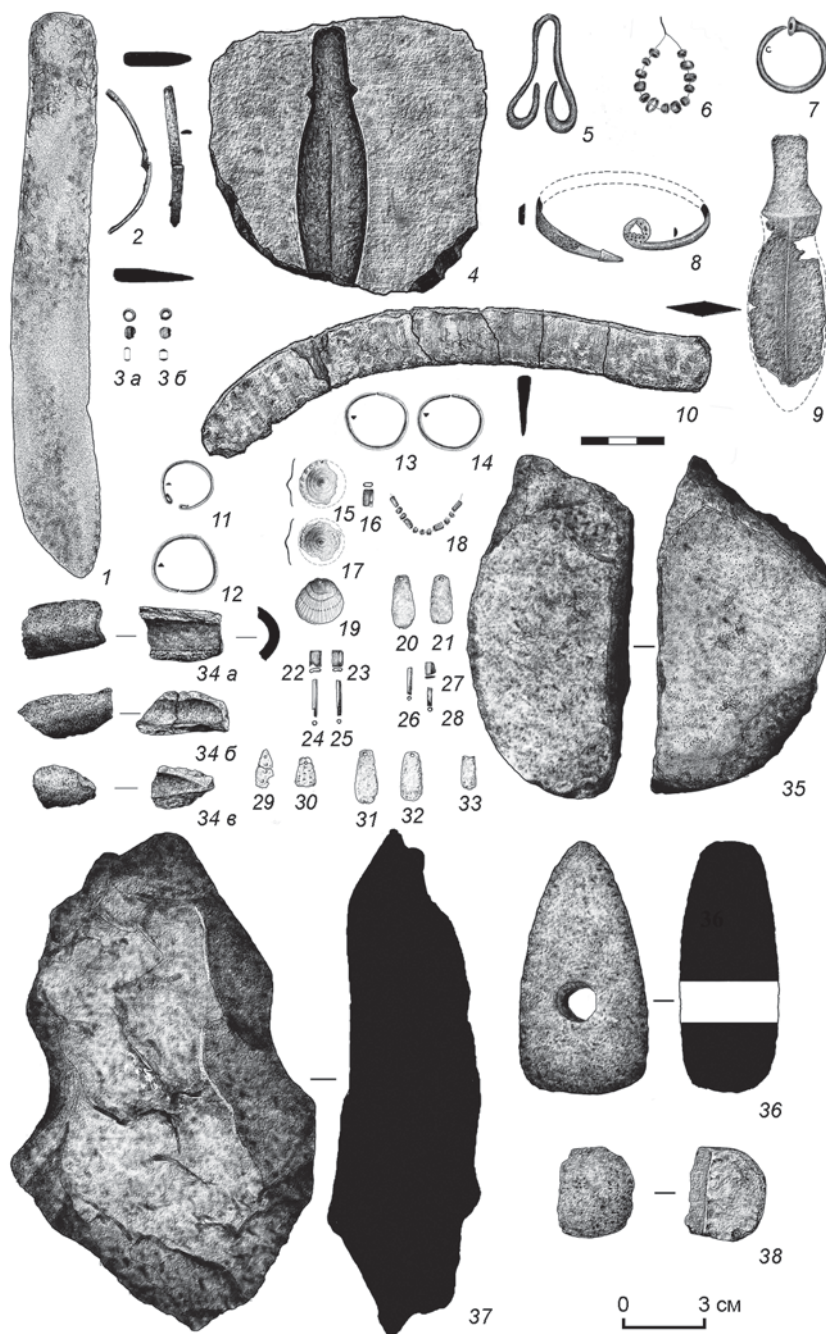


Рис. 2. Вещевые комплексы из памятников

Еленовско-Ушкаттинского археологического микрорайона.

1 – селище 56а по А.С. Новиченко; 2, 3 – мог. Атакен-сай; 4 – пос. Шандаша, ограда II; 5–9 – мог. Купухта; 10 – пос. Ушкатта у фермы № 9 (III); 11–18, 20–33 – мог. Байту II; 19 – мог. Байту I; 34 – пос. Ушкатта, ограда II; 35, 36 – окрестности Еленовского рудника (коллекция Р.Н. Асеховского, фонды Новотроицкого краеведческого музея); 37 – Ушкаттинский рудник; 38 – пос. Ушкатта у фермы № 11, ограда 7.

1–3, 5–18, 20–33 – бронза; 4, 35–38 – камень; 19 – раковина; 34 – глина.

Байту I и Байту II, находящиеся в 800 м друг от друга. Последний был разрушен распашкой летом 1961 г., что заставило в срочном порядке соста-

вить его примерный план и провести аварийно-спасательные раскопки трех каменных оград. Два погребальных сооружения исследованы в могильнике Байту I. Благодаря проведенным раскопкам была получена солидная коллекция андроновской керамики и украшений, представленных бронзовыми бляшками, браслетами, деталями составных наконечников, подвесками из просверленных раковин. Еще восемь объектов были раскопаны в крупном алакульском могильнике Шандаша. На связанном с ним поселении Шандаша разбиты два раскопа малой площади, вскрывшие участки стен оград № 1 и 2. Наряду с раскопками были выполнены небольшие разведочные маршруты, позволившие выявить два могильника на левом берегу р. Киимбая в районе Байту. Кроме того, совместно с геологом И.И. Никитиным было обследовано поселение на безымянном сае между фермами № 9 и № 2 на р. Ушкатте в 4 км от Ушкаттинского рудника, на котором зафиксированы теплотехнические сооружения, найдены медная руда, металлургические шлаки, капли меди, бронзовый изогнутый однолезвийный нож, каменные песты [Кузьмина, 1961].

В полевом сезоне 1962 г. описанные выше реконструкционные раскопы на поселении Шандаша были включены в один большой раскоп площадью 292 кв. м, который позволил выяснить конструкции обоих сооружений и подтвердить непосредственную связь поселения с могильником, исследовавшимся годом раньше. Было установлено, что жилища представляли собой полуземлянки, стены которых были укреплены вкопанными на ребро каменными плитами. Особый интерес вызывает очажное устройство в ограде № 2, представлявшее собой каменный ящик. В верховьях р. Киимбая были открыты могильники Турсумбай I и Турсумбай II. В первом из них раскопаны четыре объекта, во втором исследованы 13 погребальных сооружений в виде каменных оград. Материалы могильников оказались близки с точки зрения культурно-хронологической позиции между собой и вещевым комплексам алакульского поселения Турсумбай, обследованного в 1959 г. Последним пунктом стал Еленовский рудник, который Е.Е. Кузьмина посетила совместно с начальником Киимбаевского отряда Южно-Уральской геологической экспедиции И.И. Никитиным. Были отобраны и переданы на анализ образцы руд, И, наконец, летчиками Домбаровского ракетододрома по просьбе Е.Е. Кузьминой

была сделана сплошная аэрофотосъемка Еленовско-Ушкаттинского микрорайона, позволившая составить детальное представление о топографии и локализации памятников [Кузьмина, 1962а].

После двухлетнего перерыва работы были возобновлены в 1965 г. Закончено исследование ограды II на поселении Шандаша, начатое в 1961–1962 гг. Особую значимость предпринятым раскопкам поселения придает тот факт, что впервые в пределах микрорайона, приуроченного к древним рудникам, удалось изучить производственную мастерскую, связанную с металлопроизводством и гончарным делом. Наиболее интересными для нашей темы являются теплотехнические сооружения в виде вымощенных каменными плитками «длинных очагов», в которых обнаружены металлургические шлаки, а также находки глиняного сопла со следами эксплуатации, каменной литейной формы для отливки ножа с намечающимся перекрестием и ребром жесткости по клинку [Кузьмина, 1965а, б]. В этом же полевом сезоне на юге Домбаровского района Оренбургской области Еленовским отрядом были раскопаны восемь объектов в Кожумбердынском могильнике, открытом в 1930 г. Б.Н. Граковым, исследовавшем семь каменных колец [Кривцова-Гракова, 1948, с. 149–150, 165–169]. К тому времени могильник уже стал эпонимным для группы памятников алакульской линии развития на западном фланге андроновского ареала. С целью изучения эталонных комплексов Е.Е. Кузьминой в 1965 г. были раскопаны восемь объектов Кожумбердынского могильника. На окраине поселка Кожумберды на правом берегу р. Ори выявлен и задокументирован могильник Кожумберды II, также состоявший из каменных оград, большей частью разобранных местными жителями для строительных нужд. Материалы раскопанных в Кожумбердынском могильнике погребений продемонстрировали сходство с памятниками Еленовско-Ушкаттинского микрорайона [Кузьмина, 1965а].

Весьма плодотворными оказались полевые работы в верховьях р. Киимбая и на р. Ушкатте, предпринятые Еленовским отрядом под руководством Е.Е. Кузьминой в 1966 г. В качестве основного объекта стационарных раскопок выступило поселение Ушкатта I в 350 м выше фермы № 11. Здесь были заложены два раскопа, площади которых составляли 120 и 100 кв. м. В результате проведенных раскопок были исследованы участок прямоугольного жилища, хозяйственная пристройка

к нему и часть зольника. В пределах жилищной конструкции расчищены два очага, обложенные камнем, столбовые ямки, которые, вероятно, являлись каркасом перегородки. Особо следует выделить находки амфиболита и пироксенита, сопутствующих рудным телам Ушкаттинского месторождения, каменных пестов, мотыг, дисков, точильного и терочного камней, керамики, бронзового шила, костяной черешковой стрелы. Керамический комплекс позволил отнести поселение к развитому этапу орско-актюбинского варианта андроновской культурной общности.

Рекогносцировочный раскоп площадью 12 кв. м был заложен на поселении Турсумбай, проведены исследования четырёх объектов в могильнике Турсумбай I, составлявшего с поселением единый комплекс, относившийся к алакульскому времени. Для датировки и определения культурной принадлежности объектов в могильнике Ушкатта III в этом некрополе были раскопаны два разнотипных надмогильных сооружения. На основании полученных данных курган № 4 был отнесен к раннему железному веку, а каменная ограда № 7 – к козубердынскому этапу андроновской культуры. Разведочный раскоп площадью 56 кв. м был разбит на сохранившемся участке поселения Ушкатта III у фермы № 9. В пределах хозяйственной площадки были расчищены два очага, найдены металлургические шлаки и небольшое количество керамики и костей животных. Шурф площадью 8 кв. м был заложен также в ограде Ушкатта VIII у фермы № 9. Он вскрыл фрагмент каменной кладки и участок примыкающего к стене жилища зольника мощностью до 1 м. Встреченная керамика подтвердила андроновский возраст конструкции. В 800 м вверх по течению от фермы № 9 была открыта кремневая мастерская Ушкатта, андроновский возраст которой определен по находкам керамики и металлургического шлака. В завершение работ было проведено повторное обследование поселений по рекам Киимбаю и Ушкатте, в ходе которого собран подъемный материал в виде керамики, руды, металлургических шлаков, каменных орудий, а также было установлено, что значительная часть памятников разрушена в результате антропогенного воздействия [Кузьмина, 1966].

Заключительным актом в изучении Еленовско-Ушкаттинского микрорайона стало повторное обследование в 1969 г. Ушкаттинского рудника сов-

местно с геологом И.Е. Щегловым. Эта поездка была организована в связи с необходимостью отбора образцов для спектрального анализа в рамках реализации масштабной исследовательской программы по изучению металлопроизводства в пределах Евразийской металлургической провинции, которую осуществлял в эти годы Е.Н. Черных [Кузьмина, 1969а].

Так в лаконичной форме можно представить историю полевых археологических исследований, проводившихся Еленовским отрядом во главе с Е.Е. Кузьминой в Еленовско-Ушкаттинском археологическом микрорайоне. В этой статье неуместно анализировать все аспекты андроновской проблематики, которые разрабатывались Е.Е. Кузьминой на основе полученных источников. Достаточно сказать, что с феноменальной оперативностью полученные в ходе полевых исследований материалы вводились в научный оборот. По сути дела, сами отчеты об археологических работах уже являют собой образец научного анализа. Вышедшие «по горячим следам» публикации, касающиеся частных вопросов изучения компактного археологического микрорайона, его периодизации и хронологии, особенностей архитектуры и социального устройства, направленности культурных взаимодействий [Кузьмина, 1962б, 1962в, 1963а, 1963б, 1964, 1965б, 1969б], явились отправной точкой для широких исторических обобщений, результатом которых стал цикл фундаментальных монографических сочинений, представляющих целостную концепцию андроновской культурно-исторической общности [Кузьмина, 1986, 1994, 2008].

Для дальнейшего повествования принципиальное значение имеет то обстоятельство, что с самого начала Е.Е. Кузьминой осознавалась значимость Еленовско-Ушкаттинского микрорайона как локального центра металлопроизводства. Это во многом определяло облик самих памятников. Еще одним важным моментом, заслуживающим особого внимания, является новаторский по тем временам комплексный подход к изучению археологических памятников. Использовались данные дешифровки аэрофотоснимков, были сделаны антропологические и остеологические определения, проведены палинологические исследования, осуществлен структурный анализ керамики, получены серии радиоуглеродных дат. Это позволило в числе прочих вопросов культурологического

порядка подойти к непротиворечивой реконструкции системы хозяйствования.

С точки зрения рассматриваемой в настоящей работе проблемы, важно отметить, что в рамках мультидисциплинарного подхода для изучения геоархеологических производственных объектов, представленных медными карьерами, привлекались специалисты в области геологии, а в лаборатории естественнонаучных методов ИА АН СССР под руководством Е.Н. Черных были проведены спектральные анализы руд, металлургических шлаков и металлических изделий, что позволило выделить особую химико-металлургическую группу ЕУ (еленовско-ушкаттинскую). При этом было установлено, что изготовленные из этого металла предметы получили широкое распространение в среде алакульского и срубного населения в широком географическом ареале от лесостепного Притоболья и Приишимья на востоке до Нижнего Поволжья и бассейна Дона на западе [Черных, 1970, с. 33–34, рис. 30].

Насколько актуальны полученные результаты на сегодняшний день, выдержали ли они проверку временем? Можно достаточно уверенно ответить на эти вопросы положительно, поскольку новые данные лишь конкретизируют и уточняют прозорливо сформулированные четыре десятилетия назад научные гипотезы. Нужно признать, что после описанных выше масштабных исследований памятников андроновских горняков и металлургов в Восточном Оренбуржье, проводившихся Еленовским отрядом под руководством Е.Е. Кузьминой, на долгие десятилетия эта тема была забыта. Лишь с начала 1990-х гг. работы возобновляются. Вновь пробуждается интерес к памятникам бронзового века, сосредоточенным в южных отрогах Уральских гор. Систематизация имевшейся на тот момент информации о горных выработках и поселениях в Мугоджарах [Ткачев, Сегедин, Грешнер, 1996] подвигла автора этих строк в 90-е гг. прошлого века к началу комплексных исследований в Шаншарском и Ишкининском археологических микрорайонах, приуроченных к древним рудникам на площади медных месторождений, разработка которых началась в бронзовом веке [Ткачев, 2005; 2009а]. Параллельно проводились геоархеологические исследования на Ишкининском руднике, в ходе которых была отработана методика изучения древних горных выработок, производилась апробация различных видов анализов металлических изделий и продуктов метал-

лургического передела, наиболее информативных с точки зрения реконструкции горного дела, металлургии и металлообработки [Юминов, Зайков, 2002; Зайков и др., 2005].

Следует отметить, что наши представления о характере горно-металлургического производства в Мугоджарах, базирующиеся на работах конца 1960-х – начала 1970-х гг., стали вступать в противоречие с новыми данными. Особенно отчетливо это проявилось в вопросе о сырьевой базе металлургии меди на западном фланге андроновской общности. Так, Е.Н. Черных, давая характеристику меднорудной базе Уральской горно-металлургической области указывал, что в пределах южной зоны выделяемого им Зауральского горно-металлургического центра (ГМЦ) достаточно уверенно о медных разработках в эпоху палеометалла можно говорить лишь применительно к Еленовскому и Ушкаттинскому рудникам, в то время как остальные многочисленные месторождения и рудопроявления в Мугоджарах «...числом 50, представленные в основном колчеданным оруднением, отнесены к третьей категории – не использовавшиеся в древности (группы: Кызыл-Кудукская, Чуулдакская, Джиландысай-Джамантауская)» [Черных, 1970, с. 38–40].

Между тем все более представительными становились коллекции орудий горного дела из отвалов древних рудников и более обширным перечень археологических памятников, открытых геологами в Мугоджарах. С самого начала было понятно, что положительные результаты может дать лишь комплексный подход к изучению горно-металлургического производства в эпоху палеометалла в Уральско-Мугоджарском регионе. С этой целью наряду с археологами в работу включились специалисты естественнонаучного профиля. Удалось сформировать возглавляемый автором этих строк высокопрофессиональный научный коллектив, существенным подспорьем в работе которого стала всесторонняя поддержка РФФИ научно-исследовательских и полевых грантов, проектов развития материальной базы научных исследований. И первой в списке участников проекта стала, конечно, Е.Е. Кузьмина! Огромную помощь в организации работ в Мугоджарах оказали Актюбинский научно-исследовательский геологоразведочный институт (АктюбНИГРИ) и Актюбинский областной центр истории, этнографии и археологии.

В ходе реализации проекта удалось обосновать выделение в пределах Уральско-Мугоджарской

низкогорной провинции, представлявшей собой обособленный в физико-географическом отношении регион на юге Уральской горной страны, самостоятельного горно-металлургического центра эпохи поздней бронзы, основанного на монопольной эксплуатации населением, оставившим памятники кожумбердынского облика, многочисленных медных месторождений и рудопроявлений. Он представлял собой монолитную хозяйственно-культурную систему, организованную по сегментарному принципу. В качестве структурных элементов этой системы выступали районы компактной локализации поселений, некрополей, местонахождений, культовых памятников, приуроченных к древним рудникам и образующих археологические микрорайоны. С учетом хозяйственной специализации населения таких микрорайонов, их можно рассматривать как горно-металлургические комплексы, выступающие в роли историко-металлургических таксонов первого порядка [Ткачев, 2009б].

На сегодняшний день в Уральско-Мугоджарском регионе известно около 40 геоархеологических объектов эпохи бронзы, представленных горными выработками и обогатительными площадками в зонах локализации месторождений и рудопроявлений меди. Исследования показали, что разрабатывались разнообразные типы медных руд. В отличие от Каргалинского ГМЦ, основанного на разработке медистых песчаников Приуралья пермского периода, в Уральско-Мугоджарском регионе выявлены древние рудники в гипербазитах, базальтовых и кремнисто-базальтовых комплексах, риолит-базальтовых комплексах. Детально обследованы 20 пунктов, которые позволяют составить довольно полную картину организации горно-металлургического производства [Ткачев, 2010].

Проведение широкомасштабных рекогносцировочных работ и комплексное изучение опорных археологических микрорайонов, приуроченных к месторождениям меди, разработка которых началась в бронзовом веке, сопровождавшихся геофизическими и геоархеологическими изысканиями, изучением археологических и антропологических материалов, фаунистических остатков и геологических отложений в сочетании с палеопочвенными и палинологическими исследованиями, радиоуглеродным датированием органических материалов, способствовали установлению связи между природными геологическими объектами и

техногенными процессами, выявлению социально-экономических условий металлургического производства, решению вопросов выяснения хозяйственно-культурного типа, воссоздания социокультурных моделей.

Несмотря на то что с момента окончания полевых исследований Еленовского отряда под руководством Е.Е. Кузьминой в Восточном Оренбуржье прошел солидный отрезок времени, именно Еленовско-Ушкаттинский археологический микрорайон является наиболее обеспеченным источниками для археометаллургических реконструкций, позволяющих выяснить механизмы функционирования Уральско-Мугоджарского ГМЦ. Дополнительные работы экспедиции Орского гуманитарно-технологического института, в ходе которых были проведены геоархеологические изыскания на Ушкаттинском руднике, археологические раскопки Ушкаттинского I и Еленовского могильников, разведки в бассейнах рек Киимбай и Ушкатта, не изменили принципиальной картины.

Исходя из имеющихся данных, Уральско-Мугоджарский ГМЦ представлял собой серию дискретно расположенных локальных центров металлопроизводства. Еленовско-Ушкаттинский микрорайон, являясь одним из таких горно-металлургических комплексов, содержит бесценную информацию, которую с незначительными оговорками можно экстраполировать на аналогичные археологические микрорайоны, простирающиеся вплоть до южной оконечности Мугоджарских гор. Справедливости ради нужно заметить, что более правильным было бы рассматривать памятники, тяготеющие к Еленовскому и Ушкаттинскому рудникам, как самостоятельные таксономические единицы. Целесообразность такой трактовки определяется нашими наблюдениями в Южных Мугоджарах, где компактные группы археологических памятников также демонстрируют наиболее тесную связь с ближайшими геоархеологическими объектами. Так или иначе, центральное место в микрорайоне занимает медный рудник, представленный карьером (Еленовский) или группой горных выработок (Ушкаттинский) открытого типа. Характер геоархеологических объектов свидетельствует, что горные работы, по всей видимости, проводились в теплое время года. Отвалы древних карьеров выполняли функцию обогатительных площадок, хотя имели место и альтернативные технические решения. На некоторых рудниках в Мугоджарах выявлены специальные

промплощадки для первичной переработки руды. Более того, рядом с Еленовским рудником обнаружена производственная площадка на берегу старичного озера, которая может свидетельствовать, что наряду с сухим обогащением, видимо, практиковалась промывка руды. На всех видах промплощадок мы сталкиваемся с сильно измельченной щебенкой, причем с крайне незначительными проявлениями малахитизации (корки, журавчики), поскольку наиболее богатые фракции окисленных руд были изъятые для следующих технологических стадий процесса горно-металлургического производства еще в древности. На отвалах карьеров и обогащательных площадках обнаружены горнопроходческие орудия (кайлы, мотыги, клинья), а также каменные массивные молоты, наковальни (рудотерочные плиты), изредка песты и ступы, использовавшиеся для операций сухого обогащения. Такого рода изделия найдены на обоих геоархеологических производственных объектах в интересующем нас районе.

Отобранная измельченная руда доставлялась на поселения для проведения металлургических операций. Эта стадия документируется практически на всех поселениях вокруг рудников. Материалы Еленовского и Ушкаттинского микрорайонов достаточно информативны с точки зрения реконструкции конкретных форм организации бронзолитейного производства. Уже сейчас можно с высокой долей уверенности сказать, что версия о клановом характере горного дела, металлургии и металлообработки на западном фланге андроновской общности не подтверждается имеющимися в нашем распоряжении данными. Пока не выявлен памятник, который мог бы претендовать на роль специализированного крупного центра с полным замкнутым циклом металлопроизводства, подобного срубному поселению Горный на Каргалинском рудном поле в Приуралье [Каргалы, 2002] или андроновским поселениям Сары-Арки, таким, как Атасу, Мыржик и др. [Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 25–62; Кузнецова, Тепловодская, 1994, с. 51–55].

Напротив, практически на всех без исключения поселениях в бассейне р. Камсак найдены медная руда и металлургические шлаки, свидетельствующие о восстановлении металла из руды. Следует отметить, что такого рода артефакты присутствуют даже на поселениях, расположенных на значительном расстоянии (более 20 км) от мест добычи. Кроме того, в ходе раскопок 1959–1960 гг.

ограды II Ушкатта ниже фермы № 11 была исследована пристройка к жилищу, которая может быть интерпретирована как производственное помещение, связанное с металлургическими операциями, поскольку здесь были обнаружены кусочки руды и шлака, капли меди, фрагменты ошлакованного тигля и обломки глиняного сопла [Кузьмина, 1962в, с. 11]. Примечательно, что помещение не имело прохода, посредством которого оно общалось бы с жилищем.

В этом плане еще более емкую информацию удалось получить в результате раскопок поселения Шандаша. В ограде 2 этого поселения была исследована производственная мастерская. Примечательно, что первоначально такая трактовка данного сооружения не была очевидной. В первой публикации материалов поселения Шандаша раскопанный в 1962 г. участок помещения и расчищенный прямоугольный очаг из вертикально установленных каменных плит позволили лишь высказать некоторые суждения относительно конструктивных особенностей сооружения [Кузьмина, 1964, с. 103–104, рис. 29]. Реальное назначение этой постройки удалось установить лишь в 1965 г., когда была вскрыта вся площадь помещения. Рядом с прямоугольным очагом были исследованы еще два теплотехнических сооружения в виде «длинных очагов», зафиксированы слои желтой глины, найдены металлургические шлаки, каменные чашечка, терочки, молоты с желобками для привязывания рукоятей, литейная форма с негативом ножа с намечающимся перекрестием и ребром жесткости по лезвию, в зольнике обнаружены каменный пест и обломок глиняного сопла [Кузьмина, 1965а]. С учетом найденных артефактов, наиболее близкими аналогиями этим объектам являются медеплавильные комплексы, изученные на поселениях Центрального Казахстана. Особенно показательны с точки зрения типологических параллелей и идентичности конструктивных деталей медеплавильные ямы-печи поселения Атасу, которые «...устроены в материковом грунте. Стены их прямые или конусообразно сужающиеся ко дну, обмазанные слоем глины... К краю ямы или на расстоянии 0,3–1,0 м от нее из поставленных на ребро каменных блоков пристраивали прямоугольные или круглые конструкции для тигельной плавки. Большинство имеет длинные дымоходы, перекрытые каменными плитами» [Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 40–44, рис. 16].

Еще одна производственная мастерская зафиксирована на площади поселения Кудук-сай в ходе археологической разведки, проводившейся в 2010 г. в бассейне р. Киимбай археологическим отрядом Орского гуманитарно-технологического института (ОГТИ) под руководством А.В. Фомичева. Еленовским отрядом, возглавляемым Е.Е. Кузьминой, поселение обследовалось в 1959 г. [1959, л. 10–11], причем уже при повторном посещении памятника в 1966 г. было установлено, что «...поселение Кудук-сай (№ 27, по А.С. Новиченко) разрушено при строительстве моста» [Кузьмина, 1966, л. 19]. В настоящее время поселение находится в аварийном состоянии. Антропогенному воздействию не подвергался лишь небольшой участок памятника в северной части площадки, где располагается ограда, фрагмент стенки которой исследовался рекогносцировочным шурфом в 1954 г. в ходе проведения экспедиции Чкаловского музея под руководством Н.П. Кипарисовой [1954, л. 10–13]. Примечательно, что еще в конце 1930-х гг. А.С. Новиченко отмечал массовые скопления металлургических шлаков, приуроченные к неясному каменному контуру в центральной части поселения [1956, с. 58–59]. Интересующий нас объект представлял собой сооружение, контуры которого маркируются каменной кладкой прямоугольных очертаний. К сожалению, культурный слой на этом участке поселения практически отсутствовал, что стало следствием прогрессирующей эрозии почвы и расширения оврага, рассекающего площадку памятника. Фактически фиксация артефактов осуществлялась уже на уровне пола постройки. В углу помещения был обнаружен рудный склад в виде компактного скопления обогащенной медной руды, доставленной на поселение из Еленовского рудника. В центральной части располагалось теплотехническое сооружение, к сожалению, полностью разрушенное. В его конструкции присутствовали камни, поскольку компактная локализация прокаленных камней отмечена на дне оврага. Осуществление восстановительных металлургических операций в пределах описанной постройки подтверждается находками недалеко от места плавки придонных частей сосудов, каменных орудий и большого количества металлургических шлаков.

Не менее выразительно наличие металлургического производства на поселениях Еленовского и Ушкаттинского микрорайонов иллюстриру-

ют находки обломков глиняных сопел со следами эксплуатации (ошлакованность края, прокаленность), недвусмысленно указывающих на их использование в конструкции металлургических печей. Такого рода изделия обнаружены, в частности, на поселении Еленовка I на правом берегу р. Киимбай, на двух поселениях на р. Ушкатта (ограды II и III) [Кузьмина, 1959, л. 12, 30, 79], поселении Шандаша [Кузьмина, 1965а, л. 11]. На всех указанных памятниках обнаружены медная руда, металлургические шлаки, капли и слитки меди, что является дополнительным аргументом широкой практики металлургического производства на еленовско-ушкаттинских поселениях.

Таким образом, мы можем с большой долей вероятности реконструировать конкретные формы организации горно-металлургического производства в локальном микрорайоне, обладавшем собственной меднорудной базой. С точки зрения определения производственной структуры, отражающей уровень разделения труда, еленовско-ушкаттинские материалы в наибольшей степени соответствуют самому простейшему первому рангу, связанному с деятельностью мастеров-универсалов, выполнявших все операции горно-металлургического промысла. Достаточно высокий технологический уровень бронзолитейного дела, предполагавший существование сложных рецептов сплавов с использованием различных легирующих компонентов, а также обработка, помимо меди, золота и серебра позволяют отнести обсуждаемую производственную структуру к субрангу Б, характеризующемуся употреблением двух и более металлов. Однако это справедливо лишь для локальных горно-металлургических комплексов (микрорайонов). В целом же, учитывая более дифференцированную профессиональную специализацию отдельных индивидов и групп, задействованных в сфере металлопроизводства, на уровне более крупных историко-металлургических подразделений, например, горно-металлургических центров, металлургических очагов и провинций, мы имеем все основания относить степень разделения труда в металлопроизводственной сфере ко второму и третьему рангам, для которых характерно присутствие в производственной структуре, соответственно, двух и трех ячеек, отражающих обособление горного промысла, металлургии и кузнечного дела [Черных, 1976, с. 159, 160].

Достаточно уверенно можно говорить об индивидуально-семейной форме объединения мастеров в пределах микрорайонов, когда «...кузнецы-металлурги, как правило, обитали в родовом или общинном поселке и обслуживали на заказ население этого поселка и, может быть, еще двух-трех близлежащих» [Там же, с. 161]. Такая трактовка имеющихся в нашем распоряжении источников представляется наиболее адекватной, потому что все известные в Еленовском и Ушкаттинском микрорайонах поселения весьма незначительны по площади и количеству жилищ. Еще более показательным то обстоятельство, что во всех без исключения случаях, когда были зафиксированы следы металлопроизводства, на площади поселений надежно идентифицирована единственная производственная мастерская, размещавшаяся в центральной части поселенческой площадки (Шандаша, Кудук-сай).

Приведенные выше данные позволяют вполне корректно подойти к решению вопроса о формах товарного обмена и распространения металла, подробная классификация которых приведена в выше упомянутой работе Е.Н. Черных [1976, с. 168–171]. По всей видимости, в территориальных границах археологических микрорайонов, а также в пределах Уральско-Мугоджарского ГМЦ в целом, довольно уверенно можно говорить о наличии профессионального и внутреннего обмена. Первая из указанных категорий товарного обмена основана на разделении труда в рамках организации горно-металлургического производства. Судя по имеющейся на сегодняшний день информации, основным объектом торгово-обменной деятельности, вероятно, являлась обогащенная медная руда. В пределах археологических микрорайонов, основу которых составляют горно-металлургические комплексы, это проявляется достаточно рельефно. Техногенные геoarхеологические производственные объекты, представленные карьерами и обогащательными площадками, сопряжены с некрополями, маркирующими родовую территорию и своеобразным образом закрепляющими право на эксплуатацию меднорудных источников, а также с близлежащими поселениями, на которых зафиксированы следы металлургического производства. В то же время медная руда, металлургические шлаки и прочие свидетельства металлургии присутствуют на большинстве других, в том числе весьма удаленных от рудных источников поселений.

Второй вид обмена предполагает формирование устойчивых связей внутри производственной системы более высокого таксономического ранга, нежели горно-металлургический комплекс. Речь идет об Уральско-Мугоджарском ГМЦ. С точки зрения определения историко-культурного содержания, можно констатировать удивительную культурную однородность памятников позднего бронзового века в пределах этого обособленного геолого-географического района, что позволяет сделать однозначный вывод о формировании здесь своеобразной кожумбердынской культурной группы и соответствующего металлургического очага. В пределах этой хозяйственно-культурной системы имели место различные модели горно-металлургического производства. Так, в Южных Мугоджарах в отдельных случаях есть основания допускать возможность организации сезонных экспедиций, целью которых было получение медной руды. Но чаще, видимо, следует предполагать обмен готовой продукцией металлургического и металлообрабатывающего производства с потребителями, в качестве которых выступали родственные группы скотоводческого населения. Культурное своеобразие кожумбердынских древностей в значительной мере могло определяться особенностями хозяйственно-производственной системы, в структуре которой металлопроизводство играло важную роль. По крайней мере, последние исследования, связанные с применением воспринятой из этнологии концепции хозяйственно-культурных типов (ХКТ) к археологическим материалам, довольно убедительно демонстрируют соответствие ХКТ локальным вариантам археологических культур [Савинов, 2007, с. 48].

И наконец, наличие внешнего обмена подтверждается, с одной стороны, жесткими типологическими параллелями, соответствующими морфологическим стандартам Евразийской металлургической провинции (ЕАМП), а с другой – широким распространением химико-металлургической группы ЕУ далеко за пределами Уральско-Мугоджарского региона. Кроме того, открытым остается вопрос о главном легирующем компоненте еленовско-ушкаттинских бронз, в качестве которого выступало олово. Помимо традиционных для историко-металлургических исследований признанных пунктов добычи касситеритов в эпоху бронзы, к числу которых относятся Рудный Алтай и Средняя Азия, можно допустить альтернативные источники в виде запасов касситеритов и

россыпей в Центральном Казахстане и непосредственно в Мугоджарах.

Наряду с металлургией, надежно документирована и металлообработка. Показательны в этом смысле находки кузнечного каменного инструментария на ряде поселений, но особенно весомым доказательством может служить каменная литейная форма для изготовления ножей, обнаруженная на полу производственной мастерской на поселении Шандаша [Кузьмина, 1965а, л. 11]. Однако, в общем, приходится констатировать, что представлена металлообработка в Еленовском и Ушкаттинском микрорайонах крайне невыразительно. Степень изученности памятников в бассейне р. Камсак не оставляет надежды на открытие какого-либо крупного селища кузнецов-литейщиков, подобного, к примеру, срубному Мосоловскому поселению на Среднем Дону, где только количество литейных форм составляет будоражащую воображение цифру – 700 экземпляров [Пряхин, 1996а, б]. В целом, создается впечатление, что производство металлических изделий носило ограниченный характер и было ориентировано на внутреннее потребление.

Малую вероятность организации значительных работ металлургического и металлообрабатывающего циклов, нацеленных на товарный дальнедистанционный обмен, отражением чего обычно является производство серийных металлоемких орудий, определяют также природно-климатические условия в регионе. Экстремальный температурно-влажностный режим и отсутствие древесной растительности, необходимой для отжига древесного угля, в том числе пойменных лесов, вряд ли могли способствовать масштабной металлопроизводственной деятельности. Более того, стремление выработать наиболее эффективную модель адаптации подвигло, в частности, носителей кожумбердынского культурного комплекса к тому, что основное место в системе жизнеобеспечения заняли отгонные формы скотоводства. В бытовой и погребальной архитектуре оформилась самобытная традиция, обусловленная особенностями экологической ниши, занятой кожумбердынской культурной группой, предполагавшая использование в качестве основного строительного материала для сооружения глинобитных блоков (самана). Прочность конструкций обеспечивалась в отдельных случаях использованием для укрепления основания стен жилищ, хозяйственных и производственных построек на

поселениях вертикально вкопанных каменных плит. Иногда камень присутствует в фундаментах строений. Эти же приемы характерны для погребальных конструкций, наиболее монументальные из которых удерживали от разрушения каменные кромлехи из вкопанных на ребро плоских плит или ограды из рваного камня.

Есть основания предполагать, что социальный статус индивидов, занятых в металлопроизводственной деятельности, был достаточно высок, хотя в могильниках кожумбердынской культурной группы, даже локализирующихся на площади техногенных объектов, никак не маркируется статус горняков, металлургов и кузнецов-литейщиков. Это обстоятельство объясняется, по всей видимости, тем, что погребальный обряд в данном случае не учитывал профессиональную специализацию умерших, что типично для большинства культур бронзового века Восточной Европы [Бочкарев, 2010, с. 211]. Тем не менее, довольно веским, хотя и косвенным аргументом в пользу почетного статуса металлурга-литейщика является центральное место производственной мастерской на площади поселения [Черных, 1976, с. 165]. Все известные в Еленовском и Ушкаттинском микрорайонах производственные помещения, связанные с металлургией и металлообработкой, локализируются в центре поселений. Следует также отметить, что еленовско-ушкаттинские материалы подтверждают мнение о том, что в пределах отдельных этносоциальных производственных структур монополия на торговлю металлом практически всегда принадлежала социальной элите, куда нередко входили и металлурги [Там же, с. 169]. В этом плане особенно показательны некрополи, в составе которых выделяются погребальные комплексы, отличающиеся особой монументальностью надмогильных конструкций и присутствием маркеров высокого социального ранга в составе заупокойного инвентаря. На это обстоятельство в свое время обратила внимание Е.Е. Кузьмина, которая позиционировала могильник Купухта как некрополь андроновской знати [Кузьмина, 1963а]. В последние годы экспедицией ОГТИ под руководством автора данной статьи исследуется крупный могильник Ушкаттинский I, материалы которого подтверждают справедливость такой трактовки отдельных погребальных комплексов в округе Еленовского и Ушкаттинского рудников.

Таким образом, материалы исследований Еленовского отряда под руководством Е.Е. Кузьминой в бассейне р. Камсак в Восточном Оренбуржье по-прежнему являются эталонными, а сделанные на их основе реконструкции, связанные с организацией горно-металлургического производства, могут быть экстраполированы на аналогичные археологические микрорайоны, приуроченные к древним медным рудникам, сосредоточенным в пределах Уральско-Мугоджарского региона. Открытия, сделанные юбилеем более 40 лет назад, не утратили своей актуальности и являются надежным фундаментом для дальнейшего изучения обозначенных в работе проблем.

Список литературы

- Бочкарев В.С.** Погребения литейщиков эпохи бронзы: (методологический пересмотр) // Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. – СПб., 2010.
- Зайков В.В., Юминов А.М., Дунаев А.Ю., Зданович Г.Б., Григорьев С.А.** Геолого-минералогические исследования древних медных рудников на Южном Урале // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 4.
- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.** Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки: по мат-лам Северной Бетпак-Далы. – Алма-Ата, 1992.
- Каргалы.** – М., 2002. – Т. 2: Горный – поселение эпохи поздней бронзы. Топография, литология, стратиграфия. Производственно-бытовые и сакральные сооружения. Относительная и абсолютная хронология.
- Кипарисова Н.П.** Отчет о работах Чкаловского областного краеведческого музея в 1954 г. // НОА ИА РАН. 1954. Р-1. № 987.
- Кривцова-Гракова О.А.** Алексеевское поселение и могильник // Археологический сборник. – 1948. – Вып. 17. – (Тр. ГИМ).
- Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М.** Древняя металлургия и гончарство Центрального Казахстана. – Алматы, 1994.
- Кузьмина Е.Е.** Отчет о работе Эмбинского отряда в 1958 г. // АОИМ. КП 9353. 1958.
- Кузьмина Е.Е.** Отчет Еленовского отряда Оренбургской экспедиции 1959 г. // НОА ИА РАН. 1959. Р-1. № 1938. Л. 10-12, 30, 79.
- Кузьмина Е.Е.** Отчет Еленовского отряда Оренбургской археологической экспедиции АН СССР за 1960 г. // НОА ИА РАН. 1960. Р-1. № 2100.
- Кузьмина Е.Е.** Отчет Еленовского отряда Оренбургской археологической экспедиции 1961 г. // НОА ИА РАН. 1961. Р-1. № 2372.
- Кузьмина Е.Е.** Отчет Еленовского отряда Оренбургской археологической экспедиции за 1962 г. // НОА ИА РАН. 1962а. Р-1. № 2500.
- Кузьмина Е.Е.** Археологические исследования памятников Еленовского микрорайона андроновской культуры // КСИА. – М., 1962б. – Вып. 88.
- Кузьмина Е.Е.** Новый тип андроновского жилища в Оренбургской области // ВАУ. – Свердловск, 1962в. – Вып. 2.
- Кузьмина Е.Е.** Купухта – могильник андроновской знати // КСИА. – М., 1963а. – Вып. 93.
- Кузьмина Е.Е.** Периодизация могильников Еленовского микрорайона андроновской культуры // Памятники каменного и бронзового веков Евразии. – М., 1963б.
- Кузьмина Е.Е.** Андроновское поселение и могильник Шандаша // КСИА. – М., 1964. – Вып. 98.
- Кузьмина Е.Е.** Отчет Еленовского отряда Оренбургской археологической экспедиции 1965 г. // НОА ИА РАН. 1965а. Р-1. № 3081.
- Кузьмина Е.Е.** Относительная хронология андроновских поселений Еленовского микрорайона // СА. – 1965б. – № 4.
- Кузьмина Е.Е.** Отчет Еленовского отряда Южно-уральской экспедиции за 1966 г. // НОА ИА РАН. 1966. Р-1. № 3427.
- Кузьмина Е.Е.** Отчет о работе Еленовского отряда за 1969 г. // НОА ИА РАН. – 1969а. – Р-1. – № 3994.
- Кузьмина Е.Е.** Раскопки могильника Кожумберды // КСИА. – М., 1969б. – Вып. 115.
- Кузьмина Е.Е.** Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. – Фрунзе, 1986.
- Кузьмина Е.Е.** Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождения индоиранцев. – М., 1994.
- Кузьмина Е.Е.** Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. – Актобе, 2008.
- Левитский Л.П.** О древних рудниках. – М.; Л., 1941. – 33 с.
- Малютин В.Л.** Новый район медных месторождений Чкаловской области // СГ. – 1940. – № 10. – С. 92–97.
- Малютин В.Л., Рудницкий И.Л.** Новый район медных месторождений Еленовка – Уш-Катты в Домбаровском р-не Оренбургской обл.: предварит. отчет по разведкам Еленовского медного месторождения // Архив филиала по Оренбургской области ФГУ «ТФИ по Приволжскому ФО». 1937. № 1633.
- Новиков М.Ф., Скрипаль В.И.** Отчет о геологоразведочных и поисковых работах Еленовской геологоразведочной партии за 1949–1951 гг. Еленовское медно-турмалиновое месторождение. – Уфа, 1952.
- Новиченко А.С.** Археологические наблюдения в Орском Зауралье // ОИМ. Рукопись. – 1956. – С. 58–59.
- Пряхин А.Д.** Мосоловское поселение металлургов-литейщиков эпохи поздней бронзы. – Воронеж, 1996а. – Кн. 1.
- Пряхин А.Д.** Мосоловское поселение металлургов-литейщиков эпохи поздней бронзы. – Воронеж, 1996б. – Кн. 2.
- Родионов В.В.** Очерк истории археологических исследований в Актыбинской обл. // Вопросы археологии Западного Казахстана. – Самара, 1996. – Вып. 1.
- Родионов В.В., Ткачев В.В.** Новые погребальные памятники эпохи бронзы в Актыбинском Приуралье // Вопросы археологии Западного Казахстана. – Самара, 1996. – Вып. 1.

Рыбалкин А.И., Нечитайло С.К. Отчет о поисковых работах на олово в пределах реки Уш-Катты Домбаровского р-на Оренбургской обл. 1937 г. // Архив филиала по Оренбургской области ФГУ «ТФИ по Приволжскому ФО». 1937. № 01464.

Савинов Д.Г. О теории хозяйственно-культурных типов применительно к археологическим источникам // XVII УАС. – Екатеринбург; Сургут, 2007.

Сальников К.В. Отчет об археологических исследованиях, проведенных по поручению Чкаловского Областного Краеведческого Музея Сальниковым К.В. по открытому листу № 84 от 21 авг. 1950 г. // НОА ИА РАН. 1950. Р-1. № 409.

Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. – М., 1967. – 278 с.

Сальников К.В., Новиченко А.И. Памятники эпохи бронзы в Домбаровском р-не Оренбургской обл. // СА. – 1962. – № 2.

Ткачев В.В. Периодизация и хронология памятников эпохи бронзы Ишкининского археологического микрорайона в Восточном Оренбуржье // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. – Уральск, 2005. – Вып. 4.

Ткачев В.В. Шаншарский археологический микрорайон эпохи поздней бронзы в Актюбинском Приуралье // УАВ. – Уфа, 2009а. – Вып. 9.

Ткачев В.В. Горно-металлургические комплексы в системе археометаллургической таксономии // Вестник Челябинского гос. университета. История. – 2009б. – Вып. 38. – № 41 (179).

Ткачев В.В. Горное дело и металлургия меди в Уральско-Мугодзарском регионе в позднем бронзовом веке // Известия Самарского научного центра РАН. – 2010. – Т. 12, № 2.

Ткачев В.В., Сегедин Р.А., Грешнер С.Г. Подъемный материал из поселений и рудников бронзового века в Мугодзарах // Вопросы археологии Западного Казахстана. – Самара, 1996. – Вып. 1.

Формозов А.А. Отчет об археологических разведках в районе г. Орска Чкаловской обл. // НОА ИА РАН. 1949. Р-1. № 361.

Формозов А.А. Археологические памятники в районе Орска // КСИИМК. – М.; Л., 1951. – Вып. XXXVI. – С. 120–121.

Черных Е.Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. – М., 1970.

Черных Е.Н. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. – М., 1976.

Юминов А.М., Зайков В.В. Горные разработки в бронзовом веке на Ишкининском медном руднике // Уральский минералогический сборник. – Миасс, 2002. – № 12.

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД В АТАСУСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ПРОБЛЕМА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Исследования памятников эпохи бронзы Зауралья позволили К.В. Сальникову разработать и обосновать схему нескольких сменяющих друг друга культурных стереотипов, названия которых в настоящее время закрепились за отдельными культурными образованиями [Сальников, 1967]. Термины, предложенные исследователем для обозначения отдельных этапов развития, не подвергались и не подвергаются пересмотру, дополняется только их внутреннее содержание. Более сложная терминологическая ситуация сложилась в отношении древностей бронзового века Центрального Казахстана, первоначально рассматривавшихся в контексте зауральской культурной традиции [Акишев, 1953]. Несколько позднее в научный оборот вводятся термины, учитывающие культурную специфику комплексов бронзового века региона [Древняя культура..., 1966]. В результате возникла определенная путаница при культурной характеристике археологических памятников Сары-Арки: продолжают использоваться термины, предложенные для памятников эпохи бронзы Зауралья [Варфоломеев, 2007]; используются центральноказахстанские термины, но атасуские древности рассматриваются как локальный вариант алакульской линии развития [Кузьмина, 1985, с. 27–28; 1994, с. 46–47]. В то же время нельзя не учитывать мнение М.К. Кадырбаева, который считал, что специфика «культуры племен эпохи бронзы Центрального Казахстана... не укладывается в схему южно-уральской периодизации» [1974, с. 40], а атасуские культурные комплексы имеют свою хронологическую иерархию, позволяющую рассматривать их как самостоятельное культурное образование [Кадырбаев, 1983, с. 137–142; Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 224–240].

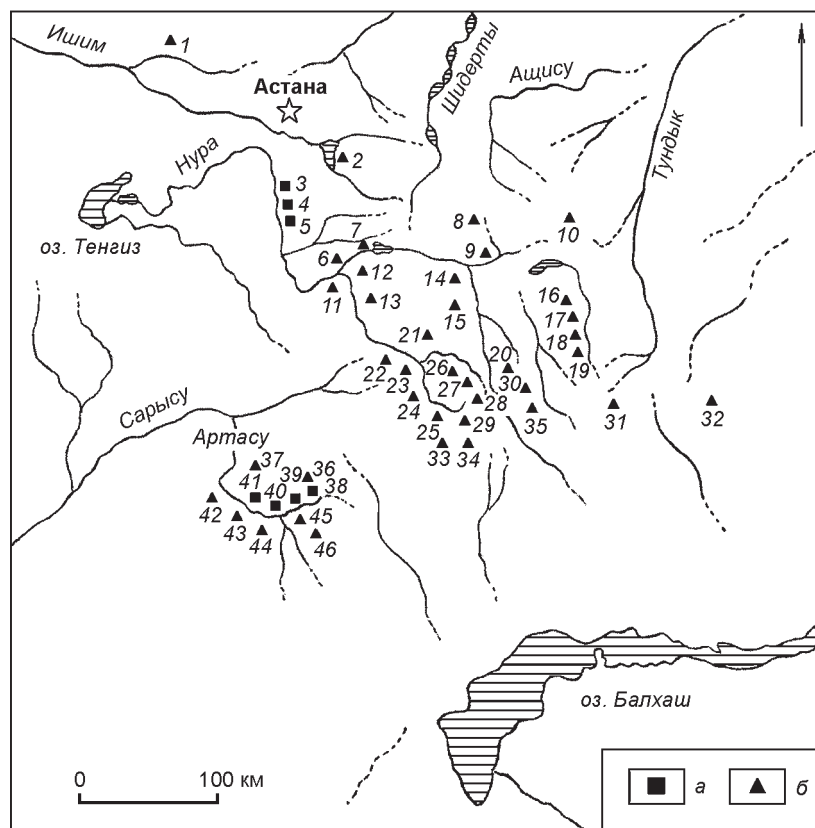
Ареал памятников атасуской культуры включает степные районы Казахского мелкосопочника. На юге расселение атасуских общин ограничивалось полупустынной зоной Северной Бетпак-Далы; на севере естественная граница расселения алакульского и атасуского населения проходила по степи и лесостепи, где исследован самый северный могильник Шондынкорасы, давший материалы атасуского облика [Хабдулина, 2000]. Многочисленные памятники, содержащие материалы атасуского типа, широко распространены в степях Сары-Арки, преимущественно в бассейне р. Нуры, верховьях р. Ишима и на южных склонах Казахского мелкосопочника по берегам многочисленных речек внутреннего стока, где исследовано свыше 40 могильников (см. *рисунок*).

Преобладающая часть атасуских погребальных памятников приурочена к предгорным зонам или высоким водоразделам. Открытые и исследованные могильники расположены на высоких площадках, возвышенностях коренных террас или на склонах сопок, вплотную примыкающих к реке и господствующих над окружающей местностью. Погребальные конструкции на площади могильников «вытянуты» вдоль реки или возвышенности от 0,15–0,5 до 1,5 км (Шапат, Шет, Аяпперген, Койшоки) [Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 76, 86; Ткачев А.А., 2002б, рис. 160, 176] или расположены компактной группой (Майтан, Ижевский I, Атасу I, Ак-Мустафа, Ташик) [Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 67, 101; Ткачев А.А., 2002б, рис. 169, 1]. Площадь могильников варьируется от 4–5 тыс. кв.м. (Шапат, Ащиозек, Копа I, Нуркен) до 10–20 тыс. кв.м. (Майтан, Ижевский I, Атасу I). Иногда на площади могильника погребальные конструкции образуют отдельные ком-

пактные группы, число которых колеблется от двух до четырех (Майтан, Койшоки, Шет, Сангру II, Атасу I, Аяпперген).

Наблюдения показывают, что одни погребальные площадки использовались атасускими общинами длительное время, другие содержат незначительное количество погребальных сооружений, причем в количественном отношении могильники значительно варьируются. По числу надмогильных конструкций на погребальном поле выделяются три группы памятников: 1) преобладают небольшие могильники, включающие от 6 до 15 сооружений (Шапат, Нуркен, Копа I, Ащизек, Садык, Жиланды, Алеп-Аул, Мыржик II, Мыржик III); 2) несколько меньше могильников средних размеров, объединяющих от 15 до 35 погребальных объектов (Шет, Ташик, Аяпперген, Копа, Койшоки); 3) число крупных могильников, содержащих от 45 до 90 надмогильных конструкций и более, незначительно (Ак-Мустафа, Атасу I, Майтан, Сангру II, Мыржик I). Особенностью памятников двух последних групп является то, что эти объекты, при общем преобладании атасуских погребальных конструкций, содержат ограды с нуринскими материалами (Сангру II, Мыржик I, Койшоки, Аяпперген) и позднебронзовые комплексы, расположенные по периферии погребальных площадок (Бельсар, Бегазы, Айшрак).

Надмогильные сооружения фиксируются в виде безнасыпных оград из поставленных на ребро плит, вкопанных в канавки. Встречаются ограды округлой, овальной, прямоугольной или квадратной форм. Значительная часть оград (29 %) имеет от одной до девяти пристроек. Единичны могильники, содержащие одну-две ограды, перекрытые земляными насыпями высотой 0,3–0,5 м (Майтан, Ащизек). Курганы имеют форму кру-



Карта памятников атасуской культуры.

a – исследованные поселения; *b* – исследованные могильники.

1 – Шондынкорасы; 2 – Ижевский I; 3 – Энтузиаст II; 4 – Энтузиаст I; 5 – Майоровка; 6 – Шапат; 7 – Тегисжол; 8 – Майтан; 9 – Ташик; 10 – Аяпперген; 11 – Жиланды; 12 – Алеп-Аул; 13 – Дандыбай; 14 – Алтынсу; 15 – Жабай-Карасу; 16 – Копа; 17 – Копа I; 18 – Нуркен; 19 – Ащизек; 20 – Шет; 21 – Жамбай-Карасу; 22 – Байбалдак; 23 – Шерубай-Нура; 24 – Аксу-Аюлы I; 25 – Карабие; 26 – Былкылдак I; 27 – Былкылдак II; 28 – Былкылдак III; 29 – Карасай; 30 – Темир-Астау; 31 – Егис-Койтас; 32 – Котанэмель I; 33 – Ельшибек; 34 – Бельсар; 35 – Бегазы; 36 – Койшоки; 37 – Атасу I; 38 – Акмая; 39 – Атасу I; 40 – Ак-Мустафа; 41 – Мыржик; 42 – Мыржик II; 43 – Мыржик III; 44 – Ак-Мустафа; 45 – Сангру II; 46 – Айшрак.

га или слабо вытянутого овала, форма насыпей сегментовидная, со сглаженной вершиной.

Результаты раскопок могильников всех трех групп показали, что атасуские общины почти полностью отказались от традиции курганных захоронений, характерной для предшествующего нуртайского времени. Со всей очевидностью можно констатировать, что грунт, изъятый из могил, удалялся не только за пределы погребальной площадки, но и за пределы погребального поля. В большинстве оград, за редким исключением, выбросы из могил не фиксируются. Это свидетельствует об определенных мировоззренческих изменениях, произошедших в сознании людей, оставивших атасуские погребальные объекты.

Изменения коснулись и семейно-брачных отношений, что привело к развитию пристроечных комплексов. Кроме того, наблюдаются случаи объединения отдельных семейных погребальных объектов в единый комплекс посредством сооружением соединительных пристроек (Майтан, Нуркен).

В северной части Центрального Казахстана исследовано десять атасуских могильников, содержащих свыше 400 захоронений (см. *таблицу*); в южной зоне Сары-Арки в 28 погребальных памятниках выявлено около 300 погребений [Древняя культура..., 1966, с. 91–154; Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 68–124; Ткачев А.А., 2002а, б]. Таким образом, в атасуских некрополях Центрального Казахстана изучено свыше 700 захоронений, причем в большинстве памятников вскрыта незначительная часть надмогильных конструкций. Материалы атасуских могильников свидетельствуют, что просторы Центрального Казахстана в андроновское время являлись одной из наиболее плотно заселенных территорий Урало-Казахстанского региона.

Распределение могил по отдельным оградкам не равномерно, их количество варьируется от одной до шести. Если в отдельных оградках находились две крупные могилы, то они располагались параллельно друг другу; если взрослая и детская могилы, то взрослая находилась в центре, детская смещалась в один из секторов ограды или располагалась за оградой; если в ограде фиксировалось более двух могил, то они располагались в один-два ряда, чаще параллельно друг другу. Погребения совершались в грунтовых ямах (22,7 %) и каменных ящиках: одиночных (73,8 %), спаренных (2,8 %), тройных (0,7 %). Распределение их по отдельным могильникам варьируется очень значительно. В памятниках, где изучено свыше 30 погребений, преобладают ящики (58; 90 %). С одной стороны, превалирование в конкретном могильнике определенного типа могил зависит и от его территориально-географического положения. С другой стороны, сравнительный анализ на основе хронологических характеристик свидетельствуют о постепенном увеличении в погребальном обряде каменных ящиков как основного типа конструкций (21; 100 %). В то же время это характерно только для восточной зоны региона, богатого выходами гранита. В равнинных же районах Сары-Арки, где колющегося плитняка очень мало, преобладают грунтовые ямы (67; 100 %).

Так, на могильнике Ижевском I каменные ящики не обнаружены, т.к. на территории вокруг памятника отсутствуют залежи камня. Небольшие каменные плитки, принесенные с окружающих сопков, использовались местным населением только для сооружения оград. Аналогичная ситуация прослежена и на могильнике Шапат – у большинства могил камнем укреплены одна-две стенки, а иногда лишь одна половина ямы. Для перекрытия могил в горных районах применялись в основном каменные плиты, а дерево, несмотря на наличие лесных массивов в Каркаралинско-Кентском горно-лесном оазисе, встречается как исключение. При этом на западных равнинах Сары-Арки преобладают деревянные перекрытия. Бревнышками тальника перекрыта основная часть захоронений в могильниках Шапат и Ижевский I. В могильнике Майтан в торцевые стенки одного из широких ящиков врезаны пазы для бревна, служившего опорой для небольших плит перекрытия. Аналогичная система перекрытия прослежена в ограде 10 нуртайского могильника Актобе II [Ткачев А.А., 2002а, с. 280, рис. 120, 3].

Могильные ящики и ямы малых размеров, длиной от 0,3 до 1,5 м и шириной от 0,2 до 1 м, содержали одиночные, реже парные захоронения детей и подростков; более крупные сооружения, длиной 1,6–4,0 м, шириной 0,7–2,6 м – одиночные погребения взрослых, парные и коллективные захоронения людей разных возрастных групп. Незначительную часть подростков, захороненных в крупных могильных конструкциях, в силу каких-то социальных причин, вероятно, причисляли к взрослой возрастной группе, что потребовало особого подхода к их погребению. Аналогичные случаи отмечены и в алакульской погребальной практике на территории Зауралья и Северного Казахстана [Виноградов, 1984, с. 137, 139; Матвеев, 1998, с. 188; Потемкина 1985, с. 183, 185, 194, рис. 81; Сальников, 1952, с. 60]. Это свидетельствует об идентичных социокультурных процессах в степной зоне Урало-Казахстанских степей в рамках алакульской культурной провинции.

Разграбление большинства изученных памятников затрудняет воссоздание многих деталей атасуской погребальной практики, но судя по остаткам костяков и наличию отдельных костей в разграбленных могилах, основная часть захоронений совершалась по обряду ингумации (77,3 %). Чаще встречаются одиночные костяки, реже парные (дети, женщины с детьми, мужчины и женщины),

[illegible]

единичны тройные погребения (дети, взрослые с детьми). Трупы людей всех возрастных групп помещались на дно могилы в скорченном положении, в основном на левом боку (87,8 %), как исключение – на правом. Последний способ захоронения характерен, в основном, для женщин. В парных погребениях женщины обычно лежат на правом боку, лицом к мужчине. Значительно реже отмечается этот способ захоронения в одиночных погребениях. Как исключение в могильниках Ташик и Жиланды встречены захоронения, где костяки лежат на спине с вытянутыми вдоль туловища руками, согнутыми и поднятыми вверх коленями. В суммарном выражении в ориентировке костяков преобладает западное направление (41,9 %), меньше захоронений с отклонениями на юго-запад (34,2 %) и северо-запад (14,3 %). Значительно реже меридиональное направление, головой на север или юг. Восточное направление фиксируется как исключение, с отклонениями на северо-восток или юго-восток.

Велика в рассматриваемой выборке доля пустых могил, где отсутствуют костяки (19,8 %). Можно допустить, что в атасуской среде, как и в других районах алакульской культурной провинции [Матвеев, 1997, 15, 16; 1998, с. 200–204; Потемкина, 1985, с. 263; Стоколос, 1972, с. 39; Ткачев В.В., 1997, с. 286], аналогично более раннему времени [Генинг В.Ф., 1977, с. 62, 63; Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 132, 134, 208] существовал обычай заранее готовить могилы для некоторых членов общества. В результате не всегда предоставлялась возможность поместить в такую могилу погибшего на стороне, а хоронить в ней какого-либо другого умершего, видимо, было нежелательно. Так, две могилы из могильника Майтан можно считать кенотафами: первая содержала ритуальное мужское захоронение – в крупной грунтовой яме с непотревоженным перекрытием, без костяка погребенного, но с тремя сосудами, между которыми находились бронзовый нож и костяная пряжка (огр. 40, мог. 4); второй кенотаф – женский – в каменном ящике (огр. 18е, мог.), при отсутствии костей скелета, в углу обнаружены аккуратно уложенные украшения: три желобчатых браслета, нашивная бляшка, несколько листовидных подвесок, бронзовые бусы и бронзовые подвески в полтора оборота, обтянутые золотым листом.

Кремация отмечена только в могильнике Майтан, где выявлено шесть погребений по обряду

трупосожжения. Судя по размерам могил, альтернативным способом были погребены ребенок и пятеро взрослых. Сожжение трупа проходило где-то на стороне, поскольку в могилах следов огня не обнаружено. Кучки пепла и пережженных костей аккуратно ссыпаны в угол или в центр могилы. Погребенных сопровождает лишь посуда. Ограды с трупосожжением занимают периферийное положение по периметру могильника, эти могилы расположены в пристройках, и только в одном случае обряд кремации зафиксирован в основной ограде. Другим вариантом использования огня в погребальных церемониях атасуских общин являлось посыпание умершего древесными угольками. В рамках алакульской культурной провинции кремация трупов единична [Сорокин, 1962, с. 53–54; Стоколос, 1972, с. 39]. В алакульском погребальном обряде довольно часто очистительная сила огня использовалась для ритуального сожжения перекрытия и срубов после захоронения умерших [Сальников, 1952, с. 60; Потемкина, 1985, с. 175, 198, 226; Матвеев, 1998, с. 194, 195]. Как элемент погребальной обрядности огонь начал использоваться с синташтинского времени [Генинг В.Ф., 1977, с. 70–72], но более широко огненный культ в степях Зауралья и Северного Казахстана стал практиковаться алакульским населением как результат алакульско-федоровских контактов [Виноградов, 1984, с. 139–145, 151; Зданович, 1988, с. 143; Усманова, 1985, 1987; Хабарова, 1993; Хлобыстина, 1976]. Рассмотрев случаи с кремацией в Зауральской зоне алакульской культурной провинции, А.В. Матвеев пришел к выводу о том, что сожжению в основном подвергались женщины, которым в потустороннем мире была уготовлена особая участь [1997, с. 19–22].

Практически во всех атасуских оградах, за редким исключением, обнаружены остатки поминальных приношений, вкопанных в дерновый грунт или в небольшие углубления в материке [Древняя культура..., 1966, с. 104–112; Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 70, 94]. Количество их обычно варьируется от одного до шести. Очень редко в оградах фиксируется один вид жертвоприношений, чаще прослеживается несколько. Наиболее многочисленную группу поминальных комплексов образуют отдельно стоящие сосуды или разделанные части туш, помещенные в могилу, на перекрытие или оставленные рядом с ней. Значительно реже отмечается сочетание сосуда с костями животных, при этом поминальное жер-

жертвоприношение обычно располагалось у плит ограждения, снаружи или внутри [Ткачев А.А., 2002б, с. 84, 115]. Аналогичное расположение поминальных комплексов характерно и для аласких памятников сопредельных регионов [Зданович, 1988, с. 66, 67, 73 и др.; Потемкина, 1985, с. 163, 175, 183, 220, 255; Матвеев, 1998, с. 204–214; Сальников, 1952, с. 53–63]. Данные по аласким памятникам Притоболья и Северного Казахстана свидетельствуют, что жертвенными животными являлись в основном взрослые особи крупного и мелкого рогатого скота, встречающиеся примерно в равном количестве [Косинцев, 1998]. Жертвенные комплексы содержат головы, части задних и передних конечностей животных, отчлененные по коленным запястным или скательным суставам.

В могильнике Майтан наибольший интерес представляют захоронения коней. В ограде 15А, содержащей четыре могилы, одиночный костяк лошади не связан с конкретной могилой, а у одной из гробниц с южной, восточной и западной сторон находились ноги лошади. Парные захоронения лошадей обнаружены в трех оградах. В ограде 7Г лошади лежали на правом боку, вдоль длинных сторон ящика, одна ногами к нему, другая от него, а в могиле обнаружено ритуальное подхоронение ног коня. В ограде 29В костяки лежали на правом и левом боку с подогнутыми ногами, параллельно длинным сторонам ящика, ногами к нему. На морде одной лошади найдены костяные псалии, рядом стоял сосуд. В ограде 29Г лошади лежали с подогнутыми «переплетенными» ногами на правом и левом боку, вдоль северной стенки ящика, перекрывая небольшую грунтовую яму, содержащую погребение младенца.

В отличие от памятников новокумакского хронологического горизонта, где парные погребения лошадей довольно часты, в аласко-атаское время, в связи со стабилизацией межплеменных отношений, парные погребения коней в Урало-Казахстанских степях почти исчезают. Два лошадиных костяка обнаружены на перекрытии погребения 2 кургана 13 Алаского могильника [Сальников, 1952, с. 56] и в могиле 16 Хрипуновского могильника [Матвеев, 1998, с. 153, рис. 56]. Чаще всего в полах курганов встречаются одиночные костяки. Так, скелет лошади найден в кургане 3 у г. Троицка [Матвеева, 1962], в кургане 2 могильника Семипалатное [Зданович, 1988, с. 101–102, рис. 41, 3], расчлененная туша лошади обна-

ружена в кургане 13 Чистолёбяжского могильника [Матвеев, 1998, с. 71, рис. 19]. Значительно чаще в памятниках алаской культуры встречаются черепа и конечности, символизирующие вместе со шкурой целое животное [Кузьмина, 1977, с. 36]. Данные поминальные комплексы отмечены в кургане 2 у башни Тамерлана [Стоколос, 1962, с. 25], в погребениях у г. Орск [Формозов, 1951, с. 120], в кургане 1 Петропавловского могильника [Оразбаев, 1958, с. 262], в погребении 13 Новоаккермановского могильника [Подгаецкий, 1940, с. 79], в могильнике Купухта [Кузьмина, 1963, с. 97], в могиле 15 Хрипуновского могильника [Матвеев, 1998, с. 151–152].

На территории Центрального Казахстана одиночный костяк лошади обнаружен в ограде 10 могильника Балыкты. Центральная могильная яма имела конструктивную особенность – «ложе для погребенного», выделенное в придонной части уступчиками, и двойное перекрытие на уровне уступов и на уровне материка. На верхнем перекрытии лежал костяк лошади в позе «летающего галопа» [Ткачев А.А., 2002б, с. 5–7]. Плохо сохранившийся костяк лошади обнаружен на перекрытии могилы в ограде 11 могильника Былкылдак I [Маргулан, 1970, с. 185–186], а на перекрытии могилы в ограде 2 могильника Былкылдак II найдены череп и кости передних ног лошади [Там же, с. 196–197].

В могильнике Майтан погребения с конями совершены в оградах, пристроенных цепочкой друг к другу, и не в основных, а во второстепенных. Это позволяет сделать вывод о том, что становление аласких комплексов происходит в посткумакское время, и в связи со стабилизацией общественных отношений военно-родовая прослойка перестает играть существенную роль в жизни общества, хотя и сохраняется как необходимый элемент на случай конфликтов между родовыми коллективами.

Данных, свидетельствующих о человеческих жертвоприношениях у представителей андроновской общности, почти нет. В то же время о возможности такой обрядности позволяет судить жертвенник, обнаруженный за оградой 27А в могильнике Майтан. В небольшой ямке, накрытой каменной плитой, находился стоящий на основании череп ребенка с двумя шейными позвонками (что говорит о преднамеренном отделении головы от туловища) в сопровождении сосуда. Принесение в жертву человеческой

головы прослежено и в атасуском могильнике Шондынкорасы, где череп человека лежал на перекрытии могилы, содержащей женское захоронение [Хабдулина, 2000, с. 45–46]. За пределами региона принесение в жертву двух человек (подростка и женщины) отмечено на территории Верхнего Прииртышья в могильнике канайской культуры Маринка [Ткачев, Ткачев А.А., 2008, с. 97, рис. 26].

Погребальная практика атасуских коллективов отличается отсутствием традиции помещения в пределах ограды или могилы собак, что довольно характерно для алакульских памятников Зауралья и Северного Казахстана [Матвеев, 1998, с. 216–217; Михайлов, 1992, с. 114–116; Сальников, 1952, с. 62, 63; 1967, с. 33; Стоколос, 1972, с. 153]. Это может рассматриваться, с одной стороны, как следствие прямой преемственности синташтинско-петровской и алакульской погребальной обрядности [Генинг В.Ф., 1977, с. 70; Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 144, 234; Зданович, 1988, с. 76; Костюков, Епимахов, Нелин, 1995, с. 157, 172]; с другой – как отсутствие прямых связей между новокумакскими группами населения Зауралья и нуртайской культурной традицией, лежащей в основе формирования атасуских древностей Центрального Казахстана [Ткачев А.А., 2003].

Особенности атасуской погребальной обрядности позволяют рассматривать данную культурную систему как особую археологическую культуру, сформировавшуюся в зоне алакульской провинции в рамках естественного продолжения традиций местного центральноказахстанского населения. Неоднозначный подход к характеристике атасуских комплексов связан с тем, что естественный культурогенез атасуских древностей осложнен активным участием в этом процессе носителей восточноказахстанских андроновско-канайских культурных традиций.

Список литературы

- Акишев К.А.** Эпоха бронзы Центрального Казахстана: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Л.: Гос. Эрмитаж, 1953. – 18 с.
- Варфоломеев В.В.** Могильник Тегисжол по раскопкам 2005 г. // Историко-культурное наследие Сары-Арки. – Караганда: Караганд. ун-т, 2007. – С. 65–84.
- Виноградов Н.Б.** Кулевчи VI – новый алакульский могильник в лесостепях Южного Зауралья // СА. – 1984. – № 3. – С. 136–153.
- Генинг В.Ф.** Могильник Синташта и проблемы ранних индоиранских племен // СА. – 1977. – № 4. – С. 53–73.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В.** Синташта. Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 1992. – Ч. 1. – 408 с.
- Древняя культура** Центрального Казахстана / А.Х. Маргулан, К.А. Акишев, М.К. Кадырбаев, А.М. Оразбаев. – Алма-Ата: Наука, 1966. – 453 с.
- Зданович Г.Б.** Бронзовый век урало-казахстанских степей. – Свердловск: Урал. ун-т, 1988. – 184 с.
- Кадырбаев М.К.** Могильник Жиланды на реке Нуре // В глубь веков. – Алма-Ата: Наука, 1974. – С. 25–45.
- Кадырбаев М.К.** Шестилетние работы на Атасу // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск: Башк. ун-т, 1983. – С. 134–142.
- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.** Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. – Алматы: Гылым, 1992. – 247 с.
- Косинцев П.А.** Костные остатки животных из Чистолембяжского и Хрипуновского могильников // Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск: Наука, 1998. – С. 405–411.
- Костюков В.П., Епимахов А.В., Нелин Д.В.** Новый памятник средней бронзы в Южном Зауралье // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н.э.). – Самара: Самарск. пед. ун-т, 1995. – С. 156–207.
- Кузьмина Е.Е.** Купухта – могильник андроновской знати // КСИА. – М., 1963. – Вып. 93. – С. 96–105.
- Кузьмина Е.Е.** Распространение коневодства и культ коня у индоиранских племен Средней Азии и других народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средневековье. – М: Наука, 1977. – С. 28–52.
- Кузьмина Е.Е.** Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности // ИБ МАИКЦА. – М., 1985. – С. 24–45.
- Кузьмина Е.Е.** Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М.: Рос. ин-т культурологии РАН и МК РФ, 1994. – 464 с.
- Маргулан А.Х.** Комплексы Былкылдак // По следам древних культур Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1970. – С. 164–199.
- Матвеев А.В.** О некоторых особенностях раннеандоновских захоронений Притоболья со следами огня // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: ИПСО СО РАН, 1997. – Вып. 1. – С. 15–23.
- Матвеев А.В.** Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск: Наука, 1998. – 417 с.
- Матвеева Г.И.** Раскопки курганов у г. Троицка // ВАУ. – 1962. – Вып. 2. – С. 29–34.
- Михайлов Ю.И.** Собака в ритуальной практике андроновского населения // Маргулановские чтения, 1990. – М.: ИА АН Казахстана, 1992. – С. 110–116.
- Оразбаев А.М.** Северный Казахстан в эпоху бронзы // Тр. ИИАЭ АН КазССР. – 1958. – Т. 5 – С. 216–294.
- Подгаецкий В.П.** Могильник эпохи бронзы близ г. Орска // МИА. – М.; Л., 1940. – № 1. – С. 69–82.
- Потемкина Т.М.** Бронзовый век лесостепного Притоболья. – М.: Наука, 1985. – 376 с.

Сальников К.В. Курганы на озере Алакуль // МИА. – 1952. – № 24. – С. 51–71.

Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. – М.: Наука, 1967. – 408 с.

Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казахстане // МИА. – 1962. – № 120.

Стоколос В.С. Археологические исследования Челябинского областного музея // ВАН. – 1962. – № 2. – С. 21–28.

Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья (хронология и периодизация). – М.: Наука, 1972. – 168 с.

Ткачев А.А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2002а. – Ч. 1. – 289 с.

Ткачев А.А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2002б. – Ч. 2. – 243 с.

Ткачев А.А. Бронзовый век Центрального Казахстана: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – М.: ИА РАН, 2003. – 50 с.

Ткачев В.В. Раскопки в Восточном Оренбуржье // АО 1996 г. – М.: ИА РАН, 1997. – С. 285–286.

Ткачева Н.А., Ткачев А.А. Эпоха бронзы Верхнего Прииртышья. – Новосибирск: Наука, 2008. – 304 с.

Усманова Э.Р. К вопросу о соотношении обрядов трупоположения и трупосожжения у племен андроновской культурно-исторической общности // Мировоззрение на-

родов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным: тез. докл. – Томск: Том. ун-т, 1985. – С. 155–157.

Усманова Э.Р. К вопросу о биритуализме в погребальном обряде племен андроновской общности Сары-Арки // Вопросы периодизации археологических памятников Центрального и Северного Казахстана. – Караганда: Караганд. ун-т, 1987. – С. 43–48.

Усманова Э.Р. Дифференцированный подход к умершему в погребальном обряде (по мат-лам могильника Лисаковский) // Маргулановские чтения, 1990. – М.: ИА АН Казахстана, 1993. – Ч. 1. – С. 97–104.

Формозов А.А. Археологические памятники в районе г. Орска // КСИИМК. – М.: Л., 1951. – Вып. 36. – С. 115–121.

Хабарова С.В. К вопросу об обряде сожжения в алаской погребальной традиции (по мат-лам могильника Ермак-4) // Культурногенетические процессы в Западной Сибири. – Томск: Том. ун-т, 1993. – С. 47–49.

Хабдулина М.К. Аласкульский курган на реке Аксу // Изв. МОН РК – НАН РК. Сер. обществ.наук. – 2000. – № 1. – С. 40–52.

Хлобыстина М.Д. К вопросу о «биритуальных» обрядах в андроновских могильниках // Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху. – Кемерово: Кемеров. ун-т, 1976. – С. 8–15.

ОСОБЕННОСТИ АНДРОНОВСКОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ АРЕАЛА КУЛЬТУРЫ

В 2014 г. исполняется 100 лет с момента исследования А.Я. Тугариновым первого памятника андроновской культуры. Спустя 12 лет он публикует материалы этих исследований недалеко от д. Андронovo [1926]. Кстати, в небольшой статье он упоминает С.А. Теплоухова, который на отчетной выставке Этнографического отдела Русского музея за 1923 г., как писал А.Я. Тугаринов, «...на основании моих находок установил особую Андроновскую культуру, обнаружив ее распространение как в Минусинском уезде, так и других местах Сибири» [Там же, с. 153–154]. Но достоянием научного археологического сообщества концепция С.А. Теплоухова о развитии культур эпохи палеометалла на территории Среднего Енисея, в том числе знания об андроновских древностях, стала после выхода в свет двух его работ [1927, 1929], которые по праву можно назвать классикой отечественной археологической науки. С тех пор андроновские древности постоянно привлекают внимание специалистов. Среди причин отмечу только изящный колорит культуры и ее географический масштаб. Елена Ефимовна Кузьмина, посвятившая большую и лучшую часть научного творчества андроновской проблематике, предусматривала границы культуры от Урала до Памира и Синьцзяна. На мой взгляд, ее ареал следовало бы ограничить на юге казахстанскими степями. В других районах Средней Азии, в том числе на западной территории Китая, формировались этнокультурные образования под влиянием андроновцев, по, вполне возможно, близкому, но не идентичному историко-культурному сценарию тому, который привел к возникновению андронидных культур на северной периферии ареала, особенно в лесостепной и южно-таежной зоне Западной Сибири.

История изучения андроновских древностей – одна из значительных страниц отечественной археологии. Историографии решения проблем посвящено достаточное количество работ [Кузьмина, 1988; Зданович, 1988; Потемкина, 1985; Корочкова, 2010], в которых, несмотря на индивидуальное видение научной позиции и концепции специалистов, есть единство в оценке общей тенденции формирования знаний об андроновском явлении. Важнейшую проблему – культурно-хронологическая атрибуция андроновских комплексов – специалисты рассматривали в одном направлении, несмотря на различия в методологических и методических подходах. Схематично его можно представить в следующем виде – локально-территориальные варианты археологической культуры (конец 20-х – начало 50-х гг. прошлого столетия) – этапы ее развития (середина 50-х – начало 80-х гг.) – самостоятельные археологические культуры в рамках андроновской культурно-исторической общности (до настоящего времени). Схема иллюстрирует то, что решение культурно-хронологической проблемы (как следствие исторического содержания) сводилось к последовательности развития и смене этапов, а затем культур. Базой этого направления являлась внутренняя периодизация андроновской культуры К.В. Сальникова [1951], построенная на материалах памятников Южного Урала, а не Южной Сибири, на которых было обосновано выделение археологической культуры. Необходимо иметь в виду, что С.А. Теплоухов в это понятие вкладывал классификационный смысл. Хотя история не приемлет сослагательного наклонения, тем не менее, любопытно было бы представить гипотетическую модель развития андроноведения на платформе

южносибирских памятников. Они представляют собой однокультурные комплексы с некоторыми локальными особенностями в пределах географических областей горной экосистемы Южной Сибири. В аспекте культурной атрибуции идентичность демонстрируют андроновские памятники Восточного Казахстана [Ткачева, Ткачев, 2008] и Барабинской лесостепи [Молодин, 1985]. Историографически сложившийся приоритет южноуральской периодизации приводил, а возможно, и до сих пор приводит, к поиску алакульских компонентов в андроновских комплексах восточных районов ареала культуры, имея ввиду их разную хронологическую принадлежность.

В XXI столетии обращение специалистов к андроновской проблематике не ослабевает (см. напр.: [Кузьмина, 2008; Стефанов, Корочкова, 2000; Григорьев, 2006; Молодин и др., 2013; Molodin et al., 2012; Федорук, 2013]). Среди исследований немало работ, посвященных региональной характеристике андроновской культуры, или федоровской культуры, как считают последователи концепции К.В. Сальникова. Исследования, ориентированные на другие проблемы, также в качестве основы используют знания о культуре, как общего, так и локального уровня. Это обстоятельство, наряду с другими причинами, в какой-то степени актуализирует обращение к древностям восточных районов андроновского мира, особенно родоначальной территории – Минусинского края.

Географически восточные районы андроновского ареала представлены лесостепным и степным Алтаем, Новосибирским и Томским Приобьем, Кузнецкой котловиной, Назаровской котловиной, включая Ачинско-Мариинскую лесостепь, Чулым-Енисейской и Сыда-Ербинской котловинами. В более укрупненном варианте они будут представлены лесостепным Приобьем и северными лесостепными котловинами Среднего Енисея. Пограничье между ними выражено памятниками Ачинско-Мариинской лесостепи и Назаровской котловины (северные предгорья Кузнецкого Алатау).

Несмотря на то, что материалы памятников среднеенисейского региона явились основанием для выделения андроновской культуры, история их изучения достаточно скромная. Со времени публикации С.А. Теплоухова в конце 20-х гг. прошлого столетия, обобщающие аналитические исследования появляются только в конце 40-х и в конце 60-х гг. [Киселев, 1949; История Сибири, 1968]. По сути, первая моно-

графическая работа, посвященная характеристике и проблемам андроновской культуры в пределах Среднего Енисея, принадлежит научному творчеству Г.А. Максименкова [1978]. Несколько позже Э.Б. Вадецкая публикует историко-археологическое содержание андроновских древностей и реестр памятников этого региона [1986, с. 41–50]. За последние почти 30 лет специальных работ по андроновской тематике не было издано, как в прочем не было произведено исследований памятников этой культуры, за исключением могильников Устье Бири и Потрошилово. Количественные данные памятников, опубликованные Г.А. Максименковым (24 могильника и 6 поселений [1978, с. 53]) и Э.Б. Вадецкой (30 могильников и 6 поселений [1986, с. 47–50]), практически совпадают. К сожалению, в реестр Э.Б. Вадецкой не вошли такие андроновские поселения северных предгорий Кузнецкого Алатау, исследованные до середины 80-х гг., как Песчаное, Тамбарское водохранилище, Березовый ручей 1а, Кадат 2 и 4 [Бобров, Михайлов, 1987; Красниенко, Субботин, 2013]. Если исключить из этого списка памятники Назаровской котловины и прилегающих с запада районов Мариинской лесостепи, то в лесостепных котловинах Среднего Енисея исследовано 27 могильников и 4 поселения.

Археологическое изучение андроновских памятников в пределах Кузнецко-Салаирской горной области связано с именами М.Г. Елькина, А.И. Мартынова и Н.Л. Членовой, которые провели их исследования в конце 50-х – начале 60-х гг. прошлого столетия. Они были продолжены со второй половины 70-х гг. новострочными экспедициями ЛОИА (ныне ИИМК РАН) и Кемеровского госуниверситета в зоне строительства первоочередных объектов Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса. Ими были исследованы могильники Ашпыл, Кадат 9, поселения Ашпыл, Кадат 2 и 4, Березовый ручей 1а. А.М. Кулемзин проводит раскопки поселения на оз. Песчаное. В начале 80-х гг. прошлого столетия А.И. Мартынов проводил раскопки андроновских погребений и поселения Косоголь [1987]. Все эти памятники находились в северных предгорьях Кузнецкого Алатау. С 1979 по 2006 г. на территории Кузнецкой котловины автор проводит исследования таких крупных некрополей андроновской культуры, как Титово, Танай-1 и Танай-12, могильника Васьково-5; В.А. Зах раскапывает могильник

Заречное-1, содержащий андроновские захоронения наряду с погребениями других культур, и ведет исследование поселения Куделька. В начале 90-х гг. Д.Г. Савинов провел раскопки могильника Юрман-1. Наконец, сравнительно недавно В.А. Борисовым был исследован могильник Чудиновка. Процесс накопления источников изредка сопровождался публикацией материалов. Но только к концу 80-х гг. была оформлена обобщающая работа, посвященная характеристике андроновской культуры данного региона [Бобров, Михайлов, 1989]. В дополненном виде она представлена в последующих публикациях [Бобров, 1992, 2013]. В.А. Зах суммирует андроновские материалы так называемого Присалаирья (юго-западные районы Кузнецкой котловины), но рассматривает их принадлежность к памятникам Новосибирского Приобья [1990, с.12–13; 1997].

Таким образом, в пределах Кузнецкой межгорной котловины исследовано 8 могильников и 3 поселения, а на территории северных предгорий Кузнецкого Алатау по уточненным данным 7 могильников и 8 поселений.

Археология лесостепного Приобья имеет более насыщенную историю изучения андроновских памятников, как по количеству специалистов, принимавших участие в исследованиях, так и по количеству публикаций. В этом регионе заметно выделяется территория Алтая, на которой к настоящему времени исследовано 60 андроновских могильников. К сожалению, не могу назвать точное количество поселений, известных или исследованных в этом регионе. Начало интереса к андроновским древностям в алтайской лесостепи относится к концу XIX века, но профессиональное отношение и первая обобщающая работа, в которой дана развернутая характеристика культуры, связаны с деятельностью М.П. Грязнова в конце первой – начале второй половины XX века [1956]. Нельзя не отметить вклад в изучение андроновских памятников региона А.П. Уманского, В.А. Могильникова, Н.Л. Членовой, Б.Х. Кадикова, Ю.Ф. Кирюшина, А.Б. Шамшина, С.П. Грушина, Д.В. Папина и др. Масштабные полевые работы и публикационная активность приходятся на период существования Алтайского госуниверситета. Именно с ним связано значительное пополнение археологических источников в результате раскопок таких крупнейших в Южной Сибири андроновских могильников, как Фирсово XIV и Рублево VIII. В степной части региона исследова-

ния проводят специалисты педагогического университета [Демин, Ситников, 2007]. Несомненно, лесостепной и степной Алтай представляет собой самую насыщенную андроновскими памятниками территорию в пределах Южной Сибири.

Изучение андроновских древностей Новосибирского и Томского Приобья практически прекращается в начале 70-х гг. прошлого столетия. Итог их исследования подводят две работы. Одна из них специально посвящена характеристике андроновской культуры в лесостепном Приобье [Матющенко, 1973], а другая содержала краткий очерк историко-археологического содержания андроновской культуры Новосибирского Приобья и Барабинской лесостепи [Молодин, Троицкая, Соболев, 1980, с. 141–142]. Источниковый фонд андроновской культуры Новосибирского Приобья формируют данные о семи поселениях и материалы двух частично раскопанных могильников, а Томского Приобья – два поселения и один могильник.

Краткий очерк истории исследования андроновских памятников восточных районов ареала культуры и статистические данные позволяют сделать заключение о том, что наиболее корректно проводить сравнительный анализ материалов двух регионов – Алтая и Среднего Енисея. Значительно меньше исследовано андроновских памятников в Кузнецкой котловине. Но на этой территории не менее четырех могильников исследовано полностью, а количество погребений – в пределах двухсот. То есть, всего на треть меньше, чем в лесостепных котловинах Среднего Енисея. На мой взгляд, это позволяет рассматривать андроновские погребальные памятники Кузнецкой котловины как репрезентативный объект сравнения. Что же касается оставшихся регионов, то на них недостаточно материалов для выявления локальной специфики развития андроновской культуры. Даже несмотря на то, что на могильнике ЕК-II в Томском Приобье исследовано более 100 погребений. Они характеризуют только один памятник.

Общие признаки. На всей территории восточных регионов андроновской культуры известны как крупные некрополи, насчитывающие несколько десятков сооружений, так и малочисленные. Исключение составляют погребальные памятники северных предгорных районов Кузнецкого Алатау. Но они, по мнению С.В. Киселева, скорее всего, отражают продвижение андроновского на-

селения по данной территории в лесостепи Среднего Енисея. В Кузнецкой котловине нет могильников, в которых было бы более ста погребений, как, например, в алтайских памятниках Фирсово XVI, Рублево VIII или Сухое озеро I на Енисее.

Во всех районах известны курганные и безкурганные захоронения. По количественным показателям выделяется алтайская степь и лесостепь. Здесь больше, чем в других районах, отмечено безкурганных андроновских некрополей.

Сравнение погребальных памятников по внешнему виду, с точки зрения Г.А. Максименкова, достаточно условное [1978, с. 53–54]. Он совершенно справедливо отмечал, что сравнивать следует первоначальный вид, который реконструирован после раскопок кургана. Но есть пределы возможностей археологии. Поэтому достоверными данными располагаем только в тех случаях, когда в организации сакрализованного пространства кургана использовали камень. Форма его имела вид круга-овала или реже прямоугольника. Внутри такой ограды (камень, дерн и др.) от 1 до 6 могил, расположенных в ряд.

К общим признакам следует отнести захоронение в могилах, обычная глубина которых 0,5–1,5 м, но известны могилы глубиной более двух-трех метров. Среди конструктивных элементов могильных сооружений общим являются деревянные столбы или камни-obelisks. Объединяет андроновскую погребальную традицию восточных районов обряд кремации и ингумации. Последний доминирует. В этом случае умершего хоронили в скорченном положении, на левом боку, головой на ЮЗ (возможны румбы от Ю до З). Широко распространенным является такой признак, как захоронение детей на периферии ряда или на межкурганном пространстве. Общим признаком является обязательное помещение в могилу сосудов (1–3) и для какой-то категории людей – определенных частей туши домашних животных (овца, корова).

Андроновская посуда восточных районов по технологии гончарного производства [Кузьмина, 1986, 1988] и морфологии практически не отличается от посуды таких сопредельных регионов, как Барабинская лесостепь [Молодин, 1985], Восточный Казахстан [Ткачева, Ткачев, 2008]. Она также тождественна посуде более удаленных районов, в частности из памятников лесостепного Зауралья и Южного Урала, которые некоторые исследователи относят к федоровской культуре [Матвеев, 1998; Стефанов, Корочкова, 2000]. Тождество

прослеживается и по орнаментальным стилям: меандрово-геометрическому и линейному, которые характеризуют разные типы сосудов. Вполне возможно, что в морфологии и орнаментальной стилистике заключается половой дифформизм посуды, но не исключено, что в ее орнаментальной композиции заложена информация социального характера [Рахимов, 1968; Хлобыстина, 1973; Бобров, Михайлов, 1989; Хлобыстина, 1989; Михайлов, 1990]. Возможность информации социального характера в андроновской орнаментальной композиции убедительно продемонстрировал Ю.Ф. Кирюшин, ссылаясь на этнографию хантов [1995].

Наконец к общим признакам андроновской культуры восточных районов можно отнести запрет помещать в могилу или, по крайней мере, отсутствие в ней оружия, за исключением кинжалов в каких-то исключительных случаях, и производственный инвентарь.

Локальные особенности. Специфика андроновских погребальных памятников Среднего Енисея, прежде всего, заключается во внутримогильных сооружениях, которые представлены каменными ящиками и цистами или комбинированными конструкциями (деревянных срубов в 5 раз меньше). Обязательным атрибутом таких сооружений являлось перекрытие. Своеобразием среднеенисейского района являлось помещение в могилу только одного сосуда [Максименков, 1978, с. 62–63]. Два, реже три сосуда иногда встречаются в погребениях северных предгорий Кузнецкого Алатау. Что же касается могильников Ланин Лог и Каменка II с преобладанием деревянных срубов внутри могил, то этот факт может быть связан с контактом или продвижением незначительных групп населения из Кузнецкой котловины. Исключительные находки вряд ли могут характеризовать специфику культуры региона, все же отметим в андроновских памятниках деревянную бадейку и берестяной туес (Пристань I).

В Кузнецкой котловине отчетливо выражена группировка погребальных памятников по обряду кремации и ингумации. Так, в могильнике Танай-1 с прямоугольными каменными оградками из вертикально поставленных плиток, ориентированными углами по сторонам света были захоронения только по обряду кремации. А в курганах могильника Танай-12 оградки имели круглую форму и погребения совершены только по обряду трупоположения. Эти памятники расположены

на расстоянии трех километров друг от друга. Дополняют этот пример могильники Ур, Юрман (кремация), Титово, Васьково-5 (ингумация). Эти два признака отличают андроновские погребальные памятники Кузнецкой котловины от других районов Западной Сибири. На эту особенность впервые обратил внимание В.И. Молодин [1985], анализируя материалы Барабинской лесостепи и Новосибирского Приобья. По мнению автора биритуализм погребального обряда андроновцев в восточных районах ареала культуры связан с разделением общества по конфессиональному принципу [Бобров, 2006]. Обычно в пределах сакрализованного пространства кургана остатков каких-либо действий в процессе похорон или после них нет. Но зафиксированы два случая: захоронение лошади к северо-западу от могилы в кургане 2 могильника Васьково-5 и коровы на краю могилы в могильнике Танай-1.

Другой особенностью андроновской погребальной практики населения Кузнецкой котловины являются внутримогильные деревянные конструкции (78,5 %), только детские захоронения были связаны с обычной грунтовой ямой (21,5 %). Внутримогильные сооружения следующих типов: деревянные рамы – 29,2 %, рамы с покрытием – 30,8 %, покрытия – 18,5 %. Одно- и двухъярусные рамы делали из бревен, положенных встык или в паз [Мыльников, Бобров, 2011]. На их сооружение использовали лиственницу часто довольно крупных размеров (диаметром до 0,7 м).

Памятники северных предгорных районов Кузнецкого Алатау сочетают черты, свойственные андроновской культуре Приобья и Среднего Енисея, при преобладании первых. Тем не менее, от Приобских памятников, в том числе Кузнецкой котловины, они отличаются меньшей глубиной могил, отсутствием курганов с количеством могил больше двух, двухъярусных рам и рам с покрытием на материковых выступах, наличием покрытия над грунтовой ямой. Некоторые из черт сближают эти памятники с андроновскими погребениями Томского Приобья [Гультов, 1982, 1983].

В практике андроновского населения лесостепного и степного Алтая широкое распространение получили безкурганные некрополи. Это подтверждает планиграфия могил. Захоронение в обычных грунтовых ямах также являлось характерной особенностью андроновской культуры этого региона – 72,8 %. Внутримогильных сооружений из дерева немного, а в виде каменного ящика –

единичны [Федорук, 2013, с. 15]. Своеобразной чертой алтайских андроновских погребальных памятников являются остатки ритуальных действий в пределах пространства некрополя. В частности, отдельно стоявшие сосуды за пределами могил (Нижняя Суетка, Быково II, Фирсово XIV, Рублево VIII), кострища [Кирюшин и др., 2004, с. 73; Кирюшин, 1985, с. 206]. Любопытную деталь представляют навесы над могилами, от которых сохранились столбовые ямки, как, например, в могильнике Кытманово. Кенотафов немного выявлено в андроновских памятниках Алтая, но они, вероятно, также могут входить в круг особенностей.

Сопоставляя материалы андроновских погребений восточных районов ареала культуры, нельзя не обратить внимания на значительное количество разнообразных украшений в памятниках степного и лесостепного Алтая. Не случайно они стали предметом самостоятельного исследования [Запрудский, 2011]. Это очень важный комплекс культуры, за которым кроется специфика этнографического характера. Среди изделий, которые полностью отсутствуют в сопредельных районах рассматриваемой территории, выделим желобчатые подвески в полтора оборота, трапецевидные и листовидные привески, пластины и обоймы, используемые в сложных нагрудных и головных украшениях.

Рассматривая локальную специфику андроновского погребального обряда и практики в восточных районах ареала, отметим, что только для алтайского и среднеенисейского характерны так называемые детские кладбища. Тем не менее, преобладают они в лесостепи и степи Алтая. Такие специальные места захоронений детей до сих пор неизвестны в Кузнецкой котловине и на территории северных предгорий Кузнецкого Алатау.

Изложенные общие и локальные особенности андроновских погребальных комплексов восточных районов (рис. 1–3) позволяют еще раз вернуться к проблеме их соответствия таким дефинициям археологической науки, как «культура» и «общность». Мне приходилось уже высказать свою точку зрения на эту проблему и приводить соответствующую аргументацию [Бобров, 1992, 1993]. Она содержит два теоретических положения.

Суть первого заключается в неправомерности замены названия «андоновская культура» понятием «федоровская культура», кото-

рая соответствовала периодизации южноуральских памятников К.В. Сальникова. При значительном тождестве многих черт и признаков погребальных сооружений, погребальной практики, керамики и ее орнаментации Федоровского могильника погребальным памятникам восточных районов в нем есть и отличия. На мой взгляд, они существенные. В частности, в орнаментации зоны венчика керамической посуды, как федоровского могильника, так и типологически близких ему других южноуральских памятников, использовали, и нередко, 2 орнаментальных пояса. Такого нет в декоре посуды геометрического стиля из памятников восточных районов ареала андроновской культуры, да и центральных (Барабинская лесостепь, Прииртышье) тоже. В декоре керамики федоровского варианта, на мой взгляд, нет выраженного орнаментального канона, которому была бы подчинена композиция и ее структура. В качестве примера приведу одну комбинацию из памятников Кузнецко-Салаирской горной области. Так, с мотивом треугольник на венчике связано трехчастное деление орнаментального поля, а наиболее распространенным является сочетание косоугольных треугольников в зоне венчика с меандровым мотивом в зоне плечико-тулова, окаймленного зигзагом из треугольников, реже с геометрическим декором (1-й вариант – 66,8 %). Андроновское население восточных районов в отличие от западных часто использовало оттиски треугольной формы (уголок лопаточки) для обрамления орнаментальных поясов. Наконец, использование в погребальном обряде блюд подпрямоугольной формы, которые неизвестны в погребальной практике андроновского населения восточных районов. Вероятно, существуют еще какие-то особенности. Но вряд ли они являются основанием для определения самостоятельной федоровской культуры. Поэтому мною было

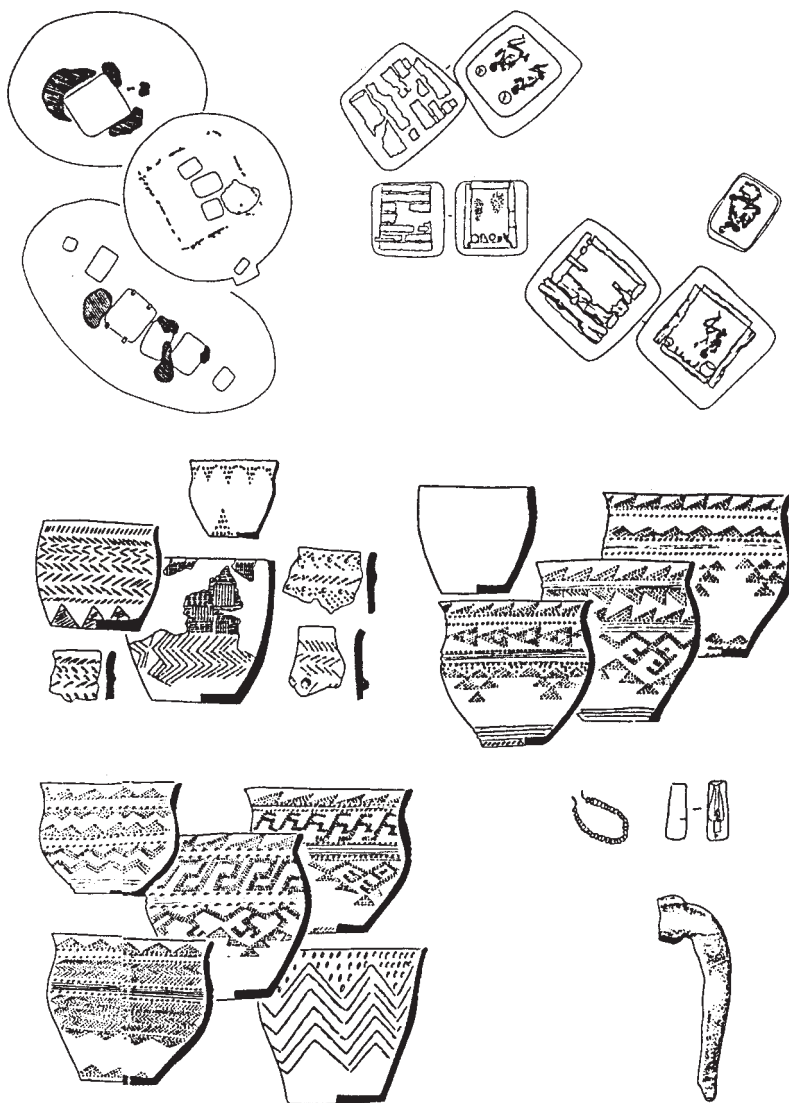


Рис. 1. Андроновская культура в Кузнецкой котловине.

предложено вернуться к изначальной историографической ситуации, когда андроновская культура была выделена С.А. Теплоуховым по эпонимному памятнику. Признателен В.И. Стефанову и О.Н. Корочковой за то, что поддержали эту мысль, которую мы индивидуально обсуждали на первом Северном археологическом конгрессе в 2002 г. Своеобразие их позиции заключается только в том, что они предлагают сохранить понятие андроновская культура за памятниками восточных районов (Средний Енисей, Обь-Чулымское междуречье, вероятно, лесостепное Приобье), а западные рассматривать в рамках федоровской культуры [Стефанов, Корочкова, 2006, с. 128, 129; Корочкова, 2004, с. 207]. По моим представлениям

ни с методологических, ни теоретических позиций нет оснований для выделения памятников федоровского варианта в самостоятельную культуру. В аспекте принципов археологии они соответствуют андроновской культуре.

Суть второго положения, высказанного мной в 1992 г., заключается в сомнении правомерности выделения и обоснования андроновской

культурно-исторической общности. Природа ее появления заключается в устойчивом стереотипном представлении о тенденции развития андроновской культуры, основанного на западных комплексах. Трансформировав этапы в самостоятельные алакульскую и федоровскую культуры, необходимо было что-то делать с понятием «андоновская». Все же оно определяло облик архео-

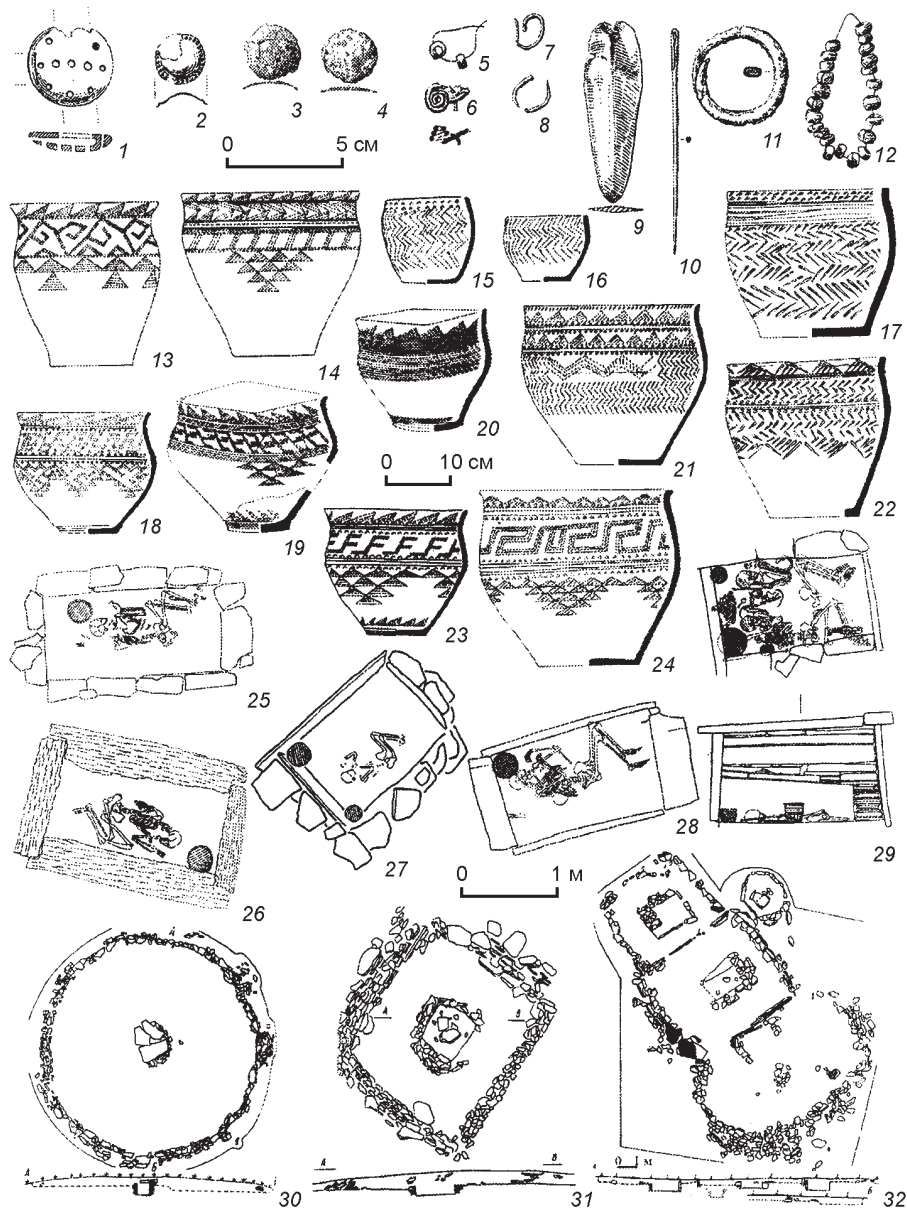


Рис. 2. Андроновская культура на Енисее (по: [Максименков, 1978]).

Инвентарь: 1, 2, 6-8, 11, 12 – Каменка II; 3, 4, 17, 19-22 – Сухое Озеро I; 5 – Новая Черная II; 9, 10, 18, 24 – Пристань I; 13, 14 – Андронов; 15, 16 – Новая Черная III; 23 – Соленоозерная. (1 – кость; 2-12 – бронза; 13-24 – керамика.)

Планы могил: Сухое Озеро I, кург. 430, мог. 7 (25), мог. 6 (26); Соленоозерная, мог. 4 (27);

Пристань I, огр. 7, мог. 10 (28), мог. 4 (29).

Планы курганов: 30 – Сухое Озеро I, кург. 7; 31 – Орак, кург. 45; 32 – Новая Черная II, кург. 1, 2.

логического явления. Проблему снимала идея А.А. Формозова [1951] об андроновской общности, которая также базировалась на южноуральской схеме развития эпохи бронзы. Отметим, что после выхода в свет его публикации до сих пор нет ни одной работы, которая была бы специально посвящена обоснованию и культурного, и исторического содержания андроновской общности.

Логика существования общности держится на традиционной принадлежности этапов (культур) к одной археологической культуре, независимо от того, синхронны они или последовательны во времени.

Не вдаваясь в теоретические рассуждения о понятии культурная или культурно-историческая «общность», отмечу только, что в настоящее

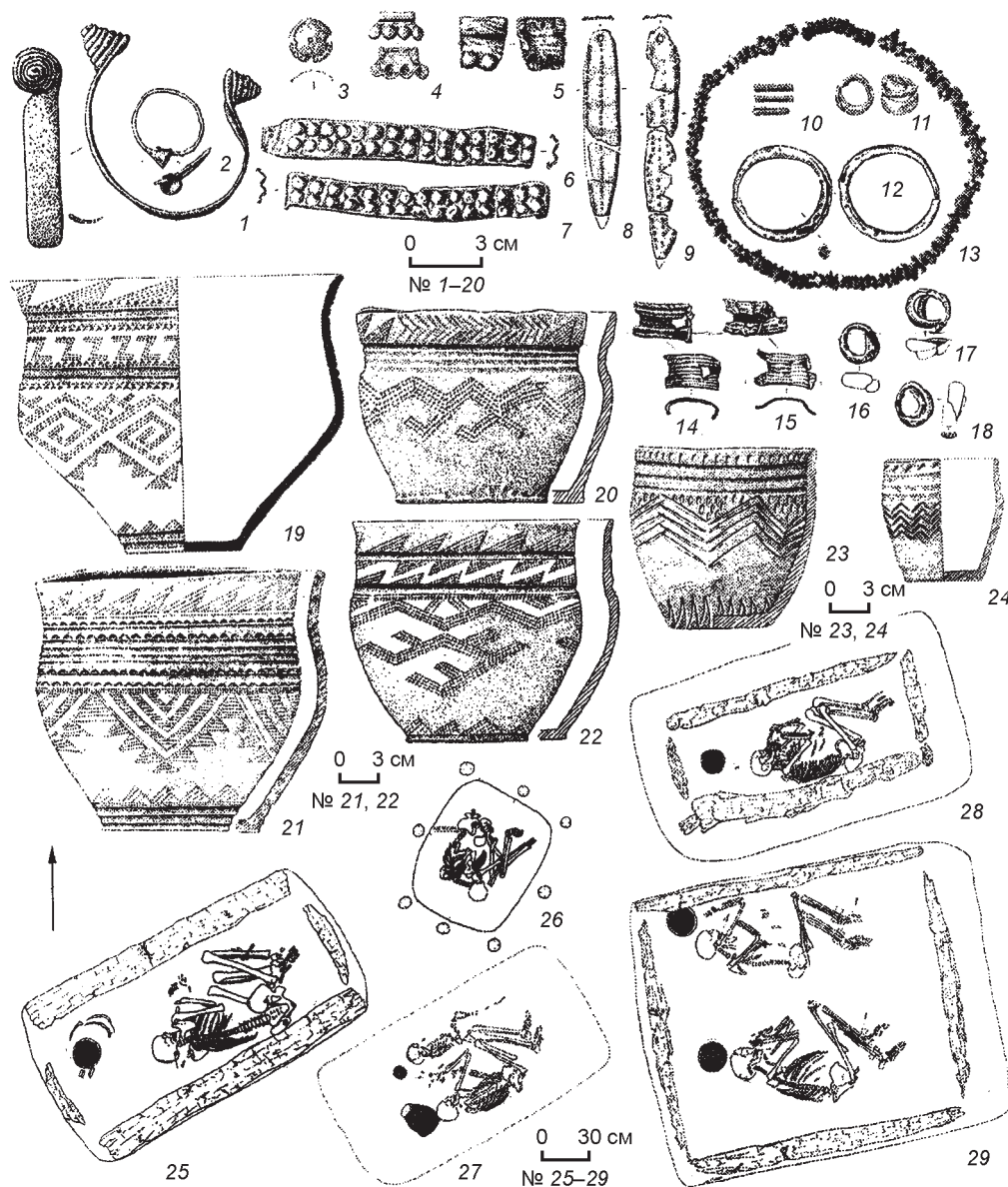


Рис. 3. Андроновская культура на Алтае. Могильник Кытманово.

1 – браслет; 2, 12 – серьги; 3 – бляшка; 4, 5 – лапчатые подвески; 6, 7 – нашивки; 8, 9 – подвески; 10 – пронизи с гофрированным орнаментом; 11, 16–18 – подвески и кольца в полтора оборота; 14, 15 – оковки; 19–24 – сосуды; 25–29 – планы погребений. (1, 3, 8, 9, 13 – бронза; 4, 5, 10, 14–18 – золотая фольга на бронзовой основе; 2, 6, 7, 11, 12 – золото.)

1, 4, 6–11 – мог. 1; 2, 20, 25 – мог. 4; 3 – мог. 20; 5, 14, 15 – мог. 35; 26 – мог. 5; 24, 28 – мог. 13; 13, 22 – мог. 21; 21 – мог. 23; 12, 16–18, 29 – мог. 24.

время практически все специалисты признают разную генетическую основу федоровского и алакульского комплексов [Кузьмина, 1985, 1988; Потемкина, 1985; Зданович, 1988; и мн. др.]. Позволю привести цитату: «Различия, обнаруживаемые при сопоставлении керамических материалов алакульской и федоровской культур, настолько значительны, что вывод об отсутствии генетической связи между ними кажется очевидным» [Стефанов, Корочкова, 2006, с. 120]. Поиск истоков андроновской культуры продолжается. В качестве исходной территории рассматриваются Передняя Азия (С.А. Григорьев), Центральный или Восточный Казахстан (С.С. Черников, А.А. Ткачев). Возьму на себя смелость предложить вернуться к материалам ранних погребений могильника Свата, расположенного в пограничье Передней и Южной Азии, для решения обозначенной проблемы. Что же касается алакульской культуры, то широкое распространение получила концепция ее зарождения в среде петровской культуры (Е.Е. Кузьмина, В.В. Ткачев, Н.Б. Виноградов, О.Н. Корочкова, Г.Б. Зданович и др.) или на синташтинско-петровской основе (С.А. Григорьев, А.В. Матвеев, А.В. Епимахов). Даже этих приведенных данных достаточно, чтобы обозначить противоречивость понятия «андроновская культурно-историческая общность» критериям археологической общности.

Есть еще одно положение, которое мне пришлось приводить, подвергая сомнению правомерность андроновской культурно-исторической общности. Это близость алакульского декора орнаментам андроновских культур, которую очень корректно показала М.Н. Комарова [1962] с целью доказательства относительно ранней хронологии андроновской культуры. Данная публикация соответствовала изначальному представлению о том, что федоровский этап предшествовал алакульскому. К сожалению, этот факт стал достоянием историографии. Последние три-четыре десятилетия рассматривается обратная последовательность этапов/культур, а в последние годы предполагается их сосуществование. Если использовать достаточно вескую аргументацию М.Н. Комаровой не для обоснования хронологической атрибуции комплексов, а для реконструкции культурно-исторических процессов, то можно выстроить следующую версию. Алакульская культура – продукт андронизации автохтонных этнокультурных образований в западных районах

андроновского мира. В данном случае субстратную основу составила синташтинско-петровская среда Южного Урала, Северного и Центрального Казахстана (нуртайская культура мало чем отличается от петровской). Ареалы алакульской культуры и субстрата полностью совпадают. Причем археологически проявления синкретизма культур на разных территориях могли иметь разное пропорциональное соотношение. Это формировало локальную специфику нового культурного образования.

Согласно предлагаемой версии, алакульская культура становится в ряд с такими андроновскими культурами, как черкаскульская (по мнению А.Ф. Шорина и его сторонников – на определенном этапе этой культуры), пахомовская, сузгунская, еловская, корчажкинская, карасукская и, вероятно, бегазы-дандыбаевская. Большинство из них характеризует постандроновскую стадию, а некоторые (черкаскульская, еловская) сосуществовали с андроновской. Несмотря на общую тенденцию формирования андроновских культур [Косарев, 1981, с. 132–162], содержание исторических процессов могло отличаться. На северной периферии андроновского мира, в зоне контакта с таежными культурами, процесс взаимодействия приобрел длительный и практически равнозначный характер. В какой-то степени его демонстрирует позднекротовская культура, хотя ее ареал связан с лесостепью [Молодин, 2014]. Взаимодействие с населением культуры, однотипной по экономической основе, существовавшей в идентичной географической среде, могло иметь иное историческое содержание. На востоке андроновская социально консолидированная миграция привела к практически бесследному исчезновению елунинской, самусьской и окуневской культур (окуневская сохранилась и сосуществовала с андроновцами только на юге Среднего Енисея), препятствием дальнейшему продвижению явились горно-таежные массивы Восточных и Западных Саян, Горного Алтая. На западе, по предлагаемой мной версии, препятствием населению андроновской культуры стали объединения петровской культуры, вероятно, с более развитой или близкой по уровню общественной структурой, экономикой и металлопроизводством. Соответственно процесс взаимодействия мог быть отличным от того, который происходил на северной периферии андроновского мира, прежде всего по темпам. Результатом его

стало возникновение алакульского культурного образования. Следовало бы привести соображения хронологического порядка, но это значило бы попасть в длительный дискуссионный оборот. Поэтому ограничусь ссылкой на исследования С.А. Григорьева [2000, с. 339–357], который представил значительное количество аргументов, свидетельствующих о сосуществовании «алакуля» и «федоровки», а также непродолжительного совпадения во времени федоровской и петровской культур. Приведу также точку зрения А.А. Ткачева [2002], который, анализируя материалы памятников эпохи бронзы Центрального Казахстана, делает вывод об отсутствии оснований рассматривать происхождение федоровской культуры от алакульской. Научные взгляды этих исследователей (а они не одиноки) свидетельствуют о том, что происходит отход от эволюционной концепции развития культур так называемой андроновской общности. В историографическом аспекте можно отметить, что с начала XXI столетия явно намечился поиск новых идей в андроноведении.

Предлагаемая версия происхождения алакульской культуры вносит новый ракурс в решение ряда проблем изучения андроновских древностей. В частности, самой актуальной и обсуждаемой многие десятилетия является проблема смешанных алакульско-федоровских комплексов (компонентов, признаков). Их интерпретация лежит в области партнерских отношений, основанных на близости социального и, вполне вероятно, кровного родства. С предлагаемых позиций приобретает смысл понятие общности. Хотя в теоретическом и логическом аспектах целесообразнее было бы относить алакульскую культуру к культурно-исторической общности андронидных культур. Наконец, изложенная версия придает более кристаллизованную форму общим и локальным историко-культурным процессам на востоке и западе андроновского мира.

Список литературы

- Бобров В.В.** Кузнецко-Салаирская горная область в эпоху бронзы: дис. ... д-ра ист. наук в форме науч. доклада. – Новосибирск, 1992. – 46 с.
- Бобров В.В.** Андроновская культура или культурно-историческая общность? // Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала. – Екатеринбург: ИИА УрО РАН, 1993. – С. 9–10.
- Бобров В.В.** «Биритуализм» андроновского погребального обряда – нетрадиционная форма развития культуры // XIII Зап.-сиб. археол.-этногр. совещание. – Томск: Том. гос. ун-т, 2006.
- Бобров В.В.** Характеристика андроновской культуры Кузнецко-Салаирской горной области // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Геоархеология, этнология, антропология. – 2013. – № 2 (3). – С. 84–92.
- Бобров В.В., Михайлов Ю.И.** Комплекс андроновской-федоровской культуры поселения на берегу Тамбарского водохранилища // Проблемы археологических культур степей Евразии. – Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 1987. – С. 17–27.
- Бобров В.В., Михайлов Ю.И.** Памятники андроновской культуры в Обь-Чулымском междуречье. – Депонир. ИНИОН № 38518 от 26.06.1989 г. – 198 с.
- Валецкая Э.Б.** Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: Наука, 1986. – 179 с.
- Григорьев С.А.** Бронзовый век // Древняя история Южного Зауралья. – Челябинск, 2000. – Т. 1.
- Григорьев С.А.** Эпоха бронзы. Основные этапы и проблемы культурогенеза // Археология Южного Урала. Степь. – Челябинск: Рифей, 2006. – С. 188–222.
- Грязнов М.П.** Древняя история племен Верхней Оби. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 256 с. – (МИА; № 48).
- Гультов С.Б.** Новый могильник андроновского времени в Красноярском крае // Проблемы археологии и этнографии Сибири. – Иркутск, 1982. – С. 103–104.
- Гультов С.Б.** Некоторые вопросы внутренней хронологии могильника Ашпыл // Древние культуры евразийских степей. – Л.: Наука, 1983. – С. 58–61.
- Демин М.А., Ситников С.М.** Материалы Гилевской археологической экспедиции. – Барнаул: Барнаул. гос. пед. ун-т, 2007. – Ч. 1. – 274 с.
- Запрудский С.С.** Украшения андроновской культуры Обь-Иртышского междуречья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 2011. – 23 с.
- Зах В.А.** Неолит и бронзовый век Присалаирья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Кемерово, 1990. – 22 с.
- Зах В.А.** Эпоха бронзы Присалаирья. – Новосибирск, 1997. – 132 с.
- Зданович Г.Б.** Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 184 с.
- История Сибири.** – Л.: Наука, 1968. – Т. 1. – 454 с.
- Кирюшин Ю.Ф.** Работы в лесостепном Алтае // АО 1983 года. – 1985. – С. 206–207.
- Кирюшин Ю.Ф.** Особенности погребального обряда и погребальной посуды андроновской культуры // «Моя избранница наука, наука, без которой мне не жить...». – Барнаул, 1995. – С. 58–75.
- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Позднякова О.А., Шамшин А.Б.** Погребальный обряд древнего населения Кулундинской степи в эпоху бронзы // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2004. – С. 62–85.
- Киселев С.В.** Древняя история Южной Сибири. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 363 с. – (МИА; № 9).
- Комарова М.Н.** Относительная хронология памятников андроновской культуры // АСГЭ. – 1962. – Вып. 5. – С. 50–75.
- Корочкова О.Н.** К обсуждению термина «андоновская общность» // Проблемы первобытной археологии Евразии. – М., 2004. – С. 202–211.

Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху бронзы в Среднем Зауралье и подтаежном Тоболо-Иртыше: факторы, механизмы, динамика: автореф. дис. ... д-ра. ист. наук. – М., 2010.

Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М.: Наука, 1981. – 278 с.

Красниенко С.В., Субботин А.В. У Сологонского кража. Археологические памятники Ужурского района (Красноярский край): история изучения и современное состояние. – СПб.: ИИМК РАН, 2013. – 192 с.

Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности // Инф. бюлл. МАИКЦА. – 1985. – № 9.

Кузьмина Е.Е. Гончарное производство у племен андроновской культурной общности // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. – М., 1986. – С. 152–182.

Кузьмина Е.Е. Культурная и этническая атрибуция пастушеских племен Казахстана и Средней Азии // ВДИ. – 1988. – № 2. – С. 35–59.

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М.; СПб.: Летний сад, 2008. – 558 с.

Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. – Л., 1978. – 190 с.

Мартьянов А.И. Исследования Косогольского поселения // Проблемы археологических культур степей Евразии. – Кемерово, 1987. – С. 39–51.

Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск: Наука, 1998. – 417 с.

Матюшенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья. – Ч. 3: Андроновская культура на Верхней Оби. – Томск: Том. гос. ун-т, 1973. – (Из истории Сибири; вып. 11).

Михайлов Ю.И. Орнамент андроновского керамического комплекса (проблемы анализа и интерпретации): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Кемерово, 1990. – 18 с.

Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

Молодин В.И. К вопросу о позднекротовской (черноозерской) культуре (Прииртышская лесостепь) // Археология, этнография, антропология. – 2014. – № 1. – С. 49–54.

Молодин В.И., Пилипенко А.С., Чикишева Т.А., Ромашенко А.Г., Журавлев А.А., Поздняков Д.В., Трапезов Р.О. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи IV–I тыс. до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. – 220 с.

Молодин В.И., Троицкая Т.Н., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. – Новосибирск: Наука, 1980. – 184 с.

Мыльников В.П., Бобров В.В. Деревянные погребальные сооружения эпохи бронзы Западной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2011. – Т. 10; вып. 3: Археология и этнография. – С. 92–99.

Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притобоя. – М.: Наука, 1985.

Рахимов С.А. Андроновская стоянка и могильник на р. Сыде // КСИИМК. – 1968. – Вып. 114. – С. 70–75.

Сальников К.В. Бронзовый век Южного Зауралья // МИА. – 1951. – № 21. – С. 94–151.

Стефанов В.И., Корочкова О.Н. Андроновские древности Тюменского Притобоя. – Екатеринбург: Полиграфист, 2000. – 108 с.

Стефанов В.И., Корочкова О.Н. Урефты I. – Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 2006. – 160 с.

Теплоухов С.А. Древние погребения в Минусинском крае // Мат-лы по этнографии. – Л., 1927. – Т. 3; вып. 2. – С. 57–112.

Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края // Мат-лы по этнографии. – Л., 1929. – Т. 4; вып. 2. – С. 57–112.

Ткачев А.А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. – Тюмень, 2002. – Ч. 2.

Ткачева Н.А., Ткачев А.А. Эпоха бронзы Верхнего Прииртышья. – Новосибирск: Наука, 2008. – 303 с.

Тугаринов А.Я. Андроновские могилы // Сибирская живая старина. – Иркутск, 1926. – Вып. I (V). – С. 153–158.

Федорук О.А. Погребальный обряд и социальная структура андроновского населения степного и лесостепного Алтая: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 2013. – 24 с.

Формозов А.А. К вопросу о происхождении андроновской культуры // КСИИМК. – 1951. – № 39. – С. 3–18.

Хлобыстина М.Д. Некоторые особенности андроновской культуры Минусинских степей // СА. – 1973. – № 4. – С. 50–62.

Хлобыстина М.Д. Андроновский керамический комплекс // Керамика как исторический источник. – Новосибирск: Наука, 1989. – С. 118–134.

Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 285 с. – (МИА; № 88).

Molodin V.I., Marchenko Z.V., Kuzmin Y.V., Grishin A.E., Strydonck M. Van, Orlova L.A. ¹⁴C Chronology of burial grounds of the Andronovo period (middle bronze age) in Baraba forest steppe, Western Siberia // Radiocarbon. – 2012. – Vol. 54; № 1. – P. 1–11.

ЕЩЕ РАЗ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ КЛАДЕ БЛИЗ СЕЛА КУРЧАЛОЙ (Чечня)

В начале 60-х гг. XX в., в связи с разработкой проблемы восточного варианта кобанской культуры Кавказа, необходимо было изучить и ввести в научный оборот не только результаты новых широких раскопок поселения у с. Сержень-Юрт [Козенкова, 2001], находившихся в процессе полевых изысканий Северо-Кавказской экспедицией под руководством Е.И. Крупнова, но и максимально собрать и проанализировать другие, стационарно раскопанные объекты, включая и случайные находки, хранившиеся в фондах Республиканского краеведческого музея г. Грозного.

Среди визуально довольно однородных археологических материалов позднебронзового – раннежелезного времени (X–VI вв. до н.э.), случайно найденных и переданных местными жителями в музей, оказался ряд необычных предметов. Они были столь чужды кругу кобанских древностей, что я посчитала неуместным из-за отсутствия точной документации включать их в подготавливаемый тогда Свод археологических материалов восточной части ареала Кобани [Козенкова, 1977, 1982]. Один из предметов, бронзовый вислообушный топор, по имевшимся сведениям, был найден в окрестностях с. Курчалой, якобы при сносе кургана; два другие предмета, тесловидный топор и втульчатое долото, как будто также из кургана, были найдены близ с. Автуры. Бронзовый топор представлял собой массивное литое изделие с массивным узким лезвием и обухом с овальной втулкой. На конце втулки выступал округлый шип. Из двух бронзовых предметов из с. Автуры особенно выделялся своей формой тесловидный топор клиновидной формы с почти прямым плоским лезвием и приостренным противоположным концом подтреугольной формы. Длина

тесла-топора 16 см. Топор был отлит, видимо, в односторонней форме, поскольку одна из сторон была плоской. С лицевой же стороны в верхней части имелся своеобразный углубленный выступ-«карман» толщиной 2,7 см и глубиной 1,5 см для более прочного удержания рукоятки. Закраина выступа и верх спинки топора-тесла покрывал тонкий узор в виде сеточки. Более обычным являлось литое желобчатое долото длиной 13,5 см с круглой в сечении втулкой, обведенной рельефным валиком.

В 1965 г. все три предмета были упомянуты в статье В.Б. Виноградова и А.А. Исламова, посвященной новым находкам на территории Чечено-Ингушетии, как набор конца II тыс. до н.э., найденный близ с. Курчалой [Виноградов, Исламов, 1965, с. 168]. В 1966 г. В.Б. Виноградов и В.И. Марковин опубликовали полезную монографию, посвященную сводке материалов к археологической карте памятников на территории Чечено-Ингушетии. В ней вышеперечисленные предметы: топор, тесловидный топор («мотыга-тесло», по определению авторов) и желобчатое долото («стамеска» – по Виноградову и Марковину), обозначены как «интересный комплекс» конца II тыс. до н.э. из кургана, разрушенного при строительстве дороги, ведущей из Курчалоя в с. Майртуп [Виноградов, Марковин, 1966, с. 93, № 498], то есть на участке территориально противоположном от с. Автуры. В публикациях С.Л. Дударева 1975 г. и 1991 г. эти предметы (рис. 1, 1–3) по-прежнему фигурируют как единый комплекс из «подкурганного погребения у с. Курчалой» [Дударев, 1975, с. 45], а сами вещи: вислообушный топор, тесловидный топор («кельт-тесло», по Дудареву) и долото рассматриваются автором как косвенное свидетельство

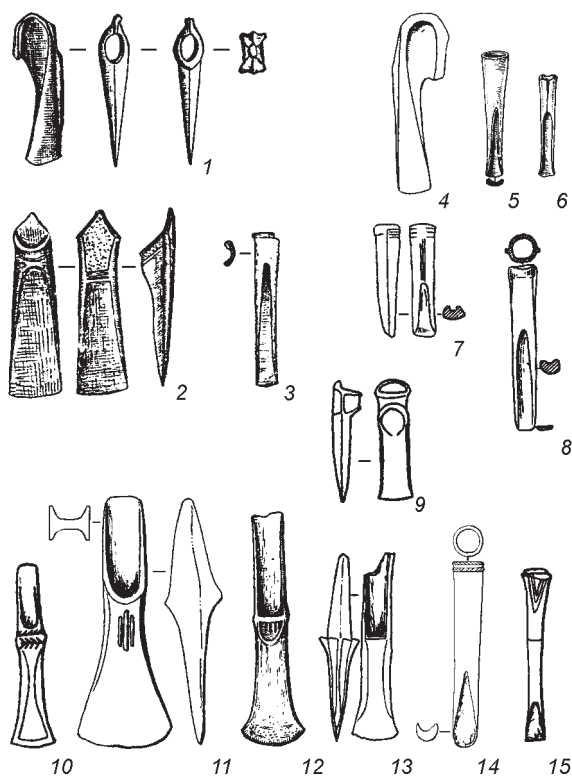


Рис. 1. «Курчалоевский клад» и сопоставимые материалы на территории Евразии.

1–3 – «курчалоевский клад»; 4 – массивновислобушный топор (Зауралье, Троицкий уезд). Втульчатые долота: 5, 6 – лесное Притоболье (XII–X вв. до н.э.); 7, 8 – Сосновая маза и Приуралье; 9 – кельт-тесло, Карим-Берды, Южный Таджикистан (XIII–XI вв. до н.э.). Топоры с «пяткой»: 10 – бронзовый век Северной части Европы (XIV–XIII вв. до н.э.); 11 – Парижский бассейн, Западная Европа (XV – середина XIII в. до н.э.); 12, 13 – лужицкая культура, II период. Долота: 14 – Парижский бассейн (X – первая половина VIII в. до н.э.); 15 – культура полей погребальных урн. 1–3 – по: [Дударев, 1991]; 4, 7, 8 – по: [Черных, 1970]; 5, 6 – по: [Потемкина, 1985]; 9 – по: [Кузьмина, 2008]; 10, 12, 13, 15 – по: [Монгайт, 1974]; 11, 14 – по: [Gaucher, 1981].

во «взаимоотношений аборигенного населения Северного Кавказа» через посредничество племен «срубной», киммерийской и предананьинской культур с насельниками далеких территорий Сибири и Казахстана в конце II – начале I тыс. до н.э. [Там же, с. 46]. По мнению автора, указанные предметы предполагают наличие ранних транзитных связей местного северокавказского населения «с весьма удаленными восточными районами нашей страны – Казахстаном и Южной Сибирью» [Дударев, 1991, с. 15].

При, казалось бы, формально близких азиатских аналогиях, приведенных указанными выше исследователями, версия взаимосвязей и взаимоотношений, то есть форм контактов непосредственно

между населением Северного Кавказа и носителями культур далеких среднеазиатско-сибирских территорий представляется малообоснованной. И не только явной спорадичностью и единичностью характера анализируемых вещей. Разница в сведениях об исходных данных о месте находок, имеющих в моем распоряжении и у авторов публикаций о «Курчалоевском кладе», вызывает сомнение вообще в достоверности того, что эти предметы происходят из одного места и относятся к одному комплексу. О явно произошедшей путанице в информации, возможно, в результате ненадлежащего музейного хранения, свидетельствуют не только мои дневниковые записи, но и другие, на мой взгляд, заслуживающие доверия данные. Разбирая после кончины Е.И. Крупнова его архив, среди рисунков, выполненных самим ученым, я обнаружила рисунок с изображением телесловидного топора и желобчатого долота с весьма ценной подписью о том, что оба предмета происходят из разрушенного в 1963 г. кургана у с. Автуры (рис. 2). Рисунок дополнительно подтверждает, что «клад из Курчалоя» происходит из двух разных курганов: вислообушного топора из Курчалоя и комплекта двух орудий труда из с. Автуры. Все вышеизложенное заставляет еще раз вернуться к морфологической и культурно-исторической характеристике предметов из «Курчалоевского клада» и предложить другую, более реалистичную, на мой взгляд, версию появления этих изделий в ареале кобанской культуры.

Целенаправленное многолетнее изучение проблемы происхождения кобанской культуры, основанное на новом, более многочисленном банке данных, имеющемся сейчас в распоряжении науки, значительно изменили научный взгляд на ареал, хронологию, специфику и более раннее время формирования не только памятников кобанского облика центральной части Кавказа, но и локальных вариантов культуры на западной и восточной окраинах ареала в целом [Kosenkova, 1984; Козенкова, 1996]. Значительно расширился и углубился взгляд и на проблему взаимосвязи и взаимовлияния кобанской культуры и других культур не только из ближайшего окружения, а также и с более дальними носителями культур Северного Причерноморья, Центральной Европы и Поволжско-Уральского региона [Козенкова, 1996, с. 74–106; 2004]. Более доказательно выявлен многоступенчатый механизм инокультурного влияния на формирование ее основополагающих особенностей

разных этапов развития и существования. В настоящее время все большее число археологических материалов подтверждает наличие взаимных культурных импульсов между Северным Кавказом и ареалами культур ноа-сабатиновского круга и срубной общности в конце третьей – начале последней четверти II тыс. до н.э. (примерно рубеж XIV–XIII вв. до н.э.), повлиявших на появление в культуре Кавказа комплекса материальных признаков особого переходного протокобанского периода, составивших позднее ядро стабильного состояния группы северного склона культуры на протяжении более 500 лет [Она же, 1996, с. 118–126]. Не оправдался противоречивый и крайне скептический взгляд [Крупнов, 1960, с. 87, 344, 384] относительно отрицания более существенного вклада западноевропейской металлообработки и формотворчества (в особенности бассейна Дуная) в обогащение культуры Кобани, чем это представлялось в 40–60-е гг. XX в. в среде кавказоведов [Козенкова, 1975; Барцева, 1985, с. 47].

В свое время А.А. Иессен полагал, что «конкретные исторические взаимосвязи» археологически выявляются на основе присутствия конкретных вещей [1954, с. 129]. В контексте данной работы эта мысль, на мой взгляд, чрезвычайно важна при рассмотрении результатов картографирования изделий ранних периодов Кобани вне пределов ее собственного ареала. И, наоборот, наличие изделий, демонстрирующих инокультурные инфильтрации в бытовую культуру ее носителей. Топография таких находок (орудия труда, оружие, украшения, литейные формы и рецептура металла и др.) по числу и достаточной плотности распределения определенных типов артефактов последней четверти II – первой трети I тыс. до н.э. свидетельствуют о бесспорном приоритете западных взаимосвязей «кобанцев». В то же время, по сути, не фиксируются находки подлинно кобанского типа данного периода восточнее Волго-Камья и Заволжья [Козенкова, 1996, с. 136–141, рис. 52–54]. Например, на весь бескрайний Сибирский регион Н.Л. Членова отметила всего одну находку двухкольчатых удил, да и то поздней модификации [Членова, 1972, с. 225, табл. 60 (нижняя половина), 4]. Тем самым, как бы фиксируется восточная линия зоны взаимных контактов собственно «кобанцев», за которой для них начинается закрытый враждебный мир. В связи с вышеизложенным, идея даже транзитного обмена северокавказских горцев с древним

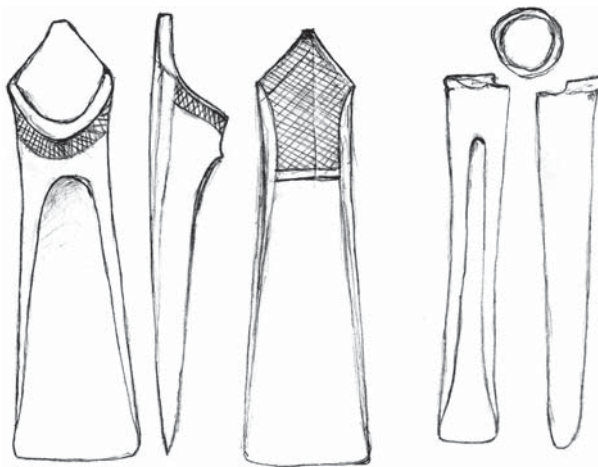


Рис. 2. Комплекс орудий труда из кургана близ с. Автуры (Чечня). Зарисовка с натуры Е.И. Крупнова (из личного архива ученого).

населением Сибири представляется мне сомнительной. Она не подкреплена убедительными доказательствами особого интереса северокавказцев к столь далеким территориям, как Минусинская котловина или Южный Таджикистан [Кузьмина, 2008, с. 84–114].

Обстоятельства появления на северо-востоке Кавказа предметов, схожих по типу с найденными близ сел Курчалой и Автуры, следует рассматривать, на мой взгляд, по-разному в зависимости от их судьбы на чужой территории. Объединяет всю группу лишь то, что они, бесспорно, могут быть отнесены к материальным маркерам глобальных миграционных процессов на территории Евразии, засвидетельствованных специалистами примерно для XIV–XII вв. до н.э. И Северный Кавказ не остался от этих процессов в стороне.

Курчалоевский массивновислобушный топор имеет точные аналогии среди выделенных Е.Н. Черных экземпляров особого типа (см. рис. 1, 4), изготовленных из металла Волго-Уральской группы [Черных, 1970, с. 58, 60, рис. 51, 19], являясь бесспорным результатом металлообработки срубно-андроновских (алакульских) мастеров в контактной зоне между двумя обширными общностями, близкими, иногда не отличимыми по орудиям труда [Черных, 1970, с. 112; Кузьмина, 2008, с. 209]. В связи с этим у меня больше оснований предполагать, учитывая территориальную близость к Северному Кавказу, что принесен этот топор в район левобережья Аксая был каким-то «срубником», а не «андроновцем». Поскольку именно «срубные мастера

преимущественно занимались металлообработкой» на основе привозного андроновского металла [Черных, 1970, с. 113]. По своему характеру вилообразный топор был случайным инокультурным импульсом, не оставившим здесь заметного следа. Модель другой ситуации представляет, на мой взгляд, комплект орудий труда из кургана близ с. Автуры. Типологически и морфологически они также не имеют убедительных прототипов в кобанской культуре. Нет прямых аналогий, в особенности для тесловидного топора с уступом-«карманом», ни в Закавказье, ни далеко на востоке Евразии. В определенной степени можно указать параллели только желобчатому долоту, главным образом, в памятниках рубежа II – начала I тыс. до н.э. (рис. 1, 5–8). По конструктивным элементам формы, по устойчивой совместной встречаемости именно этих двух типов (тесловидный топор + желобчатое долото) комплект напоминает комплекты из кладов и погребальных объектов Западной Европы, от Парижского региона до Карпат, времени функционирования металлопроизводства унетицкой курганной культуры ее поздних периодов (XIV–XIII вв. до н.э.). Устойчивым и серийным типом здесь был так называемый тесловидный топор с пяткой (*les haches à talon*) клиновидной формы и двусторонними уступами с углублением, контур которого был по краю подчеркнут рельефным валиком [Gaucher, 1981, pl. VII-B, H34 T-18; Черных, 1976, с. 109, табл. XXXI, 3]. Корпус топоров-тесел часто был украшен орнаментом в виде углов (рис. 3, 3). Серия этих орудий труда, исследованная французским ученым Ж. Гоше на основе материалов Парижского бассейна (рис. 3), представляет убедительную возможность проследить цепь хронологической перспективы постепенного их изменения от вариантов с «пяткой» (XV–XIV вв. до н.э.) к вариантам, у которых появляется боковое ушко, как у кельтов (середина XIII в. до н.э.). Следующее звено: топоры с «пяткой» сменяются топорами с «крыльями» (*les haches à ailerons*). Наряду с этими топорами появляются кованые и литые желобчатые долота (вторая половина XIII – XII в. до н.э.). Затем данный вариант топоров сменяется одноушковыми кельтами (XII–VIII вв. до н.э.). В поздней группе возрастает число тесел с крыловидными закраинами (Т-14, по Е.Н. Черных) и литых желобчатых долот с втулкой, по краю оформленной воротничком из одного или нескольких рельефных валиков [Gaucher, 1981, fig. 143, D–5].

Модификация тесловидного топора из с. Автуры, судя по традиционной односторонней выпуклоуплощенной в сечении литой матрице, характерной для данного района, свидетельствует о том, что он был изготовлен местными мастерами [Козенкова, 1977, с. 47; 1982, с. 7] по несохранившемуся импортному образцу. Поскольку в комплекте присутствует криволезвийное желобчатое долото с сомкнутой литой втулкой с воротничком (Т-22 по: [Черных, 1976, с. 109–110, табл. XXXI, 7, 8]), примерная дата комплекта – вторая половина XIII – XII в. до н.э. То есть обе формы были занесены в ареал Кобани, как и другие западные изделия, миграционным потоком в эпоху формирования восточного варианта вместе с первыми элементами кобанской культуры, внедрившимися в субстрат материальной культуры позднехарачоевского облика. Тесловидный топор с уступом автуринского типа оказался лишь эпизодом в местной металлообработке и не был принят в бытовой уклад носителей кобанской культуры. В памятниках Восточной Европы точные аналогии подобному варианту тесловидного топора мне неизвестны. Нет подобных форм и в азиатской части Евразии. Визуально, с некоторой натяжкой, можно вспомнить о случайной находке бронзового кельта-тесла из окрестностей Карим-Берды в Южном Таджикистане, продемонстрированном в 1985 г. Н.М. Виноградовой в ее докладе на Всесоюзной сессии в Баку [Виноградова, 1985, с. 98, 99; Кузьмина, 2008, с. 476, рис. 8; рис. 39, 26]. Предмет по абрису чем-то напоминал изделие из Автуры (см. рис. 1, 9). Однако по своим конструктивным элементам он имел принципиальное отличие, заключавшееся в том, что представлял собой собственную, также трансформированную форму не тесловидного топора, а кельта. То есть орудия труда, имевшего не упор-выступ для закрепления рукоятки, а полую втулку, характерную для классических форм кельтов [Кузьмина, 2008, с. 524, рис. 39, 26].

Что касается желобчатого цельнолитого долота, то и оно не противоречит высказанной версии западноевропейского происхождения вещей из с. Автуры. Для культур поздней бронзы всей западной части Евразии, от восточного побережья Атлантики до Урала, в XIV–XI вв. до н.э. были типичны литые втульчатые долота, преимущественно с выступающим валиком по краю втулки (рис. 1, 14, 15). Они представлены как готовыми изделиями [Монгайт, 1974,

с. 74, рис. 6; Черных, 1976, с. 109, 197; Gaucher, 1981, p. 279, fig. 163], так и литейными формами для них [Boškarev, Leskov, 1980, taf. 3, 36; 4, 39; 11, 87]. В какой-то период они были столь массовы, что спорадически проникали и в андроновский ареал, для памятников которого типичными являлись либо кованые с разомкнутой втулкой, либо изредка встречавшиеся литые, но без выпуклого рельефного «воротничка» по краю втулки (рис. 1, 5, 6), в отличие от европейских [Черных, Кузьминых, 1989, с. 129, 130; Потемкина, 1985, рис. 108, 241–242]. Проникали они и на Северный Кавказ. Кроме автуринского долота, к довольно раннему периоду, видимо, относилось и долото из слоя западнокобанского поселения Заслонка [Козенкова, 1998, табл. IV, 1], поскольку было украшено таким же узором из вписанных друг в друга углов (рис. 3, 13), как на европейских тесловидных топорах с упором и некоторых долотах (см. рис. 1, 15). На востоке ареала Кобани подобная форма долот продолжала бытовать до начала I тыс. до н.э., но только в сочетании с традиционными плоскими тесловидными топорами (рис. 3, 10–12), о чем свидетельствуют находки из погребений Сержень-Юртовского могильника [Она же, 2002, табл. 32, 2; 56, 5, 6].

В заключение особо подчеркну, что предложенный вариант анализа предметов из селений Курчалой и Автуры ни в коей мере не означает отрицания приоритета глубоко местных корней происхождения кобанской культуры Кавказа. По своим основополагающим материальным элементам она, безусловно, остается самобытным и саморазвивающимся образованием. Однако формирование ее специфики в разных частях обширного ареала было более сложным, чем это представлялось ранее. На частном примере предметов из Курчалой и Автуры просматриваются не только приоритетные направления связей и взаимоот-

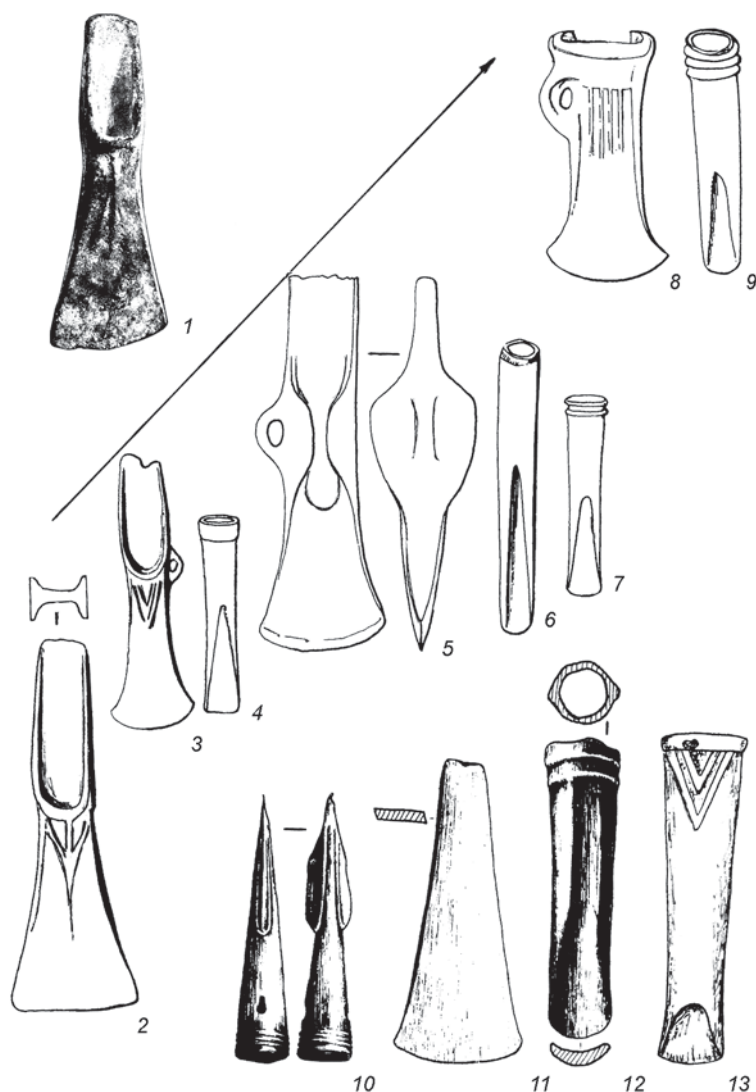


Рис. 3. Орудия труда из Западной Европы, близкие по форме к изделиям типа «автуры».

Парижский бассейн: 1, 2 – тесловидный топор с «пяткой» XIV–XIII вв. до н.э.; 3–9 – серия орудий труда середины XIII – первой половины VIII в. до н.э.

Кобанская культура: 10–12 – Сержень-Юртовский могильник, погр. 75 (конец X – начало IX в. до н.э.), восточный вариант; 13 – поселение Заслонка (начало I тыс. до н.э.), западный вариант.

1–9 – по: [Gaucher, 1981]; 10–13 – по: [Козенкова, 1998; 2002].

ношения конкретной культурной группы и демонстрируется механизм взаимопроникновения разных культур, но также новации и последствия такого процесса. В результате автохтонная культура северокавказских горцев постоянно выходила обогащенная инновационными элементами, способствующими ее дальнейшему развитию при непременном сохранении субстрата как прочной базы для последующего превращения новых элементов (в форме разных модификаций) в собственную традицию.

Список литературы

- Барцева Т.Б.** Химический состав наконечников копий Северного Кавказа VIII–VII вв. до н.э. // КСИА. – М., 1985. – Вып. 184: Железный век Кавказа, Средней Азии и Сибири.
- Виноградов В.Б., Исламов А.А.** Новые археологические находки в Чечено-Ингушетии // Изв. ЧИНИИ. – Грозный, 1965. – Т. VI. – Вып. I.
- Виноградов В.Б., Марковин В.И.** Археологические памятники Чечено-Ингушской АССР. – Грозный, 1966. – (Тр. ЧИНИИИЯЛ; т. X).
- Виноградова Н.М.** Открытие новых памятников эпохи поздней бронзы на юге Таджикистана // Всесоюз. археол. конф. «Достижения советской археологии в XI пятилетке»: тез. докл. – Баку, 1985. – Т. 1.
- Дударев С.Л.** К характеристике находок сибирско-казахстанского облика из древностей Пятигорья и бассейна Терека (конец II – первая половина I тыс. до н.э.) // V Крупновские чтения по археологии Кавказа: тез. докл. – Махачкала, 1975.
- Дударев С.Л.** Очерк древней культуры Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1991. – 15 с.
- Иессен А.А.** Некоторые памятники VIII–VII до н.э. на Северном Кавказе // Вопр. скифо-сарматской археологии. – М., 1954.
- Козенкова В.И.** Связи Северного Кавказа с Карпато-Дунайским миром // Скифский мир. – Киев, 1975. – С. 53–64.
- Козенкова В.И.** Кобанская культура. Восточный вариант. – М.: Наука, 1977. – 90 с. – (Археология СССР. САИ; вып. B2-5).
- Козенкова В.И.** Типология и хронологическая классификация предметов кобанской культуры. Восточный вариант. – М., 1982. – Т. 2. – (Археология СССР. САИ; вып. B2-5).
- Козенкова В.И.** Культурно-исторические процессы на Северном Кавказе в эпоху поздней бронзы и в раннем железном веке: узловыe проблемы происхождения и развития кобанской культуры. – М., 1996.
- Козенкова В.И.** Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. – М., 1998. – Т. 5. – (Археология СССР. САИ; вып. B2-5).
- Козенкова В.И.** Поселок-убежище кобанской культуры у аула Сержень-Юрт в Чечне как исторический источник (Северный Кавказ). – М., 2001.
- Козенкова В.И.** У истоков горского менталитета. Могильник эпохи поздней бронзы – раннего железа у аула Сержень-Юрт, Чечня // Мат-лы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. – М., 2002. – Вып. III.
- Козенкова В.И.** Древности новочеркасского типа: фазы межкультурных контактов кобанской культуры // Археол. памятники раннего железного века юга России. – М., 2004. – С. 66–92. – (МИАР; вып. 6).
- Крупнов Е.И.** Древняя история Северного Кавказа. – М., 1960.
- Кузьмина Е.Е.** Арии – путь на юг. – М.; СПб., 2008. – 556 с.
- Монгайт А.Л.** Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. – М., 1974.
- Потемкина Т.М.** Бронзовый век лесостепного Притобья. – М., 1985.
- Черных Е.Н.** Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. – М., 1970.
- Черных Е.Н.** Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. – М., 1976.
- Черных Е.Н., Кузьминых С.В.** Древняя металлургия Северной Евразии. – М., 1989.
- Членова Н.Л.** Хронология памятников карасукской эпохи. – М., 1972.
- Bočkarov V.S., Leskov A.M.** Jung- und spätbronzezeitliche Gußformen im nördlichen Schwarzmeergebiet // Prähistorische Bronzefunde. – München, 1980. – Abt. XIX; Bd. 1.
- Gaucher G.** Sites et cultures l'âge du bronze dans le bassin Parisien // XVe supplement a "Gallia préhistoire". – Paris, 1981.
- Kosenkova W.I.** Zentralkaukasus und Mitteleuropa. Zur Synchronisierung der Kulturen an der Schwelle der Spätbronze- und Früheisenzeit // Hallstattkolloquium Veszprém vom 10 bis 15 september 1984. Veszprém – vár. – 1984.

Л.Н. Мыльникова, Д.П. Иванова

ОРНАМЕНТ НА КЕРАМИКЕ АНДРОНОВСКОЙ (ФЕДОРОВСКОЙ) КУЛЬТУРЫ БАРАБИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ (по результатам сравнительного анализа материалов могильников Старый Тартас-4 и Тартас-1)

Характерной чертой андроновской керамики является ее орнамент. С момента открытия культуры он являлся наиболее привлекательным объектом изучения для специалистов, и на данный момент рассмотрению орнамента сосудов андроновской культуры посвящено множество специальных исследований.

По материалам памятников Южной и Западной Сибири, бассейнов Верхней Оби, Енисея исследователи выделяют общие черты, присущие андроновскому орнаменту, как на уровне отдельных элементов, так и орнаментальных схем.

Отмечено различие в орнаментации «баночных» и «горшковидных» сосудов: сосуды без горловины, в основном, имеют зигзагообразный, елочный орнамент; сосуды с горловиной имеют четкую зональность, сочетание сложных сюжетов, повторение «коврового» орнамента [Зотова, 1965; Киселев, 1951, с. 81–85; Ковтун, 2009; Кузьмина, 1986, с. 159–161; Максименков, 1978, с. 66–70; Матющенко, 1973, с. 26–28; Молодин, 1985, с. 90–101; Рудковский, 2010; Теплоухов, 1929].

Объектом данного исследования являются сосуды андроновской (федоровской) культуры двух некрополей: Старый Тартас-4 и Тартас-1, расположенные у с. Венгерово Новосибирской области [Молодин, Новиков, Гришин, 1998], в нескольких километрах друг от друга (рис. 1). На материалах данных памятников был проведен морфологический анализ, опубликованы рисунки сосудов [Молодин, Мыльникова, Иванова, 2014].

Памятник Тартас-1 – крупнейший некрополь на территории Обь-Иртышской лесостепи, содер-

жащий захоронения разных культур в широких хронологических рамках: от раннего бронзового века до позднего средневековья [Молодин, Парцингер и др., 2004; 2005; 2008; Молодин, Мыльникова и др., 2009; Молодин, Хансен и др., 2010; 2011]. Работы на памятнике, начатые в 2004 г., продолжаются до сегодняшнего дня. Основная часть изученных погребений относится к андроновской (федоровской) культуре, также выявлены захоронения смешанного типа: андроновско-кромовские, отражающие процесс взаимодействия пришлого и местного населения.

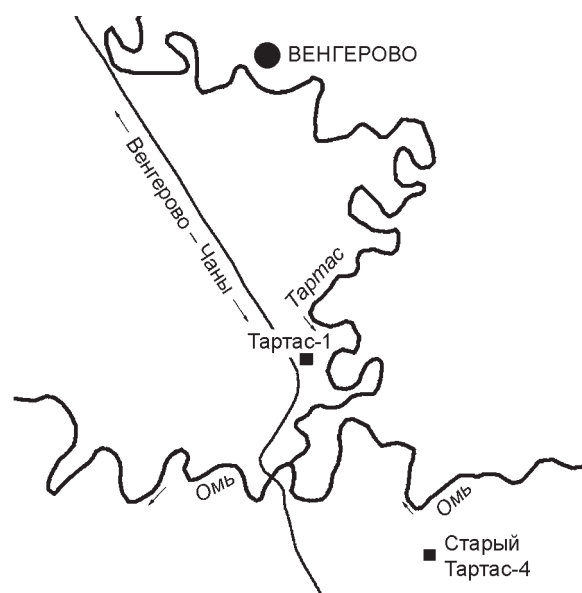


Рис. 1. Местонахождение памятников Тартас-1 и Старый Тартас-4.

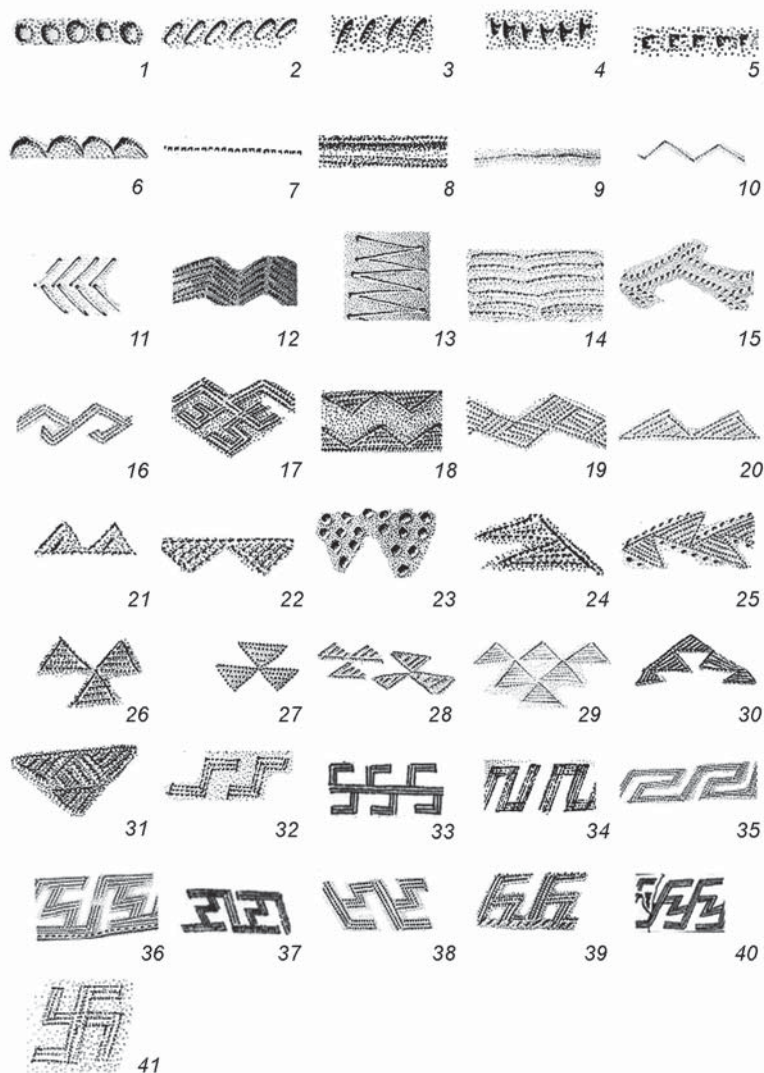


Рис. 2. Элементы орнамента, выделенные на сосудах из коллекций памятников Тартас-1 и Старый Тартас-4.

Курганный могильник Старый Тартас-4 является полностью исследованным. Его материалы, в том числе и керамическая коллекция, опубликованы [Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002]. По мнению исследователей, керамика из погребений этого памятника относится к «классическому» андроновскому (федоровскому) типу [Там же, с. 48].

Статистическая обработка информации об орнаменте является непростой задачей, так как каждый сосуд уникален, он содержит неповторимые «отпечатки» работы гончара. В данной работе за основу вычисления берется «эталонное» (усредненное) изображение, которое, раз-

умеется, на каждом сосуде может немного отличаться. С этим связано и то, что элементы орнамента формально расположены на одной части сосуда, но фактически распространяются и на соседнюю, например, с горловины на тулово, подчеркивая ширину и высоту горловины, если она недостаточно рельефно выделена на фазе изготовления тела (табл. 1–6).

Анализ орнамента памятника Тартас-1 проводился на 271 экземпляре из погребений андроновской культуры и смешанного типа памятника Тартас-1. В коллекции представлено 170 экземпляров с горловиной, 101 без горловины, 16 из которых сосуды открытого типа (табл. 1–3). В целом, сосудам без горловины и сосудам с горловиной соответствуют свои орнаментальные схемы. В ходе обработки коллекции с двух памятников было выделено 41 различных элемент орнамента, которые покрывают сосуды горизонтальными полосами (рис. 2). Элементы выполнены с применением следующих техник: гладкий штамп, крупнозубчатый и мелкозубчатый штамп, прочерчивание, накалывание.

Орнаментальные единицы можно сгруппировать по признаку геометрических фигур, положенных в основу их образования. Данные элементы с сосудов двух памятников распределяются между пятью группами: 1) горизонтальные полосы (рис. 2, 1–9), это полосы оттисков штампа либо палочки с различной формой рабочей поверхности, представляют собой линию оттисков, либо сплошную прочерченную линию; 2) зигзагообразные линии (рис. 2, 10–19); 3) треугольники (рис. 2, 20–31); 4) меандровидные изображения (рис. 2, 32–40); 5) свастика (рис. 2, 41).

Каждый элемент на теле сосуда имеет свое характерное расположение (табл. 7, 8).

Наиболее распространенные типы орнамента для горловины – это пунктирные линии (рис. 2, 7) – 29 %, 50 экз. (проценты от общего количества

Таблица 1. Встречаемость элементов орнамента на горловинах сосудов памятника Тартас-1

№ сосуда	Шифр	№ элемента орнамента																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18	19	20	21	25	34					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
3	T1-05/B112							1	1								1								
4	T1-04/B48-2								1								1								
6	T1-04/B50		1																						
8	T1-03/B69									1															
9	T1-08/B297			1				1	1								1								
10	T1-07/B195							1	1						1										
11	T1-04/B81																			1					
12	T1-04/B58											1													
14	T1-04/B48-1								1																
17	T1-04/B61			1				1	1								1								
18	T1-11/B436								1					1			1								
20	T1-11/B448-5							1																	
22	T1-11/B471							1																	
25	T1-09/B342							1									1	1							
27	T1-09/B333											1													
32	T1-07/B208-1							1																	
33	T1-11/B448-2			1					1								1								
36	T1-11/B438													1											
37	T1-11/B456							1																	
39	T1-10/B413-3		1																						
43	T1-07/B240	1							1								1								
44	T1-07/B233								1																
45	T1-07/B231								1								1								
46	T1-07/B208-2							1							1		1								
47	T1-07/B210-1							1									1								
48	T1-07/B243-2			1																					
49	T1-07/B242			1				1	1																
50	T1-07/B209							1																	
52	T1-07/B204					1																			
55	T1-11/B440						1																		
56	T1-11/B476																								
57	T1-05/B106				1				1																
59	T1-11/B453											1		1											
62	T1-11/B462							1								1									
65	T1-11/B456-2							1									1								
76	T1-06/B168							1																	
81	T1-11/B480		1						1								1								
82	T1-11/B479																								
83	T1-11/B472		1						1								1								
86	T1-12/B514																								
87	T1-12/B507		1														1								
88	T1-12/B494							1									1								

Продолжение табл. 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
89	T1-12/B503				1									1						
91	T1-12/B501-1							1										1		
92	T1-12/B511																	1		
93	T1-12/B510-2											1								
94	T1-12/B501-2		1																	
96	T1-12/B508		1	1							1									
97	T1-09/B304							1	1								1			
100	T1-09/B312							1	1								1			
103	T1-11/B457		1						1								1			
104	T1-07/B185	1																		
107	T1-07/B218	1																		
108	T1-09/B305-1								1								1			
111	T1-07/B227-3							1			1									
113	T1-09/B302-1			1				1	1								1			
114	T1-09/B310			1					1								1			
115	T1-09/B336												1							
116	T1-09/B355									1										
117	T1-07/B234							1												
118	T1-08/B269							1	1								1		1	
120	T1-10/B397							1	1								1			
121	T1-10/B413-1		1																	
122	T1-07/B235								1											
128	T1-07/B174	1									1									
130	T1-07/B186				1															
131	T1-07/B196				1															
132	T1-07/B202											1								
134	T1-07/B227										1									
135	T1-07/B238						1		1											
136	T1-07/B182		1						1								1			
140	T1-07/B187											1								
142	T1-07/B194								1		1									
143	T1-04/B34-1							1										1		
147	T1-05/B132			1				1												
149	T1-08/B281			1							1									
150	T1-08/B282							1	1								1			
152	T1-08/B288									1										
156	T1-05/B109												1							
157	T1-05/B133	1						1												
158	T1-05/B144-1							1												
159	T1-05/B144-2											1								
162	T1-06/B166				1															
163	T1-08/B294		1						1											
164	T1-05/B91				1			1												
165	T1-05/B105							1							1					

Окончание табл. 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
168	T1-05/B137											1								
169	T1-05/B100						1		1								1			
170	T1-09/B301-1							1												
171	T1-09/B301-2											1								
173	T1-09/B309							1												
174	T1-09/B313				1															
177	T1-09/B358-3		1						1									1		
178	T1-09/B354																			
179	T1-09/B335																1			
180	T1-09/B356							1										1		
181	T1-09/B305-2							1	1								1			
183	T1-09/B358-4																1	1		
184	T1-09/B349-2							1									1			
185	T1-09/B351-1							1									1			
187	T1-09/B351-3			1					1								1			
191	T1-09/B340				1			1												
192	T1-09/B358-5																			
193	T1-09/B342-1																			
194	T1-07/B170								1								1			
197	T1-04/B41-1								1								1			
198	T1-04/B46-1																			
199	T1-04/B47			1					1											
200	T1-04/B54							1												
201	T1-04/B62							1	1								1			
202	T1-04/B59																			
203	T1-04/B60								1								1			
206	T1-06/B153		1					1												
207	T1-06/B160		1					1												
212	T1-06/B165											1								
214	T1-07/B232							1												
217	T1-07/B243-1													1						
219	T1-09/B307							1									1			
221	T1-09/B341							1	1								1			
223	T1-04/B64								1									1		
228	T1-07/B225	1																		
229	T1-07/B227-2							1									1			
230	T1-07/B237							1									1			
232	T1-08/B267-1			1				1												
233	T1-08/B267-2									1										
246	T1-12/B512-1											1								
247	T1-13/B519																1			
250	T1-13/B525				1															
255	T1-13/B544													1						
261	T1-13/B552	1							1											
Итого		7	14	13	9	1	3	50	41	4	6	11	2	6	3	1	42	8	1	1

Таблица 2. Встречаемость элементов орнамента на плечиках сосудов памятника Тартас-1

[illegible]

Продолжение табл. 2.

[illegible]

Продолжение табл. 2.

[illegible]

Продолжение табл. 2.

[illegible]

Продолжение табл. 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
192	T1-09/B358-5		1																												
193	T1-09/B342-1													1																	
194	T1-07/B170	1																													
195	T1-04/B46-2																														
196	T1-04/B34 -2																														
197	T1-04/B41-1						1		1																			1			
198	T1-04/B46-1			1				1																							
199	T1-04/B47												1																		
200	T1-04/B54							1																							
201	T1-04/B62						1	1	1										1												
202	T1-04/B59																														
203	T1-04/B60													1																	
204	T1-04/B66	1																													
205	T1-04/B82							1											1								1				
206	T1-06/B153		1										1																		
207	T1-06/B160												1																		
208	T1-06/B161-1			1																											
209	T1-06/B161-2																														
210	T1-06/B163			1				1																							
211	T1-06/B164																														
212	T1-06/B165												1																		
213	T1-07/B229	1											1																		
214	T1-07/B232												1																		
215	T1-07/B236																														
216	T1-07/B239							1						1																	
217	T1-07/B243-1				1							1																			
218	T1-09/B306-2												1																		
219	T1-09/B307				1			1														1									
220	T1-09/B311							1					1																		
221	T1-09/B341							1	1						1																
222	T1-04/B41-2																														
223	T1-04/B64							1																							
224	T1-07/B181			1																											
225	T1-07/B212																														
226	T1-07/B213																			1											
227	T1-07/B220																														
228	T1-07/B225	1																													
229	T1-07/B227-2							1													1										
230	T1-07/B237								1						1																
231	T1-08/B260			1																											

Окончание табл. 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
232	T1-08/B267-1							1																							
233	T1-08/B267-2								1										1												
234	T1-08/B267-3																														
235	T1-08/B272				1								1																		
236	T1-08/B277		1																												
237	T1-08/B278			1																											
238	T1-08/B289								1																						
239	T1-08/B292																														
245	T1-11/B435																														
246	T1-12/B512-1											1																			
247	T1-13/B519				1				1															1							
250	T1-13/B525				1						1																				
252	T1-13/B532											1																			
254	T1-13/B536																														
255	T1-13/B544												1																		
261	T1-13/B552	1										1																			
262	T1-13/B553								1		1									1											
266	T1-13/B562-2-б		1																												
267	T1-13/B562-2-м								1		1																				
268	T1-13/B564												1	1																	
Итого		12	25	25	9	1	9	51	41	5	17	44	10	7	5	1	5	9	9	5	1	13	1	1	5	2	1	1	1	1	2

сосудов с горловиной в коллекции); ряды остроугольных треугольников с косой штриховкой (рис. 2, 20) – 25 % (42 экз.); «каннелюры», широкие желобки (рис. 2, 8) – 24 % (41 экз.). Данные элементы в совокупности дают устойчивый мотив украшения горловины. Иногда в этом мотиве вместо остроугольных треугольников присутствуют равносторонние (рис. 2, 21), 5 %, 8 экз. На горловине также встречается елочный орнамент (рис. 2, 11), ряды гребенчатых коротких горизонтальных линий (рис. 2, 14), прямые и зигзагообразные прочерченные линии (рис. 2, 9, 10), а также ряды оттисков округлой палочки, поставленной перпендикулярно, под углом, ряды оттисков гребенчатого штампа и подтреугольного орнамента (рис. 2, 1–4). Единичны случаи, когда на горловину переходит рисунок, более присущий плечикам, например, зигзагообразная полоса с косой штриховкой (рис. 2, 19; 6, 62). Редки оттиски подквадратного штампа, полулунные вдавления (рис. 2, 5, 6; 2, 52; 3, 55).

На плечиках часто встречаются горизонтальные пунктирные линии (рис. 2, 7) – 19 %, 51 экз. (проценты от общего количества сосудов коллекции) и каннелюры (рис. 2, 8) – 41 экз. (15 %). Плечики, так же как и горловина, содержат ряды оттисков различной конфигурации: наиболее распространены ряды оттисков округлой палочки, поставленной под углом, и ряды оттисков крупнозубчатого штампа (по 9 %); от 2 до 5 % занимают оттиски округлой палочки, поставленной перпендикулярно, подтреугольные оттиски, полулунные вдавления, зигзагообразные линии, вертикальная и горизонтальная елочка, равносторонние треугольники, направленные вершинами вверх и вниз, с косой штриховкой (рис. 2, 22), а также полоса треугольников, ребро одного из которых является основанием двух других (рис. 2, 25). Реже (по 2–3 %) встречается горизонтальная прочерченная линия; ряды гребенчатых коротких горизонтальных линий; зигзагообразная полоса, сформированная двумя рядами треугольников,

**Таблица 3. Встречаемость элементов орнамента на придонной части сосудов
памятника Таргас-1**

№ сосуда	Шифр	№ элемента орнамента																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	35				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	35				
1	T1-07/B222											1																								
2	T1-07/B211			1								1																								
3	T1-05/B112			1				1											1								1									
4	T1-04/B48-2								1							1				1									1							
6	T1-04/B50																																			
7	T1-04/B43											1																								
8	T1-03/B69		1								1									1																
9	T1-08/B297		1						1							1				1									1							
10	T1-07/B195							1	1											1									1							
11	T1-04/B81																			1																
12	T1-04/B58	1										1																								
14	T1-04/B48-1																																			
17	T1-04/B61		1					1								1										1				1						
18	T1-11/B436																			1								1								
19	T1-11/B463											1																								
20	T1-11/B448-5			1				1																												
21	T1-11/B454		1							1																										
22	T1-11/B471							1				1								1																
23	T1-11/B477											1																								
24	T1-11/B448-4		1									1																								
25	T1-09/B342															1														1						
26	T1-10/B388	1		1																																
27	T1-09/B333			1																																
28	T1-07/B216										1																									
29	T1-07/B173			1								1																								
32	T1-07/B208-1		1						1							1				1										1						
33	T1-11/B448-2																																			
36	T1-11/B438											1																								
37	T1-11/B456											1																								
38	T1-07/B217			1								1																								
39	T1-10/B413-3																																			
40	T1-10/B416											1																								
41	T1-09/B302-2			1								1																								
42	T1-10/B413-2		1																																	
43	T1-07/B240	1						1								1				1										1						
44	T1-07/B233													1																						
45	T1-07/B231								1																				1							
46	T1-07/B208-2		1																										1							

Продолжение табл. 3.

[illegible]

Продолжение табл. 3.

[illegible]

Продолжение табл. 3.

[illegible]

Окончание табл. 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
237	T1-08/B278								1													1								
238	T1-08/B289																					1								
239	T1-08/B292	1																				1								
240	T1-08/B293-2											1																		
246	T1-12/B512-1											1					1									1				
247	T1-13/B519				1				1											1	1									
250	T1-13/B525		1								1																			
252	T1-13/B532										1	1																		
254	T1-13/B536					1						1																		
255	T1-13/B544																													
261	T1-13/B552											1								1										
262	T1-13/B553								1											1	1									
266	T1-13/B562-2-6		1																			1								
267	T1-13/B562-2-м								1		1																			
268	T1-13/B564												1									1								
Итого		13	27	28	3	2	5	30	35	9	24	62	11	8	1	2	16	2	11	42	3	12	2	1	1	15	17	1	1	1

обращенных друг к другу (рис. 2, 18); треугольники вершиной вниз, заполненные оттисками округлой палочки (рис. 2, 22). В зоне плечиков по одному-два экземпляра встречаются характерные меандровидные изображения, которые имеют небольшие отличия (рис. 2, 32, 34, 35, 36, 38, 39). Два сосуда коллекции украшены свастикой.

Придонная часть показывает наличие всех тех же базовых элементов, что и плечики в тех же пропорциях. Исключение составляют особые элементы, встречающиеся только на данной части тулова, такие, как сложный переплетающийся меандровый узор (рис. 2, 17), фестоны (рис. 2, 30) и пирамидки из трех рядов треугольников (рис. 2, 29) – по 6 %. Наиболее распространенным типом орнамента на этой части сосуда являются равнобедренные треугольники (15 %). Реже встречаются ряды вертикальных зигзагообразных линий (рис. 2, 13); фигуры, формирующие неоконченный ромб (рис. 2, 15, 16).

По степени орнаментации сосуды можно разделить на пять групп: сосуды, орнаментированные полностью; сосуды, орнаментированные на 2/3; сосуды, орнаментированные на 2/3 с полосой изображений вдоль дна; сосуды с одной полосой орнамента; неорнаментированные сосуды. Десять экземпляров коллекции не орнаментированы (3,7 %), восемь – украшены одной орнаментальной полосой вдоль тулова (3 %). Остальные

формируют три крупные группы. Наиболее многочисленна группа сосудов, орнаментированных на 2/3 и имеющих дополнительную полосу орнамента вдоль низа придонной части, она насчитывает 78 экз. (29 %). Преобладающее большинство в ней составляют 69 сосудов с горловиной (25 %) и только 9 – без горловины (3 %). В основном характер полос, украшающих придонную часть, таков: ряд равнобедренных треугольников, подчеркнутый каннелюрой и несколькими рядами пунктирной линии, либо две-три каннелюры.

Вторая по численности группа орнаментированных полностью изделий насчитывает 69 экз. (25 %). В ней, напротив, преобладает баночная посуда (41 экз., 15 %). Третья группа сосудов (орнаментированные на 2/3 с полосой изображений вдоль дна) состоит из 52 экз. (20 %), примерно в равных долях разделяется между горшковидными и баночными сосудами (19 и 23 экз. соответственно). Восемь сосудов с одной полосой орнамента (3 %) и неорнаментированных – 10 экз. (3,7 %). Оба типа в равных долях распределяются между баночной и горшковидной посудой.

Крупный пласт составляют изображения елочного орнамента, который содержится на 61 сосуде (22,5 %), то есть почти четверти всей коллекции. Сосуды без горловины покрыты елочным орнаментом в 35 % от всех сосудов данного типа

**Таблица 4. Встречаемость элементов орнамента на горловине сосудов
памятника Старый Тартас-4**

№ сосуда	Шифр	№ элемента орнамента										
		1	2	3	4	7	8	9	10	11	20	21
1	56_1	1					1				1	
2	56_2	1				1	1				1	
3	56_3				1		1				1	
4	56_4											
5	56_5			1			1				1	
6	56_9				1	1	1				1	
7	56_12				1		1				1	
8	56_14	1				1	1				1	
9	56_15									1		
10	57_1				1		1				1	
11	57_2	1					1				1	
12	57_5	1								1		
13	57_6	1						1	1			
14	57_9						1				1	
15	57_11	1		1			1				1	
16	57_12			1			1					1
17	57_13	1					1					1
18	57_14	1					1				1	
19	57_15	1					1				1	
20	58_1				1	1	1				1	
21	58_2									1		
22	58_4				1		1				1	
23	58_5		1				1				1	
24	58_8				1		1				1	
25	58_9						1				1	
26	58_11						1				1	
27	58_12						1				1	
28	58_13						1				1	
29	58_14	1								1		
30	58_15					1	1				1	
31	59_3	1										1
32	59_4	1				1						1
33	59_5									1		
34	59_6	1					1				1	
35	59_7	1					1					1
36	58_10						1				1	
52	56_13	1				1	1				1	
<i>Итого</i>		16	1	3	7	7	28	1	1	5	25	5

памятника Старый Тартас-4

[illegible]

Окончание табл. 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
41	56_16								1														
42	57_3			1								1											
43	57_4			1																			
44	57_7								1														
45	57_8								1														
46	58_6								1														
47	58_7								1														
48	58_16								1														
49	58_17	1																					
50	59_1								1														
51	59_2	1					1		1			1											
52	56_13	1					1									1							
	Итого	16	4	8	11	6	25	1	17	1	3	1	1	1	2	1	1	7	1	1	1	2	1

Таблица 6. Встречаемость элементов орнамента на придонной части сосудов памятника Старый Тартас-4

№ сосуда	Шифр	№ элемента орнамента																					
		1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	14	16	17	19	20	21	22	29	30	34		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	56_1	1					1										1		1				
2	56_2	1		1			1							1						1			
3	56_3									1								1					
4	56_4																						
5	56_5						1			1								1					
6	56_9						1										1		1				
7	56_12													1			1			1			
8	56_14													1						1			
9	56_15									1													
10	57_1													1			1			1			
11	57_2													1						1			
12	57_5			1						1													
13	57_6																	1					
14	57_9								1								1						
15	57_11									1													
16	57_12			1			1							1			1			1			
17	57_13									1													
18	57_14													1			1			1			
19	57_15													1			1			1			
20	58_1													1			1			1			
21	58_2		1							1													
22	58_4													1		1				1			
23	58_5													1			1			1			

Окончание табл. 6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	58_8			1	1					1							1				
25	58_9		1			1									1						
26	58_11	1		1			1														1
27	58_12													1						1	
28	58_13		1	1			1												1		
29	58_14	1		1						1											
30	58_15			1	1								1							1	
31	59_3					1				1							1	1			
32	59_4	1								1											
33	59_5									1											
34	59_6					1				1								1			
35	59_7	1		1						1							1				
36	58_10			1			1								1		1				
37	56_6											1									
38	56_8										1										
39	56_10		1							1											
40	56_11									1											
41	56_16			1						1											
42	57_3										1										
43	57_4			1																	
44	57_7									1											
45	57_8									1											
46	58_6							1													
47	58_7			1																	
48	58_16			1																	
49	58_17										1										
50	59_1									1											
51	59_2	1				1				1											
52	56_13													1						1	
Итого		7	4	14	2	4	8	1	1	21	3	1	1	13	2	1	14	5	3	14	1

(35 экз.), на них орнамент более монотонный, чем на сосудах с горловиной. Полностью орнаментированных горизонтальной елочкой сосудов баночного типа насчитывается восемь, а также 8 экз. содержат изображения горизонтальной елочки на 2/3 своей поверхности. Наиболее часто встречающиеся изменения на посуде без горловины с таким орнаментом независимо от того, орнаментирован весь сосуд или только часть, – горизонтальные полосы мелкозубчатого штампа, сопровождающиеся оттисками заостренной палочки или наклонными оттисками мелкозубчатого штампа (7 сосудов). На ряде сосудов встреча-

ется вертикальная елочка (8 экз.). В одном случае она сочетается с горизонтальной елочкой, также по одному экземпляру представлены полностью орнаментированные вертикальной елочкой сосуда, орнаментированные на 2/3, с оттисками заостренной палочки вдоль венчика.

Сосуды с горловиной содержат елочный орнамент в 15 % случаев от всех сосудов данного типа (26 экз.). Полностью орнаментированных горизонтальной елочкой горшковидных сосудов насчитывается 4, сосудов, украшенных на 2/3, – 5 экземпляров. На сосудах без горловины чаще встречается нарушение монотонности подчер-

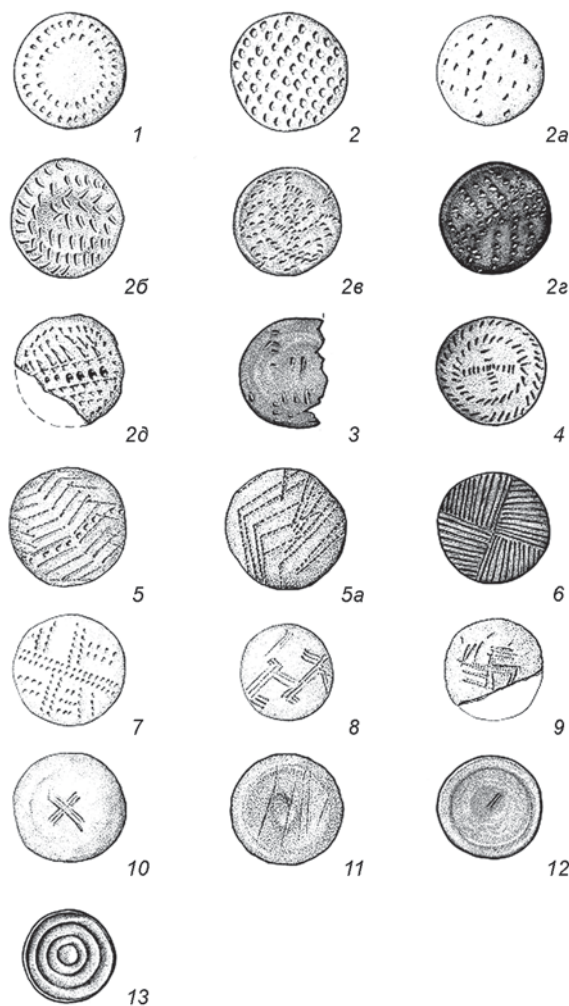


Рис. 3. Изображения на донной части керамических сосудов памятника Тартас-1.

киванием естественной формы сосуда. В девяти случаях отличается орнамент вдоль венчика, в пяти из них другой орнамент совпадает с изменениями на сосудах без горловины – горизонтальные полосы мелкозубчатого штампа, сопровождающиеся оттисками заостренной палочки или наклонными оттисками мелкозубчатого штампа либо по отдельности. На одном сосуде, полностью покрытом елочным орнаментом, изображение на горловине соответствует характерному для другого орнаментального ряда элементу – зигзагообразной полосе с наклонными полосами внутри. В двух случаях на тулове присутствуют горизонтальные полосы мелкозубчатого штампа, подчеркивающие форму сосудов. На сосудах с горловиной не встречается вертикальная елочка.

Некоторые сосуды коллекции орнаментированы также по венчику и имеют изображения на донной части. Срез венчика украшен на 21 сосуде (7 %), 9 из них баночных, 11 – горшковидных. В качестве орнамента выступают наклонные полосы зубчатого штампа. Посуды с орнаментированным дном насчитывается 19 (7 %). Изображения в основном состоят из оттисков палочки различной конфигурации (рис. 3, 1–3), полос и крестообразных фигур (рис. 3, 4–12), в том числе встречается одно изображение свастики (рис. 3, 9), а одно доннышко украшено желобками, формирующими круги (рис. 3, 13).

Рассмотренный орнамент сосудов коллекции памятника Тартас-1 позволил сделать следующие выводы. Наиболее распространены линейные орнаменты – пунктирная линия, широкий желобок; на втором месте по распространенности идут различные конфигурации и сочетания треугольников. Елочный орнамент преобладает на сосудах без горловины (35 против 15 %). Для сосудов с горловиной характерно деление орнамента на зоны, однако, подобное деление встречается и на сосудах без горловины.

Сравнение орнамента коллекций памятников Тартас-1 и Старый Тартас-4 (табл. 9, 10) показало значительное сходство, наиболее распространенными являются одинаковые элементы орнамента. На горловине это широкий желобок (каннелюра) – 28 %, остроугольные треугольники – 25 %, оттиски палочки, поставленной вертикально к поверхности, – 43 %. Реже, чем в коллекции Тартаса-1, встречается пунктирная линия (19 %). Единичны оттиски наклонной палочки или штампа, изображения прямой прочерченной и зигзагообразной линий. По количеству сосудов, орнаментированных наиболее часто встречающимися элементами на горловине, наблюдается сходная картина в зоне плечика. На плечиках больше изображений елочного орнамента, так как он более распространен на баночных сосудах, и также встречаются изображения, типичные для данной зоны, – различные меандровые фигуры (рис. 2, 32–41). Придонная часть в большей степени, чем на памятнике Тартас-1, украшена равносторонними треугольниками. Встречаются сосуды без горловины, разделенные на зоны, с полоской штампа вдоль венчика и вдоль дна, и также сосуды с горловиной, украшенные елочным штампом без выделения зон.

Таблица 7. Количество элементов орнамента на сосудах памятника Тартас-1

Место на теле сосуда	№ элемента орнамента																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Горловина	7	14	13	9	1	3	50	41	4	6	11	2	0	6	0	0	0	3	1	42	8
Плечико	12	25	25	9	1	9	51	41	5	17	44	10	0	7	0	0	0	5	1	5	9
Придонная часть	13	27	28	3	2	5	30	35	9	24	62	11	8	0	1	2	16	0	2	11	42
<i>Итого</i>	32	66	66	21	4	17	131	117	18	47	117	23	8	13	1	2	16	8	4	58	59

Окончание табл. 7.

Место на теле сосуда	№ элемента орнамента																				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
Горловина	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Плечико	9	5	1	13	1	1	0	0	0	0	5	0	2	1	1	0	1	1	0	2	
Придонная часть	3	12	0	0	2	1	1	15	17	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Итого	12	17	1	14	3	2	1	15	17	1	6	0	3	2	1	0	1	1	0	2	

Таблица 8. Количество элементов орнамента на сосудах памятника Старый Тартас-4

Место на теле сосуда	№ элемента орнамента																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Горловина	16	1	3	7	0	0	7	28	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5
Плечико	16	4	8	11	0	0	6	25	1	0	17	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0
Придонная часть	7	4	14	2	0	0	4	8	1	1	21	3	0	1	0	1	13	0	2	1	14
<i>Итого</i>	39	9	25	20	0	0	17	61	3	2	43	3	0	2	0	1	13	3	2	27	19

Окончание табл. 8.

Место на теле сосуда	№ элемента орнамента																				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
Горловина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Плечико	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	0	1	1	1	2	1	
Придонная часть	5	0	0	0	0	0	0	3	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	6	1	0	0	0	0	0	3	14	0	2	1	2	7	0	1	1	1	2	1	

Таким образом, очевидно, что орнаментация сосудов с памятников Тартас-1 и Старый Тартас-4 очень схожа с орнаментацией памятников с территории Южной и Западной Сибири, бассейнов Верхней Оби, Енисея. Также выявляются различия в орнаментации баночных и горшководных сосудов: сосуды без горловины в основном имеют зигзагообразный, елочный орнамент, сосуды с горловиной имеют четкую зональность, повторяют «ковровые» орнаменты, сочетание

сложных сюжетов. Совпадают наиболее часто употребляемые орнаменты: оттиски зубчатого и гладкого штампа, острой палочки. Основное отличие коллекции керамики Тартаса-1 от Старого Тартаса-4 – это большее количество сосудов, которые статистически попадают в существующие группы керамики с определенной орнаментацией (например, на горловине есть ряд оттисков), но визуально отличаются по манере и стилистике изображения.

**Таблица 9. Количество элементов орнамента на горловине сосудов
из памятников Тартас-1 и Старый Тартас-4**

№ элемента	Количество элементов на горловине		Общее количество сосудов с горловиной		% от общего количества сосудов с горловиной	
	Тартас-1	Старый Тартас-4	Тартас-1	Старый Тартас-4	Тартас-1	Старый Тартас-4
1	7	16	170	37	4	43
2	14	1	170	37	8	3
3	13	3	170	37	8	8
4	9	7	170	37	5	19
5	1	0	170	37	1	0
6	3	0	170	37	2	0
7	50	7	170	37	29	19
8	41	28	170	37	24	76
9	4	1	170	37	2	3
10	6	1	170	37	4	3
11	11	5	170	37	6	14
12	2	0	170	37	1	0
13	0	0	170	37	0	0
14	6	0	170	37	4	0
15	0	0	170	37	0	0
16	0	0	170	37	0	0
17	0	0	170	37	0	0
18	3	0	170	37	2	0
19	1	0	170	37	1	0
20	42	25	170	37	25	68
21	8	5	170	37	5	14
22	0	0	170	37	0	0
23	0	0	170	37	0	0
24	0	0	170	37	0	0
25	1	0	170	37	1	0
26	0	0	170	37	0	0
27	0	0	170	37	0	0
28	0	0	170	37	0	0
29	0	0	170	37	0	0
30	0	0	170	37	0	0
31	0	0	170	37	0	0
32	0	0	170	37	0	0
33	0	0	170	37	0	0
34	1	0	170	37	1	0
35	0	0	170	37	0	0
36	0	0	170	37	0	0
37	0	0	170	37	0	0
38	0	0	170	37	0	0
39	0	0	170	37	0	0
40	0	0	170	37	0	0
41	0	0	170	37	0	0

Таблица 10. Количество элементов орнамента на плечиках и придонной части сосудов из памятников Тартас-1 и Старый Тартас-4

№ элемента	Количество элементов на плечиках		%		Количество элементов на придонной части		%		Общее количество сосудов	
	Тартас-1	Старый Тартас-4	Тартас-1	Старый Тартас-4	Тартас-1	Старый Тартас-4	Тартас-1	Старый Тартас-4	Тартас-1	Старый Тартас-4
1	12	16	4	31	13	7	5	13	271	52
2	25	4	9	8	27	4	10	8	271	52
3	25	8	9	15	28	14	10	27	271	52
4	9	11	3	21	3	2	1	4	271	52
5	1	0	0	0	2	0	1	0	271	52
6	9	0	3	0	5	0	2	0	271	52
7	51	6	19	12	30	4	11	8	271	52
8	41	25	15	48	35	8	13	15	271	52
9	5	1	2	2	9	1	3	2	271	52
10	17	0	6	0	24	1	9	2	271	52
11	44	17	16	33	62	21	23	40	271	52
12	10	0	4	0	11	3	4	6	271	52
13	0	0	0	0	8	0	3	0	271	52
14	7	1	3	2	0	1	0	2	271	52
15	0	0	0	0	1	0	0	0	271	52
16	0	0	0	0	2	1	1	2	271	52
17	0	0	0	0	16	13	6	25	271	52
18	5	3	2	6	0	0	0	0	271	52
19	1	0	0	0	2	2	1	4	271	52
20	5	1	2	2	11	1	4	2	271	52
21	9	0	3	0	42	14	15	27	271	52
22	9	1	3	2	3	5	1	10	271	52
23	5	1	2	2	12	0	4	0	271	52
24	1	0	0	0	0	0	0	0	271	52
25	13	0	5	0	0	0	0	0	271	52
26	1	0	0	0	2	0	1	0	271	52
27	1	0	0	0	1	0	0	0	271	52
28	0	0	0	0	1	0	0	0	271	52
29	0	0	0	0	15	3	6	6	271	52
30	0	0	0	0	17	14	6	27	271	52
31	0	0	0	0	1	0	0	0	271	52
32	5	2	2	4	1	0	0	0	271	52
33	0	1	0	2	0	0	0	0	271	52
34	2	1	1	2	0	1	0	2	271	52
35	1	7	0	13	1	0	0	0	271	52
36	1	0	0	0	0	0	0	0	271	52
37	0	1	0	2	0	0	0	0	271	52
38	1	1	0	2	0	0	0	0	271	52
39	1	1	0	2	0	0	0	0	271	52
40	0	2	0	4	0	0	0	0	271	52
41	2	1	1	2	0	0	0	0	271	52

Список литературы

- Зотова С.В.** Ковровые орнаменты андроновской керамики // Новое в советской археологии. – М.: Наука, 1965. – С. 177–180. – (МИА; № 130).
- Киселев С.В.** Древняя история Южной Сибири. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 635 с.
- Ковтун И.В.** Основы морфологии андроновского орнамента // Изв. Алт. гос. ун-та. Сер.: История, политология. – 2009. – № 4/4 (64/4). – С. 115–124.
- Кузьмина Е.Е.** Гончарное производство у племен андроновской культурной общности (об одном археологическом аспекте проблемы происхождения индоиранцев) // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. – М.: Наука, 1986. – С. 152–182.
- Максименков Г.А.** Андроновская культура на Енисее. – Л.: Наука, 1978. – 190 с.
- Матюшенко В.И.** Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Ч. 3: Андроновская культура на Верхней Оби. – Томск: Том. гос. ун-т, 1973. – 194 с. – (Из истории Сибири; вып. 11).
- Молодин В.И.** Бараба в эпоху бронзы / отв. ред. А.П. Деревянко. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.
- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Иванова Д.П.** Морфологический анализ сосудов эпохи развитой бронзы (первая половина II тыс. до н.э.) лесостепного Прииртышья (по материалам погребальных комплексов Венгеровского микрорайона) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 2 (58). – С. 44–66.
- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьев А.И., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Ненахов Д.А.** Этнокультурные процессы у населения центральной Барабы в эпоху развитой бронзы (по материалам исследования могильника Тартас-1 в 2009 году) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. XV. – С. 337–342.
- Молодин В.И., Новиков А.В., Гришин А.Е.** Результаты последнего года полевых исследований могильника андроновской культуры Старый Тартас-4 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы VI годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. IV. – С. 294–299.
- Молодин В.И., Новиков А.В., Жемерикин Р.В.** Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андроновской историко-культурной общности) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 3. – С. 48–62.
- Молодин В.И., Парцингер Г., Гришин А.Е., Пиецонка Х., Марченко Ж.В., Новикова О.И., Гаркуша Ю.Н., Мыльникова Л.Н., Рыбина Е.В., Чемякина М.А., Шатов А.Г.** Полевые исследования на могильнике Тартас-1 в 2005 году (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 412–417.
- Молодин В.И., Парцингер Г., Гришин А.Е., Пиецонка Х., Новикова О.И., Чемякина М.А., Марченко Ж.В., Гаркуша Ю.Н., Шатов А.Г.** Исследование могильника бронзового века Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2004 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. X, ч. 1. – 2004. С. 358–364.
- Молодин В.И., Парцингер Г., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьев А.И., Наглер А., Дураков И.А., Кобелева Л.С.** Тартас-1. Некоторые итоги полевых исследований // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – Т. XIV. – С. 202–207.
- Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Нестерова М.С., Ненахов Д.А., Ковыршина Ю.Н., Мосечкина Н.Н., Васильева Ю.А.** Археологические исследования могильника Тартас-1 в 2011 году: основные результаты // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2011 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – Т. XVII. – С. 206–210.
- Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Наглер А., Новикова О.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Соловьев А.И., Ненахов Д.А., Ковыршина Ю.Н., Нестерова М.С.** Тартас-1 – открытия 2010 года // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – Т. XVI. – С. 262–266.
- Рудковский И.В.** Континуумное измерение андроновских орнаментов // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2010. – № 1 (12). – С. 76–86.
- Теплоухов С.А.** Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края. (В кратком изложении) // Материалы по этнографии. – Л., 1929. – Т. IV; вып. 2. – С. 41–62.

А.И. Гутков, В.В. Папин, О.А. Федорук

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНДРОНОВСКОЙ КЕРАМИКИ ИЗ МОГИЛЬНИКА РУБЛЕВО VIII

Для андроновских могильников Алтая (и Западной Сибири в целом) керамическая посуда является единственным массовым материалом, присутствующим практически во всех погребениях. В этих условиях она становится особо ценным источником для выявления культурных особенностей древнего населения.

Могильник Рублево VIII на данный момент является одним из наиболее крупных и достаточно изученных некрополей эпохи развитой бронзы Алтая. Он находится в Южной Кулунде, на границе Михайловского и Угловского районов Алтайского края [Кирюшин, Папин, Позднякова, Шамшин, 2004, с. 62–63].

Коллекция андроновской керамики могильника Рублево-VIII на настоящий момент составляет 167 сосудов. Из них 102 обнаружено в погребениях, 65 – в межмогильном пространстве. В могилах, как правило, находился один сосуд (79 погребений), в десяти захоронениях было обнаружено по два сосуда (из них 5 – парные захоронения), в трех – по три сосуда, в одном – четыре сосуда. Десять захоронений не содержали керамики.

Сосуды, обнаруженные в межмогильном пространстве, чаще всего стояли одиночно, иногда по два-три. В одном случае рядом с могилой № 37 было обнаружено семь сосудов. Также в межмогильном пространстве зафиксирован участок, на котором было найдено 17 отдельно стоящих сосудов [Кирюшин, Папин, Позднякова, Шамшин, 2004, с. 73]. Никаких остатков конструкций рядом с ними не было зафиксировано.

Изучение керамической коллекции производилось как по морфологическим, так и по технико-технологическим признакам.

Все сосуды могильника по форме можно разделить на две основные группы: горшки и банки. Сосуды баночных форм составили 55,9 % (92 экз.) керамического комплекса, горшки – 38,9% (65 экз.). В 10 случаях форму определить не удалось из-за крайне фрагментарного состояния сосудов.

Одной из распространенных методик определения размеров сосудов является вычисление их объемов. Достаточно целыми для определения объемов оказалось 147 экз. андроновской коллекции.

В результате проведенной классификации вся совокупность сосудов была разделена нами на четыре группы по размеру: до 1 л – малые, от 1 до 3 л – средние, от 3 до 6 л – большие и более 6 л – очень большие.

На могильнике Рублево VIII малыми оказались 59 сосудов (40,1 %), средними – 70 (47,6 %), большими – 14 (9,5 %) сосудов, очень большими – 4 (2,8 %).

Сопоставление размеров с визуально выделяемыми формами керамики показало, что баночные сосуды в основном укладываются в первые две группы (т.е. малые и средние), в категорию больших попало всего четыре банки. Среди сосудов горшечных форм встречаются экземпляры всех размеров.

Таким образом, предварительная корреляция размеров с визуально выделенными формами по-

казала, что сосуды баночных форм в основном были меньше, чем горшки.

Еще одним важным наблюдением является то, что сосуды из междоельного пространства также в целом имеют меньшие размеры, чем сосуды, обнаруженные в погребениях. Кроме того, сосуды, относящиеся к группе больших и очень больших (т.е. от 3 л и более), находились исключительно в могилах.

Исследование гончарной технологии производилось с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10, как по поверхности, так и в изломах. В ходе исследования были получены данные разной степени информативности по 7 ступеням гончарного производства (отбор исходного сырья, составление формовочных масс, конструирование начина, конструирование полового тела, придание изделиям формы, обработка поверхности, а также инструменты и приемы орнаментации).

На предмет исследования исходного глиняного сырья и формовочных масс были получены данные по 154 сосудам.

При отборе исходного глиняного сырья (ИС) предпочтение явно отдавалось пластичным глинам (143 сосуда – 92,8 %). Среднепластичные глины использовались при изготовлении 4 сосудов (2,6 %). В 140 случаях отмечено применение ожелезненной глины (90,9 %) и лишь 6 сосудов отличались сильной ожелезненностью исходного сырья (3,9 %).

Из илистого глиноподобного сырья (ИГС), содержащего естественную примесь раковины улитки и обычно залегающего на краю водоемов, было изготовлено 8 сосудов (5,2 %).

На ступени подготовки формовочных масс мы имеем 11 рецептов их составления. Ведущими или основными были два рецепта: глина + глина сухая нежелезненная (г. сух. н.) + шамот + органика (61 сосуд – 39,6 %) и глина + глина сух. н. + шамот + навоз (32 сосуда – 20,8 %). В сумме они составляют 60,4% от общего числа сосудов с данными по ФМ (154 сосуда). Следующим по значимости рецептом был глина + шамот + органика (22 сосуда – 14,3 %). Далее следует рецепт глина + шамот + навоз (12 сосудов – 7,8 %). Рецепты глина + глина сух. неж. + шамот + кость + навоз и глина + шамот + кость + органика были представлены каждый по 8 сосудов, что от общего количества сосудов, исследованных на ступени подготовки формовочных масс, составило соответственно по 5,2 % на каждый рецепт.

На оставшиеся пять рецептов (глина + кость + органика; глина + глина сух. неж. + органика; глина + глина сух. неж. + шамот + дресва кварц. + органика; глина + шамот + кость + навоз; глина + глина сух. неж. + навоз) приходится лишь 10 сосудов (6,5 %) (рис. 1, 1, 2).

Лишь в четырех сосудах отсутствовала примесь шамота. В остальных 150 сосудах (97,4 %) шамот всегда присутствовал. Особо стоит вопрос о такой искусственной примеси, как глина нежелезненная (белая), добавлявшаяся в ожелезненную глину в сухом дробленном состоянии. Она находилась в 107 сосудах (69,5 %). И мы здесь имеем реальные факты смешения населения с разными навыками составления рецептов. Подтверждением тому является присутствие в сосудах памятника рецептов без примеси нежелезненной глины: глина + шамот + навоз и глина + шамот + органика, глина + кость + органика, глина + шамот + кость + органика и глина + шамот + кость + навоз. Присутствие в исследуемой керамике такой искусственной добавки, как кость, также является отличительным признаком рецептуры ФМ памятника Рублево VIII. Данная примесь находилась в 20 сосудах (13 %).

Обработка поверхности сосудов является завершающей ступенью в блоке приспособительных навыков, в первую очередь меняющихся в условиях смешения населения с различными навыками изготовления керамики. Для анализа на этой ступени гончарного производства было использовано 167 сосудов. На могильнике Рублево VIII было отмечено заглаживание внутренней и внешней поверхности у 114 сосудов (68,2 %). Обращалось внимание на то, чем производилось заглаживание поверхности. Даже учитывая тот факт, что не всегда можно было однозначно ответить по поводу характера и признаков заглаживания, все-таки удалось в целом определиться с информацией на подвидовом уровне при заглаживании. Выяснилось, что при заглаживании применялись как твердые инструменты, так и мягкие материалы. Причем могло быть и так, что сосуд вначале заглаживался твердым, а затем мягким материалами. В этом случае заглаживание было отнесено к заглаживанию твердыми инструментами. Мягкими материалами заглаживалась поверхность 65 сосудов, а твердыми и плотными инструментами обрабатывалась поверхность 49 сосудов. Из числа сосудов с обработкой поверхности твердыми инструментами выделим группу

сосудов с заглаживанием поверхности зубчатыми инструментами (23 сосуда) (рис. 2, 1–3). По нашему мнению, местные гончары вряд ли соотносили эти инструменты с орнаментами, предназначенными для нанесения рисунков. Эти инструменты, как правило, были короткими, зубцы редко поставлены, часто имеют подокруглую и нечеткую форму, отличаются неглубокой нарезкой зубцов. Правда, надо отметить, что подобные им инструменты все же очень редко, но применялись и при орнаментации. Подобные инструменты встречаются среди такого типа орнаментиров, которые отнесены нами к числу псевдозубчатых.

Отметим также, что при «мягком» заглаживании применялись материалы типа мягкой кожи, изредка тонкие ткани из растительных волокон, не исключается возможность и тонкой шерсти (рис. 2, 4). Небольшая часть сосудов имела лишь пальцевые следы заглаживания.

Ко второй группе относятся сосуды с признаками лощения внешней поверхности (47 сосудов – 28,1 %). Особенностью этой группы сосудов является то обстоятельство, что 41 сосуд из 47 сосудов этой группы (87,2 %) имели следы подлощенности, а не лощения. Здесь под подлощенностью понимается прием лощения по слегка подсушенной, практически еще влажной поверхности (кожетвердого состояния), когда сама поверхность сосуда после лощения имеет матовый оттенок. При этом лощение производится не тщательно и не по всей поверхности сосуда. Классическое лощение осуществляется по уже подсушенной глиняной основе, а поверхность сосуда при этом принимает блестящий вид. Это происходит от того, что при плотном, порой неоднократном заглаживании каменными, реже костяными инструментами микрослюдистые частицы глины самого близкого к внешней поверхности слоя выстраиваются параллельно линии поверхности, затем они настолько уплотняются



Рис. 1, 2 – остатки растительной органики на поверхности сосуда; 3 – спирально-зональный налеп; 4 – двухслойный налеп полога тела сосуда.

при тщательном заглаживании, что начинают отражать падающий на него свет.

Всего лишь четыре сосуда (2,4 %) имели следы замытости (легкого заглаживания мягким влажным материалом) и слабые статические следы этого же мягкого материала. Они отнесены к разряду неопределенных.

Еще два сосуда (1,8 %) относились к грунтовочному направлению в обработке поверхностей сосудов. Эти сосуды из ожелезненной глины были покрыты тонким жидким слоем нежелезненной глины (ангоб). Он принципиально отличается от способов безгрунтовочного (механического) направления в обработке поверхности (загла-

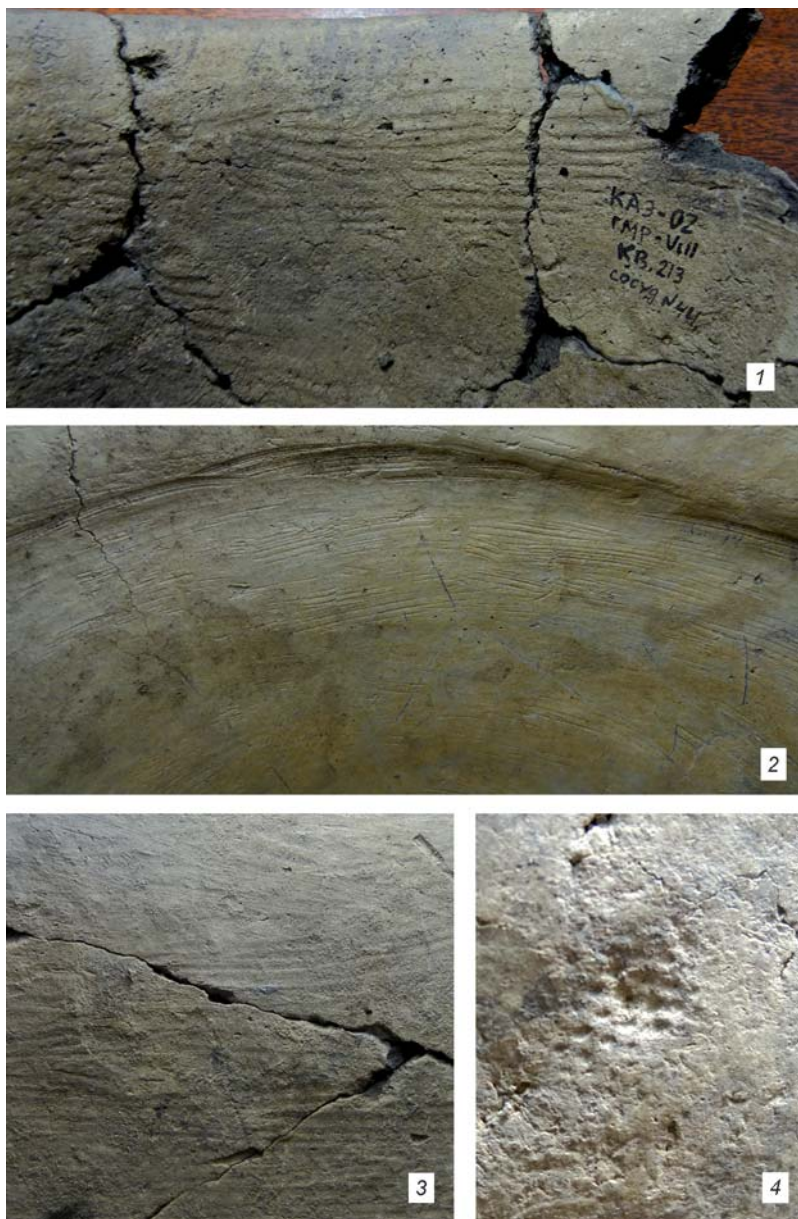


Рис. 2. 1–3 – заглаживание поверхности зубчатым инструментом;
4 – отпечаток растительной ткани на внешней стороне сосуда.

живания и лощения). Хотя после ангобирования поверхность этих двух сосудов также была заглажена, что свидетельствует в пользу смешения различных культурных традиций на этой ступени технологии.

На ступени конструирования полого тела (емкости сосуда) было исследовано 128 сосудов (100 %). При конструировании полого тела применялись два приема: спирально-зональный лоскутный (6 сосудов – 4,6 %) и спирально-лоскутный (121 сосуд – 94,5 %) (см. рис. 1, 3). Еще один

сосуд был создан с помощью лоскутного комковатого (бессистемного) налета (1 сосуд – 0,8 %). Этот факт, по всей вероятности, относится к числу случайностей и отражает, по-видимому, процесс начального обучения азам гончарного производства. Этим способом был изготовлен небольшой сосудик-баночка без орнаментации.

На подвидовом уровне конструирования полого тела сосудов удалось выявить его особенности у 112 сосудов. Так, при спирально-лоскутном налете полое тело 69 сосудов (61,6 %) были созданы в один слой лоскутов. В два слоя лоскутов сконструированы полые тела 43 сосудов (38,4 %) (рис. 1, 4). Из шести сосудов, изготовленных спирально-зональным лоскутным способом, 3 сосуда были из двух слоев лоскутов, а остальные три сосуда – из одного слоя лоскутов.

С точки зрения консервации знаний о предшествующей истории самой ценной является информация по конструированию начина. Начин представляет собой первоначальную непрерывную операцию создания сосуда. В течение нескольких поколений (по крайней мере, трех-четырех) даже в условиях постоянного и активного смешения носителей различных навыков глубинная информация о программах конструирования начина и их подвидах особенностей в предшест-

вующий период может сохраняться в основных своих параметрах [Бобринский, 1978, с.129].

Программа конструирования начина могильника Рублево VIII была доступна для определения на 87 сосудах (100 %) могильника Рублево VIII. На всех из них была определена емкостная программа конструирования начина спиралевидным лоскутным налетом. Различия выявляются на подвидовом уровне, где возможно было сделать определения на 78 сосудах. Начины 46 сосудов (58,9 %) были сконструированы в два слоя лоску-

тов. Остальные 32 сосуда имели условно однослойную (монолитную) структуру начина (41,1 %). Условно, потому что только небольшая часть сосудов была четко сделана из одного слоя лоскутов. А 23 сосуда из 32 имели многослойные лоскутные начини без выделения слоев. Поэтому они были названы условно монолитными или однослойными. Многослойность начина возникала в результате сильного накладывания (натягивания) лоскутов друг на друга. Все это предположительно можно отнести за счет сильной традиции предшествующего времени конструирования начинов по емкостной программе именно в два слоя лоскутов. Многослойность и указывает нам косвенно об этой двуслойной традиции изготовления начина. И лишь 9 сосудов (28,2 %) были сконструированы четко в один слой лоскутов.

В блоке ступеней с субстратными (наиболее консервативными для изменений) навыками конструирования заключительной стадией является формообразование сосудов. В этот блок включены изготовление начина, конструирование полого тела и придание формы сосудам.

Была получена возможность выявления приемов формообразования на 123 сосудах. У 110 сосудов обнаружены признаки приемов придания формы сосудам с помощью форм-емкостей (89,4 %). По предварительным данным их можно отнести к кожаным формам – емкостям. Часть сосудов была изготовлена методом скульптурной лепки из лоскутов без применения каких-либо форм (13 сосудов – 10,6 %).

На седьмой, необязательной к исполнению, ступени гончарного производства, к которой относятся инструменты и приемы орнаментации, была выявлена следующая картина. Из 167 сосудов на 41 гончарном изделии (24,5 %) вообще отсутствовала орнаментация. Такой показатель относится к числу характерных для данной коллекции.



Рис. 3. 1, 2 – желобок; 3–5 – каннелюры; 6, 8, 9 – прочерчивание палочкой; 7 – прочерчивание зубчатым штампом.

Таким образом, для определения видов орнаментальных инструментов и приемов нанесения орнамента была представлена коллекция из 126 сосудов (100 %).

Среди ведущих приемов нанесения рисунка были гладкий (45 сосудов – 35,7 %) и зубчатый (41 сосуд – 32,5 %) штампы. Далее следуют желобок (35 сосудов – 27,7 %), каннелюра (28 сосудов – 22,2 %) и вдавления краем инструмента (29 сосудов – 23 %) (рис. 3, 1–5), прочерчивание – 20 сосудов (15,8 %) (рис. 3, 6–9). Несколько необычной для андроновской керамики видится доля сосудов с орнаментацией шагающим (зубчатым и гладким) инструментом (16 сосудов – 12,7 %). Пять сосудов

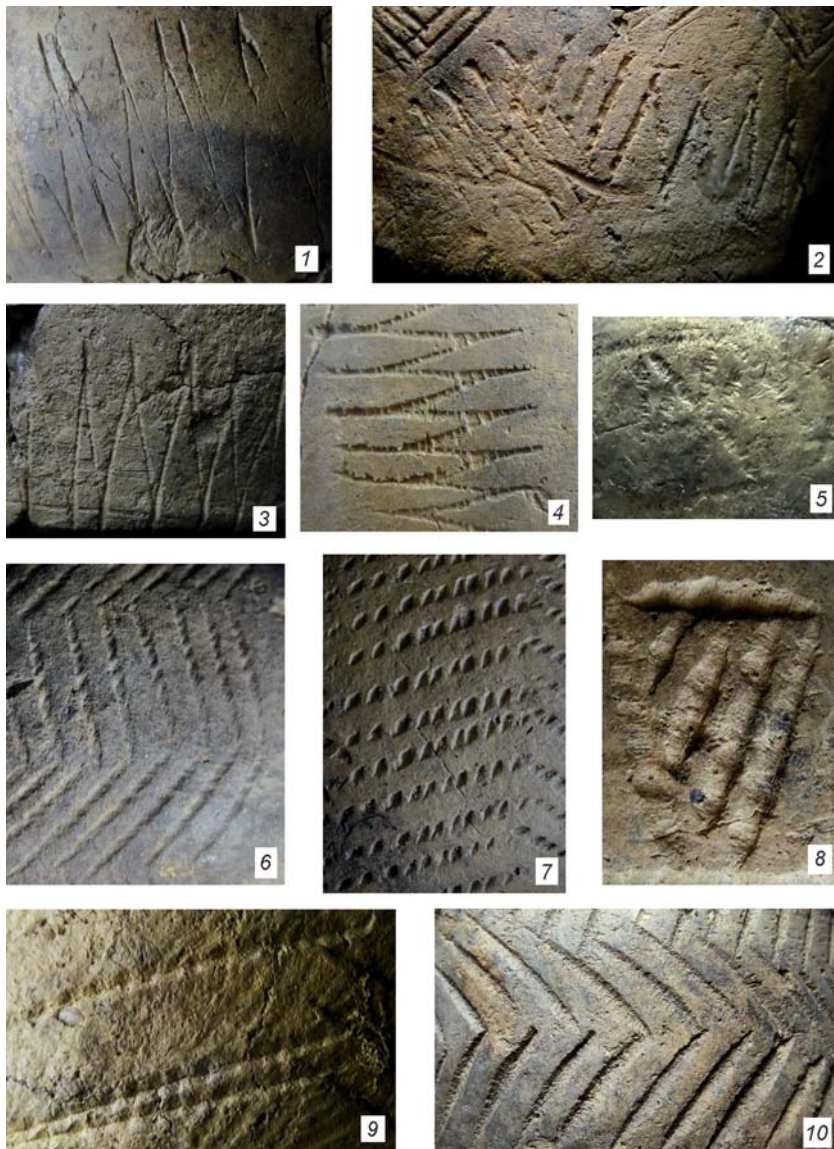


Рис. 4. 1 – гладкий «шагающий» штамп; 2 – совмещение гладкого и зубчатого «шагающего» штампа; 3, 4 – гребенчатый «шагающий» штамп; 5 – зубчатый штамп с поперечно расположенными зубцами; 6, 7 – ложношнуровой штамп; 8–10 – псевдозубчатый штамп.

было с «псевдозубчатой» орнаментацией (3,9 %) (рис. 4, 8–10). Два сосуда было орнаментировано «ложношнуровым» штампом (1,6 %) (рис. 4, 6, 7).

Отметим еще несколько особенностей рассматриваемого керамического комплекса. Например, заострим внимание на таком декоративном приеме, как нанесение желобков (см. рис. 3, 1, 2). Ширина желобка составляла главным образом от 1 до 2 см, а в некоторых случаях и больше. Такая сильная позиция этого приема отмечается обычно в гончарных традициях петровского населения Южного Урала и Северного Казахстана.

При детальном рассмотрении особенностей исполнения приема шагающего штампа было выяснено, что для его нанесения использовались гладкий штамп на 8 сосудах, а на 9 сосудах – зубчатый (рис. 4, 1–4). Это явное свидетельство смешения традиций. Причем на одном сосуде орнаментация зубчататым и гладким шагающими штампами была совмещена. На этом сосуде шагающей гребенкой показан четкий и аккуратный короткий образец, а гладким шагающим инструментом продолжена линия рисунка (рис. 4, 2). Еще на двух сосудах из числа орнаментированных шагающей гребенкой рисунок был выполнен псевдозубчатыми инструментами, отдаленно напоминающими образцы классической зубчатой орнаментации.

Из 41 сосуда с зубчатой орнаментацией мелкозубчатым штампом было орнаментировано 22 глиняных изделий (53,6 %). Среднезубчатая орнаментация присутствовала на 13 сосудах (21,9 %). Еще три сосуда было орнаментировано штампом с продольными зубцами (7,3 %). Два сосуда имели следы орнамента штампом с поперечным расположением зубцов (4,9 %) (рис. 4, 5). Возможно, данный факт иллюстрирует процесс смешения носителей различных

приемов орнаментации.

Среди гладких инструментов преобладала орнаментация средними штампами (29 сосудов – 64,4 %) и тонкими (15 сосудов – 33,3 %). И лишь один сосуд был орнаментирован крупным гладким штампом (2,2 %).

Для характеристики орнаментальной композиции комплекса все сосуды были разбиты на группы в соответствии с вариантами ее построения. Поскольку именно композиции в андроновском орнаментальном комплексе принадлежала структурообразующая функция [Ков-

тун, 2009, с. 123], В.В. Бобров и Ю.И. Михайлов на основе анализа андроновских сосудов юга Западной Сибири и Казахстана выделяют три варианта построения композиции [1989, с. 68–69]. Однако в своей работе исследователи учитывали лишь сосуды горшковидных форм. И.В. Ковтун в своей работе развил и усложнил классификацию В.В. Боброва и Ю.И. Михайлова, добавив композиции, встречающиеся на банках [Ковтун, 2009, с. 123–124]. Всего им было выделено девять вариантов построения композиции. Мы в своей работе будем опираться на схему, предложенную И.В. Ковтуном, объединив некоторые варианты.

Всего нами выделено пять типов композиции.

I. Сосуды с одним мотивом, без зональной разбивки (моносюжетные). Они составляют 35,3 % от всех орнаментированных сосудов.

II. Сосуды с двухзональной разбивкой, без треугольников по венчику – 23,5 %.

III. Сосуды с трехзональной разбивкой и тремя или более различными мотивами, без треугольников по венчику – 16 %.

IV. Сосуды с цепочкой треугольников по венчику, трехзональной разбивкой и двумя или более различными мотивами – 15,1 %.

V. Сосуды с цепочкой треугольников по венчику и двухзональной разбивкой – 10,1 %.

Проведенное исследование андроновской коллекции керамики могильника Рублево VIII на данном этапе позволяет подвести некоторые итоги и приступить к предварительным выводам и комментариям.

Население изучаемого памятника на ступени отбора исходного сырья предпочитало пластичную ожелезненную глину. Использование илистого глиноподобного сырья в небольшом количестве свидетельствует о былом смешении носителей различных культурных традиций и представляет на момент существования указанного памятника уже затухающую тенденцию. Использование двух основных рецептов формовочных масс – глина + глина сух. н. + шамот + органика и глина + глина сух. н. + шамот + навоз говорит о достижении на этой ступени достаточного уровня монолитности навыков подготовки ФМ. Добавки шамота и глины сухой нежелезненной становятся уже непереносимыми не только в основных, но и во второстепенных рецептах. Как и на ступени ИС, здесь мы имеем дело с ведущими культурными традициями, а также наряду

с ними и с навыками предшествующей эпохи. К таким фактам относится присутствие на памятнике сложных и более простых (условно чистых) рецептов составления ФМ. Те же самые признаки смешения культурных традиций предшествующей истории данного памятника эпохи, что и на ступени ИС. Более простые рецепты типа глина + шамот + органика и глина + шамот + навоз относились к основным, скорее всего, в предшествующий период. В материалах изучаемого памятника они остаются реперами (указателями) более ранних процессов смешения различных навыков и приемов составления ФМ. Неожелезненная глина там, как и в данных материалах, использовалась в сухом состоянии. К предшествующей эпохе относится также применение добавки кости в глиняное тесто сосудов. Причем добавка кости (в небольшой части рецептов она была кальцинирована) в обоих случаях была в небольших количествах и невысокой концентрации и имела, видимо, ритуально-сакральный характер.

При корреляции сосудов, изготовленных из разных ФМ, с погребальным обрядом выявить каких-либо закономерностей не удалось.

Например, в погребениях, содержащих кремнированные останки (11 из 103), были установлены сосуды, изготовленные по одному из ведущих на могильнике рецептов: глина + глина сух. н. + шамот + навоз. Что, в свою очередь, может указывать на однородность населения, совершавшего захоронения по обряду кремации и ингумации. С другой стороны, два сосуда, в составе теста которых была обнаружена нехарактерная для данного памятника примесь – дресва, находились в соседних погребениях. В обоих были захоронены молодые женщины.

При рассмотрении погребений, в которых присутствовало несколько сосудов, выяснилось, что керамика, как правило, была изготовлена из различных формовочных масс. Чаще всего встречается сочетание сосудов с «чистыми» и более сложными рецептами. Лишь в одном случае, в могиле № 45, все сосуды были изготовлены по одному рецепту. В могиле № 17 один из сосудов был изготовлен из илистого глиноподобного сырья, остальные (3 экз.) – из ожелезненной пластинчатой глины. Таким образом, подобные сосуды, скорее всего, изготавливались разными мастерами (семьями, родами) [Волкова, 1998, с. 143].

На ступени обработки поверхности сосудов население исследуемого памятника придерживалось навыков заглаживания. Доля второстепенного навыка обработки поверхности (лощения) была значительно меньше, чем заглаживание (28,1 %).

В конструировании начина запечатлена наиболее ранняя история о состоянии навыков его создания населением, оставившем памятник Рублево VIII. На уровне самой программы конструирования начина мы имеем практически однородное состояние навыков (емкостная программа). Согласно исследованиям В.Г. Ломана, емкостные начини являются характерным признаком федоровского населения [1993].

Подвидовые особенности программы конструирования состоят в том, что большая часть начинов (55,6 %) была создана в два слоя лоскутов. То есть, на подвидовом уровне создания керамики все еще сохранились те приоритеты, которые имели место в предшествующий период.

Сам по себе этот факт ни о чем не говорит, если не учитывать одно обстоятельство. Оно заключается в том, что в предшествующий синташтинско-аркаимский период конструирование начина и полого тела сосудов в преобладающем своем большинстве было именно в два слоя лоскутов. Это была основная культурная традиция на подвидовом уровне. И лишь на позднем этапе Синташты и Аркаима мы имеем факт перехода на однослойную структуру лоскутного налепа и начина, и полого тела сосудов. Причем на ступени конструирования полого тела это происходит раньше, чем на ступени создания начина. В принципе что мы и имеем в данный момент на ступени конструирования полого тела андроновских сосудов могильника Рублево VIII.

Еще достаточно сильные позиции предшествующих традиций конструирования начина мы видим в том, что, если и сохраняется внешняя однослойная монолитность сосудов с однослойной структурой лоскутного налепа, то все-таки в группе однослойных начинов она представлена главным образом начинами с многослойным характером лоскутного налепа без выделения каких-либо слоев, что связывается с предшествующими культурными традициями, хотя и в принципиально преобразованном виде.

На ступени формообразования проявляется уже единственный прием придания формы. Это использование форм-емкостей, изготовленных

с помощью кожаных материалов. Характер конструирования емкостного начина андроновских сосудов могильника Рублево VIII дает нам возможность предполагать примерный вид таких форм-емкостей. Скорее всего, они имели незаконченный вид, то есть внешней формой напоминали усеченный конус. Дно как таковое в данном приспособлении отсутствовало. Глиняное днище долепливалось уже позднее, видимо, после снятия самой формы-емкости, и затем скреплялось со стенками сосуда, выведенными в форме-емкости. Именно поэтому на внешней поверхности днищ прослеживаются характерные «ободки» разной ширины (рис. 5, 1–6). Если бы такие формы имели сшивное дно, мы в любом случае должны были бы обнаружить следы швов. Хотя бы в нескольких случаях, учитывая необходимость заглаживания поверхности сосудов. Однако на практике они отсутствуют. Нет даже следов вертикального шва, который должен был быть на самой форме-емкости. Поэтому можно также предполагать использование в качестве кожаных форм-емкостей выделанные кожи тушек небольших животных. Все эти предположения до накопления соответствующей информации принимаются в качестве рабочей гипотезы. Вполне возможно, что для этого потребуются и дополнительные экспериментальные работы.

При характеристике инструментов и приемов орнаментации в первую очередь обращает на себя внимание высокая доля неорнаментированных сосудов (24,5 %). Такое соотношение орнаментированных и неорнаментированных сосудов больше является свойством алакульского керамического комплекса.

Соотношение двух групп керамики с зубчатой орнаментацией (32,5 %) и нанесением орнамента гладким штампом (35,7 %) характеризует картину примерно такого же количественного распределения приемов нанесения орнамента, что и в керамике алакульских памятников Южного Зауралья.

Прием нанесения желобков на андроновские сосуды изучаемого памятника был использован на 35 сосудах (27,7 %). В данном случае желобки играли роль подражания каннелюрам, которых тоже достаточно на «рублевской» андроновской посуде (20,7 %). Каннелюры являются неотъемлемой частью федоровской керамики. Однако присутствие желобков здесь тоже не случайно, они восходят к раннеалакульскому (петровскому) этапу эво-

люции андроновской керамики. В синташтинских материалах мы видим зарождение этого приема, использованного для подражания классической каннелированной синташтинской посуде.

Прием прочерчивания нескольких отдельных горизонтальных линий краем инструмента представляет собой разновидность подражания горизонтальному прочерчиванию коротким зубчатым штампом (см. рис. 3, 8, 9). Этот прием отдельного прочерчивания нескольких линий обычно применяли алакульские гончарные мастера. Как, впрочем, и прием прочерчивания коротким зубчатым штампом (рис. 3, 7). На «рублевской» керамике отмечено 15,8 % сосудов с подобным приемом нанесения рисунка. Кстати, сам прием прочерчивания зубчатым штампом возник из традиции заглаживания поверхности сосудов короткими инструментами с редкоставленными обычно зубцами.

Кроме того, использование приема вдавлений краем (пяткой) инструмента на сосудах данного памятника (23 %) в целом дополняет картину алакульского набора инструментов и приемов нанесения орнамента.

Отметим своеобразие приема шагающего штампа на сосудах могильника Рублево VIII. Оно заключается в том, что этот прием наносился на поверхность сосудов не только обычным зубчатым, но и просто гладким тонким инструментом. В этом видится еще один пример подражания, который характерен для алакульской традиции.

Что касается орнаментальных композиций, то, по мнению В.В. Боброва и Ю.И. Михайлова, сосуды с трехзональной разбивкой и цепочкой треугольников по венчику являлись традиционным для федоровских могильников и данный вариант выступал в качестве композиционного канона. Удельный вес «канонического» варианта по дан-



Рис. 5. 1–6 – «ободки» на дне сосуда.

ным И.В. Ковтуна составлял в среднем до 37–38 % на памятниках по всему андроновскому ареалу [Ковтун, 2009, с.123]. Таким образом, могильник Рублево VIII несколько выделяется на общем фоне, так как сосудов с данным видом композиционных построений здесь насчитывается только 15,1 %. Однако такая ситуация может объясняться преобладанием на памятнике сосудов баночных форм, а для них характерны более простые композиционные построения.

В целом, характер инструментария и приемов орнаментации значительной части керамики могильника Рублево VIII находит аналогии в алакульской манере орнаментации. Однако это

довольно трудно сказать относительно типологического и технико-технологического определения андроновской посуды этого памятника. Термин «андроновская» как нельзя лучше указывает на отсутствие определенности в этом вопросе. Если в Южном Зауралье алакульские и федоровские памятники все же более явно определяются как таковые, то андроновские памятники восточнее (Казахстан и особенно Алтай) включают в себя уже более конгломератные керамические комплексы. На наш взгляд, на примере керамического комплекса могильника Рублево VIII можно говорить об одновременном присутствии на памятнике таких типов керамики, как федоровская, бишкульская (федоровская слабопрофилированная горшечная форма и алакульская орнаментация) и небольшая группа керамики, напоминающая алакульскую. Еще одна группа керамики по наличию желобков близка к петровской керамике Южного Урала и Северного Казахстана.

В целом можно определить, что керамический комплекс андроновской культурной традиции

грунтового могильника Рублево VIII, по-видимому, федоровский по технологии, но с алакульскими признаками в орнаментировании.

Список литературы

- Бобринский А.А.** Гончарство Восточной Европы. – М., 1978.
- Бобров В.В., Михайлов Ю.И.** Андроновские памятники Обь-Чулымского междуречья. – Кемерово, 1989. – (Деп. в ИНИОН, 26.06.89, № 38518).
- Волкова Е.В.** Древняя глиняная посуда, изготовленная одним мастером (методика выделения и анализ) // Тверской археологический сборник. – 1998. – Вып. 3. – С. 135–146.
- Киришин Ю.Ф., Папин Д.В., Позднякова О.А., Шамшин А.Б.** Погребальный обряд древнего населения Кулундинской степи в эпоху бронзы // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. – Барнаул, 2004. – С. 62–85.
- Ковтун И.В.** Основы морфологии андроновского орнамента // Изв. АГУ. – Барнаул, 2009. – Т. 4; вып. 4 (64). – С. 115–124.
- Ломан В.Г.** Гончарная технология населения Центрального Казахстана второй половины II тысячелетия до н.э.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1993.

**СРЕДНЯЯ АЗИЯ, БАКТРИЯ И ИНДОСТАН
В ЭПОХУ БРОНЗЫ**



ИНДИЯ И СТРАНА МАРГУШ. «ЦАРСКОЕ СВАТИЛИЩЕ» СЕВЕРНОГО ГОНУРА

После раскопок Храма Огня Маргианская археологическая экспедиция приступила к работам на территории, расположенной к северо-западу от кремлевской стены. Как оказалось, здесь частично сохранилась северная оборонительная стена каре с обрывками помещений, где мог проживать бывшей гарнизон, охранявший первую линию обороны кремля. Среди руин зданий резко выделяется один обособленный архитектурный комплекс помещений, условно названный нами «Царским святилищем». Комплекс состоит из обширных помещений (№ 115, 129–138). Особый интерес представляет собой центральное помещение № 115. Оно прямоугольное. Внутри комнаты имеется еще одно сооружение, напоминающее своего рода «киоск» или «павильон» без стен, а лишь с угловыми устоями, которые соединены между собой очень низкими (высотой в два кирпича) «порогами». Эти своеобразные «соединительные пороги», расположенные между угловыми «устоями», повторяют такие же «пороги» в аудиенц-зале дворца Гонура и в пом. № 175 рядом с «дворцовой домашней часовней» [Сарианиди, 2000]. Все помещения такого «киоска» или «павильона» соединены между собой проходами, а сами стены вышеназванных комнат украшены внутри «слепыми окнами», что бесспорно указывает на их культово-религиозное назначение.

Кроме того, в помещениях данного «павильона» или «киоска» сохранились культовые двухкамерные печи, но не с перегородкой внутри, а с так называемым «уступом». То есть топчанная камера, где разводили огонь, отделялась от «духовки», куда предположительно помещались кровавые жертвоприношения, не перегородкой с валиком,

а устройством специального «уступа»: дно топки находилось значительно ниже уровня плоскости «духовки». Причем топили эти внутрстенные печи не дровами, а, скорее всего, специальной пахучей травой, в том числе, возможно, и ароматической.

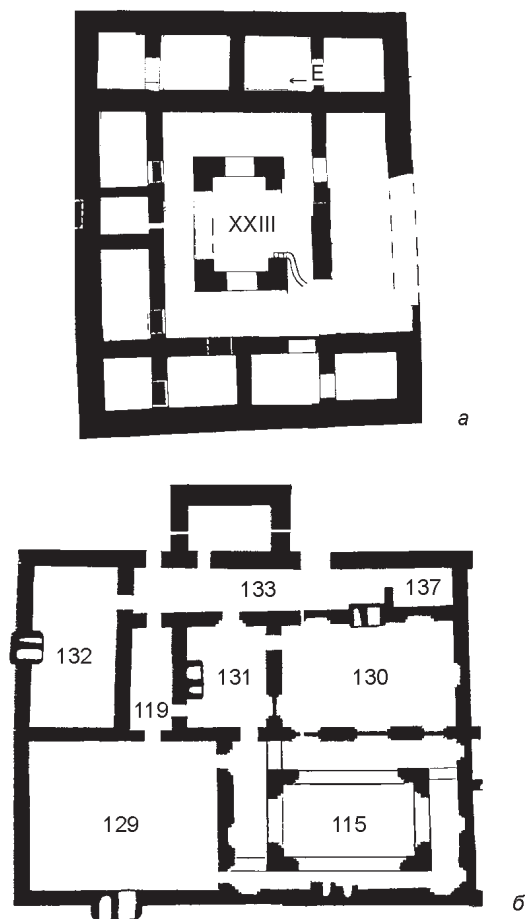
«Царское святилище» состоит из семи обширных помещений, рассмотрение которых начнем с северной стороны (см. *рисунок*). Помещение I представляет собой прямоугольную боевую башню, которая принадлежит одновременно северной стене каре. Непосредственно за этой комнатой-башней располагается длинное, довольно узкое двойное помещение, вытянутое с востока на запад вдоль северного фаса каре (помещения № 137, 133). В северной стене пом. 133 имеется три прохода: два выхода ведут наружу, а один – в помещение, образованное упомянутой башней в каре стен, окружающем храмы за пределами кремля. В западном углу этого помещения расположено еще два прохода, ведущие соответственно в пом. № 132 и в узкое помещение № 119 типа тамбура.

Помещение № 132 достаточно обширное с двойной культовой печью с «уступом». Оно располагается точно посередине западной стены, и именно в печи этого помещения горела предположительно ароматическая трава. Вторую линию помещений образуют пом. № 131 с культовой двойной печью в западной стене и с четырьмя проходами в каждой стене. Это центровое помещение под № 131 с четырьмя проходами в смежные комнаты могло занимать главное место в данном архитектурном комплексе, т.к. вокруг него группируются все остальные комнаты. На это может

указывать центральный проход в северной стене, украшенный раскрепованными углами. Проход в восточной стороне пом. № 131 ведет в соседнее большое прямоугольное пом. № 130 с шестью «слепыми окнами», с бесспорностью указывающих на его главное назначение, но точно судить об этом пока затруднительно. Южный ряд помещений (№ 129 и 115) включает две чрезвычайно большие комнаты: одну скромную по внутреннему убранству (№ 129), а вторая (пом. № 115), как уже было отмечено выше, содержит конструкцию типа «киоска». Проходы, устроенные в западной стене пом. № 115 этой комнаты и ведущие в пом. № 129, первоначально отсутствовали. Здесь, лицом в пом. № 115, находились «слепые окна». Лишь много позднее они были разрушены и на их месте были устроены проходы, позволяющие попасть в пом. № 129 с запада. Еще позднее проход, расположенный южнее (а, возможно, и второй – северный), были превращены в очаги, на что указывают большие зольные прослой и следы обожжения в этих местах.

Большое пом. № 115 имело сходную планировку с пом. № 130: в каждом из них имеется одна культовая двухкамерная печь, фланкированная с обеих сторон парой «слепых окон» – прием, хорошо известный в Храме Огня (помещения № 70 и № 100). Видимо, в этих сходных помещениях проходили главные культовые церемонии с тем лишь отличием, что в середине пом. № 115 была встроена комната без боковых стен, имевшая первостепенное значение, а в пом. № 130 такого архитектурного сооружения нет. Таким образом, создается впечатление, что обе эти комнаты, № 115 и 130, занимали главное место в системе всего «Царского Святилища» и были основными в ритуалах. Остальные комнаты комплекса могли выполнять функцию подсобных помещений.

Кратко остановимся на таком архитектурном элементе, как «слепые окна». Хотя их назначение до сих пор не выяснено, думается, что именно в помещениях, украшенных ими, проходили наиболее важные культовые ритуалы древних жителей Маргианы и Бактрии. На Гонур-депе они находятся, кроме описываемого «Царского святилища», в помещениях № 70 и 100 в Храме Огня Гонура, в ряде парадных залов дворца Гонура. В ряде случаев «слепые окна» фланкируют по обеим сторонам культовые двухкамерные печи, что с бесспорностью свидетельствует об их функциональном



План помещения XXIII квартала НР в Мохенджо-Даро (а) (по: [Marshall, 1931]) и «царского святилища» Северного Гонура (б).

назначении. Думается, такие «слепые окна» могли играть роль и своеобразных греческих эпифаний, где происходило явление богов. Самые ранние «слепые окна» известны в северной Месопотамии в IV тысячелетии до н.э. (Тепе Гавра). Оттуда они, через иранский Годин Тепе, попали в Бактрию и особенно в Маргиану.

Помещение № 132, видимо, служило для сохранения культового инструментария, в том числе сосудов для возлияния тонизирующего сока Сома-Хаома. Находки, сделанные во всем «Царском святилище», немногочисленны. В комнате № 132, прямо на полу были встречены крупные фрагменты от одного культового сосуда со сливами, оформленные в виде налечных рогатых бычьих голов, напоминающих аналогичные сосуды, распространенные в бронзовом веке в Анатолии. Здесь же находилась прямоугольная «игральная доска» (она представляла собой когда-то деревян-

ную доску с инкрустацией из слоновой кости в виде решетки), три «палочки для игры», выточенные также из слоновой кости с нанесенными на них однотипными нарезными рисунками в виде кружков на трех гранях и крестовидных знаков, чередующихся с прямыми черточками, – на четвертой грани, точно того же типа, что и встреченные три «палочки» в пом. № 115. Показательно, что все такие «игральные палочки» имеют следы очень сильной стертости от пальцев, так что их концы имеют уже не квадратную, а округлую форму. Показательно, что такую же округлую форму имеют палочки, найденные на памятниках хараппской культуры Индийского субконтинента, где они определяются как «гадательные палочки» [Marshall, 1931, p. 556].

Несомненно, исключительного интереса заслуживает находившаяся на полу того же пом. № 132 нижняя часть стеатитовой статуэтки, изображающая сидящего коленопреклоненного человека, левая колено которого приподнято вверх. Колено сверху охватывает ладонь левой же руки. Хотя верхняя часть статуэтки не сохранилась, по общей иконографической позе она достаточно близко напоминает сидящие в аналогичной позе каменные статуэтки, происходящие из долины Инда. Характерным признаком всех таких статуэток является их общая коленопреклоненная поза и выступающее вверх колено левой ноги, которое охватывает сверху ладонь.

Уже Г. Поссел выделил среди материалов Мохенджо-Даро семь (что весьма показательно) принципиально важных статуэток, одна из которых названа им как «сидящий человек», общая коленопреклоненная поза которых (с выступающим вверх коленом) близко напоминает статуэтку из «киоска» Гонура. Статуэтка под условным названием «сидящий человек» происходит из поздних слоев Мохенджо-Даро и была изучена Г. Посселом, который поставил вопрос: кого изображают такие однотипные статуэтки, иконография которых до деталей повторяют друг друга – богов или молящихся? [Possehl, 2002, p. 117]. Хотя окончательного ответа мы не имеем до сих пор, из всех возможных вариантов мне наиболее вероятным представляется, что, скорее всего, они изображают собой именно молящихся.

А. Арделеану-Янсен к «сидящим статуэткам» вполне справедливо отнесла и известную индийскую каменную статуэтку так называемого «царя-жреца» (также происходящую из поздних сло-

ев хараппской культуры). К тому же, она первая обратила внимание на его одевание в виде плаща, переброшенного через левое плечо – характерное одевание бактрийцев, изображенное не раз на сосудах, происходящих из разграбленных могил Бактрии. И хотя общепризнано местное, хараппское происхождение этих статуэток, Арделеану-Янсен первая не только предложила включить в данную группу известную статуэтку «царя-жреца» [Ardeleanu-Jansen, 1991], но и выдвинула смелую гипотезу об их бактрийском происхождении. Эта идея была поддержана Г. Посселом [Possehl, 2002, p. 117, fig. 6, 8], тонко подметившим, что на том же серебряном бактрийском сосуде, но во втором нижнем регистре, в сцене пахоты изображены не горбатые зебувидные животные индийской породы, а *Boss Taurus*, что лишний раз подтверждает общее западное происхождение таких изображений (более подробно см.: [Possehl, 2002, p. 117, 233]). Как видим, есть все основания включить в эту группу и гонурскую коленопреклоненную статуэтку, иконографическая поза которой аналогична рассматриваемым индийским статуэткам.

Со своей стороны отметим, что коленопреклоненные фигуры, правда, не реальных людей, а птице-людей, имеются в бактрийско-маргианской глиптике и сфрагистике. У всех них одно колено всегда приподнято относительно другой согнутой ноги (см., напр.: [Sarianidi, 1998, № 57, 1 и 1785, 1]), которые могут в конечном счете восходить к «духам-гениям» сиро-хеттской глиптики и сфрагистики [Shaeffer-Fotter, 1983, PL. 13, 14, 16], где они нередко также крылатые и птицеголовые [Ibid., p. 67, 120] и достаточно близко напоминают бактрийско-маргианские изображения. Наконец, трилистники, украшающие одеяния «жреца-царя», встречены были и в Бактрии при раскопках предполагаемого дворца [Сарианиди, 1977], а также в Маргиане, причем было высказано предположение об их возможно египетском происхождении (А. Парпола).

В результате специально проведенного исследования С. Винкельман пришла к выводу, что все такие коленопреклоненные фигуры встречены были исключительно в поздних слоях Мохенджо-Даро, относящимся ко второй половине – концу III тысячелетия до н.э., что соответствует появлению переднеазиатских племен в Бактрии и Маргиане. Всех их объединяет общая, описанная выше, иконографическая поза [Winkellmann, 1994, p. 815–816]. Она справедливо отметила, что

хотя общие черты отмечаются и на предметах из Месопотамии, но несравненно больше «сидящие статуэтки» известны в Сузиане и в Восточном Иране, где они существуют уже в IV–II тыс. до н.э. Как теперь становится очевидным, Маргиана и Бактрия маркируют промежуточный пункт на пути распространения подобных персонажей из переднеазиатского мира через Элам и восточный Иран и далее через Бактрию и Маргиану в долину Инда, что имеет принципиальное значение в вопросе о «конце» хараппской культуры и проливает новый свет на старую проблему. В этой связи С. Винкельман прямо замечает: «...Кветта дает нам очень важные свидетельства о приходе бактрийского пластического искусства в область Индийской цивилизации» [Ibid., p. 822]. К этому можно добавить находку медно-бронзовых «светильников» и алебастровых сосудов в царских погребениях Гонура, прямо копирующих аналогичные, найденные в последнее время как в Бактрии и Маргиане, так и в Кветте [Possehl, 2002, Fig. 12, 38]. В заключение своего исследования С. Винкельман приходит к выводу, что уже с конца IV тыс. до н.э. в Южном Иране на печатях и амулетах появляются изображения со скорченными ногами, которые затем во второй половине III тыс. до н.э. достигают Бактрии (а также Маргианы – В.С.). В конце этого тысячелетия такие коленопреклоненные изображения с подогнутыми под себя ногами и выдвинутым вверх коленом появляются также и на Индийском субконтиненте. В целом эта новая теория А. Арделеану-Янсена, поддержанная Г. Посселом и С. Винкельманом, находит свое подтверждение в новейших материалах Маргианы, которые дали дополнительные доказательства культурных и торговых связей между Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом (БМАК) и позднехараппской цивилизацией долины Инда. Правда, С. Винкельман не усматривает «прямых связей» между этими культурными общностями, в то время как А. Арделеану-Янсен и особенно Г. Поссел на основании имеющихся данных и наблюдений независимым путем приходят к общему и вполне справедливому, с моей точки зрения, выводу, что рассматриваемые каменные коленопреклоненные фигурки отражают присутствие «...бактрийцев в Мохенджо-Даро в поздний период» [Possehl, 2002, p. 117]. Он подчеркивает, «что материал БМАК в Мохенджо-Даро обильный» [Ibid., p. 232].

Возвращаясь к статуэтке «сидящего человека» из Мохенджо-Даро, отметим вполне справедли-

вое мнение Г. Поссела, что одежды фигуры напоминают собой «...бактрийские одеяния, самих бактрийцев» [Ibid, p. 233]. Он также полностью согласен с мнением, что «царь-жрец» соответствует фигуркам типа «сидящий человек». Особенно важно отметить, что как все подобные фигурки происходят из поздних слоев хараппской культуры, так и то, что другой «материал БМАК в Мохенджо-Даро, по крайней мере там где он документируется, относится к поздним слоям этого памятника», что хорошо согласуется с хронологией, принятой для БМАК. Автор считает, что в 2000 г. до н.э. БМАК появляется в Маргиане и, возможно, в долине Инда, что соответствует запустению таких городов, как Хараппа и Мохенджо-Даро. В дохараппский период коленопреклоненные статуэтки пока неизвестны. Возможно, они действительно могут восходить к сиро-хеттским прототипам, о чем уже было сказано выше.

Г. Поссел совершенно справедливо допускает «...проникновение народа БМАК на индийский субконтинент» [Ibid., p. 231]. Если только находки таких коленопреклоненных статуэток в поздних слоях хараппской цивилизации не случайны, то они в общей форме совпадают по времени с появлением пришлых племен в Средней Азии и, в частности, в Бактрии и Маргиане, что может быть напрямую связано между собой.

Кроме отмеченного сходства каменных статуэток, имеются и другие свидетельства тесных связей между населением БМАК и Индийской цивилизацией. Так, архитектурное сооружение, отчасти напоминающее вышерассмотренное маргианское «Царское Святилище», было обнаружено лишь однажды: при раскопках древнеиндийского города Мохенджо-Даро (квартал НР, пом. № XXIII). Помещение было определено Дж. Маршаллом как обычное жилое, рядовое здание. Местные археологи, напротив, полагают, что это – «Храм Огня». Подчеркнем специально, что здесь, как и в гонурском «святилище», была найдена каменная стеатитовая статуэтка, получившая название «царь-жрец».

Итак, коленопреклоненные фигурки, у которых одно колено находится выше другого и его охватывает ладонь руки, планировочное (до определенной степени) сходство маргианского «Царского святилища» и предполагаемого «Храма Огня» в Мохенджо-Даро, большое число изделий из слоновой кости типа «игральных палочек», происходящих из «страны Маргуш», а также наличие

в обоих памятниках алебастровых сосудов (но не круглых, а овально-вытянутых, т.е. вытянутых в виде удлинённых сосудов), – все это указывает на близкое сходство между собой культур Бактрии-Маргианы и Индийской цивилизации. Думается, что мы можем говорить и о возможном приходе бактрийцев или маргианцев из Центральной Азии в Индию. Эта мысль выглядит очень заманчивой в свете существующей концепции об «арийском завоевании Индии», которое, как представляется, можно связать и с приходом в долину р. Инд именно бактрийско-маргианских племен. Тем более что о такой возможности свидетельствуют поздние письменные источники. В самом деле, племена, двигавшиеся из Передней Азии на восток, могли принести вместе с собой не только свои собственные культовые предметы, но и свои идеи и представления об окружающем их мире.

К сказанному следует добавить вышеупомянутые параллели в области культовой архитектуры («киоск» на Гонуре и так называемый «Храм Огня» в Мохенджо-Даро), что лишнее раз усиливает позиции двух вышеупомянутых индийских авторов о присутствии бактрийцев (и маргианцев – В.С.) в древней Индии. Явно не случайно, что находки и особенно культовая архитектура «киоска» относятся к началу появления в Маргиане пришлых переднеазиатских племен, а изделия типа «парика» от «составной статуэтки» (находка Р. Мидоу в поздне-хараппских слоях) может их синхронизировать между собой, отнеся эти события к рубежу III–II тыс. до н.э. Наконец, типично хараппская печать, найденная на Северном Гонуре была встречена практически на материке и таким образом может относиться к раннему периоду существования в конце III – II тыс. до н.э.

Эти взаимные свидетельства, в том числе импорта, подтверждаются все новыми археологическими находками, как в зоне распространения БМАК, так и в Индии. Так, во многих не разграбленных элитарных могилах Северного Гонура имеются предметы из слоновой кости, привезенные в Маргиану: это около десяти игральные доски, «игральные палочки», орнаментированные гребни для волос, туалетные ложечки, многочисленные «игральные фишки», украшенные «кружковыми» орнаментами, всевозможные костяные накладки и даже необработанные куски слоновьих бивней и т.д. Думается, когда пришлые с запада племена приступили к освоению дельты Мургаба, другая их часть (предположи-

тельно с повозками и колесницами) продолжала двигаться дальше на восток, в сторону индийского полуострова, где они застали племена зрелой Хараппы. Поскольку и здесь ощущалась острая нехватка пахотной земли, пришельцы вынуждены были заниматься обменной торговлей, поставляя в Бактрию и Маргиану разные экзотические товары в виде слоновой кости, сердолика и лазурита, золота и серебра.

Как видно, новые фактические археологические материалы дают дополнительные доказательства гипотезы постепенного проникновения бактрийско-маргианских племен в Индию в самых последних столетиях III тыс. до н.э. Вместе с тем все это не исключает, а предполагает торговые и культурные связи и контакты в обратном направлении, которые шли из долины Инда в речные долины Мургаба, Теджена и далее. В этом отношении весьма показательным основанием на берегу Окса древнехараппской торговой фактории, что имеет огромное историческое значение [Frankfort, 1989, p. 200–207] в части исторических контактов и культурных связей между хараппской цивилизацией и БМАК.

Список литературы

- Сарианиди В.И.** Древние земледельцы Афганистана. – М., 1977.
- Сарианиди В.И.** Дворец Северного Гонура // ВДИ. – 2000. – № 2. – С. 248–259.
- Сарианиди В.И.** Тайна и правда великой культуры. – Ашхабад, 2008.
- Ardeleanu-Jansen A.** The sculptural art of the Harappa culture // *Forgotten cities on the Indus Early civilization in Pakistan from the 8th to the 2nd Mil. BC* / eds. M. Jansen, M. Mulloy, G. Urban. – Mainz, 1991. – P. 167–178.
- Francfort H.-P.** Fouilles de Shortughai. Recherches sur l'Asie centrale protohistorique. – Paris, 1989. – Vol. I, II. – (Memoires de la Mission archaéologique française en Asie Centrale).
- Marshall J.** Mohenjo-Daro and Indus Civilization. – L., 1931.
- Possehl G.L.** The Indus civilization. A contemporary perspective. – New-Delhi, 2002.
- Sarianidi V.** Myths of ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets. – M., 1998.
- Schaeffer-Forrer C.F.A.** Corpus des cylindres-sceaux de Ras Shamra-Ugarit et d'Enkomi-Alasia. – Paris: Editions Recherche sur les civilisations, 1983.
- Winkellmann S.** Die anthropomorphe Terrakottaplastik Nordbelutschistans bis zur ausgehenden Bronzezeit // *Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie*. – Mainz, 1994. – Bd. 14. – S. 165–201.

ТИПЫ ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОНУР ДЕПЕ (Туркменистан)

Благодаря разведочным и раскопчным работам сначала Южно-Туркменистанской комплексной (ЮТАКЭ), а затем Маргианской археологической экспедиции к началу 1990-х гг. в древней дельте р. Мургаб (Юго-Восточный Туркменистан) было выявлено более 200 памятников, датируемых от бронзового до раннежелезного века [Сарианиди, 1990]. Памятники (так же как и в древней дельте р. Теджен, например) группируются в оазисы, что дало основание итальянским археологам называть эту территорию «цивилизацией оазисов» [Ligabue, Salvatori, 1995], а французским – «цивилизацией Окса» [Francfort, 2005]. В.И. Сарианиди, первым обосновавший общность культурных комплексов на обширной территории Средней Азии, Ирана и долины Инда, дал ей название Бактрийско-Маргианский археологический комплекс (БМАК – см.: [Сарианиди, 1990, с. 74–89]).

В 1972 г. в песках Каракумов (в 80–85 км к северу от современного г. Байрамали) В.И. Сарианиди было обнаружено крупное поселение эпохи бронзы – Гонур Деппе (в переводе с туркменского – «серый холм»). Оно выделялось из всех известных тогда поселений, да выделяется и теперь, после уточнения карты, составленной усилиями В.И. Сарианиди и И.С. Масимова (см. историю изучения: [Масимов, 2008]), туркмено-итальяно-российской экспедицией, своими огромными размерами. Тогда же начались и первые его раскопки, продолжающиеся до настоящего времени [Сарианиди, 1990, 2001, 2002, 2005, 2008; Sarianidi, 1998; и др.]. Как ныне стало ясно, Гонур – крупнейшее поселение эпохи бронзы среди более чем 500 выявленных в настоящее время в древней дельте р. Мургаб. По своим размерам, архитектуре и сделанным находкам он вполне соот-

ветствует статусу столичного поселения страны Маргуш. Имеется значительное число радиоуглеродных дат [Сарианиди, 1990, 1994; Hiebert, 1993, 1994; Jungner, 2004; Зайцева и др., 2008], которые показывают, что памятник был обитаем в течение нескольких сотен лет: приблизительно с 2300 до 1600 г. до н.э. Стратиграфические наблюдения и полученные радиоуглеродные даты показывают наличие трех периодов внутри единого культурного горизонта. Первый период длился со времени основания комплекса (2300–2250 гг. до н.э.) до большого пожара, разрушившего всю центральную часть кремля (1800–1700 гг. до н.э.). Второй период продолжался около 200 лет после большого пожара. Центральная часть кремля и храмовых построек была отремонтирована без значительных изменений. Третий период (около 1600 гг. до н.э.) связан с уходом правящей верхушки Гонура вслед задвигающейся на запад водой Мургаба, утратой городом своего столичного значения и полным запустением поселения.

Расположение гонурского оазиса в непосредственной близости от регионов обитания скотоводческих племен, а также время его обживания, в конце которого засвидетельствовано появление скотоводческих групп в более южных, ранее чисто оседлоземледельческих районах, делает гонурские материалы во многих случаях ключевыми для решения многих вопросов исторической динамики в эпоху бронзы. В числе их основными, возможно, являются таковые, связанные с индоарийской проблемой. Одним из ведущих исследователей, внесшей колоссальный вклад в ее решение, является Елена Ефимовна Кузьмина. Обширные знания источников и публикаций по данной тематике снискали ей высочайший авторитет в

научных кругах многих стран мира. Ее книгами пользуются все – от начинающего студента до маститого ученого. Желая понять, что происходило в степях Евразии и в сельскохозяйственных районах на Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии, в Южной Сибири, на Алтае или на юге современной России, не зная ее работ невозможно. Для прояснения спорных вопросов Елена Ефимовна привлекает все возможные источники, использует весь спектр доступных данных, т.к. в любой детали может скрываться то, что не было замечено на поверхности. Поздравляя ученого с юбилеем и желая ей новых творческих свершений, мне бы хотелось хотя бы в общих чертах охарактеризовать один из важных элементов культуры гонурцев, который, надеюсь, также поможет ей увидеть в истории взаимодействия скотоводов и земледельцев что-то новое, ранее, возможно, не обращавшее на себя внимание.

Речь пойдет о весьма консервативном, сохраняющемся многие поколения обряде погребения. Как это уже достаточно хорошо известно из публикаций В.И. Сарияниди, при сохранении таких общих черт во всех погребениях Гонура и Маргианы в целом, как положение тела умершего в подавляющем большинстве случаев на правом боку в скорченном положении и головой преимущественно на север и северо-запад, гонурцы использовали разнообразные типы погребальных сооружений. Они группируются в несколько могильников (на рис. 1 показана локализация раскопов), самый крупный из которых, главный или большой некрополь Гонура, уже получил свое отражение в публикациях [Сарияниди, 2001; Sarianidi, 2007]. Могилы на нем относятся в основном к периоду основания памятника. Остальные выявленные захоронения датируются более поздним временем и в большинстве своем находятся на руинах уже пришедшего в упадок дворцово-храмового комплекса, являвшегося главным ядром города. Исключение составляют погребения царского некрополя, который также имеет радиоуглеродные даты 2300–2250 гг. до н.э. [Сарияниди, 2001, 2006, 2007, 2008; Дубова, 2004; Сарияниди, Дубова, 2010; Зайцева и др., 2008] и был устроен на восточном берегу большого южного бассейна.

Территорией, где погребения устраивались и не в самый ранний, и не в самый последний период (т.к. их перекрывает толстый, доходящий до 70 см толщины, слой золы, перемешанной с землей) жизни на Гонур Депе, является область меж-

ду раскопами 12 и 16 на юго-западе памятника за пределами обводной стены. Число погребений, которые могут быть отнесены как к последним годам первого, так и ко второму строительному периоду, составляет всего 36. К сожалению, из этих могил мы не имеем радиоуглеродных дат, но вокруг упомянутого крупного зольного пятна также имелись погребения, датировка которых варьирует от 2700 до 1440 л. до н.э. (2 сигмы). Это с бесспорностью свидетельствует, что данное место использовалось для захоронений весь период обитания на памятнике. Половина же дат, полученных из погребений на этой территории, варьирует в более узких пределах – от 2060 до 1770 лет до н.э., что, учитывая статистическую ошибку метода, как раз и показывает нам время организации большей части этого могильника.

В табл. 1, 2 показана частота типов погребальных сооружений на разных территориях (раскопах) Гонур Депе. В подсчеты включены все могилы, в которых были найдены кости человека или животных вместе с погребальными приношениями и без них, а также могилы с одними погребальными приношениями (кенотафы). Подъемные материалы, которые бесспорно вошли в оценку поло-возрастного состава захороненных [Дубова, Рыкушина, 2006], в данные расчеты не были включены. Всего на всех территориях Гонур Депе к настоящему времени выявлено 4 210 погребальных сооружений. Большая их часть находится на Главном (или Большом) некрополе Гонура (2 808, составляющих 66,7 % от их общего числа). Все остальные могильники расположены вокруг обводной стены дворцово-храмового комплекса и внутри нее на всех четырех фасах. Там раскопано в настоящее время 1 337 погребений, а тип ямы определен в 1 218 случаях.

Если рассматривать все погребения Гонур Депе суммарно (табл. 1), то более половины их (53,14 %) составляют шахтные могилы, на втором месте (около четверти всего массива) – ямные сооружения. Только в 7 % случаях тип могильной ямы определить не удалось. Как пишет В.И. Сарияниди, «шахтные (или иначе подбойные) могилы представляют собой вертикально вырытые прямоугольные или овальные в плане колодцы. Глубина их колеблется от одного до двух метров (в единичных случаях полметра и даже менее). В подавляющем большинстве случаев внизу такой вертикальной шахты, в ее западной части устроен боковой, овальной формы подбой, пол

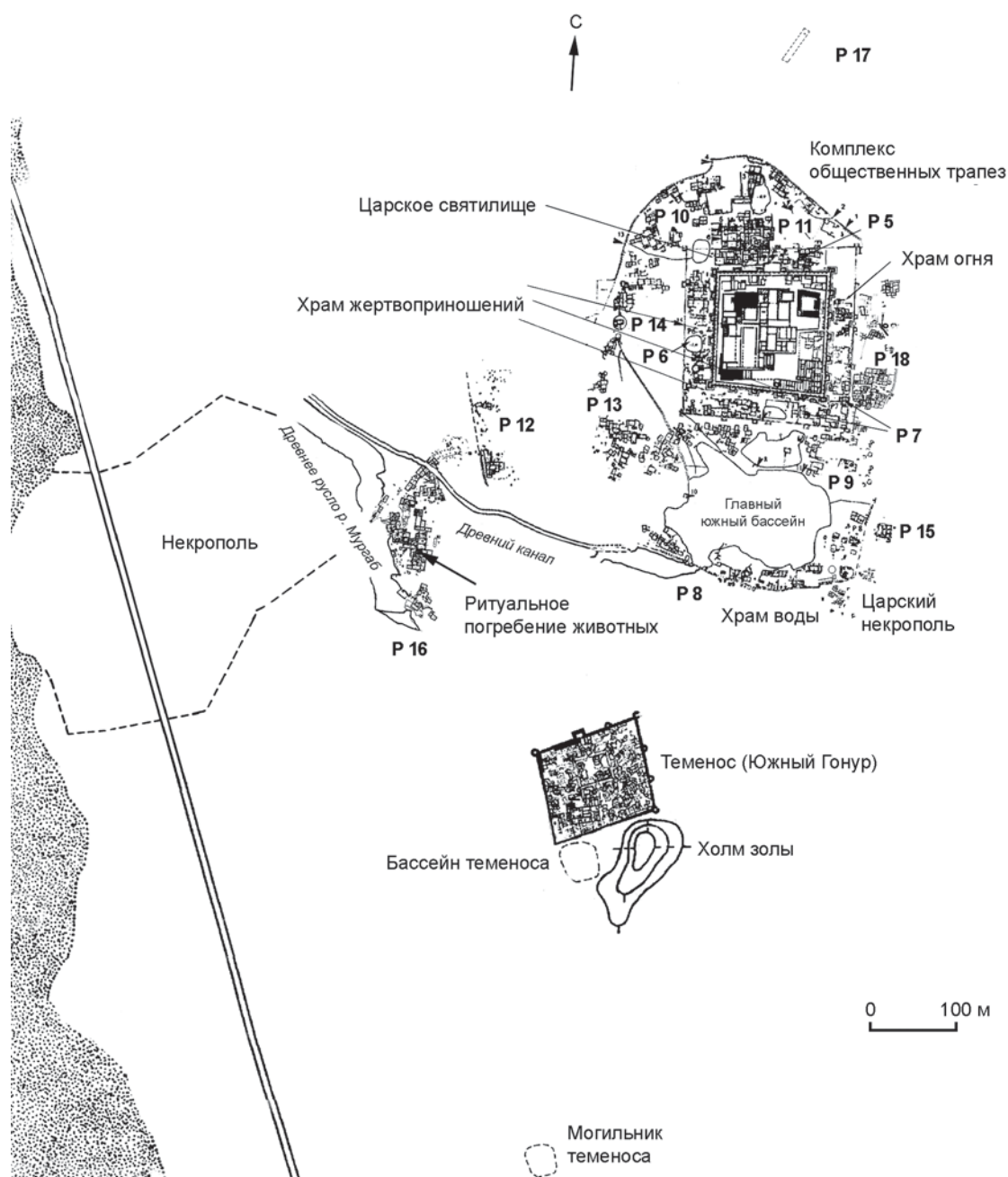


Рис. 1. Генеральный план Гонур Депе с указанием расположения раскопок и могилиников.

которого находится либо на одном уровне с дном шахты, либо на 15–25 см ниже, и тогда образуется своеобразный «уступ». Как правило, шахта всегда имеет значительно большую ширину, чем подбой, что является характерным признаком ранних шахтных могил. В более поздних (Джаркутан, могилиники Бишкентской культуры и др.) шахты, наоборот, по ширине всегда меньше, чем подбой» [Сарианиди, 2001] (рис. 2).

Ямные могилы – захоронения в обычных подпрямоугольной или округлой формы ямах площадью от 0,30 до 1,20 м² и глубиной от 30 до 120 см, вырытых в материковом грунте. Судя по всему, грунтовые могиленные ямы принадлежали наиболее бедным слоям древнего населения Маргианы. Хотя покойники в них захоронены традиционно в скорченном положении, ориентация погребенных именно здесь неустойчива. Нередко ямные

Таблица 1. Типы погребальных сооружений на разных территориях Гонур Деде

Тип могилы	Главный некрополь		Погребения «на руинах»		Царский некрополь		Суммарно погребения Гонур Деде	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Гробницы	—	—	—	—	8	12,12*	8	0,19*
«Котлованы»	—	—	—	—	3	4,55*	3	0,07*
Камерные	52	1,85*	10	0,75*	4	6,06*	66	1,57*
Шахтные	2083	74,18*	152	11,37*	2	3,03*	2237	53,14*
Цисты	49	1,74*	165	12,34*	9	13,64*	221	5,25*
Ямные	218	7,76*	782	58,49*	36	54,55*	1036	24,61*
Обожженные ямы	196	6,98*	—	—	—	—	196	4,66*
В том числе: обожженные ямы, в которых найдены костные останки	50	1,78/ 25,51***	—	—	—	—	50	1,19*
В очаге	—	—	11	0,82*	—	—	11	0,26*
В хуме	—	—	98	7,33*	3	4,55*	101	2,40*
Поминальные лунки	39	1,39*	—	—	—	—	39	0,93*
Определить нельзя	173	6,16*	119	8,90*	—	—	292	6,94*
Всего могил на данном раскопе	2808	66,70**	1337	31,76**	65	1,54**	4210	

*от числа погребений на данной территории;

**от общего числа погребений;

***первое число — доля от общего количества могил большого некрополя; второе — доля от общего количества обожженных ям.

могилы располагаются на «неудобных» участках некрополя, где материк представляет собой сплошной песчаный, очень рыхлый слой. Поэтому почти все могилы там осыпались и нередко полностью разрушились уже вскоре после захо-

ронения. Часть могил к моменту раскопок располагается практически на современной дневной поверхности, под дерновым слоем. Глубина ямных могил от древней дневной поверхности обычно составляет от 10 до 30 см (рис. 3) и лишь в единичных случаях достигает величин около одного метра.

Самыми малочисленными, как и следовало ожидать, являются огромные котлованы — глубокие ямные погребения больших размеров (всего 3, или 0,07 % от общего числа) — и многокомнатные гробницы (8, или 0,19 %), раскопанные исключительно на царском некрополе (см. рис. 2). Почти одинаково часто встречены погребения в цистах (5,25 %) и в ямах с обожженными стенками (4,66 %). Но если учесть, что только в 47 обожженных ямах из 196 были обнаружены костные останки, то доля таковых составит всего 1,11 %.



Рис. 2. Шахтная могила № 3799. Раскоп 16 Северного Гонура.

Таблица 2. Распределение типов погребальных сооружений «на руинах» по разным раскопам

Тип могилы		Раскоп														Суммарно данный тип могилы
		6	7	8	9	10 и 11	12	13	14	15	16	17	18	Дво- рец		
Шахтные	N	2	25	2	8	2	–	39	–	–	3	68	–	1	2	152
	%*	1,03	36,23	3,28	6,15	2,60	–	33,91	–	–	11,54	29,57	–	1,92	0,86	
Ямные	N	148	36	44	69	62	29	50	44	20	8	94	9	41	128	782
	%*	75,90	52,17	72,13	53,08	80,52	67,44	43,48	65,67	71,43	30,77	40,87	81,82	78,85	54,94	
Цисты	N	14	3	–	41	5	–	12	11	2	9	49	2	7	10	165
	%*	7,18	4,35	–	34,54	6,49	–	10,43	16,42	7,14	34,62	21,30	18,18	13,46	4,29	
Камерные	N	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	7	–	–	–	10
	%*	–	–	–	–	–	–	0,87	–	–	7,69	3,04	–	–	–	
В очаге	N	3	1	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	11
	%*	1,54	1,45	3,28	0,77	2,60	2,33	0,87	–	–	–	–	–	–	–	
В хуме	N	23	1	7	6	–	5	2	4	–	4	5	–	2	39	98
	%*	11,79	1,45	11,48	4,62	–	11,63	1,74	5,97	–	15,38	2,17	–	3,85	16,74	
Определить нельзя	N	5	3	6	5	6	8	10	8	6	–	7	–	1	54	119
	%*	2,56	4,35	9,84	3,85	7,79	18,60	8,70	11,94	21,43	–	3,04	–	1,92	23,18	
Всего могил на данном раскопе	N	195	69	61	130	77	43	115	67	28	26	230	11	52	233	1337
	%**	14,58	5,16	4,56	9,72	5,76	3,22	8,60	5,01	2,09	1,94	17,20	0,82	3,89	17,43	

*от числа погребений в данном раскопе;

**от общего числа погребений.

Цисты представляют собой наземные кирпичные погребальные сооружения прямоугольной формы со сводчатыми перекрытиями, хотя встречаются и единичные подземные цисты (рис. 4). Своды цист представляют собой два наклонно поставленных навстречу друг к другу кирпича (44 (42) × 24 (22) × 12 (10) см), между которыми располагается горизонтальный «замковый» кирпич (рис. 5, 6). Как правило, цисты не имеют входов и рассчитаны были на одноразовое захоронение покойников.

Камерные могилы представляют собой прямоугольные полуподземные сооружения площадью в среднем 5,0–5,5 м², выкопанные в грунте и обложенные изнутри сырцовыми кирпичами размером 42–45 × 20–24 × 10–12 см или просто обмазанные толстым слоем глины. Наряду с однокамерными гробницами, хотя и в меньшем количестве, известны более сложные двухкамерные, в которых камеры соединены между собой общим проходом. Двухкамерные гробницы представлены двумя вариантами, когда камеры расположены по одной длинной оси и, наоборот, – по одной короткой. Судя по некоторым косвенным данным,

второй вариант гробниц является наиболее ранним. Его конструкция продиктована необходимостью устройства арочного свода, опиравшегося на смежную стенку между помещениями. Судя по всему, такие могилы являются подземными моделями одно-, двух- или трехкомнатных домов. В их стенах устроены ниши, где стоит посуда, имеются лежанки и столы из сырцовых кирпичей, нередко в стенах и очаги (рис. 7). Их главное отличие от цист – наличие входа, заложенного на момент обнаружения сырцовыми кирпичами всухую. Они, как это не раз доказывалось В.И. Сарияниди, использовались для многократного последовательного погребения.

Кроме обычных ямных погребений, как это неоднократно указывалось автором раскопок В.И. Сарияниди, на большом некрополе Гонура были встречены так называемые обожженные ямы. Размеры таких ям сопоставимы с обычными грунтовыми могильными ямами; глубина варьирует от 35 до 120 см. Их стенки (в очень редких случаях и полы) прокалены докрасна. В большинстве таких сооружений полы обожжены дочерна и засыпаны сверху слоем чистого



Рис. 3. Ямная могила № 3911.
Северный Гонур (центральная часть раскопа 8).



Рис. 4. Погребение в цисте с хорошо сохранившимся сводом (погр. № 3854, раскоп 16 Северного Гонура).

песка или серой золы. Этот слой составляет 5–10 см, но в некоторых случаях достигает 15 см. Засыпка обожженных ям – из продуктов разрушения, включающая краснообожженные кусочки от обвалившихся стенок. В 43 обожженных ямах найдены фрагментированные или полные скелетные останки людей, в пяти ямах – кости собаки (№ 87/2002 – зубы и мелкие фрагменты скелета собаки; № 258 – полный скелет на левом боку головой на северо-северо-восток; № 1939 – полный скелет, как бы «вброшенный» в яму; № 2087 – один зуб, а в погребении № 1172 – почти полный скелет этого животного с

черепом на правом боку, головой на север). Все человеческие останки, находившиеся в обожженных ямах, свидетельствовали, что там хоронились или тяжелобольные люди, или люди с какими-то другими недостатками, т.к. покойники были помещены туда в нестандартных позах [Сарианиди, 2001; Бабаков и др., 2001; Васильев и др., 2001; Sarianidi, 2007; Dubova, Rykushina, 2004, 2007]. По всей видимости, обожженные могильные ямы приготавливались заранее, и после обжига стенок изнутри дно их присыпалось слоем песка (во избежание возможного осквернения). Пустая могила, видимо, была перекрыта сверху легким перекрытием.

На древней дневной поверхности наверху некоторых, преимущественно шахтных, могил зафиксированы небольшие ямки (диаметром 30–50 см, глубиной не выше 25 см), получившие название поминальных лунок. В массе своей такие лунки группируются на окраине большого некрополя. Все они, как правило, обожжены изнутри (так что не только дно, но и стенки имеют красный цвет), причем на полу, как и в обожженных ямах, всегда имеется слой золы. Ни в одном случае ни одна такая «поминальная лунка» не содержала никаких костей или погребальных приношений. Так что «поминальное» назначение их представляется наиболее вероятным.

Представляется, что людей с физическими недостатками в более поздние периоды жизни на Гонуре хоронили не в специальных обожженных ямах, а в старых, заброшенных, очагах. Показа-

тельно, что несколько таких захоронений встречены в руинах на севере от кремлевской стены. Особо выделяется погребение 2871, где тяжело болевший при жизни мужчина 30–35 лет (у него был сильнейшим образом поврежден тазобедренный сустав, его правая нога была короче, чем левая; грудная клетка особой формы – вытянутая вперед, на многих ребрах – следы давно заживших переломов) лежал в сильно скорченной позе (колени находились около лба, одна рука была на поясе, а кисть второй – лежала на плече) [Dubova, Rykushina, 2004, с. 324]. По необычной позе погребенного, по состоянию костяка это погребение вполне сопоставимо с таковыми в обожженных ямах на большом некрополе (рис. 8).

Имеется и еще одно интересное погребение в бывшем очаге – № 3007 в пом. 129 на Р5. Мужчина 40–50 лет лежал в обычной позе (скорчен на правом боку, головой на северо-запад). Погребального инвентаря не было. На лобной кости в области между глабеллой и метопионом отчетливо прослеживаются следы от трех круглых заросших отверстий, расположенных треугольником. Судя по степени зарастания и направлению остеонов, можно полагать, что это – следы от удара, по-видимому, твердым предметом, имевшим три острых конца. Травма имела место за много лет до смерти мужчины, по-видимому, в молодом возрасте. И посткраниальный скелет, и череп отличались массивностью, хорошим развитием рельефа. Захоронения в бывших очагах на Гонуре встречены крайне редко (всего 11 случаев, или 0,26 %). Погребения детей в хумах, хотя и малочисленны в целом, но отмечены в десять раз чаще, чем в очагах (2,40 %).



Рис. 5. Погребение в цисте № 3663. Раскоп 16 Северного Гонура.



Рис. 6. Погребения в шахтных могилах (1) и в цисте (2) в процессе расчистки. Раскоп 16 Северного Гонура.

Кратко рассмотрим частоту встречаемости типов погребений на разных территориях Гонур Депе. Большой (или главный) некрополь Гонура занимает площадь около 10 га и является одним из самых крупных могильников III–II тыс. до н.э. в Центральной Азии. Характерно, что на большом некрополе Гонура соотношение разных типов могил существенно отличается от такового для погребений «на руинах», т.е. тех могил, которые были устроены уже после того, как дворцово-храмовый



Рис. 7. Камерная могила № 3700. Раскоп 16 Северного Гонура.



Рис. 8. Погребение в заброшенном очаге (№ 2871).
Раскоп 5 Северного Гонура.

комплекс потерял свое первоначальное значение. Так, на некрополе 74,18 % составляют шахтные (подбойные) могилы; 14,74 % – ямные (из них почти половина – 6,98 % от общего числа сооружений – имеют обожженные стенки); 1,67 % могил являются цистами; 1,85 % – камерные могилы и 1,39 % – поминальные лунки. Среди погребений «на руинах» большинство образуют ямные погребения (58,49 % от всех могил) (рис. 9–11, табл. 1). Почти равную долю составляют цисты (12,34 %) и подбойные (соответственно 11,37 %). Все погребения детей в хумах найдены именно «в руинах»; всего

три – на территории царского некрополя. На других территориях, кроме большого некрополя, поминальные лунки встречены не были.

По всей видимости, все хумы, в которых были совершены захоронения, помещались в вырытые с той или иной степенью тщательности ямы. В некоторых случаях (погребения 2944, 2966, 2983, 2992, 3022) их контуры можно было проследить и в момент раскопок. Хумы, в которых помещались умершие младенцы, имели более или менее стандартные размеры: высота 60 и диаметр 35–40 см. Для захоронения детей постарше использовались и другие, более крупные хумы.

Во всех случаях без исключений собственно в хумах захоронены младенцы и дети младшего возраста. Из 23 захоронений в хумах на Р5 только одна девочка достигла возраста 12–14 лет (погр. 2946), два мальчика и одна девочка – 8–9 лет, четыре мальчика и одна девочка – 5–6 лет. Из четырех захоронений в хумах на Р8 только одному мальчику было 8 лет. Остальные дети, обнаруженные лежащими в хумах, умерли или сразу после рождения, или в первые два года жизни. В подавляющем

большинстве случаев тельце умершего ребенка укладывалось в скорченном положении на правый бок в хум так, что стопы упирались в его дно, а голова находилась у его отверстия или выходила за его пределы (рис. 12). В редчайших случаях (погребения 2973 на Р5 и 3047 на Р6) на дне находилась голова похороненного ребенка, а к отверстию были обращены ноги.

В отличие от Шахдада [Nakemi, 1997], где все погребения производились в двух хумах и иногда в одном, на руинах Гонурского ансамбля форма и размеры керамических сосудов, по-видимому,

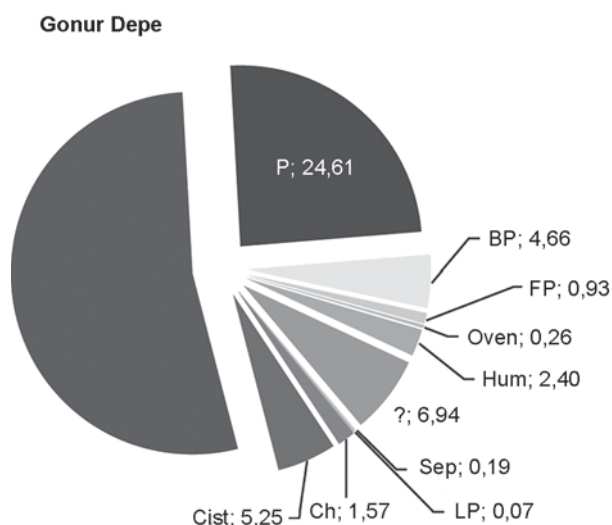


Рис. 9. Диаграмма типов погребальных сооружений Гонур Депе.

Sep – многокомнатные гробницы, Cist – цисты, Ch – камерные могилы, Sh – шахтные (подбойные) могилы, P – ямные могилы, LP – «котлованы» (глубокие ямные могилы очень больших размеров), BP – ямные могилы с обожженными стенками, FP – «поминальные лунки», Oven – погребения в печах, очагах, Hum – погребения в крупных керамических сосудах (хумах).

не играли большой роли. Они подбирались из того, что было. В большинстве случаев захоронения производились в одном хуме. В тех случаях, когда надо было похоронить более взрослого (или крупного) ребенка, использовались крупные фрагменты от двух или нескольких сосудов. Главной целью было предохранить тельце умершего или от излишнего давления земли, или (как считает В.И. Сарияниди) от соприкосновения разлагающейся материи с «чистой стихией» – землей.

Здесь необходимо специально подчеркнуть, что, как в захоронениях в хумах, так и в других погребальных сооружениях, в заполнении могильной ямы, а особенно среди костей скелета и под ним всегда можно найти или единичные, или очень значительные слои черных угольков. В одних погребениях – это два-три маленьких уголька, в других – россыпи углей обычно в области грудной клетки, под головой, в области таза, нередко – под ногами. Обратило на себя внимание погребение в хуме № 3021 во дворе на восток от пом. 214 (P5). Здесь были погребены два младенца – 1,5–2 лет – мальчик и девочка. Они лежали один на правом, другой – на левом боку, головками на запад, как бы обнимая друг друга ручками. На внутренней стенке хума, на которой лежали

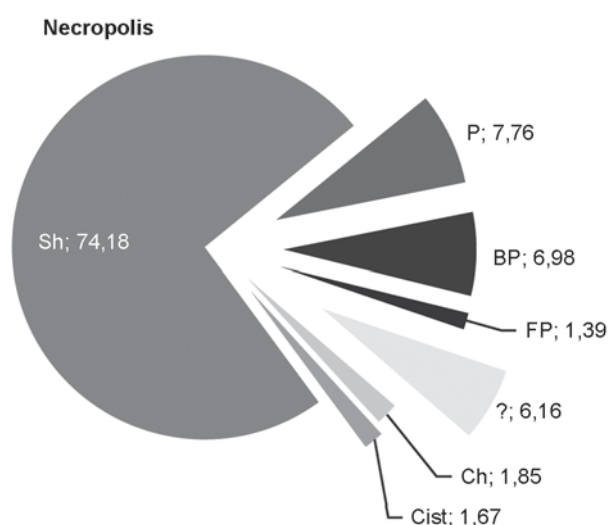


Рис. 10. Диаграмма типов погребальных сооружений на главном (большом) некрополе Гонура. Усл. обозн. см. на рис. 9.

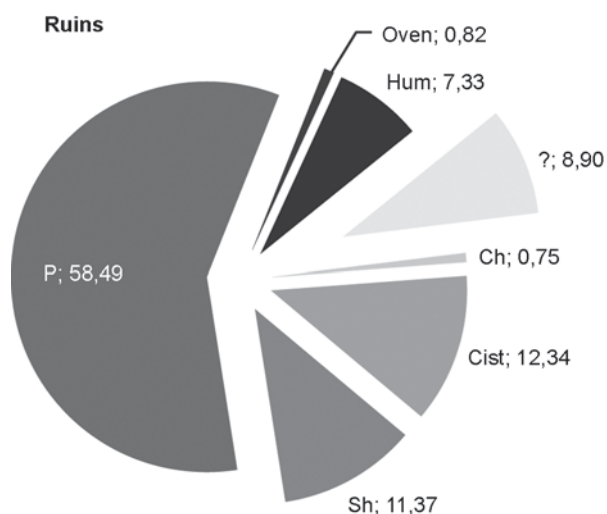


Рис. 11. Диаграмма типов погребальных сооружений, устроенных на руинах дворцово-храмового комплекса Гонура. Усл. обозн. см. на рис. 9.

младенцы, зафиксирован слой земли с вкраплениями большого количества углей толщиной до 3 см. На внутренней поверхности хума прослеживались следы черной копоти, на многих костях детских скелетов – следы обожжения. Далеко не все кости были обожжены. Все позвонки и ребра, например, не несли следов огня. Учитывая это, а также то, что оба костяка лежали в полном анатомическом порядке (никаких смещений



Рис. 12. Погребение ребенка в керамическом сосуде (№ 3884).
Раскоп 18 Северного Гонура.

костей не было), можно предполагать, что младенцев по традиции положили на слой золы с углями, не заметив, что они еще не совсем остыли.

Все приведенные факты свидетельствуют, что угли и зола играли в погребальных обрядах древних маргушцев важную роль: по-видимому, прежде всего протектора, оберега от злых сил. Или наоборот, защиты чистой стихии земли от тех злых сил, которые унесли жизнь человеческого существа. Нельзя в этой связи не вспомнить, что и у современных туркмен одним из самых распространенных амулетов, оберегающих дом и человека от злого, темного, является матерчатый треугольник с зашитой в него щепоткой золы, который подвешивают над дверью дома, у колыбели ребенка, на ветровом стекле автомобиля и т.д.

Стоит обратить внимание и на такой факт. Если на большом некрополе Гонура раскопано почти одинаковое число погребений в цистах и камерных могилах (соответственно 1,67 % и 1,85 %), то на руинах камерных могил в 16,5 (!) раз меньше, чем цист. Это соотношение представляется очень показательным. Камеры явно маркировали определенный, высокий социальный строй. Как отмечал В.И. Сарианиди, приношения в цистах и даже в некоторых шахтных могилах на большом некрополе Гонура были даже более богатыми, чем в камерах. Тем не менее, кто-то «имел право» сооружать своим упокоившимся родственникам камеры, кто-то – только подбойные могилы (подчеркнем, что как погребальный набор, так и

антропологический тип погребенных во всех погребениях не дает оснований предполагать какие-либо различия по культурной принадлежности или антропологическому типу между разными типами погребальных сооружений). Можно предполагать, что та социальная прослойка, которая сооружала камеры, или ушла в первую очередь при оставлении Гонура в середине II тыс. до н.э., или же просто перестала существовать. Первое предположение представляется более вероятным, а поскольку Гонур Деде являлся особым, храмовым городом, вполне логично думать, что там жило или от-

правляло ритуалы большое число жрецов.

С перенесением культового центра в другое место они-то и могли почти все переместиться с Гонура в Тоголокский оазис. Здесь же остались лишь представители того верхнего социального слоя, хоронившего своих покойников в цистах, который или отправлял более узкий круг обрядов и ритуалов, или имел только административную власть. Косвенным подтверждением того, что в этот слой включались воины, является факт, что из имеющихся трех могил, которые могут быть однозначно интерпретированы как принадлежащие воинам (если верно предположение, что именно их маркируют медно-бронзовые так называемые лесенки – пластины с несколькими, от одного до трех, отверстиями в них), две (№ 2900 и 3280) устроены в цистах и являются одними из самых богатых среди погребений «на руинах», и только одна, более простая (№ 2380 на большом некрополе) – в подбойном погребении. Если пойти в своих предположениях далее, учитывая, что в могилах 2900 и 3280 найдены массивные наконечники копий, небольшие деревянные жезлы с четырехзубыми наконечниками, что в каждой из них имеются прихороненные животные, что оба они – парные (чего нет у воина из 2380), то нельзя исключать и того, что в цистах нашли упокоение люди, облеченные большей административной властью, чем мужчина, погребенный в шахтной могиле. Правда, и «лесенка» в погр. 2380 имеет только один «просвет», а в двух других – два.

Стоит здесь подчеркнуть, что имеются различия и между цистами. В цисте 2900 (она достаточно подробно охарактеризована ранее: [Дубова, 2004, с. 255–257; Sarianidi, 2007, р. 146–155]) *in situ* была найдена каменная составная статуэтка, там присутствовала наборная из слоновой кости игральная доска и интереснейший ритуальный набор бронзовых изделий. В погр. 3280 перечисленного не было, зато в руках мужчины находился массивный бронзовый жезл с серебряной ручкой, имеющий условное название «гарпун», а рядом лежала каменная миниатюрная колонка.

Если рассмотреть частоту встречаемости разных типов погребений на раскопах Гонура, мы также можем заметить важные закономерности. По общей численности раскопанных в настоящее время (осень 2010 г.) погребений, выделяются территории дворца (17,4 %), юго-запада комплекса за пределами обводной стены (P16 – 17,2 %) и территория к северу от кремля, но в пределах стены каре (P5 – 14,6 %). Всего 11 из 1 337 погребений (0,82 %) раскопано на севере Гонур Депе за пределами обводной стены – P17.

Большая часть цист (165 сооружений, или 12,3 %) расположена на P16 (29,7 % всех цист) и на раскопе 8 – на юге комплекса (24,85 %). Шахтные (подбойные) могилы составляют всего 11,4 % от всех погребальных сооружений на «руинах». Чаще всего они встречались на P16 (44,7 % от всех могил такого типа), значительно меньше – на раскопе 12 (25,7 %) – территории, связанной с P16, но находящейся в пределах обводной стены. Такого рода сооружения вообще не обнаружены на раскопах 10, 11, 13, 14 и 17. Всего одна подбойная могила имеется в настоящее время (до завершения раскопок этой территории) на P18, а по две – на раскопах 5 (северная часть внутри стены каре), 7 (южная часть там же), 9 (северный берег большого южного бассейна) и на территории кремля. В целом можно сказать, что цисты и подбойные могилы устраивались не на любой территории, а преимущественно на юге (P8) и юго-западе (P16) Гонур Депе.

В «руинах» раскопано всего 10 камерных могил (0,75 % от общего числа сооружений). Наибольшее их число (7) находится на территории P16; две присутствуют на пятнадцатом, а одна – на двенадцатом раскопах.

Наиболее многочисленны (782 сооружений, или 58,5 %) ямные могилы. 18,9 % от их числа найдено на P5, а 16,37 % – в руинах двор-

ца. Меньше всего таковых раскопано на P15 (1,02 %) – небольшой территории на востоке комплекса – и P17 (1,15 %). Самый большой процент ямные погребения составляют на 17-м раскопе (81,8 % всех могил этого раскопа) и на P9 – на северном берегу большого южного бассейна Гонура (80,5 %). Меньшую долю (30,8 %) они составляют на P15 – к северо-востоку от царского некрополя – и на уже упоминавшемся P16 (40,9 %). Но в целом надо сказать, что ямные могилы встречаются одинаково редко в руинах на всех фасах комплекса, и доля их зависит, прежде всего, от общего числа могил на территории. Как было отмечено, ямные могилы – погребения беднейшего населения. Этим подтверждается, что последними жителями этого некогда величественного города были, конечно, бедные жители Маргианы, которые не имели возможности уйти в более экологически благоприятные оазисы.

Надо подчеркнуть, что P16 находится на восточном берегу древнего русла р. Мургаб. Напротив него, на противоположном берегу реки, устроен большой некрополь Гонура. Раскопками подтверждено, что в процессе усыхания реки могилы стали устраиваться как на последовательно образовавшихся террасах берегов, так и в самом русле [Сарианиди, Дубова, 2008]. То есть постепенно главный некрополь Гонура «перетек» на восточный берег Мургаба и подошел к обводной стене комплекса.

Кроме захоронений на большом некрополе и погребений «на руинах» дворцово-храмового комплекса на юго-востоке Северного Гонура, на восточном берегу большого южного бассейна находится небольшая обособленная группа из 65 погребений, получившая название царского некрополя. Царский некрополь Гонура занимает площадь около 0,6 га. Данные по нему представлены в таблице отдельно, т.к. такие сооружения, как многокомнатные гробницы и огромные котлованы – глубокие ямные погребения больших размеров, – были найдены только там.

Несколько слов надо сказать о характеристике этих особых, нигде более ни на Гонуре, ни на других памятниках Маргианы не встреченных погребальных сооружениях. Царские гробницы представляют собой подземные модели домов, но не таких простых, как в случае камерных гробниц, а сложных многокомнатных.

Можно предполагать, что центральной на царском некрополе является гробница 3220 – един-

стенная из всех девяти найденных обнесенная (вместе с сооруженными рядом с ней на древней дневной поверхности алтарями огня и двухкамерной грушевидной печью) специальной сырцово-й стенкой. К западу от этой небольшой «обводной стены» расположен котлован 3900. К северу и югу от гробницы 3220 были устроены аристократические камерные могилы 3245 и 3857, а также шахтная могила 3870. Далее к северу располагается группа из четырех гробниц, две из которых представляют собой «многокомнатные дома с дворами перед ними» (3200 и 3210), а две – модели сложных домов (3230 и 3235), с устроенными с юга от них котлованами 3225 и 3240 [Дубова, 2004; Дубова, Рыкушина, 2006; Сарианиди, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; Сарианиди, Дубова, 2010]. За обводной стеной находится еще четыре гробницы, три из которых представляют собой «дома с дворами перед ними» (№ 3880, 3905 и 3915), а одна – в виде пустого котлована неправильной прямоугольной формы (№ 3910).

Собственно к царскому некрополю имеют отношение не все могилы, раскопанные на этой территории. Это, конечно, восемь гробниц, три котлована, четыре камерные могилы, по-видимому, две шахтные могилы, одна обычная по конструкции циста и две ямные могилы, в которых были совершены ритуальные погребения животных.

В шести самостоятельных могилах погребены животные. В трех из них найдены кости ослов (3330 и 3331 – в основном кости конечностей; в 3340 – полный скелет с погребальными приношениями). В двух – костяки быков (в погр. 3895 – полный скелет в анатомическом правильном положении; в погр. 3890 – также полный костяк, но специальным образом аккуратно разделанный). В одной небольшой могиле (3206) были аккуратно сложены кости конечностей кабана. На описываемой территории найдены 11 кенотафов. Четыре из них – обычные могилы (3251, 3876 и 3878 – ямные; № 3607 – циста), где имеются погребальные приношения. Остальные семь больше напоминают так называемые «поминальники», т.е. небольшие по размерам сооружения (до 1 м в диаметре или в длину), где компактно сложены лишь керамические изделия. Надо отметить, что большинство и собственно кенотафов, и «поминальников» расположены на небольшой глубине, что свидетельствует об их позднем устройстве. Не разграбленные камерные могилы 3245 и 3870 указывают, что хотя похороненные в таких моги-

лах покойники и могли принадлежать к бывшим «царским фамилиям», они резко уступают им по богатству личных украшений и погребальных приношений, представляя собой, скорее всего, «бедных родственников» царственных особ.

Все могилы – гробницы и захоронения в огромных ямах, за исключением двух – 3225 и 3900 – были неоднократно ограблены еще в древности, причем указанные могилы были оставлены не ограбленными, скорее всего, из-за их особого характера. Каждый из трех имеющих на царском некрополе котлованов находится рядом с одной из царских гробниц: котлован 3225 – с гробницей 3230; 3240 – с 3235. Из трех котлованов особо выделяется один – 3900, устроенный неподалеку от погр. 3220, как выше сказано, отличающегося от других царских гробниц сооружением наземной невысокой стены, окружающей территорию вокруг собственно гробницы. В инситу погр. 3900 были погребены семь мужчин (по-видимому, слуг или рабов), семь собак (еще одна собака была похоронена в верхнем слое могилы), два осла и два верблюда. Там же находилась четырехколесная повозка, огромный бронзовый котел, два каменных посоха и бронзовая лопата, а также два керамических сосуда средних размеров. Столь специфический состав погребенных и наличие набора погребальных приношений, которые полностью отсутствуют в двух других котлованах, где встречены после ограбления лишь кости животных, останки четырехколесных повозок и большого числа рабов/слуг (в 3225 – 10 человек, в 3240 – 17), свидетельствуют об особом, скорее всего, ритуальном значении этих могил.

В.И. Сарианиди [2001, 2008] уже было отмечено, что погребальные приношения, так же как и разные типы могил, свидетельствуют о значительном социальном расслоении маргианского общества: даже притом, что практически все камерные могилы и цисты были жестоко ограблены, подавляющее большинство гонурских золотых и серебряных изделий происходит именно из них. Если камерные могилы, где практиковался последовательный обряд захоронения, воспроизводят модели простых домов, имеющих вход (1–3 комнаты), то царские гробницы отличает не только сложная архитектура (в гробнице 3235 имеется 8 комнат, в других 4–5), наличие дворов перед ними (имеются в пяти из девяти гробниц), прекрасные образцы ювелирного и прикладного искусства, украшение фасадов мозаичными композициями с элемента-

ми живописи, наличие четырехколесных повозок, других предметов, маркирующих высокий социальный статус погребенных, но и большое число убитых рабов. Последнее обстоятельство не зафиксировано ни на одном другом известном памятнике Маргианы и ни в одном другом типе могил, в том числе камерных.

Выше не были упомянуты еще два типа захоронений, встретившиеся на Гонур-Депе, – дворцовая дахма и фракционные погребения. Последний тип погребальной практики использовался при захоронениях в ямных могилах, поэтому они были учтены именно в общем числе таковых. Дахма в виду своей уникальности в подсчеты не была включена.

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. Прежде всего, надо сказать, что факт, подчеркнутый не раз В.И. Сарианиди в его публикациях, об особом характере города Гонура (в городе жили лишь правитель и его семья и, видимо, небольшая часть жрецов и obsługi) говорит о том, что захоронения на большом некрополе и на большей части территорий принадлежат жителям разных поселений Маргианы, возможно, наиболее близко расположенным к столичному городу. Во время строительства и функционирования дворцово-храмового комплекса Гонур Депе погребения совершались на большом некрополе Гонура: беднейшие слои, как доказывает В.И. Сарианиди, – в ямных, средний класс – в шахтных (подбойных), а аристократия – в камерных могилах и в цистах. Возможно, камеры являлись привилегией людей, имевших отношение к ритуальной практике, а цисты – к другому социальному слою. Правящая верхушка хоронила своих ушедших из жизни с использованием дахмы и царских гробниц на берегу большого южного бассейна. В первый период времени число ямных могил было незначительным.

Со временем храмовый город рос, видимо, увеличивалась и численность населения страны. Аристократия стремилась быть погребенной ближе к святому месту – городу, ныне называемому Гонур Депе. Появляется значительное число погребений в цистах, меньше – в подбойных могилах снаружи от обводной стены комплекса. Они встречаются преимущественно на южном фасе (Р8) и на правом берегу р. Мургаб, напротив большого некрополя на юго-западе Гонур Депе. На территории царского некрополя или почти одновременно, или ненамного позже царских гробниц сооружается несколько погребений высшей аристократии в

камерных могилах, не имевшей, однако, «права» быть похороненными в гробницах. Видимо, в этот же период времени появляются первые погребения на правом берегу р. Мургаб, на территории между раскопами 12 и 16 на юго-западе памятника за пределами обводной стены.

В результате разных причин русло Мургаба, на берегу которого был выстроен город, меняло свое течение и вскоре окончательно высохло, оставив после себя лишь небольшие старицы, в большинстве своем со стоячей водой. С запада на большой некрополь наступали пески. Могилы стали устраивать все далее и далее от основной территории некрополя на восток, переходя бывшее русло Мургаба на правый берег. На раскопах 16, 12, 13, 8 появляется все больше могил бедных слоев населения. В это же время захоронения в цистах сокращаются на Р18 за пределами обводной стены.

В третий период существования памятника (середина II тыс. до н.э.), когда правящая верхушка маргианского общества покинула некогда величественный город царей и богов, о чем неоднократно писал В.И. Сарианиди, обитателями данной территории остались небольшие группы беднейших слоев маргушцев. Есть основания предполагать, что в этот же период времени скотоводческие группы также населяют близлежащее пространство. Но следует особо подчеркнуть, что не происходит ни смены погребального обряда, ни изменения типов погребальных сооружений. Четко прослеживается лишь факт более широкого распространения ямных погребений, снижения числа подбойных могил и отсутствия погребений в камерах. Более зажиточные на тот период времени жители страны Маргуш хоронили своих сородичей в цистах. Наиболее яркими примерами такого рода являются упоминавшиеся выше погребения 2900 и 3280. Тогда же в руинах дворцовых и храмовых построек на всей территории Гонур Депе распространяются захоронения детей в хумах, совершавшиеся, по всей видимости, на небольшом отдалении от места проживания.

Интересен вопрос начала бытования погребений на центральной части Р16, т.е. тех, которые устраивались на полах в помещениях, окружающих место ритуального погребения животных [Сарианиди, Дубова, 2008]. Все помещения данной части комплекса выстроены на материке. Керамические изделия и имеющиеся радиоуглеродные даты свидетельствуют о принадлежности их к 1800–1600 гг. до н.э. Цисты устраивались

непосредственно на полах помещений, не перерезая их, почти всегда прямо в центре таковых. Организация впускных погребений практически всегда ведет к нарушению обмазки пола. Могилы в этом случае, как правило, располагаются не регулярно, находясь под разными углами к стенам, иногда перерезая их. Поскольку на Р16 наблюдается совершенно другая картина, в упомянутой выше публикации нами было сделано предположение об особом характере этого архитектурного сооружения, возможно, использовавшемся для определенных поминальных церемоний при погребениях на большом некрополе, а также и для погребений типа склепов. Можно думать, что эта практика получила распространение в самом конце второго строительного периода Гонур-Депе и продолжалась до середины II тыс. до н.э.

За рамками данной работы остались особенности сооружения разных типов могил, в том числе цист и ямных погребений, в разные периоды существования Гонура. Этому аспекту исследования будут посвящены другие публикации.

Список литературы

- Бабаков О., Рыкушина Г.В., Дубова Н.А., Васильев С.В., Пестряков А.П., Ходжайов Т.К.** Антропологическая характеристика некрополя Гонур-Депе // Сариниди В.И. Некрополь Гонура и иранское язычество. – М., 2001. – С. 105–132.
- Васильев С.В., Бабаков О., Боруцкая С.Б., Савинцев А.Б.** Антропологическое исследование погребений с обожженными стенками Гонурского некрополя (Туркменистан) // Полевые исследования Института этнологии и антропологии РАН. – М., 2001. – С. 7–19.
- Дубова Н.А.** Могильник и царский некрополь на берегах большого бассейна Северного Гонура // У истоков цивилизации / Косарев М.В., Кожин П.М., Дубова Н.А. (ред.). – М., 2004. – С. 254–281.
- Дубова Н.А., Рыкушина Г.В.** Палеодемография Гонур-Депе // Экология и демография человека в прошлом и настоящем: материалы Антропол. чтений к 75-летию со дня рождения акад. В.П. Алексеева. – М., 2006.
- Зайцева Г.И., Дубова Н.А., Семенцов А.А., Реймар П., Мэллори Дж., Юнгнер Х.** Радиоуглеродная хронология памятника Гонур-Депе // Тр. Маргианской археологической экспедиции. – М.: Старый сад, 2008. – Т. 2. – С. 166–179.
- Масимов И.С.** История археологического изучения Маргианы // Культурные ценности 2004–2006. – СПб., 2008. – С. 5–12.
- Сариниди В.И.** Древности страны Маргуш. – Ашхабад, 1990.
- Сариниди В.И.** Маргиана на Древнем Востоке // ИБМАИКЦА. – М., 1994. – Вып. 19.
- Сариниди В.И.** Некрополь Гонура и иранское язычество. – М., 2001.
- Сариниди В.И.** Маргуш – древневосточное царство в древней дельте реки Мургаб. – Ашхабад, 2002.
- Сариниди В.И.** Страна Маргуш открывает свои тайны: дворцово-культовый ансамбль Северного Гонура // У истоков цивилизации / Косарев М.В., Кожин П.М., Дубова Н.А. (ред.). – М., 2004.
- Сариниди В.И.** Гонур-Депе: город царей и богов. – Ашхабад, 2005.
- Сариниди В.И.** Царский некрополь на Северном Гонуре // Вестн. древней истории. – 2006. – № 2 (257). – С. 155–192.
- Сариниди В.И.** Дворцово-храмовый комплекс Северного Гонура // РА. – 2007. – № 1. – С. 49–63.
- Сариниди В.И.** Маргуш. Тайна и правда великой культуры. – Ашхабад, 2008.
- Сариниди В.И., Дубова Н.А.** Археологические работы на юго-западном холме Гонур-Депе (раскоп 16) // Тр. Маргианской археологической экспедиции. – М.: Старый сад, 2008. – Т. 2. – С. 28–49.
- Сариниди В.И., Дубова Н.А.** Новые гробницы на территории царского некрополя Гонура: предварительное сообщение // На пути открытия цивилизации: сб. ст. к 80-летию В.И. Сариниди. – СПб.: Алетейя, 2010. – С. 144–171. – (Тр. Маргианской археологической экспедиции; т. 3).
- Dubova N.A., Rykushina G.V.** Necropolis and Area 5 of Gonur-Depe: some anthropological data // У истоков цивилизации / Косарев М.В., Кожин П.М., Дубова Н.А. (ред.). – М., 2004. – С. 317–336.
- Dubova N.A., Rykushina G.V.** New data on anthropology of the necropolis of Gonur-Depe // Sarianidi V. Necropolis of Gonur and Iranian paganism. 2nd ed. – Athens, 2007. – P. 296–329.
- Francfort H.-P.** La civilisation de l'Oxus et les Indo-Traniens et Indo-Aryens // Fussman G., Kellens J., Francfort H.-P., Tremblay X. (Eds.) *Āryas, Aryens et Iraniens en Asien Centrale*. College de France. – Paris, 2005. – S. 253–328. (Publications de l'Institut de Civilisation Indienne; LXXII).
- Hakemi A.** Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age Center in Iran. – Rome, 1997.
- Hiebert F.** Chronology of Margiana and Radiocarbon Dates // Information Bulletin of International Association for the Study of the Cultures of Central Asia. – 1993. – Iss. 19. – P. 136–148.
- Hiebert F.** Origins of the Bronze Age oasis civilization in Central Asia. – Cambridge, 1994.
- Jungner H.** A collaboration for developing archaeological research in Turkmenistan // У истоков цивилизации / ред. М.В. Косарев, П.М. Кожин, Н.А. Дубова. – М., 2004.
- Ligabue G., Salvatori S.** Bactria: An ancient oasis civilization from the sands of Afghanistan. – Venice: Erizzo, 1995.
- Sarianidi V.** Margiana and protozoroastrism. – Athens, 1998.
- Sarianidi V.** Necropolis of Gonur. – Athens, 2007.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБРАЗА БАКТРИАНА В КАРТИНЕ МИРА НОСИТЕЛЕЙ БАКТРИЙСКО-МАРГИАНСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

В своей важной для дальнейшего исследования проблем одомашнивания верблюда бактриана и его места в культуре древних народов Средней Азии работе Елена Ефимовна [Кузьмина, 1963] использовала в качестве отправной точки находку фигурки этого животного на поселении Ушкатты Ограда II в Домбаровском р-не Оренбургской обл. Обнаруженная в полуземлянке около очага, она была отнесена к алакульскому этапу андроновской культуры, к первой половине II тыс. до н.э. Проанализировав существовавшие данные, автор статьи акцентировала внимание на находках костей верблюдов в иранском Шах Тепе, верхнем слое Анау, фигурках из Кара Тепе (Южная Туркмения). Она пришла к заключению, что земледельческие племена на периферии существования культур крашеной керамики знали двугорбого верблюда уже в середине III тыс. до н.э. Появление верблюда Елена Ефимовна связывала с распространением ираноязычных племен. Той же позиции она придерживалась в книге 1994 г. [Она же, 1994]. В более поздней работе автор обращается к недавним раскопкам на юге Туркмении памятников анауской культуры и Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК), в частности, захоронениям верблюдов и лошадей в Гонур Деде [Она же, 2008, с. 180]. Действительно, проблему одомашнивания бактриана целесообразно рассматривать на фоне истории сложения БМАК. Е.Е. Кузьмина склоняется к мысли, что эта интереснейшая культура имела местную основу, вторым компонентом была культура Элама; при этом она допускала вероятность миграции населения, принесшего новую идеологию [Там же, с. 48].

При отсутствии письменных свидетельств о культуре бронзового века для реконструкции представлений людей этого времени естественно было обратиться к более поздним данным восточноиранской традиции. Еще в 1963 г. Е.Е. Кузьмина писала, что у ее носителей верблюд, согласно письменным свидетельствам, наряду с лошадей, — наиболее почитаемые животные. В «Авесте» он наделяется эпитетами «злой», «сильнейший», самый сильный среди самцов телесного мира. Верблюд — одно из воплощений Веретрагны, бога победы и грозы. Когда начались исследования памятников БМАК, В.И. Сарианиди интерпретировал изображения этого животного на печатях в этом же ключе, ссылаясь на ее статью [Сарианиди, 1976, с. 62].

В юбилейной статье, поздравляя Елену Ефимовну и желая ей дальнейших успехов в столь важных для науки исследованиях, я стремилась продолжить движение по намеченным ею путям. Новые находки на территории БМАК представляют для этого благодатный материал.

Сейчас наиболее аргументированным представляется мнение, что достоверно о существовании домашних верблюдов в анауской культуре можно говорить применительно к концу периода ранней бронзы (Намазга IV, 2700–2250 гг. до н.э.) [Кирчо, 2004]. Более ранняя датировка остается под вопросом.

Можно ли связывать появление и распространение домашнего верблюда с индоарийским или индоиранским этносами? В этом вопросе заслуживают внимания недавние исследования лингвистов, развивающие существующее мнение, сторонники которого полагают, что до индои-

ранцев на территории БМАК обитали носители более раннего языка-субстрата. Согласно им, термин, обозначающий верблюда, наряду с наименованиями ряда живых существ и т.д., был воспринят пришельцами из этого более древнего языка [Лубоцкий, 2010]. Имея в виду и это предположение, автор статьи при интерпретации памятников БМАК, как вообще дописменных или раннеписьменных культур, считает целесообразным опираться на анализ имеющихся археологических остатков конкретной культуры как элементов целостной системы и уже потом прибегать к всякого рода культурологическим построениям и аналогиям.

Установленный объем статьи вынуждает к лаконичности изложения. Для нашего исследования представляется целесообразным обратиться к двум группам источников, происходящих в первую очередь с Гонур Депе, исследуемому на протяжении многих лет центре Маргианы, предполагаемом городе или протогороде. Верблюды представлены здесь разнообразными материалами: их останками в погребениях и других ритуальных контекстах. Естественно привлечение вещей и иного происхождения, в том числе происходящих из грабительских раскопок, – это их изображения на различных вещах и печатях-амулетах. Кажется очевидным, что рассмотрение данных этих источников как взаимодополняющих позволяет реконструировать некоторые важные стороны представлений о месте этих животных в образе мира носителей БМАК.

Останки верблюдов в погребениях Гонур Депе достаточно многочисленны, и связываются они с вполне определенными контекстами. Кости верблюдов обнаружены в богатых захоронениях, расположенных компактно. Обилие приношений (несмотря на частые признаки ограблений) указывает на высокий социальный статус покойных. Погребальные камеры, по констатации исследователей, представляют собой подобию многокомнатных жилых построек с дворами. (Далее приводятся лишь самые общие сведения о некоторых информативных, с нашей точки зрения, захоронениях. При этом отмечаются находки вещей, важных в контексте отправлявшихся ритуалов.)

Погребение № 3200, определяемое авторами раскопок как «царское» или «аристократическое», состоит из четырех помещений и двора. Во дворе обнаружен полный скелет убитого на месте верблюда, скелеты лошади и трех, вероятно, здесь же

убитых людей, а также остатки четырехколесной повозки. Еще один, но разрозненный скелет верблюда находился в другой части двора. Во дворе же найдены два ритуальных каменных «посоха» и фрагменты также ритуальных каменных «колонок». Во всех помещениях, кроме одного, были фрагменты настенных мозаик с различными изображениями (голова кабана, птицы, рыбы). Найдено множество различных вещей, в том числе из драгоценных металлов. Примечательна фигурка женского существа с растущими из тела колосьями («богиня растительности»), металлические булавки с фигурными навершиями. По наблюдениям исследователей, погребение неоднократно вскрывалось для помещения останков новых умерших. Тогда были оставлены ценные предметы, помещавшиеся, в частности, в тайниках в стенках [Дубова, 2004, с. 265–276; Сарияниди, 2006, с. 158–164].

В погребении № 3210 в двух камерах находились останки шести-семи и лежавших отдельно от них двух человек, мужчин и женщин. В последнем случае они могли принадлежать убитым людям; поверх них лежали кости и целый череп верблюда [Сарияниди, 2006, с. 164–167]. На стенах одной из камер находились мозаики с изображениями грифонов, змей, заглатывающих животных, головки хищников. В.И. Сарияниди предположил: судя по каменным наконечникам стрел, здесь был похоронен воин. Среди каменных изделий – алебастровые «диски» и фрагменты каменных «посохов». Знаменательна находка каменной фигурки оседланной лошади и фрагменты серебряной сигнальной трубы, использовавшейся, возможно, при тренинге лошадей. Найдены скопления костей животных – верблюда, козы, теленка. Большое число (около 30) тарных сосудов, по-видимому, для жидкостей, предполагает участие в заупокойных ритуалах большого числа участников.

Погребение № 3220 [Там же, с. 170–175] – четырехкамерная гробница, в которой обнаружен почти полностью сохранившийся костяк человека и несколько скоплений разрозненных костей – свидетельства совершения неоднократных захоронений. В помещении 2, где лежал костяк, находилась печь, по предположению, для приготовления жертвоприношений, кирпичный столик, перекрытый досками. В целом конструкция гробницы, как и обозначенных под номерами 3200 и 3210, имитирует планировку дома. Она также была ограблена в древности, поэтому

большая часть вещей найдена в переотложенном состоянии. Здесь снова обнаружены фрагменты каменных «миниатюрных колонок» и «посохов», наконечники стрел, фрагменты мозаичного декора. Сохранившиеся элементы инвентарного комплекса указывают на высокий социальный статус погребенных. В непотревоженном стенном «тайнике» найдено более 20 металлических сосудов, из них 17 серебряных и два золотых, некоторые необычайно массивны. Донца трех серебряных сосудов украшены гравированными изображениями бактрианов; над одним из верблюдов – знак, напоминающий лук, на другом – растение. Великолепные рельефные изображения шагающих бактрианов помещены на стенку также серебряного банкообразного сосуда [Сарианиди, 2006, с. 173].

Существенно отличается от вышеописанных погребение № 3225 [Там же, с. 175–179]. Это котлован, засыпанный сразу же после помещения в него содержимого. По его периметру находилось пять человеческих черепов и не менее пяти полных скелетов молодых мужчин, в том числе несущих следы насильственной смерти. Обычный в погребениях сопровождающий инвентарь (украшения, сосуды и т.д.) в данном случае отсутствовал. Вместе с человеческими костями лежали полные костяки старого и молодого верблюда, а также колеса и сидение четырехколесной повозки. Аналогичным было погребение № 3240, ограбленное в древности. Здесь расчищены останки 14 человек, перемешанные с фрагментами костей двух верблюдов, коровы или быка, теленка, двух собак. Судя по публикации, пять человеческих скелетов в анатомическом порядке лежали на дне котлована.

Погребения с верблюдами, как показывают присущие им признаки – особая конструкция сооружения, богатый и разнообразный, в том числе импортный, инвентарь, сопровождающие захоронения принесенных в жертву людей особые ритуальные вещи («колонки», «посохи» и т.д.), повозки, предметы вооружения, в том числе, вероятно, привозные (см. ниже), явно принадлежали социально выдвинутым членам общества. В.И. Сарианиди сравнил эти погребения с царскими гробницами Ура [Сарианиди, 2006, с. 186].

Захоронения представляют наиболее полные свидетельства ритуальных действий, поскольку умершие играли одну из центральных ролей в представлениях о мире и обрядах, являясь по-

средниками между человеческим и сверхчеловеческим, миром людей, загробным миром, природой, богами.

Примечателен так называемый мавзолей (погр. № 3900), яма с жертвенными приношениями [Он же, 2010, с. 241–242]. В центре ее находилась четырехколесная деревянная повозка с колесами двух, вероятно, впряженных в нее ослов. Рядом располагался огромный металлический котел емкостью более 200 л, что указывает на большое число участников ритуального действия.

В яму были сброшены семь убитых юношей и (на разных уровнях) семь убитых собак, на останках двух лежали каменные «посохи». Найдена также медно-бронзовая «подставка» из семи расположенных вертикально друг над другом полых шаров. Подобная, замечает автор статьи, найдена в одной из гробниц.

Здесь не было найдено останков верблюдов, но весь набор находок напоминает те, которые зафиксированы в захоронениях № 3225 и 3240. Можно согласиться с предположением В.И. Сарианиди: «мавзолеи» были не обычными гробницами, а представляли вместилища «различного инструментария», необходимого для совершения празднеств, возможно, типа Науруза [Сарианиди, 2010, с. 243]. Однако то, что включает «инструментарий» (человеческие жертвоприношения, в частности), позволяет думать, что прагматика ритуалов могла быть различной. Все их, как можно думать, объединяло то, что они совершались при участии многих людей.

При всех различиях ритуальных контекстов – от захоронений людей до захоронений вещей, использовавшихся в публичных ритуалах, – прослеживаются общие признаки. Они – следы обрядов, по терминологии, давно предложенной А. Ван Геннепом, переходных. В них для преодоления трудностей переломных ситуаций образ мира реализовался с большей или меньшей степенью полноты, в словесной и визуальных, вещных и действенных формах, чем достигалось восстановление гармонии, временно нарушенной в макро- и микрокосмосе.

Среди захоронений животных разных видов, обнаруженных на территории БМАК, особое место принадлежит мелкому рогатому скоту. Бараны, козы и их детеныши – одни из самых распространенных жертв-заместителей людей в обширных регионах Востока. Применительно к интересующей нас культуре данные о них мно-

гократно публиковались. В статье, посвященной таким захоронениям на Гонуре, Н.А. Дубова заключает: погребения людей вместе с животными в Маргиане, «...также как и захоронения молодых баранов (в том числе ягнят), представляют собой принципиально важный элемент в культовой, погребальной обрядности обитателей Бактрии и Маргианы».

Яркий пример – так называемое «погребение агнца» у центрального входа в крепость Северного Гонура [Sarianidi, 1998a, с. 73–75]. Оно состояло из трех камер. В главной лежал ягненок без головы и костей передней части скелета. Здесь же находился сосуд, кремневые наконечники стрел, шкатулка с инкрустацией, каменная «колонка» и каменный «посох» с металлическим навершием. В другой камере обнаружено более двадцати сосудов, в третьей – два полных скелета верблюдов и три серебряные булавки, как замечает В.И. Сарияниди, – приношения «самому агнцу» [2006, с. 191–192].

Образ верблюда мог визуализироваться в погребальных ритуалах различным образом. Так, в богатом мужском и женском погребении № 2900 найдена серебряная булавка с навершием в виде шагающего верблюда. Здесь помимо бронзовых наконечника копья и навершия булавы найден так называемый «секач». Эти рубяще-колющие предметы вооружения известны в Египте, Сиро-Палестине. Они изображались в руках знатных людей и богов. Обнаружены они и в Эламе, и в грабленных погребениях древней Бактрии (Афганистан) [Сарияниди, 2006, с. 190]. За пределами камеры находилось захоронение животных. В.И. Сарияниди сравнивал погребение № 2 900 с погребениями в Сирии и египетском Аварисе, где жили выходцы из Сирии.

В связи с вероятными контактами носителей БМАК с сиро-палестинским регионом упомянем печати и их оттиски с территории Маргианы, изображения на которых свидетельствуют о влиянии с запада. Д. Коллон связывает их появление с интенсивными торговыми связями между ассирийскими колониями (карумами) в Анатолии. Тогда, в начале II тыс. до н.э., торговцы могли получать олово с востока, замечает она, с северо-запада Афганистана [Collon, 1987, p. 41, 142]. Вероятно, олово могло поступать и из более северных областей, при этом транзитная торговля проходила через территорию Маргианы. Не исключено и даже вероятно, судя по изображени-

ям на печатях (см. ниже), что верблюды использовались для перевозки различных грузов.

Представители мелкого рогатого скота в качестве ритуальных заместителей – наиболее распространенное животное в ритуалах и, естественно, представлениях земледельцев и скотоводов Востока. В классификациях животных БМАК верблюд занимал более высокую ступень, почему его полные костяки находят в явно элитарных захоронениях. Р.М. Сатаев счел возможным связывать и останки отдельных костей верблюдов с искупительными ритуалами. Их находят, в частности, в печах, где готовилась пища для разных случаев, в том числе, как он замечает, ритуальных [Сатаев, 2008, с. 144, 145, 156]. По ходу дела заметим, что люди древности (как, впрочем, и более позднего времени) не отделяли профанное употребление животных в пищу от ритуала.

В обрядах погребения людей и в других ритуалах, остатки которых обнаружены в «мавзолеях», верблюды должны были играть роль перевозчиков, на что с безусловностью указывают хорошо сохранившиеся четырехколесные повозки. Мотив пространственного перемещения как нельзя лучше укладывается в контекст переходного обряда. Аналогии таким ритуалам хорошо известны благодаря исследованиям этнографов. Приведем лишь несколько примеров. У казахов покойника везли на верблюде, которого в конце пути резали и погребали в одной с ним могиле [Толеубаев, 1991, с. 99]. Верблюд – перевозчик умершего в иной мир. Но эта функция в погребально-поминальной обрядности не единственная.

К семантическому полю образа верблюда принадлежат и его ассоциации с плодородием и деторождением, в широком смысле – благополучием субъектов ритуальных действий. Так, в частности, у киргизов в одной из областей во время главных годовых поминок верблюда нагружали всяким добром и привязывали к колышку, а нагая (!) женщина должна была быстро отвязать его и в случае успеха забирала себе [Губаева, 2001, с. 170]. У казахов и киргизов бытовал «эротический ритуал», устраивавшийся на годовых поминках, когда обнаженная женщина отвязывала верблюда, привязанного к колу пестрой (последнее важно) веревкой. Обряд рассматривают как классическое шаманское действо для окончательных проводов души умершего в загробный мир; он содержал и испрашивание плодородия у небесных сил [Кукашев, 2005, с. 215]. Реализацию аналогичных

представлений о свойствах верблюда можно усматривать в шаманском ритуале лечения бесплодия у казахов, когда этот недуг переводился на задохший череп коня, верблюда или семь кукол. Для благополучного течения болезни следовало поедать мясо верблюда [Толеубаев, 1991, с. 54, 144].

К этому же полю значений принадлежит обряд, известный у уйгуров. Для обеспечения благополучных родов роженица должна была трижды проползти под брюхом верблюда [Чвырь, 2006, с. 76].

В образе мира народов, хорошо знакомых с верблюдами, разводивших их и различным образом использовавших в хозяйстве, всегда акцентировались такие свойства этих животных, как сила, в том числе сексуальная, свирепость, особенно проявлявшаяся в период гона. По этим признакам они сближались с конями, быками, осликами, баранами. В связи с этим они были участниками различных празднеств – Навруза с сопровождающими его действиями, в том числе стрельбой из лука, а также такого важного переходного обряда, как обрезание. Сведения на этот счет также многочисленны [Чвырь, 2006, с. 92, 199, 203].

Как уже говорилось в начале статьи, для реконструкции образа верблюда в религиозно-мифологическом комплексе носителей БМАК представляется целесообразным привлекать изобразительные памятники. Среди них – скульптурные изображения на бортиках глиняных сосудов и многочисленные плоские каменные и металлические печати-штампы и цилиндрические печати. Вещи обеих категорий, к сожалению, во многих случаях происходят из неопределенных контекстов, однако сопоставление их с хорошо документированными позволяет использовать их как носителей полноценной информации.

Скульптурные изображения редко представлены целыми образцами, т.к. сосуды были хрупкими, поскольку, возможно, предназначались для кратковременных ритуалов. Скульптуры изображали животных, населяющих три зоны мира – землю (собака или волк, горбатый бык, козел, кабан, верблюд), подземный и наземный мир, в том числе условно переданные существа, похожие на лягушек и тюленей. Особенно многочисленны змеи, ползущие по стенке сосуда вверх к «наземным» существам, чтобы коснуться их. Встречаются изображения птиц. Найдены и антропоморфные фигурки – мужская с заткнутым за пояс топором и предположительно женская с неким предметом

в руках. В.И. Сарианиди считал возможным привлекать для их интерпретации образы и сюжетные ситуации индоиранской мифологии.

Для этих скульптурных композиций характерен мотив противостояния как насельников одной зоны – животных, изображенных мордами друг к другу, антропоморфных существ, так и разных зон. Особенно выразительно воплощают его композиции со змеями, ползущими к расположенным над ними животным. (Заметим, что змей считали способными перемещаться между разными мирами, почему на разных вещах их изображали крылатыми.) Вряд ли можно сомневаться в том, что эти композиции должны были передавать кульминационный момент в жизни мира, а сами сосуда фигурировали в сезонных и других, построенных по общей модели, ритуалах [Антонова, 2004].

Наконец, остановимся на изображениях верблюдов на печатях-амулетах, где их фигуры одиночны или входят в композиции на одной или обеих сторонах штампов; изображения на цилиндрических печатях редки, как и сами печати такой формы. Сейчас можно считать установленным, что изображения на двух сторонах дополняли друг друга. Приведем описания лишь некоторых образцов).

Одиночные фигуры представлены на односторонних металлических печатях (здесь и далее ссылки приводятся по книге В.И. Сарианиди [Sarianidi, 1998b, № 108–110] № 111 – изображение совокупляющихся верблюдов).

На двусторонних печатях известны изображения верблюда, которого ведет за повод маленький человек, возможно, мальчик. Такова печать из афганского Дашлы-3: с одной стороны – маленькая фигурка человека с верблюдом, с другой – растение с двумя ветвями и двумя сидящими на них птицами (№ 888). На печати с узбекского Сапаллитепа на одной стороне изображен верблюд с повернутой назад головой, с другой – бегущий, очевидно за ним, человек [Аскаров, 1977, с. 78].

На каменной печати № 916 на одной стороне изображен бактриан, ведомый человеком, на другой – мифический персонаж с орлиной головой, в юбке, держащий за хвосты двух змей; над его плечами – две фигуры козлов. На другой печати (№ 919) с одной стороны – верблюд, перед которым знак в виде вертикальной плетенки, с другой – персонаж с головой животного (?), в юбке, с поднимающимися из плеч волнистыми лини-

ями (крылья? языки пламени?). Позади него – бык и змея.

Из погребения на Тоголоке-1 происходит печать с изображением с одной стороны верблюда, змеи и растения (?). На другой стороне – горбатый бык и змеедракон (№ 1635).

Примечательно изображение крылатого, но безгорбого (возможно, из-за желания передать крылья) верблюда с длинным закинутым на спину хвостом (№ 958). На обороте – орел с простертыми крыльями. Закинутый хвост – характерная деталь изображений верблюдов (см. № 108–110). Таким образом, очевидно, передавали их возбужденное, «воинственное» состояние.

Упомянем композиции на двух цилиндрических печатях с поселений дельты Мургаба. На одной (№ 1770) хорошо читается изображение бактриана, которого держит за повод человек, сидящий с одним поднятым коленом. За верблюдом – горбатый бык, над ним – собака. На оттиске другого цилиндра на булле (№ 1761) – стоящая нагая женщина с поднятыми руками, перед ней – собака, далее – бактриан. Между женщиной и собакой – фаллический символ. На фрагментированном подпрямоугольном основании печати вырезано три орла.

Примечательно значительное число изображений верблюда, ведомого человеком. Из опубликованных В.И. Сарияниди на их долю приходится почти половина.

Уникален фрагмент хлоритовой печати-амулета из «храма» Тоголока-21 (№ 1634). Изображения нанесены на три плоскости. Одна из сторон представляет фигуру верблюда, изогнувшегося назад так, что он как будто кусает свою же заднюю ногу. Грива и ряд деталей великолепно проработаны. Животное явно находится в ярости. Неестественность его позы послужила основанием для предположения, что это – часть изображения двух дерущихся верблюдов, подобные которым были распространены в степях в железном веке [Королькова, 1999, с. 91]. Против этого высказался, в частности, А.-П. Франкфор [Francfort, 2005, с. 712–713], полагающий, что изображен один верблюд. На обороте в двух полях, разделенных горизонтальной плетенкой, вверху – бегущий бык и нога несохранившейся фигуры опрокинутого им человека. Над ними парят три «орла». Вся композиция окружена чем-то, переданном кружками. В нижнем поле – фрагменты фигур двух людей, полусидящего и полуупавшего. На третьей плоскости этой необычной «печати», ее основа-

нии, сохранилась часть сцены охоты на козлов, стоящих по сторонам условно переданной горы. Сохранилась и фигура собаки, лук и две пущенные из него стрелы. Сочетание фигуры верблюда и мотива охоты заставляет вспомнить изображение верблюда и знака лука над ним на серебряном сосуде из погребения № 3220 с Гонур Депе [Сарияниди, 2006, с. 171, 172].

Вещь вызвала широкий интерес, в том числе в связи с генезисом нанесенных на нее изображений, истоки которых видели в Сирии и других регионах Ближнего Востока, в Мохенджо-Даро и др. Один из вопросов – случайно ли сочетание сцен? Случайность кажется маловероятной. В многочисленных зафиксированных этнографами обрядах игры с быком и охота на горных козлов были составной частью сезонных и других связанных с ними ритуалов (возрастных, перемены социального статуса). Характерна и фигура главного персонажа этой вещи, верблюда, изображенного, по-видимому, в период гона (приходящегося на январь–февраль) или в другой ситуации, но в любом случае в момент напряжения сил этого мощного животного.

Рассмотрев изображения на этой печати, А.-П. Франкфор в упомянутой выше статье задается вопросом: указывают ли сцены на ней, вся их «программа», на деятельность правящей элиты? Мне думается, что на этот вопрос можно ответить положительно. Вероятное изображение игры с быком, охота на горного козла, разъяренный верблюд – все эти мотивы предполагают временную привязку. Предположительно это переломный момент года, новогодие, когда совершались обряды, очевидно, с участием представителей элиты. Он допускает, что «программа» изображений связана с весенними празднествами, в которых участвовали верблюды и быки, а также проводились охоты на животных.

Сведения о празднествах Нового года у народов Гиндукуша, сохранивших древние традиции, собраны К. Йеттмаром. Так, у калашей они приходились на зимнее солнцестояние. Обряды были направлены на обеспечение благополучия людей, животных и растений. При этом, как обычно для таких ситуаций, обращались с жертвами к предкам. В это же время происходила смена предводителей ритуалов и хозяйственной жизни, отправлялись возрастные обряды; в частности, мальчики переходили в группу мужчин [Йеттмар, 1986, с. 176, 401–407]. Аналогичные обряды в это

же время происходили у кафиров-кати. В это время охотились на горных козлов, что здесь, как и у других народов, считалось сакральным действием. Такая охота почиталась самым благородным спортом. Это время состязаний, в том числе в стрельбе из лука [Там же, с. 145–146].

Семантика и прагматика изображений на вещах, которые лишь условно можно именовать печатями, многосложны. Служить знаками собственности – не самая главная их функция. Вне сомнений, изображения самым интимным образом были связаны с личностью человека, которому они принадлежали. Эти вещи со всеми их элементами (формой, изображениями обрядово-мифологического характера) были призваны определить место члена той или иной социальной группы в сообществе, утвердить его на этом месте и обеспечить его благополучие. Возможно, эти личные знаки изготавливались для владельцев в какие-то важные, поворотные моменты жизни. Быть может, фигурка человека, ведущего верблюда, была знаком некоего статуса, приобретенного во время празднества, на который указывают другие изображения композиций с его участием.

Памятники БМАК показывают, насколько информативными могут быть археологические данные, рассмотренные не как случайное скопление остатков жизнедеятельности древних, а как система, элементы которой взаимосвязаны. Бесписьменные сообщества оставляют, особенно будучи оседлыми, достаточно свидетельств своей культуры не только в археологическом, но и в общечеловеческом смысле. Их анализ в контексте бытующей сейчас научной парадигмы позволяет реконструировать сферу «духовной» культуры, поскольку она неотделима от всей материальной практики людей.

Использование образов животных в осмыслении мира – древнейший способ, присущий человечеству. Мера вовлеченности различных животных в структурирование мира и у охотников и собирателей, и у оседлых носителей производящего хозяйства диктовалась многими обстоятельствами. Одомашнивание животных теснейшим образом связано с определением их места в обрядах и религиозно-мифологических представлениях. Археологические данные показывают, что верблюд относительно поздно стал широко использоваться в хозяйстве как более или менее специализированном скотоводческом, так и оседло-земледельческом. Часть населения

Центральной Азии с древними традициями производящего хозяйства, носителей БМАК, лишь достигнув высокого уровня развития сложноструктурированных обществ, стала систематически манипулировать образом верблюда как многосложным знаком. Он стал принадлежностью сформировавшейся элиты, в ведении которой находились регулирование производства продуктов питания, ремесло и торговля, защита от военной опасности. Усложнение социальной структуры неотделимо от сложения более дифференцированного образа мира, с чем связана более высокая, чем прежде, визуализация символических элементов его системы.

Создатели «периферийных» культур с древними корнями на позднем этапе эпохи бронзы гораздо больше, чем прежде, стали вовлекаться в жизнь государств, существование которых к тому времени насчитывало многие сотни лет. Контакты происходили, в первую очередь, на уровне элит, заимствовавших знаки статуса из более развитой среды. Под ее влиянием традиционные образы мировосприятия приобретают новые черты. Вещные остатки демонстрируют, что верблюд – мощное животное со всеми его биологическими особенностями – становится знаком в различных семиотических аспектах. Он фигурирует в образе мира на верхней иерархической ступени. Семантическое поле этого мифологического образа чрезвычайно широко. За конкретной реализацией его в разных формах и контекстах, в погребениях, жертвенных комплексах, изображениях на различных вещах стоит, в конечном счете, целостная картина мира, элементы которой в человеческом обществе и природе пронизаны многообразными взаимоотношениями.

Список литературы

- Антонова Е.В. Еще раз о культовых сосудах БМАК // У истоков цивилизации: сб. ст. к 75-летию В.И. Сарианиди. – М., 2004.
- Аскаров А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент, 1977.
- Губаева С.С. Путь в Зазеркалье: похоронно-поминальный ритуал в обрядах жизненного цикла // Среднеазиатская этнография. – М., 2001. – Вып. 4: Сборник памяти В.Н. Басилова.
- Дубова Н.А. Могильник и царский некрополь на берегу бассейна Северного Гонура // У истоков цивилизации: сб. ст. к 75-летию В.И. Сарианиди. – М., 2004.
- Йеттмар К. Религии Гиндукуша. – М., 1986.

Кирчо Л.Б. Формирование древнейшей протого-родской цивилизации бронзового века (по материалам Алтын-Депе) // У истоков цивилизации: сб. ст. к 75-летию В.И. Сарияниди. – М., 2004.

Королькова Е.Ф. Образы верблюдов и пути их развития в искусстве ранних кочевников Евразии // АСГЭ. – СПб., 1999. – № 34.

Кузьмина Е.Е. Древнейшая фигурка верблюда из Оренбургской обл. и проблема доместикации бактрианов // СА. – 1963. – № 4.

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М., 1994.

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М., 2008.

Кукашев Р.Ш. «Эротический ритуал» отвязывания верблюда в поминальной обрядности казахов и кыргызов // VI Конгресс этнографов и антропологов России С.-Петербург, 28 июня – 2 июля 2005 г. – СПб., 2005.

Лубоцкий А. Кто были жители Гонура и на каком языке они говорили? // На пути открытия цивилизации: сб. ст. к 80-летию В.И. Сарияниди. – СПб., 2010. – (Тр. Маргиан. археол. экспедиции).

Сарияниди В.И. Печати-амулеты мургабского стиля // СА. – 1976. – № 1.

Сарияниди В.И. Царский некрополь на Северном Гонуре // ВДИ. – 2006. – № 2.

Сарияниди В.И. Площадь «общественных трапез» в Маргиане // На пути открытия цивилизации: сб. ст. к 80-летию В.И. Сарияниди. – СПб., 2010. – (Тр. Маргиан. археол. экспедиции).

Сатаев Р.М. Животные в хозяйстве и духовной жизни древнего населения Гонур-депе // Труды Маргианской археологической экспедиции. – Ашхабад, 2008. – Т. 2.

Толеубаев А.Т. Реликты домусульманских верований в семейной обрядности казахов. – Алма-Ата, 1991.

Чвырь Л.А. Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв. – М., 2006.

Collon D. First impressions: Cylinder seals in the Ancient Near East. – L., 1987.

Francfort H.-P. Note on the “acrobat and bull” motive in Central Asia // Центральная Азия: источники, история, культура: мат-лы междунар. конф., посвящ. 80-летию Е.А. Давидович и Б.А. Литвинского. – М., 2005.

Sarianidi V. Margiana and Protozoroastrism. – Athens, 1998a.

Sarianidi V. Myths of Ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets. – M., 1998b.

СТРАТИГРАФИЯ АЛТЫН-ДЕПЕ И ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ И ХРОНОЛОГИИ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА ЮЖНОГО ТУРКМЕНИСТАНА

Одной из важнейших областей научных интересов выдающейся исследовательницы древних культур Евразии Е.Е. Кузьминой являются вопросы хронологии и синхронизации памятников и культур так называемой степной бронзы и южного пояса древних цивилизаций. В одной из своих последних работ Елена Ефимовна справедливо указывает, что в настоящее время наметились определенные противоречия между системами абсолютного датирования культур эпохи поздней бронзы степной зоны Евразии, основанных на культурно-исторической синхронизации с комплексами Европы, оседло-земледельческих памятников Средней Азии и китайской цивилизации, с одной стороны, и на калиброванных радиоуглеродных датах, полученных в последние годы, – с другой [Kuzmina, 2008, с. 116–120]. В связи с этим нам представляется немаловажным еще раз остановиться на стратиграфии многослойных поселений Южного Туркменистана V–II тыс. до н. э.

Основой изучения среднеазиатских памятников эпох энеолита – раннего железа остается периодизация, предложенная Б.А. Куфтиным и дополненная В.М. Массоном [Куфтин, 1956; Массон, 1956а, б, 1959]. Эта периодизация, основанная на данных стратиграфии Намазга-депе – самого крупного на территории Туркменистана поселения эпохи палеометалла и поселения Яз-депе в Маргиане, отражает, в первую очередь, последовательную смену наиболее ярких черт керамических комплексов, связанных с изменениями технологии гончарства и системы орнаментации керамики. В результате стратиграфических исследований Намазга-депе были выделены шесть

основных этапов развития культурных комплексов энеолита – бронзы: ранний энеолит – период Намазга I и средний энеолит – период Намазга II (конец V – IV тыс. до н. э.), поздний энеолит – период Намазга III (конец IV – первая половина III тыс. до н. э.) [Массон, 1964, с. 126, 147], ранняя бронза – период Намазга IV (середина – вторая половина III тыс. до н. э.), средняя бронза – период Намазга V (первая половина II тыс. до н. э.) и поздняя бронза – период Намазга VI (середина – вторая половина II тыс. до н. э.) [Массон, 1956а, с. 239, 243, 249], а на Яз-депе – три этапа развития комплексов раннего железного века: период Яз I (конец II – начало I тыс. до н. э. [Массон, 1956а, с. 251] – или 900–650 гг. до н. э. [Массон, 1959, с. 48], период Яз II (650–450 гг. до н. э.) и период Яз III (450–350 гг. до н. э.) [Там же].

Именно потому, что периодизация Куфтина–Массона была построена на данных прямой стратиграфии культурных отложений и фундаментальных закономерностях развития производства, она остается, несмотря на имевшиеся попытки ее пересмотра, базисной для любых хронологических и культурных определений среднеазиатских памятников эпохи палеометалла.

Дальнейшее изучение многослойных поселений Южного Туркменистана эпохи энеолита и бронзы позволило дать более подробную периодизацию, детализировать культурно-исторические характеристики, значительно удревнить часть абсолютных датировок и уточнить соотношение комплексов внутри основных этапов [Массон, 1982, 2006]. Для IV и III тыс. до н.э. принципиально важными являются данные стратиграфии

[illegible]

ней бронзы (финальный этап существования Алтын-депе) времени позднего Намазга V [Кирчо, 2005б, с. 321; 2009б, с. 11; Кирчо, Коробкова, Массон, 2008, с. 48–50].

Одним из важнейших результатов стратиграфических исследований Алтын-депе стало определение на культурно-историческом уровне границ периода ранней бронзы (время Намазга IV), впервые выделенного как этап развития комплексов керамики на Намазга-депе. В.И. Сарияниди по материалам ограниченных работ 1960-х гг. на Хапуз-депе, Алтын-депе и Улуг-депе указывал, что смена периода позднего энеолита порой ранней бронзы определяется исчезновением полихромной росписи геоксюрского стиля и появлением измелченных постгеоксюрских орнаментов. Верхняя граница периода ранней бронзы определялась исчезновением росписи на сосудах [Массон, 1956б, с. 307].

Однако мы считаем, что по меньшей мере неточно определять относительные границы периода исчезновением росписи определенного типа или росписи вообще, тем более, что фрагменты керамики более раннего времени явно содержатся в напластованиях многослойных поселений и после прекращения бытования таких сосудов, просто в силу случайного попадания при перекопах, строительных работах или захоронениях. Следовательно, при таком подходе мы заранее получаем завышенные на несколько десятков лет (один-два строительных горизонта) границы периодов.

Определение границ периода ранней бронзы, как и других периодов развития культур, упирается в вопрос о формальном или содержательном уровне, на котором он решается. Речь идет о реальном содержании, которое мы вкладываем в понятие хронологического периода. Выделяется ли данный отрезок времени по определенным специфическим процессам, происходившим в это время, или это только условно проведенная граница, которую можно провести и раньше или позже на несколько десятков лет или, в археологическом выражении, на один-два строительных горизонта? Отражает ли относительная хронология реальную динамику процесса развития данной культуры или является формальной точкой отсчета? Вряд ли нужно доказывать, что, поскольку речь идет о значительном промежутке времени, в течение которого происходило развитие культуры, нужно пытаться определить границы периода на содержательном уровне.

Поскольку на древнеземледельческих поселениях наиболее полными данными мы располагаем относительно керамики, в первую очередь нужно поставить вопрос, имеются ли в керамике периода ранней бронзы Южного Туркменистана, и Алтын-депе в частности, специфические черты и какие процессы были причиной их появления? Все написанное нами выше связано с тем, что в литературе высказывалось мнение, «что посуда уже самой ранней фазы комплекса ранней бронзы изготовлена на вращающемся инструменте». Сама по себе подобная констатация факта абсолютно верна, но дело не в том, что сосуды в период ранней бронзы изготавливали на гончарном круге, а в том, что появление и широкое освоение гончарного круга в керамическом производстве является тем специфическим процессом, который и позволяет выделить по керамике период ранней бронзы как определенный этап развития культуры древних земледельцев Южного Туркменистана.

Период ранней бронзы на памятниках типа Намазга-депе и Алтын-депе начинается с появления гончарного круга, и сигналом этого события служит нахождение в культурном слое поселений сосудов (или их обломков), хотя бы частично изготовленных с помощью гончарного круга. Внедрение и освоение новых приемов формовки сосудов увеличивало производительность труда, а увеличение объемов производства тормозилось, видимо, двумя последними звеньями технологической цепочки – нанесением орнамента и обжигом – малой производительностью ручной росписи и небольшим объемом одноярусных гончарных печей. Именно поэтому, когда посуду стали полностью изготавливать на круге (начиная с горизонта Алтын 6), на Алтын-депе резко сокращается количество расписной керамики – с 60 % до 25–22 %. Появление на позднем этапе периода ранней бронзы особой группы керамики с примесью мелкого песка в тесте, покрытой красным ангобом и неровно обожженной, является сигналом отработки режима обжига в гончарных печах нового, двухъярусного типа конструкции. Интересно, что эта неровно обожженная гончарная керамика позднего этапа периода ранней бронзы внешне очень напоминает лепные сосуды с примесью песка и известняка в тесте, с красным ангобом и черными пятнами неровного обжига времени Намазга II, прямо предшествующие геоксюрской полихромной посуде. И та, и другая

группа сосудов при всех различиях в формах и способах их формовки сходно являются сигналами внедрения и отработки нового режима обжига, перехода на новый тип гончарных печей – на двухкамерные печи периода среднего энеолита и на двухъярусные – периода развитой бронзы.

Таким образом, относительные границы периода ранней бронзы определяются двумя историческими событиями – появлением гончарного круга и появлением двухъярусных обжигательных печей.

Особое значение границы периода ранней бронзы Южной Туркмении имеет и для определения абсолютной хронологии культурных комплексов памятников Средней Азии. Дело в том, что появление гончарного круга в Южном Туркменистане (и соответственно начало периода ранней бронзы) явилось, скорее всего, результатом активных культурных взаимодействий населения подгорной зоны Копетдага и Южного Афганистана (Мундигака), Юго-Восточного Ирана (Шахри-Сохте) и, видимо, Северного Белуджистана. Многочисленные аналогии в комплексах артефактов (расписной посуды, антропоморфных изображений, металлических и каменных изделий, булл с оттисками печатей), строительных приемах, типах очагов, а также частично в погребальных сооружениях и составе инвентаря периода позднего энеолита Южного Туркменистана времени Намазга III (горизонты Алтын 13–9 Алтын-депе), Мундигака III и Шахри-Сохте I (горизонты 10–8) служат основанием для синхронизации этих этапов развития культуры памятников, принятой большинством исследователей. Подчеркнем, что на содержательном уровне эти аналогии отражают, вероятно, не только контакты и передвижения населения с разными традициями, но и некое единство формирующейся субкультуры (при участии геоксюрской и мундигагской традиций) в период становления раннегородских (или протогородских) центров в центральноазиатском регионе [Кирчо 2009б, с. 384–387]. В последнем по времени издании детальном анализе стратиграфии и хронологии Шахри-Сохте, предпринятом С. Сальватори и М. Този и основанном как на новейших калиброванных радиоуглеродных датах, так и на подробных сопоставлениях компонентов культурных комплексов, Шахри-Сохте I синхронизируется с периодом Джемдет-Наср – началом раннединастического I периода, а конец периода Шахри-Сохте I (и, соответственно, начало перио-

да Шахри-Сохте II, синхронного с началом периода ранней бронзы времени Намазга IV Южного Туркменистана) отнесен примерно к 2750 гг. до н.э. [Salvatori, Tosi, 2005, p. 285]. Таким образом, дополнительно подтверждены уже предложенные ранее абсолютные даты рубежа периодов Намазга III–IV (около 2800–2700 гг. до н.э.; [Кирчо, 2005а, с. 513]).

Несколько сложнее обстоит дело при определении абсолютных дат конца периода ранней – начала периода средней бронзы. На Алтын-депе напластования времени Намазга IV представлены строительными остатками 5–6 строительных горизонтов (Алтын 8–4) общей мощностью около 4 м, а времени Намазга V – остатками 4 горизонтов (Алтын 3–0) толщиной чуть более 3 м. Культурный комплекс Алтын-депе времени Намазга IV имеет близкие аналогии в комплексах Мундигака IV, 1, 2 и особенно в материалах поселения и могильника Шахри-Сохте периодов II и, частично, III [Кирчо 2009а, с. 388]. Чрезвычайно показательна находка крупного расписного хозяйственного сосуда-хума, типичного для комплекса времени позднего Намазга IV, на Шахри-Сохте в горизонте 4 периода III [Tosi, 1983a, p. 138, pl. LXI, fig. 21; 1983b, pl. XLIV, fig. 90], который датирован примерно 2400 гг. до н.э. [Salvatori, Tosi, 2005, p. 287, fig. 1, 12]. Отметим также, что на Шахри-Сохте к периоду II (2750–2500 гг. до н.э.) относятся четыре строительных горизонта 7–5А и 5В, общей мощностью около 3,2 м. Таким образом, конец периода Шахри-Сохте II и конец периода Намазга IV не совпадают во времени. Тем не менее в цитируемой выше работе итальянских специалистов [Salvatori, Tosi, 2005, p. 287, fig. 13], как и в нескольких более ранних синхронистических таблицах [Tosi, 1979, p. 169, 170; Nakemi, 1997, вклейка] горизонт Алтын 4 конца периода Намазга IV отнесен к периоду раннего Намазга V, хотя стратиграфическое и культурное положение горизонта Алтын 4 четко определено уже в самых ранних публикациях материалов Алтын-депе [Массон, 1967, с. 170, рис. 5]. Эта ошибка приводит к тому, что комплекс времени раннего Намазга V Алтын-депе часто датируется иностранными исследователями чуть ли не 2500 гг. до н.э., в то время как по стратиграфическому положению наиболее ранний комплекс времени Намазга V – Алтын 3, нужно синхронизировать с горизонтом 3 периода Шахри-Сохте III, датирующегося около 2300 гг. до н.э. [Salvatori, Tosi, 2005, p. 288,

fig. 13]. Ориентировочно такая дата комплекса Алтын 3 подтверждается и находками в так называемой гробнице жрецов серии древнеиндийских импортов (стеатитовая печать, плоская золотая бусина с пронизкой в центре, бусины из слоновой кости), а также предметов из стеатита («гирия», «жезл»), и та же золотая бусина, аналогичных предметам из «сгоревшего здания» и «погребения танцовщицы» конца периода Гиссар IIIВ на Тепе Гиссар.

Вопросы абсолютного датирования основных этапов развития культурных комплексов эпохи энеолита и бронзы Средней Азии постоянно привлекают внимание исследователей [Березкин, 1993; Радиоуглеродная хронология..., 2008, с. 166–179; Кирчо, Попов, 2005; Массон, 1981, с. 94, 95; Niebert, 1993; Kohl, 1984, p. 209–237; 1992].

Стратифицированные материалы Алтын-депе, единственного из всех исследованных поселений, где изучена непрерывная последовательность развития древней культуры на протяжении IV–III тыс. до н.э. и получена большая серия ^{14}C дат [Кирчо, Попов, 2005, табл. 1], в настоящее время являются опорными для построения системы как относительной, так и абсолютной хронологии Средней Азии эпохи позднего энеолита – средней бронзы.

Суммарный анализ калиброванных датировок образцов из разных строительных горизонтов Алтын-депе, полученных по методу ^{14}C [Там же, табл. 4], в целом, обобщенно, подтверждает этапы развития поселения, определенные археологическими методами, и общие представления о хронологии культурных напластований Алтын-депе для эпохи позднего энеолита – средней бронзы. По данным радиоуглеродного анализа, развитие Алтын-депе с 11 по 1 горизонт происходило наиболее вероятно в пределах 2915–1825 гг. до н.э. [Там же, с. 529].

В то же время, учитывая материалы из других памятников Южного Туркменистана, особенно полученные в последние два десятилетия даты комплексов периода среднего энеолита из Илгынлы-депе [Там же, табл. 3] и позднего этапа периода средней бронзы из Гонур-депе [Зайцева и др., 2008, табл. 1], а также непрерывную последовательность накопления культурных слоев Алтын-депе, можно предполагать, что развитие культуры эпохи среднего энеолита – средней бронзы на юге Средней Азии происходило в интервале 3650–1850 гг. до н.э. При этом на Алтын-депе материалы

позднего этапа периода средней бронзы представлены крайне ограниченно, в основном, в поверхностных слоях и в погребениях на ряде наиболее поздних участков (горизонт 0 на раскопах 8 и 9, горизонт 1 на раскопах 10, 12 и 16). Суммарная мощность напластований периода среднего энеолита – начала позднего этапа периода средней бронзы на Алтын-депе составляет около 14,5 м (строительные остатки времени позднего Намазга II – начала позднего Намазга V на раскопах 1, 5, 8, 9, 16, в шурфе 3 и мусорные напластования ялангачского времени в шурфе раскопа 11) и соответствует примерно 19–21 строительным горизонтам. Таким образом, скорость накопления культурного слоя составляла около 0,90 м за 100 лет при средней толщине строительного горизонта 0,70–0,75 м, накапливавшейся примерно за 80 лет. Учитывая эти наблюдения, синхронизацию с периодизацией Шахри-Сохте (и некоторых других памятников Среднего Востока; [Кирчо, 2009а] и суммарные датировки по ^{14}C , мы предлагаем следующие интервалы абсолютных дат для основных этапов развития Алтын-депе: период среднего энеолита (период Намазга II, ялангачское время) – 3650–3300 гг. до н.э.; конец периода среднего энеолита (период позднего Намазга II, раннегеоксюрское время) – 3300–3200/3100 гг. до н.э.; период позднего энеолита (период Намазга III, геоксюрское время) – 3200/3100–3000/2900 гг. до н.э.; поздний этап периода позднего энеолита (позднее Намазга III, постгеоксюрское время) – 3000/2900–2800/2700 гг. до н.э.; начало периода ранней бронзы (раннее Намазга IV) – 2800/2700–2600 гг. до н.э.; средний этап периода ранней бронзы (среднее Намазга IV) – 2600–2500/2400 гг. до н.э.; поздний этап периода ранней бронзы (позднее Намазга IV) – около 2400-х гг. до н.э.; начало периода средней бронзы (раннее Намазга V) – около 2300-х гг. до н.э.; средний этап периода средней бронзы (среднее Намазга V) – 2200–2100/2000 гг. до н.э.; начало позднего этапа периода средней бронзы (начало позднего Намазга V) – около 2000-х гг. до н.э., с максимально возможным удревнением начала этого последнего этапа средней бронзы до 2100-х гг. до н.э.

Поскольку к позднему этапу периода средней бронзы относится дворцово-культовый комплекс Северного Гонур Деппе [Сарианиди, 2005], который существовал вероятно не менее 200 лет, конец периода средней бронзы (Намазга V) и соответственно начало периода поздней бронзы

(Намазга VI) в Южном Туркменистане вряд ли можно относить ко времени более раннему, чем 1900-е гг. до н.э.

При стратиграфических исследованиях Вышки Намазга-депе было выявлено 9 строительных горизонтов (вышка 1–9) общей мощностью около 7 м, образованных напластованиями времени позднего Намазга V, а также раннего и позднего Намазга VI [Щетенко, 1972; 2000, с. 130–132, рис. 1]. Если предложенные нами расчеты скорости накопления культурного слоя верны, то продолжительность этих трех подпериодов должна была составить около 700 лет, что в определенной мере подтверждается находками керамики саргаринско-алексеевского типа XIV–XIII вв. до н.э. в кроющих горизонтах Вышка 10 на Намазга-депе и горизонте Теккем 6 Теккем-депе [Он же, 2000, с. 138]. Тогда начало раннего железного века (появление комплексов типа Яз I) в Южном Туркменистане должно относиться к XIII–XII вв. до н.э.

Список литературы

- Березкин Ю.Е.** Радиоуглеродные даты с Илгынлы-депе в Туркмении // КСИА. – М., 1993. – Вып. 209.
- Зайцева Г.И., Дубова Н.А., Семенцов А.А., Реймар П., Мэллори Дж., Югнер Х.** Радиоуглеродная хронология памятника Гонур-Депе // Тр. Маргианской археологической экспедиции. – М., 2008. – Т. 2.
- Кирчо Л.Б.** Заключение // Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын-депе). – СПб., 2005а.
- Кирчо Л.Б.** Стратиграфия Алтын-депе // Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын-депе). – СПб., 2005б.
- Кирчо Л.Б.** Основные направления и характер культурных взаимодействий населения Южного Туркменистана в V–III тыс. до н. э. // Stratum Plus. Кишинев; Одесса; Бухарест, 2005–2009. – СПб., 2009а. – № 2.
- Кирчо Л.Б.** Формирование древнейшего протогородского центра бронзового века Средней Азии (процессы культурной и технико-технологической трансформации): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – СПб., 2009б.
- Кирчо Л.Б., Коробкова Г.Ф., Массон В.М.** Техно-технологический потенциал энеолитического населения Алтын-депе как основа становления раннегородской цивилизации. – СПб., 2008.
- Кирчо Л.Б., Попов С.Г.** К вопросу о радиоуглеродной хронологии археологических памятников Средней Азии V–II тыс. до н.э. // Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын-депе). – СПб., 2005.
- Куфтин Б.А.** Полевой отчет о работе XIV отряда ЮТА-КЭ по изучению культуры первобытно-общинных оседло-земледельческих поселений эпохи меди и бронзы в 1952 г. // ТЮТАКЭ. – Ашхабад, 1956. – Т. 7.
- Массон В.М.** Первобытно-общинный строй на территории Туркмении (энеолит, бронзовый век и эпоха раннего железа) // ТЮТАКЭ. – Ашхабад, 1956а. – Т. 7.
- Массон В.М.** Расписная керамика Южной Туркмении по раскопкам Б.А. Куфтина // ТЮТАКЭ. – Ашхабад, 1956б. – Т. 7.
- Массон В.М.** Древнеземледельческая культура Маргианы // МИА. – М.; Л., 1959. – № 73.
- Массон В.М.** Средняя Азия и Древний Восток. – М.; Л., 1964.
- Массон В.М.** Протогородская цивилизация юга Средней Азии // СА. – 1967. – № 3.
- Массон В.М.** Алтын-депе. – Л., 1981.
- Массон В.М.** Энеолит Средней Азии // Энеолит СССР. – М., 1982.
- Массон В.М.** Культурогенез Древней Центральной Азии. – СПб., 2006.
- Особенности производства** поселения Алтын-депе в эпоху палеометалла / под ред. В.М. Массона. – СПб., 2001.
- Сарианиди В.И.** Гонур-депе: город царей и богов. – Ашхабад: Мирас, 2005. – 328 с.
- Средняя Азия** в эпоху камня и бронзы. – М.; Л., 2005.
- Хронология** эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын-депе) / под ред. В.М. Массона, Ю.Е. Березкина. – СПб., 2005.
- Щетенко А.Я.** Раскопки «Вышки» Намазга-депе // Успехи среднеазиатской археологии. Каракумские древности. – Л., 1972. – Вып. 1.
- Щетенко А.Я.** К проблеме периодизации культуры Намазга VI // Взаимодействие культур и цивилизаций. – СПб., 2000.
- Hakemi A. Shahdad.** Archaeological excavations of a Bronze Age center in Iran. – Rome, 1997.
- Hiebert F.T.** Chronology of Margiana and radiocarbon dates // Information bulletin of International Association for the Study of the Cultures of Central Asia. – М., 1993. – Iss. 19.
- Kohl Ph.L.** Central Asia, palaeolithic beginnings to the Iron Age. – Paris, 1984.
- Kohl Ph.L.** Central Asia (Western Turkestan): Neolithic to the Early Iron Age // Chronologies in old world archaeology. – Chicago, 1992. – Vol. 1.
- Kuzmina E.E.** The prehistory of the Silk Road. – Philadelphia, 2008.
- Masson V.M.** Altyn-depe. – Philadelphia, 1988.
- Salvatori S., Tosi M.** Shahr-i Sokhta revised sequence // South Asian Archaeology 2001. – P., 2005.
- Tosi M.** The proto-urban cultures of Eastern Iran and the Indus civilization. Notes and suggestions for a spatio-temporal frame to study early relations between India and Iran // South Asian Archaeology, 1977. – Naples, 1979.
- Tosi M.** Development, continuity, and cultural change in the stratigraphical sequence of Shahr-i Sokhta // Prehistoric Sistan. – Rome, 1983a.
- Tosi M.** Excavations at Shahr-i Sokhta, 1969–1970 // Prehistoric Sistan. – Rome, 1983b.

ПОГРЕБЕНИЯ ВАХШСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МОГИЛЬНИКЕ ГЕЛОТ (Южный Таджикистан)

Активная научная деятельность Елены Ефимовны Кузьминой, крупнейшего специалиста в области изучения бронзового века Евразии, включает в себя значительное число исследований по актуальным проблемам археологии эпохи бронзы Средней Азии. Большое внимание в работах Е.Е. Кузьминой уделяется памятникам бешкентской и вахшской культур эпохи поздней бронзы Таджикистана. Е.Е. Кузьмина, одна из первых, предложила отнести их к единой культуре [Кузьмина, 1972, с. 138, 139], и эта точка зрения в настоящее время находит свое подтверждение на памятниках, раскопанных в последние годы в долине р. Яхсу на юге Таджикистана.

В 2007–2010 гг. Южно-Таджикистанской археологической экспедицией Института востоковедения РАН и Института истории, археологии и этнографии Академии Наук Таджикистана были открыты новые памятники вахшской культуры – несколько могильников на лессовых холмах около кишлака Гелот Восейского района Хатлонской области, в 6 км к северо-западу от г. Куляб [Виноградова и др., 2009, с. 41–47].

В 2008–2009 гг. основные работы развернулись на раскопах 4 и 6 на левой стороне шоссе Гелот – Дарнайчи. Здесь, кроме вахшских погребений, было найдено несколько захоронений ранних этапов земледельческой сапаллинской культуры [Виноградова и др., 2010, с. 389–402].

На **раскопе 4** (общая площадь 407 кв. м) было открыто восемь погребений. Исследования показали, что захоронения № 2, 3 относятся к земледельческой сапаллинской культуре, а погребения № 1, 4–8 – к вахшской (рис. 1). Прослеживается следующая стратиграфия залегания почв: современный гумусный слой составляет около 30 см,

древний гумусный горизонт 30–40 см, затем следуют лессовые почвы с карбонатными конкрециями – «журавчиками», толщиной 1–1,3 м, и далее чистый лесс.

Среди вахшских захоронений этого раскопа особый интерес представляют захоронения 4–8. Впервые для вахшской культуры в долине р. Яхсу удается проследить подбойно-катакомбную конструкцию погребальных сооружений. Выявляется три типа: яма, подбой и катакомба, при этом погребальная камера в погребениях с подбоем или с катакомбой всегда вырыта в слое чистого лесса в сторону повышения склона холма. Вход в камеру в некоторых случаях закрывался кусками глины. Могилы не перекрывают друг друга и находятся на расстоянии от 2,5 до 6 м.

Погребение 4 подбойной конструкции, разграбленное (рис. 2, 1, 2). Конструкция входной ямы с подбоем хорошо читалась в борту раскопа. Дромос округлой формы, размером $0,9 \times 1$ м, глубиной 1,3 м. Погребальная камера ($1,2 \times 2,2$ м) вырыта в северо-западной части входной ямы в сторону повышения склона. У входа в камеру на глубине 1 м от древней поверхности лежала челюсть оленя, несколько ниже у южной стенки камеры расчищен череп человека с верхней челюстью. По всей поверхности камеры разбросаны черепки лепной миски (рис. 2, 5). Фрагменты керамики очень плохой сохранности. Под ними расчищен скелет взрослого человека в сильно скорченном положении на левом боку, головой на северо-запад. Часть головы отсутствует, сохранилась только нижняя челюсть с зубами. Под шейными позвонками были найдены бусины из сердолика – 24 шт. (рис. 2, 3) и пасты – 36 шт. (рис. 2, 4). По антропологическому определению зубы при-



Рис. 1. План раскопов 4–6.

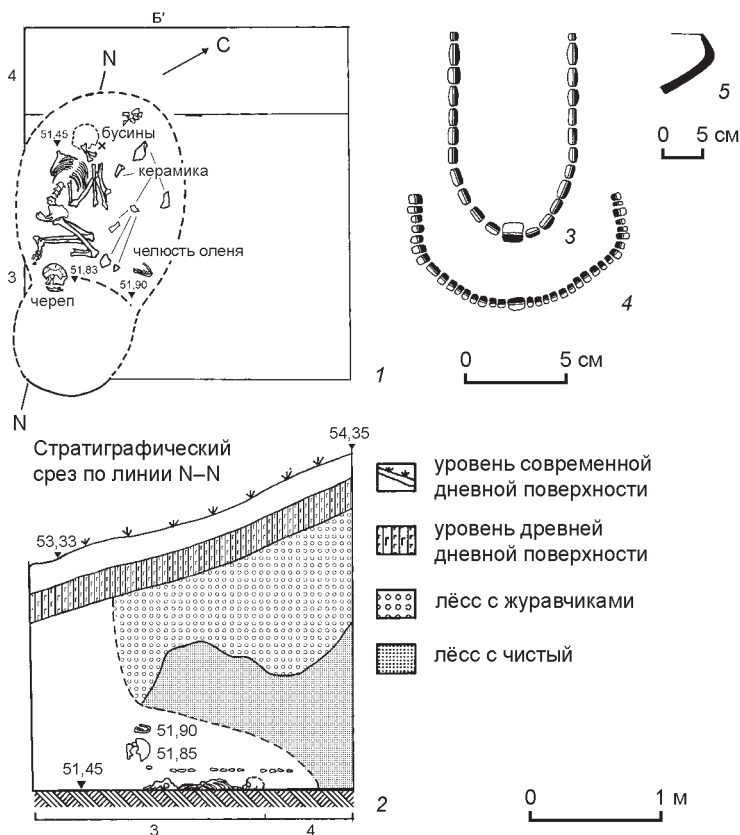


Рис. 2. Раскоп 4, погр. 4.

надлежат взрослому человеку 25–40 лет, кариес и зубной камень отсутствуют. Судя по положению костяка на левом боку и находки бус в погребении захоронение женское.

Погребение 5 находится на глубине 1,1 м от современной дневной поверхности холма (рис. 3, 1, 2). Погребальная камера округлой формы $1,2 \times 1,2$ м, заполнение – темный лёсс с карбонатными конкрециями. В центре захоронения расчищены три сосуда, череп и несколько костей ребенка 5–6 лет. Головой погребенный обращен на север. Сопровождающий инвентарь покойного состоял из трех сосудов: два «кубка» – один из них гончарный (рис. 3, 3), другой лепной с поправкой на кругу и на высоком кольцевом поддоне (рис. 3, 4) и третий сосуд – лепное блюдо круглодонной формы (рис. 3, 5). Вся внешняя поверхность «кубков» орнаментирована с помощью лощения узором «елочки». На блюде сохранились следы красного ангоба.

Погребение 6 катакомбной конструкции (рис. 4, 1, 2). Входная яма хорошо видна в разрезе раскопа. В древности могила была ограблена, и границы входной ямы точно не определяются. Дромос выкопан на глубине 0,5 м от современной дневной поверхности. Он овально-продолговатой формы, предположительно размером $1,3 \times 2$ м и глубиной около 1,5 м. По дну входной ямы и за ее границами разбросаны фрагменты керамики. Подбой со ступенькой вырыт в северо-западной части входной ямы в сторону повышения склона. Вход в погребальную камеру частично закрывали большие куски глины красновато-красного цвета с примесью белых камушков. Погребальная камера овальной формы размером $1,1 \times 1,4$ м; высота свода около 0,6 м. В погребении расчищен скелет в сильно скорченном положении, на правом боку, головой на северо-запад. Правая рука находится перед лицом, левая лежит на поясе в области поясничных позвонков. Череп разбит. По антропологическому определению пол погребенного – мужской, возраст *matures*. В результате реставрации удалось определить формы трех гончарных сосудов: «кубок» с ложением «елочкой» по всей поверхности (рис. 4, 3), блюдо (рис. 4, 4) и миска со слегка уплощенным дном (рис. 4, 5). Рядом с погребением на глубине 1 м был найден бронзовый предмет – шило или булавка (рис. 4, 6).

Погребение 7 находится в двух метрах к северо-востоку от захоронения 6 (рис. 5, 1, 2). Оно также катакомбной конструкции. Входная яма открыта на глубине 0,4 м от современной поверхности холма, она овальной формы размером $1,5 \times 2$ м, глубиной 1,3 м. На дне дромоса у входа в погребальную камеру на ступеньке высотой 0,25 м лежали большие куски глины, которые закрывали вход в камеру. Подбой вырыт в западной части дромоса в сторону повышения склона. Он овально округлой формы, размером $1,75 \times 2$ м; высота свода около 0,8 м. В северо-

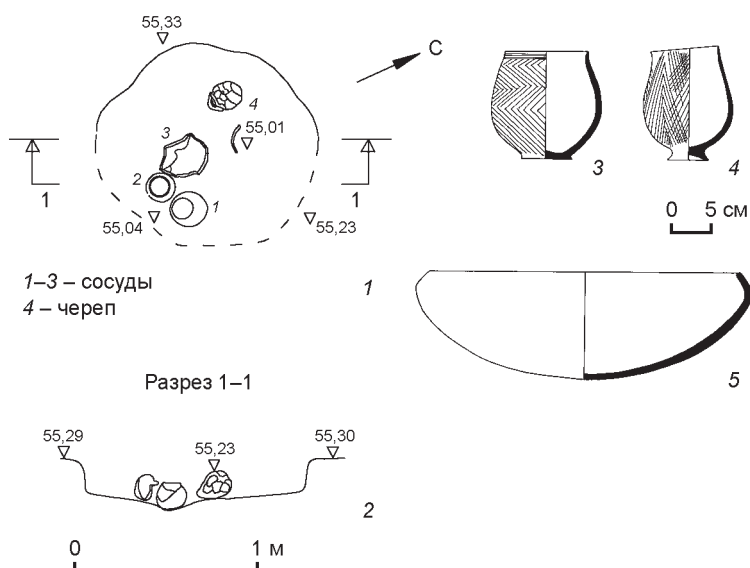


Рис. 3. Раскоп 4, погр. 5.

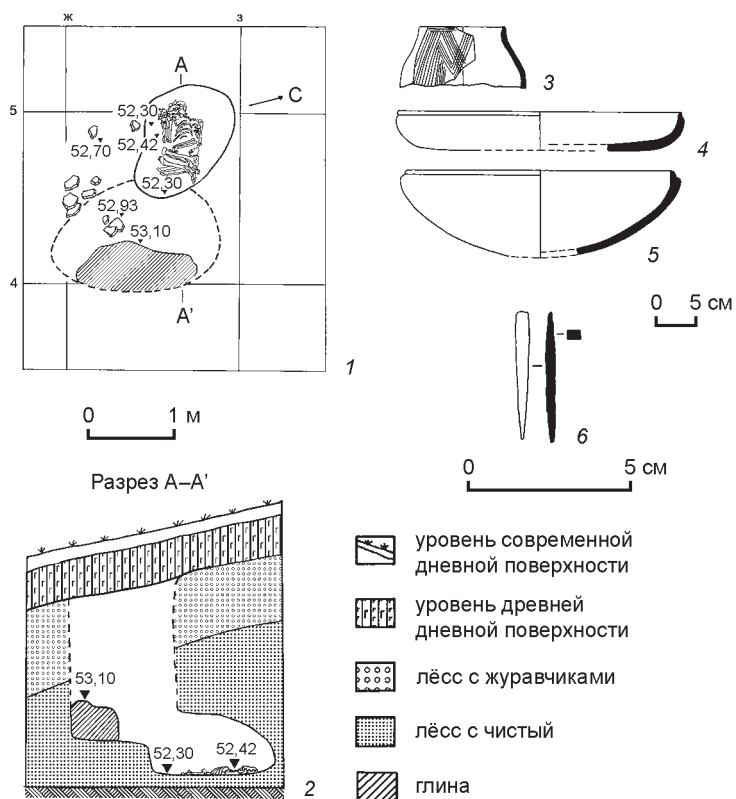


Рис. 4. Раскоп 4, погр. 6.

западной части камеры лежал скелет, на правом боку в сильно скорченном положении, головой на северо-запад. Руки согнуты в локтевом суставе, кисть правой находится перед лицом, левая –

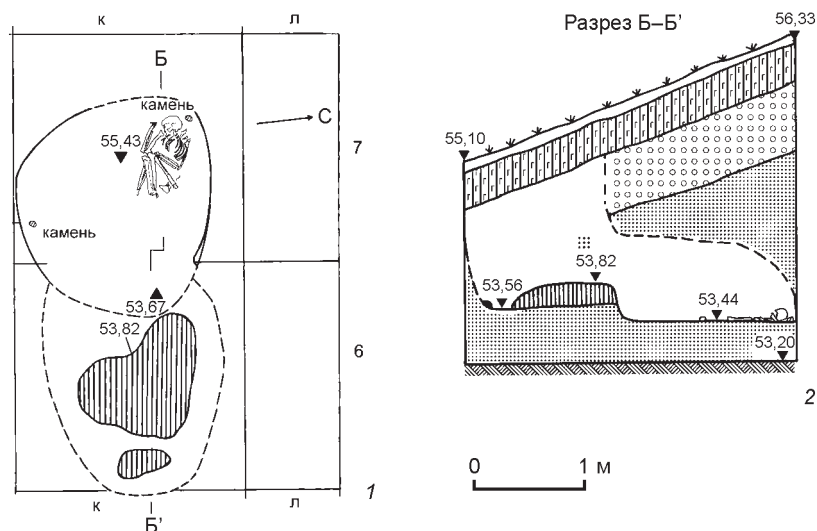


Рис. 5. Раскоп 4, погр. 7.

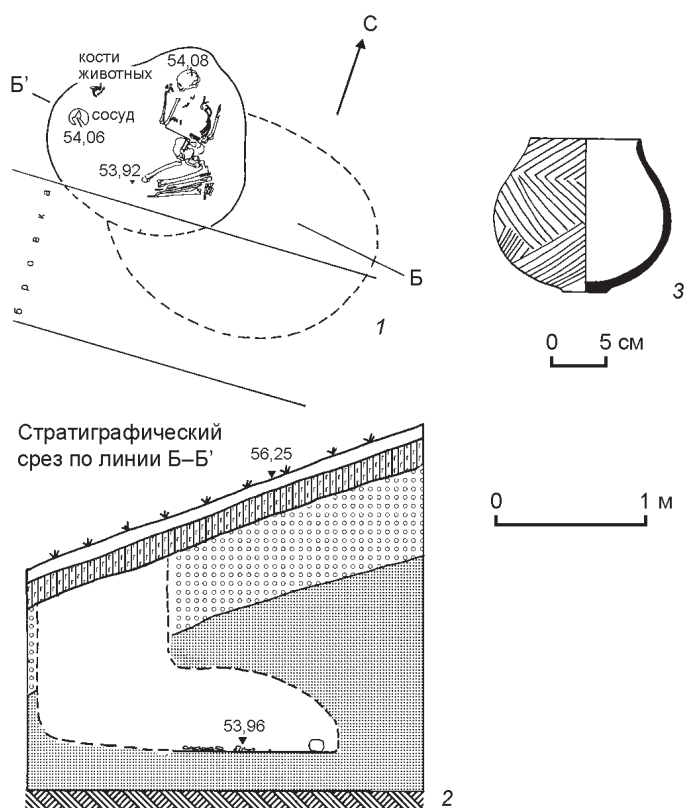


Рис. 6. Раскоп 4, погр. 8.

около груди. Погребальный инвентарь, за исключением двух галек, отсутствует. Пол погребенного — мужской, возраст — *matures I* (35–40 лет).

Погребение 8 расположено в трех метрах к юго-западу от захоронения 6 (рис. 6, 1, 2). За-

хоронение подбойного типа. Входная яма глубиной 1,3 м от древней дневной поверхности. Погребальная камера выкопана в северо-западной части дромоса в сторону повышения склона холма. Она округло-овальной формы 1,3 × 1,3 м; высота свода примерно 0,7 м. В восточной части камеры лежал костяк в скорченной позиции на правом боку, головой на северо-запад. Правая рука находится перед лицом, левая — у груди. Нижние конечности сильно подогнуты и подведены к тазу. По антропологическому определению пол мужской, возраст *matures/senilis*. В западной части камеры найден гончарный «кубок» с лощением «елочкой» по всей поверхности сосуда (рис. 6, 3) и расчищены мелкие кости животного (барана?).

Раскоп 6 (общая площадь 501 кв. м) первоначально был заложен на склоне холма между раскопами 4 и 5. В дальнейшем раскоп 6 был заметно расширен и соединен с этими раскопами (см. рис. 1). Всего здесь открыто 12 погребений: захоронения № 2, 5–7 относятся к земледельческой сапаллинской культуре и погребения № 1, 3, 4, 8, 9, 11–13 — к вахшской.

Стратиграфия залегания почв не отличается от раскопа 4, современный гумусный слой составляет от 20 до 30 см, древний гумусный горизонт около 40 см и далее следуют лессовые почвы: лесс с журавчиками — около 0,8 м и далее чистый лесс. На границе этих лессовых слоев, на глубине 1,1–1,3 м, встречаются погребения вахшской культуры. Ниже, на глубинах 1,9–2,2 м, в слое чистого лесса находятся захоронения земледельческой сапаллинской культуры. В некоторых случаях вахшские погребения перекрывают сапаллинские [Виноградова и др., 2010, с. 399, рис. 9].

Погребение 1 открыто на глубине 1,1 м (рис. 7, 1). Контуры погребальной ямы не читаются. Здесь находились разрозненные останки костяка. Череп сильно фрагментирован, частично сохранилась нижняя челюсть с зубами, а также отдельные

кости рук (локтевые) и ног. Предположительно скелет лежал на левом боку в скорченном положении. Пол не определяется из-за фрагментарности костей, возраст около 35–40 лет. Около головы погребенного стояло три сосуда: небольшой гончарный «кубок» на поддоне, половина большого кругового сосуда кубковидной формы и лепной сосуд с ушками-налепами (рис. 7, 2–4). Для керамики характерно лощение «елочкой» по внешней поверхности.

Погребение 3 найдено на глубине 0,9 м от современной поверхности (рис. 8, 1). Захоронение ямное, размеры погребальной камеры $1,2 \times 1$ м; она вырыта в слое лесса с карбонатными конкрециями. Захоронение фракционное. Череп покоится на базальной части, отсутствует верхняя часть черепной крышки. Лицевой скелет раздавлен. Длинные кости находятся за затылочной частью черепа, по бокам выложены кости нижних конечностей. В средней части находятся длинные кости верхних конечностей – локтевые и плечевые. Позвонки, ребра отсутствуют. Зубы не стерты. Головой погребенный ориентирован в северо-западном направлении. Рядом с черепом, на костях лежал камень из песчаника зеленоватого цвета. В западной части ямы расчищено четыре лепных сосуда: «кубок» на маленькой ножке, горшок, кувшин и миска (рис. 8, 2–5). На керамике хорошо видно вертикальное лощение «елочкой». Возраст умершего – около 25 лет. Пол не определяется.

Погребение 4 раскопано на глубине 0,9 м от современной поверхности холма. Кости черепа, ног и рук разбросаны на площади $0,5 \times 2$ м. Скелет принадлежал взрослому человеку. Захоронение в древности было разграблено, погребальный инвентарь отсутствует.

Погребение 8 находится на глубине 1,3 м от поверхности холма (рис. 9, 1). Захоронение – фракционное, сохранились отдельные кости черепа, ног и рук. По зубам можно сказать, что здесь похоронен подросток 10–12 лет. Рядом с костями со-

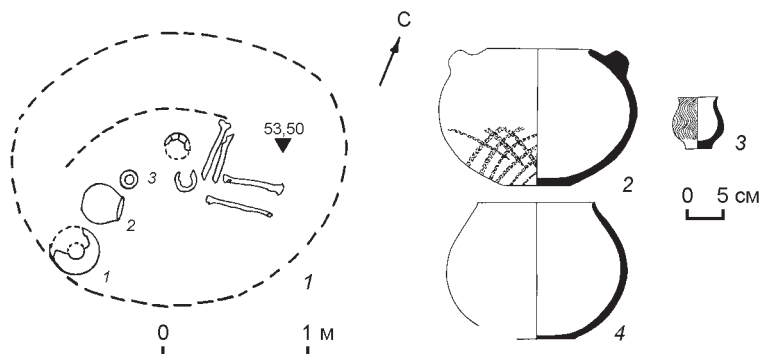


Рис. 7. Раскоп 6, погр. 1.

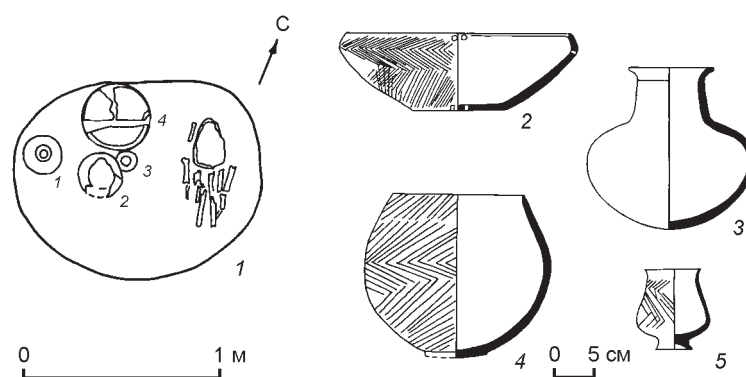


Рис. 8. Раскоп 6, погр. 3.

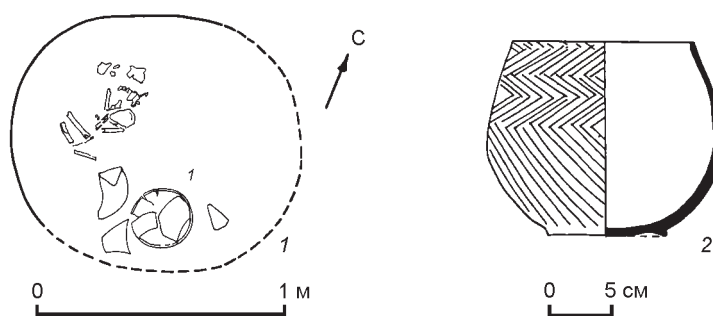


Рис. 9. Раскоп 6, погр. 8.

браны черепки лепного горшковидного сосуда с лощением «елочкой» (рис. 9, 2).

Погребение 9 открыто на глубине 1,5 м от современной дневной поверхности (рис. 10, 1, 2). Дно ямы овальной формы $1,2 \times 1,3$ м. В восточной части могилы лежит скелет в скорченной позиции, на правом боку, головой на север. Захоронение фракционное, так как часть костей скелета отсутствует. В центре и западной части погребальной камеры стояло два гончарных сосуда – миска

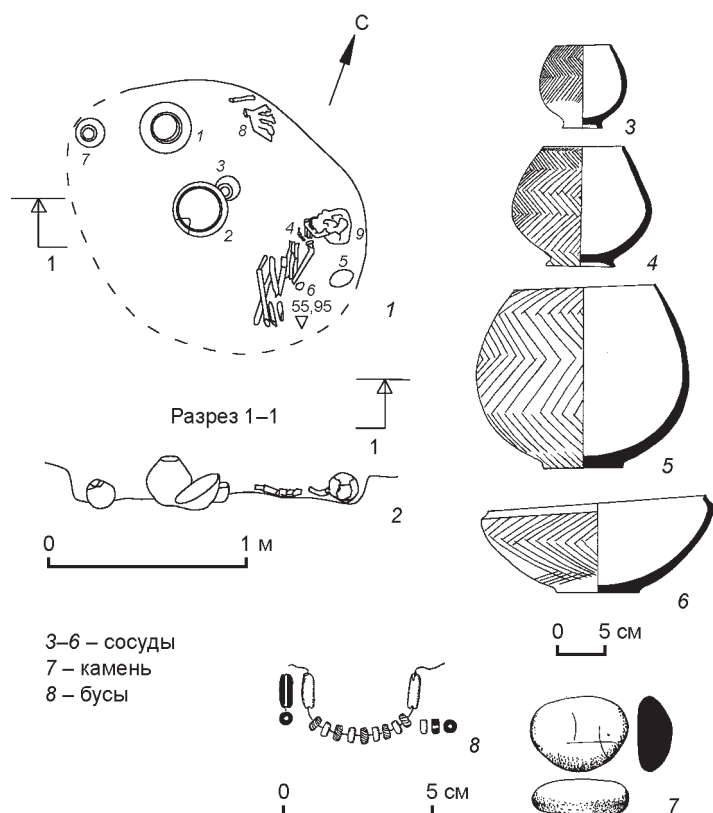


Рис. 10. Раскоп 6, погр. 9.

и горшковидный сосуд (рис. 10, 5, 6) и два лепных «кубка» на кольцевом поддоне (рис. 10, 3, 4). По всей поверхности сосудов видны следы лощения «елочкой». На шейных позвонках скелета найдено 14 бусинок: две из кости вытянутой бочковидной формы и другие из пасты и бирюзы короткой цилиндрической формы (рис. 10, 8). Около черепа расчищено две гальки со следами охры (рис. 10, 7). У западного края погребальной ямы найдено несколько костей животного (барана?). Плохая сохранность костей скелета не позволяет определить пол погребенного, возраст – *adultus/matures*.

Погребения 11 и 12 могут быть отнесены к вахшским захоронениям только условно. Это ямы, выкопанные с древней дневной поверхности, и они буквально забиты кусками красноватой глины с белыми известняковыми камушками. В глине имеются мельчайшие фрагменты керамики и костей. Размеры ям: $0,75 \times 0,9$ м; глубина 1,8 м (погр. 11) и $1,3 \times 1,5$ м; глубина 1,6 м (погр. 12). Погребальные камеры не выявлены. Возможно, это символические захоронения или кенотафы.

Погребение 13 расчищено на глубине 1,6 м от современной дневной поверхности (рис. 11, 1, 2). Открыта погребальная камера – яма округлой формы $1,8 \times 1,8$ м. Судя по глубине ее залегания, захоронение могло быть подбойного типа. В северной части камеры лежал скелет в сильно скорченном положении на правом боку, головой на северо-запад; руки – перед лицом. В западной части ямы расчищено четыре сосуда: миска гончарная на кольцевом поддоне с белым ангобом, лощением «елочкой» (рис. 11, 5) и три лепных горшковидных сосуда (рис. 11, 3, 4, 6). Один из них круглодонный, в тесте имеется примесь ракушки (рис. 11, 3). Пол погребенного из-за плохой сохранности костей не определяется; возраст – 15–20 лет.

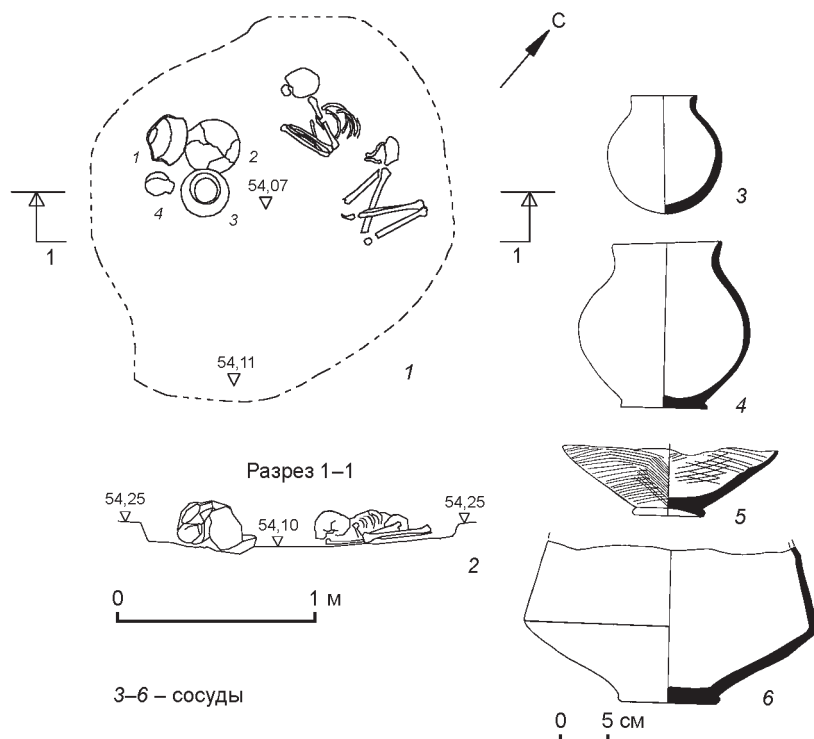


Рис. 11. Раскоп 6, погр. 13.

Погребальный инвентарь в захоронениях вахшской культуры

Керамика

Посуда из захоронений вахшской культуры представлена лепными и гончарными сосудами. Некоторые лепные сосуды подправлены на круге. Глина гончарных керамических изделий коричневого или красноватого цвета, практически без примесей, хорошего обжига. В тесте лепной керамики прослеживаются примеси шамота, дресвы и ракушки (для кухонной посуды). На некоторых сосудах имеются следы красного и белого ангоба, внешняя поверхность орнаментирована с помощью лощения узором «елочки».

Гончарные сосуды изготовлены на кругу быстрого вращения. Представлены следующие формы и типы.

1. «Кубки»: а) «кубок» тюльпановидной формы на дисковидном сплошном поддоне (рис. 12, 1–3); б) «кубок» с биконической формой тулова, отгибающимся наружу острым венчиком. Плечики тулова располагаются в нижней части тулова (рис. 12, 4).

2. Миски и блюда: а) миска на кольцевом поддоне (рис. 12, 8); б) миски глубокие с широким устьем с выделенными плечиками и слегка отогнутым (рис. 12, 9) или прямым венчиком (рис. 12, 10); в) миска глубокая со слегка загибающимся внутрь венчиком и конической нижней частью (рис. 12, 11); г) блюдо с широким устьем и слегка отогнутым венчиком (рис. 12, 12).

3. Горшковидные сосуды шаровидной формы со слегка отогнутым наружу венчиком (рис. 12, 5) или с дисковидным поддоном (рис. 12, 6).

Различаются следующие формы и типы лепной столовой посуды.

«Кубки»: а) тюльпановидной формы на кольцевом поддоне (рис. 13, 1–5). Имеются различия в форме венчика, он – прямой или отогнутый наружу; б) шаровидной формы, со срезанным венчиком и на низком сплошном поддоне (рис. 13, 6).

Кувшины. Круглодонный кувшин с высоким выделенным горлом, отогнутым наружу венчиком и сферическим туловом (рис. 13, 9).

Миски: а) миска глубокая, с широким устьем, сильно загибающимся внутрь венчиком и конической нижней частью (рис. 13, 12); сосуд в древности ремонтировался, на стенках миски имеется шесть просверленных отверстий; б) миска глубокая круглодонная, с широким устьем, сильно загибающимся внутрь венчиком (рис. 13, 11).

Горшковидные сосуды: а) шаровидной формы со слегка отгибающимися краями венчика и слегка выделенным дном (рис. 13, 7, 8); б) грушевидной формы и срезанным венчиком (рис. 13, 10); в) шаровидной формы с ручками-налепами на плечиках (рис. 13, 14).

Среди кухонной посуды различаются следующие формы: 1) кубковидный сосуд с дисковидным дном (рис. 14, 1); 2) круглодонные горшки шаровидной формы и слегка отогнутым наружу венчиком (рис. 14, 2, 3); 3) горшок с дисковидным основанием (рис. 14, 4); 4) миска конической формы (рис. 14, 5).

Аналогии лепной и круговой керамике Гелота имеются на памятниках вахшской и бешкентской культуры. «Кубки» тюльпановидной или яйцевидной формы – одна из основных форм керамики этих культур. Для гончарных сосудов этой формы характерен поддон дисковидный сплошной, для лепных – кольцевой. В Раннем Тулхарском могильнике все сосуды (лепные) происходят из захоронений в катакомбах и ямах с прямоугольной оградкой [Мандельштам, 1968, табл. XV, 5–7]. Некоторые параллели этой форме имеются среди лепной посуды могильника Тигровая Балка [Пьянкова, 1989, с. 235, рис. 55, 1, 3]. Ближайшие аналогии круговым сосудам из Гелота мы находим на памятниках вахшской культуры в бассейне р. Кызылсу – могильник Обкух [Пьянкова, 2003, с. 227, рис. 15, 7, 8]. Два гончарных сосуда яйцевидной формы известны в Северном Афганистане из земельных погребений в Дашлы 17 и Дашлы 18 [Сарианиди, 1977, с. 69, рис. 31, 8, 9].

Для гончарного «кубка» биконической формы из Гелота имеются аналогии среди сосудов в катакомбных захоронениях Раннего Тулхарского могильника [Мандельштам, 1968, с. 156, табл. XV, 2], Тигровой Балки [Пьянкова, 1989, с. 239, рис. 59, 6, 7], Обкуха [Пьянкова, 2003, с. 226, рис. 14, 5, 7], Гулистона [Виноградова, Пьянкова, Гетцельт, 2003, с. 107, рис. 4, 2].

Круглодонный кувшин и лепной горшок с ручками-налепами не имеют прямых параллелей на памятниках бешкентской и вахшской культур. Налепные ручки на плечиках сосудов встречаются на земледельческом поселении Кангурттут в бассейне р. Кызылсу [Виноградова, Ранов, Филимонова, 2008, с. 308, рис. 12, 34].

Плоскодонные формы глубоких мисок из Гелота имеют широкий круг аналогий на памятниках степных и земледельческих культур эпохи позд-

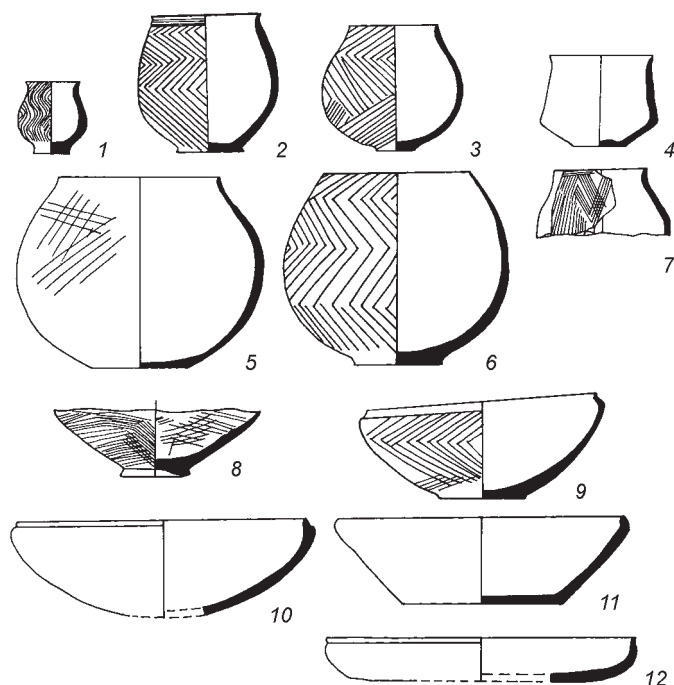


Рис. 12. Гончарная керамика.

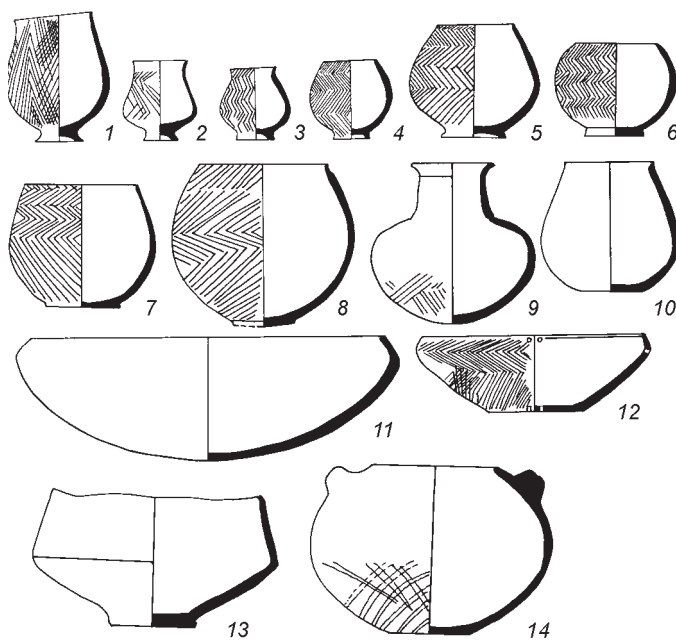


Рис. 13. Лепная керамика.

ней бронзы [Пьянкова, 1989, с. 233, рис. 51, 5, 8; Пьянкова, 2003, с. 224, рис. 12, 7, 8, 10; Виноградова, 2004, с. 184, табл. II].

Горшки шаровидной формы на сплошном низком поддоне или без поддона известны на поселении вахшской культуры Ташгузор [Виноградова,

2004, с. 177, рис. 53, 1], в Обкухе [Пьянкова, 2003, с. 227, рис. 15, 7], в Раннем Тулхарском могильнике [Kaniuth, Teufer, 2001, S. 95, Abb. 4, 15]. Круглодонные кухонные горшки также часто встречаются в могильниках вахшской и бешкентской культур: в погребениях со спуском Раннего Тулхарского могильника [Мандельштам, 1968, табл. XI, 1], в Маконимор [P'jankova et al., 2009, S. 109, Abb. 15, 3], в Тигровой Балке [Пьянкова, 1989, с. 230, рис. 48, 1–4, 7, 8]. Интересно отметить, что на могильнике Гелот в погребальном инвентаре не встречаются банки, столь характерные для посуды вахшской и бешкентской культур.

В погребении 4 раскопа 4 у шейных позвонков погребенной были найдены бусы из сердолика (24 шт.) и пасты (36 шт.). Бусы из сердолика имеют вытянутую бочковидную форму, длиной 7–10 мм, D макс. 3–5 мм, D отверстия – 1 мм. Отверстия выполнены цилиндрическим сверлением. Одна бусина крупной квадратной формы 10 × 10 мм с поперечным отверстием (см. рис. 2, 3). Пастовые бусы короткой цилиндрической формы, длиной 3–5 мм, D макс. 4–6 мм, D отверстия – 1 мм. Здесь также одна бусина больших размеров прямоугольной формы 0,6 × 0,8 мм (рис. 2, 4). Большие бусины могли быть разделителями и находиться в центре ожерелья. В погребении 9 раскопа 6 были также найдены бусы коротко-цилиндрической формы с костяными разделителями. Ближайшие аналогии бусам бочковидной формы имеются в Раннем Тулхарском могильнике [Мандельштам, 1968, табл. XX, 1, 2].

Около разграбленного погребения 6 раскопа 4 был найден предмет из бронзы длиной 3 см. По форме это булава или шило. Подобные находки из бронзы, в отличие от инвентаря земледельческих памятников [Kaniuth, 2006, S. 103–105], довольно редко встречаются в вахшской культуре. Единичные находки такого типа известны в Раннем Тулхарском могильнике [Мандельштам, 1968, с. 149, табл. VIII, 6], на поселении Ташгузор [Виноградова, 2004, с. 177, рис. 53, 12].

Подводя итоги археологическим раскопкам в Гелоте, можно сделать следующие выводы. Впервые для вахшской культуры в бассейне р. Кызылсу удастся выявить подбойно-катакомбную

конструкцию погребальных сооружений. Обряд захоронения – труположение, следов кремации не обнаружено. Погребенный находится в могиле в сильно скорченном положении (пятки ног касаются таза), головой на северо-запад. В мужских захоронениях скелет лежит на правом боку, в женских – на левом. Руки находятся перед лицом, на груди или на поясе. Имеются погребения с расчлененными скелетами – в могилу кладутся отдельные кости черепа, ног или рук. По определениям антропологов возраст погребенных от 5–6 лет до 50 лет. В могилах иногда имеются кости барана или диких животных – оленя.

Хронологически по керамическому материалу вахшские погребения могильника Гелот могут быть сопоставлены с катакомбными захоронениями Раннего Тулхарского могильника и некрополя Макони-Мор, где была найдена ваза, типичная для керамики финального этапа (бустонская фаза) сапаллинской культуры второй половины II тысячелетия до н.э. [Виноградова, 2004, с. 89, 92]. В Гелоте не встречается керамика с валиком, характерная для поздней группы памятников вахшской культуры – могильник Тигровая Балка, поселение Ташгузор. Хронологически они относятся ко времени поздней бронзы и раннего железного века (Яз I).

Вахшские и бешкентские памятники по обряду погребения (катакомба) и инвентарю очень близки между собою и относятся к единой культурно-исторической общности. Могильники вахшской культуры в долине р. Яхсу могут быть выделены в особую локально-хронологическую группу. В погребальном инвентаре этих памятников керамика, изготовленная на кругу, не только присутствует, но иногда и преобладает над лепной. Например, в могильнике Обкух (соответственно 82 % и 18 %), при этом лепные сосуды часто изготавливались в подражание гончарным «стандартам» [Пьянкова, 2003, с. 211]. В этом регионе во второй половине II тысячелетия до н.э. происходит наиболее тесный контакт земледельческих и степных племен. Носители вахшской культуры, находясь в

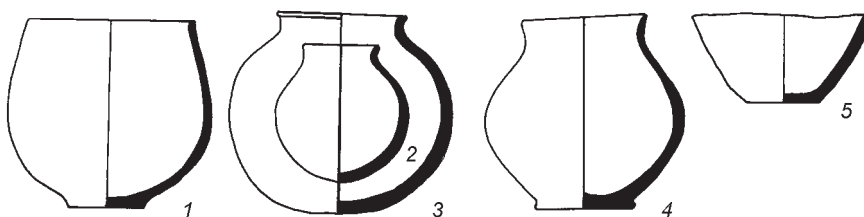


Рис. 14. Кухонная керамика

непосредственной близости от земледельческого населения, частично воспринимают их обряды и обычаи.

Список литературы

- Виноградова Н.М.** Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. – М., 2004.
- Виноградова Н.М., Кутимов Ю.Г., Ломбардо Д.** Археологические исследования отряда по изучению памятников эпохи бронзы в 2007 году в Хатлонской области Таджикистана // АРТ. – Душанбе, 2009. – Вып. 33.
- Виноградова Н.М., Кутимов Ю.Г., Тойфер М.** Погребения эпохи бронзы в окрестностях кишлака Гелот на юге Таджикистана // На пути открытия цивилизации. Труды Маргианской археологической экспедиции: сб. ст. к 80-летию В.И. Сарияниди. – СПб., 2010.
- Виноградова Н.М., Пьянкова Л.Т., Гетцель Т.** Археологическая разведка в бассейне реки Кызылсу (Южный Таджикистан) // РА. – 2003. – № 1.
- Виноградова Н.М., Ранов В.А., Филимонова Т.Г.** Памятники Кангуртута в Юго-Западном Таджикистане (эпоха неолита и бронзовый век). – М., 2008.
- Кузьмина Е.Е.** К вопросу о формировании культуры Северной Бактрии: «Бактрийский мираж» и археологическая действительность // ВДИ. – 1972. – № 1.
- Мандельштам А.М.** Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // МИА. – 1968. – № 145.
- Пьянкова Л.Т.** Древние скотоводы Южного Таджикистана. – Душанбе, 1989.
- Пьянкова Л.Т.** Раскопки погребений вахшской культуры в могильнике Обкух (Московский р-н) в 2002 г. // АРТ. – Душанбе, 2003. – Вып. 28.
- Сарияниди В.И.** Древние земледельцы Афганистана. – М., 1977.
- Kaniuth K.** Metallobjekte der Bronzezeit aus Nordbaktrien // Archäologie in Iran und Turan. – Mainz, 2006. – Bd. 6.
- Kaniuth K., Teufer M.** Zur Sequenz des Gräberfelds von Rannij Tulchar und seiner Bedeutung für die Chronologie des spätbronzezeitlichen Baktrien // AMIT. – Berlin, 2001. – Bd. 33.
- P'jankova L.T., Litvinskij B.A., Bobomulloev S., Kaniuth K., Teufer M.** Das bronzezeitliche Gräberfeld von Makonimor, Tadžikistan // AMIT. – Berlin, 2009. – Bd. 41.

ABOUT AN UNUSUAL STONE STATUE FROM HELLENISTIC AI KHANOU (Bactria, North Eastern Afghanistan)

The artifacts found during the excavations in the Hellenistic city of Ai Khanoum (NE Afghanistan) between 1965 and 1978 belong to a number of definite cultural and artistic traditions. Greek, Persian, Indian, and steppe arts are present in the collected and studied material, and some artifacts could be identified as local Bactrian productions, notably the dark stone engraved objects, caskets and vessels [Francfort, 1984]. This Bactrian production and ornamentation is nevertheless traceable back into ancient Near Eastern and steppe traditions. It is my pleasure to dedicate this essay in honor of Professor Elena E. Kuz'mina, who made so great contributions into the archaeology arts and religions of Central Asia and specifically of Bactria, and who made clear differentiations into complex groups of artifacts.

In general the sculpture of Ai Khanoum, whether in clay, plaster, metal or stone, is largely Greek. However there is one stone statue that oddly does not belong to any known group. The discoverer, Prof. Paul Bernard, describes “une statuette en calcaire franchement barbare représentant une femme emmitouflée dans une capuche-passe-montagne et dans une sorte de houppelande qui dissimule complètement les pieds” [Bernard, 1973, p. 628, fig. 16] (Fig. 1).

It is a human figure found in 1971 in the last level of the excavation of the N chapel of the sanctuary of the temple with indented niches, later called the “main temple” of the city. Made out of limestone, the statue is like a miniature stele, about 30 cm high. The body is curved, resting on a larger flat base, as if wearing a long robe. The arms are just suggested, engraved in shallow relief displaying the hands joined at the belly. The head is covered with a hood from which large ears protrude. A mask-like face in the

shape of an oval incision exhibits a horizontal thin mouth, half-open eyes and sharp eyebrows, the nose is broken. The surface of the stone is irregular, and no distinct traces of tools or finishing are visible.

A close look at the Hellenistic artistic production of sculptures and figurines in Bactria or in Central Asia gives no parallel and it is the same with the previous Achaemenid and with the later pre-Kushan and Kushan arts. Figurines of “priests” in long robe, conical cap and frontal mask-like faces of the Miho museum, allegedly found in Bactria and dated from the 2–1st centuries BC bear some general of resemblance, but they are much more detailed in appearance and dress and remote from the stele shape of the Ai Khanoum statue [Catalogue, 2002, fig. 50a–c].

The monolithic Scythian steles of the first millennium BC from the steppe could offer some interesting comparisons, from the Minusinsk Basin, Altai and Tuva to the Caspian and Black Sea [Ol'khovskij, 2005; Ol'khovskij, Evdokimov, 1994]. Some of them, from Asia, display “elementary anthropomorphic elements” [Ol'khovskij, 2005, fig. 57–58]. They depict human faces as masks with distinct ears and with arms flexed on the breast [Ol'khovskij, 2005, fig. 64–66]. But in general they also exhibit representations of weapons and dress.

One interesting point is that these Scythian steles have predecessors in the Bronze Age that look closer to the Ai Khanoum statue. The Keermuqi, Qingeri, Upper Erqis (Irtysh) in Xinjiang [Catalogue, 1999: 0911, 0964, 0966, 0967; Koval'ev, 1999], the Nariim Khouroumta anthropomorphic steles [Kliachtorny, 1994; Kliachtorny (Kljachtorny), Savinov, 2004], as well as the Afanasevo, Karakol', and Okunevo culture stone monoliths, display sketchy human faces,

sometimes with ears, sometimes with more elements [Kubarev, 1979, fig. 2; 1988, pl. XV; Leont'ev and Kapel'ko, 2002; Savinov, 1997; Savinov, Podol'skij, 1997]. Some smaller sculptures of human heads or faces, on the top of stone staffs, linked with the Okunevo, the Seima-Turbino and perhaps some variants of the Andronovo cultures are reminiscent of the principles of elaboration of the Ai Khanoum statue [Kiryushin, Grushin, 2009; Kuz'mina, 2007, fig. 55; Samashev, Zumabekova, 1996, pl. 3]. But differences are still there and no direct link in space, time and history can be drawn between this steppe anthropomorphic stele or staff tradition and the Ai Khanoum statue. The Mirshade dark stone head in Uzbekistan, dated from the late 10th – 9th century, is quite different and cannot be considered as a perfect relevant link [Pugachenkova, 1973, fig. 1, 2]. However, the recent publication [Gorelik, 2011] of a stone statuette from lake Zajsan area (Eastern Kazakhstan), with a very schematic face and one arm bend on the belly and the other in the back confirms the Bronze Age date of the Ai Khanoum find and moreover suggests some links between the Upper Irtysh and South Central Asia, namely the Oxus Civilization (BMAC) area.

Now if we turn towards the agrarian societies and their stone sculpture now, some interesting observations can be made. There is of course a long tradition of anthropomorphic sculpture in the Near East since the Neolithic and during all the subsequent periods (for example in Mundigak: [Casal, 1961, pl. XLIII, XLIV]. For our problem the sketchy stone marble figurines of the Kerman (Halil Rud, Jiroft) art of the 3rd millennium seem relevant [Madjidzadeh, 2003, fig. p. 147 haut; Piran, Hesari, 2005, fig. 42–44]. Their mask-like face and ears, in spite of a different body, are recalling the Ai Khanoum piece. At this point, it is important to consider the Oxus Civilization statuettes and figurines. The terra cotta figurines have their own tradition and history and it is not methodologically relevant to bring them here and the same applies also to unbaked clay figures from Susa to Shahdad, Mollali and Tandyr-Yul. On the other hand the composite statuettes of the Oxus Civilization, made out of steatite and marble stone are interesting for us [Benoit, 2010, fig. 13, Louvre, AO 22918]. Most of them are represented sitting, but some are standing and in this case their arms are flexed and their hands are at the belly, which is actually the traditional pose of the praying Mesopotamian statues like the well known Babylonian Gudea, but also the common posture of the main Bactrian



Fig. 1. Ai Khanoum statue (after: [Bernard, 1973]).

Bronze Age goddess on the seals and engravings [Francfort, 1992, 1994]. The quality of manufacture as well as the human details and costume features of the Bronze Age Oxus composite statuettes are greater than on the Ai Khanoum one.

But there is one recent find that links the Ai Khanoum and the Oxus small sculpture and fills the geographical and morphological gap. In the excavation of the Bronze Age cemetery of Gelot in Southern



Fig. 2. Gelot statue. Dushanbe Museum.

Tajikistan, a marble stone statuette was found which bears a striking similarity with the Ai Khanoum one [Vinogradova, Kutilov, Tojfer [Teufer], 2010, fig. 20, 21] (Fig. 2). The general pattern is the same with a curving body resting on a large basis, the flexed arms and hands at the belly and the sketchy head with big ears. A difference of the Gelot with Ai Khanoum is the absence of the hood and a hair dress that is more elaborated, closer to the composite Oxus statuettes. In comparison with the Oxus statuettes, the Gelot one could be seen as a sort of regional or later specimen. But one serious problem remains: there is a chronological gap of one millennium between the Bronze Age productions and the Ai Khanoum find.

To fill this gap we have three possibilities:

A coincidence of a Hellenistic creation resembling by chance Bronze Age statues;

A genuine Bronze Age statuette found during the Hellenistic period and integrated into the local Ai Khanoum temple context;

A cult and/or art tradition that was continuous from the Bronze Age but that we cannot follow clearly because of the lack of Iron Age documentation.

Let us examine these three hypotheses.

1. The first (chance) has not to be commented here. It is not very probable in the artistic and stone cutting context of Hellenistic Bactria as we know it today. And we have observed (see below 3.A) that the appearance of surface of the Ai Khanoum statue is different to all the traces we have observed on all the stone works in architecture and in sculpture.

2. The second hypothesis (Hellenistic finding of a Bronze Age object) is difficult to prove. But we must remember that Bronze Age settlements and cemeteries were present in the plain of Ai Khanoum – Shortughai as well as in neighboring Tajikistan like Makoni Mor for instance [P'jankova, Litvinskij, Bobomullaev, Kaniuth, Teufer, 2009]. Moreover, Bronze Age potteries, and an early Iron Age knife were discovered in an excavation carried out in 1968 on the Ai Khanoum acropolis (Bala Hissar) itself by I.T. Kruglikova and B.A. Litvinskij; according to Litvinskij they belong to the Vakhsh culture known by its cemeteries in South Tajikistan [Bernard, 1969, p. 326]. In the Ai Khanoum lower city, a ziyarat made out of stone pebbles with a sort of circle, looks very similar to Vakhsh culture kurgans. It is not impossible that the large public works promoted by the Graeco-Bactrian rulers in Ai Khanoum had touched a Bronze Age burial where the statue was deposited centuries before and that the statue was recovered. In this case, if we admit that nothing had survived in Bactria of the cults of the Bronze Age, we have to admit that the statue would have been integrated as singular object or as a complementary cult statue in the chapel of the temple. Reinterpretation and integration of old art objects into later religions is a common phenomenon. But we would never be in a position to prove it.

3. The third hypothesis, the ancient Bronze Age tradition crossing the lack of iconic documentation of the Iron Age (local equivalents of Yaz-1 to 3), could have two variants:

A. A continuity of manufacture of statues since the Bronze or the transmission of an old statue down the centuries. Nothing supports this first variant but it cannot be excluded since we know the famous example of Bronze Age Centralasian tradition maintained during long centuries down to the

Hellenistic period: the cultual burying of vases upside down in specially dug up pits at the Margian sanctuary of Togolok-21 in the Bronze Age ca. 1800 [Sarianidi, 1990, p. 129, fig. 27, 30 vases] is found again precisely in the temple we consider at Ai Khanoum in the Hellenistic period [Bernard, 1970, fig. 16, 20, 21] with very few landmarks elsewhere in Shortughai period IV ca. 1700 BC [Francfort et al., 1989, p. 257, pl. X, 5; Francfort, Pottier, 1978, p. 49, n. 6, fig. 12], in Altyn Depe Namazga-V period [Masson, 1981, p. 44] in Chorasmia Iron Age (?) [Bogomolov, 1985; Itina, 1979]. The persistence of an ancient Centralasian religion in Bactria, changing partly the forms of its expression, is to be taken into consideration, but the treatment of the surface of the limestone of the Ai Khanoum statue is against: it is not displaying any of the Hellenistic technical marks appearing on the other statues (chisel marks, polishing traces, stylistic traits) and it looks irregular and used.

B. The second variant of this hypothesis, devolution and inheriting of a very ancient cult image, not absurd in itself and is exemplified in the Ancient Near East; it would have a great significance for the Bactrian religions if we only could demonstrate it firmly. The question being then to determine if the cult in the Ai Khanoum temple or at least North chapel is in continuity with the Bronze Age religions or if the statue was included into a new and different religious context.

In conclusion, though we cannot be too affirmative, the third hypothesis has our favor. N. Boroffka has demonstrated a long tradition of stone staffs, small columns and pestles in Inner and Central Asia down to late 2nd – early 1st millennium [Boroffka, Sava, 1998]. Adding to his evidence the Mirshade pestles makes sense [Pugachenkova, 1973, fig. 3]. And if we add here to this picture the anthropomorphic sculpture, with the Mirshade head, but above all the Gelot statuette, the idea of a survival and elements of continuity in Central Asia, namely in Bactria, from the Bronze Age to the Hellenistic period takes shape. Is it after all so difficult to accept that ancient local cult practices and art shapes could have been transmitted and integrated into a Graeco-Bactrian culture after an eclipse during the Iron Age? We shall not argue about this entire question here, but let us consider simply as an example, after the above mentioned ritual deposit of vases upside down in pits, the burial customs: inhumation dominates in the Bronze Age, and then nearly no inhumation is known in the Iron Age (Mazdeism?), then again inhumation reappear after the advent of the Greek power. Inhumation is both and in

the same times the introduction of a Greek custom and the revival of a local ancient Bronze Age tradition. We should have in the future to investigate more in depth this question of the “longue durée” of a Bactrian (Centralasian) ritual and cult tradition from the Bronze Age to the Hellenistic period.

References

- Benoît A.** La Princesse de Bactriane. – Paris: Louvre éditions; Somogy éditions D'Art, 2010.
- Bernard P.** Quatrième campagne de fouilles à Ai Khanoum (Afghanistan) // Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. – 1969. – P. 313–355.
- Bernard P.** Campagne de fouilles 1969 à Ai Khanoum en Afghanistan // Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. – 1970. – P. 301–349.
- Bernard P.** Campagne de fouilles à Ai Khanoum (Afghanistan) // Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. – 1973. – P. 605–632.
- Bogomolov G.I.** K voprosu ob odnom iz domusul'manskikh obrjadov Srednej Azii // Istorija Material'noj Kul'tury Uzbekistana. – 1985. – № 19. – P. 266–275.
- Boroffka N., Sava E.** Zu den steinernen «Zeptern/Stössel-Zeptern», «Miniatursäulen» und «Phalli» der Bronzezeit Eurasiens // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. – 1998. – № 30. – P. 17–111.
- Casal J.-M.** Fouilles de Mundigak. – Paris, Klincksieck, 1961. – (Mémoires de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan; vol. XVII).
- Catalogue:** A Grand View of Xinjiang's Cultural Relics and Cultural Sites. – Urumqi, 1999.
- Catalogue:** Treasures of Ancient Bactria, Miho Museum. – 2002.
- Francfort H.-P.** Fouilles d'Ai Khanoum III Le sanctuaire du temple à niches indentées 2. Les trouvailles. – Paris: De Boccard, 1984. – (Mémoires de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan; vol. XXVII).
- Francfort H.-P.** Dungeons and Dragons: Reflections on the System of Iconography in Protohistoric Bactria and Margiana // South Asian Archaeology Studies / ed. G.L. Possehl. – New Delhi; Bombay; Calcutta; Oxford: IBH Publishing co. Pvt. Ltd., 1992. – P. 179–208.
- Francfort H.-P.** The Central Asian dimension of the symbolic system in Bactria and Margiana // Antiquity. – 1994. – № 68 (259). – P. 406–418.
- Francfort H.-P., Boisset Ch., Buchet L., Dese J., Echallier J.-C., Kermorvant A., Willcox G.** Fouilles de Shortughai: recherches sur l'Asie centrale protohistorique. – Paris: Diffusion de Boccard, 1989. – (Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie centrale; vol. II).
- Francfort H.-P., Pottier M.-H.** Sondage préliminaire sur l'établissement protohistorique harappéen et post-harappéen de Shortughai (Afghanistan du N.-E.) // Arts Asiatiques. – 1978. – № XXXIV. – P. 29–87.
- Gorelik A.F.** Kamennaja antropomorfnaia statuetka epokhi bronzy iz vostochnogo Kazakhstana (oz. Zajsan) // Rossijskaja Arkheologija. – 2011. – № 1. – P. 126–133.

Itina M.A. Rekonstrukcija nekotorykh pervobytnykh pbrjadov metodom analogii // *Etnografija i arheologija Srednej Azii* / ed. A.V. Vinogradov. – M.: Nauka, 1979. – P. 15–19.

Kiryushin Y.F., Grushin S.P. Early And Middle Bronze Age Portable Art Pieces From The Forest-Steppe Zone Of The Ob-Irtysh Region // *Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. – 2009. – № 37 (4). – P. 67–75.

Kliachtorny S.G. Une “île de Pâques” dans les montagnes de Mongolie // *Les Scythes* / ed. V. Schiltz. – Dijon: Faton, 1994. – P. 52–53. – (Les dossiers d’archéologie; vol. 194).

Kliashtorny (Kljashtornyj) S.G., Savinov D.G. The Nariyn Khurumta Sanctuary: Prehistoric Caucasoids in Central Asia // *Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. – 2004. – № 19. – P. 88–97.

Kovalëv A. Die ältesten Stelen am Ertix // *Eurasia Antiqua*. – 1999. – № 5. – P. 136–178.

Kubarev V.D. Drevnie izvajanija Altaja. Olennye kamni. – Novosibirsk: Nauka, 1979.

Kubarev V.D. Drevnie rospisi Karakola. – Novosibirsk: Nauka, 1988.

Kuz'mina E.E. The Origin of the Indo-Iranians // *Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series*. – Leyden; Boston: Brill, 2007. – Vol. 3.

Leont'ev N.V., Kapel'ko V.F. Steinstelen der Okunev-Kultur // *Archäologie in Eurasien*. – Mayence: Verlag Philipp von Zabern, 2002. – Bd. 13.

Madjidzadeh Y. Jiroft, the Earliest Oriental Civilization. – Téhéran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, 2003.

Masson V.M. Altyn-Depe. – L.: Nauka, 1981. – (Tr. Ju.T.A.K.E.; vol. XVIII).

Ol'khovskij V.S. Monumental'naja skul'ptura naselenija zapadnoj chasti evrazijskij stepej epokhi rannego zheleza. – M.: Nauka, 2005.

Ol'khovskij V.S., Evdokimov G.L. Skifskie izvajanija VII–II v.v. do n.e. – M., 1994.

P'jankova L.T., Litvinskij B.A., Bobomullaev S., Kaniuth K., Teufer M. Das bronzezeitliche Gräberfeld von Makonimor, Tadjikistan // *Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan*. – 2009. – № 41. – P. 97–140.

Piran S., Hesari M. Cultural Around Halil Roud & Jiroft: The Catalogue of Exhibition of Select Restituted Objects. – Tehran, 2005.

Pugachenkova G.A. Novye dannye o khudozhestvennoj kul'ture Baktrii // *Iz istorii antichnoj kul'tury Uzbekistana* / ed. G.A. Pugachenkova. – Tashkent: Izdatel'stvo literatury i isskusstva im. Gafura Guljama, 1973. – P. 78–128.

Samashev Z.S., Zumabekova G. Spätbronzezeitliche Waffen aus Kazachstan // *Eurasia Antiqua*. – 1996. – № 2. – P. 229–240.

Sarianidi V.I. Drevnosti strany Margush. – Ashkhabad: Ylym, 1990.

Savinov D.G. Antropomorfnye izvajanija iz juzhnoj chasti Askizskoj stepi // *Okunevskij Sbornik. Kul'tura, Iskustvo, Antropologija* / D.G. Savinov and M.L. Podol'skij (Dir.). – Saint-Petersburg: IIMK, S.-Pb.GU, Khakasskoe otd. Vseros. Obshch. okhrany pamjatnikov istorii i kul'tury, Khakasavtodor, 1997. – P. 213–221.

Savinov D.G., Podol'skij M.L. (Ed.) *Okunevskij Sbornik. Kul'tura, Iskustvo, Antropologija*. – St-Petersburg: Khakasavtodor, 1997.

Vinogradova N.M., Kutilov Ju.G., Tojfer [Teufer] M. Pograbenija epokhi bronzy v okrestnostjakh kishlaka Gelot na Juge Tadjikistana // *On the Track of Uncovering a Civilization. (Transactions of the Margiana Archaeological Expedition): A Volume in Honor of the 80th-Anniversary of Victor Sarianidi* / eds. P.M. Kozhin, M.F. Kosarev, N.A. Dubova. – Saint-Petersburg: Aletheia, 2010. – P. 389–411.

NEW EVIDENCE ON THE SYMBOLS OF EARLY SWAT BETWEEN 2ND AND 1ST MILLENNIA BCE

Introduction

At the 17th International Conference of the European Association of South Asian Archaeologists, Stacul presented a brief paper entitled 'Symbols of Early Swāt (c. 1700–1400 B.C.)' [Stacul, 2005]. Out of the mandatory rules of archaeological excavations, Stacul felt comfortably free to express his perception of the historical, cultural and ideological context of the protohistoric societies that he had discovered and excavated for four decades in Swat, a crucial focus for the archaeology of the cultural evolution of the Subcontinent and specifically for the so-called Indo-Aryan question. His presentation was based on the then most updated data, i.e. those revealed by the 2001 excavation campaign, which was his last one in Swat. After that year the Italian Mission continued its field activity with an extensive program of surface research, and now it is possible to add new information to Stacul's data, in particular those we gathered during the 2000–2006 campaigns. However, it should be noticed that, when compared to previous data, the new elements have a less reliable chronological value, being inferred from the analysis of rock-art sites and not from excavated sites.

New surface surveys were carried out by the authors in the years 2000, 2004–2006, 2007 and 2010 in the frame of the AMSV Project (Archaeological Map of the Swat Valley, 1st–2nd Phases), a project of the ISIAO Italian Archaeological Mission in Pakistan in collaboration with the Department of Archaeology and Museums, Government of Pakistan. In the 1st Phase of the AMSV Project we surveyed a sector of c. 200 sq. km. in the area around Barikot in Middle Swat [Olivieri, Vidale, 2006] (Fig. 1). In the course of the research, a large number of painted shelters and open-air rock carving sites were discovered and doc-

umented. The majority of these sites display features typical of a historical horizon (1st–5th centuries CE): paintings and carvings represent Buddhist architecture and horseback warriors depicted with chronologically revealing details like crenelated manes, stirrups and covered tails. In contrast, a few of these sites clearly belong to earlier periods, and the set of images and symbols we recorded may shed new light on the ideological framework that Stacul had tried to outline.

In fact, we tentatively attributed two sites to the Swat Early Bronze Age: the painted shelters of Sargah-sar 1 and Kakai-kandao [Vidale, Olivieri, 2002; Olivieri, Vidale, 2006; Olivieri, 2010] (sites 04 and 03 in a fig. 1). These share some elements with the rock-carvings recorded at Gogdara I (Phase 1; [Olivieri, 1998, 2006]). In these two painted shelters the ideological focus of the representations apparently lies on agricultural symbolism, possibly with formal rites. Images also emphasize the role of wild mammals, particularly the ibex. To a slight later phase, but earlier than the Iron Age, might belong another group of sites: the painted shelters of Churkhai and Dandi-sar 1 [Olivieri, Vidale, 2006; Olivieri, 2010; sites 19 and 08 in fig. 1], and possibly the carvings recorded at Muhammad-patai and Lekha-gata 1 [Olivieri, Vidale, 2004]. While these sites share many features with the previous group, they mostly focus on the representation of large dominant anthropomorphs, at Dandi-sar 1 holding large radial shields, while horses are represented at Churkhai.

The ideological panorama of the visual imagery of early Swat undergoes a sudden change probably in correspondence with the diffusion of new burial customs. This evolution typically marks the beginning of the Iron age, the so-called 'Gandhara Grave Culture'. The painted shelter of Kamal-china 1

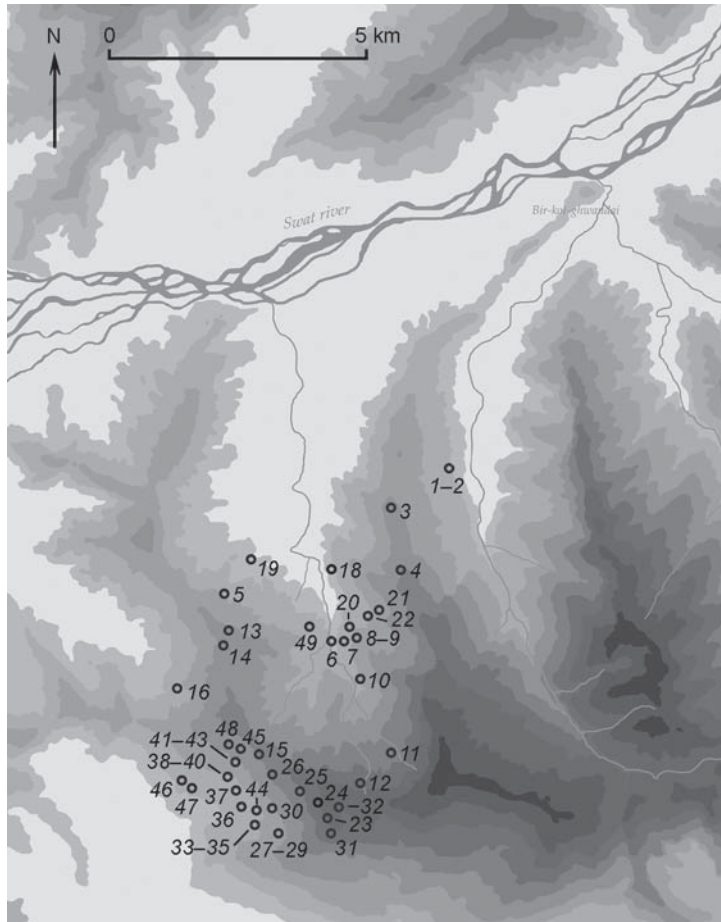


Fig. 1. Distribution map of the painted shelters (AMSV, 1st Phase; drawings by E. Morigi; after: [Olivieri, forth., map 2]).

[Olivieri, Vidale, 2006; Olivieri, 2010; site 05 in fig. 1], and particularly the rock-carving sites of Sargah-sar 2, Lekha-gata 2 (Ibid.) and Gogdara I (Phase 2) are however definitely attributed to this new phase. In this context the representations of horseback mounted warriors and light chariots become common, while some of the most prominent symbols we ascribed to the previous ideological horizons seem to disappear. The transition between the two phases is marked by the carvings of Sargah-sar 2 incised at the bottom of the painted shelter of Sargah-sar 1.

In the absence of stratigraphic data, the periodization of these rock-art phases can be defined as experimental, although based on reasonable assumptions, and not yet on positive independent chronological indicators. In archaeological terms, our periodization can be tentatively placed between the brackets of the Early Bronze Age (or Chalcolithic period) or Stacul's Period IV (c. 1700–1400 BCE) and Early Iron Age, or Stacul's peri-

ods V–VII (c. 1400–400 BCE). The following pages are dedicated to the ideological and religious symbolism of the pre-Iron Age phases.

Elena Kuz'mina has always followed with attention and appreciation the Italian work in Swat, the excavations of Giorgio Stacul, and later our research on the rock art of Swat. On the other hand, we have always regarded with great interest her contribution to the reconstruction of the protohistory of Central Asia. On many occasions we benefitted from her always kind and elegant spirit, and we hope she will appreciate this small contribution to one of her main fields of interest.

Agricultural rites

(Sargah-sar 1, Kakai-kandao)

In the two rock shelters of Sargah-sar and Kakai-kandao, we recorded well-preserved complexes of designs painted with bright-red ochre. The shelter of Sargah-sar (in Pashto, literally, 'The peak of the human face') is a high, lozenge-shaped thick slab of granite that rises sub-vertically on an isolated ridge (Fig. 2). It measures about 6 m in height, and not less than 4.5 m in width (at the bottom). Facing towards west, the slab looks to the valley of Kotah, in Middle Swat. As explicitly revealed by its Pashto name, it resembles a supernatural face: in fact, two natural cavities above a large natural oval niche, surmounted by a pointed end, respectively suggest the eyes and the mouth. The 'eyes' were internally painted, but the figures are, to a large extent, vanished. The 'mouth' is filled with dozens of small human figures crowded together in various postures and engaged in diverse activities. The impression is that the 'mouth' (the main lower cavity) is actually recounting the stories of an ancient tribe, and the surprising analogy is strengthened by an artificially modified concave slab below that is still smeared with a bright red patch of ochre. This slab is doubtless the spot where the pigment was treated and mixed before being applied to the rock, probably by hand; but, in this context, it may also symbolically act as the speaking 'tongue' of the gigantic face.

The scenes we recorded here seems to allude to agricultural rituals (Fig. 3). Agriculture is suggested by the central position and the continuous rep-

etition of a special ideogram: a square subdivided in four parts by a cross that we hypothetically identified as meaning ‘plowed surface, field’. The presence of dots within the partitions might indicate seeds, and this would be supported by the fact that the same ideogram at Sargah-sar 1 seems to accompany human figures in the act of sowing (or dropping ‘dots’). Other human figures might be here represented while plowing. In the same composition, a cluster of similar designs, perhaps a group of sowed fields, is intermingled with a large anthropomorphic figure with raised arms and the male sex in evidence (Fig. 4). The legs are rendered with a distinguished ‘inverted U’ conventional design. This distinctive feature is shared by the ‘sowers’ but not by the characters in the act of plowing. This typological distinction, and the dominating setting of the large central anthropomorphic



Fig. 2. The shelter of Sargah-sar
(photo by M. De Chiara; after: [Olivieri, forth., fig. 75]).

character, might recall the ritual features described in early Sanskrit texts, but also the rituals of royal sowing found in the more recent context of the ‘Kafir’-Dardic societies (see below).



Fig. 3. The paintings of Sargah-sar 1 (drawings by the Authors).

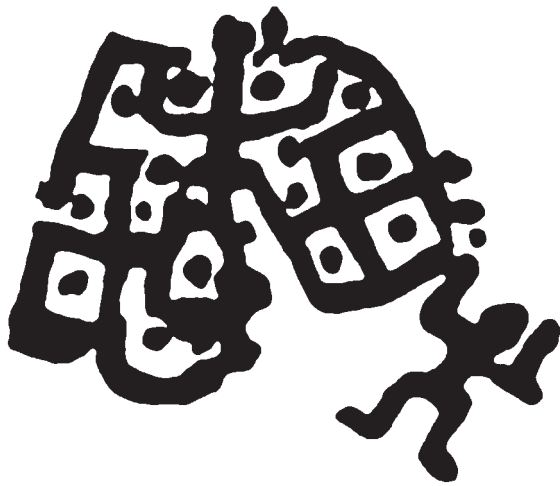


Fig. 4. Detail of Fig. 3.

This composite central ideogram has been interpreted as an icon referring to sacrificial rituals connected to plowing and sowing [Vidale, Olivieri, 2002; Olivieri, Vidale, 2004, 2006]. Similar rituals find might find a direct reference in a R̥gvedic ideological environment (think for example of Kṣetrapati, the deity of cultivated fields, in RV IV 57). Such interpretation would imply attributing an antique character to the paintings in Sargah-sar 1 (and Kakai-kandao, Fig. 5, which presents many similarities with the previous one). It would include not only the first representation of a R̥gvedic rite performance not only in the NW Subcontinent (and more clearly than in the fragment BKG 500, s.: [Stacul, 1983, 1987, p. 109], but more generally in whole area of the Subcontinent. In any case, this painting could be the oldest in the corpus of painted shelters of Swat-Malakand (and not just because of the agricultural icon, think also of the unmistakable absence of horses and riders).

A new element might be added to this hypothesis (this new element, as amply demonstrated by other studies, does not contradict the hypothesis, nor does it preclude a R̥gvedic substrate). In a recent book has been recently addressed the ritual sowing of a field (*'Barinzink'*) performed in Chitral by high-ranking individuals. This ritual is found in various forms throughout the 'Kafir'-Dardic area as far as Hunza and Gilgit. In Yasin, and also in Chitral, this ritual is called *'binisik'* ('seed-planting') and is officiated

(or it is expected to be) by the ruling dynasties. In some areas of Chitral, members of a specific lineage, who 'are mostly the descendants of an ancient people and who are called *bumki* 'aboriginals' [Cacopardo A.M., Cacopardo A.S., 2001, p. 211, fn. 361] are the officiants.

The reference to agriculture is also stressed by the marginal emphasis, in the Sargah-sar 1 and Kakai-kandao, of images pointing to hunting and warfare. Armed anthropomorphs are limited to bowmen (an intriguing detail is that, in every case, they are depicted as shooting to the right of the onlooker) and – at Sargah-sar 1 – to a single figure that might carry an axe. The angle between the handle and the blade is fully compatible with the depiction of a stone axe, exclusively present in the record of Period IV [Olivieri, Vidale, 2004, p. 193]. Around the edge of the lower mouth-like cavity there was a continuous row of human figures, apparently dancers that hold each other by the hands. This impressive collective dance may stress the ritual, agricultural character of the portrayed events. The fact that the 'eyes', too, were internally painted suggest that the external flat surfaces of the slab, between the 'eyes' and the 'mouth', also had been painted, and that the conservation of the figures in the deepest surfaces is simply due to natural conditions. The whole surface of the 'face', as a matter of fact, could have been covered with red designs, representing a human face entirely covered by designs or tattoos.



Fig. 5. The paintings of Kakai-kandao (drawings by the Authors).



Fig. 6. The carvings of Muhammad-patai (drawings by the Authors).

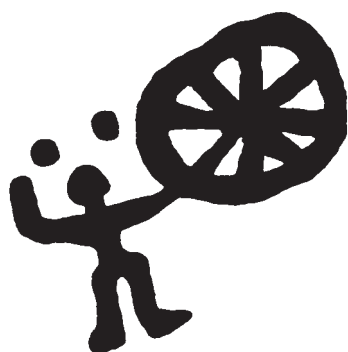


Fig. 7. Detail of Fig. 3.



Fig. 9. The paintings of Dandi-sar 1, detail (drawings by the Authors).



Fig. 8. The paintings of Dandi-sar 1, detail (drawings by the Authors).

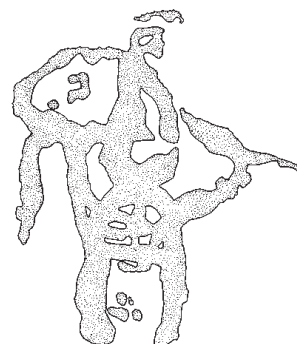


Fig. 10. Detail of Fig. 6 (drawings by the Authors).

Heroes or Deities (Sargah-sar 1, Dandi-sar 1, Muhammad-patai)

Both at Sargah-sar 1, at Dandi-sar 1 (not far from the first) and at Muhammad-patai (Fig. 6), there are central and dominating anthropomorphs represented as bearing a kind of round shield (with radial patterns in the two first sites). In two cases at Dandi-sar 1, the

‘shields’ have a peculiar toothed edge (Figs. 7–10). Besides representing shields, these designs might allude to chakra-wheels. This symbol, at the end of the 1st millennium BCE, appears on a coin found at Ai-Khanum accompanying the representation of a heroic deity, which is named in the coin’s legend as Vāsudeva-Kṛṣṇa [Rapin, 1995].

In the shelter of Sargah-sar, the figure holding the 'round spoked shield' seems to face an aggressive leopard, in the act of attacking an ibex, on the back of which stands an anthropomorphic image.

In the nearby shelter of Muhammad-patai we recorded a long incised frieze, where a human figure holds a round shield. Here, like at Sargah-sar, the image is linked to other two icons, similarly portrayed as enemies: an ibex under a human personage, and a big feline, on which rises a human figure (Figs. 9–10). In short, in these archaic images the heroes or deities holding their round shields or chakra symbols seem to take active roles in clashes between other personages that manifest themselves on the backs of wild creatures (see Par. 6).

Ibex Cult?

(Sargah-sar 1, Muhammad-patai)

An important detail is encountered in the paintings at Sargah-sar (and in the frieze of Muhammad-patai, see Par. 6). The anthropomorph above the ibex seems to grab the caprid by its horn, and with the other hand holds an object that might be a dagger (Figs. 11, 12). In this case, if the figure above the ibex is not an anthropomorphic deity 'emerging' from the animal (see Par. 6), we might try to interpret the scene, as suggested by H. Falk (personal communication), in the opposite fashion: a man killing the ibex in sacrifice. It could be a quite early representation of a ritual well documented by the ethnographers of the 'Kafir'-Dardic societies, even in quite recent times. Regarding archaeological and faunal data from Swat, aside from two painted potsherds depicting ibex, or similar animals from the Chalcolithic-Bronze Age (Period IV) (BKG 654 and 1073); [Stacul, 1987, fig. 47c, l,



Fig. 11. Detail of Fig. 3
(drawings by the Authors).

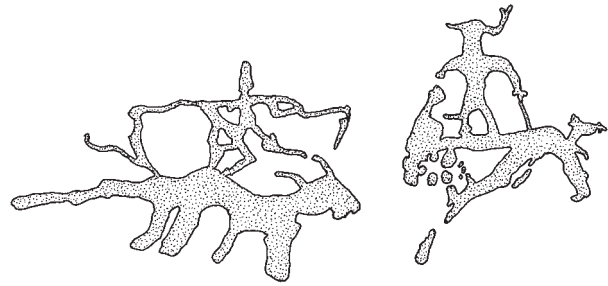


Fig. 12. Detail of Fig. 6
(drawings by the Authors).

pl. XLIIId], there is no additional information. In fact this animal was occasionally hunted, judging from the few remains found at Loebanr III (remains of goral and markhor, see ref. [Olivieri, 1998, p. 70]). It seems that the dominant culture of Swat main valley in the antique Bronze Age did not raise ibex for a particular role. But, to make things more puzzling, the animal appears in a persistent manner, almost as a symbol, at Gogdara I (Phase 1; [Olivieri, 1998]).

In a short but important article, Tucci emphasized the importance of a type of worship typical in Swat, Chitral and Gilgit, focusing on a female deity 'worshipped by hunters and considered to be the overlord of all ibex' [Tucci, 1963, p. 153]. This type of worship has been extensively studied [Jettmar, 1961; Tucci, 1963; Jettmar, 1975; Tucci, 1977] and it is associated with a symbol of a Sacred Tree. Indeed, the sacred branches of a juniper or holly-oak attached to the horns of the sacrificed ibex, are still worshiped in remote areas of Chitral. It is interesting to note that pertaining to the same phase at Gogdara I, there are signs of 'arbolets' or 'ramified marks,' which have been tentatively associated with the cult of the ibex (see again, [Olivieri, 1998]).

Felines vs. Horses: an Archaic Horse Ritual? **(Muhammad-patai)**

G. Stacul discussed in detail, on several occasions, the image of a black-on-red painted potsherd he discovered in the lowermost strata so far unearthed at Barikot (BKG 500). In this potsherd, one recognizes beyond doubt the head of a beast of prey attacking a horse at the neck (Fig. 13). This image was a very important discovery, because it is one of the earliest representations of a horse in the whole Indo-Pakistani Subcontinent. Stacul thought that the image referred – symbolically, i.e. in metaphorical terms – or literally, to a practice in which horses were ritually killed,

rooted in the Indo-European background of the late Bronze age cultures of South Asia. A problem with this intriguing interpretation is that, at that time, the potsherd was an isolated witness. With surprise, we identified in the frieze of Muhammad-patai a similar and better preserved scene: an animal very similar to a horse seems to be tied to a low (sacrificial?) pole, while a personage whose head is not preserved, but who might have had a long hair, carries on the outstretched arm what looks like another animal of prey, probably a small-sized feline (Fig. 14). If the scene is a realistic depiction of an actual performance, this animal could only be a (tamed?) wild feline (on the other hand, obviously enough, a deity or another supernatural character could carry on the arm any type of creature). At any rate, without understating the deep ambiguity of this isolated design, we stress that this unusual image supports Stacul's idea that

in the 2nd–1st millennia BCE horses could be ritually killed, and perhaps in the frame of cruel 'games' in which felines or other carnivores were set against these animals.

Ibex vs. Felines (Gogdara I, Sargah-sar 1, Muhammad-patai)

The symbolic relevance of the ibex, in the ideological theatre of ancient Swat, is fully demonstrated by the large carved rock wall of Gogdara I. Here ibexes stand as isolated, large-sized figures. Felines (most probably leopards) belong to the same phase and context of carving (the Phase 1 of Gogdara I). Although they appear in similar isolation, they are reproduced in smaller, less imposing figures. Wild felines are also reproduced with skill on the contemporary black-on-red vessels of Period IV (Fig. 15). As demonstrated by the scenes encountered at Sargah-sar 1 (Fig. 16)

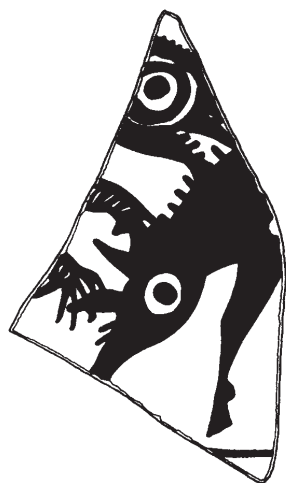


Fig. 13. Black-on-red painted potsherd BKG 500 (after: [Stacul 1987, fig. 46h]).

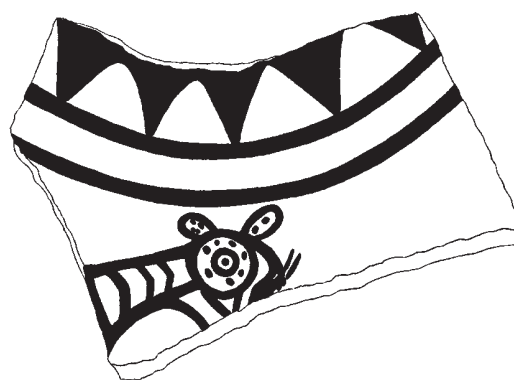


Fig. 15. Black-on-red painted potsherd BKG 1903 (after: [Callieri et al., 2000, fig. 7]).

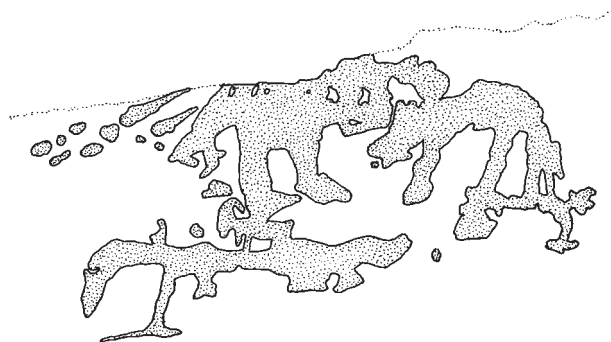


Fig. 14. Detail of Fig. 6 (drawings by the Authors).



Fig. 16. Detail of Fig. 3 (drawings by the Authors).

and Muhammad-patai (Fig. 12) the opposition between wild carnivores and herbivores seems as pervasive and recurrent, and might have involved the roles and the intervention of heroic/divine personages. This is evident at Muhammad-patai where the two animals are represented facing each other, each one surmounted by an anthropomorph: two deities and their animal manifestations? (contra see the Par. 4).

Conclusions

Many of the above hypotheses, even though tentative, are fascinating. However, it is definitely too early to come to sound determinations on the symbolism of early Swat, during a crucial phase of transformation of its protohistoric societies. At this time, the economies must have been deeply affected by the development and the rapid collapse of the Indus valley urban worlds, as well as by the ensuing epochal devolutions of the 2nd millennium BCE. Aligrama, the most important settlement of the same period in the Swat valley, has been partially explored with extensive test trenches (see ref. [Olivieri, 2006, § 2.1]) but unfortunately remains still largely unpublished. In such a fragmentary archaeological frame, symbols may appear easier to handle and possibly to understand, because they can be easily isolated (as both Stacul and we did) as meaningful indicators of long-sets of extinguished ideas and values. But obviously, we need to place this symbolic evidence in the context of a systematic analysis of the ancient settlement systems of the valley and their evolution in time. It will be a long and demanding task, even more when considering the unstable conditions of contemporary Swat. What we can state with confidence at present, is that some of the symbols identified by Giorgio Stacul on ceramics and other objects were also encountered, although in a different context, in the rock art of the peripheral valleys; that animal symbols are indeed prominent; and that many of these animal symbols (beyond the issue of their original contextual meaning) were used until recent times by some of the Hindukush-Pamir-Karakorum (or 'Kafir'-Dardic) traditional societies. The path is there, but to reach definitive conclusions will involve further research and study.

References

Cacopardo A.M., Cacopardo A.S. Gates of Peristan. History, Religion and Society in the Hindu Kush. – Rome, 2001. – (IsiaoRepMem, Ser. Minor; V)

Callieri P., Colliva L., Micheli R., Abdul Nasir, Olivieri L.M. Bīr-koṭ-ghwaṇḍai, Swat, Pakistan. 1998–1999 Excavation Report // *East and West*. – 2000. – Vol. 50, 1–4. – P. 191–226.

Jettmar K. Ethnological Research in Dardistan 1958 // *Proceedings of the American Philosophical Society*. – 1961. – Vol. 105, № 1. – P. 79–97.

Jettmar K. Die Religionen des Hindukusch // *Die Religionen der Menschheit*. – Stuttgart, 1975. – Vol. 4, № 1.

Olivieri L.M. The Rock-Carvings of Gogdara I (Swat). Documentation and Preliminary Analysis // *East and West*. – 1998. – № 48. – P. 57–92.

Olivieri L.M. The IsIAO Italian Archaeological Mission in Pakistan. A Selected Bibliography (1956–2006) // *East and West* / ed. L.M. Olivieri. – 2006. – Vol. 56, № 1–3: Special Issue dedicated to the Golden Jubilee of the Italian Archaeological Mission in Pakistan. – P. 301–318.

Olivieri L.M. Painted Shelters from Lower Swat (Pakistan). Recent Discovery in the frame of the AMSV Project // *Pictures in Transformation. Rock Art Research Between Central Asia and the Subcontinent* / eds. L.M. Olivieri, L. Bruneau, M. Ferrandi. – Oxford, 2010. – P. 13–26. – (SAA, 2007. Special Session 2; BAR. Internat. Ser.; 2167).

Olivieri L.M. The Painted Shelters of Swat-Malakand: With Appendixes on the Mt. Karamar and Tanawal Paintings // *Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans*. – Mainz (forthcoming).

Olivieri L.M., Vidale M. Beyond Gogdara I. New Evidences of Rock-Carvings and Rock-Artifacts from the Kandak Valley (Swat) // *East and West*. – 2004. – Vol. 54, № 1–4. – P. 121–180.

Olivieri L., Vidale M. Archaeology and Settlement History in a Test Area of the Swat valley // *East and West* / ed. L.M. Olivieri. – 2006. – Vol. 56, № 1–3: Special Issue dedicated to the Golden Jubilee of the Italian Archaeological Mission in Pakistan. – P. 73–150.

Rapin C. Hinduism in the Indo-Greek Area: Notes on Some Indian Finds from Bactria and on Two Temples in Taxila // A. Invernizzi (ed.). *In the Land of the Gryphons: Papers on Central Asian Archaeology in Antiquity*. – Firenze, 1995. – P. 275–292. – (Monografie di Mesopotamia).

Stacul G. Richiamo al Gandhara: testimonianze di una iconografia 'rigvedica' (c. XV a.C.) // *Atti dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste*. – 1983. – Vol. 13, № 2. – P. 1–10.

Stacul G. Prehistoric and Protohistoric Swat, Pakistan (c. 3000–1400 B.C.). – Rome, 1987. – (IsmeoRepMem; XX).

Stacul G. Symbols of Early Swāt (c. 1700–1400 B.C.) // *South Asian Archaeology, 2003. Proceedings of the 17th International Conference of the European Association of South Asian Archaeologists (7–11 July 2003, Bonn)* / eds. U. Franke-Vogt, H.J. Weisshaar. – Aachen, 2005. – S. 211–214. – (Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen; Bd. 1).

Tucci G. Oriental Notes II: An Image of a Devī Discovered in Swat and Some Connected Problems // *East and West*. – 1963. – Vol. 14, № 3–4. – P. 146–182.

Tucci G. On Swāt. The Dards and Connected Problems // *East and West*. – 1977. – Vol. 27, № 1–4. – P. 9–85, 94–103.

Vidale M., Olivieri L.M. Painted Rock Shelters of the Swat Valley: Further Discoveries and New Hypotheses // *East and West*. – 2002. – Vol. 52, № 1–4. – P. 173–224.

**СТЕПИ ЕВРАЗИИ
В ЭПОХУ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА**



ВПУСКНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ В КУРГАНЕ № 3 МОГИЛЬНИКА САРА И ПАРНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Курганный могильник Сара находится в 6 км северо-восточнее пос. Сара и в 4,5 км юго-западнее ж.д. станции Сара Кувандыкского р-на Оренбургской обл., на водоразделе рек Урал и Сакмара. Известен с 1928 г., когда сотрудником Оренбургского окружного краеведческого музея Д.И. Захаровым был исследован один небольшой курган (№ 7). Памятник состоит из девяти курганов, из которых четыре «царских» образуют компактную группу, выделяются крупными размерами (диаметр 45–55 м, высота 3,5–4,5 м), остальные курганы имеют меньшие размеры (диаметр 20–45 м, высота 0,8–2,5 м). В 1993 г. авторами были исследованы три крупнейших кургана – № 3, 4 и 6 [Васильев, Федоров, 1994].

Курган № 3 имеет асимметричную насыпь округлой сегментовидной формы. Размер по линии север – юг – 53 м, по линии запад – восток – 44 м, высота 3,3 м. Результаты раскопок показали, что в центральной части было совершено захоронение покойника высокого ранга, совершенно разграбленное в древности (погребение № 1). Покойного сопровождали принесенные в жертву взнузданные лошади и люди – два «стражника» и девочка-«служанка». Насыпь возводилась в два этапа. Первоначально ее размер составлял примерно 25 × 28 м, высота около 2 м. Затем эта насыпь была обмазана слоем красной глины толщиной до 0,4–0,5 м. С востока – юго-востока в толще насыпи был оставлен коридор, перекрытый деревянным накатом, ведущий к центральной могиле.

По истечении некоторого времени была произведена досыпка насыпи кургана черноземом, после чего он приобрел размер, близкий к современному.

Лишь после досыпки в восточной поле кургана было совершено впускное захоронение. Причем совершавшие его люди, безусловно, были осведомлены о внутреннем устройстве кургана, так как избрали для захоронения неслучайное место перед входом в коридор, ведущий к центральной могиле.

Погребение № 2 обратило на себя внимание с самого начала работы техники на кургане пятном красной глины, обнаружившимся прямо под дерном в восточной части насыпи. Как выяснилось позже, это было заполнение входной ямы катакомбы. Могила имела размер по дну 3,35 × 4,25 м, глубину в материк 1,95 м, а с учетом высоты насыпи кургана – около 4 м. Входная яма размером 3,35 × 1,55 м имела овальную форму, была заполнена чистой красной глиной. Камера была вырублена в западной стенке, она имела глубину около 2,7 м, высоту 0,6–0,65 м. От входной ямы она была отделена закладом из продольно уложенных березовых бревен, частично обгорелых. Южная, западная и северная стенки камеры сохранили следы кайла, которым она была вырублена. Кайло было четырехгранным, с заостренным концом, наибольшая зафиксированная длина его по следу 9,5 см, ширина 2 см. Свод камеры рухнул и частично раздавил кости захороненных внутри нее людей.

На дне камеры обнаружены два человеческих костяка, лежащие вытянуто на спине, головами к югу (рис. 1).

Костяк 1. Женщина 20–25 лет лежала с несколько разведенными в стороны ладонями вытянутых вдоль тела рук. Ноги вытянуты и сведены в коленях и стопах, стопы скрещены. Ей, очевидно, принадлежали следующие вещи. У южной стенки

камеры, между головами покойных лежал косметический набор, в который входило зеркало в виде плоского круглого диска диаметром 16,2–16,8 см. Обратная сторона имеет валик по краю шириной 2,5 см. В центре сложный узор, нанесенный точечной чеканкой. Имеет ручку длиной 14,0 см, вырезанную из рога, прикрепленную к диску двумя штифтами – бронзовым и железным. Примыкающая к диску часть рукоятки оформлена в виде головы хищника с оскаленной пастью. К голове хищника примыкает голова грифона с большим изогнутым клювом. Рукоятка заканчивается удлиненной заостренной головой рыбы с высоко расположенными глазами и парой жаберных щелей по бокам. Тело рыбы покрыто крупной чешуей со спины и боков. Первоначально зеркало имело цельную с диском металлическую ручку (рис. 2, б).

Под зеркалом найдены остатки сумочки или корзиночки, изготовленной простым плетением из листьев ковыля красивейшего, основу составляют стебли двудольного растения [Ишбирдин, 1998, с. 163] (рис. 3, 1), с аппликациями из кожи. Достаточно хорошо сохранился лишь один

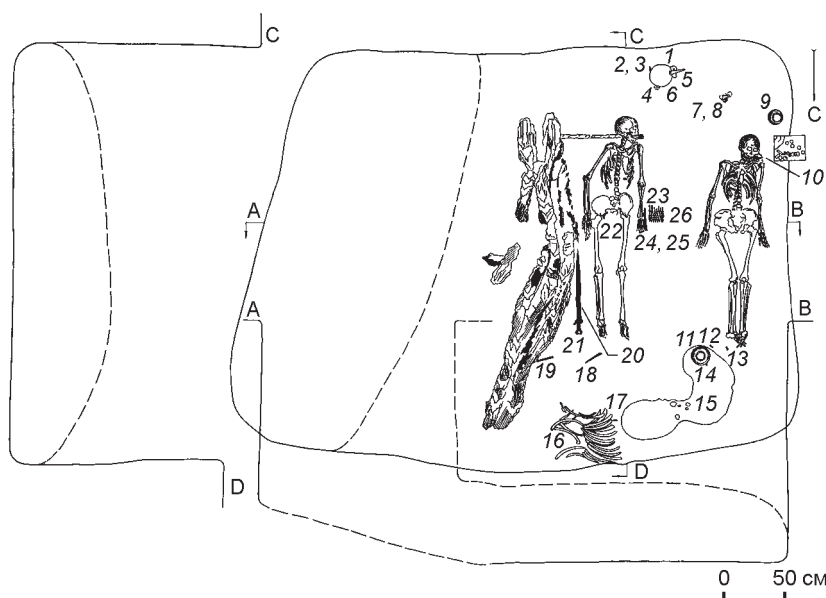


Рис. 1. Могильник Сара. Кург. 3. План и профили погр. 2.

1 – зеркало; 2 – нож; 3 – железный стержень; 4 – красная, черная, белая краска; 5 – оранжевая краска; 6 – остатки сумочки; 7 – фрагмент керамики; 8 – две ворворки; 9 – лепной сосуд; 10 – бусы; 11 – гончарный сосуд; 12 – железный стержень; 13 – таранная кость; 14 – кусочек реальгара; 15 – тлен желтого цвета; 16 – кости лошади; 17 – бронзовая обоймочка; 18 – нож с деревянной ручкой; 19 – цельнометаллический нож; 20 – меч; 21 – ворворка; 22 – колчанный крючок; 23 – костяная трубочка; 24 – железный обоюдоострый предмет; 25 – шило; 26 – остатки колчана с наконечниками стрел.

фрагмент, представляющий собой фигурно вырезанный кусок кожи с двумя крюкообразными выступами, пустое пространство между которыми образует подобие головы грифона с загнутым клювом. Размер 5,5 × 3,2 см. Всюду по краям сохранились следы пришивания (рис. 3, 2). В корзиночке находились следующие вещи:

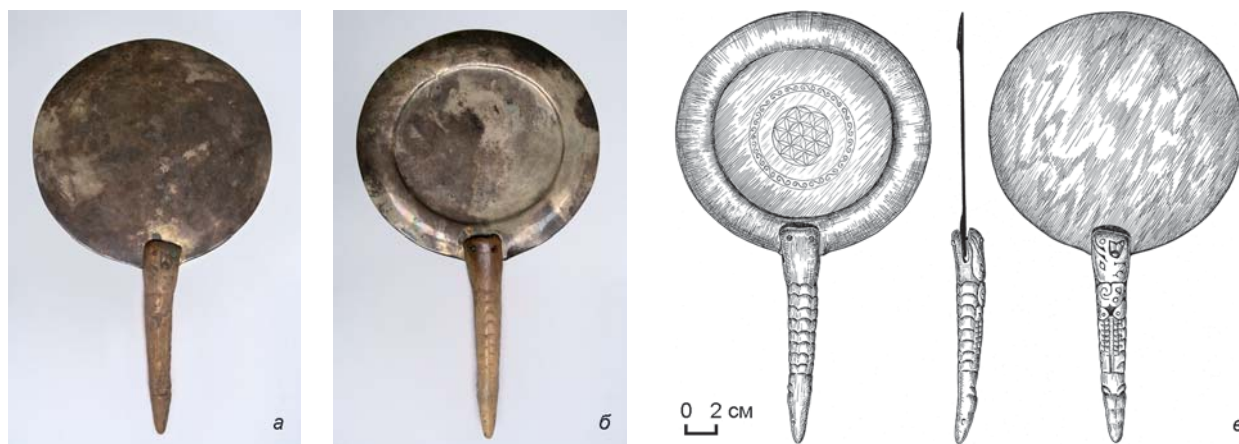


Рис. 2. Могильник Сара. Кург. 3, погр. 2. Зеркало с костяной (роговой) ручкой.

а – лицевая сторона; б – обратная сторона; в – прорисовка.

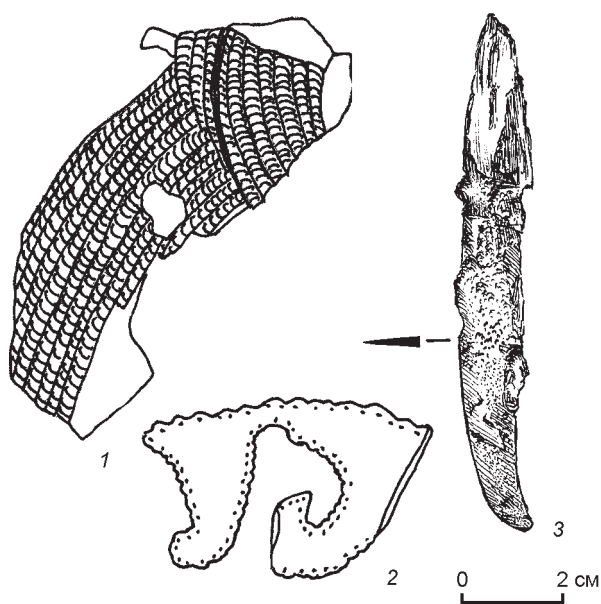


Рис. 3. Могильник Сара. Кург 3, погр. 2.
1 – остатки сплетенной из травы корзиночки;
2 – кожаная аппликация; 3 – железный нож.



Рис. 4. Могильник Сара. Кург 3, погр. 2.
Золотые бусы (а), увеличенный фрагмент (б).

- нож железный с округлым кончиком, размер $9,9 \times 1,3$ см (рис. 3, 3);
- стерженек железный, размером $7,1 \times 0,6$ см;
- краска ярко-красного, грязно-оранжевого, черного и белого цветов.

Над головой женщины находился небольшой комплекс предметов:

- фрагмент гончарного красноглиняного сосуда ромбической формы, размером 5×6 см (рис. 6, 3).
- ворворки бронзовые колоколовидной формы, две находились под фрагментом керамики (были накрыты им). Размеры $2,8 \times 2,9$ и $2,8 \times 2,4$ см (рис. 6, 1, 2).

Вокруг этих предметов и над ними сохранился органический тлен рыжевато-желтого цвета.

За черепом женщины стоял сосудик керамический лепной с примесью талька в глиняном тесте. Цвет – черный. Дно – круглое, пропорции каплевидные, венчик отогнутый, раструсообразный. Венчик орнаментирован тремя рядами косых насечек, образующих в вертикальной плоскости многократно повторенный зигзаг. В верхней части тулова, прямо от венчика, прочерчены восемь обращенных основанием вверх заштрихованных равнобедренных треугольников. С левой стороны каждого из них нанесена цепочка двойных ямок, снизу крюкообразно огибающих угол. Диаметр венчика 6,8 см, тулова 9,8 см, высота 8,8 см (см. рис. 7, 1; 7, б).

В районе шеи, справа от черепа найдена кучка золотых и пастовых бус (всего 48 шт.) следующих типов:

- золотые пустотелые сферические, спаянные из двух половинок, диаметром 0,9–1,0 см, всего 24 шт. (рис. 4);
- золотые пустотелые когтевидные, имеющие на узком конце шишечку ложной зерни, размером $0,8 \times 2,2$ см, всего 5 шт. (рис. 4);
- пастовая белая рифленая (5 долек) с остатками позолоты, размером $1,0 \times 0,8$ см, всего 1 шт. (рис. 5, 1);
- пастовая бело-голубая рифленая (5 долек), размером $0,9 \times 0,8$ см, всего 1 шт. (рис. 5, 1);
- пастовая сплюснутая гладкая желто-голубая с перламутровым блеском, размером $1,0 \times 0,5$ см, всего 1 шт. (рис. 5, 2);
- пастовые голубые с желтыми глазками, сплюснутые гладкие, размером $0,9 \times 0,6$ см, всего 2 шт. (рис. 5, 4, 5);
- пастовые грязно-желтые рубленые с оплывшими краями неправильной асимметричной формы,

размером от $0,4 \times 0,6$ до $0,6 \times 0,7$ см, всего 12 шт. (рис. 5, 6);

– пастовые с волнистым диагональным бело-коричневым узором, поверхность гладкая, размеры $0,4 \times 0,5$ и $0,6 \times 0,6$ см, всего 2 шт. (рис. 5, 7, 8).

В ногах стоял гончарный красноглиняный сосуд с плоским дном, раздутым туловом, узким горлом и отогнутым наружу венчиком, низких пропорций. Диаметр дна 6,3 см, тулова 14,0 см, венчика 7,2 см, высота 11,5 см (рис. 7, 2; 7б).

Рядом с сосудом лежали:

– небольшой железный стерженек;

– таранная кость небольшого копытного;

– кусочек минерала оранжевого цвета с желтыми включениями, обточенный со всех сторон в форме низкой пирамидки. Реальгар с аурипигментом, с землистой порошковидной поверхностью, мягкий, тв. 2 [Минеева, Горожанин, 1998, с. 180]. Размер $1,6 \times 1,3 \times 0,8$ см (см. рис. 11, 7).

Все эти предметы находились на обширном пятне грязно-желтого тлена.

Костяк 2. Взрослый мужчина лежал параллельно женщине, на расстоянии 0,5 м к востоку от нее, ближе к входу в камеру. Череп лежал на левом боку, лицевой частью к западу, «глядя» на женщину. Левая рука вытянута вдоль тела, правая полусогнута в локте, кисть ее примыкала к обгорелым бревнам заклада и сильно обуглилась. Ноги вытянуты. Под черепом поперек костяка лежала деревянная плашка, один конец которой уходил под бревна заклада.

К этому костяку относились следующие вещи.

У правого предплечья и кисти расчищены остатки колчана с 89 бронзовыми наконечниками стрел, следующих типов:

– трехгранные с выступающей втулкой – 28 шт. (рис. 9, 1–24);

– трехлопастные с выступающей втулкой – 55 шт. (рис. 9, 25–35; 10, 1–31);

– трехлопастные с внутренней втулкой – 6 шт. (рис. 10, 32–35).

Между стрелами и кистью погребенного находилась трубочка из диафиза кости крупной птицы размером $17,4 \times 1,5$ см (рис. 11, 3).

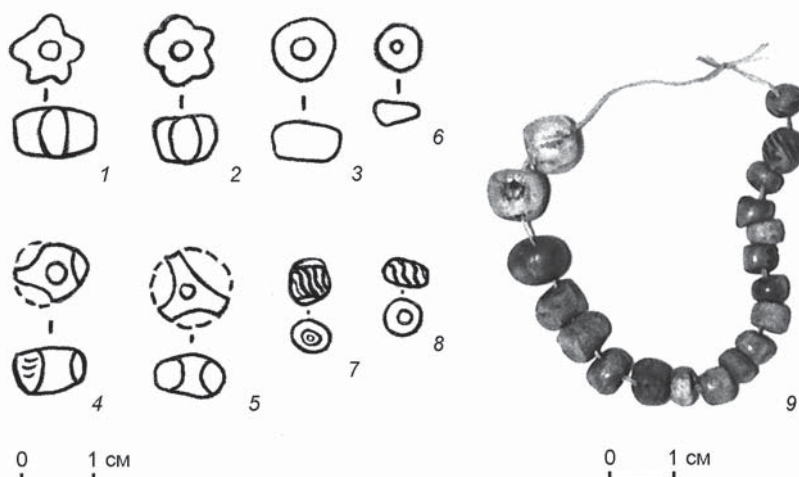


Рис. 5. Могильник Сара. Кург. 3, погр. 2.

Стеклянные и пастовые бусы.

Здесь же найден обоюдоострый железный предмет с раскованными и заостренными концами, средняя часть была чем-то обмотана, так как сохранила следы ожелезненной органики. Размер $15,9 \times 1,1$ см (рис. 11, 4).

Железное шильце, круглое в сечении, с ожелезненными волокнами дерева на черешке, находилось тут же. Размер $4,6 \times 0,8$ см (рис. 11, 2).

На правой тазовой кости лежал железный колчаный крючок с расширенной верхней частью и лапкой, между крючком и лапкой – ожелезненная органика. Размер $8,0 \times 1,8$ см (рис. 11, 1).

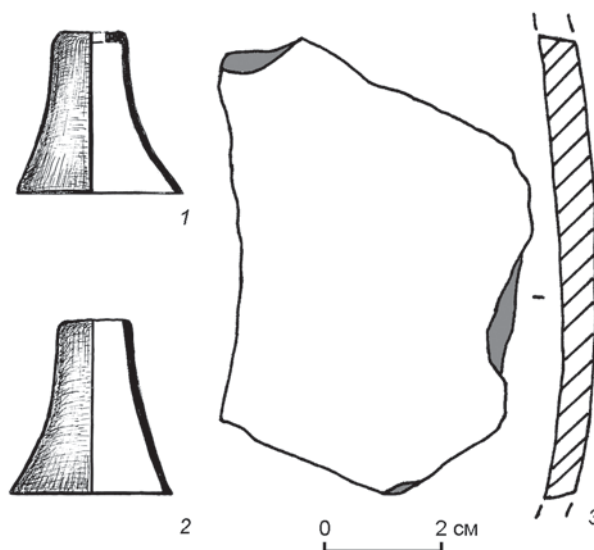


Рис. 6. Могильник Сара. Кург. 3, погр. 2.

1, 2 – бронзовые ворворки; 3 – фрагмент гончарной керамики.

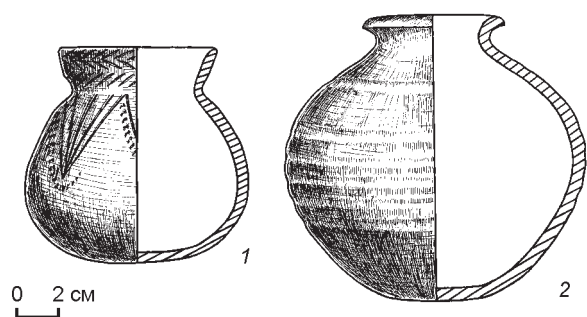


Рис. 7. Могильник Сара. Кург. 3, погр. 2.
1, а – лепной сосуд; 2, б – гончарный сосуд.

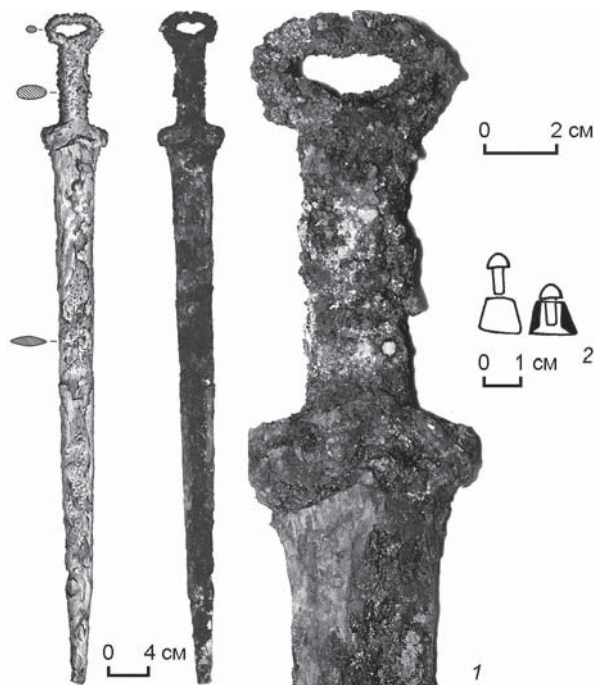


Рис. 8. Могильник Сара. Кург. 3, погр. 2.
1 – меч; 2 – бронзовая ворворка с деревянным шпеньком.

Вдоль правой ноги покойного, острием на юг, лежал железный меч, с овальнокольцевидным навершием и бабочковидным перекрестьем. Навершие несомкнутое, с заходящими друг за

друга концами. Сечение лезвия линзовидное. Общая длина 67,0 см, длина рукояти 12,0 см, лезвия 55,0 см. Ширина навершия 5,8 см, рукояти 2,9 см, перекрестья 6,6 см, лезвия в самой широкой части 5,0 см (рис. 8, 1).

У перекрестья меча найдена миниатюрная бронзовая ворворка в виде усеченного конуса. Сверху в нее был вставлен деревянный шпенок с полусферической головкой. Диаметр 1,3 см, высота 0,9 см (рис. 8, 2).

На расстоянии 15 см к северу от правой стопы покойного лежал железный нож с прямой спинкой и треугольным в сечении лезвием. На черешке – остатки ожелезненного дерева от рукоятки. Размер 11,8 × 1,4 см (см. рис. 11, 5).

Еще один, цельножелезный нож лежал в 0,4 м к востоку – северо-востоку от правой стопы покойного, у самого деревянного заклада. Рукоять овальная в сечении, в отверстие на конце вставлено железное колечко. Лезвие длинное, очень узкое, в сечении треугольное, спинка прямая. Размер 19,9 × 1,0 см (рис. 11, 6).

На расстоянии 0,6 м к северу от стоп покойного, у северной стенки могилы лежал полный бок и несколько разрозненных ребер лошади (?).

Среди ребер найдена бронзовая обоймочка, состоящая из двух прямоугольных пластинок, соединенных между собой двумя штифтами. Между пластиночками – следы дерева. Размер 2,4 × 0,8 см (рис. 11, 8).

Сооружение могилы по данным исследования представляется следующим образом. Вертикальная шахтообразная входная яма прорезала насыпь кургана на глубину около 4 м. После этого в западной стенке была продолблена обширная, но довольно низкая камера. После помещения в нее двух покойников вход в камеру был заложен березовыми бревнами, уложенными горизонтально. Бревенчатый заклад был подожжен, после чего входная яма была немедленно завалена красной глиной. Горение, происходившее без доступа атмосферного воздуха, быстро прекратилось, однако бревна еще довольно долгое время тлели за счет кислорода, оставшегося в камере. Сильное обугливание человеческой кисти при почти не тронутых огнем бревнах можно объяснить только за счет длительного медленного тления – при открытом огне заклад должен был выгореть полностью.

Типология катакомб южноуральских кочевников была предложена К.Ф. Смирновым, перенесшим на «савроматскую» территорию три типа

скифских катакомб, выделенных Б.Н. Граковым [Смирнов, 1964, с. 82]. В наше время типология скифских катакомб В.С. Ольховского, состоящая из десяти типов, также была адаптирована к южноуральским раннекочевническим древностям [Гуцалов, 2004, с. 112]. Катакомбы типа IV-1 (по В.С. Ольховскому), к которому принадлежит саринское погребение, в Скифии получают распространение в IV–III вв. до н.э., причем в них чаще всего находят богатые захоронения [Ольховский, 1991, с. 35–37]. На Южном Урале широкое распространение погребений в могильных ямах с подбоем вдоль длинной стенки с южной ориентировкой костяков А.Д. Таиров относит к IV в. до н.э., причем наиболее ранние из них, по его мнению, датируются концом V в. до н.э. [Таиров, 2009, с. 142]. По нашему мнению, такие катакомбы появляются раньше, наиболее близкими саринскому погребению являются три катакомбы могильника Пятимары I. Несомненно, что они датируются временем более ранним, нежели конец V в. до н.э. Среди них отметим захоронение двух детей в погребении 1 кургана 4. Покойные лежат вытянуто на спине головой к юго-западу. У короткой северо-восточной стенки, в ногах покойных, как и в Саре, лежит заупокойная пища – разрубленные части туши крупного барана [Смирнов, 1964, рис. 31, 3; 1975, с. 17–18].

Вещевой комплекс также находит большинство аналогий в инвентаре погребений «савроматско-го» времени.

Зеркало с резной костяной ручкой является лучшим из до сих пор найденных образцов. Все они имеют плоские диски без каких-либо украшений: два зеркала из к. 7 Сары с практически полностью разрушенными рукоятями [Смирнов, 1964, рис. 35Б, 7], зеркало из кургана, раскопанного в Соболевской области, на концах сохранившейся костяной ручки которого изображены голо-

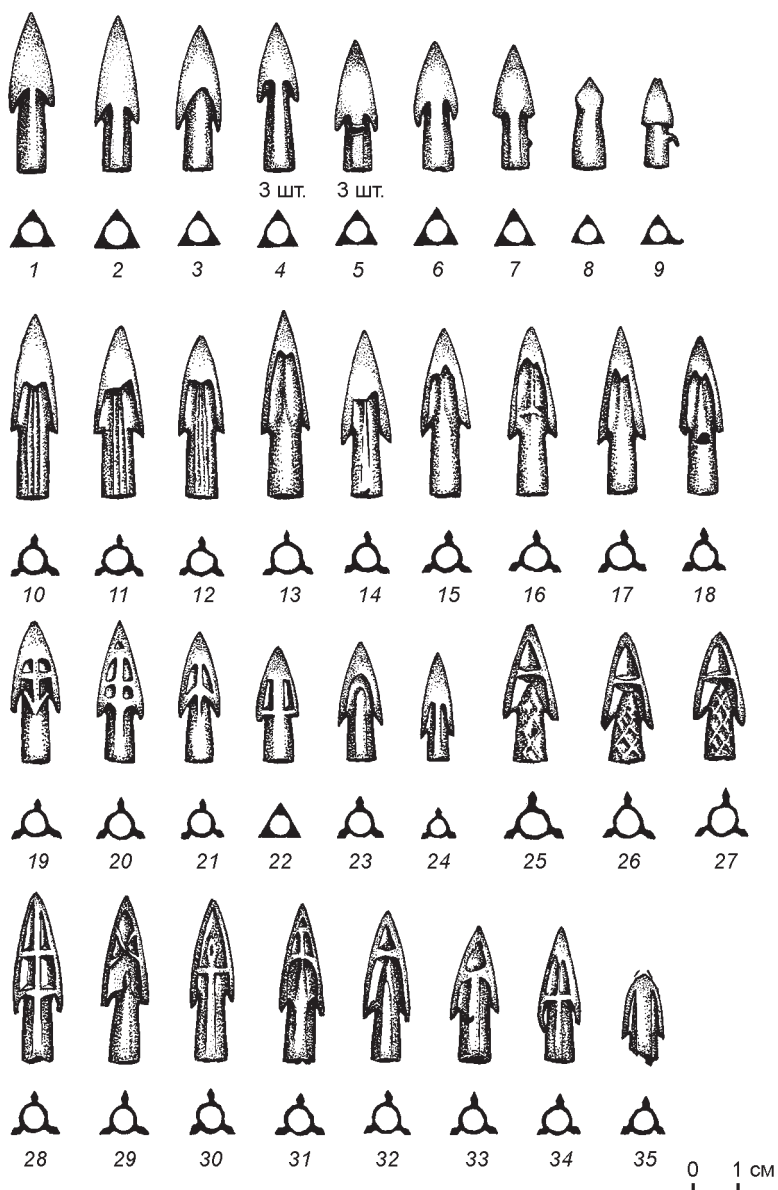


Рис. 9. Могильник Сара.
Кург. 3, погр. 2. Наконечники стрел.

вы хищников [Смирнов, Петренко, 1963, табл. 28, 11, а, б; Смирнов, 1964, рис. 14, 2, а, б; Королькова, 2006, табл. 65, 11], самым поздним в этой группе является зеркало из п. 4 к. 4 Филипповки с частично разрушенной рукоятью, заканчивающейся оскаленной головой хищника [Равич, Яблонский, 2008, рис. 3, 2]. Относительно зеркал из Соболевской области и нашего экземпляра из Сары Е.Ф. Королькова отмечает совершенную аналогичность оформления их рукоятей орнаментированным кабаньим клыкам конца VI – V в. до н.э. [2006, с. 107].

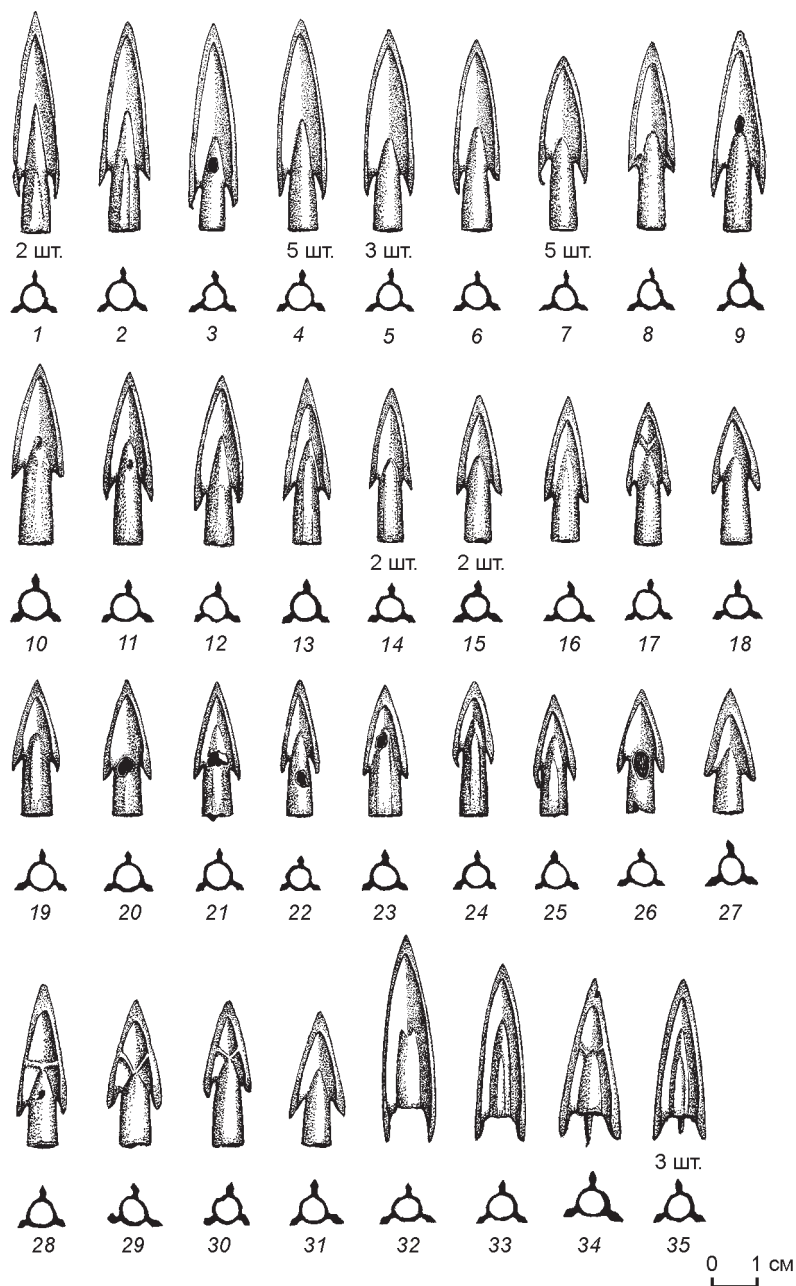


Рис. 10. Могильник Сара. Кург. 3, погр. 2.
Наконечники стрел.

Диск зеркала с отломанной металлической ручкой имеет широкий валик. Рукоять, вероятно, была длинной прямоугольной. Считается, что такие зеркала характерны для IV в. до н.э. Но появление их уже в V в. до н.э. несомненно, отличительной их особенностью является треугольное сечение валика, в отличие от округлого у прохоровских [Пшеничнюк, 1983, с. 97]. Столь же рано появляются украшения дисков зеркал шестилучевыми розетками, как резными, так и чеканными: Бесоба

к. 7 п. 2, Гумарово к. 3 [Кадырбаев, Курманкулов, 1977, с. 109, 112, рис. 6, 6; Зуев, Исмаилов, 1999, табл. 7, 1]. Редкий тип узора с шестью чеканными розетками, вписанными в круг, до сих пор был зафиксирован лишь однажды – в к. 3 п. 2 могильника Покровка 2, датирующегося автором раскопок VI в. до н.э. [Яблонский, 1999, рис. 3; Сокровища..., 2008, рис. 38].

Ворворки связаны с португеей и конской сбруей [Смирнов, Петренко, 1963, табл. 15]. Обычно входят в ременную garnитуру клинкового оружия и колчанов. В саринском погребении одна небольшая ворворка найдена у рукояти меча, что вполне обычно для погребений V–IV вв. Комплекс из двух крупных ворворок, накрытых фрагментом керамики, не находит аналогий.

Золотые полые шаровидные бусы найдены в к. 4 п. 3 могильника Пятимары I [Смирнов, Петренко, 1963, табл. 24, 3; Смирнов, 1964, рис. 32, 1в; Смирнов, 1975, с. 21–22]. Для когтевидных бусин единственной аналогией являются окончания подвесок, припаянные к золотым плетенкам, из впускного коллективного погребения соседнего кургана № 4, исследованного авторами в том же году.

Сосуд с шаровидным туловом и раструбовидным горлом принадлежит к группе круглодонной керамики с примесью талька в глиняном тесте. Этот тип посуды является преобладающим в керамическом комплексе ранних

номадов Южного Урала в IV в. до н.э., однако возникает он раньше, не позднее V в. до н.э. Возникновение его большинство исследователей связывает с зауральскими лесостепными культурами [Гуцалов, 2004, с. 36]. Редкий элемент орнамента – цепочка ямок, снизу крюкообразно огибающих вершину подвешенного треугольника, имеется на сильно фрагментированном сосуде из комплекса у хут. Веселый I близ с. Ак-Булак V в. до н.э. [Смирнов, 1964, рис. 38, 15]. Судя по сохранив-

шимся фрагментам, форма его также была близка к саринскому сосуду.

Сосудик красноглиняный круговой относится к типу миниатюрных сосудиков раннекангуйского времени древнего Хорезма. В нижнем горизонте Кой-Крылган-Калы найден подобный кувшинчик без ручки с отогнутым округлым венчиком, хорошо выраженным горлом, плавно переходящим в округлое тулово, которое от наибольшего диаметра (примерно на середине высоты сосуда) сужается к дну [Воробьева, 1959, с. 117–118, рис. 22, 30; 23, 9; Кой-Крылган-Кала..., 1967, с. 113, табл. IV, 7]. На Южном Урале этот сосудик имеет полную аналогию в кургане 11 Филипповки, кувшинчик из которого несколько меньше саринского, его высота 7,5 см, датируется V–IV в. до н.э. [Сокровища..., 2008, с. 107, № 59].

У **мечей** и кинжалов с ранними типами перекрестий навершия в виде несомкнутого кольца встречаются крайне редко: например, Сынтас к. 1 п. 1 – массивный железный акинак длиной 45,5 см. «Его кольчатое навершие состояло из двух сомкнутых в центре железных прутков» [Кадырбаев, Курманкулов, 1976, с. 142–143, рис. 4, 1]. Акинак т.н. марычевского типа из Тынково (Воронежская обл.) имеет «овальное навершие, формально ничем не отличающееся от кольцевидных наверший сарматских мечей и кинжалов рубежа нашей эры» [Исмагил, Сунгатов, 2004, с. 128–129, рис. 1, 9]. Судя по рисунку, кольцо у него также не сомкнуто. Эти навершия нельзя считать истинно кольцевидными, по-видимому, их нужно признать вариантом волутообразных наверший. Среди последних изредка встречаются экземпляры со смыкающимися в центре ветвями – Осьмушкино, Тавлыкаево IV [Смирнов, 1964, рис. 15, 2а; Пшеничнюк, 1983, табл. L, 2].

Все 89 бронзовых **наконечников стрел** делятся на две группы – трехгранные и трехлопастные. Почти все они, за исключением шести экземпляров, имеют выступающую втулку.

Наконечники с трехгранными головками сводчатой формы и узкими ложками (см. рис. 9, 1–7) соответствуют **типу 3**, отдела III (трехгранных) по классификации К.Ф. Смирнова. Аналогии им

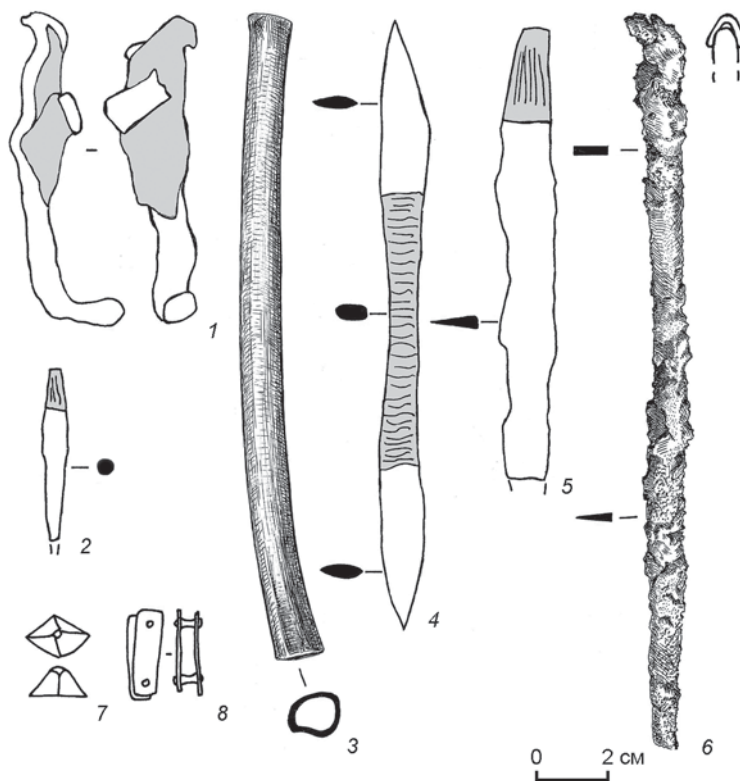


Рис. 11. Могильник Сара. Кург. 3, погр. 2.

1 – железный колчанный крючок; 2 – железное шило; 3 – костяная трубочка; 4 – обоюдоострый железный инструмент с раскованными концами; 5, 6 – железные ножи; 7 – обточенный кусочек реалгара, 8 – бронзовая обоймочка.

находятся в комплексах кочевников, как Приуралья, так и Зауралья. Небольшие серии таких наконечников имеются в колчанных наборах кургана из Соболевской волости, к. 4 Тавлыкаево IV, единичные экземпляры в к. 25 п. 1 Нового Кумака и центральной могиле к. 1 группы Три Мара [Смирнов, 1961, с. 120, рис. 19Б, 23–30; Пшеничнюк, 1983, с. 66–68; Смирнов, 1977, с. 39, рис. 16, 10; 1981, с. 76–78]. В этой серии следует отметить наконечник с арочным вырезом в основании головки (рис. 9, 3), который может соответствовать и типу 5, когда грани переходят в короткие лопасти. Экземпляр имеет близкую аналогию в Поволжье (Политотдельское, к. 18) и, как отмечал К.Ф. Смирнов, в сокровищнице Персеполя [Смирнов, 1961, с. 53, рис. 14, А; 18].

По всей вероятности, к рассматриваемому типу также следует отнести наконечник, боевые грани которого имеют продолговатые углубления (рис. 9, 22).

Аналогию маленькому наконечнику с четко отделенной от втулки трехгранной головкой (рис. 9, 9), хотя и без шипа, также можно най-

ти в комплексе Соболевского кургана [Смирнов, 1961, с. 120, рис. 19Б, 31]. Наличие бокового шипа на втулке скорее всего, свидетельствует о его архаичности.

Как отмечал К.Ф. Смирнов, наконечники типа 3 характерны для хорошо датированных комплексов VI–V вв. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 52]. Полученный за последние десятилетия археологический материал подтверждает эту гипотезу. Нам неизвестно случаев нахождения подобных стрел в погребениях прохоровского времени.

И наконец, маленький наконечник с едва профилированной трехгранной головкой (рис. 9, 8) соответствует **варианту А типа 1**. Такие стрелы хорошо известны в степных древностях Южного Урала, однако в колчанных наборах они представлены либо единичными экземплярами, либо крайне немногочисленными сериями. В качестве аналогий можно привести надежно датруемые комплексы из Нового Кумака (к. 26 п. 3), Аландское I (к. 1 п. 2), Гумарово (к. 2 п. 1), Биш-Уба I (к. 1 п. 3) [Смирнов, 1977, с. 40, рис. 17; Мошкова, 1961, с. 119–121; Зуев, Исмагилов, 1999, с. 107; Агеев, Сунгатов, Вильданов, 1998, с. 98, рис. 6].

Вторая по представительности серия наконечников представлена **вариантом Г типа 5**, которая характеризуется трехгранным острием, переходящим в лопасти. Отличительным признаком этой группы является вилкообразный вырез, отделяющий лопасти от втулки (рис. 9, 10–18). Варианту А этого же типа соответствует наконечник, у которого лопасти отделены от втулки узкими ложками (рис. 9, 24), а варианту Б – экземпляр с арочным вырезом (рис. 9, 23). Время их распространения в южноуральских степях определяется, как правило, VI–V вв. до н.э.

Втулки трех наконечников из этой серии украшены продольными рельефными линиями (рис. 9, 10–12). Аналогии такому типу орнамента имеются среди колчанных наборов из Мечет-Сая (к. 9) и Рычковки I (к. 2 п. 1) [Смирнов, 1975, с. 145–146; Васильев, 1984, с. 34–35].

Типам 8 и 9 соответствуют три наконечника (рис. 9, 19–21). Их отличительной особенностью является наличие орнамента из углублений, образующих, как писал К.Ф. Смирнов, рельефные крестообразные или А-образные фигуры [Смирнов, 1961, с. 54]. Кроме упомянутых К.Ф. Смирновым находок из Соболевского кургана и раскопок Ф.Д. Нефедова 1888 г. в Бузулукском уезде, такие наконечники представлены в колчанных

наборах Бесобы (к. 4) и Яковлевского могильника (к. 2, п. 2; одиночный Яковлевский курган) [Кадырбаев, 1984, с. 87, рис. 1; Федоров, Васильев, 1998, с. 86, рис. 10; с. 91, рис. 15]. Подобные наконечники, как правило, не составляют устойчивых серий в колчанных наборах кочевников рассматриваемого региона, что облегчает определение их хронологической позиции. Они не встречаются в раннепрохоровских комплексах и могут быть датированы V–IV вв. до н.э.

Отдел II – трехлопастные втульчатые наконечники, представлены в рассматриваемом колчанном наборе следующими типами.

Тип 6, характеризуется сводчатой головкой и выступающей втулкой (рис. 9, 25–35; рис. 10, 7, 10–31). Некоторые из них украшены различными рельефными рисками в межлопастном пространстве, образующими крестообразные фигуры, которые, по мнению К.Ф. Смирнова, могут быть метками мастеров [Смирнов, 1961, с. 55]. Весьма интересны три наконечника, втулки которых орнаментированы рельефным «сетчатым» орнаментом (рис. 9, 25–27). Аналогии такому способу маркировки наконечников нам неизвестны.

Следует сказать, что тип 6 является наиболее распространенным в колчанных наборах кочевников Южного Урала. Причем этот тип постоянно эволюционировал от сводчатой к треугольной головке, что хорошо заметно в нашем колчанном наборе. Так, некоторые наконечники уже ничем не отличаются от классических раннепрохоровских стрел второй половины IV в. до н.э. (рис. 10, 13, 14, 16, 22). Не случайно К.Ф. Смирнов определил время их бытования с VII по II в. до н.э., что, разумеется, не облегчает их датировку в рамках одного колчана.

Типу 9 соответствует 15 наконечников (рис. 10, 1–6, 8–9). В целом в морфологическом отношении они близки к типу 6 и существуют параллельно с ним. Главным их отличием является треугольная форма головки и вытянутые пропорции самой стрелы. Поскольку не существует абсолютных критериев «дуговидности» и «треугольности», соотношение наконечника с тем или иным типом происходит зачастую интуитивно, в зависимости от геометрического видения каждого исследователя. К.Ф. Смирнов датирует этот тип начиная с VI в. до н.э., отмечая при этом, что наибольшее распространение он получил на рубеже IV–III вв. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 49]. Последние материалы подтверждают это высказывание. Так,

например, в воинском погребении 2 кургана 10 Переволочанского могильника, конца IV в. до н.э., с мечом переходного типа обнаружена целая серия таких наконечников [Пшеничнюк, 1995, с. 86–88]. Аналогичные наконечники найдены и в кургане Темир, который мы датировали рубежом IV–III вв. до н.э. по выючной фляге [Зданович, Хабдулина, 1986, с. 45–64; Васильев, 2006, с. 60], и кургане 23 группы Покровка I, где такие стрелы также встречены с мечом переходного типа [Яблонский, 1994, с. 51–55].

Шесть наконечников (рис. 10, 33–35) относятся к **типу 12**, который определяется внутренней втулкой, головкой сводчатой формы и опущенными ниже втулки шипами. Это один из самых массовых типов стрел, существовавших на вооружении кочевников Южного Урала. По мнению К.Ф. Смирнова, такие наконечники появляются в VI в. до н.э. и достигают своего расцвета в V в. до н.э. Наиболее выразителен в этом плане курган 5 из группы III Аландское, где эти стрелы найдены в комплексе с уздечным набором, акинаком и предметами звериного стиля [Мошкова, 1972, с. 59–60]. В IV–II вв. до н.э. их количество в колчаных наборах заметно снижается и уменьшаются размеры самих наконечников. Об этом свидетельствует, кстати, незначительный удельный вес таких стрел в колчане упомянутого выше Переволочанского комплекса.

К сожалению, до сих пор не существует эффективных методик датировки колчаных наборов. Общую хронологическую позицию наконечников стрел, как правило, определяют двумя способами: по ведущим сериям наконечников внутри колчана или, как это принято в традиционной хронологии, – по наиболее поздним экземплярам. В первом случае рассматриваемый колчанный набор должен датироваться в рамках V в. и, может быть, первой половины IV в. до н.э., во втором – самым концом IV в. до н.э. Однако последняя дата входит в противоречие с остальным археологическим материалом, поэтому возникает вполне резонный вопрос: насколько корректна сама хронология бронзовых наконечников стрел, у которых уже в V в. до н.э. начинается тенденция к общей нивелировке?

Представляется, что хронологическая неразбежика даже внутри одного колчана имеет не эволюционную, а, скорее, революционную подоплеку. Она могла появиться в том случае, когда арсенал наконечников стрел пополнялся одновременно

продукцией из старых литейных форм (со сводчатыми головками) и новых. При этом новые литейные формы создавались по наконечникам, уже бывшим в употреблении и подвергавшимся при этом одновременной заточке сразу двух лопастей или граней на плоском оселке, в результате которой появлялся новый «тип» более легкой стрелы с треугольными очертаниями головки.

Колчанный крючок принадлежит к типу крючков с лапкой [Смирнов, Петренко, 1963, табл. 15, 19–21].

Определенное хронологическое значение имеют костяные **трубочки**, которые в погребениях «савроматского» времени находят при мужских костяках, обычно рядом с колчанами, например, Новый Кумак к. 10 п. 3 [Смирнов, 1977, с. 14–16, рис. 6, 10], Покровка 10 к. 13 п. 2 [Яблонский, Малашев, 2005, с. 167, рис. 36, 6]. В могильнике Три Мара, к. 4 п. 1, вдоль правого предплечья погребенного находилась трубочка из кости крупной птицы – дрофы? длиной около 21 см, около нее – какой-то железный круглый в сечении инструмент с узкой лопаткой на конце [Смирнов, 1981, с. 80–81, рис. 7, 4, 5]. Этот комплект соответствует обнаруженному в нашем погребении, где вместе с трубочкой был найден **железный предмет с раскованными и заостренными концами**. Назначение таких комплектов не ясно, но оно, по-видимому, утилитарное. В прохоровское время трубочки находят в погребениях обычно в ином контексте – среди наборов «ритуальных» предметов, например, в Прохоровке к. 2 п. 6 костяная трубочка найдена вместе с «гадательными костями» [Яблонский, 2010, с. 46, 255–256, рис. 58, 3, кат. 184].

Для **цельнометаллического ножа** хорошая аналогия имеется в наших раскопках в Яковлевке (к. 1) [Федоров, Васильев, 1998, рис. 5, 8].

Таким образом, погребение принадлежит к «савроматской» культуре ранних кочевников Южного Урала и датируется V – началом IV в. до н.э. Погребение не содержит ни одного признака, который был бы характерен только для IV в. до н.э. либо последующего времени. Все признаки, которые считаются присущими ранним прохоровцам – захоронения в катакомбах, южная ориентировка костяков, круглодонный тальковый сосуд, зеркало с широким валиком по краю, присутствуют и в культуре номадов предшествующего времени.

Рассмотренное погребение интересно еще одним аспектом. Захоронения, в которых погребены

два примерно равных по возрасту разнополых индивида, неоднократно встречены среди «савромато-сарматских» древностей Южного Урала. Вопросы, которые неизбежно возникают при исследовании таких погребений, – кем приходились друг другу захороненные совместно мужчина и женщина? каковы причины погребения их вместе в одной могиле? каковы обстоятельства смерти каждого из них? – как будто не привлекали до сих пор особого внимания археологов-«сарматчиков». Мы, во всяком случае, не можем назвать таких исследований, кроме нескольких отрывочных наблюдений в «Савроматах» К.Ф. Смирнова [1964, с. 198–215]. Между тем известно, что эта проблема – одна из наиболее обсуждаемых в работах исследователей-«бронзоведов» за последние 100 лет.

Начиная с В.А. Городцова [1905, 1907] большинство исследователей полагало, что нужно объяснять подобные погребения насильственной смертью сопровождавшей мужчину жены или рабыни-наложницы [Артамонов, 1934; Круглов, Подгаецкий, 1935; Киселев, 1949, 1951; Окладников, 1950; Грязнов, 1957]. До середины прошлого века такая трактовка была преобладающей. Появление парных погребений объяснялось наступлением «кровавой зари патриархата», узурпацией власти мужчиной, связанной с его новым социальным статусом [Яровой, 2005, с. 188].

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. исследование могильников бронзовой эпохи в Западном Казахстане и восточном Оренбуржье, в которых было найдено много парных погребений, дало новый стимул к изучению этого феномена. Одной из основополагающих работ, предложивших более реалистичный подход к исследованию парных погребений, стала статья Е.Е. Кузьминой, посвященная андроновским могильникам на реке Байту [1964]. В этой работе были даны развернутый анализ самого явления парных погребений и убедительная критика предположений о приниженном положении женщин и их насильственном умерщвлении, как собственности погребаемого мужчины, а понятия «матриархат» и «патриархат» были использованы лишь в историографическом разделе. Е.Е. Кузьмина выступила против механического перенесения на андроновцев обычаев и норм иноэтничных обществ, находящихся с ними примерно на одном уровне социального развития, от меланезийцев до банту, в которых сторонники насильственного умерщвления женщин черпали

обширный этнографический материал. Вместо этого Е.Е. Кузьмина предложила обратиться к материалам о семье и браке у ариев Индии и Ирана, генетически родственных андроновцам, у которых есть обычай символического ухода жены за своим мужем, а у высших каст обычай самосожжения вдовы. В отдельных случаях парные погребения не являлись одновременными, иногда жена захоранивалась в могиле ранее умершего мужа [Кузьмина, 1964, с. 45–49].

Недавно был вновь проанализирован весь накопленный к началу XXI в. материал по парным погребениям эпохи поздней бронзы Южного Урала, и вновь был повторен вывод Е.Е. Кузьминой об отсутствии данных, свидетельствующих о ритуальном умерщвлении женщин. Факт существования парных погребений объясняется одновременной естественной смертью мужа и жены, например, в результате эпидемии, при этом не исключается и добровольный уход из жизни одного из супругов. О супружеской близости покойных говорит «поза объятий», когда один усопший, чаще женского пола, уложен таким образом, что «обнимает» другого [Рафикова, 2008а, б].

Подобные погребения среди раннекочевнических отсутствуют, однако имеются захоронения с явной демонстрацией особой близости покойных друг другу. Костяки мужчины и женщины в них «держат» друг друга за руки [Смирнов, 1964, с. 207]. Несколько таких погребений исследовано в Лебедевке – Леб. V к. 9 пп. 2 и 4, Леб. VII к. 1 п. 4 [Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006, рис. 15, 3; 23, 2; 59, 9]. В других случаях покойные лежат в теснейшей близости, хотя размер могилы позволяет расположить их свободно: Бесоба к. 7 п. 2; Филипповка I к. 4 п. 4 [Кадырбаев, Курманкулов, 1977, рис. 5; Балахванцев, Яблонский, 2008, рис. 1]. Имеются захоронения семей, где в одной могиле находятся мужчина, женщина и маленький ребенок – Лебедевка V к. 9 п. 2, Лебедевка VI к. 25 п. 2 [Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006, рис. 15, 3; 54, 16]. Имеются и случаи, когда в яму к ранее захороненному мужчине подхоранивалась умершая позже женщина, например, Имангазы-Карасу к. 3 п. 2 [Родионов, Гуцалов, 2000, с. 130, рис. 4].

Таким образом, парные погребения савромато-сарматского времени Южного Урала демонстрируют те же особенности, что и парные погребения эпохи бронзы. Среди них есть захоронения покойных разных возрастов, от детей до

пожилых людей, «поза объятий» не встречается, но имеется близкая – «рука в руке». Имеются случаи подхоронения женщин к ранее умершим мужчинам. Нам представляется, что в ранне-кочевнических парных погребениях, так же, как и в эпоху поздней бронзы, нет оснований видеть проявлений обычая ритуального умерщвления одного из погребенных (женщины). Смерть обоих захороненных, являвшихся супружеской парой, скорее всего, наступала от естественных причин.

Другие случаи неодинокных погребений ранних кочевников Южного Урала также можно объяснить одновременной смертью захороненных. Среди двойных погребений имеется некоторое количество мужских захоронений. По крайней мере, в двух случаях можно говорить, что причиной одновременного погребения двух мужчин в одной могиле могла быть их одновременная гибель в результате боевых столкновений, так как в их телах найдены наконечники стрел: Шумаево II к. 9 п. 17 [Шумаевские курганы, 2003, с. 166–167, рис. 99] и Кенеш-3 к. 1 [Базарбаева, Подзюбан, 1997].

Список литературы

Агеев Б.Б., Сунгатов Ф.А., Вильданов А.А. Могильник Биш-Уба I // УАВ. – Уфа, 1998. – Вып. 1.

Артамонов М.И. Совместные погребения в курганах со скорченными и окрашенными костяками // Проблемы истории докапиталистических обществ. – Л., 1934. – № 7–8.

Базарбаева Г.А., Подзюбан Е.В. Курганный комплекс Кенеш-3 // Топографические чтения: регион. рабочее горно-геолог. совещание. – Рудный, 1997. – Вып. 3.

Балахванцев А.С., Яблонский Л.Т. Серебряная амфора из Филипповки // Ранние кочевники Волго-Уральского региона: материалы междунар. науч. конф. – Оренбург, 2008.

Васильев В.Н. Новые данные о каменных курганах ранних кочевников Южного Урала // Памятники кочевников Южного Урала. – Уфа, 1984.

Васильев В.Н. О хронологии выючных фляг ранних кочевников Южного Урала // Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время: сб. ст. к 70-летию А.Х. Пшеничного. – Уфа, 2006.

Васильев В.Н., Федоров В.К. Раскопки курганов у пос. Сара // АО 1993 г. – М., 1994.

Воробьева М.Г. Керамика Хорезма античного периода // ТХАЭЭ. – М., 1959. – Вып. 4: Керамика Хорезма.

Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Изюмском у. Харьковской губ. 1901 г. // Тр. XII АС в Харькове 1902 г. – М., 1905. – Т. 1.

Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Бахмутском у. Екатеринославской губ. 1903 г. // Тр. XIII АС в Екатеринославе, 1905. – М., 1907. – Т. 1.

Грязнов М.П. Этапы развития хозяйства скотоводческих племен Казахстана и Южной Сибири в эпоху бронзы // КСИЭ. – М., 1957. – Вып. 26.

Гуцалов С.Ю. Древние кочевники Южного Приуралья VII–I вв. до н.э. – Уральск, 2004.

Железчиков Б.Ф., Клепиков В.М., Сергацков И.В. Древности Лебедевки (VI–II вв. до н.э.). – М., 2006.

Зданович Г.Б., Хабдулина М.К. Курган Темир // Ранний железный век и средневековые Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск, 1986.

Зуев В.Ю., Исмагилов Р.Б. Курганы у д. Гумарово в Южном Приуралье // АПО. – Оренбург, 1999. – Вып. 3.

Исмагил Р., Сунгатов Ф.А. О генезисе акинаков марычевского типа // УАВ. – Уфа, 2004. – Вып. 5.

Ишбирдин А.Р. О некоторых результатах исследования объектов органического происхождения из курганов эпохи бронзы и раннего железного века Южного Урала // УАВ. – Уфа, 1998. – Вып. 1.

Кадырбаев М.К. Курганные некрополи верховьев р. Илек // Древности Евразии в скифо-сарматское время. – М., 1984.

Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К. Захоронения воинов савроматского времени на левобережье р. Илек // Прошлое Казахстана по археологическим источникам. – Алма-Ата, 1976.

Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К. Материалы раскопок могильника Бесоба // Археологические исследования в Отраре. – Алма-Ата, 1977.

Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М., 1949.

Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М., 1951.

Кой-Крылган-Кала – памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н.э. – IV в. н.э. // ТХАЭЭ. – М., 1967. – Вып. 5.

Королькова Е.Ф. Звериный стиль Евразии: искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н.э.): проблемы стиля и этнокультурной принадлежности. – СПб., 2006.

Круглов А.П., Подгаецкий Г.В. Родовое общество степей Восточной Европы (основные формы материального производства) // ИГАИМК. – М.; Л., 1935. – Вып. 119.

Кузьмина Е.Е. Андроновские могильники на р. Байту (о некоторых деталях андроновского погребального обряда) // КСИА. – М., 1964. – № 97.

Минеева И.М., Горожанин В.М. Минералого-петрографическое описание каменных предметов археологической коллекции Национального музея РБ // УАВ. – Уфа, 1998. – Вып. 1.

Мошкова М.Г. Сарматские курганы в Оренбургской области // КСИА. – М., 1961. – Вып. 83.

Мошкова М.Г. Савроматские памятники Северо-Восточного Оренбуржья // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени. – М., 1972.

Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья: историко-археологическое исследование // МИА. – М.; Л., 1950. – № 18. – Ч. 1–2.

Ольховский В.С. Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII–III вв. до н.э.). – М., 1991.

Пшеничниук А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. – М., 1983.

Пшеничниук А.Х. Переволочанский могильник // Курганы кочевников Южного Урала. – Уфа, 1995.

Равич И.Г., Яблонский Л.Т. Химико-технологическое изучение сарматских зеркал, найденных в курганных могильниках Оренбургской обл. // Ранние кочевники Волго-Уральского региона: материалы междунар. науч. конф. – Оренбург, 2008.

Рафикова Я.В. Срубно-алакульский курган Селивановского II могильника из Южного Зауралья и проблема парных захоронений эпохи бронзы // РА. – 2008а. – № 4.

Рафикова Я.В. Совместные погребения эпохи поздней бронзы на Южном Урале: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Ижевск, 2008б.

Родионов В.В., Гуцалов С.Ю. Материалы погребений и случайных находок савромато-сарматского времени из фондов Актюбинского краеведческого музея // УАВ. – Уфа, 2000. – Вып. 2.

Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов // МИА. – М., 1961. – Вып. 101.

Смирнов К.Ф. Савроматы. – М., 1964.

Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. – М., 1975.

Смирнов К.Ф. Орские курганы ранних кочевников // Исследования по археологии Южного Урала. – Уфа, 1977.

Смирнов К.Ф. Богатые захоронения и некоторые вопросы социальной жизни кочевников Южного Приуралья в скифское время // Материалы по хозяйству и общественному строю племен Южного Урала. – Уфа, 1981.

Смирнов К.Ф., Петренко В.Г. Савроматы Поволжья и Южного Приуралья. – М., 1963. – (Археология СССР. САИ; вып. Д 1-9).

Сокровища сарматских вождей: материалы раскопок Филипповских курганов. – Оренбург, 2008.

Таиров А.Д. О трансформации культуры кочевников Южного Урала в конце V – начале IV в. до н.э. // НАВ. – Волгоград, 2009. – Вып. 10.

Федоров В.К., Васильев В.Н. Яковлевские курганы раннего железного века в башкирском Зауралье // УАВ. – Уфа, 1998. – Вып. 1.

Шумаевские курганы / Н.Л. Моргунова, А.А. Гольева, Л.А. Краева и др. – Оренбург, 2003.

Яблонский Л.Т. Курганы левобережного Илека. – М., 1994. – Вып. 2.

Яблонский Л.Т. Некоторые итоги работ комплексной Илекской экспедиции на юге Оренбургской обл. // Евразийские древности: 100 лет Б.Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. – М., 1999.

Яблонский Л.Т. Прохоровка: у истоков сарматской археологии. – М., 2010.

Яблонский Л.Т., Малашев В.Ю. Погребения савроматского и раннесарматского времени могильника Покровка 10 // НАВ. – Волгоград, 2005. – Вып. 7.

Яровой Е.В. Мистика древних курганов. – М., 2005.

А.А. Бисембаев, А.М. Мамедов, М.Н. Дуйсенгали

ПОГРЕБЕНИЯ ПРОХОРОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РЕКЕ ИЛЕК

Актюбинским областным центром истории, этнографии и археологии в 2009 г. совместно с Институтом археологии им. А.Х. Маргулана и Германским археологическим институтом были проведены исследования памятников ранних кочевников Западного Казахстана на р. Тамды (приток р. Илек).

Исследованный могильник находился на территории Алгинского района Актюбинской области Республики Казахстан, в 5 км к северо-востоку от пос. Есет ата ауылы (бывш. Павловка). Памятник занимает ровную площадку третьей надпойменной террасы правобережья р. Тамды и состоит из 15 объектов, вытянутых широкой полосой с северо-востока на юго-запад, представляющих собой каменные ограды и курганные насыпи с каменными конструкциями (рис. 1). Среди исследованных объектов погребения интересующего времени были обнаружены под курганом № 4, расположенного в центральной части могильника, в 123 м к северо-востоку – востоку от кургана № 1. Насыпь кургана земляная, линзовидная в разрезе, в плане – округлой формы. До начала раскопок на поверхности кургана, в его различных частях просматривались торчащие из грунта камни. Размеры насыпи: высота 0,9 м от уровня материка, при диаметре 18–19 м.

После удаления верхнего дернового слоя, на глубине 5–25 см от уровня дневной поверхности, была расчищена каменная конструкция из плит различных размеров (рис. 2, I). Размеры некоторых из них достигали в длину 1,0–1,5 м, в ширину – 0,7–0,8 м, толщину – 0,2–0,25 м. Каменные плиты в большинстве своем лежали хаотично, и следы кладки не фиксировались, кроме северо-западной стороны конструкции. В этой стороне она

имела округлые очертания, каменные плиты располагались вертикально и нижним концом были врыты в материк. Каменная наброска представляла собой, скорее всего, развал сложной конструкции подквадратной или округлой в плане формы. В центральной части конструкции камни отсутствуют, образуя пустое пространство, заполненное суглинком коричневого и темно-бурого цветов с включением угольков, встречавшихся в основном над могильной ямой. С северной стороны к этому пространству был проделан коридоробразный проход из больших каменных плит, также врытых ребром в материк. Проход имел длину около 3,0 м, ширину – 0,25–0,75 м. Камни на периферии конструкции несут следы развала, были смещены во внешнюю и внутреннюю стороны. Некоторые из камней были обнаружены во рвах, примыкавших к конструкции с севера и с юга. С целью фиксации находок и погребений каменная конструкция была полностью снесена до уровня материка.

В ходе расчистки конструкции были выявлены следующие находки:

- среди камней в юго-восточной части сооружения, в 3,75 м к югу и в 5 м к востоку от центральной точки, на глубине 0,5 м от дневной поверхности был обнаружен фрагмент красноглиняного гончарного сосуда;

- в северной части под камнями сооружения, к западу от прохода, в 3 м к северу и 0,5 м к западу от центральной точки на глубине 0,75 м от дневной поверхности был обнаружен плохо сохранившийся череп лошади.

Под курганом было выявлено четыре погребения.

Погребение № 1. Могильная яма находилась под центральной частью кургана и на уровне

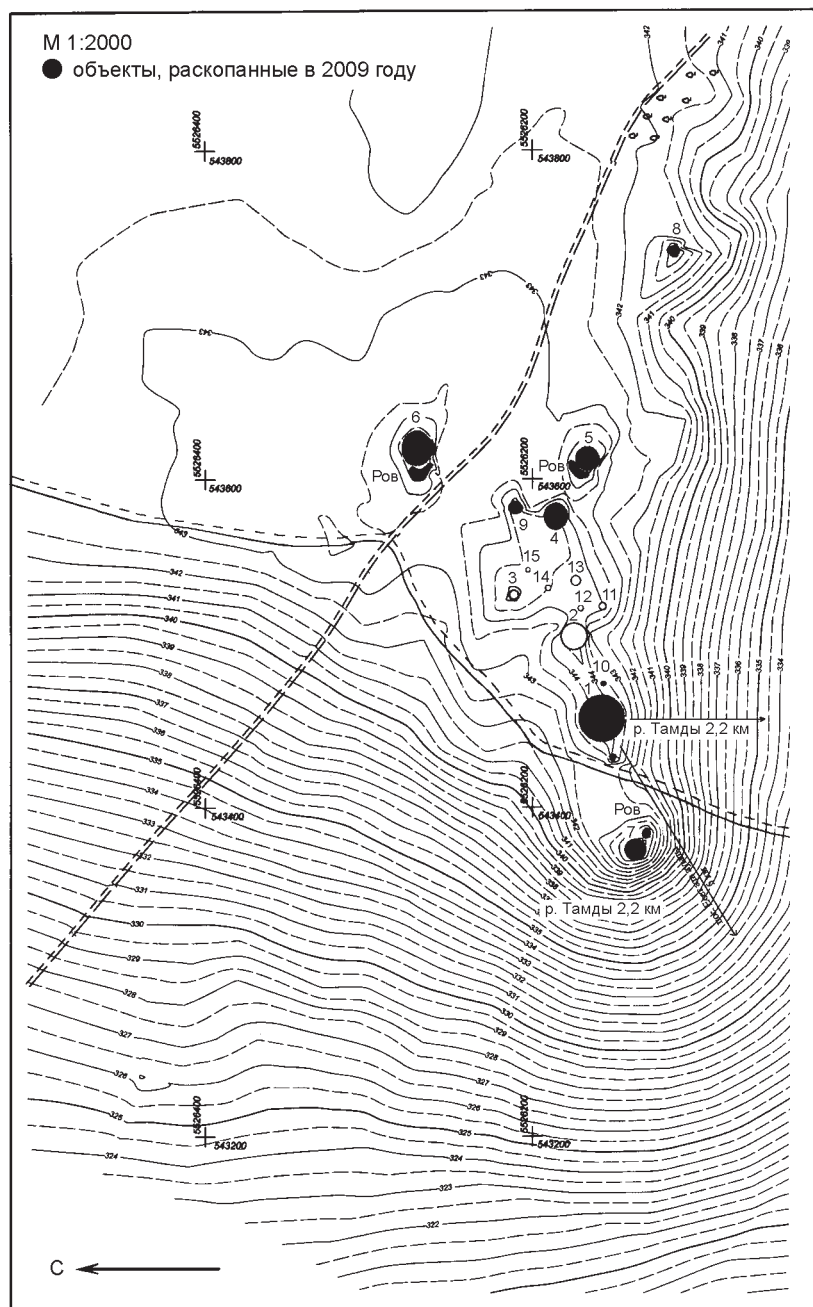


Рис. 1. План могильника Сапибулак.

погребенной почвы выделялась суглинком темно-коричневого цвета. В северной части контуры могильной ямы начинались с прохода каменной конструкции, восточная и южная стороны уходили под нее. Снос конструкции показал, что контуры могильной ямы имеют неправильную форму вытянутых очертаний, ориентированную с севера на юг с незначительным отклонением. На уровне погребенной почвы, в основном в северной и

южной частях могильной ямы, были выявлены камни. Зачистка показала, что могильная яма представляет собой катакомбное погребение больших размеров с торцевой камерой (рис. 2, II, 1). Входная яма, ориентированная меридианально, имела размеры $2,5 \times 1,6$ м, глубина от уровня погребенной почвы 1,2 м. Стенки отвесные, у северного борта имеет расширение. В заполнении входной ямы от уровня погребенной почвы встречались камни различных размеров. Камни в нижней части располагались в южной стороне входной ямы и представляли собой остатки заклада входа в погребальную камеру. Некоторые из камней были завалены в камеру.

В южной торцевой стенке ямы был обнаружен вход в катакомбу, длинная ось которой продолжала длинную ось входной ямы. В плане камера имела подпрямоугольную форму длиной 3,57 м и шириной 1,57 м. Глубина от уровня древней погребенной почвы 3,6 м. Свод катакомбы полностью обрушился в древности, в результате чего восточная сторона камеры в верхней части приобрела округлые очертания. На разных уровнях в толще заполнения катакомбы встречались мелкие угольки обгоревших древесин.

Погребенный находился в прямоугольной деревянной конструкции (носилки?), сверху перекрытой тонкими плахами.

Сохранившаяся длина деревянной конструкции 1,85 м, ширина 0,80–0,85 м. Скелет плохой сохранности лежал на спине с подогнутыми в коленях и широко расставленными ногами (поза всадника). Руки, согнутые в локте, также были расставлены в сторону. Под костями скелета прослеживалась тонкая прослойка органики темного цвета. Погребенного сопровождали следующие предметы:

– под черепом находилось бронзовое зеркало с ручкой-штырем и слабо выраженным валиком по краю диска. Диаметр диска зеркала 14,7 см, ширина валика около 1,5 см (рис. 2, II, 7);

– у восточной стенки на уровне головы стоял лепной сосуд с шаровидным туловом, воронкообразным горлом, отогнутым наружу венчиком, плоским и скошенным дном. Сосуд по шейке орнаментирован горизонтальным рельефным выступом. Поверхность сосуда хорошо заглажена, имеет неравномерный обжиг. Тесто в изломе темно-серого цвета. Высота сосуда 263 мм, диаметр венчика 113 мм, диаметр шейки 120 мм, максимальный диаметр тулова 224 мм, диаметр дна 71 мм (рис. 2, II, 8);

– рядом с сосудом, чуть севернее была расчищена тонкая прослойка органики растительного происхождения округлой формы. Органика, вероятно, представляла собой остатки деревянного сосуда. Сохранившийся диаметр около 10 см;

– у восточной стенки на уровне бедренных костей находилось деревянное блюдо овальной формы, поверхность изделия и около него лежали ребра лошади. Блюдо изготовлено из тонких пластин дерева толщиной около 1,5 см, сохранившаяся длина 39 см, ширина 25,8 см (рис. 2, II, 6);

– у правой бедренной кости лежал железный кинжал с тонким брусковидным перекрестием и серповидным навершием. Длина кинжала 41,7 см, ширина лезвия у перекрестия 4,6 см, длина лезвия 35 см, ширина рукояти у перекрестия 2,7 см (рис. 2, II, 5). На рукояти кинжала прослеживались материи. Одна тонкая хорошего плетения, вторая – из более толстых ниток. Рядом с рукоятью находилось бронзовое кольцо, округлое в сечении, от которого сохранилась только половина изделия. Примерный диаметр кольца 2,6 см (рис. 2, II, 4);

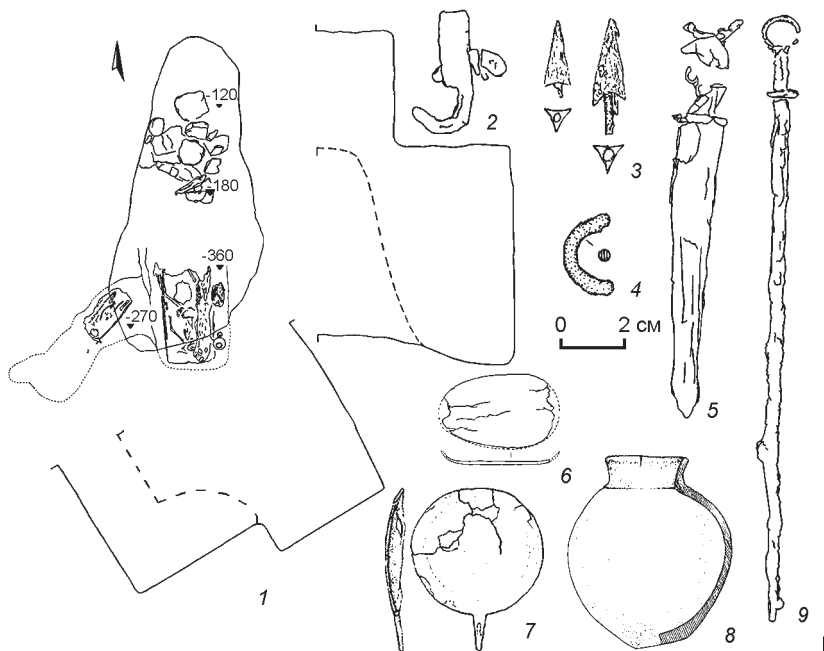
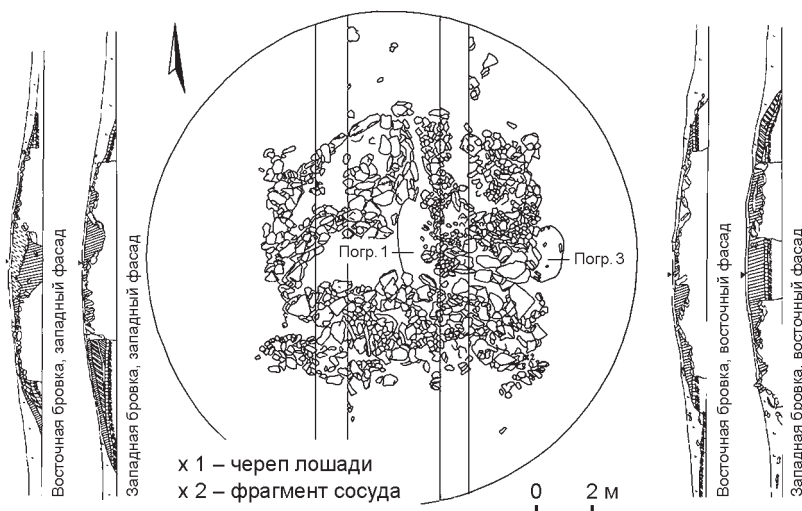


Рис. 2. Могильник Сапибулак, курган 4.

I – план и разрезы кургана; II – погребения 3 и 4.

1 – план и разрезы погребений; 2 – колчанный крючок; 3 – наконечники стрел;

4 – кольцо; 5 – кинжал; 6 – блюдо; 7 – зеркало; 8 – сосуд; 9 – меч.

2, 3, 5, 9 – железо; 4, 7 – бронза; 6 – дерево; 8 – глина.

– слева от костяка лежал длинный железный меч с прямым брусковидным перекрестием и кольцевидным навершием. Длина меча 118 см, ширина лезвия у перекрестия 3 см, длина лезвия 102 см, ширина рукояти у перекрестия 2,6 см (рис. 2, II, 9);

– здесь же лежали фрагменты железных изделий, функциональная принадлежность которых не восстанавливается;

– возле длинного меча, в районе его средней части лежали три пучка железных черешковых наконечников стрел. Плохая сохранность изделий не дает определить количество и форму некоторых из них. Наконечники в основном изящных форм, трехлопастные с треугольной боевой головкой и дуговидным срезом основания. Черешки тонкие, округлые в сечении, сохранившаяся длина черешков 1,0–2,4 см (рис. 2, II, 3).

Погребение № 2. Примыкало к погребению № 1 с западной стороны и находилось под камнями конструкции. На уровне погребенной почвы следы впуска и разрушений не прослеживались, следовательно, погребения являются единовременными либо промежуток времени между ними был незначителен. Входная яма, подпрямоугольной в плане формы, была направлена по оси северо-восток – юго-запад. Ее западный угол был разрушен по причине состава почвы (супесь). Ее размеры составляли $1,5 \times 0,87$ м. Погребальная камера неправильной формы была устроена с торцевой северо-восточной стороны. Находилась под небольшим углом по отношению к длинной оси входной ямы. Имела размеры $1,34 \times 0,9$ м. Дно входной ямы и погребальной камеры находились на одном уровне и имели глубину 2,7 м от уровня погребенной почвы (рис. 2, II, 1). Во входной яме практически у камеры была обнаружена трубчатая кость мелкого рогатого скота. В заполнении погребальной камеры также встречались мелкие угольки дерева. Погребение было совершено в деревянной конструкции небольших размеров длиной около 1 м, шириной 40–42 см. От конструкции четко прослеживались продольные и поперечные бруски шириной около 3 см.

На дне камеры в деревянной конструкции лежал скелет ребенка вытянуто на спине головой на юго-запад. Кости плохой сохранности. Кости грудной клетки, рук и ступней не сохранились. Под костями и вокруг деревянной конструкции прослеживалась тонкая органика темного цвета. Сопровождалось костями лошади, лежащими в ногах по обе стороны. Погребение безинвентарное.

Погребение № 3. Было обнаружено в восточной поле кургана и примыкало к каменной конструкции. Могильная яма на уровне погребенной почвы и в разрезе под каменной конструкцией выделялась грунтом темно-серого цвета с включением камней. Погребение было совершено в могильной яме с заплечиками, ориентированной по оси север-юг. Яма прямоугольной в плане фор-

мы, расширяющаяся к южной короткой стенке, имела размеры по дну 2,17 м в длину, 0,8–1 м в ширину, глубина от уровня погребенной почвы 3,65 м (рис. 3, I, 1).

Погребенный лежал в деревянной конструкции (носилки?) вытянуто на спине, головой на юг. Костяк плохой сохранности, кости верхних и нижних конечностей практически не сохранились. Под скелетом фиксировалась органика темно-серого цвета. Конструкция представляла собой деревянную раму длиной около 1,8 м, шириной около 0,74 м. Рама была изготовлена из брусков, скрепленных между собой, вероятно при помощи сквозных пазов. В юго-западном углу поперечные бруски выступали наружу. Вся конструкция поверху была закрыта деревянными плашками, перекрывавшими скелет поперек. Инвентарь погребенного представлен следующими предметами:

– в районе правого плеча находились фрагменты бронзового зеркала с небольшим валиком по краю диска. Зеркало, возможно, имело подпрямоугольную ручку. Примерный диаметр диска 12,2 см. Под зеркалом были обнаружены небольшие фрагменты дерева, вероятно, являющиеся остатками футляра (рис. 3, I, 3);

– в районе шейных позвонков и на костях запястья были расчищены различные типы бус. Бусы с шейных позвонков были стеклянные, покрытые глазурью (рис. 3, I, 6). На запястьях бусы в большинстве гешировые, дисковидные или цилиндрические, также имелись стеклянные, как покрытые глазурью, так и без нее (рис. 3, I, 4–5);

– в юго-восточном углу ямы, за пределами деревянной конструкции стоял лепной сосуд с шаровидным туловом, узким цилиндрическим горлом, отогнутым наружу венчиком, уплощенным и узким дном. На месте перехода от шейки к тулову имеются небольшие уступы. Под каждым уступом под наклоном нанесено по ряду насечек. Тулово сосуда орнаментировано вертикальными бороздами, нанесенными по 3–4 линии. Поверхность сосуда заглажена, имеет темно-серые оттенки. Обжиг неравномерный. Высота сосуда 206 мм, диаметр венчика 101 мм, диаметр шейки 92 мм, максимальный диаметр тулова 188 мм, диаметр дна 56 мм (рис. 3, I, 2).

Слева и справа от костяка за пределами деревянной конструкции находились кости животных, не определяемых из-за плохой сохранности.

Погребение № 4. Представляло собой подбойное погребение. Располагалось под каменной кон-

струкцией, между погребениями № 1 и 2. Пятно могильной ямы было обнаружено при зачистке поверхности погребенной почвы. Оно имело неправильную в плане форму, выделялось коричневым суглинком с включением камней (рис. 3, II, I).

Входная яма подпрямоугольной формы была ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Имела небольшие размеры: $1,64 \times 0,8$ м, глубина от уровня погребенной почвы 1 м. В северо-западной стенке входной ямы был расчищен заклад, состоящий из трех элементов:

– сам заклад, сооруженный из каменных плит, положенных плашмя;

– подпорка из таких же каменных плит, поставленных вертикально на ребро. Она фиксировалась только во входной яме;

– уступ, разделявший погребальную камеру от входной ямы. Состоял из трех каменных плит, положенных плашмя и нижним основанием заглубленных в материк.

Погребальная камера подпрямоугольной формы, была ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Ее размеры $1,29 \times 0,44$ м, глубина 1 м. На дне камеры лежал скелет ребенка на спине с подогнутыми коленями и широко

расставленными ногами (поза всадника). Ориентировка ЮЗ. Под скелетом и вокруг него прослеживалась органика коричневого цвета.

Погребенного сопровождал только плоскодонный лепной сосуд, поставленный в его изголовье. Он имел яйцевидную, плавно профилированную форму тулова, с вогнутой шейкой, отогнутым наружу венчиком и уплощенным, относительно узким дном. Край венчика наклонно срезан наружу. У сосуда выражен невысокий переход ко дну. Со-

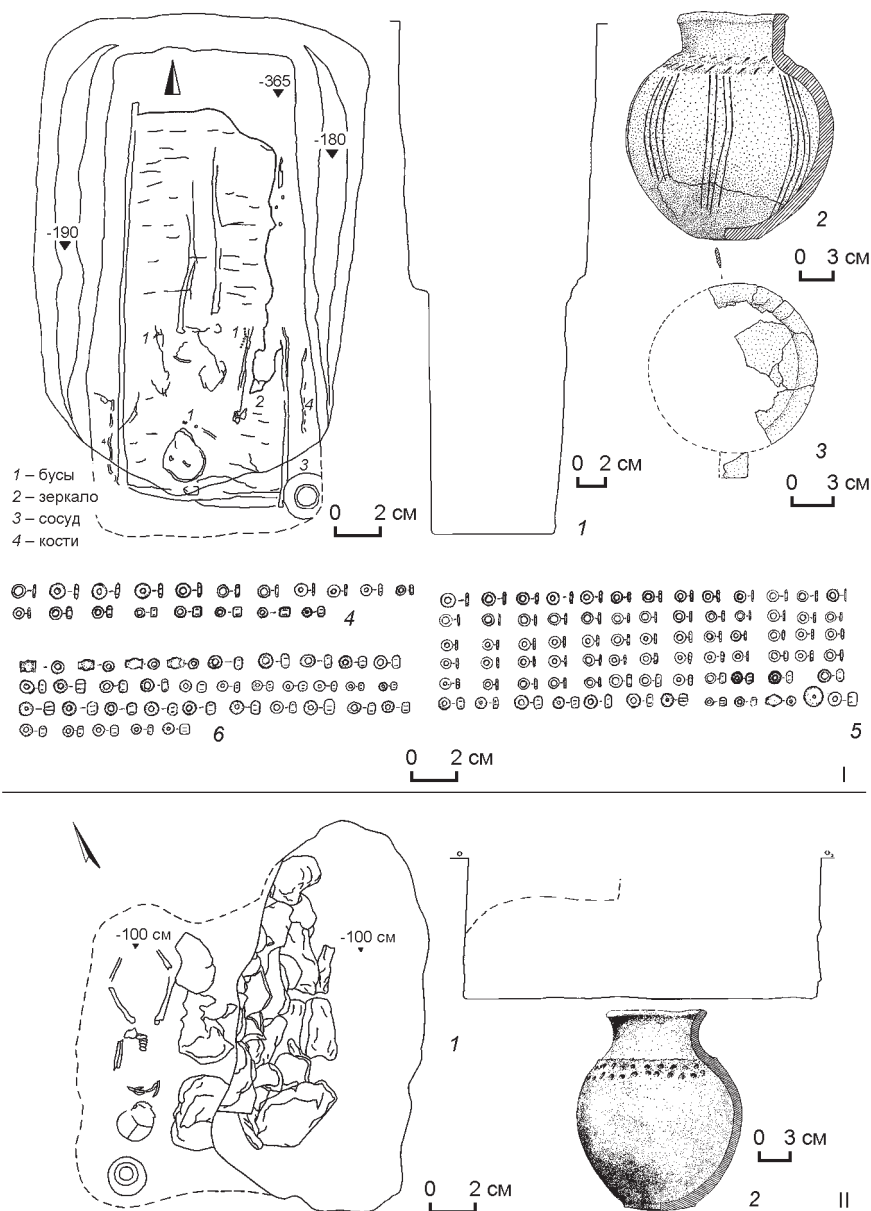


Рис. 3. Могильник Сапибулак, курган 4.

I – погребение 3. 1 – план и разрез погребения; 2 – сосуд; 3 – зеркало; 4–6 – бусы (2 – глина; 3 – бронза; 4–6 – стекло, гешир).

II – погребение 4. 1 – план и разрез погребения; 2 – глиняный сосуд.

суд орнаментирован, главным образом в верхней части. На месте сочленения тулова и шейки имеется неширокий уступ, по верху которого проходит ряд горизонтальных коротких насечек различной длины. Ниже этой орнаментальной зоны проходят два круговых горизонтальных пояса, образованных рядами маленьких ямок. Орнамент был получен в результате вдавлений по сырой глине, совершавшихся под углом, относительно оси тулова снизу вверх, о чем свидетельствует образовавши-

еся бугорки в правой верхней части ямок. Стенки сосуда в изломе черного цвета. Поверхность сосуда тщательно заглажена, имеет красноватый цвет. Обжиг равномерный. Сосуд на некоторых местах имеет следы нагара. Высота сосуда 202 мм, диаметр венчика 102 мм, диаметр шейки 86 мм, максимальный диаметр тулова 169 мм, диаметр дна 72 мм (рис. 3, II, 2).

Таким образом, под насыпью кургана было исследовано четыре погребения, расположенных по так называемой кругово-центрической планировке. Все погребения располагались вокруг основного погребения № 1, не нарушая друг друга, что дает возможность предположить о одновременности или небольшом отрезке между временем совершения захоронений. Судя по погребальному обряду и инвентарю, рассмотренные погребения относятся к прохоровской археологической культуре и датируются в рамках III–I вв. до н.э. Вещевой комплекс погребения № 1 достаточно выразителен и в основном представлен находками воинской амуниции. Так, железный кинжал с серповидным навершием и тонким брусковидным перекрестием имел большое распространение в степях Южного Приуралья. По мнению многих исследователей, подобные вещи датируются в пределах IV–II вв. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 27; Мошкова, 1963, с. 34; Таиров, Ульянов, 1996, с. 144; Васильев, 2001, с. 172; Клепиков, 2002, с. 29; Гуцалов, 2004, с. 28–29]. О верхней границе погребения можно судить по длинному мечу с кольцевым навершием и брусковидным перекрестием. Мечи этого типа также довольно частая находка в сарматских памятниках и находили применение кочевниками длительное время начиная с III в. до н.э. до среднесарматского периода включительно [Мошкова, 1963, с. 34–35; Таиров, Ульянов, 1996, с. 144–146; Васильев, 2001, с. 173; Гуцалов, 2004, с. 30; Таиров, 2004, с. 147]. А по другому мнению – с рубежа IV–III вв. до н.э. либо с III в. до н.э. [Клепиков, 2002, с. 30–31]. Совместная находка мечей обоих типов в погребениях прохоровской культуры позволяет уточнить время захоронения III–II вв. до н.э. или II в. до н.э. [Хазанов, 1967, с. 174] либо II–I вв. до н.э. [Скрипкин, 1992, с. 23].

Железные черешковые наконечники стрел с треугольной боевой головкой и лопастями, срезаемыми под острым углом к черешку, появляются в степях Южного Приуралья в III–II вв. до н.э. [Хазанов, 1971, с. 37–38; Хазанов, 2008, с. 92].

Возможно, базы некоторых наконечников имели дуговидный срез основания. Обращает на себя внимание отсутствие в погребении бронзовых наконечников стрел, полная смена которых железными приходится на II в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 70; Хазанов, 1971, с. 35, 36].

К предметам вооружения также относится железный колчанный крючок из круглого в сечении прута с широкой пластиной. Аналогичные крючки на территории Южного Приуралья автору не известны. Скорее всего, данное изделие представляет собой редкий тип, не получивший большого распространения в сарматской среде.

Для определения хронологической позиции показателен и керамический комплекс погребений, характерный для IV–II вв. до н.э. Все три сосуда плоскодонные с шаровидной и яйцевидной формой тулова, орнаментированные горизонтальными рельефными выступами, параллельными бороздами, насечками и ямками, присущими для прохоровского этапа развития культуры ранних кочевников Южного Приуралья [Мошкова, 1974, с. 20, 22–23; Смирнов, 1975, с. 171].

Оба зеркала, происходящие с рассматриваемых погребений, объединяет типичный для IV–II вв. до н.э. элемент – валик по краю диска. Зеркало с основного погребения имеет боковую ручку-штырь и относится к IV типу по классификации А.М. Хазанова, получивших распространение с III–II вв. до н.э. [Хазанов, 1963, с. 62]. Второе зеркало с погребения № 3, к сожалению, было разбито, что не позволяет более точно судить о его типе. Вероятно, оно имело прямоугольную ручку и представляет собой зеркало III типа, большинство которых встречаются в погребениях в III–II вв. до н.э. [Там же]. Остальной погребальный инвентарь (бусы, деревянные блюда) в принципе относится к тому же периоду, что и выше рассмотренные. Погребение выделяется большим числом бус (130 штук), увеличение количества которых падает на III–II вв. до н.э. Среди них преобладают дисковидные и цилиндрические гешировые бусы. Вторыми по представительности являются стеклянные бусы, покрытые глазурью [Мошкова, 1963, с. 45]. Судя по анализу погребального инвентаря, рассматриваемые погребения относятся к III–II вв. до н.э. В пользу данного положения говорит немногочисленность погребального инвентаря, состав заупокойной пищи, представленной в основном частью тушки мелкого рогатого скота, использование деревянных носилок, южная ориентировка

погребенных и т.д. [Смирнов, 1975, с. 162; Пшеничнюк, 1983, с. 106; Бисембаев, Гуцалов, 1998, с. 156].

Подводя итог, можно сделать вывод, что культура кочевников Южного Приуралья прохоровского времени продолжает традиции более раннего периода – савроматской эпохи, в традиционном ее понимании, среди особенностей которой следует отметить южную ориентировку, распространение подбойно-катакомбных погребений.

Список литературы

- Бисембаев А.А., Гуцалов С.Ю.** Новые памятники древних и средневековых кочевников Казахского Приуралья // УАВ. – Уфа, 1998. – Вып. 1.
- Васильев В.Н.** К хронологии раннепрохоровского клинкового оружия и «проблеме» III в. до н.э. // Материалы по археологии Волго-Донских степей. – Волгоград, 2001. – Вып. 1.
- Гуцалов С.Ю.** Древние кочевники Южного Приуралья. – Уральск, 2004.
- Клепиков В.М.** Сарматы Нижнего Поволжья в IV–III вв. до н.э. – Волгоград, 2002.
- Мошкова М.Г.** Ново-Кумакский курганный могильник близ г. Орска // МИА. – М., 1962. – № 115.
- Мошкова М.Г.** Памятники прохоровской культуры. – М., 1963.
- Мошкова М.Г.** Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры. – М., 1974.
- Пшеничнюк А.Х.** Культура ранних кочевников Южного Урала. – М., 1983.
- Скрипкин А.С.** Азиатская Сарматия: проблемы хронологии, периодизации и этнополитической истории: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1992.
- Смирнов К.Ф.** Вооружение савроматов. – М., 1961.
- Смирнов К.Ф.** Сарматы на Илеке. – М., 1975.
- Таиров А.Д.** Этнокультурные трансформации III–II вв. до н.э. в урало-казахстанских степях // Известия Челябинского научного центра УрО РАН. – 2004. – Вып. 4 (26).
- Таиров А.Д., Ульянов И.В.** Случайные находки оружия ближнего боя из коллекции лаборатории археологических исследований Челябинского университета // Материалы по археологии и этнографии Южного Урала: труды музея-заповедника Аркаим. – Челябинск, 1996.
- Хазанов А.М.** Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА. – 1963. – № 4.
- Хазанов А.М.** Сарматские мечи с кольцевым навершием // СА. – 1967. – № 2.
- Хазанов А.М.** Очерки военного дела сарматов. – М., 1971.
- Хазанов А.М.** Очерки военного дела сарматов. – СПб., 2008.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИЗ КАТАКОМБЫ 12 МОГИЛЬНИКА КУЛЬТОБЕ

В течение ряда лет Международный археолого-этнологический Центр ведет работы на памятниках арысской культуры Южного Казахстана, в том числе на могильнике Культобе [Подушкин, 2000, с. 76–83]. Его топография характеризуется сочетанием бессистемного расположения насыпей с курганами, оформленными в цепочку. Могильник находится на гребневидных лессовых останцах правой надпойменной террасы р. Арысь (Ордабасинский район Южно-Казахстанской области, в 58 км к северо-западу от г. Чимкент), состоит из около ста курганов. Раскопкам подверглась южная группа курганов, в том числе курган 12. Основные размеры лессовой насыпи кургана: в основании 22 на 18 м, высота 2,3 м. В северном секторе кургана, на глубине 3,8 м от уровня древней поверхности, была открыта «Т»-образная трехчастная катакомба (дромос, лаз и камера) с коллективным погребением (обряд: труположение на спине). В катакомбе найдены остатки четырех человеческих костяков, разбросанных в беспорядке по дну камеры и дромоса (рис. 1, 2, 1). Предварительная половая идентификация погребенных – двое мужчин и две женщины средних лет.

Перейдем к описанию археологического комплекса катакомбы 12 могильника Культобе. Керамика в погребении представлена столовым и водоносными кувшинами грушевидной формы, с высокой горловиной, вертикальной желобчатой ручкой. Сосуды сделаны на быстровращающемся круге, декорированы станковым рифлением, покрыты ангобом светло-коричневого цвета и ангобными потеками более темных коричневых тонов (рис. 2, 2).

Бронзовое китайское зеркало с характерным выступом-умбоном на декоративной стороне

и концентрическим расположением орнамента (рис. 2, 3). Бронзовый колокольчик сферической формы, петлевидным ушком с отверстием в верхней части для подвешивания. Колокольчик цельнолитой, вверху сферы имеет два сквозных отверстия. В числе конструктивных особенностей колокольчика отметим наличие штырька, выступающего с внутренней стороны изделия параллельно горизонтальной поверхности и расположенного по высоте почти в его центральной части. Кроме того, колокольчик декорирован в нижней части пояском высотой 0,5 см, куда «вписана» концентрически располагающаяся «змейка» (на одной из поверхности петлевидного ушка фиксируются декоративные насечки; рис. 3, 1).

Подобного рода изделие среди традиционных сферических бронзовых колокольчиков с язычковым извлечением звука в погребальных комплексах Южного Казахстана I в. до н.э. – I в. н.э. встречено впервые. Наличие двух отверстий вверху сферы и внутреннего бокового штырька у данного колокольчика, с одной стороны, может предполагать использование съемных подвесных язычков особого устройства [Литвинский, Седов, 1984, с. 58, табл. IV, 13, 14]; использование отверстий в сфере колокольчика в качестве приспособления для подвешивания язычка). С другой стороны, местонахождение штырька, его близость к нижнему краю колокольчика в принципе почти исключают возможность получения звука язычковым путем, – по-видимому, в данном случае мы имеем дело с другим, не язычковым вариантом извлечения звука. Эмпирически возможно предположить присутствие на штырьке загибающейся на нем «бегающей» ме-

таллической цилиндрической втулки чуть большего диаметра, которая свободно двигалась на нем и извлекала звук путем удара о противоположную стенку сферы колокольчика при соответствующих динамических манипуляциях.

Бронзовая подвеска-бубенчик имеет вид миниатюрного полого сосулика высотой 1,4 см с маленькой петлей-ушком сверху для подвешивания; в нижней части бубенчика зафиксирован прорез (рис. 3, 2). Амулет представляет собой крупный кристалл почти прозрачного горного хрусталя характерной карандашевидной формы в виде шестигранника с конусовидным граненым верхним завершением (рис. 3, 5). Бусы из горного необработанного хрусталя крупные, диаметром 1,6 см, округлые по форме, имеют в центре отверстие. Бусы-подвески из многослойной «крученой» стеклянной массы обычно вытянутой цилиндрической формы с продольным отверстием по всей длине. Мелкие бусины сделаны из разноцветной стекловидной пасты, они небольшого размера, округло-овальные по форме, имеют сквозное отверстие (цветовая гамма: коричневатая-желтая и голубого оттенков). В числе бусин отметим и цилиндрическую полированную костяную бусину коричневого цвета с продольным сквозным отверстием (рис. 3, 4). Раковины каури *Sureaemoneta* хорошей сохранности, обычной для этого вида раковин формы, с небольшим отверстием в конусовидной верхней части (рис. 3, 4). Косметический прибор представлен частью графитовой массы длиной 1,4 см со следами

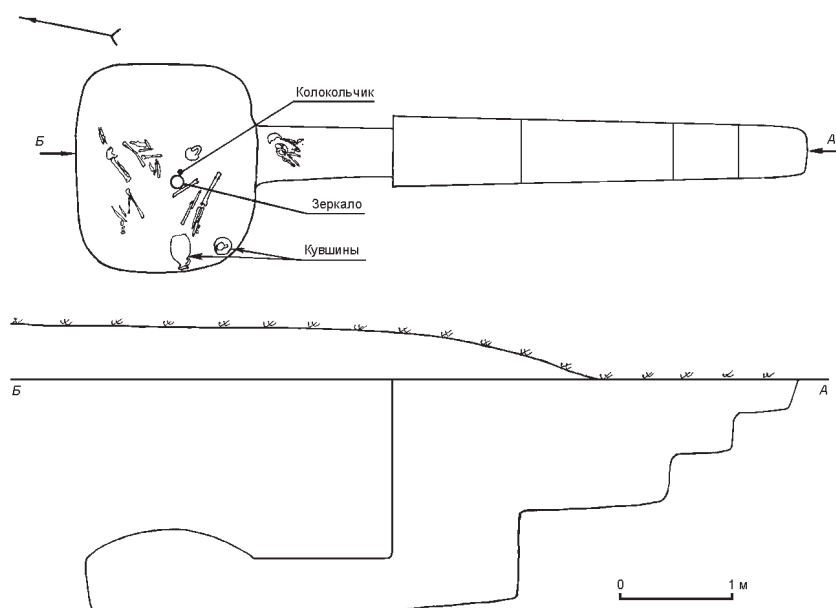


Рис. 1. Катакомбное погребальное сооружение кургана 12 могильника Культобе. План, разрез.

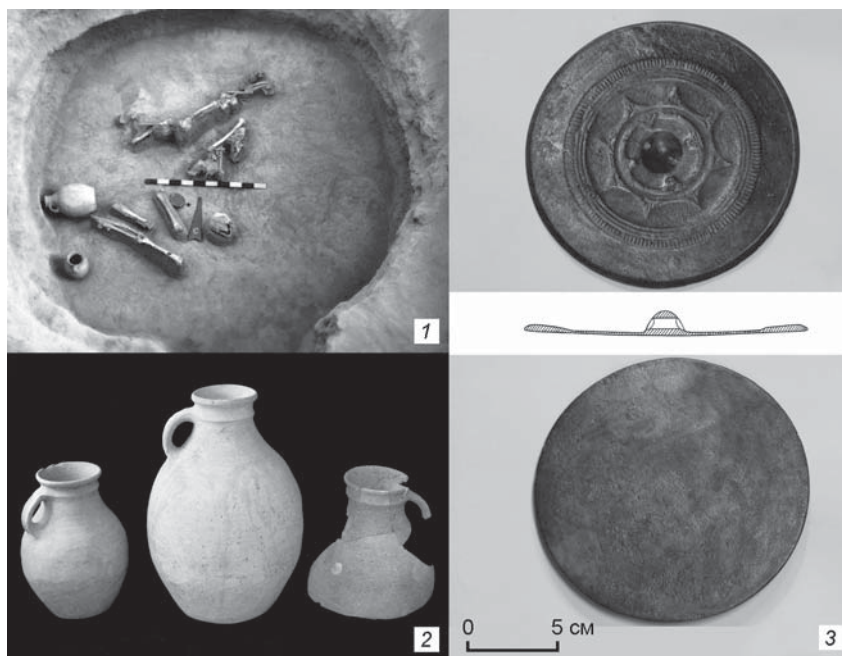


Рис. 2. Погребение, керамика и зеркало из катакомбы 12 могильника Культобе.

пользования в виде ровной продольной бороздки (рис. 3, 3).

Обратимся к вопросам интерпретации погребальной атрибуции катакомбы 12 могильника Культобе. Различного типа подкурганные ката-

комбы 12 могильника Культобе. Различного типа подкурганные ката-

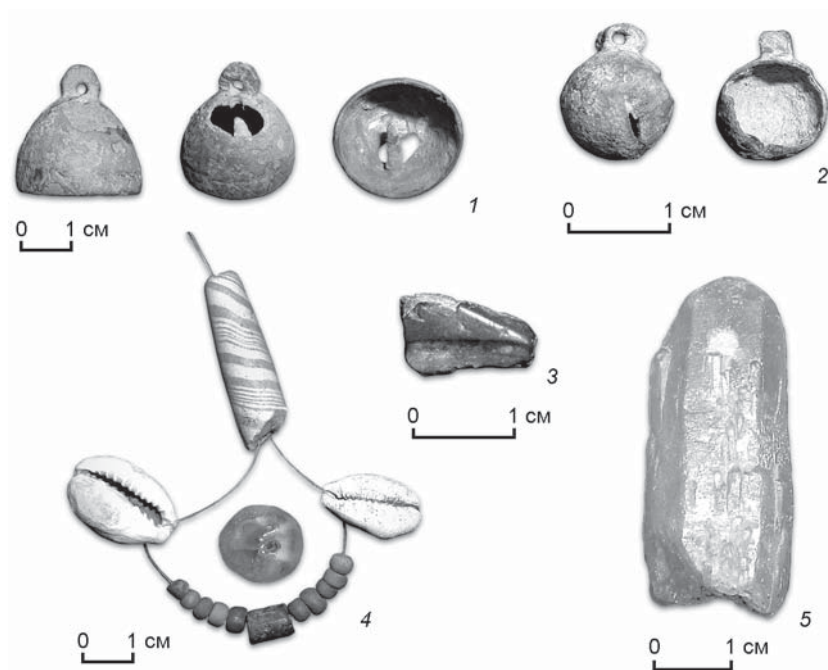


Рис. 3. Погребальный инвентарь из катакомбы 12 могильника Культобе.

комбные погребальные конструкции являются обычными для могильников арысской культуры Южного Казахстана. Это относится к «Т»-образной катакомбе с подземным лазом, длинным ступенчатым узкотраншейным дромосом с коллективным погребением в квадратной (прямоугольной, трапециевидной) камере; подобного облика погребальные сооружения характерны для развитого каратобинского этапа арысской культуры I в. до н.э. – III в. н.э. [Подушкин, 2000, с. 117]. Керамика из этой катакомбы по всем признакам (форма, декор) также соотносится с каратобинским этапом арысской культуры, она, как правило, присутствует особенно в коллективных погребениях [Подушкин, 2000, с. 104–105; 114–121, табл. 1].

Традиционными для погребальных памятников арысской культуры являются и амулеты-кристаллы из горного хрусталя: например, один из них отмечен в кургане 1 могильника Тулебайтобе 2 в комплексе с керамикой, оружием, украшениями, бытовыми предметами I в. до н.э. – III в. н.э. [Подушкин, 2000, с. 72; см. экспликацию на с. 70, 71]. Бусы, подвески из стекловидной пасты находят широкие аналогии в погребальных памятниках сармато-суннуского и канцзюйского времени джетыасарской и арысской культур [Левина,

1996, с. 224–227, рис. 145, 146, 67, 147, 19; Подушкин, 2000, с. 118–119]. Раковины каури *Cypraea moneta* в варианте подвесок, декоративных нашивных элементов одежды и наборного пояса, наборных ручных браслетов также отмечены в материалах джетыасарской и арысской культур I в. до н.э. – III в. н.э. [Левина, 1996, с. 224–227, рис. 147, 1–2; Подушкин, 2000, с. 118–119].

Косметический прибор (каменный сурьматаш и красящая основа в виде кусочка темного графита или светлой «таблетки») хорошо известен в погребальных сооружениях Ферганы первых веков до н.э. – первых веков н.э.; он найден также в катакомбных памятниках арысской культуры того же времени [Горбунова, 1981,

с. 178–180, рис. 37, 3; Литвинский, 1978, с. 127–132; Подушкин, 2000, с. 80–81, 119]. Аналогичным образом в погребальных памятниках арысской культуры I в. до н.э. – III в. н.э. отмечены бронзовые колокольчики с различными подвесными язычками (железный, бронзовый и раковины-каури) и бубенчики как элементы конской атрибутики [Подушкин, 2000, с. 118, 134, 135; Литвинский, Седов, 1984, с. 58, табл. IV, 13–15].

В перечне инвентаря катакомбы 12 выделяются вещи явно импортного происхождения. К ним относится китайское (ханьское) бронзовое зеркало, и, вероятно, восточного происхождения бронзовый колокольчик. Зеркало безусловно является наиболее существенным артефактом: оно дисковидное, круглой формы, литое по особым технологиям из высоко-оловянистой бронзы с включениями иных цветных металлов («белая медь», по-китайски «бай тун», что создает вид серебряного предмета), имеет функциональную и декоративную (оборотную) поверхности. Основные параметры зеркала: диаметр диска 130 мм; в центре декоративной стороны имеется конусовидный выступ-умбон с отверстием для подвешивания (см. рис. 2, 3).

Главную орнаментальную и семантическую информацию несет декоративная сторона зеркала

ла: она украшена рельефно-выпуклым орнаментом, основной мотив которого – «розетка» («лепестки»), «арочки» и кольца. Вся композиция органично и целостно располагается строго концентрически вокруг главного элемента – конусовидной выпуклой с отверстием ручки. При этом орнаментальные зоны отделены друг от друга в четырех случаях кольцевыми «поясками», в одном – поясом в виде насечек (рис. 2. 3). Всего можно выделить три декоративно-орнаментальные зоны в рамках общей композиции от центра. Первая (центральная) – это конусовидная шишечка-петля, которая обрамлена четырехлепестковой розеткой, а затем выделена посредством рельефного круга; вторая (срединная) включает восемь последовательно соединенных между собой по кругу «арочек»-полусфер, которые создают единый орнаментальный пояс; основания «арочек» опираются на круг, а вершины полусфер обращены к центру. Третья (периферийная) – это собственно бортик, который отделен от срединного арочного пояса тремя рельефно-выпуклыми кругами и особым концентрическим пояском, образованным продольными насечками, верхняя граница которых переходит в край слегка скошенного бортика (ширина бортика 19 мм; вес зеркала после первичной реставрации 280 г).

География опубликованных находок ханьских зеркал маркирует пути распространения этих изделий древних китайских торевтов ханьского времени от мест производства через территории Казахстана, Средней Азии далеко на запад, до бассейнов рек Урала, Волги и Дона. Необходимо отметить редкость зеркал в подавляющем большинстве открытых и изученных погребальных сооружений кочевников II в. до н.э. – I в. н.э. Например, их совсем немного найдено в хуннских памятниках Центральной Азии в Южной Бурятии и Северной Монголии, всего 24 зеркала [Филиппова, 2000, с. 101]. В многочисленных погребальных памятниках Ферганской долины обнаружено 20 китайских зеркал [Горбунова, 1990, с. 46–47]. Такие артефакты крайне редки в памятниках юго-восточной Европы: например, в Подонье «...на более чем 1 000 погребений I–III вв., исследованных в последние десятилетия... насчитывается лишь 5 таких зеркал» [Гугуев, Трейстер, 1995, с. 143–156]. Аналогична ситуация и с территорией Казахстана – так, из вскрытых более чем 1 400 погребальных соору-

жений джетыясарской культуры низовьев Сырдарьи ханьских зеркал в них было обнаружено всего 5 [Левина, 1996, с. 233–235, рис. 106, 12; рис. 160, 1–4]. Единичны китайские зеркала из сарматских памятников Западного Казахстана [Байпаков, Танабаева, Сдыков, 2001, с. 34–35; фото: с. 90]. То же самое можно сказать и о находке ханьского зеркала в кургане 12 могильника Культобе: оно пока является единственным в регионе Южного Казахстана.

Между тем, бронзовые китайские зеркала как редкие артефакты, встреченные в элитных погребальных памятниках кочевников Евразии в конце I тысячелетия до н.э. – начале I тысячелетия н.э., несут в себе массу ценной информации археологического, исторического, этнического, культурного и другого содержания, которая дает возможность делать аргументированные интерпретации по наименее изученным периодам древней истории целых регионов. По мнению И.В. Филипповой, «...с одной стороны, анализ бронзовых китайских зеркал... дает возможность определить нижнюю границу существования археологического комплекса... с другой стороны, при рассмотрении значения бронзовых зеркал в духовной жизни древних кочевников как части погребального обряда с заключенной в ней смысловой нагрузкой, мы имеем дело с полноценным археологическим источником, представляющим интерес не только в качестве доказательства хунно-китайских связей, но и как материал, необходимый для исчерпывающей характеристики материальной и духовной культуры хунну» [2000, с. 100]. Кроме того, бронзовые китайские зеркала проливают свет на многие вопросы, в числе которых: идеологические представления ханьцев и их влияние посредством импортных вещей на духовный мир кочевого окружения Поднебесной; международные связи и контакты древнего Китая; пути миграций племенных групп кочевников из Центральной Азии и их участие в создании новых политических образований на Западе; уровень их взаимоотношения с Китаем. Наконец, имеется и хронологический аспект, позволяющий достаточно аргументированно судить о датировке погребальных и иных комплексов с бронзовыми зеркалами китайского происхождения [Крадин, 2003, с. 136–137].

Следует отметить, что по облику, параметрам, общей конструкции и орнаментике декоративной стороны это зеркало ближе всего к ханьским зер-

калам нескольких родственных друг к другу типов, которые производились в Поднебесной в период с I в. до н.э. по I в. н.э. [Левина, Равич, 1995, с. 133]. Если говорить о типологической принадлежности бронзового зеркала из катакомбы 12, то его можно отнести (в зависимости от критериев выделения и классификации) к следующим типам (видам) ханьских зеркал:

- тип «восьмиарочного» зеркала с иероглифами «mingkuang», или – «яркий свет» [Гугуев, Трейстер, 1995, с. 147–148, рис. 3, 3, 7];

- по китайской классификации и типологии зеркал с арочным узором и иероглифами со значением «видеть солнце», «солнечный свет», «мир очень светел», наше зеркало близко к типу жигуан [Филиппова, 2000, с. 101–102, рис. 1, 1, 3];

- по классификации М. Рупперта и О. Тодда, такие зеркала относятся к центрально-арочному типу, который характеризуется следующими признаками: центральная петля окружена восемью (или двенадцатью) арками, бортик обычно возвышается над поверхностью зеркала [Ruppert, Todd, 1966, с. 40].

Прямые аналогии бронзовому китайскому зеркалу из катакомбы 12 могильника Культобе имеются в материалах погребальных комплексов джетысарской культуры [Левина, Равич, 1995, с. 133, рис. 16, 1]; ханьское зеркало арочного типа из кургана 2 могильника Косасар 2 [Раппопорт, Неразик, Левина, 2000, с. 168, илл. 31, 1], Ферганы [Горбунова, 1990, с. 46–47], катакомбных памятников Таласской долины [Кожомбердиев, 1963, с. 46, рис. 12], Западного Казахстана [Байпаков, Танабаева, Сдыков, 2001, с. 34–35, 90]. Близкие аналогии бронзовому зеркалу из кургана 12 (целые изделия и во фрагментах) отмечены в сарматских погребениях Подонья [Гугуев, Трейстер, 1995, с. 147–148, рис. 3, 3, 7], суннских могильниках Центральной Азии и Монголии [Руденко, 1962, с. 62, 91, рис. 65; Филиппова, 2000, с. 101, 102, рис. 1, 1; Могильников, 1992, с. 262, табл. 108, 6, 8; Молодин, Канн, 2000, с. 91; Соенов, 1995, с. 88].

Не вызывает сомнения и время появления этого изделия в погребальных памятниках арысской культуры. В частности, хронологическим ориентиром всего комплекса катакомбы 12 является керамика, которая относится ко второму каратобинскому этапу арысской культуры и на основе многих вещевых комплексов из массы катакомбных погребений датируется I в. до н.э. – III в. н.э.

(рис. 3, 2) [Подушкин, 2000, с. 114–121; табл. 1]. Остальной сопровождающий артефактный материал из этой катакомбы (рис. 3) также находит широкие аналогии в материалах каратобинского этапа арысской культуры времени I в. до н.э. – III в. н.э. Более узкую хронологическую границу может обозначить само зеркало, поскольку это хорошо датируемый артефакт, который выступает в роли серьезного хронологического индикатора. Например, В.И. Сарияниди, опираясь на находки ханьских зеркал в элитных погребениях кушанской знати, пишет: «...могильник на Тилля-Тепе на основании найденных в нем монет и в еще большей степени китайских зеркал датируется рубежом нашей эры» [1983, с. 147]. В вопросах датировки у исследователей имеются разногласия, связанные с определением времени появления ханьских зеркал в археологических памятниках того или иного региона. По мнению Е.И. Лубо-Лесниченко, дата появления бронзовых китайских зеркал на Нижней Волге и в Северном Причерноморье это конец II – I в. до н.э. [1988, с. 370–371]. Однако А.С. Скрипкин и А.В. Симоненко считают, что в реалии бронзовые китайские зеркала в погребениях сарматской аристократии в Северном Причерноморье появились только в конце I – первой половине II в. н.э. [Скрипкин, 2003, с. 201; Симоненко, 2000, с. 136–143].

Собственно оригинальные ханьские зеркала описанного типа изготавливались китайскими торевцами на территории Поднебесной в первые века до н.э. – первые века н.э. [Филиппова, 2000, с. 101, 102]. При этом исследователь говорит о том, что использовать китайские зеркала в качестве датирующих «...следует с большой долей осторожности, лишь в сочетании с анализом всего вещевого комплекса хунну (сунну)» [Филиппова, 2000, с. 105]. Датировка ханьских зеркал типа жигуан Е.И. Лубо-Лесниченко – I в. до н.э. [1975, с. 121]. В принципе хронологический период появления подобных зеркал в первых веках до н.э. – первых веках н.э. подтверждается и другими исследователями [Молодин, Канн, 2000, с. 91; Гугуев, Трейстер, 1995, с. 148]. Потом эти изделия различными путями попадали в среду кочевников (в том числе сунну), а затем распространялись на огромных пространствах Евразии.

Если иметь в виду, что процесс распространения ханьских зеркал из Поднебесной на Запад длился какое-то время и зависел от нескольких

составляющих (удаленность регионов, стабильное или нестабильное функционирование Великого шелкового пути, политические причины) и сделать определенную поправку на этот счет, а также обратиться к приведенным выше аналогиям и хронологическим выкладкам, то зеркало из катакомбного погребения кургана 12 могильника Культобе можно датировать I в. до н.э. – I в. н.э. Время появления бронзовых китайских зеркал в Южном Казахстане можно аргументировать сообщениями письменных источников: в 40-е годы I в. до н.э. на эту территорию, контролируемую государством Канцзюй (Кангюй), вторгается племенное объединение северных сюнну во главе с Чжичжи-шаньюем [Зуев, 1957, с. 64; Крадин, 2001, с. 193, 194].

Интересны пути попадания бронзовых китайских зеркал и других ханьских изделий на запад, в археологические комплексы элитных погребений номадов Евразии. В целом исследователи обозначают их следующим образом: дары и подарки (дипломатические дары как закамфлированная дань и реакция ханьцев на вымогательство и шантаж со стороны номадов-сюнну [Крадин, 2003, с. 137, 147; Скрипкин, 2003, с. 200]; транзитная и пограничная торговля с кочевниками [Горбунова, 1990, с. 48; Гугуев, Трейстер, 1995, с. 152]; миграция племен из районов Центральной Азии или других регионов (сюнну, аланы [Скрипкин, 2003, с. 201, 202]). Кроме основных, существовали и другие источники проникновения китайских изделий на запад: это «...войны, межплеменные браки с богатыми дарами и ...товаро-обмен и обмен подарками» [Гугуев, Трейстер, 1995, с. 153].

Заметим, что факт общего западного направления миграции из глубин Центральной Азии некоторых племенных объединений номадов (особенно сюнну: от образования первой империи в конце III в. до н.э. до вторжения гуннов в IV в. н.э. в Европу) хорошо иллюстрируется археологическими и другими материалами [Боталов, 1996, с. 235–236; 2003, с. 107–124, рис. 3, 4; Зуев, 1957, с. 64; Хабдулина, 1999, с. 195–198; Рапопорт, Неразик, Левина, 2000, с. 156]. С учетом вышеперечисленных аргументов можно предположить, что ханьский импорт в виде бронзовых зеркал оказался в Южном Казахстане в два этапа: вначале – путем даров (подарков, дани) в рамках политических или торговых взаимоотношений Поднебесной с сюнну, затем – посредством миграции северных

сюнну из Центральной Азии на запад, в пределы южно-казахстанского региона.

В связи с обнаружением бронзового китайского зеркала в катакомбе 12 арысской культуры Южного Казахстана отметим, что изделия подобного рода «...очень высоко ценились как в самом Китае, так и среди кочевников во все эпохи» [Филиппова, 2000, с. 106], они выступали в роли дорогих подарков [Крадин, 2003, с. 148, 149]. Присутствие в погребении столь ценного изделия, а также некоторые параметры всего археологического комплекса (большие размеры кургана, внушительность подземной катакомбной конструкции, крупный водоносный кувшин) указывают на знатность и элитность погребенного, которому принадлежало зеркало. Кроме того, впервые в Казахстане (возможно, и в других регионах – местах обнаружения подобных находок) бронзовое китайское зеркало найдено в коллективном катакомбном погребении.

Отметим, что такой ценный в древности предмет, как бронзовое ханьское зеркало, как правило, являлось частью погребальной атрибуции исключительно элиты номадов Евразии первых веков до н.э. – первых веков н.э. Например, ханьские зеркала найдены в погребениях сарматской знати Поволжья, Северного Причерноморья и Западного Казахстана [Скрипкин, 2003, с. 201, 202; Гугуев, Трейстер, 1995, с. 152; Байпаков, Танабаева, Сдыков, 2001, с. 34, 35], они отмечены в элитных курганах сюнну в Центральной Азии [Руденко, 1962, с. 92, рис. 65], а также – «царских» погребениях правителей Кушан в Тилля-Тепе [Сарианиди, 1983, с. 41; 1984, с. 147; Sarianidi, 1985, p. 203, ill. 145; p. 258, ill. 31].

Ценность бронзового китайского зеркала заключалась также в семантической, ритуальной и магической нагрузке, которое это изделие играло в идеологических представлениях, погребальной обрядности не только в Поднебесной, но и в среде номадов-сюнну, контактировавших с ханьцами длительное время. По мнению С.И. Руденко, «...зеркало в жизни китайцев играло роль не только обычной туалетной вещи, оно в их представлении имело магическую силу и наделялось известным символическим значением... вместе с китайскими зеркалами хунны воспринимали и особое отношение китайцев к зеркалам» [Руденко, 1962, с. 91].

Для историков и археологов бронзовые китайские зеркала являются существенным и весомым

источником информации. Так, В.А. Краминцев и А.Л. Ивлиев считают, что «...зеркала... позволяют выяснить место их изготовления, определить торговые и иные контакты и даже получить представление об эстетических и религиозных взглядах их создателей» [2002, с. 140], И.В. Филиппова пишет о том, что «...китайского происхождения... бронзовые зеркала... представляют собой важный источник информации при воссоздании облика культуры хунну» [2000, с. 100]. Как для китайцев, так и для кочевников (не только сюнну), зеркало являлось предметом индивидуального пользования многофункционального назначения в практической и духовной сферах жизни. К.Ф. Смирнов говорит о большой роли зеркал в жизни сарматов: «...зеркало у сарматов не было лишь предметом женского туалета, а в ряде случаев (оно) представляло символ религиозного характера, атрибут жреческого звания и божественной власти» [1975, с. 168].

Зеркало могло выступать в роли универсального оберега при жизни и после смерти человека [Филиппова, 2000, с. 105–106; Краминцев, Ивлиев, 2002, с. 140, 141, рис. 1, 2], оно являлось «вместилищем души» в анимистических представлениях древнего народонаселения Евразии [Литвинский, 1964, с. 100, 101], его использовали в ритуальных и обрядовых действиях (погребальных, шаманских) как магический предмет [Краминцев, Ивлиев, 2002, с. 107]. Наконец, зеркало отражало определенную систему миропонимания и мироздания, «закодированную» в орнаментике и зафиксированную конкретной эпиграфикой [Гугуев, Трейстер, 1995, с. 151; Филиппова, 2000, с. 105, 106]. Кроме всего, в рамках дуального восприятия мира зеркало у кочевников Евразии часто становится предметом погребальной атрибуции и обрядовых действий, связанных с ритуальной порчей [Руденко, 1962, с. 91; Могильников, 1992, с. 262, табл. 108, 6, 8; Хазанов, 1964, с. 89–96].

В связи с последним обстоятельством следует остановиться на данных химико-технологического анализа бронзового зеркала из катакомбы 12, который был осуществлен в Лаборатории аналитической химии Академического инновационного Университета (Чимкент). Само зеркало отлично сохранилось, визуально четко просматривается слоистость изделия, поскольку верхний красноватого цвета мягкий металл, покрывающий все зеркало, хорошо отслаивается и четко выделяется на фоне основной патинированной блестящей

темно-серо-серой «серебристой» цвета поверхности диска. Химико-технологическому анализу подверглись как верхний красноватый слой металла, так и «серебристой» цвета основа зеркала из более твердого металла. Результаты показали, что верхний металл – это чистая медь (красный цвет, большая мягкость и пластичность); нижнее основание зеркала – это сложносоставной сплав меди с высоким содержанием олова (25–28 %) и свинца (5–6 %), так называемая «белая бронза» характерного «серебристого» цвета, почти стеклянного блеска, твердости и способности хорошо полироваться.

Отметим, что вышеприведенные параметры анализа основания зеркала почти полностью совпадают с данными аналогичного анализа оригинальных бронзовых ханьских зеркал из Танаиса и могильников Приаралья джетыясарской культуры [Равич, 1995, с. 158–161; Левина, Равич, 1995, с. 144]. По мнению И.Г. Равич, такие основные компоненты бронзового сплава как 24–25 % олова; 5–6 % свинца «...соответствуют рецептурной норме ханьских зеркальных бронз; (это) определяет их серебристый цвет, за который они получили название “белые бронзы”, что связано с высоким содержанием олова, а также прекрасные литейные свойства, обусловленные одновременным присутствием в них свинца» [1995, с. 158–161]. Аналогичная рецептура сплава бронзы оригинальных ханьских зеркал отмечена у сюнну [Филиппова, 2000, с. 102; Ма Цзиньхун, 1998, с. 26].

Установлено также, что технологически верхний слой меди был нанесен путем отложения (кристаллизации) на основу зеркала из «белой бронзы». Эмпирически подобную операцию можно было осуществить в древности только одним способом: посредством выдержки зеркала в растворе медного купороса (серноокислая медь, растворенная в воде при температуре 25 градусов), что и привело к отложению слоя меди на всей поверхности изделия. Указанная процедура не противоречит химическим законам и полностью соотносится с т.н. «рядом напряжения металлов» (Ряд стандартных электродных потенциалов), в котором металлы выстроены в закономерную цепочку (слева – направо) по принципу «от наиболее активных – к менее активным» (от лития до золота). В этом ряду олово – активнее, чем медь, поэтому медь прекрасно «ложится» на олово и сплавы с ним (в том числе

на высоко-оловянистую бронзу). Если иметь в виду, что сернокислая медь (меди сульфат) достаточно часто встречается в виде кристаллов в природе, то при определенных практических навыках вполне возможен вариант изготовления в древности как раствора медного купороса (где одна из составляющих – простая вода), так и осуществления упомянутой выше технологической процедуры.

В связи с последним обстоятельством уместным будет привести краткую выдержку из заключения по химико-технологическому анализу ханьского зеркала: «Получены положительные результаты, свидетельствующие о том, что первоначальная основа материала является сплавом меди с оловом (бронза). Установлено, что бронза покрыта медной оболочкой, т.к. красно-коричневого цвета пленка растворилась в азотной кислоте; при добавлении аммиака образовалась характерная только для аммиачного комплекса меди окраска $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]$. Бронза, содержащая в составе медь и олово, не разрушается при контакте с водой и воздухом, она жаростойкая. Поэтому покрытие ее медью было связано с определенной процедурой: скорее всего, зеркало погрузили в раствор медного купороса CuSO_4 (возможно, даже в обычную воду), рядом поместили металлическую медь, и оставили предмет на некоторое время в растворе. При этом происходит реакция: из раствора $\text{Cu}^{2+} + 2e = \text{Cu}$ медь ложится ровным слоем на поверхность зеркала, а металлическая медь растворяется $\text{Cu}^0 - 2e = \text{Cu}^{2+}$, т.е. во влажной среде образуется гальванический элемент и происходит естественное гальванопокрытие чистой медью».

Из каких соображений китайское зеркало из «белой бронзы» с патинованной, почти стеклянной темно-серебристого цвета поверхностью было покрыто слоем красноватой, мягкой и потому плохо полируемой меди, можно только догадываться. Как правило, в древности у ханьцев и кочевников «...культовые изделия (зеркала) должны были иметь определенные свойства: высокую полировальную способность, красивый цвет (золотисто-желтый или серебристый в зависимости от содержания олова 20 и 25 % соответственно)» [Левина, Равич, 1995, с. 140]; в нашем случае перечисленные параметры зеркала нанесением слоя меди на поверхность диска практически уничтожались. С другой стороны, упомянутый слой меди в силу своих свойств слу-

жил в качестве надежного консерванта, он как бы «предохранял» весь диск зеркала от коррозии (разрушения) и тем самым сохранял основные практические, семантические и другие качества этого предмета. Судя по всему, данное обстоятельство имеет прямое отношение к ритуальной порче зеркала как части погребального обрядового действия.

Отметим, что ритуальная порча зеркал (оружия, другой атрибутики) – достаточно частое явление в погребальной обрядности кочевников сармато-суннского круга первых веков до н.э. – первых веков н.э. Обычно перед тем, как положить зеркало в могилу, его специально либо разбивали на фрагменты, либо приводили в негодность главную функциональную поверхность путем намеренного повреждения. По мнению Б.А. Литвинского, «...подобное ритуальное действие связано с религиозным дуализмом у большинства древних этносов и представлениями о том, что зеркало при переходе в загробный мир как вещь (личный атрибут) умершего тоже должно подвергнуться процедуре “смерти” вместе со своим владельцем, так как зеркало, помимо многих ипостасей, еще и “вместилище души”» [Литвинский, 1964, с. 100, 101]. Кроме того, разбитое зеркало являлось гарантией того, что душа умершего не окажется среди живых [Хазанов, 1964, с. 94]. Такой обряд широко практиковался у сарматов [Смирнов, 1975, с. 167] и сунну [Руденко, 1962, с. 91], однако можно констатировать, что ритуальная порча ханьского зеркала из катакомбы 12 могильника Культобеарысской культуры описанным выше оригинальным способом встречена впервые. Более того, главной целью этого действия в нашем случае было не только «предание» его «смерти» по аналогии со смертью погребенного, но и сохранение путем консервации его «прижизненных» магических и других свойств, которые необходимы были его владельцу и могли быть использованы им в «потустороннем» мире.

Ряд ритуальной порчи погребальной атрибутики из катакомбы 12 продолжает бронзовый колокольчик (верхняя часть его сферы сточена напильником; рис. 3, 1). Судя по всему, порча колокольчика, относящегося к конской экипировке, наборным поясам кочевников-сунну и связанного с извлечением звука (после которой он теряет и тональность, и силу), тоже отражает дуальность представлений древнего населения Южного Казахстана и име-

ет причастность к упомянутой выше «смерти» вещей вместе со своим владельцем. Если же резюмировать цепочку ритуальной порчи вещевой атрибуции катакомбы 12, то станет понятным, что она иллюстрирует окончание жизненного цикла как умершего, так и личных вещей, сопровождающих его в «потустороннем мире».

Таким образом, бронзовое китайское (ханьское) зеркало из катакомбного погребения в кургане 12, другая атрибутика позволяют с известной долей уверенности идентифицировать одного из погребенных как знатного человека, выходца, скорее всего, из элиты кочевников-номадов. Судя по всему, это был представитель северного сюннуского племенного союза, который оказался во главе с Чжичжи-шаньюем в пределах Южного Казахстана в I в. до н.э. [Бернштам, 1941, с. 12–13; Зуев, 1957, с. 62–71]. Последующие археологические изыскания выявили в Южном Казахстане и другие свидетельства присутствия сюнну в регионе, что позволило достаточно аргументированно говорить о сюннуском этническом компоненте в рамках полиэтничного государства Канцзюй [Подушкин, 2000, с. 153–154; 2009, с. 173–183]. Предположительно склоняется к тому, что в рамках Канцзюй могли присутствовать сюнну, С.А. Яценко [2000, с. 88]. Почти прямые исторические и археологические свидетельства присутствия сюнну в Южном Казахстане косвенно подтверждаются этими же источниками только на другом уровне. Так, китайские хроники сообщают о том, что после заключения мирного договора с Канцзюй против Усунь и Хань сюннуский Чжичжи-шаньюй, имевший высокий титул «левого сянь-вана» в империи сюнну [Крадин, 2001, с. 193], на какое-то время «...остался в Канцзюй», а затем, после разрыва отношений между союзниками, «...Чжичжи ...был изгнан из ставки канцзюйского князя». Он обосновался в новой ставке на р. Талас, где вскоре в 36 г. до н.э. после кангюйско-ханьского штурма и погиб со всем своим родственным окружением [Зуев, 1957, с. 67; Материалы по истории сюнну..., 1973, с. 124–134]. Из этого текста следует, что орда северных сюнну вместе со своим предводителем и знатной элитой находилась в пределах территории Канцзюй, причем в непосредственной близости от ставки владетеля (князя) этого государства [Зуев, 1957, с. 69–72]. В пользу общей трактовки погребального инвентаря катакомбы 12 как сюннуского говорят и иные данные всего архео-

логического материала, который почти идеально вписывается в т.н. «хуннский» (сюннуский) историко-культурный комплекс. В частности, по мнению С.Г. Боталова, в числе черт погребального обряда хуннского (сюннуского) историко-культурного комплекса (ИКК) отмечены: «...для аристократических усыпальниц – сложные многокамерные прямоугольные с дромосом ...склепы (или катакомбы)»; в вещевом перечне хуннского ИКК – лук сложносоставной с костяными накладками; поясной набор (наконечники ремней, ажурные бляхи с зооморфным орнаментом); «...ханьские зеркала, а также бусы, подвески и бубенчики» [Боталов, 2003, с. 107, рис. 5–7]. В качестве дополнительного археологического материала, связанного с сюнну, можно рассматривать бронзовый колокольчик, бубенчик и раковины-каури, которые найдены в катакомбе 12. Нетрадиционная конструкция колокольчика позволяет отнести его к восточному типу колокольчиков, скорее всего – либо к ханьскому, либо к сюннускому. Выше отмечалось, что в древности колокольчик был ритуально испорчен путем выпилки верхней части сферы инструментом типа напильника: прямая аналогия подобному инструменту также найдена в памятниках сюнну [Кызласов, 1985, с. 27, 28].

В погребальных комплексах сюнну Забайкалья встречены бронзовые колокольчики и бубенчики в качестве элементов конского снаряжения и наборных поясов [Могильников, 1992, с. 265, табл. 105, 38, 55, 56]; некоторые исследователи склонны трактовать эти изделия как «...своеобразные маркеры хуннской эпохи в Центрально-Азиатском регионе» [Богданов, Кузнецов, 2001, с. 108]. Отмечены в памятниках сюнну и особо ценимые номадами и раковины-каури (*Cypreaemoneta*): они могли составлять часть декоративного убранства наборного пояса или просто выступать в роли подвесок или иных украшений [Добжанский, 1990, с. 24–29; табл. VII, 2, 7, 8; табл. VIII: 2]; у сюнну известны варианты изготовления и использования в быту и ритуальных целях муляжей-моделей раковин-каури из бронзы [Руденко, 1962, с. 47, рис. 41: г–е; Могильников, 1992, с. 266, табл. 108: 48, 61]. Если дополнить перечень сюннуских артефактов катакомбы 12 могильника Культобе амулетом из горного хрусталя, то сложится законченный ряд ритуальных предметов, которыми при жизни мог пользоваться неординарный человек, наделенный или

высоким социальным статусом, или особыми способностями, – можно предположить, что это была женщина высокого элитного сословия и незаурядных личных качеств, возможно – волхв, жрица (таковые имелись в среде сюнну и других номадов; [Руденко, 1962, с. 87]).

Достаточно сложно объяснить факт появления ценного бронзового китайского зеркала в катакомбном коллективном погребении, что можно считать прецедентом. Как правило, номадов знатного происхождения хоронили индивидуально, в отдельном погребальном сооружении, в том числе и катакомбе [Подушкин, 2000, с. 78–81]. Катакомбы могли функционировать как родовые (семейные) склепы, в их погребальной атрибуции отмечены артефакты как кочевнического, так и оседло-земледельческого происхождения. Подобный историко-культурный земледельческо-скотоводческий синкретизм – археологически установленное и распространенное явление для памятников арысской культуры как культуры государства Канцзюй (Кангюй), которое отличалось пестротой и этнической конгломеративностью своего социума, включающего племенные группы номадов и оседлого населения. Появление в коллективном погребении вещевого инвентаря ханьского и сюннского происхождения иллюстрирует не только факт присутствия в Южном Казахстане сюнну, это в какой-то степени является свидетельством определенной консолидации полиэтничного общества Канцзюй, причем в высшем его проявлении – в погребальной обрядности и ритуальной атрибуции.

В качестве заключительного штриха отметим, что после более качественной очистки и консервации ханьского зеркала из кургана 12 могильника Культобе работниками Центрального Музея Республики Казахстан, на декоративной стороне его диска, в выемках-промежутках центральной композиции в виде четырех лепестков «цветка», проявились четыре иероглифа, обозначающие на китайском языке стороны света (север, юг, восток и запад), что является определенной новацией и редкостью для изделий подобного типа, найденных на территории Казахстана. Надо полагать, что в дополнение к уже описанным функциональным и семантическим свойствам ханьского зеркала добавляется еще одно – театральная модель восприятия мировой реальности в сознании древних китайцев.

Список литературы

- Байпаков К.М., Танабаева С.И., Сдыков М.Н.** Древние сокровища Западного Казахстана. – Алматы, 2001.
- Бернштам А.Н.** Памятники старины Таласской долины. – Алма-Ата, 1941.
- Богданов Е.С., Кузнецов Д.В.** Ордосские художественные бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 2 (6).
- Боталов С.Г.** Этнокультурная ситуация в урало-ишимском междуречье в гунно-сарматское время // Вопросы археологии Западного Казахстана. – Самара, 1996. – Вып. 1.
- Боталов С.Г.** Хунны и гунны // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 1 (13).
- Горбунова Н.Г.** Древний ферганский косметический прибор // Культура и искусство древнего Хорезма. – М., 1981.
- Горбунова Н.Г.** Бронзовые зеркала китайско-карабулакской культуры Ферганы // Культурные связи народов Средней Азии и Казахстана: древность и средневековье. – М., 1990.
- Гугуев В.К., Трейстер М.Ю.** Ханьские зеркала и подражания им на территории юго-восточной Европы // РА. – 1995. – № 3.
- Добжанский В.Н.** Наборные пояса кочевников Азии. – Новосибирск, 1990.
- Зуев Ю.А.** К вопросу о взаимоотношениях усуней и Канцзюй с гуннами и Китаем во второй пол. I в. до н.э. (поход гуннского шаньюя Чжи-Чжи на Запад) // Изв. АН Казахской ССР. Сер. обществ. наук. – Алма-Ата, 1957. – Вып. 2 (5).
- Кожомбердиев И.** Катакомбные памятники Таласской долины. – Фрунзе, 1963.
- Крадин Н.Н.** Империя Хунну. – М., 2001.
- Крадин Н.Н.** Структура и общественная природа Хуннской империи // ВДИ. – 2003. – № 4 (247).
- Краминцев В.А., Ивлиев А.Л.** Бронзовые зеркала с поселения Покровка I // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 2 (10).
- Кызласов И.Л.** Гуннский напильник // КСИА. – М., 1985. – № 184.
- Левина Л.М.** Этнокультурная история Восточного Приаралья I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. – М., 1996.
- Левина Л.М., Равич И.Г.** Бронзовые зеркала из джетыасарских памятников // Низовья Сырдарьи в древности. – М., 1995. – Вып. 5: Джетыасарская культура.
- Литвинский Б.А.** Зеркало в верованиях древних ферганцев // СЭ. – 1964. – № 3.
- Литвинский Б.А.** Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы // Могильники западной Ферганы. – М., 1978. – Вып. 4.
- Литвинский Б.А., Седов А.В.** Культы и ритуалы кушанской Бактрии. – М., 1984.
- Лубо-Лесниченко Е.И.** Привозные зеркала Минусинской котловины: к вопросу о внешних связях древнего населения Южной Сибири. – М., 1975.
- Лубо-Лесниченко Е.И.** Великий шелковый путь // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: очерки истории. – М., 1988.

Материалы по истории сюнну (по китайским источникам) / введ., пер. и коммент. В.С. Таскина. – М., 1973. – Вып. 2.

МаЦзиньхун Ханьцинъ (Ханьские зеркала). – Шанхай, 1998.

Могильников В.А. Хунну Забайкалья // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М., 1992. – (Археология СССР; т. 10).

Молодин В.И., Канн Ин Ук. Памятник Ярхото в контексте гуннской проблемы // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3 (3).

Подушкин А.Н. Арысская культура Южного Казахстана IV в. до н.э. – VI в. н.э. – Туркестан, 2000.

Подушкин А.Н. Сюнну в Южном Казахстане // Тр. Центрального государственного музея Республики Казахстан. – Алматы, 2009. – Т. 2.

Равич И.Г. Особенности состава и технологии изготовления миниатюрных сарматских зеркал из «белой бронзы» // РА. – 1995. – № 3.

Рапопорт Ю.А., Неразик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксрта: образы древнего Приаралья. – М., 2000.

Руденко С.И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы. – М.; Л., 1962.

Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. – М., 1983.

Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу веков. – М., 1984.

Симоненко А.В. Китайские и «бактрийские» зеркала у сарматов Северного Причерноморья // Музейнічитання: мат-лы наук. конф. – Київ, 2000.

Скрипкин А.С. К критике источников исследований, посвященных реконструкции торговых путей в скифо-сарматскую эпоху // ВДИ. – 2003. – № 3 (246).

Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. – М., 1975.

Соенов В.И. К истории изучения памятников гунно-сарматской эпохи горного Алтая // Третьи исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск, 1995. – Ч. 1.

Филиппова И.В. Китайские зеркала из памятников хунну // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3 (3).

Хазанов А.М. Религиозно-магическое понимание зеркал у сарматов // СЭ. – 1964. – № 3.

Хабдулина М.К. Хуннские могильники на пути миграции на Запад // Комплексные общества Центральной Евразии в III–I тыс. до н.э. – Челябинск, 1999.

Яценко С.А. Эпический сюжет ираноязычных кочевников в древностях Степной Евразии // ВДИ. – 2000. – № 4 (235).

Ruppert M., Todd O. Chinese bronz mirrors: (a study based on the Todd collection of 1000 bronz mirrors in the five northern provinces of China). – N.Y., 1966.

Sarianidi V.I. Bactrian gold: from the excavation of the Tillya-Tepe necropolis in Northern Afghanistan. – Leningrad, 1985.

ТАГАРСКИЕ КЕЛЬТЫ С «ГВОЗДИКАМИ»

Фонды музеев хранят порой поистине редчайшие и, к сожалению, не всегда введенные в научный оборот материалы. Обработывая коллекцию бронзовых кельтов Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартянова, автор статьи обнаружил три уникальных кельта эпохи раннего железного века, которым и посвящается данная статья.

Среди кельтов эпохи раннего железного века автору статьи удалось зафиксировать несколько экземпляров с «гвоздиками», а это очень редкое явление. В связи с тем, что данные изделия ранее не были опубликованы, будет уместно дать их подробное описание.

Кельт МКМ А № 410 найден в Бейском р-не Республики Хакасии у с. Бея. Его длина составляет 52 мм, а ширина – 45 мм. Изделие отлито из красноватой бронзы, орнаментация отсутствует. Втулка прямоугольной формы. Боек изделия имеет форму полуклина. Ниже устья втулки два сквозных отверстия, сквозь которые вбит бронзовый «гвоздик». Гвоздь сидит плотно, так как расплепан с обеих сторон (см. *рисунок, а*).

Кельт МКМ А № 226 найден около с. Белоярское Алтайского края. Его длина составляет 80 мм, ширина 42 мм. Диаметр пещерки – 2–3 мм. Втулка подовальной формы, с закругленными краями, устье опоясано муфточкой. Лезвие прямое, шире втулки. Кельт асимметричен, с одной стороны имеет ушко-петельку, с другой украшен так называемым растительным орнаментом [Членова, 1967]. Во втулке остался фрагмент деревянного насада. К сожалению, по методике М.П. Грязнова [1947, с. 170–173], невозможно определить по радиальным линиям и трещинам как относительно рукояти был насажен кельт. Можно предположить, по

деформации металла со стороны ушка и наличия ушка на одной из широких гранях кельта, что изделие применялось в качестве тесла. Под муфтой с обеих сторон имеют место маленькие отверстия, сквозь которые в деревянный вкладыш вбит бронзовый гвоздик. Концы гвоздика расплющены (см. *рисунок, б*). Гвоздик забивали, как и в предыдущем изделии, со стороны ушка. С орнаментированной стороны гвоздик, видимо, пытались расплющить с целью более прочного крепления. Отсюда следы от многочисленных ударов вокруг отверстия.

Кельт МКМ А № 255 найден в Минусинском р-не (случайная находка). Длина изделия составляет 65 мм, а ширина 42 мм. Втулка подпрямоугольной формы, устье оформлено в виде муфточки, часть задней стенки выломана. Лезвие выпуклое, боек имеет форму полуклина. На задней стороне под муфтой ушко-петелька, на фаске орнамент. Орнаментирован кельт тремя выпуклыми валиками в виде полусферы, в центре каждой выпуклая «жемчужина». На широких гранях зафиксировано два асимметричных отверстия, одно ниже орнамента в центре, другое правее нижней риски ушка кельта. Особенностью данного экземпляра является железный гвоздик, продетый сквозь пещерки. Со стороны ушка гвоздик расплющен, а со стороны фаски загнут (см. *рисунок, в*).

Все изделия прекрасно вписываются в типологическую схему, разработанную М.П. Грязновым [1947, с. 141]. Основываясь на его методике, мы и проведем анализ изделий в рамках обозначенных критериев.

Кельт № 410 имеет признак № 11 – прямоугольная форма бойка, маленькие размеры, отсутствие ушек. По критерию орнаментация имеет признак № 40 – отсутствие орнамента. В корреляционной



Кельты с «гвоздиками». Бронза, случайные находки.

а – кельт № МКМ А 410; б – кельт № МКМ А 226;

в – кельт № МКМ А 255.

схеме изделие можно расположить в блоке пятого типа и датировать V–III вв. до н.э.

Кельт № 226 имеет признаки № 14 (форма изделия) и № 37 (орнаментация). Сумма признаков позволяет отнести данный кельт к пятому типу и датировать V–III вв. до н.э. [Грязнов, 1947, с. 240].

Кельт № 255 имеет признаки № 36 и 37 по критерию «орнаментация»: муфту, опоясывающую втулку, и растительный орнамент; и признак № 14 по критерию «форма бойка». Таким образом, кельт можно отнести к пятому типу и датировать в рамках V–III вв. до н.э. Некой специфической особенностью данного изделия является орнамент в виде ряда выпуклых жемчужин, в большей степени последний характерен для кельтов карасукского времени [Членова, 1967]. Однако общая композиция тяготеет к тагарскому стилю орнаментации.

Как мы видим, все три изделия относятся к одному культурно-хронологическому этапу – саргашенскому (IV–III вв. до н.э.) [Грязнов, 1956, с. 91].

На широких гранях кельты имеют сквозные отверстия, сквозь которые вбит железный и бронзовые гвоздики. Еще раз хотелось бы акцентировать внимание на том, что само по себе наличие гвоздиков – уникально, большая редкость найти их зафиксированными в предмете. Подобного рода находки позволяют дополнить наши представления по вопросам технологии изготовления предмета в целом и способах крепления в частности.

Безусловно, описываемые бронзовые гвоздики не являются тем орудием, с помощью которого пробивали отверстия на кельтах. А вот железный гвоздик в изделии № 255 гипотетически мог служить орудием для пробивания отверстий. После чего его там и оставили. Хотя и это всего лишь предположение. В действительности все будет зависеть от самого железного гвоздика – насколько он будет прочен, а также от толщины стенки втулки. Сможет ли этот гвоздик пробить втулку или он все же предназначен для крепления деревянного насада? Скорее всего, отверстия все же пробивали более мягком металле прочным железным стержнем. В нашем случае кельт № 255 был отлит с применением упоров, вследствие чего получились готовые отверстия, сквозь которые и был вбит данный гвоздик.

Следует обратить внимание еще на одну деталь. На изделии № 226 визуально не фиксируются следы от упоров, и отверстие слишком маленькое. К сожалению, остатки рукояти вытащить не представляется возможным, и в силу этого приходится лишь предполагать, что кельт был отлит без применения упоров, а после изготовления его проббили (со стороны ушка) или просверлили, что вероятнее, и вставили металлический (бронзовый) гвоздик. Именно размеры отверстия дают нам возможность предположить использование техники сверления. Интересно, что при анализе коллекций тагарских кельтов подобных технических приемов более не встречено.

Наконец изделие № 410 отличается от предыдущих тем, что визуально мы фиксируем некий стандарт в оформлении бойка. Мастер насадил рукоять на боек, затем в отверстие пробил бронзовый гвоздик и расплющил его. Однако возникает вопрос, как «вслепую» можно попасть в противоположное отверстие, особенно если оно смещено? Либо это действительно «рука мастера», либо сначала высверливалось более тонкое отверстие во втулке, а затем продевался гвоздь, расклинивая и фиксируя рукоять.

В результате можно сделать некие выводы. Прежде всего, мы видим потребность более плотного насада рукояти во втулке кельта. При этом наличие или отсутствие ушка большой роли не играет. И в том, и в другом случае мы наблюдаем необходимость в дополнительной фиксации. Причиной тому может служить усыхание деревянного черенка в силу длительного использования или, интенсивное использование орудия. Само отверстие, скорее всего, является лишь результатом технологии литья [Чернецов, 1947, с. 76]. А при необходимости отверстие могло быть создано и после отливки, техникой сверления или пробития. При этом кельт (кельт-тесло)

ставили лицевой стороной вниз, а крепежным ушком вверх. Так со стороны ушка и забивали гвоздик. Затем края гвоздика загибали и расклепывали.

С территории Южной Сибири происходят три уникальных бронзовых кельта эпохи раннего железного века. Особую научную значимость представляет то, что в этих экземплярах удалось зафиксировать бронзовые и железные «гвоздики». Что дает нам возможность еще раз обратиться к вопросам технологии бронзового литья в раннем железном веке.

Список литературы

- Грязнов М.П.** Древняя бронза Минусинских степей // Труды отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. – Л., 1941. – Т. I. – С. 137–171.
- Грязнов М.П.** К методике определения типа рубящего орудия (топор, тесло) // КСИИМК. – 1947. – Вып. XVI.
- Грязнов М.П.** История древних племен Верхней Оби. – М.; Л., 1956. – (МИА; № 48).
- Чернецов В.Н.** Опыт типологии западносибирских кельтов // КСИИМК. – 1947. – Вып. 17. – С. 65–78.
- Членова Н.Л.** Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. – М.: Наука, 1967. – С. 110–145.

КРАШЕНАЯ РЕЗНАЯ КОСТЬ СИБИРИ ЭПОХИ МЕТАЛЛА

Многообразие органических материалов (кость, рог, бивень, клык, китовый ус, черепаший панцирь), объединяемых общим термином «кость», было освоено человечеством еще на заре его истории. Эти сырьевые ресурсы стали не только одной из основ развития технологии производства предметов, но и материального отражения развития и достижений человеческой культуры, включая древнее искусство.

На территории Южной Сибири и сопредельных регионов к настоящему времени обнаружено около пятисот высокохудожественных роговых изделий эпохи палеометалла, выполненных в объемной и рельефной резьбе, а также гравировке. Около четверти из этих предметов сохранили следы раскраски (изделия из Ростовки, Синего Гая, Минусинска, пещеры Тугаринова, Красного Яра, Шибе, Пазырыка, Берели, Туэкты, Алагаила, Гоньбы II, Маймы XIX, Обьездного-I и коллекций Фролова, Погодина, Спасского).

Окрашивание кости и рога заключается в изменении естественного цвета ее внутренних или внешних поверхностей при помощи красителей. В зависимости от глубины проникновения или нанесения краски различают поверхностное или глубинное окрашивание [Абросимова, Каплан, Митлянская, 1984, с. 135]. Сохранившиеся случаи окраски древних резных роговых изделий единичны. Предметы с такой отделкой появились в эпоху бронзы. Это панцирные орнаментированные пластины [Бородовский, Соловьев, 2006] из Ростовки, Минусинска, пещеры Тугаринова на юге Западной Сибири и Синего Гая в Приморье на Дальнем Востоке (рис. 1, 1, 2). Углубления линейных или геометрических узоров заполнялись красителем черного цвета. Это осуществлялось затиранием всей поверхности с последующим

удалением излишков краски. Главной целью было выделение резного орнамента на поверхности рогового изделия. Исходя из общей окрашенной площади и глубины проникновения, этот способ можно считать частично-поверхностным. Красящее вещество удерживалось на роговой поверхности только благодаря углублениям орнамента.

Основными разновидностями декора являлись прямые параллельные линии и ромбовидные пересечения. Контрастность «раскрашенного» орнамента, очевидно, была одним из основных художественных приемов эпохи бронзы. На заключительном этапе этой эпохи бытовала чернолощеная керамика с резной геометрической орнаментацией, заполненной белым красителем. Для декора металлических изделий этой эпохи нет «соответствий» с орнаментированным рогом. Однако традиционно геометрические узоры на «костяных» изделиях интерпретируются как повторение подобных орнаментов на металлических предметах [Шаталов, 2006]. Между тем, в исполнении геометрического декора на роговых и металлических поверхностях есть существенная разница. На роге орнамент углублен (прорезан), а в металле он выпуклый – отлитый по прочерченному рисунку. Кроме того, для «геометрического» декора металлических изделий характерны имитации плетеных поверхностей. Все это позволяет отчетливо представить особенности геометрической орнаментации с прокраской эпохи бронзы. Особенно наглядно это проявляется при реконструкции орнаментальных композиций роговых изделий, с красителем внутри декорированных участков (рис.1, 3, 4).

В раннем железном веке поверхностная раскраска резных роговых изделий (рис. 2) приобрела совершенно иной характер. Она представлена

несколькими вариантами. Один из них – заполнение красным красителем узких углублений рельефной резьбы. Красный краситель на этих участках (Гоньба II, Майма XIX) подчеркивает контуры изображения относительно естественного фона роговой поверхности. Другая разновидность поверхностной окраски – заполнение красителем значительных рельефных углублений. Эти элементы подчеркивали «объем» ушей, скул, рта, рогов, шеи, плеча, крупа и гривы животных или контур орнамента (Гоньба II, Майма XIX, Обьездное-1, Второй Пазырыкский курган, Берель – кург. 36, Туэкта; коллекции Фролова, Погодина, Спасского). Еще один вариант поверхностной окраски – «тонирование» фона изображения. На нескольких предметах все эти способы окраски удачно дополняют друг друга, подчеркивая не только детали изображения, но и его контур (Гоньба II, Обьездное-1, Берель) [Бородовский, 2007, с. 112, рис. 98; с. 144, рис. 127; цветные вклейки X, 1, 2; XVI, 2].

Примерами глубинного окрашивания является серия украшений конской узда (рис. 2, 5, 6, 12) из Второго Пазырыкского кургана (резной роговой налобник с изображением хищника и птиц, округлые бляхи с орнаментом в виде лотоса), а также голова животного из коллекции Фролова. Одинарные роговые пластины, на которых выполнены изображения, окрашены на всю толщину в темно-коричневый цвет.

По сравнению с пазырыкским текстилем и войлоком [Полосьмак, Баркова, 2005], цветовая гамма окрашенного резного рога ограничивалась несколькими цветами – красным, желтым и темно-коричневым. В современном косторезном производстве существует еще окрашивание в темно-синий, зеленый и фиолетовый цвета [Абросимова, Каплан, Митлянская, 1984, с. 137, 138]. Относи-

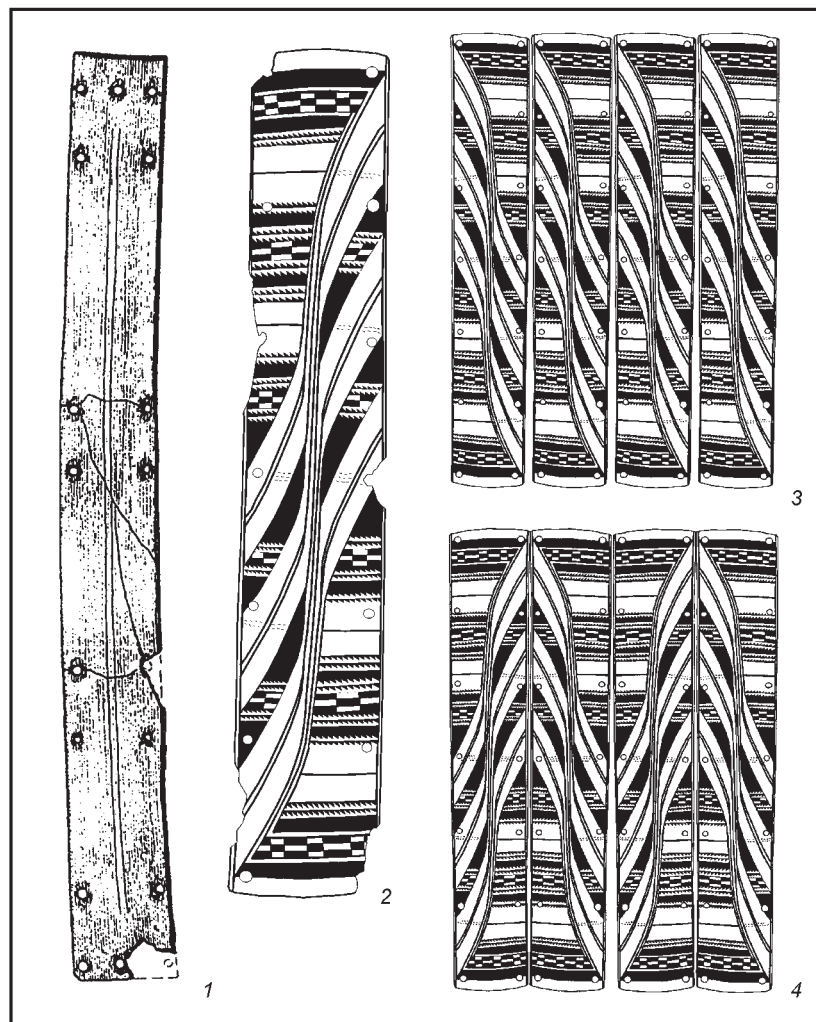


Рис. 1. Роговые предметы с черной прокраской орнамента (Юг Западной Сибири, Дальний Восток).

1 – панцирная пластина из пещеры Тугаринова (средний Енисей); 2 – панцирная пластина из Синего Гая (Приморье); 3, 4 – варианты компоновки панцирных пластин из Синего Гая с прокрашенным орнаментом.

тельная «скудость» цветовой гаммы резного рога сближает ее с окраской пазырыкских деревянных предметов. На них тоже присутствует окраска отдельных деталей и всей поверхности.

Нанесение красителя в рельефные углубления значительных размеров иногда (Туэкта, Обьездное-1) имеет сходство с инкрустацией (рис. 2, 15, 16; 3, 3). Этот декоративный прием при его выполнении на роговой поверхности часто отличается определенными дефектами: 1) щели между заполнением инкрустации и ее краями; 2) выпадение инкрустации из углубления [Абросимова, Каплан, Митлянская, 1984, с. 127, 128]. Эти признаки достаточно отчетливо представлены на резных ро-



Рис. 2. Крашенные роговые изделия скифского времени из Южной Сибири.

1, 4, 7, 8, 9 – Берель; 2 – Красный Яр; 3 – Алагаил; 5, 6, 11, 12, 14 – Пазырык;
10 – Гоньба II; 11 – Майма XIX; 15, 16 – Обьездное-1.

говых изображениях из Туэкты и Обьездного-1. Значительные по массе участки красной краски деформируются и отслаиваются от углублений, куда они были помещены. Причина тому не только факторы, влияющие на сохранность изделий, но и изменение размеров рогового материала при усыхании, а также недостаточно прочная «стыковка» краски и роговой поверхности. В качестве примера следует привести сохранность красок на роговом налобнике с изображением хищника и двух гусей, а также на округлых бляхах с орнаментом в виде лотоса. В описаниях и прорисовках С. И. Руденко упоминается заполнение литий

рельефной резьбы красным и желтым красителем [Руденко, 1948, с. 12] (см. рис. 2, 6; 3, 1). Осмотр этих предметов спустя почти пятьдесят лет позволил нам визуально установить следы только красного красителя.

Сходная ситуация характерна и для роговой седельной пластины из Третьего Пазырыкского кургана (рис. 2, 13) с изображением протом лосей, аналогичных нескольким деревянным изделиям. Если еще в конце девяностых годов XX века в вырезанных углублениях фиксировались следы отслаивающейся красной краски [Бородавский, 2007, с. 112, рис. 99, 2], то в последней публикации этого предмета фрагменты краски уже отсутствуют [Кочевники..., 2012, с. 117, кат. 269].

Сохранность окрашенных участков является одним из существенных факторов, повлиявших на представительность окрашенных резных роговых изделий, как эпохи раннего железа, так и более ранних периодов. Поэтому количество таких предметов могло быть значительно больше, но красители плохо сохраняются на гладкой поверхности рога, часто просто отслаиваясь от него в отличие от деревянной поверхности. Одним из приемов фиксации

краски на роговой поверхности являлось шабрение металлическим ножом, оставляющее равномерные риски, способствующие закреплению красящего вещества на роговой поверхности. Следы от такой обработки особенно хорошо представлены на роговых раскрашенных предметах конской узды из Берельского некрополя (к. 36) на Юго-Западном Алтае [Самашев, Бородавский, 2004] (рис. 2, 1, 4, 7, 8; 3, 4).

Для резных роговых изделий пазырыкской культуры характерно также сочетание фольгирования и окрашивания. Этот декоративный прием также встречается и в пазырыкской дерево-

обработке. Указанная отделка включает сочетание красного красителя и золотой или оловянной фольги. При этом окраска, как на дереве, наносилась по контуру изображения, контрастируя с желтым или белым металлом. Особенно представительна такая коллекция в материалах Берельских курганов [Бородовский, 2007, цветная вклейка X, 4].

По мнению С. И. Руденко, красители, которыми покрыты пазырыкские резные роговые изделия, имели минеральное происхождение [1948, с. 12]. Однако химический анализ красителей с роговых предметов, в отличие от текстиля [Полосьмак, Баркова, 2005], еще не проводился. Сегодня можно лишь выдвигать предположения об их происхождении.

Красный краситель, нанесенный на роговую поверхность, традиционно соотносится с киноварью и действительно может иметь минеральное происхождение. Окраска роговых предметов в красный цвет присуща не только деревянным предметам, но и металлическим изделиям. В частности, на массивной золотой гривне из Аржана-2 контур рельефных зооморфных изображений заполнен красителем красного цвета [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2004, с. 6–8]. При этом вряд ли следует интерпретировать такое сходство как стремление имитировать в раскрашенных или плакированных металлом (золотом, оловом) резных роговых изделиях более «ценные» металлические предметы. Дело в том, что в эпоху палеометалла на территориях Закавказья, Южного Приуралья и юга Западной Сибири отмечены факты использования роговых моделей-штампов для отливок бронзовых предметов. Кроме того, выделение красным цветом рельефных элементов орнамента характерно и для отдельных пазырыкских керамических сосудов на Горном Алтае. Поэтому окрашивание в красный цвет резных роговых изделий следует



Рис. 3. Техника окраски резных роговых изделий.
1 – Пазырык; 2, 4 – Берель; 3 – Обьезданое-1.

рассматривать в широком контексте особенностей оформления предметов в эпоху раннего железного века на территории Южной Сибири.

Другие варианты окраски резных роговых изделий имеют определенную специфику. Например, глубокий окрас рога в темно-коричневый цвет в современных условиях осуществляется при помощи смешивания желтого (1 ч.) и фиолетового (2 ч.) красителей минерального происхождения. В этой связи следует отметить, что резные предметы с такой «тонировкой» встречаются уже в раннескифское время на Горном Алтае (Карбан-1) [Бородовский, 2007, цветная вклейка VIII, 1], что позволяет поставить вопрос о выявлении роговых предметов, тонированных в древности, до попадания их в грунт, влияющий на их современную окраску. Такие особенности хорошо известны для

плейстоценовой палеофауны, включая мамонтовые бивни из различных регионов Сибири.

Основой современного желтого красителя для «кости» является раствор хромпик (двухромовокислый калий), а фиолетового – раствор хлористого кобальта [Абросимова, Каплан, Митлянская, 1984, с. 137, 138]. Поэтому рецептуру и происхождение близких по тону сохранившихся красителей рогового налобника из Пазырыка еще предстоит установить (рис. 2, 6).

Существенное увеличение количества раскрашенных резных роговых изделий в эпоху раннего железа в сравнении с предшествующими периодами, очевидно, является одной из эпохальных особенностей данного исторического времени [Borodovskiy, 2010]. Достаточно наглядно представленной даже в античной скульптуре классического и эллинистического периодов [Renkli..., 2006]. В скифское время на территории юга Западной Сибири раскраска тела красным красителем встречена среди целого ряда погребений быстрого некрополя [Бородовский, 2002, с. 114, рис. 87, 1; рис. 88, 3]. Эти факты вполне можно рассматривать в общем контексте окраски органических материалов, включая кожу, кость, рог, войлок и дерево.

В эпоху средневековья на территории Евразии количество изделий из рога повсеместно сократилось, а основным красителем, как и в эпоху бронзы, стал черный. При этом фактически полностью исчезло глубинное и поверхностное окрашивание резных изделий, появившееся затем в новое время.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что «художественность» косторезных изделий определяет не только их орнамент [Уханова, 1981; Сергеева, 2006], но и нанесение различных красителей (черного, красного, желтого, коричневого). Выявление в археологических источниках таких фактов позволит более адекватно и детально реконструировать культурный «колорит» прошлого. Не менее важным является и то обстоятельство, что окраска наносилась на наиболее престижные

предметы – вооружения и конскую упряжь, имеющие особую иерархию в материальной культуре традиционных обществ.

Список литературы

- Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б.** Художественная резьба по дереву, кости и рогу. – М., 1984. – 158 с.
- Бородовский А.П.** Археологические памятники Искитимского района Новосибирской области. – Новосибирск: [б.и.], 2002. – 208 с. – (Мат-лы «Свода памятников истории и культуры народов России»; вып. 6).
- Бородовский А.П.** Древний резной рог Южной Сибири (эпоха палеометалла). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. – 176 с.
- Бородовский А.П., Соловьев А.И.** «Костяные» панцирные пластины эпохи бронзы в Сибири // Современные проблемы археологии России: мат-лы Всерос. археол. съезда. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. I. – С. 353–355.
- Кочевники** Евразии на пути к империи. Из собрания Государственного Эрмитажа. Каталог Выставки. – СПб.: Славия, 2012. – 272 с.
- Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л.** Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н. э.). – Новосибирск: ИНФОЛИО, 2005. – 229 с.
- Руденко С.И.** Второй Пазырыкский курган. – Л.: Гос. Эрмитаж, 1948. – 90 с.
- Самашев З.С., Бородовский А.П.** Роговые украшения конской узда и упряжи из Берельского некрополя // Археология, этнография и антропология Евразии – 2004. – № 3 (19). – С. 82–87.
- Сергеева М.С.** К этнокультурной характеристике орнамента изделий из кости Южной Руси // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Красноярск; Омск: [б.и.], 2006. – С. 183–188.
- Уханова И.Н.** Резьба по кости в России XVIII–XIX веков. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 236 с.
- Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А.** Золотые звери из долины царей. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. – 16 с.
- Шаталов В.А.** Костяные изделия населения Вятского края в ананьинскую эпоху: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Казань, 2006. – 18 с.
- Borodovskiy A.P.** Southern Siberia bone carving of Scythian time // Recherches archeologiques nouvelles. Serie 2. – Krakow, 2010. – P. 21–32.
- Renkli Tanrilar.** – Istanbul, 2006. – 158 p.



ТРАНСПОРТ



О КОНЯХ, ОЛЕНЯХ И КОЛЕСНИЦАХ ЮЖНОГО КАВКАЗА

Среди многочисленных и разнообразных научных интересов Елены Ефимовны Кузьминой вопросам роли коней – хозяйственной, военной, ритуальной – в жизни древних обществ и связи их с определенными этнокультурными традициями принадлежит особое место. Труды юбиляра по этой тематике вошли в фонд мировой науки.

Предлагаемая небольшая статья, тема которой находится в русле коневодческой проблематики, не только дань уважения прекрасному ученому, но и знак дружбы, продолжающейся уже более шестидесяти лет.

Значению лошадей как упряжных, так и верховых животных в истории человечества посвящена огромная литература, тем не менее многие вопросы еще остаются дискуссионными. Один из них заключается в том, каким народам принадлежала приоритетная роль в их освоении в целом и в отдельных его этапах в частности. Население Закавказья, занимающего промежуточную позицию между основными центрами использования коней в древности – Евразийскими степями и Ближним Востоком, то есть кочевниками и городскими цивилизациями, – испытывало определенные влияния как с севера, так и с юга, внося в то же время собственную лепту в развитие коневодства и особенности проявления конского культа.

Долгое время считалось, что кони в Закавказье появились не ранее II тысячелетия до н.э. и были заимствованы, скорее всего, из Передней Азии [Джапаридзе, 1976, с. 338] или, согласно другой гипотезе, из северных степей [Межлумян, 1972]. Однако в течение последних сорока лет были обнаружены материалы, позволившие изменить эту точку зрения и выдвинуть новые предположения [Кулиев, 2002, 2008; Нариманов, 1987; Есаян

(не опубл. работа) и др.]. Так, на поселениях, относящихся к IV тысячелетию до н.э., стали находить конские кости, согласно заключениям палеозоологов принадлежавшие уже одомашненным особям, а на поселении Аликемектепеси зафиксированы, по тем же заключениям, и две конские породы [Guliev, 2010, p. 30]. Конечно, выделение одомашненных видов достаточно сложно, но самый факт раннего знакомства древнего населения Южного Кавказа с лошадьми сомнений не вызывает, а находки конских костей в отложениях вюрмского периода и в мезолитических памятниках привели к заключению о Южном Кавказе как об одном из древних очагов присутствия диких коней [Кушнарева, 1993, с. 203]. Процент конских костей в энеолитических поселениях, сосредоточенных преимущественно в юго-восточных районах Закавказья, сравнительно невелик, так, например, в Аликемектепеси на 43 % костей быков приходилось 7,5 % конских. Кости были представлены в основном позвонками, но количество черепов различается не столь разительно – четыре конских и пять бычьих. Играли ли кони какую-то роль в идеологических представлениях и ритуалах энеолитического населения, сказать пока невозможно. Однако к первой половине IV тысячелетия до н.э. относится первое, весьма условное, изображение предположительно головы эквида, являющееся окончанием каменного (согласно Ф. Гулиеву, глиняного) столбика около 30 см длиной, так называемого «скипетра» [Lyonnet, 2009, p. 70, 71, fig. 4; Могильник..., 2011, рис. 3, 4]. Предмет был найден в кургане 1 могильника Союгбулаг [Мусеибли, 2009] на северо-западе Азербайджана. Как известно, с каменными скипетрами в виде голов коней и/или других жи-

вотных, достаточно широко распространенными в памятниках Восточной Европы IV тысячелетия до н.э., связано много интересных гипотез. Правда, закавказский экземпляр отличается от восточноевропейских общей конфигурацией – голова животного и вертикальный столбик представляют одно целое. Б. Лионне указала на наиболее близкую аналогию ему в могильнике Си Гирдан (район оз. Урмия), где он также является единичной находкой [Lyonnet, 2009, с. 71]. Кроме того, если на восточноевропейских скипетрах есть орнамент, который рядом исследователей, и особенно аргументированно В.Б. Ковалевской, интерпретируется как изображение ремней оголовья, на союгбулагском экземпляре ничего подобного нет. Если отдельные штрихи на темени животного и можно считать следом такого оголовья, очевидно, что сделавший его мастер не имел об этом элементе ни малейшего понятия. По мнению Ф. Кулиева, подобная находка свидетельствует об особой роли коня у населения территории Азербайджана в IV тысячелетии до н.э., роли, которая не может объясняться ближневосточным происхождением соответствующей культуры [2008, с. 223], однако единичность закавказского скипетра препятствует сколько-нибудь определенным выводам.

На протяжении III тысячелетия до н.э. на поселениях эпохи ранней бронзы конские кости продолжают встречаться, хотя и значительно уступают количественно костям крупного и мелкого рогатого скота (сравнительные подсчеты собраны в неопубликованной работе С.А. Есаяна). Уже неоднократно обращалось внимание на то, что в этот период поголовье мелкого рогатого скота сильно увеличивается и развивается отгонное скотоводство, при котором лошадь могла использоваться как выючное животное [Кушнарева, 1993, с. 230], а по предположению Ф. Кулиева и в качестве транспортного средства [Кулиев, 2008, с. 225]. К тому же времени относятся редкие изображения на керамике [Там же] и отдельные скульптурные изображения конских голов. В кургане у с. Тельман (Азербайджан) был найден еще один каменный «скипетр» длиной около 24 см с головой животного, возможно, коня [Там же]. По общей конфигурации он отличен от союгбулагского и ближе к восточноевропейским предшествующего тысячелетия, но в целом достаточно своеобразен. При раскопках поселения Шенгавит (центральная Армения) найдена глиняная конская головка, выполненная достаточно реалистически.

Близкая по типу головка происходит из поселения Караз в районе Эрзурума. В Шенгавитском же поселении найдена и головка, предположительно конская, но выполненная весьма условно. Подобная ей известна из музейной коллекции неясного происхождения [Есаян, 1980, рис. на с. 7, 2–4]. Следы какой-либо узды на них отсутствуют. Эти находки свидетельствуют об определенной роли коня в идеологических представлениях, хотя надо учитывать, что в мелкой пластике, в этот период широко распространенной, безусловно, преобладают фигурки быков и мелкого рогатого скота. В богатых курганах встречались и останки целых туш быков или их шкур, то есть голов и конечностей. В этом отношении выделяется могильник Неркин Навер (центральная Армения) второй половины III тысячелетия до н.э. [Симонян, 2010; Simonyan, 2010]. Здесь в нескольких курганах части задних ног, тщательно отчлененных от туловища, и ребер коней были уложены вперемешку с костями быков, причем, по заключению зоологов, в каждую царскую могилу клали части не одной, а обязательно двух лошадей, несомненно, перед погребением содержавшихся в стойлах [Симонян, 2010, с. 631]. В кургане 7 того же могильника находился краснолощенный сосуд с фризом из вереницы животных с хвостами с пышными кисточками на концах, возможно, коней [Там же, с. 632, рис. 10]. Как правило, в подобных фризах представлены олени, изображение лошадей как будто уникально. По мнению А.Е. Симоняна, заключенные в круги кресты, из которых составлен фриз чернолощеного сосуда из кургана 2, представляют собой колеса с четырьмя спицами, символизирующие разборные колесницы [Там же, рис. 9]. Подобное отождествление вряд ли может быть пока доказано, тем более, что крест как часть орнамента распространен достаточно широко. Но в целом материалы могильника Неркин Навер свидетельствуют об усилении культовой роли коня, во всяком случае, на территории центральной Армении во второй половине III, может быть, начале II тысячелетия до н.э. [Там же, с. 621, 622].

Но как бы то ни было, только с началом эпохи поздней бронзы, когда отгонное скотоводство и освоение коня в качестве средства передвижения получили особое развитие, на Южном Кавказе появляются археологические памятники, прямо свидетельствующие о роли коней как в повседневной жизни, так и в погребальном ритуале. Именно с этого времени начинается широкое изготовление

конской узды, важнейшие части которой делались из бронзы. На протяжении II–I тысячелетия до н.э. эти элементы меняли форму, орнаментацию, частично заимствовались из соседних регионов, частично сохраняли местные традиции, оставаясь одним из важнейших элементов комплекса материальной культуры и погребального инвентаря, сопровождавшего умершего воина. Менялись, очевидно, и приоритеты в военном использовании коней. По крайней мере с середины II тысячелетия до н.э. Южный Кавказ оказывается в зоне «колесничного койне». Неопровержимые следы использования колесниц находятся в памятниках «лчашенского круга», то есть культурно и хронологически близких известному курганному могильнику у г. Лчашен на северо-западном побережье Севана [Мнацаканян, 1957, 1960]. Как известно, в Лчашенских курганах были обнаружены и бронзовые модели колесниц, помещавшиеся на колесничное дышло, и деревянные части повозок, в том числе двухколесных. Закрепление бронзовых моделей на дышле колесниц практиковалось на Древнем Востоке, где изготовление моделей повозок имело давнюю традицию. В одном из курганов Лчашенского могильника такое использование было зафиксировано *in situ* – бронзовая модель колесницы была найдена на деревянной двухколесной повозке в том месте, где дышло соединялось с ярмом. Анализ особенностей колесниц, модели которых были найдены на территории Южного Кавказа, показал, что по деталям конструкции кузова и запряжки они относятся к ближневосточному типу, распространенному в его западном ареале [Pogrebova, 2003]. В том же ареале находят аналогии и гребенчатые шлемы, надетые на одного из каждой пары стоящих в колесницах воинов [Пиотровский, 1963, с. 12]. Характерно для искусства Ближнего Востока, особенно Ассирии и Сирии, и использование колесниц для охоты, что демонстрируют закавказские экземпляры. С другой стороны, колесницы, представленные закавказскими моделями, отличаются по своему строению от реконструированных повозок/колесниц Синташты.

Все это позволяет заключить, что каково бы ни было происхождение ближневосточных колесниц – местное или заимствованное из степей, закавказские модели представляют те экземпляры, которые входили в ареал ближневосточной традиции. Тем не менее не возникает сомнения в том, что деревянные «колесницы» Лчашенского

могильника производились местными мастерами. Как уже упоминалось, здесь были обнаружены остатки двух деревянных двухколесных повозок. Отдельные их части, как и полагалось при производстве колесниц, были сделаны из разных сортов дерева, что свидетельствует о высоком профессионализме мастеров. Еще более важно, что на колесах деревянных повозок представлено по двадцать восемь спиц. И на бронзовых моделях количество обозначенных спиц – восемь, девять – достаточно велико. Столько спиц, хотя и известно в одновременных памятниках Ближнего Востока, встречается там достаточно редко. Двадцать восемь спиц в колесах легких деревянных двухколесных повозок – явление для того времени уникальное. Ф. Косак отмечал, что в курганах Лчашена зафиксированы самые древние колеса со многими спицами и дощатым ободом, когда-либо известные на Ближнем Востоке [Kossak, 1971, с. 159]. В то же время, как показал еще С.А. Есаян, эти легкие двухколесные повозки вряд ли могли использоваться в качестве боевых колесниц [Есаян, 1966, с. 137]. Этому препятствовал их неглубокий, открытый спереди кузов, конструкция которого позволяла не стоять, а только сидеть, и прямое дышло, затруднявшее маневренность. М. Литтауер и Й. Кроувел считают, что они занимают промежуточное место между повозками и колесницами [Littauer, Crouwel, 1979, p. 95]. В то же время присутствие в тех же курганах конских черепов, взнузданных литыми двусоставными удилами с дисковидными псалиями, свидетельствует, что для тяги здесь использовались лошади.

Сравнительно недавно в научный оборот были введены чрезвычайно интересные материалы [Гусейнова, Алиев, 2008], позволившие их исследователям предложить гипотезу евразийского происхождения закавказских колесниц. В кургане 4 могильника у селения Гараджамирли (западный Азербайджан, правый берег Куры) среди погребального инвентаря находились два конских черепа, а кургане 5 того же могильника – конский скелет без черепа, а среди инвентаря части колесничной упряжи, уложенные как при запряжке, и навершие в виде кольца, увенчанного фигурой оленя с колокольчиком внутри. Хотя металлические предметы относятся к начальному периоду эпохи поздней бронзы и обнаруживают бесспорные связи с памятниками лчашенского круга, архаичная керамика дала авторам основание отнести указан-

ные курганы к рубежу средней и поздней бронзы. Однако и среди керамики есть формы более поздние. Продолжение использования архаичной керамики в условиях формирования или заимствования знаковых для начала позднебронзовой эпохи элементов, возможно, не является определяющим в установлении хронологии памятника и соответственно удревнения начала производства колесниц в Закавказье, хотя из известных позднебронзовых памятников с колесничной упряжью четвертый и пятый курганы Гараджамирли могут считаться наиболее ранними. Но вопрос этот пока остается открытым. Однако поводом для заключения о происхождении колесниц Гараджамирли послужили не сохранившиеся их части, а изображения на одном из сосудов, на котором по желтоватому фону темной и темнокрасной краской нанесен орнамент, расположенный двумя фризами. В верхнем изображены «четыре больших колесницы, запряженные оленем» [Гусейнова, Алиев, 2008, с. 133], в нижнем – геометрические знаки и схематичная фигура лошади. Точнее, в верхнем фризе представлены четыре большие круга с выходящими из центрального маленького кружка 11–13 лучами или «спицами» и олень перед одним из них. Определенное сходство прослеживается с упоминавшимся выше сосудом из НеркинНавера с фризом из «колес». Доказательством возможности трактовки орнамента с «колесами» как целостного сюжета, то есть запряженной оленем колесницы, авторы считают найденное в том же кургане навершие. Рельефная полоска на шее и плечах оленя, венчающего его, трактуется как хомут, то есть указание на использование оленя в качестве упряжного животного. Что касается изображения на сосуде, предложенная интерпретация достаточно уязвима, хотя на некоторые детали стоит обратить внимание. Так, основанием считать упомянутые круги именно колесами, а не просто розетками, могут быть отмеченные выше маленькие центральные кружки, которые в этом случае обозначали бы ступицы. Аналогии именно таким розеткам в закавказских памятниках мне неизвестны. Два вписанных угла, расположенных над спиной оленя и направленных широкой стороной к «колесу», могли бы символизировать запряжку, но нужно учитывать, что такие углы неоднократно представлены на том же сосуде и в отдельно взятом виде, так что их однозначная интерпретация вряд ли возможна. Исходя из своей трактовки описанного орнамента,

авторы связывают запряжку оленей в колесницу с упоминанием такой практики «в древних индийских мифах» и рассматривают изображение на сосуде как свидетельство проникновения колесниц на Кавказ из Южной Сибири, где в более позднее время слияние образов оленя и коня зафиксировано археологически [Там же, с. 136]. Что касается мифов, очевидно, имеются в виду пассажи Ригведы о марутах, впрягавших в свои колесницы не оленей, правда, а антилоп /I, 165,5; I, 169,6; V, 53,7/. С именем ведийского бога Пушана связан образ козла как ездового животного: Пушан в Ригведе /RV, VI, 58,2/ называется *ajáśva*, «(тот, у кого) козлы – кони (или козел – конь)», хотя высказанное Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ивановым предположение о том, что козлы впрягались в колесницу этого бога [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 586], прямых подтверждений не имеет. В любом случае, других элементов индоарийской мифологии в данном районе в указанное время не выявлено. Как одно из доказательств авторами приводится также тезис о присутствии в Восточном Закавказье «андроновского типа керамики» [Гусейнова, Алиев, 2008, с. 136]. На общность элементов орнаментации андроновской и белоинкрустированной керамики Восточного Закавказья обратил внимание еще Т. Сулимирский [Sulimirski, 1954]. Мною в свое время было высказано предположение о керамике Тагискена как о связующем звене между андроновской и восточнозакавказской орнаментацией [Погребова, 1977, с. 111]. Однако приходится признать, что, скорее, и в том и в другом случае имело место использование универсальных знаков. С другой стороны, даже если признать, что на сосуде из Гараджамирли изображена оленья запряжка, нет основания искать ее истоки столь далеко. Применение оленей в качестве тягловой силы, во всяком случае, в погребальном ритуале, так же как и вообще ритуального значения оленей, зафиксировано памятником, расположенным в географически близком районе и относящимся к началу эпохи поздней бронзы, то есть в исследованных Я.И. Гуммелем в окрестностях г. Ханлар «погребениях с оленями» [Гуммель, 1992]. Как известно, в одной из могил была обнаружена деревянная рама с дышлом, по обеим сторонам которого лежали два полных скелета оленей, несомненно имитировавших запряжку. Анализ этого комплекса привел к предположению о хеттском генезисе представленного этими погребениями культа [Погребова, 2001]. Напомним, что

несомненные южные связи прослеживаются и в первом и втором курганах Гараджамирли [Сурхачев, 2005], бесспорно относящихся к началу эпохи поздней бронзы. Изложенные соображения, как представляется, дают основание оставить в силе тезис о принадлежности закавказских колесниц к ближневосточному культурному ареалу.

Рассмотренные материалы не позволяют сделать вывод о существовании на Южном Кавказе в середине II тысячелетия до н.э. колесничного войска, хотя связанные с этим видом транспорта определенные социально-экономические сдвиги, очевидно, имели место. Уже неоднократно отмечалось, что овладение колесницами приводило к значительным изменениям в экономическом развитии общества и его социальном устройстве. Это проявляется и в формировании слоя людей, обладавших колесницами или, во всяком случае, пользовавшихся ими, и в появлении высококвалифицированных мастеров, их производивших. Исследование погребений, содержавших остатки колесничных кузовов и бронзовые модели, позволяет заключить, что эти два фактора в обществе Южного Кавказа присутствовали. О мастерстве изготовителей легких двухколесных повозок с многоспицевыми колесами уже упоминалось. Находки деревянных частей и моделей не только в наиболее богатых, но и в средних по богатству инвентаря и размеру могильных насыпей погребениях свидетельствует о сложении приближенной вождям элиты. Как известно, колесницы имели разные функции – военную, охотничью, ритуальную, но главной признается военная, собственно и вызвавшая к жизни появление этого транспортного средства. Однако для закавказских колесниц эта важнейшая функция остается недоказанной, хотя воинский характер содержавших их погребений сомнений не вызывает. Модели в большинстве случаев изображают только охоту, когда перед запряженной двумя лошадьми колесницей с воинами помещается фигурка оленя или косули. Архаичная (выгнутая) конструкция дышла одной из них позволила предположить ее использование в ритуальном шествии [Деведжян, 1981, с. 28]. Если допустить, что модели отражают реалии закавказского общества середины II тысячелетия до н.э., следует признать существование довольно значительного количества зависимых людей, чья помощь в подобной охоте была необходимой.

Судя по материалу погребений, колесницы в реальной жизни использовались в Закавказье очень ограниченный срок – самое начало эпохи поздней бронзы, тогда как в ассирийском и урартском войсках они и в начале I тысячелетия до н.э. продолжали играть активную роль наряду со всадниками. Характерно также, что в урартских документах в перечне дани, полученной с народов Закавказья, никогда не упоминаются колесницы. Правда, на хорошо известном глиняном сосуде из Дилижана [Мартиросян, 1964, рис. 46] и особенно в декоре закавказских бронзовых поясов начала I тысячелетия до н.э. изображения колесниц присутствуют. Это позволяет предположить, что колесница, утратив практическое значение, сохранилась в мифологии и отражающей ее изобразительной традиции.

Список литературы

- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.** Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. – Тбилиси, 1984.
- Гуммель Я.И.** Раскопки к юго-западу от Ханлара в 1941 г. // ВДИ. – 1992. – № 4.
- Гусейнова М.А., Алиев И.Н.** Среднебронзовые курганы Гараджамирли Шамкирского района Азербайджана // Шамкир. Археологическое наследие, история и архитектура: материалы 1-й респ. науч.-практ. конф., Шамкир, 2007. – Баку, 2008.
- Деведжян С.Г.** Лори-Берд I. – Ереван, 1981.
- Джапаридзе О.М.** К этнической истории грузинских племен по данным археологии. – Тбилиси, 1976.
- Есаян С.А.** Оружие и военное дело Древней Армении. – Ереван, 1966.
- Есаян С.А.** Скульптура древней Армении. – Ереван, 1980.
- Есаян С.А.** Материалы к книге «Древнее коневодство Закавказья» (рукопись).
- Кулиев Ф.Е.** К проблеме становления коневодства // XXII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа: тез. докл. – Ессентуки; Кисловодск, 2002.
- Кулиев Ф.** Погребения с конскими захоронениями в курганах Азербайджана. – Баку, 2008. (на азерб., рус. и англ. яз.).
- Кушнарера К.Х.** Южный Кавказ в IX–II тыс. до н.э. Этапы культурного и социально-экономического развития. – СПб., 1993.
- Могильник** эпохи позднего энеолита Союг-Булаг в Азербайджане / Б. Лионне, К. Алмамедов, Л. Буке, А. Курсье, Б. Джелилов, Ф. Хусейнов, С. Лут, З. Махарадзе, С. Рейнард // РА. – 2011. – № 1.
- Мартиросян А.А.** Армения в эпоху бронзы и раннего железа. – Ереван, 1964.
- Межлумян С.К.** Палеофауна эпох энеолита, бронзы и железа на территории Армении. – Ереван, 1972.

Мнацаканян А.О. Раскопки курганов на побережье озера Севан в 1956 г.: предварительное сообщение // СА. – 1957. – № 2.

Мнацаканян А.О. Древние повозки из курганов бронзового века на побережье озера Севан // СА. – 1960. – № 2.

Мусебли Н.А. Курганы Союгбулага // Кавказ. Археология и этнология: мат-лы междунар. науч. конф. 11–12 сент. 2008 г. / ред. М.Н. Рагимова и др. – Баку, 2009.

Нариманов И.Г. Культура древнейшего земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана. – Баку, 1987.

Пиотровский Б.Б. Урартские надписи из раскопок Кармир-блур: вместо предисловия // Дьяконов И.М. Урартские письма и документы. – М., 1963.

Погребова М.Н. Иран и Закавказье в раннем железном веке. – М., 1977.

Погребова М.Н. К особенностям культа оленя на Южном Кавказе // Миф. – 2001. – № 7.

Симонян А.Е. Древнейшие традиции в погребальных ритуалах Армении в бронзовом веке // На пути открытия цивилизации: тр. Маргианской археологической экспедиции / ред.: П.М. Кожин и др. – СПб., 2010.

Сурхаев М.М. Предметы вооружения и конской упряжи из курганов № 1 и № 2 Гараджамирли (Азербайджан) // Эдубба вечна и постоянна: мат-лы конф., посвящ. 90-летию со дня рождения И.М. Дьяконова. – СПб., 2005.

Guliev F. Horse Burials under kurgans in Azerbaijan // 2nd International Congress of Eurasian Archaeology. East Anatolian and Caucasian Bronze Age Cultures. 1–5 March, 2010 / Abstracts. Scientific Board: A. Çilingiroğlu a. oth. – Tire; Izmir, 2010.

Kossack F. The Construction of the felloe in Iron Age spoked wheels // The European Community in Later Prehistory: Studies in honour of C.F.C. Hawkes / J. Boardman, M.A. Brown and T.G.E. Powell (eds.). – L., 1971.

Littauer M.A., Crouwel J.H. Wheeled Vehicles and Ridden Animals in the Ancient Near East. – Leiden; Köln, 1979.

Lyonnet B. Preliminary results from the first joint Azerbaijan-French excavations at Soyugbulag (2006) // Кавказ. Археология и этнология: мат-лы междунар. науч. конф. 11–12 сент. 2008 г. / ред. М.Н. Рагимова и др. – Баку, 2009.

Pogrebova M. The Emergence of Chariots and Riding in the South Caucasus // Oxford Journal of Archaeology. – 2003. – Vol. 2, № 4.

Simonyan H. Royal Tombs of the Early Period of the Middle Bronze Age in Armenia (II half of the III Millenium BC) // 2nd International Congress of Eurasian Archaeology. East Anatolian and Caucasian Bronze Age Cultures 1–5 March 2010 / Abstracts. Scientific Board: A. Çilingiroğlu a. oth. – Tire; Izmir, 2010.

Sulimirski T. Scythian Antiquities in Western Asia // Artibus Asiae. – 1954. – Vol. 17, nos. 3–4.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ РАННИХ КОЛЕСНИЦ В ЕВРАЗИИ

В многообразии разрабатываемых тем, которыми в своей плодотворной исследовательской деятельности и сегодня занимается юбиляр Елена Ефимовна Кузьмина, особое место занимают технологические инновации, связанные с древнейшими и ранними колесницами. К ее заслугам относится, что при анализе погребального инвентаря из Новокумака уже первоначально было привлечено внимание исследователей к горизонту дисковидных псалиев и определена их хронологическая позиция [Смирнов, Кузьмина, 1977]. В дальнейшем она неоднократно обращалась к изучению ранних колесниц Евразии. Благодаря ей и ее соавторам недавно вышла в свет коллективная монография «Кони, колесницы и колесничие степей Евразии» [Кони, колесницы и колесничие..., 2010], в которой всесторонне представлено современное состояние исследований по раннему использованию лошадей для верховой езды и как тягловых животных, а также по проблемам появления колесниц не только с археологической точки зрения, но рассмотрены палеозоологическая и палеоантропологическая стороны. Перевод каждого раздела на английский язык, несомненно, позволит стать этой работе определенным стандартом в международных исследованиях.

В заключении этой коллективной монографии В.С. Бочкарев, Е.Е. Кузьмина, П.Ф. Кузнецов и А.Н. Усачук [Основные итоги..., 2010] подводят итоги проведенных исследований и акцентируют многие рассмотренные в ней аспекты. Так, колесницы были отнесены к самому эффективно-му военному изобретению всего II тысячелетия до н.э.: «Появление колесничных комплексов в погребальном обряде является абсолютной новацией и мало связано с традициями всех пред-

шествующих культур» [Там же, с. 344]. Однако мнение об отсутствии традиции депонирования транспортных средств в захоронениях едва ли получит единодушную поддержку среди исследователей. Можно согласиться с четырьмя авторами в том, что колесницы, древнейшие образцы которых представлены в синташтинской культуре Южного Зауралья, сопровождаются многочисленными инновациями в металлообработке в Волго-Уральском регионе, и поэтому напрашивается связь между этими двумя феноменами.

В самом деле, современные исследования показывают, что синташтинская культура с ее укрепленными поселениями и богатыми захоронениями в курганах, где остатки колесниц сохранились в углубленных ямах, в которых зафиксированы отпечатки нижних частей некогда двух параллельно расположенных спицевых колес [Koryakova, Epimakhov, 2007, p. 94], появляется как будто ниоткуда в XXI в. до н.э. в Южном Зауралье (рис. 1, 6–10). Это рассматривается многими исследователями как результат миграции [Кузьмина, 2000; Koryakova, Epimakhov, 2007, p. 98], что при сегодняшнем состоянии исследований выглядит убедительно, так как в синташтинской культуре до сих пор не выявлена фаза ее первоначального развития, что, собственно, является обязательным для всякого культурного явления.

Впоследствии засвидетельствованы мощные импульсы из Синташты и связанной с ней петровской культуры, включающие в себя трансфер взнузданной лошади, что подтверждается многочисленными щитковыми псалиями, найденными также к западу от Урала [Усачук, 2007]. Так как использование уздечки лошадей рационально при дистанционном управлении, т.е. когда они запре-

гались в повозку/колесницу, за находками дисковидных псалиев, по всей вероятности, может скрываться и вероятность присутствия колесниц в других регионах за пределами Южного Зауралья. Хотя существуют различные версии путей распространения колесниц, наибольший интерес представляют гипотезы, выработанные и представленные после выявления древнейшего горизонта колесниц в синташтинской культуре (ср., напр.: [Penner, 1998; Кузьмина, 2000; Kristiansen, 2004]).

В своей статье в честь Е.Е. Кузьминой автор поднимает проблему отсутствия особых предшествующих форм колесниц, из которых могли бы выйти самые ранние экземпляры в культуре Синташта. Стоит отметить, что до сих пор не хватает попыток поставить синташтинские колесницы с предполагаемыми прототипами из других областей Евразии в одну линию развития такой традиции, – и автор настоящей статьи сделает акцент на традиции депонирования транспортных средств, в отличие от вышеупомянутого мнения (ср.: [Основные итоги изучения..., 2010, с. 344]).

В данном контексте будет не столь важна вызванная М. Литтауэр и Й. Краувелом [Littauer, Crouwel, 1996, р. 939] дискуссия о функциональности ранних колесниц в Южном Зауралье. В статье будут обсуждены предпринятые различными исследователями попытки поставить колесницы культуры Синташта в эволюционную связь с древнейшими средствами передвижения при помощи массивных дисковидных колес, которые использовались в III тысячелетии до н.э. в восточно-балканском регионе и северопонтийском степном пространстве, Предкавказье и на Южном Урале. Кроме того, по этой проблеме неоднократно высказывалась и сегодняшняя юбилей, и ее работы



Рис. 1. Карта распространения погребений катакомбной культуры, где, предположительно, были найдены повозки с двумя дисковидными колесами, и захоронений синташтинской культуры, в которых зафиксированы отпечатки спицевых колес.

1 – Кривой Рог или Войково; 2 – Марьевка, курган «Тягунова Могила»; 3 – Ижевка; 4 – Раздольное; 5 – Большой Ипатовский курган; 6 – Синташта; 7 – Каменный Амбар-5; 8 – Солнце II; 9 – Кривое Озеро; 10 – Николаевка.

вдохновили автора обратить более пристальное внимание, в частности, на повозки в катакомбной культуре. Представленные здесь соображения, хочется надеяться, будут способствовать дальнейшей плодотворной дискуссии по этой чрезвычайно интересной исследовательской проблеме.

Двухколесные повозки в катакомбной культуре (рис. 1, 1–5)

Остатки повозок с массивными дисковидными колесами были обнаружены в погребениях ямной и катакомбной культур. В ямной культуре области распространения погребений с повозками или отдельными их частями значительно шире, чем в более поздних культурах. Самые восточные комплексы были найдены в Шумаевских курганах в Оренбургской области России [Шумаевские курганы, 2003; Tureckij, 2004], а самый западный ком-

плекс происходит из Плачидол в Болгарии [Панайотов, 1989]; между этими двумя крайними точками известно более чем 300 погребений с повозками [Tureckij, 2004, S. 192; Избицер, 2010, с. 193]. В катакомбной культуре соответствующие комплексы найдены исключительно в степном ареале между Нижней Волгой и Нижним Поднепровьем [Kaiser, 2007, S. 132, Abb. 2–3]. Что касается связей между катакомбной культурой второй половины III тысячелетия до н.э. и культурой Синташта, датирующейся от 2100 г. до н.э., то зачастую обращается внимание на общее сходство в погребальном обряде, связанном с депонированием повозок или их частей, даже если речь идет о принципиально иных типах и технологиях [Кузьмина, 2000, с. 7; Erimachov, Korjakova, 2004, S. 224].

Согласно разработкам С.Ж. Пустовалова [2000, 2008], находки из катакомбных захоронений реконструируются как двухколесные повозки с массивными дисковидными колесами и интерпретируются как прототипы колесниц уже в III тысячелетии до н.э. Соответствующая находка была сделана еще в 70-е годы XX в. в кургане «Тягунова Могила» возле южноукраинской Марьевки, тогда же была представлена и первая реконструкция (рис. 1, 2) [Чердниченко, Пустовалов, 1991]. В дальнейшем С.Ж. Пустовалов сделал сводку погребений катакомбной культуры с предполагаемыми двухколесными средствами передвижения. Однако не только эти, но также еще более древние погребальные комплексы, например, новотитаровской культуры на Кубани, были им использованы для его реконструкции либо колесниц, либо т.н. одноосных «экипажей», представляющих собой переработку технологии колесниц [2008, с. 106].

Практически одновременно и независимо друг от друга были опубликованы две статьи, Е.Е. Избицер [2010, с. 187 сл.] и автора [Kaiser, 2010, S. 137–158], в которых каждая из авторов частично с похожими, частично с различными аргументами противостоит сильно преувеличенной интерпретации С.Ж. Пустовалова относительно прототипов колесниц в катакомбной культуре. В обеих работах представлены несколько погребальных комплексов с предполагаемыми или действительно двухколесными средствами передвижения, что исключает необходимость их повторения в настоящей статье, тем более что обе эти работы опубликованы в межрегиональных периодических изданиях и, следовательно, доступны. Е.Е. Избицер [2010, с. 193] свою, большей частью

ироничную оценку относительно «реконструкции без тормозов», как это, по ее мнению, осуществлено С.Ж. Пустоваловым, завершает следующим: «Из известных на сегодня трехсот погребений с повозками ни одно не дает оснований относить их к захоронениям воинской знати, а сами повозки – к боевым колесницам», – вывод, к которому автор настоящей статьи может только присоединиться.

Однако в своей статье Е.Е. Избицер отказывается от повторного обсуждения находок из погребения 32 Большого Ипатовского кургана на Ставрополье, где было обнаружено сравнительно небольшое транспортное средство с «А»-видной осью (рис. 1, 5; 2). Эта находка послужила основанием для авторов раскопок реконструировать остатки как одноосную повозку с двумя дисковидными колесами [Belinskij, Kalmykov, 2004, S. 209–211, Abb. 10–11; Кореневский и др., 2007, с. 41], хотя в захоронении не были идентифицированы явные остатки колес. Последнее обстоятельство было подробнее рассмотрено в другой статье Е.Е. Избицер, где она предполагает, что деревянные остатки из погребения 32 могли принадлежать волокуше [Избицер, 2009, с. 125]. Такие транспортные средства, для перемещения которых применялся крупный рогатый скот в качестве тягловой силы, особенно подходят для использования в горах. Весь остальной инвентарь из погребения 32, кроме всего прочего и «А»-видная ось, также указывает на контакты с Кавказом, даже если связи с Предкавказьем, где найдено захоронение, основывались исключительно на одном транспортном средстве.

Первоначально, следовательно, должен ставиться вопрос о том, подтверждено ли для катакомбной культуры вообще наличие двухколесных повозок? Е.Е. Избицер подвергает это сомнению, объясняя все остальные, цитированные С.Ж. Пустоваловым находки двухколесных транспортных средств из погребений катакомбной культуры, как недостоверные [Избицер, 2010, с. 193], и только в отношении погребения 32 Большого Ипатовского кургана она высказалась более осторожно [Избицер, 2009, с. 129]. Автор настоящей статьи, напротив, считает возможным существование двухколесных транспортных средств в катакомбной культуре [Kaiser, 2010, S. 141–144], в отличие от имеющихся отрицательных мнений [Избицер, 1993; Гей, 2000, с. 189]. Сомнения, на мой взгляд, вызваны тем, что эти исследователи по сути исходят из существования только одного типа повозок.

В самом деле, незначительное количество находок конструктивно восстанавливаемых повозок едва ли дает надежную основу для реконструкции различных их типов. Однако данные из других культурных областей также с хорошими, если не лучшими, чем в степи, условиями сохранения древесины, как, например, циркумальпийская область со свайными поселениями, демонстрируют наличие различных технологий колеса и повозок уже в период среднеевропейского неолита (что приходится на вторую половину IV и почти все III тысячелетие до н.э.; например: [Schlichterle, 2004, S. 296–306]. Даже если оттуда происходят только колеса и отдельные оси, все же многочисленные находки подтверждают дифференцированную и постоянно совершенствующуюся технологию средств передвижения. Это положение убедительно подтверждается многочисленными деталями повозок из всех трех погребений Большого Ипатовского кургана [Belinskij, Kalmykov, 2004, S. 213–215]. Мы можем или даже должны предположить, что с момента изобретения повозки как средства передвижения происходил постоянный эксперимент, заключающийся в том, чтобы сделать ее не только более функциональной и прочной, но также более приспособленной к неким особым обстоятельствам, таким, как местность или новые потребности. В этом смысле наряду с повозками на четырех дисковидных колесах, можно представить и повозки на двух колесах, которые могли быть просто обычными тележками.

С известной долей вероятности описываемые здесь двухколесные повозки, разумеется, ни в коем случае не являлись прототипами колесниц. Так, комплексно интерпретируя повозку из погребения 32 Большого Ипатовского кургана, А.Б. Белинский и А.А. Калмыков высказались весьма осторожно не только в отношении кон-

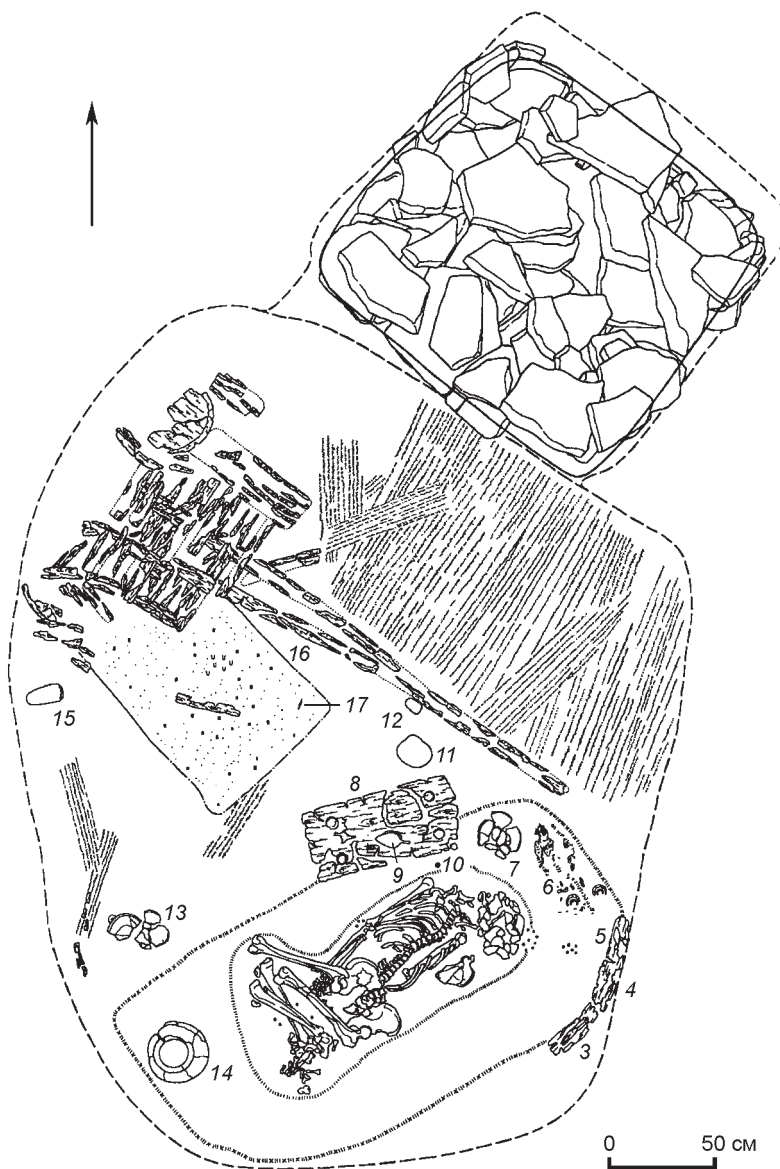


Рис. 2. Катакомбное погребение 32 Большого Ипатовского кургана (по: [Belinskij, Kalmykov, 2010, S. 209, Abb. 10]).

струкции ее колес, но также тягловых животных [Belinskij, Kalmykov, 2004, S. 216]. Тем не менее это погребение и в европейской археологической литературе рассматривается как недостающее звено между повозками с дисковидными колесами III тысячелетия до н.э., известными в степях к юго-западу от Урала, и древнейшими колесницами по другую сторону Уральских гор [Eder, Nagel, 2006, S. 69–71].

Для выяснения вопроса, в какой мере погребение 32 из Большого Ипатовского кургана может действительно являться тем недостающим зве-

ном, необходимы хронологические уточнения. Само погребение было отнесено к предкавказской катакомбной культуре, которая, согласно абсолютным датам, относится к периоду между 2500–2100 cal BC [Трифонов, 2001, с. 75]. Для погребения 32 были получены две ^{14}C -даты из дерева [Belinskij, Kalmykov, 2004, S. 216, Tab. 2]. Первая дата с вероятностью в 95,4 % дает временной отрезок 2461–2205 cal BC, что практически полностью совпадает с предложенным В.А. Трифоновым временем существования предкавказской катакомбной культуры. Вторая дата показывает временной промежуток 2335–2037 cal BC (также с вероятностью в 95,4 %) и поэтому немного отстает по времени от первой, хотя оба временных промежутка между собой пересекаются. Среди многочисленного инвентаря этого захоронения была найдена костяная пряжка, которая является типичным изделием более поздних, следующих за катакомбной археологических культур (рис. 3, справа вверх). Это могло бы подтверждать, скорее, правильность второй даты, однако мы не имеем права отбросить более ранний временной отрезок (2461–2205 cal BC). Кроме того остается под вопросом, может ли действительно костяная пряжка соответствовать по времени погребению предкавказской катакомбной культуры – обстоятельство, на котором хочется заострить внимание.

Такие дисковидные плоские пряжки с большим центральным отверстием и, как минимум, двумя небольшими по краям не столь типичны для культуры Бабино Северного Причерноморья, сколько для абашевской культуры Волго-Донского междуречья. Известные в культуре Бабино ведущие формы этих пряжек овальные и слегка изогнутые в поперечном сечении, даже если они сделаны в различной манере. Р.А. Литвиненко [2001] собрал найденные к востоку от Волги варианты таких пряжек, среди которых имелись аналогии для экземпляра из Большого Ипатьевского кургана. Для комплексов абашевской культуры характерны круглые плоские пряжки с центральным отверстием, подобно обнаруженным, в частности, в погребении 3 кургана 4 Селезни (рис. 4) [Пряхин и др., 1998, с. 16, 22, рис. 9, 4; 12]. Последние, по мнению авторов раскопок, связаны с высоким социальным статусом захороненных лиц, что также подтверждается остальным сопровождающим инвентарем, среди которого дисковидные псалии, наконечники копий, кинжалы и другие изделия из бронзы, в большом количестве кремневые на-

конечники стрел и др. Многие изделия из таких захоронений типичны для синташтинской культуры Южного Зауралья, однако интересующая нас пряжка до сих пор была известна только в одном комплексе – Каменный Амбар-5. Обнаруженное там погребение 3 кургана 4 было сильно ограблено, но среди сохранившегося инвентаря была найдена фрагментированная пряжка [Епимахов, 2005, с. 100–104, рис. 78, 17]. Автор раскопок охарактеризовал ее как уникальный экземпляр, что подтверждается А.Д. Пряхиным, Н.Б. Моисеевым и В.И. Бесединым [Пряхин и др., 1998, с. 27], согласно которым аналогичные изделия сосредоточены в абашевской культуре Волго-Донского междуречья и очень редко встречаются восточнее.

Для синташтинской культуры недавно были получены новые ^{14}C -даты, благодаря которым можно скорректировать имеющиеся сильно разбросанные датировки, в том числе из эпонимного местонахождения [Трифонов, 1997, 94 сл.]. Согласно новым ^{14}C -датам культура Синташта охватывает временной промежуток между 2040 и 1730 cal BC [Чечушков, Епимахов, 2010, с. 212, рис. 7]. Была взята и проба из погребения 3 кургана 4 могильника Каменный Амбар-5, которая также датируется отмеченными временными рамками. Эти довольно узкие хронологические пределы хорошо согласуются с археологическими выводами. Для культуры Абашево, к сожалению, имеется слишком мало естественнонаучных данных для сравнительного анализа.

Тем не менее сопоставление типов и форм позволяет синхронизировать абашевскую культуру и культуру Синташта в пределах первых двух столетий II тысячелетия до н.э. При этом находка типичной для абашевской культуры костяной круглой пряжки с центральным отверстием в катакомбном погребении 32 Большого Ипатьевского кургана все-таки остается необычной. Не исключена возможность, что этот комплекс представляет собой захоронение, относящееся ко времени перехода от катакомбной культуры к посткатакомбной, однако для этого одна из сделанных для погребения ^{14}C -дат является слишком ранней, так как горизонт посткатакомбной культуры не может начинаться перед 2100 г. до н.э. В качестве другого объяснения не исключена возможность того, что пряжка попала в курган позднее, вероятно, при сооружении комплексов посткатакомбного времени, таких как, например, погребение 31, которое было заложено в

4 м юго-восточнее катакомбы 32 [Корневский и др., 2007, с. 142, рис. 4, 4]. Из захоронений посткатакомбного времени Большого Ипатовского кургана ^{14}C -методом было датировано только погребение 13. Одна из полученных трех дат (GIN-10146: 3200 ± 120) сравнительно далеко отстает от других, что не допускает комбинирования всех трех датировок. Напротив, две другие даты после комбинирования с удовлетворительным значением дают временные границы в пределах 1900 и 1550 cal BC в 1σ -области. Это согласуется с датами культуры Синташта, при этом не следует исключать тот факт, что достаточно долго существовала и абашевская культура.

Остальной погребальный инвентарь из захоронения 32, как это в целом подтверждается относительной хронологией, является типичным для комплексов предкавказской катакомбной культуры. В этом смысле весь погребальный комплекс очень хорошо коррелируется с ранним временным отрезком (2461–2205 cal BC) обеих полученных ^{14}C -дат. Что касается костяной пряжки, которая относится к посткатакомбному горизонту, то она, по мнению автора настоящей статьи, могла первоначально попасть в курган после закрытия входного колодца в начале XXI в. до н.э.

Относительно предположения, что найденное в погребении 32 транспортное средство представляет собой прототип колесницы с дисковидными колесами, следует отметить, что плохая его сохранность не дает возможность уточнить все детали. Огромное расстояние между расположенным на далеком западе (до Нижнего Подунавья) ареалом повозок с дисковидными колесами поздней катакомбной культуры и территориями Южного Зауралья все-таки не позволяет говорить о связи между обеими, принципиально различными друг от друга технологиями повозок и колесниц (см. рис. 1).

Может ли, с другой стороны, пряжка из погребения 32 выступать доказательством правильности гипотезы, что изобретение повозки с двумя спицевыми колесами состоялось, собственно, в лесостепных областях ареала абашевской культуры, как это недавно было предложено [Матвеев, 2005]? Без новых погребальных комплексов с надежными

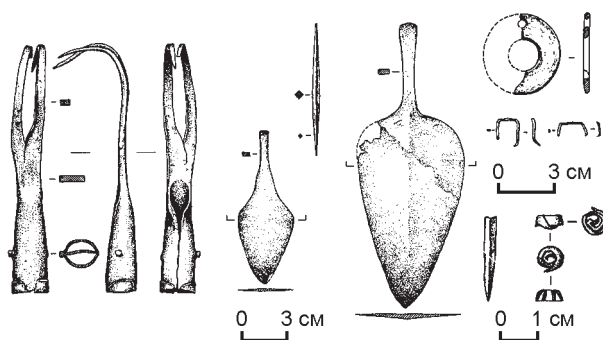


Рис. 3. Погребальный инвентарь из погребения 32 Большого Ипатовского кургана (по: [Belinskij, Kalmykov, 2004, S. 212, Abb. 14]).

абсолютными датировками, которые бы закрыли имеющиеся белые пятна, такие гипотезы остаются лишь в области предположений. К примеру, доказательства поиска улучшения эффективности колеса были получены при новейших раскопках позднекатакомбной культуры

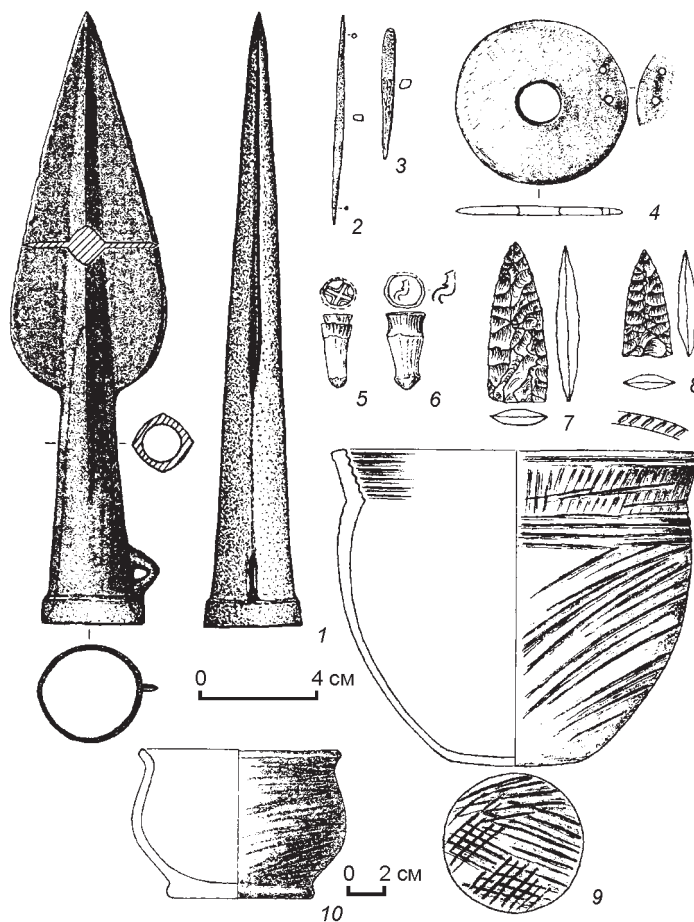


Рис. 4. Погребальный инвентарь из погребения 3 кургана 4 Селезни-2 (по: [Пряхин и др., 1998, с. 16, рис. 4]).

на юге России, где найдены колеса с четырьмя крестообразно расположенными отверстиями [Рогудеев, 2008, с. 71–72, рис. 5–6; Власкин, 2008, с. 92, рис. 1, 4]. Однако они не являются предшествующими формами спицевых колес.

Юбилар [Кузьмина, 2000, с. 14], обобщая свои обширные знания материала, приходит к выводу о временном приоритете древнейших колесниц в евразийском степном пространстве: «Это склоняет в пользу гипотезы независимого изобретения колесниц в южнорусских степях». Соответственно, именно в этой зоне были изобретены дисковидные псалии для взнуздывания лошадей. Согласно Е.Е. Кузьминой, изобретение колесницы в Южном Зауралье произошло с началом синташтинской культуры. Не исключено, что отсутствующая функциональность древнейших евразийских колесниц, отмеченная М. Литтауэр и Й. Краувелом [Littauer, Crouwel, 1996, p. 934–939], как раз может подтверждать наличие экспериментального периода, во время которого испытывались новые средства передвижения и выводились новые виды тягловых животных. Это пока остается в области предположений, как и обсуждаемые в специальной литературе другие гипотезы использования колесниц (например: [Виноградов, 2003, с. 263–266; Littauer, Crouwel, 1996, p. 934–939]. Если исходить, что колесница была изобретена в Южном Зауралье за одно столетие до 2000 г. до н.э., то она, как законченное техническое и функциональное изделие, была воспринята сообществами культур Синташта и Петровка. В Южном Зауралье колесницы производились и в дальнейшем использовались вплоть до алакульской культуры эпохи поздней бронзы. Трансфер инновации в другие регионы находит свое выражение в виде дисковидных и, позднее, щитковых псалиев, которые широко распространены не только во всех степных и лесостепных областях к западу от Урала [Усачук, 2007], но также известны в Центральной Азии [Bobomolluev, 1997, S. 121–134; Teufer, 1999, S. 69 ff.].

Не исключено также, что носители культуры Синташта переняли технологию колесниц вместе с лошадьми как тягловой силой из какого-то другого региона в качестве технологического «пакета». Судя по всему, катакомбная культура с ее немногочисленными находками повозок не может рассматриваться в качестве региона, откуда мог распространяться этот импульс. Здесь важнее связи с Древним Востоком, где в развитии ранних колесниц отсутствуют временные лакуны, а в те-

чение III тысячелетия до н.э. отмечается постоянное совершенствование технологии транспортных средств [Crouwel, 2004, S. 77–82]. Однако действительные доказательства контактов между этим регионом и Южным Зауральем отсутствуют, не столь убедительно можно определить и переход между предшествующей катакомбной культурой и синташтинской.

Поэтому происхождение инновации колесниц продолжает оставаться загадкой. В конце вышецитированной коллективной монографии ее авторы, к числу которых принадлежит и юбилар, задают вопрос: «Есть ли проблемы, которые не удалось решить в ходе проведенных работ?» [Бочкарев и др., 2010б, с. 345]. Здесь мне бы хотелось к таковым присоединить и вопрос о происхождении колесниц. Обобщающие и межрегиональные исследования, несомненно, будут способствовать дальнейшему изучению этого феномена.

Список литературы

- Виноградов Н.Б.** Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. – Челябинск, 2003.
- Власкин Н.М.** Новые катакомбные погребения с колесами на Нижнем Дону // Происхождение и распространение колесничества: сб. науч. ст. – Луганск, 2008. – С. 91–99.
- Гей А.Н.** Новотитаровская культура. – М., 2000.
- Епимахов А.В.** Ранние комплексные общества севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). – Челябинск, 2005. – Кн. 1.
- Избицер Е.В.** Погребения с повозками степной полосы Восточной Европы и Северного Кавказа III–II тысячелетия до н.э.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 1993.
- Избицер Е.В.** Повозка из погребения 32 Большого Ипатовского кургана и одноосные степные повозки эпохи средней бронзы // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. – 2009. – Вып. 9. – С. 125–130.
- Избицер Е.В.** Колесница с тормозом, или реконструкции без тормозов // *Stratumplus*. – 2010. – № 2. – С. 187–194.
- Кони, колесницы и колесничие** степей Евразии, 2010 / В.С. Бочкарев, А.П. Бужилова, А.В. Епимахов, Л.С. Клейн, П.А. Косинцев, С.В. Кулланда, П.Ф. Кузнецов, Е.Е. Кузьмина, М.Б. Медникова, А.Н. Усачук, А.А. Хохлов, Е.А. Черленок, И.В. Чечушков. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010.
- Кореневский С.Н., Белинский А.Б., Калмыков А.А.** Большой Ипатовский курган на Ставрополье, как археологический источник по эпохе бронзового века на степной границе Восточной Европы и Кавказа. – М., 2007.
- Кузьмина Е.Е.** Первая волна миграции индоиранцев на Юг // ВДИ. – 2000. – № 4. – С. 3–20.
- Литвиненко Р.А.** О так называемых «поясных пряжках» в памятниках бронзового века Волго-Урала // XV Уральское археологическое совещание: тез. докл. междунар. науч. конф. – Оренбург, 2001. – С. 90–93.

Матвеев Ю.П. О векторе распространения «колесничих» культур эпохи бронзы // РА. – 2005. – № 3. – С. 5–15.

Основные итоги изучения возникновения и распространения колесничества, 2010 / В.С. Бочкарев, Е.Е. Кузьмина, П.Ф. Кузнецов, А.Н. Усачук // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010. – С. 344, 345.

Панайотов И. Ямната культура в Българските земи // Разкопки и проучвания. – София, 1989. – 21.

Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И. Селезни-2. Курганы доно-волжской абашевской культуры. – Воронеж, 1998.

Пустовалов С.Ж. Курган «Тягунова Могила» и проблемы колесного транспорта ямно-катакомбной эпохи в Восточной Европе // Straumplus. – 2000. – № 2. – С. 296–321.

Пустовалов С.Ж. Ямно-катакомбные транспортные средства и критерии выделения боевых колесниц эпохи бронзы // Происхождение и распространение колесничества: сб. науч. ст. – Луганск, 2008. – С. 100–112.

Рогудеев В.В. Комплексы с повозками позднекатакомбного времени и проблема колесничества // Происхождение и распространение колесничества: сб. науч. ст. – Луганск, 2008. – С. 71–90.

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. – М., 1977.

Трифонов В.А. К абсолютной хронологии евро-азиатских культурных контактов в эпоху бронзы // Радиоуглерод и археология: ежегодник радиоуглеродной лаборатории. – 1997. – Вып. 2. – С. 94–97.

Трифонов В.А. Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита – средней бронзы Кавказа, степной и лесостепной зон Восточной Европы (по данным радиоуглеродного датирования) // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: материалы междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы», 23–28 апр. 2001 г. – Самара, 2001. – С. 71–82.

Усачук А.М. Найдавніші псалії доби бронзи лісостепу і степу Єврозії (технологічний і функціональний аспекти): автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Київ, 2007.

Чердниченко Н.Н., Пустовалов С.Ж. Боевые колесницы и колесничие в обществе катакомбной культуры (по материалам раскопок в Нижнем Поднепровье) // СА. – 1991. – № 4. – С. 206–216.

Чечушков И.В., Епимахов А.В. Колесничный комплекс Урало-Казахстанских степей // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии / В.С. Бочкарев, А.П. Бужилова, А.В. Епимахов, Л.С. Клейн, П.А. Косинцев, С.В. Кулланда, П.Ф. Кузнецов, Е.Е. Кузьмина, М.Б. Медникова, А.Н. Усачук, А.А. Хохлов, Е.А. Черленок, И.В. Чечушков. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010. – С. 182–195.

Шумаевские курганы / Н.Л. Моргунова, А.А. Гольева, Л.А. Краева, Д.В. Мещеряков, М.А. Турецкий, М.В. Халяпин, О.С. Хохлова. – Оренбург, 2003.

Belinskij A.B., Kalmykov A.A. Neue Wagenfunde aus Gräbern der Katakombengrab-Kultur im Steppengebiet des zentralen Vorkaukasus // Burmeister St., Fansa M. (Hrsg.). Rad

und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. – Mainz, 2004. – S. 201–220. – (Beihefte Archäologische Mitteilungen Nordwestdeutschland; № 40).

Bobomullov S. Ein bronzezeitliches Grab aus Zardča Chalifa bei Pendžikent (Zeravšan-Tal) // Archäologische Mitteilungen Iran und Turan. – 1997. – № 29. – S. 121–134.

Bunjatjan K.P., Kaiser E., Nikolova A.V. Bronzezeitliche Bestattungen aus dem unteren Dneprgebiet. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraums 8. – Langenweisbach, 2007.

Crouwel J. Der Alte Orient und seine Rolle in der Entwicklung von Fahrzeugen // Burmeister St., Fansa M. (Hrsg.). Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. – Mainz, 2004. – S. 69–86. – (Beihefte Archäologische Mitteilungen Nordwestdeutschland; № 40).

Eder Ch., Nagel W. Grundzüge der Streitwagenbewegung zwischen Tiefeurasien, Südwestasien und Ägäis // Altorientalische Forschungen. – 2006. – № 33. – S. 42–93.

Epimachov A., Korjakova L. Streitwagen der eurasischen Steppe in der Bronzezeit: Das Wolga-Uralgebiet und Kasachstan // Burmeister St., Fansa M. (Hrsg.). Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. – Mainz, 2004. – S. 221–236. – (Beihefte Archäologische Mitteilungen Nordwestdeutschland; № 40).

Kaiser E. Wagenbestattungen des 3. vorchristlichen Jahrtausends in der osteuropäischen Steppe // M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (Hrsg.). Scripta Praehistorica in honorem Biba Teržan. Situla 44. – Ljubljana, 2007. – S. 129–149.

Kaiser E. Wurde das Rad zweimal erfunden?: Zu den frühen Wagen in der eurasischen Steppe // Prähistorische Zeitschrift. – 2010. – Bd. 85, H. 2. – S. 137–158.

Koryakova L., Epimachov A.V. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages. – Cambridge, 2007.

Kristiansen K. Kontakte und Reisen im 2. Jahrtausend v. Chr. // Burmeister St., Fansa M. (Hrsg.). Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. – Mainz, 2004. – S. 443–454. – (Beihefte Archäologische Mitteilungen Nordwestdeutschland; № 40).

Littauer M.A., Crouwel J.H. The origin of the true chariot // Antiquity. – 1996. – № 70. – P. 934–939.

Penner S. Schliemanns Schachtgräber und der europäische Nordosten. Studien zur Herkunft der frühmykenischen Streitwagenausstattung // Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde. – Bonn, 1998. – № 60.

Schlichterle H. Wagenfunde aus den Seeufersiedlungen im zirkumpalpinen Raum // Burmeister St., Fansa M. (Hrsg.). Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. – Mainz, 2004. – S. 295–314. – (Beihefte Archäologische Mitteilungen Nordwestdeutschland; № 40).

Teufer M. Ein Scheibenknebel aus Džarkutan (Südbekistan) // Archäologische Mitteilungen Iran und Turan. – 1999. – Bd. 31. – S. 69–142.

Tureckij M.A. Wagengräber der grubengrabzeitlichen Kulturen im Steppengebiet Osteuropas // Burmeister St., Fansa M. (Hrsg.). Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. – Mainz, 2004. – S. 191–200. – (Beihefte Archäologische Mitteilungen Nordwestdeutschland; № 40).

ДРЕВНЕЙШИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КОНЕМ (по материалам конеголовых скипетров V–IV тыс. до н.э.)

Тема domestikации и использования коня в Евразии, которой Елена Ефимовна Кузьмина уделила большое внимание в своем научном творчестве, имеет много самых разных аспектов рассмотрения. В этой статье я хочу обратиться к интереснейшей категории находок, известных нам уже более сотни лет – конеголовым навершиям жезлов эпохи нео/энеолита.

На сегодня они представлены регулярно пополняющейся коллекцией почти из 40 наверший, происходящих из погребений, поселений и случайных коллекций. Область их распространения простирается от Средней Волги до Предкавказья на юге и Подунавья на западе. Время их использования по калиброванным датам – V–IV тыс. до н.э. Количество специальных статей, посвященных их изданию, анализу и интерпретации, многочисленно, последние наиболее полные сводки принадлежат перу Б. Говедарицы и Е. Кайзер [Govedarica, Kaizer, 1996, S. 59–103], В.А. Дергачева [2007] и С.Н. Корневского [Корневский, Калмыков, 2010; Корневский, 2011].

Поскольку многие положения, начиная с отношения данных изображений к лошадям, дискуссионны – происхождение, пути распространения, типология и т.д., я не буду на этом останавливаться, тем более, что это подробно рассмотрено в специальной литературе.

Разные исследователи по-разному описывали те следы оголовья, которые рельефом, полировкой или гравировкой изображены на голове животного, но ограничивались описанием того, что они «взнузданы», или тем, что на них изображались намордники, наносные ремни недоуздов, которые иногда назывались капцугом. Но никто не предпринимал попытки реконструировать по

имеющимся данным форму и тип оголовья и способ управления конем. Я хочу основное внимание остановить на этом, поскольку анализ иконографических черт оголовья, изображенного на конеголовых скипетрах, позволяет нам реконструировать самые первые в истории взаимоотношения человека и коня шаги управления конем на первом этапе domestikации лошади в нео/энеолитическую эпоху.

В археологической литературе предложен ряд довольно близких между собой группировок и классификаций этой категории, хорошо структурированного материала, из которых мы принимаем наиболее обоснованную и подробную классификацию, предложенную В.А. Дергачевым [2007, с. 101–148].

Я согласна с положением В.А. Дергачева о том, что «схематические и реалистические навершия... составляют два относительно самостоятельных, параллельно развивавшихся во времени подтипа, вместе восходящих к хвалынским навершиям...» [Там же, с. 123]. Мне кажется убедительной и доказательной предложенная В.А. Дергачевым «типолого-хронологическая последовательность групп» [Там же, с. 115], подтверждением и проверкой которой, как мы покажем далее, является реконструкция способов управления конем по орнаменту наверший. Останавливаясь на «орнаменте» на навершиях, исследователи ограничивались констатацией того, что лошади «взнузданы» (это нельзя принять без доказательства), что изображены лошади в намордниках (это верно, но не всегда), или же, что изображен капцуг (правильнее, капцун) и что гравированная или рельефная «орнаментика» указывает на использование лошадей для верховой езды.

Эти голословные утверждения требуют доказательства и подробного рассмотрения на материале, что я и попытаюсь сделать. Заранее подчеркну, что все предложенные мною реконструкции узды (а правильное, оголовья) гипотетичны прежде всего потому, что они произведены по изданным фотографиям и рисункам, а не являются результатом непосредственной работы с подлинным материалом, когда необходимо было бы обращать внимание на рисунок камня, который мог быть использован мастером для подчеркивания элементов узды.

В проделанной нами работе на каждом из зооморфных наверший мы рассматривали все детали в единой системе, приводящей нас к реконструкции оголовья (намордника, недоуздка или уздечки), которые при сопоставлении с более поздним конским снаряжением (вплоть до современных) позволяют увидеть в реконструированном оголовье средство для укрощения или обуздания коня. В случае с конеголовыми жезлами мы сталкиваемся с самым первым моментом в приручении и использовании коня, до сих пор известного человеку только как объект охоты, как мясное животное. Стоящая перед человеком задача заключалась в том, как этот «запас мяса» сохранить близ своего поселения в живом и укрощенном виде. (В загоне или укрытии.) Как умерить его резвость и агрессивность, удержать в руках, перевести с места на место (в частности, на водопой). Исследователи ранних этапов domestikации коня подчеркивали, что первая узда это не более чем длинная веревка, перекинутая и обвязанная вокруг носа, с двумя концами, использованными в качестве поводьев [Olsen, 2006, p. 3]. Но для этого на голове коня должно быть зафиксировано кожаное или веревочное оголовье, к которому и можно привязать эту веревку-повод. Особенность оголовья заключается в том, что оно всегда состоит из продольных и поперечных ремней, связанных между собой неподвижно (бляшками, пряжками или кольцами) и взаимно-перпендикулярных. Закрепление оголовья на морде коня определяется тем, что всегда за ушами коня располагается затылочно-подганашный ремень, соединенный с длинным наносным, нащечными и подганашными ремнями, благодаря чему лошадь не может скинуть оголовье. На конеголовых скипетрах обозначено только оголовье, т.е. те ремни, которые прилегают к голове коня, поскольку накидывающийся сверху или связанный непосредственно с оголовьем повод

не мог быть изображен. Чтобы проследить это, мы ставим себе задачу по всем имеющимся в нашем распоряжении «орнаментированным» навершиям и по всем сохранившимся на них орнаментам (изображениям узды) реконструировать оголовья, не добавляя ничего, и проследить возможные изменения в конструкции, связав их или с хронологией, или с разными культурными импульсами. Навершия были многократно классифицированы разными методами различными исследователями, причем классификации достаточно близки между собой, что специально рассмотрено В.А. Дергачевым [2007, с. 101–160]. Именно В.А. Дергачев предложил типологическую схему развития наверший от обобщенной исходной формы (А) хвалынского варианта, через усложненные варианты (В), переходные (С) до предельно сложных (D), которую мы принимаем и используем в данной статье (рис. 1).

Причем, построив эту схему, В.А. Дергачев задает вопрос: «можно ли проверить состоятельность отмеченной типолого-хронологической последовательности этих групп» [2007, с. 115], подкрепляя ее хронологическими разработками. В нашем случае, проведя реконструкцию узды для разных групп, мы рассмотрим, соответствует ли изменение узды по выделенным типологическим вариантам изменению морфологии наверший.

В исходном хвалынском варианте (рис. 1, А) навершия не орнаментированы, поэтому нет основания говорить о типе узды, она не изображалась. Для варианта В схематических наверший варианта Бырлэлешть может быть реконструирована узда намордника т. 1 и т. 2. На навершии из Бырлэлешть (рис. 2, 2, 3) он состоит из затылочно-подганашного ремня, изображенного на всех навершиях рельефным выступом в месте перехода навершия в деревянную обойму жезла, верхнего наносного и нижнего подганашного ремней и овала в месте перехода первого во второй на конце морды – расширение намордника (рис. 2, 12). Для того, чтобы удержать лошадь, на ее хруп дополнительно должен быть накинута сыромятный ремень (или веревка из конского волоса), возможно обвязанный вокруг нижнего ремня. На навершии этого же варианта В (рис. 2, 3; тип 2) к верхнему и нижнему ремням добавлены нащечные, что способствует более плотному прилеганию ремней оголовья к голове коня, следовательно, к лучшей фиксации конского снаряжения. В варианте С (Константиновка – Вэлень) намордники могут

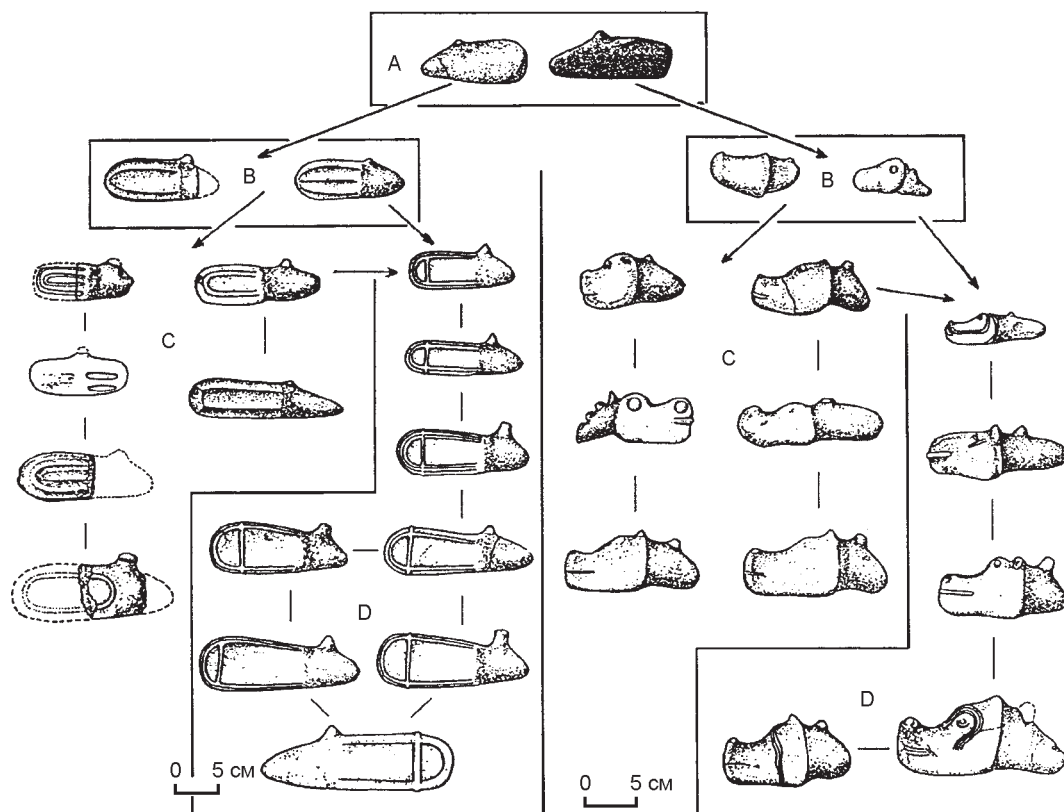


Рис. 1. Типология схематических и реалистических наверший конеголовых скипетров. А – исходные формы (хвалынский вариант); В – усложненные варианты, Бырлэлешть – схематические и Хлопково-Аршунд – реалистические; С – переходные формы, Константиновка-Взлень – схематические, Драма-Федельшень – реалистические; D – сложные формы, архаринский вариант – схематические и Касимча-Суворово – реалистические (по: [Дергачев, 2007, рис. 38]).

быть как с двумя (тип 2, рис. 2, 3, 13), так и с четырьмя нащечными ремнями (рис. 2, 4, 14; тип 3), т.е. намордник состоит из четырёх или шести продольных ремней.

Для простого намордника типа 1 ремень-повод мог перекидываться через храп и быть закреплен для фиксации на подганашный и длинный продольный наносный ремни, тем самым замыкаясь в наносное кольцо (аналогично тому, что мы имеем в типе 4). Поскольку рот лошади перекрыт овальным выступом намордника, а болезненная хрящевая часть носа обвязана давящим ремнем повода, человек может провести лошадь в поводу, управляя ею и будучи огражден от ее зубов. Дальнейшим совершенствованием намордника является появление дополнительно двух (тип 2) или четырех (тип 3) нащечных ремней, которые плотнее прижимают оголовье к морде коня. В этом случае удобнее ремень-повод накидывать на храп так, чтобы узлы фиксировались у углов рта, в том месте, где в более позднее время выхо-

дили концы трензеля-грызла (удила), положенного на язык и на беззубный край челюсти.

Именно это положение дополнительного ремня повода на морде коня заменяется опущенным наносным ремнем так называемого «намордника с капюгом» архаринского варианта наверший (см. рис. 1, D).

Этот вариант выделяется в отдельную группу всеми исследователями, в частности С.Н. Кореневским в 6 группу [Кореневский, Калмыков, 2010, с. 114], и является наиболее стандартизированным и многочисленным (8 экз.). Тип 4 оголовья также является оптимальным вариантом намордника (рис. 2, 5, 15), поскольку давление на болезненный носовой хрящ с помощью опущенного нахрапного ремня [Ковалевская, 1977, с. 11–18; Anderson, 1961; Андерсон, 2006, с. 63] очень эффективно. Об этом еще в 1969 г. писала один из крупнейших специалистов по использованию коня в древности – Мэри Эйкен Литтауэр [Littauer, 1969, p. 291]. Во II тыс. до н.э. изображения коле-

сничных лошадей в Египте говорят о том, что последними управляли с помощью опущенного наносного или нахрапного ремня (droppednoseband) при отсутствии во рту грызла, что подтверждается археологическими находками при раскопках уздечек без трензеля (грызла), отмеченные еще Дм. Андерсоном [Anderson, 1961, pl. 2] и подробно рассмотренные М. Литтауэр [Littauer, 1969, p. 291, 292]. Изображения на Ближнем Востоке отстоят от рассмотренных нами на тысячелетия, но нельзя не отметить, что будь это изображения намордников и носового кольца на эквидах или бестрензельных уздечек на египетских колесничных лошадях [Anderson, 1961, pl. 2], во всех случаях (за одним исключением) используются нащечные и затылочные ремни, иногда дополнительно к ним – налобный ремень и переносье.

Только одна терракота из Сирии, предположительно датируемая III или II тыс. до н.э. [Littauer, Crouwel, 1979, fig. 22], дает тот же тип намордника, совмещенного с опущенным наносным ремнем, соединенным с затылочным ремнем широким верхним и нижним ремнями (возможно, кроме этого и низко расположенными нащечными), что и рассмотренные нами средства управления конем в европейских степях и лесостепи в эпоху неолита.

Использование намордника (типы 1–3) или намордника с опущенным нахрапным ремнем (тип 4) – это способ обуздания коня. Как пишет об этом Ксенофонт в руководстве конюху: «если он ведет невзнузданную лошадь, всегда должен надевать намордник, это не мешает дышать и не дает кусаться» [Anderson, 1961, p. 163]. Именно этот способ управления конем наилучшим образом отражает тот общеиндоевропейский термин, который связан с первыми шагами приручения коня и активной с ним связью. Это древнеиндийское «укрощает», «приручает», «принуждает», осетинское «укрощать», «изнурять» и только у Гомера «объезжать» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. II, с. 483]. Намордник и низко опущенный

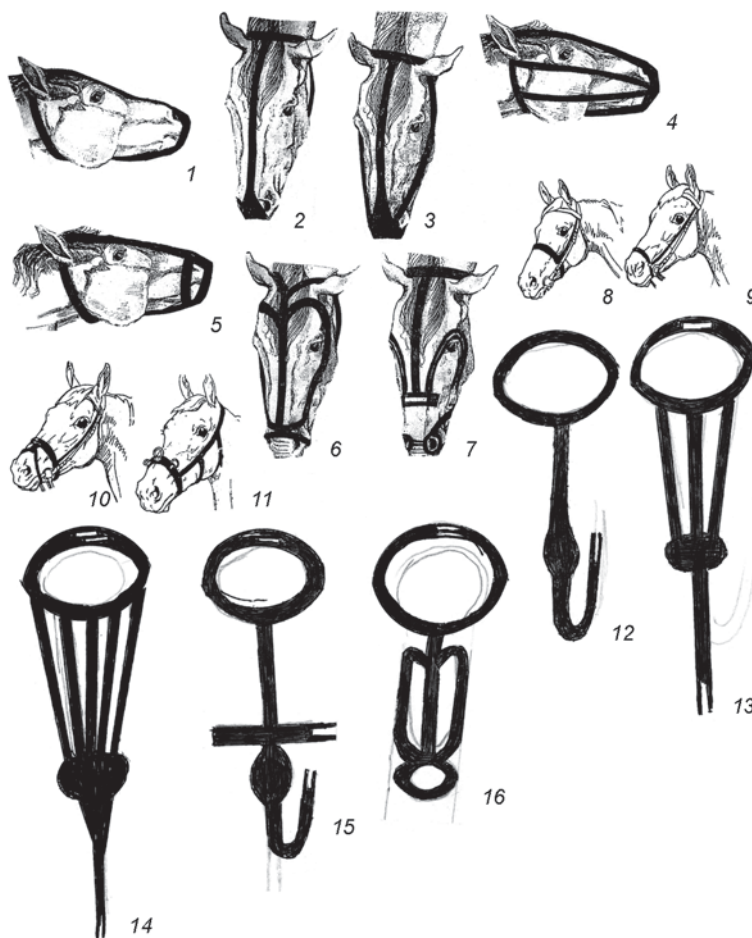


Рис. 2. Реконструкция конского снаряжения по изображениям на конеголовых скипетрах.

1–4 – намордники типов 1–3; 5 – намордник типа 4 с опущенным нахрапным (наосным) ремнем; 6 – уздечки с сыромятным трензелем по изображению на скипетре из Суводола; 7 – недоуздка из Касимчи; 8 – обыкновенный капсун; 9 – ганноверский капсун; 10 – ирландский капсун; 11 – капсун (капсун); 12–16 – схемы раскроя (12 – намордника типа 1, 13 – намордника типа 2, 14 – намордника типа 3, 15 – намордника с опущенным наносным ремнем, 16 – уздечки типа 5).

8–11 – по справочнику: [Гуревич, Роголев, 1991].

нахрапный ремень являются средствами «укрощения», «принуждения» и «изнурения» лошади, поскольку затрудняют дыхание и не позволяют пить и есть, так же как и кусаться. Укрощенная с помощью такого намордника лошадь может быть использована человеком для работы – перевозки тяжестей на спине и верховой езды в случае соединения намордника с поводом.

На реалистических изображениях на вершиях на стадии В рельефом подчеркнута та же система использования намордника, что и на схематических на вершиях, но менее ясно выраженная. На скипетре Аршунд на рисунке угадываются два наносных ремня, но определенно сказать об этом

можно будет только при работе с самим скипетром *de visu* [Дергачев, 2007, рис. 2].

На навершии из Хлопкова [Дергачев, 2007, рис. 12, 201] рельефом изображены намордник и низко опущенный нахрапный ремень, что соответствует типу 4, выделенному по схематическим навершиям, и лишний раз подтверждает правомерность рассмотрения схематических и реалистических наверший в одной системе. Важно остановиться на том, что эти древнейшие в мире (V–IV тыс. до н.э.) средства управления конем специфичны морфологически, поскольку являются цельнокроеными изделиями скорее всего из кожи лошади, требующие кусок примерно $1,00\text{--}1,20 \times 0,40\text{--}0,50$ м.

Поскольку суголовный ремень делается из замкнутого овала, очевидно с одним или двумя прорезами в центральной части, то «застегиваться» это оголовье может в одном месте под ганашиами (типы 1–3), когда разделенный в конце на две части подганашный ремень может быть завязан на центральной части затылочно-подганашного ремня. Узел в этом месте (под ганашиами) не натирает голову лошади удобен и надежен.

При цельнокроенном «наморднике с капсулом» (а правильнее «наморднике с ганноверским капсулом» – см.: рис. 2, 2) второй узел, тоже под ганашиами, замыкает поперечный наносный ремень (см.: рис. 2, 15) в кольцо, плотно сжимающее нос лошади. К сожалению, на реалистических навершиях детали узды, как правило, изображены лишь частично, что не позволяет нам во всех случаях реконструировать уздечку или недоуздок и представить себе, как крепился чумбур или повод-вожжи.

Наиболее интересным навершием является экземпляр из Суводола [Дергачев, 2007, рис. 6], небольшие размеры которого, по мнению В.А. Дергачева, говорят о его более ранней дате среди наверший стадии Д. Оно интересно тем, что невысоким рельефом очень аккуратно на нем изображены все ремни оголовья, включая и уходящее в рот кожаное грызло, скорее всего из сыромятного ремня (рис. 2, 6, 16). Уздечка (здесь впервые мы имеем основание применить это название) состоит из длинного наносного (верхнего) ремня, начинающегося от самого конца храпа коня и соединяющегося за ушами с суголовным ремнем. Верхний нахрапный ремень (косое переносье) наискось отходит от переносья, изгибается и переходит в длинный

нащечный ремень, который, в свою очередь, изгибается и переходит в полуовальный налобный ремень, соединенный с наносным. От середины храпа параллельно верхнему нахрапному ремню (переносью) идет нижний нахрапный ремень, уходящий в рот. Как это можно понять? Если обратиться к рассмотренным ранее намордникам с опущенным нахрапным ремнем (тип 4) или намордникам с дополнительными нащечными ремнями (типы 2 и 3), то хорошо видно, что данная трензельная уздечка является редуцированным намордником с капсулом. Она надевается на морду коня сначала замкнутым затылочно-подганашным ремненным кольцом, затем в рот вкладывается малое трензельное кольцо, а наносный и нахрапно-нащечно-налобный ремни накидываются на морду. Некоторую аналогию этой уздечке представляет современный ирландский капсуль (рис. 2, 10), если свободно свисающие ремни, отходящие от конца нахрапного ремня, поместить на беззубый край челюсти и язык. Генетическую связь данной уздечки (тип 5) с намордниками (типы 1–3) и намордником с опущенным нахрапным ремнем (тип 4) хорошо документируют предлагаемые нами схемы раскроя кожи для их изготовления (рис. 2, 12–16). Исследование С. Ольсен кожевенного ремесла в Ботае, где кости коня доходили почти до 100 % всего остеологического материала, показали, что утилизировалось все то, что давала лошадь – мясо, кожа, сухожилия, конский волос, кости [Olsen, 2003, p. 83, 100]. Причем С. Ольсен подчеркивала, что конская кожа могла использоваться для изготовления конского снаряжения для верховых коней Ботая, которые использовались для охоты на диких коней. Подтверждением положения об использовании кожи коней являются предлагаемые нами схемы раскроя конского снаряжения (рис. 2, 12–16), требующие для изготовления намордников типов 1–4 куски кожи площадью до $0,5 \times 1,2$ м, правда, для уздечки типа 5 примерно вдвое меньшего по площади куски кожи. Относительно этого типа 5 уздечки можно предполагать, что повод (из веревки или узкого сыромятного ремня) подходил к нижней половине кожаного полуовала, вложенного в рот лошади, с одной стороны, далее оплетал этот кожаный полуовал, выходя с другой стороны за беззубным краем челюсти. Таким образом, повод как бы вплетался в то кожаное кольцо оголовья, которое лежало на носу и внутри

рта, представляя собой одно целое с уздечкой. Получившаяся уздечка с поводом была надежным средством управления конем.

Другим способом управления конем, выделенным нами в качестве типа 6 (рис. 2, 7), является изображение на навершии из Касимчи [Дергачев, 2007, р. 20, 13; Гимбутас, 2006, f. 10g] довольно специфического недоуздка. Недоуздок состоит из обычной схемы – суголовного ремня с подгарком, соединенного за ушами с длинным наносным ремнем, заканчивающимся нахрапным ремнем-переносом с длинным прорезом, от которого параллельно центральному наносному ремню отходит второй короткий наносный ремень, переходящий в изогнутый налобный ремень, переходящий, в свою очередь, в нащечный. Эти ремни прошиты параллельно краю, что позволяет считать их двойными или загнутыми внутрь и прошитыми. Нахрапный ремень-перенос короткий, расположен достаточно высоко, за линией губ, как в обычном капсule (рис. 2, 8). Нащечные ремни также не доходят до переноса, поэтому тут наша реконструкция не совсем ясна. Скорее всего – прорез на нахрапном ремне служил для продевания повода – или с каждой стороны, или один конец повода находился в руке, а другой проходил через отверстие нахрапного ремня, уходил под нижнюю челюсть, чтобы, пройдя через отверстие в нахрапном ремне с другой стороны, уйти в другую руку. То есть повод соединял оба конца нахрапного ремня в обычной капсule, который давил на кости храпа и нижнюю челюсть и мог служить для управления конем с помощью бестрензельной уздечки, для того, чтобы провести лошадь в поводу или использовать ее под выюк. В публикации Говедарицы 1996 г. с новыми рисунками [Govedarica, Kaiser, 1996, Abb. 14, 21, 1] и оригинальными фотографиями в цвете появляется возможность уточнить реконструкцию оголовья этого недоуздка. На конце морды с каждой стороны вокруг ноздрей изображено рельефом кожаное кольцо, очевидно, редуцированный ажурный намордник, состоящий из очковидной формы двойного кольца, которое, очевидно, дополнительным ремнем чумбуром (или двумя поводьями-вожжами) соединялось под нижней челюстью лошади, что и служило надежным способом управления конем, соответствуя опущенному носовому ремню.

Кроме рассмотренных ранее двух случаев конской узды тип 5 и тип 6 на ряде реалистических на-

верший изображены отдельные элементы узды, на основании которых можно предложить гипотетическую реконструкцию. В двух случаях это недоуздки (тип 7а), похожие на редуцированный намордник типа 3, в котором из поперечных ремней сохранился суголовный ремень за ушами и расположенный, как в обычном капсule (рис. 2, 8), наносный ремень, а из продольных ремней использованы наносный, нащечные и подганашный. Это скипетры из Суворово и Хвалынского 2. В двух других случаях это недоуздки, выделенные как тип 7б, из Сэлкуцы и Ариушда. Они сохраняют конструкцию намордника с суголовным ремнем, наносным и подганашным, но кончаются не намордником, а кольцевым наносным ремнем, как у простого капсule (рис. 2, 8), повторяя в этом недоуздок типа 7а. Но вместо нащечных ремней в этом недоуздке дополнительно использовался второй наносный кольцевой ремень на морде несколько ниже глаз. Так что в целом среди реалистических изображений можно выделить одно навершие из Терекли-Мектеба в качестве типа 1.

Два изображения относятся к типу 4 – т.е. эти три реалистических навершия имеют те же типы управления конем, что и схематические навершия. Следующие же типы недоузdkов (типы 6, 7а, 7б) и уздечки (тип 5) характеризуют только реалистические навершия. Но поскольку и недоуздки, и уздечка морфологически входят в один типологический ряд направленного развития конского снаряжения эпохи нео/энеолита от простых (тип 1) и усложненных (типы 2 и 3) намордников к наиболее эффективному способу управления конем – к наморднику с опущенным наносным ремнем (тип 4), переходящим далее к двум типам (типы 6, 7а, 7б) недоузdkов и трензельной уздечке типа 5.

Этот типологический ряд объединяет схематические и реалистические конеголовые скипетры и отражает уникальную линию развития в нео/энеолите в европейской степи и лесостепи конского снаряжения от намордников к уздечке с трензелем (грызлом) из органического материала, не требующего псалий (вопрос об использовании псалий в средне-стоговской культуре остается открытым). Подытоживая, следует подчеркнуть, что видна определенная линия развития от простых (тип 1) до более сложных (типы 2 и 3) намордников, кончая намордниками с опущенным нахрапным ремнем (тип 4), которые встречаются как среди схематических, так и реалистических наверший. Тип 5 встречен только на реалистических навершиях и

представляет собой уздечку с кожаным трензелем, типы 6 и 7 – это недоуздки. В целом типы 1–7 поэтапно указывают на усовершенствования в возможностях обуздать коня и использовать его для работы. Конструкция обладает рядом специфических особенностей и уникальна, в частности прежде всего в том, что длинный наносный ремень присутствует обязательно, являясь центральной осью оголовья, от которого отходят все остальные ремни – нахрапный, налобный и затылочно-подганашный. Другой особенностью является эпизодическое использование второго наносного ремня с каждой стороны (правильнее, двух дополнительных укороченных наносных ремней, переходящих в налобный ремень) – тип 6. Спецификой является и изогнутая линия налобного ремня, плавно переходящего в нашечный, – типы 5 и 6. Эти особенности объясняются тем, что оголовье состоит не из отдельных ремней, пересекающихся между собой под прямым углом (как было на Ближнем Востоке и в Евразии в III–I тыс. до н.э. или в современном конском снаряжении), а из цельнокроенного куска кожи (см. рис. 2, 12–16). Поэтому представляет особый интерес в будущем поиск подобных особенностей в иконографических, этнографических и археологических материалах, связанных с конским снаряжением, на тех территориях, куда распространялись domesticiрованные лошади из зоны европейских степей – на запад на Балканы, в Центральную Европу вплоть до Британии (что выявлено Н. Бенек по остеологии), на юг – в Прикаспий и на Кавказ (выявлено С. Межлумян по палеозоологическим материалам Армянского нагорья). Вопрос в том, о каком использовании коня свидетельствуют те типы конского снаряжения, которые выявлены на основании реконструкции оголовья на конеголовых жезлах? По аналогии с современными данными [Гуревич, Рогалев, 1991] недоуздки, капсули и капцуги связаны с содержанием лошадей в конюшне с необходимостью вывести или перевести коня или отработать его на корде (капцуг).

Как правило, они остаются на морде коня, а сверху надевается уздечка (см. рис. 2, 8–10), в случае с древнейшим конским снаряжением они играют роль бестрензельной или трензельной уздечки, поскольку к ремням намордника и недоуздка могут быть привязаны поводки для того, чтобы направить лошадь во время ее движения.

Древнейшее конское снаряжение – это прежде всего способ победы над конем и его укрощения и обуздания, а вслед за тем возможность его использования как вьючного животного и верхового для конной охоты или управления табуном диких лошадей. Только на грани III и II тыс. до н.э., о чем очень убедительно многократно писала Елена Ефимовна Кузьмина, сменился способ управления конем, появились псалии и способ управления упряжным конем с помощью трензельной уздечки с давлением трензеля (грызла) на язык и беззубый край челюсти, который последовательно развивался на протяжении последующих тысячелетий вплоть до современности и связывает древнюю историю с нашими днями.

Список литературы

- Андерсон Д.К.** Древнегреческая конница. – СПб., 2006.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.В.** Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультура. – Тбилиси, 1984. – Т. II.
- Гимбутас М.** Цивилизация Великой Богини: мир Древней Европы. – М., 2006.
- Гуревич Д.Я., Рогалев Г.Т.** Словарь-справочник по коневодству и конному спорту. – М., 1991.
- Дергачев В.А.** О скипетрах, о лошадях, о войне: этюды в защиту миграционной концепции М. Гимбутас. – СПб., 2007.
- Ковалевская В.Б.** Конь и всадник. Пути и судьбы. – М., 1977.
- Корневский С.Н.** О символике погребений лидеров в обществах ранних земледельцев и скотоводов энеолита юга Восточной Европы и Предкавказья (теоретический обзор проблемы и применение теории на практике) // Археологические памятники Оренбуржья. – Оренбург, 2011. – Вып. 9.
- Корневский С.Н., Калмыков А.А.** Энеолитический «скипетр-утюжок» из Ставрополя // РА. – 2010. – № 4.
- Anderson J.K.** Ancient Greek Horsemanship. – Berkeley; Los Angeles, 1961.
- Govedarica B., Kaiser E.** Die äneolithischen abstrakten und zoomorphen Steinzepter Südost- und Osteuropas // Eurasia Antiqua. – Mainz a. Rhein, 1996. – Bd. 2.
- Littauer M.A.** Bitz and Pieces // Antiquity. – 1969. – XLIII.
- Littauer M.A., Crouwel J.** Wheeled vehicles and ridden Animals in the Ancient Near East. – Leiden; Köln, 1979.
- Olsen S.** The exploitation of Horses at Botai, Kazakhstan // Prehistoric Steppe adaptation and the Horse. – Cambridge, 2003.
- Olsen S.Z.** Introduction // Horses and Humans: The Evolution of Human-Equine Relationships. – 2006. – (BAR Internat. Series; 1560).

КОМАРОВСКИЕ ПСАЛИИ

Среди проблем, которыми занимается всю жизнь Елена Ефимовна Кузьмина, заметное место отведено вопросам, связанным с domestикацией лошади, появлением и распространением колесного транспорта, ролью лошади в истории транспорта, конструкцией древней упряжи. В связи с последним замечу, что постоянный интерес на протяжении многих лет у Елены Ефимовны вызывают древнейшие псалии – одно из «важнейших инноваций в культуре», как недавно заметила Елена Ефимовна. Полагаю, что небольшая работа по вопросам технологии изготовления и технике использования одних из наиболее известных пар псалиев будет органично смотреться в этом сборнике, как дань уважения Елене Ефимовне Кузьминой, одобрение которой постоянно поддерживало меня в деле изучения древнейших псалиев.

Своеобразные желобчатые псалии из могильника Комаровка, к. 5, п. 1 давно привлекают внимание исследователей и вошли в различные типологии: псалии I типа по К.Ф. Смирнову [1961, с. 47, 48], тип Комаровка по Х.-Г. Хюттелю [Hüttel, 1981, Taf. 1], тип IIБ по Е.Е. Кузьминой [1994, с. 182], тип 2, вариант 2 по С. Пеннер [Penner, 1998, S. 78–79]. Недавно была представлена новая классификация желобчатых псалиев [Бочкарев, Кузнецов, 2010, с. 292–343], в рамках которой авторы выделили две культурно-территориальные традиции в производстве этих изделий [Там же, 2010, с. 308–309]. Одна из традиций относится к восточноевропейскому региону и насчитывает три типа псалиев [Там же, с. 309]. Помимо буквенно-цифровых обозначений, каждый тип получил наименование по «названию места наиболее характерной находки» [Там же, с. 303]. Один из типов желобчатых псалиев назван комаровским [Там же, с. 305, 308, 340–341].

Кроме этого, накопление материала, связанного с колесничной запряжкой, позволило предложить типологию погребений колесничных лошадей [Черленок, 2000, с. 346–349; 2001, с. 22–29; 2005, с. 16], где тоже присутствует комплекс из Комаровки. Общая выборка подобных погребений составила по Е.А. Черленку 42 случая [2001, с. 27, 28; 2005, с. 16].

Уникальность комаровского комплекса состоит в том, что на сегодняшний день это единственный случай находки псалиев *in situ* на морде лошади. Документации по иным подобным случаям (Майтан, Оарта де Сус) явно недостаточно; п. 62 Хрипуновского могильника частично нарушено впускным погребением [Усачук, 2010, с. 240]; синташтинская пара псалиев на морде лошади – один из археологических мифов [Усачук, 2010, с. 240, 241].

Наличие псалиев из Комаровки на морде лошади подразумевает рабочий характер этой пары изделий. Определенную изношенность комаровских псалиев отмечал еще К.Ф. Смирнов [1961, с. 50]. Трасологическое изучение этих находок проведено 28 января 2000 г. в Государственном Эрмитаже. Анализ находок осуществлялся по сложившейся методике [Усачук, 1999, с. 70; 2003, с. 192].

Псалии изготовлены из фрагментов расколотой вдоль трубчатой кости крупного копытного. По манере изготовления видно, что оба псалия делал один мастер. Правда, для правого изделия (рис. 1, 1) выбрана заготовка чуть больше, толще и шире, чем для левого (рис. 1, 2). Кроме того, сравнительный анализ показывает, что правый псалий и изготовлен немного грубее левого.

На поперечном торце правого псалия сохранились следы пиления-перетирания беззубцовым лезвием по периметру заготовки с после-

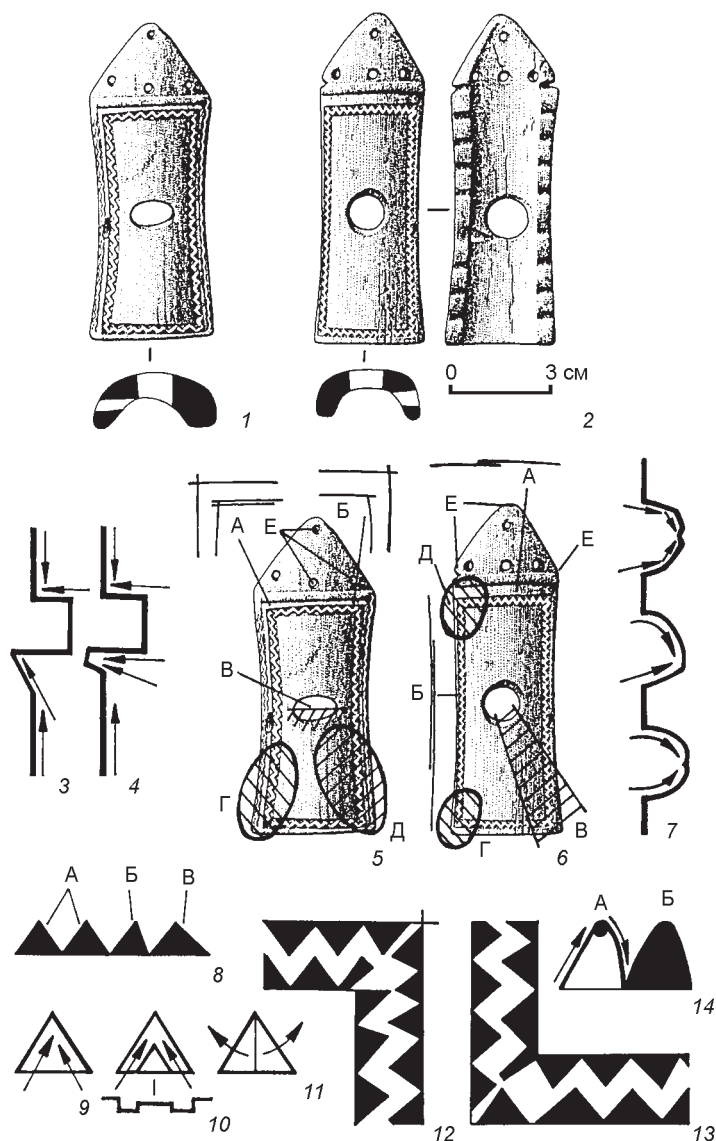


Рис. 1.

дующим сломом подпиленной кости. Подобный прием разделки кости фиксируется при трасологической обработке изделий на памятниках позднебронзового времени различных регионов [Молодин, Бородовский, 1989, с. 33; Усачук, 1996, с. 25; 2000, с. 92; и др.]. На внешних сторонах щитков и планок псалиев фиксируются следы резки металлическим лезвием. Иногда резка сочетается со скоблением. На левом псалии по торцу планки идут следы осторожной подрезки металлическим лезвием. Наиболее аккуратно оформлялись выступы по краям планки и ее вершина. Вырезка выступа между щитком и планкой [Алихова, 1955, с. 95] происходила в несколько этапов: на левом псалии со стороны

щитка мастер больше углубился в компакту кости (рис. 1, 3). На правом псалии лезвие под выступом ставилось почти вертикально по отношению к плоскости щитка (рис. 1, 4). Внутренняя поверхность псалиев обработана немного грубее внешней: на левом псалии фиксируются следы подчистки-скобления металлическим лезвием; на правом – яркие, разной интенсивности группы следов шириной 0,5–0,6 см, идущие поперек длинной оси изделия. Группы следов состоят из параллельных друг другу линий с разными интервалами и легкой волнистостью, что характерно для строгания кремневым выкрашивающимся лезвием [Семенов, 1957, с. 190, 196; Коробкова, Щелинский, 1996, с. 43, 44; Хлопачев, Гирия, 2010, с. 103, 104]. После резки и скобления псалии с обеих сторон обработаны мелким и очень мелким абразивом.

Очевидно, следующая операция – вырезка шипов. На обоих экземплярах шипы изготовлены одинаково: резка металлическим лезвием углублений в компакте с двух сторон с остановками (рис. 1, 7), в результате чего профиль углублений получался со сложным рельефом. Чаще всего мастер делал одну-две остановки и перемены угла резки лезвием, но иногда – три-четыре таких остановки.

Боковые отверстия на обоих псалиях сверлились по вырезанному орнаменту. Возможно, все отверстия в планках и щитках изготовлены после нанесения орнамента. Использовалось станковое сверло. Центральные отверстия в щитках сверлились с внешней стороны. Судя по следам, использовалось перовое сверло. Отверстия в планках просверлены с внешней стороны, очевидно, перовым металлическим сверлом. При сверлении левого бокового отверстия в планке правого псалия произошел сбой сверла, остановка и продолжение сверления с наклоном чуть в другую сторону. Использование станкового сверла подразумевает какую-либо основу, в которую вставлялось собственно сверло. Вокруг бокового отверстия на внутренней стороне правого псалия сохранились следы концентрических окружностей от соприкосновения основы с компактой заготовки псалия. Подобные

следы иногда фиксируются вокруг отверстий на костяных и роговых пряжках бабинской культуры (КМК), где чаще всего использовалось станковое сверло [Усачук, Литвиненко, 1997, с. 47, 48, 49, рис. 1, 7]. Приводная катушка станковых (лучковых) сверл могла быть и костяная, и деревянная. Принцип подобного сверла не менялся вплоть до средневековья [Лурье, 1940, с. 208; Сокольский, 1971, с. 186; Колчин, 1985, с. 271; Мыльников, 1999, с. 19; Моисеев, 2002, с. 85–90]. На левом псалии боковое отверстие сверлилось, скорее всего, с внешней стороны.

Орнамент на обоих псалиях вырезан в одинаковой манере. Сначала тонким лезвием мастер наметил на щитке прямоугольники, состоящие из тонких линий-ограничителей. На правом псалии фиксируется последовательность резки линий: сначала продольные, затем – поперечные. При резке верхней поперечной линии лезвие шло слева направо с постепенным увеличением давления. Тонкие линии на обоих щитках иногда накладываются друг на друга (рис. 1, 6, А, Б), прорезаны с разным давлением, находят друг на друга в углах (рис. 1, 5, А, Б). Внутри получившихся прочерченных прямоугольников мастер вырезал на каждом псалии по два ряда противоположащихся треугольников. Сначала резались треугольники внешнего ряда, которые получились и выше, и шире, затем – треугольники внутреннего ряда. Вырезая эти треугольники (рис. 1, 9), мастер старался выдержать одинаковую толщину получающегося в результате резки рельефного фонового зигзага. Большинство треугольников равносторонние (рис. 1, 8 А), однако иногда форма немного меняется (рис. 1, 8, Б, В). Особенно это заметно в углах резного орнамента (рис. 1, 12, 13). Некоторые треугольники получились немного иной конфигурации из-за разных способов выборки компактного слоя: иногда внутри вырезанного треугольника остается участок невыбранной компакты (рис. 1, 10) или сначала мастер наносит перпендикулярный надрез внутри намеченного треугольника, а затем идет выборка компакты по сторонам (рис. 1, 11). На левом псалии зафиксирован еще один прием: резка одной стороны, затем в вершине будущего треугольника почти вертикально утопляется кончик тонкого лезвия и следует движение вниз (рис. 1, 14, А). В результате этого треугольник получился немного аркообразной формы (рис. 1, 14, Б). Замечу, что помимо такой резки треугольников, левый

псалий отличается от правого чуть более узким рельефным зигзагом, потому что на правом псалии мастер старательно выдерживал большее расстояние между рядами треугольников.

На следы изготовления комаровских псалиев наложился следы эксплуатации.

Сработанность правого псалия (рис. 1, 1) больше левого (рис. 1, 2). На обоих псалиях сnivelированы невысокие втулки вокруг центральных отверстий в щитках. Эти втулки на рисунках комаровских псалиев не подчеркнуты; небольшое, очень плавное повышение щитка в нижней части центрального отверстия видно на фотографии правого псалия из публикации А.Е. Алиховой [1955, с. 97, рис. 38, 3] из-за того, что псалий слегка повернут. На левом псалии сработанность втулки менее интенсивная. Отмечу, что на правом псалии наиболее стерта нижняя часть втулки (рис. 1, 5, В). Шипы на обоих псалиях сработаны, только на левом они завальцованы до локальной заполировки, а на правом – сильно заполированы. Покрывает сильной залощенностью (почти полировкой) и торец слома одного из шипов этого псалия: шип утрачен во время эксплуатации изделия. На щитке псалия фиксируются следы сработанности (рис. 1, 5, Г, Д). Очевидно, они маркируют появление групп следов I и II [Усачук, 1998, с. 77]. На левом псалии картина сработанности чуть иная: более четко выражена развальцованность центрального отверстия и части щитка вправо вниз (рис. 1, 6, В) (группа следов I) и более локальна сработанность щитка слева внизу (рис. 1, 6, Г) (начало формирования группы следов II?). Помимо левого нижнего, более сильно завальцован и левый верхний угол щитка (рис. 1, 6, Д). На внутренней стороне псалиев центральные отверстия щитков слегка развальцованы в стороны, противоположные длинным сторонам изделий с маленькими отверстиями. Само боковое отверстие на левом псалии не имеет сработанности (возможно, следы не сохранились из-за утраты фрагмента торца псалия как раз в районе маленького отверстия). Кстати, не утрачен ли фрагмент торца от более сильного давления на этом участке? На правом псалии маленькое боковое отверстие сохранилось полностью и слегка развальцовано. Отверстия в планке левого псалия без следов сработанности, что свидетельствует о довольно жестком креплении ремня. Залощены несколько больше участки углов треугольной планки (рис. 1, 6, Е). Некоторые отверстия в планке правого псалия немного

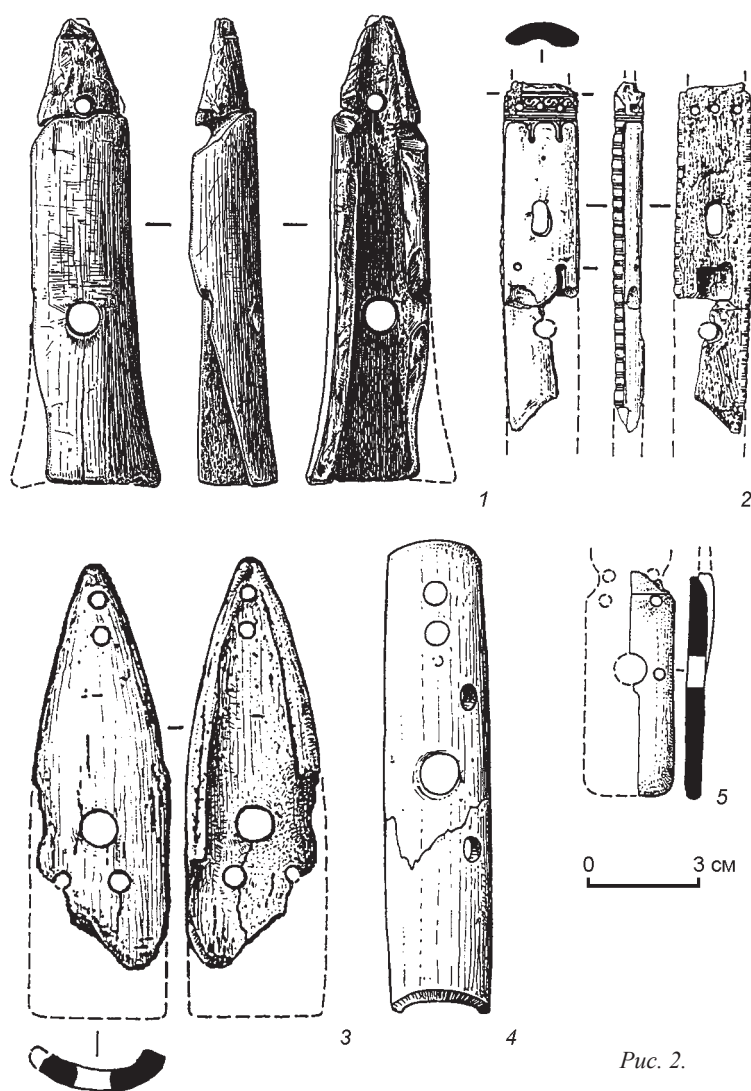


Рис. 2.

развальцованы (рис. 1, 5, Е). В целом, заполированность правого псалия больше, но на левом псалии более интенсивно залощена внутренняя поверхность щитка (ср.: [Смирнов, 1961, с. 50]).

Таким образом, в погребении лошадей кургана 5 у с. Комаровка помещены вполне рабочие псалии, использовавшиеся довольно долгое время.

Сравнивая следы изготовления комаровских псалиев с такими же следами на иных трасологически изученных желобчатых псалиях различных регионов, можно говорить о том, что технология изготовления подобных изделий очень близка.

Почти везде использовалось одно и то же сырье: расколотые вдоль трубчатые кости крупных копытных. Судя по одному из капитановских псалиев (рис. 2, 2), иногда для изготовления желобчатых использовалась роговая пластина – сырье,

более традиционное для щитковых псалиев. На трубчатых костях мастера удаляли эпифизы и раскраивали полученные диафизы на заготовки. По сохранившимся хорошо обработанным желобчатым псалиям нельзя сказать, какую именно технику раскроя диафизов применяли мастера – резцовое или «пунктирное» членение (ср.: [Бородовский, 1997, с. 53–59]). Обе техники раскроя давали довольно аккуратные заготовки, а именно такие были нужны для изготовления псалиев. Диафиз разделялся либо на две полукруглые в сечении заготовки, либо на три-четыре менее округлые пластины. Большинство желобчатых псалиев различных регионов, судя по сечению, изготовлены из полукруглых пластин диафиза.

При изготовлении желобчатых псалиев зафиксировано пиление-перетирание кости беззубцовым лезвием, резка и строгание металлическим лезвием, изредка – скобление (Комаровка, Капитаново I), резка-рубка (Шиловское), скалывание мелких фрагментов компакты (Ершовка? Червонэ озеро-3), подрезка компакты с последующим сломом (Червонэ озеро-3). Практически повсеместно использовалось металлическое лезвие; кремневое – редко (Комаровка). Сверление отверстий производилось с внешней (Челкар/Шалкар, Токское, Ершовка, Гуселки-II?, Капитаново-I), внутренней (Мосоловка?) или с обеих сторон (Комаровка, Шиловское, Ильичевка) при помощи станкового сверла. Иногда применялось ручное сверление (Шалкар). При изготовлении желобчатых псалиев мастера использовали и метод последовательного сверления отверстий (Шалкар, Токское?, Капитаново-I). Довольно часто при обработке поверхности желобчатых псалиев мастера применяли мелкий абразив [Усачук, 2001, с. 300].

Шипы на длинных торцах некоторых желобчатых псалиев изготавливались практически одинаково мастерами различных регионов. Планки большинства таких псалиев слегка утончены по сравнению со щитком. Определенная часть пла-

сти производилось с внешней (Челкар/Шалкар, Токское, Ершовка, Гуселки-II?, Капитаново-I), внутренней (Мосоловка?) или с обеих сторон (Комаровка, Шиловское, Ильичевка) при помощи станкового сверла. Иногда применялось ручное сверление (Шалкар). При изготовлении желобчатых псалиев мастера использовали и метод последовательного сверления отверстий (Шалкар, Токское?, Капитаново-I). Довольно часто при обработке поверхности желобчатых псалиев мастера применяли мелкий абразив [Усачук, 2001, с. 300].

нок имеет боковые выступы по краям (одна из аксайманских пар псалиев, Веретяевское, Ершовка, Новые Ключи-III, один из псалиев с Капитаново-I и др.). Выбор сырья мастерами для желобчатых псалиев иногда предопределял направление выступов по краям планок не в сторону, а вниз (Икпень-I, Токское, Точка, Гуселки-II, Проказино, Ильичевка и др.) [Горбов, Усачук, 1999, с. 79]. Форма планок разнообразна, но из-за малочисленности желобчатых псалиев (к тому же не на каждом найденном экземпляре сохранилась планка) какая-либо серийность или изменчивость по регионам не просматриваются. Можно только в качестве предварительного вывода отметить, что количество отверстий в планке возрастает к западу от южноуральского региона. Некоторая закономерность намечается и в соотношении центрального и бокового отверстий в щитке: южноуральские псалии, как правило, имеют боковое отверстие выше центрального (Шалкар, Мыржик, Икпень-I, Майтан, Отрадовское-II, Тасты-Бутак?). На Средней Волге и в Саратовском Поволжье гораздо больше желобчатых псалиев с маленьким боковым отверстием ниже центрального (Точка, Комаровка, Шелыган, Золотая Нива-I, Веретяевское?, Гуселки-II, Усатово?) и только псалии из Моечного Озера-I и из Ершовки сделаны в «восточной»(?) манере. Основное количество псалиев среднедонского региона имеют боковое отверстие ниже центрального в щитке (исключение составляют только проказинский и один из капитановских псалиев). В.С. Бочкарев и П.Ф. Кузнецов замечают, что «местоположение боковых отверстий в значительной мере предопределялось наличием или отсутствием шипов у псалиев» [2010, с. 300]. Помимо отверстий в планках и щитках желобчатых псалиев различных регионов, следует указать на гораздо более четкое различие: резкое преобладание орнаментированных желобчатых псалиев в среднедонском (точнее – в Доно-Донецком) регионе по сравнению с регионами Среднего и Саратовского Поволжья и особенно – с южноуральским (северо-казахстанским) регионом. Причем орнаментация донских и северско-донецких желобчатых псалиев не только встречается чаще, но и более разнообразная, и сложная в исполнении по сравнению с орнаментацией желобчатых псалиев более восточных регионов. Техника исполнения орнаментов на желобчатых псалиях практически такая же, как и на щитковых [Усачук, 2001, с. 300].

В целом можно сказать, что изготовление желобчатых псалиев в различных регионах проводилось мастерами в соответствии с традициями изготовления щитковых псалиев [Усачук, 2007, с. 12]. Этот вывод подчеркивается тем, что анализ следов сработанности щитковых псалиев с шипами и без, а также желобчатых показал, что эксплуатация всех этих изделий чрезвычайно близка [Там же, с. 15]. Очевидно, близкие группы следов образованы от почти одинакового по своему характеру воздействия различных ремней упряжи на тот или иной псалий. Это не удивительно, если учесть, что древнейшие щитковые и желобчатые псалии, будучи едины по сути своей конструкции, отличаются только особенностями исходного материала [Зданович, 1985, с. 118; 1988, с. 139; Кузьмина, 1994, с. 184; Новоженов, 1994, с. 167, 170; Горбов, Усачук, 1999, с. 79; Бочкарев, Кузнецов, 2010, с. 294; и др.]. Используются же щитковые и желобчатые псалии одинаково. Безусловно, щитковые псалии с шипами больше подходят для колесничной запряжки [Littauer, 1969, p. 289, 290; Нефедкин, 2001, с. 124–132; и др.], тем более – для боевого применения колесниц (ср.: [Hüttel, 1981, S. 35; Нелин, 1999, с. 54; и др.]), но эти же псалии, наряду с желобчатыми, могут применяться и к верховой лошади [Hüttel, 1978, S. 83; Нефедкин, 2001, с. 95; и др.]. В.С. Бочкарев считает, что щитковые псалии с широкой планкой являются сверхстрогой упряжью, поскольку, помимо шипов, сильным тактильным раздражителем является широкий наносный ремень, действующий на носовую кость черепа лошади [1998]. В то же время более узкие желобчатые псалии могли использоваться и в колесничной запряжке при условии либо хорошо обученных колесничных лошадей (ср.: [Новоженов, 1994, с. 170]), либо (что более вероятно) – не боевого использования колесницы. Идея погребальной колесницы как раз и воплощена в захоронении пары лошадей с псалиями в кургане 5 у с. Комаровка.

Список литературы

- Алихова А.Е. Курганы эпохи бронзы у с. Комаровка // КСИИМК. – М., 1955. – Вып. 59.
- Бородавский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина II тыс. до н.э. – первая половина II тыс. н.э.). – Новосибирск, 1997.
- Бочкарев В.С. Дисковидные псалии начальной поры эпохи поздней бронзы Восточной Европы и Казахстана. – 1998 (рукопись).

Бочкарев В.С., Кузнецов П.Ф. Желобчатые псалии эпохи поздней бронзы евразийских степей // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010.

Горбов В.Н., Усачук А.Н. О системе крепления псалиев с выделенной планкой колесничной запряжки бронзового века // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья (к 100-летию Б.Н. Гракова). – Запорожье, 1999.

Зданович Г.Б. Щитковые псалии Среднего Приишмья // Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. – Челябинск, 1985.

Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей (основы периодизации). – Свердловск, 1988.

Колчин Б.А. Ремесло // Древняя Русь. Город, замок, село. – М., 1985. – (Археология СССР).

Коробкова Г.Ф., Щелинский В.Е. Методика микромакроанализа древних орудий труда. – СПб., 1996. – Ч. 1.

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М., 1994.

Лурье И.М. История техники древнего Египта // Очерки по истории техники древнего Востока. – М.; Л., 1940.

Моисеев Н.Б. Реконструкция лучкового сверла эпохи бронзы (на основе материалов Селезневских курганов доно-волжской абашевской культуры) // Археологические памятники Восточной Европы. – Воронеж, 2002.

Молодин В.И., Бородавский А.П. Костяные игольники эпохи бронзы с «гофрированным» орнаментом // Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири. – Новосибирск, 1989.

Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. – Новосибирск, 1999.

Нелин Д.В. Опыт построения типологии щитковых псалиев эпохи бронзы // XIV УАС. – Челябинск, 1999.

Нефедкин А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI–I вв. до н.э.). – СПб., 2001.

Новожинов В.А. Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии (к проблеме миграции населения степной Евразии в эпоху энеолита и бронзы). – Алматы, 1994.

Семенов С.А. Первобытная техника: опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы // МИА. – М.; Л., 1957. – № 54.

Смирнов К.Ф. Археологические данные о древних всадниках поволжско-уральских степей // СА. – 1961. – № 1.

Сокольский Н.И. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья. – М., 1971.

Усачук А.Н. Коллекция костяных изделий срубного поселения Безыменное II // Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит – бронзовый век). – Донецк, 1996. – Ч. 1.

Усачук А.Н. Трасологический анализ щитковых псалиев из погребений лесостепного Подонья // АВЕЛС. – Воронеж, 1998. – Вып. 11: Доно-донецкий регион в эпоху средней и поздней бронзы.

Усачук А.Н. Результаты трасологического изучения щитковых и желобчатых псалиев // Современные экспериментально-трасологические и технико-технологические разработки в археологии: первые Семеновские чтения. – СПб., 1999.

Усачук А.Н. Костяные изделия срубных поселений Доно-Донецкого региона // Срубная культурно-историческая общность в системе древностей эпохи бронзы евразийской степи и лесостепи. – Воронеж, 2000.

Усачук А.Н. О технологии изготовления щитковых и желобчатых псалиев // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. – Самара, 2001.

Усачук А.Н. Региональные особенности технологии изготовления щитковых псалиев (по материалам Среднего Дона, Поволжья и Южного Урала) // Петербургская трасологическая школа и изучение древних культур Евразии: в честь юбилея Г.Ф. Коробковой. – СПб., 2003.

Усачук А.М. Найдавніші псалії доби бронзи лісостепу і степу Євразії (технологічний і функціональний аспекти): автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Київ, 2007.

Усачук А.Н. Реконструкции крепления древнейших псалиев в системе ремней оголовья лошади: противоречия и перспективы // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010.

Усачук А.Н., Литвиненко Р.А. Технология изготовления пряжек культуры многоваликовой керамики // Доба бронзи Доно-Донецького регіону: (матеріали 3-го Українсько-Російського польового археологічного семінару). – Київ; Вороніж; Перевальськ, 1997.

Хлопачев Г.А., Гирия Е.Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири: приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). – СПб., 2010.

Черленок Е.А. Погребения колесничных лошадей в позднем бронзовом веке на территории Восточной Европы и Казахстана // Stratum plus. – СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест, 2000. – № 2.

Черленок Е.А. Колесничная запряжка в погребальном обряде (начало эпохи поздней бронзы евразийских степей) // Вестн. молодых ученых. Сер.: Ист. науки. – СПб., 2001. – № 1.

Черленок Е.А. Погребальный обряд начальной поры эпохи поздней бронзы Волго-Уральского региона: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – СПб., 2005.

Hüttel H.-G. Altbronzezeitliche Pferdetrensen. Ein Beitrag zur Geschichte des 16. Jahrhunderts v. Chr. Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M. Frankfurt a. – M., 1978.

Hüttel H.-G. Bronzezeitliche Trensen in Mittel- und Osteuropa. Grundzüge ihrer Entwicklung // Prähistorische Bronzefunde. – München, 1981. – Abt. 16, Bd. 2.

Littauer M. Bits and Pieces // Antiquity. – L., 1969. – Vol. 43. – № 172. – P. 289–300.

Penner S. Schliemanns Schachtgräberfund und der europäische Nordosten: Studien zur Herkunft der frühmykenischen Streitwagenausstattung // Saabrücker Beiträge zur Altertumskunde. – Bonn, 1998. – № 60.

БЕСШИПНЫЙ ВАРИАНТ ДИСКОВИДНЫХ ПСАЛИЕВ ПОКРОВСКОГО ТИПА

Почти двадцать лет назад в одной из книг Елены Ефимовны Кузьминой, лейтмотив которой содержал дерзновенную по тем временам идею о причастности андроновских племен к становлению индоиранского мира, прозвучало имя Киккули, митаннийца хурритского происхождения, создавшего трактат о тренинге колесничных лошадей [Кузьмина, 1994, с. 5]. И автор трактата, и сам образец древнейшей индоевропейской литературы, составленный на хеттском языке, были упомянуты ею в контексте проблемы первого проникновения индоиранцев на Ближний Восток. Коневодческая терминология в инструкции Киккули, имена иранского звучания в различных договорных документах, клятвы арийскими богами, при отсутствии самих ариев, давали основание удревять событие инвазии до XVII–XVI вв. до н.э., поскольку во времена службы Киккули на хеттских конюшнях (XIV в. до н.э.) оно фиксировалось исключительно как историческая память и языковая инверсия.

«Окаменевшие глоссы» (по выражению А. Камменхюбер [Kammenhuber, 1961]), вероятно, использовались в трактате как специальная терминология, не имевшая понятийных аналогов в местных языках и более всего соответствовавшая коневодческой колесничной традиции, транслированной на Ближний Восток из степной Евразии. Связь движения индоиранцев с конем, колесницей и иноязычными глоссами Передней Азии впервые отмечены Б. Грозным, который дешифровал и в 1931 г. опубликовал трактат Киккули, записанный на четырех глиняных табличках из Богазкея. По мнению И.М. Дьяконова, эта первая волна миграции индоариев непосредственно Митанни не достигла. Где-то в нагорной

области Ирана и Армении пришельцы были ассимилированы хурритами, которые, усвоив элементы высокой коневодческой культуры, позже донесли в Переднюю Азию передовые познания по уходу за лошадьми, по алгоритму тренинга и всю связанную с этим делом индоевропейскую терминологию [Дьяконов, 1970, 1982].

Начиная с собственного титула Киккули *aswasanni* (арийск. «конь» и «тренировать») до названий мастей и первичной меры расстояния при выезде *wartanna* (круг, поворот), терминология трактата преимущественно индоиранская. Это пособие коневода тщательнейшим образом продумано, оно вобрало практический опыт многих поколений специалистов и весьма авторитетно, поскольку успешно служило делу укрепления военной мощи хеттской державы. Исключительность методики заключалась в возможности готовить по единой системе сразу большое количество коней, способных действовать в боевом строю колесниц.

Единственное, что создает темные места в скрупулезно-подробном руководстве Киккули, – это пренебрежение к описаниям упряжных конструкций, которые должны были соответствовать условиям тренинга. Сведения об узде весьма расплывчаты практически во всех известных нарративах. Упряжь упоминается вскользь, как нечто обыденное и само собой разумеющееся, вместе с тем заметно, что ею дорожили и считали особо ценным имуществом. В своде хеттских законов XIV–XIII вв. до н.э. (§ 58) штраф за кражу узды или упряжи определялся в шекель серебром, а за хищение бронзовых удил потерпевший рассчитывал получить 12 шекелей (больше, чем за увод годовалого жеребца). Отчасти пробел восполня-

ется некоторыми данными по микенской иконографии, но там представлены сцены с действием уже обученных лошадей, взнузданных оснасткой, в которой присутствуют дисковидные псалии с шипами [Кузнецов, 2004, с. 36, рис. 3, 1–3].

Отсутствие информации по узде значительно суживает возможности нарратива при сопоставлении системы тренинга с данными археологии, которые еще более ограничены в связи с неполной сохранностью артефактов. Теперь многие современные исследователи уже не сомневаются в евразийском происхождении коневодства и боевого использования колесниц. В степях Доно-Поволжья и Волго-Уралья, в престижных захоронениях военных лидеров и колесничих начала II тысячелетия до н.э., наряду с бронзовым вооружением и одноосными колесницами, найдены самые древние элементы конской узды – роговые и костяные щитковые псалии, особенности которых весьма вариативны. Псалии являются основным и поэтому очень важным видом вещественных источников по реконструкции конской узды бронзового века, мягкой, ременной и недолговечной.

В обстоятельной, развернутой классификации Е.Е. Кузьминой, где учтены желобчатые, стержневидные и щитковые псалии, последние подразделяются на две группы – с шипами и без шипов [1994, с. 171–181]. Основное внимание в анализе уделено псалиям андроновской общности, но автор основывает свои выводы на более широком круге источников, привлекая также восточноевропейские, балкано-дунайские, средиземноморские и ближневосточные аналогии. Наиболее архаичные псалии (дисковидные без планок), по мнению Е.Е. Кузьминой, происходят из археологических комплексов бабинской и абашевских культур, распространенных на широкой территории от Днепра до Южного Урала [Там же, с. 177]. Таким образом, носители признаков этих культур признаются изобретателями колесниц с псалиями. Далее по хронологической шкале следуют различные варианты псалиев с планками, широкими и узкими, треугольными и трапецевидными, вставными или цельнорезными шипами и без шипов. Разнообразие типов вполне логично объясняется обменом культурными инновациями и поиском оптимальных конструкций.

Нам небезынтересен анализ группы щитковых *бесшипных* псалиев, поскольку целью предлагаемой статьи является постановка вопроса об особой функциональности этих изделий. В кни-

ге Е.Е. Кузьминой основной вывод по датировке бесшипных псалиев, подкрепляемый радиоуглеродным анализом, напрямую касается предметов типа Алакуля и Новоникольского, это XV–XIV вв. до н.э. [Там же, с. 181]. Вывод вполне очевиден, поскольку такие псалии имеют высокие (почти стержневидные) планки с боковыми выступами, по этим признакам они близки к надежно датированным экземплярам из Тосега и Ватины и являются наиболее поздними среди щитковых изделий. По поводу происхождения бесшипных предметов с несколько иной, более архаичной морфологией (округлощитковые, с треугольными планками) автор корректно и вполне справедливо предполагает особый характер этого варианта (Поляны), а также в рамках общего генезиса усматривает их связь с щитковыми псалиями, оснащенными шипами, типа Староюрьево.

За последние два десятилетия источниковая база по псалиям стала значительно шире, принимались неоднократные попытки обобщения этого материала, проводились реконструкции узды, трасологические анализы, ставились эксперименты по практическому использованию моделированной упряжи. Апофеозом этой многолетней работы стало недавнее издание коллективной монографии, содержащей на данный момент наиболее объективные выводы [Бочкарев и др., 2010]. Культурно-хронологические позиции бесшипных дисковидных псалиев с треугольными планками не изменились, относительно псалиев с шипами они традиционно рассматриваются как более поздние варианты колесничной упряжи. Вместе с тем при всех достоинствах сравнительно-типологического анализа, в ходе которого удастся получить группы изделий, обладающих морфологическим сходством, технологический подход А.Н. Усачука, основанный на трасологии, представляется максимально инновационным и объективным.

Установлено, что в степной Евразии наблюдаются две основные традиции в изготовлении щитковых элементов узды – доно-волжская (староюрьевская) и южноуральская (синташтинская). Поволжская группа псалиев формировалась под воздействием этих двух встречных, практически постоянно взаимодействующих дискурсов. Особенно неожиданным стал вывод о присутствии инверсии волго-уральского синтеза в группе причерноморских псалиев [Усачук, 2007].

А.Д. Пряхин отмечал для нижеволжских псалиев характерные отличительные признаки конструктивного характера – отверстия или лунки в щитках для фиксации нащечных ремней. Это, по мнению исследователя, было следствием упрощения староюрьевской конструкции, которая предполагает наличие более сложного при изготовлении бокового выреза [Допо-волжская абашевская культура, 2001]. Идею упрощения поддержал также А.Н. Усачук, принимая все же за основу оригинальности нижеволжских изделий фактор симбиоза между староюрьевским и синташтинским векторами развития колесничной упряжи.

Генетическая преемственность абашевских и покровских традиций вполне очевидна. Она касается динамики керамического комплекса, оформления узкокультурных групп украшений, особенностей вооружения, а также заметной ориентированности на стандарты при изготовлении колесничных псалиев. Тезис о линейном упрощении староюрьевской традиции представляется не вполне иллюстрирующим нижеволжскую специфику покровских псалиев. Мобильные и активно контактирующие на сопредельных территориях покровские группы были весьма лабильны и восприимчивы к технологическим достижениям. Инокультурные элементы заметны практически во всех категориях покровского материального комплекса. Взятый за естественную основу староюрьевский тип упряжи претерпевал не рациональное упрощение, а совершенствование методом проб и ошибок, посредством соединения оптимальных параметров и элементов. Будучи носителями коренного абашевского (староюрьевского) стандарта, покровские мастера создавали симбиозные варианты в результате изучения и переработки синташтинско-петровских достижений в коневодческой и колесничной практике [Лопатин, 2009, с. 75]. Разумеется, широкие контакты, как правило, порождают разнообразные, порой причудливые симбиозы, поэтому покровская группа дисковидных псалиев с шипами (Сторожовка, Старицкое, Калмыцкая Гора, Идолга, Березовка, Золотая Гора) столь эклектична.

Не вполне традиционную точку зрения по поводу некоторой специфики орнамента щитковых псалиев и особенно функциональной вариативности бесшипных изделий автор данной статьи уже высказывал в печати в связи с находкой уникального экземпляра из Нижней Красавки [Лопатин, 2010, с. 140, 141]. Костяной дисковид-

ный псалий бесшипной конструкции с крупной треугольной планкой (рис. 1, 1) был обнаружен в покровском слое поселения, которое планомерно исследуется с 2007 г. археологической экспедицией Саратовского университета. В основании планки при соединении с диском с обеих сторон выделены заостренные, направленные вниз шипы (правый шипик обломлен в древности). Толщина края планки уменьшена выборкой до 0,3 см, узким бордюром шириной 1 см, в котором просверлены пять одинаковых отверстий диаметром 0,4 см для крепления храпового ремня – одно на месте вершины треугольника и по два отверстия на боковых сторонах. Цилиндрические каналы отверстий сверлились с внешней стороны, где виден край бордюра. Расстояния от верхнего отверстия до средних 3 см на левой и 2,3 см на правой стороне, от средних отверстий до нижних равны, по 2 см, от нижних отверстий до заострений шипов – 1,5 см на левой и примерно 1,8 см на правой стороне.

На краю диска, около правого шипа у основания планки имеется узкая несквозная лунка с костяным штифтом в виде усеченного конуса. Глубина лунки 0,9 см, длина штифта 1 см. Диаметр входного отверстия лунки 0,5 см, в глубине она суживается до 3 мм. Данная деталь, очевидно, служила для фиксации нащечного ремня, который набрасывался петлей на основание планки и удерживался боковыми шиповидными выступами. Не исключено, что она имеет характер вынужденного дополнения в конструкции псалия в связи с поломкой ближнего шипика.

Диаметр диска псалия составляет 8,6 см, а максимальная толщина 1,6 см. Нижний край диска тоньше (всего 0,5 см). В центре имеется сквозное отверстие с прямым цилиндрическим каналом под ремненные удила диаметром 0,8 см. На правом краю отверстия заметна характерная потертость, которая указывает на то, что это была левосторонняя деталь конской узда.

Высота треугольной планки от края диска 4,5 см. Ширина основания между окончаниями боковых шипов 7,3 см. Длина слегка выпуклых боковых сторон планки 7 см (левая) и 6,5 см (правая). Толщина планки относительно максимальной толщины диска заметно меньше (с обратной стороны была сделана выборка по всей плоскости треугольника). При соединении с диском она составляет 1,1 см, а в направлении к вершине треугольника уменьшается до 0,9 см. Это обстоя-

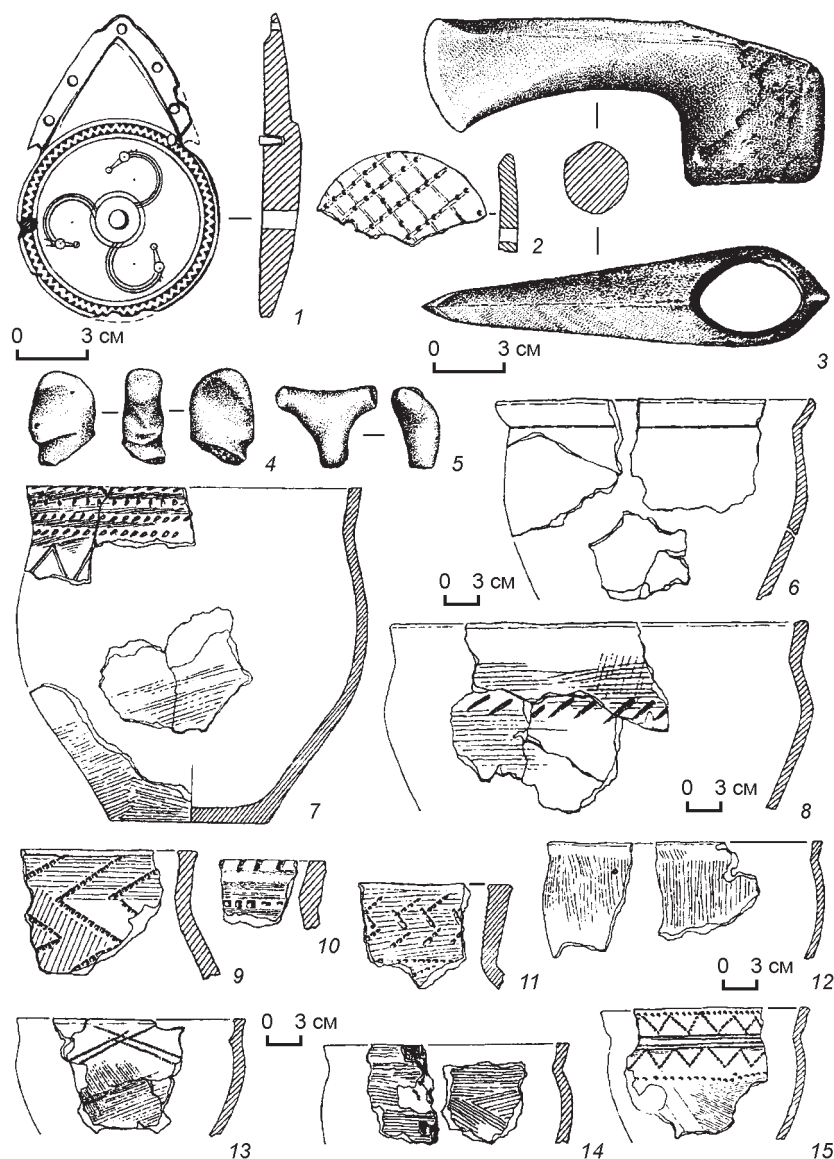


Рис. 1. Позднепокровский комплекс поселения Нижняя Красавка II.

1 – бесшипный дисковидный псалий; 2 – крышка; 3 – топор; 4, 5 – фрагменты ритуальных фигурок лошади и быка; 6–15 – керамика покровского типа.

1 – кость; 2, 6–15 – глина; 3 – бронза; 4, 5 – песчаник.

тельство позволяет предполагать, что окончание храпового ремня подшивалось именно к нижней (обратной) плоскости треугольной планки. Причем ширина ремня должна была составлять не более 6 см, поскольку при этом свободно выступали боковые шипы, на которые набрасывалась петля нащечного ремешка. Расположение прошивных отверстий на боковых гранях планки в виде угла, обращенного вершиной в сторону натяжения, очевидно, значительно увеличивало прочность крепления храпового ремня и надежность фикса-

ции ременных удил в пределах диастемы (промежутка между коренным и передним отделами зубов лошади).

На внешней стороне диска имеется уникальный циркульно-гравированный орнамент. Разметка и организация композиции велась от центра костяной заготовки еще до сверления большого отверстия. В центральной части изображены две концентрические окружности диаметрами 2 и 2,4 см, образующие круглое кольцо шириной 2 мм.

Разметка прочих деталей центральной композиции проведена с геометрическими погрешностями. Очевидно, мастер действовал по наитию и не совсем верно рассчитал расположение точек, от которых так же, циркулем, нарезаны полуокружности трехлучевой свастики. Точки образуют вершины треугольника, повернутого вправо на 25 градусов. При этом треугольник не получился равнобедренным (две стороны равны, по 3,2 см, а третья, правая – 3,5 см).

Каждая полуокружность-луч состоит из трех линий, которые начинаются от внутреннего края центрального кольца и завершаются стилизованными изображениями конских головок. Так же лаконично косторез наметил циркулем окру-

жности головок с центральными точками-глазами и окружности поменьше, имитирующие ноздри. Вытянутые морды лошадок – это клиновидные пары линий, соединяющие окружности-головки и окружности-ноздри. Парами гравированных маленьких треугольников на краях круто изогнутых загибков обозначены ушки лошадок.

Внешний край диска украшен двумя кольцами, между которыми выгравированы два ряда треугольников, обращенных вершинами навстречу. При этом образовался контурный бордюр в виде

короткошагового зигзага – орнамент, типичный для костяных изделий эпохи поздней бронзы. Он чаще всего присутствует именно на псалиях, как дисковидных, так и желобчатых. Общая ширина контурного бордюра вместе с кольцами 0,85 см.

В качестве исходного материала при изготовлении псалия взята тазовая кость КРС или лошади. Это бесспорно, поскольку механической выборкой при выделении планки и потертостями, возникшими в ходе эксплуатации, на обратной стороне диска частично уничтожен тонкий слой компакты и обнажен губчатый диплоид костной ткани. Складывается впечатление, что в Нижнем Поволжье костяные псалии, вырезанные из кости, а не из рога, также являются показателем местной специфики. Плоские пластины тазовых костей домашних животных были удобны в обработке, их не выбрасывали, а собирали в качестве заготовок, поэтому они практически отсутствуют в кухонных отбросах поселений эпохи бронзы. На одном тазовом крыле можно было разметить сразу несколько дисков будущих уздечных элементов. Возможно, опосредованным подтверждением такого предположения могут быть уникальнейшие трехдисковые псалии из Баранниково, обнаруженные в богатом покровском погребении с ярко выраженными абашевскими чертами в керамике, на севере доно-волжского междуречья [Мыськов, 2004, с. 136].

Похоже, что вначале на костяной заготовке нижнекрасавского псалия мастер циркулем выполнял разметку и нарезку орнамента, гравировку резцом, затем размечал контур планки и высверливал центральное отверстие под ременные удила. Затем обрезал ненужные части заготовки, оконтуривая, шлифовал края диска по линии внешнего кольца и края треугольной планки, делал выборку под толщину храпового ремня с обратной стороны щитка, после этого вытачивал на внешней стороне планки краевую выборку под прошиву, вырезал боковые шипы и сверлил пять малых отверстий на вершине и краях планки. Лунка для фиксации нащечного ремешка костяным штифтом появилась позже как мера корректировки конструкции после утраты правого шипика планки.

Псалий из Нижней Красавки представляет собой уникальнейший артефакт начальной фазы позднего бронзового века. Культурно и хронологически он связан с наблюдаемым здесь комплексом покровского типа (рис. 1), возможно поздним этапом его развития в ходе формирования ранней

срубной культуры (приблизительно конец XVII – XVI в. до н.э.). Конструктивные особенности псалия, безусловно, восходят к прообразам староурьевского типа, что выражается в общей дисковидности формы, традиционном зигзагообразном бордюре, принципе фиксации в узде, но имеет типично покровскую специфику, а также индивидуальные особенности. С покровской группой псалиев Поволжья его сближает, прежде всего, треугольная форма массивной планки и отсутствие бокового выреза под ремень, идущий на оголовье.

Похожие, но не идентичные нашему экземпляру, *бесшипные* псалии с треугольными планками были обнаружены С.В. Ляховым в Сторожовке (2/2) в комплексе с керамикой позднепокровского облика [Ляхов, 2009, с. 144, рис. 9, 5, 6]. Заметна явная эклектика сосудов из этого погребения, в них присутствуют черты нивелирующегося покровского и КМК, а также раннесрубные показатели (рис. 2, 3–6).

По своей внешней морфологии (рис. 2, 1, 2) псалии кажутся, скорее, некими репликантами синташтинско-петровских роговых прообразов простых конструкций. Округло-овальные щитки сторожовских псалиев по форме тяготеют к сегментовидным вариантам Кривого Озера, Жаман-Каргалы, Восточно-Курайли и Каменного Амбара [Виноградов, 2003, с. 251, рис. 104, 4–7; Ткачев, 2007, с. 343], однако заметна и доля местной, нижневолжской трактовки (округлость щитка, острые, а не притупленные боковые шипики у основания планки).

Очень интересный вариант *бесшипного* псалия давно известен по раскопкам в Харьковской области Украины на поселении Поляны-І. Опубликованный неоднократно, но, к сожалению, в неудовлетворительном графическом исполнении псалий из Полян, лишь недавно получил подробнейшую трасологическую характеристику в специальной работе А.Н. Усачука [2005, с. 143–150]. Материалы этого многослойного поселения весьма сложно соотносить с роговым элементом узды, который морфологически близок к нижнекрасавскому, особенно устройством планки, только суголовный ремень здесь крепился, как у староурьевских, к боковому вырезу (рис. 2, 9). Однако в некоторых деталях конструкции и особенно по орнаментации псалий из Полян заметно отличается от абашевских и покровских экземпляров. Линейно-точечные бордюры по краю диска и короткие отрезки с бахромой на планке для деко-

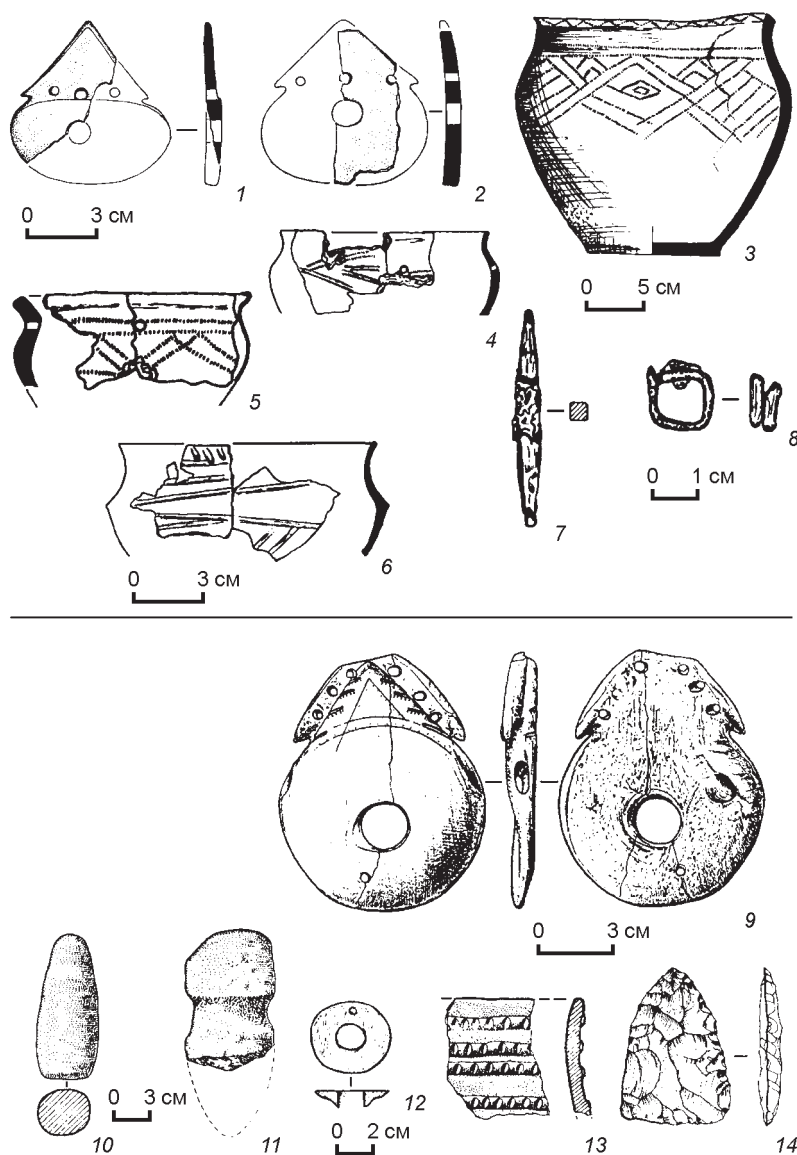


Рис. 2. Комплексы из Сторожовки (1–8) и Полян (9–14).

1, 2 – бесшипные псалии; 3–6 – сосуды; 7 – стрекало (?); 8 – скоба; 9 – бесшипный псалий; 10 – пест; 11 – топор; 12 – пряжка; 13 – фрагмент сосуда; 14 – наконечник стрелы.
1, 2, 9 – рог; 3–6, 13 – глина; 7, 8 – бронза; 10, 11 – камень;
12 – кость; 14 – кремнь.

ров на костяных изделиях Доно-Поволжья не характерны. В книге С.С. Березанской [Березанская и др., 1986] полянский комплекс представлен скудно, кроме псалия показан фрагмент бабинского сосуда, пест, обломок каменного топора с перехватом, пряжка с высоким бортиком и кремневая стрела (рис. 2, 10–14). Е.Е. Кузьмина, комментируя этот псалий, называет комплекс поселения Поляны-I срубным [1994, с. 180]. Как представляется, полянский экземпляр предположительно

следует все же связывать с позднебабинским комплексом этого многослойного памятника и синхронизировать с нижневолжскими материалами покровского типа.

Бытует мнение о том, что бесшипность дисковидных псалиев является показателем несколько более поздних позиций данного варианта относительно щитковых изделий с шипами, в том числе и в рамках покровских древностей. И если следовать логике такого вывода, то в динамике развития колесничной узды наши бесшипные дисковидные псалии с массивными треугольными планками должны занимать промежуточное положение между щитковыми изделиями с шипами и бесшипными вариантами алакульского типа с высокими планками, синхронными изделиям Тосега и Ватины. И здесь важно отметить, что индикатором культурно-хронологических позиций наших псалиев надежнее всего выступает керамика, и это безусловно сосуды покровского типа (Нижняя Красавка, Сторожовка) или предполагаемые синхронные культурные комплексы (Поляны). Но поскольку в погребениях с керамикой покровского (и даже раннесрубного, как в Сторожовке или Золотой Горе) типа нередко встречаются костяные и роговые щитковые псалии с шипами, то оценивать в данной ситуации, очевидно, следует не культурно-хронологические позиции, а различия иного характера.

Представляется, что строгие псалии с шипами и бесшипные варианты могли сосуществовать во времени, выполняя в упряжи одинаковые функции, но несколько различные задачи. Отсутствие шипов вряд ли является индикатором времени, поскольку более поздние желобчатые псалии ими как раз оснащены, известны также и бесшипные желобчатые варианты. В данном случае особенно показательна группа изделий усатовского типа (Алексеевское, Шелыган, Токское, Мосоловка,

Усатово, Капитаново, Шигоны) [Бочкарев и др., 2010, с. 327–329], которые действовали в упряжи так же, как и щитковые, а функционально соответствовали именно бесшипным, нетравмирующим псалиям.

Сторожовские, полянский и нижнекрасавский экземпляры имеют массивные (по-видимому, усиленные) треугольные планки. Кроме того, отверстия под прошву расположены на планках полянского и нижнекрасавского вариантов совершенно иначе, чем у всех прочих псалиев, не в линию на верхней границе диска, а углом, по краям планки. Все это указывает на стремление усилить натяжение именно храпового ремня, широкого и прочного. При такой особенности узды морда лошади, вероятно, была особенно надежно фиксирована, при этом не требовались шипы как строгие средства стимуляции. Поэтому не исключено, что щадящие бесшипные псалии с мощным храповым ремнем могли использоваться в особых действиях по управлению лошадью, например, при *тренинге*.

Весьма интересно, что узда с бесшипными нетравмирующими псалиями функционально аналогична древнейшему типу упряжи – капцугу. Он был универсален как при тренинге, так и непосредственно в управлении эквидами, впряженными в тяжелые повозки с монолитными колесами. Тренинг, подчинение лошади определенному алгоритму не допускали жесткого, травмирующего подхода, система была основана на мягком, осторожном воспитании у животного необходимых качеств, органично выводимых из естественных кондиций. С изобретением легких боевых колесниц более строгая узда стала объективно необходима как оптимальное средство стимуляции, соответствующее непредсказуемым в условиях сражения ситуациям. При этом подготовка лошади в капцуге осторожно сменялась работой на дистанциях в узде с бесшипными псалиями, а затем перевести животное на строгую упряжь с шипами уже не представляло собой сложной задачи. Представляется также, что применялась она исключительно в сражении или на состязаниях.

Самая яркая индивидуальная особенность псалия из Нижней Красавки – это центральный сюжет декора свастического типа, где окончания трехлучевого элемента украшены стилизованными конскими головками. Не будет преувеличением сказать, что это первый случай сюжетно-реалистической трактовки солнечного символа на

костяном изделии бронзового века степного Донно-Волго-Уралья. В сводной работе В.И. Беседина, где автор представил «микенские» орнаменты Восточной Европы, украшающие костяную фурнитуру, наборные рукояти, элементы упряжи и бронзовые бляхи ябалаклинского типа, солярно-астральная символика встречается нередко. Однако трехлучевой вариант на костяном дисковидном псалии впервые зафиксирован в Нижней Красавке. До сего момента были известны две металлические бляхи из шахтовых гробниц Микен и Каковатоса, а также часть костяного диска из Сепсе, где в стилизованной орнаментальной манере представлены криволинейные трехлучевые свастики [Беседин, 1999, с. 51, рис. 4, 3, 4, 12].

Примечательно, что все эти аналоги территориально далеки от Волго-Донья и относятся к балкано-дунайскому региону. Вместе с тем представляется, что все свастические символы (трех-, четырех-, пяти-, шести-, семилучевые) объединены общей солярной темой. Обычно классической свастикой по традиции принято считать четырехчастный символ с ломаными под прямым углом лучами, трехлучевой вариант обычно не комментируется, а варианты с большим количеством плавно изогнутых коротких лучей (от пяти до семи) почему-то получили в литературе обозначение, взятое из области механики («сегнерово колесо»), как, например, в случае с псалием староюрьевского типа из погребения 4 кургана Селезни-2 [Пряхин и др., 1998, с. 20, 21, рис. 11, 5].

Все расставляет на свои места именно реалистическая трактовка сюжета из Нижней Красавки, где на концах лучей показаны три головки – имитация конских протом с гордо изогнутыми шеями. Удивительно, но в еще более реалистической манере эта свастическая тема подается много лет спустя на уздечных фаларах раннего железного века [Переводчикова, Фирсов, 2005, с. 396, рис. 2, 2; Засецкая, 2006, с. 4, 5, 7, 12, 99]. Известен и стилизованный свастический символ на бронзовом зеркальце-подвеске из позднесарматского комплекса [Кривошеев, 2005, с. 67, рис. 1-А, 1]. Этот образ чрезвычайно устойчив, предельно канонизирован, и вывод однозначен – любой тип свастики, геометрически закодированный в криволинейные или угловатые варианты, может рассматриваться как символика солнечной колесницы, где количество лучей, возможно, соответствует числу упряжных лошадей. В исторических реалиях тройная упряжка имеет давнюю

традицию, о чем косвенно может свидетельствовать, к примеру, роспись на месопотамском сосуде середины III тысячелетия до н.э. из Хафаджас [Рогудеев, 2008, с. 74, рис. 2, 1].

О количестве упряжных лошадей часто говорится в гимнах Ригведы. У колесниц многочисленных богов, в том числе и солярных, фигурируют от двух до семи чудесных скакунов. Более того, среди множества эпитетов, посвященных в Ригведе лошади, встречаются и такие, где конь символизирует солнце [Щетенко, 2008, с. 260].

По каким-то причинам тройная упряжка в Ригведе менее всех прочих конкретно персонифицирована и выглядит, скорее, как условный мифопоэтический символ. К примеру, в «Жалобе певца» из десятой мандалы мы видим совершенно обезличенное действие, очень краткий фрагмент (очевидно, утраченного мифа) с участием тройной упряжки:

«Чи *три* буланные кобылицы при колеснице
Везут меня прямо к цели...»
(РВ. X, 33. 5).

Косвенный намек на тройную упряжку содержится в гимне, посвященном Соме, который нередко, подобно Индре, разезжает на паре буланных скакунов, но часто в его колесницу запряжено и большее количество коней, что выглядит как поэтический гротеск:

«Его запрягают, чтобы (он) двигался,
В *трехспинную* колесницу с тремя сиденьями
Силой поэтических творений семерых риши».
(РВ. IX, 62. 17).

Крайне мифологизированный сюжет содержит солнечную субстанцию в гимне, адресованном Агни, где языки пламени внезапно преобразуются в фантастических коней, и здесь изначальные пределы мироздания, солнечная колесница, количество коней в которой не имеет значения, персонифицированный средний мир – предстают в некоем завершенном комплексе, в образе, абсолютно понятном его современникам:

«Кто ухватился за макушку двоих родителей,
(Того) они вложили в обряд как бушующее море солнца.
Во время его полета красноватые (языки пламени),
кончающиеся конями,
Радовались самим себе в лоне закона».
(РВ. X, 8. 3).

Для нашего артефакта это наиболее близкий вариант текстового микросреза древнего нарратива, здесь условная эмблематика военного (колеснич-

ного) дела полнее всего соответствует праиндоиранской мировоззренческой парадигме эпохи поздней бронзы.

Идея колесницы, скаковых, искусно вышколенных лошадей занимает в Ригведе огромное место. Такое высокое внимание не случайно, обожествленные возницы, символизирующие различные силы природы и героических персонажей, играли большую роль в пантеоне, постоянно присутствовали в офантазированном повседневном мышлении древних иранцев. Несомненно, в мире степных скотоводов отправление культов, посвященных лошади и колеснице, занимали заметное место. В пространстве большого полужемляночного жилища имелись священные уголки, где размещались алтарные комплексы, посвященные опорному столбу, держащему кровлю (символ неба), очагу, где ежедневно рождается Агни, фаллосу, отвечающему за продолжение рода, и многим другим культам. Домашняя демонология археологически изучаемых культур – особая и слабо исследованная тема. Но возможности древнейшего нарратива и здесь не безнадежны. В Ригведе вскользь упоминаются действия, связанные с оснащением домашних алтарей. Так, например, в гимне 32 IV мандалы <К Индре> содержится гротесковый эпитет буланных коней верховного божества, указывающий на реальность алтарных композиций, в которых присутствуют фигурки лошадей.

«Словно две новые свадебные (?)
Статуэтки маленькие, на деревянной подставке,
Красуется при выездах пара рыжих (коней)».
(РВ. IV, 32. 23).

Определенно алтари, на которых стояли votивные повозочки и колесницы с впряженными в них «игрушечными» лошадами, должны были сопровождать профессиональные ритуалы особо избранных представителей скотоводческого общества, чей профессионализм был востребован в такой важной сфере жизни, как селекция и обучение лошадей, строительство колесниц и война.

Глиняные модели колесниц довольно редки, и все они были найдены в погребениях катакомбных культур. Гораздо чаще на поселениях поздней бронзы находят votивные глиняные колесики (рис. 3, 3–6), которые иногда путают с пряслицами. На некоторых маленьких дисках имеются неумело прочерченные линии, имитирующие спицы (рис. 3, 6). Вероятно, такие модели колесниц и лошадей чаще всего воплощались в глених материалах (дерево, солома).

На Нижнекрасавском поселении, в непосредственной близости от пункта обнаружения псалия, был найден каменный предмет, получивший условное обозначение «шахматный конь» (см. рис. 1, 4; 3, 1). Он действительно напоминает фигурную головку лошади размерами $4 \times 3 \times 1,7$ см. Большая часть фигурки утрачена, она была разбита еще в древности. Ее изготовили из мелкозернистого песчаника техникой выскабливания рельефных неровностей, обозначивших поверхности храпа, промежутки между нижней челюстью и выпяченной грудью, лоб и дуговидный загривок. Легким желобком намечена пасть лошади, маленькой лункой показана левая ноздря. Головка обломлена на уровне шеи, и составить представление о недостающей части фигурки можно лишь условно (см. рис. 3, 1). Своеобразна также другая каменная фигурка – песчаниковая конкреция подтреугольной формы, условно напоминающая головку быка (см. рис. 1, 5). Фигурка заглажена по всей поверхности, в профиль отчетливо узнаваема выпуклость лба опущенной вниз головы, отростки опиленных рогов отходят в разные стороны от лобной части. Не исключено, что это вполне реальный votivный предмет, символизирующий животное. Высота фигурки 7 см, ширина 8,8 см, толщина 3,2 см. На том же уровне слоя обнаружен и фрагмент глиняного колесика (см. рис. 3, 2). Мы можем лишь предполагать, что модель колесницы с домашнего алтаря нижнекрасавского *aswasanni* могла быть похожей на ту, что дается в виде реконструкции (рис. 3). Но факт обнаружения votивных моделей колесниц в несколько более поздних арийских (индоиранских) культурах бесспорен. Одна из таких находок представлена в русскоязычной литературе А.Я. Щетинко в контексте изучения транспортных средств и систем упряжи древней Индии [2008]. Этот уникальный экземпляр отлит из бронзы по сложной технологии, но нам наиболее

интересна мифопоэтическая трактовка антропоморфного персонажа, в котором узнаваем ведический Пушан, а также упряжные животные и тип повозки. Вероятнее всего, модель колесницы может достоверно имитировать реальное транспортное средство, поскольку других образцов к подражанию у литейщика не было.

На домашних алтарях древних индоиранцев размещались узнаваемые предметы, похожие на утварь той эпохи, фигурки богов, ничем не отличимые от реальных людей, статуэтки волшебных коней, впряженных в небесные колесницы, которые полностью повторяли обычные повозки с тягловыми животными. Свой мир (смертных) люди древних эпох стремились максимально приблизить к миру богов и предков. Не нарушая священных границ, они тем не менее наделяли «высших и всесильных» собственной повседневной (мирской) атрибутикой, вкладывая в эту узнаваемость особый смысл. Поэтому боги Ригведы и прочих текстов антропоморфны, а сопровождающие их

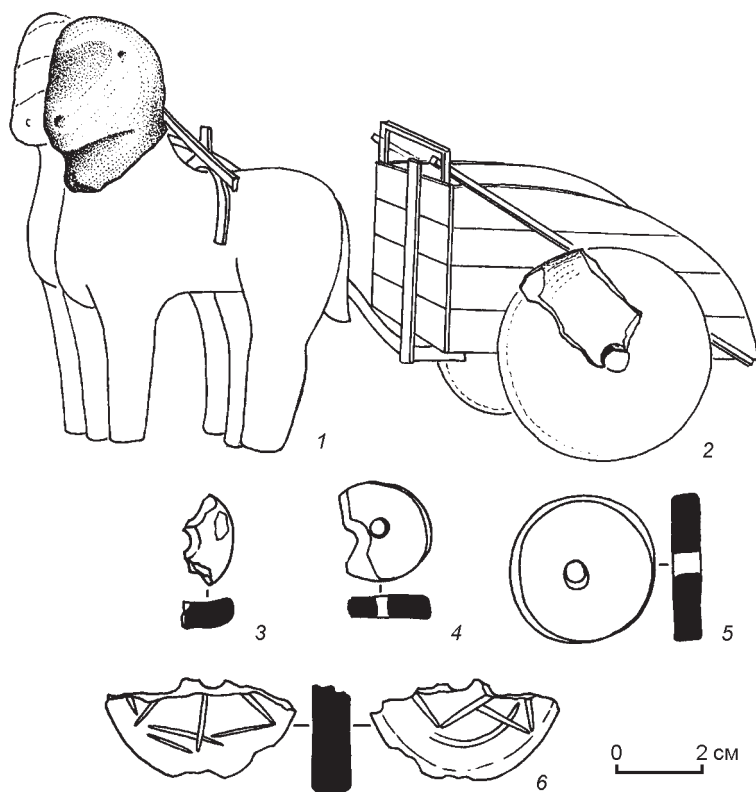


Рис. 3. Элементы votивных статуэток и модель реконструкции упряжной повозки.

1, 2 – головка лошади и фрагмент колесика из Нижней Красавки; 3–5 – колесики из Преображенки; 6 – колесико со «спицами» из Максютново.

1 – песчаник, 2–6 – глина.

животные и вещи морфологически ничем не отличаются от земных.

Вне всяких сомнений культы, посвященные солнечным и небесным колесницам, а также связанным с ними божествам, особым образом почитались представителями наиболее престижных профессиональных страт – умельцами, создававшими повозки и упряжь, а также коневодами-aswasanni, безымянными степными предшественниками мастера Киккули.

Список литературы

- Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н.** Культуры эпохи бронзы на территории Украины, 1986. – Киев, 1986.
- Беседин В.И.** «Микенский» орнаментальный стиль эпохи бронзы в Восточной Европе // Евразийская лесостепь в эпоху металла. Воронеж, 1999. – (Археология Восточно-Европейской лесостепи; вып. 13).
- Бочкарев В.С., Бужилова А.П., Епимахов А.В., Клейн Л.С., Косинцев П.А., Куланда С.В., Кузнецов П.Ф., Кузьмина Е.Е., Медникова М.Б., Усачук А.Н., Хохлов А.А., Черленок Е.А., Чечушков И.В.** Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010.
- Виноградов Н.Б.** Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. – Челябинск, 2003.
- Дьяконов И.М.** на Ближнем Востоке: конец мифа // ВДИ. – 1970. – Арийцы № 4.
- Дьяконов И.М.** О прародине носителей индоевропейских диалектов // ВДИ. – 1982. – № 3–4.
- Засецкая И.П.** Два мотива в сарматском зверином стиле – свернувшийся по кругу хищник кошачьей породы и вписанная в круг фигура козла (I – начало II в. н.э.) // НАВ. – Волгоград, 2006. – Вып. 8.
- Кузнецов П.Ф.** Реконструкция крепления конской узды по результатам изучения дисковидных псалиев Поволжья // Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – 2004. – (АА; № 15).
- Кузьмина Е.Е.** Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М., 1994.
- Кривошеев М.В.** Комплексы позднесарматского времени могильника Старица // Археологические записки. – Ростов-на-Дону, 2005. – Вып. 5.
- Лопатин В.А.** Бородаевские курганы (по раскопкам 1982 года на Малом Карамане) // АВЕС. – Саратов, 2009. – Вып. 7.
- Лопатин В.А.** Покровский культурный комплекс поселения Нижняя Красавка-II (по материалам исследований 2007–2009 годов) // АВЕС. – Саратов, 2010. – Вып. 8.
- Ляхов С.В.** Курганный могильник к востоку от пос. Сторожовка // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. – Ставрополь, 2009. – Вып. IX.
- Мыськов Е.П., Кияшко А.В., Литвиненко Р.А., Усачук А.Н.** Погребение колесничего из бассейна Дона // Псалии. Элементы упряжи и конского снаряжения в древности. – Донецк, 2004. – (АА; № 15).
- Переводчикова Е.В., Фирсов К.Б.** К реконструкции убора коней из кургана Козел // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья: памяти В.С. Ольховского. – М., 2005.
- Пряхин А.Д., Моисеев Н.Б., Беседин В.И.** Селезни-2. Курганы доно-волжской абашевской культуры. – Воронеж, 1998.
- Пряхин А.Д., Беседин В.И., Захарова Е.Ю., Саврасов А.С., Сафонов И.Е., Свистова Е.Б.** Доно-волжская абашевская культура. – Воронеж, 2001.
- Ригведа. Мандалы I–X** / под ред. Т.Я. Елизаренковой. – М., 1999.
- Рогудеев В.В.** Комплексы с повозками позднекатакомбного времени и проблема колесничества // Происхождение и распространение колесничества. – Луганск, 2008.
- Ткачев В.В.** Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. – Актобе, 2007.
- Усачук А.Н.** Технология изготовления и использования псалия с поселения Поляны-I (Харьковская область) // Древности, – 2005. – Харьков: Харьк. ист.-археол. о-во.
- Усачук А.Н.** Найдавніші псалії доби бронзи лісостепу і степу Європи (технологічний і функціональний аспекти): автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Київ, 2007.
- Щетенко А.Я.** Колесницы и повозки древней Индии // Происхождение и распространение колесничества. – Луганск, 2008.
- Kammenhuber A.** Hippologia Hethitica. – Wiesbaden, 1961.

АНДРОНОВСКАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ В ПЕТРОГЛИФАХ ЭПОХИ БРОНЗЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Миф об отсутствии изобразительной традиции у андроновцев происходит из теории «неравномерного распространения первобытного искусства», сформулированной А.А. Формозовым еще в шестидесятые – семидесятые годы прошлого века в ряде работ [Формозов, 1969, 1973], которая уже подвергалась справедливой критике [Шер, 1980а]. Действительно, методологически эта теория опиралась на очень зыбкий постулат – есть фигуративные артефакты в археологической культуре – значит, и есть в этой культуре искусство.

С той поры прошло много лет, опубликованы тысячи наскальных изображений, происходящих из различных регионов Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Алтая и Южной Сибири, Монголии, Китая, Индии и Пакистана, определенно датированных исследователями эпохой бронзы. Однако общепринятой исследователями культурной и этнической, обоснованной археологическими артефактами, атрибуции изобразительной традиции (или нескольких традиций) эпохи бронзы в петроглифах Центральной Азии как не было, так и нет. Этот вопрос остается по-прежнему дискуссионным.

В свое время предпринимались попытки выделить «сейминско-турбинскую изобразительную традицию» [Пяткин, Миклашевич, 1990], «тамгалинско-саймалы-ташскую» [Самашев, 2010, 2012], однако они оказались не только не связанными с какой-либо археологической культурой (АК) или культурно-исторической общностью (КИО), но и не определены этнически, а значит, «живут» какой-то своей непонятной и оторванной от создавших их людей жизнью.

С методологической точки зрения зачастую происходит подмена понятий: за изобразитель-

ную традицию принимается выделенный исследователями локальный изобразительный стиль – манера изображения отдельных персонажей на основе их иконографических особенностей [Ковтун, 2001] или вводятся новые искусственные понятия типа «культурно-исторических ландшафтов», которые в действительности опять же выражают только иконографические особенности локального стиля (плана выражения по Я.А. Шеру), но никак не отражают и не описывают изобразительную традицию [Шер, 2004]. Еще большую путаницу вносят попытки сопоставить выделенные таким образом изобразительные стили с локальными АК или их этапами, материальные свидетельства которых – могильники или поселения – отсутствуют в других районах Центральной Азии. Новая книга И.В. Ковтуна свидетельствует об эволюции взглядов исследователя [Ковтун, 2013]. Однако насколько рассмотренные им изобразительные памятники Южной Сибири связаны с «предысторией индоарийской мифологии», все еще остается весьма дискуссионным вопросом.

О сложности данной проблемы свидетельствует продолжающаяся до сих пор дискуссия, вызванная публикацией достаточно острой статьи известных специалистов А.П. Франкфора и Э. Якобсон-Тэпфер [2004] (см. подробнее разбор высказанных мнений: [Новоженев, 2012, с. 30–37]). Опубликованные в рамках этой дискуссии концепции большинства исследователей предполагают и не противоречат интерпретации наскального искусства эпохи бронзы Центральной Азии в пределах мифологических парадигм индоиранцев, выразившихся в преданиях и мифах, записанных позднее в Ведах и Авесте.



Рис. 1. Карта изобразительных памятников северной части Центральной Азии (по: [Рогожинский, 2002]).

1 – Байконур; 2 – Зынгертау; 3 – Тасуткель; 4 – Теректы (Аулие); 5 – грот Тесиктас; 6 – Кестелетас; 7 – Семизбугы; 8 – Шаматай, Килыбай, Байжан; 9 – Итмурунды; 10 – Саяк; 11 – Бадран; 12 – Кокпекты, Ортынтау; 13 – Никитинка; 14 – Акбаур; 15 – Сагыр; 16 – Меновное; 17 – Канай, Сентас, Тамураши; 18 – Зевакино; 19 – КалбакТаш; 20 – Джурамал; 21 – Берел; 22 – Мойнак; 23 – Курчум; 24 – Тулькуне; 25 – Доланалы, Нарбота; 26 – Болгар-Табаты; 27 – Окей; 28 – Кипели; 29 – Джансугуров; 30 – Баян-Журек, Капал; 31 – Ешкиольмес; 32 – Теректы; 33 – Усек; 34 – Тайгак; 35 – Караеспе; 36 – Карашоқы; 37 – Тамгалытас; 38 – Узун-Булак; 39 – Аксай; 40 – Саты; 41 – Ассы; 42 – Турген; 43 – Узун-Каргалы; 44 – Майбулак; 45 – Чолпон-Ата; 46 – Актерек; 47 – Сергеевка; 48 – Асык; 49 – Серектас; 50 – Тамгалы; 51 – Карақыр; 52 – Кулжабасы; 53 – Чокпар; 54 – Ой-Джайляу; 55 – Унгурли; 56 – Хантау; 57 – Джамбул; 58 – Мерке; 59 – Курган-Таш; 60 – Ур-Марал (Жалтырак-Таш); 61 – Аксу Джабагылы; 62 – Карасай; 63 – Маймак (Тэрс); 64 – Габаевка; 65 – Еликсай; 66 – Боролдай, Борисай; 67 – Баялдер; 68 – Арпаузен; 69 – Койбагар; 70 – Ран, Ксан, Суяндуксай; 71 – Кара-Соир; 72 – Бала Саускандык; 73 – у оз. Тамгалы; 74 – Коксай; 75 – Каракиясай, Ходжикент; 76 – Варзик; 77 – Саймалы-Таш; 78 – Уч-Терек; 79 – Унек (Кочкор); 80 – Ак-Шыйрак.

Обозначения: белые точки – свыше 1000 изображений на памятнике; синие точки – менее 1000 изображений на памятнике.

Е.Е. Кузьмина в серии своих работ последовательно доказывает индоиранскую этнокультурную атрибуцию андроновских древностей вообще [1994, 2008а, б, 2010] и концептуальную интерпретацию петроглифов эпохи бронзы Центральной Азии в рамках индоиранской изобразительной традиции в частности [2011, 2012]. В качестве аргументации автор использует повсеместно распространенные в регионе изображения «солнцеголовых» антропоморфных персонажей, трактуя их как образ Митры, а также многочисленные (более 400 изображений) колесничные петроглифы и собственно весь известный сегодня массив наскальных изобразительных памятников эпохи бронзы, открытых и уже успешно датированных специалистами на просторах Центральной Азии.

Действительно, только на территории северной части этого обширного региона насчитывается более двух сотен памятников наскального искусства

(рис. 1–5), в подавляющем большинстве которых определенно выделен пласт петроглифов эпохи бронзы [Рогожинский, 2002]. При этом совершенно четко выделяются памятники, расположенные на невысоких сопках в степных, полупустынных районах – Байконур, Каратау, Кулжабасы, Тамгалы, Баганалы, Букантау, Каракиясай, Оленты, Мугоджары, и в предгорьях крупных массивов – Джунгарского и Заилийского Алатау, Горного Алтая (Монгольского, Казахского, Российского и Китайского), хребта Каратау (типа Ешкиольмес, Мойнак, Курчум, Елангаш, Тэрс, Сауыскандык и многих других) и даже в высокогорных долинах Тянь Шаня и Памира (Саймалы-Таш, Ойжайляу, Мирки и др.).

Сложилась совершенно нездоровая ситуация. Многотысячный корпус изобразительных источников по-прежнему изучается в определенном отрыве от раскопанных на равнине, в степной полосе Евразии, синхронных археологических

памятников андроновского круга, по причинам их как бы географической удаленности от основного ареала распространения последних и отсутствия собственно изобразительных артефактов в могилах и на поселениях. Культурно-историческая и этническая атрибуция такого огромного массива петроглифов – изобразительных исторических источников – по-прежнему недостаточно аргументирована, и что еще печальнее – не соотносена с конкретными, открытыми на этих территориях археологическими культурами, что собственно и определяет проблематику настоящей статьи.

Изобразительную, фигуративную (статуарную) и мегалитическую традиции раннебронзовых, а также более поздних социумов азиатской части степной Евразии и развитие этих и других традиций в пространстве и во времени мы относим к изобразительным коммуникациям. Эти традиции стали важным средством внутренней и внешней активности местных социумов, которые зафиксированы здесь археологическими методами в виде выделенных АК и КИО. Они стали надежным индикатором самоидентификации этих обществ, а их изучение и анализ позволяют прояснить многие спорные вопросы этнокультурной истории.

Определимся с дефинициями используемых здесь понятий и состоянием современных воззрений на формирование и происхождение андроновской КИО в рамках основного ареала этих памятников в пределах урало-казахстанских степей и их географического распространения по территории Центральной Азии, опираясь на опубликованные серии радиоуглеродных калиброванных датировок [Епимахов, 2005; Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005; Епимахов, Чечушков, 2008].

Полагаем, что термин «андоновская культурно-историческая общность – КИО» – 1610–1410 (1740–1400) гг. до н.э. может применяться только к смешанным памятникам алакульско-федоровского типа (или с преобладанием алакульского, или федоровского типа), географически расположенным в степных районах Урала, Казахстана и Средней Азии – ядра всей андроновской общности племен.

В последние годы трудами экспедиции под руководством А.Н. Марьяшева на юге Казахстана, в Жетысу, открыт неизвестный ранее ареал андроновских памятников, раскопаны десятки новых андроновских поселений и могильников [Марьяшев, Горячев, 2011], которые географически связывают эти удаленные ранее друг от друга

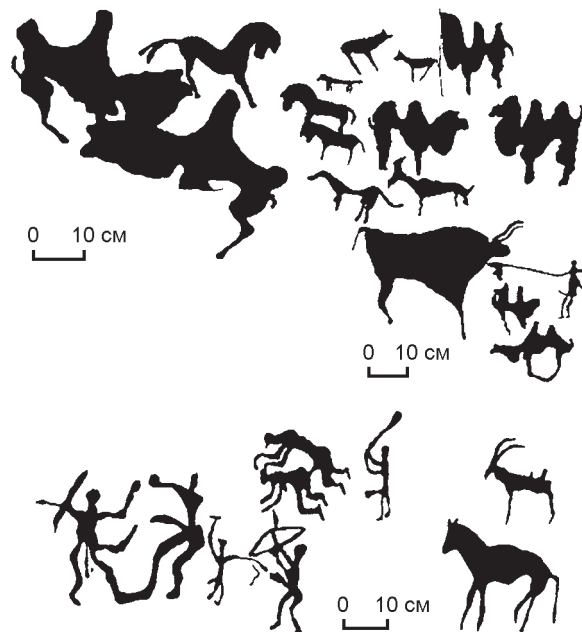


Рис. 2. Петроглифы долины р. Байконур. Местонахождение Байконур 2, плиты 1а, 3, 4 (по: [Новоженев, 2002]).

районы между собой в единое ядро андроновской КИО и соответствующими изобразительными памятниками как степей, так и предгорий.

Андроновцы на востоке (северо-востоке) и сейминско-турбинский феномен. Памятники сейминско-турбинского типа, при том что их насчитывается едва ли не более двух десятков, распространены на территории общей площадью более 3 тыс. кв. км от Молдавии и южной России (Бородинский и Галицкий клады) до Южной Сибири (Ростовка).

Представляется, что немногочисленные сейминско-турбинские памятники оставлены группами кузнецов-литейщиков (хранителей уникальной бронзолитейной традиции), объединенных по родственному и производственному принципу, с особым кастовым социальным статусом и инкорпорированных в мощные, прежде всего, постабашевские, раннеандоновские этнические образования, а не наоборот, как полагают Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых [1989]. Сакральный и кастовый характер профессии кузнеца известен по этнографическим данным почти у всех народов мира.

Это предположение подтверждается и сейминско-турбинскими находками в петровско-синташтинских [Зданович, 1988, с. 138; Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992] и Покровских курганах в Поволжье [Бочкарев, 2010]. Двухлезвийный

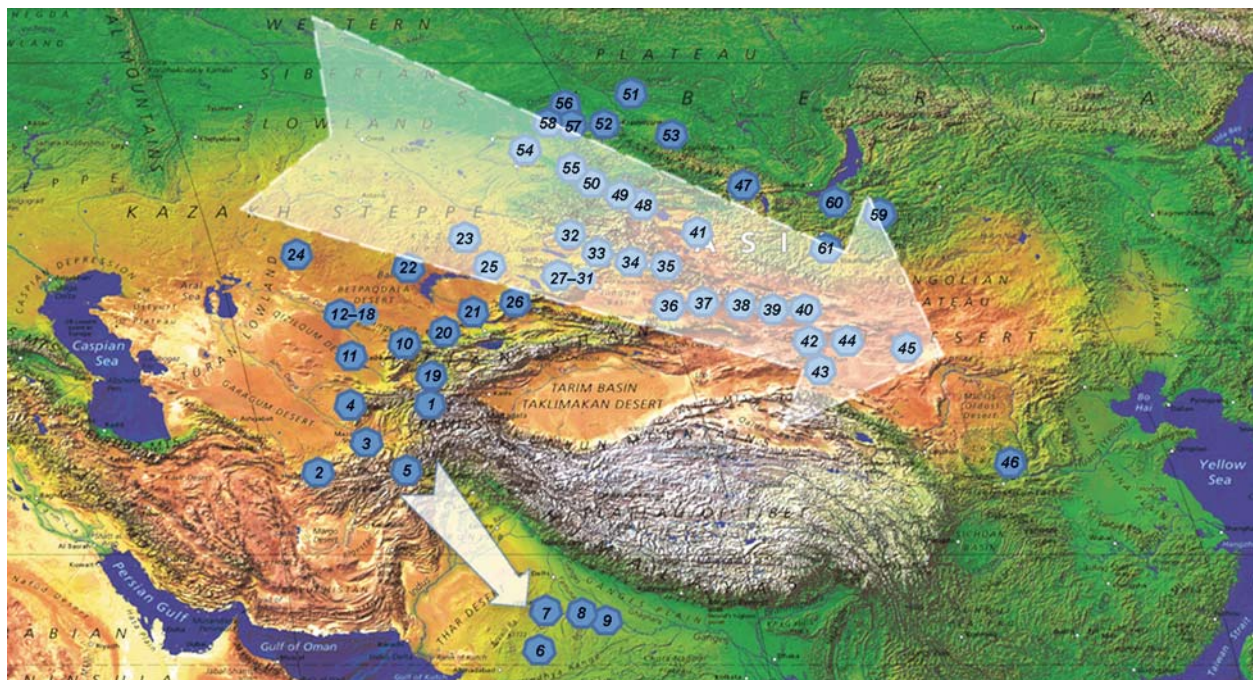


Рис. 3. Карта распространения колесничных петроглифов в Центральной Азии.

1 – Акджилга; 2 – Текке-Таш; 3 – Охна; 4 – Каракиясай; 5 – Тхор; 6 – Чиббарнала; 7 – Дхарампури; 8 – Чатур Бху Нэш; 9 – Эда Калькаве; 10 – Жалтырык-Таш; 11 – Тэрс; 12 – 18 – Койбагар, Арпаузен, КошкарАта, Габаевка, Кокбулак, Ран-Озен, Ксан; 19 – Саймалы-Таш; 20 – Тамгалы; 21 – Чумыш; 22 – Джамбул; 23 – Кестелетас; 24 – Байконур3; 25 – Саяк; 26 – Ешкиольмес; 27 – Акбаур; 28 – Курчум; 29 – Мойнак; 30 – Тулькуне; 31 – Саур Тарбагатай; 32–35 – Калбак-Таш, Жалгыз-Тепе, Елангаш, Адырхан; 36 – Яманы-Ус; 37 – Цаган Гол; 38 – Бичигты-Ам; 39 – Хобд Сомон; 40 – Бэгэр Сомон; 41 – Чулуут; 42 – Дарви Сомон; 43 – Манлай Сомон; 44 – Хавцгайт; 45 – Урад (Ланшань); 46 – Янгсу(Кангуан); 47 – Сыын Чурек; 48 – Мугур Саргол-Чинге; 49 – «Дорога Чингисхана»; 50 – Ортаа Саргол; 51 – Усть Туба; 52 – «Шаман камень» (Оглахты); 53 – Суханиха; 54 – гора Тунчух; 55 – Ошкольская писаница; 56 – гора Седловина; 57 – гора Шишка; 58 – гора Полосатая.

бронзовый нож с плоским черешком сейминского типа найден на поселении металлургов Акмая в Сары Арке [Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 66, рис. 34, 1] и других алакульских памятниках: копьё в сочетании с уникальным бронзовым сосудом в могильнике Ащису [Кукушкин, 2011; 2011а].

О разнородном этнокультурном составе сейминско-турбинских производственных групп косвенно свидетельствует отсутствие территориальной локализации этой культуры, «пестрый» антропологический тип ее носителей [Дремов, 1984] и трудности с определением собственно сейминско-турбинской керамики как таковой [Черных, Кузьминых, 1989, с. 228–230, 240]. Здесь мы имеем дело с уникальным для советской археологии случаем, когда выделены мощные бронзолитейная и изобразительная традиция, а вот археологической культуры «под них» до сих пор не нашлось. Вероятно поэтому Г. Парцингер справедливо назвал сейминско-турбинский транскультурный феномен искусственным образованием [2000, с. 68].

Абсолютные даты сейминско-турбинских древностей традиционно определяются второй четвертью второго тысячелетия до н.э. по балкано-микенской линии «привязок», основанной на сходстве с материалами из шахтных гробниц в Микенах – костяных щитковых псабиев с шипами, а также по серебряному наконечнику копья, который происходит из уральских центров металлообработки и найден в Бородинском кладе (Молдавия).

Для сейминско-турбинского транскультурного феномена теперь имеется одна калиброванная дата по западносибирскому могильнику Сатыга (2125–1955 (2140–1940) гг. до н.э.) и три – по средневожскому Усть-Ветлужскому могильнику (1910–1620 (2020–1600) гг. до н.э.) [Чечушков, Епимахов, 2010, с. 182–229].

З.С. Самашев [2010] синхронизирует эти калиброванные даты с учетом новой микенской датировки, коррелированной по дендрохронологической шкале в пределах 18–17 веков до н.э., ориентируется на новые даты для культуры Эрлитоу

в Китае – 17–16 вв. до н.э., и для Зардча Халифа в Таджикистане – 21–17 вв. до н.э. [Бобомуллоев, 1993; Кузнецов, 2002, с. 81–82].

Излишне поспешно, как кажется, Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых [1989] отвергают гипотезу М. Лера о западном, степном импульсе в древнем Китае, связанном с племенами андроновской культурно-исторической общности [Loehr, 1956, p. 86], поскольку он сравнивал более поздние, а не синташтинско-петровские памятники раннего периода.

Представляется, что раннеандроновские кланы сейминско-турбинского и петровско-синташтинского круга активно продвигались в первой четверти второго тысячелетия до н.э. на восток вплоть до Ордоса. Активное их взаимодействие с местным монголоидным населением, их метисация стали основой формирующейся во второй половине второго тысячелетия до н.э. карасукской культуры, носители которой внесли значительный вклад в этногенез многих народов Центральной Азии и обладали своей собственной изобразительной традицией, ставшей в последующем основой знаменитого скифосибирского звериного стиля.

Китайские хроники и надписи на гадательных костях недвусмысленно свидетельствуют об активных контактах со степным населением, пришедшим с севера. Полагаем, что ваны многочисленных государств по северной границе Центральной равнины Китая были старейшинами – вождями степных кланов, мигрировавших вместе со своими сородичами из пределов степной ойкумены. В дальнейшем, этот канал коммуникации стал таким мощным, что по мере централизации раннекитайского государства в периоды Цинь и Хань потребовал грандиозного по своим трудозатратам строительства Великой китайской стены, которое продолжалось несколько столетий.



Рис. 4. Восточный Казахстан. Мойнак. Плоскость 33.
Фото (фрагмент) и прорисовка плоскости
(по: [Самашев, Чжан Со Хо, Боковенко, Мургабаев, 2011, с. 134]).

Андроновцы на юге – протоиранцы? Находки в южных памятниках региона – в оседлых поселениях земледельцев лепной керамики андроновского типа, металлических изделий из оловянистых бронз, позволяют предположить наличие активного канала коммуникации через Ферганскую долину, Прикаспий и полупустынные районы Приаралья. Менее документировано продвижение дальше на юг, в направлении Пакистана и Индии, где этот маршрут фиксируется многочисленными находками петроглифов вдоль Каракорумского шоссе [Jettmar, 1980; Dani, 1983].

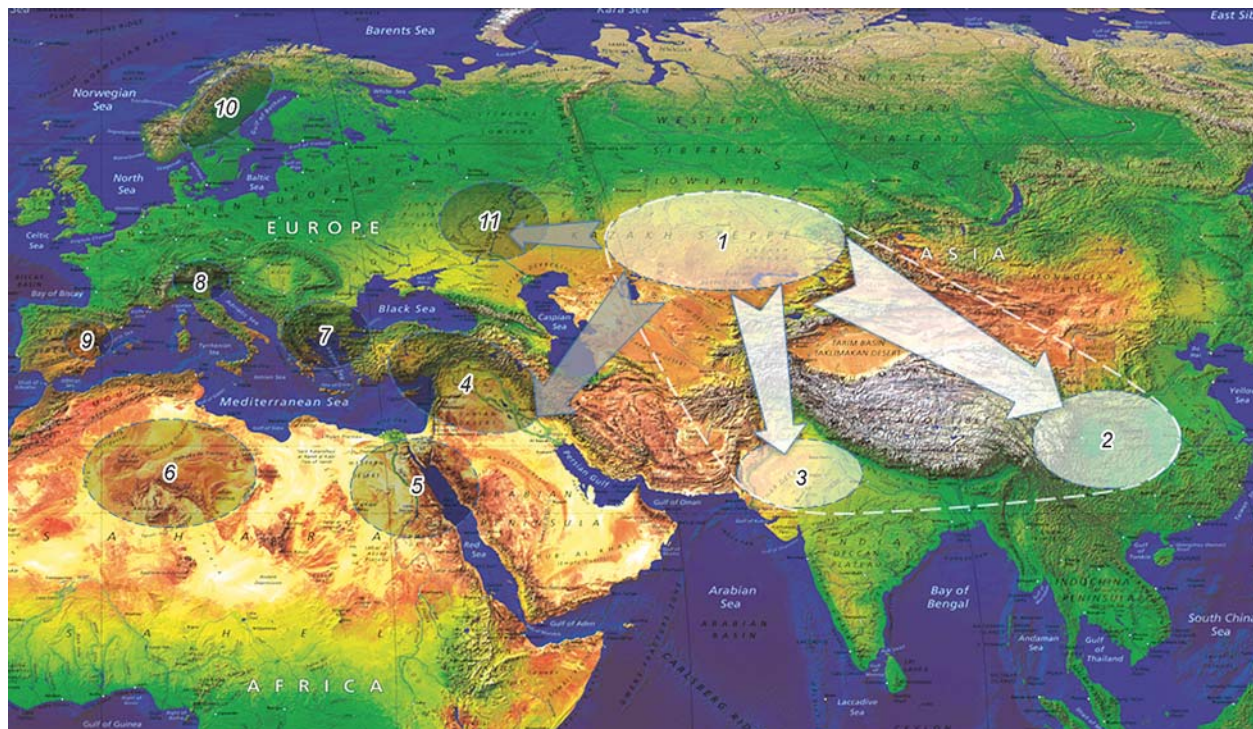


Рис. 5. Древнейшие колесничные комплексы Старого Света. Азиатский колесничный комплекс во II–I тыс. до н.э. и распространение колесничных инноваций на территории Азии.

1 – урало-казахстанский; 2 – древнекитайский; 3 – древнеиндийский; 4 – хетто-митанийский (ассиро-вавилонский); 5 – древнеегипетский; 6 – древнесахарский; 7 – древнегреческий; 8 – древнеримский; 9 – древнеиспанский; 10 – скандинавский; 11 – волго-донский.

Тазабэгъябская культура – 19–17 вв до н.э. (*Карнаб-Синкончи*). Локализуется в Приаралье [Итина, 1988]. Как вариант тазабэгъябской культуры рассматриваются памятники низовой Зеравшана, основным компонентом сложения которых стали постаные памятники заманбабинской группы [Гулямов и др., 1966; Итина, 1988, с. 232; Аванесова, 1991]. Дальнейшее развитие тазабэгъябской культуры связывается с контактами местной суярганской культуры и пришлого срубно-андроновского населения [Итина, 1988, с. 139–140, 176].

В Северном Афганистане на поселении Шортугай слой с хараппскими материалами перекрывают могилы бишкентской культуры с лепной посудой степного типа [Francfort, 1989, p. 211–223; pl. XXV, 7, ff.]. В материалах поселения имеется «пламевидный» бронзовый нож, шилья и булавки с навершиями, а также глиняная фигурка верблюда, аналогичная подобным статуэткам из поселения Пирак в Северном Пакистане [Jarrige, Santoni, 1979, p. 177–179, fig. 94, 95].

Носители бишкентской культуры, по А.М. Мандельштаму, были животноводы и пришли с се-

веро-запада. Эта культура генетически близка к андроновской [Мандельштам, 1968, с. 131–141]. Е.Е. Кузьмина атрибутирует бишкентскую (вахшскую) культуру как индоарийскую, подчеркивая при этом ее связи с Северной Индией. Основные истоки данной культуры – заманбабинский и андроновский [Кузьмина, 1994, с. 188–193].

Находки поселения Саразм имеют сходство с материалами из синхронных памятников Южного Туркменистана, северо-восточного Ирана и Белуджистана. Сосуд из Саразма содержит изображение лица человека, сходное с синташтинско-петровскими и шан-инскими статуэтками [Новоженков, 2012, с. 308–320]. Согласно хронологии Саразма, обоснованной Р. Безенвалем, датировка памятника определена между второй половиной 4 тысячелетия и второй половиной 3 тысячелетия до н. э. Сосуд с зооморфным декором, согласно этой хронологии, относится к эпохе энеолита. В это время зафиксированы западные связи Саразма с другими регионами Среднего Востока, а по сероглиняной керамике кельтеминарского облика – с северными, степными регионами [Besenval, Isakov, 1989].

В.М. Массон относит начало распространения степных комплексов в этом регионе к началу 2 тысячелетия до н. э., и эта постепенная миграция продолжалась в течении всего 2 тысячелетия до н.э. Автор, вслед за И.М. Дьяконовым, отмечает, что «на крайнем юге среднеазиатского региона носители традиций степной бронзы достигают оседлых оазисов, где процветала местная цивилизация древневосточного облика, и проникают в среду городского населения. Это был один из видов процесса культурогенеза – взаимная культурная и, видимо, этническая ассимиляция». Он определяет эту миграцию не как экспансию завоевателей и не как аморфное «просачивание» степного населения, а как организованный процесс миграции небольших по численности групп. «Надо полагать, что сложившаяся в нуклеарной части степной ойкумены структура раннего комплексного общества с руководящей элитой вооруженных колесничих способствовала этому процессу» [Массон, 1999].

Н.М. Виноградова также полагает, что процесс инфильтрации андроновских племен на юг был относительно медленным, никаких следов гибели земледельческих поселений не наблюдается. Контакты степняков и земледельцев носили мирный характер, что обусловилось обменом продуктов земледелия и ремесла с юга и медью и оловом – из северных областей. Сходные процессы происходят и в Южном Узбекистане, на памятниках сапаллинской культуры, что проявилось и в погребальной практике, и в материальной культуре. На юге Таджикистана андроновские племена вступают в контакт и с земледельцами, и с носителями бишкентско-вахской культуры. Эти коммуникации существуют как в андроновское, так продолжают и в карасукское время [Виноградова, 2004].

В целом, эта ситуация находит объяснение в свете теории Л. Грея и Т. Барроу о расселении индоарийцев и протоиранцев. По их мнению, первоначально на территории Центральной Азии и Восточного Ирана постепенно расселились протоиндоарийцы. Последующие миграции связаны с оттоком части избыточного населения в Индию. Когда иранцы приобрели контроль над этой территорией, они должны были встретить здесь потомков протоиндоарийцев и естественным способом стали с ними смешиваться в течение длительного времени [Вигтов, 1973; Литвинский, 1981, 2000, с. 185–288].

По археологическим данным индоиранская общность должна была окончательно распасться в период между 17–12 вв. до н. э. [Кузьмина, 1994].

В культуре Ирана в этот период возникает ряд существенных инноваций. Так, в Хасанлу, Динка-Тепе, Марлике, Бабаджане археологи обнаружили чуждый древним культурам Ирана обряд ритуального захоронения коня, а в Луристане и Сялке VI – обряд захоронения конской сбруи; в искусстве отмечаются многочисленные изображения коней, лошадиных грифонов, найденные в Амлаше, Луристане. В Сялке VI и Гияне найдены бронзовые удила предскифского типа [Кузьмина, 1994, с. 163–194].

Р. Гиршман первым сопоставил эти инновации в культуре, прослеженные им в Сялке, с миграцией индоиранцев. В пользу этого предположения свидетельствует то, что эти новые черты в духовной культуре Ирана имеют длительную традицию развития в евразийских степях [Кузьмина, 1994; Погребова, 1977]. Видимо, эти ритуальные захоронения фиксируют путь ираноязычных племен, двигавшихся из евразийских степей на Иранское плато и принеших с собой навыки коневодства и культ коня.

По свидетельству переднеазиатских письменных источников установлено, что ранее середины 2 тысячелетия до н. э. группа индоариев проникла на север Месопотамии и в южную часть Армянского нагорья. Они заняли господствующее положение в государстве Митанни и соседних государствах, что документируется распространением имен индоиранских богов, а также индоиранских имен, в том числе — у представителей правящей династии и знати [Кузьмина, 1994, с. 163–194].

Таким образом, в урало-казахстанских степях на рубеже 3 и 2 тысячелетий до н.э. возникает, а в первой половине 2 тысячелетия до н.э. активно распространяется в восточном (северо-восточном) и южном (юго-западном) направлениях, по степным и предгорным просторам Центральной Азии, мощная и мобильная андроновская протоцивилизация животноводов. Носители ее владели рядом прогрессивных для того времени навыков и инноваций, обеспечивавших им явное конкурентное преимущество во взаимоотношениях с известными оседлыми цивилизациями Старого Света. Сложился сложный, комплексный тип хозяйства [Епимахов, 2005], ориентированный на разные виды промыслов, сообразный природно-географическим нишам и ориентированный на живот-

новодство, в том числе – коневодство (лошади в некоторых андроновских сообществах составляли до 70 % поголовья в стадах [Грушин, 2011]) и, возможно, и земледелие – в долинах небольших рек и предгорьях, где имелись соответствующие природно-климатические условия. Население в таких экологических нишах было немногочисленно и ограничено природными ресурсами каждой такой речной долины [Евдокимов, 2001].

Среди важнейших революционных инноваций андроновцев – «протогорода» типа Синташта и Аркаим, а позднее – Кент, раскопки которых продемонстрировали развитые и осмысленные навыки фортификации, сырцового (глиняного) и каменного градостроительства.

Развитие коневодства, получившее в этот период свое дальнейшее развитие от древней ботайской традиции, привело к изобретению на рубеже 3 и 2 тысячелетий до н.э. революционного персонального транспортного средства – легкой и маневренной колесницы. В настоящее время в урало-казахстанских степях уже раскопано более полусотни памятников с колесничной атрибутикой [Новожинов, 2012; Чечушков, 2013]. Андроновские могильники этого типа демонстрируют устойчивый и развитый культ коня, колесницы и хронологический приоритет относительно других регионов Древнего мира, включая Египет и Хеттское царство.

Обладание передовой металлургической технологией (например, изготовление бронзовых сосудов и втульчатых копий: [Кукушкин, 2011]), включая мобильные способы бронзового литья [Русанов, 2011], позволяли производить самые передовые для того времени типы вооружения.

Перечисленные инновации уже сами по себе обусловили технологическое превосходство андроновских кланов над их соседями и в совокупности с естественными потребностями экстенсивного хозяйства, ориентированного на животноводство, обеспечили значительную территориальную экспансию.

Естественным образом в недрах этих социумов развивалась коммуникативная потребность передачи знаний, обучения и мифотворчества. Применительно к земледельческим цивилизациям письменность является непрямым таким классификатором. Кочевые же народы с древнейших времен развивали вербальную традицию, основанную на «образном» восприятии окружающего мира. Очевидно, что яркая орнаментальная

и наскальная андроновские традиции есть «протописьменность» этой своеобразной мобильной протоцивилизации, в социальном плане находящейся на уровне вождества, предшествующем формированию государственных структур [Бочкарёв, 2010, 2012].

Представляется, что существование трансконтинентального транспортного коридора – «Великого оловянного пути» – в течение всего второго тысячелетия до н.э. [Черных, 2009] есть ключ к сути этнокультурных процессов в Великой степи. Именно этот путь, как позднее – Шелковый, стал каналом распространения не только медной руды, олова и присадок для производства бронзы, но и новых знаний, дорогой постоянных миграций различных андроновских кланов и распространения их своеобразной изобразительной традиции по всей территории Центральной Азии.

Многочисленные местонахождения петроглифов, обнаруженные на этой обширной территории, представляются центрами коммуникации андроновских кланов между собой и богами, храмами под открытым небом, где совершались соответствующие ритуалы, коллективные мистерии, праздники, поиск жен. Последняя функция была особенно актуальной в условиях разрозненности и удаленности обитания андроновских кланов в степи. Притом чем южнее располагались эти кланы, тем на большем расстоянии друг от друга они вынуждены были расселяться, в силу скудости травостоя на одну единицу площади, активно осваивать предгорья, искать высокогорные джайляу. В свою очередь, такая особенность расселения усиливала коммуникативную потребность социума в целях сохранения собственной идентификации и стимулировала, в частности, развитие изобразительной традиции.

Важные подтверждения высказанной выше гипотезе дает анализ комплексных андроновских памятников, сочетающих изобразительные источники – петроглифы и археологические артефакты – андроновские могильники и поселения.

В последние годы раскопана значительная серия андроновских могильников и поселений в южных регионах Казахстана, в непосредственной близости от храмов – святилищ [Марьяшев, Рогожинский, 1991; Курманкулов, Ермолаева, 2011, с. 80; Марьяшев, Горячев, 2011; Самашев и др., 2013] – крупные, насчитывающие многие тысячи изображений, скопления петроглифов Ешкиольмес, Ойжайляу и особенно – Тамгалы [Рогожин-

ский, 2011б] и Баганалы [Самашев и др., 2013], где совершенно очевидно, что петроглифы эпохи бронзы и расположенные рядом андроновские могильники и поселения составляют единый культурный комплекс. Впрочем, как и в более северных памятниках Сарыарки, здесь петроглифы выбиты не только на плитах оградок могильника, но и непосредственно на стенках каменных ящиков, образующих могилы.

Многолетние систематические раскопки андроновских могильников и планомерное исследование петроглифов эпохи бронзы в ущелье Тамгалы и Баганалы [Рогожинский, 2011б; Самашев и др., 2013] делают сегодня эти памятники эталонными в плане комплексных исследований андроновской изобразительной традиции, в том числе и потому, что Тамгалы – пока единственный из многочисленных изобразительных памятников Центральной Азии и Южной Сибири включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Определенно выделяются памятники в степном и горно-степном ландшафте, наиболее близкие географически к основному ареалу распространения андроновских могильников и поселений, и петроглифы-святые места, расположенные на периферии – в предгорных и горных ландшафтах, свидетельствующие о территориальной экспансии и фиксирующие пути внешних коммуникаций андроновской КИО.

Происхождение андроновской изобразительной традиции. Представляется, что она развивалась на основе яркой и самобытной изобразительной традиции племен ямно-афанасьевского облика, расселившихся во второй половине 3-го тысячелетия до н.э. по всему Великому поясу степей Евразии – так называемая «северная волна» [Новоженев, 2012]. В основе своей эта изобразительная традиция имела месопотамские корни и творчески перерабатывалась животноводами сообразно их мифологическим представлениям. В Казахстане эта ямно-афанасьевская изобразительная традиция представлена немногочисленными, но очень выразительными рисунками, выполненными охрой в гротах или скальных нишах: Акбаур (Восточный Казахстан), на озере Жасыбай и гроте Тесиктас (Сарыарка) [Самашев, 2006; Мерц В.К., 2002; Новоженев, 2002].

«Южная ветвь» – южный импульс распространения изобразительной традиции пришел в Центральную Азию через племена БМАК [Сарианиди, 2010] в результате взаимодействия древ-

нейших цивилизаций Старого Света: Шумер – Аккад – Элам – Бактрия – Хараппа. Влияние и поразительное сходство сюжетов из раскопок Гонура и петроглифов Центральной Азии уже отмечалось [Рогожинский, 2011а; Марьяшев, 2011] и нашло яркое выражение в древнейших петроглифах Саймалы-Таша в виде самобытного «битреугольного стиля» изображения животных и прежде всего – быков. Соединение этих двух импульсов в урало-казахстанских степях на рубеже 3 и 2 тысячелетия до н. э., видимо, и привело к возникновению андроновской изобразительной традиции, воплощенной на скалах Центральной Азии.

Опорные персонажи андроновского изобразительного ряда. Очевидно, что археологические артефакты, обнаруженные в андроновских могилах и запечатленные на скалах, есть наиболее яркий диагностирующий признак наличия изобразительной традиции в социуме. Действительно, многие типы вооружений из андроновских могил изображены в многофигурных композициях на скалах. Петроглифы эпохи бронзы наглядно демонстрируют комплекс вооружения андроновского времени: копье, палицу-дубину, топоры-чеканы, ножи-кинжалы и различные по размерам луки. Так, на байконурских петроглифах запечатлены сразу все виды этого комплекса, включая интересного вида копье, в сцене противостояния быку, одному из главных персонажей этого изобразительного ряда [Новоженев, 2002].

«Солнцеголовый» герой – другой ключевой персонаж этой изобразительной традиции. Соллярное божество, представляющее богов Солнечной Династии, в андроновских петроглифах соответствует основным функциям мифологической космогонии индоевропейцев, это божество управляет колесницами, как правило, присутствует на алтарных, ключевых композициях изобразительных памятников [Рогожинский, 2009; Новоженев, 2012; Shvets, 2012].

Колесницы. В настоящее время известно более четырех сотен колесничных петроглифов – изображений колесниц на скалах, среди которых явно выделяются индивидуальные (одноместные) повозки архаической конструкции, запряженные парой (тройкой) лошадей, и двухместные экипажи, более развитых конструкций, с поручнями, такие как биги, триги и даже квадриги. Во всем центральноазиатском регионе реальные колесницы и колесничная атрибутика раскопаны только в раннеандоновских могильниках, расположен-

ных в урало-казахстанских степях и датированных рубежом 3–2 тысячелетий до н.э., а также в шан-иньских чемакынах более позднего времени в Китае [Новоженков, 2012, с. 305–308; Чечушков, 2013, с. 14–19]. Колесничные петроглифы географически фиксируют передвижение раннеандоновских кланов по направлению к плодородной Центральной равнине Китая. В последние годы китайскими археологами раскопаны новые андроновские могильники на этом маршруте, которые документируют факт пребывания андроновцев в тех краях [Qi Xiaoshan, Wang Bo, 2008].

Копья. Среди петроглифов Курчума в Восточном Казахстане пеший воин, в каком-то особом головном уборе и примыкающим к поясу предметом в виде хвоста, держит обеими руками копье с коротким древком и треугольным наконечником. Судя по иконографическим особенностям изображения антропоморфного персонажа с копьем относятся к сейминско-турбинскому кругу [Самашев, 1992, рис. 105].

Палицы-дубины. Изображения людей с палицами-дубинками чаще всего встречаются в памятниках Южного Казахстана, в Сарыарке, на Тарбагатае и на Тамгалы. Общее сходство – палица откидывается боеголовкой за плечи, видимо, это основной способ ношения данного вида оружия в мирной обстановке; палиценосцы изображены с согнутыми ногами, ступни ног направлены вперед; показан «хвост» иногда с шаровидным утолщением на конце; подчеркиваются первичные признаки мужского пола [Мургабаев, Елеуов, Самашев, 2006, с. 69; Рогожинский, 2001, с. 29].

Лук. Самые многочисленные изображения, известные по всему ареалу распространения петроглифов. Плохо различаются по конструкции, но показаны в разных размерах.

Ножи-кинжалы. Изображения бронзовых ножей эпохи бронзы встречаются не так часто, как в петроглифах Европы. На северо-восточном отроге хребта Каратау, на берегу р. Тэрс обнаружены два редких изображения ножей-кинжалов в натуральную величину. Один повторяет образцы, хорошо известные в Китае, другой – классический для казахстанских поселений эпохи бронзы, периода 13–10 вв. до н.э. [Самашев, 2006, с. 178].

Щиты. Сцена сражения двух пеших воинов с помощью палиц из местонахождения Сагыр-2 в Восточном Казахстане интересна тем, что на спинах людей показаны щиты [Самашев, 1992, с. 29; 2006, с. 105]. Эти щиты похожи на найденные в

китайских чемакынах. Предполагается, что такие плетеные из веток крест-накрест щиты, обтянутые сырой кожей, надежно защищали от любых ударов и их трудно пробить даже копьем [Соловьев, 2003, с. 30, 41]. В указанную композицию входят и изображения лошадей, выполненных в сейминско-турбинском стиле.

Таким образом, фрагменты андроновского изобразительного ряда (кода) реконструируется следующим образом:

.... => «солнцеголовый» персонаж в канонизированных позах (или мужчина с подчеркнутым признаком пола и «хвостом, иногда с “шаром” на конце» => колесница (на колесах со спицами, запряженная конями в стандартной позиции спинами друг к другу, а сама повозка исключительно в позиции «вид сверху») => разные типы вооружения => лошадь с «челкой», детализированной гривой (хвостом) => тучные быки с выгнутыми вперед большими рогами => верблюды => солярная символика (крестообразные знаки) =>...

Стратиграфия. В результате стратиграфических наблюдений (изучения палимпсестов), а именно перекрывания на одной плоскости древних изображений более «молодыми», в петроглифах степного Казахстана выделены два пласта, которые взаимосвязаны и представляют, очевидно, последовательное развитие манеры изображения одних и тех же персонажей во времени и в рамках единой изобразительной традиции.

Для первого пласта характерны фигуры антропоморфных «солнцеголовых» существ, животных со связанными ногами, мужчин с «хвостами», подчеркнутым признаком пола. Для этой группы петроглифов свойственна «натуралистичная» манера изображения, преобладают статичные позы. Это многочисленные сцены охоты с показанными типами вооружения, четырехколесными повозками и колесницами, эротические сцены, композиции, иллюстрирующие некоторые ритуалы (ашвамедха, раджасуя) и мифы, описанные в древнейших источниках – Ригведе и Авесте.

Особенностью многих фигур лошадей первого пласта изображений является подчеркнутая грива, в некоторых случаях – нависающая над головой животных в виде «челки». Этот элемент характерен и для изображений верблюдов. Именно так показаны лошади, запечатленные в бронзе на скульптурных наконечниках металлических предметов, главным образом кинжалов, из памятников сейминско-турбинского круга, выделенных в еди-

ный тип наиболее ярких образцов такого оружия [Черных, Кузьминых, 1989, с. 122].

Список аналогий может быть расширен находками из более южных районов – пятью кинжалами из Второго Каракольского клада, который был случайно обнаружен на юго-восточном берегу озера Иссык-куль [Винник, Кузьмина, 1981]. Орнаментированные рукояти кинжалов оканчиваются скульптурными фигурками животных, три из которых сохранились фрагментарно, а две других изображают лошадь с выделенной гривой и горного козла или архара. Ноги животных скошены вперед.

В могильнике Мыншункур (Жетысу) найдено золотое височное кольцо с раструбом и скульптурами лошадок, аналогичных фигурам на вершиях кинжала из Сейминского могильника [Акишев К.А., Акишев А.К., 1983]. Заметим, что в перечисленных выше районах собственно сейминско-турбинские памятники не известны.

Другая группа аналогий представлена случайными находками каменных наконечников и «желез» в виде головы лошади [Черников, 1960, с. 85–86, 88]. Из Минусинской котловины происходит случайная находка бронзовой скульптурки лошади на подставке с подчеркнутой гривой [Пяткин, Миклашевич, 1990, с. 147, рис. 1–8].

Значительную серию аналогий и петроглифов в этой манере для памятников Восточного Казахстана выделил и исследовал З.С. Самашев [1992, с. 204; 2010]. Примечательно, что две лошади, запряженные в покровскую колесницу, изображены в сейминско-турбинской манере, а иконографические особенности самой колесницы: лошади расположены одна над другой и показаны в сейминско-турбинском стиле, отличают ее от классических центрально-азиатских изображений. В сходной стилистике, но более схематично изображена редкая для азиатских петроглифов трига из Мойнака. Архаичный вариант конструкции этих колесниц, явный иной облик резко выделяет их из всей серии колесничных петроглифов.

Приведенные выше аналогии, как в мелкой пластике, так и в петроглифах, позволили выделить сейминско-турбинскую изобразительную традицию в наскальных изображениях Центральной Азии ([Пяткин, Миклашевич, 1990] с учетом критики данной концепции – см.: [Новоженев, 1990, 2002]). Наши аргументы тогда и сейчас сводятся к тому, что выделенные стилистические элементы по определению не могут связываться только с ярким и самобытным вооружением, име-

ющим широкую географию и свидетельствующим об определенном художественном стиле, но и непременно должны быть соотнесены с реальной археологической культурой (культурами) и в конечном итоге – с определенным народом или этносом, эту изобразительную традицию развивающим. Поэтому целесообразно рассматривать яркий сейминско-турбинский изобразительный стиль как составную часть раннеандроновской изобразительной традиции.

Хронологические рамки возникновения этого первого пласта по изображениям лошадей с подчеркнутой гривой, повозкам, вооружению и антропоморфным «солнцеголовым» фигурам определяются первой четвертью второго тысячелетия до н. э. Возможны значительные временные допуски верхней даты этого пласта, о чем свидетельствуют «доокуневские» и хараппские параллели изображений «солнцеголовых» существ. Канонизация и классическое оформление андроновской изобразительной традиции происходит во второй половине второго тысячелетия до н.э. (13–11 вв. до н.э.), о чем свидетельствуют петроглифы бронзового времени Тамгалы, Баганалы и раскопанные там могильники.

Яркая андроновская орнаментальная традиция развивается параллельно с изобразительной по своим собственным коммуникативным правилам. Здесь также выделяется ранний этап, связанный с декорами из раннеандроновских памятников синташтинско-петровского типа. Например – мог. Бестамак [Логвин, Шевнина, 2011, рис. 4–5] с классическими андроновскими орнаментами: заштрихованными треугольниками, меандрами, бегущей волной, свастикой на дне – середины – третьей четверти второго тысячелетия до н. э.

Другой пласт в петроглифах эпохи бронзы Центральной Азии может быть связан с передвижениями карасукоидных племен и атрибутирован как карасукский (аржано-майэмирский стиль). Детальный анализ этой изобразительной традиции выходит за рамки настоящей статьи. Приведем здесь лишь некоторые соображения.

Наблюдается отход от статичности изображений в сторону определенной схематизации и придания динамизма фигурам. Это проявляется в изменении поз животных, в появлении новых деталей – выступов на холке, скошенных вперед ног, стилизованных рогов и округлых контуров фигур. Показаны изображения оленей в позах, характерных для аржано-майэмирского стиля, также

представлен фигурами животных, выполненных в манере, близкой к канонам скифо-сибирского (сакского) звериного стиля.

Фигуры животных этого пласта, перекрывающие изображения первого, имеют характерные иконографические особенности, а именно – выбиты в «скелетном стиле», ноги скошены вперед, отмечается небольшой треугольный выступ на загривке. Видовой состав животных, представляющих второй пласт изображений, составляют лошади, показанные без гривы и нависающей надолбом «челки», горные козлы, коровы, степные антилопы и олени. К этой группе примыкают изображения коней, переделанные в быков, и фигуры животных, узнаваемые по манере изображения, близкой к сакскому звериному стилю.

Анализ стиля изображений эпохи бронзы различных животных и прежде всего оленей в петроглифах Центральной Азии и сопоставление их с материалами кургана Аржан в Туве позволили Я.А. Шеру выделить особый стилистический элемент – треугольный выступ на холке животных. Он является определяющим для изображений позднекарасукского времени и соотносится с ранним этапом формирования скифо-сибирского звериного стиля [Шер, 1980а, б].

Таким образом, в петроглифах эпохи бронзы выделяются два хронологических пласта изображений, соотнесенных с первой четвертью – серединой второго тысячелетия до н.э. и концом второго – первой половиной первого тысячелетия до н.э., и которые могут быть связаны с андроновскими и карасукскими (карасукоидными) племенами соответственно. Возможно, «стилистически» эти два пласта могут рассматриваться как естественное развитие одной андроновской (индоиранской) изобразительной традиции в продолжительном временном континууме, поскольку чаще всего зафиксированы на одних и тех же святилищах.

Список литературы

- Аванесова Н.А.** Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР. – Ташкент: Фан, 1991. – 200 с.
- Акишев К.А., Акишев А.К.** Древнее золото Казахстана. – Алма-Ата: Өнер, 1983. – 34 с.
- Бобомуллов С.** Раскопки погребального сооружения из Зардхахалифы // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия востоковедения, история, филология. – Душанбе, 1993. – С. 56–63.
- Бочкарёв В.С.** Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. – СПб., 2010.
- Бочкарёв В.С.** О некоторых характерных чертах эпохи бронзы Восточной Европы // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию М.П. Грязнова. – СПб., 2012. – Т. 2. – С. 13–24.
- Винник Д.Ф., Кузьмина Е.Е.** Второй Каракольский клад // КСИА. – М., 1981. – Вып. 167. – С. 48–53.
- Виноградова Н.М.** Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. – М., 2004.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В.** Синташта. Археологический памятник арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 1992. – Т. 1. – 407 с.
- Грушин С.П.** Реконструкция состава стада поселка эпохи ранней бронзы Костенкова избушка в верхнем Приобье // Маргулановские чтения 2011 года. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2011. – С. 411–413.
- Гулямов Я., Исламов У., Аскарлов А.** Первобытная культура в низовьях Зеравшана. – Ташкент, 1966. – 266 с.
- Дремов В.А.** О родственных связях населения Среднего Прииртышья в эпоху бронзы // Проблемы этнической истории тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. – Омск, 1984. – С. 14–21.
- Дьяконов И.М.** Прародина индоевропейцев: (по поводу кн. Е.Е. Кузьминой «Откуда пришли индоарии?») // ВДИ. – 1995. – № 1. – С. 123–130.
- Евдокимов В.В.** Эпоха бронзы степей Центрального и Северного Казахстана: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Алматы, 2001. – 36 с.
- Епимахов А.В.** Ранние комплексные общества севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). – Челябинск: Челяб. дом печати, 2005. – Кн. 1.
- Епимахов А.В., Хэнкс Б., Ренфрю К.** Радиоуглеродная хронология памятников бронзового века Зауралья // Российская археология. – 2005. – № 4.
- Епимахов А.В., Чечушков И.В.** К вопросу о способах управления пароконной колесницей бронзового века // Происхождение и распространение колесничества: сб. науч. ст. – Луганск: Глобус, 2008. – С. 205–211.
- Зданович Г.Б.** Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та. 184 с.
- Итина М.А.** История степных племен Южного Приаралья (II – начало I тыс. до н.э.). – М.: Наука, 1988. – 239 с. – (Тр. Хорезмской экспедиции; т. 10).
- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.** Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки (по материалам Северной Бетпак-Далы). – Алматы: Гылым, 1992. – 247 с.
- Ковтун И.В.** Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной Азии. Проблемы генезиса и хронологии иконографических комплексов Северо-Западного Саяно-Алтая. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2001. – 184 с.
- Ковтун И.В.** Предыстория индоарийской мифологии. – Кемерово: Азия-Принт, 2013. – 702 с.
- Кузнецов П.Ф.** Образы коня в бронзовом веке и еще одна интерпретация ростовкинской композиции // Север-

ная Евразия в эпоху бронзы: пространство, время, культура. – Барнаул, 2002. – С. 81–84.

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М.: Рос. ин-т культурологии РАН и МК РФ, 1994. – 464 с.

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М; СПб., 2008а. – 556 с.

Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. – Актобе: Принт А, 2008б. – 360 с.

Кузьмина Е.Е. Роль Казахстана в истории древней Евразии // Казахстан и Евразия сквозь века: история, археология, культурное наследие: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию со дня рождения акад. Национальной Академии наук Республики Казахстан К.М. Байпакова. – Алматы, 2010. – С. 417–423.

Кузьмина Е.Е. Образ Митры в наскальном искусстве азиатских степей // Древность: историческое знание и специфика источника: мат-лы междунар. науч. конф., посвящ. памяти Э.А. Грантовского и Д.С. Раевского, 12–14 дек. 2011 г. – М.: ИВ РАН, 2011. – Вып. V. – С. 124–126.

Кузьмина Е.Е. Образ Митры в искусстве степей Евразии, Индии и Ирана во II – начале I тыс. до н.э. и лингвистические данные // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения выдающегося рос. археолога М.П. Грязнова. – СПб., 2012. – Т. 1. – С. 127–133.

Кукушкин И.А. Металлические изделия раннеандроновского могильника Ацису // Российская археология. – 2011. – № 2. – С. 110–116.

Курманкулов Ж.К., Ермолаева А.С. Археология эпохи бронзы в независимом Казахстане // Свидетели тысячелетий: археологическая наука Казахстана за 20 лет. – Алматы, 2011. – С. 69–84.

Литвинский Б.А. Проблемы этнической истории Средней Азии во II тысячелетии до н.э. // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. – М.: Наука, 1981. – С. 54–166.

Литвинский Б.А. Медные котелки из Индостана и Памира // Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии. – М. Геос, 2000. – С. 277–294.

Логвин А.В., Шевнина И.В. Об одном синташтинском погребальном комплексе могильника Бестамак // Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги и перспективы: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 20-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК. – Алматы, 2011. – Т. 1. – С. 349–360.

Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // МИА. – Л.: Наука, 1968. – 184 с. – № 145.

Марьяшев А.Н. Наскальные изображения Казахстана: итоги 20-летнего изучения и проблемы // Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги и перспективы: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 20-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК. – Алматы, 2011. – Т. 1. – С. 36–40.

Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Итоги изучения памятников эпохи бронзы Жетысу // Свидетели тысячелетий: археологическая наука Казахстана за 20 лет. – Алматы, 2011. – С. 313–337.

Марьяшев А.Н., Рогожинский А.Е. Наскальные изображения в горах Ешкюльмес. – АлмаАта: Гылым, 1991. – 48 с., 60 ил.

Массон В.М. О продвижении носителей культур степной бронзы и процессах культурогенеза в древней Средней Азии // Комплексные общества Центральной Евразии в 3–1 тыс. до н. э.: региональные особенности в свете универсальных моделей. – Челябинск; Аркаим: Аркаим, 1999. – С. 72–77.

Мерц В.К. Наскальные рисунки края Кереку-Баян. – Павлодар: Изд-во Павлодар. ун-та, 2002. – 114 с.

Мургабаев С., Елеуов М., Самашев З. Үлкен Қаратау петроглифтері // ҚазҰУ Хабаршысы. Тарихсериясы. – Алматы, 2006. – № 3 (42). – С. 68–73.

Новоженев В.А. Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии: (к проблеме миграции населения степной Евразии в эпоху энеолита и бронзы). – Алматы: Аргументы и Факты. – Казахстан, 1994.

Новоженев В.А. Петроглифы Сары Арки. – Алматы: Изд-во Ин-та археологии, 2002. – 125 с.

Новоженев В.А. Чудо коммуникации и древнейший колесный транспорт Евразии / под ред. Е.Е. Кузьминой. – М.: ТАУС, 2012. – 500 с.

Парцингер Г. Сейминско-турбинский феномен и формирование сибирского звериного стиля // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 1. – С. 66–75.

Погребова М.Н. Иран и Закавказье в раннем железном веке. – М.: Наука, 1977. – 183 с.

Пяткин Б.Н., Миклашевич Е.А. Сейминско-турбинская изобразительная традиция: пластика и петроглифы // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. – М.: Наука, 1990. – С. 146–153.

Рогожинский А.Е. Изобразительный ряд петроглифов эпохи бронзы святилища Тамгалы // История и археология Семиречья. – Алматы, 2001. – Вып. 2. – С. 7–44.

Рогожинский А.Е. Изучение и сохранение памятников наскального искусства в Казахстане (итоги и перспективы на рубеже столетий) // Вестн. САИПИ. – Кемерово, 2002. – Вып. 5. – С. 12–20.

Рогожинский А.Е. Наскальные изображения «солнце-головых» из Тамгалы в контексте изобразительных традиций бронзового века Казахстана и Средней Азии // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. – Бишкек, 2009. – Вып. 4.

Рогожинский А.Е. Образы и реалии древнеземледельческой цивилизации Средней Азии в наскальном искусстве эпохи бронзы Южного Казахстана и Семиречья // Наскальное искусство в современном обществе: мат-лы междунар. науч. конф. – Кемерово, 2011а. – С. 87–99.

Рогожинский А.Е. Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы. – Алматы, 2011б. – 342 с.

Русанов И.А. Особенности металлургии укрепленных поселений бронзового века Зауралья: (по данным экспериментальных работ) // Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги и перспективы: материалы междунар.

науч. конф., посвящ. 20-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК. – Алматы, 2011. – Т. 1. – С. 314–320.

Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. – Алма-Ата: Гылым, 1992. – 288 с.

Самашев З. Петроглифы Казахстана. – Алматы: Онер, 2006. – 200 с.

Самашев З. Наскальные изображения Казахстана как исторический источник: автореф. ... д-ра ист. наук. – Алматы, 2010. – 59 с.

Самашев З. Наскальные изображения Жетысу. Баянжурек. – Астана: Издат. группа фил. Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана, 2012. – 240 с.

Самашев З., Байтлеу Д., Кариев Е., Мургабаев С. Исследование археологического комплекса Баганалы в Шиелинском районе Кызылординской области // Археологические исследования степной Евразии: сб. ст. к 70-летию В.В. Евдокимова. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2013. – С. 71–88.

Самашев З., Жетібаев Ж. Қазақпетроглифтері (көнетамыры мен сабақтастығы). – Алматы, 2005. – 132 с.

Самашев З., Чжан Со Хо, Боковенко Н., Мургабаев С. Наскальное искусство Казахстана. – Сеул; Астана: Фонд истории Северо-Вост. Азии, Астанин. фил. Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана, 2011. – 464 с.

Сарианиди В.И. Задолго до Заратуштры. Археологические доказательства протозороастризма в Бактрии и Маргиане. – М.: Старый сад, 2010.

Соловьев А.И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до средневековья. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2003. – 224 с.

Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР. – М.: Наука, 1969. – 235 с.

Формозов А.А. О месте наскальных изображений в истории искусства // Проблемы археологии Урала и Сибири. – М.: Наука, 1973. – С. 273–279.

Франкфор А.-П., Якобсон Э. Подходы к изучению петроглифов Северной, Центральной и Средней Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 2 (18). – С. 53–78.

Ченченкова О.П. Каменная скульптура лесостепной Азии эпохи палеометалла III–I тыс. до н.э. Под ред. Д.Г. Савинова. – Екатеринбург: Тезис, 2004. – 336 с.

Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы // МИА. – М.: Л., 1960. – 272 с. – № 88.

Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: феномен кочевых культур. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 624 с.

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии. – М.: Наука, 1989. – 320 с.

Чечушков И.В. Колесничный комплекс эпохи поздней бронзы степной и лесостепной Евразии (от Днепра до Иртыша): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М.: ИА РАН, 2013. – 27 с.

Чечушков И.В., Епимахов А.В. Колесницы и упряжь как культурный индикатор эволюции коневодства. Колесничный комплекс Урало-Казахстанских степей // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург: Ин-т экологии растений и животных УО РАН, 2010. – С. 182–229.

Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980а. – 328 с.

Шер Я.А. Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. – Кемерово: КГУ, 1980б. – С. 344–346.

Шер Я.А. Стиль в первобытном искусстве // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции: материалы тематич. науч. конф. – СПб., 2004. – С. 9–13.

Besenval R., Isakov A. Sarazm et les debuts du peuplement agricole dans la region de Samarkand // Annales du muse Guimet et du muse Cernuschi. – 1989. – XLIV. – P. 5–20.

Burrow T. The Proto-Indoaryans // JRAS. – 1973. – № 2. – С. 123–140.

Dani A.H. Chilas: The city of Nanga Parvat (Dyamar). – Islamabad, 1983. – XV. – 251 p.

Francfort H.-P. Fouilles de Shortughai. Recherches sur l'Asie Centrale protohistorique. – Paris: Diffusion de Boccard, 1989. – T. II, vol. 1–2. – 517 p.

Jarrige J.-F., Santoni M. Fouilles de Pirak. – Paris: Diffusion de Boccard, 1979. – Vol. 1. – 411 p.

Jettmar K. Felsbilder und Inschriften am Karakorum Highway // Central Asiatic journal. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1980. – 24. – № 3–4. – S. 185–221.

Loehr M. Chinese Bronze Age Weapons. – Ann Arbor; London: Oxford Univ. Press, 1956. – XIII. – 233 p.

Qi Xiaoshan, Wang Bo. The Ancient Culture in Xinjiang Along the Silk Road. – Xinjiang, 2008. – 304 p.

Shvets I.N. Studien zur Felsbildkunst Kasachstans. – Darmstadt; Mainz: Philipp von Zabern, 2012. – XII, 257, 151. – (Materialien zur Archaeologie Kasachstans; Bd. 1).

**СЕМАНТИКА ИСКУССТВА ЭПОХИ БРОНЗЫ
И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА**



СЮЖЕТ ТУРБИНСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

Выгнутообушковый нож с фигуративным навершием из могильника Турбино II не сохранился. Поэтому интерпретация смыслового значения его скульптурной группы связана с неизбежным допущением, признающим описания и изображения данного изделия достоверными, а фрагментарную фотокопию достаточной для представления о предмете исследования (рис. 1–3).

Судя по рисунку, выполненному Ф.А. Теплоуховым и изданному А.А. Спицыным [Спицын, 1915, с. 232, 234, рис. 19], а затем скорректированному О.Н. Бадером (рис. 1, 2), как указывает автор, по фотографиям из работ Д.Н. Эдинга и С.В. Киселева [Бадер, 1964, с. 129, рис. 113], рукоять турбинского ножа венчают фигурки трех баранов. В работе С.В. Киселева издания 1949 г. такой фотографии нет, а есть довольно схематичный рисунок рукояти изделия и ее навершия [Киселев, 1949, с. 69, табл. XI, рис. 10]. Но у Д.Н. Эдинга представлена довольно крупная черно-белая фотокопия левого профиля рукояти и скульптурного навершия ножа из Турбино II [Эдинг, 1940, с. 80, рис. 76] (рис. 3). Вероятно, это единственное сохранившееся аутентичное воспроизведение фрагмента данного изделия.

Справедливо полагая, что происхождение ножа может выясниться в результате установления разновидности запечатленных на нем баранов, О.Н. Бадер попытался разрешить эту задачу. Но мнения палеонтологов разошлись. Большинство исследователей определили фигурки животных как изображения диких баранов архаров или аргали. Одновременно отмечалось, что рога баранов не образуют второго витка спирали, имеющегося у центральноазиатских баранов, а горбоносость первой фигурки является признаком одомашнивания [Бадер, 1964, с. 123].

Краеугольными для семантической реконструкции представляются отличия в детализа-

ции турбинских скульптурок. Сведения о них О.Н. Бадер приводит из неопубликованного описания М.П. Грязнова: «У первой и третьей фигур задние ноги, а у второй передние и задние – раздельны» [Бадер, 1964, с. 122]. Такое «распределение» детализированных, раздельных, ног фигурок животных подтверждается и описанием знакомого с подлинником Д.Н. Эдинга: «между прочим передние ноги у крайних фигур не разделены» [1940, с. 87]. Таким образом, скульптурка среднего барана отличается от двух крайних изображений тем, что все четыре ноги центрального персонажа выполнены раздельно. У первой и последней фигурок только одна, передняя, пара ног выполнена слитно, а задняя пара ног – раздельно. Стилизованное слитное изображение ног животных известно на сейминско-турбинских ножах и постсейминско-турбинских кинжалах. Подобным образом переданы ноги коня из Ростовки (наблюдения автора) и двух лошадок на раздваивающейся рукояти ножа из окрестностей г. Омска [Молодин, Нескоров, 2010, с. 65, 66], а также ноги и рога быков с постсейминско-турбинского ножа из Джумбы (наблюдения автора). В свою очередь, лошадка с постсейминско-турбинского шемонаихского кинжала передана стоящей на четырех коротких ногах, и на четырех ногах запечатлен баран на кинжале этого же времени из Курчума [Самашев, Жумабекова, 1993, с. 24]. Скульптурные навершия постсейминско-турбинских кинжалов Второго Каракольского клада демонстрируют оба варианта: лошадь изображена на двух, а фигурка горного барана – на четырех раздельных ногах. Поврежденные навершия еще двух кинжалов, судя по всему, изображали животных (лошадь, баран?), опиравшихся на две слитные пары ног [Винник, Кузьмина, 1981, с. 48, 49]. Своеобразна скульптурка тигра на втулке копья из-под Омска.

Лапы хищника разделены при литье, но сквозных проемов между ними нет. Между передними лапами только спереди, под мордой животного, имеется «арочное» углубление. Задние лапы также разделяет подобная глухая «арка»; в большей степени выделенная спереди, и в меньшей – под хвостом, сзади (наблюдения автора).

Как видно, никакой хронологической закономерности в особенностях передачи ног (лап) зооморфных изображений нет. В обоих случаях имеются как стилизованные, так и достоверно переданные конечности животных. При этом нет ни одного примера (!) половинчатого иконографического решения: каждой скульптурке отливались либо все четыре ноги, либо две слитные пары ног. Но именно такое, совмещающее оба способа передачи конечностей животного, уникальное решение представлено в скульптурном навершии ножа из могильника Турбино II: у двух крайних баранов передние ноги слиты, а задние разделены, причем баран, расположенный между ними, имеет все четыре ноги (рис. 1–3). Размеры этого персонажа заметно превосходят величину крайних скульптурок. Детализация конечностей, крупные размеры и срединное положение данной фигурки выдают стремление автора скульптурной группы обратить внимание на особо выделяемый образ. Следовательно, и изобразительный план, и обусловившее его смысловое значение отводят скульптурке этого барана место центрального персонажа турбинской композиции. Но с чем связана столь необычная передача ног его «окружения»? Если бы создатель скульптурной группы стремился к минимизации своих усилий и одновременной демонстрации детализированного «фасада» композиции, то у первого барана были бы разделены передние, а у последнего – задние ноги. Тогда анфас и задний план скульптурной группы передавали бы изображения видимых в этом ракурсе конечностей животных, соответствующие оригиналу. Фактически же у обоих крайних баранов раздельно переданы только задние ноги. В сейминско-турбинской и постсейминско-турбинской металлопластике аналогов этому нет. Следовательно, причина сочетания различных способов изображения ног животных в скульптурках и в композиции заключена в содержании самой турбинской мизансцены. Слитное изображение пары передних ног крайних персонажей составляет их отличие от центральной фигурки и определяет сходство

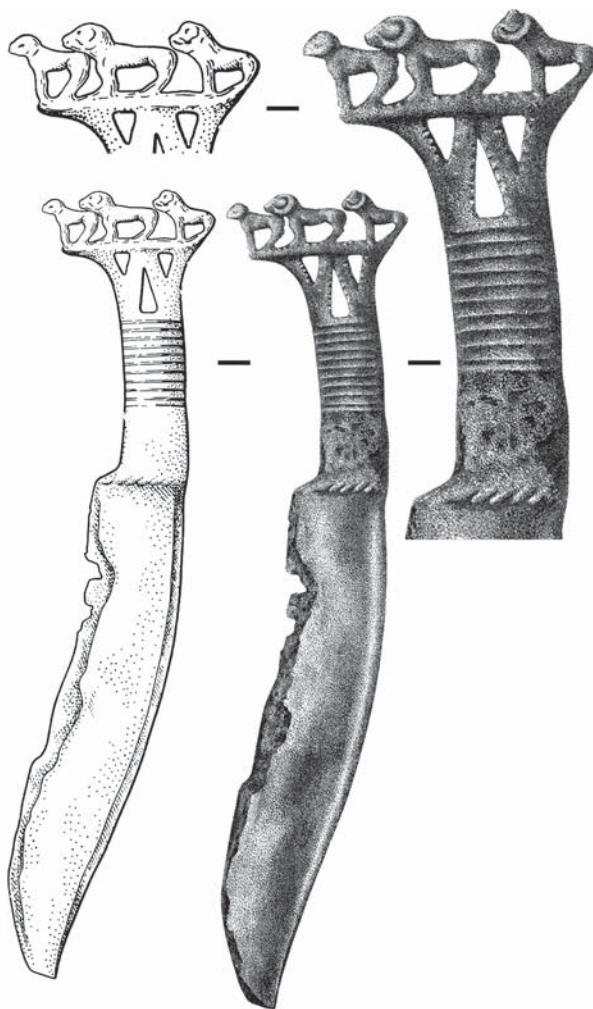


Рис. 1. Нож из Турбино II. Рисунки О.Н. Бадера, Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых.

между собой. Вероятно, это соответствие не случайно и обусловлено единым смысловым значением образов. В свою очередь, схожее содержание персонажей отразилось в однообразной манере изображения их передних конечностей. Посредством данного изобразительного приема передавалось присущее крайним баранам некое общее качество. Изображение слитных передних ног передает такое положение конечностей, при котором одна нога плотно прижата к другой. Зоотомически подобное положение ног барана, а тем более, стоящего барана, невозможно. Следовательно, ноги двух крайних баранов турбинского навершия сведены вместе принудительно. Связаны? По-видимому, да.

Итак, при интерпретации турбинской композиции выясняются два ключевых обстоятельства:



Рис. 2. Нож из Турбино II.
Рисунок Ф.А. Теплоухова.



Рис. 3. Нож из Турбино II.
Фотокопия Д.Н. Эдингга.

1) мизансцена имеет главного, изобразительно выделенного персонажа, занимающего центральную часть композиции; и 2) смысловое значение двух крайних образов идентично и акцентировано символически переданной связанностью их передних ног. Пространственное соотношение участников мизансцены определяет структуру композиции. Центральное местоположение отведено главному персонажу, а впереди и сзади него расположились иные, семантически схожие между собой образы. Именно они указывают путь к интерпретации скульптурной группы турбинского ножа. Связанные передние ноги барана трудно объяснить чем-либо, помимо подготовки животного к ритуалу жертвоприношения. Поэтому имеются все основания полагать, что первая и последняя фигурки турбинского навершия изображали животных, отправляемых на заклание.

Небезынтересные свидетельства особого обращения с жертвенными баранами зафиксированы в Бактрийско-Маргианском археологическом комплексе. В могильнике Гонур-депе были открыты как погребения людей с баранами и ягнятами,

так и обособленные захоронения баранов, датирующиеся концом III – началом II тысячелетия до н.э. [Дубова, 2004, с. 254, 257–260; Сарианиди, Дубова, 2008, с. 149, 152]. В большинстве случаев общее число баранов в групповых погребениях представлено тремя особями, что соответствует количеству бараньих фигурок на турбинском ноже. Кроме того, созвучным турбинскому навершию представляется и стремление различными способами выделить одно из трех жертвенных животных. В погребении № 3124 были захоронены два взрослых барана, лежавших головой на север, в затылок друг другу, и один ягненок, лежавший под ногами южного барана, но головой на запад [Дубова, 2004, с. 259]. В цисте № 3130 были захоронены два взрослых барана мордами друг к другу и головами на северо-запад – запад, а за спиной северного барана лежал ягненок, обращенный головой на северо-восток [Там же, с. 260]. Погребение

№ 3597 содержало захоронение осла, в ногах которого лежали три ягненка. Перпендикулярно к этому погребению расположены три могилы: № 3621, 3622 и 3623, содержавшие захоронения баранов. Особо выделено погребение барана в центральной камере № 3622: у животного отсечена голова, а бронзовая пластина «вставлена» в позвоночник у поясницы [Сарианиди, Дубова, 2008, с. 149]. Схожий мотив «трех баранов», только усложненный дополнительными жертвоприношениями, прослеживается и в комплексе цисты № 2900. Здесь под мужским скелетом находился полный скелет молодого ягненка, а к ее восточной стенке примыкало захоронение двух взрослых баранов, лежащих головами друг к другу с переплетенными между собой ногами. За их спинами лежало по одному молодому ягненку, а за задними ногами – две собаки, и нижняя челюсть лошади у спины северного барана [Дубова, 2004, с. 255–257].

Количественно идентичные тройные захоронения овец зафиксированы и в жертвенных ямах аркаимского некрополя – в 25 кургане Больше-

караганского могильника [Зданович и др., 2002, с. 84–95]. В яме 1, наряду с другими жертвенными животными, были обнаружены черепа трех овец. В яме 3, также совместно с другими жертвоприношениями, находились кости и черепа трех овец. Яма 19, помимо костяков прочих жертвенных животных, содержала кости и черепа двух овец и кости конечностей и ребер ягненка [Там же, с. 84–86, 91–93].

В жертвенном комплексе I Синташтинского могильника, где вдоль восточной стенки лежали пять конских черепов, а вдоль западной стенки находились еще один лошадиный и четыре безрогих бычьих черепа, у южной стенки были найдены черепа двух баранов и перевернутый вверх дном сосуд [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 235]. Состав стада отражает иерархию индоиранской животной жертвенной триады, восходящей к индоевропейской традиции деления животных по степени их близости к человеку: «Ближе всего к человеку был конь, далее крупный рогатый скот (быки и коровы), затем мелкий рогатый скот (бараны и овцы)...» [Иванов, 1989, с. 80–81]. Количество особей синташтинского жертвенника возрастает пропорционально ритуальной значимости вида. Число быков вдвоекратно, а лошадей втроекратно превышает количество жертвенных баранов.

В индоевропейской традиции овца – баран, наряду с конем и коровой, является одним из трех основных жертвенных животных, посвященных богам [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 581]. Баран входил в число жертвенных животных ведийских ариев, хотя и не был главным среди них [Элиаде, 2002, с. 198–204]. Но наличие самого мотива жертвоприношения, окружающего главного героя турбинской композиции – крупного барана, позволяет предполагать, что этот персонаж и является адресатом ритуального воздаяния. Но почему одни бараны приносятся в жертву другому барану? Потому, что под обликом этого животного подразумевался совсем иной персонаж:

«Этого барана – много раз призванного, прославленного
Индру опьяняйте хвалебными песнями, (этот) поток
добра,
Чьи (деяния) ради людей распространяются, как небеса.
Воспевайте (нам) на радость щедрейшего
вдохновенного!»

(Ригведа, I. 51. 1).

Бараном Индру называют потому, что однажды в облике барана он пришел к риши Медхатитхи

и выпил его сому [Елизаренкова, 1989а, с. 573]. Гимн прославляет деяния Индры, включая главный космогонический подвиг – убийство Вритры. Следующий гимн, представляющий Индру в облике барана, уже целиком посвящен победе Индры над Вритрой:

«Я хочу прекрасно возвеличить этого барана,
находящего солнце,
Чья сотня благотворных (сил) сразу приходит
в движение.

Как скакуна – к награде, мчащуюся на зов колесницу –
Индру я хотел бы обратить к себе на помощь
хвалебными песнями».

(Ригведа, I. 52. 1).

В обоих гимнах повторяется тема так называемого основного мифа о поединке Бога Грозы и его противника [Иванов, Топоров, 1974, с. 164; и др.]. В третьем гимне баран-Индра, заметив жертвователя, собирающего сому для жертвоприношения, возглавляет и ведет Марутов [Елизаренкова, 1989б, с. 550]:

«Когда он карабкался с вершины на вершину
(И) видел, как много надо сделать,
Тогда Индра замечает (его) цель.
Как баран (-вож.приходит в движение вместе
со стадом».

(Ригведа, I. 10. 2).

Но и здесь обнаруживаются сюжетные элементы одной из вариаций основного мифа:

«(Загон с коровами,) легко открываемый,
легко опустошаемый, –
О Индра, (это) отличие, даваемое только тобой!
Открой загон с коровами!
Соверши благодеяние, о хозяин давящих камней!»

(Ригведа, I. 10. 7).

В этом стихе гимна употребляется лексика мифа об освобождении Индрой коров демона Вала [Елизаренкова, 1989а, с. 550]. Смысловое значение этого подвига тождественно убийству Индрой Вритры [Огибенин, 1968, с. 52]. Вала часто соединяется с Вритрой или замещается им. У них сходные функции, одинаковые контексты, и их роднит семантическая и фонетическая близость самих этих слов. Индра освобождает коров из пещеры Вала подобно тому, как он освобождает воды, разбивая преграду, поражая Вритру [Иванов, Топоров, 1974, с. 43–44]. Убийство Вритры и освобождение коров из скалы Вала – это дублиеты, восходящие к одному исходному космогоническому прамифу: бог-демиург сокрушает преграду,

мешавшую космосу функционировать нормально – рекам течь в море, утренним зорям сменить друг друга, чередуясь с ночами, и т.д. [Елизаренкова, 1999а, с. 456].

Таким образом, все три гимна полностью или частично, непосредственно или вариативно посвящены демиургическому акту Индры. Он освободил воды (семь рек), выпустил из мрака зарю (Ушас), солнце, Сому, коров и т.д. [Иванов, Топоров, 1974, с. 40–43]. Своей победой Индра сотворил солнце, небо и рассвет, разделил Небо и Землю, позволив Солнцу воссиять [Элиаде, 2002, с. 97], разрубив *Вритру надвое*, создает из его частей луну и чрево для демонов (преисподнюю?) [Гринцер, 1974, с. 226]. По другой версии из части, содержащей сому, Индра творит луну, а из половины тела, не содержащей божественного элемента, – чрево людей [Элиаде, 1998, с. 145, 146]. Следовательно, барану-Индры неизменно сопутствует повторяющийся сюжет или сюжетный эпизод основного мифа. Инвариантность установленного сочетания означает, что облик барана отождествлялся с главным космогоническим подвигом Индры, ставшим отправной точкой его акта Творения. Он убивает Вритру потому, что: «мир и жизнь не могли родиться иначе как через умерщвление аморфного первичного Существа» [Элиаде, 2002, с. 192]. М. Элиаде идентифицирует этот мотив с жертвоприношением расчлененного Пуруши и с самопожертвованием Праджапати, с той разницей, что воин-Индра жертвует не собой, а своим противником – первичным драконом [Там же]. Объединяющим мотивом, в данном случае, является идея расчленения Вритры и Пуруши, а принесение такой расчлененной жертвы порождает особое состояние силы, процветания и благополучия [Топоров, 2006, с. 455]. Акт Творения мироздания тождествен жертвоприношению Первосущества, и это жертвоприношение становится залогом жизни и плодородия. Не всем упоминаниям этого деяния Индры сопутствует его перевоплощение в барана, но все упоминания барана-Индры сопровождаются описанием этого деяния. Поэтому образ барана-Индры представляется архаизмом контекстной ситуации с центральным мотивом космогонического жертвоприношения.

Баран далеко не самое популярное из воплощений Индры. Для установления смыслового значения и истоков этого аватара симптоматичны прочие сопутствующие ему и повторяющиеся сю-

жетные мотивы. Если образ барана-Индры символизирует некую особенность данного персонажа, то и мотивы, сопутствующие описаниям подобного воплощения божества, должны содержать нечто схожее. И такое сходство есть. Появление Индры в облике барана неизменно сопровождается мотивом сомы. Сома – божественный напиток (и божество этого напитка) из сока одноименного растения, служащий для приготовления напитка силы и бессмертия богов амриты [Елизаренкова, 1989а, с. 475; Елизаренкова, 1999б, с. 323; Топоров, 1994, с. 462, 463], и, одновременно, главный предмет жертвоприношения ведийских ариев [Элиаде, 2002, с. 198, 199]. Мотив сомы как жертвенного напитка всегда сопутствует Индре, принявшему облик барана (Ригведа, I. 10. 2, 3, 5, 7, 11; I. 51. 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13; I. 52. 2, 3, 5, 10, 14). Следовательно, инвариантное сочетание барана-Индры и жертвы-сомы является средством выражения скрытого смысла и ключевым фактором семантического значения обоих образов. Гимны, посвященные соме, относятся к чрезвычайно древнему слою, а культ сомы/хаомы принадлежит еще к общему индоиранскому периоду. Некоторые исследователи даже считают посвященную соме (Соме) мандалу IX древнейшей частью Ригведы [Елизаренкова, 1989а, с. 475, 476; Елизаренкова, 1999б, с. 324]. Поэтому жертвоприношение сомы, безусловно, восходит к архаическим общиндоиранским жертвоприношениям животных и животной пищи, включая овец и баранов, их мясо и шерсть. Это соответствует направлению эволюции образа Индры в ведийской традиции, где Индра – бог плодородия и оплодотворяющей землю грозы предшествовал Индре-воину и олицетворению воинской функции [Топоров, 2000, с. 178].

Полагаю, от архаичного, еще индоиранского корня происходит и представление о божественном змееборце, перевоплощающемся в барана. Об этом свидетельствует упоминающееся в Авесте явление Веретрагны в образе барана:

«Явился Заратуштре
Восьмой раз так Вэтрагна,
Создание Ахуры:
Бараном горным диким,
Прекрасным, круторогим, –
Явился так Вэтрагна».

(Гимн Вэтрагне. «Бахрам-яшт»,
Яшт 14. VIII. 23).

Образ самого Веретрагны восходит к индоиранской общности, а его имя соответствует эпи-

тету Индры – Вритрахан, «убийца Вритры» [Брагинский, 1994].

Итак, образу барана-Индры неизменно сопутствуют мотивы убийства-жертвоприношения Вритры (Валы) и жертвенного сомы. Это инвариантное сочетание одного очень редкого образа с двумя чрезвычайно популярными мотивами. Сходство смысловых значений обоих мотивов сводится к общей идее жертвоприношения. На турбинском ноже мотив подобного жертвоприношения, вероятно, олицетворялся двумя крайними скульптурками баранов со связанными передними ногами. Но связь турбинских баранов с Вритрой и сомой не исчерпывается общностью мотивов. Имя змея Вритра – *vrtrá*, происходит от корня *var* – «покрывать», «замыкать», «препятствовать» [Елизаренкова, 1999а, с. 454]. «В древнеиндийском *ūrna* ‘шерсть’ и *ūrnavar* обозначение ‘овцы’, снабженной шерстью, связывается с тем же корнем *var* (*ūr-na* как причастие от *var-*), что и *vr-tra*» [Иванов, Топоров, 1974, с. 45]. Общий корень обозначения «овцы, снабженной шерстью» и имени «Вритра» трудно объяснить звукоизобразительной метафорой. Истоки этой полисемии, вероятно, восходят к архаическим ритуалам жертвоприношения овцы (барана) и к обусловившим их представлениям – космогоническим праверсиям основного мифа. Такая интерпретация согласуется с анаграммическим принципом ведийских гимнов, авторы которых обыгрывали имя божества и, создавая звуковые намеки на него, подражали его слогам [Соссюр, 1977, с. 649; Елизаренкова, 1989а, с. 518–519]. В Шатапатха-брахмане побежденный Вритра просит Индру: «Не поражай меня ваджрой! Ведь теперь ты то, чем (был) я. Только рассеки меня – я не должен пропасть! <...> Рассек он его *надвое*» [Шатапатха-брахмана, I.6.3.17]. Два жертвенных барана турбинской композиции, разделенные центральным персонажем, структурно синонимичны разделенности жертвы-Вритры, разрубленным Индрой *надвое*. В ряде древних индоевропейских диалектов числительное «два» связано с обозначением сомнения и страха. Так, производное от «два» – **dw(e)u-(o)t* – «страх» восходит к предыстории авестийского языка, связанной и с ведийским языком, а семантическое развитие подобных значений относится к раннему периоду истории индоевропейской семьи [Иванов, 2004, с. 101–111]. Поэтому не исключено мыслимое уподобление двух жертвенных баранов турбинской компози-

ции вызывающему страх и разрубленному надвое противнику божества.

В индоевропейской традиции известны два вида вещественных жертвоприношений: заклание и возлияние [Бенвенист, 1995, с. 368]. Жертвоприношение овцы (барана) или космогоническую жертву Вритры отличают признаки заклания. Приношение жертвенного сомы осуществляется возлиянием. Это принципиально иная, более утонченная концепция жертвенной субстанции. Но именно центральный акт ритуала, очищение сомы через фильтр-цедилку, обнаруживает переживание архаичного мотива первоначальной или субституальной жертвы. Выжатый давящими камнями сок растения проходит через цедилку из *овечьей шерсти*, и с этого кульминационного момента ритуала сома становится амритой [Елизаренкова, 1999б, с. 323, 335]:

«Тебя, вылитого сквозь (сито) из овечьей шерсти
Для богов, для опьянения,
Мы одеваем со всех сторон в коровье молоко».
(*Ригведа*, IX. 8. 5).

При соприкосновении с овечьей шерстью «сома, очищающийся» обретает священный статус жертвы, обеспечивающей общение человека с богами. Поэтому мотив овечьей шерсти в цедилке для жертвенного сомы, вероятно, восходит к доведийскому периоду, когда предметом жертвоприношения являлся не сома, а упомянутое животное и (или) его шерсть. Небезынтересно, что остатки белой шерстяной ткани, в которую был обернут бронзовый вислообушный топор, зафиксированы в могиле 1 Турбино I. Два ее фрагмента изготовлены различно: тканьем и плетением. Один фрагмент окрашен. Ткань сделана из белой шерсти тонкорунной овцы, что, по мнению О.Н. Бадера, указывает на ее неместное происхождение [Бадер, 1964, с. 27, 114].

Симптоматично, что подобно убийству Вритры, жертвоприношение сомы на земле рассматривается как повторение акта Творения: Небо и Земля (разделенные при сотворении мироздания Индрой. – И.К.) уподобляются двум чашам для сомы [Елизаренкова, 1999б, с. 334]. Именно две чаши сомы выпивает и новорожденный Индра в доме Тваштара:

«В доме Тваштара Индра напился сомы,
Стоящего сотни, выжатого в два сосуда».
(*Ригведа*, IV. 18. 3).

Количественное совпадение частей разрубленного Вритры с двумя, уподобляемыми Небу и

Земле, чашами с жертвенным сомой и с двумя сосудами с сомой, выпитыми Индрой после своего рождения, представляется отголоском архаичного космогонического сюжета с «раздвоенной» – «двойной» жертвой, семантически созвучной крайним баранам турбинского ножа. Такая «двойная» жертва соответствует первоначальному двучленному состоянию ведийской вселенной: «Земля и Небо», «обе половины (мира)» [Огибенин, 1968, с. 13], преодоленному космогоническим актом Индры, который раздвинул Небо и Землю.

Следовательно, мотивы убийства – космогонического жертвоприношения Вритры (Валы) и жертвенного сомы, сопутствующие барану-Индре, связаны с Творением мироздания посредством жертвоприношения. Структура этого инвариантного сочетания сводится к трем составляющим: 1) Баран-Индра, 2) Жертвоприношение, 3) Творение. Поразительно точно ключевые звенья этого индоарийского сюжета еще в начале прошлого столетия выделил Л.Я. Штернберг: «В гимнах Веды Индра представлен как героический баран, льющий амброзию, топчущий под ногами чудовищного змея» [1901, с. 36]. С другой стороны, достойно сожаления заблуждение Д.Н. Эдинга, почему-то посчитавшего, что «Три барана на рукоятке турбинского ножа не являются законченной группой: это простое механическое сопоставление фигур, обращенных головами в одну сторону» [Эдинг, 1940, с. 87].

Иллюстрация подразумеваемого лейтмотива турбинской композиции дополняется числовой символикой, представленной на рукояти ножа. Под тремя треугольными ажурными прорезями последовательно нанесены (отлиты) десять рельефных линий, имитирующих обмотку рукояти (рис. 3). Одним из следствий космогонического деяния Индры, убившего Вритру, стало десятикратное увеличение жизненного пространства:

«Так как, о Индра, земля (увеличилась) в десять раз,
(И) все дни распространялись народы,
То твоя знаменитая сила, о щедрый,
Мощью (и) разрушительностью (стала) равной небу».
(*Ригведа*, I. 52. 11).

Буквальный перевод этой фразы: «(увеличилась) в десять раз» – «(стала) десятиобхватной» [Елизаренкова, 1989а, с. 576], метонимически созвучен обхвату кистью рукояти ножа с десятью охватывающими ее рельефными символами. Это числительное могло соотноситься и с кратностью

(точнее, с двукратностью) пальцев кисти руки, обхватывающей рукоять. Поэтому симптоматично одновременное сочетание десятичной символики с мотивами пальцев рук и жертвенного сомы. В гимне, посвященном приготовлению сомы, Индра руками Вивасвата берет емкость с соком жертвенного напитка:

«Десятью (пальцами) Вивасвата
Индра подтянул бадью неба
Тройным рывком».
(*Ригведа*, VIII. 72. 8).

Аналогичная десятичная символика сопутствует приготовлению жертвенного сомы руками жреца:

«В твоём тайном (месте), о Сом-Павамана,
(Находятся) все эти боги, (числом) трижды одиннадцать.
По обычаю, тебя начищают *десять (пальцев жреца)*
На спине (цедилки) из овечьей шерсти, семь юных рек».
(*Ригведа*, IX. 92. 4).

Содержательное отличие двух турбинских баранов от третьего также находит мифопоэтические ведийские соответствия: «части, составляющие число 3, не были качественно однородными: третья единица противопоставлялась первым двум как нечто высшее и более совершенное» [Елизаренкова, 1999а, с. 475, 476]. Возможно, два крайних меньших, но одинаковых и однонаправленных треугольных ажурных проема и третий – центральный, отличающийся от них, проем на рукояти ножа подчеркивают подобное противопоставление (рис. 3).

На турбинском навершии запечатлены адресат и предмет жертвоприношения. Поэтому структура турбинской композиции идентична инвариантной связке барана-Индры с космогоническим жертвоприношением Вритры и с жертвенным сомой в гимнах Ригведы, сохранивших архаичные «овечьи» мотивы и не менее архаичную «баранью» символику. Но главная содержательная идея турбинской мизансцены созвучна космогоническому финалу ведийского сюжета о сотворении мироздания. Такая смысловая интерпретация скульптурной группы допускает участие ножа из Турбино II в ритуально-обрядовой практике, приуроченной к космогонически переходной, пороговой ситуации. Именно в «макрокосмическом» поединке, соответствующем стыку Старого и Нового года, демиург – Индра побеждает своего противника – Вритру [Топоров, 1990, с. 20]. Следствием данного мифологического акта

являлось обновление мира и открытие нового года. Ритуальное обращение к этому мифологическому прецеденту предполагало церемониальное воспроизведение данного «первособытия» как «перворитуала», вероятно, накануне или в первые сутки Нового Года – в день рождения мироздания. М. Элиаде обоснованно предполагал, что «в древние времена борьба между Индрой и Вритрой составляла мифо-ритуальный сценарий праздников Нового Года, призванных обеспечить возрождение мира» [Элиаде, 2002, с. 192]. Ведийские источники не содержат прямых упоминаний о космогоническом жертвоприношении барана или овцы. Но идея «творения через жертву», присутствующая ведийской космогонии, в частности, при расчленении Вритры Индрой [Там же, с. 209], безусловно, начала оформляться еще в доведийский период. Дериваты этих архаичных представлений и сохранились в однокоренном обозначении «овцы, снабженной шерстью» и имени «Вритра», а также в часто упоминаемом мотиве цедилки для сомы из овечьей шерсти. Поэтому на турбинском ноже изображен либо ритуальный субститут ирреальной жертвы (Вритры), либо жертвенное животное, предшествующее жертвоприношениям ведийского периода. Сходство жертвенных животных и адресата жертвоприношения в турбинской композиции, в определенном смысле, внешнее, т.к. рогами, только различной величины, обладают и самцы, и самки архаров (аргали). Ведийские же источники четко дифференцируют «барана» – Индру и «овцу» – жертву, при соотношении с последней общего корня с «Вритрой» и мотива цедилки из овечьей шерсти. Думается, прав был А.А. Спицын, предполагавший жертвенную функцию для турбинского ножа [Спицын, 1915, с. 232]. В турбинской скульптурной группе угадывается символическая кульминация мифологического повествования, соответствующая моменту «расчленения» противника демидурга и начала Творения. Вероятно, эта ключевая мизансцена была центральным эпизодом новогодней праздничной церемонии, включавшей заклание жертвенных животных с помощью ножа, увенчанного актуальной композицией. Таким образом, идейная основа турбинской статуарной мизансцены и связанного с ней ритуала сводится к содержанию индоарийского космогонического прамифа о сотворении мироздания.

Смысловая деривация этого мифологического сюжета, на мой взгляд, представлена скульп-

турно-изобразительной композицией навершия и рукояти опубликованного В.В. Бобровым и Н.Н. Моор раннетагарского кинжала из Новопятницкого клада, увенчанного тандемом из двух фигурок баранов [Бобров, Моор, 2011, с. 72, рис. 1]. Авторы проводят параллель между «шествием животных» на кинжалах из Сеймы и Турбино II и новопятницким изделием, отмечая схожесть позы, положения головы и ног сейминско-турбинских и тагарских скульптурок лошадей и баранов [Там же, с. 72]. В трехъярусной композиции новопятницкого кинжала последовательно фигурируют: 1) скульптурки двух баранов, составляющие навершие рукояти; 2) расположенные один над другим рельефные изображения двенадцати кабанов, занимающие всю поверхность двусторонней рукояти, по шесть кабанов на каждой из сторон; и 3) две симметричные фигурки кошачьих хищников, образующие «гарду» у основания клинка и обращенные мордами к его острию. Связанные ноги жертвенных баранов переданы выделенными выше копыт одной-двумя горизонтальными рельефными линиями. Мотив стыка Старого и Нового года и новогоднего ритуала олицетворяют двенадцать кабанов – образов месяцев года. Обращенные мордами к острию клинка кошачьи хищники, количество которых совпадает с количеством жертвенных баранов, символизируют саму идею праздничного заклания животных, приуроченного к новомуднему церемониалу.

Помимо кинжала с тандемной бараньей парой, феномен деривации сейминско-турбинских сюжетных мотивов в тагарском искусстве представлен ножами с «ажурными» проемами и четырехромбовой гирляндой, парными скульптурками баранов на чеканах, ножами с «конем-лосем» и орнаментализованной «змеей» [Бобров, Моор, 2011, с. 73, рис. II, 4–II], кинжалом с тандемной конской парой [Савинов, 2000, с. 181, 185, рис. 2, 1], бронзовыми конноголовыми навершиями и бронзовыми котлами с параллельной конской парой. Замыкают этот ряд наскальные изображения оглаhtинских «украшенных» жертвенных коней [Ковтун, 2011, с. 127] и «рогатых» коней, а также орнаментированных зигзагообразными линиями коней из Апкашева улуса. Перечисленное указывает не на стилистическую, а на содержательную преемственность, удостоверяя наличие в раннетагарской среде ощутимого индоарийского компонента.

Список литературы

- Бадер О.Н.** Древнейшие металлурги Приуралья. – М., 1964.
- Бенвенист Э.** Словарь индоевропейских социальных терминов. – М., 1995.
- Бобров В.В., Моор Н.Н.** Реминисценции изобразительной традиции сейминско-турбинской эпохи в тагарском искусстве // Древнее искусство в зеркале археологии: к 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово, 2011.
- Брагинский И.С.** Веретрагна // МНМ. – М., 1994. – Т. 1. – С. 233.
- Винник Д.Ф., Кузьмина Е.Е.** Второй Каракольский клад Киргизии // Археология Сибири, Средней Азии и Кавказа. – М., 1981. – (КСИА; № 167).
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.** Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры. – Тбилиси, 1984. – Т. 2.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В.** Синташта: археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Челябинск, 1992.
- Гринцер П.А.** Древнеиндийский эпос: генезис и типология. – М., 1974.
- Дубова Н.А.** Могильник и царский некрополь на берегах большого бассейна Северного Гонура // У истоков цивилизации: сб. ст. к 75-летию В.И. Сараниди. – М., 2004.
- Елизаренкова Т.Я.** «Ригведа» – великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа. Мандалы. I–IV. – М., 1989а.
- Елизаренкова Т.Я.** Примечания // Ригведа. Мандалы I–IV. – М., 1989б.
- Елизаренкова Т.Я.** Мир идей ариев Ригvedы // Ригведа. Мандалы V–VIII. – М., 1999а.
- Елизаренкова Т.Я.** О Соме в Ригведе // Ригведа. Мандалы IX–X. – М., 1999б.
- Зданович Д.Г., Кириллов А.К., Гутков А.И.** Аркаим: некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского могильника). – Челябинск, 2002. – Кн. 1.
- Иванов В.В.** Ритуальное сожжение конского черепа и колеса в Полесье и его индоевропейские параллели // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. – М., 1989.
- Иванов В.В.** К семантической типологии производных от числительного «два» // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: сб. ст. в честь Н.Д. Арутюновой. – М., 2004.
- Иванов В.В., Топоров В.Н.** Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. – М., 1974.
- Киселев С.В.** Древняя история Южной Сибири // МИА. – М.; Л., 1949. – № 9.
- Ковтун И.В.** Сюжет сейминской композиции // Археология Южной Сибири: к 80-летию Я.А. Шера. – Кемерово, 2011. – Вып. 25.
- Молодин В.И., Нескоров А.В.** Коллекция сейминско-турбинских бронз из Прииртышья: трагедия уникального памятника – последствия бугровщичества XXI в. // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 3.
- Огибенин Б.Л.** Структура мифологических текстов «Ригведы» (ведийская космогония). – М., 1968.
- Ригведа.** Мандалы I–IV. – М., 1989.
- Ригведа.** Мандалы IX–X. – М., 1999.
- Савинов Д.Г.** Реалистические изображения лошадей скифского времени и сейминская изобразительная традиция // ИЕ. – Омск, 2000. – Спец. вып. к 70-летию В.И. Матющенко.
- Самашев З.С., Жумабекова Г.** К вопросу о культурной атрибуции некоторых случайных находок из Казахстана // Изв. Нац. АН Республики Казахстан. Сер. обществ. наук. – Алматы, 1993. – № 5 (191).
- Сараниди В.И., Дубова Н.А.** Роль эквид и других животных в жизни земледельческого населения юга Туркменистана (на примере памятника конца III тыс. до н.э. Гонур-депе) // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. – Барнаул, 2008.
- Соссюр Ф.** Труды по языкознанию. – М., 1977.
- Спицын А.** Археологический альбом // Записки отделения русской и славянской археологии Императорского археологического общества. – Пг., 1915. – Т. 11.
- Топоров В.Н.** Конные состязания на похоронах // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. – М., 1990.
- Топоров В.Н.** Сомы // МНМ. – М., 1994. – Т. 2.
- Топоров В.Н.** Из индоевропейской этимологии. VI (1–2) // Этимология, 1997–1999. – М., 2000.
- Топоров В.Н.** Indo-Iranica: к связи грамматического и мифоритуального // Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. – М., 2006. – Т. 2: Индоевропейские языки и индоевропеистика; кн. 2.
- Шатапатха-брахмана** – М., 2009. – Кн. I; X (фрагмент).
- Штернберг Л.Я.** Теротеизм // Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон; ред. И.Е. Андреевский, К.К. Арсеньев, Ф.Ф. Петрушевский. – СПб., 1901. – Т. 33.
- Эдинг Д.Н.** Резная скульптура Урала: из истории звериного стиля // ТГИМ. – М., 1940. – Вып. 10.
- Элиаде М.** Мефистофель и андрогин. – СПб., 1998.
- Элиаде М.** История веры и религиозных идей. – М., 2002. – Т. 1: От каменного века до Элевсинских мистерий.

П.К. Дашковский

СТРУКТУРАЛИЗМ И АРХЕОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ В СКИФО-САКСКОЙ НОМАДОЛОГИИ

Реконструкция мировоззрения скифо-сакских племен степной полосы Евразии является одной из центральных тем в научной деятельности Е.Е. Кузьминой, что нашло отражение в многочисленных публикациях [Кузьмина, 1976, 1977а, б, 1979, 1983, 1984, 2001, 2002; и др.]. Особую важность представляет изучение теоретических и методических основ, на которые опирались Е.Е. Кузьмина и другие ученые, занимающиеся данной проблематикой. Важно учесть, что именно конец 1960-х – 1980-е гг. явились самым ярким периодом в развитии советской скифологии и номадологии в целом. В это время были опубликованы работы, подводившие итоги многолетним исследованиям советских ученых, сложились новые подходы к решению разных проблем истории кочевников, в т.ч. социально-политической организации и религиозных верований. Эти изменения, на наш взгляд, определялись разными причинами и факторами, на которых нужно остановиться подробнее.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что еще в конце 1950-х – 1960-е гг. существенно изменились условия развития советской исторической науки. Воздействие эпохи «оттепели» меняло внутреннюю атмосферу в научном сообществе. Были реабилитированы многие исследователи, возродился интерес к дореволюционной историографии. От историка теперь требовалось не выявление «закономерностей, лежащих в основе каждой из докапиталистических формаций», а творческое осмысление марксизма. Устремления довольно значительного консервативного крыла блокировались политически. Атмосфера умеренного либерализма

вокруг отечественной и зарубежной истории в годы «оттепели» в немалой степени поддерживалась сотрудниками аппарата ЦК КПСС А. Бовиным, Г. Арбатовым, С. Шахназаровым, Ф. Бурлацким. Стремясь либерализовать и модернизировать политическую линию догматического руководства наукой сталинской закалки, они по мере возможности влияли на руководство Института всеобщей истории АН СССР, и это помогло в организации ряда дискуссий по актуальным темам отечественной и зарубежной истории. Выдающаяся роль в развитии исторической науки в 1960-е гг. принадлежала сектору методологии истории при Институте истории АН СССР под руководством М.Я. Гефтера.

Новые исследования, обсуждения и дискуссии позволили скорректировать и уточнить многие положения формационной теории применительно к историческим особенностям разных стран. К 1960-м гг. советские ученые оперировали уже не столько теоретическими установками, сколько конкретно-историческими материалами, особенно это касалось наименее идеологизированных направлений – археологии, кочевниковедения, востоковедения [Васютин, Дашковский, 2009, с. 41].

Не последнюю роль в развитии кочевниковедческих исследований сыграло и новое поколение исследователей, которое миновало эпоху репрессий, жесткого идеологического давления государства на научные круги. Историческая наука стала более открытой к внешним влияниям, развивались связи с зарубежными учеными и научными центрами. Начиная с 1960-х гг. стали нормой ме-

ждународные конференции, конгрессы, форумы. Тем самым постоянно возникали «площадки» для обсуждения разных проблем и вопросов, проявления методологических основ, демонстрации новых результатов. Советской научной общест-венности стали доступны зарубежные исследова-ния, появилась переводная литература. Именно в этот период переживает свой расцвет такой жанр исторического творчества, как критика различ-ных идей и концепций «буржуазной науки». Уже тогда осознавалось, что это был легальный канал знакомства с достижениями западной историо-графии, а критическое отношение к ней, выявле-ние недостатков, субъективных основ, идеали-стического характера и пр. нередко представляли собой своеобразные «правила игры», «плату» за доступ к новому знанию. Это в какой-то мере вер-но и в отношении адептов марксистской теории и ее искренних сторонников, веривших в превос-ходство марксистско-ленинской истории над за-падными учениями. Даже наиболее резкие крити-ческие опусы вольно или невольно становились источниками информации об исследователях, методах и тенденциях, господствовавших за рубе-жом. Не будем также забывать, что исследователи ряда социалистических стран (Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии) вели активный диалог как с советскими, так и с западноевропейскими учеными. Политически контролировать посту-пление информации к ведущим специалистам в СССР в таких условиях было практически невоз-можно, хотя подобные попытки осуществлялись неоднократно. Сохранился и идеологический контроль, хотя претерпели изменения его методы.

В западной исторической науке в послевоен-ный период по существу происходило формиро-вание новых исторических парадигм (цивилиза-ционной, структуралистской, антропологической, психоисторической и др.), развивались новые методологические направления (история мен-тальностей, неозволюционизм, мир-системный анализ и др.), шел активный поиск новых мето-дов реконструкции прошлого, вырабатывались разные стратегии междисциплинарного синтеза. Причем этот поиск велся не только в рамках все-го гуманитарного блока (историки заимствовали методы социологии, этнологии, антропологии, психологии, культурологии, демографии и т.д.), но и за его пределами (синергетика, медицина, математическое моделирование, генетика и пр.) [Могильницкий, 2003, 2008; и др.].

На развитие мировоззренческих реконструкций в отечественной археологии наибольшее влияние из инновационных методологий оказал структура-листский подход, в связи с чем стоит остановиться на нем более подробно. Структурализм, как фило-софско-методологическое направление, возник в начале 20-х гг. XX в., хотя идейные истоки этого течения можно выявить и в более ранний период [Sturrock, 1993, p. 2–32; и др.]. В фундаментальных работах К. Леви-Стросса, а затем и его последо-вателей, были сформулированы основные прин-ципы структурного подхода к изучению социо-культурных явлений. Успехи, достигнутые в этой области зарубежными исследователями, вызвали большой интерес у многих ученых разных стран мира. Одним из результатов этого явилось фор-мирование в СССР в начале 60-х годов XX в. так называемой московско-тартуской школы, которая развивала, с одной стороны, идеи классического структурализма, а с другой – продолжала традиции отечественных исследований по семиотике. Исто-рия развития данного направления обстоятельно рассмотрена учеными [Иванов, 1976; Зеленская, 2000; Почепцов, 1998; Розин, 2001; и др.], поэтому отметим только ряд моментов, имеющих важное значение для характеристики мировоззренческих реконструкций в кочевниковедении.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что в пол-ной мере распространению структурализма в со-ветской науке долгое время препятствовали идео-логические барьеры, поскольку такое течение воспринималось как одно из маргинальных про-явлений «буржуазной мысли». Наиболее легаль-ное использование этого метода было возможно на начальном этапе через его критику, что хорошо видно из специальных изданий, например «Струк-турализм: “за” и “против”» [1975]. В то же время, несмотря на эти трудности, разработки структу-ралистов стали использоваться в различных гума-нитарных науках: языкознании, литературоведе-нии, культурологии, религиоведении и др. Вслед за Е.М. Мелетинским [1976] структурный метод исследования культур, предложенный структу-ралистами в отечественной гуманитарной науке, стал именоваться структурно-семиотическим. В СССР сложилось два основных центра реализа-ции указанного направления: кафедра русской ли-тературы Тартуского государственного универси-тета (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, И.А. Чернов и др.) и сектор структурной типологии языков Инсти-тута славяноведения и балканистики АН СССР в

Москве (Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров, И.И. Ревзин и др.) [Зеленская, 2000, с. 14]. Важным фактором в консолидации и распространении структуралистских исследований в стране стали «Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам» (1964–1989). Именно это издание, несмотря на труднодоступность, послужило источником информации для большинства ученых, в т.ч. археологов и кочевниковедов, о развитии данного направления в различных областях знания. Не менее значимые статьи по семиотическим исследованиям публиковались в выпусках «Новое в лингвистике», «Вопросы философии», «Советская этнография» и других научных журналах и сборниках. Особо стоит отметить выпуск монографий и сборников в сериях «Этнографическая библиотека» (издается с 1983 г.) и «Исследования по фольклору и мифологии Востока» (издается с 1969 г.). В этих изданиях публиковались как труды классиков структурализма [Леви-Стросс, 1983; Зарубежные исследования..., 1985; и др.], так и работы отечественных ученых, развивающих данное направление [Мелетинский, 1976, 1979; Новик, 1984; Топоров, 1988; Этнографическое изучение..., 1989; Этнознаковые функции..., 1991; и др.]. Кроме того, в рамках указанных научных серий издавались работы по различным аспектам духовной культуры (фольклор, мифология, религия и др.) как традиционных, так и древних народов Востока, в которых рассматривались указанные явления в русле других методологических парадигм. Все это, безусловно, подчеркивало возрастание интереса и значимости изучения религиозно-мифологической проблематики в советской науке начиная с конца 1960-х – начала 1970-х годов.

Однако как отмечено выше, структурно-семиотическое направление оказалось в тот период наиболее популярным среди кочевниковедов. В этой связи следует отметить, что структуралистский подход в анализе многообразия социокультурных явлений, в т.ч. и системы мировоззрений, базируется на нескольких методологических принципах [Леви-Стросс, 1983; Парэн, 1975; Островский, 1988; и др.]. Во-первых, явления культуры, включая духовную культуру, рассматривается в синхронном срезе общества, в единстве внутренних и внешних связей. Во-вторых, каждый элемент культуры анализируется как сложный конструкт, который включает в себя совокупность уровней, обладающих определенным семантическим

полем. В-третьих, интерпретация явления осуществляется с учетом его вариативности в рамках конкретной культуры. В конечном итоге моделируется структурный алгоритм, обуславливающий динамику вариантов социокультурных явлений [Островский, 1991, с. 108–115; 1994, с. 10]. Таким образом, любая культура предстает как совокупность элементов-знаков, обладающих конкретным функциональным и семантическим значением. Сам структурно-семиотический метод направлен на обнаружение связанности явлений и элементов культуры и включает в себя три этапа. На первом этапе реконструируется символический язык носителя культуры; на втором этапе, учитывая вариативность конкретных явлений в социокультурном пространстве, воссоздаются единицы этого «языка», которые коррелятивны с единицами мышления; на третьем этапе, при построении структуры выявляется неотъемлемо присущая явлению смысловая схема, благодаря которой оно именно в определенном виде транслируется в культуре [Островский, 1997, с. 14–15; 1998].

Важным положением философии структурализма, в частности К. Леви-Стросса [Леви-Стросс, 1983, с. 206–207; 1994, с. 123–124], является то, что мышление древнего человека (начиная с эпохи неолита) и представителя современного общества фактически структурно идентично. Отличаются они друг от друга не столько «по роду ментальных (в данном случае мыслительных. – П.Д.) операций, которыми они располагают... сколько по типу явлений, к каковым они прилагаются». Из этого следует, что различие между двумя типами рефлексии кроется в их объективации, т.е. в практическом поле их применения [Дашковский, 2001]. При таком подходе одной из особенностей «первобытного» мышления ученые называют мифологизм, который обусловлен значительной ролью ритуала и структурированием окружающего мира. Это структурирование можно определить как программу поведения для отдельной личности и коллектива, которая реализуется в языковых текстах, социальных институтах и памятниках материальной культуры.

Указанная трансляция программы деятельности социально-исторического субъекта может происходить как на сознательном, так и на бессознательном уровне, поэтому изучение различных ее проявлений в культуре позволяет проследить некоторые черты подсознания, лежащие в их основе. Исходя из этого, культуру и ее составляющие в любых обществах можно рассматривать на двух взаимосвя-

полняющих уровнях. В первом случае исследуются отдельные структурные конструкты культуры, которые, в свою очередь, тоже представляют систему реализованных определенным образом элементов. В пределах второго уровня дается семантическая интерпретация зафиксированного явления.

Важно отметить, что разделение окружающей человека действительности на «мир фактов и мир знаков» [Лотман, 2000, с. 396–399] достаточно условно, поскольку всегда присутствуют промежуточные объекты (так называемые квазисемiotические явления), к числу которых можно отнести элементы материальной культуры [Байбурин, 1981, с. 216]. При этом одни и те же явления или предметы потенциально могут использоваться и как «вещи», и как «знаки» в зависимости от того, какие свойства актуализируются («вещность» или «знаковость»). Приобретение явлением конкретного семиотического статуса за счет определенного соотношения «знаковости» и «вещности» приводит к соответствующему балансу символических и утилитарных функций. Кроме того, семиотический статус вещи может быть различным у разных этнических объединений, а также изменяться, причем, как правило, на подсознательном уровне, во времени и в зависимости от ситуации [Там же].

При таком подходе к культуре, как знаково-символической системе, мировоззрение выступает в виде метатекста, включающего в себя многоуровневую структуру семиотических текстов, объективированных в различных культурно-исторических явлениях, в т.ч. и во многообразии археологического материала (например, погребальные сооружения, предметы вооружения, произведения искусства, орудия труда и др.). Поэтому исследование необходимо направить на раскодирование с помощью структурно-семиотического метода текстовых структур, в которых зашифрована различная социокультурная информация.

В отечественной науке структурно-семиотический подход в области изучения мифологии и традиционной культуры разных народов в советский период стали успешно в большей или меньшей степени применять Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, А.К. Байбурин, Н.Л. Жуковская, Е.С. Новик, Е.М. Мелетинский, Е.С. Семякина, А.Л. Топорков и многие другие ученые. Успехи специалистов в области фольклористики, религиоведения, языкознания и этнографии не могли не привлечь внимания археологов к указанному направлению. Кроме того, в ряде публикаций ученые акценти-

ровали внимание на знаковости отдельного предмета материальной культуры и ритуала, в т.ч. и погребального [Байбурин, 1981, 1989; Топоров, 1988; Топорков, 1988; Шрейдер, 1979; Сарингулян, 1981; Иванов, 1990; Семенова, 2007; Савинов, 2007; и др.]. А это как раз именно то, что приходится изучать каждому археологу. В этой связи важно отметить, что постепенно и археологи публикуют отдельные работы или разделы в монографиях, в которых представлены результаты осмысления знаковости предметов именно в контексте археологических исследований. Наиболее показательными в этом отношении являются теоретические взгляды на проблему Е.В. Антоновой и Д.С. Раевского [Антонова, Раевский, 1984, 1991, 2002 и др.; Антонова, 2005; Раевский, 1998, 1999; и др.], работы которых, на наш взгляд, оказали решающее влияние на закрепление структурно-семиотического направления в нomaдологии. При этом каждый из исследователей уже в советский период имел значительный опыт реализации структурно-семиотического подхода в области изучения картины мира древних народов [Антонова, 1984; Раевский, 1977, 1985, 1988; и др.].

Учитывая отмеченные выше особенности развития структурно-семиотического направления в СССР, следует отметить, что его реализация археологами и нomaдологами при изучении мировоззрения древних и средневековых народов Евразии стала наблюдаться со второй половины 70-х годов XX в. В разное время этот метод был использован при реконструкции религиозно-мифологических представлений скифов Причерноморья [Раевский, 1985, 2001; Саенко, 1992, 1994; Ольховский, 1999; и др.], саков Казахстана [Раевский, 1977; Акишев, 1984; и др.], «тагарцев» Минусинской котловины [Кызласов, 1987], андроновских племен Казахстана [Усманова, 1987, 1988, 1989; и др.], тюрков Центральной Азии [Войтов, 1996], «пазырыкцев» Алтая [Суразаков, 1986; Кубарев, 1991; Дашковский, 2002; Дашковский, Тишкин, 2002; Тишкин, Дашковский, 2003; Дашковский, Усова, 2010; Черемисин, 2008; и др.], населения Забайкалья эпохи неолита и раннего бронзового века [Жамбалтарова, 2005], носителей окуневской [Леонтьев, Капелька, Есин, 2006] и самусьской [Есин, 2009] культурных традиций и других народов. О популярности этого направления в республиках бывшего Советского Союза свидетельствует реализация в Донецком государственном университете научно-издательского проекта «Структурно-семиотические

исследования в археологии» (Донецк, 2001, 2005; Донецк, 2006).

В то же время, Е.В. Антонова и Д.С. Раевский [2002, с. 12] справедливо отметили, что за популярностью структурно-семиотического подхода в археологии не всегда скрывается серьезное научное исследование, поэтому нередки случаи, когда ученые применяют различные понятия («язык», код, «контекст») без глубокого понимания их содержания. Более того, некоторые ученые недостаточно четко различают такие дефиниции, как «семантическое» и «семиотическое», а также структурно-семантический и структурно-семиотический методы, рассматривая их зачастую как равнозначные. Между тем, как указанные категории, так и методы, несмотря на их взаимосвязь, имеют свою определенную специфику [Финм, 1989, с. 574–576; Розин, 2001, с. 17–28; и др.]. В данном случае уместно указать на основное отличие между двумя методами исследования, которое заключается в следующем. Семиотический метод состоит только в обнаружении знаковых схем, которые не анализируются на уровне их структурной взаимосвязи. Поэтому применение одного семиотического метода не позволяет обнаружить все особенности процесса мышления и реконструировать мировоззрение как целостную знаково-символическую систему [Островский, 1997, 2000, с. 12].

Е.В. Антонова и Д.С. Раевский [2002, с. 12] обратили внимание на то, что существуют различные семиотические теории, поэтому вполне понятно отсутствие единой теории интерпретации вещей и в археологии. При этом они подчеркивали, что в своих семиотических исследованиях они опирались всегда на взгляды Ч.С. Пирса и Ю.М. Лотмана относительно интерпретации знаковых систем.

Не останавливаясь подробно на взглядах ученых, подчеркнем только особую важность в мировоззренческих реконструкциях понятий «знак» и «символ». По мнению исследователей, язык символов является единственным универсальным изобретением человечества, единым для всех культур во всей истории [Фромм, 1992, с. 185–190]. Именно символическая система, с точки зрения Э. Кассирера, являлась одним из основных способов адаптации человека к окружающей среде (Кассирер, 1998. С. 470). Поэтому не случайно ряд мыслителей предлагали считать человека не «animalrational» («рациональное животное»), а «animalsymbolic» («символическое животное»), поскольку именно через различные

символические формы и символы как раз и проявляется человеческая сущность [Кассирер, 1998, с. 472; Лангер, 2000, с. 4; и др.].

История изучения символа как феномена бытия в разных аспектах достаточно обстоятельно представлена в работах многих исследователей [Сорокин, 1913; Тодоров, 2000; Лотман, 1987, с. 10–21; Мейзерский, 1987, с. 3–9; и др.]. Общий вывод ученых независимо от философско-методологических и методических принципов анализа символа сводится к следующему. Во-первых, символ – это один из типов знаков, на что в свое время указывал еще Ч.С. Пирс [2000, с. 96]. Во-вторых, символическое значение может присутствовать в различных предметах и явлениях: в природных объектах, в произведенных человеком вещах, в абстрактных формах (числах, геометрических фигурах). А. Яффе [1997, с. 229] отметила, что фактически весь космос – это потенциальный символ.

В науке принято выделять три вида символов: случайные – индивидуальные по своей природе; договорные – ограниченные группой людей, принявших то или иное обозначение; универсальные – когда всеми людьми воспринимается внутренняя связь между символами и тем, что они обозначают. Пр чем эта связь не случайна, а она внутренне присуща самому символу [Фромм, 1992, с. 185–200]. Важно обратить внимание на то, что значение некоторых символов может различаться в соответствии с их различной значимостью как реалий в разных культурах, обусловленных специфичными условиями существования. Кроме того, отдельные символы могут иметь более одного значения, в зависимости от характера переживаний, которые ассоциируются с одним и тем же физическим явлением. В целом же можно сделать вывод о том, что все три типа символов могут являться проявлением архетипов коллективного бессознательного. Однако преимущественно универсальный тип поддается наиболее успешной расшифровке в процессе реконструкции мировоззренческих систем обществ различных исторических периодов.

С помощью символов, через их многообразное проявление в культуре, люди передавали различную информацию, причем как на сознательном, так и на бессознательном уровне [Юнг, 1996; Хендерсон, 1997; и др.]. Постигание какой-либо скрытой закодированной информации происходит через мышление, интуицию, осязание и ощущение [Яффе, 1997, с. 237; Фромм, 1992, с. 185–190].

Анализируя особенности структурно-семиотического подхода к мировоззренческим реконструкциям, следует особо обратить внимание на следующее обстоятельство. В свое время еще Ч.С. Пирс [2000, с. 46–96] указывал на триодичную природу знака: знак есть «А», обозначающий «В» для «С». В более пространном виде это можно выразить так: знак есть нечто сам по себе (знак-в-себе); знак есть то, что он обозначает какие-либо явления бытия (знак-от-себя); знак есть то, чем он представляется для кого-то (знак-для-другого), в данном случае для социально-исторического субъекта (человек, социальная группа, общество). Однако сложность прочтения знаковой информации заключается не только в триодичной природе знаков, но и в том, что он и по отношению к исследователю выступает еще в одной четвертой форме – как знак для познания. Это связано с тем, что через систему семиотических значений в древнем коллективе происходило «переживание» бытия, и современный ученый как раз пытается познать (понять) процесс этого «переживания» [Дашковский, 2000, с. 15–16]. На такие методологические трудности указывал и А.К. Байбурун [1981, с. 217], отмечавший, что определение семиотического статуса вещей во многом зависит от позиции исследователя, который может быть значительно удален от реальной картины функционирования вещей во времени, пространстве и культурном контексте. В этой связи в процессе структурно-семиотических исследований необходимо учитывать не только разработки структурализма, но и особенности герменевтического подхода к пониманию текстов культуры [Дашковский П.К., 2000, с. 15–16].

Кроме распространения структурно-семиотического направления важное влияние на развитие мировоззренческих реконструкций в археологии, в т.ч. и в нomaдологии, имели успехи отечественных исследователей в области сравнительной мифологии и исторического языкознания. Уже в предшествующий период была установлена ираноязычность кочевников скифо-сакского мира. В рассматриваемый период особую значимость приобретали исследования в области индоевропейской мифологии и языка, проводимые В.Н. Топоровым, Вяч. Вс. Ивановым, М.М. Маковским, Т.В. Гамкрелидзе, В.И. Абаевым, Н.А. Першиной, Л.А. Лелековым, И.В. Раком, Т.Я. Елизаренковой, А.О. Маковельским, Б.И. Кузнецовым, Г.М. Бонгард-Левиным, Э.А. Грантовским, И.М. Дьяконовым и др. Среди фундаментальных работ, аккумулирующих

достижения советских ученых в разных областях знания, необходимо отметить изданную в 1982 г. энциклопедию «Мифы народов мира» под редакцией С.А. Токарева. Не меньшее значение для изучения мифологии индоевропейских и индоиранских народов имела работа Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры» [1984, ч. 1–2]. На реконструкцию религиозно-мифологических систем кочевников в советский период, несомненно, оказывали влияние и исследования зарубежных индоевропейцев и иранистов, среди которых особо стоит отметить работы Ф.Б. Кейпера, Ж. Дюмезиля, Р. Фрая, М. Бойс, К. Йетмара. Кроме того, определенную роль на развитие в целом мировоззренческих реконструкций в истории, археологии и фольклористики оказали влияние разработки В.Я. Проппа, М.Б. Бахтина, А.Я. Гуревича.

Важное значение для развития мировоззренческих реконструкций в археологии и нomaдологии имели и специальные научные конференции и тематические сборники, посвященные данной проблематике: «Идеологические представления древних обществ» (Москва, 1980 г.), «Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири» (Томск, 1981 г.), «Скифо-сибирский мир (искусство и идеология)» (Кемерово, 1984 г.), «Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным» (Томск, 1985 г.), «Религиозные представления в первобытном обществе» (Москва, 1987 г.), «Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири» (Томск, 1990 г.), «Реконструкция древних верований: источники, метод, цель» (Москва, 1991 г.), «Пространство и время в архаичных культурах» (Москва, 1991 г.) и др. В рамках таких конференций происходило, с одной стороны, рассмотрение результатов исследования конкретных элементов духовной культуры разных народов, в том числе и кочевников Центральной Азии. С другой стороны, такие форумы давали возможность широкого обсуждения вопросов методологического и методического характера, правда, не без влияния идеологического фактора, особенно до середины 1980-х годов. В этой связи следует подчеркнуть, что ученые неоднократно поднимали вопросы о степени корректности и глубине археолого-этнографических параллелей при социокультурных реконструкциях, в т.ч. архаичных ве-

рований и обрядов, что хорошо видно по работам М.Ф. Косарева, В.И. Матющенко, В.Б. Богомолова, Н.А. Томилова, С.А. Васильева, Л.С. Клейна, Г.Н. Грачева, Л.П. Хлобыстиной, Д.Г. Савинова и других исследователей.

Отдельное внимание уделялось разработке конкретной методики мировоззренческих реконструкций в археологии в исследованиях А.К. Байбурина, М.Ф. Косарева, И.А. Сыркиной, М.В. Аниковича, А.М. Сагалаева, А.О. Добролюбского, В.Л. Соболева, В.И. Кондрашова, В.А. Алекшина. Не оставалось без внимания направление, ориентированное на выявление определенных мифологических универсалий в мировоззрении кочевников [Яшин, 1990; и др.], хотя сам метод не всегда был четко структурирован в работах исследователей. Широкое распространение в отечественной науке получил подход, направленный на выявление индоиранских и индоевропейских реминисценций в религиозных системах населения степной полосы Евразии скифской эпохи, в т.ч. и кочевников центрально-азиатского региона [Шерстова, 1984; Кузьмина, 1976; 1980; Клейн, 1987; Брентъес, 1981; Лелеков, 1976, 1980; Запорожченко, 2007, с. 3–24; и др.].

Существенным моментом в развитии мировоззренческих исследований в археологии и кочевниковедении в рассматриваемый период являлась дискуссия относительно информативности погребального обряда, которая проходила на научных конференциях и на страницах различных изданий. В этой дискуссии участвовали многие ведущие отечественные археологи и этнографы, занимавшиеся историческими реконструкциями: В.А. Алекшин, Л.С. Клейн, В.М. Кулемзин, В.С. Ольховский, В.И. Мельник, Ю.А. Смирнов, М.В. Тендрякова, В.Ф. Генинг, Е.Н. Бунятян, С.Ж. Пустовалов, Н.А. Рычков, Н.Ю. Кузьмин, В.И. Пестрикова и др. В результате активного обсуждения вопроса выработана позиция, что погребальный обряд является важнейшим источником для социокультурных и мировоззренческих реконструкций. Для этого необходимо четко структурировать погребальную обрядность, выделяя такие позиции, как погребальное сооружение, форма погребения (ингумация, кремация и др.), сопроводительные захоронения животных, погребальный инвентарь. Наибольшие сложности возникают при выявлении следов ритуальных действий, совершаемых до момента погребения. К тому же археологи имеют дело с конечными результатами погребального обряда, а не с самим религиозным процессом, которые к тому же претерпели

определенное временное воздействие. Выявленные особенности погребальных обрядов исследователи предлагают интерпретировать в рамках корректного в методическом аспекте сопоставления с письменными и этнографическими данными. Учитывая указанные особенности развития отечественной науки, можно очевидно говорить о формировании мировоззренческого научного направления в кочевниковедении и мировоззренческой археологии в целом. Аналогичные процессы наблюдались в становлении в этот период другой научной области – социальной археологии и социально-политического направления в кочевниковедении [Бобров, 2003; Васютин, Дашковский, 2009; и др.].

Таким образом, в конце 1960-х – 1980-е годы были выработаны и апробированы теоретико-методологические основы для мировоззренческих реконструкций древних и средневековых обществ, важной составляющей которых являлся структурно-семиотический подход. Кроме того, широкое распространение получил подход, связанный с выявлением индоиранских аналогий в религиозно-мифологических системах скифо-сакских племен Евразии. Важнейшим источником мировоззренческих реконструкций начинают выступать произведения искусства кочевников, выполненные в зверином стиле. Отмеченные теоретические и методические принципы исследования позволили впервые достаточно полно реконструировать особенности религиозно-мифологических представлений народов степной полосы Евразии скифо-сакского периода.

Список литературы

- Акишев А.К. Искусство и мифология саков. – Алма-Ата, 1984.
- Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии: опыт реконструкции мировосприятия. – М., 1984.
- Антонова Е.В. Погребения как источник реконструкции обрядово-мифологических комплексов дописьменных обществ // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк, 2005. – Т. 2.
- Антонова Е.В., Раевский Д.С. Богатство древних захоронений: (к вопросу о роли идеологического фактора в формировании облика погребального комплекса) // Ф. Энгельс и проблемы истории древних обществ. – Киев, 1984.
- Антонова Е.В., Раевский Д.С. О знаковой сущности вещественных памятников и о способе ее интерпретации // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. – М., 1991.
- Антонова Е.В., Раевский Д.С. Археология и семиотика // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк, 2002. – Т. 1.

Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология. – Л., 1981. – (Сб. МАЭ; т. 37).

Байбурин А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. – Л., 1989.

Бобров В.В. Современное состояние развития социального направления в археологии Сибири // Социально-демографические процессы на территории Западной Сибири (древность и средневековье). – Кемерово, 2003.

Брентъес Б. Квадратура круга как проблема истории культуры // ИБ МАИКЦА. – М., 1981. – Вып. 1.

Васютин С.А., Дашковский П.К. Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья: (отечественная историография и современные концепции). – Барнаул, 2009.

Войтов В.Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI–VIII вв. – М., 1996.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. – Тбилиси, 1984. – Ч. 1–2.

Дашковский П.К. К вопросу о символизме в мировоззрении архаичных народов // Диалог культур и цивилизаций. – Тобольск, 2000.

Дашковский П.К. Некоторые аспекты структуралистского подхода К. Леви-Стросса к изучению феномена «mentalité» // Гуманитарные исследования на пороге нового тысячелетия. – Барнаул, 2001.

Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрений населения Горного Алтая скифского времени: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 2002.

Дашковский П.К., Тишкин А.А. Структурно-аналитическое изучение погребальных памятников Горного Алтая скифской эпохи // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк, 2002. – Т. 1.

Дашковский П.К., Усова И.А. Семантика головных уборов «пазырыкцев» Алтая (по материалам могильника Ханкаринский дол) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Казань, 2010.

Есин Ю.Н. Древнее искусство Сибири: самусьская культура // Труды музея археологии и этнографии Сибири. – Томск, 2009. – Т. 2.

Жамбалтарова Е.Д. Погребальные обряды населения Забайкалья в эпоху неолита – раннего бронзового века: опыт семантического исследования: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Улан-Удэ, 2005.

Запороженченко А.В. Шаманские реминисценции в духовной культуре индоиранцев. – Новосибирск, 2007.

Зарубежные исследования по семиотике фольклора / пер. с англ., фр., рум. – М., 1985.

Зеленская Л.Ю. Принципы интерпретации текста в московско-тартуской семиотической школе: историко-философский анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – М., 2000.

Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. – М., 1976.

Иванов В.В. Реконструкция структуры, символики и семантики индоевропейского погребального обряда // Ис-

следования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. – М., 1990.

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М., 1998.

Клейн Л.С. Индоарии и скифский мир: общие истоки идеологии // Народы Азии и Африки. – 1987. – № 5.

Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск, 1991.

Кузьмина Е.Е. Скифское искусство как отражение мировоззрения одной из групп индоиранцев // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. – М., 1976.

Кузьмина Е.Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов // Скифы и сарматы. – Киев, 1977а.

Кузьмина Е.Е. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов Старого света // Средняя Азия в древности и средневековье: (история и культура). – М., 1977б.

Кузьмина Е.Е. Сцена терзания в искусстве саков // Этнография и археология Средней Азии. – М., 1979.

Кузьмина Е.Е. Проблема реконструкции идеологических представлений сако-скифов // Идеологические представления древних обществ. – М., 1980.

Кузьмина Е.Е. О «прочтении текста» изобразительных памятников искусства евразийских степей скифского времени // ВДИ. – 1983. – № 1.

Кузьмина Е.Е. Опыт интерпретации некоторых памятников скифского искусства // ВДИ. – 1984. – № 1.

Кузьмина Е.Е. Мифологические представления о коне в культуре индоевропейцев // Миф. – София, 2001. – Вып. 7.

Кузьмина Е.Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев: (культурологические очерки). – М., 2002.

Кызласов И.Л. Семантика тагарского кургана // Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск, 1987. – Ч. 2.

Лангер С. Философия в новом ключе. – М., 2000.

Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983.

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994.

Лелеков Л.А. Отражение некоторых мифологических воззрений в архитектуре восточноиранских народов в первой половине I тысячелетия до н.э. // История и культура народов Средней Азии. – М., 1976.

Лелеков Л.А. Проблемы индоиранских аналогий к явлениям скифской культуры // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. – Кемерово, 1980.

Леонтьев Н.В., Капелька В.Ф., Есин Ю.Н. Изваяния и стелы Окуневской культуры. – Абакан, 2006.

Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Символ в системе культуры. – Тарту, 1987. – (ТЗС; т. 21; вып. 754).

Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000.

Мейзерский В.М. Проблема символического интерпретанта в семиотике текста // Символ в системе культуры. – Тарту, 1987. – (ТЗС; т. 21; вып. 754).

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976.

Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона. – М., 1979.

Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX в. – Томск, 2003. – Вып. 2: Становление «новой исторической науки».

Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX в. – Томск, 2008. – Вып. 3: Историографическая революция.

- Новик Е.С.** Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. – М., 1984.
- Ольховский В.С.** К изучению скифской ритуалистики: посмертное путешествие // Погребальный обряд. Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. – М., 1999.
- Островский А.Б.** Школа французского структурализма: вопросы методики // СЭ. – 1988. – № 2.
- Островский А.Б.** Исследование первобытного мышления в западноевропейской социальной антропологии // Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. – М., 1991.
- Островский А.Б.** Этнологический структурализм К. Леви-Стросса // Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994.
- Островский А.Б.** Мифология и верования нивхов. – СПб., 1997.
- Островский А.Б.** Структурно-семиотический подход к изучению менталитета в традиционной бесписьменной культуре // Теория и методология архайки. I. Своя и чужие культуры: возможные подходы к изучению. II. Сознание. Искусство. Образ: материалы теорет. семинара. – СПб., 1998.
- Островский А.Б.** Обоснование антропологии мышления // Леви-Стросс К. Путь масок. – М., 2000.
- Парэн Ш.** Структурализм и история // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.
- Пирс Ч.С.** Логические основания теории знаков. – СПб., 2000.
- Почепцов Г.Г.** История русской семиотики до и после 1917 г. – М., 1998.
- Раевский Д.С.** Очерки идеологии скифо-сакских племен: опыт реконструкции скифской мифологии. – М., 1977.
- Раевский Д.С.** Модель мира скифской культуры. – М., 1985.
- Раевский Д.С.** Социальные и культурные концепции древних иранцев по материалам Скифии: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – М., 1988.
- Раевский Д.С.** Мифологические универсалии как инструмент интерпретации изобразительных памятников // Первобытное искусство. – Кемерово, 1998.
- Раевский Д.С.** Некоторые замечания об интерпретации изобразительных памятников // Первобытное искусство: материалы конф. – Кемерово, 1999.
- Раевский Д.С.** Скифский звериный стиль: поэтика и прагматика // Древние цивилизации Евразии: история и культура. – М., 2001.
- Розин В.М.** Семиотические исследования. – М., 2001.
- Савинов Д.Г.** Ритуальный предмет/изображение: (о дифференцированном подходе к изучению) // Миф, обряд и ритуальный предмет в древности. – Екатеринбург, Сургут, 2007.
- Саенко В.Н.** Космологический аспект погребального обряда // Теория и методика исследований археологических памятников лесостепной зоны. – Липецк, 1992.
- Саенко В.Н.** Скифский курган как семиотическая система // Проблемы скифо-сакской археологии Северного Причерноморья. – Запорожье, 1994.
- Сарингулян К.С.** Очерк семиотической характеристики ритуала // Семиотика и проблема коммуникации. – Ереван, 1981.
- Семенова В.И.** Погребально-поминальная обрядность в структурно-семиотическом аспекте // Миф, обряд и ритуальный предмет в древности. – Екатеринбург, Сургут, 2007.
- Сорокин П.** Символы в общественной жизни. – Рига, 1913.
- Структурализм: «за» и «против».** – М., 1975.
- Суразаков А.С.** К вопросу о семантике некоторых образов пазырыкского искусства // Материалы по археологии Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1986.
- Тишкин А.А., Дашковский П.К.** Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. – Барнаул, 2003.
- Тодоров Ц.** Теории символов. – М., 2000.
- Топорков А.Л.** Символика и ритуальные функции предметов материальной культуры // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. – Л., 1988. – С. 89–101.
- Топоров В.Н.** О ритуале: введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. – М., 1988.
- Усманова Э.Р.** Погребальный обряд как знаковая система (на примере памятников федоровской культуры Центрального Казахстана) // Проблемы археологии степной Евразии. – Кемерово, 1987. – Ч. 1.
- Усманова Э.Р.** Знаковый код в погребальном обряде могильника Лисаковский // Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. – Барнаул, 1988.
- Усманова Э.Р.** «Круг» и «квадрат» в андроновской погребальной символике: по материалам могильников Центрального Казахстана // Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. – Караганда, 1989.
- Финн В.К.** Семиотика // Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
- Фромм Э.** Душа человека. – М., 1992.
- Черемисин Д.В.** Искусство звериного стиля в погребальных комплексах рядового населения пазырыкской культуры: семантика звериных образов в контексте погребального обряда. – Новосибирск, 2008.
- Шрейдер Ю.А.** Ритуальное поведение и формы косвенного целеполагания // Психологические механизмы регуляции социального поведения. – М., 1979.
- Хендерсен Дж.Л.** Древние мифы и современный человек // Человек и его символы / К.Г. Юнг, М.-Л. фон Франц, Дж. Хендерсен и др. – М., 1997.
- Шерстова Л.И.** Индоиранская основа мировоззрения ранних кочевников Саяно-Алтая (по этнографическим материалам) // Скифо-сибирский мир. – Кемерово, 1984.
- Этнографическое изучение знаковых средств культуры.** – Л., 1989.
- Этнознаковые функции культуры.** – М., 1991.
- Юнг К.Г.** Психология бессознательного. – М., 1996.
- Яшин В.Б.** Выделение заимствований в мифологии // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. – Томск, 1990.
- Яффе А.** Символы в изобразительном искусстве // Человек и его символы / К.Г. Юнг, М.-Л. фон Франц, Дж. Хендерсен и др. – М., 1997.
- Sturrock J.** Structuralism. – L., 1993.

КОСМОС КАЗАК-КОЧЕРДЫКСКОГО АКИНАКА: К ВОПРОСУ О СИМВОЛИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ОРУЖИЯ У СКИФОВ В СКИФО-САКСКОЙ НОМАДОЛОГИИ

«Героическая эпоха», она же «эпоха железного меча», как назвал классик марксизма время, предшествующее образованию государств у варваров [Энгельс, 1961, с. 162–163], действительно совпала в Северной Евразии с наступлением ранне-го железного века. Оружие определенных типов, наряду со специфическим искусством и конской уздой, составляет надкультурный и надэтнический феномен «скифской триады», характерный для населения степной Евразии в I тысячелетии до н.э. Предметы вооружения (как, впрочем, и конской узды) часто совмещены с изображениями в зверином стиле, выполнявшими не только и не столько художественные, сколько разнообразные магико-религиозные функции.

В настоящей статье ее авторы повторно обращаются к вопросу о семантике декора бронзового акинака, найденного в 70-х годах XX в. при вспашке поля близ д. Казак-Кочердык (далее – КК) на левобережье Тобола (Курганская обл.). До конца XX в. этот шедевр находился у находчика. В 1999 г. предмет был замечен участниками фольклорной экспедиции Екатеринбургского пединститута. Они сообщили о находке археологам Института истории и археологии УрО РАН и передали им фотографии. Вскоре кинжал попал в г. Курган, а весной 2000 г. новый владелец А.М. Мезенцев принес его С.Н. Шилову (безвременно скончавшемуся в 2010 г.) на предмет культурной атрибуции. В настоящее время акинак находится в г. Екатеринбурге, в частной коллекции.

Типология, хронология и семантика кинжала были рассмотрены в предыдущих работах [Шилов и др., 2003; Котов, 2003а, 2003б; Шилов

и др., 2005]. В соответствии с морфологическими признаками, предмет был датирован VIII–VII вв. до н.э. Близкие зооморфные изображения первоначально были обнаружены авторами лишь на одном архаическом акинаке – из Минусинского края, принадлежавшем антиквару С. Болсуновскому (рис. 1, 2), а позже хранившемся в Киевском историческом музее (КИМ) и утерянном в годы войны [Danyiewitsch, 1932, S. 147–164, Abb. 1–3]. Однако всего через 4–5 лет после публикации КК-акинака был издан практически идентичный одному из двух бронзовых кинжалов в составе клада (?), случайно обнаруженном на южной окраине с. Сару в Южном Прииссыккулье [Табалдиев, 2007, с. 47–57, рис. 1, 1; Иванов, 2008, с. 40, рис. 1, 9]*. Он имеет навершие в виде низкой шляпки с приостренными концами (которое С.С. Иванов назвал брусковидным, приближающимся по форме к грибовидному), плоскую рукоять со слегка дуговидными краями и сердцевидное (почковидное, по С.С. Иванову) перекрестье (рис. 1, 1). Клинок обоюдоострый, с чуть расширяющимися книзу, как и у КК-акинака, лезвиями. По центру клинка с обеих сторон проходит плоский дол, придающий сечению вид шестигранника. Длина изделия – 34,0 см. Кинжал из Сару в морфологическом отношении отличается от курганского лишь отсутствием узкой продольной нервюры на рукояти и клинке, а также подтреугольного высту-

*Авторы выражают признательность Д.Г. Савинову, любезно предоставившему рисунок кинжала из с. Сару, и К.Ш. Табалдиеву за дополнительную информацию об этой находке.

па перекрестья (мешавшего хорошо рассмотреть изображения и по этой причине не помещенного мастером). Обе широкие стороны рукояти – условно обозначенные нами как плоскости А и Б – украшены изображениями фигур животных: соответственно шести оленей – двух на перекрестье и четырех (одна показана не полностью) на держаке (рис. 1, 1, А); шести горных козлов, или баранов, – четырех на держаке и двух – на перекрестье (рис. 1, 1, Б). Животные изображены стоящими «на пуантах», или «в позе внезапной остановки» (кроме одного козла с подогнутыми ногами), причем олени показаны идущими вправо (при развернутой назад голове одного из них), козлы же – и вправо, и влево, и даже вверх. Мастера, кажется, интересовала не столько ориентировка животного, сколько стремление заполнить изображением пустое пространство или нанести определенное количество фигур.

Морфологическое и иконографическое сходство западносибирского, семиреченского и минусинского акинаков дополняется тем, что все они бронзовые, цельнолитые, богато декорированы и имеют близкие размеры (соответственно, 36,6, 33,0 и 29,7 см). На кинжале из Минусинской котловины изображениями заполнены навершие, держак и перекрестье, на кинжале из Прииссыккуля – держак и перекрестье, а на акинаке из КК украшена одна из сторон держака, перекрестье и весь клинок. Все рисунки выполнены в аржанском, или аржано-майэмирском, стиле [Шер, 1980, с. 243 сл.], причем изображения даны в контурной, или силуэтной, манере, характерной для наскального искусства восточных районов Евразии.

Я.А. Шер подчеркнул, что «самые поразительные аналогии аржано-майэмирскому стилю находятся далеко (от Аржана. – В.К., Р.И.) на юго-западе, в Таласской долине». И далее: «рисунки из Ур-Марала оставляют впечатление более близких к аржанским и майэмирским, чем минусинские писаницы» [Шер, 1980, с. 245]. Соглашаясь с этой оценкой, отметим, что именно в Ур-Марале (до-

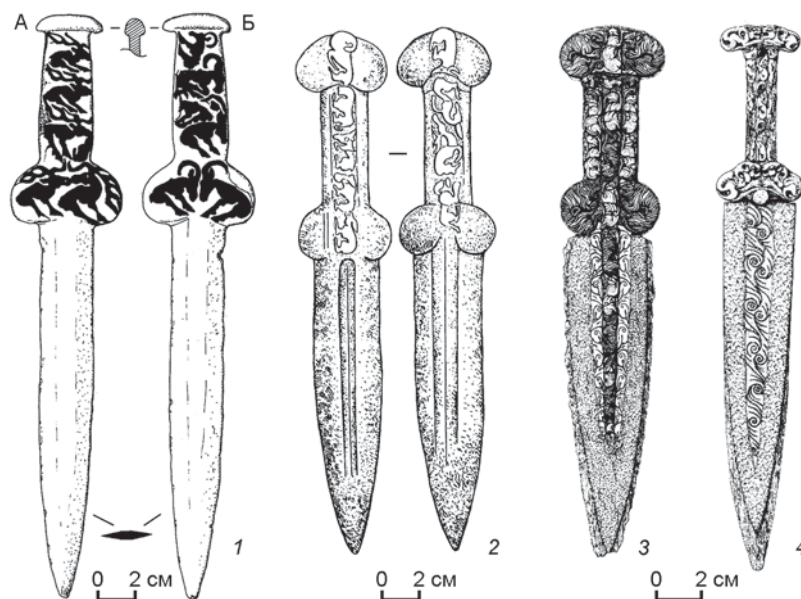


Рис. 1. Кинжалы казак-кочердыкской серии.

1 – бронзовый кинжал из с. Сару, Южное Прииссыккулье (по: [Табалдиев, 2007]); 2 – бронзовый кинжал из Минусинской котловины (по: [Danyiewitsch, 1932]); 3, 4 – железные кинжалы с золотой отделкой из кургана Аржан 2 (по: [Çugunov, Parzinger, Nagler, 2010]).

лина р. Талас) мы находим аналогии очень редким особенностям трактовки некоторых деталей на КК-кинжале, таких как изображение когтей кошачьего хищника в виде спиралеобразных завитков и лап медведя в виде длинных дуг [Там же, рис. 31, 32].

Рисунки на КК-акинаке заполнены насечками, нанесенными тончайшим орудием способом, аналогичным технике пикетажа в наскальном искусстве. Фигурки животных на саруйском и на утерянном теперь кинжале С. Болсуновского отлиты (в один прием с кинжалом) в невысоком плоском рельефе.

Еще два кинжала происходят не только из одного памятника, но даже из одного закрытого комплекса – погр. 5 кургана Аржан 2 в Республике Тува; причем один находился при костяке 1, другой – при костяке 2 [Çugunov, Parzinger, Nagler, 2010, tab. 8, 9, 61]. Их более поздний, сравнительно с описанными выше акинаками, возраст удостоверяется уже тем, что они железные, плакированные вырезанными из золотой фольги изображениями животных и криволинейных геометрических фигур. Массивный кинжал костяка 1 имеет однотипные навершие и перекрестье почковидной формы, уплощенную рубчатую рукоять и подтреугольный клинок, отделенный от перекрестья декоративными пазами (рис. 1, 3). Более изящный кинжал ко-

стяка 2, в целом, похож на предыдущий, хотя навершие его формально ближе к брусковидным, а перекрестье – к бабочковидным (рис. 1, 4).

Чрезвычайно интересно, что кинжалы из Аржана 2 не только синхронны между собой, но и, скорее всего, даже изготовлены одним мастером, тяготеют к разным кинжалам КК-серии: если кинжал костяка 1 можно назвать «клоном» кинжала из Минусинской котловины, то кинжал костяка 2 ближе к акинакам из Притоболья и Семиречья. Материал (железо с золотом), типология, декоративность, близость к оружию V–III вв. до н.э. выдают в кинжалах из Аржана 2 поздний вариант КК-серии.

В пилотной работе КК-акинак был отнесен ко второй половине VIII – началу VII в. до н.э. [Шилов и др., 2003, с. 191]; кинжал С. Болсуновского был датирован украинскими археологами временем не позже начала VI в. до н.э. [Ильинская, 1975, с. 98], а иссыккульский кыргызским исследователем отнесен к VII–VI вв. до н.э. [Иванов, 2008, с. 40]. Не претендуя на последнее слово в этой дискуссии, отметим, что широко применяемые в последнее время естественнонаучные методы датировки решительнее, чем традиционные историко-типологические, позволяют настаивать на более ранних датах из числа приведенных выше [Евразия..., 2005, с. 100 сл.]. Эти выводы хорошо соотносятся с относительно поздней датой кургана Аржан 2, отнесенного по ^{14}C к середине VII в. до н.э., а по данным дендрохронологии – к 659 г. до н.э. [Там же, с. 84 сл., 134 сл.].

Сегодня можно уверенно говорить о том, что пять описанных выше находок образуют серию близких морфологически и иконографически акинаков, названную нами *казак-кочердыкской*. В Евразии в раннескифское время бытовал целый ряд четко оформленных серий (типов) мечей и кинжалов, насчитывающих от 4–5 до 15 находок, таких, как келермесская (раннескифская), марычевская (раннесавроматская), североказахстанская (сакская), кинжалы с рамочными рукоятями (таганрогская), кинжалы биметаллические с бабочковидным перекрестьем, кинжалы с петлей-обоймой под навершием и т.д. (см., напр.: [Исмагил, 2000; Исмагил, Сунгатов, 2004]). Их многообразие свидетельствует о гетерогенном происхождении акинака «скифского типа», формирующегося в процессе широких контактов с представителями различных культур и цивилизаций (Китай, Иран и др.). Нет сомнений, что число находок КК-серии

непрерывно будет возрастать, а их роль в решении острых проблем археологии скифского мира – усиливаться.

* * *

Особенности многофигурных композиций, их сложность предполагают наличие какого-то явного символического подтекста, и, следовательно, они могут быть рассмотрены с точки зрения мифологической символики. Подробное описание фигур и аналогий к ним были приведены в пилотной публикации [Шилов и др., 2003], что позволяет авторам сразу приступить к семантике композиций.

Широкие стороны кинжала богато декорированы, причем изображения на каждой стороне кинжала нанесены с учетом «цветовой» оппозиции, чем мастер, очевидно, старался подчеркнуть семантическое противопоставление композиций сторон (рис. 2). На «темнофигурной» стороне (в дальнейшем – ТФ) сплошной гравировкой (штриховкой) заполнены силуэты животных, а фон оставлен пустым; на «светлофигурной» стороне (СФ), – наоборот, заштрихован фон, а пустыми оставлены фигуры. Заметна и разница в структуре связей изображений плоскостей – линейной на ТФ-стороне и композиционно-групповой (сюжетной) на СФ-стороне.

Светлофигурная сторона

Ключевой для понимания нам представляется композиция на клинке. Здесь изображены три группы животных (рис. 2, Б). Верхняя и нижняя группы состоят из сцен преследования хищником копытного. В средней изображены четыре копытных одинакового размера с летающими между ними птичками (ласточками или стрижами), что указывает на космическую символику сцены, на связь представленных здесь зооморфных образов с небесными светилами, созвездиями и/или другими явлениями на ночном небе. Мифологическая парадигма ассоциирует их движение по небосклону или вокруг Полярной звезды с преследованием копытного (оленья, лося) хищником или охотником [Новиков, 1991].

Именно эта сцена и изображена в верхней части клинка (рис. 2, Б, 6, 7). Здесь помещен кабан с четырьмя вытянутыми ногами, идентичный кабанам на ТФ-стороне лезвия и на рукояти кинжала. Зверь с мощной клыкастой мордой и вздыбленной холкой «завис» над оленем, подставившим ему шею с запрокинутой рогатой головой. Драма-

тизм сцены выдают вытянутые вперед ноги жертвы (рис. 2, Б, 1, 2).

Та же пара вырезана и на рукояти, но здесь кабан противостоит оленю, изображенному с поджатыми ногами. (В отличие от других участков, ни контуры животных, размещенных на рукояти, ни фон не заполнены гравировкой.) В целом, две последние сцены дублируют друг друга, что требует разъяснений. Можно думать, что сцены с участием кабана и оленя маркировали особое, «осевое» значение этой композиции в семантике изображений на верхней части кинжала. В этой связи, далеко не случайным кажется размещение между ними, на сердцевидном перекрестье изображений двух животных в зеркальной проекции: «парящего» в воздухе козла с опущенными вниз, как у марионетки, ногами, и коня/кулана с аналогично трактованными ногами, но копытами вверх (рис. 2, Б, 3, 5). Марионеточная манера изображения ног этой пары (справедливости ради, следует отметить, что она характерна и для всех четырех кабанов, изображенных на акинаке), как будто, диссонирует с довольно реалистической манерой показа ног у других животных. «Небесный» характер этой сцены, очевидно, подчеркнут изображением птички, размещенной между животными (рис. 2, Б, 4).

Учитывая явную небесно-космическую семантику изображенных сцен, можно утверждать, что сам кинжал символизировал собой *мировую ось*, а нанесенные на нем изображения дублировали, удваивали эту идею [Раевский, 1985, с. 99, 115]. Роль мировой оси подчеркивала вертикальная нервюра, проходящая через весь кинжал. В соответствии с принципами осевой симметрии размещены также изображения, находящиеся в средней части клинка. Исходя из этого, становится понятной семантика верхней композиции на лезвии и рукояти. Если видеть в кинжале символ мировой оси с Полярной звездой в центре, то преследование хищником оленя символизирует Большую Медведицу, – атрибут космического коло в сибирских мифах [Анисимов, 1959, с. 91; Топоров, 1992, с. 70]. Ассоциация образа небесного оленя/лося с Большой медведицей довольно популярна у народов Северной Евразии [Анисимов, 1959, с. 11–14; Кузьмина Е.Е., 1977, с. 105–106; Топоров, 1992, с. 70; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005, с. 102–105]. Вместе с тем, образ кабана как хтонического персонажа, известен в индоевропейской мифологии, а в скифской традиции сражение с ним предстает как один из подвигов эпического

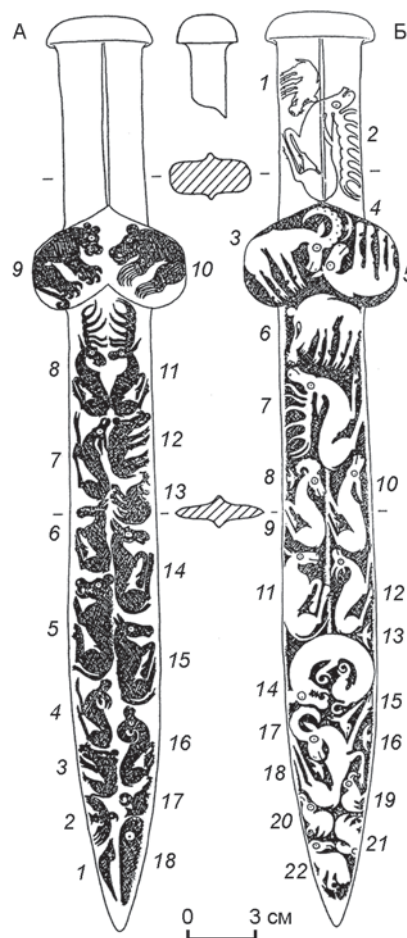


Рис. 2. Бронзовый кинжал из д. Казак-Кочердык Курганской обл. (по: [Шилов и др., 2003]).

героя [Грязнов, 1961, с. 21; Яценко, 2000, с. 88]. На КК-кинжале на первый план выступают черты кабана как опасного хищника – преследователя космического оленя, заместившего медведя в мифологии урало-сибирских народов [Анисимов, 1959, с. 13–15]. Кроме того, различия в расположении оленя и кабана на лезвии и рукоятке могут отражать движение созвездий Большой и Малой Медведицы в течение суток и/или года, что было важно для определения времени у ряда народов северной Евразии [Петрова, 1937, с. 83, 116].

Семантика этой сцены дает возможность понять содержание нижней группы изображений на клинке. Она состоит из свернувшегося в кольцо кошачьего хищника и козла в окружении птиц (рис. 2, Б, 14–22). Оба персонажа имеют неестественные позы, что явно указывает на символичность данной композиции. Тело хищника изображено свернувшимся в круг, неестественно длинные когти

спиралеобразно загнуты. Голова крупная, с зубастой пастью, уже известной нам по изображениям на ТФ-стороне. Глаз и ухо круглые; маленький хвост имеет вид крючка (рис. 2, Б, 14). Кошачьи хищники на ТФ-стороне изображены в позах, близких к естественным (рис. 2, А, 5, 9). Фигура кошачьего хищника, свернувшегося в кольцо, на противоположащей плоскости является неестественной и, очевидно, символической. Соответственно, эта поза должна быть связана с содержанием всей композиции. Изображение животного, вписанного в круг или свернувшегося в кольцо, ассоциируется с солярной символикой и с солярным мифом. А.В. Збруева, на примере ананьинских пряслиц, хорошо показала, как в процессе эволюции свернувшийся в кольцо хищник стал обозначать солярный символ [1952, с. 132]. Кошачий хищник обращен мордой к козлу, неестественно вывернутое тело которого, очевидно, также имело символическое значение. Небесный характер этого животного символа на кинжале подчеркнут изображениями различных птиц (стрижей, ласточек, ворона и трех хищных птиц), окружающих фигуру козла. Птицы с повернутыми к нему головами почти касаются его тела (рис. 2, Б, 18–22). Одна птичка помещена позади хищника, между ним и сайгой (рис. 2, Б, 13). То, что это не случайная деталь, указывает обязательное присутствие птички рядом с головой козла в других сценах на этой стороне кинжала. Именно козел на КК-акинаке должен был являть собой не только небесный, но и *дневной* символ, – солнце. Это находит полное соответствие в верованиях ранних кочевников Евразии, у которых горный баран (козел) ассоциировался с небесным миром и солнцем [Погребова, Раевский, 1992, с. 135].

Таким образом, еще раз подтверждается предположение о наличии четкой вертикальной симметрии на этой стороне лезвия и семантике сцены преследования кабаном оленя на рукояти и лезвии как символе Большой Медведицы и Севера, а изображенных ниже кошачьего хищника и козла – Солнца и Юга, или, другими словами, полнотной и полдневной сторон. Одновременно козел и лошадь – это Восток и Запад, или утреннее и вечернее солнце.

Имея на руках эти выводы, можно перейти к содержанию сцен, изображенных в средней части клинка (рис. 2, Б, 9–12). Обращает на себя внимание сходство персонажей левой половины центральной композиции со сценой на перекрестье.

В обоих случаях изображены козел и животное, условно названное «лошадью», находящиеся в зеркальной оппозиции друг к другу: на лезвии козел обращен сложенными под животом ногами к краю лезвия, в то время как «лошадь» повернута к лезвию спиной (рис. 2, Б, 9, 11). Опираясь на выводы, к которым мы пришли при анализе этих же животных на перекрестье, козел и лошадь должны символизировать *Восток* и *Запад*. Соответственно, изображенную в правом верхнем углу в позе с поджатыми ногами олениху следует считать символом *Севера*, а сайга под ней может символизировать только *Юг* (рис. 2, Б, 10, 12).

В итоге, композиция СФ-стороны демонстрирует идею четырех сторон света: Север – Юг – вертикальная ось кинжала, Восток – Запад – горизонтальная. Создается впечатление, что мастер, используя ограниченные возможности двухмерного изображения, попутно пытался решить и «сверхзадачу» – изобразить объемный, трехмерный циклический Космос, круговое вращение Вселенной.

Интересно при этом, что здесь присутствует смешение ориентаций и использование различных оппозиций: Север определяется по Полярной звезде и Большой Медведице, Юг – по полдневному солнцу, Восток и Запад – по восходу и заходу солнца. Такой подход к определению сторон света известен у ряда народов с традиционной культурой [Кузьмина А.И., 1977, с. 73, 74]. Отождествление сторон света, фаз движения солнца по небосклону и других космических явлений с животными образами характерно, в общем, для архаического сознания [Раевский, 1985, с. 110].

Темнофигурная сторона

Бестиарий на ТФ-стороне имеет линейную структуру: фигуры животных (за одним исключением) размещены в два ряда, друг за другом вдоль продольной оси клинка (рис. 2, А). В целом, изображения как между двумя группами, так и внутри групп выглядят не связанными друг с другом. Медиаторами, соединяющими животных в вертикальных рядах в какую-то структуру, являются изображенные на перекрестье хищники, – кошачий и медведь. Это единственная «парная» сцена на этой стороне. Почти все животные изображены друг за другом, лапами к краю лезвия. Исключение составляют две птицы в правом ряду, повернутые лапами к продольной оси кинжала, и сокол в левом ряду, нарисованный в анфас (рис. 2, А, 2, 13, 17). Очевидно, важно было их размещение

в плотном окружении других животных именно по вертикали, для чего их развернули в другую сторону, не нарушив общий замысел «звериного» ряда. Кроме того, тело кабана в левом ряду было «сжато» мастером для того, чтобы он поместился между другими животными (рис. 2, А, 3). Отсюда можно сделать вывод, что некоторые отклонения от общей тенденции в изображении и ориентации фигур связаны исключительно с задачей их компактного размещения. Очевидно, с этим связан и разноразличность поз животных, их голов, рогов и конечностей. Указанный принцип хорошо иллюстрируется изображенными в верхней части клинка двумя оленями, для размещения которых именно на этом участке у них были подняты вверх ветви рогов, обычно находящиеся за спиной (рис. 2, А, 8, 11). Следует отметить, что каждое животное изображено не как абстрактный знак, а как достаточно реалистичный образ: у каждого тщательно прорисованы все характерные признаки вплоть до видовой принадлежности и пола, в статичных позах, но с определенной экспрессией. О том, что это не простая демонстрация животных, свидетельствует и факт повторяемости отдельных изображений. Соответственно, они символизировали какой-то ряд, а точнее – *последовательность явлений*.

Каждый из двух рядов, левый и правый, составляет равное число фигур – девять. Фактически, мы имеем 18 животных символов, составляющих одно целое, структурированное по принципу бинарной оппозиции. Их анализ показывает, что они образуют какой-то календарный «текст».

Даже при беглом взгляде на видовой состав животных КК-кинжала бросается в глаза полное господство представителей дикой фауны, причем этот набор животных характерен для степей, полупустынь и южно-сибирской тайги и встречается в полном объеме только в Саяно-Алтайском нагорье [Грум-Гржимайло, 1914, с. 483, 507]. Из домашних животных на ТФ-стороне присутствует только лошадь. Значит ли это, что в данном случае мы имеем охотничий естественный календарь, и каждое животное непременно обозначает какой-либо природно-хозяйственный цикл? Уже количество изображенных животных (18) заставляет усомниться в этом, – каждый такой месяц состоял бы всего из 20 дней. Вместе с тем, отдельные моменты явно могут указывать на связь изображений некоторых животных с временными циклами. Это, прежде всего, две находящиеся по соседству птицы (одна

из которых высидывает яйца) (рис. 2, А, 1, 2), которые могут обозначать весенний месяц прилета птиц и откладывания яиц – март – апрель [Кузьмина А.И., 1977, с. 81–84]. Изображенная по соседству рыба (рис. 2, А, 18) могла бы в таком случае обозначать месяц подледной ловли рыбы, который обычно предшествовал у ряда сибирских народов месяцу прилета птиц – февраль (ср., например, «месяц налима» у долган [Петрова, 1937, с. 84–85]). Наличие двух рядов на ТФ-стороне могло бы символизировать и разделение астрономического года на два года, летний и зимний, которые начинались с весеннего (22 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствий [Петрова, 1937, с. 115; Конаков, 1990, с. 108; Лушникова, 2004, с. 11]. Соответственно, птица внизу (рис. 2, А, 1) может маркировать вторую половину марта или весеннее равноденствие. Допуская существование 20-дневного календарного цикла для каждого животного, мы встретим еще ряд важных совпадений. Так, два оленя (рис. 2, А, 8, 11) могут обозначать период гона у этих копытных, длящийся с начала августа по октябрь. Именно в это время происходят поединки оленей, что, возможно, и нашло отражение в напряженности их поз. Рисунок медведя (рис. 2, А, 10) соответствует второй половине сентября – началу октября, то есть периоду, когда у этих животных начинается свадебный период и они особенно опасны. Не случайно коми-охотникам было запрещено посещать лес в течение «месяца медведя», приходящийся на период осеннего равноденствия [Конаков, 1990, с. 107]. С конца октября по конец марта на пять месяцев бурый медведь в горах Саяно-Алтая ложился в спячку, и в течение этих пяти месяцев длился сезон охоты на него [Грум-Гржимайло, 1914, с. 486]. Отсюда можно было бы заключить, что изображение медведя маркировало «зимний год» (и осеннее равноденствие), а кошачьего хищника – «летний». Тогда наличие рисунка второго кошачьего хищника (рис. 2, А, 5) можно связывать с «вершиной» лета, – со второй половиной июня, месяцем с самыми длинными днями в году. У якутов в это время отмечался праздник нового (летнего) года [Слепцов, 1997, с. 182]. Расположение фигур указывает на то, что отсчет астрономического года мог начинаться со дня осеннего равноденствия (по правому ряду – сверху вниз) и со дня весеннего равноденствия (по левому ряду – снизу вверх). Среди животных мы видим всего двух самок – сайги и оленя (соответственно май – первая половина июня и июль – первая половина

августа) (рис. 2, А, 4, 6). Внимание мастера к их полу, несомненно, можно воспринимать как указание на какой-то важный для этих животных продуцирующий цикл. Известно, например, что сайга для жителей Саяно-Алтайского нагорья являлась одним из основных промысловых животных. Она постоянно кочует большими стадами по определенным маршрутам, причем самки ягнятся весной в одно и то же время, отделяясь от основного стада до середины июня. Это значительно облегчает охоту на сайгу [Грум-Гржимайло, 1914, с. 511–514].

Поскольку звериный ряд лишь частично совпадает с естественным календарем, мы должны предполагать, что календарь ТФ-стороны был связан не только с хозяйственной, профанной, но и с сакральной сферами. Этим можно объяснить и необходимость в 20-дневном месяце, хотя для этого легче подходил естественный лунно-солнечный месяц из 28–30 дней. Поскольку календарь был разделен на равные промежутки времени, следует предполагать достаточно точную привязку начала каждого месяца к солнечному году. Без астрономических наблюдений за солнцем, луной и созвездиями и без наличия специальной категории людей (жрецов?), которые должны были этим заниматься в целях своевременного исполнения ритуалов, это было бы невозможно. Не исключено, что некоторые фигуры животных обозначали какие-то созвездия и являлись знаками зодиака. Исторические корни звериного круга точно не выяснены. Некоторые исследователи не без основания считают его наследием древних тюрков, от которых через монголов он был передан китайцам [Петрова, 1937, с. 118]. О существовании у древних башкир 12-летнего животного цикла сохранилось упоминание в архаичном эпосе «Урал-батыр» [Башкирский народный эпос, 1977, с. 369].

Таким образом, в жизни древних кочевников, использовавших кинжал в своих ритуалах, главную роль играл уже не естественный, охотничий, а обрядовый календарь. О том, что у древних скотоводов существовал такой календарь с 18-месячным циклом, красноречиво свидетельствует захоронение 360 коней в Ульском кургане, разделенных на 18 скоплений по 20 коней. Все кони в каждом скоплении были привязаны к одному столбу-привязи. Этот факт расценивался учеными как проявление индоиранской жертвенной обрядности в скифской среде, имеющей в своей основе 18-месячный годовой цикл [Лелеков, 1980, с. 119–120]. Само количество жертвенных животных (360) соответ-

ствует годовому циклу. При этом именно двадцатичный счет является наиболее естественным при подсчете и, следовательно, древнейшим. Он известен у некоторых евразийских народов: чукчей, кельтов, народов Афганистана и Индии [Фролов, 1992, с. 92]. Все это подтверждает предположение о календарной семантике ТФ-стороны кинжала. Эта идея была подробно, хотя и весьма своеобразно рассмотрена в работах В.Е. Ларичева, посвященных «математическому» анализу КК-акинака [Ларичев, 2004, 2007].

Возникает вопрос о том, насколько уникален подобный факт? Мы полагаем, что календарная символика присутствует в декоре ряда предметов вооружения, в частности, на исык-кульском кинжале [Иванов, 2008, рис. 1, 9] (см. рис. 1, 1). Он является двойником казак-кочердыкского акинака. Особенностью кинжала из Сару является размещение на одной стороне рукоятки и перекрестья шести фигур оленей, а на другой – шести козлов. Некоторая скученность изображений и использование даже фрагментов фигур говорят о неслучайном характере именно этого количества животных. 12 изображений животных соответствуют 12-месячному годовому циклу, разделенному на летнее и зимнее полугодия. На бронзовом чекане VII в. до н.э. с р. Сарабаихи в Среднем Приуралье на обеих сторонах обушка изображено по три фигуры кошачьего хищника, а на обеих сторонах втулки – по три фигуры медведя (рис. 3), что в совокупности также составляет 12 изображений [Денисов, Коренюк, 2001, с. 140–141, рис. 1]. Маркировка полугодий образами кошачьего хищника и медведя на этих предметах подтверждает предположение о семантике противостоящей пары кошачьего хищника и медведя на ТФ-стороне перекрестья КК-кинжала [Шилов и др., 2003, с. 174]. 12 голов оленей с мощными ветвями стилизованных рогов, изготовленных из золотой фольги и размещенных по шесть на каждой стороне клинка железного меча из кургана 1 Филипповского могильника, позволяет предполагать календарный характер и этих изображений [Золотые олени Евразии, 2001, кат. 6–7] (рис. 4, 1).

Таким образом, семантика изображений на курганском кинжале указывает на то, что он явно использовался в каких-то ритуалах. Акинак символизировал собой космическое коло, мировую ось, вокруг которой вращались созвездия и солнце и центр земного мира [Алексеев, 1980; Бессонова, 1984]. Отсюда проистекает и мифоритуальная

символика акинака, обозначавшего сакральный центр социума, участвовавшего в обряде. Тем самым он имманентно содержал в себе идею мироустроительства, поскольку маркировал эпицентр освоенного, очеловеченного пространства [Мелетинский, 1976, с. 248–249]. Отсюда и сам ритуал, в котором использовался кинжал, с необходимостью приобретал черты космогонического деяния. Поэтому кинжал являлся важнейшим атрибутом шаманских мистерий и обрядов [Шилов и др., 2003, с. 190]. Как предмет вооружения и одновременно предмет искусства, художественно декорированный кинжал мог выступать в качестве универсального символа принадлежности и к воинской, и к жреческой элите [Акишев, 1983, с. 34]. Важно, что акинаки с декорированными рукоятками и лезвиями, помимо кургана Аржан 2 в Туве [Чугунов и др., 2004], были обнаружены в других захоронениях элиты ранних кочевников: кургане Иссык в Семиречье [Акишев, 1983; Древнее золото Казахстана, 1983, с. 221], курганах 1 и 4 Филипповского I могильника в Приуралье [Пшеничнюк, 1989, с. 7, рис. 12; Золотые олени Евразии. 2001. Кат. 6–7; Яблонский, 2008, с. 56] (рис. 4, 1–4). Не случайно акинак и меч из кургана 1 Филипповского могильника вместе с уздой и оселком были уложены на перекрытии тамбура перед входом в могилу, рядом с пятью фигурами золотых оленей, и все это, очевидно, составляло единый сакральный комплекс [Пшеничнюк, 2001, с. 34].

Наиболее выдающейся находкой в этом ряду является железный акинак из погр. 2 кургана 4, исследованного Л.Т. Яблонским [Сокровища..., 2008, кат. 39]. На каждой стороне обложенной золотом рукояти изображена в рельефе идентичная сцена заглаживания козла хищником (волком?) (рис. 4, 3); на обеих сторонах перекрестья представлена одина-

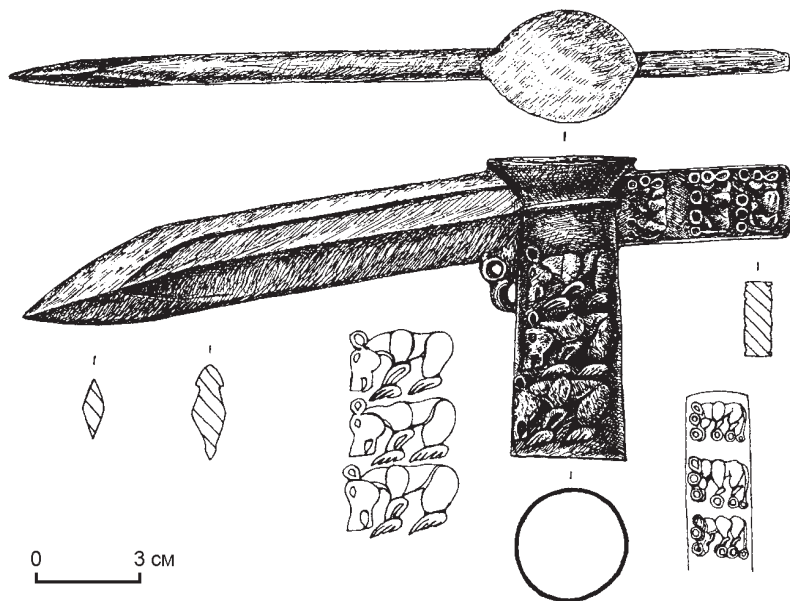


Рис. 3. Бронзовый чекан с р. Сарабахи, Прикамье (по: [Денисов, Коренюк, 2001]).

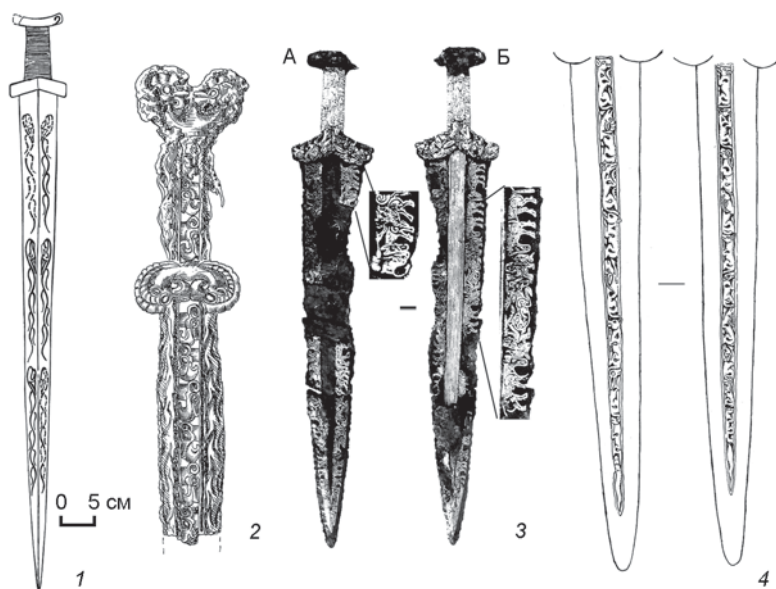


Рис. 4. Декорированные кинжалы.

1, 2 – железные меч и кинжал с золотой отделкой из кург. 1 Филипповского мог., Оренбургская обл. (по: [Пшеничнюк, 2006]); 3 – железный акинак с золотой отделкой из кург. 4 Филипповского мог., Оренбургская обл. (по: [Яблонский, 2008]); 4 – железный акинак из кург. Иссык, Казахстан (по: [Шилов и др., 2003]).

ковая многофигурная композиция из голов и фигур животных [Яблонский, 2008, рис. 26]. А вот изобразительные ряды на разных сторонах клинка отличаются друг от друга. Они состоят из фигур различных животных, часть которых противостоят друг другу, часть – расположены один за

другим. Среди животных можно распознать оленей, лосей, барана, кабанов, медведя, кошачьего хищника, лошадей. В верхней части правой грани левого лезвия изображен всадник, направивший копье на какое-то животное (рис. 4, 3, А). Ниже изображено хищное животное с массивными когтистыми лапами, на задней части его туловища помещен солярный знак в виде трехлучевой закручивающейся розетки. На правой грани правой стороны лезвия представлена сцена, ограниченная стоящими по краям двумя лошадьми, между которыми стоят два человека, поражающих оружием оленя с солярным знаком на вывернутом крупе (рис. 4, 3, Б). Сцену убийства космического оленя можно сопоставить с космогоническим мифом древних тюрков, повествующем о противостоянии двух братьев из-за жертвоприношения солнечного оленя, которое необходимо совершить ради поддержания космического порядка [Котов, 2010]. Солярный знак помещен и между двумя животными, изображенными напротив этой сцены на другой грани этой же стороны лезвия. Несомненно, эти сцены отображают мифологию ранних кочевников, связанную с космогонией, о чем говорит и присутствие на фигурах животных и рядом с ними солярных знаков. Не исключено, что изобразительный ряд на обеих сторонах отражает календарную символику.

Ряд ученых высказали мнение, что отделанные золотом акинаки не использовались по своему прямому назначению, будучи парадным, или инвестируемым оружием [Федоров-Давыдов, 1980; Акишев, 1983; Пшеничнюк, 2009, с. 194]. Надо отметить, что только часть декорированных кинжалов обладала выраженной календарной символикой, и одновременно с ними существовали мечи, которые имели исключительно декоративно-символическое значение. Как отголосок высокого символического статуса клинкового оружия следует воспринимать появление в более позднее время на клинковом оружии многофигурных композиций, иллюстрирующих сцены из героического эпоса или героизированного быта [Суразаков, 1979]. Вышеприведенные примеры указывают на существование у ранних кочевников на обширной территории от Китая до Северного Причерноморья традиции изготовления и использования символического оружия в разнообразных ритуалах [Геродот, IV, 59; Алексеев, 1980; Акишев, 1983, с. 45; Бессонова, 1984; Шилов и др., 2003, с. 184 и сл.; Савинов, 2008].

Суммируя сказанное, следует отметить, что являющийся предметом нашего анализа архаичный бронзовый акинак из КК вряд ли может быть датирован позже второй половины VIII – первой половины VII в. до н.э. Хотя типологически близкие к курганскому мечи и кинжалы известны уже на всей восточной части ареала «скифской триады», разнообразие представленных на КК-кинжале животных и птиц ставит его на особое место. Традиция изготовления мечей с роскошным декором сохраняется в скифском мире еще несколько столетий спустя после «аржанского» времени. Что касается семантической стороны, то изображенный на одной из сторон КК-акинака звериный ряд мог обозначать 18-месячный естественно-обрядовый календарь. На другой стороне отражены символы сторон света, а вся композиция, в целом, могла символизировать идею космической оси. Исходя из этой реконструкции, авторами предложено рассматривать кинжал как символ космического и обрядово-мифологического центра, своеобразный ритуальный медиатор между двумя мирами – людей и богов. Во многом эта функция совпадает со значением меча, известным в античной традиции под названием «культ Ареса». Вместе с тем, акинак имел и самостоятельную функцию как важнейший инструментальный атрибут жреца/шамана, использовавшийся в обрядах календарного цикла. КК-кинжал – это высокохудожественное произведение искусства ранних кочевников, дающее яркое представление о начальных этапах формирования акинака, звериного стиля и религиозных представлений населения Евразии эпохи раннего железа.

Список литературы

- Акишев А.К.** К реконструкции символики инвестируемого оружия у племен скифо-сако-савроматского ареала: исыкский кинжал // Культура и искусство Киргизии: тез. докл. – Л., 1983. – Вып. 1.
- Алексеев А.Ю.** О скифском Аресе // АСГЭ. – Л., 1980. – Вып. 21.
- Анисимов А.Ф.** Космогонические представления народов Севера. – М.; Л., 1959.
- Башкирский** народный эпос. – М., 1977.
- Бессонова С.С.** О культе оружия у скифов // Вооружение скифов и сарматов. – Киев, 1984.
- Геродот** История. – М., 1999.
- Грум-Гржимайло Г.Е.** Западная Монголия и Урянхайский край. – СПб., 1914.

- Грязнов М.П.** Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири // АСГЭ. – Л., 1961. – Вып. 3.
- Денисов В.П., Кореньков С.Н.** Чекан с р. Сарабаихи // Археология и этнография Среднего Зауралья. – Березники, 2001. – Вып. 1.
- Древнее золото Казахстана.** – Алма-Ата, 1983.
- Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А.** Мифы в камне: мир наскального искусства России. – М., 2005.
- Евразия** в скифскую эпоху: радиоуглеродная и археологическая хронология. – СПб., 2005.
- Збруева А.В.** История населения Прикамья в ананьинскую эпоху // МИА. – М., 1952. – № 30.
- Золотые олени Евразии.** – СПб., 2001.
- Иванов С.С.** Кинжалы ранних кочевников Семиречья и Тянь-Шаня // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. – Барнаул, 2008.
- Ильинская В.А.** Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. – Киев, 1975.
- Исмагил Р.** Клиновое оружие досакского и сакского времени из Центральной и Северо-Западной Азии // Этносы и культуры на стыке Азии и Европы. – Уфа, 2000.
- Исмагил Р., Сунгатов Ф.А.** О генезисе акинаков марычевского типа // УАВ. – Уфа, 2004. – Вып. 5.
- Конаков Н.Д.** Промысловый календарь в мировоззрении древних коми // Мировоззрение финно-угорских народов. – Новосибирск, 1990.
- Котов В.Г.** Календарь ранних кочевников: семантика курганского кинжала // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2003а.
- Котов В.Г.** Семантика архаического бронзового кинжала из Курганской области // Человек в пространстве древних культур. – Челябинск, 2003б.
- Котов В.Г.** Мифология древних тюрков: сравнительная характеристика // «Урал-батыр» и духовное наследие народов мира: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию записи эпоса «Урал-батыр». – Уфа, 2010. – Ч. 1.
- Кузьмина А.И.** К этимологиям названий месяцев, сторон света, звезд и созвездий в селькупском языке // Языки и топонимика. – Томск, 1977. – Вып. 4.
- Кузьмина Е.Е.** Конь в религии и искусстве саков и скифов // Скифы и сарматы. – Киев, 1977.
- Ларичев В.Е.** Реконструкция лунно-солнечной и солнечной систем счисления времени в культурах скифской эпохи пограничья Сибири, Средней Азии и Южного Урала (по материалам образно-знаковых записей акинака из Казак-Кочердыка) // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Алматы; Омск, 2004.
- Ларичев В.Е.** Многоликое время в образах искусства скифской эпохи Западной Сибири: (календарно-астрономические аспекты семантики зооморфных фигур акинака из Казак-Кочердыка) // Алтае-Саянская горная страна и соседние территории в древности. – Новосибирск, 2007.
- Лелеков Л.А.** Проблемы индоиранских аналогий к явлениям скифской культуры // Скифо-сибирское культурно-историческое единство: материалы I Всесоюз. конф. – Кемерово, 1980.
- Лушников А.В.** Модель универсума древних календарей: (лингвистическая реконструкция). – М., 2004.
- Мелетинский Е.М.** Поэтика мифа. – М., 1976.
- Новиков Е.С.** Хэглэн // Мифологический словарь. – М., 1991.
- Петрова Т.И.** Времяисчисление у тунгусо-маньчжурских народностей // Памяти В.Г. Богораза (1865–1936). – М.; Л., 1937.
- Погребова Н.Н., Раевский Д.С.** Ранние скифы и Древний Восток. – М., 1992.
- Пшеничный А.Х.** Раскопки «царского» кургана на Южном Урале. – Уфа, 1989.
- Пшеничный А.Х.** Филипповские курганы в центре скифского мира: открытие и исследования // Золотые олени Евразии. – СПб., 2001.
- Пшеничный А.Х.** Культура ранних кочевников // История башкирского народа. – М., 2009.
- Раевский Д.С.** Модель мира скифской культуры: проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тыс. до н.э. – М., 1985.
- Савинов Д.Г.** «Меч-кладенец» на скалах Центральной Азии и Южной Сибири // Тропой тысячелетий: к юбилею М.А. Дэвлет. – Кемерово, 2008.
- Слепцов П.А.** Традиционная обрядность якутов: опыт классификации // Культура народов Сибири: материалы III Сибирских чтений. – СПб., 1997.
- Сокровища сарматских вождей.** – Оренбург, 2008.
- Суразаков А.С.** Железный кинжал из долины Ачик Горно-Алтайской автономной обл. // СА. – 1979. – № 3.
- Табалдиев К.Ш.** Кинжалы и клад бронзовых изделий из Кыргызстана // Вооружение и военное дело кочевников Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 2007.
- Топоров В.Н.** Лось // МНМ. – М., 1992. – Т. 2.
- Федоров-Давыдов Г.А.** Позднесарматский биметаллический кинжал из Барановского могильника // СА. – 1980. – № 2.
- Фролов Б.А.** Первобытная графика Европы. – М., 1992.
- Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А.** Золотые звери из долины царей: открытия рос.-герм. археол. экспедиции в Туве. – СПб., 2004.
- Шер Я.А.** Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М., 1980.
- Шилов и др.** Уникальный бронзовый кинжал из Казак-Кочердыка (Курганская обл.): типология и семантика, 2003 / С.Н. Шилов, Р. Исмагил, В.Г. Котов, А.Л. Банников // УАВ. – Уфа, 2003. – Вып. 4.
- Шилов С.Н., Исмагил Р., Котов В.Г., Банников А.Л.** Казак-кочердыкский кинжал: о критериях подлинности // Культурное наследие народов Сибири и Севера: мат.-лы VI Сибирских чтений. – СПб., 2005.
- Энгельс Ф.** Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 1961. – Т. 21.
- Яблонский Л.Т.** Коллекция из Филипповского могильника (раскопки 2004–2007 гг.) // Сокровища сарматских вождей. – Оренбург, 2008.
- Яценко С.А.** Эпический сюжет ираноязычных кочевников в древностях степной Евразии // ВДИ. – 2000. – № 4.
- Danyiewitsch W.** Ein sibirischer Dolch mit ungewöhnlicher Verzierung // Artibus Asiae, 1930–1932. – Leipzig, 1932. – Bd 4. – № 4.
- Çugunov K., Parzinger H., Nagler A.** Der skythenzeitliche Fürstengurgan Aržan 2 in Tuva. – Mainz a. Rhein, 2010.

Ю.А. Смирнов, Н.А. Боковенко

АНТРОПОМОРФНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В «СКЕЛЕТНОМ» СТИЛЕ НА ПЛИТЕ ИЗ ТАГАРСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ В ХАКАСИИ

Саралинский отряд (нач. Ю.А. Смирнов), работавший в составе Среднеенисейской археологической экспедиции (нач. Н.А. Боковенко), в 1997 г. проводил охранные раскопки в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. Работы велись в зоне строительства шоссейной дороги на могильнике Печище I.

Могильник находится на трассе Копьево – Сарала, между 18 и 19 км от поселка городского типа Копьево. Могильник расположен в долине р. Печище – *Пичик'тик хая* – *Писанная скала*, примерно в 5 км от знаменитой *Сюлекской* писаницы – гор Писанная, Соляная, Озерная [Семенов и др., 2003, с. 100–114, рис. 65] и в 7 км от писаниц горы Тюре, находящейся приблизительно в 2 км от поворота (14-й км трассы) на деревню Устинкино. Могильник устроен на левом берегу р. Печище (левый приток р. Черный Июс) и занимает гривастый склон и часть первой надпойменной террасы. Ближайшие к реке курганы находятся в 600 м от берега. В 1997 г. на могильнике было раскопано три тагарских кургана [Лазаретов и др., 1999, с. 286].

Плита с изображением была обнаружена в кургане № 3, могила № 4 (рис. 1). Все чертежные работы, а также прорисовки были выполнены сотрудниками отряда Г.А. Соловьевой.

Первоначально курган был, вероятно, рассчитан на одну могилу (№ 3), находившуюся в центре так называемой восьмикаменной ограды. Позднее, с юго-востока у ограды была устроена еще одна могила (№ 4). Затем, к центральной ограде были пристроены еще две (три?) ограды: одна с юго-востока и две (или одна) с северо-запада. В юго-восточной пристройке находилась еще одна могила (№ 5), в северо-западной – две

(№ 1 и № 2). В ходе перестройки кургана несколько изменилась его планировка. Стелы, расположенные по длинной оси основной ограды, были убраны. Возможно, одна из них была перенесена к северу от северо-восточного углового камня, а вторая была использована в качестве одной из плит каменного покрытия над могилой № 1. Также была убрана юго-западная угловая стела, а северо-западная была сбита почти до уровня ограды.

По мнению Я.А. Шера и Е.А. Миклашевич, посетивших раскопки, крайняя северо-восточная стела является частью окуневской стелы.

К моменту раскопок курган выглядел как традиционно выстроенная «система» из трех оград и мог бы быть отнесенным к так называемому типу четырнадцатикаменных курганов.

Курган № 3, могила № 4 (рис. 2). Могила находилась в центральной ограде. Погребение одиночное (мужчина 50–55 лет). Антропологические определения сделаны А.В. Громовым (канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Отдела антропологии Института антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, СПб.). Могильная яма имела подпрямоугольную форму со скругленными углами и была вытянута по линии северо-восток – юго-запад. Размеры: по верхнему контуру – 2,55 × 1,55 м, по нижнему – 2,15 × 1,35 м, глубина – 1,17 м. Стенки ямы несколько покаты ко дну, дно ровное, горизонтальное. Заполнение смешанное: светло- и темно-серый суглинок с включениями речных отложений гравийно-щебнистого характера.

Могильная яма № 4 (так же как и могильная яма № 3) была выкопана в слое мощного речного наноса, представлявшего собой слой опесчаненного суглинка с галькой, гравием и щебнем. По



Рис. 1. Печище I, курган № 3.
Общий план кургана и разрез А-А.

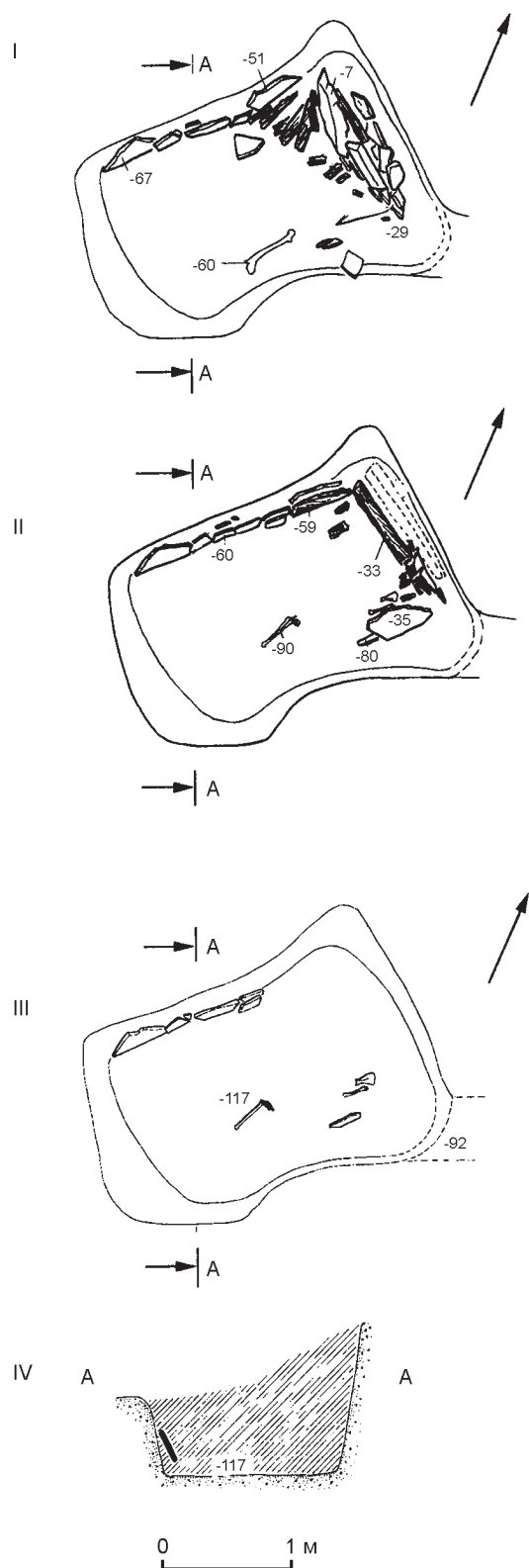


Рис. 2. Печище I, курган № 3, могила № 4. Общие планы и разрез могильной ямы: придонная часть ямы (I–II), дно ямы (III) и разрез (IV).

всей видимости, стенки ямы № 4 (как и стенки ямы № 3) стали оплывать уже в момент ее выкапывания, и поэтому по мере необходимости и с разной степенью надежности они были укреплены красно-песчаниковыми плитами.

Могильная яма была покрыта мощными каменными плитами (макс. размер: $2,30 \times 1,80 \times 0,30$ м), над которыми находилась ряд плит более мелкого размера. Часть плит покрытия залегала в заполнении могильной ямы в наклонном положении.

Деревянное перекрытие, расположенное вдоль длинной оси ямы, прослеживалось в ее северо-западной части в виде остатков бревен диаметром около 10 см.

На дне могилы находился деревянный сруб из четырех венцов, хорошо сохранившийся по северо-восточной стенке ямы. Диаметр бревен тоже около 0,10 м.

Погребение было полностью ограблено в древности – в северо-восточном углу ямы хорошо прослеживался узкий грабительский лаз под плиты перекрытия, ширина лаза составляла около 0,5 м, прослеженная длина – более 1 м.

В заполнении могильной ямы, на разных уровнях, встречались отдельные человеческие кости: череп без нижней челюсти (нижняя челюсть погребенного находилась в заполнении могильной ямы № 3, как и левая большеберцовая кость, что, по всей вероятности, указывает на одновременное ограбление могил № 3, 4) и разрозненные кости посткраниального скелета. На дне ямы, возможно, в положении, близком к первоначальному, лежали только кости правого предплечья с частью костей запястья и пясти. Если принять положение этих останков за истинное, то погребенный должен был быть ориентирован головой на юго-запад.

На дне могильной ямы в северо-восточном ее углу находились также кости животных: овцы – правая лопатка и правое бедро, а также две трубчатые кости мелких копытных. Палеозоологические определения А.В. Громова и М.В. Саблина (канд. биол. наук, науч. сотр. Лаборатории наземных позвоночных ЗИН РАН, СПб.).

Из предметов сопровождающего инвентаря в могиле, в верхнем горизонте заполнения ямы, была найдена только большая бронзовая полусферическая бляшка с отверстием в центре.

На одной из плит, укреплявших стенку могильной ямы в северо-восточном углу (краснопесча-



Рис. 3. Центральное изображение на плите из могилы № 4 (фотография Н.А. Боковенко).

никовая плита неправильных трапециевидных очертаний; размеры: высота по центру – 83 см, вершина – 18 см, основание – 47 см, длина одной стороны – 90 см, другой – 74 см, макс. толщина – 3,5 см) и находившейся в заполнении ямы в наклонном положении у грабительского лаза, имелись прочерченные (тонкая гравировка) петроглифы, не составлявшие общей композиции (рис. 3, 4).

1. Мужчина, начертанный в «скелетном» стиле, находящийся в положении стоя и, вероятно, справляющий малую нужду – отдаленную аналогию изображения акта мочеиспускания (или же эякуляции) можно видеть на одной из плит в курганной ограде из Турана [Советова, 2005, с. 132]. Впрочем, существует и еще одна трактовка данного изображения: на плите выгравирован человек, пронзенный колом, верхушка которого торчит из его головы (Ф.Р. Балонов – устное сообщение), но, возможно, вертикальная линия прочерчена для

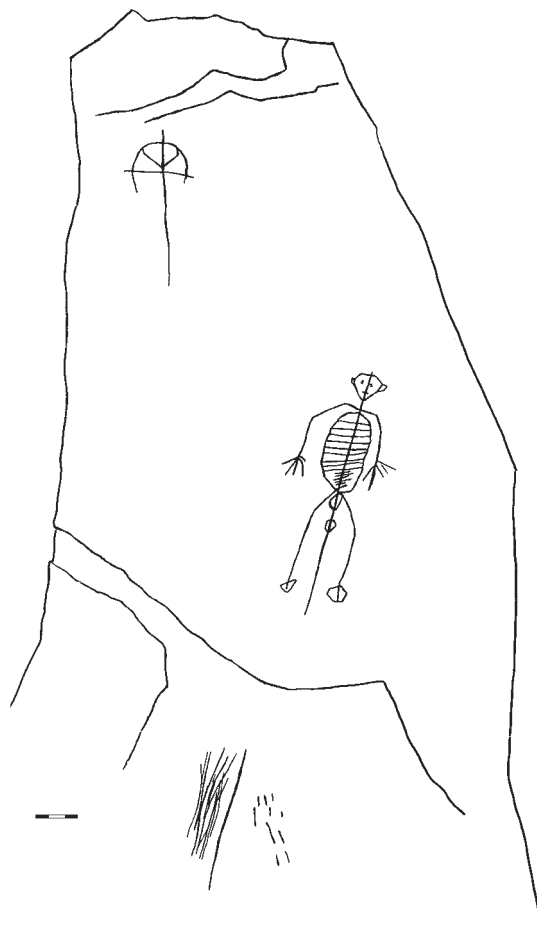


Рис. 4. Петроглифы на плите из могилы № 4 (прорисовка Г.А. Соловьевой).

лучшей организации построения человеческого тела в процессе гравировки (Ю.А. Смирнов).

2. «Штандарт» или жезл, с полусферическим завершением, напоминающим изображение «зон-та».

3. Несколько рядов глубоких, сравнительно длинных (до 0,7 см) и относительно параллельных линий или насечек.

Изображение мужчины сходно с подобными изображениями, известными по наскальным рисункам Хакасии и Тувы, которые, по мнению Я.А. Шера (устное сообщение), до сего времени считались принадлежащими к раннему хакасскому времени.

Изображение зонтообразного «штандарта» на плите из могилы № 4 сходно с изображением на 2-й Сюлекской писанице (гора Соляная), где нечто похожий «штандарт», имеющий гипертрофированно длинное древко, держит в руке фигура идущего слева направо человека. (На писанице



Рис. 5. Петроглиф Сюлекской писаницы.

Слева прорисовка Г.А. Соловьевой – состояние петроглифа в конце XX в., справа – в конце XIX в.

это изображение выполнено в технике выбивания, которая обычно относится к скифской эпохе.) «Штандарт», выгравированный на плите из могилы № 4, сходен с изображением на 2-й Сюлекской писанице с той только разницей, что на петроглифе с Соляной горы на верхушке «штандарта» была выбита восьмеркообразная фигура (рис. 5). В конце XIX в. фигура, несущая «штандарт» на высоком древке, была зафиксирована экспедицией Я.Р. Аспелина (J.R. Aspelins) и позднее издана Я. Аппельгрэн-Кивало [Appelgren-Kivalo, 1931, S. 16, Abb. 91].

Со временем, в процессе естественного отслоения пластов скальной породы, восьмеркообразная фигура с макушки «штандарта» исчезла, придав двум изображениям (из могилы № 4 и со 2-й Сюлекской писаницы) еще большее сходство.

Характер погребения № 4 позволяет предположительно датировать его подгороновским этапом тагарской культуры, т.е. VII–VI вв. до н.э., и, таким образом, позволяет отнести плиту с петроглифами, как минимум, к этому времени. Однако найденная плита была явно переиспользована в момент укрепления каменными плитами стенок могильной ямы № 4. Она стояла изображением к стенке ямы, т.е. устроители погребения явно

не придали рисунку никакого значения (грабительский ход прошел вдоль этой плиты). Вероятно, плита с петроглифами происходила либо из другой могилы, либо из святилища более раннего периода, но, возможно, она была сколота с одного из упомянутых скальных массивов и принесена на могильник. Здесь, правда, следует подчеркнуть, что подобные изображения, выполненные в «скелетном» стиле, в технике тонкой гравировки, на близрасположенных писаницах не зафиксированы, да и вообще, аналогии автору неизвестны.

Тем не менее, существует одна очень отдаленная аналогия, которую авторы статьи публикуют с любезного разрешения И.П. Лазаретова (ИИМК РАН СПб). Рисунок человечка, выполненный в технике тонкой гравировки, обнаружен на окуневской стеле в ограбленном погребении могильника Уйбат-Чарков, находящегося в Усть-Абаканском районе Республики Хакасии. Стела была найдена в кургане № 1, могила № 1 (уйбатский этап окуневской культуры), прорисовки Ю.Н. Есина (рис. 6, 7).

Согласно существующим интерпретациям, изображения людей в «скелетном» или «рентгеновском» стиле (рис. 8) связаны с шаманизмом и в особенности с мифологическим сюжетом

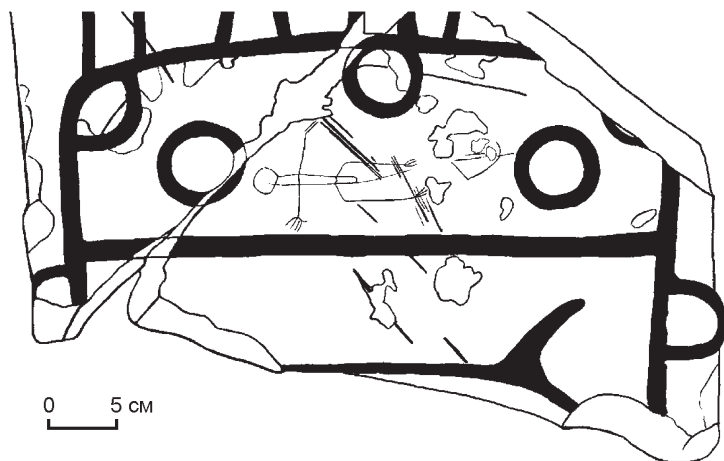


Рис. 6. Часть ранней окуневской стелы из могилы № 1, кургана № 1 могильника Уйбат-Чарков со сходным изображением писающего (?) человечка, которое ни стилистически, ни композиционно, ни по технике исполнения абсолютно не совпадает с остальными петроглифами на данной стеле (прорисовка Ю.Н. Есина).

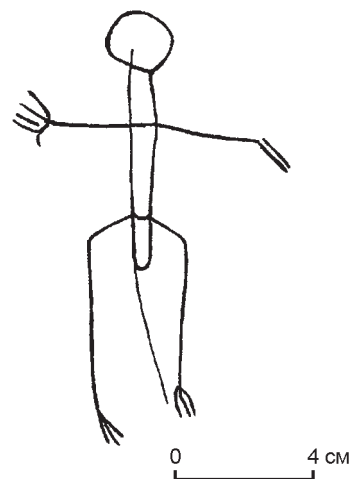


Рис. 7. Часть ранней окуневской стелы из могилы № 1, кургана № 1 могильника Уйбат-Чарков. Увеличенное изображение (прорисовка Ю.Н. Есина).

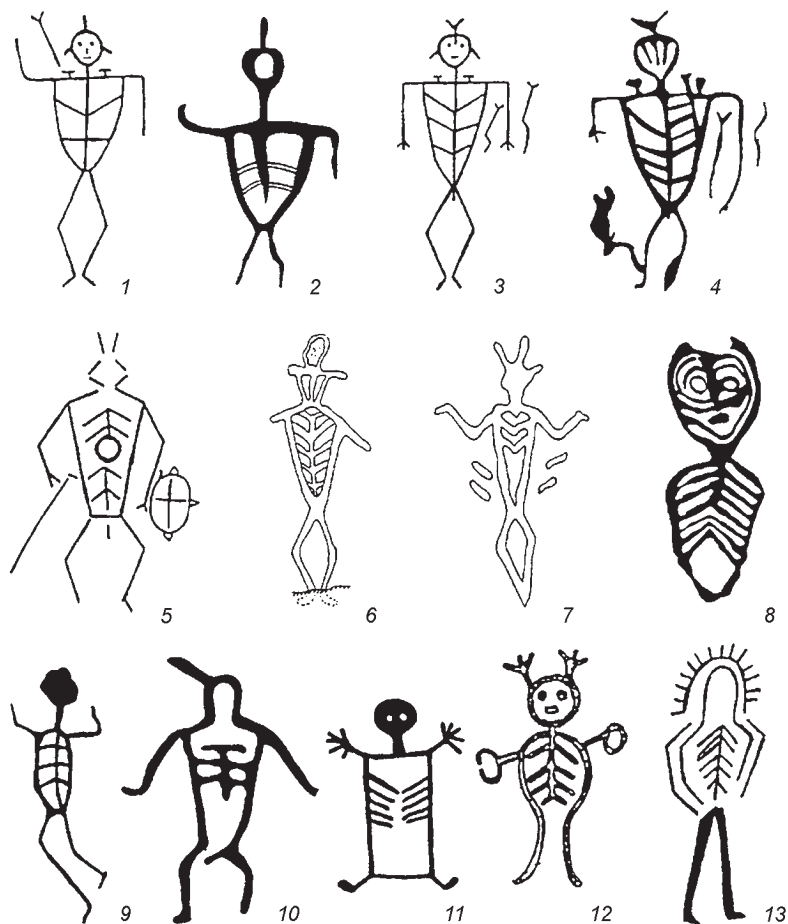


Рис. 8. Наскальные изображения антропоморфных фигур в «рентгеновском» стиле (по: [Дэвлет Е.Г., 2000]).

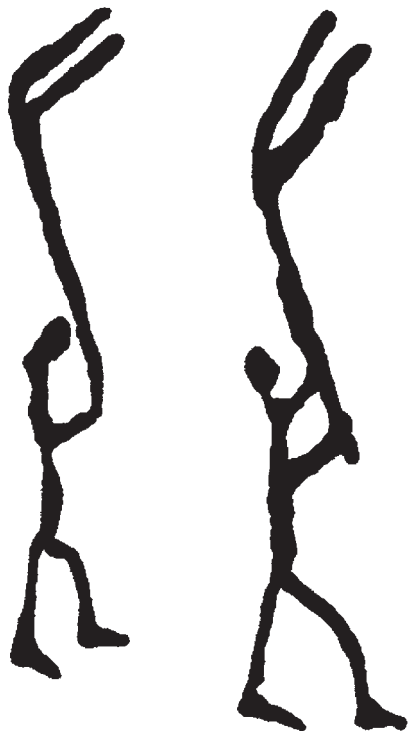


Рис. 9. Западный Памиро-Алай. Петроглифы у с. Охна (по: [Шер, 1980]).

об обретении шаманского дара [Боковенко, 1996, с. 40, 41; Дэвлет Е.Г., 1996, с. 173, 174; 2000, с. 88–95; 2004, с. 16–18; Дэвлет М.А., 1996, с. 26; Окладников, 1974, с. 81, 82; Семенов, 1996, с. 27–29], и с ними трудно не согласиться.

Касаясь же «штандартов» или жезлов и никак не интерпретируя их назначение, можно привести лишь отдаленную аналогию с одной из алайских писаниц (рис. 9), найденную у С. Охна [Шер, 1980, с. 91, 92].

Таким образом, открыта новая страница в изучении тагарских петроглифов Хакасии, один из

которых был найден в археологическом контексте, имеющем относительно точную дату VII–VI вв. до н.э.

Список литературы

Боковенко Н.А. Проблема реконструкции религиозных систем кочевников Центральной Азии в скифскую эпоху // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: мат-лы междунар. конф. – СПб., 1996.

Дэвлет Е.Г. О скелетном стиле в наскальном искусстве (азиатско-американские параллели) // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: мат-лы междунар. конф. – СПб., 1996.

Дэвлет Е.Г. Антропоморфные наскальные изображения в рентгеновском стиле и мифологический сюжет об обретении шаманского дара // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 2.

Дэвлет Е.Г. Изображения на скалах и мифологические представления о частях человеческого тела и особенностях костного строения // OPUS: междисциплинар. исследования в археологии. – М., 2004. – Вып. 3.

Дэвлет М.А. Генезис шаманства по материалам наскальных изображений Сибири // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: мат-лы междунар. конф. – СПб., 1996.

Лазаретов И.П., Смирнов Ю.А., Боковенко Н.А. Исследования в Республике Хакасия // АО 1997 года. – М., 1999.

Окладников А.П. Петроглифы Байкала – памятники древней культуры народов Сибири. – Новосибирск, 1974.

Семенов В.А. Некоторые шаманистические элементы в культуре ранних кочевников Тувы // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: мат-лы междунар. конф. – СПб., 1996.

Семенов В.А., Килуновская М.Е., Красниенко С.В., Субботин А.В. Изображения на плитах тагарских курганов (Шарыповский р-н Красноярского края). – СПб., 2003.

Советова О.С. Петроглифы Тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). – Новосибирск, 2005.

Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М., 1980.

Appelgren-Kivalo H. Alt-altaische Kunstdenkmaler. Briefe und Bildermaterial von J.R. Aspelins Reisen in Sibirien und Mongolei, 1887–1889. – Helsingfors, 1931.

«ВЕДИЙСКИЕ» РИТУАЛЫ У НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

О присутствии в культурах угров и самодийцев Северо-Западной Сибири этносов индоиранских элементов, в частности, митраистских культов у хантов и манси, уже неоднократно упоминалось в литературе [Чернецов, 1947, с. 114–116 и др.; Мошинская, 1953, с. 96, 97, табл. XIV; Яшин, 1990, с. 13–18; Яшин, 1997, с. 44–50]. З.П. Соколова со ссылкой на большую группу специалистов пишет об индийских параллелях в угорских этнонимах *савыр*, *сипыр*. Поэтому, не обращаясь к известным примерам, надежно обеспечивающим идейную канву данного сообщения, рассмотрим новые сюжеты, открывшиеся не столь давно в погребальной практике хантов и локально-диалектной группы южной (Нарымской) группы селькупов *ишешгула*.

Но как выясняется, палеоэтнографические и современные материалы в отдельных своих проявлениях обнаруживают сходства в обрядовой практике таяжского населения с ритуалами, описанными в памятниках ведийских ариев.

В 1980-е годы антропологическая экспедиция Томского государственного университета под руководством В.А. Дремова исследовала в южной части Ханты-Мансийского автономного округа заброшенные кладбища XVIII – середины XX в. [Дремов, 1985], оставленные коренными обитателями Салымского края, так называемыми старосалымскими хантами [Федорова, 1996, с. 103; Салымский край, 2000, с. 15; Рындина, Боброва, Ожередов, 2008, с. 3–6].

В двадцати девяти захоронениях Усть-Балыкского кладбища, датированных второй половиной XIX – серединой XX в., была собрана представительная коллекция столовой и кухонной посуды, сопровождавшей умерших в потусторонний мир [Опись..., № 7605]. Доминирующее

положение в ней занимают традиционные поделки из дерева и бересты, но наряду с ними встречаются изделия фабричного производства. Среди последних выделяется коллекция элитной чайной посуды из фарфора и фаянса (31 ед. – чашки, блюдца, чайник), постепенно вытеснявшей в могилах традиционные образцы. Примерно тот же процесс замещения происходит со столовой посудой. Деревянные корытца, судя по находкам в могилах, были полностью заменены железными эмалированными мисками и низкими железными ведерками. Если по данным К.Ф. Карьялайнена обычным было то, что «северные остяки кладут в гроб... чайную чашку, деревянный столик... остяки Сургутского округа кладут одежду... котел, чайник и деревянный столик», то в Усть-Балыкском кладбище плоское деревянное корытце с деревянной же ложкой обнаружено только один раз [Дремов, 1985, с. 123].

С семантической точки зрения круг фабричных вещей стал не только и не столько утилитарным, сколько идейным заместителем традиционных предметов. В погребальном обряде, таким образом, экстраполировался переход (замещение) к похожей, но инверсированной и более счастливой жизни «на том свете». Фактическая замена происходила по признаку подобия или аналогичности форм и функционального значения предметов. При этом вполне очевидно сохранялся принцип, сформулированный в свое время туземным информатором исследователя Флетчера: «Каждая сакральная вещь должна быть на своем месте» [Леви-Стросс, 1994, с. 121].

Фарфоровая и фаянсовая посуда была распределена в могилах тремя группами: в области головы, в средней части туловища у пояса и в ногах умер-

ших. При этом преобладающее число предметов располагалось в нижней части могилы. Следует заметить, что точно так же в ногах женской могилы качинцы ставили деревянную коробку, в которой находились чашка, ложка и чайная чашка [Катанов, 2007, с. 22], а хакасы в особый ящичек ставили чашку и блюдо вне зависимости от пола умершего [Майнагашев, 2007, с. 40]. Данные факты лишней раз убеждают в универсальности и незыблемости обычая употребления посуды в погребальных ритуалах традиционных обществ Сибири.

Но в отличие от последних, хантыйские могилы отличает неустойчивость в выборе места положения посуды, что весьма не свойственно жестко регламентированному обряду упокоения умерших. Попытка объяснить данное положение дел использованием нетрадиционного инвентаря оказалась несостоятельной, так как выяснилось, что точно так же поступали с посудой из традиционных материалов.

Информация, позволившая взглянуть на проблему с другой позиции, обнаружена в монографии Н.М. Талигиной [2005, с. 117], автор которой дополнительно комментировала данный вопрос в устной форме [Рындина, Боброва, Ожередов, 2008, с. 67]. Следуя традиции, на гроб, покрытый большим платком, ханты ставили берестяные корытца (чаши), формой напоминающие сосуды *чуманы* (*чумашки*), свернутые из единого листа бересты (в книге 3, в устном рассказе 4. – Ю.О.). В публикации сообщается, что один из них использовали для гадания, а после похорон сжигали. Два других – клали в могилу [Талигина, 2005, с. 117].

Расстановка чаш по второму варианту (4 ед.) происходила в следующем порядке: 1-ю наполняли оленьим жиром и ставили возле уха, поэтому она называлась «возлеушная чаша», после застывания жира по его поверхности наносили отметки (черточки для гадания); 2-ю ставили на лобковую часть тела; 3-ю и 4-ю ставили под коленями, и их называли «подколенные чашки».

По устному сведению, олений жир предназначался грызунам, для того чтобы они не тревожили останки умершего. Но, судя по всему, за этим намеренным упрощением скрыта хорошо кодированная ниша с иным семиотическим контекстом. Во-первых, уже сама исследовательница в публикации говорит о том, что предпохоронные обряды были обращены в основном к душам умерших. Суть их заключалась в том, чтобы живым оградиться как от мертвых, так и от духов другого про-

исхождения [Талигина, 2005, с. 117]. Во-вторых, если под грызунами метафорически подразумевались существа, наделенные нечистой, злой силой, то жир, действительно, служил приношением, в обмен на которое нечисть оставляла в покое умершего. Причем не на физическом, а на существенно более важном уровне его духовной сущности. Учитывая обычное в ритуалах уподобление реального и ирреального, поедание пищевого приношения в любом варианте (людьми, животными и т.д.) воспринимается обрядовым кормлением или умилоствиванием потусторонних сил.

Приведенные Н.М. Талигиной наблюдения чрезвычайно интересны, но семантически не прозрачны. Представляется, что герменевтика темных мест в погребальном обряде хантов основана на этнической многокомпонентности угорских этносов и наличии южного скотоводческого элемента, о чем говорилось в начале настоящего исследования. Поэтому в поисках объяснения причин столь сложного размещения сосудов в могилах обских угров обратимся к кругу источников, расширяющих границы исследования в пределы мифологического пространства южных соседей, гипотетических носителей новаций в погребальный обряд таежного населения.

Поразительное сходство в обращении с погребальной посудой находим в работе индийского исследователя Р.Б. Пандея, исследовавшего ведийские погребальные обычаи в Индии. За основу исследования им взято описание ритуала расстановки сосудов при похоронах, изложенное в V и VI главах «Хираньякеши-питримедхасутра» [1990, с. 280, 284].

В адаптированном (купированы сведения о других категориях инвентаря) под нашу тему отрывке из работы индийского автора описан порядок расположения посуды на теле умершего: «На рот – жертвенный ковш... на ноздри – две ложки... на уши – два сосуда для жертвоприношения или один, разделенный пополам, на челюсти – ступку и пестик... на голову – блюда “капала”, на лоб – одно блюдо, на живот – сосуд для муки, на пупок – сосуд для топленого масла, на бока – две корзины или одну, разрезанную пополам, на бедра – сосуды для жертвенной смеси... на ноги – сосуд для “агнихотры” и сосуд для “анвахарья”... на затылок – сосуд для простокваши и для того напитка, который предлагается почетному гостю. Посредине – сосуд “чамаса”... (со словами): “Этот сосуд... для Агни”. Остальное – между колен. “Тот, кто так вооружен

для жертвоприношения, немедленно попадет в небесный мир – так известно (из вед)» [Пандей, 1990, с. 284; Смирнов, 1997, с. 129].

Текст однозначно указывает на жертвенную цель ритуала, а в некоторых случаях обозначает назначение содержимого (жертвы) отдельных сосудов. Примечательно, что большинство емкостей устанавливалось на отверстия (углубления) в теле умершего (глаза, уши, пупок) или рядом с ними (на челюсти, бедра, лобок). Объяснение такому выбору местоположения, безусловно, кроется в представлениях о духовной опасности умершего для живых. Считалось, что через отверстия в теле выходит дух умершего, способный вредить живым. Индийский текст в какой-то мере объясняет, что сосуды устанавливались с определенной целью. В одном случае эта цель указана вполне адресно: «...посредине сосуд “чамаса”...: “Этот сосуд для Агни”». То есть здесь речь идет о жертвоприношении божеству огня. Одновременно отмечено назначение посуды, «сосуды для жертвенной смеси устанавливались на бедра». Приведенные данные показывают, что каждая из емкостей служила местом жертвоприношения одному из божеств, покровительствующих, видимо, отдельным частям тела (внутреннего органа) и их духовным составляющим (духам-«хозяевам»). Возможность присутствия в отдельных местах тела человека каких-либо духов фиксирует один из текстов Атхарваведы:

«Апачиты, которые на шее,
А также, которые под мышками,
Апачиты, которые в промежности (?)...»
(*AB, VII, 80, 2*).

Апачитамиарьи называли демонов женского рода, духов болезни, персонифицировавшихся в виде летающих насекомых [Елизаренкова, 2005б, с. 484, 544]. А места, где они располагались на теле человека, – это преимущественно «углы», образованные корпусом и конечностями. По традиционным представлениям сибирских народов, как, впрочем, и других, например славян, углы – есть место перехода в иной мир, пункты, через которые нечисть проникает в мир людей. Там же она и таится в любом своем проявлении. Известно, например, что местом соприкосновения миров селькупам представлялась всякая развилка, будь то разветвление дерева или реки [Прокофьева, 1976, с. 114; 1977, с. 68; Степанова, 2008, с. 118–119; Ожередов, 2010, с. 225]. В мифологии селькупов известен сюжет, в котором герой Йомпа с

женой возвращаются из подводного мира в мир людей через развилку двух рек [Казакевич, 2004, с. 139]. Как показывают этнографические материалы, селькупские представления не одиноки в своих пристрастиях. В традиционном мировоззрении русских и родственном им кругу этносов развилка дорог или перекресток точно так же ассоциируется с нечистой силой [Артюхова, 2006, с. 224], а река и дорога одинаково осмысляются как путь, одно из направлений которого смертельно опасно (русские сказки о богатыре на распутье). В итоге развилки путей-дорог предстают перекрестками не только для путей реальных, но и соединяющих разные пространства. Истоки таких представлений находим в ведийских текстах. Например, в одном из заговоров указывается, что «Зло» остается на развилке дорог:

«Ты, о Зло, что нас не оставляешь,
Тебя такое мы оставляем сами.
На развилке дорог
Пусть Зло последует за другим!»
(*Атхарваведа (Шаунака). VI, 26, 2, с. 275*).

По сведениям Дж. Дж. Фрэзера, в горах Чешский Лес после захода солнца вся деревенская молодежь собирается где-нибудь... обычно на перекрестке дорог – и в течение некоторого времени изо всех сил в унисон шелкает бичами. Это якобы отгоняет ведьм... [1983, с. 525]. Вероятно, маркируя точку перехода в потусторонний мир, енисейские кеты венчали деревянной развилкой могилы своих сородичей [Анучин, 1914, с. 13], развилки устанавливались на могилы селькупских шаманов [Степанова, 2008, с. 168], а селькупы «шиешгула» вкапывали столбы с раскидистыми ветками-развилками на вершинах могильных курганов [Ожередов, 2010, с. 225].

И это далеко не единичные примеры и не единственный их вариант. Развилка осмысливается в качестве понятия «угол», где стены или другие границы пространства (контуры в линейной графике) сходятся в одной точке. В традиционном сознании развилка и угол – идентичные смысловые коннотации. По сведениям Н.М. Пржевальского, восточные туркестанцы считали, что на перекрестках дорог жили духи, а тюрки уйгуры верили, что духи обитают на заброшенных мельницах... и даже в темных углах жилищ (цит. по: [Чвырь, 2006, с. 150, 154, 156]). Сибирские татары для урегулирования отношений с приходящими в дом (через углы) иножителями избрали другой путь, они не изгоняли, а задабривали приношениями домовых,

прижившихся в домах и выполнявших полезную функцию охраны его от злых духов (Шайтанов): 1. «...Ей Иясе (домовой. – **Ю.О.**) должен быть в каждом доме, иначе хозяев замучают Шайтаны. ... Чтобы задобрить Ей Иясе при строительстве нового дома хозяева под углы кладут монеты» (д. Сеитово Тарского района). 2. «...Если домовой не доволен хозяевами, то он пугает их... Мулла, придя в дом, пишет на ... листочках молитвы и кладет – 4 по углам...» (д. Ревда Ялуторовского района).

В контексте дурного места угол фигурирует повсеместно, например, в мифологии и практике экзорцизма у славян. Д.К. Зеленин писал, что в канун Крещения русские северо-востока Сибири метили углы жилищ и амбаров крестиками для спасения от зимних демонов шуликунов [1999, с. 83–84]. Е.Е. Левкиевская отметила у славян десятки примеров очистительных или изгоняющих процедур в углах освоенных человеком территорий. С целью обезвредить ведьму в жилище, углы затыкали крапивой, репейником, ветками терновника или шиповника, считавшимися признанными апотропеями. Колючие ветки и острые предметы втыкались в углы для защиты полей и посевов от нечистой силы, а для того, чтобы она не мучила скотину, мочились в каждом из углов хозяйственного двора. Для спокойного сна произносили «молитовку» со словами «убегайте все злые из четырех углов» [2002, с. 8, 120, 121, 122]. А при выборе участка для будущего дома проводили гадание, которое бы окончательно убедило в правильности (чистоте) места: в углах будущего дома насыпали кучки зерна, которые утром проверяли. Если зерно не тронуто, дом ставили здесь, если потревожено, то место признавалось дурным и стройку переносили в другое место [Байбурин, 1977, с. 123, 125]. Следует понимать, что проверялось наличие проходов в иной мир, а потревоженное зерно – следами появления обитателей другого мира. Помимо селькупов и русских, бдительность в отношении углов проявляли и другие этносы азиатской части континента. Шорцы выстреливали из лука в углы дома после выноса из него умершего, изгоняя (убивая) тем самым злого духа смерти [Пелих, 1972, с. 205], а китайцы поражали стрелами демонические силы, скрывающиеся в углах помещения, отведенного для новобрачных в их первую ночь [Малявин, 2001, с. 560, 561].

Духовную нечистоту и свойство точки перехода в иной мир развилка (угол) приобрела от коннотации с женщиной, а точнее, с местоположением женского детородного органа, ассоциирующимся

с развилкой, образованной нижними конечностями [Степанова, 2008, с. 118–119; Ожередов, 2010, с. 225]. При сравнительном анализе материалов обнаруживается определенная аналоговость осмысления двух понятий. Н.М. Пржевальский в свое время отметил такую деталь: туркестанцы по углам помещений, где проводили обряды, устанавливали зажженные свечи (цит. по: [Чвырь, 2006, с. 154, 156]). В то же время таджики, чтобы изгнать из женщины болезнь, ставили между ног больной светильник [Зеленин, 1999, с. 129]. В обоих случаях огнем изгоняли и (или) перекрывали пути для злых сил.

Графические модели, символизирующие точки перехода, имеют довольно много вариантов женской символики, но все они в результате стилизаций и обобщений свелись к изображению фигуры в форме угла (развилки) или треугольника. Семантика угла или треугольника в качестве символа женской «дыры» нашла широкое отражение в первобытном искусстве, проявилась в орнаментальном воплощении целого ряда народов разных регионов земного шара, в том числе в орнаментах сибирских этносов. Формальная и семантическая близость наскальных знаков из известных таблиц А. Леруа-Гурана и описание символов, полученное В.И. Анучиным у шамана енисейских кетов, удивительно сближает эти понятия во времени. «Женский половой орган енисейцы изображают в виде двухконечной развилки (девушка) и трехконечной (женщина)», – писал он в своей главной работе по кетскому шаманству [1914, с. 38]. Ассоциативный ряд в этом направлении может продолжить сюжет из хантыйской традиции, согласно которой «нечистый угол» в жилище тот, «где у женщин котлы стоят» [Кравченко, 1999, с. 68]. Сосуды, в том числе и котлы, в традиционных представлениях устойчиво тождественны женскому лону (дыре в иной мир), соответственно их место в углу, который точно так же ассоциируется с женским органом и соответственно с местом перехода в иной мир. Одинаково с этим ненцы признают нечистым угловое углубление у двери, где женщины хранят свои вещи, куклы Несущей землю старухи и куклы умерших. Старуха считается очень нечистой и всегда хранится в женском углу отдельно от домашних духов хэхэ. Таким образом, в традиционных представлениях бытует смысловое совмещение понятий персон, предметов и объектов, связанных единством семантического кода.

Возвращаясь к вопросу о множественности душ, следует отметить, что настоящая позиция вполне

согласуется с мнением Л.Я. Штернберга о том, что в традиционных обществах существовало архаическое представление о множественности души индивида, то есть о том, что кроме главной имеется душа для каждой части тела, а особенно для половых органов [1902, с. 267; 1936, с. 304–305]. К аналогичным выводам в более широком культурологическом аспекте пришли несколько крупных европейских ученых [Мельник, 2006]. Озвученная точка зрения хорошо иллюстрируется и объясняется сведениями, собранными рядом исследователей у обских угров [Чернецов, 1959]. Ханты считали, что человек обладает несколькими проявлениями души или душами, ответственными за разные части тела и органы. Например, пятая душа мужчины «суп» соотносилась с половым органом [Первалова, 1992, с. 90; Головнев, 1995, с. 137]. При таком осмыслении каждая из душ индивидуально принимала предназначенные ей жертвы. Древние иранские корни в культуре хантов, о которых писал В.Н. Чернецов и другие исследователи, видимо, обнаруживают себя и в данном вопросе, семантически сближая расстановку сосудов в могилах с обрядовыми процедурами ведийских источников.

Второй сюжет, в котором обнаруживаются ведийские корни, связан с сакрализацией стрелы у таежных народов Северо-Западной Сибири. Основанием для данной темы исследования послужили многочисленные находки ритуальных наконечников стрел в палеоэтнографических поселенческих и погребальных памятниках, а также на современных священных местах сибирских угров и самодийцев.

На селькупской территории наконечники стрел из медных сплавов найдены в курганных могильниках Кустовский и Барклай, также в Кустовском селище 1, оставленных представителями локально-диалектной группы «*ишеишгула*». Ритуальное содержание таким находкам придает несвойственный эпохе материал наконечников стрел: утилитарные стрелы в это время оснащались наконечниками из железа или кости. На основании специальных исследований в свое время было установлено, что символическая роль стрелы обусловлена двумя основными причинами – ее ассоциацией с мужским детородным органом и сакральностью цветного (красного-желтого) металла [Ожередов, 2000]. При изучении семантики того и другого аспектов сакральности аналоги обнаруживаются в ведийских текстах, точно так же отождествляющих стрелу с детородным органом, а процесс зачатия – с ее активностью. В культурологическом аспекте

семантика лука коннотируется с понятием земного чрева (пещеры), а стрела – с фаллическим орудием [Ерофеева, 1998, с. 76]. В целом ряде заклинаний ведийских гимнов, заклинаний, направленных на испрошение у богов рождения сына, стрела фигурирует в однозначном сопоставлении. В молении на успешное зачатие звучит буквально следующее:

«Пусть уд, влагатель семени зародыша,
Вложит его, как перо в стрелу!»

(*Ахарваведа*, V, 25, 1).

В другом заговоре призыв сформулирован в еще более ярком виде:

«Да войдет зародыш – мальчик
В твое лоно, как стрела в колчан!»

«Да родится тут герой,
Сын у тебя десятимесячный!
Мальчика, сына роди!»

(*Ахарваведа*, III, 23, 2–3).

В ином переводе первая строфа заклинания звучит более лаконично и выразительно: «Как стрела в колчан пусть войдет герой» [Вигасин, 1990, с. 313]. Заговоры сопровождалась ритуальными действиями с использованием стрел, обломки которых, например, андроновские женщины лесного Зауралья потом носили в качестве амулетов [Матвеев, 1998, с. 184–185]. Тема стрелы при зачатии и рождении ребенка (сына) на сибирской почве также нашла отражение в ритуальной практике угорского населения. Существовал обычай, согласно которому при рождении мальчика отцу с радостью сообщали: «Лучник родился» или «Носитель стрелы и лука родился» (по: [Гемуев, Бауло, 1999, с. 172–173]). Не будучи связанными напрямую, индийский и мансийский тексты очень близки семантически. Последний фактически констатирует исполнение индийской просьбы-заклинания.

В другом ведийском тексте стрела выступает в качестве апотропея против злых духов. В гимне Ригведы, обращенном к Агни – убийце ракшасов*, говорится, что Агни отслеживает этих летающих демонов и стремится пронзить их стрелой [Елизаренкова, 1999, с. 76–77]. Близкородственные примеры находим в ритуальной практике сибирских угров. По сведениям А. Каннисто, охотники манси

*Ракшасы – демоны-оборотни, принимающие разные облики, летающие по ночам, вредящие людям и жертвоприношениям. – Словарь основных мифологических персонажей и ритуальных понятий, 2005 // Атхарваведа (Шаунака): в 3 т. М.: Вост. лит. Т. 1. кн. I–VII. С. 564. (Памятники письменности Востока; CXXXV.)

с р. Сосьвы, отправляясь на охоту, имели в своем колчане стрелу с медным наконечником. По преданию, только таким наконечником можно поразить лесного духа [1988, с. 156].

В свое время Й. Хэкель со ссылкой на материалы В. Штейница отметил, что по верованиям «остяков и вогулов», почти каждый локальный дух имеет форму проявления в одном из животных [Хэкель, 2001, с. 29]. Согласно данной традиции современные ханты полагают, что духи могли приобретать формы различных птиц и зверей. В соответствии с таким видением потусторонние существа обладали привычной формой и соответственно представляли собой цели, которые следует поражать наличным оружием.

Существует алтайское предание, в котором рассказывается о том, что шаманы во время камланий пускали стрелы во враждебных духов [Потапов, 1934, с. 71]. Бытовало представление, что стрельба даже по невидимым духам иногда достигала цели: «...шаманист уверен, что стрела исполнит свое назначение. Что, стреляя в воздух, можно задеть злого духа...» [Веселовский, 1921, с. 279]. Как сказано выше, с этой же целью шорцы выстреливали в углы дома после выноса из него умершего, убивая (изгоняя) духа смерти [Пелих, 1972, с. 205]. Рассматривая такой способ борьбы со злыми духами в широком культурологическом аспекте, находим аналогичные представления в культурах Юго-Восточной Азии и Океании. В китайской свадебной обрядности жених трижды стрелял в прибывший на свадьбу паланкин невесты, как бы поражая возможных злых духов, а позже стрелял в углы помещения, в котором оставался наедине с невестой в брачную ночь [Малаявин, 2001, с. 560, 561]. Китайцы были убеждены в том, что призраки боятся не только собственно луков и стрел, но даже их символов. Поэтому в канун Нового года на свежeweбеленных стенах домов рисовали обереги, в числе которых предпочтение отдавалось луку и стрелам. С той же целью на крыше закрепляли глиняную трубку, в которую укладывали три стрелы [Гроот, 2001, с. 82]. Точно так же поступали селькупы, вырезая во время похорон стрелу на крышке гроба. Считалось, что тем самым создавалось условие, при котором мертвый «не ходил» и не тревожил живых [Пелих, 1998, с. 58]. Описывая способы борьбы с нечистой у туземцев Порт-Мосби на Новой Гвинее, Дж.Дж. Фрэнгер отметил, что после того как на демонов перестали действовать звон колоколов и лай

собак, люди перешли к более серьезным приемам: «Вооружившись, как подобает, луками и стрелами, они бродили вокруг, зачастую трепеща от страха, хоронясь за кустами и деревьями и стреляя по этим ненавистным и опасным духам» [1983, с. 498].

Характерное для сибирской мифологии почитание меди, обусловленное ее сакральной силой, происходит из времен, синхронных или близких к периоду составления ведийских текстов, и нашло отражение в них самих. Например, в Ригведе понятие металл подразумевало одну только медь. Железо еще не было известно. В Атхарваведе уже различаются понятия «темный металл» (железо) и «красный металл» (медь) [Елизаренкова, 2005а, с. 27]. При этом оба металла выступают апотропеями-амулетами, наделяемыми магическими свойствами.

Как указывает Т.Я. Елизаренкова, типологические параллели ведийским текстам «встречаются в ранней истории самых различных цивилизаций» [2005а, с. 25]. В широком культурологическом аспекте стрела в качестве средства экзорцизма рассматривается в традиционных представлениях практически повсеместно, а истоки таких воззрений восходят к опыту охотников каменного века. Поэтому, обращаясь к многочисленным отголоскам ведийских верований, обнаруживающимся в ритуальной практике сибирских этносов, следует, по возможности, учитывать предшествующие представления о человеке, его месте в природной, духовной и социальной среде, послужившим основой для мифологии обществ и цивилизаций следующих эпох.

Список литературы

- Анучин В.И.** Очерк шаманства у енисейских остяков // Сб. МАЭ. – СПб., 1914. – Т. 2, вып. 2.
- Артюхова И.В.** Архитектурные зарисовки А.Н. Тихомировым с. Семилужного: этнографический анализ // Музей и современные технологии. – Томск, 2006. – С. 221–246.
- Атхарваведа (Шаунака)** (Памятники письменности Востока; СХХХV). – М., 2005. – Т. 1.
- Байбурин А.К.** Восточнославянские гадания, связанные с выбором места для нового жилища // Фольклор и этнография. – Л., 1977. – С. 123–130.
- Веселовский Н.И.** Роль стрелы в обрядах и ее символическое значение // Записки Вост. отд-ния Русского археологического общества. 1917–1920. – Пг., 1921. – Т. 25. – С. 273–292.
- Вигасин А.А.** Женщина в Древней Индии: (вместо послесловия) // Вардиман Е. Женщина в Древнем мире. – М., 1990. – С. 301–332.

Гемуев И.Н., Бауло А.В. Святилища манси верховьев Северной Сосьвы. – Новосибирск, 1999.

Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. – Екатеринбург, 1995.

Гроот Я.Я.М. де. Война с демонами и обряды экзорцизма в Древнем Китае. – СПб., 2001.

Дремов В.А. Антропологическая экспедиция Томского гос. ун-та летом 1985 г. Экспедиция на Среднюю Обь (4–25 авг.): полевой дневник. 1985 // Томский гос. ун-т. Кабинет антропологии. Б.н.

Елизаренкова Т.Я. Слова и вещи в Ригведе. – М., 1999.

Елизаренкова Т.Я. Атхарваведа – структура и содержание // Атхарваведа (Шаунака). – М., 2005а. – Т. 1. – С. 22–88. (Памятники письменности Востока; СХХХV).

Елизаренкова Т.Я. Комментарий // Атхарваведа (Шаунака). – М., 2005б. – Т. 1. – С. 375–558. – (Памятники письменности Востока; СХХХV).

Ерофеева Н.Н. Лук // МНМ: энциклопедия. – М., 1998. – Т. 2. – С. 75–77.

Зеленин Д.К. Магическая функция примитивных орудий // Избранные труды. Статьи по духовной культуре, 1917–1934. – М., 1999. – С. 100–139.

Казакевич О.А. Йомпа // Мифология селькупов. – Томск, 2004.

Каннисто А. Материалы к мифологии вогулов: пер / Гос. публ. науч.-техн. б-ка СО АН СССР. – Новосибирск, 1988. – № 14382/1.

Катанов Н.Ф. Отчет о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сентября 1896 г. в Минусинский округ Енисейской губ. Н.Ф. Катанова // Этнографические экспедиции Н.Ф. Катанова (1896) и С.Д. Майнагашева (1913–1914) в Хакасии. – Абакан, 2007. – С. 4–25. – (Рукописное наследие Хакас. науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории; вып. 2).

Кравченко О. Почетный старец и младший брат // Северные просторы. – 1999. – № 5–6. – С. 66–71.

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994.

Левкиевская Е.Е. Славянский обряд: семантика и структура. – М., 2002.

Майнагашев С.Д. Загробная жизнь по представлениям турецких племен Минусинского края // Этнографические экспедиции Н.Ф. Катанова (1896) и С.Д. Майнагашева (1913–1914) в Хакасии. – Абакан, 2007. – С. 39–53. – (Рукописное наследие Хакаского научно-исследовательского института языка, литературы и истории; вып. 2).

Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М., 2001.

Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск, 1998.

Мельник В.И. Аниминистические представления и погребальный обряд // Миропонимание древних и традиционных обществ Евразии: памяти В.Н. Чернецова. – М., 2006. – С. 112–119.

Мошинская В.И. Материальная культура и хозяйство Усть-Полуя // Древняя история Нижнего Приобья. – М., 1953. – С. 72–106. – (МИА; 35).

Ожередов Ю.И. Сакральные стрелы южных селькупов // Западная Сибирь глазами археологов и этнографов. – Томск, 2000. – С. 77–119.

Ожередов Ю.И. Семантический аспект географического размещения могильников «шиешгула» // Культура как система

в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. – Томск, 2010. – С. 224–226.

Опись этнографической коллекции, собранной при раскопках хантыйских кладбищ в 1985 г. // Архив Музея археологии и этнографии Сибири Том. гос. ун-та. – Д. № 7605.

Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды. – М., 1990.

Пелих Г.И. Происхождение селькупов. – Томск, 1972.

Пелих Г.И. Селькупская мифология. – Томск, 1998.

Перевалова Е.В. Эротика в культуре хантов // Модель в культурологии Сибири и Севера. – Екатеринбург, 1992. – С. 85–97.

Потапов Л.П. Лук и стрела в шаманстве у алтайцев // СЭ. – 1934. – № 3. – С. 64–76.

Прокофьева Е.Д. Старые представления селькупов о мире // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. – Л., 1976. – С. 106–128.

Прокофьева Е.Д. Некоторые религиозные культы тазовских селькупов // Памятники культуры народов Сибири и Севера. – Л., 1977. – С. 66–79.

Рындина О.М., Боброва А.И., Ожередов Ю.И. Ханты Салымского края: культура в археолого-этнографической ретроспективе. – Томск, 2008.

Салымский край. – Екатеринбург, 2000.

Смирнов Ю.А. Лабиринт. Морфология преднамеренного погребения: исследования, тексты, словарь. – М., 1997.

Степанова О.Б. Традиционное мировоззрение селькупов: представление о круговороте жизни и душе. – СПб., 2008.

Талигина Н.М. Обряды жизненного цикла у сыньских хантов. – Томск, 2005.

Федорова Е.Г. Материалы по погребально-поминальной обрядности салымских хантов // Материалы полевых этнографических исследований. – СПб., 1996. – Вып. 3. – С. 102–117.

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. – М., 1983.

Хэжелъ Й. Почитание духов и дуальная система у угров: (к проблеме евразийского тотемизма). – Томск, 2001.

Чвырь Л.А. Обряды и верования уйгуров в XIX–XX вв.: очерки народного ислама в Туркестане. – М., 2006.

Чернецов В.Н. О проникновении восточного серебра в Приобье // Тр. Института этнографии. – М., 1947. – Т. 1. – С. 113–134.

Чернецов В.Н. Представления о душе у обских угров // Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. – М., 1959. – С. 114–156. – (Тр. Института этнографии АН СССР. Нов. сер.; т. 51).

Штернберг Л.Я. Фаллический культ // Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – СПб., 1902. – Т. 35. – С. 266–267.

Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии: исследования, статьи, лекции. – Л., 1936.

Яшин В.Б. Иранские элементы в мифологии угорских народов Западной Сибири как результат контактов эпохи бронзы – раннего железа: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1990.

Яшин В.Б. Еще раз о митраистских истоках культа Мир-сусне-хума у обских угров // Народы Сибири: история и культура. – Новосибирск, 1997. – С. 44–52.

ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ВЕРСИИ ДУАЛИСТИЧЕСКОГО СЮЖЕТА В СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ

«Вечная» проблема евразийской истории – происхождение и распространение дуалистических космогоний. По давней традиции очевидными представляются их древнеиранские истоки: дуалистические мифы распространялись в исторический период с манихейскими миссионерами – богомилами, добравшимися до Центральной Азии в раннем средневековье (ср. об «арийских» истоках дуалистических сюжетов: [Веселовский, 2001, 2009, с. 263–400]); общей доисторической основой этих процессов можно считать этнокультурную ситуацию эпохи палеометалла в Северной Евразии – во II тысячелетии до н.э. «арийские» (индоиранские) культуры срубно-андоновской общности охватывали степные пространства от Дуная до Енисея, воздействуя на «лесные культуры» предков финно-угров, тюрков и монголов [Кузьмина, 2008].

В славянской традиции поздние фиксации сюжета о совместном творении мира и человека двумя креативными персонажами возводятся к раннехристианским ересьям (в Болгарии – с X в.), а дуалистический миф продолжает жить в вариациях [«Народная Библия», 2004, с. 44–49], где присутствуют равновеликие творцы [Thomson, 1955–1959: A37 (совместное творение), A43 (Дьявол – советчик Бога)].

Помимо собственно космогонии дуализм проявляется в народных представлениях о вечном соперничестве между творцами (создание земного рельефа, природных объектов и артефактов, деление людей и их душ [«Народная Библия», 2004, с. 49–57, 97–99, 112–115, 288–289].

В данной работе рассматриваются некоторые трансформированные версии «классического» дуалистического сюжета и делается попытка про-

следить механизм их вхождения в фольклорный фонд различных славянских традиций. Отметим особую роль, которую в сохранении архаического сюжета в славянском фольклоре играет культурное пограничье – именно здесь (или в пределах этнокультурного анклава) традиция может сохраняться лучше, нежели в метрополии [Engelking, 1996], воспринимая при этом черты соседствующих культур. Именно из «пограничных» регионов происходят современные записи сюжетов об участии в миротворении двух равновеликих сил – сакрального персонажа и его партнера/соперника/антагониста [Белова, 2006, с. 281–282]. Как показали исследования М. Зовчак, «развернутые» версии легенд о совместном творении земли Богом и сатаной, в целом не характерные для западнославянской традиции (что может лишний раз служить подтверждением в пользу богомильского происхождения данного сюжета, пришедшего к восточным и западным славянам с Балкан через книжное посредство – апокрифы [Белова, Петрухин, 2008а], закрепляются и бытуют на пограничье польской и литовской, равно как польской и белорусской традиций [Zowczak, 2000]. При этом в «пограничных» легендах могут причудливо совмещаться сразу несколько библейских мотивов. Однако и тексты-раритеты с дуалистическими мотивами, зафиксированные на территории славянских культурных метрополий, проявляют тенденцию к трансформации, вбирая элементы различных ветхо- и новозаветных сюжетов, а также актуальные верования.

«Первый после Бога»

Первая особенность, привлекающая внимание при анализе фольклорных версий дуалистическо-

го сюжета, это «уровневые» взаимоотношения творцов.

Творцы (Бог и Сатанаил) могут быть полноправными партнерами (товарищами, братьями, побратимами) – эта модель характерна для эпизодов о творении земли и человека ([«Народная Библия», 2004, с. 44–45], болгарские, украинские и белорусские легенды). В некоторых легендах все же декларируется различие в статусе творцов. В начале времен Господь ходил по воздуху и увидел «пузырь» ([Thomson, 1955–1959: G303.1.3.2] – дьявол появляется из (водяного) пузыря); на вопрос кто он, «пузырь ответил: «Бог». «А кто я?» – спрашивает Господь. – «Над богами Бог»». После чего из пузыря появляется человек и сопровождает Бога (Гомельский у. Могилевской губ. [Романов, 1891, с. 1]). В пространстве помощник Бога может помещаться «на западе» от Творца (Смоленская губ. [Добровольский, 1891, с. 224]), немного ниже или слева от него (Вост. Польша, окр. Кракова; Kolberg, 1963]).

Более четко разница в статусе представлена в версиях, где творцы находятся в отношениях «начальник – подчиненный», – эта модель характерна для эпизодов, связанных с соперничеством светлой и темной силы по обустройству земли, с восстанием темного персонажа против верховного божества. В этой схеме Сатанаил (а также Деница, Даница, черт, Люцыпар, Лапцихвир, Лусірег и др.) уже не единственный помощник Бога, но один из «второго эшелона», начальник одного из ангельских чинов, подобный архангелам Михаилу, Гавриилу и другим. Ему отводится роль бунтаря и противника Творца (см. ниже о соревновании творческих начал).

Любопытным трансформациям подвергается дуалистический сюжет, когда в него включается мотив родства творцов (как отца и сына). В болгарских легендах Сатана(ил) – это старший сын Бога [Иванов, 1970, с. 25], ср. сведения Иоанна Экзарха, Михаила Пселла, Евтимия Зигавина о балканских богомилах). Именно этот мотив, вероятно, объясняет поведение Сатанаила. Так, в легенде из Берковицы Господь назначает Христа (Иисус Христос) быть его Сыном на земле. Старший ангел Деница подстрекает своих подчиненных к восстанию, чтобы самому стать «Сыном Божьим» (зап. в 1989 г. [Badalanova, 2008, р. 259–260]). Появление «младшего брата» грозит Сатане потерей царства (в начале времен между Богом и Сатаной был договор – души живых людей при-

надлежат Богу, души мертвых – Сатане). В родопской легенде начала XX в. дьявол открывает св. Петру свою тайну – его царство падет, когда девица-еврейка родит сына, сын этот вырастет и в 30 лет завладеет всем светом (стане царь на всичките царе, превземецелия свет, превземе и моето царство) [Иванов, 1970, с. 341]. В польских легендах есть любопытная мотивировка восстания Сатаны – готовый признать власть Сына Божьего (Иисуса Христа), он не хочет поклониться Божьей Матери – слабому человеческому существу, видение которой ему являет Бог (мотив восходит к древнееврейскому сюжету, отраженному в мидрашах, – на шестой день творения Господь требует, чтобы ангелы поклонились Адаму, Самаэль восстает против воли Бога: [Грейвс, Патай, 2002, с. 119–120]). За свой отказ он свергнут с небес (окр. Пшемышля и Кракова [Zowczak, 2000, S. 76–79]).

Параллелизм в действиях

Согласно народным легендам, творческие способности обеих сил практически равны: антагонист может все то, что и Бог, например, устраивает второй рай. По македонской легенде конца XIX в.: Зерзевул (ангел) и его приспешники изгнаны из рая, за свой бунт против Бога наказаны – стали «черные и темные», но смириться не хотят – строят для себя свой рай. Но им мешает ангельское пение из Божьего рая, тогда они решают построить башню, чтобы добраться до Бога и убить его. Господь поражает их стрелами, они падают «на дно земли»; рай их зарастает терниями и покрывается бесплодными камнями [Цепенков, 2006, с. 9, 12].

Мотив соревновательности

Сюжеты о творческом соревновании Бога и его противника широко распространены на всей восточнославянской территории и составляют часть общеевропейского фольклорного наследия [Thomson, 1955–1959]. При этом народная традиция настаивает на том, что один из творцов превосходит другого; эта мысль в легендах бывает выражена довольно любопытным способом, например: в начале времен дьявол и Бог (Дядо Господ) были парой, летали вместе над водами и состязались в могуществе. Бог мог все, но он не хотел обижать дьявола и поэтому допустил совместное творение земли. А потом, испытывая конкурента, притворился спящим. Тут дьявол и обнаружил свое ковар-

ство, решив утопить Бога и присвоить землю (зап. в 1989 г., Берковица, Болгария [Badalanova, 2008, p. 256; Белова, Петрухин, 2008a]).

В народных версиях сюжета о совместном творении «генератором идей» часто выступает именно отрицательный персонаж. Например, в карпатских легендах при обустройстве мира «побратимами» Богом и Триюдой-Аридником идеи принадлежат антагонисту, а Бог «доводит до ума» разработки своего соперника ([«Народная Библия», 2004, с. 107–108]; тот же мотив есть в фольклоре коми: [Петрухин, 2003, с. 199–200; ср. румынскую легенду: Веселовский, 2009, с. 394]). Сходный мотив представлен в болгарской легенде: «Помню, слышала от старых людей... Говорили, что Господь создал землю. И не было тогда воды. А дьявол (он тоже там был, но) не знаю, был ли он сильнее или мудрее Бога. Кажется мне, что он был сильнее...»; согласно этой легенде, именно дьяволу принадлежит идея о том, как остановить рост земли – перекрестить ее и сказать: «Довольно!» (зап. в 1981 г., Бессарабия; [Badalanova, 2008, p. 255–256]).

Трансформация мотива ныряния

Константа дуалистического мифа – эпизод, когда антагонист-помощник по поручению Бога достает со дна морской бездны землю (песок) для творения тверди. В некоторых поздних версиях мотив ныряния отсутствует или заменяется на типологически сходный (погружение в землю). Возможно, замена обусловлена представлением о том, что изначальный помощник (или восставший против Бога ангел со своим войском) был свергнут в подземную бездну, где и образовалось «пекло».

«Бог с сотоной делили землю. Установили межу, с условием, чтобы больше ее не переставлять. Но у сотоны завидные глаза. Мало ему показалось своево учаску земли. А Бог, чтобы сотона не переставив межи, велел следить за сотоной солнышку и мисячу. Сотона, возьми да ухитрись, залез в землю и давай оттудова своими крыльями выворачивать землю. Выворачивав, да выворачивав и наделав гор. Ковда солнышко зашло за горы, а луну подернуло оболком, в это време сотона и переставив межу. Только одна звезда видела, как сотона переставляв межу, и сказала Богу. С тех пор у нас и появились горы. (Подлинные слова крестьянина дер. Коврыгина, Никольского у., Вологодской губ. Никанора Афанасьева Конева)» (кон. XIX в. [Русские крестьяне, 2008, с. 20]).

Здесь ныряние заменяется «закапыванием» в землю, где сатана и остается после Божьего проклятия, и одновременно – преобразованием рельефа.

Еще один любопытный вариант представлен в современной украинской легенде. Бог дает «най-більшому ангелови» горстку земли и велит идти «на місяць» и разбросать там землю, чтоб и на Луне жили люди и пели хвалу Богу; при этом следует сказать: «Рости І множися на Божу славу». Но ревнивый ангел не слушается и изменяет словесную формулу: «Рости І множися на мою славу, а не на Божу». В результате ничего не происходит – оттого и нет жизни на Луне (зап. в 1988 г., Львовская обл. [Дерево до неба, 2000, с. 9]).

Вербальные формулы

Народные легенды вслед за апокрифическими текстами утверждают, что неуспех Сатанаила в соперничестве с Богом был обусловлен тем, что он не сказал сакральную формулу: «Беру с Божьей силой», «Беру во имя Божье» или переименовал ее: «с Божьей силой и с моей», «во имя Божье и мое» [Иванов, 1970, с. 29; «Народная Библия», 2004, с. 44–49, 112–115]. Этот мотив перекочевал и в легенды о «дерзких преобразователях», например, о Петре Первом [Белова, Петрухин, 2008b, с. 119–120]. В фольклоре XX в. мотив отразился в народных рассказах первых послевоенных лет: одна женщина вычитала в Библии, что «Гітлер побідить весь мир, І тоді він скаже: “От який я сильний і могуттєвний, завладев всим миром”, а ни добавє, що я мав покори́в з Божою помо́щу. І за те його Бог звергне з царства...» (зап. около 1945–1946 гг., С. Кондратовка, Украина) [Український політичний фольклор, 2008, с. 77].

Имена антагониста

Наиболее частотное имя антагониста в дуалистических легендах – Сатанаил («враг божий»: [Иванов, 1970, с. 25]; восходит к греч. Σαταήλ – имени одного из верховных ангелов).

При этом очевидно, что даже и при имянарении антагонист отстаивает право на самостоятельность – сам себе дает имя!

«Кто ты есь передо мной? – Я Сатанил – сам себе имя нарек. – Будешь ли меня слушать? – Не знаю – говорит – буду ли слушать. (“Не знаю” грех это слово говорить: это Сатанила первое слово)» (Архангельская губ.; [Богатырев, 1916, с. 071]).

Есть и другие «грешные» слова, которые связаны с именем «первого после Бога». Так, старообрядцы Белгородской обл. считают, что «постароверски надо говорить не “спасибо”, а “спаси Господи”, потому что если скажешь “спасибо”, то вспомнишь старшего Сатану – Бо» [Хирьянова, 2009, с. 48].

Целый перечень «имен нечистого» представляет рассказ из Вологодской обл.: «Встречаются Христос и нечистый. “Ну, как поживаешь?” – спрашивает нечистый. “Хорошо. А ты?” – “Тоже хорошо, да только работы много”. – “Откуда ж у тебя работа?” – “А вот все люди мне поклонились. Меня призывают раньше тебя. Говорят: “Ой, Господи!» Ой – это мое имя”. – “Но есть, – говорит тогда Христос, – люди, которые говорят «Господи», а тебя и вовсе не зовут”. Вот так, девка, не говори слов “ой, кошмар, ужас, беда” – то имена нечистого» (ТЭ УрГУ, Великоустюгский р-н, 1997).

Антагонист заменяется на иного сакрального персонажа

В народных легендах роль антагониста не обязательно принадлежит Сатану, а сам антагонист иногда превращается в Божьего помощника. Об этом – легенда, записанная у старообрядцев Краснодарского края: «Вот Архангел Михаил Грозный, когда умирает человек, он бесей не подпускает до человека. Он был раньше бес. Вот етот, Грозный Воевод. Михайло-Архангел, Грозный Воевод». Однажды ему пришло желание сотворить молитву, но он боялся, что его растерзают бесы. На помощь приходит Господь и совершает над ним крещение землей. «И прямо землей его покрестили, в земле. И только успели крестик одеть и подпоясать, бесей как налетело. Ужас!» Господь велит бывшему бесу идти на Иордан и завершить крещение: «До Иордана дойдешь... покрестишь у тем в Иордане. С головой покрестишь. В общем, довершишь его». Господь дает ему новое имя: Архангел Грозный Воевод [Зудин, 2007, с. 13].

Редкая легенда с отголосками дуалистических представлений была зафиксирована на брянско-гомельском пограничье: «Цяпер ужо нямалясоў, а, усераўно, людзей колькі відзімых, столькі нявідзімых. И вот, яны рэдка каму пакажуцца. Калі асноваўся свет, адзін Бог браў сабе, а другі – сабе. И калі падзялілі, дак той пахаваў. Сафаоф сказаў: „Их ніхто бачыць ня будзе“. Яны и сый-

час есць» (с. Лядо Ветковского р-на Гомельской обл.; [Лопатин, 2005, с. 35]).

Речь идет о мифологических персонажах – «невидимых» или «доброхотах». По поверьям, эти персонажи существуют с начала времен, их создателем и «Богом невидимых» называется Саваоф, противопоставленный в этом контексте Богу. Здесь любопытно совпадение с богомилской традицией, для которой ветхозаветный Творец – создатель материального мира и, стало быть, зла [Веселовский, 2001, с. 188–189]. О том, что «Саваоф» в этой легенде заменил «Сатанаила», свидетельствует и связь «невидимых» с демонологическими персонажами (домовыми, лесовыми и т.п.), происхождение которых традиционно связывается с деятельностью старшего черта (дьявола, сатаны) или с сокрытыми от Бога детьми Адама и Евы [«Народная Библия», 2004, с. 44–57, 245].

Приведем также легенду со Смоленщины – там имена двух творцов почти полные омонимы: «У Госпада Саваоха был памошник Саваул<...> Саваул стал развратна делать напроиў Бози, тада Гаспоть Саваох проклял яго...» [Добровольский, 1891, с. 224]. В данном случае «Саваул» может быть отголоском имени «Самаэль».

Пара творцов удваивается

В заключение рассмотрим еще одну любопытную трансформацию, когда творящие силы удваиваются и с каждой стороны представлена пара персонажей. Например, в македонской легенде положительную сторону представляют Бог и Христос. Им противостоит пара отрицательных персонажей – начальник ангельского чина и его подчиненный «человек». Господь создал небо и землю, десять чинов ангельских, назначил Христа (Ристос) «за главен кумандир или престолонаследник». Начальник десятого чина ангелов – Денница взревновал после создания Адама и подговорил человека (големецо) по имени Краса соблазнить Еву. Краса нарядился в змеиную кожу (мотив переодевания) и проник в рай, где уговорил первых людей попробовать плоды с древа познания. Господь проклял Красу, и он остался змеей; Адама и Еву изгнал из рая. Денница и его ангелы тоже изгнаны, но они устроили второй рай, такой же прекрасный, как и первый. Когда Господь сделал так, что их цветы превратились в тернии, Деница решил построить башню, чтоб добраться до Бога и Христа и самому сделаться Богом, но был свер-

гнут и провалился в огненное озеро на вечную муку [Цепенков, 2006, с. 12–14].

В современном рассказе из Вологодской обл. добавлен гендерный аспект: «Есть мужчина и женщина нечиста сила. Как у Бога: Христос и Богоматерь. Тоже люди, только испорчены. Нечиста сила портит, а Господь Бог лечит. Господь Бог первый лекарь. Помни это, девка» (ТЭ УрГУ, Великоустюгский р-н, 1997).

Комментируя один из списков апокрифа «Сказание о том, как сотворил Бог Адама» (XVII в.; Российская Государственная библиотека. Рум. 370), В.В. Мильков усмотрел в тексте мотив, не имеющий аналогов в апокрифической книжности, – а именно появление «второго Сатаны», который явился после первого (испортившего Божье творение – человека и низвергнутого за это в преисподнюю), чтобы завершить свои пакости: «И прииде вторые Сотона и восхоте на Адама напусти злую скверну» (в русском переводе: «И пришел второй Сатана и захотел на Адама напустить злую нечисть») [Мильков, 1999, с. 422, 427]. Представляется, однако, что речь в тексте идет не о «втором» Сатане, а о его повторном появлении – др.-рус. (во) вторые означает «во-вторых» [СлРЯ, XI–XVII, 1976, с. 166], что публикатор и предположил в комментариях [Мильков, 1999, с. 434]. Таким образом, мотив «удвоения» Сатаны оказывается текстологическим фантомом, возникшим, вероятно, в результате порчи протографа.

Представленный материал характеризует трансформацию древнего дуалистического сюжета в поздних национальных и локальных традициях, когда миф может обрести форму легенды или курьезного нарратива.

Список литературы

- Белова О.В.** Славянские «библейские легенды»: от книжного источника к библейскому нарративу // I Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докл. – М., 2006. – Т. 2.
- Белова О.В., Петрухин В.Я.** Когда Господь почивал...: дуалистическая космогония в свете фольклорной текстологии // Етнолінгвістичка проучава сръпског и других словенских језика: у част академика С. Толстој. – Белград, 2008а.
- Белова О.В., Петрухин В.Я.** Фольклор и книжность: миф и исторические реалии. – М., 2008б.
- Богатырев П.** Несколько легенд Шенкурского у. Архангельской губ. // ЖС. – Год. 25. – Вып. 4. – СПб., 1916. – № 26.
- Веселовский А.Н.** Мерлин и Соломон: слав. сказания о Соломоне и Китоврасе и зап. легенды о Морольфе и Мерлине. – М., 2001.
- Веселовский А.Н.** Избранное: традиционная духовная культура. – М., 2009.
- Грейвс Р., Патай Р.** Иудейские мифы: Книга Бытия. – М., 2002.
- Дерево до неба:** укр. народ. казки та легенди на християнські теми. – Львів, 2000.
- Добровольский В.Н.** Смоленский этнографический сборник. – СПб., 1891. – Ч. 1.
- Зудин А.И.** Христианские легенды старообрядцев хутора Новопокровского // ЖС. – 2007. – № 3.
- Иванов Й.** Богомилски книги и легенди. – София, 1970.
- Кузьмина Е.Е.** Арии – путь на юг. – М., 2008.
- Лопатин Г.И.** «Людзей жа нявидзімых столькі, сколькі вiдзімых»: беларус. мiфол. вераваньня о «доброхोजих» // ЖС. – 2005. – № 3.
- Мильков В.В.** Древнерусские апокрифы. – СПб., 1999.
- «Народная Библия»:** восточнославян. этиолог. легенды. – М., 2004.
- Петрухин В.Я.** Мифы финно-угров. – М., 2003.
- Романов Е.Р.** Белорусский сборник. Вып. 4: Сказки космогонические и культурные. – Витебск, 1891.
- Русские крестьяне:** Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографического бюро» кн. В.Н. Тенишева. – СПб., 2008. – Т. 5, ч. 3: Вологодская губ.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.** – М., 1976. – Т. 3.
- Український політичний фольклор.** – Київ, 2008.
- Хирьянова Л.В.** Экспедиция к старообрядцам Белгородской обл. // ЖС. – 2009. – № 2.
- Цепенков М.** Фолклорно наследство. – София, 2006. – Т. 4: Легенди и предания.
- Badalanova F.** The Bible in the making: slavonic creation stories // Imagining creation. – Leiden; Boston, 2008.
- Engelking A.** Każda nacja swoją wierę ma // Polska sztuka ludowa – Konteksty. – 1996. – № 3–4.
- Kolberg O.** Dzieła wszystkie. – Wrocław, Poznań, 1963. – Т. 7: Krakowskie. – Cz. 3.
- Thomson S.** Motif-index of folk literature. – Copenhagen, 1955–1959. – Vol. 1–6.
- Zowczak M.** Biblia ludowa: interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. – Wrocław, 2000.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ В АРХЕОЛОГИИ



ЛОШАДЬ В ХОЗЯЙСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОСТЕПИ И СТЕПИ ВОСТОКА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (средняя бронза – средневековье)

Лошадь является одним из основных видов домашних копытных, и ее роль в жизни человека, особенно в прошлом, весьма значительна. Оценить эту роль можно на основании прямых и косвенных данных. Основным прямым показателем роли лошади является доля ее остатков в составе костных комплексов, полученных при раскопках поселений. Вместе с тем, использование этого показателя относительно поселений с территории степной и лесостепной зон Восточной Европы осложнено одним обстоятельством: в этом регионе на протяжении всего голоцена обитала дикая лошадь – тарпан [Гасилин, Косинцев, 2009, с. 109; Кузьмина, 1997, с. 104]. Различение отдельных костей дикой и домашней форм лошади практически невозможно. Это не имеет существенного значения при изучении костных комплексов из поселений культур с производящим типом хозяйства, так как неверное определение отдельных костей не меняет характеристики структуры костных комплексов. Однако это может существенно изменить характеристики для культур с присваивающим или комплексным типом хозяйства.

Проблемы domestикации лошади и критериев определения наличия домашней формы на конкретном поселении являются комплексными [Бочкарев и др., 2010, с. 23–28]. Не останавливаясь на них специально, отметим только, что в определенных случаях одним из критериев определения наличия домашней лошади в хозяйстве может быть показатель доли ее костей. Основанием для этого являются некоторые особенности биологии лошади. От других видов, ставших домашними, лошади отличаются способностью к

длительному быстрому бегу и преодолению весьма значительных препятствий. Поэтому контроль над сколько-нибудь большим количеством лошадей (косяк и более) требует наличия верховых лошадей. Это подразумевает существование упряжи и системы тренинга. Это возможно при наличии уже опыта содержания домашних животных. В целом можно сказать, что из большей части домашних животных содержание домашних лошадей является технологически наиболее сложным. Исходя из всего вышесказанного, ясно, что на ранних этапах разведения лошадей их доля в составе стада не могла быть большой и они входили в состав стада из нескольких видов домашних копытных. На ранних этапах содержания домашних лошадей их количество в стаде, вероятно, было в пределах численности одного-двух косяков (10–20 особей) и они не могли быть основой питания населения. Одна из наиболее вероятных функций первых домашних лошадей – использование под верх для выпаса стад крупного и мелкого рогатого скота. Весьма вероятно, что для большей управляемости большинство жеребцов кастрировалось. Соответственно, доля костей лошадей на поселениях ранних скотоводческих культур должна быть не большой. Рассмотрим его на примере материалов из поселений энеолита – средней бронзы степной зоны Днепро-Донского междуречья и Предкавказья [Бибикова, 1963, с. 134; Журавлев, 2001, с. 77–84; Журавлев, Сычева, 1989, с. 151; Цалкин, 1970, с. 273; Morales-Minitz, Antipina, 2000, p. 291]. Как видно из данных табл. 1, доля костей лошади на этих поселениях очень не большая – от 0 до 11 %, что соответствует высказанному

Таблица 1. Соотношение остатков копытных из поселений энеолита – средней бронзы степной зоны Днепро-Донецкого междуречья и Предкавказья, %

Виды	Культуры*			
	Дереивка, n=1	Майкопская Min–Max–M, n = 3	Усатовская Min–Max–M, n = 2	Ямная Min–Max–M, n = 2
Лошадь – <i>Equus</i> (E.) sp.	63	0–2–1	11–11–11	1–11–6
Крупный и мелкий рогатый скот	22	97–98–98	86–88–87	89–98–93
Дикие копытные	15	2–3–2	2–3–2	1–2–1
Количество костей, экз.	3 597	17 260	23 410	53 587

*Здесь и далее: Min – минимальная доля костей лошади, Max – максимальная доля костей лошади, M – средняя доля костей лошади на поселениях, n – количество поселений.

выше теоретическому положению о том, что на ранних этапах разведения лошадей их количество в стаде должно быть небольшим и, конечно, не больше доли крупного и мелкого рогатого скота. Теоретически можно допустить, что эти кости принадлежат дикой лошади. Но следует отметить, что на всех этих поселениях охота имела очень небольшую роль в хозяйстве, а доля лошади больше или равна (майкопская культура) доле диких копытных. Учитывая сложность охоты на дикую лошадь по сравнению, например, с оленем, вряд ли можно допустить, что население со слабо развитой охотничьей деятельностью вело избирательную добычу лошади. Наиболее вероятно, что остатки лошади на этих поселениях, или большая их часть, принадлежат домашней форме. Таким образом, показатели доли костей лошади и доли диких копытных могут быть одним из косвенных показателей наличия остатков домашней лошади в изучаемой выборке. Подтверждением этого могут служить материалы из поселения Дереивка [Бибикова, 1963, с. 134], в котором остатки лошади составляют 63 %, а диких копытных – 15 % (табл. 1). По этим показателям, по крайней мере большая часть костей лошади должна принадлежать дикой форме. В свое время на основании изучения черепа лошади В.И. Бибикова отнесла все остатки лошади из этого поселения к домашней форме [Бибикова, 1967, с. 116]. Но этот вывод верен только по отношению к изученному черепу, так как по его фрагменту получена некалиброванная радиоуглеродная дата 2380 ± 120 лет назад [Левин, Рассемакин, 1996, с. 28]. Основное количество костных остатков происходит из более древнего слоя [Черных, Авилова, Орловская, 2000, с. 60].

Анализ возрастной структуры лошадей показал, что он в наибольшей степени соответствует промысловой популяции дикой лошади [Levine, 1990, р. 738, 739]. Таким образом, большая часть костей лошади из поселения Дереивка принадлежат тарпану. На это же указывают и доли костей лошади и диких копытных.

Для настоящей работы отмеченная выше проблема не существенна, так как будут рассматриваться материалы археологических культур с производящим типом хозяйства. Будут рассмотрены данные о находках костных остатков лошадей из археологических памятников степной и лесостепной зон от р. Днепр до Приуралья. Наиболее ранними домашними лошадьми на этой территории, вероятно, следует считать лошадей хвалынской культуры, датируемой концом IV тысячелетия до н.э. – началом III тысячелетия до н.э. [Кузнецов, 1996, с. 56]. В погребениях I Хвалынского могильника остатки лошади найдены вместе с многочисленными костями крупного и мелкого рогатого скота [Петренко, 2000, с. 9–14]. Конечно, наличие остатков лошадей в могильниках не может служить достаточным основанием для отнесения их к домашней форме. Но в данном случае они найдены в одних комплексах с домашним рогатым скотом, что с большой вероятностью позволяет считать этих лошадей домашними. Костных остатков из поселений хвалынской культуры не известно, поэтому оценить роль лошади в хозяйстве ее населения невозможно. Несомненно, домашние лошади были у населения ямной культуры эпохи средней бронзы, но и здесь их остатки найдены только в погребальных комплексах [Шилов, 1975, с. 169–170].

Таблица 2. Доля (%) и количество (экз.) костей лошади на поселениях катакомбной культуры

Показатели	Лесостепь Днепро-Донецкого междуречья, n = 5	Степь	
		Днепро-Донецкое междуречье, n = 2	Поволжье, n = 1
Min-Max-M, %	1–11–6	1–10–6	6
N*, экз.	915	1 514	121

*Здесь и далее N – количество костей лошади на всех поселениях.

Таблица 3. Доля (%) и количество (экз.) костей лошади на поселениях позднего бронзового века Днепро-Донецкого междуречья

Показатели	Лесостепь		Степь	
	Абашевская, n = 5	Срубная, n = 3	Срубная, Приазовье, n = 5	Срубная, Северский Донец, n = 9
Min-Max-M, %	9–18–14	11–19–16	19–27–23	6–23–10
N, экз.	1761	1057	4896	3379

В конце эпохи средней бронзы регион заселяют скотоводы, поселения которых содержат достаточное для анализов количество костных остатков. В этой работе проведен анализ доли остатков лошади от остатков всех домашних копытных из поселенческих комплексов с конца средней бронзы до средневековья. Используются опубликованные данные [Антипина, 2004, с. 118; Гасилин, 2005, с. 62; Дьяченко, 1993, с. 28; Журавлев, 1990, с. 17; Журавлев, 2001, с. 78–103; Косинцев, 2003, с. 138; Косинцев, Рослякова, 2002, с. 146; Малов, Косинцев, 2010, с. 86; Мыськов, Лапшин, 2007, с. 81; Мягкова, 1998, с. 140; Недашковский, 2006, с. 80; Обыденов и др., 1994, с. 109–112; Петренко, 1984, с. 151–167; Петренко, Асылгараева, 2007, с. 91–92; Цалкин, 1966, с. 103; Morales-Muniz, Antipina, 2000, р. 289–291] и оригинальные данные автора.

Конец эпохи средней бронзы, вторая фаза развития Циркумпонтийской металлургической провинции [Черных, 2008, с. 22]. К этому периоду в регионе относятся поселения катакомбной культуры. На всех поселениях между реками Днепр и Волга, из которых изучены костные комплексы, доля лошади была очень не большой и составляла от 1 до 11 %, в среднем 6 % (табл. 2). Поселения расположены в разных природных условиях и охватывают период около тысячи лет [Черных, 2008, с. 21], и доля лошади на всех них весьма существенно различается от 1 до 11 %, т.е. в 10 раз. Это может указывать на неустойчивый характер

коневодства в структуре животноводства у населения этой культуры.

Начало эпохи поздней бронзы, ранняя фаза Евразийской металлургической провинции [Там же, с. 26]. К этому периоду в рассматриваемом регионе относятся абашевская и синташтинская культуры. На абашевских поселениях Днепро-Донецкого междуречья доля костей лошади относительно велика – от 9 до 18 %, в среднем 14 % (табл. 3). Это значительно больше, чем в предыдущий период. На поселениях абашевской культуры в Приуралье доля лошади значительно меньше – 2 и 7 %, в среднем 4,5 % (табл. 4). Это позволяет говорить о разной роли лошади в хозяйстве абашевского населения Днепро-Донецкого междуречья и Приуралья. Поселения в обоих регионах находятся в лесостепной зоне, и отмеченные различия вряд ли связаны с различием природных условий. Причины этих различий сейчас не ясны. В регионе исследовано поселение синташтинской культуры. В его материалах доля лошади относительно высока – 13 % (табл. 4). Это близко к доле лошади на поселении этой же культуры в Южном Зауралье Аркаим, где она составляет 15 % [Косинцев, 2000, с. 42].

Середина эпохи поздней бронзы, вторая фаза Евразийской металлургической провинции [Черных, 2008, с. 28]. В этот период практически на всей территории была распространена срубная культура. На поселениях в Днепро-Донецком междуречье доля костей лошади весьма изменчи-

Таблица 4. Доля (%) и количество (экз.) костей лошади на поселениях эпохи поздней бронзы Приуралья

Показатели	Лесостепь			Степь
	Абашевская, n = 2	Срубная, n = 9	XII–IX вв. до н.э., n = 3	Синташтинская, n = 1
Min–Max–M, %	2–7–4.5	9–27–20	23–46–34	13
N, экз.	261	7138	3093	608

Таблица 5. Доля (%) и количество (экз.) костей лошади на поселениях эпохи поздней бронзы Поволжья

Показатели	Лесостепь		Степь	
	Срубная, n = 6	XII–IX вв. до н.э., n = 1	Срубная, n = 4	XII–IX вв. до н.э., n = 1
Min–Max–M, %	9–15–12	16	5–7–6	16
N, экз.	2032	284	275	908

ва. В лесостепной зоне она изменяется от 11 до 19 %, составляя в среднем 16 % (см. табл. 3). В степной зоне Приазовья она изменяется от 19 до 27 %, составляя в среднем 23 % (табл. 3), а в степях Северского Донца их доли изменяются от 6 до 23 %, составляя в среднем 10 % (табл. 3). На поселениях в Поволжье доля костей лошади очень небольшая – в лесостепи в среднем 12 %, а в степи в среднем 6 % (табл. 5). На поселениях лесостепного Приуралья доля остатков лошади весьма велика и составляет от 9 до 27 %, в среднем 20 % (табл. 4). Таким образом, в разных районах срубного мира доля лошади заметно различается, что, вероятно, отражает ее разную роль в хозяйстве. Доля костей лошади в некоторой степени связана с природными условиями: в лесостепных районах ее доля в среднем выше, чем в степных. На общем фоне выделяется Поволжье, где как в лесостепи, так и в степи доля остатков лошади минимальна. Это, несомненно, специфика животноводства у населения срубной культуры этого региона.

Конец эпохи поздней бронзы, третья фаза Евразийской металлургической провинции [Черных, 2008, с. 30]. В этот период на этой территории существует общность культур так называемой валиковой керамики. Данные для этого периода немногочисленны и имеются только для Волго-Уральского региона. На поселениях в лесостепном и степном Поволжье доли костей лошади составляют по 16 %, а в Приуралье она изменяется от 23 до 46 %, составляя в среднем 34 % (табл. 4,

5). В обоих регионах произошло существенное увеличение доли остатков лошади. На значимость увеличения указывает тот факт, что в обоих случаях увеличились не только средние значения, но произошло значительное смещение размаха изменений долей. В лесостепной и степной зонах Поволжья значения доли лошади (16 %) превысили максимальные значения, которые были на поселениях срубной культуры (15 и 7 % соответственно). В лесостепной зоне Приуралья минимальное значение (23 %) почти совпало с максимальным для срубного времени (27 %) (табл. 5). Несомненно, это отражает существенное увеличение роли лошади в хозяйстве населения Урало-Поволжья в финале поздней бронзы.

Ранний железный век. На протяжении этого периода на рассматриваемой территории сменился ряд культур. Общей тенденцией этого периода является увеличение доли остатков лошади на поселениях. В Днепро-Донецком междуречье, на скифских поселениях лесостепной зоны доля костей лошади в среднем составляет 49 % (табл. 6), что почти в три раза больше, чем было в этом регионе на поселениях срубной культуры. На раннеславянских поселениях середины I тысячелетия н.э. доля костей лошади составляет 9 %, что в несколько раз меньше, чем на поселениях скифской культуры (табл. 6). В степной зоне эти изменения менее выражены. На скифских поселениях доля лошади здесь составляет 22 % (табл. 6), а на всех поселениях срубной культуры – 17 %.

Таблица 6. Доля (%) и количество (экз.) костей лошади на поселениях раннего железного века и средневековья Днепро-Донецкого междуречья

Показатели	Лесостепь		Степь		
	Скифская, n = 7	Славяне, n = 3	Скифская, n = 7	Черняховская, n = 4	Салтово-маяцкая, n = 4
Min–Max–M, %	38–71–49	7–11–9	5–43–22	3–12–7	14–36–24
N, экз.	2739	187	2823	504	1175

Таблица 7. Доля (%) и количество (экз.) костных остатков лошади из поселений раннего железного века и средневековья лесостепной и степной зон Урало-Поволжья

Показатели	Лесостепь					Степь	
	V в. до н. э. – V в. н. э., n = 1	Ананьин- ская, n = 1	Кара- абызская, n = 3	Именьков- ская, n = 2	Волжская Булгария, n=5	V–I вв. до н.э., n = 2	Золотая Орда, n = 3
Min–Max–M, %	40	26	33–42–37	27–40–34	6–24–14	44–52–48	2–8–6
N, экз.	1473	108	632	381	2389	742	271

В степной зоне Днепро-Донецкого междуречья по доле остатков лошади выделяются поселения черняховской культуры – на них она составляет всего 7 % (табл. 6). Ранее это установил В.И. Цалкин, анализируя количество особей [1966, с. 80]. Это уменьшение доли лошади он обоснованно объяснил тем, что население черняховской культуры начало использовать лошадь в земледелии [Там же, с. 81]. Таким образом, анализ, проведенный по количеству костных остатков, совпал с результатами анализа по количеству особей, и следует согласиться с объяснением этих данных, предложенных В.И. Цалкиным. Вероятно, с этой же причиной связано отмеченное выше малое количество остатков лошади на раннеславянских поселениях в лесостепной зоне. В Урало-Поволжском регионе была несколько иная ситуация. В степной зоне здесь, как и в Днепро-Донецком междуречье, произошло увеличение доли лошади в три раза по сравнению с финалом поздней бронзы – с 16 до 48 % (табл. 5, 7). На поселениях в лесостепной зоне доля костей лошади по сравнению с концом эпохи бронзы не изменилась, и в среднем по пяти поселениям они составляют также 34 % (табл. 7). Следует отметить, что не произошло и изменения пределов изменения долей остатков лошади: в финале поздней бронзы они изменялись от 23 до 46 % (см. табл. 4), а в раннем железном веке – от 26 до 42 % (табл. 7). Это может свидетельствовать о стабильной роли лошади в хозяйстве населения

лесостепной зоны Урало-Поволжья в этот период времени.

Средневековье. В степной зоне на поселениях салтово-маяцкой культуры остатки лошади составляют от 14 до 36 %, в среднем 24 % (см. табл. 6). Это в три раза больше, чем на поселениях черняховской культуры, и почти совпадает с долей остатков лошади на скифских поселениях в степной зоне (табл. 6). На поселениях именьковской культуры раннего средневековья в лесостепном Поволжье доля остатков лошади составляет 34 % и практически не изменилась по сравнению с ранним железным веком (табл. 7). В середине средневековья, на поселениях Волжской Булгарии, доля лошади составляет от 6 до 24 %, в среднем 14 % (табл. 7). Это почти в три раза меньше, чем в раннем средневековье. На поселениях Золотой Орды в степной зоне доля остатков лошади еще меньше – в среднем 6 % (табл. 7). Такое малое количество остатков лошади на стационарных поселениях Золотой Орды несколько удивляет, так как общеизвестно, что лошадь имела важнейшее значение в хозяйстве ее населения. Костные остатки отражают роль того или иного вида в структуре «мясного» питания населения. Очевидно, что в питании населения постоянных поселений Золотой Орды лошадь имела небольшое значение.

Обзор распределения долей остатков лошади по территории и по культурам показывает следу-

ющее. На всей рассматриваемой территории на протяжении конца средней и первой половины поздней бронзы роль лошади в хозяйстве была небольшой. И только на поселениях срубной культуры в степном Приазовье и лесостепном Приуралье она играла значительную роль в хозяйстве. При переходе к финалу поздней бронзы на всей территории Урало-Поволжья произошло значительное увеличение роли лошади в хозяйстве населения. Можно полагать, что это же произошло и на территории к западу от Волги. Начиная с раннего железного века роль лошади в хозяйстве начинает значительно изменяться, в зависимости от культурной принадлежности памятника и от типа памятника. Это хорошо иллюстрирует пример с материалами из поселений скифской, черняховской и раннеславянской культур. Предварительно можно сделать вывод, что в одних природных условиях у земледельческого населения доля лошади в хозяйстве будет меньше, чем у скотоводов или в земледельческо-скотоводческом хозяйстве. О связи роли лошади и типа поселения говорит пример поселений Золотой Орды. Наблюдается географическая специфика распределения долей остатков лошади. Так, на протяжении всей поздней бронзы доля лошади на поселениях Поволжья была меньше, чем на поселениях Приуралья. В Урало-Поволжском регионе, в отличие от Волго-Днепровского, доля лошади на протяжении раннего железного века была стабильно высокой. Постоянно высокой ролью лошади в хозяйстве с середины поздней бронзы и до раннего средневековья характеризуется лесостепное Урало-Поволжье. Это, на наш взгляд, связано с особенностями природных условий региона – более высоким уровнем снежного покрова. Способность лошадей к тебеневке обеспечивала им некоторые преимущества по сравнению с крупным и мелким рогатым скотом. Изученный материал показывает эпохальные изменения роли лошади в хозяйстве населения лесостепи и степи востока Восточной Европы – увеличение роли с конца средней бронзы до максимума в скифское время раннего железного века и уменьшение к концу средневековья. Подчеркнем, что эти выводы по результатам изучения поселенческих комплексов и пример Золотой Орды показывают ограниченность этих материалов. На наш взгляд, эти изменения вызваны изменениями в технике и технологии коневодства и в экономике. Резкое увеличение роли лошади к раннему железному веку связаны с появлением в

конце поздней бронзы более совершенной узды, что дало возможность широко использовать лошадь для верховой езды. Уменьшение роли лошади к концу средневековья, как нам представляется, вызвано распространением земледелия и увеличением в питании роли молочной и растительной пищи. Отметим, что причины уменьшения роли лошади нуждаются в дополнительном исследовании и обосновании.

Список литературы

- Антипина Е.Е.** Реконструкция особенностей мясного потребления и других форм использования животных на поселениях Замятино-5, 7, 8 в середине I тысячелетия // Острая Лука Дона в древности. Замятинский археологический комплекс гуннского времени. – М., 2004. – С. 106–120.
- Бибикова В.И.** Из истории голоценовой фауны позвоночных Восточной Европы // Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев, 1963. – Вып. 1.
- Бибикова В.И.** К изучению древнейших домашних лошадей Восточной Европы // Бюлл. Моск. об-ва испытат. природы. Отд. Биол. – 1967. – Т. XXII (3). – С. 106–117.
- Бочкарев В.С., Бужилова А.П., Епимахов А.В., Клейн Л.С., Косинцев П.А., Куланда С.В., Кузнецов П.Ф., Кузьмина Е.Е., Медникова М.Б., Усачук А.Н., Хохлов А.А., Черленок Е.А., Чечушков И.В.** Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. – Екатеринбург; Самара; Донецк; Челябинск: Рифей, 2010. – 370 с.
- Гасилин В.В.** Фауна предименьковских и раннеименьковских памятников лесостепного Поволжья // Сташенков А.Д. Оседлое население Самарского лесостепного Поволжья в I–V вв. н.э. – М., 2005. С. 59–66.
- Гасилин В.В., Косинцев П.А.** Динамика структуры фауны копытных Урало-Поволжья в голоцене // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2009. – № 6. – С. 108–110.
- Дьяченко А.Н.** Новый памятник энеолита и бронзы в Нижнем Поволжье // Археология Доно-Волжского бассейна. – Волгоград, 1993. – С. 19–29.
- Журавлев О.П.** Археозоологические исследования поселения Бугское II Николаевской области // Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности. – Запорожье, 1990. – С. 16–18.
- Журавлев О.П.** Остеологические материалы из памятников эпохи бронзы лесостепной зоны Днепро-Донского междуречья. – Київ: ИА НАНУ, 2001. – 199 с.
- Журавлев О.П., Сычева Л.В.** Палеозоологические исследования поселения катакомбной культуры Матвеевка I // Советская археология. – 1989. – № 2. – С. 150–152.
- Косинцев П.А.** Костные остатки животных из укрепленного поселения Аркаим // Археологический источник и моделирование древних технологий. – Челябинск, 2000. – С. 17–44.
- Косинцев П.А.** Животноводство у населения Самарского Поволжья в эпоху поздней бронзы // Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке. – Самара, 2003. – С. 126–146.

Косинцев П.А., Рослякова Н.В. Материалы по истории животноводства у населения Самарского Поволжья в бронзовом веке // Вопросы археологии Поволжья. – Вып. 2. – Самара, 2002. – С. 145–150.

Кузнецов П.Ф. Новые радиоуглеродные даты для хронологии культур энеолита – бронзового века юга лесостепного Поволжья // Археология и радиоуглерод. – СПб., 1996. – С. 56–59.

Кузьмина И.Е. Лошади Северной Евразии от плейстоцена до современности // Тр. Зоологического института РАН. – СПб.: ЗИН РАН, 1997. – Т. 273. – 224 с.

Левин М., Рассемакин Ю.Я. О проблеме археозоологических исследований памятников неолита – бронзы Украины // Доно-Донецкий регион в системе древнейшей эпохи бронзы Восточноевропейской степи и лесостепи. – Воронеж, 1996. – Вып. 2. – С. 25–29.

Малов Н.М., Косинцев П.А. Селище Волго-Донской катакомбной культуры Сосновка-I из Саратовского Поволжья // Археология Восточно-Европейской степи. – Вып. 8. – Саратов, 2010. – С. 78–94.

Мыськов Е.П., Лапшин А.С. Памятники эпохи поздней бронзы: Сухая Мечетка IV и Ерзовские курганные могильники. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – 100 с.

Мягкова Ю.Я. Анализ остеологического материала из поселений салтово-маяцкой культуры // Проблемы археологии Юго-Восточной Европы. – Ростов н/Д, 1998. – С. 139–140.

Недашковский Л.Ф. Нижневолжский золотоордынский город и его округа // Российская археология. – 2006. – С. 74–86. – № 4.

Обыденов М.Ф., Шорин А.Ф., Варов А.И., Косинцев П.А. Хозяйство населения черкаскульской и межовской культур Урала эпохи поздней бронзы. – Екатеринбург: УрО РАН, 1994. – 114 с.

Петренко А.Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предуралья. – М.: Наука, 1984. – 174 с.

Петренко А.Г. Следы ритуальных животных в могильниках древнего и средневекового населения Среднего Поволжья и Предуралья. – Казань: Школа, 2000. – 156 с.

Петренко А.Г., Асылгараева Г.Ш. Остеологические материалы животных из раскопок Мурадымовского поселения эпохи поздней бронзы // Формирование и взаимодействие уральских народов в изменяющейся этнокультурной среде Евразии: проблемы изучения и историография. – Уфа, 2007. – С. 87–92.

Цалкин В.И. Древнее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии // МИА. – М.: Наука, 1966. – № 135. – 160 с.

Цалкин В.И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. – М.: Наука, 1970. – 280 с.

Черных Е.Н. Формирование Евразийского степного пояса скотоводческих культур: взгляд сквозь призму археометаллургии и радиоуглеродной хронологии // OPUS: междисциплинарные исследования в археологии. – М., 2008. – Вып. 6. – 352 с.

Черных Е.Н., Авилова Л.И., Орловская Л.Б. Металлургические провинции и радиоуглеродная хронология. – М., 2000. – 95 с.

Шилов В.П. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. – М.: Наука, 1975. – 208 с.

Levine M.A. Dereivka and the problem of horse domestication // Antiquity. – 1990. – Vol. 64. – № 245. – P. 727–740.

Morales-Muniz A., Antipina K. Late Bronze Age (2500–1000 BC) Faunal Exploitation on the East European Steppe // Late Prehistoric Exploitation of the Eurasian Steppe. – Cambridge, 2000. – Vol. II.

К АНТРОПОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА И БРОНЗЫ

В эпохи мезолита и неолита на территории Средней Азии существовали две крупные антропологические области: северная, заселенная носителями протоевропейского морфологического комплекса, и южная, с преобладанием представителей средиземноморского. Черты, присущие первому комплексу, были выявлены у носителей кельтеминарской культуры на западе Хорезмского оазиса. Вторым комплексом был характерен для племен джейтунской культуры, распространенной в прикопетдагской полосе Южного Туркменистана, и гиссарской неолитической культуры в Южном Таджикистане. Наиболее ярко и отчетливо такое исторически сложившееся деление проявилось позднее, в эпохи энеолита и, особенно, бронзы. В южных областях в эти периоды процветали древнеземледельческие цивилизации с высоко-развитым земледелием и скотоводством, тогда как северные были периферией южных цивилизаций. Постоянные контакты среднеазиатского севера с югом оказали значительное влияние на этническую историю племен, населявших эту огромную территорию.

Энеолитические памятники были обнаружены и изучены в предгорной зоне Северного Копетдага и в долине древней дельты реки Теджен [Массон, 1962; Сарианиди, 1965], Восточном Прикаспии [Хлопин, 1997, 2002], а также в северных областях Средней Азии – в многослойном поселении Саразм в среднем течении Зарафшана [Исхаков, 1987, 1991]. Анализ небольшого антропологического материала из Саразма дает нам основание отнести его к средиземноморскому комплексу, родственному комплексу, выявленному у племен прикопетдагской полосы Южного Туркменистана [Ходжайов, 2004]. Этот вывод подтверждается

и общностью материальных культур населения, оставившего вышеуказанные памятники.

Палеоантропологические материалы из могильника Пархай II в Сумбарской долине, полученные И.Н. Хлопиным, исследовались Т.П. Кияткиной [1987], О. Бабаковым и А.В. Громовым [2002], Громовым [1995, 2004], Т.К. Ходжайовым [2010]. Погребальные камеры, число которых оказалось равным 292, были разделены им [Хлопин, 2002] хронологически на ряд культурно-исторических периодов: три энеолитических – ранний (ЮЗТ-VII), развитый (ЮЗТ-VI) и поздний энеолит (ЮЗТ-V), четыре эпохи бронзы – ранняя (ЮЗТ-IV), развитая (ЮЗТ-III), поздняя (ЮЗТ-II) и поздняя бронза (сумбарская культура) (ЮЗТ-I). Все перечисленные периоды, кроме ЮЗТ-VII, представлены палеоантропологическим материалом.

В серии из Сумбарской долины преобладают долихокранные формы. Лицевая часть ортогнатная (с некоторым альвеолярным прогнатизмом), узкая и сравнительно низкая, сильно профилированная в горизонтальной плоскости, нос узкий и резко выступающий. В целом суммарная серия имеет ярко выраженные европеоидные черты. Несмотря на длительный хронологический диапазон функционирования памятника, население оказалось однородным по морфологическим особенностям. Межгрупповой анализ серий из переднеазиатских и среднеазиатских могильников показал, что по морфологическому облику серия из Пархая II ближе всего к сериям эпохи энеолита и бронзы, относящимся к кругу южных европеоидов. Мужская выборка представителей сумбарской культуры эпохи поздней бронзы (ЮЗТ-I, ЮЗТ-II) оказалась наиболее близкой к сериям

сапаллинской и вахшской культур, а женская – к носителям тюринго-гиссарской, намазгинской, вахшской, чустской, заманбабинской и бактрийско-маргианской культур Средней Азии и Северо-Восточного Ирана.

Во второй половине III – первой половине II тысячелетия до н.э. на юге Средней Азии протогородские центры формируются уже не только в подгорной полосе Копетдага, но и в остальных районах. Эти процессы были связаны с миграцией части населения из южного и юго-западного Туркменистана в плодородные оазисы Маргианы и Бактрии. В Южном Узбекистане (Северной Бактрии) в этот период появляется новый очаг древнеземледельческой цивилизации (сапаллинская культура), что было связано также с продвижением племен из южного Туркменистана в восточном направлении.

Миграционные процессы в северной степной зоне особенно интенсивно протекали позднее, а именно во второй половине II – начале I тысячелетия до н.э. Вероятно, они были следствием расселения тазабагыбских племен в древней дельте Зарафшана, продвижения андроновского населения из Семиречья в Ташкентский оазис, а срубного – из Нижнего Поволжья в степи восточного Прикаспия. В Ферганской долине проживали носители чустской и кайраккумской культур эпохи поздней бронзы. Выявлены тесные связи материальной культуры кайраккумских племен с андроновской культурой населения Казахстана, также с южной и западной ветвями чустской и, в меньшей степени, со срубной культурой Поволжья.

На рубеже II и I тысячелетий н.э. в Северной Бактрии функционировали два разнохозяйственных комплекса – земледельческий (могалинский) и скотоводческий (бишкентский и вахшский). Первый из них является результатом преемственного непрерывного развития предшествующих этапов культуры Сапалли. В формировании второго комплекса, принадлежащего скотоводческим племенам, помимо сапаллинской этого периода, принимали участие племена могалинского этапа [Аскаров, 1973, 1977; Аскаров, Абдуллаев, 1983].

На территории Зарафшанской долины была выделена заманбабинская культура [Гулямов, Исламов, Аскаров, 1966], которая характеризуется сочетанием черт тазабагыбско-андроновской и земледельческих культур анауского типа. Эти авторы считают, что заманбабинская культура сформировалась в результате расселения части сапаллинцев

по руслу Амударьи. О процессах, протекавших в изучаемые периоды в восточной части Средней Азии, особенно на Тянь-Шане и Алае, известно немного, так как по-прежнему очень мало палеоантропологических данных.

Таким образом, в эти периоды сохранилась этническая ситуация, близкая к неолитической, а именно: на севере обитали племена с протоевропеоидными чертами, присущими популяциям степной части Евразии, в то время как на юге – представители южной или средиземноморской ветви европеоидной расы. Несмотря на значительный ареал распространения, второй антропологический комплекс, состоящий из нескольких локальных вариантов, оставался достаточно стабильным на протяжении длительного времени. Наиболее близкие к нему аналогии фиксируются в высокоразвитых земледельческих районах Передней и Южной Азии.

Анализ географического распределения основных краниометрических признаков дает нам все основания для вывода о повсеместном распространении на территории Средней Азии европеоидного населения в эпоху энеолита и бронзы. Во всех сериях отмечаются наиболее характерные морфологические отличия, а именно: сильное выступание носовых костей и острый горизонтальный профиль лицевого скелета. Большое число палеоантропологических данных подтверждает мнение о широком распространении андроновского варианта протоевропеоидной расы на огромной территории степной полосы Евразии. Однако до настоящего времени остается невыясненной южная граница его продвижения.

Как было отмечено выше, матуризованные широколицые формы были сосредоточены в основном в областях, расположенных к северу и северо-востоку от Средней Азии, тогда как в южных областях они встречались только в виде примеси. Протоевропеоидные черты обнаруживаются в основном в малочисленных сериях, относящихся к населению кайраккумской культуры (могильник Вуадиль на юге Ферганской долины). Безусловно, на основании единичного черепа преждевременно относить морфологически это население к протоевропеоидному широколицему типу. Скорее всего, это является результатом смешения племен кайраккумской и чустской культур, проживавших в непосредственной географической близости.

Череп протоевропеоидного облика были обнаружены также в сериях из могильника Кокча 3 и

поселения Тахирбай 3 из Туркменистана. Однако последний выделяется среди представителей протоевропеоидной расы значительно большими размерами высоты лица. Таким образом, этот признак не дает нам основания относить этот череп полностью к протоевропеоидам, а скорее объединяет с серией из Раннего Тулхара, оставленной скотоводческим населением Бишкентской долины. Аналогичной комбинацией морфологических признаков обладают черепа из Караэлематасая и Патмасая [Ходжайов, 1981]. По нашему мнению, нельзя исключать тот факт, что широколицый и матуризованный элемент в виде вкраплений был представлен также и в эпоху бронзы в южных областях Средней Азии.

Подобное заключение согласуется с установленными археологами доказательствами о влиянии культур степной бронзы на население южных областей Средней Азии [Кузьмина, 1964, 1972]. В этом аспекте большой интерес вызывает новый антропологический материал эпохи поздней бронзы, полученный из могильника Дашти Казы в верхнем течении Зарафшана [Потемкина, 1987; Исхаков, Потемкина, 1989]. Все черепа из Дашти Казы длинноголовые с сильно или средне развитым рельефом. Из всей серии восточносредиземноморского облика выделяются три черепа с огромными размерами черепной коробки и лицевого скелета. Не вызывает сомнения, что они принадлежат представителям андроновского типа [Ходжайов, 2004].

Таким образом, верховья Зарафшана были заселены племенами, культура которых имела близкие аналогии как с культурой населения южных земледельческих, так и северных степных областей. Этот факт пока не противоречит имеющемуся в литературе мнению о том, что южной границей распространения андроновского типа, вероятно, являлись Южное Приаралье и северная часть Зарафшанской и Ферганской долин. Возможно, дальнейшее накопление палеоантропологических материалов позволит расширить этот ареал и включить в него более южные районы. Антропологический состав населения южных областей Средней Азии рассматривается многими исследователями как гомогенный, не содержащий определенных структурных компонентов. В то же время надо отметить, что оценка вариаций признаков в изученных популяциях, с нашей точки зрения, является суммарной. Внутри нее были выделены довольно отчетливо различающиеся морфологические комплексы [Ходжайов, 1981].

К первому, хронологически более древнему комплексу относятся серии эпохи энеолита из южного и юго-западного Туркменистана (Пархай, Карадепе и Геоксюр), долины Зарафшана (Саразм) и Центрального Ирана (Сиалк I–IV). Для него характерны такие особенности, как долихокрания, высокое и среднеширокое лицо, низкие глазницы и резко выступающий нос. Особенности второго комплекса обладают серии ранней и поздней бронзы из Алтындепе и Гонура в Южном Туркменистане, Сапаллитепа и Джаркутана в Южном Узбекистане и Маконимора, Тигровой Балки в Южном Таджикистане. Наиболее характерны для них грацильное строение черепа и сравнительно низкий его свод. Третий морфологический комплекс характерен для серии из Раннетулхарского могильника, а также единичных черепов из Тахирбая 3 и курганов Красноводского полуострова (Караэлематасая и Патмасая). Представители этого комплекса имеют очень большие горизонтальные размеры черепной коробки. Лицевая часть мезогнатная, исключительно широкая и высокая, резко профилированная. Орбиты средневысокие. Нос среднеширокий и резко выступающий.

Таким образом, среди всех среднеазиатских краниологических серий эпохи энеолита и бронзы выделяются четыре антропологических комплекса. Носители андроновского варианта отличаются от представителей остальных комплексов более высоким черепным указателем, сравнительно низким лицом, значительно сильнее выраженным наружным рельефом, большими размерами скулового диаметра. Остальные три морфологических комплекса обладают чертами средиземноморской ветви европеоидной расы. Различия между вторым и третьим комплексами менее выражены, в то время как четвертый выделяется более отчетливо.

Был проведен сравнительный анализ всех краниологических серий эпохи энеолита и бронзы, полученных с территории Средней Азии и сопредельных стран. Северные серии, принадлежащие носителям срубной культуры Поволжья, андроновской культуры Казахстана и Минусинской котловины, сгруппировались в один кластер. К этому объединению приближаются серии кайраккумской и тазабагъябской культур, что обнаруживает тесные связи населения севера Средней Азии и близлежащих регионов. Все серии из южных областей Средней Азии группируются в другой кластер и оказались очень близкими друг

к другу. Кроме того, связи населения бассейна среднего течения Амударьи (Сапаллитепа, Джаркутан) простираются также, с одной стороны, в Южный Туркменистан и далее на юго-запад в Северо-Восточный Иран, а с другой – на юго-восток в Индию и Пакистан. Компактную по связям группу образуют древнебактрийские могильники (Джаркутан, Сапаллитепа, Маконимор, Тигровая Балка).

Энеолитические серии Южного Туркменистана (Карадепе, Геоксюр, Пархай II и др.) и долины Зарафшана (Саразм) тяготеют к серии из Сиалка в Центральном Иране. Археологическими исследованиями установлено наличие тесных этнических связей между носителями ряда культур, принадлежащих как оседло-земледельческому, так и скотоводческому населению древнего Востока [Массон, 1959; Заднепровский, 1962; Мандельштам, 1968; Аскаров, 1977; Сарианиди, 1977]. Установлено, что антропологические связи населения сравниваемых регионов в большинстве случаев действительно совпадают с историческими и культурными. Исходя из этого, далее все краниологические серии были рассмотрены нами согласно их культурной принадлежности. Выделены при этом бишкентская (Ранний Тулхар), андроновская (сборная Казахстана), вахшская (Маконимор I и IV, Тигровая Балка), чустская (Чуст, Дальверзин), сапаллинская (Сапаллитепа, Джаркутан), энеолитическая Туркменистана (Пархай II, Саразм, Карадепе, Геоксюр), намазгинская (Алтындепе, Серахс), тюринго-гиссарская (Тепе Гиссар II, III), сватская (Тимаргарха, Сват), хараппская (Хараппа).

Черепы носителей культуры Сапалли обнаруживают наиболее тесные связи с краниологическими сериями тюринго-гиссарской, хараппской, чустской, вахшской культур и Намазга V–VI. Серии, принадлежащие вахшской скотоводческой культуре, имеют тесные связи с сериями чустской, тюринго-гиссарской, намазгинской, энеолитической и хараппской культур. Можно отметить, что серии, относящиеся к бишкентской культуре, не имеют аналогий и оказались удаленными от всех остальных. Довольно обособленную группу, хотя и приближающуюся к сериям, оставленным носителями археологических культур Средней Азии, Ирана и Индии, представляют серии андроновской культуры. Достаточно близки между собой и обнаруживают родство серии сапаллинской, намазгинской и хараппской культур. Также

отмечена близость серий вахшской, чустской, тюринго-гиссарской и позднеэнеолитической культур [Ходжайов, 1981].

Сравнительный анализ антропологического облика южных племен Средней Азии и населения территории, включающей Переднюю и Южную Азию, Кавказ и Индию, позволил выявить наличие морфологически близких групп в этих географических рамках [Халилов, 1980; Алексеев, Ходжайов, Халилов, 1984]. Так, к сериям, характеризующимся грацильным строением черепа и лицевого скелета, то есть чертами средиземноморского второго комплекса, наибольшую близость обнаруживают черепа из Караташа, Ал-Убеида, Иерихона, Рас-Шамри, Хасанлу и Гинчи. Серии, объединяющиеся в средиземноморский первый комплекс, тяготеют к сериям из памятников Минет-Ал-Бейда и Самтавро.

Таким образом, анализ всего среднеазиатского палеоантропологического материала свидетельствует об абсолютном доминировании в эпоху энеолита и бронзы европеоидной комбинации признаков, равно как и в неолитическое время. В эпоху поздней бронзы усиливаются начавшиеся в эпоху неолита, возможно и ранее, в мезолите, процессы продвижения и инфильтрации северных степных племен на юг, а южных земледельческих – на север. В этот период отмечается компактное расселение первых в восточной части Северной Бактрии, где сформировались вахшская и бишкентская культуры, а также на юго-западе Туркменистана (срубная культура). В свою очередь, популяции южного происхождения продвигаются в северо-восточном направлении (чустская культура). В эпоху раннего железа и сакский период на территории северных и центральных областей Средней Азии, по антропологическим данным, появляются новые этнические группы монголоидного облика. Эти племена первоначально слабо контактировали с населением оазисов, однако внесли значительный вклад в последующую этническую историю Средней Азии.

Список литературы

- Алексеев В.П., Ходжайов Т.К., Халилов Х. Население верховьев Амударьи по данным палеоантропологии. – Ташкент, 1984.
- Аскаров А.А. Сапаллитепа. – Ташкент, 1973.
- Аскаров А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы на юге Узбекистана. – Ташкент, 1977.

Аскарров А.А., Абдуллаев Б.Н. Джаркутан: (к проблеме протогородской цивилизации на юге Узбекистана). – Ташкент, 1983.

Бабаков О., Громов А.В. Краниологические материалы из могильника Пархай II в фондах Института истории при Совете Министров Туркменистана // Хлопин И.Н. Эпоха бронзы Юго-Западного Туркменистана. – СПб., 2002.

Громов А.В. Население Юго-Западного Туркменистана в эпоху поздней бронзы // Антропология сегодня. – СПб., 1995. – Вып. 1.

Громов А.В. Древнее население долины реки Сумбар (Юго-Западный Туркменистан) // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез. – СПб., 2004.

Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарров А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. – Ташкент, 1966.

Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. – М.; Л., 1962. – (МИА; вып. 118).

Исхаков А.И. Взаимодействие культуры ранних земледельцев Зеравшана с кочевниками-скотоводами // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций: тез. докл. сов.-фр. симпозиума по археологии Центр. Азии и соседних регионов. – Алма-Ата, 1987.

Исхаков А.И. Саразм: к вопросу становления раннеземледельческой культуры Зеравшанской долины (раскопки 1977–1983 гг.). – Душанбе, 1991.

Исхаков А.И., Потемкина Т.М. Могильник племен эпохи бронзы в Таджикистане // СА. – 1989. – № 1.

Кияткина Т.П. Палеоантропология западных районов Центральной Азии эпохи бронзы. – Душанбе, 1987.

Кузьмина Е.Е. О южных пределах распространения степных культур эпохи бронзы в Средней Азии // Памятники каменного и бронзового веков Евразии. – М., 1964.

Кузьмина Е.Е. Бактрийский мираж и археологическая действительность // ВДИ. – 1972. – № 1.

Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // МИА. – 1968. – Вып. 145.

Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы. – М.; Л., 1959. – (МИА; вып. 73).

Массон В.М. Энеолит южных областей Средней Азии. – М., Л., 1962. – Ч. 2: Памятники развитого энеолита юго-западной Туркмении.

Потемкина Т.М. К вопросу о миграции на юг степных племен эпохи бронзы // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций: тез. докл. сов.-фр. симпозиума по археологии Центр. Азии и соседних регионов. – Алма-Ата, 1987.

Сарианиди В.И. Памятники позднего энеолита юго-восточной Туркмении. – М., 1965.

Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. – М., 1977.

Халилов Х. Антропологический состав населения Северной Бактрии в эпоху бронзы по материалам могильника Джаркутан: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1980.

Хлопин И.Н. Энеолит Юго-Западного Туркменистана. – СПб., 1997.

Хлопин И.Н. Эпоха бронзы Юго-Западного Туркменистана. – СПб., 2002.

Ходжайов Т.К. Палеоантропология Средней Азии и этногенетические проблемы: дис. ... д-ра ист. наук. – М., 1981.

Ходжайов Т.К. Новые краниологические материалы эпохи неолита, энеолита и бронзы среднего и верхнего Зарафшана // Вестн. антропологии: альманах. – М., 2004. – Вып. 11.

Ходжайов Т.К. К палеоантропологии Юго-Западного Туркменистана эпохи энеолита (предварительные результаты) // Человек: его биологическая и социальная история: тр. Междунар. конф., посвящ. 80-летию В.П. Алексеева: (IV Алексеевские чтения). – М., 2010. – Т. 1.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОЛОГИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Начало изучения палеоантропологии эпохи бронзы Волго-Уралья, пожалуй, можно связать с одной из работ С.М. Чугунова [1904], в которой были описаны два мужских черепа срубной культуры из могильника Полянка бывшей Казанской губернии. Позднее эти находки, как и многие другие с территории Поволжья и Приуралья, были рассмотрены Г.Ф. Дебецем в серии специальных публикаций [Дебеч, 1936, 1948, 1954]. Этим автором отмечены физические особенности носителей ямной, катакомбной, абашевской, срубной и алакульской культур, показаны направления их связей, поставлены основные проблемы расогенеза. В частности, Г.Ф. Дебеч, описывая черепа ямной культуры Поволжья, обратил внимание на присущие им черты, такие как сильное надбровье, покатый лоб и некоторые другие, отметил их сходство в этом с находками верхнего палеолита типа Брюнн-Пшедмост, обозначил «ямный» краниологический комплекс как прото-европейский, кроманьонский в широком смысле этого слова. Черепа катакомбной стадии из Усть-Грязнухи Волгоградской области отличаются от ямных, в первую очередь, брахикрацией. Вероятно, по данному автору, их носители имели независимое от поволжских ямников происхождение. Люди срубной культуры, хотя и имели собственные физические характеристики, напротив, могут быть связаны генезисом с носителями ямной культуры. Параллельно Г.Ф. Дебеч отметил, что в материалах срубной культуры северо-восточной окраины ее ареала фиксируются черепа с монголоидными чертами.

С волго-уральскими палеоантропологическими коллекциями эпохи бронзы работали многие видные ученые России [Герасимов, 1955; Гера-

симова, 1958; Гинзбург, 1959; Глазкова, Чтецов, 1960; Кондукторова, 1962; Алексеев, 1967; Акимова, 1968; Фирштейн, 1967; Шевченко, 1974, 1980, 1984, 1986; Юсупов, 1989; Яблонский, Хохлов, 1994а, б]. Были рассмотрены материалы также и других культур эпохи бронзы, в частности полтавкинской и абашевской, выявлен сложный антропологический состав волго-уральских культур, внесены существенные коррективы в сложившуюся картину расогенеза, поставлены дополнительные проблемы и предложены пути их решения.

Свое внимание региону, систематическому сбору данных и формированию коллекции, подготовке и изданию серии публикаций уделял и автор этих строк. К настоящему времени в регионе накопились солидные палеоантропологические материалы, которые получили достаточно надежную культурную и хронологическую привязку. Можно изложить некоторые из последних результатов палеоантропологических исследований в связи с современными археологическими представлениями о культурогенезе в Волго-Урале.

Ранний этап эпохи бронзы связывается с ямной культурой. В составе ее носителей фиксируются разные антропологические компоненты. Вопреки ожидаемому физическому сходству между предшествовавшими по времени хвалынскими энеолитическими группами и древнеямными, этого на самом деле в массовом проявлении не происходит. В составе ямных краниологических серий, особенно женской половины, прослеживается так называемый умеренно-гиперморфный тип, который можно было бы связать с носителями энеолитической хвалынской культуры. Среди мужского населения определенно

доминируют гиперморфные формы. Причем в лесостепном Заволжье их мезокранные представители, а на юге Нижнего Поволжья отчетливо брахикранные. Первые, вероятно, происходят при распространении и непосредственном влиянии на местное население волго-донских позднеэнеолитических групп [Хохлов, 1998, 1999, 2000]. Отражение таких процессов, в какой-то мере, можно наблюдать на краниологических материалах древнейших подкурганых погребений из Бережновки. Второй компонент, гиперморфный, брахикранный, видимо, параллельно связан с потомками хвалыньских энеолитических традиций, проживавшими на юге ареала этой культуры. В частности имеются в виду материалы могильника Хлопков Бугор [Хохлов, 2006а]. Нужно сказать, что примеры метисаций между распространившимися в Волго-Уралье ямными группами, с одной стороны, и представителями лесных по происхождению культур, воловской, гаринско-борской и других, проникшими на север данной территории ранее, пока практически не прослеживаются.

В период средней бронзы в Самарском Поволжье существует полтавкинская культура, а в Южном Приуралье – тамар-уткульская/илекская культурная группа. Полтавкинское население первого этапа формируется на местной основе, не исключена при этом подпитка с более южных, степных территорий. Тамар-уткульская группа определено и статистически достоверно отличается как от предшествующих ямных групп, так и от ранних полтавкинских коллективов, представляя в основном мезоморфные, долихокранные, клиногнатные краниологические формы, близкие к южноевропеоидному типу. Учитывая отсутствие близкой по морфологическому комплексу местной основы, косвенное сходство погребальных обрядов данных илекских групп и предкавказских новотиторовских, синхронное появление несколько похожих археологических традиций в Северо-Западном Причерноморье, можно предположить иррадиальное распространение группы родственных племен из какого-либо одного центра, возможно Западного Предкавказья [Хохлов, 1999, 2003]. Это продвижение, скорее, легло в основу формирования илекской группы памятников и отчасти повлияло на физический облик полтавкинских населения, в котором также прослеживается южноевропеоидный тип.

Сложно говорить о силе последующих влияний катакомбных культурных традиций на Волго-

Уральское население. В определенной степени оно маркируется наличием единичных случаев искусственной деформации на черепах – явления явно чужеродного для этих мест [Хохлов, 2006б].

Посткатакомбная сборная краниологическая серия криволукской культурной группы демонстрирует очевидное отклонение в сторону гипердолихокранный, высоколицего, европеоидного краниологического комплекса. Этот комплекс наминает майкопско-новосвободненские черепа, хотя между ними и криволукской группой значительный хронологический хиатус. Можно только предполагать, что майкопско-новосвободненское влияние на культуры волго-донских степей проявилось в распространении собственного генофонда, оказавшего влияние, в основном опосредованно, на физический тип некоторых степных групп, в частности тамар-уткульской, отчасти полтавкинской, криволукской [Хохлов, Мимоход, 2008].

Финальный период средней бронзы знаменуется появлением в регионе памятников потаповского культурного типа, близких к синташтинской культуре Зауралья. В антропологическом отношении эти памятники представляют собой эталон контактов между представителями, видимо, разных этнически коллективов. С одной стороны, это европеоиды разных морфотипов – от мезокранных, широколицых до долихокранных, высоколицых, резко профилированных. С другой стороны, это типичные представители древнеуральского типа, причем чаще фиксируемого именно на женской части населения. На материалах могильника Буланово Оренбургской области зафиксирован один случай проявления именно монголоидности [Хохлов, 2009]. Череп такого типа происходит из погребения с турбино-сейминскими артефактами (по: [Халяпин, 2001]).

Недавно была опубликована работа, где были представлены единичные находки абашевской и вольско-лбищенской культур Волго-Уралья [Хохлов, 2010]. По данным автора сообщения, они представляют древнеуральский тип. Значительно ранее была высказана гипотеза, что продвигавшееся по лесостепной зоне к Приуралью абашевское европеоидное население, ассимилируя при этом местные группы, вероятно, утрачивало свой первоначальный физический облик, все более приобретая черты аборигенов [Хохлов, 1996]. Возможно, что черепа древнеуральского краниологического комплекса, фиксируемые на потаповско-синташтинских материалах, принадлежали

людям, связанным происхождением, в том числе с культурой абашевской или вольско-лбищенской.

В могильниках поздней бронзы покровского культурного типа с территории Самарского Поволжья погребены люди в целом с выражено долихокранным, высоким черепом, среднешироким, высоким и клиногнатым лицевым отделом, что в целом отличает их от носителей потаповско-синташтинских культурных традиций. Это говорит о собственной истории генетического развития покровского населения.

Между тем, замечена антропологическая неоднородность по материалам некоторых из таких могильников (Спиридоновка II и Рождественно I). В ряде погребений захоронены люди с некими восточными чертами – морфологический вариант, который может представлять результат метисации, протекавшей в синташтинско-потаповское время на территории Южного Урала. Другой антропологический компонент представлен черепами именно южноевропеоидного типа. Похожий комплекс был хорошо представлен в криволукской краниологической группе, нередок и в лолинской Предкавказья. Вероятно, что антропологический состав покровской группы волго-уральских лесостепей формировался в результате контактов потомков синташтинской культуры и покровской Нижнего Поволжья.

Население развитого этапа срубной культуры по-прежнему характеризуется долихокранией, средневысоким европеоидным лицом, но при этом более матуризованным по строению черепом. Морфологические различия между группами несколько нивелируются, что свидетельствует о существовании достаточно широких межгрупповых контактах групп в данном ареале срубной культуры. Вместе с тем, в локальных районах Нижнего Поволжья и лесостепного Приуралья сохраняются очаги широколищести [Шевченко, 1986]. Вероятно, некоторые их группы вели свое происхождение от древних коллективов ямной, полтавкинской или катакомбной культур, а приуральская от потаповских отрядов.

Антропологические материалы финальной бронзы пока единичны. Небольшая сборная серия представлена материалами грунтовых могильников из Шигон и Утевки и одним скелетом из подкурганного погребения Студенцы Самарской области. В целом материал полиморфный. Аналогии ему можно отчасти встретить на местном материале срубного времени. Некоторые из

черепов можно связать с сериями северного или Зауральского происхождения. По данным материалам рисуется проникновение в лесостепное Волго-Уралье инородного населения [Хохлов, 2009].

В целом можно сказать, что эпоха бронзы в регионе была насыщена историческими событиями. Это время было связано как с автохтонным развитием физического типа отдельных сообществ, так и с процессами привнесения иных генофондов, межгрупповыми контактами на разных уровнях.

Появление новых антропологических компонентов в регионе чаще связывается с началом какого-либо археологического периода эпохи бронзы: раннего, среднего, позднего, финального. Подвижническому характеру процессов способствовали открытые степные и лесостепные пространства Волго-Уралья, благоприятные для развития скотоводческих хозяйств, а также определенная динамика природных условий.

Список литературы

- Акимов М.С.** Антропология древнего населения Приуралья. – М., 1968. – 118 с.
- Алексеев В.П.** Антропология андроновской культуры // СА. – М., 1967. – Вып. 1.
- Герасимов М.М.** Восстановление лица по черепу: современный и ископаемый человек // Тр. ИЭ АН СССР. Нов. сер. – М., 1955. – Т. XXVIII. – 584 с.
- Герасимова М.М.** Черепа из погребений срубной культуры в Среднем Поволжье // КСИИМК. – М., 1958. – Вып. 71.
- Гинзбург В.В.** Этногенетические связи древнего населения сталинградского Заволжья (по антропологическим материалам Калиновского могильника) // МИА. – М., 1959. – № 60.
- Глазкова Н.М., Чтецов В.П.** Палеоантропологические материалы Нижневолжского отряда Сталинградской экспедиции // МИА. – М., 1960. – № 78.
- Дебец Г.Ф.** Материалы по палеоантропологии СССР. Нижнее Поволжье // Антропологический журнал. – 1936. – № 1.
- Дебец Г.Ф.** Палеоантропология СССР // Тр. ИЭ АН СССР. Нов. сер. – М; Л., 1948. – Т. 4. – 391 с.
- Дебец Г.Ф.** Палеоантропологические материалы из погребений срубной культуры Среднего Заволжья // МИА. – 1954. – № 42. – С. 485–499.
- Кондукторова Т.С.** Антропологические данные по древнему населению Оренбургской области // Вопросы антропологии. – М., 1962. – Вып. 11.
- Фирштейн Б.В.** Антропологическая характеристика населения Нижнего Поволжья в эпоху бронзы // Памятники эпохи бронзы юга европейской части СССР. – Киев, 1967. – С. 100–139.

Халяпин М.В. Первый бескурганный могильник синташтинской культуры в степном Приуралье // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. – Самара, 2001. – С. 417–424.

Хохлов А.А. Об абашевском антропологическом компоненте в могильниках западных районов синташтинско-потаповской культурной общности // Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция: тез. докл. – Уфа, 1996. – С. 42–44.

Хохлов А.А. Палеоантропология пограничья лесостепи и степи Волго-Уралья в эпохи неолита – бронзы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1998.

Хохлов А.А. Краниологические материалы ранней и начала средней бронзы Самарского Заволжья и Оренбуржья // Вестн. антропологии. – М., 1999. – Вып. 6. – С. 97–129.

Хохлов А.А. Палеоантропология эпохи бронзы Самарского Поволжья // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Бронзовый век. – Самара, 2000. – С. 309–332.

Хохлов А.А. О специфике антропологического типа населения Южного Приуралья в эпоху ранней и средней бронзы // Чтения, посвященные деятельности В.А. Городцова в Государственном Историческом музее. – М., 2003. – Ч. I. – С. 193–195.

Хохлов А.А. О краниологических особенностях населения ямной культуры Северо-Западного Прикаспия // Вестник антропологии. – М., 2006а. – № 14.

Хохлов А.А. Черепа с искусственной деформацией эпохи бронзы Волго-Уральского региона // Искусственная деформация головы человека в прошлом Евразии. – М., 2006б.

Хохлов А.А. Палеоантропологические материалы финала поздней бронзы лесостепного Поволжья // Проблемы истории, филологии, культуры. – Магнитогорск, 2009. – Вып. 4.

Хохлов А.А. Раритетные палеоантропологические материалы эпохи средней бронзы Самарского Поволжья и

Приуралья // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2010. – С. 248–251.

Хохлов А.А., Мимоход Р.А. Краниология населения степного Предкавказья и Поволжья в посткатакомбное время // Вестн. антропологии. – М., 2008. – № 16. – С. 44–70.

Чугунов С.М. Материалы для антропологии Казанской губернии [Казань]. 4–6. Прил. 5 к Протоколам заседаний Об-ва естествоиспытателей при Казанском ун-те, – 1904. – № 227.

Шевченко А.В. Новые материалы по палеоантропологии Нижнего Поволжья (эпоха бронзы) // Проблемы этнической антропологии и морфологии человека. – Л., 1974.

Шевченко А.В. Антропологическая характеристика населения черкаскульской культуры и вопросы его расогенеза // Современные проблемы и новые методы в антропологии. – Л., 1980. – С. 136–183.

Шевченко А.В. Палеоантропологические данные к вопросу о происхождении населения срубной культурно-исторической общности // Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. – Л., 1984. – С. 55–73.

Шевченко А.В. Антропология населения южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современного и древнего населения европейской части СССР. – Л., 1986. – С. 121–215.

Юсупов Р.М. Антропология населения срубной культуры Южного Приуралья // Материалы по эпохе бронзы и раннего железа Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. – Уфа, 1989. – С. 127–138.

Яблонский Л.Т., Хохлов А.А. Новые краниологические материалы эпохи бронзы Самарского Заволжья // Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. – Самара, 1994а.

Яблонский Л.Т., Хохлов А.А. Краниология населения ямной культуры Оренбургской области // Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Памятники древнейшей культуры на Илеке. – Екатеринбург, 1994б.

БЫЛА ЛИ ГАПЛОГРУППА R1a1 АРИЙСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ?

Знакомство. Я познакомился с профессором А.А. Клесовым по его инициативе. Он прислал мне электронное письмо, к которому приложил копию своей статьи «Читая Клейна» [Клесов, 2010б]. Статья начиналась с восхищения моей книгой по археологии и этногенезу (о происхождении ариев и греков), и я ответил благодарностью. Завязалась переписка, которая перешла в дискуссию, а неделю спустя завершилась полным разрывом. Оказалось, что мы кардинально расходимся во взглядах.

Анатолий Алексеевич Клесов – биохимик, безусловно ярко талантливый человек. Он работал в Московском университете, лет 20 тому назад эмигрировал в США, стал профессором Гарварда, трудится в фармацевтической науке над разработкой новых лекарств от рака – галектинов. Я – онкологический больной, до введения их в действие мне не дожить, но мне эта деятельность чрезвычайно интересна, а о важности ее я уж не говорю. Однако контакт между нами возник по другой линии, более близкой моему профессиональному делу – проблемам этногенеза. А для Клесова это – хобби, ставшее для него едва ли не главной темой в науке, – он создал в Америке Русскую Академию ДНК-генеалогии, пока не очень представительную, и издает специальный журнал. Клесов занялся популяционной генетикой, решает проблемы происхождения народов и языков. Но никто из специалистов по этой науке (а их немало в мире) его не признает. Вот среди дилетантов Клесов очень популярен.

Он выступает с растолкованием основ популяционной генетики (или молекулярной генеалогии) и делает это живо и увлекательно.

Генеалогия по ДНК. Взгляду ученого ныне доступно само наследственное вещество – дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), как она пред-

ставлена в половых хромосомах. Хромосом этих у каждого по две – одна от отца, другая от матери. Каждой женщине от обоих родителей достались хромосомы X (стало быть, у женщины обе хромосомы однотипны – XX). Каждому мужчине – от матери X, от отца – Y (стало быть, сочетание XY). По наследованию хромосомы Y можно проследить происхождение от отца, а по хромосоме X вообще-то происхождение исключительно по материнской линии не проследить: ведь X можно получить и от отца. Но митохондрии, крохотные образования в клетке, наследуются только по материнской линии и тоже опознаваемы.

Клесова не интересуют митохондрии и, разумеется, женские хромосомы – только мужские.

Значительная часть хромосомы состоит из генов. При зачатии плода гены перемешиваются – что-то от отца, что-то от матери. Но опознаваемой является и остальная часть хромосомы, которая больше по размеру и, как считалось раньше, не содержит генов. Сейчас известно, что некоторое количество генов есть и в ней. Иными словами, небольшая часть хромосомы Y аналогична хромосоме X и обменивается с ней генетической информацией (при зачатии гены перетасовываются), а остальная часть не участвует в этой рекомбинации и передается следующему поколению единым блоком. Эта часть хромосомы Y почти не участвует в формировании индивида, даже почти не сказывается на его облике, на расовых особенностях. Но она-то и передается от отца к сыну, а затем к внуку и дальнейшим потомкам *в неизменном виде*, копируется. По ней и можно проследить преемственность по мужской линии за многие тысячелетия.

Только вот распознать, кто предки, кто потомки не вышло бы, если бы не одна особенность. Неизменность не полная. При копировании бы-

вают сбои, так сказать, опечатки – мутации. Дальше хромосома передается уже с мутацией. Все потомки человека с мутацией сохраняют эту мутацию, и их можно опознать по ней. Следующая мутация у кого-то из них выделит еще одну ветвь генеалогии и т.д. Образуется генеалогическое древо. Каждая мутация опознаваема и получила свое обозначение в науке. Анализ ДНК у живых людей позволяет по одинаковым спискам мутаций сгруппировать происходящих от одного предка в группы, называемые гаплогруппами (от греч. «гапλος» – простой, одиночный, непарный). Наиболее распространенные мутации приняты за первичные, те несколько, что внутри этого круга, – вторичны и т.д. Гаплогруппы, выделяемые по первичным мутациям, были обозначены главными буквами латинского алфавита, вторичные – добавлением цифр, третичные – строчными буквами латинского алфавита и т.д.

Но выявляются гаплогруппы у живых людей, современных. Они все на концах веточек грандиозного генеалогического древа. Можно ли придать ему глубину? Можно. Оказалось возможным рассчитать среднюю скорость, с которой происходят мутации (в каждом фрагменте хромосомы скорость своя, но это уже детали). Счет ведется по числу поколений, а поколение это в среднем 25 лет (до рождения детей). Значит, если взять двух человек (на концах веточек генеалогического древа), имеющих общего предка, то просчитав, сколько мутаций их разделяет (и разделив на 2), получим время. Конечно, это очень приблизительно: поколение может быть и иной средней длительности – от 20 до 35 лет.

Можно уточнить: извлечь ДНК из костей древних людей, из раскопок. К сожалению, это пока очень трудно, дорого и проводится редко.

Но если все человечество, весь вид *Homo sapiens*, разделяется на огромные кровнородственные (по отцовской линии) группы, те – на менее крупные, затем на еще менее и т.д., то не решается ли происхождение народов и языков? Исходная надежда и была увязать каждую гаплогруппу с определенной расой, определенным этносом и языком. Дело было только за тем – какую с какими. Но антропологи, археологи и лингвисты не первое столетие работают над аналогичными проблемами. Они столкнулись с тем, что прямых совпадений расы с языком и культурой нет. Один народ принадлежит к разным расам, говорит на разных языках и редко, но сменяет язык. Культура

не совпадает в своих границах ни с языком, ни с расой. Какая гарантия, что совпадет гаплогруппа, очень смахивающая на расу? К тому же раса и гаплогруппа не совпадают по объему. От расы гаплогруппа отличается тем, что, не залегая в генах, не определяет не только способностей, но и облика. Раса гораздо полнее: Y-хромосома – лишь часть генома, а гаплогруппа – лишь часть изменчивости Y-хромосомы. Требуется очень тонкая и осторожная работа по увязке этих разнотипных категорий, крайне редко дающих совмещения.

Клесовская «ДНК-генеалогия» (так он предпочитает называть свою науку, чтобы отличить ее от всей остальной популяционной генетики) действительно отличается от всей остальной науки, но отличается одним. Все генетики проводят исследования хромосом, выделяют на этой основе гаплогруппы, изучают их связи, отношения, хронологию, возможные пути расселения человечества, но в большинстве понимают, что должны быть очень осторожны в увязке своих результатов с языками, народами и расами, консультируются у лингвистов, антропологов и археологов. А Клесов смело увязывает и совмещает. Он считает, что осуществил прорыв в науке, а все остальные – закосневшие в традиционных взглядах и просто из зависти и круговой поруки не хотят признавать его открытия. Что ж, бывает...

Я в этом деле – потребитель и в какой-то мере рефери. По специфике своих занятий я из тех специалистов, к которым другие генетики и могут обращаться за сотрудничеством и консультациями. У Клесова эта фраза, вероятно, вызовет возмущение: Как! Мы, представители точной науки, должны представлять свои выводы на суд какого-то гуманитария! Да у них там все неопределенно, все расплывчато, одни гипотезы! – Нет-с, лингвистика тоже пользуется логикой и математикой, просто изучаемые явления сложнее. А археолог – это как следователь, опоздавший к месту событий на тысячу лет и больше. Следов мало, они фрагментарны, но они есть, и есть строгая методика их обследования и понимания, есть разные методы естественных наук в помощь следователю – и археологу. А кроме этого есть методы исторического синтеза всех этих наук, включая генетику. Вот с ними Клесов и не хочет считаться. Без них проще.

Гаплогруппа R1a1 у славян. В чем же суть увязок Клесова. Он берет наиболее распространенную у восточных славян гаплогруппу (около

40 % всего состава восточных славян) – гаплогруппу R1a1 – и объявляет ее славянской. Все ее члены – один славянский род. Подразумевается, что с ней славяне получили свою славянскую специфику – а что именно? язык? культуру? расовые особенности? национальный характер? Неясно. А 60 % восточных славян остаются в стороне от этого рода. К тому же учитывается только происхождение по отцовской линии. От матерей – ничего. Между тем, многие выдающиеся люди получили свои способности как раз от матери. А главное: славянская общность – это общность языковая и только. Нет общеславянской культуры (хотя в далеком прошлом, вероятно, и была). Нет славянской расы (есть только ходячие клише – как должен выглядеть славянин). Сравните болгар или сербов с поляками или русскими. Нет и общеславянского политического единства. Есть только призывы к нему (столь же безрезультатные, как и призывы к общемировому единству). Существенно и то, что эта гаплогруппа распространена и у западных славян, а у южных – нет. Уже это одно отмечает ее связь со славянским языком.

Далее, у восточных славян эта гаплогруппа распространена неравномерно. Она наиболее густо представлена на юге этого ареала (Украина и южнорусские области) и заметно убывает по направлению к северу [Балановская, Балановский, 2007; Balanovsky et al., 2008]. Это и понятно. На севере еще тысячу лет тому назад славяне были свежими пришельцами, а коренными там были многие балтские и финноугорские народности – меря, мурома, весь, чудь, мешера, голядь (эта народность, то ли балтская, то ли германская, в Верхнем Поволжье у самой Москвы-реки) и т.д. Где они все? А они приняли православие и русифицированы, стали русскими, хотя у них другая гаплогруппа – N3.

Но точно такая же картина была чуть раньше и в Причерноморье. Там на протяжении не менее полутора тысячелетий жило много ираноязычных народностей – скифов, сарматов, аланов. Они не вымерли, а в значительной части после разгрома тюркскими народами (гуннами, печенегами, половцами, аварами) были оттеснены на север и запад и подверглись ассимиляции славянами. Археологи изучают следы их культуры, вошедшие в славянскую, а лингвисты отмечают языковой вклад (вплоть до слов «бог» у всех славян и «собака» – у восточных). Эти тоже уже давно славяне

и в качестве восточных славян продвигались на север.

Недавнее исследование международного коллектива генетиков* – Андерхилла и других [Underhill et al., 2009] – показывает, что одно подразделение этой гаплогруппы, а именно R1a1a7, имело центр (пик встречаемости) на территории Польши и оттуда распространялось на всю территорию славян, а затем расширялось по лесной полосе. Это можно было бы связать со славянами, если бы не даты и не тот факт, что территория южных славян не затронута. Даты, установленные разными путями, все довольно древние. По крайней мере, сохранилась привязка к общему предку (а мог быть и более древний). От нашего времени этот общий предок отстоит на 8,9 тысячелетия с возможными отклонениями в обе стороны на 2,2 тыс. лет. Начало распространения гаплогруппы R1a1a7 в Польше авторы относят по своим подсчетам ко времени, отстоящему от нас на $10,7 \pm 4,1$ тысячелетия. Самый нижний предел этого диапазона – 6,6 тысячелетия. Это середина 5-го тысячелетия до н.э. Это время, когда никаких славян еще не было вообще. По традиционным расчетам лингвистов (глотохронология), славяне выделились из общности с балтами в I тысячелетии до н.э. (по Грэю и Эткинсону – около 3400 до н.вр., т.е. около середины II тысячелетия до н.э.).

Но середина 5-го тысячелетия – это *по нижнему пределу* диапазона R1a1a7. А по всей вероятности, в датировке гаплогруппы речь должна идти о еще более высоком возрасте ($10,7 \pm 4,1$ тысячелетия, т.е. 8,7 тысячелетия до н.э. $\pm 4,1$ тысячелетия). Это гораздо более древние времена, возможно, мезолит, когда еще, скорее всего, и индоевропейцы не сформировались как особая языковая общность, не то что их дочерние группы – славяне и другие. Коль скоро многие представители данной гаплогруппы и сейчас живут в этом ареале, следовательно, какая-то ощутимая часть населения сохранилась на той же территории в течение многих тысячелетий, но славянский язык вряд ли от нее. Он же выделился из индоевропейской общности (из ее славянобалтской подгруппы) и родственен

*В этом коллективе участвуют 34 ученых из США (Стэнфорд, Солт-Лейк-Сити и Уорчестер, Массачусетс, Майами), Англии (Кембридж и Хинкстон), Эстонии (Тарту), России (Москва и Уфа), Италии, Пакистана, Индии (Калькутта), Хорватии, Словакии. Они представляют ведущие учреждения в области молекулярной биологии, генетики, медицины, статистики и т.п.

другим индоевропейским языкам – кельтским, латыни, греческому и др. Стало быть, нужно исследовать его западные связи. А арии?

Гаплогруппа R1a1 и арии. Другое скопление хромосом с разными подразделениями гаплогруппы R1a1 больше всего распространено на Днепре, характеризуя восточное славянство. Как уже сказано, доля этой группы в генофонде убывает с юга на север, уступая гаплогруппе N3, очень характерной для финноугорских народностей, что естественно.

По Клесову, между 10 и 6 тысячами лет назад «род», несущий гаплогруппу R1a1, заселил Восточную Европу, создав многие культуры – от трипольской до «страны городов» на Южном Урале. А так как это «род», давший славян, то и трипольскую культуру Клесов называет «праславянской». А из Аркаима этот род вторгся в Индию, что и было вторжением ариев. Ну, Аркаим – памятник интересный, но непомерно мифологизированный, степные (возможно, арийские) культуры имеют и более интересные памятники – Синташту, катакомбные погребения в курганах и проч.

Распространение этой другой ветви гаплогруппы R1a1 на Индийский полуостров (где она составляет 16 % всего состава) дает основание Клесову называть всю эту группу и «арийской». Таким образом славяне оказываются и ариями, и (в качестве ариев) предками всех остальных индоевропейских народов. Он с упоением описывает распространение этой гаплогруппы в высших кастах Индии, хотя она распространена и в низших кастах, у ариев и дравидов [Kivisild et al., 2003]. Он приводит фотографии некоторых индийцев, похожих на европейцев (по его мнению, на славян) и ссылается на сходство числительных санскрита «двигшата тридаша чатвари» и русского «двести тридцать четыре». Все это, чтобы доказать близкое родство индийцев и славян.

Сразу же отвергнем отобранные фотографии – подбором их можно доказать все, что угодно. Я видел в Петербурге уголовников с лицами почти неандертальцев, но это же не основание для впечатления о народе. Подобие некоторых слов? И это не доказательство. По-французски и по-мариийски «мари» означает 'муж'. Но языки неродственные: один – индоевропейский, другой – финноугорский. А русский и санскрит оба индоевропейские, понятно, что отдельные сходства есть, иногда разительные. У Н.Р. Гусевой [2002] подобран целый список таких, так ведь и она (как

и Клесов) не лингвист. Редкие совпадения есть, но это очень разные языки, люди не понимают друг друга. Системных сходств у русского больше с балтскими (литовским, например), а у хинди и санскрита – с иранским, греческим и армянским. Это признают все специалисты. А Клесов действует, как типичный дилетант, на любительском уровне.

Вот квинтэссенция концепции А.А. Клесова [2010a] в его собственном изложении: «Славяне и индусы (Клесов предпочитает именовать индийцев-ариев этим вероисповедным термином. – Л.К.) имеют одного общего предка рода R1a1, который жил 4300 лет назад, а предок самих славян, с тем же гаплотипом, жил чуть раньше, 4500 лет назад. Его потомок через 650 лет начал генеалогическую линию у индусов, с отсчетом от 3850 лет назад (это – время жизни общего предка индусов...), как раз от времен начала Аркаима. R1a1 – это и были арии, которые пришли в Индию. А когда они пришли и что их туда привело – я расскажу ниже, а до этого посмотрим, когда жили общие предки рода R1a1 по всей Европе. Затем составим общую картину, где они жили раньше всех, то есть где была их прародина, и куда и когда они с прародины передвигались. Мы уже с полным основанием можем называть их ариями, вместо безликого R1a1, и уж тем более вместо неуклюжего “индоевропейцы” или “протоиндоевропейцы”. Арии они, дорогой читатель, арии. И ничего “индо-иранского” в них не было, до того, естественно, пока не пришли в Индию и Иран. И язык они не из Индии или Ирана получили, а напротив, свой туда принесли. Арийский. Праславянский. Санскрит. Или протосанскрит, если угодно».

И еще красочнее: «Арийские языки – вот основа и европейских языков, и санскрита, и “индоевропейских” иранских языков. На Днепре, Доне и Урал-реке жили не “ираноязычные народы”. Славяне там жили, праславяне, арии, и это был их язык. Это они принесли свой язык в Индию, Иран, Афганистан».

Проверим эти красноречивые декларации. Вторжение ариев в Индию сравнительно хорошо датировано. Им принадлежала «культура серой расписной керамики», занимающая север Индии (верховья Ганга и притоки Инда). Это культура раннего железного века, она начинается с XII в. до н.э. Тут в X в. происходили события Махабхараты. События Ригведы происходили пораньше, в бронзовом веке, и только на притоках Инда –

в Пенджабе. Это еще несколько веков вглубь. Арии вторглись в Индию и Иран с колесницами с севера, то есть из понтокаспийских и южноуральских степей. Культуры, которые могли бы на это претендовать, там изучены и датируются второй половиной III – началом II тысячелетия до н.э. Это культуры андроновские, катакомбные и срубная. Их и связывают с индоиранскими, т.е. арийскими языками [Klejn, 1984; Клейн, 2010; Кузьмина, 1994]. Таким образом, вторжение ариев (возможно, несколькими волнами) падает на время около середины второго тысячелетия до н.э. (этого, впрочем, Клесов и не отрицает). Генеалогические следы этого вторжения пока не обнаружены [Sengupta et al., 2006].

Между тем, внедрение гаплогруппы R1a1 в Пакистан и Индию относится к несоизмеримо более древним временам, когда не только не было арийских языков вообще, но, видимо, не сформировались еще и индоевропейцы. Такими могут быть разные ветви группы R1a1, распространенные в Индии (в некоторых популяциях до 71 %). Есть основательные гипотезы о том, что вообще выделение R1a1 из корня R1a произошло в Индии в мезолитическую эпоху. В уже упомянутой статье большого международного коллектива Андерхилл со товарищи [Underhill et al., 2009] рассмотрели новейшие данные по хромосомам этой ветви древа R1a в Индии и Восточной Европе. Они рассчитали даты ее продвижения из Индии в Европу и Центральную Азию: в Индии ее возраст 14 тысяч лет, в Восточной Европе и на Крите 11,2 тыс., на Алтае 8,1 тыс., в Киргизии 5,6 тыс. лет [Cordaux et al., 2004]. Более того, поскольку группа R2 представлена почти исключительно в Индии, по-видимому, вообще корень «рода» R находился в позднеледниковое время в Индии. Это был один из очагов расселения населения на освобождаемую от влияния ледника территорию.

Таким образом, гораздо больше оснований считать, что в Индии эта гаплогруппа исконная и определяет собой не ариев, а доарийское, аборигенное население – тех, кого арии называли «даса» (враждебные племена). От них получили этот гаплотип вторгшиеся арии. Если уж Клесову хотелось дать своим «родичам» этническое имя, то почему бы ему не назвать эту гаплогруппу «дасовской»? Но тогда у концепции исчезнет ее главная приманка, главная цапка. И цапка эта с отчетливым звоном имени «арийский», который

ему давно придан расовой теорией. Давайте оставим это имя за теми, кому оно принадлежит – за ариями Индии и иранцами. Славянам за него не зачем цепляться, так же, как и германцам. Единственные заметные арии на нашей территории – это таджики и осетины. Также не стоит и обольщаться особой древностью славянского «рода» и языка, он не древнее других индоевропейских языков и народов, но и не моложе.

Отвергая все достижения индоевропейской лингвистики, которые препятствуют ему свободно рисовать милую его сердцу картину родословной славян, профессор Клесов повторяет судьбу некоторых крупных естествоведов и математиков, возмнивших, что строгая методика, ограничения, правила существуют только в их собственной науке, а выйдя на гуманитарное поле, можно дать себе волю. Когда я в переписке сравнил его с академиком Фоменко, он обиделся: «Ну, у вас и сравнения...». Да ведь и А.Т. Фоменко может обидеться, и неясно, чья обида основательнее.

Между тем, я уже видел пространное некритическое повторение рассуждений Клесова в археологической работе, правда, без ссылок на него [Шапошников, 2010, с. 253–256].

Некоторые выводы. Есть общие положения, по которым наши взгляды на возможности исторической интерпретации выводов популяционной генетики (или молекулярной генеалогии, если угодно) резко расходятся. Я придерживаюсь следующих принципов:

1. Гаплогруппы, как и расы, – общности биологической классификации, они не имеют принципиального совпадения с общностями культурной и языковой классификации, не говоря уж об этнической. Терминология для каждой классификации должна быть своя, путать их нельзя (во избежание сбивчивости в рассуждениях). В частности «арийский», «славянский» и т.п. – это языковая классификация. К биологии отношения не имеет. Термин «арийский» к тому же неприменим ко всем индоевропейским языкам, только к индоиранским. Всякая терминология условна, но «условно» применять термины одной классификации в другой исследователи не должны. Этот прием в быту называется «ловкостью рук». Отдельные кратковременные совпадения возможны, но поиски их очень сложны и требуют учета множества факторов.

2. Языки заимствуются целыми народами или их частями, сменяются у одного и того же насе-

ления, а расовые особенности и генотипы – нет. С другой стороны, расы смешиваются, хотя и передаются по наследству сравнительно стабильными генотипами (с учетом мутаций и т.п.), а язык передается только цельной системой (что не исключает заимствований словарного фонда, фонетических и грамматических деталей). Поэтому биологическая эволюция человеческих общностей кардинально не совпадает с эволюцией этнической, языковой и культурной. Наиболее мощные вклады культурные оказываются не по тем линиям, по которым перешел язык, а то и другое может не совпасть с биологической преемственностью. Поиски если не совпадений, то соприкосновений возможны, можно установить корреляцию основных процессов (она несомненно была), но это требует осторожности и чрезвычайно сложной методики.

3. По своей специфике ДНК-генеалогия устанавливает только общих предков для совокупностей современных людей того или иного этноса (или этносов), языка (или языков) и т.п. Когда жили эти предки, устанавливается очень приблизительно (в широких диапазонах) и не надежно. Подсчеты среднего количества мутаций за известные отрезки времени (таких всего несколько случаев) пока очень шаткие, с риском ошибиться в несколько раз – в сторону омоложения. А главное – согласно феномену «бутылочного горла», это не время, с которого ведет начало гаплогруппа (и предковая популяция), а только время, в котором зафиксирована семья, выжившая в очередной народной катастрофе, а таких было много (мор, вражеское нашествие, геноцид и т.п.). Таким образом, выводить из сравнения «начал» гаплогрупп в разных регионах историю их проникновения в эти регионы крайне рискованно. Это риск большого омолаживания.

4. По своей специфике ДНК-генеалогия не имеет способов установления мест, где жили предки той или иной выявляемой общности («рода»), и должна судить об этом по косвенным соображениям. Правда, ДНК-генеалогия может налагать ветви генеалогического древа на территории, сравнивать даты тех или иных узлов, но со времен этих виртуальных предков возможны большие передвижки населения. Поэтому, пока не проведены масштабные сборы анализов ископаемого материала, все реконструкции миграций и исходных очагов на основе ДНК-генеалогии сугубо гипотетичны.

5. По всем этим причинам ДНК-генеалогия не должна служить основой для самостоятельной реконструкции этногенеза и этнической, языковой и культурной истории, а лишь подспорьем в такой реконструкции, проводимой на основе *синтеза* биологических, археологических и лингвистических источников, а из биологических тут должны соучаствовать и традиционные антропологические данные (краниология, дерматоглифика и проч.). ДНК-генеалогия поставляет данные, которые вводятся в такой синтез, не более. Препарируя свои гаплогруппы, специалисты по ним должны оставлять свои материалы без этнического, языкового и культурного определения, если хотят оставаться объективными и серьезными исследователями. Любые попытки самостоятельно одевания гаплогрупп в этнические, языковые или культурные одежды автоматически зачислят их исследователя в категорию паранаучных чудиков, и он не должен удивляться тому, что научный мир его не принимает всерьез.

Для А.А. Клесова и его единомышленников гаплогруппа – это «род», а «род» – это стержень современного народа. Последователи Клесова (сам он не так прост) верят в то, что некогда существовали чистые популяции, происходившие от одного корня – как евреи от Адама (см. в Библии), славяне и русские – от Славена и Руса (как в Иоакимовской летописи). Но и Клесов считает что, если и были древние популяции гетерогенны по своему генофонду и происхождению, то благодаря эффекту «бутылочного горла» (то есть в катастрофах – мор, геноцид и т.п.) выжили немногие роды – они-то и определяют природу современных народов. А что эта родовая общность конкретно означает? Расу? Нет, – отвечает Клесов. Отличие способностей? Нет. Просто родство. Но если все люди от африканской Евы, то все – кровные родственники. Значит, выявляется не само родство, а степень близости: большее родство и меньшее родство. Родные братья, двоюродные, троюродные... Первородство... К чему это все? На чью потребу? Даже в семьях самыми близкими людьми далеко не всегда оказываются родные братья (история Каина и Авеля всем известна, как и Бориса и Глеба).

Вот тут-то и выявляется причина, по которой А.А. Клесов старательно заменяет название отрасли «популяционная генетика» (или «генеогеография») ярлычком «ДНК-генеалогия». Генеалогия служила в основном установлению наследствен-

ных прав и привилегий. Обычно она обслуживала индивидов и семьи аристократов. Анализ ДНК применяется и в судах. ДНК-генеалогия ориентирована Клесовым на выявление причастности целых народов к неким биологическим корням. То, что Клесов замалчивает, выбалтывают его примитивные последователи. Я уже читал на форумах предложение провести поголовное обследование ДНК в России, и тех, у кого R1a1, признать истинно русскими, остальных – вычистить к такой-то матери...

Список литературы

- Балановская Е.В., Балановский О.П.** Русский генофонд на Русской равнине. – М.: Луч, 2007.
- Гусева Н.Р.** Славяне и арии. Путь богов и слов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
- Клейн Л.** Время кентавров: степная прародина ариев и греков. – СПб.: Евразия, 2010.
- Клесов А.А.** Откуда появились славяне и «индоевропейцы»? Ответ дает ДНК-генеалогия // Технополис завтра: сайт. – 2010а. – URL: <http://kramtp.info/news/64/full/id=6426>.
- Клесов А.А.** Читая Л.С. Клейна «Древние миграции и происхождение индоевропейских народов» (Санкт-Петербург, 2007). Ч. I // Вестн. Рос. акад. ДНК-генеалогии (Канада). – 2010б. – Т. 4. – № 1. – С. 40–65.
- Кузьмина Е.Е.** Откуда пришли индоарии? – М.: Калина; ВИНТИ РАН, 1994.
- Шапошников А.К.** Индоевропейский этногенез – свидетельства мифология, лингвистика, ономастика и ДНК-генеалогия // Индоевропейская история в свете новых исследований: сб. тр. конф. памяти проф. В.А. Сафронова. – М.: МГОУ, 2010. – С. 251–262.
- Balanovsky O., Rootsi S., Pshenichnov A. et al.** Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian context // Am. J. of Human Genetics. – 2008. – Vol. 82 (1). – P. 236–250.
- Cordaux R., Aunger R., Bentley G. et al.** Independent origins of Indian caste and tribal paternal lineages / Cordaux R., Aunger R., Bentley G et al. // Current Biology. – 2004. – Vol. 14. – P. 321–235.
- Kivisild T., Rootsi S., Metspalu M. et al.** The genetic heritage of the earliest settlers persists both in Indian tribal and caste populations // Am. J. of Human Genetics. – 2003. – Vol. 72. – P. 313–332.
- Klejn L.S.** The coming of Aryans: who and whence? // Bulletin of the Deccan College Research Institute (Pune). – 1984. – Vol. 43. – P. 57–72.
- Sengupta S., Zhivotovsky L.A., King R. et al.** Polarity and temporality of high-resolution y-chromosome distributions in India identify both indigenous and exogenous expansions and reveal minor genetic influence of Central Asian pastoralists // Am. J. of Human Genetics. – 2006. – Vol. 78. – P. 202–221.
- Underhill P. A., Myres N.M., Rootsi S. et al.** – Separating the post-Glacial coancestry of European and Asian Y chromosomes within haplogroup R1a, 2009 // European J. of Human Genetics. – 2009. – № 1–6.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕЗИСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АНДРОНОВСКОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ

Введение. Андроновская культурно-историческая общность представляет собой сложный поликультурный феномен. В ее составе выделяется значительное количество археологических образований, большая часть которых включается археологами в состав алакульской или федоровской культуры [Сальников, 1948; Стоколос, 1972; Косарев, 1981; Кузьмина, 1994, 2008]. Предполагалось, что алакульская культура сформировалась на основе автохтонного населения южного Зауралья [Стоколос, 1972; Потемкина, 1985] или на более широкой территории в пределах Урало-Казахстанского региона [Зданович, 1973, 1975; Смирнов, Кузьмина, 1977]. Наиболее ранние памятники, относящиеся к ней, датируются XX в. до н.э. [Кузьмина, 1994] или даже удревняются до середины III тыс. до н.э. [Епимахов, 2010; Черных, 2008]. На территории Западной Сибири алакульское население появляется примерно во второй четверти XX – первой половине XVIII в. до н.э. [Матвеев, 1998, с. 378].

Выбор концепций происхождения федоровской культуры, предлагаемых археологами, был очень широк. Гипотеза М.Ф.Косарева предполагала, что федоровский орнаментальный комплекс восходит к культурам гребенчатой керамики лесного Зауралья [Косарев, 1981]. Е.Е. Кузьмина возводила истоки федоровской традиции гончарства к энеолитическому керамическому комплексу Центрального Казахстана [1994]. Т.М. Потемкина обсуждала возможность формирования федоровских групп на основе энеолитического населения лесостепной и южнотаежной зоны Урала и прилегающих районов Западно-Сибирской равнины [Потемкина, 1985].

Современные данные радиоуглеродного датирования свидетельствуют о том, что наиболее ранние памятники федоровской культуры обнаружены на западе ее ареала – на Южном Урале (XXII вв. до н.э.) [Епимахов, 2010], что дает основания рассматривать этот регион как центр формирования культуры. Основная масса федоровских памятников датируется в пределах XX–XVI вв. до н.э. [Зах и др., 2011; Черных, 2008; Молодин и др., 2008, 2014 (в печати); Svyatko et al., 2009]. Они рассредоточены в степных и лесостепных районах Западной Сибири от правобережья Иртыша до Енисея.

В антропологическом отношении население андроновской культурной общности представляет собой сложное образование, представители которого характеризуются высоким краниологическим полиморфизмом, специфика которого имеет весьма сложный характер [Алексеев, 1964; Алексеев, Гохман, 1984; Чикишева, 2012].

Антропологическое изучение андроновского населения начинается с работ Г.Ф. Дебеца [1932, 1948]. Он выделил морфологические характеристики андроновского населения Минусинской котловины и Казахстана, отнесенного впоследствии к федоровской культуре, в особый подтип протоевропейского расового типа, названный им «андроновским» [Дебеч, 1948], и предполагал, что территорией формирования этого типа были степи Казахстана. В дальнейшем В.П. Алексеев, исследовав фактически ту же краниологическую серию, обнаружил ее сходство с афанасьевцами Горного Алтая и предположил, что андроновский краниологический тип мог трансформироваться из морфологического комплекса, присущего афанасьевскому населению этой территории в ре-

зультате его изоляции и оттуда распространиться на широкой территории [1961]. Оба исследователя придерживались мнения о типологической гомогенности андроновских популяций этой территории, но дальнейшие исследования показали, что оно было не вполне оправданно. Исследования, проведенные В.В. Гинзбургом, показали, что андроновский краниологический тип как минимум на территории Казахстана не является единственным и даже не составляет абсолютного большинства [Гинзбург, Трофимова, 1972, с. 92]. Позднее, на основании таблиц индивидуальных измерений, опубликованных В.П. Алексеевым [1961], Т.А. Чикишевой был проведен анализ вариаций краниометрических признаков, показавший антропологическую неоднородность минусинской андроновской краниологической серии и позволивший предположить, что она включает не менее двух европеоидных антропологических компонентов – брахикранный и долихокранный [2012].

В настоящее время очень хорошо представлены палеоантропологическими материалами носители федоровской культуры с территории Верхнего Приобья, как с левобережья Оби [Алексеев, 1961; Дремов, 1997; Дремов, Козьмин, 1993; Солодовников, 2005, 2007], так и ее правобережья [Дремов, 1997; Зубова, 2008, 2013; Чикишева, Поздняков, 2003]. Эта часть андроновского населения довольно полиморфна, в ней констатированы как минимум три европеоидных антропологических типа и индивиды европеоидно-монголоидного облика, таксономическая принадлежность которого является предметом дискуссии. Основным европеоидным компонентом является андроновский вариант протоевропейского антропологического типа. Два других европеоидных краниологических типа отличаются долихокранией: это матуризованный широколицый тип, сближающийся с афанасьевским вариантом протоевропейского антропологического типа, и грацильный с нешироким лицом, тяготеющий к средиземноморской расе.

Что касается представителей алакульской культуры, то их состав изначально представлялся исследователям довольно сложным. На материалах серии из кожумбердинского могильника Тасты-Бутак-1 В.В. Гинзбург изначально выделял пять европеоидных типов – средиземноморский, северный, андроновский, долихокранный и мезокранный [Гинзбург, 1962]. Позднее этот вывод

был несколько скорректирован и в работе 1972 г. он писал уже о соответствии характеристик мужской краниологической серии из этого могильника средиземноморской расе европеоидного ствола, при наличии некоторых признаков андроновского типа [Гинзбург, Трофимова, 1972, с. 93–94]. Этот же тип был обнаружен им и на других черепах из могильников Актюбинской области. Грацильный средиземноморский тип, аналогичный наблюдаемому в Тасты-Бутак-1, был обнаружен В.П. Алексеевым в серии из могильника Хабарное [1964].

К концу XX в. в антропологической литературе сложилось довольно устойчивое представление о том, что в среде населения андроновской культурно-исторической общности доминировало два базовых антропологических типа – «андоновский» у федоровских групп, и «средиземноморский» у алакульцев, которые дополнялись антропологическими вариантами, свойственными населению территорий, занимаемых андроновскими группами, в процессе миграций из ареала изначального расселения. Однако, на настоящий момент, гипотезу о строгом соответствии «андоновского» типа ареалу федоровской культуры и «средиземноморского» ареалу алакульской можно рассматривать только в историографическом контексте. Последние исследования [Чикишева, Поздняков, 2003; Чикишева, 2012; Солодовников, 2005, 2007] показали, что андроновское население было весьма сложным по антропологическому составу, и сложность эта носила характер «механической» смеси нескольких краниологических типов. Вопрос о факторах формирования такой антропологической сложности решался в русле двух гипотез. Первая из них традиционно объясняла морфологическое разнообразие в андроновской среде высокой интенсивностью миграций и связями с сопредельными регионами, что подразумевало взаимопроникновение расовых типов и их смешение [Гинзбург, Трофимова, 1972]. Вторая гипотеза предполагала высокую вероятность смешения населения не под влиянием внешних миграций, а в контексте взаимодействия мигрантов-европеоидов с автохтонным протоморфным населением Западной Сибири [Чикишева, 2012]. Более углубленная интерпретация наблюдаемого в андроновской среде морфологического полиморфизма требует привлечения к анализу других систем антропологических признаков, среди которых равнозначна по информативности кранио-

логической (а в отдельных случаях и превосходит ее) – одонтологическая.

Задачей нашего исследования стала экспертиза одонтологических материалов, относящихся к населению андроновской культурно-исторической общности. Одونتология получила свое применение к сибирским палеоантропологическим сериям (в том числе и к андроновским) фактически только в последнее десятилетие. К настоящему времени мы обследовали по одонтологической программе большинство андроновских палеоантропологических коллекций, хранящихся в российских музеях [Зубова, 2008, 2011, 2012; Зубова, Чикишева, 2010]. Они охватывают практически весь ареал, занимаемый федоровским и алакульским населением на территории России и отчасти Казахстана. Были обследованы материалы нескольких десятков могильников, и это позволяет теперь более дифференцированно подойти к анализу состава федоровского и алакульского населения из разных регионов. Репрезентативность имеющихся данных позволила нам получить картину одонтологической дифференциации групп андроновского населения, сопоставить ее с дифференциацией краниологической и использовать полученные результаты для реконструкции ряда аспектов генезиса андроновской культурно-исторической общности.

Материал и методы. Обследование палеоодонтологического материала проводилось по широкой программе, включающей в себя признаки, частоты которых дифференцируют население Евразии как по направлению запад – восток, так и по направлению север – юг. В первом случае использовались такие маркеры, как лопатообразность верхних центральных резцов и дистальный гребень тригонида; во втором – степень грацилизации нижних моляров и частоты бугорка Карабелли на верхних первых молярах и коленчатой складки метаконида на нижних первых молярах. Группам южноевропейского происхождения в большей степени свойственны повышенные проценты 4-бугорковых вариантов нижних моляров, популяциям северной, лесной зоны – повышенные частоты бугорка Карабелли и коленчатой складки метаконида. Полный список используемых для межгруппового сопоставления одонтологических фенов включает в себя частоты баллов 2 и 3 лопатообразности на верхних центральных резцах, баллов 3 и 3+ редукции гипоконуса верхних вторых моляров, баллов 2-5 бугорка Кара-

белли на верхних первых молярах, 4-бугорковых и 6-бугорковых нижних первых моляров, 4-бугорковых нижних вторых моляров, дистального гребня тригонида и коленчатой складки метаконида на нижних первых молярах. Частоты признаков представлены в таблице 1. Статистическое сопоставление одонтологических серий проводилось методом главных компонент, при помощи программы Statistica for Windows, version 6.0.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Хакасо-Минусинской котловины (табл. 1). Географически территория Хакасо-Минусинской котловины относится к Алтае-Саянской горной стране, располагаясь между горными сооружениями Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна. Она обладает довольно расчлененным рельефом – от слабых холмистого до среднегорного. Климат здесь резко континентальный, преобладают лесостепные и лесные ландшафты.

Одонтологически андроновское население Хакасо-Минусинской котловины представлено материалами федоровской культуры из могильников у д. Соленоозерная, улусов Орак и Подкунинский, могильника Сухое озеро-1. Суммарно эта серия характеризуется умеренной частотой лопатообразности верхних резцов, средним уровнем редукции гипоконуса верхних вторых моляров и несколько более высокой, чем в других андроновских сериях, редукцией метаконуса данных зубов. Здесь повышены частоты дополнительных стилоидных бугорков на верхних молярах, сильно дифференцированы нижние премоляры; 6-бугорковые нижние первые моляры встречаются редко, грацильные их формы также довольно редки. Фены системы протостилада представлены умеренным процентом ямок вестибулярной поверхности. В серии повышена частота коленчатой складки метаконида и со средней частотой присутствует дистальный гребень тригонида.

Между одонтологическими комплексами серий, происходящих из отдельных памятников, наблюдаются определенные расхождения по частотам признаков. Так, дистальный гребень тригонида был встречен в материалах могильников у Подкунинского улуса и у д. Соленоозерная, но отсутствовал в сериях из улуса Орак и могильника Сухое озеро-1. В группе из Сухого озера-1 значительно выше, чем в других выборках, частота бугорка Карабелли на первом верхнем моляре

Таблица 1. Одонтологические характеристики населения андроновской культурно-исторической общности

Группа*	Лопато-образность I'		Бурорк Карабелли M'		Редукция гипоконуса M ²		6M ₁		4M ₁		4+3 M ₂		Дистальный гребень тригоида		Колочная складка метаконида		Источник
	p/N**	%	p/N	%	p/N	%	p/N	%	p/N	%	p/N	%	p/N	%	p/N	%	
Федоровское население Минусинской котловины (Орак, Солёноозерная, Подкуниинский Улус)	2/7	28,60	9/25	36,00	7/20	35,00	1/17	6,25	4/16	25,00	12/15	80,00	2/15	13,30	1/10	10,00	Данные А.В. Зубовой
Федоровское население Минусинской котловины (Сухое озеро-1)	0/1	0,00	9/12	75,00	5/14	35,70	1/12	8,30	1/12	8,30	4/7	57,10	0/9	0,00	4/9	44,40	[Рыкушина, 2007]
Федоровское население Новосибирского Приобья	3/5	60,00	2/8	25,00	2/8	25,00	1/12	8,33	3/12	25,00	7/7	100,00	1/9	11,10	0/7	0,00	Данные А.В. Зубовой
Федоровское население Барабинской лесостепи	3/11	27,27	2/26	7,69	5/22	22,73	0/21	0,00	9/21	42,86	19/22	86,36	1/14	7,14	1/11	9,09	Данные А.В. Зубовой
Федоровское население Кузнецкой котловины	4/15	26,67	10/35	28,57	15/27	55,56	1/29	3,45	6/29	20,69	20/24	83,33	2/26	7,69	0/17	0,00	Данные А.В. Зубовой
Алакульское население Южного Урала (Хабарное)	0/5	0,00	5/9	55,56	4/6	66,70	1/11	9,09	0/11	0,00	9/9	100,00	0/9	0,00	0/6	0,00	Данные А.В. Зубовой
Андроновское население лесостепного Алтая (грунтовый могильник Рублево VIII)	6/23	26,10	6/28	21,40	16/22	72,70	4/25	14,80	2/25	7,40	15/19	73,70	1/25	4,00	2/22	9,10	Данные А.В. Зубовой
Андроновское население лесостепного Алтая	4/17	23,53	33/48	68,75	24/46	52,17	1/63	1,59	15/63	23,81	54/56	96,43	4/36	11,10	3/29	10,34	[Тур, 2009]
Алакульское население Южного Урала	7/27	25,90	4/50	8,00	24/51	47,10	4/68	5,90	5/68	7,40	37/54	68,50	2/51	3,90	5/35	14,30	[Китов, 2011]
Алакульское население Ишимо-Иртышского междуречья (Ермак-4)	1/7	14,30	5/17	29,40	8/17	47,20	0/20	0,00	6/20	30,00	15/15	100,00	2/20	10,00	0/20	0,00	[Зубова, 2011]
Алакульское население Центрального Казахстана	1/3	33,30	2/15	13,30	9/13	69,20	0/20	0,00	8/20	40,00	20/23	87,00	0/19	0,00	0/16	0,00	[Зубова, 2011]
Алакульское население Западного Казахстана (Тасты-бута-1)	1/4	25,00	4/18	22,22	2/12	18,18	1/11	9,10	1/11	9,10	12/12	100,00	1/11	9,10	0/9	0,00	[Зубова, 2011]

*Суммарно мужчины, женщины, дети и индивиды с неопределенной половой принадлежностью.

**p – число случаев наличия признака, N – число наблюдений.

и коленчатой складки метаконида на нижнем первом моляре. По абсолютным значениям они значительно превышают все показатели, фиксируемые в других сериях, относимых к андроновской культурно-исторической общности.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Барабинской лесостепи (табл. 1). Территория Барабинской лесостепи в географическом отношении входит в состав Барабинской провинции лесостепной зоны Западной Сибири. Она расположена в центральной части Обь-Иртышского междуречья, на территории Новосибирской области. Ландшафт региона отличается плоским, слабопересеченным рельефом.

В андроновское время территорию Барабинской лесостепи заселяли племена федоровской культуры, оставившие захоронения в могильниках Преображенка-3, Сопка-2, Гришкина заимка, Абрамово-4, Вахрушево-5, Венгерово-1. Суммарно им свойственны умеренные частоты лопатообразных форм верхних резцов, очень низкие частоты стилоидных бугорков верхних моляров, низкий уровень редукции моляров верхней челюсти. Интересными особенностями серии является понижение частоты сложных форм вторых нижних премоляров и сильная грацилизация первых моляров, на которых очень высок процент 4-бугорковых форм и отсутствуют 6-бугорковые. Здесь было отмечено присутствие бугорка протостилида и умеренные частоты дистального гребня тригониды и коленчатой складки метаконида (каждый из этих признаков встречался лишь однажды).

Численность имеющихся материалов позволяет разделить суммарную серию на три группы, две из которых представляют материалы некрополей Сопка-2 и Преображенка-3, а третья объединяет малочисленные находки из других могильников Барабинской лесостепи. Так же как и у населения Хакасо-Минусинской котловины, у барабинских федоровцев наблюдаются определенные расхождения в частотах признаков между локальными популяциями. В одонтологической серии из Преображенки-3 повышена частота лопатообразности верхних резцов, практически отсутствуют стилоидные бугорки верхних моляров, что не типично для андроновских одонтологических серий, сильно снижен уровень редукции верхних моляров, встречается коленчатая складка метаконида, отсутствует дистальный гребень тригониды. Серия из Сопки-2 отличается пол-

ным отсутствием маркеров восточного одонтологического ствола. В серии, объединяющей малочисленные находки из нескольких могильников, отсутствуют 4-бугорковые первые моляры, частота которых резко повышена в Сопке-2 и Преображенке-3, и присутствует дистальный гребень тригониды.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Новосибирского Приобья (табл. 1). Новосибирское Приобье занимает северную часть Верхнеобской провинции лесостепной зоны Западной Сибири. Она располагается на волнисто-увалистой равнине Приобского плато, примыкающей к предгорьям Алтая и Салаира, и имеет умеренно теплый климат.

Одонтологические материалы андроновского времени с этой территории происходят из федоровских памятников, расположенных в зоне распространения ленточных приобских боров, – могильников Ордынское, Крохалевка-13, Катково-2. Они могут быть охарактеризованы только суммарно. Федоровское население Новосибирского Приобья характеризуется довольно своеобразным комплексом признаков, в составе которого повышенная частота лопатообразности, низкий уровень редукции верхних моляров, дистальный гребень тригониды и 6-бугорковые нижние первые моляры – практически полный набор маркеров восточной направленности – сочетаются с очень высокой степенью грацилизации нижних моляров – по сути южноевропеоидным показателем. В серии наблюдается относительно невысокая частота бугорка Карабелли, при отсутствии стилоидных бугорков дистального края. Как уже было указано, численность материала не позволяет разделить его на более мелкие серии, но нужно отметить, что все случаи присутствия шестого бугорка и дистального гребня тригониды были отмечены в материалах могильника Ордынское.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Кузнецкой котловины (табл. 1). Кузнецкая котловина является частью Салаиро-Кузнецкой области Алтае-Саянской горной страны. Эта область отличается разнообразием ландшафтов и подвергается интенсивному воздействию циклонов, приходящих с запада и северо-запада. Климат района резко континентальный. Зима здесь холодная, с устойчивыми низкими температурами. Лето относительно жаркое. В ландшафтном отношении район представляет собой холмистую степь.

Одонтологические характеристики федоровского населения Кузнецкой котловины были изучены на материалах могильников Танай-12, Чудиновка-1 и Титово-2 [Зубова, 2013]. В объединенной серии наблюдается умеренная частота лопатообразности верхних медиальных резцов, бугорка Карабелли, низкая – стилоидных бугорков мезиального и дистального края на первых молярах, относительно высокий уровень редукции верхних моляров. На первых нижних молярах высока частота грацильных форм. Варианты этих зубов, имеющие 6-бугорковую форму, редки. Ямка протостилида встречается с относительно высокой частотой, дистальный гребень тригониды – с умеренной. Коленчатая складка метаконида отсутствует.

Также как и в других географических районах, здесь фиксируется определенная типологическая гетерогенность населения. В могильнике Танай-12 наблюдается серьезное повышение маркеров восточного ствола. В Чудиновке-1 повышены частоты бугорка Карабелли и дистальных дополнительных бугорков на верхних первых молярах, что сближает характеристики серии с населением Минусинской котловины, и только в этой серии встречены 6-бугорковые нижние моляры.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Лесостепного Алтая (табл. 1). Территория лесостепного Алтая располагается в южной части лесостепной зоны Западной Сибири. На юге она граничит с Кулундинской провинцией степной зоны, на востоке – с Алтае-Саянской горной страной. Лесостепные районы Алтая относятся к южной подзоне лесостепи. Колки занимают здесь не больше 4–5 % площади, а на открытых пространствах преобладают луговые степи, в составе которых насчитывается от 40 до 60 % типично степных видов растительности.

В археологическом отношении андроновское население лесостепного Алтая демонстрирует смешение разных культурных традиций. Его одонтологические характеристики были впервые изучены С.С. Тур, которая обследовала материалы могильников Фирсово-14, Чекановский Лог-2, -10, Маринка, Березовский, Прудской, Барсучиха, Малаховский, Подтурино. В последнее время была обследована серия из грунтового могильника Рублево-8 (данные А.В. Зубовой). Объединенная серия одонтологических материалов, опубликованная С.С. Тур, характеризуется умерен-

ной частотой лопатообразности верхних резцов, высоким уровнем редукции верхних моляров, повышенными частотами бугорка Карабелли и коленчатой складки метаконида, повышенной частотой 4-бугорковых нижних первых моляров и умеренной дистального гребня тригониды. Эти данные были опубликованы суммарно, так что определить степень гетерогенности состава населения, оставившего отдельные могильники, пока невозможно. Нужно отметить, что серия из могильника Рублево-8 отличается от объединенной выборки меньшим процентом бугорка Карабелли, грацильных форм первых нижних премоляров и имеет при этом большую частоту редуцированных вариантов строения вторых верхних моляров и 6-бугорковых нижних первых моляров, так что определенные расхождения состава отдельных андроновских популяций в этом регионе также имеются.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Ишим-Иртышского междуречья (табл. 1). Ишим-Иртышское междуречье занимает часть Ишимской равнины. Здесь преобладают луговые степи с березовыми колками, черноземные почвы. Много озер, рельеф осложнен гривами. Климат континентальный с неустойчивой погодой и резкими сменами температур. Открытость ее со всех сторон обуславливает беспрепятственное проникновение холодных масс воздуха с севера и сухих – из Казахстана и Средней Азии.

С этой территории происходит только одна антропологическая серия андроновского времени – из могильника алакульской культуры Ермак-4. В одонтологическом отношении население, оставившее памятник, характеризуется низкими частотами лопатообразности медиальных резцов, отсутствием дополнительных дистальных бугорков на верхних первых молярах, высокой частотой бугорка Карабелли, умеренным уровнем редукции гипоконуса верхних вторых моляров. Шестой бугорок на первых нижних молярах отсутствует, но с высокой частотой встречается 4-бугорковая форма этих зубов, что сближает серию с населением Обь-Иртышского междуречья. Протостилид, коленчатая складка метаконида и *tam1* в серии отсутствуют, дистальный гребень тригониды имеет умеренную частоту.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Южного Урала (табл. 1). Южный Урал имеет обширную территорию, протягиваю-

щуюся от р. Уфы (в районе г. Нижнего Уфалея) до р. Урал. С запада и востока Южный Урал ограничен Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.

Рельеф Южного Урала сложный. Разновысотные хребты юго-западного и меридионального направления расчленены глубокими продольными и поперечными понижениями и долинами, к которым примыкают широкие предгорья. Для этого региона был получен представительный массив одонтологических данных, относящихся к алакульской культуре, часть которых (к сожалению, без указания конкретных могильников) была суммарно опубликована Е.П. Китовым [2011], а часть (материалы могильника Хабарное) обследована А.В. Зубовой. Также как и в среде носителей федоровских традиций, в алакульских группах наблюдается определенная одонтологическая гетерогенность населения.

Суммарная южноуральская серия алакульской культуры отличается средней частотой лопатообразности верхних резцов, умеренными частотами бугорка Карабелли, 6-бугорковых и 4-бугорковых нижних первых моляров, дистального гребня тригониды, средним уровнем редукции верхних моляров и слегка повышенной частотой коленчатой складки метакониды [Китов, 2011].

Серия из могильника Хабарное в Оренбургской области, относящегося к кожумбердинскому типу памятников, демонстрирует совершенно иной набор характеристик. Здесь ни разу не была встречена лопатообразность верхних резцов, коленчатая складка метакониды, *tam1* и дистальный гребень тригониды. Грацильные формы нижних первых моляров также отсутствуют. Одновременно в серии сильно повышена частота бугорка Карабелли, встречаются дополнительные дистальные и мезиальные бугорки на первых молярах и высок уровень редукции гипоконуса на вторых зубах данного класса.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Западного Казахстана (табл. 1). Территория Западного Казахстана прилегает к Южно-Уральскому региону с юга. На западе она ограничена восточной окраиной дельты Волги, на юго-востоке Туранской низменностью. Здесь преобладают равнинные ландшафты и низменности. Климат региона резко континентальный.

Андроновское население Западного Казахстана представлено одонтологическими материалами могильника Тасты-Бутак-1, относящегося к ко-

жумбердинскому типу памятников в рамках алакульской культуры.

Частота лопатообразности верхних резцов в серии относительно умеренная. Бугорок Карабелли и дополнительные краевые бугорки на верхних молярах встречаются со средними частотами, гипоконус вторых моляров редуцирован слабо. На нижней челюсти с очень умеренной частотой встречаются как 4-бугорковые, так и 6-бугорковые варианты строения нижних первых моляров, присутствуют *tam1* и дистальный гребень тригониды, но ни разу не встречена коленчатая складка метакониды.

Одонтологическая характеристика андроновского населения Центрального Казахстана (табл. 1). Территория центрального Казахстана представляет собой сочетание степных и полупустынных ландшафтов в пределах Тургайского плато на западе и Казахского Мелкосопочника в центре и на востоке. Климат района резко континентальный, увлажненность низкая. На севере степные ландшафты Центрального Казахстана плавно сливаются со степными ландшафтами юга Западно-Сибирской равнины.

Андроновское население Центрального Казахстана представлено одонтологическими материалами трех алакульских могильников – Нуртай, Майтан, Лисаковский.

Объединенная серия характеризуется умеренно повышенной лопатообразностью верхних медиальных резцов (не исключено, что на частоту признака повлияло малое число наблюдений, относящееся к этому классу зубов), пониженными частотами стилоидных бугорков верхних моляров, отсутствием 6-бугорковых нижних первых моляров и высокой частотой их 4-бугорковых вариантов. В серии отсутствуют фены системы протостилиды, дистальный гребень тригониды, коленчатая складка метакониды, с умеренной частотой встречен *tam1*. Разделить серию на локальные группы не позволяет численность материала. Однако, нужно отметить, что все случаи бугорка Карабелли и *tam1* наблюдались в материалах могильника Лисаковский.

Обсуждение результатов. Приведенные выше характеристики одонтологических серий, относящихся к различным культурам андроновской культурно-исторической общности, наглядно демонстрируют, что ни федоровское, ни алакульское население не было однородным. Более того, даже в одном географическом районе в пределах

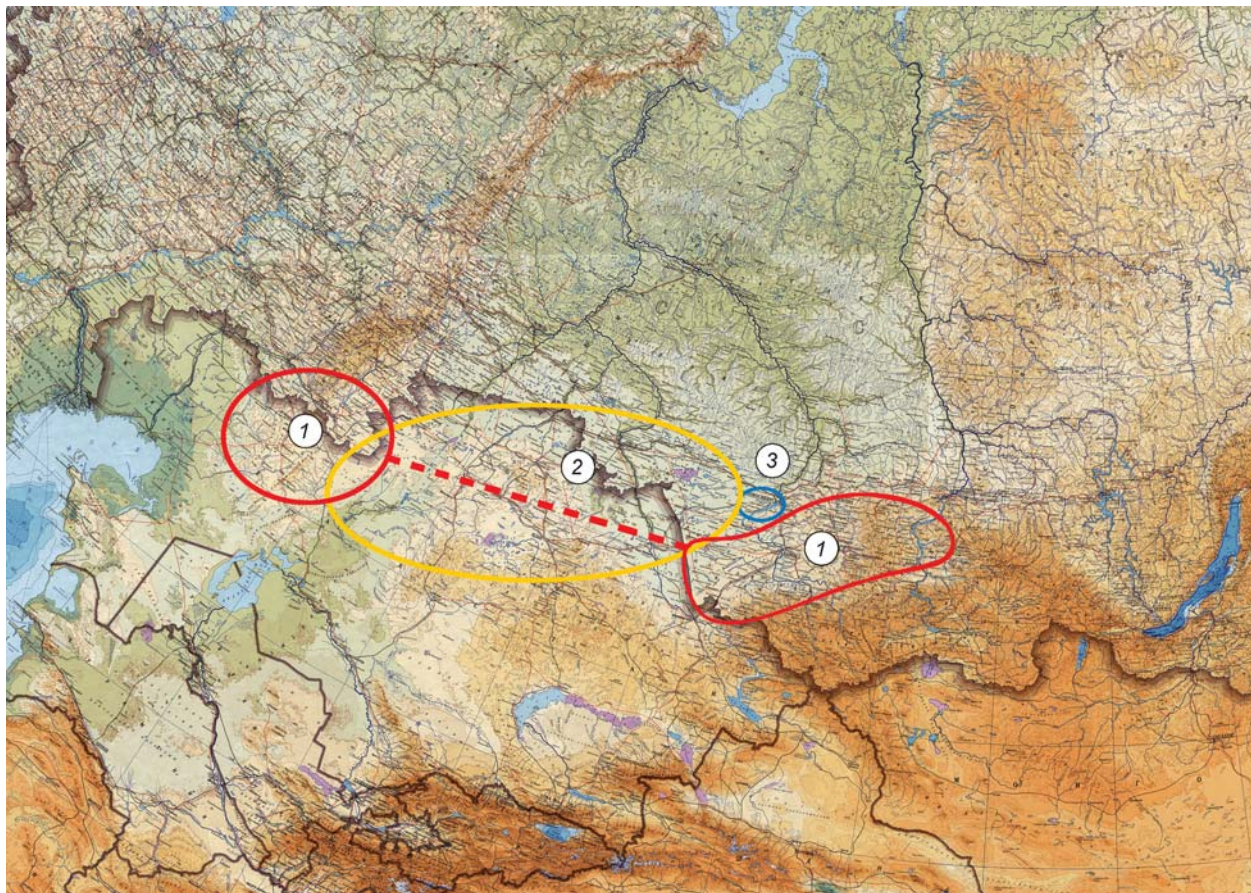


Рис. 1. Распределение доминирования различных сочетаний одонтологических признаков у представителей андроновской культурно-исторической общности.

1 – районы повышения частот фенотипов «северной» ориентации (Минусинская котловина, лесостепной Алтай, Южный Урал); 2 – районы преобладания «южного» комплекса признаков (Центральный Казахстан, Барабинская лесостепь, Ишимо-Иртышское междуречье); 3 – район наиболее интенсивного смешения андроновских мигрантов с местным населением (Новосибирское Приобье).

андроновского ареала иногда можно наблюдать контрастные одонтологические комплексы, как это происходит, например, на территории Кузнецкой котловины или Барабинской лесостепи. В одонтологических сериях из отдельных могильников федоровской и алакульской культур можно увидеть варианты всех одонтологических типов, выделяемых современной одонтологической классификацией в пределах западного одонтологического ствола, условно ассоциируемого с европеоидной большой расой.

В общей массе сочетаний одонтологических фенотипов, наблюдаемых у носителей андроновских традиций, можно выделить две наиболее важные комбинации признаков. Одна из них, это сочетание повышенных частот коленчатой складки метаконида на нижних первых молярах и бугорка Карабелли на верхних первых молярах. В современной одонтологической классификации оно

маркирует население севера Европы, от мезолита до современности [Гравере, 1987].

Второй комплекс признаков в современной классификации характерен для южноевропеоидных популяций. В его составе сочетается высокая степень грацилизации нижних моляров с умеренным повышением частот лопатообразности верхних резцов и дистального гребня тригонида [Зубов, Халдеева, 1989].

В андроновской среде эти два компонента смешаны между собой и представлены как у алакульского, так и у федоровского населения на всем их ареале. Все объединенные серии, включающие в себя материалы нескольких могильников, характеризуются грацильным строением нижних моляров и, за редким исключением, повышенными частотами бугорка Карабелли. Это, на наш взгляд, несомненно свидетельствует о формировании населения федоровской и алакульской культуры в

одном очаге и о том, что дифференциация федоровцев и алакульцев в первую очередь произошла под влиянием социальных факторов. Однако, при разбивке суммарной серии из какого-либо района, надежно представленного одонтологическим материалом, видно, что серии из разных могильников на одной и той же территории могут быть носителями разных одонтологических комплексов и сильно отличаться друг от друга. Соответственно, можно предполагать, что к моменту расселения андроновцев по территории Западной и Южной Сибири, северные и южные европеоиды в их составе сосуществовали не настолько долго, чтобы состав каждой изолированной андроновской популяции стал смешанным.

Характер распределения комплексов северного и южного происхождения между населением разных частей андроновского ареала имеет определенную закономерность (рис. 1). «Северный» комплекс наиболее ярко проявляется у населения, занимающего предгорные районы, – алакульцев Южного Урала, синкретичного населения лесостепного Алтая, федоровцев Минусинской и, частично, Кузнецкой котловины.

У населения географических районов, характеризующихся в большей степени равнинным ландшафтом, – федоровцев Барабинской лесостепи и Новосибирского Приобья, алакульцев Ишимо-Иртышского междуречья и Центрального Казахстана, частоты северных фенотипов, особенно коленчатой складки метаконида, сильно понижены, наблюдается резкое усиление грацилизации нижних моляров при понижении частот бугорка Карабелли и особенно коленчатой складки метаконида (рис. 1).

Особняком стоят кожумбердинские серии из могильников Тасты-Бутак-1 в Актюбинской области Казахстана и Хабарное в Оренбургской области РФ. В их составе есть признаки обоих компонентов, выделяемых в составе федоровских и алакульских серий, но кроме того явно присутствуют следы влияния населения средней части Восточноевропейской равнины, отличающегося нейтральным матуризованным строением зубной системы.

Автохтонное население Западной Сибири, по-видимому, оказало лишь очень небольшое влияние на состав андроновских групп. Системно оно сказалось лишь на группе из лесостепного Новосибирского Приобья (Катково-2, Крохалевка-13, Ордынское). В Кузнецкой котловине включение

автохтонного компонента в андроновскую среду прослеживается только в материалах могильника Танай-12, а в Барабинской лесостепи – в серии из Преображенки-3, но в обоих случаях это не типичное явление для каждого из рассматриваемых районов в целом.

Результаты анализа главных компонент подтверждают зависимость соотношения грацильных и матуризованных компонентов одонтологического состава андроновского населения от географической локализации обследованных серий. В центре графика, иллюстрирующего распределение федоровских и алакульских серий в пространстве первых двух факторов (рис. 2, табл. 2), выделяется совокупность, включающая в себя население Минусинской котловины (кроме серии из Сухого озера-1), лесостепного Алтая, Южного Урала и Кузнецкой котловины. В отрицательное поле первого фактора смещаются грацильные серии из Барабинской лесостепи, Ишимо-Иртышского Междуречья и Центрального Казахстана. В эту же область попадает и группа из Новосибирского Приобья.

Для того чтобы определить возможное происхождение различных компонентов в составе населения андроновской общности, было выполнено еще два варианта статистического анализа. Первый из них был направлен на то, чтобы окончательно прояснить степень возможного влияния на гетерогенность носителей андроновских традиций автохтонных популяций, территории которых занимали мигранты. С этой целью в число сравниваемых групп были включены одонтологические серии доандроновского населения из различных областей ареала андроновской культурно-исторической общности – население окуневской культуры Хакасо-Минусинской котловины, позд-

Таблица 2. Статистические нагрузки на признаки в составе первых двух факторов

Признак	Фактор 1	Фактор 2
Лопатообразность I1	-0,84	0,12
Бугорок Карабелли	0,64	-0,25
Редукция гипоконуса M2	0,22	0,32
6M1	0,56	-0,38
4M1	-0,76	0,50
4M2	-0,40	-0,84
Дистальный гребень тригонида	-0,66	-0,16
Коленчатая складка метаконида	0,59	0,58

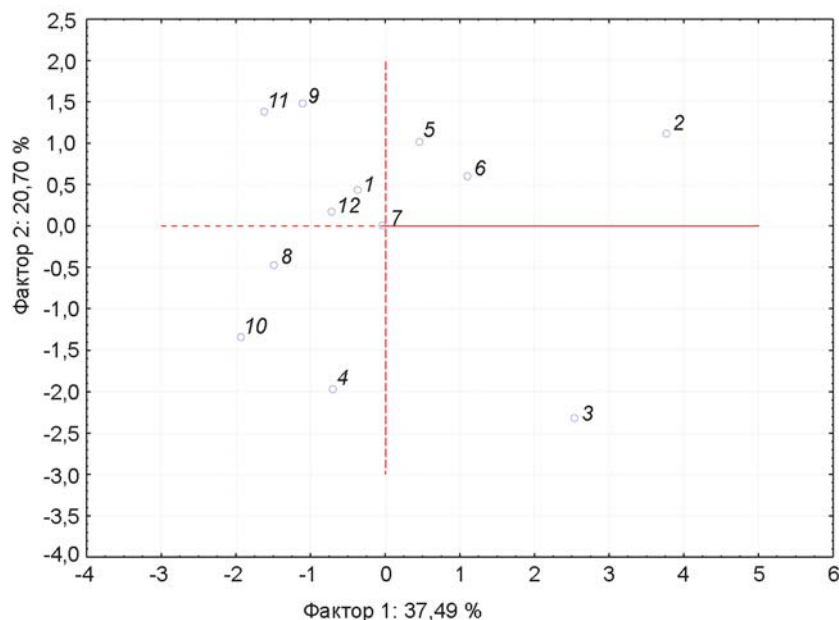


Рис. 2. Распределение одонтологических характеристик представителей андроновской культурно-исторической общности в пространстве первых двух факторов. 1 – федоровская культура Южной Сибири (Орак, Соленоозерная, Подкунинский улус); 2 – федоровская культура Южной Сибири (Сухое озеро-1); 3 – алакульская культура Южного Урала (Хабарное, кожумбердинский тип); 4 – алакульская культура Западного Казахстана (Тасты-Бутак-1); 5 – алакульская культура Южного Урала (объединенная серия); 6 – андроновское население лесостепного Алтая (грунтовый могильник Рублево-8); 7 – андроновское население Алтая (объединенная серия); 8 – алакульская культура Омского Прииртышья (Ермак-4); 9 – алакульская культура Центрального Казахстана (Нуртай, Майтан, Лисаковский); 10 – федоровская культура Новосибирского Приобья (Ордынское, Крохалева-13, Катково-2); 11 – федоровская культура Барабинской лесостепи (объединенная серия); 12 – федоровская культура Кузнецкой котловины (Танай-12, Титово-2, Чудиновка-1).

некротовской, кротовской и одиновской Обь-Иртышского междуречья, елунинской и каракольской Алтая, синташтинской Южного Урала.

На фоне этих групп (рис. 3, табл. 3) общность андроновских серий из предгорных районов стала выглядеть еще более консолидированной. В одну тесную совокупность вошли обе группы

южноуральских алакульцев, население Хакасо-Минусинской котловины (кроме серии из Сухого озера-1) и обе серии из лесостепного Алтая. Сходство грацильных групп между собой также проявилось более отчетливо.

Связи с автохтонным населением Обь-Иртышского междуречья и Хакасо-Минусинской котловины алакульцы и федоровцы не продемонстрировали. Кротовское и одиновское население Барабы, окуневцы Южной Сибири, елуинцы и каракольцы Алтая не проявляют статистического сходства ни с одной из андроновских серий. Исключение составила позднекротовская группа из Барабинской лесостепи, в составе которой уже заведомо был представлен андроновский компонент. Единственный регион, в котором андроновские группы демонстрируют близкое сходство с хронологически предшествующими популяциями, это Южный Урал. Таким образом,

разнородность состава населения андроновской культурно-исторической общности оказывается никак не связанной со смешением с автохтонными группами.

Во втором варианте анализа одонтологические характеристики андроновских выборок сравнивались не с автохтонным населением Сибири, а

Таблица 3. Статистические нагрузки на признаки в составе первых трех факторов

Признак	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3
Лопатообразность П1	0,44	-0,70	-0,37
Бугорок Карабелли	0,37	0,37	0,60
Редукция гипоконуса М2	-0,10	0,50	0,25
6М1	0,73	0,18	-0,02
4М1	-0,83	-0,13	-0,33
4М2	-0,42	-0,43	0,72
Дистальный гребень тригониды	0,69	-0,32	0,04
Коленчатая складка метаконида	0,03	0,69	-0,48

с различными группами лесостепного и степного населения Восточно-Европейской равнины. Результаты сопоставления оказались достаточно интересны (рис. 4, табл. 4). По первому фактору сравниваемые группы разделились на две части, одну из которых – в области положительных значений координат – составили серии т.н. лесного неолита Восточно-Европейской равнины и мезолитические серии из могильников Звейниек и Южный Олений остров. Максимальными координатами по данному фактору характеризуется серия из могильника федоровской культуры Сухое озеро-1. В области отрицательных координат по данному фактору сконцентрировались грацильные андроновские группы и серия катакомбной культуры Калмыкии – наиболее вероятный претендент на роль источника грацильного компонента в составе андроновского населения. Андроновцы предгорных ландшафтных зон по-прежнему устойчиво остаются в центре графика, хотя серия из могильника Рублево-8 за счет сходства с носителями синташтинской культуры Южного Урала несколько смещается в сторону неолита Восточноевропейской равнины, а группа из могильника Хабарное выпадает из общей

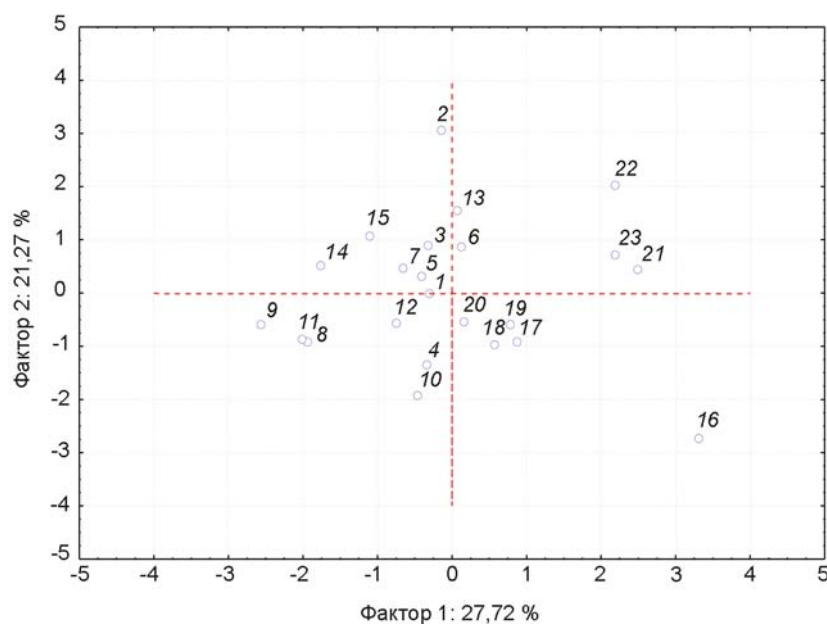


Рис. 3. Результаты сопоставления одонтологических характеристик андроновского населения с автохтонными группами Урала и Сибири.

1 – федоровская культура Южной Сибири (Орак, Соленоозерная, Подкунинский улус); 2 – федоровская культура Южной Сибири (Сухое озеро-1); 3 – алакульская культура Южного Урала (Хабарное, кожумбердинский тип); 4 – алакульская культура Западного Казахстана (Тасты-Бутак-1); 5 – алакульская культура Южного Урала (объединенная серия); 6 – андроновское население лесостепного Алтая (грунтовый могильник Рублево-8); 7 – андроновское население Алтая (объединенная серия); 8 – алакульская культура Омского Прииртышья (Ермак-4); 9 – алакульская культура Центрального Казахстана (Нуртай, Майтан, Лисаковский); 10 – федоровская культура Новосибирского Приобья (Ордынское, Крохалевка-13, Катково-2); 11 – федоровская культура Барабинской лесостепи (объединенная серия); 12 – федоровская культура Кузнецкой котловины (Танай-12, Титово-2, Чудиновка-1); 13 – синташтинская культура суммарно; 14 – петровская культура; 15 – синташтинская культура (приуральский вариант); 16 – каракольская культура; 17 – кротовская культура; 18 – оидиновская культура; 19 – окуневская культура; 20 – позднекротовская культура; 21 – елуинская культура; 22 – окуневская культура (Уйбат-5); 23 – окуневская культура (Верх-Аскиз).

совокупности, из-за статистического влияния частот редукции гипоконуса и 4-бугорковых вторых нижних моляров, не имеющих принципиального значения.

Таблица 4. Статистические нагрузки на признаки в составе первых трех факторов

Признак	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3
Лопатообразность I1	-0,33	0,48	0,45
Бугорок Карабелли	0,60	-0,28	0,00
Редукция гипоконуса M2	0,03	-0,57	0,64
6M1	0,72	-0,10	0,28
4M1	-0,56	0,59	0,40
4M2	-0,57	-0,69	0,01
Дистальный гребень тригонида	-0,29	0,03	-0,68
Коленчатая складка метаконида	0,64	0,57	-0,06

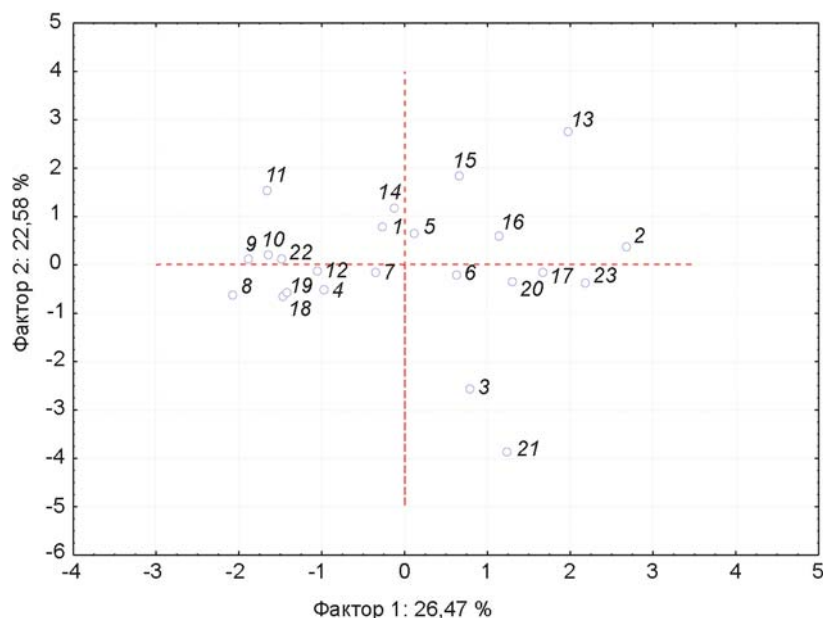


Рис. 4. Результаты сопоставления одонтологических характеристик андроновского населения с популяциями Восточно-Европейской равнины.

1 – федоровская культура Южной Сибири (Орак, Соленоозерная, Подкунинский улус); 2 – федоровская культура Южной Сибири (Сухое озеро-1); 3 – алакульская культура Южного Урала (Хабарное); 4 – алакульская культура Западного Казахстана (Тасты-Бутах-1); 5 – алакульская культура Южного Урала (объединенная серия); 6 – андроновское население лесостепного Алтая (грунтовый могильник Рублево-8); 7 – андроновское население Алтая (объединенная серия); 8 – алакульская культура Омского Прииртышья (Ермак-4); 9 – алакульская культура Центрального Казахстана (Нуртай, Майтан, Лисаковский); 10 – федоровская культура Новосибирского Приобья (Ордынское, Крохалевка-13, Катково-2); 11 – федоровская культура Барабинской лесостепи (объединенная серия); 12 – федоровская культура Кузнецкой котловины (Танай-12, Титово-2, Чудиновка-1); 13 – синташтинская культура суммарно; 14 – петровская культура; 15 – синташтинская культура (приуральский вариант); 16 – мезолит Карелии (Южный Олений остров); 17 – мезолит Прибалтики (Звейниеки); 18 – волосовская культура (Сахтыш-2а); 19 – поздневолосовская культура (Сахтыш-2а); 20 – рязанская культура (Фомино); 21 – Караванха; Модлон; Погостице; 22 – катакомбная культура Калмыкии; 23 – льяловская культура (Сахтыш-2а).

Заключение. Результаты изучения одонтологических характеристик федоровского и алакульского населения Сибири, Казахстана и Южного Урала позволяют сделать несколько выводов. Первый из них состоит в том, что в основе изучаемого населения изначально лежало два компонента. Один из них был генетически связан с более ранним населением лесостепной и лесной зоны Восточно-Европейской равнины и отличался матуризованностью зубной системы и повышенными частотами бугорка Карабелли и коленчатой складки метаконида. Второй характеризовался заметной грацилизацией нижних моляров и был связан, в первую очередь, с катакомбным населением степей Прикаспия.

Смещение носителей этих двух компонентов на территории Южного Урала началось еще до

формирования федоровских и алакульских традиций. Оба они присутствуют уже в составе носителей синташтинской культуры, особенно ее приуральского варианта [Китов, 2011]. Статистически носители синташтинских традиций еще близки по составу к представителям льяловской и рязанской культур, но постепенно удельный вес южноевропейского компонента в южноуральском регионе увеличивался, и серия петровской культуры по составу уже практически аналогична алакульскому населению этого региона и федоровцам Минусинской котловины.

Соотношение базовых одонтологических компонентов в составе населения различалось в разных частях ареала, занимаемого андроновскими группами. При этом оно не зависело от принадлежности популяции к федоровской или алакульской культуре, а было связано в основном с ландшафтно-географическим районированием. Судя по всему, путь первоначальной волны миграции с Южного Урала пролегал по предгорным зонам, характер-

истики которых в максимальной степени соответствовали ареалу формирования андроновских традиций и, соответственно, лучше всего подходили для поддержания привычных форм хозяйствования и связанных с этим социальных структур. На территории Минусинской котловины и лесостепных предгорий Алтая состав населения в принципе соответствует тому, который имело население южноуральского региона, тогда как в лесостепном Обь-Иртышье, Ишим-Иртышье и Казахстане североевропейский компонент представлен слабее. Здесь более отчетливо проявляется влияние степных групп, связанных генетически с катакомбным населением Прикаспия.

На территории Западного Казахстана и лесостепного Новосибирского Приобья можно отметить наличие специфических направлений свя-

зей, мало значимых для андроновской общности в целом, но важных для населения этих районов. В среде кожумбердинского населения Западного Казахстана можно выделить компонент, восходящий к носителям среднеевропейского одонтологического типа, слабо представленного в других районах. На территории Новосибирского Приобья имело место систематическое смещение андроновского населения с автохтонным, на основе которого, видимо, в дальнейшем формировался состав носителей ирменской культуры постандоновского периода.

Главный вывод, который следует из анализа одонтологических материалов, состоит в том, что гетерогенность андроновского населения, как федоровского, так и алакульского, практически не связана ни с внешними миграциями, ни со смешением с автохтонным населением Западной и Южной Сибири. Она обусловлена составом населения Южного Урала в период формирования там федоровских и алакульских традиций и скоростью культурных трансформаций в этом регионе. По заключению Е.П. Китова, синташтинское население, ставшее основой для формирования петровских, алакульских и федоровских групп, отличалось исключительной смешанностью, которая имела механический характер [2011]. По большому счету ее носители представляли собой конгломерат разнородных антропологических типов, еще не успевших перемешаться между собой. Федоровские и алакульские популяции, судя по всему, унаследовали эту особенность, сохранив гетерогенность состава даже после миграций в Сибирь и Казахстан.

Список литературы

- Алексеев В.П. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы // Антропологический сборник III / Тр. Ин-та этнографии АН СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – Т. 71. – С. 107–206.
- Алексеев В.П. Антропологический тип населения западных районов распространения андроновской культуры // Научн. тр. Ташкентского госуниверситета. – Ташкент: [б.и.], 1964. – С. 20–28.
- Алексеев В.П., Гохман И.И. Антропология Азиатской части СССР. – М.: Наука, 1984. – 208 с.
- Гинзбург В.В. Материалы к антропологии населения Западного Казахстана в эпоху бронзы // МИА. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – № 120. – С. 186–198.
- Гинзбург В.В., Трофимова Т.А. Палеоантропология Средней Азии. – М.: Наука, 1972. – 371 с.
- Гравере Р.У. Этническая одонтология латышей. – Рига: Зинатне, 1987. – 240 с.

Дебец Г.Ф. Расовые типы населения Минусинского края в эпоху родового строя // Антропологический журнал. – М.: Гос. изд-во, 1932. – № 2. – С. 26–48.

Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – 391 с. – (Тр. Ин-та этнографии АН СССР; т. 4).

Дремов В.А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы (Антропологический очерк). – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1997. – 260 с.

Дремов В.А., Козьмин В.А. Антропологический материал из Кытмановского могильника андроновской культуры (Алтайский край) // Культура народов Евразийских степей в древности. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1993. – С. 42–66.

Епимахов А.В. Бронзовый век Южного Урала (экономические и социальные аспекты): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Екатеринбург, 2010. – 55 с.

Зах В.А., Зимина О.Ю., Рябогина Н.Е. Радиоуглеродные даты археологических и природных комплексов Тоболо-Ишимья (по материалам Тоболо-Ишимской экспедиции ИПОС СО РАН) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2011. – № 1 (14). – С. 219–233.

Зданович Г.Б. Керамика эпохи бронзы Северо-Казахстанской области // Вопр. археологии Урала. – 1973. – Вып. 12. – С. 22–43.

Зданович Г.Б. Периодизация и хронология памятников эпохи бронзы Петропавловского Приишимья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М.: Наука, 1975. – 27 с.

Зубов А.А., Халдеева Н.И. Одонтология в современной антропологии. – М., 1989. – 229 с.

Зубова А.В. Антропологический состав населения Западной Сибири в эпоху развитой и поздней бронзы. – Новосибирск, 2008. – 32 с.

Зубова А.В. Одонтологические данные по проблеме происхождения носителей алакульской культуры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 3 (47). – С. 143–153.

Зубова А.В. Происхождение андроновской (федоровской) культуры Западной Сибири по одонтологическим данным // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2012. – № 2 (17). – С. 70–78.

Зубова А.В. Антропологические материалы андроновского времени из могильника Танай-12 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – С. 546–550.

Зубова А.В., Чикишева Т.А. Население андроновской культурно-исторической общности по одонтологическим данным // Культура как система в историческом контексте: опыт западносибирских археолого-этнографических совещаний: мат-лы XV Междунар. Зап.-Сиб. археол.-этногр. конф. – Томск: Аграф-Пресс, 2010. – С. 413–416.

Китов Е.П. Палеоантропология населения Южного Урала эпохи бронзы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2011. – 26 с.

Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М.: Наука, 1981. – 278 с.

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М.: Российский ин-т культурологии РАН и МК РФ, 1994. – 464 с.

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М.; С.-П.: Летний Сад, 2008. – 557 с.

Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск, 1998. – 416 с.

Молодин В.И., Парцингер Г., Марченко Ж.В., Писонка Х., Орлова Л.А., Кузьмин Я.В., Гришин А.Е. Первые радиоуглеродные даты погребений эпохи бронзы могильника Тартас (попытка осмысления) // Тр. II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. – Т. I. – М.: Изд-во ИА РАН, 2008. – С. 325–328.

Потёмкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Приобья. – М.: Наука, 1985. – 376 с.

Рыкушина Г.В. Палеоантропология карасукской культуры. – М.: Старый сад, 2007. – 198 с.

Сальников К.В. К вопросу о стадиях в памятниках андроновской культуры // Первое уральское археологическое совещание. – Молотов: [б.и.], 1948. – С. 21–26.

Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. – М.: Наука, 1977. – 82 с.

Солодовников К.Н. Антропологические материалы из могильника Фирсово-XIV к проблеме формирования населения Верхнего Приобья в эпоху бронзы // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: Изд-во: ИПОС СО РАН, 2005. – №6. – С. 127–147.

Солодовников К.Н. Палеоантропологические материалы эпохи средней бронзы верховий р. Алей // Демин М.А.,

Ситников С.М. Материалы Гилёвской археологической экспедиции. Ч. 1. Приложение. – Барнаул: БГПУ, 2007. – С. 129–149.

Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья: (хронология и периодизация). – М.: Наука, 1972. – 168 с.

Тур С.С. Одонтологическая характеристика населения андроновской культуры Алтая // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2009. – № 4/2 (64). – С. 228–235.

Черных Е.Н. Формирование Евразийского «степного пояса» скотоводческих культур: взгляд сквозь призму археометаллургии и радиоуглеродной хронологии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 3 (35). – С. 36 – 53.

Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

Чикишева Т.А., Поздняков Д.В. Население Западно-Сибирского ареала андроновской культурной общности по антропологическим данным // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3 (15). – С. 132 – 148.

Svyatko S.V., Mallory J.P., Murphy E.M., Polyakov A.V., Reimer P.J., Schulting R.J. New radiocarbon dates and a review of the chronology of prehistoric populations from Minusinsk Basin, Southern Siberia, Russia // Radiocarbon. – 2009. – Vol. 51. – № 1. – P. 243–273.

А.В. Зубова, М.С. Ермолаева, Д.В. Поздняков, Т.А. Чикишева

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКЕЛЕТА ИЗ КУРГАНА САРГАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЯШКИНО-1

В 2013 г., в ходе совместной Российско-Германской археологической экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН и Евразийского отделения Германского археологического института в Венгеровском районе Новосибирской области на памятнике Яшкино-1 был исследован курган № 5, относящийся к саргатской культуре. Под курганный насыпью находилось единичное захоронение, которое было нарушено еще в древности [Кобелева, Наглер, Дураков и др., 2013].

Морфологические характеристики строения черепа и тазовых костей позволяют заключить, что в данном погребении был захоронен мужчина. Судя по степени облитерации швов черепа, степени стертости зубов, а также состоянию ряда суставных поверхностей, его возраст можно определить как 40–45 лет.

Зубная система погребенного в кургане № 5 могильника Яшкино-1 отличается исключительно плохим состоянием. На верхней челюсти при жизни им были утрачены верхний левый первый и оба третьих моляра, на нижней – вторые премоляры и все моляры (рис. 1а, 2а, 4а). На всех сохранившихся зубах отмечены отложения зубного камня, их корни примерно на одну треть своей длины выступают из альвеол (рис. 2а), что свидетельствует о системном нарушении питания тканей пародонта, вызванного, вероятно, недостаточной гигиеной полости рта. В альвеолах первых верхних моляров наблюдаются следы воспалительных процессов не кариозной этиологии, которые привели к прободению стенок гайморовых пазух (рис. 3а) и развитию сначала одонтогенного гайморита, а затем и синусита, о котором свидетельствуют патологические изменения стенок фронтальных пазух лобной кости. Развитие этого процесса,

видимо, имело длительный характер. Он начался с левой стороны, где в результате воспалительного процесса в тканях пародонта был утрачен первый верхний моляр. Жевательная поверхность второго моляра, находящегося рядом с ним, покрыта отложениями зубного камня, который в норме удаляется в процессе пережевывания пищи (см. рис. 1а, 2в). Болевые ощущения в первом зубе, видимо, не позволяли индивиду использовать эту сторону челюсти на протяжении нескольких месяцев – срока, достаточного для формирования максимальной минерализации зубных отложений.

На втором левом верхнем премоляре и всех сохранившихся молярах отмечены прижизненные сколы больших участков эмали (рис. 1б), формирование которых может быть связано как с индивидуальными пищевыми привычками погребенного, так и с необходимостью использования зубов в процессе хозяйственной деятельности.

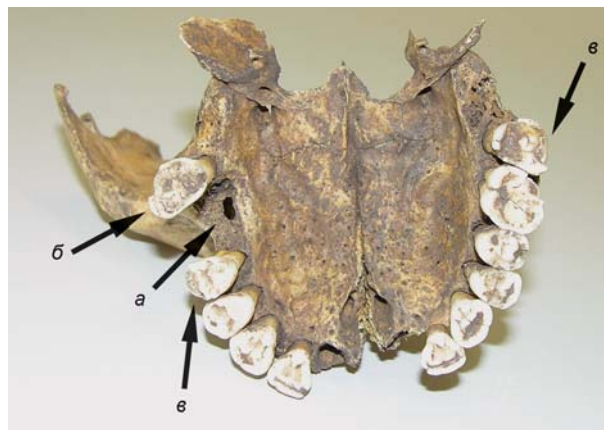


Рис. 1. Верхняя челюсть.

а – прижизненная утрата первого моляра; б – отложение зубного камня на поверхности второго моляра; в – прижизненные сколы эмали.



Рис. 2. Верхняя челюсть.

a – прижизненная утрата первого моляра; *б* – отложение зубного камня на поверхности второго моляра; *в* – обнажение корней зубов.



Рис. 3. Верхняя челюсть.

Прободение стенки гайморовой пазухи.

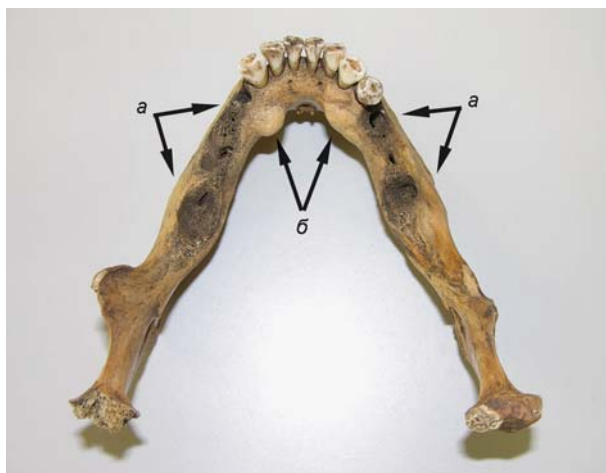


Рис. 4. Верхняя челюсть.

a – прижизненная утрата зубов; *б* – ореховидные вздутия.

Нужно отметить присутствие на нижней челюсти крупных ореховидных вздутий, в области первых премоляров (рис. 4б). Как правило, их появление связывают с компенсаторной реакцией кости на повышенные нагрузки на корни зубов, однако жевательная поверхность премоляров в данном случае не демонстрирует изменений, которые могли бы быть вызваны дополнительными нагрузками, отличающимися от возникающих в процессе пережевывания пищи. Их антагонисты на верхней челюсти также не демонстрируют следов повышенного износа.

Практически на всех костях скелета отмечены костные разрастания в местах крепления мышц и связок.

Так, на лобной, обеих теменных и височных костях черепа отмечены разрастания костной ткани в месте крепления височной мышцы (*m. temporalis*). В месте крепления височной мышцы на переднем венечном отростке нижней челюсти также имеется разрастание костной ткани. Подобным же образом выделяются места крепления жевательной мышцы (*m. masseter*). На затылочной кости четко выделяются места крепления трапецевидной мышцы (*m. trapezius*), малая прямая мышца головы (*m. rectus capitis post. minor*). На височных костях, в области сосцевидного отростка – грудно-ключично-сосцевая (*m. sternocleidomastoideus*) и ременная мышца головы (*m. splenius capitis*).

Весь пояс верхних конечностей также несет на себе следы оксификации соединительной и мышечной ткани (рис. 5).

На обеих ключицах (рис. 6) отчетливо заметны места крепления дельтовидной (*m. deltoideus*), большой грудной (*m. pectoralis major*), трапецевидной мышц (*m. trapezius*), а также реберно-ключичной связки (*lig. costoclavicular*). Паталогические изменения отмечаются в плечевом и акромиально-ключичном суставах. Они проявляются в виде разрушения суставных площадок и появления вокруг них костных разрастаний.

Анатомическая шейка плечевой кости имеет костные разрастания по всей окружности. Гребни малого и большого бугорков плечевой кости содержат наросты с общей направленностью в медиальную сторону. Малый бугорок правой плечевой кости содержит углубление диаметром около сантиметра, которое, вероятно, является следствием травмы и хронического воспалительного процесса подлопаточной мышцы (*m. subscapulares*) (рис. 7).

На обеих локтевых костях ярко выраженная бугристость локтевой кости. Лучевые кости содержат бугристости на теле кости в области прикрепления круглого пронатора (*m. pronator teres*) (рис. 8). Значительные изменения суставных поверхностей зафиксированы на полулунной вырезке правой локтевой кости (рис. 9) и запястной поверхности обеих лучевых костей.

Кости кистей рук сохранились лишь частично, однако и на них можно отметить наличие новообразованной костной ткани в местах крепления мышц и сухожилий.

Исследование позвоночного столба показало сращение второго и третьего позвонков и начало процесса их сращения четвертым позвонком (рис. 10) шейного отдела позвоночника. На всех суставных поверхностях имеются остеофиты (рис. 11), в грудном и поясничном отделах на телах позвонков есть следы протрузии. На передней поверхности тел некоторых позвонков отмечаются следы оссификации передней продольной связки (*lig. longitudo anterius*).

На крестце и костях таза большинство мест прикрепления мышц и связок явно выделены. Особенно ярко они выражены в области расположения крестцово-подвздошной связки (*lig. sacroiliaca anteriora*). На подвздошных костях, в районе наружной губы подвздошного гребешка, передней верхней ости, нижней ягодичной линии, а также внешнего края седалищной кости также хорошо различимы следы крепления мышц (рис. 12).

На длинных трубчатых костях нижних конечностей имеются наросты по основным местам прикрепления мышц. Бедренные кости имеют ярко выраженные костные наросты по медиальной губе шероховатой и гребенчатой линий, ягодичной бугристости, большому вертелу и межвертельной линии (рис. 12, 13). Большеберцовые кости отличны наличием бугристости в месте прикрепления мышц-аддукторов бедра, бугристости по линии камбаловидной мышцы (*m. soleus*) и длинного сгибателя пальцев (*m. flexor digitorum longus*). На левой малоберцовой кости выражена бугристость в месте прикрепления камбаловидной мышцы (*m. soleus*). Также заметны разрастания костной ткани в районах крепления суставной сумки (рис. 12, 14) и на передней поверхности надколенника, в месте крепления собственной связки надколенной чашечки (*lig. patellae*).

Кости стопы сохранились не полностью, поэтому мы можем отметить лишь разрастание

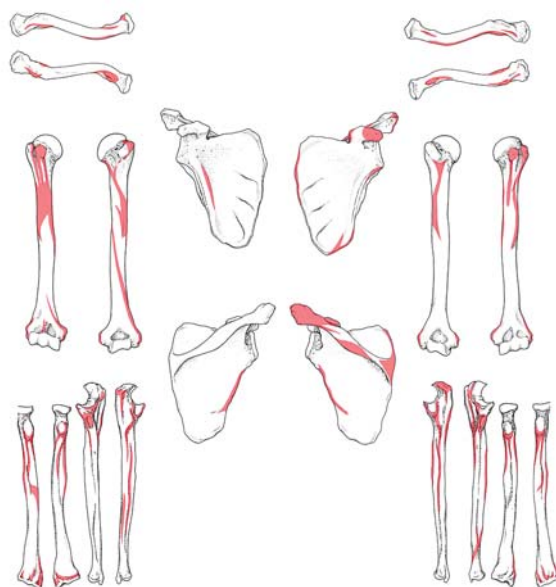


Рис. 5. Схема расположения участков со следами оссификации соединительной и мышечной ткани на поясе верхних конечностей.



Рис. 6. Ключица. Стрелками отмечены участки новообразованной костной ткани.



Рис. 7. Плечевая кость. Стрелками отмечены участки новообразованной костной ткани.



Рис. 8. Правая локтевая и лучевая кости. Стрелками отмечены участки новообразованной костной ткани.



Рис. 9. Правая локтевая кость.
Стрелкой отмечено повреждение суставной поверхности в полулунной вырезке.



Рис. 10. Второй – шестой шейные позвонки. Стрелками отмечены участки сращения второго, третьего и четвертого позвонков.

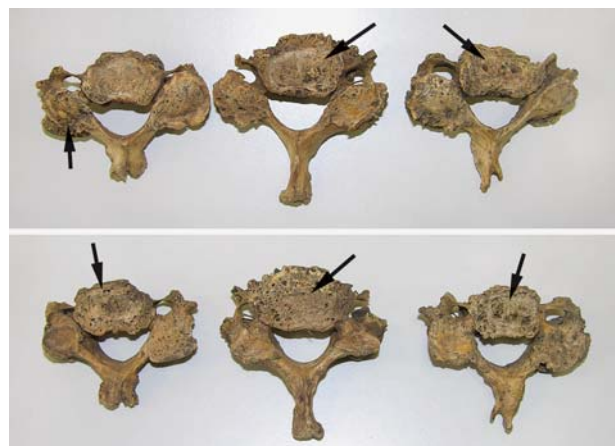


Рис. 11. Четвертый – шестой шейные позвонки. Стрелками отмечены остеофиты и следы разрушения суставных поверхностей.

костного края на обеих пяточных костях в районе пяточного (ахиллова) сухожилия (*tendo calcaneus*) и короткого сгибателя пальцев (*m. flexor digitorum brevis*) (рис. 15).

Кроме того, необходимо отметить укорочение шейки левой бедренной кости, причиной которого, возможно, стала травма и смещение головки

бедренной кости. Вероятно, с этой же травмой, а также последовавшими за ней компенсаторными явлениями, связаны значительные изменения в тазобедренном и коленном суставах, приведшие к разрушению хрящевых тканей. Особенно сильно они заметны на латеральных мышечках бедренной и большой берцовой костях, что выразилось

в полном разрушении хрящевых тканей и истирании костных поверхностей сустава (рис. 16).

Локализация участков со следами оссификации соединительной и мышечной ткани на скелете мужчины из кургана 5 могильника Яшкино-1 позволяет предполагать системное заболевание. Наличие новообразованной костной ткани в местах крепления мышц, сухожилий и суставных сумок практически на всех костях скелета не позволяет рассматривать данные патологические изменения как следствие специфических нагрузок и рода деятельности. На наш взгляд, данная симптоматика наиболее близка к проявлениям диффузного идиопатического гиперостоза скелета (ДИГС) (болезнь Форестье). ДИГС характеризуется генерализованной оссификацией сухожилий, связок, апоневрозов и суставных капсул в местах их крепления к скелету [Бунчук, 2014; Клейменова, 1991]. Основные проявления этой болезни долгое время фиксировали лишь на позвоночнике в виде окостенения передней продольной связки. Однако после начала системного изучения ДИГС со второй половины XX века было установлено, что подобные проявления наблюдаются и в периферическом скелете [Клейменова, 1991]. «У трети больных поражение периферических отделов скелета предшествует рентгенологически выявленным изменениям позвоночника» [Ивашкин, Султанов, 2005, с. 498]. Характерными особенностями данного заболевания являются оссификация в области крепления ахиллова сухожилия, локтевые эпикондилиты, появление пяточных «шпор». В дальнейшем процесс окостенения затрагивает сухожилия надколенника, четырехглавой мышцы бедра, связок, крепящихся к гребням подвздошной кости, бугристостям седалищной кости, вертлужной впадины и т.д. [Ивашкин, Султанов, 2005]. Типичные признаки, фиксируемые на рентгенограммах, начинают четко проявляться к 40–45 годам, однако симптомы изменений могут возникать на 10–15 лет раньше.

Причина возникновения ДИГС до сих пор точно не ясна. У пациентов отмечается нарушение метаболизма витамина А, а также чаще встречается ожирение. При этом никакой зависимости появления ДИГС у лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, не отмечается. В настоящее время считается, что ДИГС является своеобразным вариантом старения опорно-двигательного аппарата [Клейменова, 1991].

Однако, диффузный идиопатический гиперостоз скелета не приводит к таким изменениям в

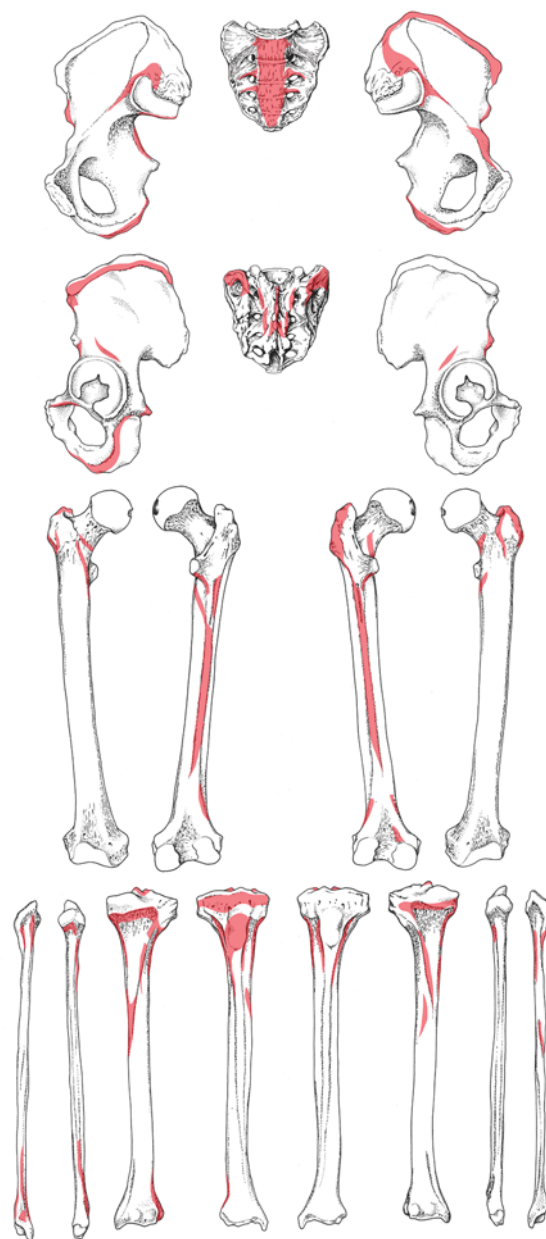


Рис. 12. Схема расположения участков со следами оссификации соединительной и мышечной ткани на поясе нижних конечностей.

суставном аппарате, который отмечается у данного субъекта. Деструкция суставных поверхностей в данном случае локализуется только в левом плечевом, правом локтевом, обоих запястьях, левом тазобедренном (?) и коленном суставах. Вполне вероятно, что данные изменения вызваны одной или рядом травм. Причем повреждения в левом тазобедренном (?) и коленном суставах были наиболее серьезными и привели к изменению самого положения бедра и как следствие – к перераспре-

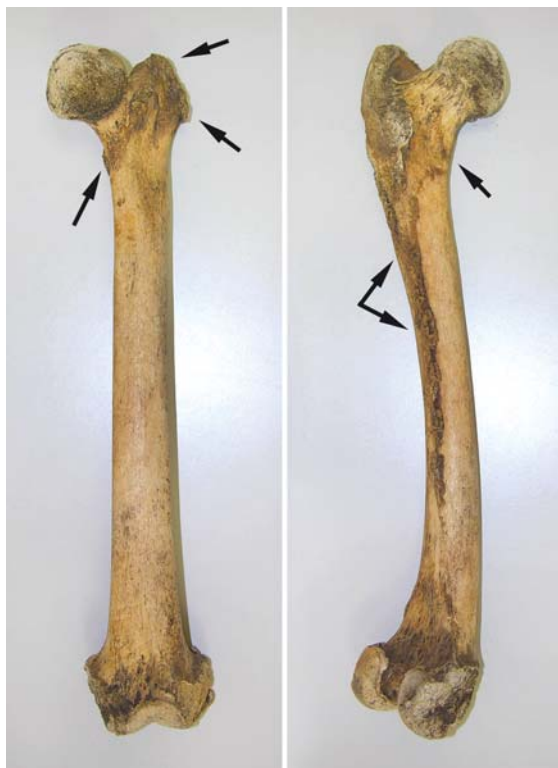


Рис. 13. Левая бедренная кость. Стрелками отмечены участки новообразованной костной ткани.



Рис. 14. Правая большая берцовая кость. Стрелками отмечены участки новообразованной костной ткани.



Рис. 15. Пяточная кость. Стрелками отмечены участки новообразованной костной ткани.



Рис. 16. Суставные площадки левых бедренной и большой берцовой костей. Стрелками отмечены участки истирания костной ткани на суставной площадке.

делению нагрузки с обеих (медиального и латерального) мыщелков бедренной кости и к увеличению нагрузки только на латеральный мыщелок.

Болезнь Форестье могла способствовать начавшемуся в шейном отделе анкилозу, однако ее симптомы не проявлялись так остро, как последствия артроза коленного сустава.

Список литературы

Бунчук Н.В. Ревматические заболевания пожилых (Избранное). – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 272 с.

Ивашкин В.Т., Султанов В.К. Болезни суставов, дифференциальный диагноз, лечение. – М.: Литтерра, 2005. – 544 с.

Клейменова Е.И. Клинико-рентгенологическая и лабораторная характеристика диффузного идиопатического гиперостоза скелета (болезнь Форестье): автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 1991. – 23 с.

Кобелева Л.С., Наглер А., Дураков И.А., Демахина М.С., Хансен С., Молодин В.И. Саргатский могильник Яшкино-1 (продолжение исследований) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы III Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 216–220.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ



ТИПЫ ЖИЛИЩ И ОСОБЕННОСТИ ДОМОСТРОЕНИЯ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Введение

Люди древнекаменного века очень рано начали создавать для своих нужд искусственные жилища. Природные убежища – пещеры и гроты – только до некоторых пор могли служить лишь временным пристанищем. Косвенные источники – наскальные рисунки – свидетельствуют, что в верхнем палеолите уже существовали каркасно-столбовые жилые постройки из бревен с двускатной крышей [Столяр, 1985, с. 192, рис. 140–142; с. 205].

В течение долгих лет шел естественный отбор самого оптимального вида жилищ. Наиболее практичными оказались землянки и полу-землянки с деревянными конструкциями и стенами [Ефименко, 1953, с. 387–392]. С изобретением универсальных орудий обработки дерева – топора и тесла – появилась возможность изменять форму и размеры материала, прочно скреплять отдельные части с помощью различных технологических изобретений: угловое сопряжение, шиповое и пазовое соединение и создавать архитектуру по предварительному плану и замыслу, в соответствии с запросами, потребностями и возможностями. Появление новых конструкций жилищ, применение новых орудий труда и организации трудового процесса способствовали специализации строительного производства [Семёнов, Коробкова, 1983, с. 77–79], которое со временем постепенно в зависимости от уровня развития производительных сил данного общественного объединения, совершенствования деревообрабатывающего инструментария и традиций обработки дерева и начало «превращаться в особое ремесло со своими специфическими

навыками, приемами и канонами» [Массон, 1971, с. 144].

Современные ученые сходятся во мнении, что при изучении памятников археологии – жилищ и поселений – необходимо применять комплексный подход, включающий в себя помимо общепринятых статистический и архитектурный методы исследования [Черных, 2008, с. 92–99; Берлина, 2010, с. 3–14].

Генезис, динамика архитектуры и конструктивных особенностей жилища от простого к сложному происходил довольно быстро с развитием общественно-экономических отношений и обуславливался хозяйственным укладом, традициями общества, экологическими и многими другими причинами [Молодин, 1985, с. 173; Чижикова, 1987; Шнирельман, 1989; Деревянко Е.И., 1991, с. 3–15]. Планиграфические исследования источников, технико-технологический анализ многочисленных реконструкций показывают, что в эпоху неолита жилища и хозяйственно-бытовые постройки из дерева повсеместно были простой каркасной (временные) или каркасно-столбовой (постоянные) конструкции, без окон и волоковых отверстий в стенах, с дымоходами в верхней части крыши. Рубленые (классические срубные) дома с волоковыми окнами в стенах начали строить лишь в конце неолита с появлением техники углового и пазово-шипового соединения концов бревен, которая в эпоху палеометалла получила широкое распространение [Кларк, 1953, с. 143–161; Кузьмина, 1986, с. 27, 51, 79, 99; Малинов, Малина, 1988, с. 94–98]. Жилища получались более прочными и теплыми. Появление новых конструкций жилищ, применение новых орудий труда и организации трудового процесса способство-

вали специализации строительного производства [Семёнов, Коробкова, 1983, с. 77–79], которое развивалось и совершенствовалось в разных культурах по-своему, в зависимости от уровня развития производительных сил данного общественного объединения, совершенствования деревообрабатывающего инструментария и традиций обработки дерева. Со временем постепенно строительное дело начало «превращаться в особое ремесло со своими специфическими навыками, приемами и канонами» [Массон, 1971, с. 144].

Типы жилищ и особенности домостроения по данным археологии

Классификация и типологический анализ жилищ – важнейший процедурно-методический аспект [Черных, 2008, с. 4]. Решение задач систематико-классификационного порядка предоставляет возможность выявлять общее и особенное в конструктивно-планировочном строе жилища, стереотипов домостроительной практики, традициях домостроительства, проблемах их возникновения, функционирования, пути и механизмы их передачи, заимствования и новации [Там же, с. 92].

Анализ археологических источников показал, что пока твердо, с достаточной долей уверенности, можно говорить о трех типах жилищ из дерева, бытовавших у народов Европы и Азии в эпоху бронзы и раннем железном веке, различающихся плотницкими (технично-технологическими) особенностями: постоянные (каркасно-столбовые, срубные), временные (сезонные) (каркасные, каркасно-столбовые) и мобильные (переносные, сборно-разборные). Однако существующие многочисленные реконструкции видов жилых построек на основе анализа формы котлована, системы расположения столбовых ям и ровиков, следов тлена, фрагментов горелого дерева настилов пола, глиняных скульптур домов, наскальных изображений жилых конструкций, этнографических и экспериментальных данных [Кларк, 1953, с. 136–173; Титов, Эрдели, 1980, с. 134–135; Деревянко А.П., 1973, с. 208–211; Деревянко Е.И., 1991, с. 44, 51, 75–110, 137–143; Зданович С.Я., 1983; Генинг В.Ф. и др., 1992, с. 360–371; Рыбаков, 1981, с. 163, 259; Седов, 1982, с. 256; Бадер, 1987, рис. 38; Ковалёва, Штадлер, 1989; Матвеева, 1993, с. 127–131; Казаков, 1998, с. 193, 198–201, 205; Артемьева, 1998, с. 40–49, 272–276; Малинов, Малина, 1988, с. 14–15, 93–100; Лозе, 1979,

с. 55–60; Кузьмина, 1986, с. 44–53; Столяр, 1985, с. 205; Брей, Трамп, 1990, с. 185, 251; Дэвлет, 1976, с. 9; Крашенинников, 1949, с. 374–378, 425, 439; Сем, 1973, с. 51, 59, 78, 90–94; Крижевская, 1996, с. 186; Васильев, 2000; и мн. др.] предопределяют проведение комплексного исследования этих источников на верифицируемость реконструкций в соответствии с канонами и традициями деревообработки в каждом хронологическом периоде, регионе и конкретной культуре.

Хотя сведения о древних жилищах из дерева скудны и отрывочны, а целых конструкций пока нигде не обнаружено, все же источники позволяют выделить некоторые закономерности в гармонии единства основополагающих факторов: окружающая среда – человек – жилище.

Деревянное жилище – часть пространства, искусственно изолированная человеком от окружающей среды, благоустроенная и приспособленная для жизнедеятельности обособленного коллектива людей, составлявшего первичную ячейку любого общественного объединения. Жилище характеризуется разнообразием форм и конструкций, сложившихся исторически в течение тысячелетней практики строительства. Архитектурные традиции в строительстве жилищ являются одним из «немаловажных этнических признаков» и позволяют устанавливать наличие или отсутствие культурно-этнической преемственности между носителями различных культур [Деревянко Е.И., 1981, с. 75].

Выбор места для целого поселения и строительства каждого отдельного жилища в древности зависел от множества факторов, обязательный учет которых составляет основу и современного строительства: рельеф местности (равнина, террасы, возвышенности, холмы), особенности грунта (плотность, рыхлость), близость подпочвенных вод, удобное расположение источников питьевой воды, наличие топливных ресурсов и т.д. Например, поселения эпохи бронзы (одинцовская, кротовская культуры) Барабинской лесостепи [Зах, 1997; Молодин и др., 2013а, б].

На планировку поселения, выбор конструкции стен и крыши жилища, расположение входной двери, конструкцию и расположение очага, волоковых окон и дымоходных отверстий и т. п. влияли природно-климатические условия местности, запасы строительного сырья, направление солнечного света (солнечная сторона), количество выпадения осадков, направление и сила преобла-

дающих ветров, культурно-исторические традиции каждого конкретного общественного объединения и взаимоотношения с соседями.

При строительстве жилища, кроме особенностей и приемов монтажа стен, перекрытий потолка и крыши, большое значение имел выбор породы дерева (строительный материал), который определял долговечность всей постройки, устойчивость к повышенной влажности, продуктам гниения.

Размеры, конструкция и внутренняя планировка жилища зависели от половозрастного и количественного состава семьи, вида хозяйственного уклада (скотоводство, животноводство, земледелие), общекультурных традиций [Кларк, 1953, с. 138–139; Засурцев, 1959, с. 280–297; Бломквист, Ганцкая, 1967, с. 131–132; Дервянко Е.И., 1981, с. 108–109; Савинов, 1996, с. 3–19; Соколова, 1998, с. 144–154; Черных, 2008, с. 4, 23; Берлина, 2010, с. 35–39].

Строительство любого жилища требовало кооперации труда группы людей во главе со специалистом и больших материальных и физических затрат [Васильев, 2000, с. 14–20]. Чтобы представить общую картину развития строительства жилищ, необходимо хотя бы вкратце рассмотреть традиции и особенности домостроения в Западной Европе и степной и лесостепной полосы Азии.

Жилища Западной Европы

Эпоха бронзы. Представление о конструктивных особенностях жилищ в эпоху бронзы можно составить уже по остаткам деревянных конструкций, найденных в торфяниках и болотных отложениях. В южной Германии, в болотах Федерзее на о-ве Бухау, раскопаны остатки двух разновременных поселений из 47 домов: 38 прямоугольной формы с одним помещением и девять, составленных из трех соединенных вместе жилых помещений, с очагами. Во внутренних дворах этих П-образной формы жилищ были сооружены хозяйственные постройки, а сбоку – амбары [Reinerth, 1936; Bosch, 1924]. По технологии изготовления стен их можно подразделить на два типа: 1) каркасно-столбовые: стены сплетены из тонких жердей, уложенных плотно одна на другую между вертикально вкопанных столбов, и обмазаны слоем глины с обеих сторон; 2) срубные: стены смонтированы из двусторонне отесанных бревен (полубруса) с угловым сопряжением «за-

мок с двусторонним остатком» («обло») [Кларк, 1953, прил. 14, табл. XIV, b].

Фрагменты толстых плах или полубруса с прямоугольными отверстиями под вертикальные столбы-колонны на опорных слегах обнаружены в Швейцарии при раскопках свайных поселений Бильдэгг [Там же, табл. XIV, c], Блейш-Арбоне, Тургау.

Ранний железный век. Наблюдается большое разнообразие в конструктивных особенностях и внутренней планировке жилищ.

В Германии, в болотистом пространстве между оз. Зюдер-Зее и устьем р. Эльба, раскопано поселение из нескольких жилищ, построенных на искусственном дерновом холме Эзинге [Giffen, 1936]. Судя по остаткам настилов полов и характеру расположения столбовых ям, жилища представляли собой длинные большие прямоугольные дома со стенами, плетеными из тонких жердей, обмазанных глиной. Некоторые строения имели широкие коридоры и несколько отгороженных небольших хозяйственных помещений (стояла для зимнего содержания скота).

В Англии, в болотном поселении Гластонбери, раскопаны остатки круглых каркасно-столбовых жилищ с радиальными настилами полов из плах и полубревен, реконструированные исследователями как «хижины типа вигвамов» [Hogg, 1943]. Стены их были сооружены из вкопанных вплотную друг к другу вертикальных столбиков, на которые опирался каркас крыши. В усадьбе Литл Вудбери близ Солсбери (Уилтшир) исследованы остатки больших круглых домов диаметром 15 м [Bersu, 1940, S. 30–111]. По периметру стен на расстоянии полуметра друг от друга были вкопаны два ряда опорных столбов для стен и перекрытия потолка, в центре, вокруг очага – ямы от четырех мощных опорных столбов, удерживавших верх крыши. Выход из дома представлял собой узкий коридор, стены которого были укреплены двумя рядами вертикально вкопанных столбов. Анализ расположения столбовых ям показывает, что стены такого жилища могли быть сложены из горизонтальных бревен в технике заклада свободной укладкой одно бревно на другое или сплетены из тонких жердей типа плетня.

В Польше, близ Знина, в 65 км к северу от Познани, на полуострове, выдававшемся в древнее озеро, раскопано большое укрепленное городище Бискупин (VI в. до н. э.). Его окружал вал слож-

ного устройства с основой из бревенчатых камер. Ученые предполагают, что городище функционировало в течение 150 лет [Kostrzewski, 1938, S. 17–311; Кларк, 1953, с. 165; Монгайт, 1974, с. 345; Граков, 1977, с. 81–82; Малинов, Малина, 1988, с. 14–15]. Тринадцать ровных рядов длинных бревенчатых домов с 3–12 жилыми секциями длиной 9–10 м, шириной 6–6,5 м имели строгую планировку. Каждый ряд жилых секций общей глухой стеной был обращен к северу, выходами из помещений на юг. Дверные проемы домов были очень широкими: 175–255 см. Между рядами домов проложены мостовые шириной 240–340 см из горизонтально уложенных в поперечном направлении полубревен диаметром 30–40 см. В некоторых местах прослежено двойное наслоение бревен гати. Хорошо сохранились длинные ровные продольно-поперечные настилы полов, выложенные из кругляков, горбылей и плах на матках из бревен и толстых жердей, толстые чурбаны, использовавшиеся вместо стульев, лестницы из бревен с зарубками-ступеньками, по которым поднимались на чердак дома. По углам секций и вдоль стен обнаружены многочисленные остатки вертикальных столбов-опор, вкопанных на разном расстоянии друг от друга. Исследователи реконструировали жилища как длинные многосекционные бревенчатые дома с общей двускатной крышей. Стены домов, по предположениям, были составными, набранными из прямоугольных дубовых брусьев. Торцы брусьев были отесаны на клин и вставлены в глубокие продольные пазы, вырубленные вдоль боковых граней мощных угловых и промежуточных сосновых столбов-стояков. Этот способ монтажа бревенчатых стен срубов при помощи пазово-шипового соединения стоек и бревен, до недавних пор применявшийся плотниками некоторых областей Польши и России [Ганцкая, 1967, с. 174–175], требовал высокого мастерства в обработке дерева [Кларк, 1953, с. 165]. Это так называемая закладная или столбовая техника (в русском варианте избы-столбянки). Длинные дома с большим количеством секций находят аналогии в раскопках некоторых городищ Смоленщины [Граков, 1977, с. 82].

Все исследованные жилища по показателям сходства и различия объединены в несколько групп: по типу обитания (постоянные, временные (сезонные), переносные (сборно-разборные)); по топографии (постройки, возведенные на террасе или приподнятой площадке; сооружения, постро-

енные на границе с поймой реки или озера; сооруженные на болоте или торфянике); по форме (круглые, овальные, прямоугольные, квадратные и аморфные [Панина, 1989, с. 47]); по расположению относительно дневной поверхности: подземные (землянки), полуподземные (полуземлянки), наземные, надземные (свайные).

Предварительный анализ строительной техники позволяет дополнительно выделить следующие типы жилищ по конструкции стен, бытовавшие на территории Европы и Азии в эпоху бронзы и раннего железа: 1) срубные (классический сруб с угловой вязкой «в обло»); 2) каркасно-столбовые (бревенчатые стены собраны в закладной или столбовой технике); 3) плетневые (стены из тонких жердей, переплетенных между столбами-опорами); 4) сборно-разборные (мобильные, переносные).

Жилища степной и лесостепной полосы Азии

Эпоха бронзы. По способу расположения относительно дневной поверхности жилища подразделяются на землянки, полуземлянки, наземные. По сложности конструкции – однокамерные, многокамерные. По технологии изготовления – каркасные, каркасно-столбовые, срубные. По форме стен – прямоугольные, квадратные, многоугольные, «восьмеркообразные» [Оразбаев, 1970, с. 129]. Форма крыши (перекрытия) – плоская, двускатная, четырехскатная, многогранная, шатровая с покрытием из полотен бересты. Настил пола – из жердей, бревен, полубревен, плах, досок, с подстилкой (песок, галька, глина), продольный, поперечный, комбинированный. Дверной проем небольшой и низкий, двух типов: прямоугольный с косяками и навесной дощатой дверью, с войлочным занавесом. Окна волоковые, в толщину одного венца.

Остатки тлена и обугленных сосновых бревен в основаниях жилищ в поселении раннебронзового века Ташково в лесостепном Зауралье [Ковалёва, Штадлер, 1989] позволили исследователям реконструировать дома как наземные, бревенчатые. На долговременных и стационарных поселениях большинство жилищ представляло собой «каркасно-столбовые полуземлянки». Среди них были большие двухсекционные строения, «сочетавшие функции дома и хлева» [Матвеев, 2000, с. 45].

В эпоху бронзы Сибирь до самого Урала представляла собой «мощный металлургический

очаг» с хорошо налаженным производством огромного количества орудий обработки дерева в двух центрах: Среднеобском и Среднеиртышском [Матющенко, 1978; Черных, Кузьминых, 1987, 1989, с. 37–63, 91–107, 144–157; Корякова и др., 1991; Кузьминых, 1991]. Здесь процветало не только строительное дело, проявлявшееся в возведении постоянных и временных жилищ и хозяйственно-бытовых построек [Матвеев и др., 1995, с. 162], но и производство сельскохозяйственных орудий труда из дерева: мотыг, рыхлителей, деревянных сох, орудий охоты и рыбной ловли [Косарев, 1984, с. 88–107].

В бронзовом веке на территории Западной и Южной Сибири существовало два вида жилищ: каркасно-столбовые подземные – землянки и срубные – полуземлянки [Грязнов, Вадецкая, 1968, с. 162; Грязнов, Пяткин, Максименков, 1968]. В Кулунде андроновские стационарные двухкамерные жилища общей площадью до 180 м² были прямоугольной формы, каркасно-столбовой конструкции с наклонными стенами [Удодов, 1994, с. 9]. В Барабе бытовали каркасно-столбовые однокамерные и двухкамерные жилища, площадью от 28 до 180 м². Большая камера имела в плане подпрямоугольную форму, маленькая – подквадратную, и обе они соединялись небольшим широким переходом-коридором [Молодин, 1985, с. 172]. Аналоги барабинским жилищам прослежены в памятниках ирменской культуры Верхнего Приобья.

В Казахстане в ходе раскопок местонахождений Богулы-2, Суук-Булак, Чаглинка были реконструированы строения разных форм и типов. Каркасы двухсекционных жилищ (700×500 см) с кирпичными стенами и четырехскатными крышами монтировали из жердей и покрывали связками тростника [Маргулан и др., 1966, с. 220–228]. Двухкамерное каркасно-столбовое жилище с перегородкой, длинными наклонными стенами, собранными из горизонтально уложенных между парами столбов жердей, шатровой крышей, крытой тростником, и коридорообразным входом с юго-востока [Там же, с. 248–255]. Стены жилищ строились из рядов вертикально вкопанных в землю столбов, которые обшивали (обвязывали) с обеих сторон толстыми плахами шириной до 25–30 см. Для утепления дома пространство между плахами засыпали смесью золы, земли и сухого навоза. Исследователями выделены три типа каркасно-столбовых жилищ: 1) неправильно

прямоугольной формы с плоским перекрытием; 2) юртообразные деревянные строения с шатровым перекрытием; 3) двухкамерные восьмеркообразные [Оразбаев, 1970, с. 129–146].

Ценные сведения по домостроительству в бронзовом веке дал анализ больших жилищно-хозяйственных комплексов на поселении карасукской культуры XI–VIII вв. до н. э. Торгажак, что в Минусинской котловине [Савинов, 1996, с. 9–22]. Каждое жилище представляло собой большой комплекс каркасно-столбовой конструкции общей площадью от 88 до 260 м², состоявший из большого хозяйственного помещения и отгороженного от него жилого отсека площадью 14–20 м².

В переходное от бронзы к железу время в лесостепной полосе Западной Сибири наблюдались процессы, связанные с миграцией населения, изменением типа хозяйства и формированием новых культур [Могильников, 1989; Троицкая, 1968, 1970, 1973, 1985; Папин, Шамшин, 2005]. Видимо, в это время происходит заимствование и разнообразие строительных традиций в домостроении, которое косвенным образом повлияло на традиции изготовления погребальных сооружений из дерева в эпоху раннего железа, целые конструкции которых обнаружены в курганах с мерзлотой [Чича..., 2009, с. 20–30; Полосьмак, 1994, с. 22; Мыльников, 2008, с. 101–112].

Ранний железный век. Саргатская культура на среднем Тоболе представлена двумя типами жилищ – одно- и многокамерными полуземлянками каркасно-столбовой конструкции площадью от 22 до 88 м², углубленными в грунт на 40–110 см [Матвеева, 1993, с. 124]. На поселении Ингалинка-1 было раскопано жилище 2 [Там же, с. 127–131, рис. 47, 48]. Проанализировав форму котлована «превосходной сохранности», «без следов ремонта и перепланировки», характер расположения столбовых ямок, А.В. Матвеев реконструировал «двухкамерное бревенчатое сооружение». Оно имело жилое (64 м²) и хозяйственное (21 м²) помещения, соединенные коротким переходом. Стены этого жилища, по мнению ученого, были возведены «в технике заплота». Аналогичную систему устройства стен с пазово-шиповой вязкой бревен исследователи древнерусской и старорусской деревянной архитектуры называют «столбовой» [Засурцев, 1959, с. 264; Ганцкая, 1967, с. 174–175]. Малые камеры жилищ 3 и 4 «следов такой конструкции не имеют и, вероятно, были срубными» [Матвеева, 1993, с. 127]. В Горном

Алтае в 1929 г. в кургане 1 могильника скифского времени Пазырык в двойной погребальной камере был захоронен сруб постоянного жилища из прямоугольного бруса (двухсторонне обработанных бревен; при раскопках кургана 1 могильника Ак-Алаха 3 в 1993 г. на погребальном срубе накат из разобранных стен многоугольного жилища [Полосьмак, 1994, с. 22; Мыльников, 1999а, б]. Жилища у большереченцев лесостепного Приобья были срубные, у кулайцев срубные и каркасные [Соловьев, 1996, с. 42]. Большереченцы уже знали несколько способов соединения различных частей плотничьих изделий под разным углом и применяли угловые сопряжения «в обло». Полный набор инструментария для обработки дерева в это время, по сообщениям исследователей, был довольно представлен и разнообразен: бронзовые и железные кельты, деревянные и железные клинья, долота, ножи [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 67–69]. Эти данные указывают на достаточно широкие возможности изготовления разнообразных предметов из дерева. Видимо, не случайно археологи находили в погребениях остатки колод, блюда, аналогичные пазырыкским на Алтае, бочонки, по основным конструктивным деталям напоминающие таштыкские емкости для жидкости [Там же]. Особенность домостроительства в барабинском варианте саргатской культуры исследователи видят в том, что только на раннем этапе ее развития барабинские племена проживали в углубленных в землю полуземлянках. Позднее местные саргатцы начали строить большие каркасно-столбовые наземные жилища площадью 314–430 м² с коридорообразным входом [Молодин, Новиков, 1998, с. 96].

Средневековье. В Томском Приобье в V–VIII вв. н.э., по данным реконструкции застройки Тимирязевского городища IV, у местных племен, «проживавших в зоне максимальной биологической продуктивности климата», существовали наземные в виде усеченной пирамиды и полуподземные каркасные и срубные постоянные жилища площадью до 64 м². Бытовали и «шатровые полуземлянки типа постоянных жилищ васюганско-ваховских хантов». Для строительства древние плотники употребляли разнообразный материал – плахи, жерди, горбыли, бревна. Основным плотничьим инструментом оставался топор [Беликова, Плетнёва, 1983, с. 103–109]. На Дальнем Востоке России в средние века строили разнообразные жилища: постоянные – землянки

и полуземлянки, сезонные – углубленные в землю и наземные, каркасные пирамидальной формы с рамой-основой и без нее, с четырьмя высокими стропилами [Деревянко, 1981, с. 88–91; Нестеров, 1998, с. 34–40, рис. 8–9; 2007, с. 46]. Барабинские татары в XII–XVII вв. н. э. проживали в трех типах жилищ. В чумах – конусообразных жилищах «с центральным опорным столбом и боковыми опорами, которые шли под наклоном к центру»; в каркасно-столбовых в виде усеченной пирамиды с наклонными стенами; в прямоугольных наземных каркасно-столбовых конструкциях со стенами, сложенными из пластов дерна [Соболев, 1994, с. 61–66; Молодин, Новиков, 1998, с. 118, 119].

Проблемы реконструкции жилищ по котлованам, столбовым ямкам и фрагментам деревянных конструкций

Необходимо признать, что данная тема возникла с накоплением огромного количества разнообразных, большей частью не верифицируемых реконструкций, появившихся в результате неразработанности единых исследовательских подходов к изучению данного археологического (исторического) источника, в частности – узости методических приемов полевого изучения археологических жилищ, «интерпретационного поля» исследований и, как следствие, в отсутствии определенной методики его реконструкции [Медведев, Несмеянов, 1988; Ларичев, 1988, с. 184; Черных, 2008, с. 99; Берлина, 2010, с. 3, 14].

Особенности изучения источников. Основопологающим в поиске путей и подходов для решения данной проблемы является то, что при системном анализе артефактов и построении реконструкций, в отличие от этнографов, работающих с «живым» материалом, у археологов задача намного сложнее. Основным источником находится в специфическом состоянии – нам недоступен внешний вид объекта, мы имеем лишь остаточные следы деревянных конструкций. В подавляющем большинстве случаев от жилищ и построек остаются в основном котлованы, столбовые ямки, незначительные фрагменты горелого и сгнившего дерева, как правило, без остатков угловой вязки, тлен.

Признавая, что реконструкция древних построек чрезвычайно затруднительна по причине повсеместного отсутствия каркасов, крыш и стен конструкций, за исключением слабых следов горелого дерева, тлена, расплывающихся отпечат-

ков в грунте от нижних венцов строений и настилов пола в жилищах, современные исследователи констатируют, что котлованы и имеющиеся столбовые ямы «дают ограниченное представление о конструкции», а для расчетов и реконструкций, согласно принятым строительным нормам, «явно недостаточно информации о способах строительства и типах жилищ в исследуемых культурах» [Чича..., 2009, с. 20]. Тем не менее применение методов общего архитектурного проектирования и архитектурного моделирования в археологии, а также физико-математических приемов для расчетов диаметра опорных столбов, их высоты и устойчивости при долговременных нагрузках [Там же..., 2009, с. 20–30], позволяют реконструировать внешний вид (сооружений) построек и жилищ эпохи бронзы, переходного времени и железного века, производить их классификацию по типам относительно уровня земной поверхности, по размерам и количеству камер, по видам строительных технологий и т. п. [Грязнов, 1956; Матвеев, Сидоров, 1985; Матвеева, 1993; Молодин, Глушков, 1989, с. 168; Васильев, 2000; Чича..., 2004, 2009; Черных, 2008; Мыльников, 2008; Берлина, 2010]. Рассматривая некоторые вопросы типологии и методики реконструкции жилищ, применяя серию методов комплексного анализа – планиграфический; метод предельных состояний материала; различные формы реконструкции стен и крыш построек по глубине и форме котлованов, расположению глубине и углам наклона столбовых ямок; метод математических расчетов для определения физических характеристик материала, его профиля и объема; метод физических затрат при строительстве – исследователи выделяют типы жилищ, виды хозяйственно-бытовых построек у носителей культур переходного времени. В отношении традиций плотницкого дела и приемов и способов строительства жилищ они приходят к справедливому выводу о том, что «эволюция домостроительства шла путем выработки новых форм при сохранении старых» [Там же].

Нередко бывает, что на раскопчном плане показаны следы (остатки) нижнего венца небольшого строения квадратной формы с крохотными выступами у двух противоположных углов, а в реконструкции строение представлено как большой, высокий прямоугольный в плане жилой дом, срубленный в обло с двухсторонним остатком с каждого угла, с двускатной крышей на самцах.

В связи с этим необходимо констатировать, что реконструкции любого вида, в особенности связанные с технологией деревообработки, требуют строгого соблюдения принципа достоверности и верифицируемости [Медведев, Несмеянов, 1988, с. 113; Мыльников, 2002, с. 115, 116], обязательной консультации со специалистами. Для домостроительства важно в графике показывать не только общие принципы сооружения стен построек, но и в деталях крупно: основные способы вязки бревен в углах срубов и приемы их сращивания и сплачивания, настилы полов, технологию монтажа стропил в бревнах последних венцов стен и т. д. Особенно это важно для уязвимых в плане достоверности реконструкций, когда при раскопках вообще не было дерева, или были зафиксированы его слабые бесформенные следы и тлен. Когда реконструкции общего вида жилищ дополняются рисунками типов угловых сопряжений, информация о реконструируемой строительной технике становится более полной. Тем не менее, по большому счету – все реконструкции имеют право на введение в научный оборот, так как каждая реконструкция – это путь приближения к истине.

Современная оценка проблем строительства деревянных домов в древности. В конце 80-х гг. прошлого века опытные плотники с большим профессиональным стажем, работавшие на возведении и реконструкции Спасо-Зашиверского деревянного храма XVII–XVIII вв. в Историко-архитектурном музее под открытым небом ИАЭТ СО РАН, обсуждали с работавшими вместе с ними сотрудниками Института проблемы обработки дерева в древности. С позиций современной технологии деревообработки были рассмотрены следующие вопросы: зависимость сохранности древесины от степени влияния природных факторов и окружающей среды; принципы формирования бревен в стенах срубных, срубно-столбовых, каркасно-столбовых построек; типы угловой вязки бревен в срубах различных категорий; основной плотницкий инструментарий и приемы работы им; традиции обработки дерева вообще и многое другое.

По особенностям монтажа срубных конструкций было высказано следующее. Во-первых: рубка бревен в углах стен срубов всегда проводится при одинаковых угловых сопряжениях, либо *в лапу*, либо *в обло*, либо *в охлуп* – чашки-выемки угловых сопряжений, в отличие от классических

в обло, ориентированы вниз. Во-вторых: вязка бревен в лапу бывает преимущественно без остатка, либо в редких случаях – с односторонним остатком, рубка в обло всегда бывает с двухсторонним остатком. Суждения современных мастеров согласовывались и с основными принципами формирования бревенчатых стен в срубках жилых и хозяйственных построек. Как выяснилось впоследствии при исследовании жилищ и погребальных сооружений раннего железного века, эти традиции, сохраняя технологический консерватизм, практически не претерпели коренных изменений [Мыльников, 1999б, с. 467–471]. Диаметр ствола любого дерева имеет так называемые «плавающие размеры». Разница в диаметрах между вершиной и комлем на хлысте (ствол поваленного дерева, очищенный от сучьев), идущем на строительство, в зависимости от его длины, иногда достигает 10–20 см. Один хлыст раскаивают обычно на один-два бревна для сруба жилища. Любое бревно любой длины имеет, условно называемые *вершинный* и *комлевый* концы, различающиеся по диаметру от 5 до 10 см. Стены классических срубов выполненных в любой строительной технике (обло, охлуп, лапа, в иглу, в погон и. т.д.) всегда (это подтверждают и этнографические и археологические изыскания) формируются плотниками из примерно одинаковых по среднему диаметру бревен, ориентируемых в стене по одному принципу: укладка с обязательным чередованием вершина – комель для того, чтобы высота сруба в углах была одинаковой.

Некоторые сомнения у современных профессиональных плотников вызвали этнографические данные Е.Э. Бломквист об истинных причинах промерзания углов стен в классических срубках в зависимости от вида углового сопряжения [1956, с. 67–69]. Специалисты с большим стажем плотницкой работы объяснили, что срубы в углах промерзают не столько от вида углового сопряжения и длины остатков, а, в первую очередь, от тщательности выполнения вязки бревен (размеры зазоров между бревном и чашкой), от качества утепленности их соединений мхом или паклей, промазки глиной, вида обработки торцов бревен. Торцы бревен бывают либо пиленные пилой (рыхлые), либо гладко и тщательно отесанные сверху вниз теслом или топором с мелким захватом древесины (упрочненные). Действительно, самой «теплой» у

плотников считается вязка бревен в обло или в охлуп с двухсторонним остатком с подтесом продольного желоба снизу для плотной подбивки мха или пакли. Эта вязка считается и самой жесткой. А плотность прилегания бревен друг к другу в стенах срубов в первую очередь зависит от мастерства плотника: соблюдение технологии заготовки и хранения материала, самая оптимальная их ориентировка в стене, тщательность выполнения угловых сопряжений и узлов сращивания и сплачивания и их точной («до миллиметра») подгонки. Позже нами было установлено, что все эти условия соблюдались и в раннем железном веке. Во время изучения внутреннего сруба в элитном кургане скифского времени Аржан-2 в 2002 г. исследователей поразил тот факт, что все бревна сруба изнутри, снаружи и с торцов были обработаны с особой тщательностью, зазоры в угловых сопряжениях бревен не превышали 3–5 мм и к тому же все места прилегания бревен друг к другу были плотно промазаны жидкой глиной [Мыльников и др., 2002].

Много ценных и поучительных сведений от современных плотников было получено по поводу сохранности древесины каркасно-столбовых конструкций и способам их монтажа (рубки). Плотницкий опыт и этнографические наблюдения показывают, что сохранность нижней части столбов-опор закопанных в землю стен, собранных в технике *заплота* (столбянки), составляет от 3 до 5 лет. Когда закопанная в грунт часть бревна подгнивает, нарушается прочность конструкции, и бревна стен, вставленные торцами-шипами в пазы столбов-стоек, начинают выпадать из гнезд. Такие стены для большей прочности дополнительно укрепляют бревнами-подпорками, вбиваемыми или вкапываемыми рядом со стойками, или заменяют подгнившее бревно. Вероятно, по этой причине в некоторых случаях при раскопках археологического памятника на материке были зафиксированы следы перестройки и двойные ямки, как при сборке стен в технике *заклада*.

Специалисты утверждали, что вариант крепления бревен в стенах комбинированных каркасно-столбовых и срубных построек на городищах бывает, когда бревна и столбы-стойки сращивают (скрепляют) между собой при помощи пазово-шиповой техники для удлинения (наращивания) стены [Ганцкая, 1967, с. 175]. Подобную комбинированную технику возведения

стен срубов можно охарактеризовать как рубка в лапу с наращиванием стен в «технике заплота». Тезис о том, что техника «строения стен в заплот» «давала прочную кладку бревен и минимальное количество щелей – так как при усыхании бревна стен просто «садились», и щели уменьшались, по их мнению, не вполне корректен. Бесспорен тот факт, что для более точного и плотного прилегания венцов стен друг к другу плотники подтесывали нижние и верхние грани бревен. Но, все-таки самой прочной, «жесткой» в углах, «экономичной» и «теплой», и это подтверждают и археологические изыскания, и этнографические наблюдения, и плотницкая практика, является рубка бревен срубов в обло или в охлуп [Ганцкая, 1967, с. 173–175; Мыльников, 2002, с. 106–121]. «Садиться» дерево будет при любом способе вязке бревен. Эти механические свойства материала, обусловленные его физическим строением и структурой, были известны плотникам и исследователям раннего железного века [Феофраст, 1951]. И именно по этой причине современные плотники, даже после необходимой предварительной естественной сушки заготовленного в определенное время года материала (поздняя осень, зима), срубив весной сруб, «выдерживают» его все лето до начала осени, давая время для естественной усушки и усадки венцов. А иногда начинают превращать сруб в жилой дом и на следующий год.

Заключение

Таким образом, анализ источников, специальные и экспериментальные исследования показали, что в современной технологии деревообработки заложены все основные принципы плотницкого дела, наработанные мастерами-древоделами в эпоху бронзы, усовершенствованные и окончательно сложившиеся в раннем железном веке. И с того времени традиции домостроения из дерева в основе своей претерпели незначительные изменения.

Жилища и хозяйственные постройки с глубокой древности и до наших дней остаются важнейшими составляющими жизнеобеспечивающей системы человека. Их разнообразие и особенности конструкций обусловлены географическими и климатическими особенностями каждого региона, способностью адаптации населения к определенным условиям окружающей среды, а так же традициями и уровнем плотницкого мастерства

строителей. Различия домостроительных традиций, фиксируемые в пределах одной экосистемы, находят объяснение в консерватизме плотницкого дела носителей определенной культуры, в заимствовании иных особенностей деревообработки населения сопредельных территорий.

Комплексное исследование археологических, петроглифических, этнографических и письменных источников по этой тематике создает широкую информативную базу, достаточную для реконструкции многих аспектов социальной, духовной и материальной культуры населения во все исторические эпохи. Об этом и косвенно, и напрямую свидетельствуют эталонные материалы – остатки и целые деревянные конструкции из археологических источников от неолита до средневековья. Тем не менее, до сих пор тема адекватность – соответствие изучаемой эпохе многочисленных реконструкций жилищ по котлованам, столбовым ямкам и фрагментам деревянных конструкций – остается одной из самых важных и дискуссионных. Проблема реконструкции по котлованам, столбовым ямкам и фрагментам деревянных конструкций возникла с накоплением огромного количества разнообразных, большей частью не верифицируемых вариантов воссоздания первоначального облика археологических строений. Они появились в результате неразработанности единых исследовательских подходов к изучению данного исторического (археологического) источника, в частности – узости методических приемов полевого изучения археологических построек из дерева, «интерпретационного поля» исследований и, как следствие, в отсутствии определенной методики их реконструкции.

Много ценной информации содержит профессиональная оценка проблем строительства деревянных домов в древности, которую дают мастера-плотники XX–XXI вв. С позиций современной технологии деревообработки многие этнографические сведения о конструкциях жилищ, сохранности древесины бревенчатых построек, способам их монтажа (рубки), варианты крепления бревен в стенах комбинированных каркасно-столбовых и срубных построек, когда бревна и столбы-стойки сращивают (скрепляют) между собой при помощи пазово-шиповой техники и т.д. не всегда соответствуют плотницким технологическим нормам. Причина этого, по их мнению, сокрыта в недостаточной осведомленности этно-

графов и историков, занимающихся проблемами деревянной архитектуры, в особенностях технологии деревообработки, в тонкостях и секретах плотницкого искусства.

Тем не менее несмотря на разный уровень специальных знаний исследователей по деревообработке, все реконструкции, введенные и вводимые в научный оборот, имеют право на существование, так как каждая реконструкция – это путь приближения к истине. Однако следует помнить одну непреложную истину: при воссоздании полноценной научной реконструкции важно учитывать только проверенную и верифицированную информацию о первоисточнике, привлекать достоверные этнографические материалы и не увлекаться созданием фантомов.

Список литературы

- Артемьева Н.Г.** Домостроительство чжурчженей Приморья (XII–XIII вв.). – Владивосток: Дальпрогресс, 1998. – 302 с.
- Бадер О.Н.** Балановская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М.: Наука, 1987. – С. 76–84. – (Археология СССР).
- Беликова О.Б., Плетнёва Л.М.** Памятники Томского Приобья в V–VIII вв. н.э. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1983. – 244 с.
- Берлина С.В.** Жилая и оборонительная архитектура населения Западно-Сибирской лесостепи в раннем железном веке (по материалам саргатской культуры): дис. ... канд. ист. наук. – Тюмень, 2010. – 402 с.
- Бломквист Е.Э.** Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения) // Восточнославянский этнографический сборник: очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX в. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 806 с. – (Тр. Института этнографии. Нов. сер.; т. 31)
- Бломквист Е.Э., Ганцкая О.А.** Типы русского крестьянского жилища середины XIX – начала XX в. // Русские. Историко-этнографический атлас. – М.: Наука, 1967. – С. 131–165.
- Брей У., Трамп Д.** Археологический словарь. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.
- Васильев В.Г.** Экспериментальное моделирование археологических жилищ: (По материалам памятников неолита – бронзы таежной зоны Среднего Приобья): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 2000. – 22 с.
- Ганцкая О.А.** Строительная техника русских крестьян // Русские. Историко-этнографический атлас. – М.: Наука, 1967. – С. 166–190.
- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В.** Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казхастанских степей. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. – Ч. 1. – 408 с.
- Граков Б.Н.** Ранний железный век (культуры Западной и Юго-Восточной Европы). – М.: Изд-во Мос. гос. ун-та, 1977. – 232 с.
- Грязнов М.П.** История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. – М.; Л.: Наука, 1956. – 161 с. – (МИА; № 48).
- Грязнов М.П., Вадецкая Э.Б.** Афанасьевская культура // История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. – Л.: Наука, 1968. – Т. 1: Древняя Сибирь. – С. 159–165.
- Грязнов М.П., Пяткин Б.Г., Максименков Г.А.** Карасукская культура // История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. – Новосибирск: Наука, 1968. – Т. 1: Древняя Сибирь. – С. 180–187.
- Деревянко А.П.** Ранний железный век Приамурья. – Новосибирск: Наука, 1973. – 354 с.
- Деревянко Е.И.** Племена Приамурья. I тыс. нашей эры. (Очерки этнической истории и культуры). – Новосибирск: Наука, 1981. – 333 с.
- Деревянко Е.И.** Древние жилища Приамурья. – Новосибирск: Наука, 1991. – 158 с.
- Дэвлет М.А.** Большая Боярская писаница. – М.: Наука, 1976. – 20 с.
- Ефименко П.П.** Первобытное общество: Очерки по истории первобытного времени. – Л.: Гос. соц.-эконом. изд-во, 1953. – 636 с.
- Засурцев П.И.** Постройки древнего Новгорода // Тр. Новгородской археологической экспедиции. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – № 65. – С. 262–298. – (МИА; т. 2).
- Зах В.А.** Эпоха бронзы Присалаирья: (По материалам Изылинского археологического микрорайона). – Новосибирск: Наука, 1997. – 132 с.
- Зданович С.Я.** Поселения и жилища саргаринской культуры // Поселения и жилища древних племен Южного Урала. – Уфа: Изд-во БФАН СССР, 1983. – С. 59–77.
- Казаков А.А.** Городище Сошниково-1 // Древние поселения Алтая: Сб. науч. тр. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1998. – С. 192–205.
- Кларк Дж.Г.Д.** Доисторическая Европа. Экономический очерк. – М.: Иностранная лит., 1953. – 332 с.
- Ковалёва В.Т., Штадлер М.Ю.** Палеоэкономическая реконструкция поселения раннебронзового времени // Становление и развитие производящего хозяйства на Урале. – Свердловск: Изд-во УрО АН СССР, 1989. – С. 153–164.
- Корякова Л.Н., Зыков А.П., Морозов В.М.** Археологические аспекты древней истории Зауралья и Западной Сибири (железный век) // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири: тез. докл. к Всесоюз. науч. конф. (3–5 апреля 1991 г.). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1991. – С. 111–114.
- Косарев М.Ф.** Западная Сибирь в древности. – М.: Наука, 1984. – 245 с.
- Кузьмина Е.Е.** Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. – Фрунзе: Илим, 1986. – 133 с.
- Кузьминых С.В.** Кельты Северной Евразии раннего железного века: сейминско-турбинская линия развития // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири: Тез. докл. к Всесоюз. науч. конф. (3–5 апреля 1991 г.). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1991. – С. 96–98.

Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. – М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949. – 841 с.

Крижевская Л.Я. Неолит лесной зоны. Балахнинская культура // Неолит Северной Евразии. – М.: Наука, 1996. – С. 184–188.

Ларичев В.Е. Мальтинская пластина – счетная календарно-астрономическая таблица древнекаменного века Сибири // Методические проблемы археологии Сибири. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 184–225.

Лозе И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. – Рига: Зинатне, 1979. – 204 с.

Малинов Р., Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. – М.: Мысль, 1988. – 271 с.

Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1966. – 435 с.

Массон В.М. Поселение Джейтун: Проблема становления производящей экономики. – Л.: Наука, 1971. – 208 с.

Матвеев А.В. Лесостепное Зауралье во II – начале I тыс. до н. э.: дис. ... д-ра ист. наук. – Тюмень, 2000. – 386 с.

Матвеев А.В., Сидоров Е.А. Ирменские поселения Новосибирского Приобья // Западная Сибирь в древности и средневековье. – Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 1985. – С. 29–89.

Матвеев А.В., Матвеева Н.П., Панфилов А.Н., Буслова М.А., Зах В.А., Могильников В.А. Археологическое наследие Тюменской области: Памятники лесостепи и подтаежной полосы. – Новосибирск: Наука, 1995. – 240 с.

Матвеева Н.П. Саргатская культура на среднем Приобье. – Новосибирск: Наука, 1993. – 174 с.

Матюшенко В.И. Среднеиртышский центр производства турбинско-сейминских бронз // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 22–35.

Медведев Г.И., Несмеянов С.А. Типизация культурных отложений и местонахождений каменного века // Методические проблемы археологии Сибири. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 113–142.

Могильников В.А. Взаимоотношения лесного и лесостепного населения в эпоху перехода от бронзового века к железному // Проблемы археологии Скифо-Сибирского мира: (Социал. структура и обществ. отношения): тез. Всесоюз. археол. конф. – Кемерово: [б.и.], 1989. – С. 125–129.

Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

Молодин В.И., Глушков И.Г. Самусьская культура в Верхнем Приобье. – Новосибирск: Наука, 1989. – 169 с.

Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. – Новосибирск, 1998. – 132 с.

Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Борzych К.А., Иванова Д.П., Головков П.С., Селин Д.В., Орлова Л.А., Васильев С.К. Конструктивные и планиграфические особенности жилища № 5 поселения кротовской культуры Венгерово-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии

СО РАН. 2013 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013а. – Т. XIX. – С. 282–287.

Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Ненахов Д.А. Поселение одиновской культуры Старый Тартас-5 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. 2013 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013б. – Т. XIX. – С. 282–287.

Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Бронзовый и железный века. – М.: Наука, 1974. – 408 с.

Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999а. – 232 с.

Мыльников В.П. Погребальный комплекс Пазырык-5 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы VII годовой итоговой сессии ИАЭТ СО РАН. Декабрь 1999 г.) – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999б. – С. 467–471.

Мыльников В.П. Особенности изучения древнего дерева // Археология, этнография и антропология Евразии, 2002. – № 4. – С. 106–121.

Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху палеометалла (Северная и Центральная Азия). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 364 с.

Мыльников В.П., Парцингер Г., Чугунов К.В., Наглер А. Элитное погребальное сооружение из дерева в Туве // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (мат-лы годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2002 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – Т. VIII. – С. 396–402.

Нестеров С.П. Народы Приамурья в эпоху раннего средневековья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 184 с.

Нестеров С.П. Сезонные стоянки населения раннесредневековой Михайловской культуры на реке Бурее в Западном Приамурье // Северная Азия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: мат-лы Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию со дня рождения М.М. Герасимова. – Иркутск: Отгис, 2007. – Т. 2. – С. 40–48.

Оразбаев А.М. Поселение Чаглинка (Шагалы). Некоторые формы и типы жилищ // По следам древних культур Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1970. – С. 129–146.

Панина С.Н. Домостроительные традиции населения эпохи бронзы горно-лесного Зауралья // Становление и развитие производящего хозяйства на Урале: сб. науч. тр. – Свердловск: Изд-во УрО АН СССР, 1989. – С. 46–61.

Папин Д.В., Шамшин А.Б. Барнаульское Приобье в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – 202 с.

Полосьмак Н.В. «Стережущие золото грифы» (Ахлахинские курганы). – Новосибирск: Наука, 1994. – 125 с.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 606 с.

Савинов Д.Г. Древние поселения Хакасии: Торжак. – СПб.: Петербург. востоковедение; Archaeologica Petropolitana II, 1996. – 112 с.

Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. – М.: Наука, 1982. – 326 с.

Сем Ю.А. Нанайцы. Материальная культура (вторая половина XIX – середина XX в.). Этнографические очерки. – Владивосток, 1973. – 314 с.

Семёнов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. Мезолит – неолит. – Л.: Наука, 1983. – 255 с.

Соболев В.И. История Сибирских ханств (по археологическим материалам): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1994. – 67 с.

Соколова З.П. Жилище народов Сибири (опыт типологии). – М.: ИПА «ТриЛ», 1998. – 288 с.

Соловьев А.И. Начальные времена // История Новосибирской области с древности до наших времен. – Новосибирск, 1996.

Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. – М.: Искусство, 1985. – 298 с.

Титов В.С., Эрдели И. Первые итоги раскопок Венгеро-Советской экспедиции на территории ВНР // СА. – 1980. – № 1. – С. 130–136.

Троицкая Т.Н. Поселение VII–VI вв. до н.э. у с. Завьялово Новосибирской области // КСИА. – М., 1968. – Вып. 114. – С. 99–104.

Троицкая Т.Н. О культурных связях населения Новосибирского Приобья в VII–VI вв. до н.э. // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири: мат.-лы совещ. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1970. – С. 150–163.

Троицкая Т.Н. Новосибирское Приобье в VII–VI вв. до н.э. // Вопр. археологии Сибири: Научные труды НГПИ. – Новосибирск, 1973. – Вып. 85. – С. 84–101.

Троицкая Т.Н. Завьяловская культура и ее место среди лесостепных культур Западной Сибири // Западная Сибирь в древности и средневековье: сб. науч. тр. – Тюмень: Тюм. гос. ун-т, 1985. – С. 54–69.

Троицкая Т.Н., Бородавский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. – Новосибирск: Наука, 1994. – 184 с.

Удодов В.С. Эпоха развитой и поздней бронзы Кулунды: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 1994. – 21 с.

Феофраст. Исследование о растениях / пер. с древнегреческого. – Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – 548 с.

Черных Е.М. Жилища Прикамья (эпоха железа). – Ижевск, 2008. – 272 с.

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Памятники сейминско-турбинского типа в Евразии // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М.: Наука, 1987. – С. 84–105. – (Археология СССР).

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). – М.: Наука, 1989. – 320 с.

Чижилова Л.Н. Жилище // Этнография Восточных славян. Очерки традиционной культуры. – М.: Наука, 1987. – С. 223–259.

Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. 2. – 336 с. – (Материалы по археологии Сибири).

Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. 3. – 248 с.

Ширин Ю.В. Типы поселений эпохи поздней бронзы и «переходного периода» на юге Кузнецкой котловины // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы: сб. науч. тр. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – С. 170–185.

Шнирельман В.А. Жилище // Материальная культура. – М.: Наука, 1989. – С. 36–42. – (Свод этнограф. понятий и терминов; вып. 3).

Bersu G. Altheimer Wohnhauser vom Goldberg. – Württemberg: O.A. Neresheim, 1937. – 149 S.

Bosch R. Über des Moordorf Riesi am Hallwilersee // Anzeiger für Schweiz. – Altertum, 1924. – Т. 26. – С. 73–83.

Giffen A.E. Der Warf in Ezinge, Provinz Groningen // Holland und seine westgermanischen Hauser. – Leipzig, 1936. – S. 40–47.

Hogg A.H. Native Settlements of Northumberland // Antiquity Archaeologica. – 1943. – P. 136–147.

Kostrzewski J. Biskupin. An Early Iron Age Village in Western Poland // Antiquity Archaeologica. – 1938. – 317 p.

Reinerth H. Das Federseemoor. – Leipzig, 1936. – 167 S.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АА	– Археологический альманах (Донецк)
АВ	– Археологические вести (СПб.)
АВЕЛС	– Археология Восточно-Европейской лесостепи (Воронеж)
АВЕС	– Археология Восточно-Европейской степи (Саратов)
АИДСК	– Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана (Алма-Ата)
АН	– Академия наук
АО	– Археологические открытия (М.)
АОИКМ	– Актюбинский областной историко-краеведческий музей (Актюбинск/Актобе, Казахстан)
АОЦИЭА	– Актюбинский областной центр истории, этнографии и археологии (Актюбинск/Актобе, Казахстан)
АПО	– Археологические памятники Оренбуржья (Оренбург)
АРТ	– Археологические работы в Таджикистане (Душанбе, Таджикистан)
АС	– Археологический съезд
АСГЭ	– Археологический сборник Государственного Эрмитажа (Л., СПб.)
БГПИ	– Башкирский государственный педагогический институт (Уфа)
БНЦ	– Башкирский научный центр (Уфа)
ВААЭ	– Вестник археологии, антропологии и этнографии (Тюмень)
ВАУ	– Вопросы археологии Урала
ВДИ	– Вестник древней истории (М.)
ВИ	– Вопросы истории (М.)
ГАИМК	– Государственная академия истории материальной культуры (Л.)
ГИМ	– Государственный исторический музей (М.)
ЖС	– Живая старина
ЗИН РАН	– Зоологический институт РАН (СПб.)
ЗРАО	– Записки Русского археологического общества (М.)
ИА РАН	– Институт археологии РАН (Москва)
ИАЭТ СО РАН	– Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск)
ИБ МАИКЦА	– Информационный бюллетень Международной ассоциации по изучению культур Центральной Азии (М.)
ИГАИМК	– Известия Государственной академии истории материальной культуры (Л.)
ИЕ	– Исторический ежегодник (Омск)
ИИА УрО РАН	– Институт истории и археологии УрО РАН
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры РАН (СПб.)
ИИС	– Из истории Сибири
ИПОС СО РАН	– Институт проблем освоения Севера СО РАН
КСИА	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии (М.)
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР

КСИЭ	– Краткие сообщения Института этнографии (М.)
ЛГПИ	– Липецкий государственный педагогический институт (Липецк)
МАИКЦА	– Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии
МАР	– Материалы по археологии России
МАЭ	– Музей антропологии и этнографии (Л., СПб.)
МГУ	– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (М.)
МИА	– Материалы и исследования по археологии СССР (М.)
МИАР	– Материалы по археологии России (М.)
МНМ	– Мифы народов мира: энциклопедия (М.)
МХЭ	– Материалы Хорезмской экспедиции (М.)
НАВ	– Нижневолжский археологический вестник (Волгоград)
НИИ	– научно-исследовательский институт
НОА ИА РАН	– Научно-отраслевой архив ИА РАН (М.)
ОИКМ	– Орский историко-краеведческий музей
РА	– Российская археология (М.)
РАН	– Российская академия наук
РГНФ	– Российский гуманитарный научный фонд
СА	– Советская археология (М.)
САИ	– Свод археологических источников (М.)
СамГПУ	– Самарский государственный педагогический университет (Самара)
СГ	– Советская геология (М.)
СО АН СССР (РАН)	– Сибирское отделение АН СССР (РАН)
СПЛИАЦ	– Специализированный природно-ландшафтный и историко-археологический центр
СЭ	– Советская этнография (М.)
ТГИМ	– Труды Государственного исторического музея (М.)
ТЗС	– Труды по знаковым системам (Тарту)
ТХАЭЭ	– Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции
ТЭ УрГУ	– Архив-картотека топонимической экспедиции УрГУ
ТЮТАКЭ	– Труды Южнотуркменской археологической экспедиции (Ашхабад)
УАВ	– Уфимский археологический вестник (Уфа)
УАС	– Уральское археологическое совещание (Челябинск)
УНЦ РАН	– Уральский научный центр РАН
УПАСК	– Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция
УрГУ	– Уральский государственный университет
УрО РАН	– Уральское отделение РАН
ЦИА ЗКО	– Центр истории и археологии Западно-Казахстанской области
ЧелГУ	– Челябинский государственный университет (Челябинск)
ЧИНИИ	– Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт
ЧИНИИИЯЛ	– Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы
AMIT	– Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan (Berlin)
AISP	– Archaeology Institute of Shanxi Province
EW	– East and West
IASP	– Institute of Archaeology of Shanxi Province
SAA	– South Asian Archaeology

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Антонова Елена Вадимовна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела истории и культуры Древнего Востока Института востоковедения РАН (Москва).

Арутюнов Сергей Александрович, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий Отделом Кавказа Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва).

Байпаков Карл Молдахметович, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор исторических наук, профессор, Почетный директор Института археологии им. А.Х. Маргулана Министерства образования и науки Республики Казахстан (Алматы).

Белова Ольга Владиславовна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва).

Березанская София Станиславовна, доктор исторических наук (Киев, Украина).

Бисембаев Арман Ауганович, кандидат исторических наук, директор Актюбинского областного центра истории, этнографии и археологии (Казахстан).

Бобров Владимир Васильевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии Кемеровского государственного университета (Кемерово).

Боковенко Николай Анатольевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Сектора Сибири и Средней Азии Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

Бондарев Алексей Владимирович, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

Бородовский Андрей Павлович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).

Васильев Виталий Николаевич, кандидат исторических наук, сотрудник LoCom Europäisches Bildungsinstitut für lokale Kommunikation und politische Partizipation (Бонн).

Видаль Массимо (Vidale Massimo), доктор наук, ассоциированный профессор археологии производящей деятельности Департамента культурного наследия Падуанского университета (Падуа, Италия).

Виноградов Николай Борисович, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории Челябинского государственного педагогического университета (Челябинск).

Виноградова Наталия Матвеевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела древней истории Востока Института востоковедения РАН (Москва).

Гутков Александр Иванович, независимый исследователь (Челябинск).

Дашковский Петр Константинович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения и теологии, заместитель декана факультета политических наук Алтайского государственного университета (Барнаул).

Джоунс-Блей Карлин (Karlene Jones-Bley), University of California (Los Angeles).

Дубова Надежда Анатольевна, доктор исторических наук, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Группы этнической экологии Центра междисциплинарных исследований Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва).

Дуйсенгали Мейрам Нурланович, старший научный сотрудник Актюбинского областного центра истории, этнографии и археологии (Казахстан).

Дьяконов Игорь Михайлович (1915–1999), доктор исторических наук, почетный член Британского королевского азиатского общества.

Епимахов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Южно-Уральского филиала Института истории и археологии УрО РАН (Челябинск).

Ермолаева Марина Сергеевна, студентка Новосибирского государственного медицинского университета (Новосибирск).

Зубова Алиса Владимировна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Сектора антропологии Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).

Иванова Дарья Петровна, студентка Новосибирского государственного университета (Новосибирск).

Исмагил Рамиль Бакирович (1949–2014), кандидат исторических наук.

Кайзер Элке, доктор наук, сотрудник Германского археологического института (Берлин, Германия).

Кирчо Любовь Борисовна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

Клейн Лев Самуилович, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, председатель редсовета «Российского археологического ежегодника».

Ковалев Алексей Анатольевич, старший научный сотрудник Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия НИИ комплексных социальных исследований факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Ковалевская Вера Борисовна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела теории и методики Института археологии РАН (Москва).

Ковтун Игорь Вячеславович, доктор исторических наук, заведующий Лабораторией археологии Института экологии человека СО РАН (Кемерово).

Козенкова Валентина Ивановна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН (Москва).

Косинцев Павел Андреевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заведующий Лабораторией исторической экологии Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург).

Котов Вячеслав Георгиевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологических исследований Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

Кузнецов Павел Федорович, кандидат исторических наук, доцент, директор Музея археологии Поволжья Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (Самара).

Куликов Леонид Игоревич, кандидат филологических наук, доцент Института языкознания РАН (Москва), сотрудник Лейденского университета.

Кутимов Юрий Геннадьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

Лившиц Владимир Аронович, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург).

Линдафф Кэтрин (Linduff Kathryn M.), профессор University of Pittsburgh (USA).

Литвинский Борис Анатольевич (1923–2010), доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН и АН Таджикистана, иностранный член Национальной академии деи Линчеи (Италия).

Лопатин Владимир Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент Института археологии и культурного наследия Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Малов Николай Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры историографии, региональной истории и археологии Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Мамедов Аслан Маликович, старший научный сотрудник Актюбинского областного центра истории, этнографии и археологии (Казахстан).

Матвеева Наталья Петровна, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, истории Древнего мира и Средних веков Тюменского государственного университета, заведующая Сектором археологии и этнографии Института гуманитарных исследований (Тюмень).

Молодин Вячеслав Иванович, академик РАН, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора

по научной работе Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).

Морозов Юрий Алексеевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

Мочалов Олег Дмитриевич, доктор исторических наук, ректор Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (Самара).

Мыльников Владимир Павлович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).

Мыльникова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, ученый секретарь Отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).

Ненахов Дмитрий Алексеевич, инженер Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).

Новоженков Виктор Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Сарыаркинского археологического института при Карагандинском университете (Алматы).

Ожередов Юрий Иванович, кандидат исторических наук, заведующий Музеем археологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского Томского государственного университета (Томск).

Оливьери Лука (Olivieri Luca), доктор наук, директор проекта «Полевая школа “Археология, сообщество, туризм” (АСТ)», соруководитель Итальянской археологической миссии в Пакистане.

Отрошенко Виталий Васильевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий Отделом археологии энеолита – бронзового века Института археологии Национальной академии наук Украины (Киев).

Папин Дмитрий Валентинович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского государственного университета, Лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири Института археологии и этнографии СО РАН (Барнаул).

Парпола Аско, профессор кафедры восточных языков Хельсинкского университета (в отставке) (Хельсинки, Финляндия).

Перепелкин Лев Станиславович, кандидат исторических наук, заведующий Сектором прикладной культурологии и культурной антропологии Российского института культурологии (Москва).

Петрухин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва).

Погребова Мария Николаевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН (Москва).

Подушкин Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры «История Казахстана» Академического инновационного университета Республики Казахстан (Шымкент).

Поздняков Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).

Поляков Тарас Пантелеймонович, кандидат исторических наук, профессор Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (Москва).

Пьянков Игорь Васильевич, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Разлогов Кирилл Эмильевич, доктор искусствоведения, профессор, директор Российского института культурологии (Москва).

Рафикова Янина Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры общенаучных дисциплин Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (Академии ВЭГУ) (Уфа).

Рубинсон Карен (Rubinson Karen) S. AB, MA, M. Phil, PhD Research Associate Institute for the Study of the Ancient World New York University (New York, USA).

Савинов Дмитрий Глебович, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии Исторического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета (Санкт-Петербург).

Сарианиди Виктор Иванович (1929–2013), доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, иностранный член Национальной академии деи Линчеи (Италия), почетный член Антропологического общества Греции.

Смирнов Юрий Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела теории и методики Института археологии РАН (Москва).

Ткачев Александр Александрович, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института проблем освоения Севера СО РАН.

Ткачев Виталий Васильевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории исторического степеведения Института степи УрО РАН (Оренбург).

Усачук Анатолий Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела охраны памятников археологии Донецкого областного краеведческого музея (Донецк, Украина).

Федоров Виталий Кимович, кандидат исторических наук, доцент кафедры общенаучных дисциплин Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (Академии ВЭГУ) (Уфа).

Федорова Татьяна Сергеевна, заведующая Сектором проблем научной информации Российского института культурологии (Москва).

Федорук Ольга Александровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского государственного университета (Барнаул).

Франкфорт Анри-Поль (Francfort Henri-Paul), Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Laboratoire Archéologies et Sciences de l'Antiquité.

Ходжайов Тельман Касимович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва).

Ходжайова Гальшира Кутузовна, доктор исторических наук, профессор Института психологии и педагогики (Москва).

Хохлов Александр Александрович, доктор исторических наук, доцент, заведующий палеоантропологической лабораторией Естественно-географического факультета Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (Самара).

Чаплыгин Михаил Сергеевич, научный сотрудник Стерлитамакского историко-краеведческого музея.

Чикишева Татьяна Алексеевна, доктор исторических наук, заведующая Сектором антропологии Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).

Шнирельман Виктор Александрович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, действительный член Academia Europea (Москва).

Составители *Е.А. Воронцова, А.Б. Магамбетов*

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФОТО





С мамой Верой Александровной
и бабушкой Верой Михайловной Ефремовыми. 1932 г.



Аленушка Кузьмина. 1933 г.



Дагестан. 1950 г. Слева направо: Е.Е. Кузьмина,
О.С. Гадзяцкая, М.Н. Погребова.



На скамейке. 1952 г.



Профессор Б.Н. Граков
и Е.Е. Кузьмина. 1951 г.



Кобадиян. Таджикистан. 1952 г.



Кызыл-Кумы. Заман-баба. 1956 г.



Таллинн. 1957 г. Слева направо:
С.Б. Певзнер, Е.Е. Кузьмина, Е.В. Рихтер
с детьми, Б.Б. Пиотровский.



Экспедиция в Молдавии. 1957 г. Справа налево: И.К. Свешников, хозяйка (стоит),
начальник отряда А.И. Мелюкова, Е.Е. Кузьмина, Нина и Варя, С. Студеницкая.



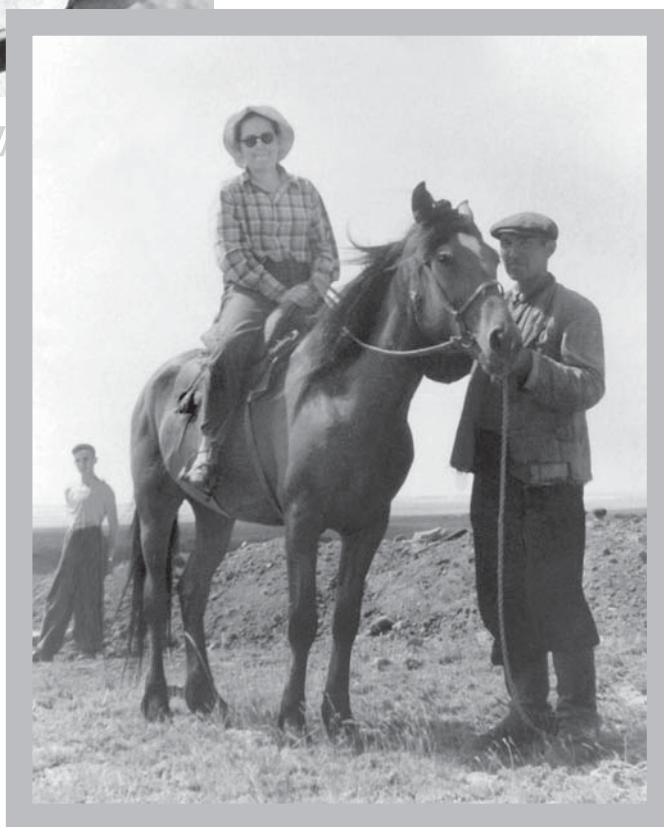
Еленовская экспедиция. 1960 г.



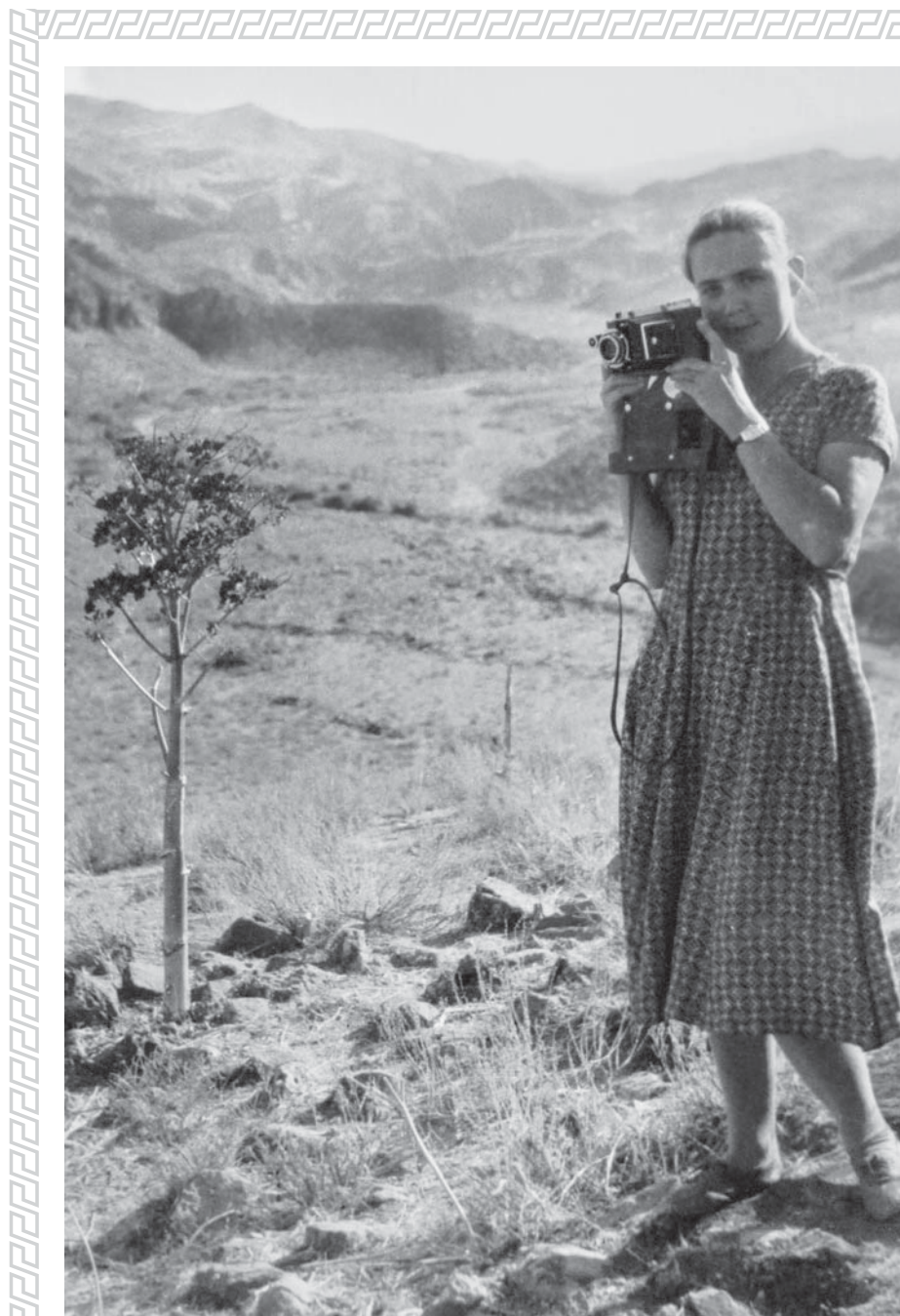
Туркмения. 1960 г.



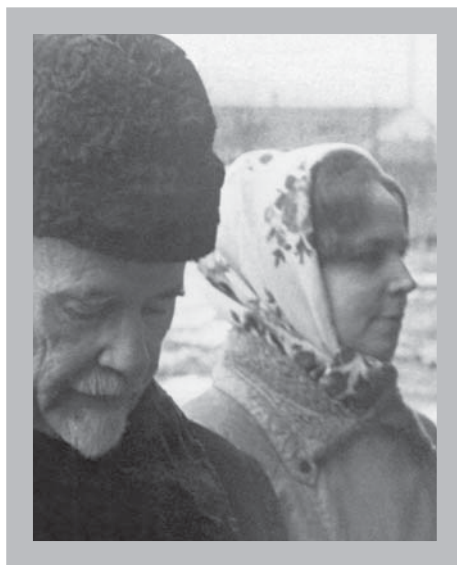
Ялта. 1965 г.



Еленовская экспедиция. Разведка. 1964 г.



Елена Ефимовна в разведке. Кугиташ. Туркмения. 1960 г.



Уральское археологическое совещание.
Нижний Тагил. Профессор О.Н. Бадер
и Е.Е. Кузьмина. 1978 г.



Челябинск. 1995 г. Е.Е. Кузьмина и А.В. Епимахов.



Лекция в университете Питтсбурга.
С проф. К. Линдафф. 1996 г.



С внучкой Ксениюшкой. 1998 г.



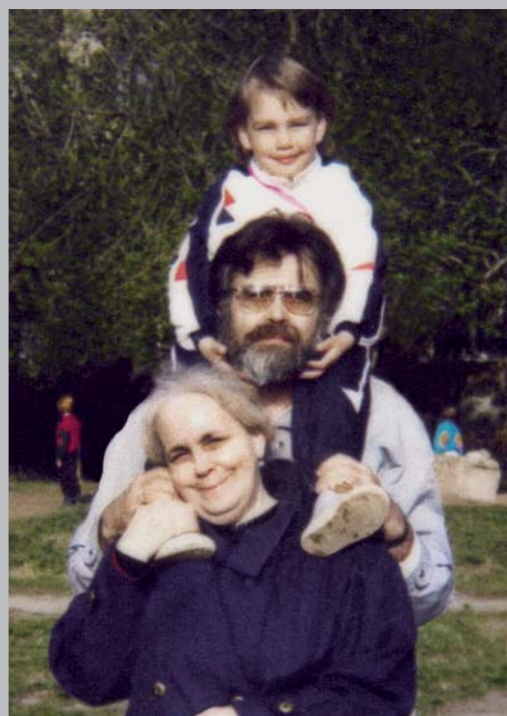
Аркаим. 1999 г. Слева направо: Л.Т. Пьянкова, Е.Е. Кузьмина, Г.Б. Зданович.



Самара. 2000 г. Слева направо: В.В. Отрощенко, Е.Е. Кузьмина, П.Ф. Кузнецов.



Слева направо: К. Рабинсон, Дж.Д. Мули,
Е.Е. Кузьмина, А. Парпола. 2000 г.



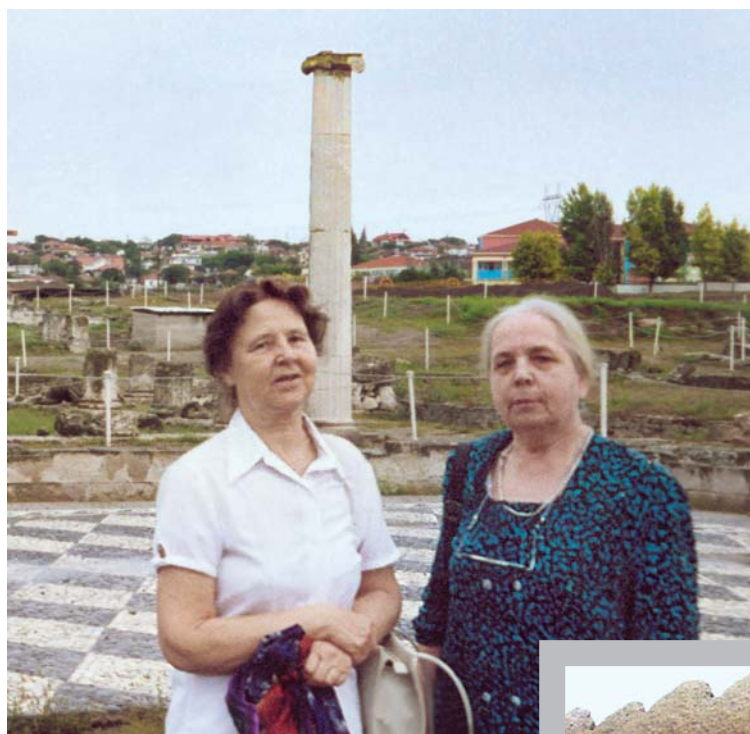
С сыном и внучкой. 2000 г.



Иран, Рей. 2001 г. Слева направо: М.Н. Погребова,
В.Б. Ковалевская, Е.Е. Кузьмина.



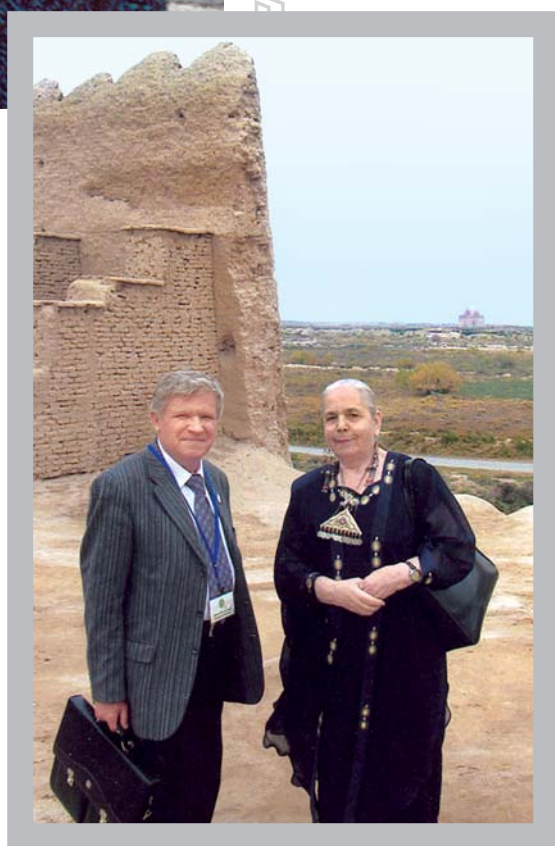
Оренбург. 2001 г. Слева направо: Э.Р. Усманова, Е.Е. Кузьмина,
О.Н. Корочкова.



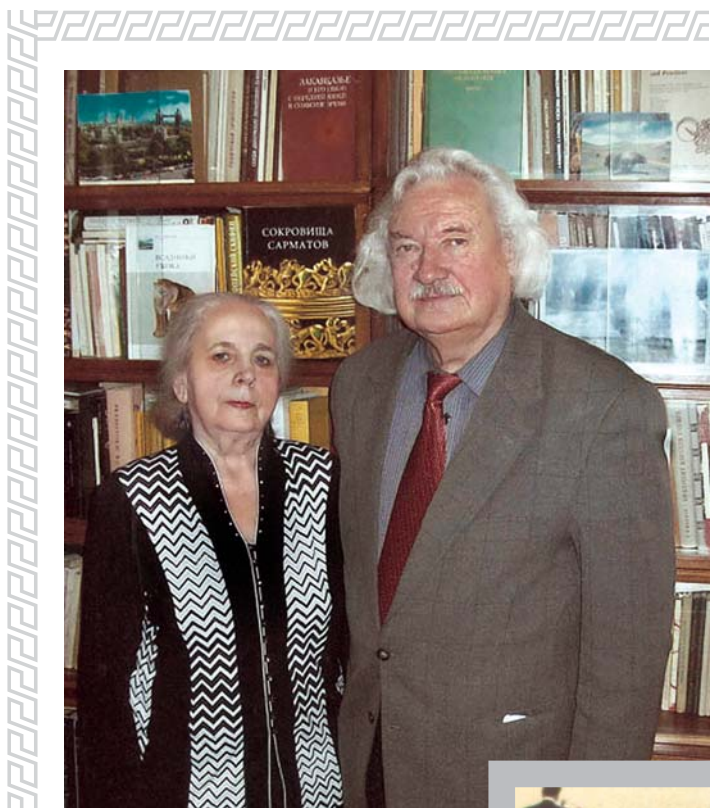
Греция, 2002 г. С М.Н. Погребовой.



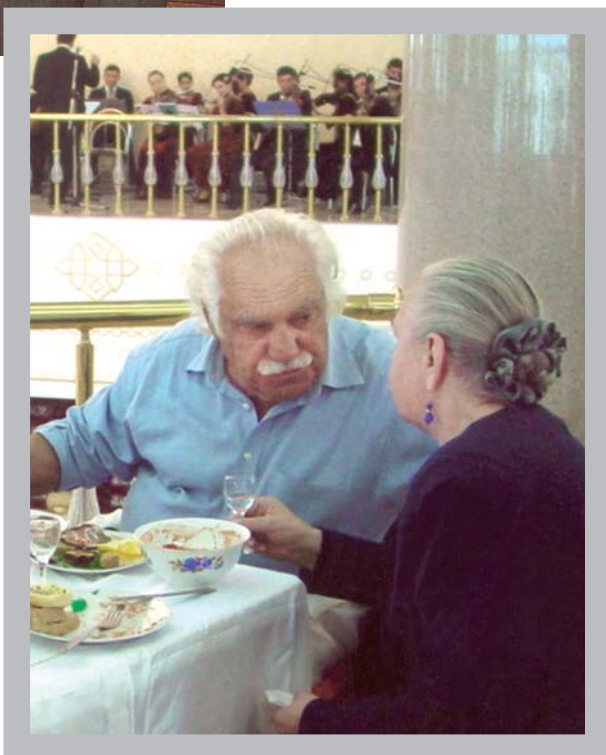
В рабочем кабинете. Москва. 2005 г.



Конференция в Маргиане. Туркменистан. 2006 г.
С Г.Б. Здановичем.



С академиком В.М. Плоских.
2005 г.



Ашхабад. 2006 г. С В.И. Сарияниди.



Ашхабад. 2006 г. Слева направо: лорд К. Ренфрю, А. Лубоцкий, Е.Е. Кузьмина, Дж. Меллори.



Тегеран. 2009 г. Вручение премии «Лучшая книга года по истории Ирана».



С фирманом за лучшую книгу по истории Ирана.
2009 г.



Новосибирск. 2010 г. Слева направо: А.В. Епимахов,
Ю.Ф. Кирюшин, Е.Е. Кузьмина.



Новосибирск. 2010 г. Академик В.И. Молодин и Е.Е. Кузьмина
у бюста академика А.П. Окладникова.



Москва. Кремль. 2012 г. Президент России Д.А. Медведев
вручает Елене Ефимовне орден Дружбы.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редакторов	7
СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ.....	9
Разлогов К.Э. Елена Ефимовна Кузьмина и Российский институт культурологии.....	10
Федорова Т.С. Елена Ефимовна Кузьмина: Curriculum vitae, или Краткая научная биография	12
Перепелкин Л.С. Несколько слов в честь Елены Ефимовны Кузьминой	20
Поляков Т.П. Белый пароход.....	21
Diakonoff I.M. Whence Came the Indo-Aryans? by Elena Kuz'mina	23
Литвинский Б.А. «Исключительно высокий стандарт...»	25
Березанская С.С., Отрощенко В.В. Елена Ефимовна Кузьмина и археология Украины	28
АРХЕОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	33
Шнирельман В.А. «Арийцы», «народная археология» и общество: проблемные взаимоотношения.....	34
ДАННЫЕ ЛИНГВИСТИКИ О КУЛЬТУРЕ АРИЕВ.....	43
Jones-Bley K. Indo-European Queenship.....	44
Парпола А. Праарийская религия, Насатъи и колесница	58
Куликов Л.И. Лингвистические заметки к интерпретации стиха Атхарваведа-Шаунакия 19.45.2 (Атхарваведа-Пайппалада 15.4.2)	70
Ливиниц В.А. Парфянские топонимы.....	73
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ И ЭТНОГЕНЕЗА.....	85
Молодин В.И. Бронзовое навершие сейминского типа с конем.....	86
Савинов Д.Г. О двух путях распространения бронзовых изделий сейминского типа на восток	91
Матвеева Н.П. Актуальные вопросы изучения древней караванной торговли (Западная Сибирь и Центральная Азия).....	100
Linduff K.M., Rubinson K.S. Transfer of Metallurgical technology and objects across Eurasia and Northern China in the late 1st millennium BCE – early 1st millennium CE.....	110
Ковалев А.А. Происхождение скифов из Джунгарии: основания гипотезы и ее современное состояние	124
Арутюнов С.А. О сакральных быках и баранах.....	137
Пьянков И.В. К вопросу об этнической ситуации в степях Евразии в бронзовом и раннежелезном веках	147
Бондарев А.В. Вклад петербургских ученых в становление отечественных культурогенетических исследований	152
СТЕПИ ЕВРАЗИИ В ЭПОХУ БРОНЗЫ	163
Епимахов А.В. О степных «цивилизациях» бронзового века.....	164
Байпаков К.М. Этапы урбанизации в древнем и средневековом Казахстане	170
Виноградов Н.Б. История изучения и территориальная локализация памятников синташтинского типа.....	179
Кузнецов П.Ф. Вопросы соотношения колесничных культур ранней фазы позднего бронзового века	186
Мочалов О.Д. Происхождение керамики синташтинских памятников: история изучения и состояние проблемы	193
Малов Н.М. Необычное парное погребение из Покровского кургана № 35 начала эпохи поздней бронзы: по материалам раскопок П.С. Рыкова.....	205
Чаплыгин М.С., Морозов Ю.А. Погребальные памятники срубной культуры в Башкирском Приуралье.....	213
Рафикова Я.В. Парные погребения алакульской культуры на Южном Урале.....	228
Ткачев В.В. Еленовско-Ушкатинский археологический микрорайон и Уральско-Мугоджарский горно-металлургический центр эпохи поздней бронзы (взгляд на проблему сквозь призму научного наследия Е.Е. Кузьминой).....	244
Ткачев А.А. Погребальный обряд в атасуской культуре и проблема ее формирования	260
Бобров В.В. Особенности андроновского погребального обряда в восточных районах ареала культуры.....	268
Козенкова В.И. Еще раз о так называемом кладе близ села Курчалой (Чечня)	279
Мыльникова Л.Н., Иванова Д.П. Орнамент на керамике андроновской (федоровской) культуры Барабинской лесостепи (по результатам сравнительного анализа материалов могильников Старый Тартас-4 и Тартас-1)	285

<i>Гутков А.И., Папин В.В., Федорук О.А. Культурные особенности андроновской керамики из могильника Рублево VIII</i>	311
СРЕДНЯЯ АЗИЯ, БАКТРИЯ И ИНДОСТАН В ЭПОХУ БРОНЗЫ	321
<i>Сарианиди В.И. Индия и страна Маргуш. «Царское святилище» Северного Гонура</i>	322
<i>Дубова Н.А. Типы погребальных сооружений Гонур Депе (Туркменистан)</i>	327
<i>Антонова Е.В. Реконструкция образа бактриана в картине мира носителей Бактрийско-Маргианского археологического комплекса</i>	341
<i>Кирчо Л.Б. Стратиграфия Алтын-депе и вопросы периодизации и хронологии памятников эпохи палеометалла Южного Туркменистана</i>	349
<i>Виноградова Н.М., Кутимов Ю.Г. Погребения вахшской культуры в могильнике Гелот (Южный Таджикистан)</i>	355
<i>Francfort H.-P. About an unusual stone statue from Hellenistic Ai Khanoum (Bactria, North Eastern Afghanistan)</i>	364
<i>Olivieri L.M., Vidale M. New evidence on the Symbols of Early Swat between 2nd and 1st millennia BCE</i>	369
СТЕПИ ЕВРАЗИИ В ЭПОХУ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА	377
<i>Федоров В.К., Васильев В.Н. Впускное погребение из кургана № 3 могильника Сара и парные погребения ранних кочевников Южного Урала</i>	378
<i>Бисембаев А.А., Мамедов А.М., Дуйсенгали М.Н. Погребения прохоровской культуры на реке Илек</i>	391
<i>Подушкин А.Н. Археологический комплекс катакомбы 12 могильника Культобе</i>	398
<i>Ненахов Д.А. Тагарские кельты с «гвоздиками»</i>	409
<i>Бородовский А.П. Крашеная резная кость Сибири эпохи металла</i>	412
ТРАНСПОРТ	417
<i>Погребова М.Н. О конях, оленях и колесницах Южного Кавказа</i>	418
<i>Кайзер Э. О происхождении ранних колесниц в Евразии</i>	424
<i>Ковалевская В.Б. Древнейшие средства управления конем (по материалам конеголовых скипетров V–IV тыс. до н.э.)</i>	432
<i>Усачук А.Н. Комаровские псалии</i>	439
<i>Лопатин В.А. Бесшпанный вариант дисковидных псалиев покровского типа</i>	445
<i>Новоженков В.А. Андроновская изобразительная традиция в петроглифах эпохи бронзы Центральной Азии</i>	455
СЕМАНТИКА ИСКУССТВА ЭПОХИ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА	469
<i>Ковтун И.В. Сюжет турбинской композиции</i>	470
<i>Дашковский П.К. Структурализм и археология: теоретико-методологические основы мировоззренческих реконструкций в скифо-сакской номадологии</i>	479
<i>Котов В.Г., Исмагил Р. Космос казак-кочердыкского акинака: к вопросу о символическом статусе оружия у скифов в скифо-сакской номадологии</i>	488
<i>Смирнов Ю.А., Боковенко Н.А. Антропоморфное изображение в «скелетном» стиле на плите из тагарского погребения в Хакасии</i>	498
<i>Ожередов Ю.И. «Ведийские» ритуалы у народов Западной Сибири</i>	505
<i>Белова О.В., Петрухин В.Я. Трансформированные версии дуалистического сюжета в славянской традиции</i>	512
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ В АРХЕОЛОГИИ	517
<i>Косинцев П.А. Лошадь в хозяйстве населения лесостепи и степи востока Восточной Европы (средняя бронза – средневековье)</i>	518
<i>Ходжайов Т.К., Ходжайова Г.К. К антропологии населения Средней Азии в эпохи энеолита и бронзы</i>	525
<i>Хохлов А.А. Некоторые итоги изучения антропологии бронзового века Волго-Уральского региона</i>	530
<i>Клейн Л.С. Была ли гаплогруппа R1a1 арийской и славянской?</i>	534
<i>Зубова А.В., Чижишева Т.А., Поздняков Д.В. Антропологические аспекты генезиса представителей андроновской культурно-исторической общности</i>	541
<i>Зубова А.В., Ермолаева М.С., Поздняков Д.В., Чижишева Т.А. Патологические особенности скелета из кургана саргатской культуры Яшкино-1</i>	555
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ	561
<i>Мыльников В.П. Типы жилищ и особенности домостроения по данным археологии: историографический аспект</i>	562
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	574
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	576
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФОТО	579

Научное издание

**АРИИ СТЕПЕЙ ЕВРАЗИИ:
ЭПОХА БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
В СТЕПЯХ ЕВРАЗИИ
И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ**

Сборник памяти Елены Ефимовны Кузьминой

Корректоры *Е.В. Кузьминых, С.М. Погудина, Е.В. Капустина*
Технический редактор *М.В. Геращенко*
Художественный редактор *М.О. Миллер*

Подписано в печать 1.12.14. Формат 60×84/8.
Усл.-печ. л. 69,75; уч.-изд. л. 61,28. Тираж 500 экз.

Издательство Института археологии и этнографии СО РАН
630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17